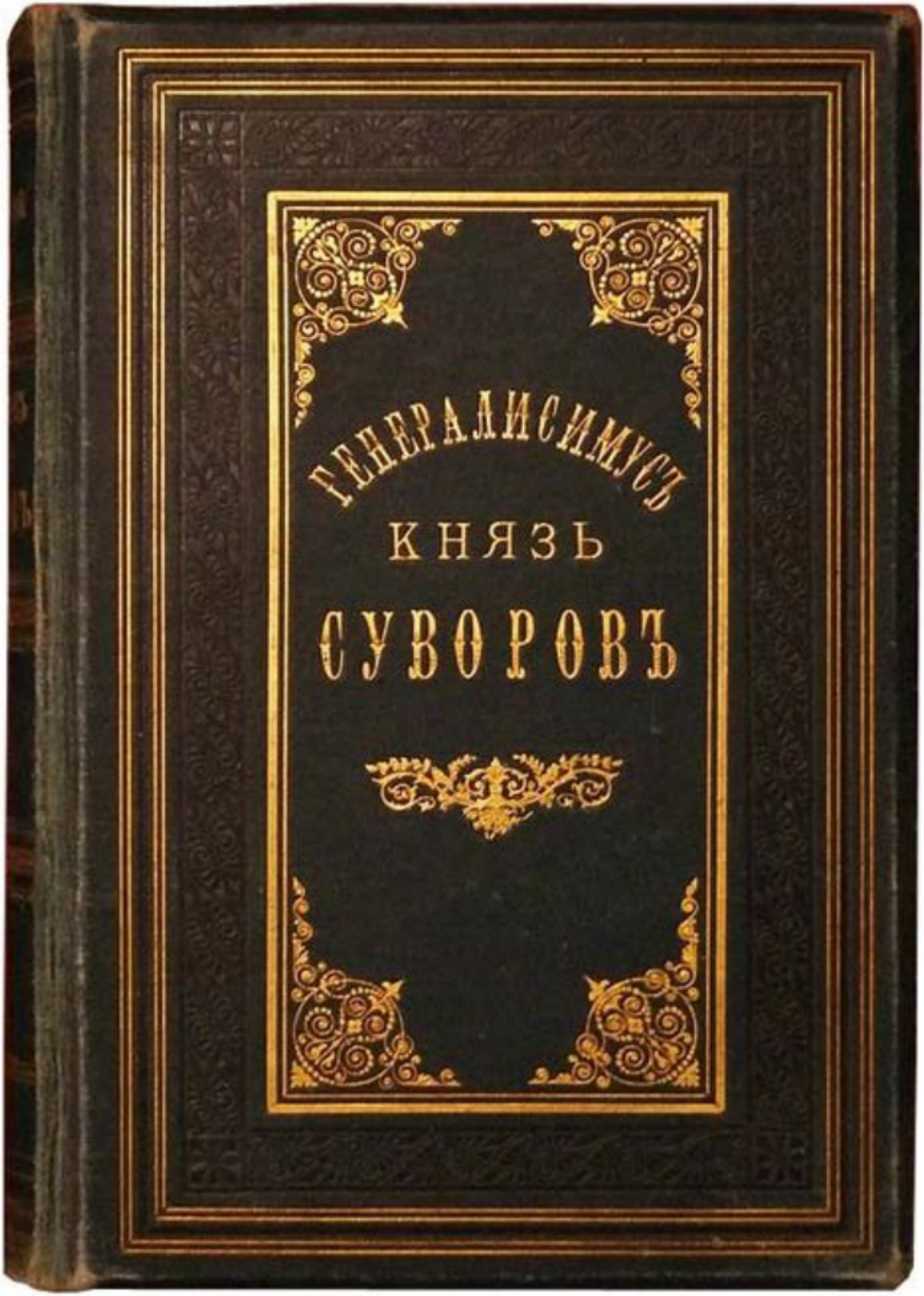

ГЕНЕРАЛИСИМУСЪ
КНЯЗЬ
СУВОРОВЪ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Перед вами книга, не издававшаяся в России более 100 лет. Это удивительно потому, что интерес к Суворову во все времена велик, а данная книга, состоящая из 3 томов общим объемом почти в полторы тысячи страниц, признана историками лучшей биографией величайшего русского полководца. И неудивительно, потому что по прочтении этой книги складывается образ гения, не укладывающийся в официальные рамки.

Издание представляет собой фундаментальное исследование жизни и военной карьеры генералиссимуса, наиболее полное и подробное из существующих монографий.

Первое издание этой книги, вышедшее в 1884 году, состоит из 3 томов приблизительно по 500 стр. каждый. В 1900 году вышло второе, переработанное издание - 1 том объемом около 800 стр. Оно содержит некоторые уточнения частных фактов биографии Суворова но, конечно, не может соперничать по объему фактического материала с первым изданием.

Эта книга — первое издание.

Осенью 2005 года второе издание было переиздано издательством "Русская симфония". К сожалению, малым тиражом - всего 1000 экземпляров. Тем не менее, лед тронулся. Спасибо людям, вспомнившим о лучшем русском полководце.

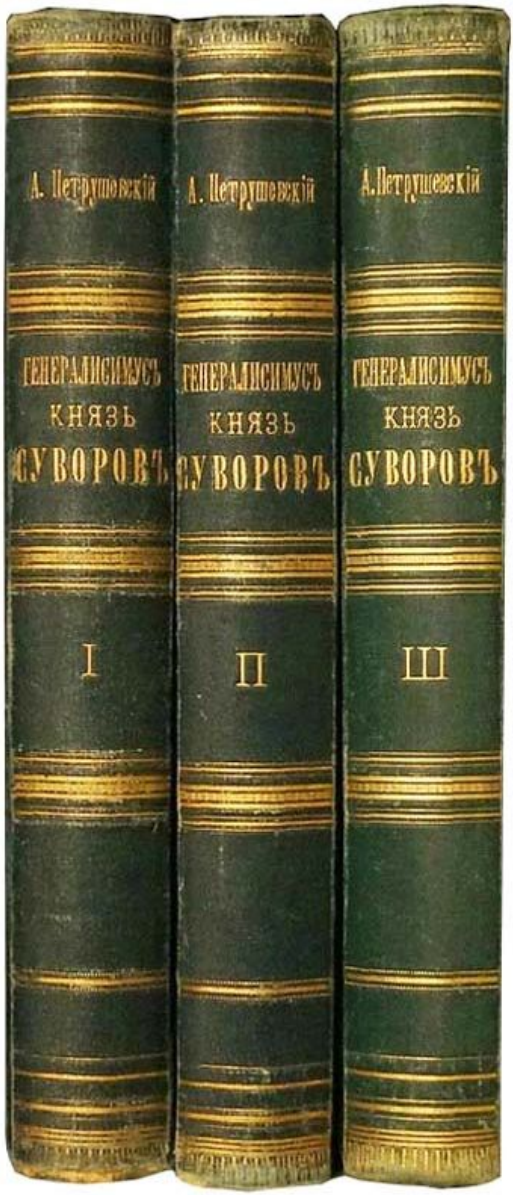
Книга написана известным историком 19 века Александром Фомичем Петрушевским, генерал-лейтенантом русской армии. Биография составлена на основе анализа источников, по большей части рукописных и остававшихся неизвестными к тому времени, а также практически всей изданной литературы о Суворове. В конце 3 тома приведен полный список источников с краткой их характеристикой. Петрушевский советовал перед прочтением книги ознакомиться с этими источниками. Последовав его совету, действительно, многие вопросы, возникающие при прочтении, отпадают сами собой. Автором было изучено огромнейшее количество документов, но, как признается сам Петрушевский, его жизни не хватило бы для внимательного и всестороннего изучения всех материалов, которыми он располагал. На книгу у автора ушло 8 лет усидчивого труда.

Труд сей, будучи весьма серьезным по содержанию, написан живым языком и легко усваивается каждым человеком, военным и невоенным, историком и даже системным администратором. Петрушевский ставил перед собой задачу беспристрастного жизнеописания Суворова. Это удалось ему совершенно.

- Генералиссимус князь Суворов
  -
  - Несколько вступительных слов [1]
  - ТОМ ПЕРВЫЙ [2]
    -
    - Глава I. Суворов до боевой службы; 1730—1758.
    - Глава II. Первая боевая практика; 1758—1762.
    - Глава III. Командование полком; 1762—1768.
    - Глава IV. Польская конфедератская война: Ланцкорона; 1768—1771.
    - Глава V. Польская конфедератская война: Сталовичи, Краков; 1771—1772
    - Глава VI. Первая турецкая война: Туртукай, Гирсово, Козлуджи; 1773—1774.
    - Глава VII. В Заволжье, на Кубани и в Крыму; 1774—1779.
    - Глава VIII. В Астрахани, на Кубани и в Кременчуге; 1780 — 1787.
    - Глава IX. В поместьях и вотчинах, семейные дела; 1775—1796.
    - Глава X. Вторая турецкая война: Кинбурн, Очаков; 1787—1788.
    - Глава XI. Вторая турецкая война: Фокшаны, Рымник; 1789.
    - Глава XII. Вторая турецкая война: Измаил; 1790.
    - Глава XIII. В Петербурге и Финляндии; 1791—1792.
  - ТОМ ВТОРОЙ [5]
    -
    - Глава XIV. В Херсоне; 1792-1794.
    - Глава XV. Польская война: Крупчицы, Брест; 1794.
    - Глава XVI. Польская война: Кобылка; 1794.
    - Глава XVII. Польская война: Прага; 1794.
    - Глава XVIII. Польская война: Варшава, обезоружение; 1794.
    - Глава XIX. В Польше после войны; 1794-1795.
    - Глава XX. Суворов и его дочь; 1784-1795.
    - Глава XXI. В Петербурге и Тульчине; 1796.
    - Глава XXII. В Тульчине: обучение войск; 1796.
    - Глава XXIII. Екатерина II и Павел Петрович; 1754-1797.
    - Глава XXIV. В Тульчине и Кобрине; 1796-1797.
    - Глава XXV. В селе Кончанском; 1797-1798.

        - Глава XXVI. В Петербурге и селе Кончанском; 1798-1799.
    - ТОМ ТРЕТИЙ [12]
        -
        - Глава XXVII. На пути в армию; 1799.
        - Глава XXVIII. Итальянская кампания: Адда; 1799.
        - Глава XXIX. Итальянская кампания: Басиньяна, Маренго; 1799.
        - Глава XXX. Итальянская кампания: Треббия; 1799.
        - Глава XXXI. Итальянская кампания: Нови; 1799.
        - Глава XXXII. Итальянская кампания: перемена театра войны; 1799.
        - Глава XXXIII. Швейцарская кампания: С. Готар, Чортов мост; 1799.
        - Глава XXXIV. Швейцарская кампания; Мутенталь, Клентель, Рингенкопф; 1799.
        - Глава XXXV. Разрыв союза; 1799. [16]
        - Глава XXXVI. На пути в Россию; 1799-1800.
        - Глава XXXVII. Болезнь Суворова, вторичная его опала и кончина; 1800.
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16

Генералиссимус князь Суворов



Несколько вступительных слов [1]

Между русскими историческими лицами есть несколько, выделяющихся из обыкновенного уровня знаменитостей. К числу таких избранников принадлежит и Суворов, поднявший русскую военную славу на высоту, до которой она ни прежде, ни после не достигала.

Военная слава отечества конечно дорога каждому Русскому, в какой бы сфере деятельности он ни вращался; сверх того, с недавнего времени, при общей обязанности — сражаться в рядах армии, — военное дело стало для всякого более близким, чем прежде. Таким образом, теперь наступила благоприятная для русского общества пора — познакомиться поближе с личностью Суворова, тем паче, что он успел уже отодвинуться в историческую даль

Но в попытке — изобразить Суворова в виде не легендарного богатыря, а живого исторического лица, невозможно ограничиться боевою его деятельностью, как бы она ни преобладала в его жизни. Нужно познакомиться с ним с разных сторон, узнать в нем внутреннего человека. В таком смысле книга и писалась, с этою целью и собиралось для нее как можно больше материалов. Правда. военное поприще Суворова занимает в ней большую часть, но обстоятельство это не должно пугать невоенного читателя. Во-первых, преимущественно в боевом Суворове виден особый внутренний человек, не похожий на других; во-вторых, прилагалось все старание, чтобы при изложении боевой его деятельности, избегать технической стороны военного деда, где только возможно. Книга составлялась для образованного класса русского общества, не различая военных от невоенных; причем автор постоянно имел в виду, чтобы содержание ее, будучи серьезным, как того требует цель труда,—излагалось доступно для каждого, имеющего известное образование, Если эта задача окажется не выполненною, то виновата в том не идея плана, а средства исполнителя.

Сказав о цели и назначении труда, нужно пояснить и некоторые крупнейшие его частности. Предлагается опыт истории Суворова, но не его эпохи; характер времени и ход событий изображены, где это требуется, с необходимою полнотою, но не больше. Затем, в книге часто приводятся неверные сведения и суждения о Суворове, которые и опровергаются: при помощи такого приема, читатель усвоит истину сознательно, будучи поставлен в известность — в чем и почему она другими

извращалась. Далее, предлагаемый труд может быть погрешает недостатком строгого единства плана и гармонии частей; многое, сравнительно неважное, изложено подробно; другое, более существенное, коротко. Главная тому причина заключается в различной степени обилия материала; не пользоваться в одном месте материалом только потому, что его нет в другом, было бы дурным приемом, и книга пострадала бы больше, чем от недостатка стройности. Кроме того во всех случаях, особенно при описании военных действий, обращалось преимущественное внимание на черты, имеющие значение для личной характеристики Суворова.

Найдутся в книге и такие места. которые страдают не только бедностью сведений, но и полным их отсутствием; подобные пробелы внимательный читатель заметит сам. Нельзя сказать, чтобы существовала безусловная невозможность пополнить хоть некоторые из них, но для этого потребовалось бы лишних два-три года, а на книгу и в настоящем её виде пошло восемь лет усидчивого труда. Удлиняя срок, пришлось бы увеличивать риск —не окончить работу. В отделе последнего тома, озаглавленном „источники", читатель найдет данные, ознакомившись с которыми. быть может не поставит автору в вину некоторую неполноту книги. Да и вообще было бы полезно пробежать этот отдел прежде жизнеописания: освещение предмета получится полнее и правильнее, и многие из вопросов или недоумений читателя будут заранее разрешены.

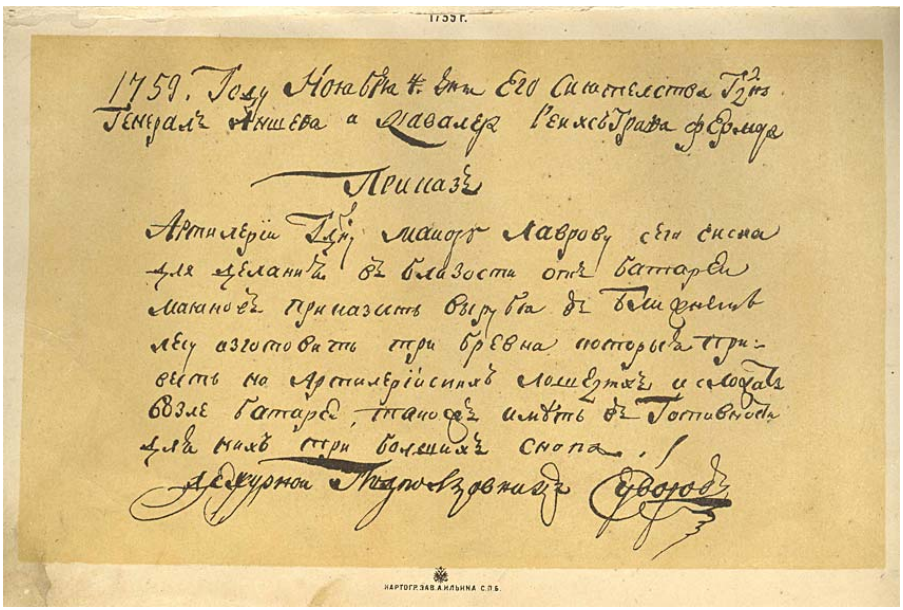
В заключение остается сказать, что в книге нет никаких тенденций, кроме одной — изложить истину. К этому обязывает священная память Суворова; в этом заключается единственный путь к сознательной оценке его деятельности и исторического значения, чего именно нам и не достает. Один из новейших французских писателей, который не отличается снисходительностью к Суворову, сознается однако же, что Русские последнего времени не ценят своего знаменитого полководца по достоинству и что Французы на их месте были бы справедливее. В этих словах горькая истина. Потомство не почтило Суворова даже памятником, так как находящийся в Петербурге был заказан еще при жизни генералиссимуса и знаменует не все долгое боевое поприще Суворова, а одну последнюю войну 1799 года. — Мы, за единичными исключениями, забыли Суворова, а между тем он стоит того, чтобы хранить о нем память, и притом не одну платоническую: подражать ему нельзя, но учиться у него можно.

А. П.

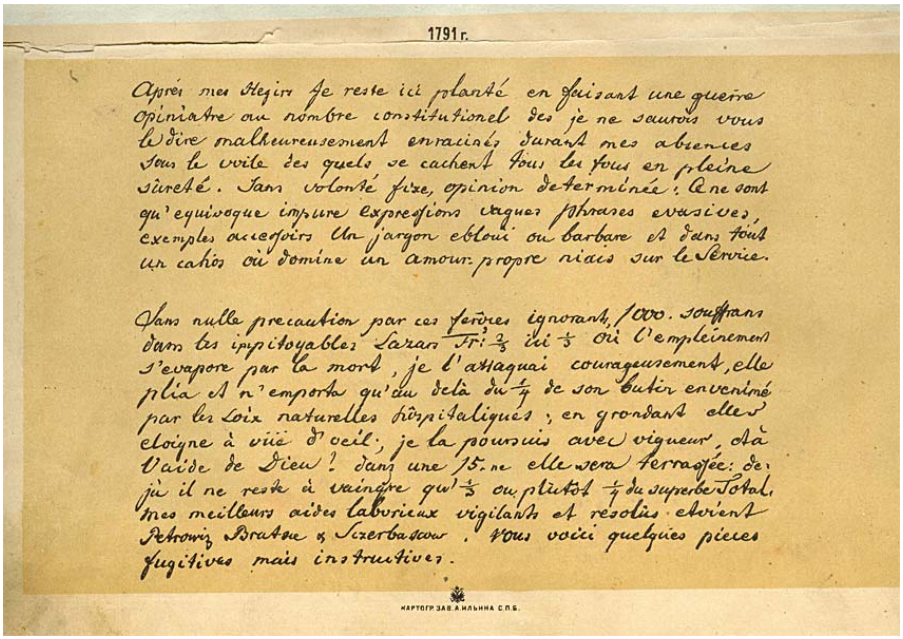
ТОМ ПЕРВЫЙ [2]

Иллюстрации к 1 тому

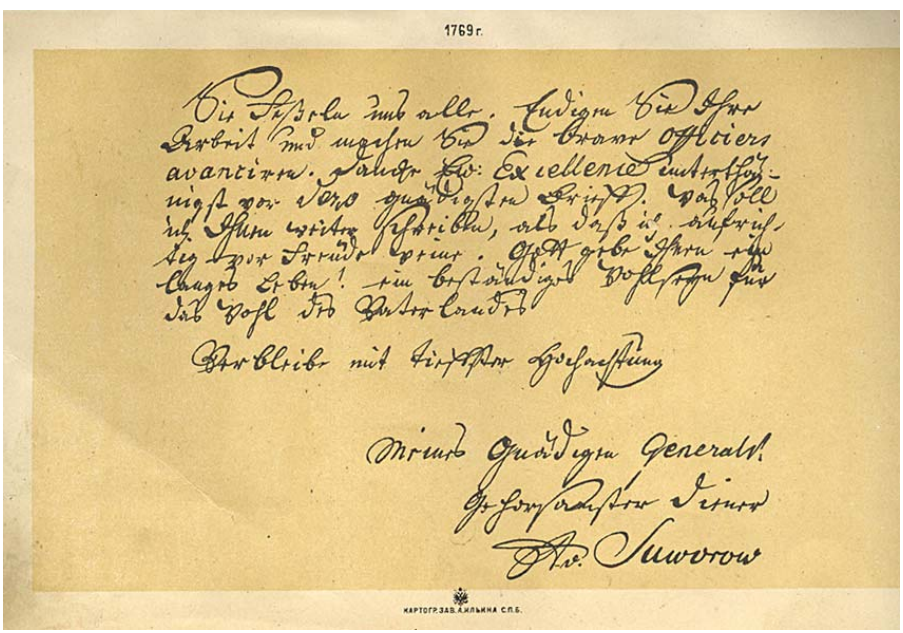
Факсимиле Суворова № 1. 1759 год:


1759 г.
1759. Году Ноября 4. Его Сиятельства Гг. Генерал Аншева и Кавалера Генералъ Графа Фермора
Приказъ
Артиллерии Гг. маиор Лаврову сего числа для исделания въ близости отъ баттареи Маканова приказать вырубка въ Большомъ лесу изготовить три бревна поперьча привезть на Артиллерийскихъ лошедяхъ и солдатъ возле баттареи Маканова имѣть въ Готовности для чево три большихъ снопа.
Дежурной Подпоручик Суворов
НАРТОГР.ЗАВ.А.ИЛЬИНА С.ПБ.

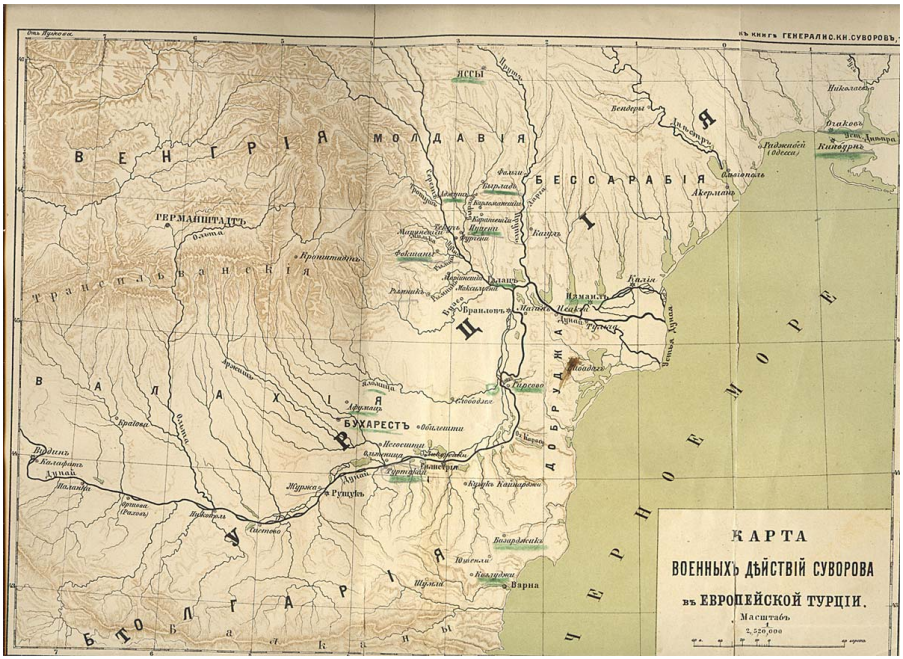
Факсимиле Суворова № 2. 1791 год:



Факсимиле Суворова № 3. 1769 год:



Карта военных действий Суворова в Европейской Турции:


КАРТА
ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ СУВОРОВА
ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТУРЦІИ.
Масштабъ
2,520,000
ВЕНГРІЯ
МОЛДАВІЯ
БЕССАРАБІЯ
ВАЛАХІЯ
БОЛГАРІЯ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
ДОБРУДЖА
Яссы
Бухарестъ
Гирсово
Журжа
Рущукъ
Варна
Измаилъ
Килія
Аккерманъ
Германштадтъ
Кронштатъ
Трансильванскія Альпы

Глава I. Суворов до боевой службы; 1730—1758.

Род Суворовых; ближайшие предки Александра Васильевича Суворова; его отец и мать. — Детские годы А. В. Суворова; его первоначальное образование; склонность к военной специальности; зачисление на службу; поступление в полк — Характер и свойство научных и служебных занятий Суворова; позднее производство его в офицеры; хорошая и дурная стороны долгой солдатской службы. — Продолжение самообразования; литературные опыты

При московском великом князе Семене Ивановиче Гордом, выехали из Швеции в Московскую землю «мужи честны» Павлин с сыном Андреем и тут поселились. Потомство их росло, множилось и расселялось; один из этих потомков назывался Юда Сувор; от него пошел род Суворовых 1*(здесь и далее это означает номер документа из списка источников к соответствующей главе в «Ссылках и пояснениях к 1 тому», см. сноски в конце книги)*. Прадед генералиссимуса назывался Григорием Ивановичем (сын Ивана Парфентьевича), а дед Иваном Григорьевичем. Иван Григорьевич Суворов служил при Петре Великом в Преображенском полку генеральным писарем, был дважды женат и умер в 1715 году; от первой жены он имел сына Ивана, от второй (Марфы Ивановны) Василия и Александра. Все три сына Ивана Григорьевича были женаты и оставили по себе потомство; Василий Иванович имел сына Александра и дочерей Анну и Марию 2. Василий Иванович Суворов родился в 1705 году; крестным отцом его был Петр Великий, что легко объясняется местом служения Ивана Григорьевича в Преображенском полку и в Преображенском приказе. В 1722 году Василий Суворов поступил денщиком к Государю, при Екатерине I выпущен в Преображенский полк сержантом, два года спустя пожалован в прапорщики, а в 1730 году произведен в подпоручики. В начале 40-х годов он был берг-коллегии прокурором в чине полковника и в 50-х годах получил генеральский чин 3. Василий Иванович

Суворов был человек вообще хороший, с образованием, ретивый, исполнительный служака, не дурной администратор, особенно по части хозяйственной, но во всяком случае из ряда не выступал и никакими военными качествами не отличался. С сыном он имел очень мало общего; главною точкою соприкосновения их характеров была бережливость или скупость, но и то совершенно различного свойства. В Василие Ивановиче не было ничего похожего на ту поражающую энергию и необыкновенное развитие воли, которые оказались потом отличительными чертами его сына. Не перешли ли эти и другие особенности к А. В. Суворову от матери, в каком смысле влияла она на развитие их в своем сыне, сознательно или безотчетно, отрицательным образом или положительным? Ответа на подобные вопросы нет; а между тем знакомство с характером матери, её темпераментом, воспитательными приемами и т. п., быть может разъяснило бы многое в сложной и загадочной натуре её сына. Он рос дома, на её глазах и несколько лет исключительно на её попечении, ибо такие люди, как Василий Иванович, не имеют обыкновенно ни времени, ни охоты вторгаться в сферу обязанностей материнских. Сколько времени мать Александра Васильевича жила, — неизвестно, но не меньше 13 лет по рождении сына, ибо в 1743 году родила младшую дочь; следовательно, по крайней мере 13 лет Александр Суворов прожил под её влиянием, которое, конечно, не могло остаться совершенно бесследным, в каких бы видах ни проявлялось. О матери А. В. Суворова известно только то, что имя её было Авдотья Федосеевна и что вышла она замуж за Василия Ивановича в конце 20-х годов. Отец ее, Федосей Мануков, тоже почти неизвестен; знаем только, что он был дьяк, что по указу Петра Великого он описывал Ингерманландию по урочищам; в 1715 году, во время празднования свадьбы князя-папы, участвовал в потешной процессии, одетый по-польски, со скрипкою в руках; в 1737 году был петербургским воеводой и в конце года судился за злоупотребления по службе 4. В 1760 году Авдотьи Федосеевны в живых уже не было; в переписке её сына, за все время его долгой жизни, не говорится о ней ни слова, не встречается ни одного намека или воспоминания. Год рождения Александра Васильевича Суворова точно неизвестен. Большая часть его историографов принимают 1729 год, который обозначен и на его гробнице; но это едва ли верно. В одной из официальных бумаг он говорит, что вступил в службу в 1742 году, имея от роду 15 лет: но другим его показаниям, рождение его можно отнести и к 1729, и к 1730 году. Но в одной собственноручной его записке на итальянском языке сказано: ***Jo son nato 1730 il 13 Novembre***; в письме его вдовы к племяннику Хвостову о надгробном

памятнике значится, что муж её родился в 1730 году; этот же год получается из его формуляра, составленного в конце 1763 года, когда Суворов был полковым командиром. Эти и довольно многочисленные другие данные приводят к заключению, что 1730 год следует считать годом его рождения скорее, чем всякий другой 5. Где именно он родился — неизвестно; некоторые свидетельствуют, что в Москве, другие, что в Финляндии, но ничем своих слов не доказывают. Принадлежа к дворянскому роду, хотя незнатному, но старому и почтенному, он появился на свет при материальной обстановке не блестящей, но безбедной. Предки его за добрую службу в разных походах получали от правительства поместья; дед владел несколькими имениями н, судя по некоторым данным, не был расточителен; отец и того больше. Мать его тоже нельзя назвать бесприданницей, как это видно по раздельной записи 1740 г. на движимое и недвижимое имение в Москве и орловском уезде между ею, поручицею Авдотьею Суворовой и её сестрой, полковницей Прасковьей Скарятиной. При всем том, состояние Василия Ивановича Суворова, впоследствии довольно значительное было в детские годы сына невелико. Из разных данных по этому предмету, как-то вотчинных отчетов, записей, послужных списков отца и сына, можно заключить, что Василий Иванович владел в ту пору приблизительно тремя сотнями душ мужского пола, т.е. был человеком обеспеченным, но не богатым 6. Таким образом, средства Василия Ивановича не отнимали от него возможности дать сыну порядочное образование, но этому препятствовала его скупость, доходившая до скаредности 7. Это обстоятельство бросает некоторый свет на детские и юношеские годы А. В. Суворова и на те условия, при которых происходило приготовление его к жизненному поприщу. Об этой поре прямых источников нет, а существующие в печати очень сомнительны уже по одному тому, что в них смешивается Суворов 10-тилетний с Суворовым 20-тилетним и первому приписывается то, что могло относиться только ко второму. Как бы богато ни был одарен человек от природы, он в детстве может быть только ребенком. Суворов несомненно обнаружил очень рано жажду знания, но утоление этой жажды все-таки не могло начаться раньше известного возраста, потому что требовалось научиться предварительно хоть читать. Не пускаясь в предположения, какова была система первоначального образования А. В. Суворова, так как. на это не имеется достаточных данных, можно однако сказать положительно, что к числу изучаемых предметов относились языки французский и немецкий, а может быт и итальянский, так как в молодые свои годы Александр Васильевич

владел в разной степени этими тремя языками, независимо своего родного, о чем и обозначено в его послужном списке 1763 года, Некоторым другим языкам он выучился впоследствии, в зрелые и даже в преклонные лета. Впрочем и с итальянским языком они, быть может, познакомился не дома, а несколько позже; знал его очень слегка, почти никогда не употреблял и ничего на нем не писал; по крайней мере в бумагах его сохранилась только одна записка, писаная по-итальянски, да и та по содержанию своему не требовала литературного изложения. Нельзя также допустить предположение, чтобы Александр Васильевич усвоил в детстве иностранные языки до степени свободного и правильного их употреблении; он продолжал в них совершенствоваться впоследствии довольно долгое время и хотя дошел до того, что выражался по-французски и по-немецки свободно и бойко в разговоре и на письме, но далеко неправильно. Впрочем, неправильность эта заключается и в его русском языке; она происходила столько же от дурного первоначального обучения, сколько свидетельствовала живой темперамент, нетерпеливость и энергию Суворова, не любившего останавливаться на мелочах и обладавшего, по его собственному выражению, «быстронравием». Неправильность его русской речи и письма скорее даже увеличились, чем уменьшились к его старости. Что же касается иностранных языков, то постепенное в них усовершенствование Суворова не подлежит сомнению, если сравнить самые ранние его письма (наприм. 1764 года) с позднейшими 8. Неразумная скупость Василия Ивановича сильно тормозила первоначальное образование его сына и привела бы к плачевным последствиям, если бы не служили ей противовесом врожденные способности и необыкновенная любознательность ребенка. Благодаря таким образом самому ребенку, дело подвигалось с успехом, но вскоре встретило себе новое препятствие. Василий Иванович был военным человеком только по званию и по мундиру, не имел к настоящей военной службе никакого призвания, а потому и сына своего предназначал к деятельности гражданской, быть может дипломатической. Хотя военная карьера была наиболее почетною, но решение отца оправдывалось тем, что сын казался созданным вовсе не для нее: был ростом мал, тощ, хил, дурно сложен и некрасив. К тому же для кандидатства на военное поприще было уже много упущено времени. С Петра Великого каждый дворянин обязан был вступать в военную службу, начиная ее с низших чинов; даже знать не могла отделываться от этого общего закона. Нашли однако средство исполнять постановление по букве, обходя его по духу. Дворяне, особенно знатные и богатые, записывали своих сыновей в гвардию при самом их рождении или

в годах младенческих, иногда капралами и сержантами, а у кого не было случая или связей — просто недорослями, и оставляли их у себя на воспитании до возраста. Подобные унтер-офицеры-младенцы производились нередко в офицеры, затем повышались в чинах, в весьма юном возрасте переходили с повышением в армейские полки и таким образом легко, особенно при сильных покровителях, достигали высших степеней в военной или гражданской службе, если первую меняли на вторую. В 70-х годах в одном Преображенском полку считалось больше 1000 подобных сержантов, а недорослям не было почти и счета 9. Василий Иванович сам служил или числился, во время рождения сына, да и после, в Преображенском полку; ему не стоило почти никакого труда записать новорожденного капралом или сержантом для счета служебного старшинства. Почему он этого не сделал — Бог знает; только едва ли вследствие сознания несправедливости и беззаконности подобных кривых путей: обычай очень уже вкоренился, и добровольно от него отказаться было слишком невыгодною щепетильностью. Как бы то ни было, но сын его не был записан в военную службу, а между тем в нем мало-помалу обнаружилась сильнейшая склонность к этой специальности, и занятия его приняли соответствующее склонности направление. Призвание маленького Суворова стало высказываться рано, именно когда он получил первые основы образования и в известной степени познакомился с несколькими иностранными языками. Принявшись за детское чтение, он стал останавливаться на книгах военно-исторического содержания, потом искать их и ими зачитываться. Хорошо составленной военной библиотеки у отца его не могло быть; книги вероятно были, по большей части, случайные. Между ними нашлись некоторые, оказавшиеся ребенку по силам; они сильно горячили его воображение, исполняя роль масда, подливаемого в огонь. Занятия принимали усиленный ход и специальный характер; мальчик, от природы чрезвычайно подвижный, веселый и живой, стал засиживаться за книгами, убегал компании сверстников, пренебрегал детскими играми, старался не выходить к гостям или тайком уходил от них в свою светелку. К этому присоединились некоторые странности или неровности характера; бросив книги, маленький Суворов скакал верхом, возвращался усталый, промоченный дождем, пронизанный ветром. Как ни мало Василий Иванович обращал внимания на ход занятий своего сына, а может быть и на всю общность его воспитания, однако пристрастие мальчика к военному делу и в особенности странное его поведение не могли пройти незамеченными. Ненормальность ребенка кидалась в глаза посторонним, не только своим. Василий Иванович делал

сыну замечания, выговоры, — мальчик стал все больше замыкаться в своем любимом мире, питаться мечтами и грезами своего распаленного воображения. Внутренняя работа продолжалась, препятствия только вырабатывали в ребенке волю, и без того замечательно упругую, и дело двигалось своим путем. У Василия Ивановича было слишком много занятий денежного характера, по его мнению более важных; он махнул на сына рукой, а посторонние окрестили мальчика какой-то насмешливой кличкой. Александру Васильевичу Суворову исполнилось 11 лет; к его отцу заехал старый знакомый, генерал Ганнибал, негр, питомец Петра Великого. Василий Иванович, беседуя с гостем, коснулся и своего сына, рассказав о его занятиях и причудах. Ганнибал расспросил отца, поговорил с сыном, пересмотрел его книги. Дело было до того ясно, наклонности мальчика в такой степени определительны и любовь к занятиям военными науками имела такой страстный характер, что колебаться было нечего. Ганнибал посоветовал Суворову-отцу не препятствовать сыну, а поощрять его в предпринятых занятиях и сказал, что блаженной памяти Петр Великий непременно поцеловал бы мальчика в лоб за его настойчивые труды. Совет был добрый; отец, конечно, желавший сыну блага от всей души, решился дать ему волю в выборе занятий, и ребенок больше прежнего был предоставлен самому себе. Кроме того, уступая желанию сына, Василий Иванович записал его, в 1742 году, в гвардию, в Семеновский полк рядовым. В полк он поступил однако же не тотчас, а в 1745 году. Где именно он эти три года находился, с достоверностью сказать нельзя. Есть свидетельство, будто он был помещен в Сухопутный кадетский корпус 10, но принять это известие за бесспорное нельзя. Более вероятности, что мальчик продолжал свое образование дома, по-прежнему без системы и постоянного руководительства, почти самоучкой. Подлежит сильному сомнению, чтобы молодой Суворов, до записания его в полк, мог изучить хоть как-нибудь все те науки, на которые указывают его биографы, и читать тех авторов, которых они перечисляют. В библиотеке Василия Ивановича не могло быть всех этих книг, потому что совокупность их указывала бы на его замечательное военное образование, чего на самом деле не было; не мог он и покупать их массами для сына, потому что книги вообще были тогда дороги, а Василий Иванович скуп. Таким образом следует признать произвольными предположениями все существующие свидетельства о сущности и размере научных занятий молодого Суворова под домашней кровлей, до поступления в полк с отъездом в Петербург. Будет гораздо вернее прием — ознакомиться с кругом его самообразования вообще, без

подразделения на домашнее и недомашнее, тем более, что для правильности выводов такое деление совсем и не нужно. Вообще очень много распространено ложных сведений на счет Суворова, особенно за самый ранний период его жизни: сведения эти порождены не только грубым вымыслом, но и довольно тонкими хитросплетениями предвзятых мыслей. Приведем пример. Популярно-исторические сочинения особенно нравятся хорошо развитым детям и читаются ими с наибольшею охотой. Из военных наук, военная история более всего приходилась в начале по плечу маленькому Суворову, могла завлечь его в дальнейшие занятия и дать сильный толчок его военному призванию. Ему особенно нравился Карл XII, этот образец неустрашимости, смелости и быстроты; такие люди сильно действуют на воображение, следовательно приходятся по детскому вкусу больше всяких иных. Только впоследствии замечается, что голова Карла была экзальтированна и не совсем в порядке, что твердость его скорее может быт названа упрямством и что вся общность его военных качеств соответствует больше идеалу солдата, чем полководца. Входя в года и зрея умом, Суворов понял это, иначе не стал бы изучать, наравне с деяниями Карла, сухие, методические записки Монтекукули, строящего все на благоразумии и расчете. А некоторые его биографы утверждают, будто он одновременно пристрастился в ранней юности и к Карлу XII, и к Монтекукули. Подобная мысль могла родиться только у панегириста с целью оправдать пристрастие молодого Суворова к Карлу XII и установить противовес такому не совсем удачному выбору. Панегиристы вредят обыкновенно памяти своего героя больше, чем порицатели, отнимая от его изображения жизненную правду. Самоучка-Суворов познакомился мало помалу с Плутархом, Корнелием Непотом, с деяниями Александра, Цезаря, Аннибала и других знаменитых полководцев древности, с походами Карла XII, Монтекукули, Конде, Тюренна, принца Евгения, маршала Саксонского и многих иных. Изучение истории и географии у него шло кроме того по Гюбнеру и Ролленю, а начала философии по Вольфу и Лейбницу. Артиллерию и фортификацию он изучал под руководством своего отца, который был знаком с инженерною наукою больше, чем с чем-либо другим и даже, по утверждению некоторых, перевел на русский язык Вобана. Может быть, это обстоятельство дало повод приписывать А. В. Суворову знание Вобана наизусть. Такого задалбливания не могло быть в действительности по свойствам ума Суворова, да он и не имел вовсе склонности к инженерному делу. Весьма важную роль в образовании Суворова занимала религиозная сторона; но мы знаем только, что он отличался набожностью и благочестием,

любил сидеть над библиею и изучил в совершенстве весь церковный круг. Этими немногими словами приходится ограничиться, иначе пришлось бы витать в области беспочвенного резонерства или прибегать к натяжкам вроде многих существующих, каково например утверждение, будто Суворов воспитывался под надзором деда, протоиерея, и что поэтому он всеми корнями своего нравственного бытия принадлежал до-Петровской Руси. Суворов был самоучка, стало быть ход его образования не отличался ни строгою системою, ни методом. С самых нежных лет увлеченный примерами военных знаменитостей, он ими только и жил, ими только и дышал; никем не направляемый, он не мог добровольно делить свое время между занятиями военными и не военными, и последним уделял свой труд лишь в размере крайней необходимости. Только утолив в известной степени жажду, мог он перейти к занятиям общеобразовательным, и совершилось это тогда, когда стал он человеком зрелым, хотя по летам и очень еще молодым. Может быть, благодаря этому обстоятельству, выросла в нем и окрепла в самую впечатлительную пору жизни ненасытимая страсть военного славолюбия, которая прошла чрез все его существование и сделалась самым большим горем и самою большою утехой его жизни. Во всяком случае, тот факт, что общее образование Суворова выросло на специально-военной основе, должен быть принят во внимание при его характеристике. Находясь в полку и продолжая работать над своим образованием, Суворов вероятно в это время посещал кадетский корпус, так как посещение им корпусных лекций удостоверяется довольно положительными свидетельствами, а в другую пору своей жизни он этого делать не мог. Примеры подобных занятий в учебных заведениях молодых людей, состоявших на действительной службе, бывали, особенно в царствование Екатерины II. Но если Суворов и слушал курс кадетского корпуса, то едва ли это обстоятельство имело существенное влияние на качество и объем его образования. Он учился пред тем так усердно и читал так много, что корпусные уроки не в состоянии были ощутительно обогатить запас его знаний, а разве внесли в них некоторую систематичность. Корпусными уроками он не ограничивался и продолжал усиленно заниматься дома, на небольшой наемной квартире, ибо в казармах не жил. Все его время, без малейшего исключения, уходило на службу, на посещение классов кадетского корпуса и на домашние научные занятия; он решительно не бывал нигде, кроме этих трех мест. Получая от отца известную сумму на свое содержание, конечно очень небольшую, Суворов однако ухитрялся делать экономию и все скопленное употреблял на

покупку книг; но так как остатки были не велики, то доставал книги на прочтение отовсюду, откуда только мог, в том числе вероятно и из кадетского корпуса, Так проходило его время в продолжении нескольких лет подряд, и Суворов быстро формировался умственно 11. По всему этому казалось бы, что из него должен был выйти ученый теоретик, так как военная служба вовсе не требовала в то время солидного образования, и невежество было почти сплошное, ни мало не препятствуя движению вперед по чиновной лестнице. Если и в настоящее время существует антагонизм между теорией и практикой, вследствие коренящегося в значительном числе образованных людей убеждения, будто теория и практика имеют не одну общую, а две разные дороги, то в половине прошлого столетия серьезная научная подготовка тем паче не считалась нужной для практической военной деятельности. Но так смотрели другие, а не Суворов: он изучал усиленно теорию для того, чтобы сделаться исключительно практиком. Великим полководцем нельзя сделаться с помощию науки; они родятся, а не делаются. Тем более должно ценить тех из военных людей, которые, чувствуя свою природную мощь, не отвергают однако науки, а прилежно изучают её указания. Это есть прямое свидетельство глубины и обширности их ума. Таким умом обладал и Суворов. Он понимал, что изучение облегчает и сокращает уроки опыта; что опыт, не создавая военных способностей, развертывает их; что теория, построенная на вековых опытах, гораздо полнее, чем выводы личного наблюдения. Не стал бы он тратить время на самообразование, если бы не сознавал твердо, что без науки самому храброму офицеру трудно сделаться искусным офицером; что природный дар, без образования, если и может быть уподоблен благородному металлу, то разве неочищенному и необделанному. И хотя офицер и военачальник - две степени, отвечающие различным условиям, но Суворов, задавшись конечною целью, не думал обходить ближайшие, разумея, что хорошему офицеру легче добиться до высшего начальствования, чем плохому, и что добрые качества храброго, но вместе с тем искусного офицера растут под нулями и ядрами, а посредственность разоблачается. Следует однако заметить, что занимаясь теориею военного дела многие годы, он относился к изучаемым предметам не рабски, а самостоятельно и свободно. Он вполне усвоил мысль, что изучая великих мужей, нельзя ограничиться прямым у них заимствованием, а тем менее впасть в ошибку подражания. Почти все, добытое путем науки, в Суворове перерабатывалось совершенно и принимало свое собственное обличье, которое иногда как будто отрицало самый образец.

Суворова не затягивало, не засасывало с головой, что бывает с учеными теоретиками, не обладающими сильным умом. Он не искал в науке и прямой утилитарности, как расположены делать узкие практики — специалисты. Суворов знал, что теория подготовляет и развивает ум в известном направлении, но в деле приложения несостоятельна, ибо это задача уже самого человека. Он смотрел на приобретаемые знания как на склад всевозможных пособий для военной деятельности, но не рассчитывал требовать от изучаемой теории указаний — в каком случае какое пособие следует употребить. Он искал не столько частного, сколько общего. Основные начала военных операций неизменны во все времена и независимы от условий оружия и места; только приложение их к делу изменяется. В древнее и в новое время победы выигрывались, благодаря одним и тем же первоначальным причинам, оттого изучение великих военных мастеров классической древности столько же полезно, сколько и позднейшего времени. Суворов не только их не обошел, но к ним пристрастился и считал их своими учителями. Позже, в переписке и беседе, он часто вспоминал высокочтимые им имена Александра, Цезаря, Аннибала и любил на них ссылаться. Очень верно замечает один из лучших писателей о Суворове 12, что военный его гений, несмотря на всю оригинальность свою, выработался под влиянием классических впечатлений. Чтобы довести до степени законченности предпринятое самообразование, Суворову нужно было иметь большую силу воли, а чтобы сладить с внутренним смыслом задачи, требовался обширный ум. Признавать за ним первую и отказывать ему во втором, значит обрекать себя на неверную постановку вопроса и стало быть на неправильные выводы, что и замечается у большей части иностранных писателей о Суворове. Если бы они удостоили его обстоятельным изучением, то не приняли бы оригинальность его ума и всей натуры за недостаток умственного развития, а его способы применения научного образования к делу — за невежество. Суворов часто громил впоследствии сарказмами «бедных академиков», но подводил это название не людей науки вообще, а бездарных теоретиков, непонимающих различия между наукой и её приложением, ибо, по его мнению, в приложении-то к делу и должна выражаться сила науки. В то же время, будучи исключительно практиком, он не давал спуска и практикам-невеждам, говоря про них, что они может быть и знают военное дело, да оно их не знает. Для того, чтобы не оспаривать у Суворова сильного ума и обширной эрудиции, достаточно, не следуя за ним в его жизни, познакомиться лишь с его вступлением в жизнь. Поэтому обвинения его в невежестве и

умственной слабости представляются не только неверными, но даже и не совсем понятными. Каков он был в занятиях научных, таков и в службе. Поступив в полк на 15 году от роду, он тотчас же сделался действительным солдатом. Служба не имела для него значения навязанного судьбою тяжкого труда; она не представлялась ему рядом скучных, формальных, мелочных обязанностей. Он ей учился, учился с увлечением, с радостью; знакомился с нею во всех подробностях, для него даже необязательных; нес на себе обязанности солдата в служебных положениях важных и неважных, легких и трудных. Для него это было нужно, как нужны были научные занятия; перед ним в неопределенной дали светилась едва видимая точка, дойти до которой он задался во что бы то ни стало. Эта отдаленная цель показалась бы для других абсурдом, бредом больного воображения, до того достижение её было несбыточно для юного дворянчика-солдата, без связей и покровительства, без большого состояния, безвестного, неказистого, хилого. Но Суворов чувствовал в себе достаточно сил для того, чтобы добиваться этой якобы несбыточной мечты, определил к тому средства, обдумал программу. В программу входили развитие ума и укрепление тела, что он уже делал; входило в нее и изучение солдатской среды, решение освоиться с нею вполне, без оглядок и компромиссов. К этой части программы он и приступил тотчас, как попал в полк, — и стал действительным, заправским солдатом. Мысль — изучить солдата во внешнем его быте до мельчайших подробностей обычаев и привычек и во внутренней его жизни до тайных изгибов его верований, чувствований, понятий, — есть в сущности мысль простая для того, кто задался такою целью, как Суворов. Вся трудность заключалась в исполнении; требовались постоянство и выдержка необычайные, нужна была воля, ни перед чем не преклоняющаяся. Суворов обладал этими условиями и потому цели достиг. Может быть даже, что он ушел дальше, чем сам предполагал. Едва ли перед глазами 15-20-летнего Суворова обрисовывался определенными очертаниями идеал, во всем схожий с будущим, действительным 50-60-летним Суворовым. Он мог хотеть изучить солдата, исследовать этот малый атом великого тела для того, чтобы уметь владеть этим телом. Ему нужно было средство для достижения цели, которую он видел в Юлие Цезаре, Аннибале и других; но претвориться в солдата, сделаться таким, чтобы от тебя «отдавало солдатом» всюду и всегда, — этого он желать не мог. Не было к тому никакой надобности для человека высшего сословия, образованного и развитого; не могло быть и желания. Вышло однако не так: его втянула в себя солдатская среда. В

русской солдатской среде много привлекательного. Здравый смысл в связи с безобидным юмором; мужество и храбрость спокойные, естественные, без поз и театральных эффектов, но с подбоем самого искреннего добродушия; уменье безропотно довольствоваться малым, выносить невзгоды и беды, также просто, как обыденные мелочные неудобства. Суворов был русский человек вполне; погрузившись в солдатскую среду для её изучения, он не мог не понести на себе её сильного влияния. Он сроднился с нею навсегда; все, на что она находила себе отголосок в его натуре, выросло в нем и окрепло, или же усвоилось и укоренилось. Этим путем много могло зародиться или развиться в нем такого, чего он вовсе не искал и даже чего не хотел бы. По крайней мере мы находим подтверждение этой мысли впоследствии, в его собственных словах; он не раз пытается извинить себя во многом тем резоном, что судьба определила ему, так сказать, сложиться в солдатской среде. В бытность свою солдатом, он изучил во всей подробности воинские уставы и постановления, бывал постоянно на строевых ученьях и ходил в караул; сам чистил ружье, называя его своей женой; разделял с нижними чинами все их служебные труды. В нем не было и тени дилетантского верхоглядства или резонерства; все было для него достойно внимания и строгого исполнения; он ничего не делал на половину или кое-как, все заканчивал; всякую обязанность свою или служебное требование исполнял с величайшею точностью, граничившею с педантством. Его уму был присущ дух критики, но он дал ему волю только впоследствии; теперь он учился, — и критике места не было. Такого разбора солдат не может быт заурядным служакой, и действительно Суворов был образцом для всех. Между тем это не могло доставаться ему легко; в полку застиг его критический возраст, когда здоровье требует особенного о себе попечения. Но Суворов вышел и тут победителем, продолжая начатую дома закалку своей натуры. Это был целый прикладной курс гигиены, обдуманный и с большим терпением исполняемый. Суворов положительно укрепил свое здоровье и, будучи с виду тщедушным и хилым, лучше иных здоровяков переносил усталость, голод, ненастье и всякого рода лишения. Почти никаких подробностей о его службе в нижнем звании до нас не дошло, кроме одного случая, который он сам потом рассказывал. Из числа военных занятий мирного времени, караульная служба имеет наиболее важности и исполняется в военное время почти без изменений, совершенно так же, как и в мирное, чего про многое другое сказать нельзя. Поэтому строгое, педантическое исполнение всех мелочных требований караульной службы ест

непременное условие солдатского воспитания и образования. Именно в этом солдату-Суворову и пришлось однажды выдержать испытание. Будучи в Петергофе в карауле, он стоял на часах у Монплезира, Императрица Елизавета Петровна проходила мимо; Суворов отдал ей честь. Государыня почему-то обратила на него внимание и спросила, как его зовут. Узнав, что он сын Василия Ивановича, который был ей известен; она вынула серебряный рубль и хотела дать молодому Суворову. Он отказался взять, объяснив, что караульный устав запрещает брать часовому деньги. «Молодец», сказала Государыня: «знаешь службу»; потрепала его по щеке и пожаловала поцеловать свою руку. «Я положу рубль здесь, на земле», прибавила она: «как сменишься, так возьми». Крестовик этот Суворов хранил всю свою жизнь 13. Долго тянул Суворов солдатскую лямку. В 1747 году был он произведен в капралы, через 2 1/2 года в подпрапорщики, в 1751 году в сержанты 1. В своем прошении в Московское дворянское депутатское собрание он говорит, что состоял в унтер-офицерских чинах с исправлением разных должностей и трудных посылок. Нет сомнения, что на такого исправного и ретивого служаку возлагались поручения, требовавшие распорядительности, но какого именно рода они были, нам неизвестно, кроме одного. Из двух сохранившихся подорожных видно, что сержант Суворов был послан в Дрезден и Вену с депешами в 1752 году, где и находился с марта по октябрь 1. Причиною выбора Суворова для такой командировки было конечно, кроме его служебной репутации, также и знакомство его с иностранными языками. Наконец 15 апреля 1754 года Суворов был произведен в офицеры. Свои сержантские обязанности он исполнял перед производством совершенно с тою же добросовестностью, как служил прежде простым солдатом. Ротный командир его говорил Василию Ивановичу, что он сам напрашивается на трудные служебные обязанности, никогда ни для каких надобностей служебных не нанимает за себя солдат, а исполняет сам; любит учить фронту, причем весьма требователен; большую часть времени проводит в казармах; солдаты очень его любят, но все считают чудаком 14. Произведенный в офицеры, Суворов расстался с Семеновским полком и поступил в армию, в Ингерманландский пехотный, поручиком 1. Поздно дослужился он до офицерского чина; ему тогда шел уже 25 год, а в этом возрасте многие в то время бывали полковниками и даже генералами. Так Румянцев произведен в генерал-майоры на 22 году, Н.И. Салтыков дослужился до этого чина, имея 25лет, Н. Б. Репнин 28 лет. Но производство в чины наверстать было можно впоследствии, что он и сделал, а долгая, тяжелая солдатская школа никаким дальнейшим опытом не

заменялась. Кто в ней не был, для того этот недостаток оставался невознаградимым. Суворов это хорошо понимал и позже говаривал: «Я не прыгал смолоду, зато прыгаю теперь». Он не был скороспелкой, как многие другие, зато успел развить в себе качества, искусственному росту не присущие. Было бы очень любопытно и поучительно проследить первое время офицерской службы Суворова. Многое в нем спорное, неясное или загадочное сделалось бы несомненным; если бы мог быть воспроизведен с фотографическою верностью хоть один день его тогдашней жизни. К сожалению этого нет; сведения о нем за несколько лет вперед еще беднее, чем за время солдатской службы в гвардии. В Ингерманландском полку прослужил он около двух лет, причем бывал часто у отца и по его доверенности хлопотал в присутственных местах, собирая выписи из книг на разные части отцовского недвижимого имения. В январе 1756 года его повысили в обер-провиантмейстеры и послали в Новгород; в октябре того же года сделали генерал-аудитор-лейтенантом, с состоянием при военной коллегии; в декабре переименовали в премиер-майоры:). Следовательно первые годы по производстве в офицеры, он только временами нес строевую службу и по всей вероятности ротой не командовал. В чем именно заключались его обязанности в Новгороде и при военной коллегии, — не знаем, но судя по его взглядам и вкусам позднейшего времени, надо полагать, что занятия эти приходились ему не по нутру. Однако они не прошли бесследно и принесли ему пользу. Спустя 35 лет, в Финляндии, поставленный в необходимость приводить в порядок хозяйственную часть войск, он замечает в одном из своих писем, что этот род службы для него не новость, что он подготовился к нему раньше, когда был обер-провиантмейстером 15. Несомненно то, что в эту пору своей жизни и службы, Суворов продолжал ревностно заниматься своим умственным образованием, которое приняло теперь более общее развитие. Он не хотел быть только ремесленником военного дела и именно потому, что ставил его выше всякого другого. Из предметов общего образования, история и литература стояли у него на первом плане, но не исключали никаких других знаний. Литературные знаменитости последнего времени были ему хорошо известны, и он любил их впоследствии цитировать при каждом удобном случае. Он теперь не только много читал, но пробовал и писать. В Петербурге, при кадетском корпусе, составилось в царствование Елизаветы Петровны первое Общество любителей русской словесности и первый русский театр. Находясь по временам в Петербурге, Суворов посещал это общество и читал там свои литературные опыты. Сведение это идет от писателя того времени, Хераскова, автора Госсиады, с

которым Суворов был в приятельских отношениях; тоже самое утверждает и другой писатель прошлого столетия, Дмитриев. Литературные опыты Суворова написаны в любимой форме того времени, именно в виде разговоров в царстве мертвых. Беседует Кортец с Монтецумой и Александр Македонский с Геростратом. Монтецума доказывает Кортецу, что благость и милосердие необходимы героям. Во втором разговоре автор, сопоставляя подвиги Александра с поступком Герострата, старается показать разницу между истинною любовью к славе и тщеславной жаждой известности. Суворов написал оба разговора в 1755 году и читал их в Обществе любителей русской словесности. При чтении делались замечания, которые автор охотно выслушивал, принимал и, не выходя из собрания, делал поправки. «Я боюсь забыть, что слышал», говорил он при этом: «я верю Локку, что память есть кладовая ума; но в этой кладовой много перегородок, а потому и надобно скорее все укладывать, что куда следует». Оба разговора были напечатаны в 1756 году, в издававшемся при Академии наук первом русском журнале под заглавием «Ежемесячные сочинения». Под первым разговором подписано С. под вторым А. С 16. Они не обнаруживают ни особенного богатства мыслей, ни литературного таланта, написаны искусственным слогом, подходящим к Сумароковскому, который в прошлом столетии довольно долго считался образцовым. В языке обеих статей нет ни малейшего намека на позднейший отрывочный, анигматический способ выражения Суворова, по которому всякая строка, им написанная, сразу выдает своего автора. Вернее было бы оба разговора принять не за сочинения, а за переводы, если бы не существовало свидетельств, что они оригинальное произведение Суворовского пера. Но если бы даже статьи на самом деле были переводные, то они все-таки имеют цену, указывая на направление мыслей Суворова, выражающееся в словах Монтецумы и Александра. Таких взглядов Суворов держался постоянно, всю свою жизнь; это доказывает, что в молодости он обладал уже полным самосознанием и правилами, выработанными близким знакомством с историей и работой собственной мысли. Человек, вступающий на жизненное поприще с добытыми таким путем основаниями, не может не иметь будущности. Чтобы свести к итогу все изложенное, приведем слова одного иностранного писателя, который сказал, что Суворов завоевал сперва область наук и опыты минувших веков, а потом победу и славу.

Глава II. Первая боевая практика; 1758—1762.

Семилетняя война. — Назначение Суворова на театр войны; пребывание его в Мемеле; перевод в действующие войска. — Военные действия; несогласия и неискусство союзников. — Набег на Берлин; участие в нем Суворова. — Назначение Суворова в летучий отряд; первое его начальствование в деле; последующие встречи с неприятелем; временное командование драгунским полком; зимняя кампания 1761 года; конец войны. — Отзывы начальников о Суворове. — Условия, в которых он начал свое боевое поприще: школа, им пройденная. — Отъезд в Петербург и производство в полковники

Пруссия сделалась лишь в XVII столетии государством независимым и только в начале XVIII века возведена на степень королевства. Королевство складывалось и росло не долго, но быстро и прочно, благодаря особенным качествам своих государей. При вступлении на престол Фридриха Великого, государство его состояло все-таки из территории небольшой, населенной 4 миллионами жителей, и хотя было далеко не богато, но отличалось сравнительным благоустройством и обладало хорошо организованною военною силой. Это доброе наследие не осталось в руках Фридриха II мертвым капиталом; он не способен был зарывать талант в землю. Многое было сделано его предшественниками, но еще больше оставалось сделать ему самому, дабы поставить государство на высоту, где бы оно могло не опасаться за настоящее и спокойно глядеть в будущее, Дело за Фридрихом не стало. Он вмешался в спор давних, непримиримых соперников и врагов — Австрии и Франции. Австрия была унижена, Богемия завоевана, Пруссия усилилась Силезией. Честолюбивые замыслы Фридриха и его способность привести их

в исполнение стали очевидны; поэтому старые счеты были отложены в сторону, прежние враги соединились, и против Пруссии составилась могущественная коалиция. Австрия, Франция, Польша, Саксония, Швеция, большая часть германских князей, а потом и Россия, — таков был искусственный союз, грозивший самому существованию Пруссии. Упорная война продолжалась 7 лет; она то приводила Пруссию на край гибели, то возносила её короля на высокую степень военной славы, и была замечательна еще внутренним своим смыслом, потому что не вызывалась существенными интересами союзников и только одной Австрии могла принести большие выгоды.

Война давно разгорелась и выразилась положительными фактами, — Саксонский курфюрст бежал в свое Польское королевство, Дрезден занят, Австрийцы разбиты, — а Русские все как будто чего-то выжидали. Армия их готовилась не торопясь, главнокомандующий еще не был назначен, вообще при дворе не спешили. Мало хорошего сулила эта медленность в виду такого противника, как Фридрих.

Премиер-майору Суворову открылась возможность вступить наконец на боевое поприще, к которому он так усердию готовился. Был ли он назначен в действующую армию по воле начальства, или сам просился, — во всяком случае получил не то, чего желал. В Лифляндии и Курляндии формировались в то время для вступивших в Пруссию пехотных полков третьи батальоны. Суворов был приставлен к этому делу, занимался им в 1758 году и потом послан препроводить 17 вновь сформированных батальонов в Пруссию. Последнее поручение конечно было принято им с радостью, потому что приводило его по-видимому к цели — в действующую армию. Случилось однако не так. В Мемеле были учреждены для армии продовольственные магазины, склады с разного рода военными запасами и госпитали. Суворов, сдав третьи батальоны, был назначен комендантом в Мемель, в том же 1758 году. Это обстоятельство, между прочим, доказывает, как он мало еще был известен и в какой степени был чужд всякой протекции. Получить назначение в армию было делом очень легким, лишь бы нашлось кому замолвить словечко, ибо все тогда делалось из милости да по связям родства и свойства. Но покровителей у Суворова не было, и он должен был остаться в тени. Военное время сравнительно с мирным бывает редко; для истинно военного человека с подготовкою и честолюбием Суворова — видеть войну проходящею перед глазами и не принимать в ней участия, — есть тяжелое испытание, Поэтому Суворов, находясь в Мемеле, всячески искал себе выхода в армию и наконец, неизвестно каким

способом, добился. В 1759 году, в чине подполковника, он получил новое назначение и поступил под начальство князя Волконского, а затем определен к генерал-аншефу графу Фермору дивизионным дежурным, т.е. к исправлению должности в роде дежурного штаб-офицера или начальника штаба.

Тем временем военные действия Русских шли не важно. Первая их кампания, 1757 года, велась под главным начальством графа Апраксина. Медленно, черепашьим шагом пришла русская армия, одержала победу при Грос-Егерндорфе, простояла целую неделю без дела и ушла назад в Лифляндию. Кампания ознаменовалась грабежами и завершилась бедственным обратным походом в ужасную осеннюю распутицу; тут армия потерпела больше, чем понесла бы вреда от поражения. Отступление после победы произошло вследствие соображений не военных; главною пружиною этого странного события был наследник престола, благоволивший к Прусскому королю, с которым его Государыня вела войну. Сражение выиграно исключительно храбростью русской армии; Апраксин был тут не при чем; и он, и противник его, прусский фельдмаршал Левальд, соперничали друг с другом количеством и качеством наделанных ошибок; но пальма отрицательного первенства принадлежала все-таки Апраксину.

Апраксина сменили, назначили Фермора. В 1758 году он занял покинутое королевство Прусское и медленными переходами двинулся в Бранденбургскую мархию. Фридрих искусными маневрами оттеснил его и при Цорндорфе атаковал с ожесточением, приведенный в негодование грабежами «русской орды», как он называл нашу армию. Битва разыгралась яростная; с каждой стороны потеряно более трети людей, а результат получился ничтожный. Победа Пруссаков была нерешительная; каждая армия сохранила свою часть поля сражения, и обе на второй день отступили, боязливо наблюдая друг за другом. В следующем году Фермор просил увольнения от главного начальствования и был заменен Салтыковым, но остался в армии, чтобы быть полезным отечеству, поступил под команду к Салтыкову и потом, по болезни последнего, предводительствовал армиею опять, но лишь в смысле временного замещения главнокомандующего. В этом году прибыл к армии Суворов; первое дело, происходившее на его глазах, было занятие Кроссена в Силезии, в июле месяце. Затем армия двинулась к Франкфурту на Одере и к ней присоединился Лаудон с 15,000 австрийских войск. Фридрих не терял времени; собрав разные части войск откуда только было возможно, полетел с 48,000 человек, рассчитывая опрокинуть 80,000 армию союзников в Одер. При Кунерсдорфе произошло в августе жестокое сражение, первое, в

котором участвовал Суворов. В первый раз изменил тут Фридрих своему обычному благоразумию и убедил себя в победе, не видев еще неприятеля. Приняв курьера от Фердинанда Брауншвейгского с донесением о разбитии французов при Миндене, Фридрих сказал ему: «оставайтесь здесь. чтобы отвезти герцогу такое же известие». Но самообольщение только усиливает горечь разочарования; атака Лаудона с фланга решила битву, Фридрих был разбит совершенно, под ним убиты две лошади, прострелен мундир; на него налетели неприятельские гусары, и прусская кавалерия едва спасла своего короля. Пруссаки не отступили, а бежали в величайшем беспорядке. Бойня была страшная; потеря убитыми и ранеными превосходила с обеих сторон 35,000 человек; большинство прусских генералов было переранено. Но результата опять таки не достигнуто союзниками никакого. Судьба Пруссии находилась в руках Салтыкова, а он говорил Австрийцам: «мы много сделали, теперь ваша очередь». Вернее, что Салтыковым руководили соображения не военные, а придворные, ввиду пристрастия наследника престола к Прусскому королю. А имперский главнокомандующий Даун никогда не был в состоянии решиться на энергический образ действий. Фридрих Великий воспользовался этими обстоятельствами и чрез несколько недель снова принял грозное положение. Салтыков в конец рассорился с Дауном, ссылаясь на невозможность продовольствовать армию в опустошенных местах, отступил на свои зимние квартиры и поехал в Петербург приносить на союзников бесплодные жалобы и давать бесполезные советы.

Еще один год войны миновал без всякого толка; даром пролиты реки крови, похоронены тысячи храбрых, искалечены другие тысячи. Легко понять, какое впечатление вся эта бесцельная бойня производила на молодого Суворова, одаренного природной проницательностью и взглядом, просвещенным наукой. Он не командовал еще отрядами, следовательно не был погружен в интересы своего собственного, ограниченного круга действий, загораживающего сферу более обширную, он заправлял штабом корпусного командира Фермора; на его глазах двигались главные рычаги войны, и он имел возможность критически относиться ко всему происходившему. До нас дошел один частный случай, подтверждающий такое предположение. Когда, после Кунерсдорфской победы, Салтыков остался стоять на месте и даже не послал казаков для преследования бегущего неприятеля, Суворов сказал Фермору: «на месте главнокомандующего я бы сейчас пошел на Берлин». Это по-видимому простое замечание, очень характерно и кроме того

верно. «На войне все просто», сказал один писатель: «но простота эта дается трудно». Что сделал бы Суворов на месте Салтыкова, того именно и боялся Прусский король. Он писал королеве, чтобы она торопилась выезжать из Берлина с королевским семейством и приказала бы вывозить архив, так как город может попасть в руки неприятеля. К счастью Фридриха, он имел перед собой не Суворова, а Салтыкова.

Салтыков вернулся с чином фельдмаршала и со строгим повелением — вести энергическую наступательную войну. В 1760 году предполагалось вознаградить упущенное прежде; русская и австрийская армии долженствовали соединенными силами сокрушить небольшую армию Прусского короля. Но несогласие Дауна и Салтыкова пустило уж слишком глубокие корни и воспрепятствовало единодушному действию. После разных передвижений, Русские удалились и разместились по зимним квартирам в Польше, ознаменовав эту кампанию лишь смелым партизанским набегом на Берлин. Легкий отряд Чернышева, авангардом которого командовал Тотлебен, напал на этот город внезапно; туда ж шел Ласси с Австрийцами, но опоздал. Гарнизон Берлина состоял всего из трех батальонов; поспешно бросились к нему на помощь небольшие прусские отряды. Пруссаков разогнали, и пока сам Фридрих спешил к своей столице, она была занята Русскими, которые наложили на нее контрибуцию, разграбили окрестности, в особенности загородные дворцы и поспешно ушли. Предприятие это было задумано смело и выполнено удачно. по сопровождалось грабежами, которые еще усилили дурную репутацию русских войск.

В набеге на Берлин участвовал и Суворов, но командовал ли он частью войск или состоял при каком либо штабе, — неизвестно. Во всяком случае участие его не было выдающимся и ничего замечательного не представляет. Сохранился только один эпизод, свидетельствующий человеколюбие Суворова и его шутливость. При нападении на Берлин, казаки захватили красивого мальчика. Суворов взял его к себе, заботился о нем в продолжение всего похода и, по прибытии на квартиры, послал вдове, матери мальчика, письмо такого содержания: «Любезнейшая маменька, ваш маленький сынок у меня в безопасности. Если вы захотите оставить его у меня, то он ни в чем не будет терпеть недостатка, и я буду заботиться о нем, как о собственном сыне. Если же желаете взять его к себе, то можете получить его здесь, или напишите мне, куда его выслать» 2. Мать, конечно, пожелала получить сына обратно.

Есть также известие, что Суворов посещал прусские масонские ложи 3. Может статься, так как он был человек

любознательный; но сомнительно, чтобы сам он был когда-либо масоном.

В этом же году отец его был отправлен за границу для устройства продовольствия армии во время похода и поручение это, как видно, исполнил успешно, потому что назначен сенатором, а в декабре губернатором занятого королевства Прусского, на место генерала Корфа. В этой должности он состоял до марта или апреля 1762 года, правил провинциею умно, успешно заботясь об увеличении доходов. сам же жил скромно, давая иногда балы для двух своих дочерей 4. Наезжал к нему в Кенигсберг на короткое время и сын, который продолжал служить при Ферморе и лишь в конце 1761 года получил новое назначение, уже вполне боевого характера.

Салтыкова заменили Бутурлиным; при нем дела пошли чуть ли не хуже прежнего; по крайней мере Русские, при своих значительных силах, сделали в 1761 г. не больше, чем в предшествовавшие года. Назначено было Лаудону соединиться с Русскими и вырвать из рук Фридриха Силезию. Половина похода прошла в стараниях соединить силы союзников и вслед за тем они опять разделились. Прежде Салтыков препирался и ссорился с Дауном, теперь тоже самое происходило у Бутурлина с Лаудоном. Русские двинулись в Померанию, а Лаудон, хотя и усиленный корпусом Чернышева, не отважился однако предпринять ничего серьезного против Фридриха. Король тем временем отрядил генерала Платена, с 10 или 12,000-ным корпусом — тревожить Русских и уничтожать в Польше их магазины. Против него был выставлен летучий конный отряд генерала Берга и кроме того решено завладеть в Померании Кольбергом, что и поручено генералу Румянцеву.

До сей поры мало приходилось Суворову принимать участия в делах против неприятеля. В Силезии он бывал в разных стычках, но они были так мелки, что в летопись кампании не вошли, и даже сам он про них не упоминает. При всем том Суворов успел несколько выдвинуться из ряда; его знали и ценили многие, в том числе и Берг. Получив в командование легкий корпус, Берг стал просить Суворова к себе. В сентябре 1761 года последовал от Бутурлина приказ: «так как генерал — майор Берг выхваляет особливую способность подполковника Казанского пехотного полка Суворова, то явиться ему в команду означенного генерала» 5. Таким образом Суворов расстался с Фермором. Они сделались близкими людьми, и подчиненный пользовался особенным расположением начальника. Даже в старости Суворов хранил благодарную память о Ферморе. Почти 30 лет спустя, в одном из писем своих к князю Потемкину, он вспомнил про давнего своего

начальника с чувством неостывшей признательности и сказал: «у меня было два отца — Суворов и Фермор».

Корпус Берга тронулся на Бреславль, прикрывая отступление русской армии. Генерал Кноблох, предводивший довольно сильным отрядом, двинулся против Русских с барабанным боем и распущенными знаменами. Это было при деревне Рейхенбах, недалеко от Бреславля. Суворов не пошел на него встречной атакой, а ограничился артиллерийским огнем. Батарея действовала хорошо; с первых же выстрелов загорелся большой сенной магазин и один за другим стали взлетать на воздух прусские зарядные ящики. Канонада продолжалась до тех пор, пока генерал Кноблох не ретировался. Это маленькое дело было первым дебютом Суворова, о котором не сохранилось никаких подробностей. Остается заметить, что вопреки своим будущим правилам, Суворов ограничился под Рейхенбахом пассивной обороной и не преследовал отступившего неприятеля, если только единственное дошедшее до нас известие об этом деле изложено верно.

Русский легкий корпус расположился между деревнями Большим и Малым Вандеринсом, вблизи Лигница, в 1/2 милях от прусской армии, предводимой королем, рано утром атаковал прусские аванпосты и оттеснил их. Король двинул несколько тысяч на помощь; Русские стали отступать, отдавая каждый свой шаг с боя и отошли таким образом до первой своей позиции, в 4 милях. Пруссаки усиливали натиск, но без результата. Дело продолжалось почти целый день; одним крылом Бергова корпуса, силою в 2000 человек, начальствовал Суворов.

Под Швейдницом он беспрерывно тревожил прусский лагерь. Однажды с 60 казаками атаковал он гусарский пикет, занимавший в числе 100 человек вершину холма, но был отбит. Немного спустя он повел вторую атаку, но также неуспешно. Неудача раззадорила его; он налетел на пикет в третий раз, сбил гусар, занял холм и удержал его за собою, а получив подкрепление, принял угрожающее положение и готовился к атаке, но наступила ночь, и Пруссаки отошли в свой лагерь. В другой раз Суворов атаковал прусские ретраншаменты так энергично, что мог видеть очень ясно шатры главной королевской квартиры. Из прусской армии бывали частые дезертиры. Один из них, сержант, рассказал очень обстоятельно, какие запасы хранятся в Швейдницком магазине и сосчитал, что хлеба и фуража хватит Пруссакам на три месяца. Обыкновенно прусских беглецов отсылали в главную квартиру. Суворов советовал Бергу удержать этого сержанта, иначе показание его может поколебать главнокомандующего и изменить его наступательные планы. Берг

не обратил внимания на этот совет, а Бутурлин, получив от сержанта сведение, что прусская армия, прикрывавшая Швейдниц, обеспечена продовольствием надолго, оставил свою позицию, отошел назад и расположился позади Лигница.

Платен направился к Кольбергу левым берегом Варты. Суворов с сотнею казаков переправился вплавь через реку Нетцу, сделал ночной переход более, чем в 40 верст, подошел к Ландсбергу на Варте, разбил городские ворота, положил до 50 прусских гусар и сжег половину моста на Варте. так что Платен должен был наводить понтоны и собирать местные лодки, чрез что и потерял не мало времени. Когда он двинулся дальше, на Регенсвальд, Суворов, начальствуя 3 гусарскими и 7 казачьими полками, тревожил и задерживал его с фланга, а при выходе из Фридбергского леса, ударил на боковые Платеновы отряды и захватил много пленных.

В этих мелких делах Суворов обнаружил такую отвагу, быстроту и умелость, что о нем было доведено до сведения главнокомандующего. Бутурлин представил его к награде, донося Императрице, что Суворов «себя перед прочими гораздо отличил», а отцу его, Василию Ивановичу, написал любезное письмо, свидетельствуя, что его храбрый сын «у всех командиров особливую приобрел любовь и похвалу» 6.

Как бы поддерживая лестные отзывы главнокомандующего, Суворов, вместе с подполковником Текелли и полковником Медемом, атаковал вскоре после того прусский отряд, несмотря на сильный артиллерийский огонь отрезал левый фланг, втоптал его в болото, многих перебил и остальных забрал в плен. При этом Суворов сам завяз с конем в болото и, только благодаря подоспевшему драгуну, выбрался благополучно, с концу дела прибыл Берг и с пленными направился назад, к Старгарду; Суворов остался у него в ариергарде. Вслед затем, на окрестных холмах показались Пруссаки. Эскадроном гусар и 60 казаками Суворов дерзко атаковал с обоих флангов наступавший впереди полк; озадаченные Пруссаки подались несколько назад, потеряв 2 пушки и 2 десятка пленных, но скоро опомнились и окружили Суворова с его горстью людей со всех сторон. Ему оставалось одно — пробиваться; Суворов решился на это мигом, не теряя ни минуты и также быстро исполнил. Он пробился, сохранив даже своих пленных, но только бросил пушки, а затем, получив подкрепление, возобновил атаку, и прусский отряд был оттеснен, понеся большую потерю.

После многих сшибок, стычек и вообще мелких дел, где Русским приходилось не раз сдерживать напор многочисленного неприятеля, Суворов поехал сам по соседству к Фермору с

просьбою о подкреплении; Фермор обещал. Возвращаясь вечером к Бергу, верхом, в сопровождении проводника и двух казаков, Суворов был застигнут в густом лесу, близ Аренсвальда, сильною грозою с ливнем. Проводник бежал, Суворов заблудился, проплутал всю ночь и рано утром, при выезде из леса, чуть не наткнулся на неприятельские аванпосты авангарда генерала Платена. Не смотря на неожиданность, Суворов не растерялся и даже извлек из своего положения выгоду: высмотрел расположение Пруссаков, счел их силы и, никем не замеченный, поехал отыскивать свой отряд, который оказался всего в полумиле. Переменив измокшее белье и платье, он тотчас же изготовил отряд к атаке, с нетерпением выжидая прибытия подкрепления, обещанного Фермором.

Было близко к полудню, а подкрепление не прибывало. Авангард Платена, под начальством полковника де-ла-Мот-Курбиера, начал наступление по безлесной равнине, обратившейся от минувшего ливня в подобие болота. Русские передовые гусарские эскадроны были опрокинуты; Суворов подкрепил их 6 эскадронами конных гренадер. Курбьер открыл картечный огонь и построил оба свои батальона в каре, но они не выдержали яростных атак конно-гренадер и положили оружие. Тем временем приближалась прусская кавалерия; Суворов собрал кое-как своих расстроенных гусар, прихватил часть казаков, смелым ударом опрокинул прусскую кавалерию, и затем забрал в плен большую часть фуражиров находившегося вблизи отряда Платена. Платен переменил позицию, отойдя за городок Гольнау и оставив в нем небольшой отряд пехоты. Русская артиллерия принялась разбивать городские ворота, но безуспешно; Берг дал Суворову 3 батальона и приказал завладеть городом. Утром Суворов приблизился к городу под сильным огнем, выломал ворота, ворвался в улицы и выгнал неприятеля, причем получил две раны.

Вскоре после ему дали во временное командование Тверской драгунский полк, до выздоровления полкового командира. Прусские наблюдательные отряды далеко распространились из-под Кольберга; Берг двинулся туда двумя колоннами, левую вел сам, а правую, из трех гусарских, двух казачьих и Тверского драгунского полков, поручил Суворову. В деревне Нейгартен засели Пруссаки в числе двух батальонов пехоты и слабого драгунского полка. Построив свой отряд в две линии, Суворов повел атаку, сбил драгун, ударил на один из батальонов, многих положил на месте и человек сто взял в плен. Но другой батальон был частью рассыпан по деревне и из домов производил такой жаркий огонь, что Русские не могли удержаться, и должны были

отступить.

В последних числах ноября Платен подошел к Кольбергу с большим продовольственным транспортом, который, однако же, препроводить в крепость ему не удалось, и он ретировался, потеряв множество людей замерзшими. Корпус Берга следовал параллельно с ним фланговым движением и постоянно его тревожил. Все дело впрочем ограничивалось легкими стычками и перестрелками, тем не менее зимняя кампания была чрезвычайно тяжела. Тверской полк делал ее, по распоряжению Суворова, без обозов, ради большей подвижности, но от этого нисколько не пострадал и даже больных имел очень мало 7. Под Старгардом Суворов атаковал было с Тверским полком Платенов ариергард, по безуспешно, потому что дело происходило на замерзшем болоте, по которому прусская пехота двигалась беспрепятственно, а лошади русской конницы проваливались. Счастьем было уж и то, что Суворов отделался без больших потерь.

Декабря 16 Кольберг наконец сдался, благодаря настойчивости Румянцева, который хотя давно получил от Бутурлина приказание снять блокаду, но продолжал ее на собственный страх. Кампания 1761 года была окончена, Командир Тверского драгунского полка выздоровел, вернулся и принял от Суворова свой полк обратно. Суворову было поручено командование Архангелогородскими драгунами, и в общем представлении об отличившихся, Румянцев поместил его как кавалерийского штаб-офицера, который хотя и числится на службе в пехоте, но обладает сведениями и способностями прямо кавалерийскими. Перемена рода службы Суворова почему-то однако не состоялась. Генерал Берг тоже отозвался о нем с большою похвалою, как об отличном кавалерийском офицере, «который быстр при рекогносцировке, отважен в бою и хладнокровен в опасности». Румянцев и Берг были только отголоском русской армии, в которой Суворов приобрел уже известную репутацию. Известность его пошла даже дальше; его, штаб-офицера, знали больше. чем многих генералов, до того ряды союзников были бедны талантами.

В декабре 1761 года Императрица Елизавета скончалась; Фридрих был спасен. Борьба со слишком неравными силами становилась ему с каждым годом все труднее. а последняя кампания была уже напряжением отчаяния, ибо прусские боевые силы спустились до каких-нибудь 50,000 человек новонабранного, кое-как обученного, неопытного войска. Катастрофа видимо была не далеко. И в это-то время на русский престол всходит Император Петр Ш, безграничный, экзальтированный поклонник Прусского короля. Петр Ш

заключил с ним сначала перемирие, потом союз и почти вслед затем был сменен на престоле Императрицей Екатериной. Русская Государыня объявила себя нейтральною и предложила всем мириться. Утомление было общее и крайнее, мир состоялся.

Вступая в 1759 году в ряды действующей армии, Суворов жаждал практической боевой школы, добивался настоящей военной службы, Что же она ему дала?

Для военного успеха нужны: хорошая армия и даровитый полководец. Второе условие даже важнее первого, потому что отличная армия не в состоянии возместить своими положительными качествами отрицательных качеств плохого полководца и может только уменьшить некоторые из последствий дурного начальствования. Она есть орудие, а полководец — рука; умелая рука сделает дело и с дурным инструментом. Во всяком случае. гармоническое целое представляется только совокупностью обоих условий. Посмотрим же, в каком виде могли представиться Суворову элементы этого целого во время Семилетней войны у обеих воюющих сторон.

Из четырех русских главнокомандующих, одного Фермора можно, с грехом пополам, назвать военным человеком и в делах его найти временами некоторые признаки дарования. Остальные были просто вельможи-царедворцы, хотя наприм. Салтыков отличался храбростью и пользовался любовью войска, про их дарования, опытность, знания — не было и помину; выдвинули их качества придворные, связи, милость, благоволение; сделались они главнокомандующими так, как делались гофмейстерами, гофмаршалами. Преданность ставилась выше способности, угодливость выше годности. Принципы Петра I забылись или покрылись тем наносным слоем, который обыкновенно является результатом деятельности неумелых преемников великого мастера. Основное Петровское правило — назначать государственных деятелей по годности их и способностям, совершенно затерлось. Не только главнокомандующий, но и другие высшие чины армии назначались, за некоторыми исключениями, по той же системе; почти все делалось по указаниям связей и покровителей. Оттого Семилетняя война мало отметила у нас людей, которые завоевали бы себе блестящее место в истории будущего.

У союзников наших было немногим лучше, особенно у Французов, где высшие военные чины были доступны одному сословию и притом не по справедливой оценке каждого лица, а по проискам и покровительству. В Священной Римской империи на высших ступенях военной иерархии тоже царила по обыкновению бездарность; исключением служили весьма немногие, особенно

Лаудон, который заслужил себе особенное уважение со стороны Фридриха и Суворова. Но и такие лица не имели свободы действий, над ними тяготел гофкригсрат, и даже удачные дела, совершенные без предварительного разрешения, могли навлечь на виновных строгий приговор военного суда, что едва и не случилось с Лаудоном.

Эти недостатки союзного военноначальствования далеко еще не исчерпывают дурной стороны предмета. Бездарность, неспособность могли бы быть до известной степени парализованы единодушием; тогда были бы ошибки, но не рознь, не отсутствие всякой руководящей идеи. А именно этим союзники и страдали. Бессвязные, бесцельные, как бы случайные операции, бездействие при огромных средствах, взаимное недоверие, затаенная зависть и прямое её следствие — мелочное соперничество вместо чувства боевого товарищества и взаимной выручки, — вот чем дополнялась неприглядная картина союзного предводительствования. И все это завершалось самым верным залогом неудачи — боязливостью, даже страхом перед Прусским королем. Это жалкое чувство могло бы сделаться роковым для союзных армий, если бы сверху распространилось вниз и перешло в массы, но к счастию массы остались незараженными такою нравственной гангреной.

Как ни плохо было само по себе высшее начальствование, но оно представлялось еще более жалким при сопоставлении с существовавшим в прусской армии. Во главе всех военных сил и средств королевства стоял король, одаренный замечательным военным гением, смелый, решительный, настойчивый, владевший редким даром — верно оценять своего противника и на этой оценке строить свои планы и операции. Он делал иногда грубые ошибки, зная, что противник не сможет, а чаще не посмеет его накрыть, и не ошибался. С другой стороны, он редко упускал, без извлечения прямой для себя пользы, ошибки союзников, особенно самую крупную из них — бесплодную потерю времени. Наконец, будучи государем, он не боялся ответственности, как союзные генералы; несвязанный в составлении и исполнении своих предначертаний. он был единой душой, единой волей своей армии. Небогатый материальными способами, он был неодолим по своим нравственным средствам и, окруженный со всех сторон сильными неприятелями, не пугался их, в невзгодах не терял головы и снова приступал к делу с неослабевавшей энергией.

Больше под стать своему королю, чем союзным главнокомандующим были и главные сподвижники Фридриха. Нельзя сказать, чтобы они вполне отвечали своему назначению; многие из них сильно мешали своему верховному предводителю,

делая частые и грубые ошибки. Но между прусскими генералами все-таки находилось много даровитых и способных, служивших королю настоящими помощниками; таких генералов в немногочисленной прусской армии было больше, чем в союзных войсках, вместе взятых. Не каприз, не личное благоволение или милость возводили их на высокий пост, а справедливо оценяемое личное достоинство и действительная заслуга.

От предводителей перейдем к войскам. Военное искусство находилось в Европе во всеобщем упадке, кроме Пруссии. Войска были неповоротливы и неудобоподвижны, плохо и несоответственным образом обучены и, вследствие неспособности к маневрированию, от всякого продолжительного движения приходили в беспорядок. Вооружение было большею частию плохое; стрельба весьма слабая. Любой из союзных армий требовались целые сутки на построение боевого порядка: расположившись к бою, боялись тронуться с места, чтобы не перепутаться и не расстроиться. Несколько лучше других, хотя и незначительно, была военная часть у Австрийцев; во Франции же расстройство государственного управления перешло в армию; администрация войск находилась в полном разложении; дисциплина упала так низко, как ни у кого другого; военной службы в действительности не существовало.

В России военная служба была для податного сословия пугалом. Каждому нижнему чину предоставлялось право выходить в отставку по прослужении 8 лет, если его заменит один из ближайших родственников; но охотников почти не было, и закон, не будучи отменен, пришел в полное забвение. От военной службы отделывались всеми способами; рекрутские недоимки были беспрестанные и тянулись целые годы. Закон предписывал кроткое обращение с новобранцами, но не исполнялся, потому что шел в разлад с общим уголовным законодательством, с давно установившимися жесткими обычаями и со взглядами русского общества на взаимные отношения людей старших и младших, чиновных и простых, господ и слуг. Требования службы были большие, обращение начальников с нижними чинами жестокое, да и разлука с семьей предстояла рекруту долгая, почти вечная, От всего этого побеги между солдатами были часты, а между рекрутами необыкновенно велики. Варварское клеймение рекрут, заимствованное Петром Великим из Германии, было, правда, заменено бритьем лба, повторявшимся впредь до прибытия рекрута к полку; но этот шаг вперед остался без последствий. Беспрестанные указы о сроках для безнаказанной явки беглых рекрут и большие денежные премии за каждого пойманного, тоже не новели к успеху; побеги не уменьшались. Прямым

последствием такого положения дел был постоянный некомплект войск, который сделался хроническим недугом русской армии.

Обучение было плохое по программе и слабое по исполнению. Пехотный полк мог насилу в час построиться, да и то в замешательстве. Построение конницы производилось также очень мешкотно; атака тяжелой кавалерии делалась рысью; регулярная кавалерия полагала свою силу в огнестрельном действии. Артиллерия нисколько не опережала своими качествами другие роды оружия. Маневрирование войск большими массами почти не существовало; построение дивизий или корпусов походило на совершенный хаос; поход был очень медленный и беспорядочный; обозов при войсках находилось несоразмерно много; при 90,000-нойармии, шедшей к границам Пруссии, считалось больше 50,000 повозок. Разведывательная и сторожевая служба пребывала во младенчестве, офицеры в ней ничего не смыслили. Лагери разбивались где попало, без всякого соображения гигиенических и тактических условий. Некомплект полков увеличивался вследствие дурной организации обозной части и злоупотреблений низших начальников; ротные командиры брали себе прислугой по 10-12 человек, около третьей доли полка состояло при обозе 8. Дисциплина была строгая, но внешняя, в глубь человека не проникала и воспитательного значения для него не имела. Грабежи всюду сопровождали русскую армию; грабили не одни иррегулярные войска, но все без исключения; тут действовала не столько жажда наживы, сколько какой-то инстинкт разрушения, который был особенно силен у казаков. Слабость сознательной дисциплины высказывалась не только у солдат, но и офицеров и выражалась ненормальностью отношений начальствующих лиц между собою и к нижним чинам. Не смотря на обязательность военной службы для дворян, понятие о субординации оставалось им чуждым. Они были больше господами, чем офицерами, и на нижних чинов смотрели, может быть бессознательно, не так как следует офицеру на солдата, а скорее как смотрел барин на мужика.

Все эти недостатки русской армии выкупались однако же в известной степени её прирожденным достоинством - стойкостью. Качества этого не отрицали даже наши неприятели. Без преувеличения можно сказать, что оно было свойством русской армии больше, чем какой либо другой. Такое неоцененное достоинство не только выкупало значительную долю недостатков самой армии, но отчасти и изъяны главного начальствования, зачастую спасая от плачевных следствий неумелого предводительства. Так было тогда, в Семилетнюю войну, так случалось неоднократно и после, и чем ниже бывали качества

главнокомандующих, тем ярче бросалась в глаза самому поверхностному наблюдателю эта капитальнейшая особенность русского солдата.

Армия Фридриха Великого отличалась от союзных армий хотя не в той мере, как он сам от союзных предводителей, но все-таки весьма существенно. Она была лучше вооружена; строевое обучение её было доведено до тонкости, может быть излившей, но этот излишек мы видим теперь. а тогда он наглядно увеличивал разницу между войсками хорошо обученными и плохо обученными. Пехота стреляла гораздо лучше всякой другой; кавалерия производила атаки быстро, холодным оружием; материальная часть артиллерии значительно изменилась и улучшилась. Тонкий строй был принят как обыкновенный порядок для боя и для маневров в присутствии неприятеля, введены большие каре против кавалерии и сомкнутые дивизионные колонны. Прусская армия маневрировала в степени, близкой к совершенству; быстро и легко переходила из походного порядка в боевой; походные движения исполняла как учебные; часто бивуакировала, чтобы не таскать за собой шатров; часто продовольствовалась у обывателей; имела с собою лишь самый необходимый обоз. Все это делало Фридрихову армию поворотливою и подвижною до такой степени, что он дозволял себе безнаказанно сосредоточение войск в виду неприятеля, фланговые марши на пушечном от него выстреле, движение через страну, угрожаемую тремя армиями, добровольное пожертвование своими операционными линиями, т.е. все то, о чем его противники и подумать не смели. Наконец, для полноты картины следует еще заметить, что прусская армия была сплочена чрезвычайно строгою дисциплиной, без чего невозможно было достигнуть педантической точности обучения. В солдате буквально исчезал человек; от него требовалась только механическая исправность действия в однажды определенном направлении. Военные законы изобиловали самыми варварскими наказаниями; ничто не проходило даром, всякая вина была виновата; взыскания назначались и производились с такою же точностью, с какою дрессировалась армия. Вообще дисциплина прусской армии была доведена до степени, о которой в нынешнее время трудно даже составить понятие. Все эти элементы, и худые и хорошие, имели свой *raison d'etre* при духе, оживлявшем Фридрихову систему, оттого она и достигла в руках великого полководца, своего создателя, таких блестящих результатов.

Вот при каких внутренних и внешних данных развернулась война перед пытливым взором молодого Суворова и доставила ему первую боевую практику. Как все виденное и замеченное

переварилось в его голове вместе с прежде добытыми выводами теоретического изучения и к каким именно результатам его привело, — увидим в следующей главе.

Он оставил армию и возвратился в Россию в 1762 году, отец его тоже, но только уехали они в разное время и под различными впечатлениями. Василий Иванович был отозван по воцарении Петра III, так как слишком усердно соблюдал во время своего управления Пруссией русские государственные интересы и мало заботился о приобретении между Пруссаками популярности 4. По всей вероятности, до Фридриха доходили невыгодные о нем вести, а этого было достаточно, чтобы сделаться неугодным Петру Ш. Суворов-сын уехал позже; он был послан в Петербург с депешами, представился Императрице и собственноручным её приказом 26 августа произведен в полковники с назначением командиром Астраханского полка 9.

Глава III. Командование полком; 1762—1768.

Смотр полку; жизнь Суворова в Петербурге; перемещение в Ладогу; красносельские маневры; участие в них Суворова. — Его деятельность в Ладоге по части благоустройства н хозяйства полка. — Суворовская система военного обучения: философская её основа, своеобразность, последовательность, простота, верность. — Приемы обучения; полная их соответственность началам системы. — Необычность системы и приемов; они не поняты и отнесены к его эксцентричности. — Взгляды Суворова на другие роды оружия. —Выступление в военный поход

Производство Суворова в полковники с назначением командиром Астраханского полка состоялось перед самым отъездом Екатерины II в Москву, на коронацию; полк остался в Петербурге вместе со своим командиром, продолжая содержать городские караулы. По возвращении Государыни, Астраханский полк был сменен на петербургской стоянке Суздальским пехотным, и Суворов назначен командиром этого последнего полка в 1763 году, 6 апреля 1. До нас не дошло никаких сведений о Суворове за весь этот промежуток времени; почему он получил один полк вместо другого, сделано ли это по его желанию, или нет, уходил ли он с Астраханским полком на зимние квартиры, или оставался в Петербурге до прибытия Суздальского — ничего неизвестно. Надо полагать, что Астраханский полк был Суворову дан временно, и что он это знал, потому что, командуя им несколько месяцев, не применял к нему своей системы обучения. Это явствует из позднейших бумаг Суворова, где он часто упоминает про свое «суздальское учреждение», но ни разу не говорит про учреждение астраханское.

Получив Суздальский полк, Суворов тотчас же принялся учить его по вновь проектированному строевому уставу, напечатанному в следующем году. Так, по крайней мере, надо понимать достовернейшего историка первого периода его службы, Антинга, упоминающего про «новые маневры того времени», а не про собственно Суворовские маневры. В том же году, осенью, императрица производила Суздальскому полку смотр, осталась им чрезвычайно довольна, пожаловала офицеров полка к руке, а нижним чинам повелела выдать по рублю.

По всей вероятности, с этого времени и начинается в Суздальском полку Суворовское обучение. Еще год оставался полк в Петербурге, а потом больше полугода пробыл в Новой Ладоге, до вторичного прибытия в окрестности столицы. Будучи не временным, а настоящим командиром Суздальского полка, Суворов не мог пропустить столько времени даром, оставляя в небрежении то, на чем, по его убеждению, зиждятся победоносные качества войска. Подобное промедление противоречило бы страстному. нетерпеливому его характеру, да и не оправдывалось бы резонами. Без сомнения, в Петербурге нельзя было обучать полк по Суворовской программе во всем её объеме, но условия столичной службы нимало не препятствовали ему приложить к делу главные свои начала, так как полковые командиры имели тогда в своих руках большую инициативу и пользовались ею невозбранно. Затем, во время кратковременного пребывания полка в Ладоге (с осени 1764 до лета 1765 года), Суворов расширил объем обучения и пополнил пробелы, обусловленные характером столичной службы, недостатком времени и т. п. Таким образом, в полтора года он мог поставить полк на ногу по своему и сделать его если не вполне тем, чем он, Суворов, задался, то по крайней мере придать ему особый, отличный от других характер. Иначе нельзя объяснить некоторую особенность, которая выпала на долю Суздальского полка в 1765 году, на красносельских маневрах, как увидим дальше.

За это время имеются о Суворове скудные, но не лишенные значения сведения, заключающиеся в его письме к одной знакомой даме, писанном 27 января 1764 года. Это есть первое, по времени, письмо Суворова, дошедшее до нас в подлиннике. Из него видно, что Суворов не отличался тогда хорошим здоровьем, был очень худ и, но его словам, уподоблялся «настоящему скелету, лишенному стойла ослу, бродячей воздушной тени». На него производила очень дурное действие невская вода; он страдал болями в голове, в груди и особенно мучился желудком, но в постели не лежал и даже в четырех степах для лечения не сидел. «Я почти вижу свою смерть, — пишет он: — она меня

сживает со света медленным огнем, но я ее ненавижу, решительно не хочу умереть так позорно и не отдамся в её руки иначе, как на поле брани». Приглашая знакомую даму в Петербург, Суворов говорит, что 2-3 раза она может находиться на маскированных балах и еженедельно по 2-3 раза в спектакле, что он сам пользуется этими удовольствиями, насколько дозволяет его здоровье. Письмо любезного содержания, но видно, что адресовано не к предмету страсти или нежной привязанности, которых Суворов ни раньше, ни позже вообще не имел и даже подобного рода связей боялся. Написано письмо плохим французским языком; видно, что Суворов не владел еще им тогда в той-мере, как впоследствии, т. е. продолжал еще свое самообразование 2.

Приведенное письмо между прочим доказывает, что «закаливание» Суворовым своего слабого и хилого организма было, им достигнуто лишь рядом многих лет и давалось нелегко. Посещение им в эту пору театров и маскарадов имеет значение при оценке Суворова-чудака, но очередь этой темы впереди.

В марте 1765 года Суворов снова приезжал в Петербург по каким-то делам и с этого времени стал лично известен наследнику престола, которому был представлен.

В июне он прибыл в Петербург вместе с полком для принятия участия в красносельских маневрах, совершив этот поход форсированными маршами 3.

Опыт Семилетней войны вызвал у нас составление и издание ряда новых военных уставов и постановлений. Способность войск к маневрированию, в русской армии весьма слабая, обратила на себя внимание; но условию этому все-таки не придали той важности, которой оно заслуживало, и маневры Екатерининского времени, по крайней мере первой половины, были образовательным приемом довольно младенческим, по своим размерам и значению. Они производились обыкновенно двухсторонние, но слишком малыми частями, и главные задачи маневрирования состояли в устройстве засад и в обходе флангов. Исключения бывали, но редкие; одним из самых значительных следует считать сборы войск в 1755 году особенно под Красным Селом.

С самого почти вступления своего на престол, Екатерина обратила внимание на захиревших детей Петра Великого — войско и флот, и внимание это выразилось между прочим в смотрах, которые производила она лично. Во время коронации в Москве, в 1762 году, она смотрела войска, собранные там лагерем; в 1763 году познакомилась в Кронштадте с флотом; в следующем году производила смотр полкам в Эстляндии и

Лифляндии; в 1763 году ходила с флотом за Красную Горку, присутствовала на маневрах и находилась при бомбардировании нарочно выстроенного городка. В этом же году Императрица повелела вывести армию в разные лагери «такими корпусами, в коих бы можно было не солдатство токмо ружейной экзерциции обучать, но пользу установленных Её Императорским Величеством учреждений видеть» Главному лагерю приказано быть невдалеке от Красного Села — в состав его назначены три дивизии: фельдмаршала графа А. Б. Бутурлина (из гвардейских полков), князя А. М. Голицына и П. И. Панина. Полевой артиллерии было 44 орудия: ею начальствовал генерал-фельдцейхмейстер граф Г. Г. Орлов Всего собрано 17 пехотных и 7 кавалерийских полков, не считая грузинского гусарского полка, 500 казаков и 30 калмыков. Общее число войск простиралось до 30,000 человек.

Войска вступили в лагерь 15 июня; 16 и 17 приказано было производить ружейную экзерцицию, которой предавали тогда большое значение в обучении войска. Оттого два приготовительные к маневрам дня посвящены были именно тому, что скорее всего из занятий можно было исключить, а теми отраслями службы, которые были особенно нужны для предстоящих маневров, не занимались, но крайней мере этого но видать. Императрица отправилась из Петербурга в Красное Село 18 числа и на следующий день верхом объезжала расположенные в лагере войска; объезд продолжался больше двух часов.

Войска были разделены на две армии — Государыни и Панина; в первую вошли дивизии Бутурлина и Голицына. Для прикрытия левого фланга и отчасти фронта Государыниной армии, был сформирован легкий корпус, под начальством бригадира Измайлова, в состав которого вошли один батальон и две гренадерские роты Суздальского полка, с несколькими кавалерийскими частями. С этим легким корпусом сама Государыня производила рекогносцировку неприятельского расположения. Сначала кавалерия потеснила неприятельские ведеты и пикеты, а затем Суворов с пехотою и артиллериею произвел наступательное движение, занимая высоты одну за другою и очищая путь Екатерине для осмотра неприятельских позиций. причем конница прикрывала его фланги. Маневр был произведем очень хорошо и в большом порядке. Добыв нужные сведения, Государыня приказала легкому корпусу отходит к главным силам и возвратилась к своей ставке в 10 часов вечера; почти к тому же времени прибыл легкий корпус и тотчас же расставил сторожевые посты.

Маневры производились до 27 числа включительно; они не

представляют чего-либо поучительного, или относящегося к предмету этой главы, в том изложении, в котором до нас дошли. Панин конечно был уступчив, тем более, что командовал силами, почти вдвое слабейшими сравнительно с противником. Посредников не было. Государыня ездила большей частью верхом и возвращалась в ставку иногда поздней ночью. Характерная черта маневров заключалась в правиле, которого держались обе стороны: не побеждать часть русского непобедимого войска, а только одерживать над противником легкую поверхность.

Июня 28, в день вступления Екатерины на престол, генералитет устроил бал с ужином, пригласив Государыню с её двором; приглашение было принято благосклонно. Празднество дано в большом полотняном доме, 30 сажен в длину и 8 в ширину, и удалось вполне; за ужином сидело 365 человек. Войска распущены по квартирам 1 июля, Суздальский полк отправился в Ладогу опять ускоренным маршем и совершил оба пути, не оставив ни одного больного [4].

Кроме Суворова-сына, на красносельских маневрах участвовал и Суворов-отец, генерал-аншеф Василий Иванович, командуя гвардейским Измайловским полком, коего был подполковником.

Неизвестный автор, описывающий красносельский лагерь и маневры, приводит иногда имена некоторых генералов, принимавших в маневрах участие, но не говорить про штаб-офицеров. Исключением служит только Суворов, — про него он упомянул дважды, в одобрительном смысле. При всей своей ничтожности, обстоятельство это имеет смысл, тем более, что брошюра носит официозный характер и издана в том же 1765 году, т. е. когда Суворов далеко еще не попал в знаменитости, и восхваление его задним числом не могло иметь места [5]. Возьмем еще в соображение, что в летучий отряд были назначены пехотные части из полка Суворова, а не из какого-либо другого. То и другое, вместе взятое, подтверждает вышесказанное предположение, что он уже успел выдвинуть Суздальский полк из ряда других, особенно относительно подвижности и быстроты.

Придя на свои непременные квартиры, Суздальский полк оставался на них слишком три года подряд. Этот длинный промежуток времени и следует признать периодом главной деятельности Суворова — полкового командира. Тут уже ему не мешало никто и ничто. Все, что было раньше начато; получило теперь полное развитие и законченность. Материальная обстановка полка, строевое его обучение, нравственное воспитание солдата — одновременно обращали на себя его заботы и одновременно подвигались вперед.

Он выстроил, во-первых, полковую церковь, затем здание для школы. Закон требовал учреждения для солдатских сирот, начиная с 7-летнего возраста, школы, «обучая грамоте — читать и писать и часть арифметики; определяя к обучению надежных унтер-офицеров под смотрением одного офицера». Суворов открыл две школы, для дворянских и для солдатских детей, разделил на классы и сам сделался в них преподавателем. Он учил начальным правилам арифметики и написал учебник; быть может он же учил и закону Божию, ибо составил молитвенники и коротенький катехизис. Автор, сообщающий это известие, сам видел экземпляр Суворовского рукописного молитвенника. Курсы в обеих школах были разные; в чем именно заключалось это различие, неизвестно; знаем однако, что школьники дворяне, в интересах общего развития и внешней полировки, знакомились с началами драматического искусства и однажды, при посещении Новой Ладоги губернатором, разыграли в его присутствии какую-то пьесу. Следовательно при школе было устроено некоторое подобие сцены, конечно очень примитивное. Кроме церкви и школьного дома, Суворов выстроил конюшни для полковых лошадей и развел сад на бесплодной песчаной почве. Все эти постройки существовали и школы были в полном ходу в 1766 году, что и засвидетельствовал губернатор Сиверс; значит, первые заботы о благоустройстве полка начались у Суворова раньше прибытия из Красного Села в Ладогу, ибо в один год всего этого сделать было невозможно, особенно при главном занятии Суворова, — строевом обучении полка. Затем, что сделано Суворовым для полка в последующие два года квартирования его в Ладоге — нет никаких сведений; сам он в своей автобиографии вообще не говорит про период командования полком ни слова [6].

Расходы, как видно, производились немалые; какими же средствами они покрывались? Прямого ответа нет. Некоторые издержки Суворов, вероятно, относил на свой собственный счет, как иные это и утверждают, но такой ресурс конечно был не первым, а последним [7]. Отец Суворова занимался по-прежнему увеличением своего состояния, покупал новые имения, устраивал их, занимал и давал взаймы деньги и т. п. Если он и давал сыну какое-нибудь денежное пособие, то конечно весьма небольшое; со своей стороны сын тоже не был расположен ни просить у отца, ни затрачивать своих средств на такого рода расходы без особенных побудительных причин. Если обстановка Суздальского полка отличалась благоустройством, то прежде всего причиною тому были личные качества командира и его серьезный взгляд на службу и на свои обязанности. При этом взгляде не могло образоваться в хозяйстве полка никаких сбережений, которые

принадлежали бы не полку, а командиру. А в полках сбережения не только бывали, но и не могли не быть при мало-мальски порядочном хозяйстве; были они и в Суздальском полку, так как Суворов отличался бережливостью, и нужное у него отделялось от прихоти весьма резкою чертой. Другие или удерживали полковую экономию в свою пользу, или употребляли ее на удовлетворение существовавшей в то время, особенно в кавалерии, страсти к щегольству. У Суворова ничего подобного, по складу его понятий, не могло быть, а потому полковая экономия шла на издержки производительные.

Ресурсы его на благо полка увеличивались еще тем, что он ненавидел праздность, и постоянный труд солдата считал непременным условием для достижения высших интересов службы. В начале 70-х годов эта тема занимает в, его приказаниях и распоряжениях по подведомственным войскам некоторое подобие *caeterum censeo*; он старается даже, чтобы караульные солдаты, сидя в караульном доме, употребляли время не на игру в шашки, а более производительно.

Поэтому, несмотря на то, что во время его командования полком, солдату приходилось много работать не над тем, так над другим, — Суворов, без всякого сомнения, не затруднялся приложить солдатские руки и к постройке церкви, школы или конюшни, и к разведению сада, может быть даже с некоторым отягощением своих подчиненных. Такой его взгляд на солдатский труд много лет спустя дал в руки его недоброжелателей оружие и, справедливо ли, пет ли, породил мелкие, но многочисленные для Суворова неприятности. Как бы то ни было, но именно совокупность всех означенных ресурсов дала Суворову возможность сделать в Ладоге много на пользу полка.

Заслуга эта впрочем ничтожна сравнительно с тою, которую Суворов оказал своею воспитательною деятельностью в Суздальском полку, так как эта последняя не ограничилась узкою рамкою какой-нибудь 1,000 человек, а пошла потом гораздо шире и сильно содействовала длинному ряду побед и громкой славе русского оружия. Но прежде, чем знакомиться с военно-педагогическою деятельностью Суворова — полкового командира, надлежит отметить, что мог дать Суворову опыт Семилетней войны и в какой мере эти опытные данные повлияли положительно или отрицательно на его взгляды.

Каждая война, в которой проявились выдающиеся дарования и искусство, или которая привела к крупным результатам, оказывает прямое влияние на ход военного дела в последующее время. Наука обогащается новыми данными и новыми выводами; искусство принимает новые приемы, изменяя пли совершенно

отвергая старые; сложный военный механизм подвергается общим или частным преобразованиям. Другой вопрос — действительно ли нужны все эти перемены, верны ли наблюдения, справедлива ли оценка фактов, разграничено ли впечатление минуты от холодного взгляда критики. Ответ бывает и утвердительный, и отрицательный. Зачастую поражаются наглядностью и осязательностью результата и не добираются до первоначальной причины; увлекаются внешностью и не вникают в дух; вместо свободного отношения к предмету, вдаются в рабское подражание. Особенно сильное впечатление производит война на прямых её участников, на лиц, воспринимающих военные впечатления непосредственным путем. Чем ближе они стоят на войне к делу, тем эмпиричность их представлений становится сильнее, и тем труднее им, таким людям, удержать объективность взгляда. Обширная сфера деятельности и широкий для наблюдения кругозор умеряют этот недостаток, но не спасают от него. Подавляющая, сила личного впечатления, особенно при катастрофах и фактах резкого характера, гнетет так сильно и продолжительно, что иной участник или очевидец решительно не в состоянии от нее отрешиться, сделать правильную оценку факта и от нее дойти до верного вывода. Тогда все свое становится худым, все у противника хорошим, или наоборот, — и уже нет места здравой критике. Тогда основные начала военного искусства, неизменно существующие во все времена и эпохи, низводятся подчас чуть не до значения условных тактических пли уставных правил; сдача, например, целой армии, окруженной неприятелем, оправдывается неизбежностью, и прорыв признается безусловно невозможным; беспорядочная, но сильная стрельба наудачу возводится в тактический принцип, а холодное оружие низводится до значения простой дубины. Тоже самое конечно встречается и у посторонних наблюдателей, по уже по другим причинам; в настоящем случае говорится об одних первых, дабы указать, что сила личных впечатлений далеко не всегда приводит к выводам правильным. И чем теснее кругозор таких лиц вследствие их служебного положения, тем сила личного впечатления играет большую роль, и поверка его труднее.

Грандиозная Семилетняя война поразила умы современников. Силы воевавших были слишком неравны, боевые качества прусской армии преобладали над союзническими несомненно; военные таланты Фридриха ярко блестели во тьме общей, почти сплошной бездарности союзного предводительства. Началось повсеместное обожание, почти боготворение. Как в мифах языческих религий, основной идеал, будучи изображен во

внешних формах, исчезает из сознания верующих масс, и остается одна форма в виде идола, так с окончанием Семилетней войны дух Фридриховой военной системы, неясно и до того сознаваемый, совершенно заслоняется удобопонятными для всякого формами, и им воздается поклонение. На потсдамских полях производится священнодействие, и иностранные жрецы с умилением взирают на 3-4-верстную линию прусских батальонов, автоматически подвигающихся вперед с правильностью натянутой струны. Производится изучение прусских уставов до тонкости, исследуются до мелочей правила построения, маршировки, ружейной экзерциции; копируется обмундирование и снаряжение. Все, даже случайное и для самих Пруссаков не имеющее цены, обращает на себя внимание и подвергается изучению. Вот что сделалось задачею европейского воинского искусства на долгие годы; за то и упало оно так быстро и так низко, что только военные громы французской революции заставили всех очнуться и произведи новый переворот. Но и этот переворот в большей части Европы состоял из компромиссов между французскою новизною и прусскою стариною, и многочисленные мелочи, чисто внешние и механические, упорно сохранялись чуть не целое столетие.

Какое же впечатление эта война произвела на Суворова? Он был не больше, как штаб-офицер; боевая служба его происходила в тесном кругу; под напором личных впечатлений и под влиянием подавляющего авторитета короля-полководца, он казалось должен бы был вступить в ряды самых горячих его последователей и подражателей, не только в главном, но и в мелочах, ибо мелочи и приходились по плечу простому полковому командиру. Случилось однако совсем не то, потому что этот полковой командир обладал огромными дарованиями, научной подготовкой и самостоятельным взглядом на дело.

Образ действий союзных начальствующих лиц имел для Суворова значение отрицательное, т.е., это было для него школой на выворот, наставлением, как не следует поступать ни в каком случае, Медленность, нерешительность, страх перед противником, отсутствие единой живой мысли- все это конечно послужило ему живым уроком, который ничего нового ему не открыл, но подтвердил верность его собственных взглядов. Образ действий Фридриха в сильнейшей степени содействовал усвоению Суворовым того же вывода; глубокая верность основных принципов Фридриховского военного искусства должна была выяснить ему все то, что в этом отношении оставалось в его уме в виде гипотез и не получило еще определительных очертаний. Таким образом и Фридрих, и союзники с редким единством

содействовали Суворову в выработке взглядов и качеств, которые с того времени являются как бы характеристикой его имени.

Прусские ни союзные войска тоже были для Суворова богатым источником наблюдения и выводов. Больше всего должен был его поразить контраст между теми и другими в поворотливости и подвижности и указать на недостаток русских войск в этом отношении, как на капитальнейшую болезнь, требующую исцеления. Формам строя и уставным правилам он не придал большого значения, лишь бы они не становились в противоречие с жизненным началом, которому должны служить. Наперекор всей Европе, ударившейся в слепую подражательность, Суворов не увлекся внешними особенностями прусской военной системы, перед идеальною стройностью не благоговел, математическую точность маневрирования прусских войск и сложность маневрных задач считал для русской армии ненужными. Сознавая недостатки нашей армии относительно сущности дисциплины, он однако не преклонился перед прусскою, допуская её уместность в Фридриховой армии, но не в русской. Обучение русских войск он забраковал и по смыслу, и по способам; но чуть ли не в той же мере признал негодным для пересадки на русскую почву и знаменитый прусский образец. Ничтожность огня русской пехоты он оценил вполне, отдал преимущество этой отрасли военного образования в прусской армии, но моделью ее не принял ни ружейному огню в тактике пехоты первостепенного значения не придал.

Все подобные выводы, отрицательные и положительные, сделанные из опыта Семилетней войны, Суворов свел в своеобразную, собственно ему принадлежащую систему обучения войск; философский взгляд на военное дело и глубокое понимание национальных особенностей русского солдата проходят в ней рука об руку.

Никакая живая система не является сразу вполне сформированной в голове и законченным образом выраженной в слове. Суворовская система не могла иметь в самом начале той целости и отчеканенной формы, которыми она отличалась 30 лет спустя. Поэтому было бы приемом неверным взять из позднейшей, хорошо известной системы главные данные, перенести их в ранний период и таким образом изложить первые шаги Суворова на военно-педагогическом поприще. Относительно основных начал это будет справедливо; относительно частностей может быть справедливо случайно, но исторически все-таки неверно. Должен быть изложен первообраз, хотя бы не полный, но действительно существовавший.

Прямых данных для такого пути нет; никаких документов 60-

х годов прошлого столетия, касающихся служебной деятельности Суворова, не существует или не отыскано. Но материал этот имеется за годы, непосредственно следовавшие за мирною его деятельностью в Ладоге. Тогда Суворов действовал под живым воспоминанием своего командования полком; он, так сказать, репетировал свои ладожские уроки, указывал на способы приложения их к делу, комментировал их, ссылаясь на недавнее прошлое. Тогда он только что вышел из полковых командиров, сфера его начальствования расширилась незначительно, и служебные занятия последних лет сохраняли еще для него весь свой интерес. Данные, заключающиеся в документах 1770-72 годов, поэтому восполняют в некоторой степени пробел 60-х годов. Они отрывочны, бедны и не дают возможности изобразить стройное целое, но дозволяют воспроизвести некоторые части и, связав их общею идеею, чрез них проходящею, получит понятие о первообразе Суворовской военной теории в главных её очертаниях. Последующее расширение военной деятельности Суворова пополнит в свое время пробелы и документально подтвердит или опровергнет верность первоначально сделанных выводов.

Предполагаемое на войне невозможным по теории, на практике оказывается сплошь и рядом исполнимым, и именно оттого, что считается за невозможное. Для этого надобно вселить в неприятеля веру в нашу непобедимость, а свои собственные войска воспитать так, чтобы их ничто не могло на войне озадачить, чтобы они имели твердую уверенность в своей силе и не допускали мысли, что могут быть побиты. В этом убеждении заключается действительная сила, боязливое отношение к неприятелю составляет действительную слабость. Эти общие истины были по преимуществу Суворовскими истинами. *A priori* они принимаются почти всеми, но едва ли кто, в такой степени как Суворов, усвоил их всем своим существом и вводил в практику дела. Они были краеугольным камнем его боевой теории. Из всех его приказаний и наставлений подведомственным ему войскам в 1770 — 72 годах, во время польской конфедератской войны, видно, что основным условием военного успеха он считал смелость. Он предписывает отрядам смелость во всяком случае; если нельзя дело сделать, то хоть доказать неприятелю несомненную, осязательную готовность к энергическому действию; убедить его в своей смелости. После одного незначительного, но стоившего потерь дела, он дает объяснение своему начальнику, генерал-поручику Веймарну, в январе 1770 года: «Они рекогносцировали, а что так дерзновенны, я один тому виной; как в Ладоге, так и под Смоленском, зимою и

летом, я их приучал к смелой, нападательной тактике». В приказе одному из полков, отданном в январе 1771 года, Суворов пишет: «Непохвальным нахожу, что на бунтовщиков (как на официальном языке назывались у нас тогда конфедераты) но близости тотчас не ударено; хотя бы таковой поиск был иногда и пустой, но служит всегда для страха». Развитие в подчиненных нравственной силы он обставляет всеми способами и ревниво оберегает их от прикосновения понятий противоположного характера, запрещая даже употребление на официальном языке некоторых слов. В этом отношении любопытен его приказ одному из отрядных начальников, ротмистру Вагнеру, 25 февраля 1771 года: «сикурс есть слово ненадежной слабости, а резерв - склонности к мужественному нападению; опасность есть слово робкое и никогда, как сикурс, неупотребляемое и от меня заказанное, А на то служит осторожность, а кто в воинском искусстве тверд, то предосторожность, но не торопливость... Свыше же резерва называется усилие, т.е. что и без него (резерва) начальник войска по его размеру искусства и храбрости сильным быть себя почитает» [8].

Действуя на нравственные силы своих подчиненных разными воспитательными приемами, Суворов не только не пренебрегает их строевым обучением, или, по тогдашнему выражению, «экзерцицией», но придает ему особенную важность. Начальнику своему, Веймарну, он пишет в 1771 году: «Каролинцы (войска Карла XII), их победами надменные, надеясь на себя излишне, отдыхают в Дрездене по-капуанскому (как Аннибал в Капуе (и перебегши земли неисчетные, падают при Полтаве перед Петром Великим, который между тем экзерцирует свое войско». В другом письме к Веймарну Суворов говорит про необходимость скорейшего подавления конфедерации: «Примите мое представление за блого, что чрез продолжение сих мятежей, они (конфедераты) где ни есть мешкая в углах, более времени имеют выэкзерцироваться, нежели мы». В третьем рапорте от того же времени он объясняет своему начальнику необходимость обучения войск примером Юлия Цезаря, который «в Африке со сборным слоновым войском не дрался с Юбою и со Сципионом вправду, давая им еще волю бродить, доколе он основательно не выэкзерцировал свое войско». В приказе по войскам 25 июня 1771 года, Суворов, подтверждая начальникам — «обучать в праздное время на постах их команды в тонкость», и давая разные по этому предмету указания, в заключение говорит: «Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех случаях потребны, только тщетны они, ежели не будут истекать от искусства, которое возрастает от испытаний, при внушениях и затверждениях

каждому должности его» [9].

Эти два основные правила, воспитание нравственной природы человека в смысле наибольшего развития военных боевых качеств и тщательное обучение его механизму военного дела, — сливались у Суворова в одно. и второе вполне служило первому. V него механическая часть обучения велась исключительно по указаниям боевого нравственного элемента. Бюжо, один из лучших французских маршалов, сказал, что между войсками, обладающими высоким нравственным чувством, храбрыми и проникнутыми правильными понятиями о бое — и между устроенными и обученными так, как большая часть войск европейских, — существует такая же разница, как между взрослыми и детьми. Суворов приготовлял в Ладоге взрослых.

Самый короткий и верный путь к приучению человека смело смотреть в глаза опасности, состоит в том, чтобы не выжидать ее, а идти ей на встречу. Этого принципа Суворов и держался, проводя его с помощью исключительно наступательных экзерциций и давая атаке холодным оружием преобладающее значение над прочими частями строевого устава. Атака в штыки есть действие, требующее большого напряжения воли. Трудность штыковых атак привела к попытке — дать огнестрельному оружию значение оружия решительного, заменив огнем удар. Попытка не удалась; войны в XVI столетии длились десятки лет, решительных сражений почти не было. Стали назначать для рукопашного боя отборные войска; если большие части войск пускались в атаку и доводили ее до конца, то подвиг их приводился в пример другим. Из западно-европейских армий, французская была наиболее способна к атакам холодным оружием; немцы обращали больше внимания на огонь, стараясь сделать его правильным и частым. Одним из главных военных принципов Фридриха Великого было усовершенствование огня. Успехи Фридриха вселили во всех дух подражания, в том числе и во французов; штыком стали пренебрегать. Но общий поток не унес с собою безвестного полкового командира русской армии; вопреки всей Европе, он придал штыку первостепенное значение и сделал его главным военно-воспитательным средством. Он добился своего, ибо в приказе его 25 мая 1770 года читаем: «Доселе во всех командах моей бригады атаковали только на палашах и штыках, кроме что стреляют егеря». Впоследствии он продолжал настаивать на верности своего взгляда и не ошибся. Его боевая карьера еще не успела дойти до своего апогея, как разразились войны французской революции; Французы опять перешли к боевым привычкам, сродным их национальному характеру, достигли успехов удивительных и произвели в

европейской тактике такую же перемену, какая незадолго перед тем была сделана у них самих гримером Фридриха.

Поступая таким образом, Суворов разрабатывал благодарную почву и прибегал к приему, сродному русской национальности. При недостаточности обучения вообще и при слабости огнестрельного действия в особенности, русская армия всегда чувствовала склонность к штыку; но эта склонность оставалась иистинктивной и не развитой. Суворов взялся за дело рукою мастера. Драгоценная особенность русской армии, замеченная им в Семилетнюю войну, стойкость — была элементом. обещавшим Суворову богатую жатву. Предстояло дорогой, но сырой материал — пассивную стойкость, обработать, усовершенствовать и развить до степени активной усстойчивости и упорства, так как оба эти свойства, и пассивное и активное, однородны и составляют только две разные ступени одной и тон же лестницы. Воспитание и обучение Суздальского полка и поведены были Суворовым именно в этом направлении; почти вся учебная программа прямо или косвенно сводилась к наступлению и удару.

Прежде всего Суворов обратил внимание на религиозную сторону и на нравственное чувство солдата. В 1771 году писал он Веймарну: «Немецкий, французский мужик знает церковь, знает веру, молитвы; у русского едва знает ли то его деревенский поп; то сих мужиков в солдатском платье учили у меня неким молитвам. Тако догадывались и познавали они, что во всех делах Бог с ними и устремлялись к честности». Как будто в подтверждение этого приема, он пишет тому же Веймарну, но совсем по другому поводу: «Надлежит начинать солидным, а кончать блистательным». Действуя на религиозное сознание своих людей, Суворов считал необходимым внушать им и благородные побуждения, преимущественно честолюбие. Веймарну он говорит: «Без честолюбия, послушания и благонравия нет» исправного солдата». В другом письме к нему, того же 1771 года, Суворов, вспоминая свое командование полком, выражается так: «Карал был почтен в корпоральстве, как капитан в роте; имел своего ефрейтора и экзерцирмейстера; предводим был с возможнейшим наблюдением старшинства, по достоинству, без рекомендации. Сержанты ведали капральства, но не для хозяйства, Всякий имел честолюбие» [10].

Два приведенные обстоятельства составляют, каждое порознь, целую программу действий; программы эти Суворов и разрабатывал. К сожалению, подробности остаются неизвестны.

Воспитывая и обучая свой полк в смысле наибольшего развития в нем смелости и отваги, Суворов, конечно, должен был выбросить из военно-учебной программы все, что принадлежит

обороне и отступлению. Как в нравственном, так и в материальном смысле хорошая оборона должна быть наступательною, следовательно специальных приемов обучения не требует. Отступает хорошо тот, кто отступает с наибольшим упорством; упорством же отличается не тот, кто обучен отступательным движениям в мирное время, а кто привык смотреть на бегство, как на позор. Эти-то взгляды на отступление и оборону Суворов и внушал своему полку. В приказе ротмистру Вагнеру, в 1771 году, он говорит: «Сикурс, опасность и прочие вообразительные в мнениях слова служат бабам, кои боятся с печи слезть, чтобы ноги не переломить, а ленивым, роскошным и тупо-зрячим — для подлой обороны, которая по конце — худая ли, добрая ли — расскащиками також храброю называется». В другом приказе на все посты своего района, в мае того же года, он внушает, что «одно звание обороны уже доказывает слабость, следственно и наводит робость». В одном только документе попадается как будто компромисс Суворовского направления с противоположным, но и тут Суворов прибегает к забавному софизму, с помощью которого старается как бы выгородить свой принцип в глазах других. Именно, в приказе 5 октября 1771 года на все посты он, рекомендуя для обучения войска наступные плутонги, прибавляет: «притом хотя и отступные, только с толкованием, что то не для отступления, но только для приучения ног к исправным движениям». Дабы убедиться в том, что Суворов отрицал оборону только в смысле воспитательного приема, а на самом деле умел ценить даже хорошее отступление, — стоит только прочесть его похвалу польским конфедератам за дело под дер. Наводицей. В апреле 1770 года он доносит Веймарну, что Поляков «на месте положено сот до трех или больше, число же всех их было поменьше 1000, только все хорошие люди, ибо когда они на площади, в лесу, место и батарею потеряли, и наша кавалерия их беспрестанно в тыл била, то они, ретируясь через два буерака и потом один болотный ручей, те три раза снова делали фронт довольно порядочно и ожидали атаку» [11].

Напирая на обучение наступательным действиям и атаке холодным оружием, Суворов, однако, не пренебрегал прочими отделами военного обучения и никогда не противуставлял одни из них другим. Это значило бы впадать в односторонность, а у Суворова было так много боевого такта, что он не мог допустить такой грубой ошибки. Его позднейшие военные афоризмы давали повод к подобным толкованиям, по эти толкования свидетельствуют только, что комментаторы трактуют о предмете. с которым знакомы слишком поверхностно. Тогдашнему

ничтожному ружейному огню он не давал большого значения, но отводил ему должное место в общей системе военного образования и требовал самого тщательного обучения солдат стрельбе. По его энергическому выражению, гренадеры и мушкетеры «рвут на штыках», а стреляют егеря; по отсюда не вытекало заключение, что первым не нужна цельная стрельба, а последним – штыки, он ненавидел народившуюся издавна поговорку: «пуля виноватого найдет», и преследовал это фальшивое понятие немилосердно. В приказе на все посты 25 июня 1770 года, он объясняет происхождение ненавистной ему поговорки так: «что же говорится по неискусству подлого и большею частью робкого духа — пуля виноватого найдет, — то сие могло быть в нашем прежнем нерегулярстве, когда мы по татарскому сражались, куча против кучи, и задние не имели места целить дулы, вверх пускали беглый огонь. рассудить можно, что какой неприятель бы то ни был, усмотря, хотя самый по виду жестокий, но мало действительный огонь, не чувствуя себе вреда, тем паче ободряется и из робкого становится смелым». Последнее рассуждение вполне объясняет взгляд Суворова на стрельбу и до такой степени просто и логично, что ныне обратилось почти в общее место. Поэтому на обучение стрельбе Суворов обращал очень большое внимание и возмущался, если она была плоха, В одном из донесений Веймарну он говорит с горечью: «Ныне настали малеванные мужики в солдатском платье, да по несчастью для роста еще фланговыми; сии мужики на кулачный бой — пуля виноватого найдет: такой недостаток исправного выэкзерцирования!» Дисциплинирование огня было постоянной заботой Суворова; ради этой цели, а также в видах воспитания солдата на атаке холодным оружием, он не допускает у гренадер и мушкетер стрельбу без дозволения, «ибо единожды навсегда вообразить себе должно, что больше потребно времени зарядить, нежели выстрелить... В погоне же всякий, кому случится, дострелнвать может, но и тут напрасно весьма пули не терять». В июне 1770 года он предписывает на все посты: «Пехоту хотя скорому заряжанию приучать, також и поспешнее плутоножной пальбе, но весьма оной в памяти затверживать, что сие чинится для одной проворности исправного приклада. В деле, когда бы до того дошло, то хотя бы весьма скоро заряжать, но скоро стрелять отнюдь не надлежит, а верно целить; в лучших стрелять что называется с утку ни нулн напрасно не терять». В Суворовской программе «скорый заряд и исправный приклад» занимают одно из первых мест, а стрельба в мишень была даже предметом исключительного внимания. Иногда она производилась по

окончании всего ученья, даже после атаки в штыки [12].

В прошлом столетии, особенно в 60-х годах, ружейная экзерциция считалась за самую существенную часть строевого образования; на нее тратили много времени и с нее обыкновенно начинали. Еще ранее того, закралось у нас во всеобщую практику пустое по смыслу и вредное в боевом отношении ружейное франтовство, вследствие которого наружной красоте ружья и эффектному исполнению ружейных приемов приносились в жертву качества боевого оружия. Изданной в 1764 году инструкцией уже обращалось на это обстоятельство внимание полковых командиров и указывалось, чтобы скобки и винты ружья были в своем месте и пустой красоты и грому не делали. Но это не действовало, и 20 лет спустя Потемкин заявлял в приказе, что полирование и лощение предпочтено в ружье его исправности. У Суворова ничего подобного не могло быть, ибо прямо противоречило бы самой сущности его требований. Он сразу свел ружейную экзерцицию с ей искусственной высоты и поставил на надлежащее место, изменив общепринятый порядок строевых занятий. «По данному в полк моему учреждению», пишет он Веймарну в 1771 году: «экзерцирование мое было не на-караул, на-плечо, но прежде поворочать, потом различное маршированье, а потом уже приемы, скорый заряд и конец - удар штыками». Вообще Суворов немного давал цены ружейной экзерциции, исключая исправного приклада», так как это прямо относится к цельной стрельбе. Других подробностей относительно порядка обучения не сохранилось. Весь же круг обучения, приведенный выше, несколько с большей еще полнотой изложен в приказе Казанскому пехотному полку, отданном в декабре месяце 1770 года. «Оному полку весьма экзерцироваться сколько в поворотах, приемах, скором заряде и примерной стрельбе с исправным прикладыванием, столько паче маршированию тихо, скоро и поспешно, наступательным эволюциям с захождением, разнообразным движениям и обращениям фронтов, взирая на разные местоположения, и атакам на штыках, а по окончании всего экзерцировать стрелянию в мишень, хотя бы то было в холодное время [13].

В этом приказе изложено, между прочим, условие обучения войск с применением к местности. Такое же самое требование высказано Суворовым в приказе на все посты, отданном в том же году; он предписывает обучать в тонкость основаниям разных экзерциций, маневрам, эволюциям и атакам, «толкуя и приучая к ним по различию их, состоящем в различии положения мест — ровных, низких, высоких, перерезанных, лесистых и болотных». Вообще боевой элемент обучения отзывается во всякой строке его

приказов и наставлений; иного способа обучения он не понимал и собственно про этот свой взгляд на дело не считал нужным и упоминать, тем менее объяснять его или доказывать [9].

Необходимая принадлежность боевого обучения есть простота, немногосложность. На войне не производят хитрых эволюций; их приложение — плацпарад да мирного времени эффектные маневры. Чем программа проще, тем скорее она усваивается, и в военное время, в случаях исключительных, солдат сам будет знать, что ему делать; иной поступит и машинально, но правильно. Обучение же сложное, уснащенное разными хитросплетениями, и в находчивом солдате может породить в минуту опасности недоумение и колебание.

Из духа Суворовского обучения и из разных приказов, слагается заключение, что Суворов руководился означенными соображениями. Но хотя его обучение в Ладоге было действительно боевое, немногосложное, однако, такое определение ее следует принимать безусловно. Суворов был только полковой командир, и хотя инициатива и свобода действий полковых командиров были в то время велики во всех отношениях, а потому обучение полков отличалось большим разнообразием (по выражению Суворова — «модой»), но строевой устав все-таки существовал, притом только что изданный, и не принимать его в соображение было невозможно. Полковые командиры не сочиняли своих собственных уставов, а держались одного, но применяли его различно; сделал так и Суворов. Он выделил части устава, подходившие к его программе; вдохнул в них свою направляющую мысль, и на этом основал свое обучение, переводя его в сознание офицеров и солдат. Остальные уставные правила он, надо полагать, передавал полку механически, как мертвую букву, а может быть некоторые и вовсе обошел. Все дело заключалось значит в применении уставных правил, в характере требований, что и составляет живую силу всякого устава.

Соображения эти необходимо иметь в виду для правильного понимания того, что делал Суворов в Ладоге. Тогда станет понятна податливость его на счет отступных плутонгов, упомянутых выше, Сделается тоже ясно, почему в конфедератской войне он соглашается, чтобы офицеры обучали людей «как в их полку мода, но с надвижкою вперед» [14]. Только впоследствии, достигнув высших чинов, Суворов мог действовать свободнее.

Простота уставных требований Суворова, т.е. то, что входило в его собственную программу обучения, логически вытекает из его взглядов на весь предмет. Простота действий обусловливает и простоту обучения, а от действий Суворов всегда требует простоты. «Подтверждаю удары делать простые, а паче поспешные

и храбрые», говорит он в одном из приказов 1771 года. Излишние хитросплетения он называет «чудесами». В 1771 году, после неудачного покушения на Ланцкорону, он пишет Веймарну: «Имели мы прежде вымышленные слова — строй фронт по локтю, раздайся из середины крыльем, фронт назад — поет для скуки взводный командир: в середину сомкнись, стройся в полторы шеренги, стройся в три шеренги, строй ряды в шесть шеренг, наконец тысячу таких слов: все под Ланцкороной исчезло». Наконец, сложность обучения во время большой, упорной воины становится немыслимой; что Суворов это сознавал, как участник Семилетней воины, видно из следующих строк того же письма его к Веймарну: «Король, на все стороны перелетая, теряет людей, в тонкость обученных, наполняет их наскоро сборною ухой и не имеет времени более выэкзерцировать, как слегка ауфмаршрному» [15].

Труды Суворова по обучению полка были бы не полны и не достигали бы цели, если В он не включил в свою программу отдела военно-походного. В походах приходится войскам переносить наиболее трудов и лишений, походы служат главным испытанием военных качеств войск, и едва ли много преувеличения в словах одного военного писателя, сказавшего, что армия, которая лучше ходит, должна одержать победу. Несомненно по крайней мере, что из двух армий, одинаково снаряженных, обученных и предводимых, будет иметь перевес та, которая более выносliва и подвижна. Непременное условие рациональности обучения войск в мирное время состоит в создании метода и обстановки, как можно ближе напоминающих практику военного времени. По самому свойству предмета, для строевых учений это менее возможно, чем для походной службы. Как ни мастерски будут ведены боевые маневры и упражнения, они не в состоянии воспроизвести точно картину действительного боя; упражнения же в походных движениях могут быть производимы таким образом, что не представят почти никакого различия с походами военного времени.

Походные движения мирного времени развивают привычку к настоящим военным походам, ибо обстановка меняется беспрестанно и войскам представляются неожиданности и затруднения почти так, как в военное время. Солдаты вырабатывают разные сноровки для своего облегчения во время марша, для лучшего пользования отдыхом, для уменьшения влияния на них погоды; приобретают практику бивуакирования, приготовления нищи, переправ через реки, переходов через гористые, болотистые и другие местности. Начальники получают правильное понятие о солдатском снаряжении, о том, чего можно

требовать от человека, обремененного большою ношей, о качествах и свойствах обоза. Если дело ведется умеючи, с соблюдением постепенности, то санитарное состояние войск не ухудшается, часто даже улучшается; солдат без всякого для себя вреда втягивается в походную службу, и переход к военному времени перестает быть для него крутым и резким.

У Суворова походные упражнения велись параллельно с боевыми. Что он придавал им первостепенное значение, лучше всего убеждают слова его приказа, отданного в конце 1771 года на все посты: «памятовать то, что победа зависит от ног, а руки только орудие победы». II действительно, походные движения он производил в Ладоге беспрестанно. Ударят тревогу, полк соберется и выступит в поход; Суворов водит его иногда по нескольку дней сряду, бивуакирует, переходит ручьи и реки в брод, даже вплавь, производит по пути боевые ученья. Время года, а тем паче погода, в соображение не принимались; как боевое, так и походное обучение производилось и днем и ночью, и летом и зимою. Особенно считал он полезным практиковать войска на морозе; в приказах своих 1770 и 1771 годов он часто упоминает, что холод отнюдь не препятствует обучению: «Экзерцировать стрелянию в мишень, хотя бы то было в холодное время»; «маршировать с ружьем плотно, широко, загибаться (заходить), атаковать, греясь на морозе в рукавицах»").

Будучи в Семилетнюю войну свидетелем крайней медленности движений русской армии, чему в особенности способствовал непомерный обоз, Суворов делал учебные походы, без сомнения, с самым незначительным числом повозок, и сам был всегда верхом. По всей вероятности он приучал полк исподволь, начиная с обыкновенных переходов и кончая форсированными, потому что иначе число отсталых и больных росло бы быстро. А у него в полку было правило — нормальное число больных считать между 8 и 20 (на 1,500 человек), и если цифра больных подходила к 20, то назначалось свидетельство, нечто вроде следствия. Как велики были его учебные переходы — неизвестно; не может однако подлежать сомнению, что форсированный марш практиковался часто, потому что основным принципом обучения служила мысль одерживать победы солдатскими ногами. В 70-х годах, в Польше, он назначал постоянно и часто подтверждал, для суточных поисков партий, расстояние от 50 до 85 верст, в оба конца, смотря по погоде и дороге [16].

Было уже сказано, что Суворов производил обучение полка не только днем, но и по ночам. Ночные экзерциции были особенно в духе его программы, потому что военные действия ночью

представляют большие трудности и большие выгоды. В ночном бою не видно, кто из противников сильнее; огнестрельное оружие значит очень мало; побеждает тот, кто отважнее и смелее. Движение в ночную темноту можно произвести скрытно, следовательно явиться на данный пункт неожиданно для неприятеля. Но за то в ночном бою иногда ничтожное обстоятельство, неожиданный случай производят переполох, сумятицу и ведут к страшному беспорядку; движения ночью медленны, утомительны; соблюдение порядка крайне затруднительно; целые части войск нередко сбиваются с дороги и при встрече со своими открывают огонь; внезапное нападение неприятеля производит подчас совершенный хаос, так как никто не видит и понять не может в чем дело. Все эти дурные особенности ночных движений и действий далеко перетягивают выгодную их сторону, а потому ночные переходы и особенно ночные дела практикуются редко и большею частию случайно. Но именно потому, что они редки и трудны, Суворов посвятил им все свое внимание и сделал из них специальный отдел обучения полка. Он не мог упустить выгоды — владеть оружием, которым противник не владеет, и доказал верность своего расчета весьма в скором времени.

Весь круг Суворовского обучения происходил не только на его глазах, но веден был непосредственно им самим, или под его надзором, в его присутствии. Обучение обнимало итог солдатских обязанностей, к какому бы предмету они ни относились. Мы видели выше, что Суворов счел нужным начать с преподания солдату основных христианских истин в виде молитв, для чего и составил сам молитвенник. От этого высокого дела он не гнушался спускаться к самой черной работе; учил каждого как чиститься, обшиваться, мыться и тому подобное, «и был человек здоров и бодр», — говорит он в письме к Веймарну: «знают офицеры, что я сам то делать не стыдился... Суворов был и майор, и адъютант, до ефрейтора; сам везде видел, каждого выучить мог» [10].

При обыкновенных обстоятельствах подобное вмешательство начальника конечно не нужно, но Суворов действовал в условиях исключительных. Он был новатором, он ставил полк на свою Суворовскую ногу, воспитывал и учил его по своей собственной программе. Как ни бедны и отрывочны излагаемые здесь сведения, но из них все-таки можно видеть, что Суворовское обучение отличалось строгой последовательностью, и что известные нам части программы, до последних мелочей, стройно направлялись к одной цели. Поэтому Суворову не представлялось иного пути к проведению своей системы в практику дела, как

быть самому везде, все видеть, всех и всему учить. Только тогда могла его система сохранить в себе свою живую силу. В одной из последующих глав мы увидим, что иногда лучшие генералы, подчиненные Суворова, производя учения в его духе, делали грубые ошибки. Как же можно было ему положиться на адъютантов и ефрейторов в Деле для него жизненном, а для них совершенно новом и быть может непонятном? Он в то время был простой полковой командир, без длинного ряда побед за плечами, без ореола европейской славы, без неотразимого обаяния на войска. Он только что готовился к пробиванию себе пути, а потому работал как простой работник, не мог и не должен был работать иначе.

Первым качеством солдата должна быть храбрость; как развить ее в мирное время? Суворов держался такого пути: добивайся, чтобы солдат был уверен в самом себе, тогда он будет храбр. С этою целью он старался влить в солдатское сознание немногое и дать солдату внешнее военное образование несложное. но чтобы то и другое было усвоено солдатом в совершенстве и привилось к нему органически. В упомянутом выше письме к Веймарну, он пишет: «Каждый шел через мои руки, и сказано ему было, что более ему знать ничего не осталось, только бы выученное не забыл. Так был он на себя и надежен, — основание храбрости». Дальше в том же письме говорится: «четвертого гренадерского полка люди бодры, мужественны, да не храбры; что тому причина? Они на себя не надежны» [11].

Дисциплина в русской армии была внешняя и поддерживалась лишь страхом наказания; наказания были суровые, и назначение их, до высокого размера, предоставлялось власти ближайших начальников, в виде дисциплинарных взысканий. Полковник имел право, без суда, по собственной оценке вины, прогнать солдата сквозь строй до трех раз. Правда, закон ставил рекрута под особое свое покровительство и предоставлял начальнику взыскивать на солдате, приставленном к рекруту; сам же рекрут «не должен быть не только бит, но ниже стращен». Но это была сделка законодателей с совестью; такой уступке противоречило все — и общее направление законодательства, и традиции, и воззрения общества, и предоставление начальнику широкого усмотрения. Да и как было не бить рекрута, когда та же инструкция предписывала: «быть не лениву, смелу, проворну, поворотливу; чтобы крестьянская подлая привычка, уклонка, ужимка, чесание при разговоре совсем были из него истреблены» [6]. Всякий торопился из рекрута сделать солдата по указанному образцу, чтобы самому не быть в ответе, а прямейший к тому путь заключался в батожье, в шпицрутенах, к

которым издавна все привыкли, ничего ненормативного в них не видели и ответственности за них не подвергались, если не заходили чересчур далеко.

Суворов был военный человек до мозга костей и потому поддерживал у себя в полку строгую дисциплину. Век был суровый, нравы только что начинали смягчаться; состав армии из крепостных, да притом худших по выбору, и её некоторая нравственная распущенность, выражавшаяся в склонности к грабежам, требовали ежовых рукавиц. Суворов не был поклонником палки, но в военной службе считал строгость необходимой и баловство вредным в высшей степени. В приказе 28 февраля 1772 года он говорит: «В случае оплошности взыскивать и без наказания не оставлять, понеже ничто так людей ко злу не приводит, как слабая команда. Почему командующему за прегрешения неослабно наказывать, ибо когда послабит, то тем временем в непослушание придут и в своем звании оплошнее учинятся». За какие проступки какую меру взыскания он определял, — ни откуда не видно, ибо к шпицрутенам прибегал не зауряд. Строгость была велика потому, что и требования были велики. Укажем на один пример из конфедератской войны: Суворов требовал абсолютной тишины в строю и не допускал возможности чего-нибудь похожего на разговор. Это не было фронтовым увлечением, желанием добиться эффекта тишины; таких вкусов у Суворова не замечается. Вернее всего, что его требование вытекало из соображений высшего свойства: солдат во фронте, как на священнодействии; он слышит команду, знает, что ему делать и должен исполнять. Перед ним совершается кровавая жертва любви к отечеству; он сам для нее предназначен и должен весь принадлежать своему долгу; нет ни недоразумений, ни колебаний, ни сомнений; нет и мысли, которою бы можно было поделиться с товарищем; мысль у всех одна — победить или умереть. Конечно, фронт на учебном поле и фронт под пулями и ядрами — не одно и то же; но у Суворова мирное упражнение было, насколько то возможно, близкой копией боевого дела. Если он требовал полного безмолвия фронта в военное время, то требовал и в мирное. А в военное он этого требовал и в действии, и в движении, «когда палаш не в ножнах и ружье не по ремню». Приказом 1771 года он предписывает наблюдать, чтобы «никто из нижних чинов не дерзал что среди действий, хотя и тихим голосом сказать»; таких приказывает арестовать или заметить «для получения ему за то достойного; если капрал или ефрейтор не исполнят, то им то же самое, а офицеру арест». Но за то, для устранения поводов к нарушению безмолвия фронта, т.е. недоразумений и колебаний,

он приказывает высшим и низшим начальникам произносить командные слова «весьма громко» [9].

Мы уже видели, что для развития в нижних чинах нравственного чувства, Суворов учил их молитвам. Он сам говорил в письме к Веймарну, что это делалось, дабы «они познавали грех, и наказание, коим 99 против сотого правятся ныне, что тяжело и излишнее». Излагая таким образом свой нравственный метод для уменьшения проступков и следующих за ними взысканий и называя обязанность наказывать тяжелою и излишнею, когда проступки могут быть устраняемы иначе, Суворов прибавляет, что солдат он много и не наказывал. Это заявление имеет большую цену, особенно рядом с другим, сделанным им несколько позже, в Турции, в 1773 году, его начальнику, Салтыкову: «ладно, что копорская рекрутская команда будет в полку; только бы ее поберегли там от палок и чудес». Из приведенных немногих данных можно кажется заключить, что Суворов. не задумываясь подвергать солдат взысканиям не только за важные проступки, но и за «прегрешения». как он сам выражается, все-таки не был жесток, не любил наказаний и осуждал палочную щедрость [17].

О формах строя, предпочитаемых Суворовым, ничего сказать нельзя; как видно, у него в этом отношении ничего своего, оригинального не было, а держался он общих уставных правил, по которым развернутый фронт был нормальным боевым порядком, как и во всей Европе. Не было у него однако и слепой рутинности; он брал ту форму, которая по его мнению, более подходила к обстоятельствам. Например, в открывшейся вслед затем польской конфедератской войне, он часто употреблял для атаки походные колонны с интервалами, так чтобы хвост колонны служил резервом её голове.

Так велись учебные занятия в Суздальском полку. Они представляли целую систему, которая была настолько известна подчиненным Суворова, что он мог отдать ротмистру Вагнеру в 1771 году такое короткое приказание: «прикажите весьма отчуждившуюся пехоту экзерцировать на ноге моего известного суздальского учреждения». Много имела Суворовская система обучения необычного, резко отличавшегося от общепринятых тогда взглядов и порядков, и большая часть этого различия коренилась в том, что он готовил свой полк исключительно для службы военного времени. Существует положительное свидетельство, что в Ладоге он учил своих солдат перепрыгивать широкие рвы, что люди обучались у него и плаванию, потому что нередко, окончив строевое ученье, он подводил полк к берегу Волхова, приказывал всем раздеться, раздевался сам и затем

производил переправу в брод и вплавь. Затем, он делал ночные маневры; вызывал полк по тревоге во всякое время года, днем и ночью; производил форсированные учебные марши также во всякое время; переправлялся чрез реки без мостов; однажды показал своему полку примерный штурм на монастыре, мимо которого привелось идти, — вот что бросалось всем в глаза, удивляло и забавляло. Не была понята основная его мысль, и потому озадачивали приемы исполнения, которые и пошли за оригинальничанье чудака-полковника, Такой неверный взгляд перешел в литературу и дожил даже до нашего времени. Суворов был действительно чудак; но если в нем замечались выходки чудака, то из этого никак не следовало, что только одни такие выходки он и делал. Он безгранично верил в жизненные свойства своего «суздальского учреждения» и потому, прививая свою систему к полку, не желал поступиться ничем. И это-то глубокое по своему смыслу дело окрестили чудачеством, огласили искусственным оригинальничаньем [18].

Чтобы кончить с обучением Суздальского полка, заметим, что никаких Суворовских афоризмов, получивших впоследствии такую известность, мы в эту пору еще не встречаем. Не попадаются в его наставлениях, приказах и переписке ни «глазомер, быстрота, натиск», ни «пуля дура, штык молодец», ни «немогузнайство» и проч. и проч. Из вышеизложенного явствует, что почти все это существовало уже тогда в понятиях Суворова и переводилось им в дело; но законченную, лаконическую форму едва ли имело.

Полковые командиры — столпы армии; армия не может быть хороша без хороших полковников. Но доброкачественность полкового командира определяется обыкновенно по масштабам различным. Нельзя обойти соображение, что на боевом поле может зачастую выпасть на долю полкового командира начальствование отрядом из войск двух и трех родов оружия. Следовательно полковому командиру необходимо обладать по крайней мере практической подготовкой в подобном начальствовании, иначе ему будет недоставать того самого, что Суворов считал необходимым качеством последнего солдата — уверенности в себе, в своих силах, в своей годности к известному кругу действий. Сверх того у полковника, близко знакомого со всеми родами оружия, взгляд на строевые занятия полка должен быть шире, яснее, правильнее. Таким именно полковником был Суворов, представлявший собою самое выдающееся исключение из общего уровня. Подобный редкий полковой командир не виден весь на учебном поле своего полка, и будет поучительно познакомиться с его взглядами на другие роды оружия, как бы ни

были скудны сохранившиеся по этому предмету сведения.

В приказе 25 июня 1770 года на все посты подчиненного ему района. Суворов говорит: «Кавалерии стрелять вовсе не годится, а несравненно лучше палаш и копье; разве паче чаяния случилось бы достреливать в погоне; но и при сем лучше холодное оружие, ибо иным нечаянно можно расстреляться, и для нового заряжания таковым по себе время кратко и драгоценно». В другом приказе он подтверждает: «кавалерии атаковать только на палашах»; «в погоне кавалерии надлежит только смело врубаться неиспорченным фронтом, кроме фланкеров, кои могут стрелять из пистолетов, по цельно»; «состоящих на постах казаков обучать разным атакам». Таким образом, он почти отрицает в кавалерии употребление огнестрельного оружия, что было в то время большой новизной; несмотря на это, приказывает беречь пулю и, если стрелять, то метко. Он предписывает обучать кавалеристов рубке палашами — «низко пехоту, выше конницу. по прежде подлинной рубки приучать к отвесу палаша». Он говорит, что тут нужна не столько сила, сколько искусство, и приводит в доказательство одно свое дело: «из всех тех, коих карабинеры рубили, большая часть ускакали раненые, а малосильные драгуны рубили наповал». Он требует, чтобы лошади не боялись блеска палаша; учит при карьере приподниматься на стременах и нагибаться вперед на конскую шею; начинает и кончает свои наставления необходимостью выучки, экзерциции [11].

Артиллерии Суворов предъявляет требование меткости, скорого заряжания и особенно соответственного выбора позиции, на что и предоставляет ей полную свободу. По этому поводу он говорит в приказе 25 июня: «Пушки в деле действуют сами но себе, и хотя артиллеристов скорому заряжанию и пальбе примерами весьма приучать, но паче того знанию батарейного места, которое состоит в привычном свидении равнины, разве малого полевого возвышения расстоянию. Натверживать в память артиллеристам непрестанно, чтоб в истинном действии стреляли редко, но весьма цельно; знали бы качества их орудия и заряда; напрасно не стреляли б».

Во всех родах оружия, Суворов требует строевых упражнений с применением к разного рода местности и совокупного маневрирования. Во главе всего поставлено «жестокое

и поспешное нападение»; «удары простые, но поспешные и храбрые». Это его альфа и омега.

Прошло слишком пять лет со времени назначения Суворова командиром Суздальского полка; пять военных лет мирного времени. Осенью 1768 года сказан полку военный поход; после учебного курса наступал боевой экзамен.

Глава IV. Польская конфедератская война: Ланцкорона; 1768—1771.

Польша; постепенное её падение и современное состояние. — Барская конфедерация. — Форсированный марш Суворова к Смоленску; поход оттуда к Варшаве; поиски; бой под Ореховым. — Назначение Суворова начальником люблинского района; характер войны. — Производство в генералы; столкновения; неприятности с начальником; борьба с самовольством и грабительством. — Дюмурье; удачное начало его действий; спешное движение Суворова; неудачный штурм ланцкоронского замка; погоня за конфедератами; вторичное движение к Кракову; неуспех под Тынцем; победа при Ланцкороне, — Осуждение образа действий Суворова; объяснение. — Преследование Пулавского

Конституция Польского государства, получившая полное развитие в последний период его существования, зародилась давно. В удельное время началось усиливаться значение дворянства, при Казимире Великом получило определенную форму и затем продолжало быстро расти. С той поры внутренняя история Польши состоит в непрерывной цепи захватов дворянства из сферы королевской власти. Оставляя в удел народу тяжкое иго, шляхта добивалась для самой себя вольности, какая может существовать только в абстрактном понятии, и результатом таких усилий явилось *liberum veto*, дающее право одному члену представительного учреждения парализовать решение всех остальных. Всякая законодательная власть была как бы уничтожена; в государственные сеймы внесено зерно ничем

неустранимого раздора, и в течение ста лет 47 сеймов разошлись без всякого толка. Наступила эпоха падения, нравы испортились. распространилось религиозное неверие и легкомыслие; пронырства, подкупы, женские милости сделались рычагами государственных дел. До полного хаоса недоставало одного, — иноземного влияния. За этим дело не стало; соседние государи держали на жалованье своих приверженцев, имели свои партии, травили их одну на другую. Хроническая смута укоренилась; Польша быстро двигалась по наклонной плоскости книзу.

Польское дворянство добивалось и добилось такого объема прав, который перешагнул пределы свободы и сделался своеволием. Этот близорукий, преступный эгоизм подточил и внутреннюю силу государства, и внешнее его значение, низведя то и другое до полного ничтожества. А соседи тем временем формировались, росли и крепли в смысле государственных организмов. Польша, могла уцелеть лишь на каком-нибудь отделенном от всего мира острове, без соседей, без посторонних влияний и происков, но в семье государств ей грозила неизбежная гибель. Некоторые из Поляков схватились под конец за ум, но уже было поздно: в политике несвоевременность есть грех непоправимый. Падение Польши стало уже неминуемым; она дошла до него своей собственной виной, которою соседи только воспользовались. При другой обстановке дело произошло бы может быть несколько иначе, но результат был бы тот же, ибо исчезновение государства с лица земли не может быть последствием одних причин внешних. Напротив, задержка катастрофы, препятствие к ней заключалось не в Польше, а именно в её соседях, ревниво следивших друг за другом; Польша была уже добычей, трудность заключалась лишь в дележе.

В эпоху, к которой мы подошли, разложение Польши было полное: король с одним призраком власти; могущественные магнаты, ставившие свою волю выше и короля, и закона; фанатическое духовенство с огромным влиянием и с самым узким взглядом на государство и на религию в государстве. Народа не существовало, он был исключительно рабочей силой, не имел никаких прав, находился под вечным гнетом; сословие горожан, ничтожное и презренное, равнялось нулю. Внутренняя рознь дошла до апогея; король был против магнатов, магнаты против короля и шляхты, шляхта против короля и магнатов; духовенство дробилось отчасти по этим партиям и упорно стояло против всего некатолического. Партии и их интересы перекрещивались в разных направлениях, везде царил мелочной дух, себялюбие отождествлялось с патриотизмом. Только великий государь мог бы лавировать с успехом между такими подводными камнями, но

его в Польше не было. Станислав Понятовский, достигший польского престола при поддержке Русского правительства, при некоторых своих достоинствах отличался отсутствием характера, т.е. не имел качества, которое именно и было ему необходимо в трудную эпоху его царствования. Он постоянно колебался, никогда не решал раз навсегда и мало-помалу потерял доверие всех. Он не в силах был предотвратить взрыва, ибо не управлял событиями, а события им правили. В настоящем же случае двигателем событий явился религиозный фанатизм - слепая, антигосударственная сила, справиться с которою было бы не в мочь и человеку покрупнее.

Была пора, когда католичеству грозила в Польше серьезная опасность и церковная реформация приобрела себе между Поляками огромное число влиятельных приверженцев. Диссиденты (разномыслящие в вере) добились почти полной равноправности с католиками, по потом течением событий и собственными своими ошибками из равноправных спустились до степени терпимых. Дело не остановилось и на этом; пошли обиды, притеснения, угнетения. При Станиславе Понятовском диссиденты потребовали удовлетворения своих жалоб и были поддержаны Россией и Пруссией. В Варшаве собрался сейм. Люди благоразумные и умеренные были не прочь уступить, но фанатики не соглашались, разражались огненными речами и тормозили ход прений. Русский посланник, князь Репнин, приказал ночью арестовать четырех из них, самых ярых и влиятельных, и отправил в Россию. Противники диссидентов примолкли или разбежались, и закон, восстановлявший прежние права не-католиков, прошел.

Поступок Репнина был крайне радикален и гармонировал с его поведением вообще. Высокомерие его с Поляками и всякого рода насильства, которые он дозволял себе в Польше, представляются ныне изумительными и мало вероятными. Они выражали полное пренебрежение и даже презрение к нации, при дворе которой Репнин был аккредитован; они были немыслимы нигде, кроме Польши, и служат фактическим доказательством её нравственного упадка и материального бессилия.

Неудовольствие и негодование быстро распространились и произвели взрыв. Некто Пулавский, служивший поверенным в делах у разных вельмож и тем снискавший себе состояние и связи, проектировал план всеобщей конфедерации. Втайне приобретая приверженцев и средства, он отправился в местечко Бар, близ турецкой границы, и тут первые конфедераты, в числе восьми человек, подписали акт конфедерации 29 февраля 1768 года. Весть об этом разнеслась быстро; число конфедератов

возросло до 8000; маршалами конфедерации избраны Пулавский и граф Красинский; изданы универсалы для созвания дворянства и всеобщего вооружения против Русских и диссидентов. Движение распространялось, образовывались конфедерации и в других местах; во главе их становились лица знатнейших фамилий. По получении из Петербурга приказания, русские войска атаковали конфедератов, всюду; взяли много важных пунктов, прогнали неприятеля в леса. Но у конфедерации было много тайных единомышленников в среде мирного населения; она обнаруживала большую живучесть и даже росла как гидра. Понадобилось усилить малочисленные русские войска в Польше, — с этою целью назначено собрать под Смоленском небольшой корпус из 4 пехотных и 2 кавалерийских полков, под начальством генерал-поручика Нуммерса. В состав отряда входил и Суздальский полк.

Суворов был тогда бригадиром; чин этот он получил 22 сентября 1768 года, но продолжал после того командовать полком и лишь в феврале 1770 года сдал его вновь назначенному командиру. Получив приказ о немедленном выступлении и поспешном следовании, он двинулся с полком в ноябре, в самое дурное осеннее время. Дороги в этой полосе России ужасные, болот множество, переправы частые, ноябрьский день короток, ненастные ночи непроглядны. Казалось, все неблагоприятные обстоятельства соединились против Суворова; но для него они были истинной находкой. Практикуя свой полк в походных движениях, он не мог уходить очень далеко от полковых квартир и только однажды сделал 150 верст в Красное Село. Теперь представился случай совершить поход большой, при самых благоприятных учебных условиях. Суворов воспользовался случаем и познакомил свой полк со всеми перипетиями военно-походного продолжительного движения. Пространство, превышавшее 850 верст, было им пройдено в 30 дней; в Ладоге на квартирах он не оставил ни одного больного; в 30 переходов захворало шестеро, пропал один [1].

По приходе в Смоленск, Суворов получил в командование бригаду, в состав которой вошел и Суздальский полк. Зима 1768-69 годов прошла в усиленных занятиях: он учил бригаду тому же, чему прежде обучал полк, особенно движениям и действиям в ночную темноту. Весною Нуммерс двинулся к Орше; Суворов с 4 батальонами и 2 эскадронами шел в авангарде. Из Орши через несколько недель двинулись к Минску, Суворов опять командовал авангардом. Тут он пробыл недолго; по требованию из Варшавы, Нуммерс отрядил его туда с Суздальским полком и двумя драгунскими эскадронами, приказав спешить. Край, чрез

который пролегал Суворову путь, находился в сильном волнении; дороги были очень плохи и вели через многие опасные места, где неприятель мог с большою для себя выгодой завязать бой. Суворов разделил свои силы на две колонны и прибегнул к сбору обывательских подвод. Пехота ехала на повозках в полном вооружении, с примкнутыми штыками, дабы никакая нечаянность не застала ее врасплох. Половина драгун тоже была посажена на подводы, другая ехала верхом, ведя лошадей своих товарищей. Поход совершен благополучно; через 12 дней по выступлении из Минска, обе колонны были уже в Праге под Варшавой, несмотря на то, что одной из них пришлось пройти 560 верст, другой больше 600.

Перед этим временем главное начальствование над русскими войсками в Польше было поручено генерал-поручику фон Веймарну. Он был человек умный и ловкий, особенно по дипломатической части, и в военном деле не без некоторой опытности, но немного педант и мелочно самолюбив. Главная его заслуга заключалась в том, что он в военных действиях ввел единство, которого дотоле не было. При нем русские войска хотя были очень разбросаны и слабы, но могли друг друга поддерживать; подвижные колонны ходили по всем направлениям, отдельные посты поддерживали сообщения во все стороны; когда оказывалось нужным, сосредоточивались довольно значительные силы. Конфедераты превосходили Русских числом, но им не доставало именно этого единства, не говоря уже про дисциплину, так что в результате Русские оказывались более сильными.

Как только Суворов прибыл в Прагу, Веймарн тотчас же, ночью, потребовал его к себе. В Варшаве ходили тревожные слухи; говорили, что маршал Котлубовский находится вблизи, с 8000 конфедератов; что он готовится к нападению на Варшаву и приближается к ней сухим путем и водою, по Висле. Тайных конфедератов в Варшаве было много; можно было ожидать беспорядков. а в случае нападения Котлубовского и чего-нибудь хуже. Веймарн был в беспокойстве и приказал Суворову собрать вернейшие сведения о партии Котлубовского, её силе, месте расположения и проч. Это было в августе 1769 года. Суворов немедленно выступил с ротою гренадер, эскадроном драгун, 50 казаками и одним орудием. Он пошел вверх по Висле, левым берегом, в семи верстах перешел ее в брод и двинулся далее.

Открыв в скором времени следы банды, он пошел к ней на встречу, без малейшего колебания атаковал и рассеял. Захватив несколько пленных, он от них узнал, что партия Котлубовского не превышает нескольких сотен; с их же слов составил список

ближайших конфедератских банд, мест их нахождения, имен предводителей и проч. Вернувшись в Прагу, он представил Веймарну собранные сведения, и тревога в Варшаве улеглась. Около этого же времени ему пришлось делать и другой поиск, в продолжение которого он прошел больше 100 верст [2].

Вскоре затем дошло известие, что двое Пулавских, сыновья маршала барской конфедерации, ходили с большими силами по Литве, волновали шляхту и набирали приверженцев. В подкрепление русским войскам, находившимся в Литве, был послан Суворов, в последних числах августа, с 2 батальонами, эскадроном, 50 казаками и 2 полевыми орудиями. Усиленными переходами двинулся он к Бресту, где удостоверился, что весть о Пулавских справедлива, что конфедераты приближаются, и на одной высоте с ними, по флангам, следуют туда же два сильные русские отряда Ренна и Древица, в 1500 и 2000 человек. Впоследствии Суворов издевался над Ренном и Древицем, говоря, что «вблизи мятежников обращались разные наши красноречивые начальники с достаточными отрядами». Суворов хотя был тут внове, но понимал, какой именно способ действий приличествует для такого рода войны. Считая нужным удержать Брест в виде опорного пункта, он оставил там часть своих сил, сам же с отрядом, не доходившим до 400 человек при 2 пушках, выступил и шел целую ночь. На рассвете он встретил патруль Ренна, силою в 50 человек, под начальством капитана графа Кастелли и присоединил его к себе, а около полудня, приблизительно в 70 верстах от Бреста, настиг конфедератов, в числе около 2000 человек, под начальством нескольких маршалов [3].

Они были расположены в лесу, близ деревни Орехова, на тесной поляне; партия состояла из одной кавалерии с двумя орудиями. Подойдя к болоту, чрез которое перекинут был мост. обстреливаемый конфедератскими пушками, гренадеры бросились на мост, а егеря, развернувшись вправо и влево, открыли ружейный огонь. Во главе 50 драгун Суворов атаковал неприятельскую батарею; вместо того, чтобы действовать огнем усиленно, Поляки, боясь потерять орудия, сняли их с позиции, увезли за линии и вслед затем атаковали русскую пехоту с фронта. Вероятно вследствие чрезмерного неравенства сил, Суворов держался оборонительно; его отлично выученная пехота встретила Поляков выдержанным огнем и отбросила. Отбитые эскадроны были заменены однако новыми, атака возобновилась, но опять не имела успеха. Четыре раза атаковали конфедераты и всякий раз свежими эскадронами, но все четыре раза безуспешно. Они понесли при этом большой урон, потому что кроме хорошо направленного ружейного огня, каждая их атака была встречаема

картечью, и отбитые эскадроны преследовал граф Кастелли, рубя бегущих. Он наскочил на молодого Казимира Пулавского, но на выручку Казимиру подоспел старший брат, Франц; с поднятой саблей бросился он на Кастелли, брата спас, а сам поплатился жизнью, получив в упор пистолетный выстрел. Это был один из лучших вождей конфедерации, человек с замечательными душевными качествами; его не только оплакивали Поляки, но сожалели и Русские.

Для обеспечения русской позиции от нападения с тыла, были рассыпаны казаки, которые и наблюдали за выходами из леса. Не смотря на это, произошло какое-то замешательство, вследствие которого дежурный при Суворове майор несколько раз крикнул: «мы отрезаны». Суворов немедленно арестовал майора и положил покончить с конфедератами решительным ударом, так как приближалась ночь. Он велел зажечь гранатами деревню Орехову, находившуюся в тылу польской позиции, что и было тотчас исполнено. Пожар на пути отступления должен был подействовать на плохо дисциплинированную банду вроде крика «мы обойдены», тем более, что Поляки были расстроены и смущены неудачею только что произведенных ими атак. Русская пехота бросилась в штыки с чрезвычайною стремительностью, и Поляки ретировались в беспорядке через горевшую деревню. Русская конница, силою меньше 200 коней, бросилась за отступавшими и преследовала их версты три; чтобы еще более устрашить конфедератов и заставить их бежать без оглядки, Суворов приказал пехоте производить в лесу частый огонь. Конфедераты понесли полное поражение; они были так потрясены, что только раз во время отступления решились дать отпор и стали выстраиваться в линии, но скоро повернули опять назад и продолжали ретираду, хотя перед ними было всего десять русских кавалеристов с самим Суворовым. В этот деле Поляки потеряли до 200 человек, в том числе только 40 пленных, так как вследствие малочисленности своего отряда, Суворов не велел никому давать пардону [4]. С нашей стороны потеря была очень невелика.

До сих пор Суворов исполнял случайные поручения, а теперь получил определенное назначение — командовать люблинским районом, и потому из-под Орехова отправился прямо в Люблин.

Район, порученный Суворову, состоял из холмистой и даже отчасти гористой местности. Реки и ручьи текут там по болотистой или по песчаной почве; они широки и глубоки, имеют горный характер, окружены лесами. Лесов вообще много во всей стране, болот тоже; дороги в высшей степени дурные либо песчаные, либо болотистые. Обработанной земли сравнительно

мало; деревни небольшие, состоящие из изб, крытых соломой; города значительной частью построены из дерева и похожи скорее на селения; монастыри и многие дворянские замки укреплены и годны к обороне. Все это, вместе с близким соседством австрийской границы, делало люблинский район чрезвычайно выгодным для конфедератов театром войны, а для Русских особенно затруднительным. Методизм, сложность расчетов, осторожность, медленность тут никуда не годились; требовались качества противуположные, образ действий почти партизанский, быстрота движений, внезапность удара. Все это Суворов понял в совершенстве.

В Люблине учредил он главный свой пункт, «капиталь», как он выражался. Люблин лежит между Вислою и Бугом, почти на одинаковом расстоянии от Варшавы, Бреста и Кракова. Оборонительного значения он не имел, стены его были разрушены в прежние войны и невозобновлены; лишь один старый укрепленный замок мог держаться. Но зато по серединному своему положению и вследствие соединения в этом месте путей почти со всех сторон края, Люблин был весьма важным военным пунктом. Тут Суворов собрал артиллерию, устроил амуничные склады, продовольственные магазины, учредил главный свой пост-резерв. Отсюда как паук растянул он паутину по всей стране, т.е. протянул кордон; замки и укрепленные местечки занял постами и вошел в связь с важнейшими пунктами в роде Кракова и Сандомира. Его корпус был немногочислен; никогда и впоследствии не доходил он до 4000, а в начале был и того меньше. А на долю собственно люблинского поста досталось всего 3 эскадрона, 5 рот, сборная сотня казаков и 6 орудий [5].

Война заключалась в набегах партий, в небольших стычках, в усилии конфедератов — завербовать себе новых приверженцев, а противников их — помешать этому. Конфедераты были вооружены довольно порядочно, состояли исключительно из кавалерии, продовольствие находили себе без особенного труда всюду. Они ходили по всем направлениям; дремучие леса и труднопроходимые топи были им знакомы как свои пять пальцев; их тайные приверженцы и доброжелатели находились на каждом шагу и извещали их о всяком движении Русских. Разбитая конфедератская партия исчезала, казалось, без следа, но через несколько дней собиралась снова и появлялась за 100, за 200 верст. Суворов зорко следил за ними из своего гнезда, крепко держа важнейшие пункты и главные переправы. Едва появлялась где партия, он летел туда, настигал ее и разбивал; в другом месте показывалась другая — он устремлялся туда, рассеивал,

истреблял. Он был олицетворением непрерывной деятельности, содержал в страхе беспокойных, в послушании нерешительных и сохранял край в своей власти. Таким образом прошел год; для крупных дел, для решительных ударов русские войска были слишком малочисленны, а усилить их не было возможности потому, что все, чем могло располагать правительство, было выставлено против Турции.

Герцог Шуазель, управлявший во Франции министерствами военным и иностранных дел, очень ревниво смотревший на развивавшееся могущество России, старался поставить ее в затруднительное положение и с этою целью вошел в переговоры со Швецией и Турцией. В Стокгольме он потерпел неудачу, но в Константинополе успел. Возбуждаемая советами бежавших конфедератов и подстрекаемая Францией, Порта потребовала у Петербургского двора немедленного очищения Польши, а потом, не дождавшись ответа и схватившись за случайное сожжение пограничного своего местечка Балты русскими войсками, преследовавшими конфедератов, объявила России войну. Поляки возликовали, но вместо того, чтобы действовать с удвоенною энергией, они возложили все свои надежды на Турцию, больше прежнего стали держаться выжидательного положения и вели войну вяло. Наступило нечто в роде затишья, очень выгодного для Русских, по малочисленности их сил. Затишье отразилось и на Суворовском районе. Без дела он однако не оставался и даже жаловался Веймарну, что на него выпускают конфедератов из соседних областей, прибавляя, что он «может быть и сбегал бы за 100 верст, да дома недосужно» [6]. Для характеристики этого периода войны достаточно привести один маленький поиск, которым Суворов был особенно доволен и рекомендовал своему начальнику Веймарну прочесть донесение «вместо сказочки из 1001 ночи».

Капитан Набоков, поручик Шипулин и подпоручик Железный отправились с 18 пехотинцами и 12 казаками на поиск. В 10 верстах от м. Козениц проезжий еврей сообщил им, что в Козеницы вступила партия конфедератов; Русские ускорили шаг и в 10 часу вечера подошли к Козенице. Поручик Шипулин с 10 пехотинцами и 4 казаками направился на стоящую в стороне корчму. Конфедератский караул выстрелил но атакующим и скрылся в местечко; вслед за ним приспел туда Шипулин, добежал до площади и под огнем многолюдного неприятеля ударил в штыки. Конфедераты очистили площадь, но дважды заходили ему в левый фланг, чрез боковые улицы, однако оба раза были отбиты ружейным огнем. Тем временем Набоков с Железным и остальными людьми прибыли в Козеницу с другой

стороны, были встречены огнем, но прогнали неприятеля и пошли на соединение с Шипулиным, но направлению раздававшихся выстрелов. Отрядец Набокова подоспел во время; Шипулин, узнав, что конфедераты центрируются во дворе экономa, бросился туда с 4 гренадерами, но наткнулся на большую толпу и сам принужден был отстреливаться. Прибывший Набоков выручил его из критического положения; соединенными силами они выгнали неприятеля из экономского двора, захватили несколько конфедератских лошадей и двое саней с съестными и питейными припасами, а также забрали у экономa, в наказание, 19 его собственных лошадей и деньгами больше 2500 злотых. Очистив затем местечко от конфедератов, Набоков благоразумно удержался от преследования, так как по показанию экономa и одного проезжего, партия состояла из 150 кавалеристов. Команда расположилась на ночь под охраною сторожевых постов и утром тронулась в путь восвояси, но под дер. Сечеховой наткнулась на конную партию в 60 человек. Партия обратилась в бегство, за нею погнались Шипулин с казаками, а Набоков и Железный с пехотой, но конфедераты успели скрыться в густом лесу. В это время показался на дороге большой обоз; Шипулин с казаками бросился на него, остановил и освидетельствовал; обоз оказался конфедератским. Оцепив добычу своим маленьким отрядом, Шипулин забрал в плен небольшой конфедератский конвой, повернул транспорт и привел его благополучно к посту, откуда вышел на поиск [6].

Весною 1770 года Суворов, произведенный 1 января в генерал-майоры, с довольно значительным отрядом из 400 человек при 2 орудиях перешел Вислу у Завихвоста и направился на Климантов, где по донесению должны были находиться конфедераты Мощинского и Коробовского. После ночного похода, Русские подошли к дер. Наводице и Суворов повел карабинер на конфедератов, расположенных в шахматном порядке, поэскадронно. Карабинеры замялись, остановились, стали стрелять; Суворов приказал атаковать пехоте, выделив из нее резерв в 50 человек. Роты сделали залп и ударили в штыки. Поляки, не смотря на сильный огонь своих 6 орудий, были сбиты; ободрившаяся конница атаковала их с тыла и хотя конфедераты останавливались несколько раз для отпора, но устоять не могли. Бой продолжался на расстоянии 10 верст, в лесу; Поляки потеряли человек 200. Суворов донес, что «ссылаясь на число, пленных брать и лошадей ловить было некем», так как пехота далеко отстала, почему живьем взято всего 10 человек, а лошадей до сотни, кроме 30 деревенских, также весь обоз и артиллерия [7].

В средине лета Суворов вторично побил Мощинского под

Опатовым, а осенью сам чуть не погиб. Во время поиска, при переправе через Вислу, он упал в воду и стал тонуть. Было осеннее половодье при сильном течении; Суворова долго не могли вытащить из воды, а когда один гренадер схватил его за волосы и помог выбраться, то карабкаясь в понтон, Суворов так сильно ударился грудью, что упал без чувств. Ему тотчас же пустили кровь; он пришел в себя, но не мог совершенно оправиться в продолжение нескольких месяцев.

В этом же 1770 году Суворов имел другую неприятность, но иного рода и именно такого, к которому он был наиболее чувствителен: один из его отрядных начальников потерпел от неприятеля поражение. Крайним пунктом левого фланга Суворовского района было местечко Сокаль, на Буге, где постовым командиром сидел поручик Веденянин, назначенный сюда из армии, действовавшей против Турок, для поддержания коммуникации, препровождения курьеров и т.п. Незадолго перед тем Суворов прислал ему одну пушку, из числа отнятых от Поляков; Веденянин вообразил себя чуть не полководцем и без всякого приказания, как и без всякой надобности, выступил в июле с отрядом в поле. Отойдя около 50 верст и вступив около полудня в м. Франполь, он узнал, что по одной из ближайших дорог следовала партия Новицкого. Веденянин схватил несколько драгун, бросился с палашами на голо на Поляков, но подскакав к ним, оробел, опустил палаш и выстрелив из пистолетов, поскакал назад вместе со своими драгунами. Конфедераты пустились за ним и, наскакав на оставшуюся во Франполе его команду, совсем неготовую к бою, живо ее окружили, так что драгуны не успели сесть на лошадей. Спешившись за плетнем, Поляки открыли огонь, били на выбор и зажгли два сарая, между которыми команда Веденянина была расположена. После долгой беспорядочной стрельбы, Веденянин сдался; убитых, раненых и пленных было до 40 человек, т.е. больше половины партии; остальным удалось уйти. Суздальского полка поручик Лаптев сдаться не согласился и убит с товарищами; пушка досталась Полякам.

Донося об этом несчастном случае, Суворов обнаруживает такое сильное негодование, как будто дело имело Бог знает какую важность. Он сильно порицает Веденянина за то, что тот «безрассудно и беспорядочно вступил в дело; ему не велено было соваться, кроме разве малых и ближних набегов; по своему расслабленному безумию он с 80 почти человеками не сумел разбить 300 бунтовщиков; всем внятно внушено, что на них можно нападать с силами в 4 и 5 раз меньшими, но с разумом, искусством и под ответом; будучи окружен, он стал беспорядочно

отстреливаться, а на смелый и храбрый прорыв не пошел» [8]. Из этих, так сказать, обвинительных пунктов виден характер требований Суворова от его подначальных. Суворов не скоро забыл франпольское дело и несколько раз упоминал про него в своих приказах, упирая в особенности на то, что Веденянин не решился идти на прорыв.

Так прошел 1770 год. Суворов был недоволен своим положением и обстановкой. Еще в январе он писал одному своему знакомому в Варшаву: «здоровьем поослаб, хлопот пропасть почти непреодолеваемых, трудности в будущем умножаются, во все стороны наблюдение дистанции почти безмерное, неуспеваемый перелет с одного места на другое, неожидаемое в необходимой иужде подкрепление, слабость сил, горы, Висла, Варшава... Коликая бы мне была милость, если бы дали отдохнуть хоть один месяц, т.е. выпустили бы в поле. С Божьей помощью на свою бы руку я охулки не положил». В апреле объясняя Веймарну, что не мог гнаться за, шайкой Гвоздевича по неимению казаков, он с горечью говорит, что ему приходится только содержать коммуникацию с главной армией (действующей против Турок) и препровождать курьеров, «когда младшие приставлены к делам решительным и без дальнего искусства, но с хвастовством, своим сильным войском возмутителей побеждали. И ныне управился бы с бандами, если бы не получил от подполковника Древица отказ в 100 казаках, вопреки распоряжению высшего начальства». Этого Древица он особенно не любит и пишет про него: «что мне нужды, что он в определенные три года российской грамоте не научился; я и по его немецкому знаю». Суворов указывает Веймарну, что Древиц иностранец, непривязанный к России; что его интерес в продолжении, а не в прекращении войны; что напрасно он хвастает своими победами, ибо их одерживали русские войска. «Какая такая важная диспозиция с бунтовщиками; только поспешность, устремление и обретение их. Знатное и сильное свое войско он содержит совокупно, которое должно не поражать, а их топтать и раздавлять, ёжели им пользоваться благоразумно, с желанием окончания здешних беспокойств. Употребляем он есть главнодействующим в стыд наш, степенями сто высших, якобы не имеющих ни качеств, ни достоинств, ни заслуг ему подобных; в стыд России, лишившейся давно таких варварских времен. Когда он нерадиво, роскошно и великолепно в Кракове отправляет празднества, тогда я с горстью людей по гайдамацкому принужден драться по лесам с какими-то разбойниками и рождать для Варшавы площадные прибаски. Её Императорское Величество наша всемилостивейшая Монархиня довольно имеет верноподданных, которые угрожаемый им его

абшит заменить могут и которые прежде его высшими талантами прославились. Присем я только ставлю в образец мое усердие и службу, знакомую его сиятельству послу и иным высшим моим генералам» [9].

Это письмо, заканчивающееся ясным намеком насчет самого Веймарна, есть только отчасти продукт того честолюбия, которое не давало Суворову покоя. Иностранец Древиц действительно пользовался покровительством Веймарна, который возлагал много надежд на его опытность и находил в нем выдающееся дарование. А между тем Древиц отличался такою жестокостью но отношению к конфедератам, таким грабительством и неразборчивою жаждой наживы, что был главным виновником дурной славы, которою некоторые современные и позднейшие писатели очернили огулом русские войска. Один из главных руководителей польской революции 1794 года, арестованный и содержавшийся в Петербурге, дал между прочим показание, что, будучи ребенком, он был свидетелем, как Древиц отрезывал кисти рук у некоторых конфедератов, попавших в плен. Произведенный впоследствии в генералы и награжденный деревнями, Древиц, сделавшись Древичем, зажил спокойно в отставке с туго набитым в конфедератскую войну карманом [10]. Недаром говорил в письме Суворов про возвращение в России варварских времен.

Неудовольствие Суворова, без сомнения раздутое его самолюбием и неудовлетворенной жаждой деятельности, питалось в особенности известиями с турецкого театра войны. Там было (или казалось ему, что было) именно то, чего он добивался, тот «отдых», о котором он писал Булгакову в январе. Особенно сильно должно было разгореться в Суворове желание перебраться в главную армию после её славных дел 1770 года. Ларга, Кагул, Чесьма были бальзамом для его русского сердца, но вместе с тем возбуждали в нем горькую досаду, что его, Суворова, там нет. Он стал добиваться перевода в Турцию и, как кажется, чуть не добился; по крайней мере в письме своем к Веймарну в сентябре Суворов благодарит за ходатайство о переводе в главную армию, а в октябре прямо говорит, что время его отъезда приближается. Дело однако почему то не состоялось, и Суворов остался на второстепенном театре войны при массе забот, хлопот и трудов и при результатах, в которых не было ничего блестящего, даже видного. Заразительная болезнь, в роде чумы, показалась в тыльных учреждениях главной армии, надо было не допустить ее в польские области; для этого пришлось изменить путь курьеров, протягивать карантинный кордон, перекапывать дороги, ставить маяки. Цистер-циенские монахи подали на

Суворова жалобу, будто одна из его команд, при забирании в конфедератской деревне хлеба и скота (по присланному от Веймарна расписанию), чинила разные обиды и беззакония. Суворов пришел в негодование и с горячностью объяснял, что имеет чистую квитанцию, что времени прошло много без всяких жадоб и теперешняя является слишком запоздалою; что претензия монахов внушена единственно их злобой к Русским и диссидентам, Потом последовал от Веймарна запрос, — не принимаются ли в шпионы иезуиты. Суворов отвечал, что ни иезуитов, ни других монахов в вестовщики никогда не принимает, да и иных не весьма жалует, не так как другие начальники, которые разъезжая в карете из замка в замок, выспрашивают евреев, «едва в своих шабашах счет знающих». К этому он прибавляет: «шпионы дороговаты, командиры постов должны сами больше видеть вдали, без зрительной трубки.» От Веймарна поступают бумаги, не совсем вежливые по форме изложения, пли по крайней мере кажущиеся такими Суворову; он делает своему начальнику внушение: «осмеливаюсь просить, дабы меня по некоторым ордерам вашим частых суровых выражений избавить приказать изволили; может быть сами когда-нибудь оправдаете мою грубую истину». Наконец, неизвестно по какому поводу, в одном письме Суворов говорит о своем бескорыстии, о том, что для него тяжелее всего название корыстолюбивого лжеца и просит к этому предмету более не возвращаться. [11]

Нет сомнения, что на Суворова бывали нарекания именно в этом отношении. Война была такого рода, что и соблазнов представлялось много, и прикрывать грехи было не трудно, а потому остаться чистым от всяких подозрений было мудрено. Между тем подозрения такого рода были для Суворова хуже острого ножа; от одного их прикосновения он терял хладнокровие и спокойствие, тем паче, что не мог во всяком данном случае поручиться за каждого из своих подчиненных. Евреи местечка Климантова доставили конфедератам разные оружейные и амуничные вещи за порядочную сумму денег; за это наложена на них контрибуция в 200 червонных и взято несколько половинок сукна. Подрядные деньги были справлены конфедератами с диссидентов; один русский майор поэтому роздал диссидентам часть контрибуционной суммы; другую часть взял капитан и разделил на команды; про сукно не упоминается вовсе [11]. Как тут добраться истины и вытащить спрятанные концы, когда пост от поста на десятки верст, происходят беспрестанные поиски и налеты, приходится все делать второпях и для действительного контроля нет даже почвы?

А мирным обывателям приходилось расплачиваться либо с

Русскими, либо с конфедератами, а при несчастии и на обе стороны. Разорение было ужасное, жалобы многочисленные и постоянные. С самого начала войны был издан высочайший манифест и подтверждался затем несколькими распоряжениями о сохранении войсками добрых отношений к населению, но претензии не уменьшались, а скорее увеличивались. В августе 1769 года Веймарн пишет в приказе: «нет почти того дня, чтобы мне не были представлены от разного звания и чина здешних обывателей наигорчайшие жалобы» [13]. Но зло было слишком сильно и пример таких начальников, как Древиц, соблазнителен; приказы и подтверждения оставались мертвой буквой [13].

И по долгу, и по нравственному чувству, Суворов боролся с этим злом неутомимо. Ом постоянно доносит Веймарну, что за грабежи, незаконные поборы и обиды наказывает виновных жестоко. Действительно, потачки он за это не дает, впрочем в бесполезную жестокость не впадает и смертную казнь заменяет почти всегда батожьем и шпицрутенами. Во время поисков за конфедератами, он предписывает никому из людей нигде не останавливаться; строго наблюдает, чтобы современные постановления насчет добычи исполнялись буквально и дополняет их своими собственными правилами. Так в одном из июньских приказов 1770 года он пишет: «лошадей, в добычу от возмутителей (так повсюду приказано было звать конфедератов) получаемых, — годных определять в службу, давая тем, кто оные возьмет, некоторую плату; ружейные же и амуничные вещи в пользу службы употреблять. Когда возмутителей разобьют и у нас в добычу деньги или вещи взяты будут, то нет нужды рассматривать, откуда они получены, но следует разделять оные по всей команде, разве бы отнятые деньги принадлежали казне, в таком случае поступать по толкованию 112 артикула». В последующее время он входит по этому предмету еще в большие подробности и не ограничивается общими наставлениями, а дает указания и на частные случаи [13].

С большим запасом доброй воли Суворов принимает и проводит в подчиненные ему войска указания высшей власти на счет человеколюбия и справедливости. В приказе 11 февраля 1770 года он говорит: «остроумно разглашать, где мятежники гнездятся, что желающие жить спокойно дома, без малейшего страха являлись бы, и им того ж часа либертации даны быть имеют, и однако не забывать при сих случаях брать с них надлежащие реверсы. Сим можно основать, а потом и умножить в них дезерцию (побеги), которая всякому неприятелю по междоусобной недоверенности страшнее, нежели самая победа». Установив правилом, чтобы обыватели не давали конфедератам

пристанища, ничем им не помогали и объявляли бы об их присутствии под опасением штрафов и наказаний, Суворов сам охотно отказывается от таких крутых мер, когда дозволяют обстоятельства. Провинившиеся в недонесении о конфедератах опатовские мещане таким образом «выпущены на пароль и взяты с них рецессы; им же для безопасности и для доказательства мятежникам, что им их впредь больше таить не можно, с прописанием даны охранные листы». Суворов даже берет на себя контролирование других, ему не нодчиненпых, в интересах справедливости. Так в ноябре 1769 года он доносит Веймарну, что присланные для дальнейшего отправления арестанты кажутся ему невинными или сомнительными, и ради человеколюбия просит на будущее время для таких случаев указания [14].

Наступил 1771 год, самый богатый по деятельности Суворова в конфедератскую войну, благодаря помощи, оказанной конфедератам Францией. Не ограничившись поднятием Турции против России, Шуазель еще в 1769 году послал в Польшу заслуженного офицера, де Толеса, с немалою суммою денег для оказания конфедератам пособия и для руководительства их военными операциями. Но несогласия и раздоры польских дворян скоро убедили Толеса в бесплодности его миссии, и он возвратился во Францию, привезя назад деньги, а министру написал предварительно: «в этой стране я не нашел ни одного коня, годного для королевской конюшни, а кляч покупать не хотел, почему и возвращаюсь с деньгами». Вместо Толеса Шуазель послал полковника Дюмурье, человека способного, проницательного, энергичного, но имевшего слишком беспокойную голову и потому впадавшего в фантазерство. Дюмурье прибыл в Эпериеш, в Венгрии, где был собран верховный совет конфедератов. Вместо зрелых государственных и военных людей, он нашел тут общество знатных кутил, занимавшихся только попойками, бешеною игрой и волокитством. Разочарование его еще увеличилось, когда он познакомился с положением конфедератского дела. Даже на бумаге числительность войск не превышала 16 или 17,000 человек, а на деле едва доходила до 10,000. Не было ни пехоты, ни артиллерии, ни крепостей; предводителей насчитывалось до восьми, но каждый из них был независим от других; между ними царствовали раздор и рознь; в войсках не существовало тени дисциплины. Привести эпериешских агитаторов к соглашению было для Дюмурье делом невозможным, и он прибегнул к графине Мнишек, женщине умной, образованной, ловкой и хитрой, которая пользовалась между конфедератами большим влиянием. Только при её искусном содействии, ему удалось кое-

как добиться соглашения и провести свои планы.

Прежде всего требовалось единство начальствования; Дюмурье предложил принца Карла Саксонского, который обещал выставить 3,000 саксонских войск. На это все согласились, кроме Пулавского. Затем он выписал от Шуазеля офицеров всех родов оружия и озаботился устройством опорных пунктов для будущих военных действий; сверх того, особенное внимание было приложено к созданию и образованию пехоты, с помощью привлечения австрийских и прусских дезертиров, а также польских крестьян; на последнее паны согласились с большим трудом, опасаясь давать крестьянам оружие, Ружья были закуплены в Венгрии и Силезии и большой их транспорт, до 22,000, ожидался из Баварии. С помощью этих и других мер, Дюмурье надеялся собрать до 60,000 конфедератов к открытию кампании 1771 года.

План его действий предполагался следующий. Веймарн обязан был в одно время и удерживать за собою Варшаву с особою Польского короля, и сохранять магазины, учрежденные в большом числе в Подолии. При энергическом образе действий конфедератской армии, преследование обеих указанных целей представлялось неисполнимым. На этом основании предполагалось двумя отрядами угрожать Варшаве, третьим Подолии с русскими магазинами; четвертым, литовским, идти на Смоленск и угрожать Москве; пятым, самым сильным, под начальством Дюмурье, взять Краков, идти на Сандомир и оттуда по указанию обстоятельств действовать по направлению или к Варшаве, или к Подолии. Тогда все изменится; Румянцев, угрожаемый с тыла, принужден будет очистить Молдавию и отступать. преследуемый Турками; литовский великий гетман Огинский, вступив в русские пределы, где почти не было войск, перенесет туда театр войны, конфедерация сделается в Польше повсеместною и возгорится всеобщая война.

План был совершенно химеричен, ибо в расчет принималось только то, что должно бы быть, а не то, что может быть; делались цифровые выкладки, а забывались люди. Рознь между предводителями была первым камнем преткновения и хотя ее разными уступками кое-как сгладили, но зло не уничтожилось и постоянно давало себя знать. Однако конфедераты проявили и хорошее качество: они сумели сохранить план в тайне. В продолжение всей зимы они не выходили из гор, где укрывались, и за выходами откуда наблюдали Русские; потом стали обманывать и утомлять Русских ложными тревогами. Ночью 18 апреля 1771 года атакованные на всех пунктах превосходными силами, русские войска краковского округа были отброшены за

Вислу с значительными потерями и вся равнина перешла во власть конфедератов. Дюмурье немедленно укрепил многие выгодно расположенные пункты. Но Поляки не выдержали, успех затуманил им головы. Едва поддерживаемая дисциплина исчезла совсем; никто не хотел исполнять служебных обязанностей; пошли пиры, танцы, картежная игра; на аванпосты посылались крестьяне; между предводителями возобновились прежние раздоры; грабили города и били крестьян; евреев подвергали всяким насилиям. Дюмурье наказывал, расстреливал, но ничего не мог сделать; он сам не был в безопасности и только присутствие 220 Французов обеспечивало его от насилия. В это время обрушился на конфедератов Суворов.

Он быстро двинулся из Люблина, на пути разбил несколько партий, подошел к Ланцкороне, в 28 верстах от Кракова, захватил это местечко и также скоро хотел завладеть и замком, но штурм не удался. Неудача эта не имела сколько-нибудь важного значения, но Суворов был ею глубоко огорчен. Донес он Веймарну так. Атака началась 9 февраля в час пополудни; пехота подошла, оттащила неприятельские рогатки, выгнала из местечка конницу, взлезла на гору, где замок, и овладела двумя пушками. Шедший в голове колонны прапорщик Подладчиков пробил ворота и бросился на последнюю неприятельскую пушку, стоявшую внутри замка, но был тяжко ранен; в то же время ранены командовавший колонною капитан Дитмарн и подпоручик Арцыбашев. Колонна отступила; надвинулась вторая, но командир ее поручик Сахаров и другой офицер поручик Суворов, тяжело ранены. Взбежала часть резерва, и командир её поручик Мордвинов также ранен. Сам Суворов оцарапан, под ним лошадь ранена; офицеров почти в строю не оставалось. Суворов привел людей в порядок и тихо отступил. «В местечке мятежники во время атаки били в барабан два раза сдачу и кричали пардон; но беспрестанная ненужная пальба то опровергала». Пехоты в замке было не больше 300 человек, конницы мало; потери у нас 30 человек, кроме поименованных офицеров. «Неудача сия», доносил Суворов: «не зависела ни от предусмотрения, ни продерзости, ниже диспозиции, которая от всех офицеров наблюдаема была; чего ради вашего высокопревосходительства покорно прошу нам сие оставить до иных выслуг; все то зависит от судьбы Божией» [15]. Кто ж производил «беспрестанную ненужную пальбу?» Легко себе представить, как было тяжело Суворову по прошествии нескольких дней сознаться в этом, написав Веймарну следующие строки: «ланцкоронское происшествие зависело от Суздальцев, кои ныне совсем не те, как при мне были. Сих героев можно ныне уподобить стаду овец. Как можно, надлежит мне приблизиться к

сандомирской стороне и выучить их по прежнему, ежели предуспею... Не упрекайте меня, милостивый государь: я думал с Суздальцами победить весь свет» [15].

Может быть, Суворовские традиции в самом деле успели уже ослабеть в Суздальском полку, хотя со времени сдачи полка полковнику Штакельбергу прошел всего один год, но причина неудачи заключалась не в Суздальцах. Привыкнув одерживать над конфедератами легкие успехи, Суворов рассчитывал на тоже самое и в настоящем случае, но встретил упорство и энергию, к которым не приготовился, а потому и понес неудачу. Он возобновил бы попытку, обставив ее иначе, но не имел на это времени, потому что к Кракову подступали партии Пулавского, Саввы и других. Получив об этом извещение, Суворов двинулся туда и по дороге узнал, что Поляки направились к Кракову и Савицам, намереваясь занять затем Люблин и двинуться в Литву, а в Рахове оставили свои обозы под прикрытием части Пулавцев. Февраля 16 или 17 конфедераты действительно атаковали Красник, а Суворов — Рахов. Дело происходило ночью; передовая колонна Суворова подошла так тихо, что сорвала польский пикет и затем быстро заняла важнейшие части местечка. Поляки рассыпались и засели в избах и сараях; русская пехота отыскивала их и забирала в плен, а с обороняющимися вступала в бой. Суворов случайно остался один. Заметив в ближней корчме конфедератских драгун, он подъехал и стал уговаривать их к сдаче. Офицер вышел из корчмы первым, за ним стали выходить драгуны с лошадьми в поводу. В это время прискакало несколько казаков и один из них выстрелил в драгун из пистолета. Поляки стали отвечать выстрелами же, не целясь однако в Суворова, вернулись в корчму и в ней заперлись. Суворов приказал окружить корчму и грозил драгунам ее зажечь. Они сдались в числе около 50 человек, всего же в этом деле взято до 100 пленных и весь конфедератский обоз.

Затем надо было спешить к Краснику, где отбывался от Поляков, по словам Суворова, «капитан Панкратьев с сотнею людей и со своей храбростью». Большая часть пехоты выехала из Рахова на конях. Обоз и пленные до такой степени обременяли Суворова, что он «в Красник шел на прорыв; было уже не до атаки, а только бы пленных с рук сжить в Люблин». Суздальцы с капитаном Панкратьевым удержались до его прихода, отбив многие атаки, с приближе-нием же Суворова, Поляки ретировались. Русские лишились в обоих делах больше 50 человек убитыми и ранеными. Суздальцы восстановили в глазах Суворова свою репутацию не только в Краснике, но и в Рахове. «Пехота поступала с великою субординациею, и я с нею

помирился», писал он Веймарну. Достойно, между прочим, внимания, что здесь, как и в других местах, раньше и позже, казаками начальствовали пехотные офицеры низших чинов постоянно одного и того же Суздальского полка, и Суворов был ими очень доволен [16].

После этого Савва, соединясь с другими конфедератами, пошел в Литву для сбора контрибуции. Суворов не мог за ним гнаться далеко и донес об этом Веймарну; Веймарн отрядил майора Салемана. В Хршенске, где Савва укрепился, произошел ночью на 15 апреля бой; конфедераты были побиты и разогнаны, тяжелораненый Савва успел скрыться на обывательской подводе в ближний лес, где однако снова был накрыт 17 числа. Рана Саввы оказалась очень тяжелою, так что везти его в Варшаву, как было приказано, сделалось невозможным, и Веймарн прислал для его лечения военного врача. Доктор оставался при Савве довольно долго, до половины мая; затем, по утверждению некоторых, Савва был убит русскими солдатами за то, что он, природный казак, сражался с Поляками против Русских. Один из иностранных писателей прибавил, что солдаты сделали это по приказанию Суворова. Из предшествовавших и последующих строк видно, что Суворов находился в сотнях верст от Саввы, занимался совсем другим делом и кроме того не мог отдавать приказаний в войска, ему неподчиненные [17].

Возвратясь тем временем в Люблин, Суворов застал тут предписание Веймарна — идти к Кракову, где сосредоточивались главные силы конфедератов. Теперь ему приходилось действовать вместе с Древицем. Еще ранее, предполагая эту возможность, он писал Веймарну: «Все сии движения выйдут пустыми, если он (Древиц) в точной моей команде состоять не будет. Два хозяина в одном дому быть не могут... Сие я доношу, как честный человек, в противном случае я от ответственности свободен». Требование было совершенно справедливое, но Веймарн никак не хотел поступиться Древицем и старался ему создать какое-то особенное положение, в роде если не руководителя, то советника Суворова, «для пользы службы», как он объяснял. Суворова этот странный аргумент конечно не убедил и он настоял на своем [18].

По приказу Веймарна Суворов выступил из Люблина с 4 гренадерскими ротами, батальоном мушкетер, 5 эскадронами карабинер, 80 казаками и 8 полевыми орудиями, что составило в итоге 1600 человек. На пути к Кракову он разбил одну конфедератскую партию; тотчас по прибытии в Краков, прошел дальше и, отбросив другую партию, двинулся чрез Скавину к монастырю Тынцу. Движение это произведено чрезвычайно удачно, Суворов застал конфедератов совершенно врасплох. Сам

Дюмурье спокойно ужинал в Заторе и тут узнал, что Русские уже в Кракове; он поскакал в Скавину — Суворов был уже в Скавине. На пути Дюмурье, в деревнях конфедераты спокойно спали, лошади их были расседланы, никто и не подозревал близости неприятеля.

Монастырь Тынец, близ деревни того яге имени, прилегает к Висле одною стороною, а с трех остальных был обнесен стеною и рвом. На запад и на юг тянулось болото с узкими гатями, которые обстреливались редутом; на горе с восточной стороны находился другой редут с палисадом и тремя рядами волчьих ям, вооруженный двумя пушками. Суворов приказал атаковать восточный редут; он был взят, но вслед затем отнят Поляками или, лучше сказать, Австрийцами; так как почти вся пехота, сидевшая в Тынце, состояла из австрийских дезертиров. Суворов приказал взять редут вторично, что и было исполнено; но неприятель отбил его снова. Дальнейшею настойчивостью можно было потерять и много людей, и много времени, в особенности невознаградима была бы потеря последнего: Дюмурье отчасти уже успел воспользоваться несколькими часами, потраченными Суворовым под Тынцом, стянув кое-какие войска. Как ни противоречило правилам Суворова — начинать дело и бросать его неоконченным, но он сообразил, что это будет меньшим злом, удержался от дальнейших атак и потянулся к Ланцкороне под огнем выстроившихся на высотах конфедератов. Под Тынцом и в предшествовавших сшибках с конфедератами мы потеряли 90 человек убитыми и ранеными; неприятель же — 75 пленными и около 100 убитыми; кроме того из тынецкого редута взято у пего 2 пушки [19].

Еще ранее к Суворову присоединился отряд Древица, силою в 2,000 человек, так что к Ланцкороне он подходил, имея под своим начальством около 3500. Приблизительно такие же силы успел собрать Дюмурье, или немногим больше, но почти все из конницы. Он требовал к себе и Пулавского, имевшего до 1500 человек, но тот отвечал, что не намерен получать приказания от иностранца и желает вести войну самостоятельно. Дюмурье выстроился на гребне высот, скат которых, покрытый кустарником, спускался к стороне приближавшихся Русских. Левый фланг позиции упирался к Ланцкорону; в городе и замке находилось 1200 человек с 30 орудиями; центр и правый фланг были прикрыты двумя рощами, занятыми двумя сотнями французских егерей; правую рощу защищали кроме того два орудия. Доступ с фронта к центру и левому флангу был очень затруднителен, особенно для кавалерии, и находился под выстрелами артиллерии с крепости и замка; правый фланг, с

обрывистыми скатами, был совсем неприступен.

Дело происходило 10 мая. На небольших высотах, впереди лежащих, показался русский кавалерийский авангард; приехал и Суворов для обозрения неприятельской позиции. Окинув ее взглядом, он велел Чугуевским казакам авангарда и эскадрону карабинер, составив из себя левый фланг русского корпуса, атаковать центр неприятельского расположения, не ожидая пока подойдут остальные силы. Казаки понеслись врассыпную, не тревожимые огнем стрелков, которым приказал молчать Дюмурье, уверенный в победе и опасавшийся одного — как бы Суворов не отложил свою якобы безрассудную атаку. Поляки должны были атаковать Русских лишь в тот момент, как эти последние вступят на гребень высот, в неизбежном расстройстве. А если запрещено было стрелять егерям, то ради той же цели, конечно должна была молчать также и артиллерия замка и города.

Расчет Дюмурье оказался фальшивым. Казаки, взобравшись на высоты, мигом сомкнулись в лаву и понеслись на центр и правый фланг, где находились войска Сапеги и Литовцы Оржевского; карабинеры скакали за ними. Конфедераты сразу дали тыл. Примчался Дюмурье, чтобы ободрить их и устроить; Сапега ударами сабли обращал беглецов на неприятеля, но ничто не помогло: Сапега был заколот своими; Оржевский и несколько храбрецов, его сопровождавших, пали под казачьими пиками. Дюмурье бросился к гусарам Нноца, чтобы с их помощью поправить дело, но и они вместо встречной атаки, дали залп из карабинов и показали тыл. Тем временем подошла русская пехота с остальною кавалерией, выбила из центральной рощи французских егерей, взобралась на высоты и тотчас же устроилась. Мионченский, предупреждая её атаку, понесся ей на встречу и храбро врубился в её ряды, но и это не принесло пользы: Мионченский был сбит с коня, ранен и взят в плен, кавалерия его отбита и прогнана. Все бросилось затем в разброд; один Валевский, занимавший левый фланг позиции, да Дюмурье с небольшим отрядом Французов отступили в порядке. Русская конница преследовала спасавшихся бегством несколько верст и нанесла им большой урон.

Ланцкоронское сражение продолжалось всего полчаса. Конфедераты потеряли около 500 убитыми и 2 орудия; пленных взято мало, но в числе их 2 маршалка. Потеря Русских была ничтожна и произведена выстрелами из замка во время преследования: атака же, решившая бой, ведена так быстро, что при этом атакующие почти не имели урона. На другой день Суворов хотел было штурмовать Ланцкорону, но имея всего 8

орудий, удержался: неудачные попытки против Тынца и той же Ланцкороны были еще свежи в его памяти. Дюмурье отступил в Бялу, пограничное местечко, и оттуда через несколько недель уехал во Францию, совсем отказавшись от дела Поляков. Суворов донес Веймарну 13 мая: «Мурье, управясь делом и не дождавшись еще карьерной атаки, откланялся по французскому и сделал антрешат в Белу, на границу» [19].

Впоследствии Дюмурье осуждал распоряжения Суворова под Ланцкороной, утверждая, что они должны были навлечь на него неминуемое поражение. Может быть — при других условиях. Искусство военачальника состоит прежде всего в оценке обстоятельств, в знании противника и в соответственном выборе средств для его поражения. Тактические правила условны и в применении к живому делу иногда изменяются в диаметрально противоположную сторону. Слепо держаться их нельзя, на что намекает Суворов в своей автобиографии, говоря, что «никакой баталии в кабинете выиграть не можно». Он поразил под Ланцкороной Поляков внезапностью и дерзостью, избрав способ действий, которого они (и Дюмурье с ними) не ожидали, считая его невозможным, и вот невозможное сделалось возможным. В них, конфедератах, было очень мало живой нравственной силы и очень много впечатлительности; Суворов принял это в соображение и на таком соображении построил свой расчет. После долгих усилий, при иностранной субсидии и при энергическом ведении дела знающим и способным иностранным офицером конфедерация в последнее время преобразилась и выступила во всеоружии; так по крайней мере казалось. Надо было озадачить сразу эту якобы преображенную, переродившуюся силу, чтобы она не подняла головы и не притянула к себе всю Польшу, — и Суворов озадачил ее под Ланцкороной. Сила рассыпалась, оказалась призраком.

В своей автобиографии Суворов говорит про ланцкоронское поражение, что оно «произошло от хитрых маневров французскою запутанностью, которою мы пользовались; они хороши для красоты в реляциях». Надо думать, что под запутанностью и хитрыми маневрами Суворов разумел плохой расчет Дюмурье — не стрелять в кавалерийскую атаку, так что лучшие его войска, обе группы французских стрелков, оказались для боя потерянными вместе с артиллерией левого фланга. Далее Суворов говорит: «неприятелю времени давать не должно, пользоваться сколько можно его наименьшею ошибкой и брать его всегда смело с слабейшей стороны; но надлежит, чтобы войска предводителя своего разумели». В этих словах заключается полое объяснение Ланцкороны и прямой ответ на

критику Дюмурье.

Остается указать еще на одно характерное обстоятельство. Суворов, сильно не ладивший с Древицем и не скрывавший своего невыгодного о нем мнения даже от Веймарна, доносит о нем по поводу ланцкоронской победы так: «полковник Древиц на сражении под Ланцкороной все дело сделал; он атаковал с искусством, мужеством и храбростью и весьма заслуживает императорской отличной милости и награждения» [19].

Конфедераты были разбиты, но оставался самый опасный из них по дарованиям и популярности — Пулавский, который собирался идти в Литву. Суворов выступил против него по направлению к Раве; Пулавский направился к Замосцью, в надежде, что его туда впустят. Суворов, разгоняя и отбивая встречные партии, от Равы повернул к Замосцью, совершая весь пут от Кракова форсированными переходами. Пулавского в крепость не впустили; он занял частью войск предместье и расположился вблизи на позиции. Здесь атаковал его Суворов рано утром 22 мая. В главе атакующих двигался через дамбу небольшой отряд егерей; он быстро прошел это дефиле и вторгся в зажженный конфедератами форштат. За егерями шли три эскадрона карабинер, которые, по очищении пехотою горевшего форштата, произвели смелую атаку и сбили неприятеля. Поляки бежали по болоту, разрушив за собою мост. Времени прошло не мало, пока Русские успели починить мост, так что нагонять бежавших могли только казаки. Поляки потеряли до 150 убитыми и 60 пленными; потеря Русских была ничтожна. Замосцье, очень важный укрепленный пункт, было освобождено [19].

Суворов горячо преследовал Пулавского, принужденного отступать по дороге к Люблину. Пробраться в Литву стало делом невозможным, и Пулавский решился снова вернуться к венгерской границе. Для этого надо было обмануть бдительного Суворова; смелый, энергический Пулавский так и сделал. Оставив в виду Суворова свой ариергард и приказав ему продолжать отступление но прежнему направлению, Пулавский с большей частью своей партии обошел Суворова фланговым движением и, выйдя в тылу его на прежнюю дорогу, прибыл чрез Дунаец к Ланцкороне, где и соединился с некоторыми другими партиями. Таким образом он искусно провел Суворова, и Суворов не пытался этого отрицать. Напротив, он с большою похвалою отзывался о действиях Пулавского, в особенности об его мастерском отступлении к Ланцкороне, и в знак своего уважения послал ему на память небольшую фарфоровую табакерку.

Так окончилась экспедиция Суворова. По неутомимости, по смелости и решительности ударов и вообще по энергии

исполнения она представляет собою целую военную поэму. Рассчитывают, что в 17 суток Суворов прошел около 700 верст; форсированные переходы постоянно перемежались битвами; не проходило двух суток без боя. Когда же восхищались ему в глаза замечательною быстротою его движений, он отвечал: «это еще ничего, Римляне двигались шибче, прочтите Цезаря».

За такою усиленною деятельностью наступило опять нечто вроде затишья прежних лет, но на этот раз ненадолго.

Глава V. Польская конфедератская война: Сталовичи, Краков; 1771—1772

Огинский; его присоединение к конфедерации. — Инструкции и приказания Веймарна Суворову; несвоевременное получение последних; движение Суворова против Огинского к Сталовичам; план атаки; поражение Огинского. — Миротворные поступки Суворова; возвращение его в Люблин. — Неудовольствие и упреки Веймарна; ответы Суворова; жалоба Веймарна военной коллегии.—Усиленная деятельность Суворова; непрошеные советы Веймарну. — Замена Веймарна Бибиковым; предположения обеих сторон. — Захват конфедератами краковского замка; обложение замка Русскими: неудавшийся штурм; продолжение осады; капитуляция. — Австрийские и прусские войска на польской территории; трудная рол Суворова; неприятности. — Первый раздел Польши.

Несмотря на жестокий удар, нанесенный конфедератам Суворовым под Ланцкороной, они не потеряли еще надежды поправить свое положение с помощью какого-нибудь счастливого дела. Отчасти они были правы, потому что война затянулась. а для них выигрыш времени был большим выигрышем, даже без определенного представления о будущем. Также несправедливо было бы сказать, что они возлагали свою надежду на один слепой случай, которого ни предвидеть, ни указать не были в состоянии. Предположения или ожидания их коренились в более реальной

почве: они ждали перелома событий от литовского великого гетмана графа Огинского. Ожидания эти, сначала смутные и неосязательные, по мере неудач конфедератов росли, принимали определенные очертания и сделались наконец единственною надеждой Поляков. Огинский стал якорем спасения для всех и каждого, ибо все Поляки, за редким исключением, принадлежали конфедерации: меньшинство — словом и делом, большинство — помышлением и сочувствием.

Возвышению значения Огинского много способствовал один из конфедератских предводителей, — молодой, предприимчивый Косаковский. С партиею из нескольких сот человек он выступил из Ченстохова и пробрался в Литву кружным путем, по северным польским областям, где было мало русских войск. По дороге он распространял акты вождей конфедерации об упразднении престола, возбуждал дворянство к вооруженному действию, уговаривал всех на согласие и единодушие для спасения отечества. Сначала по пути Косаковского, а потом во все стороны распространилось глухое брожение, давала себя чувствовать назревавшая гроза. Поляки подняли голову, Русские стали опасаться всеобщего восстания. Ждали сигнала или искры именно от Огинского; на нем сосредоточились все надежды Поляков и опасения Русских.

Огинский пользовался большим уважением и влиянием, ибо имел собственное войско и начальствовал над литовским коронным. Отличительною его чертою было непомерное честолюбие; он даже помышлял о польской короне, так как нерасположение к Станиславу Августу было почти всеобщим. Но этому честолюбию не соответствовал характер Огинского, нерешительный, колеблющийся, даже робкий. Не держась открыто стороны конфедератов, он оказывал им помощь и покровительство в тайне и все выжидал благоприятных обстоятельств. Даже когда Дюмурье дал делу конфедерации счастливый оборот, Огинский не мог решиться на смелый шаг и дошел наконец до того, что сделался загадкой для всех.

Он стал под Телешаном с войском, число которого постепенно увеличиваясь, дошло до 3 или 4,000 человек. Первая цифра должна быт ближе к истине если не вообще, то относительно находившихся потом при Сталовичах. Сверх того Огинский ожидал 2,000 из Курляндии, рассчитывал на другие мелкие отряды внутри Литвы и даже на общее восстание. Но время все-таки проходило безлюдно, и Огинский ни на что не решался. Подстрекания Французского правительства и требование Сальдерном, русским посланником в Варшаве, категорического ответа, — за кого или против кого он, Огинский,

готовит войска, — побудили его наконец снять маску. Он переменил со своим корпусом позицию и начал укрепляться на новой. Сальдерн дал приказание русским войскам следить за Огинским и в случае надобности открыть противу пего действия. Полковник Албычев, командир части Петербургского легиона, потребовал от пего или роспуска войск, или передвижения на прежнюю позицию. Огинский изъявил готовность повиноваться, если получит удостоверение в своей безопасности. Это была проволочка времени для внезапности первого удара.

В ночь на 30 августа 1771 года Огинский внезапно напал на отряд Албычева, разбил его и большую часть взял в плен. Албычев был убит. Вслед затем Огинский издал манифест о своем присоединении к конфедерации. Впечатление было громадное; конфедераты ликовали, беды, забыты, надежды воскресли, мечтам нет предела...

Мелкие отряды потянулись к Огинскому из Литвы и Польши; он выступил к Несвижу и звал к себе Косаковского. Собравшиеся против него русские отряды действовать не решались, а только наблюдали. Время наступало серьезное; вытеснение русских войск из Литвы начало представляться возможным. Огинский выступил из Несвижа, гоня перед собой русский отряд полковника Диринга.

Еще 23 июля Веймар прислал Суворову предписание: ввиду двусмысленности поведения Огинского, быть готовым к выступлению из Люблина, по получении ордера, туда, куда обстоятельства потребуют, а до тех пор никуда не отлучаться. Другим предписанием, 31 июля, он сообщает Суворову, какие именно отряды получили назначение наблюдать за Огинским, выражает надежду, что этих мер будет достаточно, что шляхта уже разъезжается отчасти но домам и к Косаковскому пристает с меньшею охотою. А чтобы без крайней нужды не обнажить Польшу и не измучить войск напрасными передвижениями, — наряженный от бригады Суворова отряд должен оставаться при Люблине в готовности до особого распоряжения. Если же, паче чаяния, он уже выступил и дошел до Коцка, то там остановиться, донести и ждать приказания. Затем 29 августа подтверждается Суворову быть в готовности, но без особого приказания никуда не выступать. Наконец 1 сентября, после открытия Огинским военных действий, Веймарн сообщает Суворову принятый им обще с Сальдерном план. Главные действия поручаются полковнику Древицу; под его команду назначается сильный сборный отряд из разных мест, в том числе и от Суворова; отряд собирается к м. Минску, в 30 слишком верстах от Праги. По прибытии в Минск, Древиц должен чрез шпионов разведать о

намерениях Огинского. А так как Огинский может или пойти на Варшаву, или направиться в краковское воеводство с нападением на посты Суворова, или же остаться в Литве, то надо быть ко всему готовым. Поэтому Суворову предписывается немедленно, без всякого откладывания, сиять все посты, людей всех собрать в Люблин и держать их вкупе, наблюдая за Огинским. Если он пойдет к Варшаве, то туда же поспешить и Суворову, действуя Огинскому во фланг или в тыл, в связи с Древицем, который встретит его с фронта, Если Огинский направится к стороне Люблина, то Суворов должен пресечь ему путь и поставить его, вместе с Древицем, между двух огней. Вернее всего, что Огинский останется в Литве; в таком случае «приказано Древицу, не покидая и тени гетманской, следовать с поспешением за ним и разбить его до вящего себя усиливания», а Суворову оставаться в Люблине с отрядом в сборе, до получения ордера. Частям войск Суворова, назначенным к Древицу, послано приказание прямо, а так как вследствие упразднения постов прекратится сообщение с 1-й армиею, действовавшей против Турок, то курьеров препровождать до Варшавы с прикрытием [1].

Забили тревогу и в 1-й армии, т.е. в тыльном её районе; генерал-майор Кречетников стал принимать поспешные меры и просил содействия Веймарна [2].

Что отвечал Суворов Веймарну на первые его предписания, неизвестно; вернее всего, что ничего не отвечал. Очевидно он не мог быть доволен ролью, которая доставалась ему по воле Веймарна, и не мог одобрять того выжидательного бездействия, которое составляло сущность сообщенных ему распоряжений. Оно было не в его духе и противоречило всему образу его действий, доселе столь успешно практиковавшемуся в Польше. Сообщение 1 сентября тоже не могло его удовлетворит; оно, во-первых, излагало меры запоздалые; во-вторых, меры эти все-таки носили на себе характер робости, большой осторожности и оставляли инициативу в руках Огинского; в третьих, отдавалось предпочтение Древицу, младшему и притом недругу Суворова, а самому Суворову назначалась второстепенная роль. Все-таки он вероятно исполнил бы предписание 1 сентября, если бы оно последовало несколькими днями раньше: с его стороны был бы слишком большой риск действовать вопреки общему плану. Но предписание опоздало. Между тем опасность от Огинского была несомненна и угрожала большой бедой, если пропустить время. Суворов же от Веймарна никаких новых распоряжений не получал, не успел даже получить ордера от 29 августа. Поэтому он решился, на свой риск и страх, принять меры, хотя противоречащие прежним распоряжениям из Варшавы, но

соответственные новому положению дел, внезапно разоблачившемуся. Не такой он был человек, чтобы отказаться от всякой инициативы единственно потому, что не получил еще новой инструкции [3].

Он доносит 1 сентября, что получил официальный рапорт о катастрофе, случившейся с Албычевым; что Огинский в числе 6 - 7000 следует к Бресту: «уповательно, что и в Бялу будет, чего ради я соберу по возможности войска в Коцк и выступлю». В тот же день Суворов выступил из Люблина в Коцк и на другой день донес из Коцка, что послал нарочного в Брест и патруль до Бялы, что завтра или после завтра он надеется собрать достаточно войск без-111 обнажения мест. Вероятно в это же время он получил ордер Веймарна от 29 августа (подтверждающий предписание 23 июля), потому что в рапорте своем от 3 сентября, из Коцка же, он упоминает про это последнее и говорит, что когда «особенные обстоятельства, по причине слухов об Огинском, минуются, в точности исполнение чинено быть имеет». В тот же день он пишет, что прежде полученные известия об Огинском подтверждаются, что он, генерал-майор Суворов, за долг службы почитает туда отправиться и сегодня с передовыми войсками выступит. Затем, из Бялы он доносит 5 сентября, что туда прибыл и из находящихся там войск взял 107 человек пехоты, 71 кавалерии, 10 казаков и принял намерение выступить к Бресту, а понадобится, то и к Пинску. Наконец, 6 сентября он рапортует из Бреста, что ордер от 1 сентября получил, «и во исполнение оного, как стремления Огинского к Варшаве и к стороне Люблина не слышно, я буду стараться, не пропуская его, гетмана, в те места, с помощью Божиею упреждая все намерения и покушения его, уничтожить», к этому он прибавляет, что снесется с Древицем и другими отрядными начальниками, чтобы ему, Суворову, обо всем сообщали и его приказания исполняли [4].

Таким образом оказывается, что своим самовольным выступлением в дальнюю экспедицию, Суворов не только не нанес ущерба общему делу, но даже не прибег к тем крайним мерам, о которых писал ему Веймарн, именно — не прервал коммуникации с 1-й армией и не оиорожнил ни одного поста, продолжая держать конфедератов своего района в узде.

Выступив из Бреста в Березу и оттуда двигаясь к Несвижу, Суворов, не доходя 35 верст до этого города, получил достоверное известие, что Огинский находится в м. Мире, а полковник Диринг в 20 от него верстах. Решив соединиться с Дирингом для удара на неприятеля, Суворов выступил к Несвижу в ночь на 12 число, но отойдя несколько верст, услышал, что гетман перешел в м. Сталовичи. Суворов тотчас послал к Дирингу

и в Слуцк, к подполковнику Хвабулову, чтобы подкрепили его в предстоящей атаке, «сам же, дав вид, будто тянется к Несвижу, поворотился назад и маршировал прямо к м. Сталовичам», находившемуся в 14 -15 верстах. Поступил он так для того, чтобы соединением с вышеозначенными отрядами или маршем к Несвижу «при таком авантажном ночном и неведомом гетману случае не упустить и не потерять времени, и не подать ему способа далее уйти, ведая со стороны встречающийся ему деташамент Древица, обнадеживая себя тем и другим подкреплением».

Успех в военном деле очень много зависит от выигрыша времени: потеря одного часа может дать вместо победы поражение. Поход Суворова к Сталовичам и бой при этом местечке служат блестящим тому подтверждением. Имея всего 822 человека боевой силы, он предпочел ударить с одним своим ничтожным, истомленным отрядом на несоразмерно сильнейшего неприятеля, пользуясь выгодой внезапности, нежели выжидая других, соединиться с ними и хотя таким образом усилиться, но зато открыть противнику себя и свои намерения [6].

В совершенной тишине приближались Русские к Сталовичам. Небо было покрыто тучами, ночь стояла черная; маяком для войск служил огонь, мерцавший на монастырской башне близ Сталович. В темноте русские разъезды наткнулись на польский уланский пикет из четырех человек; захваченные врасплох, уланы сообщили некоторые сведения о расположении конфедератов и послужили проводниками. Не доходя верст трех до Сталович, Суворов построил свой отряд в боевой порядок, поставил в первую линию большую часть пехоты с двумя орудиями в центре, во второй — три эскадрона, в резерве роту Суздальцев с небольшою частью кавалерии и казаков; фланги прикрывали казаки же. Войска двигались, как потом оказалось, в тыл неприятельского расположения, защищенный болотистою низменностью, чрез которую вела узкая плотина, длиною до 200 шагов. Вступив на плотину, Русские были тотчас же замечены неприятелем, и из местечка открыли по ним сильный орудийный и ружейный огонь, однако же недействительный, так как стояла еще ночь и едва начинала мерцать утренняя заря. Головная часть пехоты, иерейдя плотину, направилась к местечку, вспомоществуемая артиллерийским и ружейным огнем, куда и ворвалась. Подоспевшая кавалерия произвела энергическую атаку по направлению к площади, захватила стоявшие тут пушки и, не ограничиваясь этим, била и гнала перед собою встречных конфедератов. Так же успешно и храбро работала вторая колонна пехоты, ворвавшаяся в Сталовичи с другой стороны.

Озадаченные конфедераты частию бежали в поле, частию засели в строениях и производили беспорядочный огонь. Гвардия Огинского, состоявшая из 300 так называемых янычар, упорно оборонялась в нескольких домах на площади, но была или переколота, или выбита и разогнана. Сам Огинский едва спасся, вскочив на коня и ускакав в поле. Он увидел тут своих беглецов, безоружных, потерявшихся, блуждавших по разным направлениям. Он отдавал им приказания, просил, но слова его не производили никакого действия, так что он не мог собрать из сталовичских беглецов ни одной роты или эскадрона, когда уже Русские заняли местечко. Оправдывая себя в происшедшей катастрофе, Огинский писал, что измена была одною из причин его несчастия. Это только доказывает, как вообще человек расположен взваливать на других свою собственную вину.

Петербургские легионеры отряда Албычева, взятые перед тем Огинским в плен, находились в нескольких домах, которые были заперты снаружи. Слыша выстрелы, боевые крики, русские голоса, они догадались в чем дело и повыскакали из окон. Беготня, крики, выстрелы производили впечатление совершенного хаоса, среди которого своих трудно было отличить от чужих. Прибыв в Сталовичи на заре, Суворов заметил солдата, пробирающегося в какой-то дом; он принял его за грабителя и окликнул. Солдат отвечал по-польски и выстрелил в него из ружья, но промахнулся; это был один из гвардейцев Огинского.

В местечке стояла только часть войск Огинского; остальные были расположены невдалеке, в лагере, на небольших» высотах. Не давая времени конфедератам прийти в себя, Суворов тотчас же по взятии Сталович повел атаку на стоявших в поле. Было уже совсем светло, «белый день», по его выражению. Беглецы сталовичские присоединились к лагерным, но сил их не увеличили, а скорее принесли с собой ужас и смятение, Однако все-таки конфедератов находилось в строю гораздо больше, чем Русских, тем паче, что при выбивании неприятеля из местечка, большая часть русских карабинер увязались за теми конфедератами, которые бежали не к своему лагерю, а в сторону. Таким образом из кавалерии оказалось на лицо для новой атаки всего 70 человек карабинер, польской же конницы примкнуло к лагерю не меньше 500. Но это не остановило Суворова; он понимал, что тяжелым впечатлением ночи сангвинический неприятель уже заранее обречен на поражение. И так атака поведена одновременно кавалериею против кавалерии и пехотою против пехоты, которая занимала левый фланг неприятельского расположения, причем 200 человек, неизвестно почему, стояли в стороне. Суворов решился однако прежде обстрелять

конфедератов, тем более, что и у них были пушки. После непродолжительного артиллерийского и ружейного огня, произведенного во время движения вперед, Русские бросились в атаку. Слабый карабинерный эскадрон мигом опрокинул сильную числом неприятельскую кавалерию, пехота потерпела ту же участь, а отдельно стоявшая её част, на которую особенно энергично велось нападение, почти вся сдалась в плен. Дело кончилось в 11 часов дня. Огинский был совершенно разбит и с десятком гусар спасся бегством в Кенигсберг, в Пруссию [6].

Большая часть русской конницы, ударившаяся в преследование, ушла довольно далеко вперед, когда внезапно появился конфедератский генерал Беляк с двумя комплектными уланскими полками силою в 1,000 человек, пришедший на помощь Огинскому. Он смял кавалерию, но подоспели казаки, восстановили бой, и Беляк принужден был отступить [7].

Последствия сталовичской победы были громадные. Корпус Огинского перестал существовать, хотя в нем людей оставалось много; серьезная опасность, грозившая Русским и их делу вследствие внезапного усиления конфедерации литовскими войсками, была разрушена совершенно. Малодушное бегство Огинского за границу еще усилило блеск и значение события. Самая крупная надежда конфедератов исчезла, оставив по себе кровавый след.

Понесенные обеими сторонами в сражении потерн определяются писателями весьма различно. Сам Суворов противоречит себе в некоторых цифрах. Бесспорно то, что конфедераты потеряли все свои орудия, весь без исключения обоз, много знамен, гетманскую булаву и проч... и что освобождены пленные батальона Албычева, 435 челов., с их двумя полковыми пушками. Потеря Русских убитыми ограничивалась 8 человеками, у Огинского же Суворов определяет в своих сообщениях разным лицам число убитых от 300 до 500, пленных от 280 до 300, в том числе 16 офицеров, но в своей автобиографии говорит, что плен превосходил цифру русского отряда. Последнее показание можно признать за истинное лишь в том случае, если под словом «плен» разуметь не только пленных конфедератов, но также их обоз и безоружных легионеров Албычева, Раненых Суворов считает в своем донесении 3 офицера и 35 нижних чинов, а в автобиографии говорит, что были переранены почти все старшие офицеры и 78 нижних чинов, т.е. около 100 чел.; это должно быть ближе к правде. Число раненых конфедератов остается неизвестным, но оно должно быть очень велико [8].

Войска Суворова в сталовичском деле вели себя так. как

только могут поступать войска хорошо обученные, выдержанные, обладающие высоким нравственным чувством. Суворов был ими доволен, что много значит; он доносил Веймарну, что не знает, кто друг друга перещеголял в атаке: легионные (взятые в Бяле), или его собственные войска. Он гордился этой победой, вспоминая о ней и впоследствии, а на первых порах был в полном восторге. К генералу Кречетникову он писал 14 сентября: «простительно, если вы, по первому слуху сему, сомневаться будете, ибо я сам сомневаюсь; только правда». Всем нижним чинам он выдал по рублю из своих собственных средств [9].

Достойна упоминания одна из причин решимости Суворова предпринять такую дальнюю и смелую экспедицию. Он объясняет это в своей автобиографии так: «я имел храбрых офицеров, привыкших часто сражаться вблизи».

Донося 13 числа об одержанной победе, Суворов прибавил: «теперь пора мне туда, откуда пришел». И действительно, после короткого отдыха, он направился в Несвиж. Пленных, безоружных, раненых и особенно обоза так было много, что отряд обратился в прикрытие и растянулся слишком на 3 версты. Если бы побежденные не упали духом и сохранили энергию и самообладание, то тут могли бы с победителями поквитаться. Но Суворов понимал, что им это и в голову не могло прийти. В Несвиже оставил он пленных, обоз и проч. и, угостив тут пленных офицеров обедом, двинулся к Пинску. В Несвиж же прибыл к нему полковник Диринг, на совместное действие с которым он рассчитывал, но прибыл не с отрядом, а единолично, чтобы представиться генералу.

В Пинске находился главный штаб и свита Огинского. которыми Суворов и овладел, а потом чрез Брест и Бялу возвратился в Люблин к 29 числу. Несмотря на то, что после Сталович он не оставался в Литве, а только пробыл в двух-трех пунктах самое короткое время, он успел словами и поступками милосердия и миролюбия несколько успокоить край, склонить многих к сложению оружия, к возвращению в дома, к покорности. Не сохранилось никаких подробностей его деятельности в этом смысле, но она не осталась незамеченной, и многие писатели ставят ее Суворову в большую заслугу. Он велел не трогать имении Огинского и оставить в них все по прежнему. Встретив на дороге к Пинску конфедератского офицера, везшего полковую казну, он не тронул денег и дал еще офицеру пропуск для него и казны до места назначения [10].

Сталовичский поход и битва выдвинули Суворова из ряда и сделали его известностью, чуть не знаменитостью. Даже Фридрих Великий, который был вообще о русских генералах невысокого

мнения, обратил на него внимание и в сочинениях своих дал Полякам совет остерегаться Суворова.

Сталовичское дело в подробностях и цифрах несколько раздуто писателями. Потери обеих сторон были не таковы, как обыкновенно определяются; переход Суворова из Люблина к Сталовичам не так быстр, как все пишут; цифра отсталых (из 1,000 чел. — 150) тоже не подтверждается, ибо 1,000 человек у него ни в один момент похода не было; усиленный в Бяле легионерами, его отряд простирался до 902 челов. с 298 лошадьми, а в деле под Сталовичами участвовало 822 чел. Но все эти прикрасы ни мало не изменяют сущности, и дело остается мастерским и поучительным во всех отношениях, особенно в смысле сочетания крайней степени смелости с осмотрительностью [4].

Не так смотрел на это Веймарн, и на Суворова обрушилась куча мелких неприятностей и булавочных уколов. Прежде всего Веймарна вывело из терпения то обстоятельство, что после донесения Суворова из Бреста 6 числа, он не получил от него ни одной строки весь сентябрь, а потому 28 числа послал ему сердитую и довольно колкую бумагу. Начиная ее прибытием Суворова в Брест «без повеления», он упоминает про сталовичскую победу, одержанную «счастием оружия её Императорского Величества и храбростью славных наших войск». Скорбя о неполучении никаких от Суворова донесений, так что весть о Сталовичах пришла стороной, «в чем остается нам прискорбие, а вам нарекание», он говорит, что затем в Литве уже нет больших конфедератских партий, а потому предписывает Суворову возвратиться «по получении сего, ни мало не медля и не взирая ни на какие обстоятельства». Следовательно Веймарн послал Суворову предписание о немедленном возвращении в Люблин как раз в тот день, когда Суворов был уже в Люблине или подходил к нему [11].

Веймарн не был уже в то время начальником Суворова, ибо сдал свой пост вновь назначенному генерал-поручику Бибикову ни собирался уезжать в Петербург. Бибиков прибыл с высочайшим указом в Варшаву 13 сентября, и 14 числа Веймарн предписал Суворову обращаться по делам службы к Бибикову. И однако же, не довольствуясь укорительным предписанием от 28 сентября, Веймарн перед самым своим отъездом послал Суворову 7 октября другое, еще более оскорбительное и притом противоречащее первому, не посовестившись собрать предварительно некоторые справки на самом месте, в Сталовичах, у ксендза, Он предоставляет собственному Суворова рассуждению — согласно ли с узаконенными порядками и субординациею все то, что он,

Суворов, сделал, как выступление из Люблина в Сталовичи, «так и произвольное без ордера из Литвы в Люблин возвращение?» Он, Веймарн, передает это дело рассмотрению своего преемника, почему теперь и не упоминает о всех его, Суворова, неприличных поступках и ограничивается указанием лишь на одно обстоятельство: «вы уверяете, что неприятелей от 400 до 500 на месте побито; неоднократно в рапортах и письмах ваших вы с сетованием изъясняли неудовольствие, что наши деташементные командиры число убитых безмерно увеличивают; но ныне вы и сами наипредельнейшим образом в тот же самый казус по-видимому поставились, ибо пробощем м. Сталовичи уверяется, что всего всех им похоронено было 53 человека, в том числе 8 с нашей стороны». Дальше он ставит Суворову в укор, что в донесении последнего не упомянуто, в чем именно состояла добыча, разделена ли она пропорционально, не было ли гетманских и казенных денег, сколько из добычных лошадей и куда распределено, что заплачено тем, кто их отбил, и сколько от форсированных маршей убыло людей и лошадей [11].

Вся эта длинная тирада обличает не Суворова, а Веймарна, который, под влиянием раздражения и досады, хотел сорвать на Суворове сердце во что бы то ни стало. Он даже не сообразил такой простой вещи, что если донесение не получено, то еще не значит, что оно не отправлено, особенно в крае взволнованном, где почти все население тайно или явно сочувствовало конфедерации, и сообщения по дорогам были постоянно не обеспечены.

Суворов отвечал следующее. Выступил он из Люблина ради усердия к службе и ревности к отечеству, дабы не дать осуществиться намерению Огинского и защитить посты своего района, а в Бресте принял намерение — разбить гетмана. Донесение о победе послано 13 сентября и того же числа отправлен дубликат чрез подполковника Колыванова из Несвижа; перед сражением доносил не только 6 числа из Бреста, но и после того из Березы; кроме того представлены реляция и журнал военных действий [12]. Движение из Люблина произведено без опорожнения постов. По разбитии гетмана, Суворов счел обязанностью возвратиться в Люблин, но дал знать об этом полковникам Чернышеву, Дирингу, Древицу и подполковнику Хвабулову, предписав трем последним принять меры к истреблению остатков войск Огинского. «Чтож принадлежит до побитых неприятелей от 400 до 500, то совершенная правда; поставляю не увеличивая, хотя их и больше того побито. А с чего пробощ м. Сталович, и по какому требованию, и кого, и на каком основании похороненных им весьма малого числа утверждал, я

совсем не понимаю. Всему ль моему изъяснению или пробощу поверить должно, истинно доношу, что несправедливо я тем обнесен». В реляции написано о добыче подробно и все, принадлежащее по закону короне, оставлено в Несвиже; были ли в казне гетмана деньги, и если были, то кем они захвачены — неизвестно; партикулярная добыча отдана войскам и хотя пропорционально не поделена, однако каждому взять часть дозволено, и в том никто претензии не заявил. «Старание и успех состояли только в том, чтобы единственно неприятеля разбить и истребить, а не о партнкулярной добыче помышляемо». Добычные лошади размещены но полкам без всякой за них платы, а неспособные к службе оставлены в руках нижних чинов. О числе выбывших на походе из строя, по заведенному Веймарном порядку, полки должны доносить сами [11].

Было бы странно предполагать, что в таком деле, как сталовичское, число убитых конфедератов могло ограничиться цифрою 45, как указывает Суворову Веймарн. Суворов погрешил только в подробностях раздела добычи, что вполне извиняется и объясняется быстротою обратного выступления его отряда; лично же на Суворова подозрения допустить невозможно, потому что он на свою долю из добычи никогда ничего не брал, ни в эту войну, ни во все последующие. Легко быть может, что по отношению к добыче вкрались тут какие-нибудь злоупотребления; они даже были наверно, так как например гетманская булава, подлежавшая передаче Польскому королю, была продана, притом в другой отряд, и ее пришлось отыскивать. Некоторые историки упоминают еще про гетманскую казну в 50,000 червонных; об утраченной казне пишет и сам Огинский, но Суворов о ней ничего не знал. Не была ли это та самая касса, которая несколько времени спустя найдена у одного капеллана вместе с бумагами Огинского, и от него отобрана?

Веймарн обнес Суворова и перед военной коллегией. В донесении своем, начиная с представленного Суворовым наградного списка, он говорит, что «со своей стороны иного сказать не может, как то, что по-видимому каждый свой долг исполнил». Далее он пишет, что Суворов ничего не доносил «о предыдущих обращениях и мероположениях к согласному действию с прочими» и обращает внимание коллегии на то, что Суворов, после такого удачного дела, не преследовал разбежавшихся и не обратился на Косаковского, а предоставил это другим. Суворов даже помешал довершить победу полковнику Дирингу, ибо отошед от Сталович, остановился и произвел победный салют; Диринг же, заключая из пальбы, что Суворова теснит Огинский, не пошел к Сталовичам для преследования

последнего, обратился к Несвижу для поддержания Суворова и таким образом потерял время к прямой выгоде конфедератов. В заключение Веймарн выставляет последующие действия Диринга в выгодном свете и прилагает, на немецком языке, экстракт из его рапорта [11].

Этим дело и кончилось; никакого суда над Суворовым учреждено не было, вопреки утверждению некоторых авторов. Веймарн был человек ума не дюжинного и конечно понял бы, что таким поступком он компрометирует себя, а не Суворова. Суворов, получивший за свою службу в Польше до Сталович орден св. Анны 1 степени и Георгия 3 класса, был награжден за сталовичскую победу в декабре 1771 г. орденом Александра Невского, которого не имел еще тогдашний его начальник, Бибиков [13].

Все подобные неудовольствия оставляли в Суворове след, и пребывание в Польше становилось ему более и более в тягость. Прошлогодняя его попытка перебраться в армию Румянцева почему-то не удалась; он повторил ее и в 1771, еще до сталовичских неприятностей, подав 26 июля прошение на высочайшее имя о переводе его в главную армию против Турок, в котором говорит, что «желает по усердию своему продолжать службу с практикой». Об этом он просил и Веймарна, говоря: «довольно претерпел, смордовался, а для могущих быть взысканиев, подозрениев и ответствиев остаюсь непорочен». Но в августе Суворов, не объясняя причины, просит задержать его челобитную до октября. В конце концов перевод опять не состоялся [14].

. Этот год был особенно богат по всем отраслям деятельности Суворова, Распоряжения его касаются внутреннего обихода в войсках, содержат в себе правила службы и общие, и собственно Суворовские. Он рекомендует постовым командирам бдительность и осторожность; приказывает делать поиски с партиями неслабыми и не далее одного перехода с возвратом назад; суточный марш рассчитывает от 50 до 85 верст; о предпринимаемых поисках предписывает предупреждать ближайшие посты; «не бродить по куриному, а ходить по оленьему»; избегать употребления шпионов по сомнительности их сведений; казакам не атаковать, а только преследовать. По инструкциям Суворова первое условие для поражения конфедератов состоит в поспешности; атаковать их следует скорым и сильным ударом, лучше всего колоннами с интервалами в них; сделав удар, ни минуты не стоять на месте, а идти назад преимущественно другой дорогой. Если неприятель по верным вестям окажется сильнее, чем предполагалось, то

просто повернуть назад и идти домой. Если конфедераты имеют артиллерию, то прежде всего ее отнять; тогда они падают духом. Не раздувать потерь неприятеля; постовым командирам не представлять ему, Суворову, известий о конфедератах на рассмотрение, а распоряжаться самим по зрелом рассмотрении дела. Особенные заботы Суворова направлены на обучение войск; он входит в это дело беспрестанно и с подробностями, приказывая наприм. обучать солдат даже во время нахождения их в карауле, чтобы они не убивали время на игру в шашки [15].

На грабительство и неправильные поборы войск жалобы продолжались. Тогда все смотрели на добычу, как на совершенно справедливое вознаграждение войска за одержанный им успех и как на естественное последствие победы; такой взгляд никем не оспаривался и был узаконен. Подобным же образом смотрел на добычу и Суворов, но сознавал, что путь этот скользок и не будучи регулирован, ведет к грабежу, насилиям и полной разнузданности. Поэтому Суворов постоянно напрягал усилия к удержанию понятия о добыче в законных пределах, и переступивших этот предел наказывал со строгостью. Он беспрестанно подтверждает о невзимании никаких незаконных поборов; с негодованием укоряет постовых и отрядных командиров в том, что они от добровольно явившихся, отставших от конфедерации людей, отбирают лошадей и их собственное платье; напоминает распоряжения высшего начальства и постановления военной коллегии о том, какая именно добыча, доставшаяся после боя, принадлежит казне, какая войску. Он обвиняет казаков в том, что когда легко раненый конфедерат валится с лошади и притворяется убитым, то казак обдирает его и оставляет на месте, а не берет в полон, ибо должен был бы представить неободранного, чрез что конфедерат «становится горшим возмутителем». Или же спихнув конфедерата пикой с лошади, казак не обращает на него никакого внимания, а бросается за его конем, тогда как добытый конь должен принадлежать казне. Больше всего грозит Суворов за то, когда «при пленении кого получше, другие задние наехавши, стараются его себе отбить, за каковую шалость без изъятия немедленный шпицрутен». Для добычи предписывается пехоте на ходу не останавливаться, кавалеристам с коней не слезать и проч. Вообще из распоряжений Суворова видно, что он говорит не с чужого голоса, что они составляют результат его непосредственных наблюдений, что он все знает собственным опытом, все видел своими глазами, и однако же, несмотря на бдительность Суворова, все-таки происходили такие случаи, как под Сталовичами, с булавою Огинского [15].

Суворов приказывает содержать пленных ласково и человеколюбиво; кормить их хорошо, «хотя бы то было и сверх надлежащей порции»; поступать также и с неприятельскими дезертирами. Он предписывает постовым командирам чаще напоминать подчиненным, чтобы они хорошо обращались с отстающими от конфедерации, «ибо благоприятие раскаявшихся возмутителей пользует более нашим интересам, нежели разлитие их крови». Да и нераскаянных он защищает от всяких жестокостей: «как бунтовщиков подлыми ни почитайте, но никакого злодея уничтожать не должно, а оружие низложивши, оказывать всякое благоволение». Он часто рекомендует поддерживать добрые отношения между войсками и жителями и не забывать, что русские войска находятся в Польше только для успокоения земли: «мир на Израиля». Даже с неприятельскими шпионами Суворов, вопреки военным обычаям, мягок и приказывает тоже самое своим подчиненным. Объясняет он это Веймарну так: «у бунтовщиков шпионы только на том основании, что просто доносят, где мы обращаемся; их столько много, что когда их изловят, я их выспрося, отпускаю домой» [15].

Мы видели, что Суворов и Веймарн расстались неприязненно и что главною тому причиной были несправедливость и мелочное самолюбие Веймарна. Но есть тут и вина Суворова. Он давал Веймарну непрошеные советы, хотя большею частью косвенно; охуждал течение дел; указывал на разные недостатки в войсках, особенно на дурное их обучение; был требователен относительно неподчиненных ему лиц; браковал принятую систему войны. Делал он это в приличной форме, но все-таки в писаниях его просвечивал сарказм, проглядывала сатира, советы и требования его носили на себе печать авторитетности, не признаваемой Веймарном. Хотя Суворов и писал ему: «простите мне все сии от времени до времени разновидные примечания, хотя бы они ошибочны или на образ натуральной мне веселости, токмо совершенно без желчи штиля были»; но в письмах его именно зачастую и отсутствовал подобный безобидный для щекотливого начальника тон. Да и помимо этого обстоятельства, постоянная критика, если даже она не задевала Веймарна и его распоряжений, в конце концов прискучала, делалась надоедливой.

Суворов восстает против самой системы войны; она должна быть наступательная; оборонительный способ невозможен, ибо от конфедератов нигде не только укрыться, но и дорогу пресечь им нельзя. Между тем силы их растут, против прошлого года увеличились почти вдвое; постам приходится только отбивать их набеги. Литву содержать одному легиону; учиться

рекогносцировке, разным порядкам марша, а потом уже «драка с сопротивными (а не с приятелями от скуки); на своевольство недосуг». В Польше 4 бригады с генерал-майорами; они лучше управят, чем голодные псы с их отрядами». «Когда до них дойду, то сердце воротится... Право, им лучше скорее дать деньги и абшит; они ни зачем иным, как за деньгами... Успокоить бы сих рыночных героев». Они должны быть партизанами, а не гордыми, местничающимися панами; оттого все хвастовство и ложь, ибо потеряв время, а иногда и важные посты, им нечего больше и делать, избегая взыскания, как хвастать и лгать. Они только и делают, что идучи с отрядами, заходят в помещичьи усадьбы, пьют там кофе и играют в таблеи. «Показалось 100 человек, шпион доносит 300; отделилась в сторону партия в 50 человек для поборов — новые 300, итого 600. Рапортует — должен прежнюю цель оставить и истребить новопоявившихся; их или не застанет, или разобьет, возьмет 8 в полон, 10 повалит, напишет 200-300; осталось десятков 5, а по лживому счету 300. Ему лживая слава; он же зная правду про себя, кончит кофеем... Становится бездна темнее, чем таковые победы блистательнее». (Суворов ненавидит этот кофе на панских дворах; укоряя одного хорошего офицера в недостатке самодеятельности, он кончает вопросом — неужели и вы стали пить кофе и играть в таблеи?)... «Я например донесу, что у Миончинского 1,000; другой делает 3,000; первый вид есть, что похвальнее первого предосторожность другого; а ежели третий донесет — 4,000, то уж и я отопрусь. Но паче, когда я те 4,000 одною тысячью побью, не надо ли уже мне на месте положить 1500? — давай чин, деньги. А солидное между тем на своем камени дремлет...» [16].

Все это писалось конечно вообще, но предназначалось по адресу разных лиц, Суворову не подчиненных и отчасти пользовавшихся доверенностью Веймарна. Еще беспощаднее он бичует отступления от воинского безусловного повиновения, в особенности по отношению к нему самому. Приняв под свое временное начальство часть Петербургского легиона, он обращается к Веймарну с требованием: «подобно как Гарпагон за свою покражу отдает под суд город и с пригородами, так я всему легиону не довериваю. Прошу ваше высокопревосходительство чаще в оный подтверждать о дисциплине и субординации, т.е. чтобы они просто и нехитроязычно мне были послушны, а не фигурили по кабинетному; сие значит много остроумия, а малый смысл». Преследуя ненавистное ему питье кофе по панским дворам, он предлагает не выдавать нижним чинам провиантские деньги за дни угощения в усадьбах, «чтобы не богатели и после не мотали; нужное солдату полезно, а излившее вводит в роскошь —

мать своевольства». Он указывает Веймарну на то, что офицеры и даже солдаты начинают употреблять польские шапки и платье; «уж им и государева шляпа лоб жмет, уж под мышками и кафтан тесен». Он выставляет ему на вид дурные внутренние порядки кавалерийских частей, говоря, что по старому кавалерист назывался хозяином, а теперь он не может знать, какой шерсти его лошадь. «Все равно, посади лопаря на такую лошадь, как такого кавалериста на его оленя или холмогорскую корову. А что смотрят офицеры? Есть кошелек, кофей у пана готов», стало быт ему ни до чего и дела нет. Издевается Суворов и над посадкой кавалеристов, называя ее «арлекинской позитурой». Короче говоря, нет почти предмета, которого бы он не касался в своих письмах и представлениях к Веймарну. Но рядом с критическими выходками, он преподает ему и свои наблюдения над конфедератами, способом их действий в бою, порядком походных движений и другими характерными особенностями. Например, конфедераты Миочинского на ретираде останавливаются и эскадронами дают огонь; Пулавцы бегут просто, без хитростей; про третью партию замечает, что она состоит из картежников, и тому подобное [16].

Преемник Веймарна, Бибиков, оказался человеком помягче и яснее понимающим достоинства Суворова. Изменяя в декабре 1771 года распределение войск, Бибиков в предписании своем говорит: «оставляю впрочем вашему превосходительству на волю, как располагать и разделять войска, как за блого вы по известному мне вашему искусству и знанию земли и наконец усердию к службе рассудить изволите». Далее он пишет: «для занятия войсками нашими Замосцья прошу подать мне свои мысли, каким образом оное достигнуть бы было можно» [17]. Таким образом между Бибиковым и Суворовым установились добрые отношения, которые не изменились до конца совместной службы начальника и подчиненного в Польше и продолжались по отбытии Суворова на другой театр войны [18].

Наступил 1772 год. На большом военном совете у русского посланника в Варшаве решено было покорить все укрепленные места, находившиеся во власти конфедератов. Русские войска, состоявшие под начальством Бибикова, предполагалось разделить на три корпуса, из коих один должен был действовать в поле, а два другие — попеременно производить осадные работы (похоже на то, что раньше предлагал Суворов Веймарну). Для сбережения войск положено было не прибегать к штурмам. Королевско-польские войска, под начальством Браницкого, назначались в помощь Русским.

Плану этому в самом начале нашлась помеха. Еще в сентябре

1771 года прибыл из Франции чрез Вену на смену Дюмурье генерал-майор барон де Виомениль с несколькими офицерами и с порядочным числом одетых лакеями унтер-офицеров. Центр конфедератской агитации перенесен из Эпериеша в Белиц, на самой границе, а Бяла, против самого Белица лежащая, избрана главным опорным пунктом. Отсюда рассчитывал Виомениль препятствовать покорению конфедератских крепостей до весны и тогда, со вновь организованными и увеличенными силами, начать наступательные действия, дебютируя захватом краковского замка [19].

В Кракове начальствовал полковник Штакельберг, преемник Суворова в командовании Суздальским полком. Он был храбрый офицер, но слабохарактерный, больной и любящий покой человек. Суворов был очень недоволен; что его детище досталось лицу, которое, кроме личной храбрости, не имело с ним, Суворовым, ничего общего. Неоднократно в записках и бумагах он делал на счет Штакельберга разные пронические замечания и еще недавно так аттестовал его за его леность в обучении полка: «чего найти достойнее, правосуднее, умнее Штакельберга, только у него на морозе, на дожде, на ветре, на жаре болит грудь». Штакельбсрг был уже человек не молодой, по еще чувствительный к женской красоте, или по крайней мере очень к прекрасному полу благосклонный. Кроме того, стараясь поддерживать с населением города Кракова добрые отношения (в чем он и успевал), Штакельберг слишком сблизился с обывателями, особенно с монахами. В краковском замке хранился полковой обоз, 4 пушки; там же содержались пленные конфедераты вопреки приказанию Суворова, требовавшего отправки их в Люблин. Суворову доносили о беспечности Штакельберга, но он не обращал на это внимания, в чем и сознался Бибикову после катастрофы. По меткому выражению Суворова, Штакельберг «был обременен ксендзами и бабами» и никого не хотел слушать. Суворов прибавляет еще в письмах к Бибикову, что Штакельберг принадлежит к числу избалованных Веймарном перепискими с ним на иностранных языках. Это едва ли справедливо, так как зная слабость Веймарна насчет иностранных языков, Суворов сам беспрестанно писал ему по-немецки и вообще ни в какую пору своей жизни не употреблял так часто немецкого языка, как в 70 и 71 годах, однако этим средством ни до чего не добился. Попросту говоря, Штакельберг находился в Кракове не на своем месте [20].

Рассказывают, что он велел снять часового с одного важного поста из угождения знатной красавице, которая, действуя в пользу заговорщиков, жаловалась, что ночной оклик этого

часового не дает ей спать. А когда таким образом беспечность замкового гарнизона доведена была до последнего предела, то (повествуют историки) Виомениль немедленно исполнил свой план.

В нескольких верстах от Кракова, в Тынце, командовал подполковник французской службы Шуази. В ночь с 21 на 22 января 1772 года он посадил большую часть тынецкого гарнизона на суда и переправился через Вислу к Кракову. С величайшею осторожностью подошел он к стенам замка, отделил часть своего отряда для прохода в замок другим путем, а сам направился к трубе для спуска нечистот, заблаговременно ему указанной. Добравшись в темноте с большим трудом до искомого отверстия, он с частью своих людей полез туда впереди всех; двигались стоя на коленях, по одному. Доползя до начала трубы в замке, Шуази с ужасом заметил, что внутреннее отверстие заделано камнем, тогда как ему обещано было, что ко времени атаки камни будут вынуты. Сломать каменную преграду было нечем; Шуази со своими людьми пополз назад и кое-как выбрался из этого грязного прохода.

Он пошел с отрядом около города, высматривая своих и приглядываясь, нет ли каких признаков присутствия их в замке. Все было тихо, перед ним высились темные безмолвные стены — ничего больше. Бродить таким образом вокруг Кракова нельзя было долго; Русские, заметив неприятеля, могли отрезать ему путь отступления в Тынец и взять эту крепостцу, так как в ней оставалось гарнизона всего сотни две. Шуази с тяжелым чувством направился к Тынцу, покидая на произвол судьбы оставшихся под стенами замка капитанов Виомениля и Сальяна с частью отряда, Отойдя версты две или три, он вдруг услышал сильный ружейный огонь в Кракове. остановился и послал польского офицера на разведки. Офицер скоро вернулся и сообщил, что замок занят Виоменилем и Сальяном. Шуази повернул назад и быстро пошел к Кракову.

В исходе 3 часа ночи Виомениль и Сальян приблизились к замковым воротам. Перед тем выпал большой снег, и люди отряда имели на себе поверх платья белую ксендзовскую одежду, дабы не возбуждать внимания часовых. Невдалеке от ворот находилось внизу замковой стены отверстие для стока нечистот, заделанное железной решеткой; решетка оказалась по условию выломанной, часового при отверстии не было. Французы пробрались внутрь замка без труда, кинулись на караул при воротах, закололи часового, захватили на платформе ружья и без выстрела перевязали всех людей, а потом направились к главному караулу и сделали то же, после беспорядочной

стрельбы захваченных врасплох солдат.

Замок был в их власти. Вслед затем прибыл Шуази с отрядом; тотчас были завалены изнутри ворота и оставлена свободною лишь низкая калитка.

Для отвлечения внимания военного начальства от замка, в эту ночь был назначен в городе костюмированный бал, на котором находился и Штакельберг. Весть о взятии замка пришла к нему на балу, и он решился отнять замок тотчас же. Была произведена бессвязная атака, но отбита; за нею чрез полчаса другая, но также без успеха; потеряно 42 убитых и раненых. В 3 часа пополудни пришло подкрепление со стороны Тынца, усиленного из Белиц. Отряд этот отбросил Русских, и пехота пробралась в замок, кавалерия же была отогнана с потерею 15 человек. Ночью на 24 января опять подошла подмога и тоже прорвалась в замок, потеряв впрочем очень много людей [21].

В таком виде представляется захват краковского замка по печатным источникам и частью по донесению Штакельберга и первому расследованию Суворова. По приказанию военной коллегии было вскоре произведено следствие; оно бросает сильное сомнение на некоторые из приведенных данных, сделавшихся ходячими. Собственно перед захватом замка никаких послаблений в караульной службе Штакельберг не допускал; послабления существовали с самого прибытия его в Краков и, вследствие отсутствия всякого надзора, перешли мало помалу в полную распущенность. Караул содержался с ружьями незаряженными; караульную службу никто никогда не поверял; дальние разъезды не посылались и сведения о неприятеле не поверялись; ближние конные патрули исполняли службу когда и как вздумается их ближайшим начальникам, без поверки свыше; не было дано инструкции ни плацмайору, ни караульному офицеру; к отверстиям под стеной, для стока нечистот, часовые не ставились и эти отверстия никогда не осматривались. От такого систематического небрежения, в ночь на 23 января караулы оказались спящими; конные патрули не показались вне замка ни разу; стоявший вблизи парома часовой казак самовольно отошел от своего поста на версту, за сменой, и таким образом не заметил прибывших от Тынца людей [22].

Из следственного дела также видно, что «скважин» под стеною было несколько и что чрез них неприятель и пробрался в замок. Не представляется сомнения в том, что Французам и конфедератам помогали некоторые из городских и замковых жителей, которые и подпилили или выломали заранее железные решетки в этих стенных отдушинах, так как за их состоянием никто не наблюдал. При итоге этих условий неприятелю было

весьма нетрудно пробраться скрытно в замок, и никаких похождений по подземным трубам, заделанным сверху камнями, не требовалось, также как снятия небывалых часовых и т. под. Даже разделение Французов под стенами замка на два отряда, из коих один пошел с Виоменилем обратно в Тынец, но вернулся на выстрелы, — подлежит сомнению, ибо в следственном деле о таком скором прибытии к Французам сикурса не говорится ни слова.

В этом печальном происшествии был виноват отчасти и Суворов, не дав веры сделанным на Штакельберга доносам и не обратив внимания на секретное сообщение одного поляка, поставщика русских войск, который предупреждал его, что будет на краковский замок покушение и в доказательство справедливости своих слов показывал письмо от брата — конфедерата. Суворов в это время собирался в Литву; подрядчик уверял, что в Литве задумана только демонстрация для отвлечения внимания Русских от Кракова. по Суворов этому не поверил, в чем потом и каялся.

Но полученной вести, он с небольшим отрядом двинулся из Пинчова к Кракову, куда и прибыл 24 января, в 5 часов утра, соединившись с Браницким, командовавшим 5 польскими коронными кавалерийскими полками. Оба они произвели рекогносцировку и потом разделили между собой дело. Браницкий принял на себя наблюдение и оборону от конфедератских шаек той стороны Вислы, а Суворов осаду замка.

Краковский замок расположен на высоте, господствующей над городом: у подошвы холма протекает Висла. Внутри замка находился кафедральный собор, полуразрушенный королевский дворец и несколько десятков домов. Замок обнесен крепкою стеною в 30 футов вышины и 7 футов толщины и окружен рвом; внешних укреплений он не имел. Выгодное его положение не давало надежды на успех штурма, без предварительного сильного обстреливания и пробития бреши, а у Суворова не было ни одного осадного орудия. Но по его приказанию, с чрезвычайными усилиями втащили несколько полевых пушек в верхние этажи наиболее высоких домов и оттуда открыли по замку огонь, а королевско-польский военный инженер повел две минные галереи. Город был разделен на 4 части и в каждую назначен особый комендант; на них возложено наблюдение за обывателями и ответственность за их верность. Еврейский квартал города поставлен на военную ногу; обыватели-евреи получили вооружение и содержали городские караулы.

Французы захватили краковский замок с порядочными, но неполными запасами; одних предметов было много, других же

мало, а следственно в итоге они были снабжены худо. Попало в их руки много пороху, свинцу, хлеба в зерне; не доставало мяса, ядер; совсем не было огнивных кремней, врачебных пособий и нек. др. Недостатки эти скоро сказались, так как гарнизон состоял без малого из 1000 человек.

Что касается до сил Суворова под Краковом, то они не могли быть велики. Всего в начале года состояло под его командой 3246 человек, распределенных в пяти главных пунктах. Под Краковом едва ли можно было собрать больше половины; в том числе пехоты около 800 человек [14].

Через несколько дней по прибытии Суворова, Шуази выслал парламентера. Он просил взять из замка сотню пленных мастеровых, дозволить выйти в город 80 духовным лицам и снабдить его лекарствами. Во всем было отказано, так как в замке уже чувствовался недостаток продовольствия, а лечение раненых офицеров Суворов брал на себя, если они дадут слово не действовать по выздоровлении против России и Польского короля [23]. Несмотря на категоричность отказа, духовенство пыталось дважды выйти из замка; первый раз его встретили безвредными выстрелами, во второй раз несколько человек было ранено. После того попытки уйти из замка прекратились.

Осажденные, видя критическое свое положение и ожидая впереди еще худшего, несколько раз делали жестокие вылазки, которые впрочем приносили им самим гораздо больше вреда, чем Русским, так как прибавлялось раненых. При одной из таких вылазок, командир Суздальской роты, расположенной вблизи замка, капитан Лихарев, оробел и бросил свой пост, а рота, оставшись без командира, в беспорядке побежала, горячо преследуемая. Это были около полудня; Суворов отдыхал. Разбуженный перестрелкой и криками, он вскочил и поскакал на выстрелы. Встретив бегущих, он остановил их, устроил и скомандовал в атаку, в штыки. Вылазка ретировалась, но Суздальская рота потеряла до 30 человек. Суворов арестовал Лихарева и продержал его под арестом около 4 месяцев. Этим взыскание и ограничилось. В приказе он говорит, что за такой проступок следовало бы отдать капитана под суд, «но так как у него иного дурного умысла не было, он находится давно под арестом, молод и в делах редко бывал, то выпустить». Это характерная черта Суворова; он вообще был очень снисходителен в своих взысканиях за трусость с необстрелянных [24].

За неимением осадной артиллерии, пробитие бреши подвигалось плохо. Видя, что может быть придется штурмовать замок и без бреши, Суворов решился утомить конфедератов и усыпить их бдительность ложными тревогами. С этою целью,

начиная с 1 февраля, он произвел несколько ложных ночных тревог и наконец 18 числа решился штурмовать.

При сильном артиллерийском и ружейном огне, три колонны двинулись в 2 часа ночи на штурм. Добравшись до главных ворот и прорубив их топорами (петарды не производили должного действия), штурмующие завязали через прорубленное отверстие перестрелку с осажденными, так как у начальника колонны не хватило решимости произвести удар.

В другой колонне, добравшейся до калитки, не оказалось налицо начальника. Люди третьей колонны, приставив к стене лестницы, полезли с неустрашимостью в амбразуры, где стояли пушки, но встретили в своих противниках такую же храбрость. Четыре часа продолжались бесплодные усилия; в 6 часов утра Русские отступили, потеряв до 150 человек.

В письме к Бибикову о неудачном штурме, Суворов говорит, что этот исход зависел от неискусства нашего в инженерном осадном деле, а свою попытку штурмовать без надлежащей предварительной подготовки объясняет тем, что если предпринимать одни осады, то конца не будет; пока отберем одну крепостцу, укрепятся в другой, а в год трех крепостей не отобрать. Объяснение это было не более, как отговоркой; Суворов убедился, что первоначальный план был лучше и потому с этой поры ограничился блокадой замка, где уже ели конину и ворон. По временам ему приходилось отправлять партии в окрестности, полные конфедератами, которые задались целью заставить Русских снять блокаду. Этим обстоятельством отчасти и извиняется предшествовавшая попытка к штурму; сам Суворов находился некоторым образом в осаде и иногда лично должен был выступать против наиболее дерзких банд. Раз он отправился против Косаковского. В разгаре завязавшегося дела на него наскочил конфедератский офицер, выстрелил из двух пистолетов, но мимо, и бросился с саблей. Суворов отпарировал удар, но противник продолжал настойчиво нападать, пока не подоспел случайно один карабинер и не выручил своего начальника, положив конфедерата выстрелом в голову.

В начале апреля прибыли к Суворову орудия большого калибра и была возведена скрытно от неприятеля брешь-батарея. Она обрушила часть стены у ворот, пробила брешь и произвела в замке несколько пожаров; польский инженер окончил тем временем минные галереи. В замке сильно голодали, число больных постоянно возрастало, дезертирство развилось до громадных размеров и в довершение всего составился между солдатами заговор — сдать замок Русским. Шуази расстрелял виновных, но этим избежал только острой опасности, а

положение дела оставалось по прежнему в высшей степени критическим. Шуази донес об этом Виоменилю и письмо послал с надежным унтер-офицером. Посланный вышел из замка ночью, но на переправе через Вислу был захвачен Русскими. Письмо расшифровали и прочли, Суворов убедился в безнадежном положении гарнизона.

Завладеть замком значило нанести смертельный удар конфедерации, а потому Суворов. сознавая, что храброму гарнизону трудно было сделать первый шаг к сдаче геройски защищаемой крепости, решился взять почин на себя. По прочтении перехваченного письма, он послал капитана Веймарна в замок с объявлением, что все готово к штурму и что если гарнизон не сдастся теперь, то будет весь истреблен. Апреля 8, ночью явился из замка один из офицеров, Галибер, и с завязанными глазами был приведен к Суворову. Суворов принял его ласково, посадил около себя и продиктовал главные статьи капитуляции. Предложенные условия были очень выгодны, потому что Суворов желал скорой сдачи, но эта выгодность условий дала Шуази надежду на еще большую снисходительность Русских. На следующий день утром, Галибер явился снова, был угощен хорошим завтраком, но когда перешла речь на капитуляцию, то стал заявлять возражения. Суворов решился сразу положить конец пустым надеждам и бесплодным затяжкам. Он объявил Галиберу новые условия, несколько строже прежних, прибавив. что если он, Галибер, явится еще раз без полномочия на принятие предложенных пунктов, то получит условия еще более суровые. Сроком для получения ответа Суворов назначил следующий день.

Шуази понял свою ошибку, и Галибер прибыл в русский блокадный отряд раньше срока с полным согласием. Сущность заключенной 12 апреля капитуляции состояла в следующем. Сдача происходит через три для; люди гарнизона сохраняют свое частное достояние; все же остальное имущество, имеющееся в замке, сдают. Французы сдаются не военнопленными, а просто пленными, так как войны между Россией и Францией нет, и размен невозможен (на этом пункте настоял Суворов). Французы Виомениля будут перевезены в Львов; Французы Дюмурье — в Бялу, в Литву; польские конфедераты в Смоленск. Лица невоенные отправляются куда хотят; больные и пленные, кои не в состоянии выдержать дальний путь, получают надлежащую помощь.

Накануне дня, назначенного для сдачи, Русские провели всю ночь под ружьем. Рано утром, 15 апреля, обезоруженный гарнизон стал выступать из замка частями по 100 человек, и был

принимаем вооруженными русскими войсками. Шуази подал свою шпагу Суворову; за ним и все остальные французские офицеры, в числе восьми. Суворов шпаг не принял, обнял Шуази и поцеловал его. Затем офицеры были угощены завтраком, а Браницкий пригласил их к обеду. Всего взято до 700 пленных, которых следовало отправить как выше означено. Начальнику эскорта, полковнику Шевелеву, Суворов дал 17 апреля предписание: «содержать их весьма ласково» [25].

Императрица Екатерина наградила Суворова за взятие Кракова 1000 червонных, а на подчиненных его, участников в этом деле, пожаловала 10,000 рублей.

Некоторые утверждают, что Суворов заставил Французов выйти из краковского замка той же подземной трубой для стока нечистот, которой они туда вошли. Даже Екатерина и в одном из своих писем 1795 года упоминает про это обстоятельство, хотя по давности времени несколько его перепутывает и вместо Шуази говорит про Дюмурье [26]. Это следует признать за чистую выдумку, одну из многих, народившихся впоследствии. Было уже сказано, что ни по каким подземным трубам Французам проходить не было надобности; затем мы видели, что Суворов отказался даже принять от Французов шпаги, что вовсе не гармонирует с приведенным анекдотом. И теперь, и после он всегда чтил в лице пленных превратность военного счастия.

Не выходя из Кракова, Суворов принялся оканчивать разные в окрестностях дела, Он захватил небольшой укрепленный городок Затор, принял капитуляции от нескольких конфедератских начальников, оставлявших конфедерации, предпринял осаду Тынца и Ланцкороны. В это же время вступили в краковское воеводство австрийские войска.

Еще в начале 1769 года австрийские войска окружили кордоном часть польской территории, а Пруссаки стояли по польским границам под предлогом охранения прусских земель от конфедератов и от занесения из Польши заразительной болезни. В конце 1770 года Австрия заняла герцогство Ципское; Пруссия подвинула вперед свои кордоны. У обеих держав очевидно были на счет Польши свои намерения, но они маскировались приличною внешностью. Австрия кроме того по своим традициям делала одною рукою совсем не то, что другою, оказывала покровительство конфедератам, дозволяла им собираться на своей территории, допускала их партиям укрываться от преследования русских войск. Первая подав повод к разделу Польши, о чем уже и шли переговоры между тремя державами, она показывала вид, будто приступает к разделу неохотно. А между тем переговоры затягивались единственно потому, что

Австрия предъявляла непомерные требования. Не дождавшись ответа, она двинула в Польшу два сильные корпуса, вслед затем продвинулись дальше и прусские войска. В начале мая 1772 года до 40000 Австрийцев были уже в движении к Кракову, 20000 Пруссаков заняли северную часть Польши и столько же Русских приближались к границам Польши со стороны Литвы.

В одном из своих писем в 90-х годах Суворов говорит, что ему от Бибикова дано было приказание — не уступать Австрийцам ни шага земли, но соблюдать с ними союз ненарушимо. Задача была трудная и хотя всюду были Суворовым выставлены команды, но Австрийцы протискались сквозь них «с отличною вежливостью» [27]. Они завладели Ланцкороной и обнаруживали еще намерение оттеснить Русских от Тынца. Суворову приходилось лавировать, вести переговоры, отстаивать русские интересы, не допуская и тени неприязненных действий. Он в высшей степени тяготился своей новой ролью и с забавным негодованием просил Бибикова вывести его из невыносимого положения, дав ему «такое философское место, чтобы никому не было завидно». Далее мы в его письме читаем: «я человек добрый, отпору дать не умею: здесь боюсь и соседей иезуитов; все те же д'Альтоны (австрийский комиссар). Простите мне, пора бы мне на покой в Люблин. Честный человек — со Стретеньева дня не разувался: что у тебя, батюшка, стал за политик? Пожалуй, пришли другого; чорт ли с ними сговорит».

Не один д'Альтон приводил Суворова в раздражение и негодование, такое же неприязненное чувство возбуждал в нем и полковник Ренн, командир одного из полков. В августе Суворов пишет своему начальнику: «С Ренном у нас дойдет до худого; человек он известный, вздорный, беспутный, худой души и, прямо сказать, присвоитель чужого. Кроме грубостей он здесь иного не чинил, да кроме вышереченного вряд ли и способен к чему. Толстый карман все прикрывает...Его обиды превозмогают мое терпение; его образец весьма дурен для прочих... Я не прочь, чтобы мне по расписанию вместо Каргопольского достался иной какой полк; не только по его поступкам в земле, да и по полку попадешь еще в хлопоты, а у меня и так от оглядок голова болит». Как видно, разыгрывались вариации на прежнюю тему. Суворов не переваривал людей, неразборчивых в выборе средств для своей наживы, а Ренн в отместку распускал про него разные сплетни, клеветал в письмах и, нарушая субординацию, делал ему служебные неприятности, вероятно косвенным образом, так как прямая грубость или ослушание представляли много опасностей. Ренн был временно-подчиненным Суворова, и Суворов не хотел прибегать сам к крутым мерам, так как они походили бы не на

служебные, а на личные счеты. По изложенной выше жалобе, Ренн был усмирен тотчас же, и Суворов остался доволен полученным удовлетворением; но мы не знаем, в чем оно заключалось. «Я все предал забвению», пишет он в конце августа: «лишь бы Ренн впредь удержался от коварных выдумок» [28].

Наконец, к великому удовольствию Суворова, замученного дипломатическою своею ролью, был подписан между Австрией, Пруссией и Россией договор о разделе между ними части Польши. В нее вступили два русские корпуса; один из них, Эльмпта, остановился в Литве. Суворов был переведен в этот корпус и в октябре выступил с ним для следования в Финляндию, так как в Шведском короле предполагались враждебные замыслы по отношению к России. Из Вильны Суворов прислал Бибикову прощальное письмо. С теплым чувством вспоминает он оставленный край и сожалеет, что недолго и недовольно ему послужил. Отзываясь с горечью о своих врагах и завистниках, в числе их о Ренне, Древице и Альтоне, он заключает письмо так: «правда, я не очень входил в сношение с женщинами, но когда забавлялся в их обществе, соблюдал всегда уважение. Мне недоставало времени заниматься ими и я боялся их; они-то и управляют страною здесь, как и везде; я не чувствовал в себе довольно твердости, чтобы защищаться от их прелестей».

Путь был длинный, войска шли обыкновенными переходами, не торопясь; Суворов скучал. Все располагало его к унылому настроению: и воспоминания о прошлом, и неизвестность будущего, и даже эти медленные, черепашьи переходы при полном бездействии. В подобном положении горечь воспоминаний быстро исчезает и в памяти удерживается только хорошее. В Вильне Суворов еще помнил неприятности недавнего минувшего, но дальше не говорит о них почти ни слова, Он был празден, и недавняя кипучая деятельность рисовалась перед ним радужными красками. Он спрашивает у Бибикова новостей: «подлинно ли я должен покинуть вас, или есть еще надежда для меня? Придется ли драться среди льдов? Иду туда как солдат, но если останется время, готов вернуться назад скорее, чем шел наавось вперед». Находясь еще в Польше и стремясь мысленно на берега Дуная, он надеялся забыть там свои огорчения и уподоблял его в этом отношении реке Лете. Удаляясь от Польши, он говорит, что Двина не служит уже для него рекою забвения, чем некогда почитал он Дунай. «Люблю Вислу, потому что вы там, а еще был бы приверженнее к Неве, когда бы вы на ней находились. Если случится что важное там, куда, идем, ваше превосходительство несомненно к нам присоединитесь, и не лучше ли бы было, когда бы тогда я с вами был?»

Свое виленское письмо к Бибикову он начал словами: «вот я теперь совершенно спокоен». Говоря это, Суворов сам себя обманывал; закабалив себя одной всепоглощающей мысли, он тем самым отказался от спокойствия морального и физического; оно могло являться к нему только как редкий и дорогой гость.

Глава VI. Первая турецкая война: Туртукай, Гирсово, Козлуджи; 1773—1774.

Кампании 1769—1772 годов.—Турция и её военная система. — Прибытие Суворова и назначение его в дивизию графа Салтыкова. — Первый поиск на Туртукай; донесение о победе; невольное бездействие и болезнь Суворова. — Приготовления ко второму поиску; нерешительность подначальных; негодование Суворова; временное его удаление для лечения. — Второй поиск, полный успех. — Переписка Суворова с Салтыковым; отзывы о подчиненных; вторичная болезнь. — Назначение его в Гирсово; нападение на Гирсово Турок и полное их поражение. — Отпуск Суворова в Москву; женитьба; возвращение в армию; производство в генерал-поручики. — Совокупная операция Суворова и Каменского; их несогласие; наступательное движение Суворова; победа при Козлуджи. — Военный совет; самовольное удаление Суворова из отряда. — Окончание войны.— Образ действий Румянцова и Суворова

Турция, втравленная в войну с Россией близорукою политикой Франции, не сразу сознала свою ошибку, так как кампания 1769 года ведена была Русскими робко. Двумя их армиями командовали князь Голицын и Румянцев, причем главная роль принадлежала первому; но он оказался полководцем ниже посредственности и должен был уступить свое место Румянцеву. В следующем году дела пошли совсем иначе;

Молдавия и Валахия были завоеваны, в Букаресте и Яссах развернулось русское знамя. Татарские полчища, силою в 80,000 человек, разбиты Румянцевым с 30000 Русских при Ларге; вслед затем 180000-ная турецкая армия потерпела полное поражение при Кагуле, хотя боевые силы Румянцева не превышали 17,000; турецкий флот почти совершенно истреблен в Чесменском заливе. В 1771 году, в третью кампанию, одна армия, под начальством князя Долгорукого, завоевала Крым. другая же прикрывала это предприятие, и в ней ничего особенно важного не произошло. Так прошли три года войны.

Блестящая кампания 1770 года, доставившая громкую славу русскому оружию, имела однако и невыгодную сторону, возбудив в Европе беспокойство и опасения. Не только неприязненные России державы, по даже и дружественные к ней, стали ревниво следить за военными действиями, -первый шаг, обещавший мало хорошего в будущем. Второй шаг состоял в отыскивании средств к прекращению дальнейших успехов России и к парализованию уже ею достигнутых. Франция напрягала усилия, чтобы возбудить против России врагов, поощряла и поддерживала июльскую конфедерацию, настраивала во враждебном тоне Шведского короля. Прусский король от активного воздействия на Россию пока еще отказывался и даже платил ей, по договору, военную субсидию, по постоянно рассчитывать на такую его роль в усложнявшихся обстоятельствах было невозможно. Австрия стала вооружаться, собирала на границе войска, заключила с Портою союз. Обстоятельства видимо обострялись, но болезненные симптомы разрешились в другом месте и другим делом — первым разделом Польши.

Больше всего этому способствовал Фридрих Великий, но и Россия не сидела сложа руки. Каждый заботился конечно о своих, а не о чужих интересах, и Фридрих работал не для России, а для Пруссии. Что касается России, то имея на своих плечах две войны и впереди ожидая еще столько же, если не больше, она находилась в положении весьма затруднительном, из которого надо было выйти во что бы то ни стало. Ее не могло выручить одно то, что принято называть «дипломатическим искусством»; на этой арене Фридрих Великий и австрийский министр Кауниц были бойцами первой силы. Выручила Россию твердость её Государыни, не напускная или показная, а действительная, которая не столько видится, сколько чувствуется и понимается. Эта-то твердость Екатерины вывела Россию из обстоятельств, грозивших сделаться критическими, и дозволила окончить Турецкую войну без активного вмешательства европейских держав.

Русская императрица все-таки желала мира с Турцией и искала его. Открылись переговоры в Фокшанах, но не привели ни к чему, главным образом вследствие упорного несогласия Турции на требуемую Россией независимость Крымских Татар. Но так как мир был нужен Турции по меньшей мере столько же, как и России, то великий визирь вошел в прямые переговоры с Румянцевым. Назначили уполномоченных, открылся новый конгресс в Букаресте, дело пошло по-видимому на лад, но в конце, когда добрались до пункта о независимости Татар, предшествовавшее время оказалось потраченным бесполезно. В переговорах прошли 1772 год и часть 1773; затем приходилось снова браться за оружие.

В это время появился на театре войны Суворов. Прибыв из Польши в Петербург, он там оставался до февраля 1773 года, когда ему дали поручение — осмотреть в военном отношении шведскую границу и разведать взгляды пограничных жителей Шведской Финляндии на происшедшую в Стокгольме государственную перемену. Суворов поехал чрез Выборг, Кексгольм и Нейшлот к границе, проживал на ней некоторое время скрытно, разузнавал, наблюдал и с запасом добытых сведений возвратился в Петербург. Тут ему делать было нечего; отношения Швеции к России изменились, опасность близкой войны миновала, и его с новой силой потянуло в Турцию.

Мы видели раньше, что туда его влекло уже давно, с 1770 года, под впечатлением блестящих побед, в том году одержанных Румянцевым. В августе 1770 года Суворов писал бригадиру Кречетникову, находившемуся в Румянцевской армии: «сколь вы счастливы, что вы у графа Петра Александровича... Я же в моих наитруднейших и едва одолеваемых обстоятельствах такового освобождения из оных не предвижу... Даруй Боже скоро увидеться, особливо там, куда вы поехали». В продолжение двух слишком лет желание Суворова оставалось неисполненным, вероятно потому, что он в Польше был нужен, да и похлопотать за него в Петербурге было некому. Будто назло, отец его, долгое время состоявший членом военной коллегии, оставил службу как раз в начале конфедератской войны и вышел в отставку. Зато теперь, по исполнении поручения в Финляндии, Суворов имел возможность сам позаботиться о себе. После его славной боевой службы в Польше, дело оказалось нетрудным. В апреле, 4 числа, военная коллегия определила: находящегося в Петербурге при войсках генерал-майора Суворова, по желанию его назначить и отправить в первую армию, выдав ему высочайше пожалованные на дорогу 2000 рублей. Через 4 дня Суворов получил паспорт на проезд и отправился на Дунай [1].

Приехав в Яссы в самых первых числах мая, он представился Румянцеву, был назначен в дивизию генерал-поручика графа Салтыкова, получил от него в командование отряд, расположенный под Негоештским монастырем и 5 мая был уже на своем посту. Здесь он встретил старых знакомцев — Астраханский пехотный полк; отряд его состоял кроме того из части Астраханского карабинерного полка, 4 полковых и 5 турецких орудий и из 500 донских казаков, всего до 2300 человек.

Турецкое государство, некогда страшное и грозное, к этой эпохе уже значительно преобразилось. Грубая, но крепкая сила, связывавшая разнородные части империи, ослабела, и государство стало являть признаки не близкого, но несомненного распадения. Совершенное отсутствие законности во всем государственном организме, безнравие, продажность в самых грубых формах, деспотизм, доведенный до идеала, — вот из каких элементов состояла внутренняя жизнь Турции. Такой разительный упадок произошел главным образом от личных свойств Турецких государей. Длинный ряд первых правителей Турции состоял, как на подбор, из лиц способных, энергических, вполне соответствовавших своему положению; последующие турецкие властители отличались свойствами противуположными. Они заперлись в гаремах и предоставили правление визирям; начался застой, потом наступил упадок и мало-помалу перешел в омертвение. Деспотизм, в смысле главнейшего государственного принципа, остался, но утратил характер движущей силы и превратился в эгоистическое самовластие и тиранию.

Такая государственная метаморфоза конечно должна была больше всего отразиться на военной силе и не столько на внешнем её устройстве, сколько на ее духе. Лучшее турецкое войско, янычары, первоначально комплектовавшиеся воспитанными в исламизме детьми христиан, сделались в мирное время ремесленниками, торгашами, промышленниками; война стала для них делом второстепенным, неустранимым неудобством. Войны, прежде беспрестанные, происходили все реже; дисциплина упала; простая и суровая жизнь полудикого война измелилась; остались храбрость, фурия, но пропали стойкость и упорство. Победы над Турками участились; Турция стала терять одно за другим свои завоевания. Но пренебрегать Турками все-таки было нельзя, что они время от времени и доказывали своим противникам и блистательно доказали Австрии, принудив ее к унизительному Белградскому миру, Лишь во второй половине XVIII столетия в Европе окончательно пропал страх, внушаемый ей Турками, и этим она была обязана исключительно России, т.е. двум турецким войнам Екатерины II.

В эпоху, которая раскрыла Европе глаза насчет истинного значения Турции, Турки сохраняли еще многие качества хороших солдат. Если бы во главе их явился человек, напоминающий султанов старого времени, обладающий крупным военным дарованием, то для успешной борьбы с Турками потребовались бы и другие средства, и другие усилия. Но подобного человека не оказывалось, и свои качественные недостатки Турки возмещали количественно. Их было много; армии их составлялись из огромных, недисциплинированных и не имевших правильного устройства масс. Пехота сражалась беспорядочными толпами, отличаясь однако же довольно меткой стрельбой; это же свойство принадлежало отчасти турецкой артиллерии. Кавалерия действовала врассыпную; в одиночном бою турецкие кавалеристы были значительно лучше европейских. В наступлении Турки отличались страшною стремительностью и порывом, но не настойчивостью; для оборонительной войны в открытом поле не годились и предпочитали укрепленные лагери. Так как недостаток при атаках настойчивости есть недостаток капитальный, особенно при действии против русских войск, то, благодаря своей многочисленности, Турки прибегали к ряду последовательных атак свежими частями войск. Это обстоятельство очень затрудняло полную над ними победу, ибо, убегая после неудавшегося удара, Турки не несли такой значительной потери, которую ведет за собою бой упорный. Через несколько дней после понесенного поражения, их толпы являлись по прежнему многочисленными перед неприятелем, который считал их истребленными. Настойчивое и продолжительное преследование представлялось единственным условием полного поражения этих недисциплинированных банд, которые разбегались и сбегались с одинаковою легкостью. Но трудность продовольствования войск являлась серьёзным к тому препятствием, и препятствие это делалось иногда необоримым вследствие полного разорения, которому подвергали Турки путь своего бегства, Таким образом война должна была затягиваться надолго, истощая противника. В одном только случае успех над Турками мог быть решительным и потери их тяжелыми, — это при удачных штурмах занятых ими укрепленных мест. Но штурмование укреплений и крепостей нельзя возвести в систему войны, и прибегать к этому средству с достаточною надеждою на успех может далеко не всякий.

С подобным-то противником приходилось теперь драться Суворову. Он был в Турции человек новый, но приехал сюда совсем готовый на дело, не имея надобности учиться у кого-либо. Решительность операций, настойчивость в атаке, неутомимость в

преследовании, неослабевающая бдительность, уменье брать неприятеля со слабой его стороны, отсутствие педантского методизма, — вот та военная теория, которую привез с собой Суворов из Польши. Из вышеизложенной характеристики Турок видно, что именно в Суворовском образе действий заключался наиболее верный залог победы, и действительно она не замедлила явиться под знамена Суворова.

Военные действия на Дунае должны были возобновиться с половины февраля, когда букарестские конференции по бесплодности своей закрылись; но ни Русские, ни Турки не были готовы. Екатерина требовала немедленно открыть кампанию, перенести наши действия за Дунай, разбить визиря и занять край до Балкан. Румянцев не видел возможности открыть действия раньше конца апреля, а решительные операции за Дунаем считал неисполнимыми по малочисленности своей армии. В ней было под ружьем всего 50000 человек; она должна была охранять течение Дуная на 750 верст и защищать княжества. Отряд генерал-майора Потемкина стоял на нижнем Дунае против Силистрии; левее его генерал-майор барон Вейсман фон Вейсенштейн в Измаиле; правее генерал-поручик граф Салтыков; главные силы в Яссах. Румянцев сообщил свой взгляд в Петербург и ждал дальнейших оттуда повелений.

Петербургский план кампании был действительно слишком смел и не отвечал средствам, которыми располагал Румянцев. А Румянцев со своей стороны предлагал менее, чем мог и быть может слишком оберегал свою недавно приобретенную славу. Из Петербурга пришло подтверждение, прежнего повеления; боясь ответственности, Румянцев запросил главных подчиненных генералов. Мнения поданы в смысле Румянцевского взгляда, и задунайская экспедиция признана преждевременною до наступления полной весны.

Тем временем армия визиря у Шумлы росла; началась расчистка дорог оттуда к Дунаю; предприимчивость Турок увеличивалась, хотя наступательные их попытки оканчивались неудачно. Чтобы получить впоследствии возможность перевести за Дунай главные свои силы, Румянцев решил развивать предварительно систему мелких противу Турок предприятий и приказал сделать на правую сторону Дуная поиски. Главный из них предназначался против Туртукая и выпадал на долю Суворова.

Верстах в 10 от Дуная, на левом берегу впадающей в него реки Аржиша, находится монастырь Негоешти. Пост этот занимал оконечность левого фланга дивизии графа Салтыкова и служил связью с отрядом генерала Потемкина, Тут, у Туртукая, Дунай не

шире 300 сажен; но Турки были очень бдительны и зорко наблюдали за рекой и за всем происходившим на противуположном берегу.

Нужные для переправы суда приготовлялись и исправлялись еще до прибытия Суворова на р. Аржише; всего изготовлено 17 лодок для поднятия 600 человек, не считая гребцов. Но провести эту флотилию в Дунай было мудрено, ибо устье Аржиша обстреливалось батареей и турецким судном, вооруженным пушками. Чтобы не разоблачить до времени своих намерений, Суворов предположил перевезти суда к берегу Дуная на подводах, приказал собрать для этого сколько можно обывательских подвод, выбрать в гребцы людей из Астраханского полка, приготовлять сходни, шесты, багры и т. под. Все приготовления производились очень деятельно и осторожно, и в то же время собирались сведения о силе Туртукая, о положении города и его окрестностях. По донесениям, силы Турок оказывались значительными. Суворов просил у Салтыкова подкрепления; обещано прислать несколько эскадронов кавалерии. Что ему было делать с конницей, когда требовалась исключительно пехота, в которой и был недостаток? Однако, приходилось ограничиться тем, что есть, и Суворов решился произвести поиск 8 мая, но потом отсрочил, так как обещанная подмога не приходила, и обывательские фуры с волами не прибывали. Между тем дело было спешное; поиск велено было произвести во что бы то ни стало, и главнокомандующий ждал. Наконец, полковник князь Мещерский прибыл 8 числа с остальными эскадронами Астраханских карабинер и подошли подводы.

В ту же ночь назначено было сосредоточение войск и иные распоряжения для переправы и нападения. Войска стянулись к урочищу Ольтенице, невдалеке от Дуная, в ожидании рассвета. Суворов остался при аванпостах, завернулся в плащ и лег спать недалеко от дунайского берега. Еще не рассветало, как он услышал громкие крики: «алла, алла»: вскочив на ноги, он увидел несколько турецких всадников, которые с поднятыми саблями неслись по направлению к нему. Он едва успел вскочить на лошадь и ускакать. Немедленно посланы были карабинеры в помощь атакованным казакам, отправлена и часть пехоты, а остальной части приказано быть в готовности подкрепить товарищей. Пехота однако же не понадобилась; два эскадрона карабинер атаковали Турок с фронта и с фланга в то время, как они, сбив и прогнав казаков, неслись толпою на высоты. Турки были опрокинуты и в беспорядке понеслись обратно к берегу; карабинерам помогали и казаки. Турки в страхе бросались на суда и спешно отваливали от берега, Их было всего 900, из них

убито 85, потонуло еще больше; в плен взято несколько человек, в том числе начальник отряда. По показанию пленных, в Туртукае находилось свыше 4000 человек.

Суворов написал Салтыкову: «на здешней стороне мы уже их и побили; тяжело, пехоты у них пополам». В записке, приложенной к рапорту, он говорит: «увы, пехоты мало; карабинер чрезвычайно, да что им делать на той стороне?» В другой записке он пишет: «все мне кажется пехоты мало, и вряд за 500... Оставить надобно у переправы и в гребцах». Вероятью Салтыков, не считая возможным подкрепить Суворова частью своей пехоты, советовал ему обратиться к Потемкину и заодно просить у него судов для переправы конницы. Суворов отвечает, что на Потемкина плоха надежда и что из-за судов пришлось бы откладывать дело. Потом, как бы размышляя про себя, он пишет: «все хорошо, как (если) Бог благоволит», а потом все таки прибавляет: «а пехоты кажется мало» [2].

Из записок этих можно бы казалось заключит, что автор их имеет капитальнейший военный недостаток — нерешительность и любит, что называется, ныть, так как поиск был уже окончательно решен и до него оставалось всего несколько часов времени. Но просьбы Суворова имели не такой смысл. Он только что приехал на свой пост, войск своих не знал, ни они его, ибо полугодовое командование 10 лет назад Астраханским полком в расчет принимать нельзя. Войска эти не были поставлены на Суворовскую ногу; может статься, что Суворов находил в них и крупные изъяны; ясно по крайней мере, что аванпостная служба велась в отряде плохо, если Туркам чуть не удалось захватить самого начальника. Поиск на Туртукай предстоял в смысле первого его боевого дела на новом театре войны и требовал зрелой обдуманности; от этого первого шага зависела его репутация; неудача была бы непоправимым злом, при известном значении первого впечатления. Суворов конечно все это сообразил и потому сам входил во все мелочи приготовлений. Как же ему было не позаботиться о соответственном случаю числе своих войск, или по крайней мере не заявить начальнику осязательным образом о их недостаточности, когда он только что узнал от пленных Турок о 4000-ной силе туртукайского корпуса, а сам мог взять в экспедицию не больше 500 человек пехоты? Да и трудность исполнения мгновенно возросла; Турки, побывав на нашей стороне Дуная, имели случай удостовериться в сборе отряда, и Русские не могли уже рассчитывать на неожиданность.

Бомбардируя графа Салтыкова просьбами об усилении пехоты, Суворов однако не отказывался от поиска и при своих настоящих силах; он считал это дело бесповоротно решенным, и

если бы оно было перерешено, то несомненно был бы сильнейшим образом огорчен. Прежде он предполагал произвести переправу через Дунай на рассвете, теперь назначил ее ночью. Причиной перемены было, по всей вероятности, недавно обнаружившееся для него большое неравенство сил, которое надо было скрыть. Для вящего успеха вся операция назначена в тот самый день, как Турки были отбиты и конечно не рассчитывали на такой скорый реванш. Правда, Суворов не имел времени обучить войска на свой лад и начальников не знал, так что ночной бой представлялся делом рискованным. Но поступить иначе было бы делом еще более неверным: его личное присутствие и распоряжения восполняли многое, он отдал весьма обстоятельную диспозицию, войска были обстрелянные. Для пущей верности, он просил Потемкина сделать на тот берег диверсию кавалериею, в тыл туртукайским Туркам.

Сущность диспозиции заключалась в следующем: прежде переправляется пехота, разделенная на два каре и резерв; при резерве две пушки; после пехоты конница; если можно — люди на лодках, лошади в поводу вплавь. На нашей стороне Дуная батарея из 4 орудий. Ночная атака с храбростью и фурией — сначала на один турецкий лагерь, потом на другой и наконец на третий; ударить горою, одно каре выше, другое в полгоры, резерв по обычаю; стрелки на две половины, каждая на два отделения; они алармируют и тревожат. Резерв без нужды не подкрепляет. Турецкие набеги отбивать наступательно; полдробности зависят от обстоятельств, разума и искусства, храбрости и твердости командующих. Туртукай сжечь и разрушить, чтобы в нем не было неприятелю пристанища. Весьма щадить жен, детей и обывателей, мечети и духовных, чтобы неприятель щадил христианские храмы. Заключительные слова диспозиции: «да поможет Бог!»

Перед вечером 9 мая, Суворов с полковником князем Мещерским, который оставался для командования на этой стороне, объехал берег Дуная, указал места для войск, сам поставил батарею, дал наставление на разные случаи. После того лодки были спущены по Аржишу до устья и скрыты до времени за камышами; при них пехотный резерв; остальная пехота направлена к берегу Дуная; перед нею двигались воловьи подводы, дабы массою пыли ввести неприятеля в заблуждение на счет силы отряда. Когда смерклось, лодки вышли из устья Аржиша (сторожевое турецкое судно было убрано) и подошли к месту амбаркации.

Переправа происходила в темноту. Неприятель конечно ее заметил и открыл огонь, который однако же по темноте не был действителен. Суда подошли в порядке к турецкому берегу,

крутому, перерезанному рытвинами и поросшему кустарником и лесом; их только несколько снесло течением. Ступив на берег, пехота быстро построилась в две колонны с резервом и, не теряя времени, двинулась вверх по реке. Первая колонна, полковника Батурина, при которой находился и Суворов, атаковала ближайший турецкий лагерь; но так как главная турецкая батарея наносила атакующим большой вред, то колонна на штыках ворвалась на батарею, овладела ею и потом уже обратилась на лагерь. Вторая колонна, подполковника Мауринова, бросилась на правый фланг лагеря и овладела тамошнею батареей. Затем одна рота первой колонны продвинулась по берегу дальше, атаковала и взяла другой, меньший лагерь и овладела береговою батареей, прикрывавшей неприятельскую флотилию.

Были взяты три батареи и два лагеря; оставался еще третий лагерь, самый большой, по другую сторону Туртукая, и при нем последняя батарея, а также самый город, где в домах засели бежавшие из отнятых лагерей Турки. Суворов двинул на лагерь резерв майора Ребока, а на город Батурина. Лагерь с батареею были взяты мгновенно, и город очищен в короткое время. Турки разбежались по разным направлениям. В это время подоспели с того берега 150 карабинер и 60 казаков и содействовали совершенному рассеянию неприятеля.

Атака велась горячо; офицеры находились впереди и первыми всходили на батарею. Возбуждение людей было так велико, что они никому не давали пардону, и потому пленных не было. Несмотря на трудности ночной экспедиции и боя, все дело шло как по писаному, и лишь самое незначительное число людей и лошадей утонуло при переправе через Дунай кавалерии. Сам Суворов дважды подвергался большой опасности; при атаке батареи разорвало турецкую пушку и осколками сильно ранило ему правую ногу; потом на него наскочил один янычар с поднятою саблей, так что Суворов принужден был парировать удары, пока подоспели и выручили его свои.

В начале 4 часа ночи все было кончено; отряд занял позицию на высотах за городом и послал в город две сборные роты, чтобы вывести оттуда христиан для переселения на наш берег и затем порохом и огнем разрушить и сжечь город до основания. Приказание было быстро исполнено, и роты вернулись, навьюченные разной добычей, для дележа с оставшимися товарищами. Христиан выведено около 700 человек.

Трофеями победы были 6 знамен, 16 пушек, из коих 2 негодные брошены в Дунай, 30 судов, 21 небольшая лодка, Неприятелей легло много, но показанная Суворовым цифра 1500, выше действительной. С нашей стороны выбыло из строя

убитыми и ранеными больше 200. Возвратясь на свой берег, Суворов построил отряд в каре и отслужил благодарственный молебен. Разбогатевшие солдаты давали священнодействовавшему духовенству золотые и серебряные деньги.

Еще до солнечного восхода, Суворов написал карандашом на маленьком клочке бумаги и послал Салтыкову следующее короткое донесение: «Ваше сиятельство, мы победили; слава Богу, слава вам» [3]. До последнего времени Суворову приписывалось другое донесение, посланное будто бы Румянцеву и состоящее из двустишия:

Слава Богу, слава вам,
Туртукай взят, и я там.

Но по открытии первого из этих донесений, стали совершенно отрицать второе, даже не только самое донесение, но и его возможность. Это едва ли справедливо. Суворов мог послать с поля сражения короткие донесения и Салтыкову, и Румянцеву, тем паче, что последний ждал результата поиска, и рапорт к нему от Салтыкова должен был запоздать, так как от Суворова Салтыков был в одну сторону, а Румянцев в другую. Подобные дубликатные донесения практикуются, иногда они даже необходимы, чего впрочем в настоящем случае не было. Если бы Суворов послал немедленное донесение о победе одному главнокомандующему, то поступил бы непростительно, но он донес обоим. Наконец, о приведенном двустишии упоминает в своей книге Антинг, именно в первой части, которую читал и исправлял в рукописи сам Суворов [4] при этом он мог забыть хронологию мелочей, случившихся 20 лет назад, но никак не мог оставить в рукописи вымышленного донесения. Все это наводит на заключение, что факт написания Суворовым двустишие и отправки двустишие к Румянцеву не только возможен, но и весьма вероятен.

На другой день после туртукайского успеха, Суворов пишет графу Салтыкову письмо: радуется, что «все так здорово миновалось», прикидывается простячком и даже употребляет искалеченную латынь: «подлинно мы были вчера veni, vade, vince, а мне так первоучинка, Вашему сиятельству и впредь послужу, я человек бесхитростный. Лишь только, батюшка, давайте поскорее второй класс» (подразумевается св. Георгия). Два дня спустя, он возвращается к тому же предмету, настраивает себя на наивный тон и прибегает к другим доводам. «Не оставьте, ваше сиятельство, моих любезных товарищей, да и меня Бога ради не

забудьте, Кажется, что я вправду заслужил георгиевский второй класс; сколько я к себе ни холоден, да и самому мне то кажется. Грудь и поломанный бок очень у меня болят, голова будто как пораспухла; простите мне, что я съезжу в Бухарест на день-другой попариться в бане... Коли мне нечего здесь делать, дозвольте мне к себе на время приехать». На следующий день опять письмо, по поводу производства Салтыкова в генерал-аншефы и комплимент на счет его отца, впрочем совершенно справедливый: «уповаю, что ваши милости ко мне и вперед отменить не изволите, Будьте войсками так любимы, как ваш родитель» [3].

Таким образом, существовавший в литературе анекдот (опровергнутый лишь позднейшими исследованиями (об отдаче Румянцевым Суворова под суд за произвольный будто бы поиск на Туртукай, принадлежит к области чистого вымысла. Румянцев был недоволен не Суворовым, а Салтыковым. Из дивизии последнего было сделано несколько поисков и один из них очень неудачный. Полковник князь Репнин взят в плен с 3 штаб-офицерами, у нас убито и пропало без вести больше 200 человек, отбито 2 судна и 2 пушки. Так по крайней мере сообщал Суворов, по дошедшим слухам, Потемкину. Затем наступило в Валахии бездействие; удачным туртукайским поиском Салтыков не воспользовался, несмотря на настояния Румянцева, и сообщения Турок по Дунаю производились свободно. Из переписки Суворова с Потемкиным видно, что он, Суворов, за Турками внимательно следил и даже собирал о них по той стороне реки сведения, посылая туда партии, но это ни к чему не вело. Вообще война велась крайне вяло всюду; блестящим исключением служили только действия генерала Вейсмана [5].

Чтобы отвлечь от Вейсмана внимание Турок верхнего Дуная, Румянцев приказал Салтыкову произвести демонстрацию и приступить снова к экспедициям за Дунай. Такое распоряжение совершенно гармонировало с мыслями Суворова, который ясно сознавал ненормальность наступившего положения дел, поиски небольших казачьих партий находил недостаточными, считал нужным утвердиться на той стороне реки и производить набеги подальше внутрь страны. С этой вероятно целью он, как мы видели, желал повидаться с Салтыковым и выпросить у него подкрепление пехотой, однако ничего не добился. Тогда на досуге он принялся исправлять негоештское укрепление, чинить и укомплектовывать артиллерию, приводить в готовность флотилию и ревностно обучать войска. А туртукайский турецкий лагерь тем временем рос, войска прибывали. Больно было это Суворову; он снова представлял Салтыкову о необходимости утвердиться на том берегу, развивал подробности исполнения и

просил подмоги. Салтыков не уважил резонов, остался при своих взглядах и, готовясь начать движение с целью предписанной Румянцевым демонстрации, приказал Суворову, в случае необходимости, обращаться за подкреплением к Потемкину.

Томимый своим пассивным положением, Суворов 29 мая снова писал своему начальнику, прося взять его, Суворова, с собою в готовившееся наступательное предприятие. Желание его осталось неисполненным. В это время, или может быть еще раньше, к нему привязалась упорная местная лихорадка; пароксизмы происходили через день. Ввиду действий, он, вероятно пересилил бы себя и остался бы на своем посту; но так как ничего не предвиделось пли даже предвиделось одно бездействие, скука и томление, то 4 июня он просился у Салтыкова в Букарест для лечения и, под гнетом пароксизма, в тот же день послал к нему вторичную о том же самом просьбу. А на другой день прибыл к нему от Румянцева курьер и привез приказ — произвести вторичный поиск на Туртукай, причем ему обещано было подкрепление из пехоты. Обстоятельство это произвело надлежащее действие: Суворов почувствовал себя лучше и донес об этом Салтыкову; на следующий день ему стало еще лучше, о чем он опять донес, прибавив, что остается на своем посту. Было ли то действительно временное улучшение или только кажущееся, результат давления на организм сильной воли, но только болезнь снова одолела. Июня 7 Суворов опять пишет Салтыкову, что крепко болен и едет в Букарест. Должно быть не под силу ему пришлась эта упорная борьба с лихорадкой, если, несмотря на приказ главнокомандующего, он отказывался от поиска, которого сам так ревностно добивался. И подмога была уже прислана в составе одного слабого батальона, одной роты и двух орудий, и диспозиция уже готова, диктованная Суворовым во время лихорадочного пароксизма («хорошая диспозиция», по словам самого Суворова), а от дела все-таки приходилось отказаться [3].

Однако пересилил себя Суворов и на этот раз, остался; только все приготовления возложил на полковника князя Мещерского. Поиск назначен ночью с 7 на 8 июня; диспозиция объявлена; войска двинулись с наступлением сумерек к берегу Дуная; флотилия вышла из Аржиша, Князь Мещерский и прочие частные начальники выехали вперед к берегу, но увидев, что Турки настороже и что силы у них большие, усомнились в успехе и признали переправу невозможною.

Это было последней каплей, переполнившей сосуд; Суворов уехал в Букарест. Оттуда он написал Салтыкову в тот же день, 8 числа, письмо; говорит, что еле бродит; что в присланном

батальоне нет и полубатальона и надо прислать еще; что накануне «маневр был прекраснейший, войска подвинуты были по их лагерям, флотилия 30 лодок для левой атаки, 4 шайки для правой с острова уже были в рукаве... (продолжает по-французски). Мерзко говорить об остальном; ваше сиятельство сами догадаетесь, по пусть это будет между нами; я пришлец, не желаю делать себе здесь врагов»... Назавтра он несколько успокоился и пишет яснее: «Благоволите рассудить, могу ли я уже снова над такою подлою трусливостью команду принимать и не лучше ли мне где на крыле промаячить, нежели подвергать себя фельдфебельством моим до стыда — видеть под собою нарушающих присягу и опровергающих весь долг службы? Г. Б. причиною всему; все оробели. Может ли быть такой полковник в армии российской? Не лучше ли воеводой, хоть сенатором? Какой это позор! Все оробели, лица не те. Бога ради, ваше сиятельство, сожгите письмо. Опять сим напоминаю, что я здесь неприятеля (себе) не хочу и лучше все брошу, нежели бы его иметь пожелал. Каторга моя в Польше за мое праводушие всем разумным знакома, Есть еще способ: соизвольте на время прислать к нашим молодцам потверже генерал-майора. Всякий здесь меня моложе; он может ко мне заехать, я ему дам диспозицию; прикажите ему только смело атаковать. Г. Б. зачем-нибудь между тем отзовите, да пришлите еще пару на сие время смелых, мужественных штаб-офицеров пехотных... Боже мой, когда подумаю, какая это подлость, жилы рвутся» [3].

Суворов выносил тройную муку: и от лихорадки, и от поведения подчиненных, и от опасения, что минует надобность в экспедиции. Под этим впечатлением он пишет Салтыкову 10 июня третье письмо: просит прислать еще один батальон; говорит, что князь Мещерский честный человек, но еще не имеет привычки командовать; что Бат. тоже, но трус (пишет по-французски и вместо слова *poltron* ставит одну букву р.), и что это может иметь дурное влияние на войска. Июня 11 новое письмо, которым сообщает, что раньше воскресенья не может приняться за дело, «да и то как Бог изволит». Наконец 14 числа Суворов возвратился в Негоешти, написал Салтыкову, что ему немного лучше и что он хочет сделать попытку. Просимый батальон (Апшеронский) к тому времени был прислан; однако Суворов приказал вооружить карабинер пехотными ружьями из Букареста, обучать пехотному строю, стрельбе, атаке холодным оружием; обучались также усиленным образом вновь прибывшие рекруты. В отсутствие Суворова, князь Мещерский ни на что не решался, кроме посылки небольших казачьих партий, и ничего не делал, кроме постройки одной батареи в устье Аржиша, хотя Румянцев предписал

произвести или поиск, или по крайней мере демонстрацию. Главные силы Румянцева переправились через Дунай; на Вейсмане по прежнему сосредоточивался весь блеск военных действий.

Суворов назначил ночь с 16 на 17 число для нового поиска на туртукайский лагерь. Атаковать приказано взводною колонной, взводам намыкать одному на другой и «задним напихивать на передние весьма». Арнауты Потемкина действуют в лесах и набегами и ни с кем не мешаются. Конница идет в хвосте пехотной колонны и действует сама собою. Из пехоты выбираются 48 стрелков, отдаются под начальство одного офицера и действуют по-егерски. Идти на прорыв, не останавливаясь; голова хвоста не ожидает; командиры частей колонны ни о чем не докладывают, а действуют сами собой с поспешностью и благоразумием. При двух орудиях достаточное число зарядов, но без ящиков; прочие пушки закрывают переправу; когда начнется действие, им стрелять сильными холостыми зарядами. Строиться на горе фронтом, в центре два батальонные каре, по флангам оба батальона развернутым фронтом в 6 шеренг; кавалерия назади. Переправа тремя линиями, в третьей линии конница. Судам возвращаться весьма поспешно и брать опять карабинер с казаками. Атаковать двумя линиями, без замедления, быстро и мужественно; на горе остается одно каре с частью кавалерии. Ежели Турки будут просить *аман*, то давать. Погоню за Турками можно делать коннице, только осторожно и не далеко.

Всего в отряде было пехоты 1720, регулярной конницы 855, казаков 680, арнаут 100, но на ту сторону переправлено немного больше 2500 человек, в том числе часть спешенных карабинер. Турок было свыше 4000, в двух лагерях, усиленных укреплениями и батареями.

Не задолго до наступления ночи отплыла первая линия судов, наша артиллерия открыла огон и заставила Турок очистить противуположный берег. Не обращая внимания на неприятельские выстрелы, первая линия высадилась, построилась в шестирядную колонну, взобралась на нагорный берег и заставила Турок бежать из малого лагеря за овраг. Отсюда, пользуясь темнотою, они рассчитывали сделать на Русских нечаянное нападение; но майор Ребок, согласно диспозиции, двинулся вперед, перешел два глубокие оврага под сильным огнем и отбил поведенную на него яростную атаку. За оврагами находился ретрашнамент, где Турки сосредоточили свои силы; ими командовал главный начальник туртукайского отряда. Майор Ребок поднялся на бруствер ретраншамента и ударил в штыки. Произошла жестокая свалка; Турки упорно держались 4

часа, действуя холодным оружием; почти все русские офицеры были переранены. Наконец, после колебаний победы в обе стороны, Турки, несмотря на их громадный перевес в силах, были опрокинуты, благодаря энергии, настойчивости и распорядительности Ребока. Два русские каре, выстроившиеся на горе и состоявшие под начальством полковника Батурина, не поддержали Ребока, как следовало по диспозиции, и тем едва не испортили все дело.

Суворов прибыл со вторым отделением судов, что не совсем понятно, ибо, после происшествия 7 числа, ему следовало самому руководить делом с самого начала, Правда, главная роль предоставлялась храброму Ребоку, и он оправдал доверие Суворова, Кроме того, большую важность имела своевременная переправа второго отделения судов, и Суворов сам хотел присмотреть за этим делом; однако суда все-таки запоздали. Суворов тотчас подкрепил Ребока, добивавшего Турок, перестроил войска сообразно с обстоятельствами и послал арнаутов и казаков влево очистить лес от неприятеля, тревожить его с тыла криками и увеличивать беспорядок, а сам, в ожидании третьей линии судов с конницей и артиллерией, осмотрел ближайшую местность. Неприятель пытался было помешать высадке третьей линии, но неудачно; прибывшие Ингерманландские карабинеры и казаки, при свете давно уже наступившего для, помогли Суворову кончить дело. Турки принуждены были бросить свой второй, большой лагерь, находившийся у самого берега Дуная, немного выше города, разными дорогами побежали к Рущуку и были преследуемы верст пять.

Так кончился бой, начатый Ребоком и довершенный кавалерией; даже не вся пехота была введена в дело. Русским досталось 14 медных пушек и 35 разных судов, кроме большого количества харчевых запасов, которые отданы войску. Турок легло 600 — 800 человек, в том числе начальник из Физулла-Сары-паша, которого свалил ординарец Суворова, сержант Горшков. Потерю Русских трудно определить с точностию, по разноречивости сведений; она во всяком случае простиралась не меньше, как до 150 или до 200 убитыми и ранеными. Больше других потерпел Астраханский пехотный полк.

Войска вели себя прекрасно, несмотря на то, что и в пехоте, и в казаках было много новобранцев. Суворов впрочем успел подучить их на свой лад и очень хвалил Салтыкову поведение их в бою. Проштрафилась немного часть карабинер, отправившись самовольно в турецкий лагерь за добычей, но была проучена самими же Турками. Суворов служил всем образцом энергии;

будучи крайне истощен лихорадкой, он мог двигаться не иначе, как с помощью двух человек, поддерживавших его под руки, и говорил так тихо, что при нем находился офицер, для повторения отдаваемых им приказаний. Но в нем так был велик перевес воли над физическою немощью, что под конец дела он сел на лошадь.

К вечеру того же дня, Суворов возвратился на свой берег, послав Салтыкову известие о победе и отправив майора Ребока с таким же донесением к Румянцеву.

Румянцев был очень доволен поиском на Туртукай, да и не могло быть иначе: дела его вообще шли не важно. Главные силы переправились через Дунай; Осман-паша был разбит; важнейшее из передовых укреплении Силистрии взято, благодаря искусству и верности взгляда Вейсмана; но Силистрия казалась слишком сильною, и на овладение её надежды у главнокомандующего почти не было. Силистрийский гарнизон ожидал крупной подмоги; граф Салтыков на среднем и верхнем Дунае ничего не делал, несмотря на настойчивые требования Румянцева, во всем находил неодолимые затруднения и Турок от Силистрии не оттянул. Только второй поиск Суворова на Туртукай и поверхность, одержанная над Турками генерал-поручиком Каменским в тот же день при Журже, прикрыли несколько неспособность и сонливость Салтыковского командования.

Тотчас после туртукайского дела, Суворову пришлось, вследствие полученного приказания, оставить временно свой пост и идти к Журже с флотилиею и своим отрядом на усиление Салтыкова. Он оставил в Негоешти рекрут Копорского полка, на Иигерманландский карабинерный полк возложил охранение Негоешти, Обилешти и всего пространства между этими пунктами и сам отправился на лодках вверх по Дунаю. С ним были Астраханский пехотный полк, батальон Апшеронского полка и шесть орудий; Астраханские карабинеры и казаки следовали берегом. В боевых припасах ощущался крайний недостаток, а между тем предстояло проходить мимо турецкого лагеря, расположенного в 12 верстах ниже Рущука. Это сильно озабочивало Суворова, и он писал Салтыкову. «не знаю, как мне пройти варварский лагерь; в баталию вступать, особливо морскую (на воде), апетиту нет; ежели потребно (будет), ваше сиятельство мне помогите». Вскоре он послал другое письмо; беспокоясь за свой район и за Букарест, оставшиеся почти без защиты, он писал: «прикажите, ваше сиятельство, чтобы я со всею моею кучкою поворотил к Негоештам; она не велика; человек с сотню лучших Астраханского пехотного полка молодцов убыло, кроме больных, да и пообессилели. Также надобно немножко выэкзерцировать, порасстроились... Верьте, в нас вашему сиятельству прок не

велик, а во мне и подавно, мне надо выздороветь; придет чахотка — не буду годиться» [3].

Волей-неволей Салтыкову пришлось исполнить просьбу Суворова: Ингерманландский полк понадобился на другие потребности и был снят в тот самый день, 21 июня, как Суворов вернулся к устью Аржиша. Суворов получил приказание препятствовать сообщению Турок по Дунаю и грозить им новою экспедицией, чтобы хоть несколько отвлечь их силы от Силистрии. Он принялся с обычною горячностью и рвением строить укрепления и батареи, исправлять флотилию, обучать подчиненные войска. Дела было много, ибо опасность возросла вследствие расширившегося до Ликорешти Суворовского района; Турки могли легко прорваться во внутрь Балахии, еще легче потеснить Русских за Негоешти и сжечь на Аржише флотилию. Суворов доносил об этом Салтыкову, по без всякого успеха; приходилось положиться на самого себя.

К этому времени на других местах театра войны совершились довольно важные события. Румянцев, угрожаемый Турками с тыла, стягивал войска обратно к дунайской переправе и отрядил против угрожавшего корпуса генерал-майора Вейсмана. Произошло 22 июня сражение при Кучук-Кайнарджи; несмотря на огромный перевес, Турки были разбиты. Но победа стала Русским тяжелее поражения: герой Вейсман был убит. Отражая атаки Турок, он стоял в шеренге переднего фаса каре; пуля пробила ему руку, грудь и попала в сердце. Падая, он успел только сказать; «не говорите людям». Но солдаты узнали про свое горе; ярость их дошла до крайности: Туркам уже не давали пощады и даже перекололи пленных. Вейсман обладал крупными военными талантами и пользовался безграничным доверием войск; имя его было самым популярным в рядах Румянцевской армии. По складу своего военного дарования, по неустрашимости, энергии, верности военного взгляда, он представлял много однородного с Суворовым, и в этой однородности лежал залог его славной будущности, если бы Бог продлил его жизнь.

Вскоре Румянцев перешел обратно за Дунай, вследствие изнурения кавалерии и затруднений в снабжении её фуражом. Стали ждать случая для решительных действий и принимали тем временем меры против наступательных попыток неприятеля.

Укрепления у Суворова росли, батареи воздвигались, флотилия увеличивалась, приходила в порядок и крейсировала частями по Дунаю; партии казаков беспрестанно переправлялись на турецкую сторону для поисков; войска то работали, то деятельно обучались. Особенное внимание Суворов обращал на рекрут и старался не выпустить их из своих рук; в этом желании

сказывался военный педагог по призванию. Он пишет 22 июня Салтыкову: «рекруты Мелина хороши, не замайте ваше сиятельство: у меня побудут, лучше научатся и жить будет не хуже». В другом письме его, от 27 июня, читаем: «ладно, что копорская рекрутская команда будет в полку, только бы ее там поберегли от палок и чудес. Астраханского пехотного не велика, ее с прочими в полку тяжело опознать. Берегусь я, чтобы таких из рекрут в командированиях не отделять, а с прочими наравне. Апшеронская рекрутская команда у майора Теглева из 150 до 50 охворовала; он может быть в Букаресте за девушками ходил, — изрядный подданный своей Императрицы» [8].

Не мудрено, что Суворов так бесцеремонно отзывался о Теглеве; здоровье солдат было его коньком. Но был он недоволен не одним Теглевым. Он просит Салтыкова заменить несколько штаб-офицеров другими, ибо «один неискусный, баламутит; другой недавно из колыбели»; Батурина просит взять прочь. Батурин был им назначен комендантом в Негоешти, отпрашивался по болезни в Букарест и, не дождавшись разрешения, уехал; Суворов требует это дело исследовать и «учинить сатисфакцию». Батурин оказался однако правым, ибо в отсутствие Суворова получил разрешение от старшего по нем, полковника князя Мещерского. Надо заметить, что Суворов пишет Салтыкову откровенно обо всем дурном, но не иначе, как письмами; в официальных же бумагах ничего подобного не говорит. Салтыков требовал от него формального заявления о негодности Батурина, но Суворов не согласился. Его понятия в этом отношении мало отличались от ходячих, общепринятых. Хотя в позднейшую пору своей жизни он говаривал, что «служба и дружба — две параллельные линии: не сходятся» [6], однако и теперь, и позже, незаметно для себя, не всегда держался этого положения и часто шел на компромиссы, в смысле применения к обстоятельствам. В настоящем случае, явившись на Дунай человеком чужим, без поддержки, без знакомств и приятелей, он старался утвердиться прежде всего на ногах, пустить корни в почве и потому дорожил всем тем, что освоивало его с новой средой. Батурин был временным начальником поста, куда Суворов прибыл из Петербурга, и командиром полка; с ним Суворов находился в добрых отношениях; Батурину удалось даже оказать ему кое-какие услуги. Оттого Суворов пишет 28 июня Салтыкову: «Батурина формально представлять — от меня не станется: сердце не такое. Всякий полковник имеет у себя многих приятелей; так и он в числе тех меня, что до партикулярности, по которой я им обязан; что же до субординации, я могу сказать, что он ее довольно наблюдал, кроме сего разу» (отъезд в Букарест).

Главною же виною Батурина Суворов считает 17 число, когда он «своею храбростью надмен, распоровши диспозицию при начале, довольно было нас всех опасности подверг, по малой мере людей у нас побольше желаемого перепортили» [3].

Для лучшего уяснения этой, по-видимому, двойственности в поступках Суворова, не мешает иметь в виду его правило, присущее во все времена многим начальникам и выражающееся избитою фразой: «не делать человека несчастным». Суворов отступал от этого принципа в случаях редких, когда правило оказывалось совсем неприложимым, напр. при захвате в Польше краковского замка неприятелем в 1772 году. Справедливо ли спасать от несчастья человека, который был и впереди может быть причиною несчастия десятков, сотен, а иногда и тысяч других людей, — это другой вопрос, притом вопрос ума, тогда как желание не губить есть побуждение сердца. В результате возни с Батуриным оказалось, что в августе 1773 года, когда вышло награждение отличившихся в военных действиях орденом св. Георгия, 4 класс этого ордена получили и Ребок, и Батурин. Из краткого изложения в указе отличий, за кон жалуются ордена, можно заключить, что Батурин получил георгиевский крест за первое туртукайское дело, а Ребок за второе. Получил и Суворов так горячо им желанный 2 класс Георгия [7].

Июля 7 последовало новое расписание полков по отрядам; Суворова назначили к Потемкину. Новость эта его поразила, он принял свое перемещение за знак неудовольствия главнокомандующего. Еще так недавно он, Суворов, тяготился своим бездействием и был недоволен своим положением; теперь освещение вдруг переменилось. «Гром ударил, мне сего не воображалось. Прошу иного, ваше сиятельство, можете ли помочь? Лишь бы только с честью отсюда выйти. Всего основания не знаю; больно!... Будет ли по малой мере мне желаемое награждение? Не оставьте того, милостивый государь. Бегать за лаврами неровно, иногда и голову сломишь по Вейсманову, да еще хорошо, коли с честью и пользой. Наконец и то выдти может, что (если) не так, то такой как я, а что хорошо, то не я». Вслед затем он получил от Румянцева извещение о назначении его в главные силы. Собираясь 11 числа уезжать. он написал графу Салтыкову последнее, прощальное письмо, а Румянцеву донес, что будет немедленно [3].

В отношениях Суворова к Салтыкову не замечалось по-видимому ничего дурного, но они не были искренни и действительно хороши. Суворов был требователен и в требованиях своих настойчив; неспособность Салтыкова била ему в глаза, и он не сдерживал языка, не скупился на пронические

выходки и остроты. Многие писатели упоминают про одну его злую насмешку, передавая ее различно. Кажется сарказм состоял в том, будто «Каменский знает военное дело, но оно его не знает; Суворов не знает военного дела, да оно его знает, а Салтыков ни с военным делом не знаком, ни сам ему неизвестен». Услужливые люди передавали Салтыкову подобные отзывы Суворова и через то отношения между начальником и подчиненным конечно не выигрывали. В числе таких людей, генерал-поручик Каменский занимал не последнее место. Не любя Суворова, он в то же время колол им Салтыкова. В одном приличном, но довольно ядовитом письме к последнему, он забавляется насчет второй туртукайской победы Суворова и бездействия самого Салтыкова. В другом, по случаю состоявшегося перевода Суворова, Каменский пишет, что вероятно он, граф Салтыков, доволен этой переменой, «ибо не знаю, кто из вас двух был в Негоешти начальником, особенно с тех пор, как Суворов стал посылать донесения прямо фельдмаршалу».

Уезжая, Суворов оставлял свой пост в превосходном состоянии. Флотилия доведена была до 101 судна разной величины, способных поднять 5500 человек пехоты и 1500 конницы. Даже Каменский не мог не отдать ему в этом отношении справедливости и еще в половине июня писал Салтыкову, что нашел флотилию и укрепления в таком состоянии, что и не воображал, и что Суворов видимо очень много потрудился. Нет сомнения, что Суворов еще больше потрудился по обучению войск, — предмет, который никто не ценил в надлежащей мере. Вообще же он доказал на своем дунайском посту, что умея побеждать неприятеля в бою, умеет и обеспечивать победу заранее.

Немедленно отправиться к Румянцеву Суворову однако не удалось. Сходя по наружной лестнице негоештского монастыря, мокрой от недавнего дождя, он, будучи нетверд на ногах от туртукайской раны, поскользнулся и упал на спину. Ушиб и сотрясение были так сильны, что Суворов едва дышал, и его принуждены были отвезти в Букарест; только после двухнедельного лечения мог он отправиться к главным силам.

Главнокомандующий оценил службу Суворова и понял, что он один может заменить Вейсмана. Русские войска занимали в это время по ту сторону Дуная единственный пост, Гирсово, который очень стеснял Турок и потому был уже предметом двукратных их покушений. Здесь предполагалось вторично перенести решительные действия на тот берег; по близости, при устье Яломицы, расположились главные силы Русских. На этот-то пост и назначил Румянцев Суворова. Он писал Суворову 4

августа, что надеясь на его известное искусство, предоставляет ему охранение и оборону Гирсова, не стесняя подробною инструкцией, как генерала, отличающегося военными достоинствами. Почти во всех других своих ордерах, Румянцев называет Суворова искусным и благоразумным генералом и доносит 8 августа Императрице, что «важный гирсовский пост поручил Суворову, ко всякому делу свою готовность и способность подтверждающему».

Повидавшись с главнокомандующим и получив от него наставление, Суворов отправился в Гирсово. Он должен был высылать оттуда разъезды и, при случае, предпринять поиск вовнутрь неприятельского расположения, оттягивая на себя турецкие силы и ослабляя их на верхнем и нижнем Дунае. Гирсовский отряд обязан был сохранять тесные сношения с генералом Унгерном, который готовился к поиску, в случае надобности помочь ему и даже соединяться с ним для общих наступательных действий. В распоряжение Суворова была еще отдана бригада генерал-майора Милорадовича, стоявшая при устье Яломицы, которую он во всякое время имел право притянуть к себе.

Прибыв в Гирсово, Суворов осмотрел в подробности свой пост и нашел, что он недостаточно обеспечен от турецких покушений. Первым делом он назначил места для дополнительных укреплений и приказал их насыпать, а также исправлять крепостные верки; затем составил план обороны, сводившийся к тому, чтобы обоим отрядам, Унгерна и Суворова, атаковать Турок при Карасу. Румянцев, более опытный и менее решительный, не одобрил предположений Суворова, а между тем, если В они были приведены в исполнение тотчас же, то турецкий корпус под Карасу был бы разбит, ибо считал в своих рядах не свыше 10,000 человек, как впоследствии оказалось.

Ожидая неприятельского наступления от Карасу, Суворов в конце августа притянул к Гирсову бригаду Милорадовича и в своем расчете не ошибся. Возводимые укрепления были еще далеко не окончены, как в ночь на 3 сентября, в 20 верстах от Гирсова, показалась турецкая конница. Утром Турки усилились и потеснили передовые посты; к полудню неприятель был на пушечный выстрел от Гирсова. Суворов не хотел его атаковать тотчас же, а думал приманить поближе, для чего и выказывал разные признаки своей слабости; но в крепости не вытерпели, открыли огонь слишком рано. Турки попятились. Суворов выслал казаков, приказав им завязать перестрелку. Более часа продолжалась перестрелка; Турки понемногу подвигались вперед. Чтобы приманить их, Суворов приказал казакам отступать, не

торопясь, а потом вдруг, как будто в паническом страхе, удариться в бегство.

Как только казаки очистили поле, Турки стали развертывать свои силы и строиться. Зрелище было необычное: сражавшиеся до сей поры нестройными толпами и кучами, мусульмане выстроились в три линии, на европейский лад, и в порядке двинулись вперед. Таков был результат недавних уроков французских офицеров, но он не послужил Туркам в прок. Суворов смотрел на маневрирующего неприятеля, указывал его своим приближенным и смеялся.

Турецкая пехота подошла к гирсовским укреплениям довольно близко, но русская артиллерия молчала; даже на передовом редуте, который мог бы давно открыть пальбу, не было видно людей. Турки прибавили шагу, повернули направо, примкнули правым флангом к речке Боруй и приняли положение, параллельное Дунаю. Тут они поставили батарею и открыли огонь по ближайшему из трех русских укреплений. Шанец, имевший маскированные амбразуры, не отвечал; Турки рассыпали часть своей пехоты и стали подходить. Окружив шанец со всех сторон, они приблизились на половину картечного выстрела и мгновенно бросились в атаку. Нападение было такое быстрое, что Суворов, находившийся вне укрепления для наблюдений, едва успел спастись внутрь. Атакующих встретил жестокий картечный огонь, но они все таки успели добраться до самого палисада.

Бригада Милорадовича из Севского и 2 Московского полков, весьма слабого состава, командуемая по болезни бригадного командира полковником князем Мочебеловым, стояла за речкою Боруй. Как только Турки, атаковавшие шанец, не выдержав огня, побежали назад к своей батарее, — Мочебелов перебрался чрез Боруй и двумя карейми двинулся против правого фланга и центра неприятельского расположения. Вслед затем на левый турецкий фланг направился из освободившегося от атаки шанца 1 Московский полк. Таким образом произведена общая на Турок атака. Турки особенно дорожили своим правым флангом и держались тут упорно, так что сбить их с высоты удалось после многих усилий и больших потерь, да и затем, пользуясь пересеченною местностью, неприятель старался удержаться в оврагах и ущельях, откуда русские войска должны были его выбивать последовательно. Лишь потеряв последнюю надежду на успех, правый фланг Турок пустился на утек, бросив свою батарею. Войска центра и левого фланга, атакованные Русскими и отрезанные от своего правого фланга, также принуждены были уступить, и бегство Турок сделалось общим.

Суворов послал гусар для преследования бегущих, а вслед за ними двинулся сам с частью пехоты. Но пехота не могла догнать неприятеля, бежавшего без оглядки и бросавшего на пути всякую лишнюю тяжесть, даже одежду. Пехота возвратилась в Гирсово, а гусары с казаками гнали неприятеля еще верст 30, и именно во время своего бегства Турки потеряли особенно много людей убитыми и ранеными. Гусары должны были прекратить преследование за крайним изнурением лошадей, казаки же продолжали почти всю ночь тревожить неприятеля.

Наблюдая Турок утром, до сражения, Суворов определял их численность в 10-12 тыс. человек; пленные показали 10,000. Убитых сосчитано свыше 1,100, но в действительности потеря Турок превосходила эту цифру, так как в бурьяне и в оврагах валялось много тел, которые не были видны. Орудий взято 7 и почти весь обоз с провиантом и другим имуществом. С нашей стороны боевые силы были гораздо меньше; хотя частей войск у Суворова было не мало, но половина их отличалась чрезвычайно слабым составом, так например, в одном из пехотных полков состояло в строю не больше 200 штыков. Общее число войск Суворова едва ли превосходило многим 3,000 человек; из них убитых и раненых насчитывали несколько меньше 200.

Румянцев приказал отслужить во всей армии благодарственный молебен и 5 числа написал Суворову: «за победу, в которой признаю искусство и храбрость предводителя и мужественный подвиг вверенных вам полков, воздайте похвалу и благодарение именем моим всем чинам, трудившимся в сем деле».

Излагая вкратце гирсовское дело в своей автобиографии, Суворов говорит, что дальнейшие подробности известны по реляциям, «в которые он мало вникал и всегда почитал дело лучше описания». При этом он обращает внимание начальников на следующий факт: у князя Мочебелова из 100 раненых солдат ни один не умер, до того был попечителен о своих людях этот достойный начальник. Такое замечание есть характерная черта, противоречащая многим ходячим о Суворове мнениям, особенно некоторых из его современников.

Суворов надолго остался без дела и продолжал сидеть в Гирсове даже с наступлением зимы. Румянцев, назначая его в Гирсово, приказал заняться постройкою помещений для войск, но в ноябре получил донос, будто Суворов только для себя построил землянку, а войска остаются без крова. Румянцев велел Потемкину исследовать это дело и принять меры к исполнению давно отданного приказания. Остается неизвестным, что нашел Потемкин; по всей вероятности донос оказался ложным. В августе

и может быть в сентябре у Суворова была настоятельная забота о приведении гирсовского поста в надежное оборонительное состояние, но затем и начальник, и войска оставались без дела. Такое бездействие прямо противоречило основным правилам Суворова, считавшего постоянный солдатский труд совершенною необходимостью, а заботливость о здоровье войск, постоянно ему присущая, не дозволяет допустить мысли об оставлении солдат без крова[7].

Бесцветная и бесплодная кампания 1773 года окончилась. Переход через Дунай не повел ни к каким серьезным результатам; надежды и ожидания Императрицы остались неисполненными. Суворову нечего было делать в армии с наступлением зимы; в ноябре или в начале декабря он, с разрешения главнокомандующего, уехал в отпуск в Москву, на короткое время. Его однако задержало тут обстоятельство совершенно особого рода — он женился, а потому поехал в обратный путь лишь во второй половине февраля. Впрочем к началу кампании 1774 года он все-таки не опоздал; жена осталась в Москве.

Предположения Румянцева на этот год состояли в том, чтобы перенести действия за Дунай и проникнуть до Балкан.

Императрица одобрила его мысли и указала ему на необходимость решительных наступательных операций, дабы как можно скорее окончить войну. Рано открыть кампанию оказалось однако невозможным: стояла сильная стужа, рекруты не прибыли, предметы обмундирования и снаряжения не успели дойти. А между тем султан умер, на престол вступил его брат, Абдул-Гамид, который хотя тоже повел гаремную жизнь, но счел долгом сделать воинственное воззвание к подданным, и Турки, по полученным сведениям, готовились иерейти Дунай для наступательных действий. Румянцев рассчитывал открыть кампанию в начале мая; главные его силы должны были собраться к Браилову; для правого крыла генерал-поручика князя Репнина сборным пунктом указана Слободзея; левому крылу Каменского — Измаил; резерву под начальством Суворова, уже прибывшего к армии, устье р. Яломицы. Отряд графа Салтыкова оборонял Банат, защищал верхний Дунай и охранял Журжу.

Суворов должен был охранять Гирсово, наблюдать за Силистрией и вступить в сношение с Каменским для совокупных действий. Румянцев предоставил им самим и время, и направление их операций, а также решение вопроса — вместе им действовать или порознь. Они съехались и положили: не делая попыток ни на Варну, ни на Силистрию, постараться разбить неприятеля в поле, для чего и произвести общее наступление к Базарджику, а потом к Козлуджи. Румянцев одобрил план,

изменив лишь некоторые подробности; между прочим Каменский должен был направиться от Карасу к Базарджику, а Суворов идти параллельно с ним, прикрывая его со стороны Силистрии. Впрочем Румянцев снова предоставил им действовать по усмотрению, но с тем, чтобы в спорных вопросах первенство принадлежало Каменскому, как старшему. Дивизия Репнина получила приказание — в случае требования Суворова, идти к нему на помощь за Дунай.

Мы подошли теперь к событию, по поводу которого не лишнее будет припомнить, что всякое дело имеет свою лицевую и свою оборотную сторону, и судить о нем по одной первой нельзя. В особенности это приложено к войне, где возбуждены страсти; сильнее, чем когда-либо, действуют зависть, честолюбие, самолюбие; где рискуешь очень многим, но зато можешь и выиграть очень многое. Тут почти каждый обнаруживает, сам того не замечая, и самые выгодные, и самые невыгодные свои качества; редко кто сохраняет свой нормальный средний уровень, потому что находится в положении ненормальном. Подобные крайности, преимущественно в дурную сторону, значительно сглаживаются на лицевой, т.е. официальной оболочке дела, а иногда и вовсе на ней не выступают. Даже при политических переворотах, когда мысль и слово получают полную свободу, и тогда официальная сторона войны остается все-таки лицом и скрывает под собою маю похожую на лицо изнанку. Оттого история военного времени, особенно в случаях острых, не может ограничиться одними официальными данными, если она, как и должно быть, хочет изобразить действительную правду.

В сражении при Козлуджи, к которому теперь переходим, оборотная сторона расходится с лицевою, казовою, причем официальное изображение дела противоречит истине, кроме разве технических подробностей, да и то не безусловно [8].

Каменский выступил к Базарджику; Суворов должен был выступить туда же 28 мая, но поджидая некоторых не прибывших полков, тронулся лишь 30 числа, донеся Румянцеву о причине замедления. Пошел он не по условленной дороге, а по другой, будто бы более удобной, которая однако же оказалась очень дурной. Поджидание войск могло быть действительно резоном для замедления, но неуведомление Каменского об изменении маршрута было поступком неизвинительным. Каменский донес Румянцеву, что Суворов неизвестно где находится, поступает как независимый от него, Каменского, генерал и его распоряжений не слушает. Главнокомандующий послал отыскать Суворова и заметил Каменскому, что он, Каменский, сам имеет все способы заставит Суворова повиноваться. Во всем этом прежде всего

виноват Румянцев, не подчинивший Суворова Каменскому прямо и безусловно; если же он сделал это из желания воспользоваться дарованиями Суворова, то не следовало ставить его и в условную зависимость от Каменского.

Каменский, после удачного дела, занял Базарджик 2 июня и перешел в деревню Юшенли 9 числа, чтобы вести оттуда наступление к Шумле; вскоре прибыл туда и Суворов, выступивший с ночлега в час ночи. Он тотчас же отправился с кавалериею и арнаутами на рекогносцировку, как утверждает очевидец, против воли Каменского. Одновременно с наступлением Русских, но ничего про него не зная, визирь вздумал сделать поиск к Гирсову, что и возложил на рейс-эфенди Абдул-Разака и на янычарского агу, с 40000-м корпусом. Они выступили из Шумлы и прибыли в Козлуджи в тот самый день, как Каменский двинулся из Базарджика. Таким образом 9 июня и Русские, и Турки находились невдалеке друг от друга, сами того не подозревая; их разделял густой лес, чрез который пролегала одна узкая, дурная дорога. Казаки и часть регулярной кавалерии Суворова углубились по этой дороге в лес для разведок, наткнулись на турецкие разъезды и взяли в плен генерал-квартирмейстера с несколькими офицерами, но затем должны были ретироваться. Их подкрепили, и они снова вступили в лес; следом двинулся Суворов с частью пехоты, но турецкий авангард опять опрокинул русскую кавалерию и с большой горячностью, внезапно, атаковал пехоту. Сам Суворов едва не попался в руки неприятеля и, только благодаря быстроте своего коня, успел ускакать от гнавшегося за ним спага. Русские пострадали при этом порядочно; Албанцы, захватив довольно значительное их число, отрезали им головы и продолжали вести атаки с яростью и громкими криками. Русские отступали, положение их становилось опасным, так как Турки видели уже в своих руках победу, а при таких обстоятельствах они действуют с большою смелостью и энергией.

Тем временем прибыли ко входу в лес два пехотные полка бригадира князя Мочебелова, в том числе Суздальский, построились в одно общее каре и открыли сильный огонь. Албанцы продолжали упорствовать в своих атаках, но не долго; затем остановились и наконец перешли в отступление.

Заметив это, когда пороховой дым рассеялся, Суворов двинулся вперед. Лесная дорога оказалась загроможденной брошенными турецкими обозами, волами, трупами убитых людей. Стояла страшная жара, а войска Суворова с ночлега ничего не ели, и лошади не были напоены. Турки останавливались и переходили в наступление, так что

следовавшая в русском авангарде кавалерия генерала Левиса, присланная Каменским, временами должна была прибегать к защите пехоты, а пехота лишь на лужайках имела возможность несколько развертываться. Войска были в изнеможении; многие солдаты умерли на пути от крайнего истощения сил.

Таким образом около 9 верст двигался вперед Суворов, пока достиг наконец выхода из леса. В этот момент разразился ливень, что несколько освежило паши истомленные войска, а Туркам послужило в ущерб, потому что их длинная и широкая одежда намокла, стала для движений тяжела и неудобна, и находившиеся в карманах патроны подмокли.

На 8 или 9-верстной поляне, перед Козлуджи, стояла на высотах турецкая армия, и были устроены батареи, которые тотчас же и открыли огонь. Суворов быстро построил войска несколькими разной величины кареями, в двух боевых линиях, с кавалериею преимущественно но флангам. Легкие войска неотступно следовали за неприятельским авангардом, взошли на высоты и завязали перестрелку, но были сбиты, и Турки повели стремительную атаку против двигавшихся вперед главных сил Суворова, Атака была отбита, но повторена последовательно несколько раз; Туркам удавалось прорывать атакованные каре, которые поэтому порасстроились, однако все атаки отбили. Для поддержки атакуемых, значительная часть кавалерии переведена на левый фланг и расстроенные каре подкреплены пехотой с правого фланга и из второй линии. В таком порядке Суворов продолжал наступление, хотя полевая артиллерия не успела еще подойти, задержанная трудною лесною дорогой. На поляне находилось до 8000 наших войск; прочие, большая часть войск Каменского, еще не подошли и прибыли к полю сражения по окончании боя, — один полк в тот же вечер, остальные на следующее утро.

Поляна представляла собою местность неровную, покрытую кустарником; перед фронтом турецкого лагеря тянулась лощина. Подойдя к этой лощине, Суворов выставил подоспевшие к тому времени 10 полевых орудий, в продолжение некоторого времени обстреливал лагерь и затем повел атаку, с кавалериею впереди.

В турецком лагере господствовал совершенный хаос, результат быстрого перехода от напряженного одушевления к отчаянию. Рейс-эфенди старался привести свои расстроенные войска в порядок, но никто и по думал слушаться. Одни обрубали постромки у артиллерийских лошадей, чтобы добыть себе коней для бегства; другие с этою же целью стреляли во всадников, один выстрелил даже в самого репс-эфенди. В разгаре этой суматохи раздались выстрелы русской артиллерии, и ядра стали ложиться

в лагере. Тогда смятение мусульман дошло до последнего предела; брошены палатки, орудия, обоз, и все устремилось в бегство в разные стороны.

При закате солнца, Суворов беспрепятственно занял турецкий лагерь. Добыча досталась войскам очень большая, вместе с трофеями, состоявшими из 29 орудий и 107 знамен. Потеря Турок людьми исчисляется различно; самый умеренный счет показывает 500 убитых и 100 пленных, но судя по упорству и продолжительности боя, истинная цифра должна быть выше. Урон Русских определяется слишком в 200 человек убитых и раненых, но это исчисление следует признать также ниже действительности.

Несмотря на крайнее утомление войск, Суворов с кавалериею и частью пехоты преследовал Турок, пока пала ночь. В этот трудный день он был все время на коне, часто в огне и даже в ручном бою.

В таком виде представляется дело при Козлуджи, насколько возможно добиться истины из сопоставления разных авторов с официальным донесением. Сам Суворов в своей автобиографии говорит: «ни за реляцию, ниже за донесение свое я по слабости своего здоровья не отвечаю». Резон конечно натянутый и даже забавный, но верно то, что слава победы принадлежит Суворову. Каменский только содействовал успеху ни притом в ограниченном размере: главной роли, которая ему принадлежала по праву, не имел и был, так сказать, втянут Суворовым к второстепенному участию в деле. Суворов видимо уклонялся от своего. зависимого положения, тем более тяготясь им, что недавно, в марте, был произведен в генерал-поручики, т.е. состоял в одном чине с Каменским, который сам получил это повышение лишь в прошлом году. Как ни мелким кажется это обстоятельство в применении к такому крупному человеку, как Суворов, но значение чина в военной службе настолько велико, что им дорожит каждый. А для Суворова значение чина было больше, чем для кого другого, потому что военно-иерархическая лестница служила ему препятствием к приложению его дарований в широком размере, и это препятствие неудержимо понуждало его искать выхода из подчинения начальникам неспособным или меньше его способным. А кто же был способен не только больше, но и наравне с Суворовым?

Едва ли нужно доказывать, что выходки Суворова по отношению к Каменскому заслуживают полного осуждения. Он грешил против самого себя; его поведение прямо противоречило принципам, на которых он сам строил образование и воспитание войск, и служило дурным примером для других. Он доказывал

осязательно, что в некоторых отношениях нисколько не возвышается над общим уровнем и что дисциплина в высших рядах русской армии заставляет еще желать многого. Не было ли в самом деле одинаковым тому доказательством и неоднократное неисполнение графом Салтыковым распоряжений главнокомандующего, и поведение Суворова относительно Каменского? Грех действительно существовал, и если смотреть на дело глазами беспристрастного современника, то Суворов подлежал строгому осуждению, если не юридическому, ради одержанной им победы, то по крайней мере нравственному.

Но такому приговору не может быть места теперь, через сотню с лишком лет. Столкнулись две неподатливые натуры. Крутой, горячий до неистовства, неуступчивый Каменский обладал недюжинным умом и военным дарованием; он не мог в глубине души не признавать в Суворове большого над собой превосходства и чувствовал к нему затаенную зависть. Суворов был одарен качествами, не только не смягчающими жесткие проявления натур в роде Каменского, но скорее их раздражающими. Столкновение должно было произойти и произошло. Но от него никто не пострадал, кроме военно-служебного принципа, а дело выиграло. Нисколько не вдаваясь в праздные предположения, можно сказать, что Каменский не в состоянии был бы так повести и кончить дело при Козлуджи, как Суворов, и что победа эта есть именно продукт личных Суворовских качеств. Несправедливо говорят некоторые, будто Суворов был увлечен в самом начале своею запальчивостью; недостаток этот в нем несомненен, но в настоящем случае действовала не запальчивость, а желание найти, настигнуть и разбить Турок самому, не уступая этой славы Каменскому. Потомство не может ставить в укор Суворову такие побуждения. Если все покрывает и извиняет достигнутый успех, даже случайный, то тем менее мы имеем право быть строгими ввиду победы не случайной, а составляющей звено в победной цепи. Если в человеке есть непоколебимая уверенность в своем победном призвании и уверенность эта подтвердилась всем его поприщем, то в случае, подобном настоящему, суд потомства изменяет критерий суда современного, и приговор выходит другой. Современники еще не видели и не могли видеть, что Каменских встречается в военной истории сотни, а Суворовых — единицы. Мы это видим и потому прилагать к первым и вторым одну и ту же мерку суждения не можем; это было бы узким доктринерством, которое существует во все времена естественно и логично, но в приговоры истории не переходит.

Легко себе представить, как недоволен был Каменский

самовольными поступками Суворова. Представляя реляцию о козлуджинской победе и рекомендуя наиболее отличившихся, Каменский в особенности хвалил Суворова; но это доказывает лишь сказанное выше, т.е. что официальное изображение военных действий иногда только силится прикрыть настоящую действительность. Да и как было Каменскому не выставить Суворова, когда именно Суворов и одержал победу? Оборотная сторона медали осталась не видна и сказалась в том, что Каменский и Суворов остались на всю жизнь если не врагами, то, по крайней мере, в отношениях неприязненных; признаки этого обнаруживаются даже через 25 лет, в 1799 г. [9]. Находиться в подчиненном у Каменского положении Суворов больше уже не мог и в скором времени уехал в Букарест. Но до его отъезда случилось обстоятельство, по-видимому незначительное, на самом же деле заслуживающее внимания и исследования.

После решительной победы при Козлуджи, наступление к Шумле было самым естественным и настоятельным шагом, особенно в виду паники, которой отдавались Турки после каждого значительного поражения. К тому же, как вскоре оказалось, из Шумлы были высланы к Козлуджи почти все наличные силы, которые и рассеялись после 9 июня в разные стороны, и под Шумлой визирь оставался всего с 1,000 человек. Наступление однако не было, предпринято Русскими; они остались невдалеке от Козлуджи в продолжении шести дней, по причине чрезвычайно трудных дорог и недостатка провианта, которого имелось лишь до 1 июля. Обстоятельства эти представлялись на столько важными, что Каменский собрал военный совет из 6 подчиненных генералов; в числе их был и Суворов. Совет постановил -дать на 6 дней войскам отдых. в ожидании подвоза провианта, а потом отступить за позицию между Шумлой и Силистрией, чтобы отрезать последнюю от сообщений со внутренностью страны и содействовать переправившемуся тогда через Дунай главнокомандующему.

Граф Румянцев был взбешен таким решением, что и высказал Каменскому довольно откровенно. «Не дни да часы, а и моменты в таком положении дороги», писал он 13 июня: «недостаток пропитания не может служить извинением, ибо от вас же зависело отвратить оный» [10].

Все это по отношению к Суворову не совсем вразумительно. Жизнь человека, состоит из цепи фактов, не подвернувшихся случайно, не навеянных извне судьбою, а выросших из внутреннего мира этого человека. В поверке фактов жизни по духу человека и обратно, в оживотворений этим духом его деятельности и заключается главная задача жизнеописания. Если

при каком-нибудь случае одно не вяжется с другим, то тут должна быть фальшь, которая требует разъяснения. Это отнюдь не значит подгонять факты под уровень предвзятой мысли; меркою тут должен быт сам человек, и весь вопрос сводится лишь к тому — верно ли человек понят. Отрицать же внутреннюю силу, выражающуюся в направлении событий, значит не признавать жизненных законов и все, большое и малое, относить к категории случайностей.

Не говоря о Суворове будущем и ограничиваясь Суворовым прошедшим, все-таки приходится недоумевать на счет дней, следовавших за победою при Козлуджи. Его военные принципы, его предшествовавшие действия в Польше и Турции, — все это однородно и гармонично, а постановление военного совета при Козлуджи является диссонансом. Это подтверждается собственными словами Суворова, хоть не совсем прямо. В 1792 году, т.е. 18 лет спустя, он говорит: «Каменский помешал мне перенесть театр войны чрез Шумлу за Балканы». Около того же времени Суворов пишет записку, без адреса и числа, в которой между прочим значится: «Семь батальонов, 3 — 4,000 конницы были при Козлуджи, прочие вспячены Каменским 18 верст, — отвес списочного старшинства. Каменский помешал графу А. Суворову Рымникскому перенесть театр через Шумлу за Балканы». Конечно тут есть преувеличение: Каменский не «вспячивал» при Козлуджи войска, а сам Суворов ушел от него вперед; но и слова Суворова, и записка его свидетельствуют, что у него было предположение вести энергические наступательные действия после Козлуджи. Правда, желание это было, так сказать, платоническим и не имело в себе почти ничего реального, ибо своих войск Суворов имел слишком мало и они были совершенно изнурены, так что дальнейший немедленный с ними поход представлялся немыслимым. Суворов надеялся, что ему удастся увлечь Каменского своими смелыми планами, подчинить его себе нравственно и фактически, распоряжаться его отрядом, как своим. Подобное подчинение принца Кобургского в 1789 году Суворову удалось, и под свежим впечатлением этого обстоятельства, он говорил и писал в 90-х годах, как выше сказано. По Каменский был человек иного склада и не только не думал идти за Суворовым на помочах, но требовал от него самого повиновения. Наступательное движение не состоялось [11].

Таков уже военный характер Суворова, что для объяснения пассивного постановления военного совета, в котором этот человек участвовал, приходится прибегать к сопоставлениям. Между тем, нет никакого основания заподозривать верность официальных сведений о решении военного совета после

Козлуджи; но они опять представляют одну только лицевую сторону предмета [12]. Каменский, разумеется высказал Суворову тотчас после сражения свое негодование и привел его, что называется, к порядку. Суворов увидел ясно, что самостоятельность действий для него закрыта, что Каменский на буксире за ним не пойдет, а если бы и удалось убедить его на дальнейшие действия по направлению к Шумле и потом за Балканы, то успеха все-таки ждать нельзя потому что руководителем дела будет не он, Суворов, а Каменский. Последнее соображение совершенно в духе Суворова; окончательную выработку оно получило позже, но существовало в довольно ясных очертаниях и об эту пору. Таким образом, оппозиция Суворова в военном совете представлялась бесцельною и ненужною; она могла только увеличить его обособленность, умножить число его недоброжелателен и завистников, повести к новым столкновениям с Каменским и т. п. Подобные соображения прямо вытекают из положения вещей; ими только и может быть объяснено согласие Суворова с военным советом на счет приостановки действий. Такое объяснение, по крайней мере, не противоречит его духу и понятиям; оставляя же факт советского постановления без всяких комментарий, мы пришли бы к выводу по-видимому самому простому, но в сущности наиболее далекому от истины.

После Козлуджи, Суворов оставался при действующих войсках недолго, всего несколько дней, и потом уехал в Букарест. Некоторые биографы сомневаются в его болезни, называют его здоровье превосходным и причину отъезда ищут исключительно в разногласиях с Каменским. Мы видели, как он страдал лихорадкой в минувшем году; тоже самое повторилось и теперь: он временами не мог ездить верхом и с трудом держался на ногах. Мало того, лихорадка возвращалась к нему и после, в продолжение многих лет. Слова нет, находись он в обстоятельствах благоприятных для исполнения своих военных планов, едва ли болезнь заставила бы его покинуть театр войны; но утверждать, что он уехал здоровый, все-таки нельзя. Главнокомандующий принял его сурово и потребовал объяснения — как он решился оставить свой пост почти в виду неприятеля. Что отвечал Суворов — неизвестно. Нелады его с Каменским побудили Румянцева дать ему другое назначение, а именно под начальство графа Салтыкова, «во избежание излишнего в переездах труда». Однако в тот же день, 30 июня, Румянцев сообщил Салтыкову, что Суворову дозволено, по его прошению; уехать для лечения в Россию. Суворов впрочем не уехал и оставался в Молдавии до вызова его для действий против

Пугачева.

Сражение при Козлуджи в конец сломило нравственные силы Турок и отняло у визиря всякую надежду на успешный исход войны. Лучшие турецкие крепости были блокированы, сообщения между ними и внутреннею страною прерваны; Шумле грозил штурм; небольшой русский отряд проник за Балканы. Завязались мирные переговоры; Румянцев повел их с большим искусством, и так как положение Турции было безнадежное, то 10 июля 1774 года заключен в Кучук-Кайнарджи мир. Русские добились независимости Крыма, уступки Кинбурна. Азова, Керчи и Еникале, свободного плавания но Черному морю; Турки обязались заплатить 4 1/2 миллиона рублей. Тяжелы были мирные условия для Турции, но могли быть еще тяжелее, если бы сама Россия не нуждалась в мире.

Так кончилась эта знаменитая война, названная современниками Румянцевскою. Она тянулась долго, но тому были многие причины: политические усложнения, оттягивавшие наши силы от Турции, и происходившая от того несоразмерность между боевыми средствами и задачею; затруднения в продовольствии войск за Дунаем; временами излишняя осторожность главнокомандующего и некоторых подчиненных ему генералов, исполнявших на половину или вовсе не исполнявших его распоряжений. Войска были в огромном некомплекте, укомплектовывались медленно, несвоевременно и не вполне; нуждались в необходимейших предметах снаряжения, которые почти постоянно запаздывали; движения войск затруднялись многочисленными обозами, составлявшими для армии истинную обузу. Русские таскали за собой рогатки, которыми привыкли в прежнее время огораживаться для ослабления бешеных атак Турок, значит заранее обрекали себя на пассивный образ действий. Румянцев отменил рогатки, и хотя сами войска их терпеть не могли, но сила привычки все-таки взяла свое, и рогатки совсем исчезли из русской армии лишь в следующую Турецкую войну. Русские так же, как и западные европейцы, действовали против Турок в огромных каре; Румянцев уменьшил их величину и тем сделал армию поворотливее и подвижнее.

Суворов в некоторых отношениях пошел еще дальше Румянцева. Будучи тут новичком, чужим человеком, особенно в начале, и притом человеком маленьким, он, не претендуя на роль реформатора, старался однако сколько возможно, ставить подчиненные ему войска на свою Суворовскую ногу, применяя к ним, когда дозволяло время, основные положения своего «суздальского учреждения». Перед лицом неприятеля мы видим

его таким самым здесь, каков он был в Польше, и по принципам, и по приложению принципов. Он употребляет в бою колонны с дистанциями, чтобы за головною частью всегда находился резерв; резерв у него везде играет весьма важную роль; временами видим употребление стрелков, в виде особых небольших отделений, которым указываются и места при колоннах линейной (по выражению Суворова «ломовой») пехоты. Каре он принял сразу, как лучший способ построения против Турок, но размеры Румянцевских кареев уменьшил, строя их из двух батальонов, из одного батальона и даже из рот. Многое из тактических приемов Суворова в первую Турецкую войну сделалось потом правилом для всей Европы, хотя заимствовано не у него, а у Французов, выработавших свою собственную тактику во время войн революции. Вообще военные теории Суворова и Французов революционной эпохи были однородны в своем основании, что и будет объяснено в своем месте; тактическим же формам Суворов придавал временной смысл. Его тактика в Турции, как перед тем в Польше, была *тактикою обстоятельств*, и благодаря такому прикладному её характеру, уже в то время буквоеды военного дела стали говорить, что Суворов тактики не знает, что ему служит одно счастье. А он посмеивался, поджидая событий.

Глава VII. В Заволжье, на Кубани и в Крыму; 1774—1779.

Пугачовский бунт. — Назначение Суворова; его полномочия; опасный путь до Саратова; погоня по Заволжью; выдача Пугачова; препровождение его Суворовым в Симбирск. — Миротворная деятельность Суворова но усмирению мятежа; переписка его с Потемкиным. — Беспокойства на юге; назначение туда Суворова; отъезд в Полтаву; личное оскорбление, нанесенное ему Нащокиным. — Назначение на Кубань и затем в Крым; неудовольствия с князем Прозоровским; административные, санитарные и военно-педагогические распоряжения; недопущение высадки Турок и восстания Татар; переселение христиан из Крыма. — Беспорядки на Кубани; строгие меры Суворова против русских властей и миротворные инструкции. — Закрепление Кучук-Кайнарджиского трактата; выезд Суворова из Крыма.

В то время, как война с польскими конфедератами едва окончилась, а с Турцией еще продолжалась, на восточной окраине Европейской России встала смута и выросла в грозный мятеж.

На Яике давно было неспокойно. С одной стороны историческая привычка казаков жить в буйной, своенравной вольности, с другой — притеснения и произвол назначаемых правительством атамана и старшин, питали внутреннее недовольство и тревогу. В начале 1772 года натянутость положения дошла до крайности, вспыхнул открытый мятеж. Мятеж усмирили, но корень его остался; ожесточение и жажда

мести под внешним гнетом только крепли и приобретали упругость. Новый взрыв страстей обещал сделаться страшным.

В это время появился на Яике донской служилый казак Емельян Пугачев, назвавшись мнимоумершим Императором Петром III. К нему стали приставать злоумышленники, а следом за ними повалили темные люди низших сословий, которым жилось далеко не льготно, Пугачев же обещал разные блага и между ними вольность. Первую вооруженную попытку Пугачев сделал на Яицкий городок, но удачи не имел; неудачи повторялись и впоследствии, однако они имели значение частное, а в общем дело ширилось и росло. Пугачев брал один за другим жалкие укрепленные пункты азиатского рубежа, большею частью с помощью измены; казнил смертью начальников и вообще дворян; присоединял к своим шайкам казаков и нижних чипов. Киргизы, Калмыки, Татары, Башкиры помогали ему либо прямо, либо косвенно. Все страсти были пущены в ход: крепостных Пугачев заманивал обещанием воли, казаков — удовлетворением их жалоб и неудовольствий, раскольников — уничтожением нововведений, кочевников и всех вообще — грабежом чужого добра. Ужас и смятение забирались все дальше; восточные губернии чуть не до самой Москвы представляли собою почву над вулканом. Дворяне и люди имущие тщетно ждали помощи: войска были стянуты к дальним европейским границам, в волновавшемся крае находились лишь разбросанные, редкие команды, начальники отличались робостью или нерешительностью, в ряды войск забралась измена.

Екатерина вверила главное управление операциями противу мятежников генералу Бибикову, которого способности и распорядительность, при твердом, самостоятельном, но уживчивом и прямодушном характере, были испытаны незадолго перед тем в Польше. В конце 1773 года Бибиков прибыл в Казань и умелою рукою взялся за дело; успех стал покидать Пугачева. После нескольких побед кн. Голицына, Мансурова, Михельсона, Пугачев очутился в положении почти безнадежном, но неожиданная кончина Бибикова в апреле 1774 года снова поправила его дела. Он даже усилился противу прежнего, расширил район своих действий и влияния, добрался до Казани и хотя не взял крепости, но разграбил и сжег город.

Разбитый здесь полковником Михельсоном, который по недостатку и крайнему изнурению кавалерии не мог преследовать мятежников так деятельно, как хотел, Пугачев переправился на правую сторону Волги и взбунтовал все приволжье. Господские крестьяне и иноверцы возмутились; полилась кровь воевод, дворян, священников. Дух мятежа, как

зараза, переносился от одной деревни к другой; целые области подымались от появления нескольких агентов Пугачева. Прошло немало времени, пока правительство убедилось в необходимости снабдить широкими полномочиями новое лицо для скорых и энергических мер противу мятежа, и в июле это поручение возложено было на графа П. И. Панина, Заключенный перед тем мир с Турками дозволил усилить и действовавшие противу Пугачева войска, а также послать на театр мятежа Суворова.

Назначение туда Суворова было предположено еще в марте; выбор пал именно на него, надо полагать, не только вследствие приобретенной им противу Турок репутации энергии, быстроты и распорядительности, но и по указанию Бибикова. На это документальных доказательств нет, но стоит только припомнить службу Суворова в Польше и добрые его там отношения к Бибикову, чтобы допустить сильную вероятность такого предположения. Но Румянцев не счел возможным откомандировать Суворова тогда же, ибо последний находился на посту против неприятеля, и внезапный его отъезд в Заволжье дал бы Туркам повод предполагать, что наша внутренняя смута весьма для нас опасна. С мнением Румянцева нельзя было не согласиться; последствия показали, что Суворов был действительно нужен на Дунае, ибо благодаря ему одержана победа при Козлуджи. Но последствия удостоверяют также и в том, что Суворов был весьма нужен и в Заволжье, так как главным образом вследствие недостатка предводителя способного и энергичного, тамошние дела затянулись и даже приняли дурной оборот.

Когда был заключен с Турками мир, Суворову нечего было уже делать в армии. В это же время Панин, назначенный для операций против Пугачева, просил назначить ему в помощь генерала, который бы мог его заменить в случае болезни или смерти. В самый день получения Государыней известия о переходе Пугачева на правый берег Волги, послано Румянцеву приказание — как можно скорее отправить Суворова в Москву. Суворов, находившийся в Молдавии, тотчас же поскакал на почтовых, повидался в Москве с женою и отцом, по оставленному Паниным приказанию сел на перекладную и в одном кафтане, без багажа, помчался в село Ухолово, между Шацком и иереяславлем Рязанским.

Панин знал Суворова и ценил по достоинству, а в начале августа получил письмо от брата, графа Никиты Ивановича, тогдашнего канцлера, который писал ему, что по словам прибывшего из армии князя Н. В. Репнина, Суворов для употребления против Пугачева несравненно больше всех годен.

Значит, на выборе Суворова сошлись с разных сторон несколько мнений [1].

Он приехал в Ухолово 24 августа, как раз в то время, когда о его назначении Панин получил извещение. Панин снабдил его широкими полномочиями и отдал приказ военным и гражданским властям — исполнять все его, Суворова, приказания и распоряжения. Получив инструкции, Суворов в тот же день отправился в путь, по направлению на Арзамас и Пензу к Саратову, с небольшим конвоем в 50 человек. Панин донес Императрице о быстрой исполнительности своего нового подчиненного, обещавшей в тогдашних обстоятельствах много хорошего впереди и потому достойной внимания. В сентябре, 2 числа, Екатерина удостоила Суворова рескриптам: «вы приехали 24 августа к гр. Панину так налегке, что кроме вашего усердия к службе, иного экипажа при себе не имели, и тот же час отправились-таки на поражение врага». Поблагодарив его за такое рвение и быстроту, Государыня пожаловала ему 2000 червонцев на обзаведение экипажем [2].

Край, лежавший на пути Суворова, носил на себе свежие, недавние следы пребывания пугачевцев, особенно за Пензой. Везде шатались их шайки, предаваясь всяким неистовствам; встречались также партии, с целью обороны или погони за бунтовщиками сформированные помещиками; всюду валялись искалеченные трупы, дымились пожарища. Суворов быстро подвигался вперед, не подвергаясь нигде нападениям пугачевцев, которые благоразумно сторонились; за то и он сам их не трогал, не вдаваясь в рискованные дела со своим ничтожным отрядом и не отвлекаясь от главной цели — погони за самим Пугачевым. Суворову приводилось даже иногда принимать на себя имя Пугачева, когда обстоятельства того требовали, в чем он сам и сознается [3]; с другой стороны не терял он случая миротворить где можно, действуя на заблуждающихся обещанием царского милосердия. Прибегал он и к крайним мерам вразумления непокорных, преимущественно коноводов и подстрекателей, наказывая их кнутом и плетьми, но никого не казнил смертью. Вообще этот опасный поход требовал от Суворова большой энергии вместе с осторожностью, находчивостью и присутствием духа, и только благодаря этим качествам удался.

Добравшись до Саратова, Суворов узнал, что неутомимый и храбрый Михельсон, который как тень следовал всюду за Пугачевым и неоднократно его разбивал, снова нанес ему тяжелое поражение. Усилив тут свой отряд, Суворов поспешил к Царицыну, но множество лошадей было забрано Пугачевым, в них оказался недостаток, и Суворов принужден был продолжать путь

водою. Разбитый Михельсоном, Пугачев ускользнул; переправившись кое-как за Волгу с небольшим числом оставшихся ему верными, он скрылся в обширной степи.

Михельсон сокрушил на этот раз силу Пугачева окончательно и вырвал у Суворова славу победы... Горько было славолюбивому Суворову получить это известие, но досада не заглушила в нем чувства справедливости. Замечая едко, что большая часть наших начальников отдыхала на красносплетенных реляциях, Суворов прибавляет, что если бы все они были таковы, как Михельсон, то пугачевский мятеж давно бы рассыпался как метеор [8].

Поспешное прибытие Суворова в Царицын обратило на себя внимание Государыни, которая и объявила свое удовольствие графу Панину [1]. Но Суворов все-таки в сущности опоздал; Пугачев успел уйти от него вперед на четверо суток и теперь мудрено было за ним угнаться. Однако Суворова не остановило это соображение; он назначил в свой отряд 2 эскадрона кавалерии, 2 сотни казаков, пользуясь добытыми лошадьми Михельсона посадил на-конь 300 пехотинцев, захватил 2 легкие пушки и, употребив на все это в Царицыне не больше суток, переправился через Волгу. Вероятно для разведок о мятежниках он двинулся сначала вверх по реке, подошел к одному большому селу, которое держалось пугачевской стороны, забрал тут 50 волов и затем видя, что кругом тихо, повернул в степь.

Эта обширная степь, протянувшаяся на несколько сотен верст, безлюдная, безлесная, бесприютная, представляла собою мертвую пустыню, где грозила гибель и без неприятельского оружия. Хлеба у Суворова было очень мало; он приказал убить, посолить и засушить на огне часть забранного рогатого скота и ломти этого мяса употреблять людям вместо хлеба, как то делал в последнюю кампанию Семилетней войны. Обеспеченный таким образом на некоторое время, отряд Суворова углубился в степь. Днем держали путь по солнцу, ночью но звездам; дорог не было, шли по следам; двигались так быстро, как было только возможно, не обращая внимания ни на какие атмосферические перемены, ибо укрыться от них было все равно негде. В разных местах Суворов нагнал и присоединил к себе несколько отрядов, вышедших раньше него из Царицына; 12 сентября пришел он к реке Малому Узеню, разделил здесь свой отряд на четыре части и пошел к Большому Узеню по разным направлениям. Скоро наткнулись на пугачевский след; узнали, что Пугачев был тут утром, что люди его, видя за собой неотступную погоню, потеряли веру в успех своего дела, взбунтовались, связали Пугачева и повезли в Яицк, дабы выдачею предводителя спасти собственную голову. И действительно Пугачев был арестован, как

после оказалось, именно в это время, в каких-нибудь 50 верстах от Суворова.

Опять так горячо желаемая честь — захватить Пугачева — ускользала от Суворова. Спустя много лет он не мог хладнокровно вспомнить про это обстоятельство и писал: «чего же ради они его прежде не связали? По что не отдали мне? Потому что я был им неприятель, и весь разумный свет скажет, что в Уральске Уральцы имели больше приятелей, как и на форпостах оного» [3]. Это правда, что у мятежников были в Яицке и других тамошних местах приятели, но подобное косвенное обвинение отнюдь не могло относиться к яицкому коменданту полковнику Симонову, который во все время мятежа честно и энергически исполнял свой долг.

Собрав свои партии, Суворов по следам беглецов направился к Яицку, доводя скорость марша до предела последней возможности. Надежда все еще не оставляла его. Однако путь лежал длинный и не обошлось без новых препятствий. Так, во время ночного марша, передовые наткнулись на Киргизов или Калмыков, с которыми и произошел небольшой бой, с убитыми и ранеными в результате. После того, для ускорения марша, Суворов отобрал из отряда доброконных людей и с ними отправился вперед. Но и это не помогло; когда он прибыл 16 числа в Яицк, Пугачев был уже выдан Симонову.

Как ни быстро совершил Суворов свой поход (в 9 суток сделано 600 верст), но он наверно не стал бы отдыхать и мешкать в Яицке, если бы мог выступить в обратный путь тотчас же; это оказалось однако невозможным и потребовалось больше двух дней на приготовления. Сколотили нечто подобное большой клетке на 4 колесах; сформировали и снарядили конвой из 3 рот пехоты ни 200 казаков, при двух пушках; собрали небольшой гурт порционного скота, так как Симонов не мог уделить провианта больше, как на двое суток.

Когда все было готово, Суворов тронулся в путь и все время лично наблюдал за сохранностью Пугачева. Шли опять степью и опять не без происшествий. Кочевники постоянно тревожили отряд своими нападениями и одного из состоявших при Суворове убили, а другого ранили. На дневке, в деревне на р. Иргизе, произошел пожар поблизости пугачевского помещения, наделавший много переполоху и беспокойства, Езда в клетке очень не нравилась Пугачеву, и чтобы заставить его быть спокойнее, принуждены были и его, и его 12-летнего сына посадить каждого в особую крестьянскую телегу и привязать к ней веревками, а для лучшего присмотра за ними ночью зажигали факелы. Таким образом прибыли 1 октября в Симбирск, и

Суворов сдал Пугачева Панину.

Октября 3 Панин доносил Государыне, что «неутомимость и труды Суворова выше сил человеческих. По степи с худейшею пищею рядовых солдат, в погоду ненастнейшую, без дров и без зимнего платья, с командами майорскими, а не генеральскими, гонялся до последней крайности [2]». Вслед затем Панин уволил Суворова по его просьбе на короткое время в Москву, для свидания с женой. Вполне оценяя энергическую службу Суворова, Екатерина писала Панину: «отпуск его к Москве, на короткое время, к магниту, его притягающему, я почитаю малою отрадою после толиких трудов» [1]. Строго говоря, Суворов почти ничего не сделал; Пугачев попал бы в руки властей и без его участия; своим энергическим преследованием Суворов только ускорил развязку на несколько дней. Сама Екатерина как-то сказала, что Пугачев своею поимкою обязан Суворову столько же, сколько её комнатной собачке, Томасу. Но к подробному анализу толпа не прибегает; имя Суворова все-таки было связано с поимкой страшного злодея и в результате поднялось еще на одну ступень известности. Он уже начал возбуждать зависть; приведенные шутливые слова Екатерины служат тому удостоверением, ибо они вызваны беспокойными толками завистников, которых надо было успокоить.

Пугачев был казнен в Москве в начале 1775 года, но пугачевщина еще не кончилась. Весь обширный восточный край Европейской России был расшатан безначалием и разорен до такой степени, что ему грозил голод и мор. У Башкир стояла смута; шайки грабителей и злодеев бродили еще в разных местах. Надо было залечить свежие раны, привести общественный и административный механизм в нормальное состояние. Труд предстоял медленный и долгий, но начать его надлежало неотлагательно. Государыня не хотела исключительных, крайних мер; строгость требовалась лишь рядом с милосердием. Начало этого дела возложено было на Суворова; ему подчинили все войска в Оренбурге, Пензе, Казани и других местах, почти до самой Москвы, в общем итоге до 80000. В короткое время он усмирил башкирские смуты и уничтожил обломки пугачевских шаек. К силе он прибегал не как к первому, а как к последнему средству и старался действовать прежде всего кротостью и убеждением. В этом отношений он поступал не только по инструкции, но и по внутреннему своему внушению и потому мог через 12 лет с понятным самодовольствием написать, что его «политическими распоряжениями и военными маневрами буйства Башкиров и иных без кровопролития сокращены, но паче императорским милосердием» [8].

В таких трудах прошла вся зима, кроме короткого времени (до половины ноября), употребленного Суворовым на побывку в Москве, как ему было разрешено. Весною 1775 года он объехал важнейшие пункты расположения своих войск; был в Самаре, в Оренбурге, в Уфе; осмотрел что следует, выбрал места для лагерей. Летом происходило в Москве торжественное празднование мира после счастливого окончания войн Польской и Турецкой и усмирения внутренних смут. Екатерина с обычною щедростью расточала вокруг милости и награды, и Суворову пожаловала золотую шпагу, украшенную бриллиантами. В это время Суворов завязал переписку с Потемкиным, не с прежним, а с всесильным Потемкиным, который стал быстро подниматься на недосягаемую для других высоту. Первое из писем Суворова этого периода относится впрочем к минувшему году, когда он приехал в Москву на короткое время, в октябре месяце. Тут он рассыпается в комплиментах, выражает надежду на протекцию «благотворителя» и т. п. Из дальнейшей переписки видно, что Суворов продолжал жить в Симбирске, откуда 18 августа 1775 года он просит увольнения в Москву по случаю кончины отца, о чем обращался еще раньше по команде к Панину, но ответа не получил [4]. Добыв чрез Потемкина дозволение, он поехал в Москву, представился Государыне и был назначен для начальствования Петербургскою дивизией. Подобное назначение было ему не по вкусу, так как после смерти отца необходимо было заняться домашними делами, а для этого требовалось присутствие в Москве и в деревнях. Он просил дозволения временно тут остаться и, по всей вероятности, пользовался им в течение года, до назначения в Крым; в Петербург же для командования тамошней дивизией вовсе не ездил.

Между тем на юге появились признаки беспокойств, прямое последствие Кучук-Кайнарджиского мира.

Присоединение Крыма к России, при вызванном Петром Великим естественном росте Русского государства, представлялось для проницательного политического ума событием неизбежным; вопрос заключался только во времени. Без этого присоединения и вообще без обладания черноморским прибрежьем, Россия оставалась бы государством, географически не законченным. Мысль о необходимости Крыма для России впервые высказана все тем же Петром; в ней конечно ничего реального в то время не было, и приближенным Петра она показалась мечтательной. Однако эта химера должна была осуществиться; полу столетие, протекшее после Петра, служило ей некоторой подготовкой, а Кучук-Кайнарджиский мир — первым, решительным шагом к осуществлению. Этот шаг

заключался в признании Турцией независимости Татар и в отдаче России ключей от Крыма в виде Керчи, Еникале и Кинбурна, чрез что она приобрела возможность сильного на крымские дела влияния и почти неустранимого в них вмешательства. Между таким положением вещей и присоединением страны, расстояние было невелико; при счастии можно было его пройти и без войны. Так и поступило Русское правительство, вручив непосредственное направление дела Румянцеву, тогдашнему малороссийскому генерал-губернатору и главнокомандующему войсками на юге России. Правительство не обманулось: Румянцев обнаружил тут настойчивость и искусство по крайней мере такие же, какими прославил себя на войне.

С 1771 года Крымским ханом был Сагиб-гирей, неосмысленный приверженец европейских обычаев. Русский резидент в Крыму охарактеризовал его немногими словами: «самое настоящее дерево». Своею неумелостью, бестактностью и отсутствием сколько-нибудь зрелой мысли, он поселил в Татарах глубокую к себе нелюбовь, которая в начале 1775 года разразилась катастрофой: мурзы низложили Сагиба и избрали Девлет-гирея. Пошли смуты партий. Румянцев, как только занял уступленные нам города, вызвал на Кубань из Абхазии брата свергнутого Сагиба, Шагин-гирея, калгу, т.е. первого сановника ханства. Это и был будущий претендент, представитель русской партии, глава предполагаемого правительства, послушного и покорного России. Надо было навязать его ногайским ордам, кочевавшим в при кубанском крае, и этим путем провести в Крымские ханы. Пришлось прибегнуть к разным средствам, между которыми главным были конечно деньги; не обошлось и без угроз: дело давалось с трудом и не сразу.

В Крыму готовились к войне. Порта исподтишка подстрекала; турецкие войска, оставшиеся на полуострове после войны в числе 10000, не уходили; трапезонтский паша снаряжал десант; к Дунаю, в Акерман, Хотин и Бендеры подходили подкрепления. Татары в Крыму волновались от нетерпения, перерезали даже наших казаков, везших почту, но Девлет-гирей все не решался, отговариваясь неготовностью и разными предлогами. Время проходило не без пользы для России: мурзы стали терять доверие к Девлету и многие из них перешли на сторону Шагин-гирея. В сентябре 1776 года одни из них ждали нового хана с Кубани, другие продолжали вооружаться против России.

Чтобы Турки не предупредили нас в Крыму, пришлось двинуть туда войска. В экспедицию назначены два корпуса; князя Прозоровского около 20000 человек и графа де Бальмена в 5000. Войска двинулись 1 ноября 1776 года, заняли Перекоп,

протянулись дальше, вошли в сношение с Крымским правительством и с местною аристократиею, всячески обходя Девлет-гирея и показывая ему полное пренебрежение. Число приверженцев Шагин-гирея умножалось; на Кубани его избрали в ханы и делались приготовления к переезду его в Крым.

Около этого времени прибыл в Крым Суворов. Командуя полками в Коломне и находясь в Москве, он в конце ноября 1776 года получил от князя Потемкина приказание ехать в Крым, к тамошним войскам. Суворов тотчас выехал, о чем и донес Потемкину 26 числа, а 19 декабря уже писал ему из Крыма, поздравлял с наступающим новым годом, благодарил за письмо [4]. В Крыму Суворов поступил под начальство князя Прозоровского, получив в командование пехоту, а 17 января 1777 года принял от заболевшего Прозоровского временное командование всем отрядом.

Татары, приверженцы Девлет-гирея, не осмеливались начать решительную, настоящую войну, а ограничивались нападениями на русские разъезды и слабые части. Прозоровский предписал Суворову отражать силу силою; между тем воля Императрицы состояла в том, чтобы от формальной войны уклоняться всеми способами. Суворов одними маневрами рассеял собравшиеся около Карасу-Базара Девлетовы скопища, В половине марта въехал в Крым Шагин-гирей, был принят русскими войсками с подобающею церемониею и тотчас же избран мурзами в ханы; Девлет-гирей бежал.

Первый акт драмы был сыгран, притом так, что Порта почти не имела возможности уличить Русских в явном содействии Шагин-гирею. Но граф Румянцев из предосторожности предписал князю Прозоровскому принять меры на случай высадки Турок, и то же самое велел сделать в кубанском краю и на европейской границе с Турцией. Прозоровскому надлежало не только отражать Турок, но и наблюдать за жителями полуострова, а потому он по необходимости раздробил свои войска и на каждый корпус возложил особую задачу. Суворов с отрядом из двух пехотных полков и нескольких эскадронов кавалерии стоял лагерем на р. Салгире, близ Акмечети. Он должен был наблюдать горы к стороне Бахчисарая и верхнюю часть Салгира, занять важнейшие горные проходы и учредить пост на морском берегу в Алуште.

Все это было однако лишь приготовлением к действию, а самое действие представлялось маловероятным. Суворов скучал, хворал лихорадкой и вдвойне тяготился своим положением, так как при безделье принужден был жить врозь с женой. А Варвара Ивановна, вместе с маленькою дочерью (родившеюся 1 августа 1775 года), проживала не очень далеко, в Полтаве, куда вероятно

Суворов завез ее, едучи в Крым. Сначала он попытался переменить службу, написал Потемкину письмо и просил дать ему какой-нибудь корпус, «каковыми я до сих пор начальствовал без порицания; единственно к высокой особе вашей прибежище приемлю». Но ответа или не последовало. или получен отрицательный. Тогда Суворов отпросился у Прозоровского в отпуск, в Полтаву, по домашним делам, и уехал туда в июне. Из Полтавы он продолжал писать Потемкину, рекомендовал ему своего племянника, благодарил за оказанные этому племяннику милости; про себя говорил, что «томится без исправления должности в исходящей лихорадке». Когда прошел срок отпуска, Суворов все-таки в Крым не поехал, а донес Прозоровскому, что по болезни не может возвратиться и для перемены воздуха переедет из Полтавы в Опошню. Так он прожил там до самой зимы [4].

Нельзя здесь обойти молчанием одного происшествия, случившегося с Суворовым незадолго перед тем. В 1777 году, 3 апреля, последовало от графа Румянцева письмо к генералу Воину Васильевичу Нащокину, в котором читаем: «получа два почтеннейшие ваши письма, весьма я сожалею о неприятном приключении, в доме вашем случившемся, не менее и о происшествии с генерал-поручиком Суворовым. Судя строгость дисциплины, видится нарушена тем субординация, и инако не можно было сего окончить, как следствием, к разбору которого назначен уже от меня генерал-поручик князь Прозоровский» [5]. Что именно случилось и когда?

Из некоторых печатных источников [6] видно, что когда-то произошла ссора между Суворовым и Нащокиным; что последний нанес первому личное оскорбление действием; что с той поры Суворов, увидя Нащокина, убегал от него, говоря: «боюсь, боюсь, он сердитый, дерется» [7]. Из-за чего произошла ссора и в чем состояли подробности этого происшествия, — остается неразъясненным, ибо кроме вышеприведенного письма Румянцева, никаких других документов не найдено. Из письма этого однако явствует, что какой-то случай, вероятно этот самый, произошел в описываемую пору и, полагать надо, именно в декабре 1776 года в Полтаве, так как позже Суворов находился на службе в Крыму, Нащокин же в крымском корпусе не служил. Для освещения предмета не лишнее заметить, что хотя странности Суворова не дошли еще тогда до полного развития, но все таки он был уже чудаком, так сказать вполне сформированным. С другой стороны и Нащокин принадлежал к числу самых выдающихся эксцентриков своего времени, вообще богатого людьми со всякого рода причудами; кроме того он отличался необыкновенною

вспыльчивостью и горячностью. Если верить одному свидетельству, то когда Император Павел звал на службу Нащокина, находившегося тогда в отставке, то получил отрицательный ответ, выраженный таким образом: «вы, Государь, горячи, да и я тоже».

Пока Суворов проживал в Полтаве и Опошне, состояние дел в Крыму обострилось. Шагин-гирей оказался реформатором почти в том же роде, каким был Сагиб-гирей. Сверх того, пользуясь присутствием русских войск, он поступал круто и в высшей степени неблагоразумно, отличался особенной надменностью со своими приближенными и казалось все делал, чтобы раздражить подданных и взволновать край. Сам того не подозревая, он играл в пользу затаенных планов Русского правительства, облегчая переход крымских Татар в русское подданство. Наконец, в начале октября, вспыхнул открытый бунт против хана, и так как Прозоровский упустил первые моменты, не прибегнув к решительным мерам, то мятеж стал быстро развиваться. Произошло кровопролитное сражение между взбунтовавшимися Татарами и русскими войсками; мы потеряли до 450 человек убитыми и ранеными, Татары до 2000. Но эта победа не прекратила ни мятежа, ни военных действий.

Румянцев, деятельно переписываясь с Прозоровским, заметил, что князь нигде в своих донесениях не упоминает имени Суворова и потребовал объяснения. Прозоровский донес в начале ноября, что Суворов в отпуску, по болезни не возвратился и где находится ныне, неизвестно. Строгий Румянцев изъявил Прозоровскому свое неудовольствие, запретил увольнение в отпуски из заграничных войск, а Суворову послал предписание — немедленно явиться на службу к своему месту, заметив при этом, что ему, Суворову, должно быть известно об открывшихся военных действиях. Ноября 21 Суворов послал Румянцеву рапорт и письмо. В рапорте говорилось коротко: «ордер вашего сиятельства, пущенный от 14 ноября, мною получен»; ничего больше. Письмо, немногим длиннее, объясняло, что болезнь препятствует ему, Суворову, исполнить приказание немедленно, но чрез некоторое время, когда в состоянии будет ехать, он отправится к своему месту, только не на почтовых. Суворову видимо не хотелось ехать в Крым, под начальство Прозоровского; он 20 ноября снова написал Потемкину, ввернув фразу: «благополучие мое зависит от одной власти высокой особы вашей светлости; не оставьте покровительствовать». Потемкин исполнил на этот раз его просьбу, и Румянцев получил приказание о назначении Суворова для командования кубанским корпусом. Поблагодарив Потемкина за покровительство и пообещав ему

«полную точность в исполнении повелений, невозвратную преданность и правость души», Суворов не мог однако, вследствие болезни, выехать тотчас же и прибыл на Кубань лишь в половине января [4].

Приехав в копыльское укрепление, главный пост на Кубани, Суворов прежде всего позаботился о независимости своего положения, потому что хотя командующий войсками в Крыму и не имел возможности вмешиваться в распоряжения начальника на Кубани, но все-таки кубанский район считался в его ведении. Недавно последовало предписание князя Прозоровского предшественнику Суворова на Кубани, где говорилось, что он, Прозоровский, не знает той страны и потому не может давать подробных наставлений для расположения войск. Основываясь на этом документе, Суворов пишет Румянцеву 18 января, что ему необходимо иметь разрешение, «независимое от стороннего распоряжения, ибо излишняя переписка подвергает иногда нужные предприятия медленности», тем более, что князь Прозоровский сам сознается в незнакомстве с краем. Затем он отправляется лично осматривать линию постов по берегу моря до Кубани и по Кубани до Копыла, изучая вместе с тем страну. Результатом объезда было самостоятельное топографическое описание края и любопытные этнографические сведения, с цифрами и определительными данными, в которых не забыты даже Некрасовцы, хотя их считалось не более 600-800 человек, способных к войне. Он обратил также внимание на здоровье войск и на состояние госпиталей. Смертность была большая; для уменьшения её Суворов прибегнул к средству широкого расположения скученных дотоле войск и к эвакуации госпиталей. В одном из позднейших (1792) писем своих он говорит об этом так: «копыльский на Кубани перевел я, оздоровивши госпиталь по разводу бывших в куче войск вдоль реки Александровской, за который до меня начальствующему от главнокомандующего было жестокое взыскание по крайней смертельности, опорожнился приходом, так и другие». Чтобы избавить, конницу от беспрестанных изнурительных разъездов по берегу Кубани, он приказал выжечь приречные камыши, чтобы горцы не могли скрытно прокрадываться; летучие кавалерийские отряды расположил по укреплениям и учредил между укреплениями наблюдательные посты [8].

С конца января Суворов приступил к постройке новых укреплений, несмотря на сильную стужу и набеги хищников, предположив несколько сократить протяжение всего кордона и довести его до соединения с моздокскою линией. Везде он был сам, всюду указывал и наблюдал. В апреле он проехал в Азов и

дорогой назначил места для редутов на линиях сообщении, приказав тотчас же начинать работу. По его расчету, вся система укрепленных пунктов долженствовала быть окончена в мае месяце; не дожидаясь срока, он потребовал артиллерию для вооружения шанцев и несколько полков на подмогу. Подкрепление было действительно нужно в виду тройной цели, которую приходилось ему преследовать: положить преграду набегам хищников из-за Кубани, водворить спокойствие и оседлость между ногайскими Татарами и быть в состоянии отражать турецкие десанты. Под начальством Суворова находилось всего около 12000 человек, большею частию кавалерии; просил он еще 2-3 полка пехоты и один конницы, так что в итоге было все-таки мало; но у него цифра никогда не играла главной роли. Во-первых, он с замечательным искусством проектировал распределение войск по линии, не впав в обыкновенную при подобных условиях ошибку — излишнее раздробление сил. В крепости он назначил по две роты пехоты, в фельдшанцы по одной и меньше, до двух капральств; остальное предназначалось в резерв, крупными частями, в важнейших местах. Во-вторых, несмотря на работы по постройке укреплений, войска были упражняемы в строевых ученьях и маневрах, применительно к условиям и характеру местной войны. В донесении Румянцеву он прямо говорит, что количественный недостаток будет пополнен качественным достоинством: «не оставлю неизнурительного выэкзерцирования при наступлении лучшей погоды, дабы способностию сею увеличить число их». В-третьих, он внушал своим подчиненным необходимость постоянной бдительности на линии, т.е. напирал на меры предупредительные.

Действуя таким образом на войска, он старался влиять и на население: ласкал начальников и властных людей в ногайских ордах, шутил с ними, дарил их вещами и деньгами, обещал многое в будущем, служил за них ходатаем пред Румянцевым. Меньше 100 дней пробыл Суворов в этом краю, т.е. такой срок, который обыкновенно нужен, чтобы только осмотреться, а между тем край был уже изучен, неприятель исследован, построено больше 30 укреплений, изменен порядок службы на кордоне. Набеги из-за Кубани прекратились; Татары, охраняемые от волнений закубанских эмиссаров и от набегов хищников, успокоились, принялись за мирные занятия и, главное, стали убеждаться в том, что Русские действительно имеют ввиду добрую для них цель. Умный, проницательный Румянцев не мог не оценить плодотворной деятельности Суворова на Кубани и отзывался о нем с удовольствием и похвалою.

Он не мог в той же мере быть довольным князем Прозоровским. Несмотря на одержанную в октябре 1777 года победу, восстание распространялось; многие русские продовольственные магазины были захвачены; сообщения Прозоровского с отрядами, крепостями и границею отрезаны. Положение Русских сделалось критическим, и некоторые отдельные посты были брошены с занимавшими их отрядами на произвол судьбы. Правда, это продолжалось недолго, и в декабре восточная часть Крыма была уже очищена от мятежников, но зато явился новый претендент на ханство, Селим-гирей; Турция послала в Черное море, для поддержки возмутившихся Татар, 8 военных кораблей; один из отрядных начальников, генерал-майор Райзер, делая одни грубые ошибки, в заключение куда-то пропал со всем своим отрядом. В конце концов мятеж однако же все-таки был усмирен, и Селим-гирей бежал. Затем в апреле Прозоровский получил двухгодовой отпуск для излечения болезни, и на его место Румянцев назначил Суворова.

Взаимные отношения Прозоровского и Суворова нельзя сказать чтобы были хороши. Суворов, как мы видели, тяготился своим подчиненным положением и старался из него выйти, а Прозоровский делая вид, будто ему все равно, в сущности оскорблялся тенденциями Суворова и выставлял их на вид. Так, в марте 1778 года он пишет Румянцеву, что Суворов никогда и ни о чем не извещает его с Кубани; я-де доволен, потому что до Кубани далеко и той стороны я не знаю; но это затрудняет общую связь действий по указаниям вашего сиятельства, «Не в жалобу, а единственно из усердия к службе прошу повеления, чтобы генерал-поручик Суворов, если не захочет рапортовать (чего и не требую), то записки об обращениях и намерениях своих посылал бы» [9].

Когда Прозоровский был уволен в отпуск, но еще не уехал, Суворов сдал свой пост, приехал в Бахчисарай и там остановился, ничего не сообщая Прозоровскому о своем прибытии. Чрез несколько дней Прозоровский однако узнал об этом; имея отпуск в кармане (может быть даже вынужденный) и не желая тратить по пустому время, он известил Суворова, что приедет к нему сам для объяснений по сдаче корпуса. Суворов сообщил чрез нарочного на словах, что по болезни никого принять не в состоянии. Тогда Прозоровский чрез того же посланного просит известить о часе, в который он может приехать на следующий день, но ответа и на завтра не получил. Из лагеря своего он послал в Бахчисарай адъютанта; адъютант вернулся и доложил, что Суворова нет дома, что он ужинает у резидента, а на другой день собирается ехать к хану. Теперь Прозоровский не мог уже не догадаться, что Суворов

решительно не желает свидания с ним, поэтому послал к нему генерала Леонтьева для сообщения нужных сведений, а сам отправился в путь из Крыма. Впрочем, о последней выходке Суворова он не преминул донести главнокомандующему.

Суворов в настоящем случае нарушил основные военные приличия и даже простую европейскую вежливость, обязательную во взаимных отношениях образованных людей. Причины тому те же, с которыми мы познакомились раньше, только с новыми оттенками. Прозоровский, хотя не лишенный некоторого военного дарования, мог быть однако соперником Суворову только «по отвесу списочного старшинства», но в глазах Суворова этот «отвес» имел значение важного греха. Прозоровский был строгий блюститель всякого воинского порядка, даже наружного, благоговел пред Фридрихом Великим и любил кстати и не кстати толковать о тактике. В этих его качествах было уже немало такого, что так сказать претило Суворову. Кроме того при своей мелочности и придирчивости, Прозоровский не отличался личною самостоятельностью. Когда 12 лет спустя его назначили главнокомандующим в Москву, то Потемкин написал Екатерине, что она выдвинула из арсенала старую пушку, которая несомненно будет стрелять в назначенную ей цель, ибо своей не имеет, но зато может запятнать Государыню кровью в потомстве [10]. Следовательно, по свойствам своим Прозоровский был антиподом Суворова. В добавок ко всему, он производил следствие по происшествию, в котором Суворов играл видную роль (о чем только что было сказано), и хотя результат неизвестен, но уже этого факта достаточно для натянутых отношений между людьми самолюбивыми. А так как ладить с Суворовым было делом для всякого трудным, то в общем итоге и получился известный результат.

Вступив в командование, Суворов прежде всего взялся за больных и за госпитали. Больных в госпиталях оказалось около 1200 человек. Он приказал эвакуировать таврические госпитали, а от находившихся вне полуострова отказался вовсе, представя об этом Румянцеву. Возложив попечение о больных на полковых командиров, как на прямых ответчиков, Суворов принялся собственно за военную часть. он разделил полуостров на округа, для удобнейшего наблюдения за Турками; указал, какие укрепления усилить и какие вновь возвести; протянул по морскому берегу линию постов; завел сигналы между сухопутными войсками и флотилией; приказал обучить людей распознаванию своих судов и турецких. Чтобы устранить всякую возможность недоумений и недоразумений, он издал 16 мая подробную инструкцию, которая вменяла в обязанность войскам

соблюдать согласие с обывателями; последним указан порядок принесения жалоб; начальникам рекомендована неусыпная бдительность, взаимная связь и подкрепление, употребление оружия лишь в крайности, а с покоряющимися полное человеколюбие. В тот же день, 16 мая, Суворов отдал приказ по войскам крымского и кубанского корпусов о порядке службы вообще. Этот достойный внимания документ заключает в себе обстоятельные и подробные наставления почти по всем отделам службы. Быт войск, их хозяйство, сбережение здоровья, обучение, движения, действия — ничто не упущено. Ввиду важного исторического значения этого документа, он помещается здесь целиком (см. Приложение I) [3].

Порта решила тем временем послать в Черное море три эскадры, двинула к границе сухопутные войска и стала строить через Дунай мост у Исакчи. Румянцев усилил энергию переговоров и уполномочил нашего посланника в Константинополе подать ультиматум. Он мог поступить таким образом потому, что все путанное дело охраны Татарской независимости велось с нашей стороны гладко, с устранением предлогов к протестам, а со стороны Турции было много неловкостей и промахов. В то же время Румянцев предписал Суворову — не допускать Турок высадиться в Крыму.

Задача была довольно трудная, потому что мы находились с Турцией в мире и действовать следовало мирными же средствами, а к оружию прибегнуть лишь в последней крайности. Румянцев немного сомневался в способности Суворова к такому способу действий, ибо писал к Потемкину: «как господин Суворов не говорлив и не податлив, то не поссорились бы они, а после бы и не подрались» [5]. Однако предположения его не оправдались. Суворов вступил в переговоры. Турки говорили, что Русские не имеют права занимать Крым, независимость которого признана недавним миром, и флот их не должен плавать по Черному морю, принадлежащему Турции. Суворов объяснял, что русские войска находятся в Крыму по приглашению Татарского правительства, а флотилия плавает для охранения Крыма. Вместе с тем он выражал свое удивление на счет нахождения турецкого флота у берегов независимого полуострова, которому никто другой не угрожает и правительство которого к турецкой помощи вовсе не прибегает. В заключение Суворов объявил, что насильственное вступление Турок на берег будет принято за разрыв, и Русские прибегут тогда к оружию для защиты вольности и независимости Крымского ханства.

Июня 7 произошел случай, который мог привести именно к этой нежелаемой развязке. В ахтиарской (севастопольской) бухте

стояло несколько турецких судов, с которых часть людей высадились ночью на берег и убили казака. Эти суда находились тут уже довольно давно, и миссия их заключалась в попытке поднять Татар против хана и Русских. Суворов, стоявший лагерем вблизи Бахчисарая, пригласил хана и вместе с ним объехал верхом часть берега, в виду Турок. Он выбрал и наметил тут места для укреплений, а в ночь на 15 июня 6 батальонов русской пехоты с конницею и артиллериею расположились по обе стороны ахтиарской бухты и тотчас же приступили к возведению насыпей. Утром работу прекратили. От Турок последовал в приличной форме запрос; Суворов в дружественном ответе указал на убитого казака. Следующею ночью работа по возведению укреплений продолжалась, в третью также. Укрепления вырастали, так что могли запереть турецким кораблям отступление. Турки признали свое положение в бухте опасным; 17 июля, несмотря на противный ветер, они выбрались из бухты на буксире гребных судов и бросили якорь в море, в получасе от берега [11].

В начале сентября Турки появились в огромных силах: около 170 судов оцепили часть Крымского полуострова, беспрестанно крейсеровали у берегов и массами скоплялись вблизи наших укреплений. Суворов усилил цепь пикетов по морскому берегу и ввел в Крым через Перекоп резервный корпус; отряды стали маневрировать по берегу соответственно с демонстративными движениями турецких судов. Турки просили дозволения сойти на берег для прогулки; им было отказано ласково и дружески, но твердо, под предлогом карантинных правил, так как корабли прибыли из мест, зараженных чумою. Турки просили позволения налиться пресною водою и запастись дровами; но и эта просьба отклонена в вежливой форме, под двойным предлогом чумы и засухи, вследствие которой мы сами в воде нуждаемся. После этих неудачных попыток, турецкий флот отплыл к Константинополю и оставил Суворова в покое.

Таким образом исполнена была воля Румянцева, который, по поводу довольно многочисленных случаев обращения мусульман в христианство, писал Потемкину в шутливом тоне: «Татары и Турки в немалом количестве прибегают к источнику вечной жизни, и я желаю, чтобы равноапостольный Суворов их жажду утолил, а Гассан-бея к пресной воде не пускал» [5].

Кроме всего сказанного, на долю Суворова досталось еще одно очень трудное дело — исполнение операции по выселению христиан из Крыма, Обладание Крымом в эту пору еще далеко не представлялось за Россией обеспеченным. Надо было и сделать новые ходы, чтобы приблизиться к цели, и извлечь из Крыма что можно на случай неудачи. То и другое достигалось переселением

из Крыма находившихся там христиан, преимущественно греческой и армянской национальностей. В их руках находились промышленность, садоводство и земледелие горной полосы, что составляло знатную долю доходных статей хана. А хан был человек ненадежный по своему замечательному непостоянству; обеспеченный в своих средствах, он мог изменить интересам России. Следовало поставить его в положение заискивающего и получающего милости. С другой стороны — представлялась выгода заселения приазовского края многочисленною колониею трудолюбивых, промышленных людей. Выгода достигалась во всяком случае, а в пользу исполнимости переселения говорило то обстоятельство, что крымские христиане были обременены до последней степени ханскими поборами, следовательно предоставление им на новом месте облегчения от налогов должно было их склонит в пользу задуманной Русским правительством меры. Таким образом дело это было решено, и исполнение его возложено на Суворова.

Суворов вошел в сношение с греческим митрополитом; тот признал переселение возможным на известных условиях; требовалось переселенцам пособие в переезде и перевозке имущества и на новых местах разные льготы. Суворов представил Румянцеву свои подробные соображения по всей операции; между прочим нужны были 6,000 воловьих подвод, покупка у переселяемых неудобоперевозимой части их имущества, постройка для них домов на новых местах, защита христиан от ханского гнева, продовольствие их в пути на счет казны и многое другое. За словом скоро последовало и дело: в июле началось переселение.

Хан пришел в состояние, близкое к бешенству: подкапывался авторитет его власти, обнаруживалось полное её бессилие, отбирался от него важный источник дохода, Тщетно удостоверяли его, что он ничего не потеряет, что Русское правительство назначит ему равносильное вознаграждение. Факт был действительно очень резок; хан прервал сношения с Суворовым и резидентом, грубо отказывал последнему в аудиенции, выехал из Бахчисарая в лагерь. С советниками своими он решил — ходатайствовать в Петербурге об отмене переселения, а Суворова просить об отсрочке исполнения на 25 дней. Суворов отказал, так как многие христиане уже изготовились к выезду. Татары пытались сделать возмущение, отговаривали христиан от переселения, прибегали к побоям. Суворов принял свои меры, держал войска наготове, не допускал Татар до скопищ. У выходящих христиан он приказал снимать хлеб под квитанции; заготовил путевое довольствие; под переселенцев употребил в

начале казенные обозы и офицерские повозки, в ожидании 6000 подвод от азовского губернатора. Видя, что ничего не помогает, хан отказался от управления делами, сеял между Татарами раздражение против Русских, распускал слухи, будто наши войска готовятся к избиению магометан и наконец вошел с Суворовым в переписку, полную колкостей, доходивших даже до оскорблений. Суворов не стерпел и дал Шагин-гирею отпор, но в форме приличной и нисколько не враждебной. Волей-неволей хан должен был подчиниться. Мы видели в одной из предшествовавших глав, как тяжела была Суворову обуза — вести дипломатические переговоры, изощряясь в софизмах и диалектических ухищрениях; выставлять лисий хвост, не показывая волчьих зубов. В Крыму тяжесть непривычной работы усугублялась еще тем, что приходилось иметь дело с правительством и народом не цивилизованным, а приемов надо было держаться европейских. До какой степени удручала Суворова эта задача, свидетельствует современная его переписка с Потемкиным и его секретарем. Следует заметить, что он был подчинен Румянцеву, а не Потемкину, значит писать к Потемкину ему не подобало. Но желание поддерживать связь с таким могущественным лицом, как Потемкин, перемогло, тем паче, что он опасался не угодить Румянцеву и считал нужным заранее себя выгородить. В июне и июле он пишет самому Потемкину об операции переселения, советует ею поторопиться и непременно кого следует вознаградить [4]. Затем 4, 5 и 6 августа он бомбардирует письмами Потемкинского секретаря П. П. Турчанинова, с которым находился в добрых отношениях. Суворов говорит, что боится Румянцева за операцию с христианами; опасается, как бы тот не обнес его в Петербурге, хотя дело идет своим чередом, несмотря на споры, на затруднения с подводами, на недостаток денег, на то, что все его сотрудники переболели горячкой и он сам, Суворов, ныне ею захворал. Настаивая, чтобы христиан непременно вознаградить как следует, по справедливости, он говорит, что и влиятельных Татар надо дарить; «Казы-гирей ласкается; детина добрый, весельчак, никогда денег ни полушки; просил В долг 500 рублей, я обчелся, прислал 600, был очень рад... Деньги, деньги, деньги; сочтетесь после, убыток будет не велик; ой, голубчик, тяжко, денег нет; рад бы все мои деревни заложить, — некому» [12]. Несколько дней спустя Суворов опять пишет Турчанинову: «худо с большими людьми вишеньки есть; бомбардирование началось (вероятно замечания на операцию со стороны Румянцева), и с получения — я, жена, дочь в один день в публичной горячке» [3].

По мере развития переселенской операции, затруднения не

уменьшались. В августе Суворов пишет Потемкину, что Румянцев недоволен им, Суворовым, за то, что духовные манифесты по переселению христиан обнародованы без присутствия магометан в мечетях; что одно время христиане отказались было переселяться, ибо таможенные откупщики перещупывают все перевозимое имущество, даже до икон; но откупщикам заплачено 5000 руб., дабы не щупали; что вообще всяческие угрозы множатся на подобие лая пса. В сентябре разыгрываются Турчанинову вариации на ту же тему; Суворов говорит, что находится в когтях ханского мщения; что в начале операции, по подговору Татар, с полдюжины христиан протестовали против переселения, и теперь, при конце дела, повторилось тоже самое со стороны полудюжины других семей. Румянцев недоволен, разжигаемый ханом, чрез последнего передает строгое запрещение насильственного вывода христиан, когда ни один казак с плетью ни за кем не гонялся. «Строгость сия постигла меня уже по выводе (почти всех) христиан; ну, а если В прежде, — сгиб бы Суворов за неуспех... От фельдмаршала глотаю я что дальне, то больше купоросные пилюли». Ко всем этим неприятностям присоединились и семейные: «я болен и жена 8-й месяц в постели; снова напала на нее жестокая горячешная лихорадка. Из двух зол принужден я избрать легчайшее; на сих первых днях едет она к Полтаве. Дочь же почти еще в горшей опасности. Если Бог даст благополучно, надо бы мне к жениным родинам (в ноябре) на краткий час приехать к ней». Да и миновала уже в Крыму пора кипучей деятельности; Суворов начал ощущать предвкусие будущего бездействия. «Дела мне здесь скоро не будет и нет; вывихрите (вырвите) меня в иной климат, дайте работу; или будет скучно, или будет тошно... К половине января дайте работу... свеженькую» [12].

Самолюбивая, впечатлительная натура Суворова ставила начальству всякое лыко в строку, оттого ему казались такими горькими «купоросные пилюли» Румянцева. Дело вершилось сложное, шероховатостей и зацепок миновать было невозможно. Конечно, насилием называется не один только тот вид, когда за человеком гоняется казак с нагайкой; но ведь самое переселение было в основании своем насильственное, и без сомнения для переселяемых христиан имело значение большой «купоросной пилюли». Имеющую такой основный смысл операцию невозможно замаскировать подробностями исполнения, обманчивыми до обольщения друзей и недругов. Суворов был почти прав, выставляя отсутствие казаков с нагайками за аргумент в свое оправдание, тем паче, что он действительно поступал сдержано, политично и человеколюбиво. Румянцеву же, из его

малороссийской деревни, откуда он направлял дело, не трудно было впасть в неумеренные требования. Впрочем легко быть может, что Суворов, вследствие своей мнительности увеличивал, сам того не подозревая, степень горечи Румянцевских пилюль.

Во второй половине сентября переселение окончилось. Выселено свыше 31000 душ; Греки большею частью поселены между реками Бердой и Калмиусом, по р. Соленой и по азов — «кому прибрежью; Армяне близ Ростова и вообще на Дону. Румянцев доносил Императрице, что «вывод христиан может почесться завоеванием знатной провинции». На перевозку и продовольствие истрачено всего 130000 рублей. Собственно продовольствие обошлось очень дешево, так как Суворов скупил у тех же христиан 50000 четвертей хлеба, который поступая на месте в магазины, обошелся вдвое дешевле поставляемого из России, отчего и составилось слишком 100000 рублей экономии. Распоряжения Суворова отличались замечательным благоразумием и расчетливостью; он так сказать вложил свою душу в это дело. Спустя больше полугода, когда дело было уже почти сдано в архив, Суворов все еще чувствовал на себе как бы гнет нравственной обязанности по отношению к переселенцам и писал к Потемкину: «крымские переселенцы претерпевают в нынешнем их положении многие недостатки; воззрите на них милостивым оком, так много пожертвовавших престолу; усладите их горькое воспоминание» [4].

Волнения в Крыму улеглись, но наступило тревожное время на Кубани. Еще в апреле, через несколько дней по отъезде Суворова в Крым, горцы сделали вторжение. Суворов приписал этот случай послаблению службы на линии и счел нужным назначить туда нового начальника, генерал-майора Райзера. Бог знает, почему он выбрал человека, который уже успел заявить в Крыму свою неспособность; может быть из недоверия к оценке князя Прозоровского. Райзер прибыл на место и в самом скором времени напортил. Вопреки данной ему программы, которою всякое наступательное с нашей стороны действие за Кубань было запрещено, как по тогдашним обстоятельствам бесполезное, Райзер снарядил экспедицию, сжег одно селение и избил всех его жителей. Через месяц один из его подчиненных сделал новый поиск за Кубань. Вслед затем Райзер самым опрометчивым образом оскорбил одного из ногайских султанов, которому в виде удовлетворения Суворов принужден был подарить 3000 рублей.

Беспричинные поиски за Кубань озлобили горцев. Партия их, человек в 300, никем не замеченная, перешла обмелевшую Кубань в брод и нанесла жестокое поражение гарнизону одного из укреплений, несмотря на геройское поведение войск. Суворов

приказал Райзеру исследовать происшествие и виновных предать суду, так как причина несчастия заключалась в неисполнении данных инструкций. Это было в конце сентября, а через месяц большая партия горцев прокралась к другому укреплению, захватила часть гарнизона, высланную за водою и, никем не преследуемая, увела с собою пленников. Суворов велел и это дело исследовать, отдав виновных под суд, а Райзеру объявил выговор.

Прошел 1778 год. Суворов не успел побывать в Полтаве, как рассчитывал, и должен был отсрочить свидание с женою до января. Тотчас после нового года он поехал в отпуск и нашел свое семейство в Полтаве в самом жалком положении. Разрешение Варвары Ивановны от бремени совершилось не благополучно, и она была сильно больна. Устроив кое-как домашние дела и получив надежду на поправление здоровья жены, он, едва пробыв в Полтаве десяток дней, отправился опять на службу, так как отпуск ему был дан короткий, на совесть, без срока, притом связанный с экстренным поручением. Поехал он в Астрахань, оттуда чрез Кизляр и Моздок по астраханской и моздокской линиям на кубанскую, затем на бердянскую и чрез Арбат возвратился в Крым в конце февраля 1779 года. Он осмотрел все внимательно, виделся и беседовал со многими ногайскими султанами, вникал в наши к ним отношения и в положение дел. Райзера он окончательно признал начальником неспособным, который не умеет себя вести и отличается крайнею бездеятельностью, по выражению Суворова «оспалостью», т.е. сонным состоянием. Донося Румянцеву 23 февраля о результате сделанного объезда, он успокаивает его насчет тишины в тех странах, но требует смены Райзера и в заключение просит позволения побывать около Святой в Полтаве, на короткое время, а если при этом потребуется сделать служебный объезд, то не такой бы длинный, как нынешний [14].

Затем Суворов послал Райзеру довольно суровый упрек и наставление; ставил ему в вишу, что он прибегал к военным мерам, когда достаточны были мирные; что поступал круто, когда нужна была ласка; спрашивал — почему не заведена с заречными меновая торговля; если потому, что они не доверяют Русским, то можно базары устроить на их стороне, насыпав там шанец и наведя мост. «Благомудрое великодушие иногда более полезно, нежели стремглавный военный меч... Одна такая коммуникация повлечет за собою другую, третью...» Однако Райзер оказался неисправимым. В апреле горцы снова захватили казачий разъезд. Виновных приказано отдать под суд, Райзеру выговор и смена, остальным повторение и подтверждение прежних инструкций.

Холодные отношения между Шагин-гиреем с одной стороны и

Суворовым и резидентом с другой — продолжались. Румянцев старался поправить дело, считая Шагина самым удобным для России ханом, но Суворов смотрел на него, как на жалкое создание, которое ничем не проймешь, кроме денег. с деньгам и пришлось прибегнуть, чтобы вознаградить за выселение христиан, за таможенные убытки, за послушание и наконец за полное подчинение ханской политики русским интересам. Екатерина приказала подарить хану сервиз, разные другие вещи и деньгами 50,000 рублей, а братьям хана, беям, мурзам и вообще влиятельным лицам другие 50,000. Результат получился желаемый и злоба утихла,

Между тем пора воинственных замыслов Турции и боевых приготовлений сменилась направлением противоположным. В турецком министерстве произошла перемена в смысле усиления партии мира и привела к давно желаемому Россиею результату: 10 марта 1779 года Порта подписала конвенцию с утверждением Кучук-Кайнарджиского трактата и признала Шагин-гирея Крымским ханом. Военные приготовления в Крыму и на Кубани прекратились, и Суворов получил приказание оставить в Крыму 6,000 человек, под видом гарнизонов для Еникале и Керчи, а остальные войска Крыма и Кубани выводить. Как только приготовления к походу сделались общеизвестными, со стороны Шагин-гирея посыпались на Суворова различные просьбы. Хан просил, ввиду возможности мятежа, оставить на первое, время батальон, две роты и эскадрон. Последовал отказ. Хан просил не срывать укреплений, оставив их для его войск. Суворов согласился сохранить и передать немногие, так как- 215 остальные скорее будут хану опасны, чем полезны в его положении, среди вероломного народа. Хан надеялся, что ему будут переданы чугунные пушки, но и в этом разочаровался. Хан просил оставить в Крыму разных мастеровых, сведущих по различным частям людей и оркестр музыки; просьба эта была удовлетворена отчасти.

Войска двинулись и вышли из Крыма в отличном состоянии; они не оставили там ни одного больного и не взяли ни одной обывательской подводы [15]. Сам Суворов остался в Крыму, несмотря на то, что ему не удалось навестить в Полтаве свою семью о Святой. Он принялся разбирать претензии ханских таможенных откупщиков на беспошлинный ввоз товаров для русского крымского корпуса, навел справки в таможнях за три года, на этих данных основал свой расчет и нашел, что претензии откупщиков в основании справедливы, но вдвое преувеличены. Окончить все дела и выехать в Полтаву ему удалось лишь в конце июля. Перед выездом он просил Румянцева прекратить военный

суд над двумя командирами, по происшедшим на Кубани несчастным случаям, и представил отчет в виде планов о произведенных им в том году маневрах во время двухнедельной лагерной стоянки войск. В этом отчете нет ничего существенно нового: дух, жизненная сила неизменно прежние и выражаются между прочим в полном отсутствии отступательных движений и пассивной обороны.

Сношения с Потемкиным продолжались. Потемкин был нужен Суворову всегда, а тем более теперь, когда грозило бездействие, прозябание в тени. В марте Суворов изысканно благодарит Потемкина за пожалованную Императрицею табакерку с портретом, осыпанным бриллиантами: «милости ваши превосходят всячески мои силы, позвольте посвятить остатки моей жизни к прославлению толь беспредельных благодеяний». В мае посылает трех татарских девочек, одну с братом равного возраста, и изъявляет удовольствие, что мог выполнить желание. В мае же, по случаю мирного исхода дел, считая за лучший для себя жребий состоять под начальством Потемкина, просит его об этом, а в июле, из Полтавы, благодарит за исполнение просьбы [4].

Суворов держался русской пословицы — рыба ищет где глубже, а человек где лучше; но над ним не раз сбывалась другая, французская: «лучшее» оказывалось врагом «хорошего». А время текло своим чередом и вместо удовлетворения приносило зачастую разочарование.

Глава VIII. В Астрахани, на Кубани и в Кременчуге; 1780 — 1787.

Угодничество Суворова перед Потемкиным; назначение в Астрахань; бездействие и скука; влияние мелочной среды; до—носы и пасквили; первые неудовольствия на Потемкина; перевод в Казанскую дивизию, а оттуда на Кубань. — Приведение Ногайцев к присяге; наружный успех; переселение их на Урал; бунт и бегство за Кубань. — Жизнь на линии: отношения к Ногайцам; Муса-бей. — Перевод Суворова во Владимирскую дивизию и потом в Кременчуг; производство в генерал-аншефы. — Характеристика Потемкина. — Путешествие Екатерины по России; появление Суворова в свите Государыни; странности его; смотр в Кременчуге; маневры под Полтавой

Получив в командование Малороссийскую дивизию, Суворов продолжал жить в Полтаве, вместе со своим семейством. Будучи по-видимому доволен своим настоящим положением, он не заявлял Потемкину ни претензий, ни желаний, и хотя поддерживал по-прежнему с ним переписку, но предметом её было преимущественно рекомендование вниманию всесильного князя разных лиц за их службу в Крыму. Тут высказывался начальник, который воздает достойному достойное, Если в письмах к Потемкину о самом себе, Суворов обыкновенно прибегал к изысканным выражениям, дутым комплиментам и льстивому тону, то те же самые средства он употреблял и на пользу своих подчиненных. Так, в одном из подобных писем читаем: «вашей светлости дело — сооружать людям благодействие, возводить и восставлять нища и убога и

соделывать благополучие ищущему вашей милости, в чем опыты великих щедрот, сияющих повсеместно к неувядаемой славе, истину сию доказывают».

Зимою, в ноябре или декабре, Суворова потребовали в Петербург. Государыня приняла его очень благосклонно и оказала ему особенный знак внимания, пожаловав 24 декабря бриллиантовую звезду ордена св. Александра Невского со своей собственной одежды. Ему было объяснено, какое именно поручение на него возлагается, дан секретный собственноручный ордер Потемкина и инструкция. Суворов отправился через Москву и Полтаву в Астрахань, довольный и приемом и поручением, что просвечивает в следующих словах его письма: «к повеленному вашею светлостью мне предмету спеша не в возвращение, но в продолжение сих известных вам ко мне ваших высоких милостей и покровительства, на остающее течение службы и жизни моей себя поручаю с глубочайшим почитанием» [1].

Тогдашняя ост-индская война между Англичанами и Французами производила невыгодное влияние на морскую торговлю Индии. Многие крупные торговцы стали искать для своих операций сухопутного направления, чрез Персию и Каспийское море. Обстоятельство это обратило на себя внимание Русской Императрицы. Если бы первоначальную, случайную и по-видимому трудноисполнимую мысль удалось поддержать, содействуя её осуществлению всеми зависящими от России средствами, то знатная часть индийской торговли направилась бы к нашим границам. Но для этого требовалось прежде всего устранить препятствия, заключавшиеся в тогдашнем состоянии прикаспийского края. Лишь небольшая часть каспийского прибрежья принадлежала России; юг находился во владении Персии, терзаемой смутами и междуусобиями. Приходилось прибегнуть отчасти к мыслям и предположениям Петра Великого, распространить наши пределы на счет Персии, завладеть на юге надежным пунктом для склада товаров и проч. Только исполнение такого подготовительного плана расчищало путь к конечной цели направлению ост-индской торговли по внутреннему водному пути к Петербургу.

Для разъяснения обстоятельств дела и исполнения вступительной части проекта, если это окажется возможным, и был послан Суворов. В ордере Потемкина от 11 января 1780 года прямо сказано, что «усердная служба, искусство военное и успехи, всегда приобретаемые», побудили назначить именно Суворова. Целью действий выставлено обеспечение коммерции безопасным пристанищем; поводом и средством — усмирение оружием прибрежных ханов персидских, вследствие часто повторяемых

ими дерзостей. приказано между прочим осмотреть флотилию и осведомиться о дорогах [2].

По обыкновению Суворов принялся за дело вплотную и в конце февраля уже просил Потемкина о переводе в военную службу одного из знатоков азиатских языков и местных обстоятельств. Скоро однако же оказалось, что в данном ему поручении не было ничего живого: проект отвлечения ост-индской торговли на новый путь не прививался под влиянием колеблющихся обстоятельств, а потом и совсем был брошен, так как английские дела в Индии приняли лучший оборот и Англичанам удалось обеспечить за бенгальскою торговлею прежний её путь. Суворову приходилось заниматься переливанием из пустого в порожнее, т.е. находиться в положении, тягостнее безделья. «Свеженькая работа», о которой он мечтал в Крыму, оказалась гораздо скучнее и унылее прежней, и Крым представлялся блестящей ареной сравнительно с Астраханью.

Так прошло два года. За неимением серьезного дела, нашлись в пустой, бессодержательной жизни захолустья интересы мелкие; появились на Суворова пасквили и доносы, конечно вздорные, похожие скорее на простую сплетню. Они имеют однако свою особенность: по людям заурядным, но искусившимся, скользят почти бесследно, а человека из ряда вон, но не обстрелянного, жалят чувствительно. Суворов принадлежал к последним; булавочные уколы его раздражали, развивали мелкие инстинкты, и болото засасывало. Праздность и скука делали свое дело.

По словам Суворова, на него под именем Фехт-Али-хана сложили пасквиль трое: сибиряк, армянин и татарин, которых он и называет «триумвиратом». Сплетня касается преимущественно предшествовавшего его пребывания в Крыму. Посылая пасквиль Потемкину, Суворов объясняет некоторые его места так: «Будто бы я хвастал, что тот я герой, что идет завоевать Персию». — Я только хвастаю, что близко 40 лет служу непорочно. — «Повещал хана (с корыстною целью) о контрибуциях». — Просил у вашей светлости денег, счелся с моими доходами, ныне они мне не падобны, ни детям моим. — «Требовал у хана, стыдно сказать, красавиц». — Кроме брачного я не разумею, чего ради посему столько много вступаюся за мою честь. — «Персидских аргамаков». — Я езжу на подъемных. — «Лучших уборов». — Ящика для них нет. — «Драгоценностей». — У меня множество бриллиантов из высочайших в свете ручек. — «Индийских тканей». — Я право не знал, есть ли там они. — В настроении глубоко оскорбленного, Суворов просит наказания клеветников и заключает свое послание торжественным обращением к

правосудию и добродетелям князя, как будто дело идет о предмете Бог знает какой важности. Не довольствуясь этим, он трогательно пишет немного спустя к Потемкинскому секретарю Турчанинову, прося ответа; «почтенный друг, уделите у себя времени пол-четверти часа, переселитесь мысленно на мое удаление; все лестные мне метеоры исчезнут, одно уныние есть питанием моей души. Скончался здесь философ Н. С. Долгорукий; лишен я в нем того, кто наилучшее утешение мне в моей грусти подавал» [3].

Неизвестно, были ли ответы и в чем они состояли. Вероятно, Турчанинов постарался убедить Суворова, что он обращает внимание на пустяки; только едва ли убедил. Спустя несколько месяцев, один из петербургских знакомцев и доверенных лиц Суворова извещает его «с вернейшею оказией», что один из дербентских армян подал Государыне жалобу на одного из упомянутых триумвиров и обещает подробно о последующем известить. До такой степени Суворов был чувствителен к вздорным и пошлым сплетням [2].

К концу 1781 года он стал еще впечатлительнее. В ноябре пишет он записку в роде письма, неизвестно к кому, вероятно к Турчанинову, хотя обращается вообще к «друзьям» своим. По его словам, Войнович (начальник флотилии] хвастает, что у него 40000 человек и что он отопрет опочивальню царь-девицы, а Пиерри (командир Астраханского полка), смекающий, что своя рубашка ближе к телу, ждет от Войновича на свою долю Японского ханства. У губернатора (генерал-поручика Якоби) Пиерри директор театра, ученый шут и инструмент; атаковали они вдвоем Суворова аргументами из алгебры, что всякий прапорщик его умнее; Суворов пропел ученому (Пиерри) стихи из декалога, которые у неученого (Якоби) застряли в носу. Был где-то обед в Михайлов день (Суворов обедал всегда рано); лишь в 4 часа пополудни загремела карета вице-ре (губернатора); Пиерри грянул ему полный поход, которым не удостоил Суворова, Гостей и Суворова так подвело от голода, что велел он велегласно раньше времени подавать на стол. Подали все застылое, переспелое, подправное; стало ему от такой еды нездоровиться, и он публично дал доктору щупать пульс, объяснив, что со времен А.П. Бестужева так поздно разве когда ужинал. Вице-ре был великодушен, его могущество обеспокоилось и рано ретировалось. К вице-ре приходится в торжественные дни ездить на поклон, по воскресеньям на куртаги; не поедешь, гнев достигнет до апартаментов Потемкина, «Варюша (Барвара Ивановна, жена Суворова) за 12 губернаторских визитов не смилостивлена ею ни одним, перестали они говорить между

собою и кланяться». Негодуя на все это и подобное, Суворов полагает, что лучше бы ему в собрания не ездить, но не считает возможным вести среди многолюдного города жизнь Тимона-мизантропа. Он признает для себя унизительными подобные отношения к губернатору: «он хозяин, т.е. эконом, но и я здесь почти два года не гость и блюдолиз, и он мне никак не господин... Астрахань в Москву или Петербург не переименована, да и там не достоин бы я был великой Монархини, если бы пренебрежение сносил». Впервые выражает дальше Суворов свое неудовольствие на Потемкина; излагает предположение, что от Потемкина все зло и исходит; называет свое пребывание в Астрахани ссылкой; говорит, что оставить службу рад бы, да грех, потому что на дело еще годен. Опасается, что его оклевещут и обнесут в Петербурге, ибо «великие приключения происходят от малых причин... Право не знаю за собой греха, достойного наказания; разве только, что мне поздно мыслить как придворным». Не довольствуясь замечаниями оборонительного свойства, он сам вдается в сплетню, рассказывает, что такой-то хочет заключить его на север, где Люцифер обладает; другой ревнует его к одной даме, которой он, Суворов, сделал комплимент в церкви; третий, герой астраханских красавиц, бросился в воду вниз головой и т. п. Мелкая среда очевидно подвела его под общий уровень, но он чувствует тягость, ненормальность своего положения и в заключение с неподдельной скорбью говорит; «Боже мой, долго ли же меня в таком тиранстве томить!» [2].

Положение Суворова действительно было довольно странное и, для такого человека как он, тягостное. Губернатор не был ему подчинен, каспийская флотилия также; надежды на экспедицию' не придвигались, а уходили. Впоследствии, в Финляндии, он правда вспоминал, что 10 лет не проводил время так весело, как в Астрахани; но таково уже розовое свойство воспоминаний, а находясь в Астрахани, он ощущал только томление и тоску. Желая вырваться оттуда, он еще в половине 1781 года просил у Потемкина дозволения приехать в Петербург. Дозволили, но на самое короткое время, так как он нужен в Астрахани. Суворов успокоился от одной мысли, что стало быть дело впереди, не поехал в Петербург и донес, что иной надобности в Петербурге не имел, как разъяснить свое положение, ибо другой год без занятий, в распоряжениях по экспедиции Войновича (изменнически захваченного в плен у персидских берегов) не участвовал и полагал, нет ли на него какого неудовольствия [4].

Дело однако не являлось, томление усиливалось и терпение Суворова наконец лопнуло: в конце 1781 года он уже прямо

просит перемещения. Считаясь по спискам в Казанской дивизии, он предвидит свою туда отправку и старается от такого назначения отделаться, приводя в резон, что в состав этой дивизии входят всего два полка. Если же это неизбежно, пишет Суворов, то нельзя ли подчинить ему и Оренбургский корпус; в таком случае он будет жить в Симбирске, подручно обеим местам. Больше всего он желал бы возвратиться в Полтаву, откуда был вызван два года назад в Астрахань. Сверстники его назначаются на генерал-губернаторские должности; большая бы милость была ему оказана подобным же назначением, если однако это не отвлечет его от военной службы. На случай неисполнения ни одного из его желаний, Суворов просит разрешения отлучиться в пензенские свои деревни или переместиться в Кизляр, откуда при надобности он может переезжать в Астрахань. Всю эту вереницу просьб он иллюстрирует описанием своего настоящего положения: «гордостью утесняем, живу в поношении» и т. под., и объясняет свою невольную навязчивость тем, что он обращался к нему, Потемкину, чрез посредство других лиц, но ему отвечали «или честным молчанием, или учтивым двоесловием» [4].

Декабря 31 последовал ордер Потемкина с указом военной коллегии. Так как обстоятельства приняли другой вид, и Суворову не нужно для порученного ему дела оставаться в Астрахани, то предписывается ему немедленно отправиться к Казанской дивизии и принять ее в свое начальствование. Таким образом ни одна из кучи его просьб не была в сущности исполнена [2].

Пребывание Суворова в Казани продолжалось всего несколько месяцев, и сведений за это время не сохранилось о нем никаких. В первой половине августа 1782 года прислан Суворову указ из военной коллегии об отправлении обоих его полков к Моздоку, а в конце того же месяца получен ордер — самому ехать немедленно к уроч. Кизикирменю, что у Днепра, и принять крымские войска от графа де Бальмена [5].

В Крыму брожение не прекращалось, поддерживаемое почти всеобщим неудовольствием, которое Порта в тайне продолжала распалять чрез своих эмиссаров, в надежде довести Татар до открытого восстания. Турки играли в руку России, ни мало того не подозревая. Метод приведения Крыма в необходимость отдаться России, проводимый пред тем Румянцевым по указаниям свыше, продолжал действовать и теперь под непосредственным руководством Потемкина. Чем крупнее возникали беспорядки, тем быстрее приближалась конечная цель.

Под влиянием турецких происков, многие из татарских

старшин отказали хану Шагин-гирею в повиновении и избрали ханом старшего его брата, Батыр-гирея. Другой его брат, Арслан-гирей, прибыл с Кубани и пристал к новому хану; Шагин бежал из Крыма под покровительство Русских. Порта стала вооружаться и принимать угрожающее положение; но это не отдалило развязки. Русские войска вступили в Крым, в Тамань и в прикубанский край; смута в Крыму была подавлена скоро, и Шагин-гирей снова водворился в Бахчисарае. Батырь и Арслан-гирей были арестованы; зачинщик и глава восстания, Махмет-гирей, по приказанию хана побит каменьями и несколько других лиц казнено. Русские войска остались в Крыму, под предлогом отражения турецких посягательств, и уже его не покидали.

Суворов, призванный на замену графа де Бальмена, получил однако по прибытии на место другое назначение. Прежде всего он повидался с Потемкиным, по его приглашению, в Херсоне, и оттуда поехал в кр. св. Димитрия, у устьев Дона, для командования кубанским корпусом; потом, весною 1783 года, по вызову Потемкина снова ездил к нему в Херсон на совещание. Сформировалось 6 корпусов на пространстве от Молдавии до Кавказа; ими командовали Репнин, Салтыков, Текелли, сам Потемкин (крымским), Суворов (кубанским) и двоюродный брат князя Потемкина, Павел Потемкин.

Под командою Суворова состояло 12 батальонов, 20 эскадронов и 6 казачьих полков. Корпус его предназначался «как для ограждения собственных границ и установления между ногайскими ордами нового подданства, так и для произведения сильного удара на них, если В противиться стали и на закубанские орды при малейшем их колебании, дабы тех и других привесть на долгое время не в состоянии присоседиться к Туркам» [6]. Суворов стал стягивать войска, чтобы сильно занять линию ейско-таманскую, особенно самый Ейск, свою главную квартиру. Когда Ейск был достаточно обеспечен, Суворов, исполняя программу, принятую при совещании с кн. Потемкиным, послал в ногайские орды приглашение на праздник но случаю своего прибытия. Собралось в степи под Ёйском до 3000 человек; Суворов, которого Ногайцы знали и помнили с 1778 года, принял их как старых знакомых, обошелся весьма дружелюбно и радушно, вел беседу, шутил и угостил на славу. На другой день гости отправились обратно восвояси, довольные и приемом, и угощением. Доволен был и Суворов, положив таким образом начало развязки.

Развязка уже разрешилась дипломатическим путем, только не осуществилась еще на деле. Вследствие деятельных переговоров с Шагин-гиреем, с его советниками, мурзами и духовенством, хан

отрекся от своих владетельных нрав, мог жить где хотел, удерживал при себе свой гарем и двор и получал денежное содержание. Екатерина издала в апреле манифест о принятии под свою державу Крымского полуострова, Тамани и всей кубанской стороны. Надлежало теперь привести Татар к присяге на подданство и сделать это подданство на сколько возможно фактическим.

С означенной целью и в виду грозившей от Турок опасности, Потемкин постоянно снабжает Суворова обстоятельными инструкциями. В мае он рекомендует выведать наклонности татарских орд, и если будет намерение сопротивляться, то жестоко наказать. Он приказывает склонить их на избрание новых мест для кочевок, именно в уральской степи, в тамбовском, саратовском или ином наместничестве, и возлагает свою надежду на способности Суворова и «на скорые и благоразумные его извороты в тесных обстоятельствах». В июне и июле Потемкин сообщает о признаках турецких на Кубани влияний; говорит, что приказал выступить с Дона 17 казачьим полкам, что пора наказать злоумышленников из ногайских орд, что ожидает обнародования на Кубани и в Тамани высочайшего манифеста; относительно же предполагаемого переселения Ногайцев подтверждает двукратно, чтобы не было и тени принуждения [5].

Насчет объявления манифеста о присоединении к России Крыма, Тамани и прикубанского края и по предмету принесения Ногайцами присяги на верность, Суворов уже сделал первый шаг на данном им празднике. Тут были многие приверженцы России, в числе их султан джамбулуцкой орды Муса-бей, приятель Суворова. Им удалось убедить многих на подданство России и на принесение присяги, но общее на то согласие не представлялось еще вполне обеспеченным и могло подлежать сомнению. Сомнение это ясно проглядывает в ордерах Потемкина, и Суворову предстояло как можно скорее разъяснить действительность, узнав кто друг и кто недруг.

Присяга назначена была на 28 июня, день восшествия Екатерины на престол. Предполагалось дать Ногайцам богатое празднество; приглашения частию были сделаны на первом празднике, частью разосланы позже. К назначенному дню степь под Ейском покрылась кибитками 6,000 кочевников. Русские войска держались наготове, но не выказывали и тени угрозы. После богослужения в православной церкви, были созваны в одно место ногайские старшины; им прочтен манифест об отречений Шагин-гирея, и в присутствии Суворова они беспрекословно принесли на коране присягу. Затем старшины разъехались по ордам и приняли такую же присягу от своих подвластных, без

всяких затруднений, спокойно а торжественно, причем многим мурзам объявлены чины штаб и обер-офицеров русской службы. Затем начался пир. Ногайцы расселись группами; вареное и жареное мясо, воловье и баранье, составляли главные блюда; пили водку, так как виноградное вино запрещено кораном. Старшины обедали вместе с Суворовым; большой кубок ходил вокруг, здравицы следовали одна за другой; при грохоте орудий, при криках «ура» и «алла», Русские перемешались с Ногайцами; не было и признаков чего-нибудь неприязненного. По окончании пира открылись скачки, казаки соперничали с Ногайцами. Вечером второе угощение, продолжавшееся далеко за ночь. Съедено 100 быков, 800 баранов, кроме разных второстепенных припасов; выпито 500 ведер водки. Ели и пили до бесчувствия; многие Ногайцы поплатились за излишество жизнью. Следующий день, 29 июня, именины наследника престола, ознаменовался новым пиром; 30 числа утром опять угощение. Гости, вполне довольные гостеприимством хозяев, простились с ними дружески и откочевали восвояси, сопровождаемые русскими офицерами. Там, в присутствии последних, состоялась присяга народа, остававшегося дома,

В конце июля последовал рескрипт Екатерины на имя Суворова; Государыня пожаловала ему недавно учрежденный орден св. Владимира первой степени.

Однако подчинение Ногайцев русской власти, достигнутое с формальной стороны, нельзя еще было принимать за действительное. В этом не обманывали себя ни Потемкин, ни Суворов. Своеволие, беспорядки и внутренние раздоры ногайских орд проявлялись так часто и так недавно (в 1781 и 1782 годах), народ этот был так восприимчив к подстрекательству извне, и земли донского войска так много страдали от Ногайцев, что надежда на внезапное перерождение ордынцев была бы чистой иллюзией. Потемкин продолжал относительно их прежнюю политику, до первой крупной с их сто-роны вины; приказывал обращаться с ними ласково; оказывать особенное уважение их религии и подвергать жестокому наказанию, «как церковных мятежников», всех тех из Русских, кто в этом отношении провинится. Он велел Суворову внушить ордам, что они избавлены от рекрутчины и что поборы с них будут уменьшены. С удовольствием видя, что благодаря стараниям Суворова, мысль о переселении в уральскую степь делает между Ногайцами большие успехи, Потемкин просил укреплять в них это намерение, но не приводить его в исполнение до особых указаний. Ослушников, уходящих за Кубань, он предписывал не трогать и переселению туда не желающих оставаться в русском подданстве, не

препятствовать [5].

Признаки непокорности и своеволия Ногайцев обнаружились скоро, даже скорее, чем можно было ожидать. Турки, избегая явно-враждебных действий, сеяли смуту исподтишка, и Шагин-гирей, каявшийся в своем отречении, подстрекал народ к восстанию. Видя это, Суворов, для сохранения в крае спокойствия, приступил к переселению покорившихся Ногайцев в уральскую степь. Случилось так, что в это самое время Потемкин прислал предписание — повременить переселением, но операция уже началась. Переселение совершалось под присмотром войск, малыми частями; сам Суворов наблюдал за ним и ехал позади всех орд. Дабы пресечь возможность покушения переселяемых на донские земли, протянута была цепь казачьих постов от Ейска до половины Дона.

Как и следовало ожидать. большинство Ногайцев было переселением недовольно; уральская незнакомая степь их страшила, а ближнюю, лакомую манычскую степь им не давали. Июля 31, отойдя от Ейска всего с сотню верст, Ногайцы внезапно напали на русскую команду и на верных России своих соплеменников. Произошел бой с большим числом убитых и раненых; ранен был и Муса-бей, стоявший за переселение. Суворов обратился с увещанием, но оно не подействовало; тогда, следуя инструкциям Потемкина, он дал им волю идти куда хотят. Десять тысяч джамбулуков повернули назад и бросились на встречный пост; пост подкрепили; произошло жестокое сражение, одолели Русские. Ногайцы пришли от неудачи в исступление, не знавшее пределов; не в состоянии будучи спасти свое имущество, они его истребляли, резали жен, бросали в р. Малую Ею младенцев. Погибло до 3000; в плен попало всего 60 стариков, женщин и детей; Русских убито и ранено до 100. Добыча победителей простиралась до 20000 голов лошадей и рогатого скота. Разбитые бежали без оглядки, и многие из них умерли потом в степи от голода, как доносил Суворов Потемкину [7].

Спустя несколько дней, Варвара Ивановна Суворова, проживавшая в Ейском укреплении, обратилась к атаману Донского войска Иловайскому с просьбою — выбрать для нее из пленных детей мальчика и девочку побольше. Нашлись и другие охотницы в такого рода добычу; одна из них поставила условием, чтобы «не так противны рожей были». Иловайский отвечал отказом, потому что дети не старше трех лет и, по приказанию Суворова, отданы на воспитание в татарскую станицу; к тому же некоторые из них умерли, другие больны, сильно претерпев в степи от жара и голода [8].

Операция переселения не удалась. Тотчас после дела на р.

Малой Ее, Суворов сообщил Иловайскому, что ногайские Татары, принявшие русское подданство, не могут в том году перекочевать в уральскую степь. Но неудача принесла не одни отрицательные результаты: поражение джамбулуков распалило злобу кочевников, и между мурзами составился заговор, душою которого был Тав-султан. Мятеж запылал почти общий; несколько русских мелких отрядов были или изрублены, или принуждены ретироваться; Тав-султан сделал отчаянное нападение на Ейскую крепость, в течение трех дней пытался овладеть ею, но не имея ни пушек, ни ружей и действуя одними стрелами, потерпел неудачу. Только из опасения ежеминутного прибытия Суворова, Ногайцы бросили Ейск и удалились за Кубань, причем лишь трое старых мурз остались верными России. в числе их Муса-бей.

Потемкин был недоволен Суворовым за начатое им переселение Ногайцев в уральскую степь, тем пуще, что на это не последовало еще высочайшего повеления. Он не преминул высказать Суворову свое неудовольствие и велел тщательно наблюдать за Шагин-гиреем, который находился в это время в Тамани, куда бежал из Крыма, Затем Потемкин приказывает Суворову отправиться в Тамань и велеть Шагин-гирею немедленно продолжать путь в русские пределы, а если не послушается, то употребить силу. Суворов должен был вручить Шагину письмо Потемкина; в письме этом, сухом и довольно грозном, Потемкин говорит, что до тех пор не даст просимого Шагином дозволения послать курьера к Императрице, пока он, Шагин, не переселится внутрь России; что сношения его с возмутителями известны; что он ничего хорошего этим не добьется и т. под. В бумаге к Суворову, упоминая с сильным неудовольствием про набеги мятежных Ногайцев, Потемкин предписывает ему раз на всегда пресечь такую дерзость сильным поражением — и истреблением мятежников; желающих же переселяться за Кубань не насиловать ни коим образом. Он говорит резко, что его предписания не соблюдены с должною точностью, и что «тамошние народы, видя поступки с ними, не соответствующие торжественным обнадеживаниям, потеряли всю к нашей стороне доверенность».

За невозможностью вникнуть в мелкие подробности дела, трудно решить, кто тут прав и кто виноват. Если взять в соображение, что Суворов никогда не годился в слепые исполнители чужой воли и во всякое дело вносил свои собственные воззрения, то пожалуй Потемкин имел причины быть им недовольным. Если же принять в расчет, что Суворов близко знал прикубанский край и его жителей, имел с ними не раз дело и всегда хорошо ладил; что наконец он сам постоянно держался

человеколюбивых способов действия и внушал тоже самое своим подчиненным, то едва ли в этом отношении он мог перед Потемкиным провиниться. Потемкин был руководителем дела издали. Суворов же орудовал им непосредственно; поэтому не все, считаемое Потемкиным в распоряжениях Суворова ошибочным, было действительно ошибкой. Не поторопись Суворов переселением Ногайцев, выжди он приказания Потемкина, — произошли бы те же самые беспорядки, если не хуже; ручательством в том все положение тогдашних обстоятельств. Переселение было в самом своем основании насилием; замаскировать это основание до полного сокрытия истины и желать, чтобы все устроилось и уладилось гладко, исполнилось якобы по доброй воле переселяемых, значило желать невозможного. Подобное самообольщение есть удел высших руководителей, хотя виноватыми в разочаровании остаются обыкновенно исполнители. При всем том нельзя не согласиться, что некоторые замечания Потемкина Суворову справедливы; например, что ногайское возмущение застало силы кубанского корпуса слишком раздробленными; впрочем крупных дурных последствий от этого не произошло никаких.

Поводы к неудовольствию Потемкина продолжались. Шагин-гирей не показывал готовности исполнить его волю; приходилось прибегнуть к насилию, т.е. арестовать его. Суворов. находясь уже на марше в закубанскую экспедицию, не мог сам этого исполнить, а приказал таманскому начальнику, генерал-майору Елагину. Курьер, посланный с приказом. проезжал ночью через Копыл, где должен был получить конвой, но остался там до утра, потому что комендант тал и не приказал себя будить ни для какого дела. Утром курьер получил конвой, но слабый, всего из 30 казаков; на него напала шайка Абазинцев в сотню человек и принудила вернуться: новая потеря времени. После того отправился целый казачий полк, но было уже поздно. Какой-то доброжелатель предупредил Шагин-гнрея о готовившемся ему сюрпризе в ночь, перед приездом курьера; Шагин со своею свитой вскочил на лошадей и поскакал к Кубани. Тут он нашел готовые лодки, не прибранные потому, что Елагин не знал ничего, что уже было известно Шагину. Вслед затем прибыл к Елагину курьер; прочитав ордер, Елагин бросился с казаками вдогонку за беглецом, но тот уже успел переправиться на другой берег и поскакал к закубанским горцам.

Суворову снова досталось. Потемкин писал ему: «я смотрю на сие с прискорбием, как и на другие странные в вашем краю происшествия, и рекомендую наблюдать, дабы повеления, к единственному вашему сведению и исполнению преподанные, не

были известны многим». За Шагином приказано следить внимательно. 0 копыльском коменданте Потемкин месяцем раньше писал, что нимало не удивляется небрежению службы в копыльском отряде, ибо от тамошнего начальника ничего больше и ожидать нельзя. «Вы сами его к себе просили», прибавляет укорительно Потемкин [5].

Как принимал все эти замечания Суворов — мы не знаем; никакой частной его переписки за это время не сохранилось; но едва ли они скользили по нем, не причиняя боли. Делиться своим негодованием с Турчаниновым он конечно не мог; оставалось терпеть и ждать.

Исполняя приказание Потемкина о закубанской экспедиции. Суворов сформировал отряд из 16 рот пехоты, 16 эскадронов драгун, 16 донских полков и 16 орудий артиллерии. Большей части казачьих полков на лицо не было; Иловайский получил приказание идти с ними прямо к одному из конечных пунктов. Ногайцы были противником не страшным, и для победы над ними годился военачальник помельче Суворова, по победа тут была не первым, а скорее последним делом. Вся трудность заключалась в возможности настигнут Ногайцев, прежде чем они успеют уйти в недоступные горы. Успех экспедиции зависел исключительно от соблюдения её в тайне, и потому Суворов прибегнул к двум средствам: ночному скрытному походу и распусканию ложных слухов. Ночное движение было тем необходимее, что нут предстоял долгий, и притом почти в виду закубанских неприятелей. Фальшивая молва — средство слишком обыкновенное — в настоящем случае имела значение довольно важное, так как кочевники и вообще полудикие племена имеют одну общую черту: они по темпераменту своему замечательные вестовщики и ко всякой молве доверчивы.

Экспедиционный корпус выступил из Копыла 19 сентября. Пущен слух, будто Суворов уехал в Полтаву; что большая часть войск кубанского корпуса обращена внутрь России для близкой войны с Немцами, а меньшая часть назначена против Персии; что приказано Императрицею закубанских горцев не трогать и Ногайцев оставить в покое. Отряд пошел по правому берегу Кубани; двигался только ночью, соблюдая строгую тишину и не употребляя сигналов, ибо по ту сторону реки тянулись пикеты чутких горцев. Днем войска отдыхали с соблюдением всех предосторожностей, в скрытых местах. Поход был очень утомителен, несмотря на продолжительность отдыхов; войска шли в ночной темноте, большею частию без дорог, почти наудачу, по указанию казачьих разъездов; усталость людей увеличивалась от беспрестанных остановок (неизбежный спутник ночного

похода) и переправ через многочисленные балки; 130 верст едва успели пройти вт» десять суток. При всех принятых предосторожностях, Суворов все-таки не мог пройти совершенно незамеченным. Комендант крепости Суджука, принадлежавшей тогда Турции, проведал про движение отряда и послал о нем разузнать. Суворов отвечал, что идет небольшая команда на помощь гарнизонам моздокской линии. В другой раз войска проходили открытым безлесным местом, где река не широка; Хатюкайцы открыли с того берега пальбу. На пальбу не отвечали, но Суворов потребовал к себе хатюкайского бея, сказал ему то же самое, что суджукскому турку, и сделал жестокий выговор, после чего бей стал плетью разгонять своих стрелков. Однако и тот, и другой случаи остались Ногайцам неизвестны, или по крайней мере не возбудили их подозрений.

Сентября 29 отряд с присоединившимися казаками Иловайского подошел поздно вечером к месту, против которого, Лаба впадает в Кубань. Еще раньше, на последнем привале, Суворов взошел на довольно высокий холм и осмотрел в зрительную трубу местность за Кубанью. Он увидел Ногайцев, косивших сено, и заметил вдали дым их становищ; значит они в горы нё ушли. В тот же день Суворов отдал приказ. На основании имевшихся сведений он предупредил войска, что будут 4 переправы: брод обыкновенный, брод в 7 четвертей глубины, брод по быстрине и наконец переправа вплавь. По быстрой воде приказано переходить нагим с вещами на головах; если лошадь быстрины не выдержит, то драгунам также нагим. Войскам отдыха нет до решительного поражения, истребления или плена неприятелей; если он не близко, то искать его везде. Пули беречь, работать холодным оружием. Драгунам и казакам с коней не слезать для добычи; на добычу идет четвертая часть войска, другая четверть прикрывает, остальная половина наготове: гибель грозит войску, которое все бросается на грабеж. Добыча делится пополам: одна половина на Государя, другая войскам; из этой половины казакам две трети [8].

Чтобы захватить Ногайцев врасплох, необходимо было произвести переправу ночью; поэтому 30 сентября войска простояли на своих вчерашних местах и тронулись лишь в 8 часов вечера, Пройдя 12 верст, подошли к переправе; казаки уже нащупывали броды. Броды были глубоки; пехоте пришлось раздеваться донага; переходила она держа ружья и сумы с патронами над головами, коченея в холодной воде, которая местами покрывала плечи. Для уменьшения быстрины, конница переправлялась несколько выше, везя на лошадях одежду пехотинцев и артиллерийские заряды. Река тут шириною больше

1 1/2 версты, но делится островом на два рукава, так что люди могли на полпути перевести дух. Противуположный крутой берег представлял собой наибольшее затруднение для кавалерии и артиллерии; последнюю, также и обоз, пришлось втаскивать на канатах по невозможности разработать в короткое время сколько-нибудь сносные подъемы, до того почва была тверда и камениста. Однако несмотря на все препятствия, переправа совершена вполне успешно, и Ногайцы остались в полном неведении близкой беды.

Пехота оделась и построилась; отряд тронулся дальше. Авангард состоял из казаков, драгун и батальона гренадер; он наткнулся на ногайский разъезд и взял его живьем; пленные послужили проводниками. Пройдя 12 верст от Кубани, близь урочища Керменчик, накрыли Ногайцев совершенно для них неожиданно. Они сначала оторопели, потом стали защищаться с отчаянием, но это продолжалось не долго. Сеча была жестокая по обоим берегам Лабы, особенно когда все пустилось в бег. К 10 часам утра пять ногайских аулов дымились. Русские были страшно утомлены, сделав ночной поход в 25 верст, кроме трудной переправы; Суворов дал отдых. Часа через два преследование возобновилось и продолжалось около 15 верст; с правого берега. Лабы перешли на левый, где произошло новое 4-часовое побоище, окончившееся на опушке густых лесов, куда скрылись Ногайцы с Тав-султаном. Переночевав, Русские не продолжали преследования, до того их силы были истощены, а отдыхали целый день. Ночью возобновилось преследование, по Ногайцы успели уже уйти далеко. Осталась одна орда, но также вдалеке; она разбежалась бы прежде, чем могли ее настичь. Суворов, согласно с мнением Иловайского, повернул назад, за Кубань[7].

Дело было кровавое; с обеих сторон ярость и злоба доходили до крайнего предела, Казаки мстили хищникам, от которых давно и много страдали их земли; никому не давали пощады, побивали без разбора стариков, детей, женщин. Ногайцы, хуже вооруженные, хуже предводимые, недисциплинированные, не имевшие понятия о строе, не могли противостоять Русским и гибли в огромном числе. Тягостное чувство бессилия доводило их до исступления. Одни убивали своих детей и жен; другие при последнем издыхании силились нанести какой-нибудь вред Русским. Больше 4000 ногайских трупов валялось на 10-верстном расстоянии, взято в плен до 700 ясырей и немалое число женщин и детей. Потеря Русских немногим превышала 50 человек, а добыча досталась большая: рогатого скота приблизительно 6000 голов, овец 15000; на обратном пути отряда она еще увеличилась.

Впечатление этого разгрома на Татар было большое, но различное, Ногайские мурзы прислали Суворову, в знак покорности, белые знамена, каялись и обещали вернуться на прежние кочевья, за исключением Тав-султана и некоторых других, которые не надеялись на искреннее прощение. На крымских же Татар побоище при Керменчике навело оцепенение и ужас; опасаясь такой же участи, они стали немедленно тысячами переселяться в Турцию.

Войска пошли еа зимние квартиры; Суворов с небольшою частью отряда направился прямо степью на Ейск. Путь лежал длинный, без малого 300 верст, и трудный; время стояло позднее; пришлось переправляться чрез большое число рек, настилать мосты из чего попало, либо переходить в брод по пояс. На беду мурза с несколькими Ногайцами, служившие проводниками, взяли направление слишком к северу, так что прибавили несколько десятков верст пути, и в отряде стал ощущаться недостаток продовольствия. Харчевого запаса достало в обрез, в последний день похода все было съедено без остатка, Пришли в конце октября.

Суворов посетил аулы окрестных покорных Ногайцев и свиделся там со многими старыми знакомыми. В числе их первое место занимал джамбулуцкий мирза, столетний Муса-бей, бывший враг Русских, но с недавнего времени их приверженец. Лаская и задабривая между Ногайцами влиятельных лиц вообще, Суворов однако отличал Муса-бея от других и выказывал ему особенное расположение, благодаря его личным качествам. Он был человек доброго сердца, постоянно помогал бедным, отличался верностью своим приятелям и постоянством, ненавидел роскошь, наблюдал в своем быту замечательную чистоту и европейскую опрятность, был лихой наездник и веселый собеседник, любил хорошо покушать и порядочно вышить; вдобавок ко всему оказывал Суворову расположение, похожее на отеческую любовь. Все это сближало Суворова с Муса-беем и питало в нем приязненное к престарелому мурзе чувство, которое некоторые писатели раздули в настоящую, искреннюю дружбу и указывали на это обстоятельство, как на черту своеобычной, причудливой натуры Суворова. Дружбы не могло быть, но желание поддержать с Муса-беем добрые отношения существовало, и Суворов пользовался всеми удобными к тому случаями. Так и теперь, по возвращении из экспедиции, узнав, что бодрый, крепкий старик собирается обзавестись новой женой, Суворов купил у казаков молодую, красивую черкешенку и подарил ее ему.

Зиму 1783-1784 годов Суворов провел в крепости св.

Димитрия, где проживало и его семейство. Тут часто посещали его ногайские старшины, отсюда же он продолжал свою служебную переписку с Потемкиным, который, будучи закуплен успехом закубанской экспедиции, уже никаких не удовольствий и замечаний ему не заявлял.

Шагин-гирей продолжал скрываться за Кубанью. Если он не мог оттуда приносить России положительного вреда, то в состоянии был причинять ей беспокойства и затруднения, так как Порта искала к тому всяческих поводов, хотя у нее и не хватало духа пользоваться ими решительно и настойчиво. Надо бы, то выманить его оттуда, и Потемкин возложил это на Суворова. В ноябре Суворов получил рескрипт Императрицы и письмо Потемкина для вручения того и другого Шагину. Еще весной Екатерина писала Потемкину, что сговорчивость Шагин-гирея заставляет ее, Государыню, согласиться на его желание: — завоевать в Персии владение не меньше Крымского полуострова и проложить ему, Шагину, дорогу на шахский престол; до приступления же к этому делу, назначается ему 200000 рублей годового содержания. Засим в октябре она писала экс-хану тоже самое, с присовокуплением, что для его временного жительства назначается Воронеж. Это-то письмо Суворов и должен был доставить Шагин-гиреио вместе с Потемкинским, а также убедить его в необходимости беспрекословного повиновения, представив ему со своей стороны разные доводы, в особенности указав, что Порта никогда не отличалась такою к Крымским ханам щедростью. Не видно, чтобы за этим делом Суворов ездил на Кубань; вероятно он дал поручение кому-нибудь из своих подчиненных. Шагин-гирей поддался убеждениям не сразу и выехал из-за Кубани лишь весною 1784 года, Он прожил в России не долго; его заедали грусть и тоска по прежней власти, по минувшем величии. С дозволения Екатерины он отправился в Турцию, был принят по наружности приличным образом, но в Константинополь не пущен, а отвезен на остров Родос, где его вероломным образом задушили [9].

В феврале 1784 года Суворов получил от Потемкина извещение, что Порта торжественным актом признала подданство Крыма и кубанского края Русской Императрице. Вследствие такого упрочения мира, войска получали новое распределение, и вся граница от Азовского до Каспийского моря отходила под общее начальство генерала Павла Потемкина. Суворову указано по сдаче войск ехать в Москву, где он получит повеление на счет своего нового назначения. В апреле Суворов отвечал, что выезжает.

Усердно поработал Суворов в южном крае в течение

последних 4 лет, но в трудах его ничего не было блестящего, бьющего в глаза, Мало прибавил он тут к своей зарождающейся боевой славе, по упрочил свою известность в глазах беспристрастных наблюдателей и в среде армии. Постоянно среди солдат, особенно во времена трудные, он делил с ними и тяготу, и опасности, и горькие минуты безвременья. Без всякого над собою насилия, которое не скрылось бы от солдатского чутья, он вел жизнь одинаковую с последним рядовым, довольствовался одною с ним пищей и более стойко и равнодушно переносил всякие крайности и лишения. Солдаты видели в нем не только своего брата-солдата, но притом солдата редкого, каких мало. Он всегда был весел, разговорчив, шутлив; его грубоватое, а подчас и грязноватое балагурство не годилось для салонов и гостиных, но было бесценно в лагере, на биваке, на походе. Сверх того он обладал тактом — при простом, даже фамильярном обращении с солдатами, нисколько не поощрять их к взаимному с ним панибратству. Самая грубая солдатская натура это понимала, все повиновались ему безусловно, всякий чувствовал к нему почтение и даже страх.

Последующие два года Суворов провел в мирных занятиях или, по его выражению, в бездействии. По отъезде с юга он получил в начальствование Владимирскую дивизию и в половине года ездил по своим делам в Петербург. О поездке своей он сообщил Потемкину и в заключение прибавил: «приятность праздности не долго меня утешить может; высокая милость вашей светлости исторгнет меня из оной поданием случая по высочайшей службе, где я могу окончить с честью мой живот». Но это извещение было дополнено со стороны и другими. Как ни велико было могущество временщика и как ни мелок казался перед ним Суворов, но один из сателлитов Потемкина счел своим долгом сообщить ему — зачем ездил в Петербург Суворов, что там делал и говорил. Турчанинов пишет Потемкину, что Суворов приехал в Петербург никем неожидаемый и пожелал представиться Государыне по случаю получения ордена св. Владимира. Его пригласили к столу. Когда Екатерина вошла, он по своему обычаю двукратно поклонился ей в землю, был принят милостиво и удостоен разговором; по выходе из-за стола повалился снова в ноги и откланялся. На другой день ездил в Гатчину, к наследнику, и сделал тоже самое. Турчанинов следил за Суворовым шаг за шагом и допытывался у него настоящей цели его приезда; Суворов отвечал, что приезжал поблагодарить «матушку» да повидать свою дочь; он говорил только о своих семейных неприятностях (тогда он уже расстался с женой), местом службы был весьма доволен и т. п. [5].

Может статься, Суворов был на самом деле доволен своим служебным положением, только не надолго, как и предупреждал перед тем Потемкина, Прежде всего поднялись тревоги за прошедшее время. Сфера Суворова была чисто-боевая; канцелярская работа, отчетность, интересы хозяйственно-подрядческие, лавирование между законом и совестью — все это претило ему, тревожило его; всего этого он просто боялся. А тут дошли до него какие-то слухи про неисправность отчетности кубанского корпуса; счетная экспедиция не присылала квитанций и т. п. Сгоряча Суворов пишет чуть не отчаянное письмо в Петербург: «истинно с ума сойти; пожалуйста кончите сие, я очень боюсь прицепок. Пусть бы уже сказали, коли какой начет; я его отдам через несколько дней, — деревню под заклад; за что же казнить! Христа ради не жалейте денег.» Но под конец письма он, освободившись от первого острого впечатления, сам видит, что из мухи делает слона, и потому пишет уже другое. «Какой это вздор!... Но от важных дел обращен будучи ныне к праздности, пойдут такие мысли. Избегая худшее, готовьте меня лучше искать фортуны в чужих странах». Тревога конечно была напрасная; ни начетов, ни чего либо подобного не существовало [2].

В действительности Суворов празден не был; кроме занятий по службе, правда не сложных, он трудился но домашним делам, по хозяйству в вотчинах и вел деятельную переписку с управляющими и поверенными. Но все это у него за дело не считалось. В декабре 1784 года он пишет Потемкину довольно длинное письмо; говорит про свою праздность, про свое бескорыстие; замечает, что для него есть другие, более подходящие должности. Указывая на дивизии, одною из которых желал бы командовать, он прибавляет, что впрочем готов хоть в Камчатку, лишь бы быть самостоятельным (подчиненивтм одной военной коллегии); что в роскоши жить не может; что ехать за границу — та же праздность. «Одно мое желание, чтобы кончить высочайшую службу с оружием в руках. Долговременное мое бытие в нижних чинах приобрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и удалило от познания светских наружностей; препроводя мою жизнь в поле, поздно мне к ним привыкать. Наука просве-тила меня в добродетели: я лгу как Эпаминонд, бегаю как Цезарь, постоянен как Тюренн и праводушен как Аристид. Не разумея изгибов лести и ласкательств, моим сверстникам часто не угоден. Не изменил я моего слова ни одному из неприятелей; был счастлив, потому что я повелевал счастием» [2].

Из этого замечательного письма между прочим видно, что скромность не входила в число добродетелей Суворова, что

впрочем постоянно выказывается и его поступками. Но Суворов не хвастает, а говорит искренно, в полном сознании своей собственной цены. Таким образом его заключительные слова о счастии представляются из всего письма наименее скромными и наиболее справедливыми.

Потемкин или был недоволен требовательностью Суворова, или же руководился своими собственными соображениями, не принимая в расчет его желаний, но только в 1785 году он переместил назойливого просителя в Петербург и дал ему в командование Петербургскую дивизию. Время пребывания Суворова в Петербурге также мало известно, как и предшествовавшее, даже еще меньше; об этом периоде ни один из его историков не сказал больше двух-трех слов, и не сохранилось почти никаких документальных данных, кроме хозяйственных распоряжений по имениям. Правда, в эти года не произошло с ним ничего замечательного или выдающегося; они были затишьем в его богатой событиями жизни; но затишье обыкновенно дает много материала для наблюдения стороны умственной и бытовой-повседневной. А в этом именно отношении и не достает биографу Суворова сведений. Как бы то ей было, но Суворов выходит из глубокой тени и вступает в несколько освещенную полосу лишь в октябре 1786 года, когда был произведен по старшинству в генерал-аншефы и отправлен к Екатеринославской армии для командования кременчугскими войсками. Перемена эта должна была отвечать его желаниям и показывала внимание к нему Потемкина, так как замышлялось путешествие Екатерины в южные области России, и Кременчугская дивизия долженствовала играть при этом довольно видную роль.

Приобретение новороссийского края и Крыма значительно раздвинуло границы Европейской России, но стоило государству много крови и издержек. Еще более новороссийский край требовал материальных жертв впереди, потому что представлял собою почти сплошную пустыню. Заселение и устройство края, организация в нем военной и морской силы, зарождение и развитие торговли, создание всей системы управления были возложены Екатериною на Потемкина, Прямо или косвенно он тут ведал всем при неограниченных почти полномочиях. Задача на нем лежала труднейшая, которая только при беспредельном доверии Императрицы могла успешно подвигаться к решению. Потемкин взялся за дело горячо; появились поселения, зачатки городов, крепостей, флота. Прошли немногие годы; дело находилось в полном ходу, хотя ни до чего законченного еще не дошло. У Потемкина было много врагов, которые будучи не в

состоянии вредить ему прямо, старались колебать доверие к нему Императрицы разными способами. Говорили об упадке армии, о фиктивности южного флота, о невыгодности последних земельных приобретений, о совершенно непроизводительных затратах на их заселение и устройство. Это сначала раздражало Екатерину, потом стало беспокоить; она пожелала лично осмотреть новоприобретенный край. Такое желание было вполне естественно и без внушений Потемкинских врагов; оно даже не противоречило его видам и могло скорее утвердить, чем ослабить доверие к нему Екатерины. Он только потребовал несколько времени, чтобы достойным образом принять Государыню, конечно при усиленных денежных ассигнованиях. Григорий Александрович Потемкин, играющий в жизнеописании Суворова видную роль, был сын небогатого смоленского дворянина, родился в 1736 году, предназначал себя первоначально в духовное звание, но переменив намерение, поступил в военную службу. Обратив на себя внимание и милости Екатерины, он быстро пошел вверх и скоро добрался до высших степеней, сделавшись князем, наместником всего южного края, президентом военной коллегии, фельдмаршалом, временщиком и всемогущим властелином. При большом росте и крепком, геркулесовском сложении, он отличался мужественной, хотя несколько топорною красотою, гордой осанкой, повелительным видом, под которым скрывалась однако неловкость и даже некоторая застенчивость — недостаток, досадный для такого человека, и чем менее заметный для других. тем для него самого более ощутительный. В сношениях со знатью и с людьми чиновными он был надменен, недоступен, пренебрежителен, невежлив, часто просто груб. — следствие быстрого возвышения, в котором важную роль играли конечно его способности, но еще важнейшую — личное расположение Государыни. Впрочем в этом отношении, как и во всех других, он никогда не бывал неизменно одним и тем же и зачастую, особенно наедине или в небольшом кругу, делался ласковым, обходительным, любезным. Для людей среднего и низшего слоев общества он представлялся более доступным и так сказать ручным, да и вообще всякий, обращавшийся к нему непринужденно, без страха и боязни, но скромно, встречал большею частью хороший прием. Однако слишком большие крайности и резкости он дозволял себе только с Русскими; с иностранцами же был другим человеком; зато тут выступал наружу некоторый оттенок ненормальности или искусственности, из-под которых выглядывала эксцентрическая, неровная, азиатско-европейская натура.

Потемкин был одарен богатым воображением, изумительною

памятью, обширным, впечатлительным умом и большими организаторскими способностями. Солидного образования он не имел, как и все русские люди той эпохи, за редкими исключениями. Но по натуре ли, по расчету ли, он был очень любознателен и, не имея расположения к чтению, набирался обыкновенно познаний из личных бесед с людьми образованными или бывалыми и из расспросов специалистов. В этом методе самообразования Потемкин был неутомим, и потому обладал массою самых разносторонних сведений, конечно без системы, зрелости и глубины. По одной только отрасли он был действительно и основательно сведущ — по богословию, за то предпочитал богословские споры и беседы всяким другим, и архиерейский сан представлялся ему таким же заманчивым, как военная степень фельдмаршала. Но это знание имело для него довольно поверхностное воспитательное значение: он был человеком верующим, но вместе с тем и суеверным.

Такой недостаток подготовки к государственной деятельности самого обширного размера поддерживался природною изменчивостью характера Потемкина и, в свою очередь, питал эту невыдержанность. Потемкин был, во-первых, замечательно ленив. Состояние лени находило на него внезапно; он надевал халат, ложился на диван, становился молчалив, несообщителен, угрюм; дела оставались без движения, государственный интерес страдал непоправимо, сотни тысяч рублей гибли бесследно и бесцельно. Иногда присоединялась к лени тоска или гнетущее чувство человека, добравшегося до апогея высоты, имеющего все, что только может быть дано извне, которому нечего уже более желать, некуда подыматься выше. Эта внешняя пресыщенность в разладе с внутреннею неудовлетворенностью — проявлением живой, избранной души — делали подчас Потемкина человеком истинно-несчастным, достойным не насмешки, а сожаления. А потом вдруг, по-видимому без всякого повода, или вследствие самой ничтожной причины, наступала пора усиленной деятельности. Работа кипела, курьеры летали во все концы, подручные исполнители не знали покоя ни днем, ни ночью; сам Потемкин скакал с места на место в простой телеге, довольствуясь подчас крестьянскою или солдатскою пищей. Затем опять бездействие, или перемена деятельности, или погружение с головой в удовольствия, наслаждения и роскошь. От военного дела переход к политике и обратно; от лагеря ко двору; от неустанной работы к нескончаемой цепи обедов, балов, к безумно расточительным праздникам и затеям. Только что курьеры развозили приказания, касающиеся постройки городов, заселения степей, вооружения

флота, сбережения здоровья солдат; вслед затем они скакали за дамскими нарядами, за гастрономическими тонкостями, за певицами и танцовщицами. Но и в забавах не было логического течения, а все прыжки и неожиданности. Среди тонкого обеда Потемкин иногда требовал черного солдатского хлеба, с жадностью накидывался на простую соленую рыбу, упивался квасом. Было то не афектацией, не напускною оригинальностью, а причудой пресыщения, капризом распущенной воли.

В нем все изумляло и поражало, особенно сплетение пороков с добродетелями. Добрых качеств в нем было много, но дурных чуть ли не больше; властолюбие без меры; деспотизм, доходивший до отрицания всякого права, кроме своего собственного; отталкивающий эгоизм. Но и эти и другие качества, Потемкина, частию присущие его натуре, частию привитые к ней его быстрым возвышением в среде общества, находившегося в переходном состоянии, не представляли однако же собою чего-нибудь твердого, стойкого. Отражаясь в его поступках, они беспрестанно видоизменялись, переходя иногда в свойства, совершенно противоположные: добро становилось злом, зло добром. Происходило нечто в роде переливов опала, которые ни предвидеть, ни выследить не было никакой возможности, а тем паче подвести под какой-нибудь закон.

Капризные свойства Потемкинской натуры выкупались его большими прирожденными дарованиями, но за то и парализовали их в значительной степени. Много сделал он на благо России, но в своем положении мог сделать гораздо больше. Давая одною рукою, он другою отбирал данное; производя работу одним инструментом, он портил ее другим. И хотя в такой обширной деятельности, какова была Потемкинская, современники менее всего могут быть беспристрастными судьями, но нельзя не заметить, что по отзыву нескольких выдающихся людей той эпохи, в том числе и Суворова, для лучшего успеха дела, «Потемкину следовало только проектировать, а исполнять другим».

В военном отношении Потемкин был тоже весьма крупным деятелем. Как предводитель, он представлялся посредственностью, даже ниже; но организаторскими талантами быть может превосходил Румянцева. Нисколько не уступал он Румянцеву также в науке военного хозяйства и отличался редкою, хотя не всегда практичною заботливостью о солдате. Укажем для примера на снаряжение и обучение войск.

По словам Потемкина «туалет солдатский должен быть таков, что встал, то и готов. Если бы можно был счесть, сколько выдано в полках за щегольство палок и сколько храбрых душ пошло от

сего на тот свет! И простительно ли, что страж целости отечества удручен прихотями, происходящими от вертопрахов, а часто и от безрассудных» [3]?

Обращая внимание начальников на существенное, указывая например на необходимость исправности оружия, а не красоты, Потемкин пояснял и подкреплял свои мысли толкованиями, дабы начальники относились к делу сознательно; казнил сарказмом всякое в этом деле педантство; осмеивал установившиеся ложные взгляды; прямо говорил, что у нас, «занимая себя дрянью, до сего времени не знают хорошо самых важных вещей». Переходя от слов к делу, он приказал однажды находившемуся при нем караулу остричь косы и букли и вымыть голову водою. Потом он отбросил долгополые мундиры с короткими штанами, заменил их платьем, гораздо более отвечающим требованиям военной службы и удобства, ввел летние полотняные кителя вместо красных камзолов и проч. За все это он принялся в начале 1784 года, и ему нетрудно было добиться у Императрицы утверждения проектированного, тем паче, что предложения его били в глаза своею разумностью. Прежнее обмундирование осталось только у офицеров и в гвардии. Все истинные военные люди, не исключая Суворова, одобряли реформу Потемкина. Перемены к лучшему оцениваются по достоинству особенно в тех случаях, когда, усвоив их, приходится опять переходить к прежнему. Так и Потемкинское нововведение показало свою настоящую цену спустя 12 лет, когда наступило новое царствование.

Не менее разумны были взгляды Потемкина на обучение войск. В основании их не лежало той глубокой мысли, на которой Суворов построил свое «суздальское учреждение»; по крайней мере это нигде ясно не высказывалось, но внешняя оболочка, формы обучения во многом сходились с Суворовским методом солдатского образования. Простота, немногосложность, отсутствие увлечения стройностью и всякими дешевыми, но дорого стоящими солдату эффектами; требование терпения при обучении, необходимость развивать и питать в солдате честолюбие, — все это как будто взято из Суворовской программы. Кроме того Потемкин обратил внимание на существовавшее в полках разнообразие обучения и ввел, в известной степени, в подчиненных ему войсках единство [3].

Заботы Потемкина о войсках усугубились, когда было решено путешествие Императрицы в южные области; с удвоенною живостью закипела работа и собственно в крае, который Государыня ехала обозревать. Войска обмундировывались наново и располагались по пути следования Екатерины; города, села, деревни приукрашивались; делалось все, чтобы представить

Государыне новое её приобретение в привлекательном виде.

В начале января 1787 года Екатерина выехала из Петербурга; ее сопровождала большая свита, в 14 каретах и более чем в 120 санях; на каждой почтовой станций ожидало 560 лошадей. Ночью огромные костры зажигались близ дороги на каждой сотне шагов; в городах и деревнях толпились жители, встречали Государыню власти, раздавался колокольный звон, пальба из пушек. Останавливаясь в разных городах на короткое время, Екатерина прожила в Киеве без малого 3 месяца, но и в тот долгий срок Потемкин постарался сделать для нее незаметным: блистательные праздники шли непрерывно. Весною Государыня выехала дальше, но уже водою, на большой, роскошно убранной галере. Ее сопровождали с лишком 80 судов; на каждой галере был свой хор музыки; каждое лицо из свиты имело в своем распоряжении две комнаты, снабженные всевозможным комфортом. Государыня побывала в Кременчуге, новопостроенном Херсоне с адмиралтейством и кораблями; оттуда через Перекоп проехала в Бахчисарай, в Севастополь с флотом из 15 кораблей, в Симферополь, в Кафу и затем через Полтаву и Москву возвратилась в Петербург.

Путешествие Екатерины было как бы триумфальным шествием. В пограничный город Канев выехал к ней на поклон Польский король; дальше она встретилась с императором Священной Римской империи, который и сопровождал ее в Крым; целая толпа знатных или известных иностранцев собралась в Киеве, представиться Русской Императрице. При всякой остановке Екатерина видела войска и местами производила им смотры; всюду толпился народ в праздничных платьях, жаждавший видеть свою Государыню и падкий до всякого рода зрелищ, в которых тут не было недостатка. Потемкин превзошел себя; одаренный богатым воображением и близко знавший Екатерину с её сильными и слабыми сторонами, он прибегнул к декоративному искусству *en grand* и весь путь Государыни превратил в полуволшебную панораму. Появились несуществовавшие дотоле дома, дачи и деревни; триумфальные арки и цветочные гирлянды украшали и маскировали все что можно из неприглядного, скучного, бедного; согнаны огромные стада для оживления пейзажа; в лодках сновал по реке народ. певший песни; как бы по щучьему велению возникли дворцы, раскинулись сады; по ночам горели временами роскошнейшие иллюминации и на темном небесном своде вырисовывались прихотливые узоры громадных фейерверков, кончавшихся снопами из 100000 ракет. Ничего не было упущено, чтобы пленить взор и воображение, чтобы показать дело с праздничной

его стороны, и Потемкин достиг цели. Екатерина была в полном удовольствии, тем более, что сделанное на нее впечатление не могли отчасти не разделить и многочисленные иностранные гости.

Во время путешествия Екатерины, Суворов не один раз имел случай находиться в свите Государыни или быть действующим лицом. Выехав из Петербурга вскоре по назначении в Кременчуг, он нашел тут себе много дела по обмундированию и снаряжению войск и по их обучению. Первое было налажено Потемкиным, но далеко еще не кончено; последнее, также подготовленное, требовало руки мастера. Было предположено показать Государыне Кременчугскую дивизию в полном блеске; по программе Потемкина это долженствовало служить одним из крупных способов для упрочения благосклонности к нему Екатерины. Нужно было поручить дело умелому человеку, и Потемкин выбрал Суворова. Из этого назначения видно, что вопрос заключался не в одной внешней картинности и эффектности. Екатерина была царствующей Государыней, на своем веку видала войск много, глаз её в известной степени был наметан, и понятия её о военном образовании не были *дамскими*. Кроме того, ее сопровождала огромная свита Русских и иностранцев, между которыми находились настоящие военные люди. Эффект требовался, но такой, который говорил бы за действительное, а не за кажущееся достоинство войск. Иначе Потемкин выбрал бы кого другого, а не Суворова, который с самого начала своего поприща не поступался боевыми условиями условиям парадным. Выбор Потемкина доказывает также, что Суворовская система обучения была уже достаточно известна в ту пору, и что по внешности по крайней мере, Потемкин ее одобрял, как отвечающую его собственным понятиям.

Итак Суворов принялся за обучение дивизии. Он обучал ее не для кременчугского смотра, а для показания на кременчугском смотре войск, обученных для войны. Мы ничего не знаем о ходе его кременчугских занятий, но довольно того, что несколько известны его занятия прежние и позднейшие. Несложность программы, количественная ограниченность требований, точность и быстрота исполнения, наступательный характер эволюций, энергические атаки, — вот чему обучал Суворов свою дивизию в Кременчуге и обучил в какие-нибудь два месяца.

Потемкин поехал на встречу Екатерине в Киев; Суворов се ним, где оставался довольно долгое время и вернулся в Кременчуг лишь перед выездом Государыни из Киева. В Кременчуге был построен для нее Потемкиным дворец и разведен сад; императорская флотилия прибыла туда 30 апреля. Когда

Екатерина отдохнула, Потемкин предложил ей посмотреть войска. Вероятно это было обыкновенное строевое ученье на Суворовской ноге, с которым ознакомимся подробнее впоследствии. Так надо полагать по впечатлению, которое произвел смотр на зрителей. Привычные люди были поражены щегольским снаряжением солдат, их видом и особенно небывалою точностью и живостью движений и действий. Без преувеличения, зрители были озадачены, не исключая самой Императрицы, как свидетельствуют некоторые писатели, упоминающие про кременчугский смотр. Один из иностранцев говорит прямо, что на своем веку не видал лучших войск. Эффект получился полный, тем более полный, что он был не целью, а свойством произведенного ученья.

Конечно похвалы, комплименты и разные знаки удовольствия или удивления отовсюду посыпались прежде всего на Потемкина, но и Суворов не остался в стороне. Он был уже человеком известным, а в эту пору, благодаря присутствию двора и съезду иностранцев, стал известен лично многим, доселе его не знавшим или не видавшим. Надо однако сказать правду, что обращал он на себя внимание не только своею зарождавшеюся военною репутацией, но и личными особенностями, между которыми самое видное место занимали странности и причуды. На него уже начинали смотреть с любопытством, как на какую-то загадку, и поведением своим он поддерживал этот взгляд. Находясь с Потемкиным в Киеве, он случайно встретился с французским полковником Александром Ламетом, будущим деятелем революции. Видя незнакомое лицо иностранца, Суворов подошел к нему и спросил отрывисто: «откуда вы родом?» — Француз, отвечал Ламет, несколько изумленный и неожиданностью, и тоном вопроса, «Ваше звание?» продолжал Суворов. — Военный, — отвечал Ламет. — «Чин?» — Полковник. — «Имя?» — Александр Ламет. — «Хорошо!» сказал Суворов, кивнул головой и повернулся, чтобы идти. Ламета покоробило от такой бесцеремонности; он заступил Суворову дорогу и, глядя на него в упор, стал задавать в свою очередь таким же тоном вопросы. «Вы откуда родом?» — Русский, отвечал нисколько не сконфуженный Суворов. — «Ваше звание?» — Военный. — «Чин?» — Генерал. — «Имя?» — Суворов. — «Хорошо!» — заключил Ламет. Оба расхохотались и расстались приятельски.

В Кременчуге, после смотра, Суворов сделал выходку другого рода и еще более причудливую, притом в присутствии большого и избранного общества. Государыня, всегда щедрая, при настоящих обстоятельствах, под влиянием обстановки ни новых впечатлений, отличалась особенно благосклонностью к

заслужившим её внимание; милости её лились широко. Раздавая награды в Кременчуге, окруженная огромной свитой, она обратилась к Суворову с вопросом, чем может выразить ему свою благодарность. Живой, подвижной как ртуть, Суворов отвечал кланяясь, что задолжал за квартиру несколько рублей и просил бы заплатить.

Суворов сопровождал Екатерину в дальнейшей её поездке, причем был представлен Австрийскому императору иосифу и беседовал с ним часто о предметах военных и политических. Из Херсона Императрица поехала в Крым; Суворов вернулся к своему посту и при д. Бланкитной сформировал лагерь войск. Он встретил Екатерину на обратном её пути и проехал в её свите до Полтавы. Тут Потемкин устроил маневры войск, воспроизводившие знаменитую победу Петра Великого над Шведами; по некоторым известиям Суворов принимал в них тоже участие. В Полтаве Потемкин и Суворов откланялись Императрице, отъезжавшей в Москву; Государыня рассталась с Потемкиным в наилучших отношениях, пожаловав ему титул Таврического, а Суворову подарила табакерку с своим вензелем. Суворов принял ее как знак милости; никакой заслуги, достойной вознаграждения, он за собою не видел и одному из управляющих его имениями писал по этому случаю: «а я за гулянье получил табакерку в 7000 рублей», Этим можно отчасти объяснить его кременчугскую выходку.

Так кончилось блистательное, мирное торжество Екатерины. Оно было кануном новой войны, новой жатвы лавров, и львиная их доля досталась Суворову.

Глава IX. В поместьях и вотчинах, семейные дела; 1775—1796.

Период наибольшего развития хозяйственной деятельности Суворова. — Характеристика его отца в этом отношении. — Имения Суворова; управляющие; отношения к ним помещика; крестьянский мир; дельцы из крестьян. — Отвращение Суворова к процессам; взгляд его на взятки; бережливость; система прикупок. — Оброки и добавочные сборы. — Понятия Суворова о деревенском хозяйстве; его меры и инструкции. — Дворня: покупка рекрут; заботы о приросте населения; попечение о детях и неимущих; система взысканий. — Церкви, господские дома, усадьбы; привычки и потребности Суворова; образ его жизни; умственные занятия. — Женитьба Суворова; несходство супругов; ссоры; двукратное прошение Суворова о разводе; неудача; разрыв и его последствия. — Дети

По условиям своей жизни и продолжительной службы, Суворов никогда не мог быть помещиком и сельским хозяином в настоящем смысле. Оттого сельскохозяйственная его деятельность не может быть представлена в виде полной картины или строгой системы, с категорическими выводами и итогами. Тем не менее он всегда стоял, или старался стоять, на страже своих интересов и давал, или пытался давать, своим хозяйственным делам направление. Из тех 25 лет, в продолжение которых он, по смерти отца, мог бы быть при других условиях действительным помещиком и хозяином, в первую половину

непосредственное его участие в делах было большее, во вторую меньшее. Такое подразделение зависело главным образом от развития его военной карьеры: в 1789 году он вдруг выдвинулся далеко вперед и потому с удвоенной силой отдался своему призванию, а остальное отошло на задний план.

Скажем предварительно несколько слов об его отце. Василий Иванович Суворов был на государственной службе лицом довольно видным. Он состоял членом военной коллегии, был сенатором; в Семилетнюю войну имел два важные поручения и исполнил их хорошо. В 1762 году, 28 июня, в день вступления на престол Екатерины II, он назначен в Преображенский полк премьер-майором, в следующем году произведен в генерал-аншефы. Екатерина возлагала на него разные поручения, как на лицо, пользовавшееся полною её доверенностью. Так, в 1762 году ему были поручены разборка, опрос и отправление восвояси Голстинцов, на что и отпущено в его распоряжение 7000 рублей. Василий Иванович повершил это дело успешно и представил больше 3000 р. экономии; Государыня подарила эти деньги ему. Затем он состоял председателем московской комиссии по продаже засек, членом так называемой духовной комиссии (по отобранию крестьян от монастырей); ему же был поручен допрос Хитрово по делу Орловых. Екатерина относилась к нему доброжелательно; в собственноручных к нему записках благодарила его за хорошие распоряжения, за верную службу, называла его «честным человеком», «праведным судьей». Таким образом, на благосклонность Государыни и вообще на свою службу Василий Иванович жаловаться не имел повода, и если в 1768 году вышел в отставку, то вероятно лишь потому, что был уже стар и чувствовал потребность в отдыхе [1].

На этот шаг, быть может, побуждали его и чисто экономические соображения. На службе он получал награды, том числе вероятно и денежные, но случайно, на- манер остатка от голстинской операции. Ни про подарки большой ценности, ни про жалованные деревни или земли нигде не упоминается. А у Василия Ивановича время было деньги, так как все досуги он употреблял на устройство своих имений и ведение в них хозяйства; следовательно оставить под старость службу был ему чистый расчет, при условии получения хорошей пенсии. Он так и сделал. Подавая прошение об отставке и о назначении ему пенсии, он писал, что не имеет пропитания от своих доходов. Государыня назначила ему в пенсию все жалованье, получаемое на службе, кроме рационов и денщичьего довольствия, это составило 3600 руб. в год. Таким образом он покинул службу вполне обеспеченный, даже с излишком, потому что жены на

свете давно уже не было, обе дочери находились в замужестве, а сын твердо стоял на своих ногах и у отца никогда ничего не просил. [2].

Собирать, копить, наживать было в его натуре. Он начал прикупать имения с 1732 года, будучи еще совсем молодым человеком. Состояние его росло не очень быстро, но очень прочно. Дав гардемарину Скрябину 112 рублей под залог села Никольского, на год, он за неуплатой денег получил половину имения, которую и заложил сам года через 2 или 3, но уже в 1000 рублях и конечно заплатил вовремя. Развивая такие и подобные операции, давая в долг деньги одному, занимая их у другого, зорко наблюдая за ходом деревенского хозяйства, Василий Иванович к концу своей жизни разбогател заметно. В 1760-х годах он мог уже купить село Кончанское за 22000 рублей и дать обеим дочерям приданое — одной 17000 р., другой вероятно столько же, и все это в продолжение каких-нибудь 3-4 лет. Умирая в 1775 году, он оставил сыну весьма порядочные и благоустроенные имения, в которых числилось 1895 душ мужского пола [3].

Эта же самая черта бережливости была присуща и Суворову-сыну; но так как отец и сын были люди совершенно друг с другом не сходные, то и в общем их свойстве существовала большая между ними разница. Василий Иванович был всегда неизменно скуп; Александр Васильевич иногда переходил от крайней бережливости к широкой щедрости, в чем читатель убедится мало-помалу впоследствии.

Временем наибольшего развития его хозяйственной деятельности в имениях была середина 70-х годов, когда после смерти отца ему пришлось принимать наследство, и затем в середине 80-х годов, когда по условиям службы он мог более, чем когда-либо, заняться своими собственными делами. По данным 70-х (их очень мало) и 80-х годов и составлена настоящая глава; приняты также в соображение и подходящие сведения начала 90-х годов.

С весны 1784 до осени 1785 года Суворов проживал в своих имениях Ундоле и Кистоши (владимирского наместничества). рассчитывая лето 1785 года прожить в подмосковном селе Рожествене, что впрочем не состоялось. Село Кончанское (новгородской губернии), впоследствии столь известное, он посетил в первый раз почти через 10 лет после смерти отца. Из этого видно, как мало у него было возможности подробно вникать в хозяйство и обстоятельно его вести. Затем в остальное время 70-х, 80-х и начала 90-х годов он посещал иногда то или другое из своих имений весьма не на долго; подобные наезды имели легкое ревизионное или контрольное значение и глубокого следа по себе

не оставляли [4].

Имения Суворова были раскинуты по губернии московской и наместничествам владимирскому, костромскому, пензенскому и новгородскому; кроме того он имел дом в Москве, у Никитских ворот, а потом и в Петербурге. Сначала он держал управляющих но отдельным имениям, но в 1779 году поставил над ними что-то в роде главного, отношения которого к остальным представляются впрочем несколько темными. Это был довольно крупный московский делец, статский советник Терентий Иванович Черкасов. В одном документе он назван стряпчим, в другом опекуном; верющим письмом Суворова, 7 сентября 1779 года, поручено ему содержать в своем присмотре московский дом и деревни, распоряжать дворовыми людьми и крестьянами, подавать от имени Суворова челобитные, покупать смежные земли, занимать в банке деньги. Жалованье он получал очень значительное, 500 р. в год, ибо Суворов взял его как великого знатока приказных дел.

Черкасов всеми силами старался удержаться на этой высоте во мнении своего доверителя, забрасывая его своею деловою мудростью и опытностью, но не сумел выдержать роль. Сначала он маскировал тщательно правду и отводил глаза с помощью разных уверток и фортелей, но потом стал обманывать довольно открыто и бесцеремонно. То подделываясь под Суворова, он уверял его, что по делам «обращается со стремительностью»; то внушал ему многозначительно, что у него, Черкасова, «есть при дворе хотя из небольших, но хорошие друзья»; то заметив в Суворове любовь к литературе. писал ему стихами, ужасными по своей дубоватости и нескладице, причем кадил его военным достоинствам и, пользуясь случаем, просил «о возведении в жребий счастливости своего сына Ивана». В тоже самое время он брал у крестьян деньги и не давал расписок; прикупая для Суворова деревни, взимал в свою пользу крупный процент с продавцов, а на Суворова насчитывал двойные за купчую пошлины; делая по его поручению в Москве покупки, ставил высокие цены, даже на предметы общеизвестные. Убеждаясь в недобросовестности своего поверенного, Суворов несколько ограничивал круг его действий. Тогда Черкасов прибегал к какому-нибудь искусному маневру, отуманивая своего доверителя, и мнение о нем Суворова опять как будто менялось и недоверчивость успокаивалась. В подобных колебаниях прошло немало времени, и только по истечении пяти лет управительства Черкасова, Суворов решился расстаться с ним совсем [5].

Такому решению предшествовала довольно длинная переписка с управляющим московским домом Кузнецовым и

преподание ему разных наставлений. Суворов говорит, что платит деньги «велеречивому юристу Теренцию» только по давней привычке; что в сущности он совсем не нужен и даже вреден; что «у одной кости двум собакам быть нельзя»; что «невозможно стоять ради его всегда на карауле». Он приказывает решительно от Черкасова сторониться, не допускать его к деньгам, отбирать от него дела. Он предупреждает Кузнецова, что Черкасов будет обещать, тонировать, пугать, мудрить, знахарить, оттягивать и утверждать его, Кузнецова, в невежестве. «Отбери от него дела и узнаешь все колдовство; красны бубны за горами. По апеляционному делу тебе нужно было самому челобитную написать, т.е. доброму приказному дать рубль, колпак водки, стопку пива, и тогда бы не было нужды в Терентие». Чтобы расстаться с Черкасовым без большой неприязни. Суворов приказывает: «учини ему последний подарок по твоему вкусу, рублей во сто какую-нибудь вещь,. или деньгами отсыпь». Но вместе с тем он сильно побаивается дурных последствий такого решительного шага и предупреждает Кузнецова: «лишась знатных от меня доходов, он должен идти на мщение; буде от него неистовые разглашения: будут, то об его облуплении меня ты и сам всюду разглашай; только не начинай сам, а лишь ему этим разглашением плати, доколе не уймется». Приказывая окончательно расстаться с Черкасовым, Суворов поясняет: «а Терентий Иванович пусть останется только для церемоний и комплиментов».

Впоследствии, в 90-х годах, и чем дальше, тем больше, самым доверенным лицом сделался у Суворова его родственник Хвостов, хотя в формальном смысле управителем не был и вознаграждения не получал. До тех же пор, после Черкасова у Суворова такого доверенного лица не было и сколько можно добраться, имения новгородские управлялись отдельно от остальных, а эти остальные подразделялись иногда на две и на три группы. Посредствующим лицом между Суворовым и его управляющими, по крайней мере по некоторым делам и по денежным сборам, иногда служил зять его, отставной генерал-поручик князь П. Р. Горчаков, живший в Москве [6].

Новгородскими деревнями заправлял отставной военный, старый служака, А. М. Балк, один из соседей Суворова. Это был человек не глупый, с образованием, почтенный и честный, но характера деспотического. Он сильно не ладил с Черкасовым и писал Суворову, что бросит все дело и уйдет; но тут пришлось уходить самому Черкасову, и Балк остался. Он беспрестанно жаловался Суворову на непослушание крестьян и их ближайших властей, прибегал к мерам энергическим, заковывал

недоимщиков в железа, грозил другим провинившихся: «берегитесь, чтобы я не видал ваших спин». Суворов сдерживал слишком энергического старика и запрещал ему крайние меры. Балк объяснял, что поступает таким образом лишь страха ради, что на руку не дерзок и что держится пословицы — «замахнись, да не ударь». Но это мало успокаивало Суворова, тем более, что по признанию самого Балка, крестьяне собирались его подстрелить. По этой ли причине, или по какой другой, но Балк вскоре перестал фигурировать на страницах вотчинных дел. и управляющим новгородскими имениями является другой сосед Суворова, отставной подполковник Р. Я. Качалов, а его подручным — тоже сосед, отставной поручик из мелкопоместных, С Т. Румянцев; впоследствии же вместо Качалова является Н. А. Балк, сын первого [7].

Качалова удостаивал Суворов большой доверенности; называл его в глаза и за глаза благоразумным, честным, добродетельным человеком; говорил. что питает к нему полное доверие больше, чем к себе, за его знания, дарования и честные нравы. В письмах своих к нему Суворов не скупится на выражения искренней благодарности, просит распоряжаться всем с полною свободою и советует не верить «ни чьему суемудрию, ниже моему». Хороши были отношения и к Румянцеву, но не в столь изысканно-любезной форме и не без довольно жесткого тона, когда Румянцеву случалось крупно проштрафиться. Он был человек неподвижный, больной, а может быть и ленивый, и исполнял свои обязанности плохо. Заехав в Кончанское в октябре 1786 года, Суворов нашел там большие непорядки. Он написал Румянцеву: «вы здесь мне ближний сосед, вам и вверено ближнее управление моих вотчин, за что получаете в год 100 рублей; но судите сами — вам их получать напрасно один есть грех. Прежде сего был обычай ублажать ласкательством, что служило к произращению ложных видов и непорядков; я люблю правду без украшениев и не доброжелательство, но трудолюбие». Сообщая Качалову о сделанном выговоре, Суворов замечает, что Румянцев слишком привык к «прежнему двуличному правлению и потому доволен был старым штилем — обстоит все благополучно; теперь я с ним не шутил и не придворничал» [6].

Контингент управляющих и ведающих хозяйственными делами Суворова, особенно в районах, близких к его местопребыванию, состоял преимущественно из офицеров, ему подчиненных (в середине 80-х годов); переписку с ними вел один из его адъютантов, племянник. Такие порядки, хотя и незаконные, были тогда во всеобщем обычае, ибо механизм управления обходился сравнительно дешево, и кроме того

обеспечивалась военная исполнительность. Военная служба клала на людей такую глубокую печать известных качеств, что даже из соседей-помещиков Суворов старался брать своими управляющими преимущественно отставных военных [8].

Отношения его к управляющим из подчиненных были приличные и человечные, но более фамильярны, чем с посторонними. Образцом может служить довольно обширная его переписка с поручиком Кузнецовым, Степаном Матвеевичем, ведавшим его делами собственно в Москве. Суворов звал его просто *Матвеичем*, писал ему *ты*, к дальним церемониям и комплиментам не прибегал, отдавал приказания категорические, коротко, по военному. Нет таких дел, которые не приходилось бы исполнять Матвеичу, и исполнял он их с точностью и аккуратностью. Суворов беспрестанно дает ему наставления, как человеку новому. «Будь со мною простодушен, я это люблю»; «начинай и непременно кончи, или я за то на тебя осержусь» и т. под. Будучи Матвеичем доволен, он иногда оканчивает свои к нему письма таким выражением удовольствия: «хорошо и здравствуй». Проскакивает также при случае и обычный Суворовский юмор. Матвеич как-то задержал у себя в Москве несколько коров, чтобы пользоваться от них молоком и маслом. В другой раз он задержал лошадей. Суворов пишет ему: «Мне подлинно мудрено, как ты по сие время мою тройку лошадей с повозкою сюда не отправил... Ведь от лошадей нет масла» [4].

Почти все помещики того времени признавали значение крестьянского мира, советовались с ним о делах, разделяли с ним в известной степени свою административную и судебную власть. Также точно велось и у Суворова, У него правили делом не одни управляющие, правил и мир; каждому была своя сфера, С миром он чинился конечно меньше, чем с господами управителями; часто выражал свое неудовольствие, стращал, грозил. Поводов к неудовольствию всегда было много, так как всякая новизна сильно смущала консервативный сельский люд, который почтительно, но настойчиво защищал установившиеся порядки, и сломить его пассивное упорство было нелегко. Были и другие причины, сердившие часто Суворова; между ними не последняя — нелюбовь мира к бумаге, к писанию, а между тем помещик требовал периодических правильных донесений: «не иначе вам править, как сообщаясь со мной ежемесячно». Правда, он терпеть не мог многописания и требовал донесений коротких, точных, без всяких пустяков, но это для мира было еще труднее. Грамотеев и писарей было очень мало, и если кто из них возвышался над общим уровнем, то ему предстояла другая карьера. Бережливый Суворов старался создать из таких редких людей своих

собственных дельцов по межевым, судебным и другим делам, и в этом успевал. Таков был крестьянин Мирон Антонов, который даже после смерти Суворова продолжал вести некоторые довольно важные дела по новгородским имениям. Суворов ценил его, показывал большое к нему доверие и награждал его по временам деньгами; награды эти впрочем особенною щедростью не отличались [9].

Старался он приспособить к такой деятельности и своих управителей из офицеров, особенно Матвеича, жившего в центре приказных дел, в Москве, — так как очень побаивался и недолюбливал лиц, в роде Черкасова, с их системою «облупления» своего доверителя. Суворов уверяет своего адъютанта, что ничего тут хитрого нет, стоит только вникнуть со вниманием, и все мудреное окажется совершенно простым. «Юристам я не верю, с ними не знаюсь, они ябедники». так поясняет Суворов свое желание. «Апеляция только ябеда», говорит он по другому случаю, а в писании к миру, в одну из своих волостей, объясняет: «слышу, у вас спорные дела со времен моего родителя; если вы скоро не примиритесь, хотя бы с небольшой уступкой, то я первого Мирона Антонова накажу телесно». Он приказывает иногда идти на мировую во что бы то ни стало, ведет счет тяжебным и всяким спорным делам; оконченные запечатывает, откладывает в сторону, вычеркивает из реестра. В письме его к Матвеичу читаем: «очень мне на сердце новгородское апеляционное дело по сенату; крестьяне мои сами признаются виноватыми, мы же лезем в ябеду: стыдно и бессовестно» [10].

В середине 80-х годов особенно заботили его два спорных дела — с Мавриным и с Сатиным. По первому делу обе стороны избрали третейским судьей Суворовского управляющего, Качалова. Качалов привел к миру, приговорив Суворовских крестьян к уплате Маврину 600 рублей. Суворов благодарит его без всякого неудовольствия, за исключением разве слов: «за решение дела *на известном вам резоне*». По второму делу Сатин пишет Суворову, что «полагается на его великодушие», а Черкасов, в то время еще не совершенно устраненный, замечает ему саркастически: «дело с Сатиным в вотчинной коллегии оставить хотите; ваша воля, но подарка больше 10000 рублей будет». Несмотря на такое веское замечание опытного дельца, Суворов идет с Сатиным на соглашение и кончает дело мировою. Наместник того края, генерал Кречетников, пишет Суворову, что сообщил земскому суду его «благодетельное снисхождение к Сатину» [11].

При всех делах, когда приходилось ведаться с приказами и

судами, неизбежны были посулы, задабриванья, подарки. Представляемые Суворову отчеты полны подобного рода издержками; он смотрит на них, как на расход неизбежный и даже сам указывает на эти средства, как на приемы самые верные к ускоренному решению дел. Так, он пишет Матвеичу: «можешь подарить денег губернаторскому фавориту, коли хочешь, чтобы он его наклонил». В другом месте советует тому подарить, другого угостить, третьему поднести. Подобно своим современникам, он смотрел на все это, как на дело естественное, как на вознаграждение постороннего лица за лишний в пользу его, Суворова, подъятый труд. Нравственное чувство Суворова сказывалось в ином, — где у других оно молчало и доныне зачастую молчит. Он возмущался например всяким предложением обсчитать противника или казну с помощью какого-нибудь приказного ухищрения, отбыть от установленных пошлин или уменьшить их цифру чрез написание документа в меньшей противу действительного сумме. с этого рода неразборчивым приемам дельцы, в роде Черкасова, прибегали сплошь и рядом, по Суворов не давал на то согласия, а впоследствии его доверенные лица уже сами знали, что он смотрит на такого рода уклонения от закона, как на поступок неприличный, одинаково компрометирующий при успехе и при неудаче [12].

Суворов покупал немало; у него была наклонность к приобретению. Он пишет Матвеичу прямо, что по примеру отца хочет прикупать деревни, поясняя: «я не расточать, а собирать желаю». Разница однако в том, что у сына не было жажды приобретения, обращающей средство в цель. Для себя самого ему требовалось очень немногое не потому, что одолевала страсть копить, а копил он потому, что на прожиток требовалось очень немногое, Ограниченность потребностей дозволила ему начать свои сбережения довольно рано. В 1767 году, будучи полковым командиром, он купил землю «200 четвертей в поле, а в двух потому ж». Правда, еще раньше (1758 г.) он имел уже свое собственное небольшое состояние, — часть 189 душ, доставшуюся ему но смерти его матери; следовательно сберегать было уже из чего. Затем в феврале 1774 года, т.е. тотчас после своей женитьбы, перед возвращением из отпуска в армию Румянцева, он дает доверенность Василию Ивановичу — на оставляемые деньги покупать имения, давать взаймы и т. под. Стало быть экономические средства продолжали возрастать. В следующем году Василий Иванович умер; все его состояние перешло к сыну. Александр Васильевич начал прикупать имения, и в продолжение 9 или 10 лет успел приобрести до 1500 душ (считая с женским

полом). Он приобретал не только на сделанные сбережения, но и в расчете на них вперед, заключая займы. В особенности богата займами вторая половина 1770-х годов. Покупки он делал в районе своих имений, покупая значительною частью у небогатых родственников, плохо хозяйничавших. Он наблюдал, и своим управляющим приказывал наблюдать, не замотается ли кто из соседей и не вздумает ли продавать имение; в утвердительном случае Суворов являлся покупщиком, занимая для этого деньги, или закладывая какое-нибудь из своих имений [13].

Помещики держали свои имения на барщине или на оброке; первые были по крайней мере в полтора раза выгоднее, по своей доходности; зато при оброчной системе владельцу не было нужды проживать в деревне; она избавляла помещика от всяких хлопот и была менее обременительна для крестьян. ибо они гораздо легче справлялись со своими повинностями, если только оброк не превышал их платежных средств. Суворовские имения были оброчные; так велось и при Василие Ивановиче, который при их разбросанности и своей наступившей старости не мог вести барщинное хозяйство с должным присмотром. Он однако не отказался от всех выгод этой системы и, кроме денежного оброка, обложил своих крестьян разными работами, поборами, приносами и вообще натуральными повинностями. А известно, что подобные поборы всегда были тяжелы для крестьян, потому что в браковке и приеме предметов натурою открывалось широкое поле произволу и злоупотреблениям старост, бурмистров и других властей. В сущности, обложение крестьян поставкою естественных произведений было выгодно именно приемщикам, а никак не помещику, особенно если он находился в дальнем отсутствии. Суворов понял все это сразу, и потому поборы натурою уничтожил, возвысив оброк; в кончанском имении например цифра оброка была назначена в 3 рубля, вместо 2-х, что должно быть признано для крестьян по меньшей мере не обременительным, а вернее прямо выгодным. Лет через 10 или 11, он повысил оброк еще на рубль, причем в трех вотчинах из шести, добавочный рубль назначил на строение церквей и на содержание причта. Из оброчных денег кончанского имения он определил на домашние расходы по усадьбе, на дворовых и проч. 500 рублей, и таким образом из 4000-ного кончанского оброка сам получал всего 2500 р. Излагая все это в инструкции «старосте со крестьяны», он между прочим говорит; «если же на домашние расходы против полагаемых 500 рублей чего паче чаяния доставать не станет, то можно употребить из церковной тысячи рублей, только то дурно и стыдно». Впоследствии, к концу жизни Суворова, оброки были: в одной вотчине (в Кончанском) 4 рубля,

в четырех 5 рублей, в одной 6 рублей [14].

Такое возрастание было явлением всеобщим, и Суворов не опережал общего течения, а скорее отставал от него, т.е. брал со своих крестьян меньше, чем многие другие. И точно, в первую половину царствования Екатерины, средняя цифра помещичьего оброка простиралась до 2-3 рублей с души; в 80-х годах она повсеместно доходила не менее как до 4 р., а во многих имениях гораздо больше; в 90-х годах она повысилась средним числом до 5 р., местами же взималось 10, 15 и даже 20 рублей.

Что Суворовский оброк не был высок, видно из общности дела, складывающейся по документам вотчинных контор. Для примера укажем, что Суворов неоднократно возлагает на ту или другую из своих волостей разные сверхоброчные расходы, с зачетом в счет оброка следующего года, а иногда прямо требует (и получает) часть будущего оброка. С кончанского имения он взял, например в 1785 году, весь оброк на следующий год. Если бы оброк был не по силам, или доходил до предела платежной возможности, то требования помещика или оставались бы неисполненными, или отразились бы дурно на благосостоянии крестьян в близком будущем. Ни того, ни другого однако же не было [15].

Встречаются со стороны Суворова попытки как будто возвращения к прежнему порядку, какой был при отце. В приказе по новгородским вотчинам говорится о собирании грибов, ягод и проч., как было при родителе, но упоминается, что об этом последует особое приказание. Приказания вероятно не последовало, потому что дальнейшие более общие распоряжения имеют противуположное направление, С крестьян взималось натурой многое, когда владелец жил в своей усадьбе, но все это зачитывалось в счет оброка. По обычаю повсеместному, перешедшему в позднейшее время, крестьяне, отсылая оброки, преподносили своему господину в виде гостинца грибы, рыбу, дичину. Делали это и Суворовские крепостные, и Суворов гостинцы принимал, но не иначе, как в зачет оброчной суммы; несомненно по крайней мере, что порядок этот соблюдался в середине 80-х годов. Тем не менее встречаются временами натуральные повинности, вроде наряда подвод, чистки прудов, возведения и ночники строений; невозможно добраться даровые они, или платежные, но во всяком случае они немногочисленны [16].

Суворов не был в своих деревнях новатором, преобразователем, да и не мог быть. Вся возможность направлять дело ограничивалась указаниями, и если он вникал в иные подробности, указывал на частные недостатки, вторгался в дело

непосредственно, то все это глубокого следа не могло по себе оставлять, если не доставало доброй воли у ближайших распорядителей и исполнителей. Оттого многое из личных указаний Суворова имеет значение не столько действительно существовавшего, сколько взгляда Суворова на предмет и усилий его — дать делу известное направление. Для нас впрочем это и есть самое важное. В этом отношении, из числа сохранившихся документов заслуживают внимания две записки; обе они относятся, по всей вероятности, к 1780-м годам.

В одной из записок он пишет, что лень крестьян порождается излишком земли и легкими оброками. Многие земли пашутся без навоза, земля вырождается, являются неурожаи. Приказывается пахать под посев по числу скота, а неунавоженную землю пускать под луга. Это только на первое время, а впредь размножать рогатый скот; нерадивые будут наказываемы. Расплодившуюся скотину не продавать и не резать; только когда её будет много, и вся пахотная земля укроется навозом, можно и в пустоши лишний навоз вывозить. У крестьянина Михаила Иванова одна корова; следовало бы оштрафовать старосту и весь мир за то, что это допустили. На первый и на последний раз прощается; Иванову купить корову на господский счет, но отнюдь не в потворство другим, и никому впредь на это не надеяться. Крестьяне богатые должны помогать в податях и работах неимущим; из последних особенно почитать тех, у кого много малолетних детей; того ради Иванову купить на господский счет еще шапку в рубль. Лень исходит также из безначалия; оттого старосте быть не на год, а на три года. Ежели он будет исправен, и крестьяне разбогатеют, то в работах будет ему помощь от мира, а все земские угощения — на счет вотчины.

По другой записке или инструкции, тягло накладывается с 16 лет, несут его до 60-ти. Земля по тяглам делится выборными от мира присяжными, известными своей честностью. На каждое тягло назначается по 2 1/2 десятины в поле, всего 7 1/2, да луговой 2 1/2. Если останется пустующая земля, то пасти на ней скот, не отдавая под пашню в наем, паче ее выпашут и новым тяглам достанется земля истощенная. Лес делится на 20 частей; каждая часть назначается всем крестьянам на год; заказной лес хранится для построек; если его много, то к нему определяется ответственный полесовщик. Подушный оклад уплачивается по тяглам, — чтобы было легче тяглецам, имеющим много ребят, и престарелым. Если подушные деньги соберутся излишние, то не возвращаются, а хранятся на мирские расходы. Число бобылей надо уменьшать; если кто из крестьян возьмет бобыля в свою семью, усыновит или женит на дочери или иной родне, то на него

дается земля по положению, со льготою от вноса оброка на год. В больших селениях назначается бурмистр; он получает землю на три тягла, оброка не платит. В малом селении — староста; земли ему на два тягла, оброка не платит. Полесовщику земли на одно тягло, оброка тоже не платит. Учреждаются запасные магазины, куда со всякого тягла собирается осенью по четверику ржи и овса, пока запаса накопится довольно на случай недорода. Ведают магазином выборные целовальники под смотрением бурмистра; они же собирают, складывают хлеб и дают взаём. Ссуда делается действительно нуждающимся и возвращается по уборке хлеба с прибавкой гарнца к каждому четверику. Не нуждающимся не давать, внушая им, что вредят другим. Если же требующих нуждающихся мало, то можно давать и остальным, не нуждающимся, для освежения запаса и приращения его процентами.

При недостатке земли на все тягла, надо выводить людей на переселение, сначала домашних воров, лентяев и пьяниц, затем по жребию. Переселение делается на счет помещика; переселенцы продают все свое совершенно свободно, даже озимые поля, кои ими обработаны. Объявляется о переселении в ноябре, чтобы было им довольно времени до судоходства или подножного корма. На новом месте выдаются от барина избы, семена на озимое и проч.; два года переселенцы не платят подушного и не вносят оброка; «таким образом в горе своего семейства получают облегчение». Первых переселять трудно, а к ним хоть вдвое больше — легко, потому что у первых будет тогда опыт, и вторые станут меньше горевать. Тому кто поведет, дается наставление; комиссионер заготовляет по дороге сухари, крупу, соль [17].

Как человек бережливый и притом ненавидящий праздность, Суворов не следовал крепостной моде — держать без всякой надобности целые толпы дворовых, тем паче, что в имениях своих он живал редко. Средним числом, дворовых насчитывают у помещиков того времени от 5 до 10 на 100 оброчных или тяглых, а у вельмож и того больше.

У Суворова было их меньше; наприм. в с. Кончанском их числилось в 80-х годах 22 человека (на 1000 душ), не считая их жен и детей; кроме того, на богаделенном призрении находилось двое военных, 6 инвалидов и 4 вдовы. По крепостным обычаям, дворня обыкновенно соединяла в себе людей всевозможных профессий. Так как в имениях Суворова дворня была сравнительно не велика, то и профессии дворовых не отличались таким разнообразием, как у других; но все-таки встречаем у него поваров, кучеров, лакеев, фельдшеров и проч., которые в то же время бывали музыкантами, певцами, актерами, или по крайней

мере владелец пытался их сделать такими. Суворов любил музыку и пение, имел также склонность и к драматическому искусству, но тратить на это значительные деньги вовсе не желал, как то делали большие господа того времени. В нем была потребность художественных наслаждений, но не было ни эстетического развития, ни художественного чутья или такта. Легко поэтому понять, что его доморощенные артисты представляли собой нечто карикатурное. или по меньшей мере топорное.

При московском доме находилось вначале немало дворни, и, том числе певчие и музыканты, которые держались в Москве для усовершенствования, причем образцом им служили знаменитые Голицынские певчие. Но в 1784 году их перевезли в Ундол, имение, где Суворов тогда проживал. Едва ли эти певцы и музыканты были и в Москве чем-нибудь порядочным, а в деревне они скоро совсем испортились. Год спустя, уезжая из Ундола, Суворов оставляет управляющим одного молодого офицера и дает ему наставление: «помни музыку нашу — вокальный и инструментальный хоры, и чтобы не уронить концертное; простое пение всегда было дурно и больше кажется испортил его Бочкин, великим гласом с кабацкого». На музыку он обращал всегда внимание при посещении и других своих имений. В Петербург отсылались в музыкальные инструменты для исправления, и на это однажды израсходовано разом 200 рублей — расход, для бережливого Суворова огромный. Куплены гусли и для обучения на этом инструменте взят мастер; «для поправления певчих на италианский манер» выписан певчий из Преображенского полка на жалованье. Приобретались ноты; раз были куплены симфонии Плейеля, квинтеты, квартеты, серенады Вангали, трио Крамера, 12 новых контрдансов, 6 полонезов, 3 менуэта, несколько церковных концертов. Церковную музыку Суворов любил особенно [18].

Обучались также драматическому искусству. «Сии науки у них за плечами виснуть не будут», пишет Суворов из-под Кременчуга Качалову, когда казалось бы ему вовсе не до «сих наук». По его словам, «театральное нужно для упражнения и невинного веселья». «Васька комиком хорош», сообщает он в другое время: — «а трагиком лучше будет Никита; только должно ему поучиться выражению, что легко по запятым, точкам, двоеточиям, вопросительным и восклицательным знакам... В рифмах выйдет легко. Держаться надобно каданса в стихах, подобно инструментальному такту, без чего ясности и сладости в речи не будет, ни восхищения». Парикмахера Алексашку он приказывает обучать исподволь французской грамматике, а

четырех мальчиков вообще «словесному». Кроме доморощенных наставников и самообучения по знакам препинания, приискивались и другие образовательные способы. В числе соседей Суворова был некто Диомид Иванович, богатый помещик, у которого существовали «разные похвальные заведения художеств и ремесл»; Суворов приказывает отсылать туда в науку дворовых, «чтобы от праздности в распутство не впадали», и спрашивает, нельзя ли и их жен приурочить туда же [19].

Суворов однако не ограничивался одними артистическими требованиями от своих дворовых. Его всегда озабочивала их праздность, и по своему обыкновению он старался вытеснить ее производительным трудом. Сначала он советует привлекать их к занятию земледелием и огородничеством, потом говорит об этом категоричнее, указывает на работы в саду, приказывает назначить место для огородов, пашню, чтобы сами добывали себе хлеб; сенокос тому, кто пожелает иметь корову; выдавать на первый раз господские семена, дарить прилежным бороны, сохи или косы, употреблять на их работы господских лошадей. Но всему однако видно, что желание его не очень прививалось к делу. В 90-х годах он снова пишет: «дворовых людей на легкий промысел отпустить, лишь бы не забурлачили; остающимся вокальным инструментам невозбранно пахать и садить: земли излишество, мне не служат, служи себе и меньше праздного на пороки». Впрочем это касалось до одного кончанского имения, которое за своею отдаленностью больше других его беспокоило, и где дворня действительно была распущена, или казалась ему такою. Он пишет на эту тему часто и много; дозволяет уменьшать денежное жалованье тем, «кто мот и лжец», указывает на некоторых поименно, как на «лжецов, льстецов и упрямцев». В особенности его удручает начальник всего этого народа, дворецкий Николай Ярославцев. Побывав лично в Кончанске пред отправлением в Кременчуг, Суворов «застал Николашку больше лжецом и льстецом, нежели заботливым дворецким; он столько был не человеколюбив, что от него и невинные младенцы пострадали; музыка в упадке, аптечных трав не собирает; варя пива прокисла; приказный Ерофеев при нем забыл грамоте». Суворов сильно недолюбливает этого дворецкого, называет его «франтом», но все-таки держит. Ярославцев был, что называется выжига, малый на все руки; он сумел сделаться для Суворова и его управляющих человеком необходимым, а потому и держался на своем месте, несмотря ни на что. Он был очень проворен и умел делать разом многие дела; качество это, если не по сущности своей, то по внешности, почти однородно с трудолюбием. а трудолюбие Суворов ценил высоко. Заставляя дворовых женщин питаться своим рукоделием, он

поясняет: «сие не от чего иного, чтобы порочной праздности вовсе были чужды, ибо труды наклоняют к благонравию». Вся система его управления имениями была основана на этом правиле [20].

Не меньше принципа трудолюбия руководила им и бережливость; она отражается на последних мелочах. Снабжая своего управляющего наставлением насчет дворни, он пускается в подробности о сбережении нового платья, дозволяет его надевать только по праздникам, «а если кто чуть замарает, то никогда не давать». Живя по временам в Петербурге, он приказывает присылать туда лошадей, так как наем дорог, он не хочет тратить денег и на лекарства, если имеет право на казенные, хотя аптечный расход был у него конечно ничтожный. С этою целью он приказывает написать Матвеичу, чтобы тот «нашел в Московской дивизии штаб-лекаря, приласкал его и попросил по приложенному рецепту лекарств, ибо генералитету из главной казенной аптеки выдают медикаменты даром». В видах же экономии он приказывает Матвеичу «писать часто, но кратко и мелко, без дальних комплиментов, чтобы на почту меньше денег выходило. За принос писем не давать, а лучше самим на почте брать» [8].

Тогдашний способ комплектования армии отрывал крестьян от дома и семьи почти на всю жизнь и во всяком случае делал их, по отбытии службы, негодными к прежним занятиям. В деревнях убыль человека из семьи была для нее истинным бедствием и иногда оставляла неизгладимый след. Суворов принял против этого меры. Он постановил обязательным для всех имений правилом — своих людей в рекруты не отдавать, а покупать со стороны, ибо «тогда семьи не безлюдствуют, дома не разоряются и рекрутства не боятся». В подобных людях недостатка не могло быть; торговля крепостными людьми считалась тогда делом довольно обычным; их даже возили по ярмаркам и выставляли на базарных площадях, а у многих неразборчивость в выборе средств наживы доходила до того, что неводящихся в рекруты отправляли в Сибирь на поселение, в зачет ближайшего рекрутского набора, и зачетными квитанциями торговали. Цены на людской товар существовали различные: парни, годные в рекруты, стоили от 150 до 300 рублей и выше, смотря по спросу и по местным условиям. Этим обстоятельством и воспользовался Суворов. Он приказал покупать для рекрутства чужих людей, разверстывая цену рекрута по имуществу каждого, всем миром, при священнике, и в подмогу миру определил из своих оброчных денег по 75 рублей за каждого рекрута безвозвратно [21].

Одна деревня поблагодарила за это распоряжение. но в остальных поднялся вопль. Стали указывать, что при покойном

родителе этого не водилось и крестьянам было легче; что уже другой год неурожай, продавать нечего, от скудости крестьяне пришли в упадок, и тому подобное. Одна вотчина объясняла, что в ней есть бобыль, который податей не платит, не работает и годами шатается неведомо где; того ради староста с выборными просит милости, чтобы того бобыля за все крестьянство отдать в рекруты. Суворов рассердился и приказал рекрута купить теперь же непременно и впредь покупать, иначе грозил старосте и прочим розгами. Бобылю не следовало дозволять бродяжничать: «в сей же мясоед его женить и завести ему миром хозяйство; буде же замешкаетесь, я велю его женить на вашей первостатейной девице, а доколе он исправится, ему пособлять миром». Приказ подействовал, но крестьян нисколько не убедил.

Одним из поводов к освобождению вотчин от поставки своих рекрут натурою был малый прирост населения, Суворовым замеченный. Это же обстоятельство побуждало его всячески поощрять браки и вообще способствовать увеличению семей. «Крестьянин богатеет не деньгами, а детьми; от детей ему и деньги», говорил и писал он постоянно. Прибегал он и к другим резонам: «Богу не угодно, что не множатся люди; не весьма взирать на Богатство, понеже у Бога богатый оскудеет, а скудный обогатеет. Я по сему впредь строго взыскивать буду. В этом особливо иереям, как отцам духовным, не токмо увещевать, но решать и утверждать». По крепостным обычаям, он не долго раздумывал насчет браков крестьян и особенно дворовых; если они не спешили и напоминания помещика не производили действия, то нередко отдавался лаконический приказ: «женить таких-то на таких-то в такой-то срок». В письмах его к управляющим и миру беспрестанно встречаем напоминания ни приказания в роде такого: «дворовые парни как дубы выросли, купить девок»; «вдовцам таким-то надлежало бы первее всего жениться»; «вдову Иванову, как она в замужество не желает, никому не дозволяю сватать; помочь ей миром в выстройке избы, срубленной умершим мужем». При недостатке своих невест и дороговизне чужих, делался иногда вывод девиц из одних вотчин в другие, на довольно далекие расстояния. Для ундольских парней Суворов приказывает купить 4 девицы в новгородских деревнях и назначает от себя подмоги до 200 рублей. «Лица не разбирать, лишь бы здоровы были. Девиц отправлять в Ундол на крестьянских подводах, без нарядов, одних за другими, как возят кур, но очень сохранно». Иногда за невест для дворовых людей Суворов платил и дороже, так как от них требования были иные, чем от простых крестьянок. Один из его адъютантов, снабженный такой комиссией в Москве, доносит, что девиц, которые бы умели

«шить порядочно, мыть белье и трухмалить, меньше как за 80 рублей приобрести нельзя, а 50 рублей стоит ничего не знающая» [22].

Оброчным крестьянам тоже была от помещика подмога, если невесту приходилось добывать на стороне, но уже не такая крупная, а всего 10 рублей. Прочее указано было вносить всем миром, но разверстывать не поровну, а по имуществу каждого, при священнике.

Практиковалось и нечто в роде премий или наград за многоплодие, Кухмистеру Сидору «с его супругою» приказано выдавать на детей провиант — до 5-летнего возраста половинный, а после того полный, как взрослым; на каждого новорожденного кроме того по рублю единовременно, «для поощрения детородства». Полякову, за многоплодие, куплена и подарена хорошая господская шляпа, хозяйке его хороший кокошник. Делалось это не в виде единичных случаев, а довольно часто [4].

Заботясь о том; чтобы крестьянские семьи «богатели» детьми, Суворов смотрел, на сколько это было возможно в его положении, чтобы уход за детьми был внимательный и человеколюбивый. Такого рода распоряжений и указаний встречается в его письмах и приказах множество; и по смыслу их, и по тону видно, что руководил им не один расчет. Он очень любил «ребяток». В одном приказе читаем: «указано моими повелениями, в соблюдении крестьянского здоровья и особливо малых детей, прописанными в них лекарствами, как о находящихся в оспе, чтобы таких отнюдь на ветер и для причащения в Божию церковь не носить. Но ныне, к крайнему моему сожалению слышу, что из семьи Якова Калашникова девочка оспой померла». Суворов подтверждает Калашникову о хорошем за детьми присмотре, «яко он и сам от отца рожденный», приказывает миру крепко смотреть за нерадивыми отцами и не дозволять младенцев, особенно в оспе, носить по избам, «отчего чинится напрасная смерть». В другом приказе он пишет: «ундольские крестьяне не чадолюбивы и недавно в малых детях терпели жалостный убыток; это от собственного небрежения, а не от посещения Божия, ибо Бог злу не виновен... Сие есть человекоубийство, важнее самоубийства; порочный, корыстолюбивый постой проезжих тому главною причиной. ибо в таком случае пекутся о постояльцах, а детей не блюдут». На том же самом основании он не допускал в своей подмосковной деревне (Рожествене) прием питомцев воспитательного дома. «Чужие дети из сиропитательного дома приносят одно нерадение за собственными детьми: мзда ослепляет; оттого чужих детей на воспитание не брать». В наказе

новгородским деревням говорится: «особливо берите дворовых ребяточек, одевайте их тепло и удобно, давайте им здоровую и довольную пищу и надзирайте их воспитание в благочестии, благонравии и науках, чтоб не были со временем такие, как прежние злонравные холопы». Находясь потом на службе в Херсоне и имея надобность в трех дворовых женщинах, он приказывает их прислать, называя поименно, и указывает, к кому именно и как пристроить временно их детей. Отвращая эксплуатацию детей их родителями, он ставит правилом, чтобы малолетних ребят, не имеющих 13 лет, никогда вместо их матерей в работу не посылать. Вообще он отличался постоянною заботливостью о детях, так как знал очень хорошо, что в деревнях по этой части похвалиться нельзя [23].

Впрочем его человеколюбивое чувство не ограничивалось детьми, а распространялось вообще на бедствующих и неимущих, если не пороки привели их к несчастью. Выше было дано несколько тому примеров. Вновь прибавившимся покупкою от соседей неимущим крестьянам он приказывает пособлять миром, решая это дело сообща, при священнике, но не иначе, как заимообразно, дабы тут не было никакого дара. Разрешая рубить и валить лес для пожогов и пашни в известных местах, он велит «удовольствовать прежде скудных, а за сим уже достаточных, совместным рассмотрением, при священнике». В случае обиды беднякам от достаточных, он грозит строгим взысканием «за неприличность сию». На этом же основании он запрещает торговать солью перекупщикам, а покупать ее велит опять-таки миром, собирая с семей деньги пропорционально потребности, и делить купленную соль в самый день её привоза, Уважая и поддерживая постоянно значение мира, как обычай органический, выработанный историею народа, Суворов однако зорко следит, или по крайней мере старается следить, за злоупотреблениями богатых и влиятельных людей, оберегая от них бедняков и захудалых.

Человеколюбие Суворова постоянно выказывается в разных случаях. Так как он приказал, чтобы дворовые женщины кормились собственным трудом, то некоторые из них впали в нищету. Он пишет Качалову в 1786 году: «слышу, что две старухи терпят нужду; выдавать им от меня прежнее жалованье с порционами». Он приказывает миру пособлять старым и увечным вдовам, не дозволяя им нищенствовать, и иногда дает от себя пособие, например в виде месячной дачи муки, с тем однако же, чтобы беспомощность положения пенсионера была предварительно удостоверена священником.

Крестьянин Деев за старостью посажен на пенсион от мира,

вместе с женою, по 6 рублей в треть. В Кончанском проживало постоянно, много лет сряду, 6 человек инвалидов; они получали по 10 руб. в год, имели от помещика жилье и кроме того некоторое содержание натурой. Временами на таком положении являются и другие люди. Не забывает Суворов прежнюю службу даже лошадей своих. Их было 4: две «за верную службу в отставке на пенсии»; остальные две дешево продать крестьянам или и подарить, «но Боже избавь, не с тем, чтобы заездить». Если же эти две лошади очень стары, то оставить на пенсии, только «изредка проминать и проезжать без малейшего изнурения, а летом пасти сохранно в табунах» [20].

Жила у Суворова в имении, на его пенсии, и более крупная пенсионерка, вдова капитана Мейер, в продолжение лет 10, а может быть и больше. «Мейерша» жила в Кончанском, в помещичьем доме, имела 3 дочерей; пенсии ей шло 100 рублей в год, кроме того дана корова и поставлялась разная провизия и живность, так что в общем итоге на нее расходовалось до 180 или до 200 рублей. Но и этим дело не ограничивалось; дом в Кончанске был ветх, Мейер пожелала иметь новую избу, — желание её исполнилось; понадобилось ей съездить в Петербург, — ей были выданы деньги на поездку. Наконец, в средине 90-х годов она вздумала совсем перебраться в Петербург, пенсион ей продолжался и там. По каким причинам или побуждениям Суворов ей благодетельствовал, остается неизвестным; только это не было последствием нежных отношений, сердечной связи или чего-нибудь подобного [24].

Другой крупный пенсионер, по обязательству, был троюродный его брат, «малоумный» Никита, имением которого Суворов владел на условии выплачивать ему ежегодный пенсион в 224 рубля. Первые годы пенсия выплачивалась именно в этой цифре, но потом Суворов увеличил ее сначала до 360, затем до 500 рублей. Не была забыта и служба камердинера Суворова, Прохора. В 90-х годах велено производить его отцу, дворовому человеку, годовую пенсию во его рублей, а самому Прохору обещаны вольная и сумма в 5000рублей, что и было исполнено по смерти Суворова его сыном [25].

Выше мы видели, что Суворов удерживал от слишком крутого обращения с крестьянами одного из своих управляющих. Однако он крестьян не баловал и иногда поступал с ними довольно круто, прибегая подчас к телесным наказаниям. В донесении к нему мира одной из вотчин читаем: «Денис Никитин пойман в поле с чужими снопами, за что на сходе сечен». Суворов пишет сбоку: «очень хорошо, впредь больше сечь». «Иван Сидоров пойман с рожью в гумне и за это сечен». — «И впредь не щадить».

«В чужой деревне пойман наш мужик Алексей Медведев с сеном и за это сечен». — «Ништо, и впредь хорошенько сечь». «Он же убоясь солдатства, топором себе руку отрубил». — «Вы его греха причиной, за то вас самих буду сечь; знать он слышал, что от меня не велено вам в натуре рекрут своих отдавать». В приказе Суворова одной из вотчин значится: «крестьяне деревни Федорихи (двое), хотя исполняют таинства и обряды, но держатся суевериев, раскольнических правил, проклятых св. отцами. Если правда, высечь их в мирском кругу розгами, как глупых ребятишек. Если же будут являться бродяги, кои станут совращать в раскол, то их ловить и метлами и вениками выгонять миром вон за свою межу». В другом приказе он пишет: «в оспе ребят от простуды не укрывали, двери и окошки оставляли полые, и не надлежащим их питали; небрежных отцов должно сечь нещадно в мирском кругу, а мужья — те с их женами управятся сами» [24].

В последнем случае прямое приказание как бы заменяется советом; безусловные приказания — прибегнуть к телесному взысканию, встречаются редко. Он больше грозит, чем действительно наказывает; это явствует между прочим из того. что подобные приказы Суворов дает обыкновенно в письмах к миру, к старостам, к бурмистрам и лишь в виде исключения в наказах своим управляющим. Да и от крестьян он не мог скрыть и не скрывал своего настоящего взгляда на этот предмет. Грозя пензенским деревням за невысылку оброка, чрез что приходится затягивать отдачу долгов и платить проценты, он говорит: «взыщу с вас мой убыток, да еще на ваш счет пошлю к вам нарочного; он пожалуй и телесно накажет, хотя того у меня и не водится». Оставляя в Ундоле временно-управляющим, на свое отсутствие, одного из своих младших офицеров, Суворов снабжает этого новичка наставлением где, между прочим указывает и на постепенность практикуемых у него взысканий: «1) словесно усовещевать, 2) сажать на хлеб и воду 3) сечь по рассмотрении вины розгами». Вообще у него вовсе не практикуются такие наказания, какие бывали у других явлением заурядным: заковывание в цепи, надевание рогатки на шею, батоги, плети и даже кнут. Граф Румянцев был по тогдашним понятиям помещик строгий, но вовсе не жестокий; сличение же его системы наказаний крестьян с Суворовскою доказывает, что Суворов поступал со своими крепостными гораздо мягче [26].

Часто он прибегал к наказаниям особого рода. В суздальскую вотчину написано: «крестьян, которые самовольно повенчались и были грубы против священника, отдать на покаяние в церковь и приказать говеть им в Филипов пост». У крестьянина

Калашникова умерла от оспы малолетняя дочка, и отец при этом сказал: «я рад, что Бог ее прибрал, а то она нам связала руки». По этому поводу Суворов приказывает: «Калашникова, при собрании мира, отправить к священнику и оставить на три дня в церкви, чтобы священник наложил на него эпитемью... Старосту за несмотрение поставить в церковь на сутки, чтобы он молился на коленях и впредь крепко смотрел за нерадивыми о детях отцами». Встречается даже такой случай: двое крестьян были изобличены во лжи; Суворов приказывает справить с одного 5, с другого 10 к. и отдать на церковь. Ложь и лесть он преследует постоянно; в градации пороков они занимают, по его понятиям, едва ли не первое место, ибо под ними он подразумевает крайнюю испорченность. Он приказывает: «чтобы Василий огородник не зальстил, а был радетелен»; меньше всего доверяя дворецкому Николашке, велит за ним присматривать зорко, так как он льстец и лжец [27].

В трех из имений Суворова находились при усадьбах барские дома, которые впрочем были барскими только по назначению, а не в смысле комфорта, или тем менее роскоши. Лучше других был дом в Ундоле по величине, устройству и внутреннему снабжению, но и это случилось отчасти против воли Суворова. Он назначил на постройку дома 200 руб., а когда Черкасов стал возражать и доказывать, что такой малый домик «фамильной вашей особе неприличен», то Суворов согласился на 400 руб. Вышел дом однако в 800 руб., причем Черкасов уверял, что «самое существо с моей стороны здесь беспорочное». В Кончанске дом был старый, выстроенный Василием Ивановичем, в 10 небольших комнат. Были при господских домах и кое-какие сады, но должно быть не важные; Суворов обратил на это внимание, велел садить сады, разводить фруктовые деревья, исправлять огороды, заводить цветники. Таким образом, в Кончанском разведен в 1786 году сад на десятине земли, и ныне существующий; там же «замышлялись» оранжереи, по в подмосковном селе Рожествене они существовали действительно и поддерживались исправно [28].

Постоянною и больною заботою Суворова были церкви. Значительная часть оброков шла на исправление старых и на сооружение новых. он пишет Качалову: «я и всех своих оброков на этот предмет ни мало не жалею». В новгородском имении, в Сопинском погосте, строилась каменная церковь, и строилась долго; хотя Суворов и торопил, но она при его жизни не была еще совершенно окончена. Воздвигалась также небольшая деревянная церковь в Кончанске, в господском саду, которая стоит и ныне, возобновленная по прежнему образцу. Параллельно с заботами о

церковных зданиях, утвари и вообще благолепии, отдавались распоряжения о помещениях для причта и его содержании; Суворов лишнего не давал, но в необходимых потребностях церковный причт обеспечивал [29].

Хозяйство при господских усадьбах было не сложное; но где он жил довольно продолжительное время, там оно принимало другой вид и размеры, а в Рожествене было сравнительно очень полное, как в подмосковной средней руки быть надлежало. Из распоряжений его об усадебном хозяйстве видно, что дело это он понимает, ибо дает подробное и обстоятельное наставление о разведении дворовой птицы, указывает как разводить скотину, как ее кормить, как и когда сажать фруктовые деревья, какой землей их засыпать/как сажать рыбу в пруды, сколько возить на огородные гряды навозу, и проч [22].

Какой же однако был конечный результат Суворовского хозяйства в имениях?

Если принять в соображение, что Суворов находился в своих имениях и был в них непосредственным деятелем лишь короткое время, то обобщая его распоряжения, не исключая мелочей и частностей, следует признать его помещиком хорошим. Все остальное зависело от управляющих и доверенных лиц; они в свою очередь, в большинстве случаев, были или порядочными хозяевами, или аккуратными исполнителями воли помещика. Так по крайней мере стояло дело в 80-х годах. И если кто приплачивался лишним, то скорее сам владелец, чем крестьяне. Одному из управляющих, предложившему завести конский завод, он отвечает: «я по вотчинам ни рубля, ни козы, не токмо кобылы не нажил, так и за заводом неколи мне ходить, и лучше я останусь на моих простых незнатных оброках». Если тут и есть преувеличение, то небольшое.

Правда, крестьяне по временам вопили миром вследствие некоторых распоряжений Суворова, например о рекрутах; жаловались на разорение, на всеобщее оскудение, на неизбежное впереди хождение по миру и молили своего «государя» придержаться порядков его родителя. Но все это за чистую монету принимать нельзя; это было не более, как непривычка к новому и попытка выторговать в свою пользу как можно больше всяческими способами. Суворов сердился и конечно настаивал на своем, отдавая приказы чисто военного характера. У подневольного, крепостного люда, который совершенно также жаловался на свою долю при Василие Ивановиче, хотя и указывал при Александре Васильевиче на золотое минувшее время его отца, — оставались другие пути. Кормя на мирской счет лошадей своего помещика, подавали счет, в пять и в десять раз

превышавший действительность, хотя поверка этого счета была делом вовсе не мудреным. В подмосковной рубили господский лес, лупили бересту, возили дрова в Москву, якобы «из непотребного леса», и потом, для скрытия истины, остатки поджигали и тем портили лес нетронутый. В один год таких дров было насчитано 380 сажен. Недоимщики слезно жаловались на свое разорение, на безысходную нищету и денег не платили. Такие факты не доказывали еще ни дурного управления и хозяйства, ни действительной бедности крестьян. Недоимщики являлись на сходы с готовыми деньгами за пазухой и уносили их опять домой; господский лес воровали и портили люди зажиточные; несостоятельными при взносе оброчных денег объявлялись крестьяне, имевшие по четыре коровы и по нескольку лошадей. Если в связи с этими документальными данными припомнить случай, когда Суворов пришел в ужас, что у крестьянина Иванова всего одна корова, и принять в соображение, что оброки иногда требовались и вносились за полгода и за год вперед, без заметного отягощения плательщиков, то истинное состояние Суворовских крестьян представится очень удовлетворительным. Это подтверждается многими соображениями и выводами; для примера укажем на одно обстоятельство. Когда Суворов купил имение во владимирском наместничестве, то стали возвращаться восвояси крестьяне, бежавшие при прежнем владельце. Приходили они даже из дальних мест. из-под Астрахани и из земли Донского войска, ибо про нового помещика шла хорошая слава).

Внутреннее убранство деревенских домов Суворова было приличное и не выделялось из общепринятой обстановки того времени, так же как и домашний обиход, преимущественно в Ундоле, где он жил. Тут мы находим занавесы дверные с подзорами, стенные зеркала в золоченых рамах, довольно много серебра, картины, портреты и проч. В Кончанском обстановка проще и беднее, как в месте мало жилом. В московском доме находим парадные ливреи синего цвета и даже такие барские того времени затеи, как арабский и скороходский уборы. Надо думать однако, что многое перешло к Суворову по наследству от отца, а в купленных имениях от прежних владельцев. Суворов только поддерживал общепринятые порядки, потому что того требовало приличие, но воспитавшись в солдатской обстановке, роли своей не выдерживал. Надо было прикупить мебели — он покупал простые некрашеные стулья, которые употреблялись рядом с золочеными зеркалами. Посуда приобреталась тоже недорогая и красовалась на столе рядом с серебряными мисами и подносами; впрочем серебра было немало потертого и переломанного. Общий

вид получался оригинальный: неровность, несоответственность частей, богатое около бедного, хорошее около худого. Икон было довольно, непременно по одной в каждой комнате, но киотов с большим числом образов в описях не встречается. Из разных статей имущества больше всего седел, узд и другого конского прибора. Между вещами туалета значится между прочим халат, батистовые галстуки, голландского полотна рубашки.

В эту пору Суворову было далеко за 50 лет. При небольшом росте он был сухощав, даже сутуловат, лицо в морщинах, на голове довольно редкие седые волосы, собранные спереди локоном. Небольшие голубые бегающие глаза светились проницательностью и сильной энергией; его взгляд, слова, движения отличались необыкновенной живостью, он как будто не знал покоя и производил на наблюдателя впечатление человека, снедаемого жаждою делать разом сотню дел. При всем том он обладал веселым, общительным характером и не любил вести жизнь анахорета. Впрочем живя в деревне, он посещал соседей не часто, а больше принимал у себя; любил и пообедать в компании, и позабавиться, особенно потанцевать или, как он выражался «попрыгать». рассеянной, что называется *открытой*, жизни он однако не любил и не вел; больших и частых приемов не делал. Излишества, роскоши на его приемах и угощениях конечно не было; стол у него был простой, обыкновенный, не ограничиваясь однако же похлебкой и кашей; выписывались из Москвы анчоусы, цветная капуста, формы для приготовления конфект, разные напитки. Вино он пил разное, но выписывал в небольшом количестве и содержал запасы самые незначительные; больше всего любил английское пиво. Для гостей выписывал «кагор или иное сладкое вино; также сладкое, но крепкое для дам». Вино было вероятно плохое: и сам Суворов не любил расходоваться на этот предмет, и комиссионер его, Матвеич, старался преимущественно о дешевизне. Суворов был требователен лишь в английском пиве и особенно в чае, неоднократно убеждал Матвеича не экономничать на этой статье расхода и советоваться со знатоками. Обедал рано, спать ложился и вставал тоже рано.

Времяпрепровождение его дома видно из корреспонденции с Матвеичем. Требовались камер-обскура, ящик рокамбольной игры, канарейный орган, ломберный стол, марки, карты, шашки, домино, музыкальные инструменты, ноты, наконец гадательные карты, «для резвости» прибавляет Суворов, как бы в свое извинение. Забавлялся он также охотой за птицей, но не особенно; записным охотником никогда не был и ничего похожего на охотничий штат не содержал. Не был он и карточным игроком, играл редко, когда обойтись без того нельзя, и держал карты для

гостей, так как уже и в то время это развлечение было многими превращено в занятие. Табаку не курил, но нюхал, и по этой части был разборчив, так что Матвеичу приходилось смотреть в оба, чтобы угодить своему начальнику и не снабжать его вместе с табаком головною болью [4], [15], [26].

Вставал Суворов со светом и обыкновенно сам подымал крестьян на работу. Ходил он много и очень скоро, особенно по утрам; церковь посещал усердно. Путь в церковь вел через речку; в весеннее половодье, как говорит местное предание, он приказал спустить на воду большой винокуренный чан, утвердить канат с одного берега на другой, и в этом чане переезжал как на пароме. При хорошей летней погоде он иногда обедывал с гостями на берегу реки, невдалеке от господского дома, на какой-нибудь уютной лужайке. Если гости жаловали не в пору или приходились ему не по вкусу, то отправившись с ними на послеобеденную прогулку, он незаметно скрывался и ложился в рожь спать, оставляя всю компанию на долгое время в недоумении.

Зимою Суворов любил кататься на коньках, устраивал у себя ледяную гору и на масляной забавлялся на ней вместе с гостями. Тут было ему обширное поле для шуток и проказ. На зиму же он устраивал у себя некоторое подобие зимнего сада или, говоря его словами, «птичью горницу». Для этого отводилась одна из самых больших комнат; с осени сажались в кадки сосенки и елки, отчасти березки, и кадки эти ставились в отведенную комнату. Получалось некоторое подобие рощицы; налавливались синицы, снегири, щеглята и пускались в эту рощицу на зиму, а весной, преимущественно на Святой неделе, выпускались на свободу. Птичья комната содержалась в большой чистоте; тут хозяин прогуливался, сиживал, даже обедал [30].

Деревенская деятельность конечно не могла удовлетворить Суворова, рожденного и призванного совсем на другое поприще. Проходили мимо Ундола войска, делались им смотры, велась служебная переписка, по все это была не та служба, которой он искал. Оттого он находится в некотором беспокойстве и жаждет новостей, за которыми и обращается куда возможно. Главным источником служит Москва и проживающий в ней Матвеич, на которого он и возлагает собирание и сообщение слухов, «любопытства достойных». Не получая ответа, он задает Матвеичу категорические вопросы: «какие у вас слухи? Нет ли мне службы или чего неприятного? Правда ли, что князь Потемкин с месяц, как проехал в Петербург? Какие вести на Кубани?» При тихой деревенской жизни его интересует все, ему хочется знать даже неприятное, хотя бы сомнительной верности известие, лишь бы прикоснуться к интересующей его сфере. Сидя на пресном, он

хочет пряного. И ему шлют разные известия: как приехала графиня такая-то в Москву, кому пожалованы ленты польского ордена, кому даны табакерки, какой вице-губернатор отрешен от должности с половинным содержанием, и тому подобное. Едва ли подобные новости удовлетворяли Суворова, и его жизнь оставалась пресною [21].

Один из историков Суворова говорит, что мирное время перед второй Турецкой войной, потерянное для практики, Суворов употребил на изучение теории. Такое утверждение едва ли верно; Суворов познакомился с теорией военного дела гораздо раньше; ему уже не зачем было изучать то, что он давно знал. Но будучи человеком просвещенным, он нуждался в чтении, как в умственной пище, и действительно читал много и постоянно. Одно время он даже держал при себе на жалованье чтеца, Ни из чего не видно, чтобы он читал исключительно книги по военной специальности; военные сочинения конечно не миновали его рук, но они не занимали первого места. Его привлекало знание вообще, в смысле расширения умственного кругозора.

В инвентарях его имущества 80-х годов значатся порядочные массы книг. В московском доме сохранялось 14 сундуков и одна коробка книг; в кончанском доме меньше, но все-таки довольно много, особенно религиозного содержания, преимущественно русские, но были и французские; много современных планов и карт. Каталоги не сохранились. В 1785 году Суворов выписывал следующие периодические издания: Московские ведомости с Экономическим Магазейном; Петербургские немецкие ведомости и Энциклопедик де-Бульона, как он сам называет; всего на 50 руб. Последнее издание имело заглавие: «Journal encyclopeduque, par une societe de gens de lettres, a Liege», и выходило с 1756 по 1793 год. Эту энциклопедию Суворов любил особенно. Кроме периодических изданий он купил в этом году несколько книг, заглавия которых в документах стерлись или испортились, но между ними была: «О лучшем наблюдении человеческой жизни», которую он выписал для себя и для управляющих имениями. Он приказывал Матвеичу от искать и прислать к нему книгу Фонтенеля: «О множестве миров», которую он перечитывал неоднократно. Книга эта, переведенная с французского Кантемиром, считалась вредною, так что в 1756 году последовал доклад синода Императрице об отобрании её от тех, у кого она имеется. Затем ни о дальнейших покупках книг в 1785 году, ни о том, что именно он выписывал и читал раньше или позже, никаких сведений нет. Видно только, что «Journal encyclopeduque» он получал много лет [3].

Чтение тем более было необходимо Суворову для заполнения

досугов в деревне, что в домашней его жизни случился важный переворот, которого он не мог перенести равнодушно; он разъехался с женой.

Суворов женился в начале 1774 года. Произошло это внезапно, и в жизнь Суворова врезалось в виде совершенно постороннего клина. Для такого исключительно-военного человека, как он, и притом задавшегося очень отдаленной целью, было лишним усложнением задачи все то, что не сближало его прямо или косвенно с намеченной целью. Едва ли отрицание семейной жизни входило в его программу, но еще менее он мог признать ее для себя необходимого или даже полезною. Еще в конфедератскую войну он считал женщину вообще и связь с нею помехою для своего призвания; не могла не быть такою же помехою ему и собственно жена. Но внебрачная связь не согласовалась со складом понятий Суворова, ни с его религиозно-нравственным чувством, а брачная, если и шла в разрез с одним, то ни мало не оскорбляла другого. Суворов не был неуязвим со стороны чувства, как он сам в том сознавался. Он мог заглушить, подавить в себе проявления иистинкта и чувства, благодаря огромному запасу энергии, которым обладал, но не мог их уничтожить в зародыше. Когда-нибудь, при благоприятных условиях, они непременно должны были заявить себя и повлиять на строй его жизни.

В начале 70-х годов, в Польше, ничто не обнаруживало в мыслях Суворова и тени склонности к переходу от холостого состояния к брачному, скорее — напротив. Нуждаясь после захвата Кракова конфедератами в содействии польских коронных войск и именно в полке Грабовского, Суворов в письме к своему начальнику сомневается в способности этого польского генерала к быстрым действиям, объясняя причину сомнения фразой: «Грабовский, с женою опочивающий» [3]. Не видно в Суворове поворота в его взгляде на брак и позже, да оно и не особенно нужно для объяснения свершившейся затем женитьбы.

Перед отъездом из Петербурга в Турцию, в начале 1773 года, Суворов не видался со своим отцом по крайней мере 4 года, а так как на путь от Петербурга до Дуная он, вопреки своему обыкновению, употребил довольно много времени, то и надо предполагать, что заезжал в Москву, к отцу. Только тогда он и мог познакомиться со своей будущей невестой; если же этого не было, то познакомился с нею еще позже, в декабре, когда приехал из-под Гирсова в отпуск. В том и другом случае женитьба его состоялась значит без продолжительных размышлений. Едва ли может подлежать сомнению, что дело было подготовлено его отцом, который, по выходе в отставку, жил в Москве и в своих

имениях. Василий Иванович сам женился рано, не имея 25 лет от роду; в 1773 году ему было около семидесяти, а сын все еще оставался холостым, несмотря на свои 43 года. Такие собиратели и скопидомы, как Василий Иванович, склонны к семейной жизни, желают иметь потомство и видеть детей своих таким же образом устроенными. Обе дочери Василия Ивановича были уже замужем, — отрезанные ломти, — с которыми он конечно считал себя совершенно квит, тем более, что снабдил их приличным приданым. Продолжал жить одиноким лишь сын, единственный сын, с которым бы прекратился род; сын этот был не мот, не кутила, не любил роскоши и в арифметической стороне жизни отчасти держался направления своего родителя. Как же было Василию Ивановичу, дожившему до преклонных лет и понимавшему, что смерть близка, не потребовать для себя, старика, последнего от сына утешения — женитьбы?

Василий Иванович был отец строгий, что конечно не имело прямого значения в ту пору, когда он решился сына женить; но память об отцовской строгости остается в детях и в зрелом возрасте, иногда оказывая на них некоторое влияние, Александр Васильевич был почтительный сын и любил своего отца искренно; позже, когда ему приходила на ум мысль об оставлении службы, он говорил, что удалится поближе к мощам своего отца. Он должен был признать отцовские доводы уважительными; его человеческая натура подсказывала ему тоже самое. Хотя предначертанный путь жизненной деятельности расстилался перед ним еще очень длинным, очень далеким до цели, но Суворов не мог в то же время не чувствовать сухости пройденной жизни; некоторого нравственного утомления от чрезмерного однообразия влечений и дел. Он был старый холостяк, человек способный обманываться в известном направлении скорее и легче, чем юноша, тем более, что вел жизнь строго-нравственную, женщин не знал, в тайны женского сердца никогда не вникал и нисколько этим предметом не интересовался. Понятно, что он не стал противиться просьбам отца, и это важное в жизни каждого человека дело повершил с обычною своею решимостью и быстротой.

В таком смысле представляется женитьба Суворова при соображении всех обстоятельств и его личных свойств. Некоторые объясняют ее иначе, указывая, что он смотрел на брачный союз, как на обязанность каждого человека: «меня родил отец, и я должен родить, чтобы отблагодарить отца за мое рождение». Но это взгляд старческий, образовавшийся у него после неоправдавшихся надежд на семейное счастие. Если Суворов так думал в молодые годы, то почему же он не женился раньше, а

дотянул до пятого десятка лет? Очевидно, что его толкование есть не причина, а последствие его женитьбы.

Одно обстоятельство представляется тут не совсем ясным. Василий Иванович любил деньги и должен бы был рекомендовать сыну невесту богатую. Между тем Александр Васильевич взял за своею женою приданое небольшое, которое, за исключением быть может вещей её туалета, не превышало 5 или 6,000 рублей [21]. А жених имел уже такую известность, что мог считаться так сказать удочкой для невест, особенно в Москве. Но зато имелся и противовес скромным средствам невесты: она принадлежала по своему рождению к первостатейной московской знати. Одно другого стоило, особенно для Василия Ивановича, который был хотя старой и почтенной, но не знатной фамилии, сам собою вышел в люди и потому не прочь был от именитого родства, Сверх того невеста, кроме связей, обладала преимуществами молодости и красоты; на всем этом можно было помириться и успокоиться.

Если женитьба устроилась в последний приезд А. В. Суворова из Турции, то надо полагать, что ей предшествовала переписка между Суворовыми, отцом и сыном. Слишком пассивного отношения Александра Васильевича к такому радикальному изменению его жизни допустить нельзя, особенно в его годы. Переписка эта не сохранилась, как вообще не дошло до нас никакой корреспонденции между отцом и сыном ни за какой период их жизни, кроме немногих писем делового характера, касающихся имений, денег и т. под.

Подысканная невеста, Варвара Ивановна, была дочь генерал-аншефа князя Ивана Андреевича Прозоровского. Лета её с точностью неизвестны, но есть основание полагать, что она родилась в 1750-1753 годах, следовательно была по меньшей мере на 20 лет моложе своего жениха. Помолвка состоялась 18 декабря 1773 года, обручение 22 числа, свадьба 16 января 1774 года. Все это видно из писем тещи Суворова к её брату, вице-канцлеру князю А. М. Голицыну, из двух писем самого Суворова к нему же, где он «препоручает себя в его высокую милость», и из приписки Варвары Ивановны, рекомендующей своего мужа. Сверх того Суворов пишет 23 декабря 1773 года Румянцеву: «вчера имел я неожидаемое мною благополучие — быть обрученным с Варварою Ивановною Прозоровскою», и просит извинения, если должен будет замешкаться в отпуску дальше данного ему термина [33].

Первые годы супруги жили в согласии, или по крайней мере никаких крупных неприятностей между ними не происходило. Разлучались они часто, по свойству службы Суворова, но при

первой возможности снова соединялись. Мы встречаем Варвару Ивановну в Таганроге, в крепости св. Димитрия, в Астрахани, в Полтаве, в Крыму, — везде, где Суворов мог доставить ей некоторую оседлость и необходимейшие удобства, Не видно её лишь в Турции и в Заволжье, во время погони за Пугачевым; ни тут, ни там ей и не могло быть места при муже.

Было бы однако же дивом, если бы они ужились до конца. В муже и жене ничего не было однородного: он был стар, она молода; он очень неказист и худ; она полная, румяная русская красавица; он ума глубокого и обширного, просвещенного наукой и громадной начитанностью; она недалека, неразвита, ученья старорусского; он — чудак, развившийся на грубой солдатской основе, обязанный всем самому себе; она из знатного семейства, воспитанная на внешних приличиях, на чувстве фамильного достоинства; он — богат, но весьма бережлив, ненавистник роскоши, мало знакомый даже с требованиями комфорта; она таровата, охотница пожить открыто, с наклонностями к мотовству. Не обладали они и самым главным условием для счастливой семейной жизни — характерами, которые бы делали одного не противоречием другого, а его дополнением. Суворов был нрава нетерпеливого, горячего до вспышек бешенства, неуступчив, деспотичен и нетерпим; он много и постоянно работал над обузданием своей чрезмерной пылкости, но мог только умерить себя. а не переделать, и в домашней жизни неуживчивые качества его характера становились вдвойне чувствительными и тяжелыми. Варвара Ивановна тоже не обладала мягкостью и уступчивостью, т.е. качествами, с помощью которых могла сделать ручным такого мужа, как Суворов. Вся эта нескладица должна была привести рано или поздно к плачевному исходу, а когда ко всему сказанному присоединилось еще легкомысленное поведение Варвары Ивановны, то разрыв сделался неустранимым.

В сентябре 1779 года Суворов подал в славянскую консисторию прошение о разводе, а жена его уехала в Москву. Консистория отказала за недостаточностью доводов. Суворов апеллировал в синод, который и приказал архиепископу славянскому и херсонскому пересмотреть дело. Вероятно под влиянием родительских советов, а может быть и по собственному побуждению, Варвара Ивановна возвратилась к мужу и упросила его помириться. В январе 1780 года Суворов подал в этом смысле заявление, и дело осталось без дальнейшего движения [34].

Неудовольствия однако снова возникли вскоре; Суворов, как человек искренно религиозный, прибегнул к посредничеству церкви. В это время он находился на службе в Астрахани. По

заранее сделанному соглашению, он явился в церковь одного из пригородных сел, одетый в простой солдатский мундир; жена его в самом простом платье; находилось тут и несколько близких им лиц. В церкви произошло нечто в роде публичного покаяния; муж и жена обливались слезами, священник прочитал им разрешительную молитву и вслед затем отслужил литургию, во время которой покаявшиеся причастились св. таин [35].

Мир опять восстановился, только внешний. Супруги жили вместе до начала 1784 года, и тогда расстались окончательно. Суворов, находясь в одном из своих имений, подал в мае прошение прямо в синод опять о разводе же. Синод отвечал, что не может дать делу ход, потому что «подано доношение, а не челобитная», как требуется законом; что для развода не имеется «крепких доводов»;что Варвара Ивановна живет в Москве, следовательно и просить надо московское епархиальное начальство, а не синод [34].

На этом и кончилась попытка Суворова развестись с женой, но шла деятельная переписка с Матвеичем и другими доверенными лицами в Москве, с целью совершенно разлучиться с Варварой Ивановной. Он послал между прочим письмо Платону, московскому архиепископу, заявляя, что поднимать снова разводное дело не намерен, а пишет только для отстранения клевет. Охотник до ведения всякого рода дел, Черкасов, подбивает Суворова требовать развода, но безуспешно; Суворов пишет Матвеичу, что «об отрицании брака, думаю, нечего помышлять»; в другом письме, как бы для подкрепления себя в этой решимости, говорит, что «ныне развод не в моде». Не без колебаний он назначает жене 1200 р. в год и намеревается возвратить приданое или его стоимость, переписывается по этому предмету не с женою, а с тестем, очень сухими письмами, прибегая к посредничеству разных лиц, в том числе и преосвященного Платона, Получив из Петербурга известие, будто тесть имеет намерение «о повороте жены к мужу», Суворов тревожится этим слухом; видно, что расстаться с женой он решился зрело, не сгоряча. Матвеичу дано даже поручение — переговорить лично с преосвященным, и сообщены доводы против возможности опять сойтись с женой, так как владыка несомненно будет на этом настаивать. «Скажи, что третичного брака уже быть не может и что я тебе велел объявить ему это на духу. Он сказал бы: «того впредь не будет»; ты: «ожегшись на молоке, станешь на воду дуть»; он: «могут жить в одном доме розно»; ты: «злой её нрав всем известен, а он не придворный человек» [4].

Возвратить приданое было трудно, так как тесть по-видимому этого не желал. Суворов приказывает Матвеичу настаивать:

«неистовою силою из меня сделать не можно», говорит он для передачи по принадлежности: «приданое я не столько подл, чтобы во что-нибудь зачесть, а с собою в гроб не возьму». Тестю он пишет о том же и убеждает взять приданое, так как оно тлеет, не принося никому пользы. Кажется эта статья наконец сладилась по желанию Суворова.

Впоследствии, через несколько лет, женину пенсию он увеличил до 3000 рублей [36].

Нельзя сказать, чтобы это деликатное дело Суворов вел с тактом и приличием, которых оно требовало. Вместо того, чтобы замкнуться в самом себе и не допускать не только посторонних рук, но и глаз до своего семейного несчастия, он сделал свидетелями и участниками его целую массу лиц. После первой попытки получит развод в 1779 году, он пишет Потемкину письмо, излагает в общих чертах сущность дела, убеждает его, что другого исхода кроме развода оно иметь не может; просит Потемкина удостоить его, Суворова, высоким своим вниманием и предстательством у престола «к изъявлению моей невинности и к освобождению меня в вечность от уз бывшего союза». Прося вторично развода в 1784 году, Суворов входит в переписку об этом со множеством лиц, преимущественно из своих подчиненных, пускаясь в подробности и не заботясь об ограничении круга участников и сферы огласки. Приехав в том году на короткое время в Петербург, он только и говорит о своих семейных неприятностях, не маскируется искусственным спокойствием, а напротив нисколько не сдерживает себя и доходит чуть не до бешенства, Впрочем справедливость требует пояснить, что Суворов имел очень строгий взгляд на брак, логическим последствием такого взгляда являлось понятие о неразрывности освященного Богом союза, а потому если брак разрывался, то для стороны не виноватой было непременным делом чести и долга очистить себя от обвинения в таком беззаконии. Поэтому он считал своею обязанностью снять с себя вину в расторжении, если не брака, то совместной с женою жизни, требуемой браком; но той же причине он не скрывал и от других этого дела со всеми его обстоятельствами [37].

Раз убедившись в необходимости расстаться с женой, Суворов не мог простить ей этой необходимости и на первых же порах чуть не поссорился со своими ближайшими родственниками, подозревая их в поддерживании прежних отношений к Варваре Ивановне. Они нашли нужным перед ним оправдываться. Зять, князь П. Р. Горчаков, пишет ему, что не видался с князем Прозоровским, который с ним вовсе и не знается; что Варвару Ивановну они (Горчаков с женою) тоже не видят и никакой

переписки с нею не ведут: «итак ваши подозрения на сестер ваших и на меня неправильны». Сестра Суворова, Анна Васильевна, приписывает на письме мужа: «батюшка братец, выбыли в Петровском, а у нас не побывали; подозрения ваши истинно напрасны на нас». Однако это острое неприязненное чувство со временем в Суворове улеглось, так как другая его сестра, Марья Васильевна Олешева, принимала у себя, в вологодском имении, в 1799 году Варвару Ивановну, которая и гостила у нее несколько дней. Марья Васильевна не поступила бы наперекор брату, потому что все близкие родные Суворова очень его чтили, чему способствовало, по всей вероятности, и высокое его положение, которое он вскоре приобрел. Стоило ему только что-нибудь заявить, чтобы его желание исполнялось; каждое его слово, обращенное к кому либо из родных, принималось в соображение [38].

Детей у Суворова было двое. Старшая дочь, Наталья, родилась 1 августа 1775 года. Отец очень ее любил и даже некоторым образом потом прославил своими к ней письмами. О первых годах её жизни и воспитании в доме родительском почти ничего неизвестно; в октябре 1777 года Суворов пишет из Полтавы одному из своих знакомых, что дочка вся в него и в холод бегает босиком по грязи [39].

После того Варвара Ивановна была трижды беременна, но два раза разрешение от бремени было преждевременное; третий раз, 4 августа 1784 года, родился сын Аркадий. [40]

Как только Суворов разошелся с женой, он отправил свою дочь в Петербург, к кому именно - не знаем, должно быть к Лафон, начальнице Смольного монастыря, так как ни одна из сестер Суворова в то время в Петербурге не проживала, а других близких лиц, которым бы мог доверить своего любимого ребенка, он там тогда не имел. В том же году, в августе, он съездил в Петербург повидаться с Наташей, а с следующего года сохранились его к ней письма. Поступление её в число воспитанниц Смольного монастыря разные источники определяют различно, относя то к 1785 то к 1786 году; верно то, что в июне 1785 года она уже находилась у Лафон. В списках воспитанниц её не видать; вероятно воспитывалась она там на исключительном положении. на особом попечении начальницы. Что касается до новорожденного сына Аркадия, то он оставался при матери и лишь чрез несколько лет перешел к отцу [41].

Так распалась семья Суворова, и он на долгие годы, почти до смерти, остался одиноким. Обстоятельство это не могло пройти без всякого на него влияния. Как бы ни расходился он в своих взглядах и вкусах с женой, но присутствие её (особенно с детьми

(в доме должно было в некоторых отношениях производит на него благое, умеряющее влияние. Именно такой своеобразный человек, как он, в этом и нуждался. Но Варвара Ивановна не обладала на столько сильными личными средствами, чтобы уразуметь и оценить своего мужа со всех сторон; она понимала его слишком узко, именно с той стороны, откуда он был освещен самым невыгодным образом, и разлука совершилась. Не один раз конечно она себя в том упрекала, положим хоть бы по тому только поводу, что имя, ею носимое, более и более облекалось ореолом славы, с гордостью повторялось из конца в конец обширной Русской земли, а напоследок гремело во всей Европе. Но минувшее было уже невозвратимо. Суворов все больше специализировался, по мере возраставших успехов все глубже погружался в свою задачу. Остальное отодвигалось на задний план; к этому остальному принадлежала и жена, нелюбимая, покинутая. Едкого, горького чувства к ней почти уже не было; оно сменилось равнодушием, забвением. Один из историков говорит, будто Суворов никогда про жену в последующей своей переписке не вспоминал. Это неверно. В своей корреспонденции Суворов весьма часто употреблял вместо собственных имен прозвища или клички; приближенные лица, с которыми велась переписка, эти клички понимали и даже сами их употребляли в ответах. Такими кличками были: фагот, мусье, Полифем, зайчик, Кузьма — Федор — Иваныч, мусье-мадама, гоц-гоц и др. Одно из подобных прозвищ дано было и Варваре Ивановне; прозвище это попадается в деловой переписке Суворова довольно часто. Но тут идет речь почти исключительно о денежных делах; нет ничего, что говорило бы сердцу или шло от сердца. А близкие Суворову лица, особенно последующего времени, не смели да и не считали нужным делать попытки к изменению такого положения дел: перемена была бы не в их интересе.

После того именно времени, как Суворов разошелся с женой и остался одиноким, он приобретает громкую известность своими странностями и причудами. Нельзя конечно давать разлуке его с женой значение события, от которого ведется летосчисление его чудачеств и выходок, но внимательное изучение Суворова не дозволяет и отвергать влияния на него означенного обстоятельства, Оно, это влияние, только не укладывается в точную фактическую формулу; больше понимается само собой, чем доказывается. Нет ежедневной, ежечасной сдерживающей силы, — и человек свободнее отдается своему влечению. А велика ли сдерживающая сила или мала, — от этого зависит лишь степень её успеха.

Глава X. Вторая турецкая война: Кинбурн, Очаков; 1787—1788.

Непрочность мира; объявление войны. — Русские приготовления и план операций; усиленная деятельность Суворова; уныние Потемкина. — Нападение Турок на Кинбурн; выжидание Суворова; его атака; переменный успех; разгром Турок, — Упорство боя; две раны Суворова; ошибки. — Переписка Екатерины с Потемкиным о награждении Суворова.—Зимние его занятия; польза от построенных им батарей; дела на море. — Нерешительность Потемкина под Очаковом; вылазка Турок; преследование их Суворовым в надежде на поддержку; неудача и новая рана. — Болезнь Суворова: раздражение Потемкина; отзыв Екатерины. — Взрыв в Кинбурне; Суворов снова ранен. — Медленный ход очаковской осады: бедствия осадного корпуса; штурм

В Кучук-Кайнарджиском мире трудно было видеть действительное, прочное замирение; скорее он был роздыхом, чтобы собраться с силами, особенно для Турции. Турецкие государственные люди даже не скрывали своих намерений в будущем и, при обмене ратификаций, великий визирь прямо говорил в таком смысле русскому чрезвычайному послу, князю Репнину. Недоразумения возникли тотчас же и с годами увеличивались, так что понадобилось в 1779 году заключить новую, объяснительную конвенцию. Трактат нарушали обе стороны. Турецкие нарушения были постоянные и выражались в довольно резкой форме; т.е. самые факты нарушения, будучи довольно мелкими, так дурно маскировались, что Турция ловилась с поличным. Она была слишком раздражена и

озлоблена, оттого и не выдерживала роли. Россия действовала обдуманнее и искуснее. От прямых нарушений трактата она воздерживалась, соблюдала его букву и не влагала сама оружие в руки своего противника. В поступках её не было страсти, а один расчет; зато под приличными формами проводилось содержание, которое нарушало трактат существеннее турецких выходок и капризов, но без возможности явной улики; уликою являлись лишь результаты и последствия. Эти результаты и последствия сложились наконец в один крупный факт: Крым вошел в состав Русской империи.

Чем ближе становилась связь Крыма с Россией, тем жгучее ощущалась в Турции боль и настоятельнее делалась у нее потребность возвратиться к прежнему положению, которое коренилось на историческом прошлом и на значении Турецкого султана в качестве калифа. Тут был вопрос не о клочке территории, а о нравственном авторитете преемников Магомета. Потеря Крыма носила большой ущерб этому авторитету, а впереди грозила еще большим злом, так как составляла вступительную главу так называемого «греческого проекта» князя Потемкина. Этот проект, заключавшийся в изгнании Турок из Европы и в восстановлении Греческой империи, имел весьма мало жизненного начала и весьма много мечтательного, что впрочем ясно видно лишь теперь. Но в то время он не представлялся мечтой и фантазией, особенно Турции. Дело слишком близко до нее касалось и задумано было опасным соседом, в пору наибольшего его государственного роста и развития военной силы, в эпоху, богатую способными людьми, начиная с Государыни.

Еще более поддержала в Порте эти опасения поездка Русской Императрицы во вновь приобретенные области. Вся обстановка путешествия, свидание Екатерины с Римским императором, сборы и смотры войск и флота, — все это помимо её воли имело если не вызывающий, то по крайней мере подозрительный и несколько оскорбительный для Порты характер. Неудовольствие росло и громко высказывалось в Константинополе; народ роптал против пассивного, недеятельного правительства; появились разные угрожающие признаки национального и религиозного возбуждения. Порта и сама была возбуждена; она не колебалась в принятии решения, но только отсрочивала исполнение, выжидая времени.

Решимость эту поддерживали и укрепляли Англия и Пруссия. Вооруженный нейтралитет, объявленный Россиею в 1780 году, к которому скоро пристала почти вся Европа, нанес сильный удар Англии, воевавшей тогда с своими американскими колониями, с

Францией и Испанией; после этого удара она долго не могла оправиться и потому возбуждала противу России Турцию. Пруссия, потеряв своего великого короля, умершего в 1786 году, интриговала против России за сближение с Австрией, её всегдашней соперницей. Подстрекательства Англии и Пруссии имели успех тем паче, что запутывались отношения России с Швецией, и являлась для Турции некоторая надежда на диверсию со стороны Польши. Порту удерживало лишь опасение союза Австрии с Россией, но ей внушали, что союз этот надо предупредить немедленным объявлением России войны; что в России голод, а в Австрии внутренние смуты; что пропустит время, значит иметь дело с двумя врагами вместо одного, дав им возможность приготовиться и вооружиться.

Россия действительно не была приготовлена к войне, по крайней мере к близкой войне, ибо хотя на юге возводились города и крепости, строились корабли, преобразовывалась армия, но все это делалось вследствие необходимости устроить и обеспечить вновь приобретенную территорию. Турция была более готова, так как с самого Кучук-Кайнарджиского мира не покидала мысли о возобновлении войны, но все таки эта цель представлялась ей более пли менее отдаленной, да и производить систематические, деятельные военные приготовления она не могла, не возбудив в России подозрения и не побудив ее к тому же. Однако под конец Порта не выдержала и, отдавшись страстному влечению, повернула дело круто, неожиданно для самой себя. Она внезапно предъявила русскому посланнику Булгакову несколько неимоверных требований и дала для ответа всего месяц сроку. Потом, не дождавшись истечения этого термина, она выступила с новыми требованиями в виде ультиматума, несообразного до нелепости: возвращение Турции Крыма и признание недействительности трактатов, начиная с Кайнарджиского. Булгаков отказал и был тотчас же засажен в Семибашенный замок. Ослепление Порты было до того велико, что все представления и советы иностранных посланников она оставляла без всякого внимания; не согласилась даже сделать несколько предупредительных любезностей в пользу Австрии, чтобы удержать ее от немедленного союза с Россией, и тем выиграть время. Если Порта при этом на что-нибудь рассчитывала, то рассчитывала очень плохо: в конце 1787 года австрийские войска двинулись к турецким границам.

Августа 13 Турция объявила России войну; сентября 7 Екатерина издала манифест о принятии дерзкого вызова.

Формировались две армии, Украинская и Екатеринославская. Первой назначалась второстепенная, наблюдательная роль:

охранять безопасность наших границ и покой в Польше, прикрываясь с её стороны и прикрывая ее от турецких покушений; а также служить связью между назначенными к наступательным действиям армиями — Австрийской и нашей Екатеринославской. Последняя должна была овладеть Очаковом, перейти Днестр, очистить весь район до Прута и, в соединении с Австрийцами, подойти к Дунаю. Украинская армия отдана была под начальство Румянцева, Екатеринославская Потемкину, который уже был тогда фельдмаршалом. с ней же причислялись корпуса войск в Крыму и на Кубани. Большая часть черноморского флота находилась в севастопольской гавани; меньшая — близ Очакова и в Херсоне. Важнейшим районом при открытии военных действий был херсонско-кинбурнский, как прикрывавший Крым; район этот был поручен Суворову с 20 батальонами и 38 эскадронами. Засим находился еще один отдельный корпус на Кавказе, под начальством генерал-аншефа Текелли.

Пошли спешные распоряжения по укомплектованию войск, по вооружению кораблей, по заготовке и подвозу всякого рода довольствия, по формированию парков и т. н. Препятствия были многочисленные, трудноодолимые, особенно по продовольствию. для чего назначен в южной полосе России подушный сбор хлеба, а для обеспечения его, местами ограничено и даже вовсе запрещено винокурение.

Турки тоже готовились к войне усиленно и спешно, тем более, что им был не расчет затягивать свои приготовления. Каждый день промедления служил более на пользу России, чем Турции; надлежало воспользоваться хоть бы одним количественным перевесом турецкого флота над русским черноморским.

С начала августа Суворов находился на своем посту, в Херсоне. Отношения его к Потемкину были наилучшие и сношения с ним беспрестанные. Потемкин просил его особенно заботиться о здоровье людей; у Суворова это и без того было постоянным коньком, так что между ними существовала полная гармония. Потемкину приходилось даже успокаивать Суворова, умерять его впечатлительность. Местные условия сильно плодили больных, что очень тревожило Суворова; Потемкин утешает его, дает ему широкие полномочия на всякого рода издержки для болеющих и между прочим говорит: «мой друг сердечный, ты своею особою больше 10000 (человек); я так тебя почитаю и ей-ей говорю чистосердечно [1]. Суворов находился в своей сфере: дела было по горло, одна работа сменялась другою, он разъезжал из Херсона в гавань Глубокую, из Глубокой в Кинбурн, «сондировал» броды, давал инструкции, наблюдал за турецким флотом, строил

укрепления.

Турки имели обыкновение ежегодно высылать эскадру в очаковские воды; на этот раз выслали сильнее обыкновенного. Русский флот, находившийся в лимане, частию еще не вооруженный, уступал турецкому и числом и составом, ибо огромное большинство судов были мелкие и гребные. Два судна, фрегат и бот, стояли отдельно от других, ближе к Очакову; с них Турки и решились начать.

Между Очаковым и Кинбурном происходили в мирное время постоянные сношения. Так как разрыв предполагался, но еще не произошел, то 18 августа был послан в Очаков из Кинбурна за каким то делом офицер, не раз туда ездивший и знакомый очаковскому паше. Выслав своих людей и оставшись с посланным наедине, паша спросил у него, что нового. Когда офицер отвечал, что нового ничего нет, то паша объяснил ему, что объявлена война и что наш посланник в Константинополе арестован [2]. Затем он дал офицеру чауша для охраны, который и вывел его благополучно за крепостную черту. Поверили ли Русские предупреждению паши или нет, но только слова его сбылись на другой день. Сильная эскадра из легких турецких судов атаковала фрегат и бот; оба судна выдерживали бой успешно, отходя по направлению к гавани Глубокой, отбились от Турок и потопили две турецкие канонирские лодки, но и сами понесли довольно значительные аварии. Это неудавшееся нападение, произведенное до получения Русскими объявления войны, и было началом военных действий.

Суворов усилил свою деятельность и, для защиты гавани Глубокой и Херсона с его верфями от турецких покушений, заложил 6 земляных батарей и вооружил их орудиями. Тем временем Турки придвинулись от Очакова к Кинбурну и открыли по нем бомбардировку, которая продолжалась несколько дней почти без перерыва. Вред однако нанесен был ничтожный. Сознавая неудовлетворительность результата, Турки два раза пытались сделать высадку, но оба раза были отбиты, причем один из их кораблей сильно пострадал, а другой взлетел на воздух с 500 человек экипажа. Из русской эскадры, стоявшей в Глубокой, было отделено несколько судов для противодействия Туркам; но суда эти не решились подойти к Кинбурну ввиду несоразмерности сил. Хватило решимости только у одной галеры, командуемой мичманом Ломбардом, уроженцем острова Мальты. Пользуясь хорошим попутным ветром, Ломбард смело направился на турецкую эскадру и атаковал группу судов, стоявших отдельно. Эта дерзкая атака достигла цели; Турки приняли русскую галеру за брандер, а потому действовали против нее издали; затем

оставили свою позицию и придвинулись к Очакову. Ломбард был в огне 1 1/2 часа, не понес никакой потери в людях и гордо стал под Кинбурном на якорь. Спустя 5 дней, 15 сентября, Ломбард снова вздумал попугать Турок и атаковал их канонирские лодки, которые тотчас дали тыл и отошли под защиту своих линейных кораблей [3]. Поклонник и почитатель смелости и решительности, Суворов доносил Потемкину о Ломбарде, как о герое. Но смелость молодого мальтийца переходила в дерзость, он бросался на неприятеля, очертя голову; даже Суворов признал его предприятия слишком рискованными и запретил ему предпринимать что-либо без особенного приказания.

Так, к прямой пользе Русских, проходило время в робких и неудачных попытках со стороны Турок. Открыв военные действия внезапно, они не сумели воспользоваться выгодами своего положения, потеряли 1 1/2 месяца без пользы и лишь после того решились на энергические предприятия против Кинбурна, Возобновилось бомбардирование крепости; Суворов, предвидя со стороны Турок нечто серьезное, поручил генерал-поручику Бибикову командование войсками в Херсоне, а сам перебрался в Кинбурн. В день 30 сентября бомбардирование усилилось; объехав кинбурнскую косу, Суворов заметил по движениям в турецком флоте, что готовится что-то необычное, и приказал артиллерии оставлять турецкий огонь без ответа.

На длинной песчаной косе, вдающейся насупротив Очакова в море, верстах в восьми от её оконечности, лежала крепость Кинбурн, занимавшая всю ширину косы от севера к югу, так что высадка возможна была только с востока и запада. Крепость была незначительная, представляла очень мало условий к упорной обороне и только с восточной стороны верки её заслуживали некоторого внимания. Валы и рвы Кинбурна имели слабый профиль; перед рвом тянулся гласис, который с северной стороны почти доходил до Очаковского лимана, а с южной до Черного моря. Между тем положение Кинбурна было важно; эта незначительная крепостца очень затрудняла вход в Днепр и не допускала прямого сообщения Очакова с Крымом. Такое значение Кинбурна не могло ускользнуть от внимания образованных французских офицеров, руководивших действиями Турок, и потому надо было ожидать с их стороны серьезного предприятия против этого пункта, Понимал это конечно и Суворов, сосредоточивший на косе довольно значительные силы, да и Государыня не хуже кого-либо разумела важность удержания Кинбурна в наших руках, и очень озабочивалась его участью. Сентября 23 она пишет Потемкину: «молю Бога, чтобы вам удалось спасти Кинбурн»; 24 сентября; «хорошо бы для Крыма и

Херсона, если бы можно было спасти Кинбурн»; 9 октября, до получения известия о кинбурнской победе: «пиши, что с Кинбурном происходит; в двух письмах о нем ни слова; дай Боже, чтобы вы предуспели в защищении». Екатерина указывала Потемкину на недостаточность пассивных мер, на необходимость наступательных операций для спасения Кинбурна и Крыма. Допуская возможность взятия Кинбурна Турками, она в одном письме говорит: «не знаю, почему мне кажется, что А. В. Суворов в обмен возьмет у них Очаков» [4].

Действительно, вся надежда сосредоточивалась на Суворове, ибо Потемкин находился в каком-то нравственно и физически расслабленном состоянии. Он в это время был болен и вообще часто хворал в конце 80-х годов, но не от физической болезни происходил упадок его духа. Потемкин просто потерялся в виду лежавшей на нем задачи; обширный государственный ум тут не имел уже приложения, требовались чисто-военные качества: самообладание, быстрая решимость, энергическое исполнение. Избалованный почти неограниченной властью, которая доселе была в его руках, привыкший к исполнению не только своих приказаний, но и малейших желаний, он теперь сделался главным распорядителем на арене, где не только желания не исполняются, но и события складываются наперекор приказаниям. Он рассчитывал, взявшись за дело, кончить его легко и скоро, или по крайней мере повести без запинки, а между тем военные действия затягивались, препятствия к успешному ходу их вырастали, являлись неожиданные усложнения, и у баловня фортуны опускались руки, падало сердце, ныла душа.

Такое угнетенное состояние Потемкина началось около половины сентября. На Черном море был перед тем сильный 5-дневный шторм; севастопольский флот, отплывший под начальством Войновича к Варне, был разметан бурей, все суда потерпели аварии, один корабль утонул со всем экипажем, другой был занесен в Константинопольский пролив и взят Турками. Уцелевшие суда собрались после бури и были атакованы Турками, но выдержали натиск и успели добраться до Севастополя. Эта неудачная экспедиция подорвала нравственные силы Потемкина; он впал в совершенное уныние, клял свое пассивное положение, жаждал наступательных действий, но ничего не предпринимал, будто ожидая толчка от какой-то внешней силы, долженствовавшей дать ему то, что должно было находиться в нем самом.

Завязалась переписка с Екатериной. Потемкин предлагал оставить временно Крым для сосредоточения сил, после разгрома эскадры бурей; просил дозволения сдать команду Румянцеву,

сложить с себя все свои звания, приехать в Петербург и тому подобное. Екатерина уговаривала и ублажала его с замечательным терпением. «Не унывай и береги свои силы, Бог тебе поможет, а Царь тебе друг и подкрепитель; и ведомо, как ты пишешь и по твоим словам проклятое оборонительное состояние; и я его не люблю; старайся его скорее оборотить в наступательное, тогда тебе, да и всем легче будет... Оставь унылую мысль, ободри свой дух, подкрепи ум и душу... это настоящая слабость, чтобы, как пишешь ко мне, снисложить свои достоинства и скрыться... Не запрещаю тебе приехать, если видишь, что приезд твой не расстроит тобою начатое... Приказание Румянцеву для принятия команды, когда ты ему сдашь, посылаю к тебе; вручишь ему оное как возможно позже... Ничто не пропало; сколько буря была вредна нам, авось либо столько же была вредна и неприятелю; неужели ветер дул лишь на нас?» Государыня не считает возможным выводить войска из Крыма: «что же будет и куда девать флот севастопольский? Я надеюсь, что сие от тебя писано было в первом движении». Все просьбы об очищении Крыма, сдаче начальствования, сложении чинов и достоинств, Государыня приписывает чрезмерной его чувствительности, называет его своим воспитанником и учеником, утешает всеми способами и резонами. «Ты нетерпелив, как 5-летнее дитя, тогда как дела, тебе порученные, требуют непоколебимого терпения [4].»

Это же уныние и упадок духа высказываются в каждой строке переписки Потемкина с Румянцевым. Не лишнее заметить, что в первую Турецкую войну Потемкин пишет Румянцеву письма весьма вежливые и даже заискивающие. В 80-х годах, с переменою положения Потемкина, изменяется конечно и характер писем, но пишутся они большею частью собственноручно, в высшей степени учтивы и любезны, и в них просвечивает, помимо воли Потемкина, признание в Румянцеве превосходства. Он изъясняется Румянцеву в своей сердечной сыновней привязанности, благодарит за ласковые письма; радуется, что письма эти опровергают слухи, будто Румянцев им, Потемкиным, недоволен, «о чем я и сам думал, судя по вашей холодности, и дичился.» Он беспрестанно жалуется, что болен и просит у Румянцева совета о Крыме: «что бы ни говорил весь свет, в том мне мало нужды, но важно мне ваше мнение. Ведь моя карьера кончена... Я почти с ума сошел... наступать еще не с чем. Ей Богу я не знаю, что делать, болезнь угнетает, ума нет.» Упоминая дальше, что Государыня обещала прислать разрешение о сдаче ему, Румянцеву, начальства, Потемкин в тот же день пишет ему официальное о том же письмо и говорит: «прошу, если примете от

меня объявление таковой высочайшей воли, дать ваше повеление — куда доставить нужные бумаги и суммы» [5].

Нельзя было ждать ничего хорошего от человека с подобным настроением. Ему нужна была внешняя подталкивающая сила или но меньшей мере толчки, которые бы так сказать, выбивали его из глубины уныния и безнадежности. Таким толчком послужила победа, одержанная Суворовым под Кинбурном.

Октября 1, после усиленного бомбардирования, произведенного накануне, с зарею снова началось обстреливание Турками крепости, еще сильнее прежнего. По приказанию Суворова Русские не отвечали ни одним выстрелом. Около 9 часов неприятель подошел к косе с двух сторон: на запад от Кинбурна, на самой оконечности косы, стали высаживаться с кораблей Турки; восточнее Кинбурна, верстах в 12, пытались высадиться Запорожцы, бежавшие в Турцию. Запорожская высадка была демонстрацией, для отвлечения Русских от главного пункта атаки. Казаки приняли было Запорожцев за русских беглецов, добровольно возвращающихся под свои знамена, но недоразумение скоро разъяснилось, и запорожцы были прогнаны. Высадка же Турок на оконечность косы производилась беспрепятственно, под руководством французских офицеров; кроме того, для прикрытия судов, Турки вбивали в морское дно, невдалеке от мыса, ряд толстых свай. Суворов находился в это время у обедни, по случаю праздничного дня, вместе с многими офицерами; он отдал приказание — отнюдь не стрелять ни из пушек, ни из ружей и вообще ничем не препятствовать высадке Турок. «Пусть все вылезут», пояснял Суворов и только распорядился сближением резервов, стоявших к востоку от Кинбурна в разных расстояниях. План действий был уже у него решен и по основной мысли сходился с принятым в 1773 году при Гирсове [6].

Турки высаживались с шанцевым инструментом и мешками и тотчас же принимались с поспешностью рыть неглубокие ложементы, наполняя мешки песком и выкладывая из «их невысокие брустверa. Ложементы велись поперек косы, от Черного моря к Очаковскому лиману, до которого однако не доходили, ради беспрепятственного движения войск,. причем свободное пространство загораживалось переносными рогатками. Ложементы вырывались параллельно один другому, по мере движения Турок вперед; всех их было 14 или 15. При десанте Турки имели всего одну пушку, взятую когда-то у Русских.

Для встречи неприятеля, Суворов распределил войска таким образом. В первую линию, под командою генерал-майора Река, назначено 2 батальона и 5 рот; во вторую линию — 3 батальона, в

том числе один находился еще в 14 верстах за Кинбурном. Кавалерии указано место влево от пехоты, по берегу Черного моря; во главе её казаки. Пехоте велено строиться развернутым фронтом. а не в каре, так как у Турок кавалерии не было; строй в каждой линии глубокий, т.е. часть за частью, параллельно одна другой, с резервом позади. Первая линия располагается по полубатальонно и по-ротно, вторая — по-батальонно. В крепости оставлено две роты, в вагенбурге за крепостью — тоже.

После полудня Турки сделали омовение, совершили обычную молитву на глазах у Русских и потом стали приближаться к крепости. Им не мешали. Подошли на версту, а передовые под закрытием берега приблизились шагов на 200 к гласису. Тогда, в 3 часу дня, по знаку Суворова дал сигнал к бою — залп из всех орудий, обращенных к западной стороне косы. Первая линия быстро двинулась из крепости; два полка казаков и два эскадрона регулярной кавалерии, стоявшие по той стороне Кинбурна, обогнули крепость со стороны Черного моря и бросились в атаку на турецкий авангард, Он был почти весь уничтожен вместе со своим начальником. Пехота тем временем взяла вправо, сильным ударом опрокинула Турок и погнала их к ложементам, несмотря на огонь турецкого флота, имевшего больше 600 орудий. Рек взял в короткое время 10 ложементов, но дальше проникнуть не мог; коса суживалась, стало тесно, и упорство Турок возрастало. Орловский полк, бывший в первой линии, сильно поредел; Суворов двинул в бой вторую линию в помощь первой и приказал атаковать двум эскадронам. Турки однако не только выдержали, но удвоив усилия, опрокинули атакующих и выгнали их из всех ложементов[7].

Суворов находился в передних рядах, пеший, так как лошадь его была ранена. Увидев двух Турок, державших в поводу по добычной лошади и приняв этих людей на своих, так как высадившиеся Турки кавалерии не имели, сильно утомившийся Суворов крикнул им, чтобы подали ему лошадь. Турки бросились на него вместе с несколькими другими; но к счастью мушкетер Новиков услышал зов своего начальника, бросился на Турок. одного заколол, другого застрелил и обратился было на третьего, но тот убежал, а с ним и остальные. Отступавшие гренадеры заметили Суворова и по крику: «братцы, генерал остался впереди», -ринулись снова на Турок. Бой возобновился, и озадаченные Турки стали снова быстро терять один ложемент за другим. Успех Русских был однако не продолжителен; они израсходовали почти все патроны и не могли продолжать наступление под перекрестным огнем неприятеля: спереди производился сильный ружейный огонь, большею частью

двойными пулями; справа приблизившийся флот осыпал Русских градом бомб, ядер и даже картечей. Пальба турецкого флота не оставалась без ответа с нашей стороны: крепостная артиллерия потопила две неприятельские канонерки; полевая истребила две шебеки; лейтенант Ломбард, несмотря на недавнее запрещение вдаваться в рискованные предприятия без дозволения, атаковал своею галерой левый фланг неприятельского флота, и 17 легких судов заставил отойти дальше от берега, Но все это, уменьшая турецкий огонь до некоторой степени, не парализовало его, и Русские снова принуждены были ретироваться к крепости, что и исполнили в большом порядке, бросив однако несколько полковых орудий [6].

Солнце стояло низко; генерал Рек был еще при первой атаке ранен и вынесен из боя; убыло из строя много и низших начальников; ряды поредели. В довершение несчастья сам Суворов получил картечную рану в бок, ниже сердца, и на некоторое время потерял сознание. Перед его глазами происходили необычные для него дела: русские роты и батальоны проносились мимо в быстром отступлении; Турки с радостными криками отвозили с поля доставшиеся им русские пушки и яростно преследовали отступающих; дервиши сновали по турецким рядам, возбуждая энергию мусульман и показывая собою пример. Но сердце его не дрогнуло, он не считал дело проигранным и смотрел на двукратную неудачу не более, как на фазисы боя. Четыре месяца спустя, описывал одному из своих приятелей кинбурнское дело, он говорит про этот именно момент: «Бог дал мне крепость, я не сомневался». При такой уверенности предводителя, победный конец разумеется не замедлил [7].

Было послано приказание в Кинбурн и в вагенбург — прислать все, что можно. Прислано 3 роты, одновременно с ними подоспел слабый батальон, стоявший в 14 верстах за крепостью и назначенный по диспозиции во вторую линию боевого расположения. Около этого же времени пришла на рысях легкоконная бригада, за которою было послано утром, верст за 30. Свежие войска повели третью атаку с бурным порывом. Турки были выгнаны из всех ложементов; легкоконная бригада била их с фронта, пехота теснила справа, казаки действовали слева. Неприятель очутился как в тисках и нигде не видел себе спасения, потому что суда, высадив десант, отошли в море по приказанию паши, который думал таким способом вдохнут в свои войска больше решимости и храбрости. По словам Суворова, Турки как тигры бросались на теснивших их русскую пехоту и кавалерию, но безуспешно. Скоро они были сбиты на

пространство всего полуверсты; русская артиллерия громила их картечью, нанося страшный урон. Турки бросались в море: одни укрывались за бревенчатой эстакадой, другие искали спасения вплавь и гибли в воде сотнями. Дело было для них проиграно безвозвратно.

Спустилась ночь; Суворов велел войскам отходит к Кинбурну. В это время раздались там выстрелы: турецкие Запорожцы, предполагая найти крепость без гарнизона, вздумали взять ее нечаянным нападением, но были отбиты. Бой был уже совсем кончен, когда прибыли еще 5 эскадронов со своего дальнего поста, по утреннему приказанию [3].

В конце дела Суворов был снова ранен, ружейною пулею в левую руку навылет. Он подъехал к берегу, есаул Кутейников омыл ему рану морскою водой и перевязал своим галстуком. Суворов очень страдал от ран и большой потери крови и хотя держался на ногах, но часто впадал в обморок, что продолжалось больше месяца [7].

Уцелевшие остатки турецкого десанта провели ночь в воде, за эстакадой. Так как эти люди были большею частью ранены, то ночь ухудшила их состояние и не более половины их потом поправилось. Рано утром прибыли к косе турецкие суда за живыми и мертвыми. Посыпались русские ядра и гранаты и много шлюпок потопили; пошло ко дну и одно транспортное судно, слишком нагрузившееся беглецами. Суда отошли, успев забрать живых и часть мертвых; первых было не больше 6 или 700; турецких трупов осталось на косе свыше 1500. Описывая генералу Текелли кинбурнское дело, Суворов сознавался, что следовало бы в ту же ночь забрать в плен или истребить остаток уцелевших Турок, но он не мог этого сделать вследствие истощения сил и беспрерывных обмороков: «Божиею милостью довольным быть надлежало».

Победа была решительная, но она могла быть еще полнее, если бы русская эскадра, стоявшая в Глубокой, приняла хоть под конец участие в деле. Сам Суворов в донесении Потемкину говорит, что если бы «флот, как баталия была, в ту же ночь показался, дешевая В была разделка». Но эскадра оставалась бездеятельным зрителем, исключая одной галеры лейтенанта Ломбарда, а между тем, вслед за кинбурнской победой, адмирал Мордвинов нашел возможным сделать попытку к сожжению турецкого флота. Попытка не удалась, и одна плавучая батарея попалась Туркам в руки; находившийся на ней в качестве охотника храбрец Ломбард хотел ее взорвать, но был удержан другими, и Турки взяли его со всеми прочими в плен [8].

Октября 2 происходило победное торжество. Войска Суворова

выстроились на косе лицом к Очакову, отслушали молебен, произвели победные залпы; большая часть раненых была в строю. Очаковские Турки высыпали на берег, смотрели и слушали. Они уже не осмеливались беспокоить Кинбурн, впечатление понесенного поражения было слишком сильное. Долго после того морские волны выкидывали на окрестные берега турецкие трупы; в один день 28 октября их было выброшено на кинбурнскую косу до 70.

В память отражения Турок от Кинбурна, построили в крепости церковь Покрова Богородицы. На месте этой бывшей церкви, еще в 1855 году стоял столб с иконою покрова Богородицы, на которой внизу был изображен Суворов, приносящий на коленях благодарственную Богу молитву за дарованную победу, а под иконою значились современные стихи, очень не изящные [8].

Кинбурнское сражение отличалось особенным, необычным упорством Турок. «Какие молодцы, с такими я еще не дирался», писал Суворов Потемкину. В Очакове сидели отборные войска, и из них были назначены в десант лучшие. Всего высажено на кинбурнскую косу 5300 человек, перевезено обратно на другой день не больше 700, в плен попалось мало. Русских войск находилось в бою никак не более 3000 человек, а вернее, что на несколько сотен меньше. Из них показано убитых 138, да раненых 302; всего 440, считая с офицерами. Пронеслись однако слухи, что цифры реляции не верны и потеря наша гораздо значительнее. Такое сомнение в справедливости официальных сведений случается вообще часто, особенно при поражениях, когда подозревается желание — уменьшить тяжесть впечатления на общество и умерить происходящее оттого беспокойство. Хотя бы к средству этому прибегали в случаях редких, но публика расположена их обобщать и искать преднамеренного искажения истины там, где есть только ошибка, от которой уберечься иногда совсем невозможно, особенно на первых порах. В настоящем случае молва была справедлива; число убитых и раненых простиралось с нашей стороны до 1000, что сам Суворов подтверждает впоследствии, в письме к генералу Текелли. Но больше половины этого числа составляли весьма легко раненые, которые не покидали строя; цифра же тех, кои пострадали более или менее серьезно, сходилась с официально показанной. Вообще убитых, умерших от ран и искалеченных оказалось потом свыше 250 человек [9].

Из общего числа раненых (больше третьей доли сражавшихся) видно, до какой степени упорен был бой. Турецкий флот иногда принужден был прекращать свой огонь, до такой

степени обе стороны в свалке перемешивались. Большая цифра раненых зависела между прочим и оттого, что Русским приходилось три раза вести атаку, вследствие позднего прибытия резервов, находившихся очень далеко от Кинбурна. Следовало послать за ними накануне, но Турки так ловко приступили к делу, что Суворов, подозревавший их намерение, убедился однако в нем только утром, в самый день сражения, и приказал притянуть резервы слишком поздно.

Не обошлось и без преступивших свой долг. Потемкин пишет Суворову: «прошу тебя для Бога, не щади оказавших себя недостойными»; может быть это служило ответом на письмо. где Суворов говорит: «не оставьте, батюшка, будущих рекомендованных, а грешников простите». Ход дела показывает, что главный «грех» произошел при первой атаке и заключался в её неудаче, причем Суворов чуть не остался один перед Турками. Кроме того, в одном из писем Суворова к управляющему канцеляриею Потемкина, Попову, читаем, что Рек надавал многим похвальные аттестаты несправедливо, что некоторых из этих лиц «следовало бы расстрелять», и что «потворство научит впредь шире заячьи каприоли делать». Но это были частные случаи, главное же обстоятельство, затруднившее победу, по позднейшему заявлению Суворова состояло в недостатке обучения войск. Суворов был так занят приготовлением своего района к войне по всем частям, что у него не достало времени собственно на войска, и это породило «беду под Кинбурном», как он свидетельствует в одном частном письме спустя шесть лет [10].

Кинбурнская победа произвела большое впечатление. В Константинополе распространилось всеобщее смущение, которое было тем сильнее, что Турки ожидали совсем иного от внезапного открытия военных действий при неготовности Русских. В Петербурге все были в восторге, начиная с Государыни, «Победа совершенная», говорила она: «но жаль, что старика ранили». Она рассказывала приближенным подробности сражения, во дворце был большой выход, Безбородко читал реляцию, Екатерине приносили поздравления, отслужен молебен с коленопреклонением и с пушечной пальбой. Отслужен благодарственный молебен и в Казанском соборе; реляцию читал губернатор и внутри церкви и наружу, в ограде, по требованию предстоявших четыре раза. Потемкин оживился и повеселел. «Не нахожу слов изъяснить», писал он Суворову: «сколь я чувствую и почитаю вашу важную службу; я так молю Бога о твоем здоровье, что желаю за тебя сам лучше терпеть, нежели бы ты занемог» [11].

Награды были щедрые: георгиевские кресты, золотые и серебряные медали, повышение чинами, денежные выдачи

солдатам по 5, по 2 и по 1 рублю. Государыня сама укладывала в коробочку орденские ленточки. Реку, сподвижнику Суворова еще при Козлуджи, «старому герою» по выражению Суворова, пожалован 3 класс Георгия и 4000 рублей. Назначение награды самому Суворову Государыня решила не сразу. «Я рассудила написать Суворову письмо, которое здесь прилагаю», писала она Потемкину: «если находишь, что это не лишнее, то отошли… Ему думаю деньги, тысяч с десяток, либо вещи»; придумай и напиши… Не послать ли ленту Андреевскую? Но старше его князь Долгорукий, Каменский, Миллер и другие… Не могу решиться и прошу твоего дружеского совета, понеже ты еси во истину советодатель мой добросовестный». Рескрипт Государыни был собственноручный, в самых милостивых выражениях; Екатерина, умевшая любезностью своею покорять сердца, написала: «чувствительны нам раны ваши». Потемкин, поддержанный победою Суворова, и действительно ему благодарный, отослал рескрипт по принадлежности и посоветовал Государыне не стесняться старшинством других над Суворовым. «Я поставляю себе достоинством отдавать вам справедливость», писал он между прочим Суворову, подчеркивая эти слова. Екатерина прислала орден Андрея Первозванного при вторичном рескрипте; Потемкин с видимым удовольствием сообщил Суворову о награде, изъявив сожаление, что не мог сделать это лично [12].

Суворов был совершенно очарован милостивыми словами рескрипта. «Такого писания от высочайшего престола я никогда ни у кого не видывал», пишет он в восторге Потемкину. Благодаря письменно Государыню за её рескрипт, он между прочим говорит: «великий мой начальник, имея признательность к малым заслугам, самых невежд направляет к большим и обладает успехами». К самому Потемкину он обращается с такими словами: «когда я себя вспоминаю десятилетним, в нижних чинах со всеми к тому присвоениями, мог ли себе вообразить, исключая суетных желаниев, толь высоко быть вознесенным? Светлейший князь, мой отец, вы то могли один совершить; великая душа вашей светлости освещает мне путь к вящшей императорской службе;… целую ваше письмо и руки, жертвую вам жизнью и по конец оной… Ключ таинства моей души всегда будет в ваших руках». Нет никакого резона заподозрить искренность приведенных слов, но очевидно они вылились у него в восторженном настроении, при известных обстоятельствах. Изменятся обстоятельства, минует возбужденное состояние, — и тот же самый человек уже иначе смотрит на дело [18].

Настало глухое зимнее время. Суворов сделал распоряжения на случай неприятельского нападения, приказав между прочим

скалывать лед у берегов косы, и снабдил войска инструкцией почти на весь круг службы. В ней трактуется вкратце о порядке внутри крепости, о сохранении здоровья людей, о способах действия против Турок, о субординации и проч. О возражениях низшего высшему, когда того требует польза службы, Суворов говорит, что это должно быть делаемо пристойно, наедине, а не в многолюдстве, иначе будет буйством; что излишние рассуждения свойственны только школьникам и способностей вовсе не доказывают, способность видна лишь из действий. Больше всего говорится о тактическом образовании войск. Артиллерию приучать к скорой пальбе, по исключительно для проворного заряжания, а против неприятеля стрелять редко и метко. Пехоте строиться кареями, развернутым фронтом редко, глубокими колоннами только для деплоирования; каре бьет неприятеля прежде из пушек, потом, по мере его приближения, начинают действовать стрелки в капральствах. Обучать солдат скорой пальбе, т.е. батальному огню, но опять-таки только для быстрого заряжания; в настоящем же действии этот огонь опаснее своим, чем противнику, потому что много пуль идет на ветер, и неприятель не пугается, а ободряется. «Оттого пехоте стрелять реже, но весьма цельно, каждому своего противника, не взирая, что когда они толпой». Хотя на сражение назначено каждому по 100 патронов, однако кто много их расстреляет, тот достоин шпицрутенов, но еще больше вина того, кто стреляет сзади вверх. «При всяком случае наивреднее неприятелю страшный ему наш штык, которым наши солдаты исправнее всех в свете работают». Кавалерийское оружие — сабля; лошадей приучать к блеску оружия и крику; каждый должен уметь сильно рубить на карьере [3].

На зиму Суворов остался в Кинбурне. Здоровье его поправлялось медленно, через 4 месяца бок еще болел и нельзя было в правой руке держать поводья. Это однако не мешало ему сделать в 6 дней 500 верст верхом и быть в отличном расположении духа. Он переписывался с дочерью, с приятелями, изредка с управляющими, особенно с Качаловым, которому в одном из писем говорит: «кланяйтесь от меня моим приятелям, попляшите за меня в хороводе: эк хозяин!» [7].

Первым шагом Потемкина по открытии военных действий долженствовало быть взятие Очакова; но к крепости еще и не подступала Екатеринославская армия, формировавшаяся весьма медленно. Екатерина, уже намекавшая Потемкину разными способами о желании видеть в русских руках Очаков. продолжала писать в том же смысле, но крайне осторожно, с разными оговорками, полушутливо и полусерьезно, чтобы не задеть и не

оскорбить болезненно-самолюбивого любимца. Так. еще до получения известия о кинбурнской победе, она пишет: «если бы Очаков был в наших руках, то и Кинбурн был бы приведен в безопасность. Я невозможного не требую, но лишь пишу, что думаю; прошу прочесть терпеливо, от моего письма ничего не портится, ни ломается, лишь перо тупится и то не беда». В половине октября снова письмо; «важность кинбурнской победы в настоящее время понятна, но думаю, что с той стороны (я сие думаю про себя) не можно почитать за обеспеченную, дондеже Очаков не будет в наших руках». Потом в начале ноября: «кинбурнская сторона важна, а в оной покой быть не может, дондеже Очаков существует в руках неприятельских, то за неволю подумать нужно об осаде сей, буде инако захватить не можно но вашему суждению». Потемкин оставался, несмотря на все эти указания Государыни, при своем убеждении о невозможности предприятия на Очаков, и дело было отложено [4].

В январе 1788 года, Австрия объявила войну Турции. Это не повергло Порту в отчаяние; она не теряла надежды на успех, понимая, какие затруднения предстояли союзникам в наступательных действиях. Кроме того традиционная медленность и нерешительность Австрийцев были Туркам хорошо известны, а потому этого нового противника они не очень опасались, и один из пашей выразился, что новые враги их будут только лаять, а вреда причинят не много.

С нашей стороны были сделаны большие приготовления. Готовился балтийский флот для отправления в Средиземное море и Архипелаг, но отправлен не был вследствие открывшейся войны со Швецией; увеличивался черноморский флот, снаряжались частные суда крейсерами, укомплектовывались войска. Потемкин обращал большое внимание на обучение своей армии и на увеличение числа легкой кавалерии, особенно же казацких полков. Он набирал в казаки и мещан, и ямщиков, и бродяг, и всякого рода людей, стараясь создать пограничные казачьи поселения. Заботливость Потемкина о войсках была изумительная, она касалась всех сторон солдатского быта; на этом предмете он как будто желал наверстать недостаток боевых способностей. Он деятельно поддерживал переписку с Суворовым, относясь к нему с полною благосклонностью и доверием; сообщал политические новости, посылал образцы изменяемого вооружения и снаряжения, поздравлял с праздниками. Однажды он послал ему свою шинель, прося носить ее вместо шлафрока. Видно, что между ними существовали очень хорошие отношения. Он между прочим подчиняет Суворову гребные суда, командование коими поручил принцу Нассау-Зигену. В эту зиму

прибыл к Суворову его племянник, князь Алексей Горчаков, сержант Преображенского полка, старший сын его сестры Анны Васильевны (впоследствии военный министр). Потемкин просил Императрицу назначить этого Горчакова флигель-адъютантом к дяде, и так как ответа не было, то повторил просьбу по собственному побуждению. Со своей стороны Суворов старался поддержать благосклонность всесильного временщика и начальника; переписывался с ним по обыкновению в самых почтительных выражениях, а иногда, дабы не беспокоить его, обращался к правителю его канцелярии Попову. В письмах к Попову у него проскакивают некоторые намеки насчет разных лиц, что называется сорвавшиеся с языка, а потому он просит Попова сжигать эти письма. К Попову же он направляет своего племянника при довольно характеристическом письме. «Посылаю моего мальчика; сделайте милость, представьте его светлейшему князю; повелите ему, чтобы он его светлости поклонился пониже и ежели может быт удостоен, поцеловал бы его руку. Доколе Жан Жаком мы опрокинуты не были, целовали мы у стариков только полу... Прикажите моему мальчику исполнить как приличнее» [14].

К марту 1788 года были сформированы обе армии, Екатеринославская и Украинская; в первой состояло на лицо 82000 человек, кроме казаков, во второй — 37000. До комплекта было все-таки далеко; в Екатеринославской например, больных насчитывалось почти 10000, да в разных отлучках состояло 31000. Она была снабжена лучше Украинской, благодаря положению и силе своего главнокомандующего. Румянцев не преминул довести до сведения Императрицы, что его армия боса, нага и почти безоружна, но это помогло делу только отчасти [15]. Австрийская армия по численности равнялась обеим русским, но была растянута от Днестра до Адриатического моря, благодаря кордонной системе, изобретенной австрийским фельдмаршалом Ласси. Желая прикрыть всю восточную свою границу, австрийские силы раздробились на мелкие части, всюду были слабы и потому не обещали решительных успехов, как бы оправдывая мнение Турок. Князь Потемкин тоже много облегчил Порте предстоявшую ей трудную задачу, ибо вместо того, чтобы возложить на отдельный корпус наблюдение за Очаковым, предположил осаждать эту крепость всеми своими силами и таким образом отодвигал на целый год решительные наступательные действия. В половине мая он стянул свои войска к Ольвиополю на Буге; крайний левый фланг Австрийцев, под начальством принца Кобургского, старался завладеть крепостью Хотином; Румянцев перешел за Днестр, чтобы прикрыть осаду Хотина и Очакова. Турки, успев усилить гарнизоны Очакова и других пограничных

крепостей и выслав к Очакову флот, положили атаковать сначала главные силы Австрийцев, а затем обратиться против Русских.

Подойдя к Очакову 20 мая, турецкий флот стал на якорь в 29 верстах от берега и послал мелкие суда в лиман для разведывания. Русская дубель-шлюпка, посланная с поручением из Глубокой в Кинбурн, была ими окружена и атакована. Командир шлюпки капитан-лейтенант Сакен, приказав экипажу спасаться вплавь, взорвал ее вместе с собою на воздух. Есть известие, впрочем недостоверное, что взлетел на воздух и турецкий корабль, сцепившийся со шлюпкою на абордаж, и что этот геройский поступок навел на Турок панику. Как бы то ни было, турецкий флот оставался в бездействии до 7 июня [16].

Русский флот далеко уступал силою турецкому и состоял преимущественно из легких судов. Гребною флотилиею командовал храбрый, предприимчивый принц Нассау-Зиген, а парусным флотом Поль-Джонс, известный борец за независимость Америки; последний находился у первого в подчинении. Большого согласия между ними не существовало. Турецким флотом начальствовал капитан-паша Гассан, человек с крупными достоинствами и отважный моряк, далеко превышавший своими сведениями тогдашний турецкий уровень.

Обе русские эскадры, парусная и гребная, вышли из Глубокой и стали в 5 верстах от турецкого флота, расположенного левым флангом к очаковскому берегу. Неравенство сил было видимое, и 7 июня Турки повели атаку. Завязалось жаркое дело, которое кончилось поздно ночью совершенною неудачей Турок. У них 2 судна были взорваны, третье загорелось, 18 были повреждены. Наши потери были ничтожны, и все дело ведено исключительно гребной флотилией. Турецкая флотилия легких судов стала вдоль очаковского берега.

Дело 7 июня было первым, но конечно не последним; в том порукою служили и сила турецкого флота, и личные качества Гассан-паши. Суворов не упустил этого соображения из вида и, оценив важность положения кинбурнской косы для морских действий на лимане, положил тотчас же вооружить ее батареями. По его указанию принялись немедленно за работу; возведены были две батареи на 24 пушки, устроена ядро-калительная печь, и все это по возможности замаскировано. Батареи отстояли от Кинбурна на 3 или 4 версты, следовательно требовали особых оборонительных средств. Суворов расставил в этом промежутке 2 батальона, четырьмя отдельными частями. Половина людей стояла постоянно в ружье, другая отдыхала. Положение этих батальонов было чрезвычайно тяжелое, не по свойству службы, а потому, что они стояли на месте прошлогодней битвы. Трупы,

зарытые в песок, гнили медленно вследствие фильтрации морской воды и издавали отвратительный запах. Явились признаки заразы, несколько человек умерло. Суворов предписал частые купанья в море и как можно больше движения, испытав пользу этих мер на самом себе. Находясь весьма часто на косе, он был доведен однажды трупным запахом почти до обморока и только выкупавшись немедленно в море, избавился от дурноты.

Предусмотрительность Суворова насчет постройки батарей оправдалась последствиями. Гассан-паша деятельно готовился к новому бою и через 10 дней атаковал Русских вторично. Он однако опоздал, потому что в ночь перед боем прибыло из Кременчуга на усиление русской флотилии 22 новые вооруженные лодки. Июня 17 Турки повели энергическую атаку, бой закипел ожесточенный и продолжался без перевеса в чью-либо сторону до тех пор, пока один турецкий корабль не взлетел на воздух. Это произвело между Турками панику, и все суда бросились под прикрытие крепости, кроме флагманского корабля капитан-паши. Русские гребные суда, заметив его одиночество, окружили его и взяли; успел спастись лишь Гассан-паша. Началось беспорядочное бегство; принц Нассау преследовал; турецкие суда одно за другим взлетали на воздух. Гассан-паша решился покинуть Очаков и соединиться с эскадрою, остававшейся в открытом море. Стояла уже ночь; турецкие корабли медленно двигались к выходу в море, но едва поравнялись с кинбурнскими батареями, как открылся по ним огонь до того сильный, что Гассан стал опасаться, — верно ли он взял курс и не попал ли в темноте под пушки кинбурнской крепости. Он велел прибавить парусов и кое-как вывел авангард в открытое море, но не так дешево отделался остальной флот. В час ночи показалась луна; стало так хорошо видно, и турецкие корабли находились на таком недалеком расстоянии. что каждый почти снаряд попадал в цель. Вдобавок, суда беспрестанно натыкались на мели и следовательно обращались в цель неподвижную. Поднялась суматоха неописанная; одни суда горели, другие — тонули, люди бросались в воду, а русские ядра продолжали летать и бить на выбор. Таким образом с Суворовских батарей было разбито 7 судов.

Потери неприятеля были огромные. Истреблено кораблей и других судов 15, один корабль взят; убито, ранено и потонуло до 6000 человек, около 1800 попало в плен. Потеря Русских оказалась ничтожной и не доходила до 100 человек. Решительным исходом дела тем более можно было гордиться, что это, по выражению Суворова, было победой «жучек над слонами».

Восторги Потемкина не знали границ; ему казалось, что

Очаков, свидетель такого погрома, должен немедленно сдаться, хотя не был еще обложен. «Мой друг сердечный, любезный друг. Лодки бьют корабли и пушки заграждают течение рек: Христос посреде нас. Боже, дай мне тебя найтить в Очакове; попытайся с ними переговорить; обещай моим именем целость имения, жен и детей. Прости друг сердечный, я без ума от радости». Надежды его однако не оправдались, Очаков вовсе не намерен был сдаваться и сулил русскому главнокомандующему много горя впереди. Потемкин как будто ждал чуда, не делая со своей стороны ничего. Еще весною Суворов предлагал ему штурмовать Очаков и брался исполнить это дело; Потемкин не согласился. В двух письмах, 6 и 29 апреля, он отвечает Суворову, что собираясь на дело серьезное и на большую операцию, не годится открывать неприятелю без нужды ни сил своих, ни способов; не следует без надобности даже флотилии показываться, дабы она Туркам не пригляделась. «Я на всякую пользу руки тебе развязываю, но касательно Очакова попытка неудачная может быть вредна... Я все употреблю, надеясь на Бога, чтобы он достался нам дешево; потом мой Александр Васильевич с отборным отрядом пустится передо мной к Измаилу... Подожди до тех пор, как я приду к городу» [1]. В этих предложении и отказе заключается основное различие двух военных людей, и если взять в расчет их личные характеры и особенности положения каждого, то станет ясно, что взаимные добрые их отношения могли бы сохраниться до конца только чудом.

Через несколько дней Гассан-паша снова вступил в лиман, для спасения оставшихся под Очаковым судов, но Суворов прогнал его огнем своих батарей.

Миновал июнь месяц, и Потемкин подошел наконец к Очакову. Расстояние около 200 верст потребовало 5-недельного похода, и хотя вследствие разлива рек и других препятствий, армия не могла двигаться быстро, но подобная медленность все-таки остается непонятной и объясняется единственно неровным, капризным характером Потемкина. Один из знатных иностранцев, находившихся при главной квартире, принц де Линь, иронически замечает, что главнокомандующего задерживала местами вкусная рыба. Если этого и не было буквально, то все-таки Потемкин вел себя не как полководец, а как большой барин, сибарит. Из переписки его например видно, что 19 и 20 апреля было отправлено к нему из Петербурга два обоза с напитками, съестными припасами, серебряным сервизом и другими подобными вещами; один пошел по московскому, а другой по белорусскому тракту, дабы вернее обеспечить своевременное прибытие к месту хоть одного из них [17].

Очаков был конечно не то, что в прежние времена, при Минихе, по он все таки не представлял собою неприступной твердыни, требовавшей таких огромных приготовлений и такой траты времени. Как пи много было собрано осадных средств, но Потемкину нужно было больше и больше. А Турки тем временем не дремали, и оборонительная сила крепости понемногу вырастала; Потемкин это видел, и в нем зарождались новые сомнения. Только таким образом и можно объяснить снова проснувшееся в нем желание — очистить временно Крым и притянуть к себе находившиеся там войска. Но Екатерина решительно этому воспротивилась, как и в прошлом году, объясняя своему баловню самые элементарные соображения, по которым его желание представлялось неисполнимым. «Ради Бога не пущайся на сии мысли, кои мне понять трудно», говорит она в письме 27 мая; «когда кто сидит на коне, тогда сойдет ли с оного, чтобы держаться за хвост», поясняет она с естественным оттенком досады. Делать нечего, Потемкин покорился необходимости и уж к этой теме не возвращался [4].

По прибытии к Очакову, он немедленно сделал рекогносцировку и приказал истребить остатки турецкой флотилии, стоявшей под крепостью, что и было исполнено 1 июля с полным успехом. В тот же день армия обложила крепость, расположившись от нее верстах в пяти, дугою, причем правый фланг примыкал к Черному морю, а левый к Очаковскому лиману. Правым крылом командовал Меллер, центром князь Репнин, левым крылом Суворов, призванный сюда из под Кинбурна с Фанагорийским полком.

Крепость Очаков имела вид неправильного четырехугольника, состоявшего с сухого пути из низких бастионов с сухим рвом и гласисом, а с моря из простой каменной стены. С сухого пути тянулись кроме того позже построенные 10 передовых люнетов, а с моря усиливал оборону форт Гассан-паша. В момент открытия осады, крепость представляла собою ограду прочную, но не в состоянии была долго противустоять деятельной, энергичной атаке [18]. А Потемкин именно на это и не решался. В течение 25 дней он ограничивался незначительными рекогносцировками, проектированием плана осады и приготовлениями к ней. Его тревожили нарочно распущенные Турками слухи о минах, заложенных французскими инженерами, и он поджидал из Парижа подробных планов крепости со всеми минными галереями, не жалея на это издержек. Кроме того он уверил себя, что после разбития турецкого флота и ввиду серьезных осадных приготовлений, Турки непременно сдадут крепость на

капитуляцию, без напрасного кровопролития. Медлительность его поддерживалась еще тем обстоятельством, что главная квартира была наполнена военными иностранцами, внимательно наблюдавшими за ходом дела, Некоторые из них, кому дозволяло их положение и отношения к Потемкину, задавали ему по этому предмету вопросы, предлагали советы, делали косвенные замечания. Подобная обстановка подействовала бы на другого возбудительно, но на Потемкина производила впечатление обратное. Он тяготился всей этой толпой соглядатаев, критиков и советников и, как бесхарактерный баловень, поставленный судьбою не на свое место, больше всего опасался дать повод к заключению, будто он действует не самостоятельно, а с чужого голоса, происходили даже размолвки и небольшие ссоры; он жаловался Императрице, стал хандрить, сделался угрюм, скучен, капризен, называл Очаков «проклятою крепостью».

Однажды, под влиянием ли туманного намека принца де Линя насчет недостатка личной храбрости, или просто вследствие порыва своей неустойчивой натуры, он отправился к одной из строившихся батарей, на рекогносцировку. Его сопровождала огромная свита, которую Турки заметили и открыли сильный огонь. Ядра и бомбы ложились вблизи, некоторые попали в свиту и многих переранили, одного генерала убило. Потемкин спокойный и веселый возвратился домой с этого ненужного эксперимента.

Людям противуположного закала такой способ ведения войны не мог придтись по вкусу, особенно Суворову, несколько месяцев назад предлагавшему овладеть крепостью штурмом. Настаивать на том же ныне было очевидно напрасною тратою слов; подобные попытки только увеличивали упрямство Потемкина. И хотя Суворов очень дорожил благосклонностью к себе всемогущего временщика и хорошо знал его слабые стороны, но не мог удержать себя от критики и сарказмов. «Не такими способами бивали мы Поляков и Турок», говорил он в близком кругу; «одним гляденьем крепости не возьмешь. Послушались бы меня, давно Очаков был бы в наших руках». Но сарказм и сатирические выходки не подвигали дела, да и самому критику доставляли лишь минутное услаждение. Энергический, веривший в себя Суворов не мог ограничиться одними словами; он уже приобрел привычку не отделять на войне слова от дела. Чувство самосохранения, в смысле поддержания добрых отношений к главнокомандующему, не дозволяло ему решиться заранее, обдуманно, на что либо противоречащее плану Потемкина; но чувство это не на столько было сильно, чтобы сдержать Суворова от подобных действий неожиданно для него самого, по

вдохновению, по требованию минуты. В этой возможности заключалась личная опасность для Суворова, так как Потемкина нельзя было приравнивать ни к Веймарну, ни даже к Румянцеву. И действительно, Суворов не избег этой опасности.

Бездеятельность Потемкина производила результаты, прямо противуположные тем, на которые он рассчитывал. Турки ободрялись, распространялись по виноградникам и садам, окаймлявшим Очаков, и затрудняли открытие осадных работ, делая незначительные, но частые вылазки. Набравшись смелости, они рискнули на предприятие более крупное и 27 июля сделали большую вылазку на крайний левый фланг осадного расположения. До 2000 человек турецкой пехоты, выйдя из крепости, стали тихо пробираться вдоль берега лимана; пехоте открывал путь небольшой кавалерийский отряд, человек в 50. Они пробрались незаметно лощинами, внезапно ударили на пикет из бугских казаков, сбили его и двинулись дальше. Суворов находился налицо, он схватил два батальона гренадер и пустил один из них в атаку. Произошла жестокая схватка; Турки, пользуясь чрезвычайно пересеченною местностью, держались упорно; из крепости прибывали подкрепления, и число их возросло до 3000. Полковник Золотухин с другим гренадерским батальоном ударил в штыки и сломил неприятеля. Турки побежали, гренадеры их преследовали. Подоспело еще несколько русских батальонов, прибыло и Турок; бой сильно разгорелся под одним из неприятельских ретраншаментов.

Накануне бежал из русского лагеря молодой крещеный турок, знавший Суворова в лицо. Этот беглец приметил Суворова в бою и указал на него турецкому стрелку; тот приложился, пуля пронизала Суворову шею и остановилась у затылка. Суворов ощупал рану, признал ее опасною и передал начальство генерал-поручику Бибикову. Так как поддержки не прибывало ни откуда, и продолжение боя не обещало успеха, то Суворов приказал Бибикову отводить войска из-под огня турецких укреплений. Но или приказание было дурно понято и исполнено, или отбытие Суворова произвело на войска дурное впечатление, только вместо того, чтобы отводить батальоны исподволь и отступать в порядке, был дан отбой. Люди смешались, бросились назад и пустились в беспорядочное бегство, потеряв при этом лишнюю сотню убитыми и ранеными.

Так или почти так происходило и окончилось это неудачное дело. И официальные, и неофициальные источники представляют его разно, с недосказами и умолчаниями; оно принадлежит к категории именно тех, где истина всеми способами маскируется. В результате с нашей стороны убито и ранено 365 человек, потеря

Турок должна быть еще значительнее. Рана Суворова оказалась впоследствии не опасною, но первое время все симптомы были тревожные. Вернувшись из боя на раненой несколькими нулями лошади, которая вслед затем пала, он тотчас же послал за хирургом и за священником.

Принц де Линь, заметив как в разгаре боя турецкие значки потянулись к своему правому флангу и, левофланговые укрепления оставались почти без защиты, предложил немедленно их штурмовать. Потемкин отказал. Он четыре раза посылал Суворову приказание прекратить бой и отступить, а в последний раз послал исправлявшего должность дежурного генерала с грозным вопросом: как он, Суворов, осмелился без повеления завязать такое важное дело? У Суворова в это время извлекли пулю из шеи и перевязывали рану. Выслушав посланного, он отвечал:

Я на камушке сижу,
На Очаков я гляжу.

Был ли передан Потемкину этот дерзкий ответ, осмеивавший его бездеятельность? Вероятно да, Должность дежурного генерала исполнял генерал-майор Николай Рахманов, человек умный, образованный, но весьма самонадеянный и вздорного характера, впоследствии оставивший из-за этого службу. Рахманов служил под начальством Суворова на Кубани, не ладил с ним и написал на него пасквиль; Суворов аттестовал его Потемкину так: «Рахманов в поле — с полком, с поля — с батальоном; против его одного года я во всю мою службу столько людей не потратил». Едва ли может быть поэтому сомнение, что Рахманов передал Потемкину ответ Суворова во всей целости, а может быть и с прикрасами [19].

После всего происшедшего, Суворову нельзя было оставаться на своем посту под Очаковым, да и состояние его здоровья того не дозволяло. На третий или четвертый день он уехал в Кинбурн, как сам объясняет, чтобы иметь наблюдение за неприятельским флотом и, по взятии Очакова, не пропускать его в лиман. Он приехал туда совсем больной, обморок следовал за обмороком, лихорадило, дыхание было очень затруднено, появилась желтуха. Болезнь грозила дурным исходом, но к счастию больной хорошо заснул; это подкрепило его силы и помогло его неиспорченной натуре. Собрали консилиум, осмотрели снова рану и сделали вторичную перевязку, так как первая была второпях наложена не хорошо. Рана оказалась воспаленная, нечистая: из нее вынули несколько кусочков сукна и подкладки. Затем началось

улучшение, и чрез месяц Суворов поправился.

Надо удивляться, что выздоровление шло быстро, потому что кроме физических страданий, Суворов выносил мучительное душевное беспокойство. Он старается умилостивить Потемкина, пишет ему туманно, намеками и полуфразами, видимо сдерживается и ищет слов; но это ему удается лишь отчасти, и местами проскакивает настоящий Суворов. Он называет Потемкина великим человеком, благодетелем своим; удивляется перемене, в нем происшедшей; говорит, что «безвинно страждет», что «если противна особа, то противны и дела»; желает уехать лечиться «для поправления здоровья от длинной кампании», но не замедлит явиться на службу. Собираясь ехать к водам, он однако же сознается, что возвращение расположения со стороны Потемкина подействовало бы успешнее и просит «защитить его простонравие от ухищрений ближнего... Всякий имеет свою систему, так и по службе я имею мою... мне не переродиться и поздно... Коли вы не можете победить свою немилость, удалите меня от себя; есть мне служба в других местах по моей практике, по моей степени; но милости ваши, где бы я ни был, везде помнить буду»... Он говорит, что скромность и притворство, благонравие и своенравие, твердость и упрямство — «равногласны», но один способен к первой роли, а другой ко второй, и потому поступая не по своей роли, можно дело испортить. Он поясняет, что не думал отнимать от главнокомандующего славы: сами-де вы говорили, что слава подчиненных есть вместе с тем ваша слава. В письмах своих он рассыпает несколько афоризмов: «кто ищет истинной славы, тот следует по стезям добродетели; истина благосклонна одному достоинству; добродетель всегда гонима; невинность не терпит оправданий», и ввертывает такое краткое, но внушительное изречение: «вы вечны, вы кратки». В конце-концов цель остается все таки недостигнутой [1].

Суворов переписывается и с Поповым, но также очень осторожно, как бы опасаясь сказать лишнее. В одном из писем он даже берет назад слова, прежде им сказанные, говоря: «воображения наши подвержены ежевременной перемене вида, почему за пролетающие наши мысли мы и сами себе не отвечаем». Переписка с Поповым впрочем не могла подвинуть Суворова к цели, и он писал лишь по старой привычке, ради поддержки прежних отношений [20].

О неудачном деле 27 июля было донесено конечно и Императрице. Передавая эту неприятную новость одному из своих статс-секретарей, она сказала: «сшалил Суворов; бросясь без спроса, потерял с 400 человек и сам ранен; он конечно быль

пьян». Государыня ошибалась или была введена в заблуждение: Суворов пьян не был. Вина Суворова 27 июля неоспорима, и оправдывать его нельзя, но нельзя также оправдать Потемкина, не поддержавшего атаку, которая, если взять во внимание общность обстоятельств этого дня, изложенных выше, могла повести к успеху, так дорого впоследствии доставшемуся. Даже если отбросить предположение, что в Потемкине действовало оскорбленное самолюбие или эгоистические побуждения, а в Суворове допустить одну жажду личной славы в ущерб начальнику, то вывод не изменится. Сущность дела состоит в том, что один обнаружил военное дарование, военный глазомер, сделав совершенно неожиданный, не рассчитанный раньше шаг; поведение же другого удостоверяет в его полной военной несостоятельности. Екатерина была слишком строга в суждении своем о Суворове; из предшествовавших страниц видно, что он действовал, руководясь теми самыми мыслями о необходимости и возможности скорейшего овладения Очаковым, каких держалась и Государыни, которая старалась неоднократно, но безуспешно пересадить их в сознание Потемкина. В отзыве Екатерины о Суворове говорило личное пристрастие к её созданию, любимцу и даровитому государственному человеку. Жесткое её слово не может однако служить ей укором: оно вырвалось у нее в разговоре с секретарем наедине и вслед затем завершено приказанием — никому сказанного не передавать. По крайней мере слова эти нисколько не отразились на отношениях Государыни к её знаменитому подданному, чему она вскоре и дала доказательство.

Одна беда не приходит. Суворов стал уже поправляться, как 18 августа, утром, раздался в Кинбурне ужасный удар и потом грохот от множества других ударов меньшей силы. Это был взрыв лаборатории, где в то время снаряжались бомбы для Очаковской армии, с разрешения коменданта, без ведома Суворова. Снаряженные бомбы и гранаты выкинуло в разные стороны и они последовательно разрывались. Но все это Суворов узнал после, а в момент взрыва он не мог сообразить, что такое случилось. Вскочив со стула, он несмотря на слабость побежал к двери; в этот момент влетела бомба в комнату, разорвалась, своротила часть стены и разбила кровать; кусками оторванной щепы ранило Суворова в лицо, грудь, руку и ногу. Он выбежал через сени на лестницу, и так как она тоже была разбита, то спустился по перилам во двор.

Густая туча порохового дыма нависла над Кинбурном и на некоторое время превратила почти в ночь стоявший тогда ясный день. В крепости поднялось смятение; все были в ужасе. и

большое число людей пострадало, в том числе несколько лиц, живших с Суворовым под одной кровлей. Коменданта привели к Суворову облитого кровью; в церкви, перед алтарем, священник был смертельно ранен. Убитых насчитано до 80, вместе с работавшими над бомбами, так что причина взрыва осталась неизвестной. По редко встречающейся случайности, бочки с порохом, находившиеся в том же помещении, остались целы, иначе пострадала бы вся крепость [21]. Все-таки эффект от взрыва был так велик, что начальствовавший в Очакове паша послал к Гассану-паше приглашение — воспользоваться случаем, сделать на кинбурнскую косу высадку. Капитан-паша однако отказался; он понимал, что успех от подобного предприятия был более, чем сомнителен.

Суворова вынесли в поле и сделали ему там перевязку. Послано было донесение о случившемся; от Попова получено письмо с изъявлением соболезнования. Суворов поручил написать благодарственный ответ; написано было, что обошлось без большого для него вреда, кроме малых на лице знаков и удара в грудь. Суворов прочел и приписал: «ох, братец, а колено, а локоть? Простите, сам не пишу, хвор» [20].

Осада пошла черепашьим шагом; Потемкин всего ждал от обстоятельств, хотя на них и без того нельзя было пожаловаться. Турки, сберегая снаряды, стреляли редко; делали частые вылазки, но были постоянно отбиваемы; сжатые мало-помалу в тесную дугу, очень страдали от канонады; частые пожары совершенно опустошили город; большой провиантский магазин был истреблен огнем. Но всего этого Потемкину было мало; ему всегда что-нибудь мешало предпринять решительные действия: то Гассан-паша с флотом, который, по словам его письма к Румянцеву, «прилип к нему как банный лист», то буря, разобщившая лиманскую флотилию с армией, то третье, то четвертое. А Гассан тем временем успел подкрепить очаковский гарнизон 1500 человек и ушел с флотом лишь в начале ноября [5].

Стояла глубокая осень. Прежде бывало кипела в лагере и главной квартире жизнь; общество было многочисленное, приезжих дам много; давались пиры и балы, гремела музыка, привозилась отовсюду нарочно посланными гонцами разная редкостная провизия к столу Потемкина. Дело правда не двигалось, но жилось весело. Теперь и это миновало; ненастная погода разогнала одних, долгое ожидание развязки — других; физиогномия главной квартиры изменилась. Потемкин с каждым днем становился угрюмее и мрачнее. Затем мокрая холодная осень сменилась лютой зимой, которая на долгое время осталась в памяти народной под названием *очаковской*. Кругом тянулась

голая ледяная степь, по которой разгуливали снежные бураны; снега выпали чрезвычайно глубокие, морозы переходили за 20°. Солдаты коченели в своих землянках, терпя страшную нужду в самом необходимом, лошади тоже. Тем временем в турецких крепостных верках произведены огромные повреждения, как бы приглашавшие осаждающих к штурму, но Потемкин все-таки продолжал осаду, которую Румянцев язвительно называл *осадой Трои*. Смертность развилась чрезвычайная, от одной стужи убывало по 30-40 человек в день; во время посещения Потемкиным лагеря, солдаты взяли смелость лично просить его о штурме, но и это не подействовало. Наконец между всеми чинами армии пошел глухой ропот [22].

Лишь дойдя до такого безысходного положения, когда отступление, невозможное нравственно, сделалось почти невозможным и физически, вследствие совершенного израсходования главных жизненных потребностей, — Потемкин решился на штурм, назначив его на 6 декабря. Предпринятый после такой цепи тяжких испытаний, штурм был кровавый, беспощадный в полном смысле слова. Он продолжался всего час с четвертью, при морозе в 23°; по истечении этого времени Очаков стал громадной свежей могилой. Население Очакова, считая с гарнизоном, простиралось до 25000 человек, в том числе 15000 состояло под ружьем; из них убито и умерло от ран до 9500 и более 4000 взято в плен. Грабеж продолжался трое суток, согласно данному заранее войскам обещанию. С русской стороны число убитых и раненых определяется различно; по наиболее умеренному счету оно доходило до 2800 человек. Но эта потеря составляет незначительную долю той, которую причинила продолжительная осада в неблагоприятное время года со всеми лишениями. Здоровыми осталась едва четвертая часть людей, а кавалерия потеряла почти всех лошадей.

Императрица в это время была нездорова; она выздоровела от радости. Награды были щедрые; Потемкин получил давно желанный им Георгий 1 класса с бриллиантовою звездою, шпагу, усыпанную бриллиантами и 100000 рублей. В представлении к наградам был помещен и Суворов. Потемкин положил против него такую аттестацию: «командовал в Кинбурне и под Очаковым, во время же поражения флота участвовал не мало действием со своей стороны». Его же отметка: «перо в шляпу». Суворов получил действительно бриллиантовое перо большой ценности, с буквою К. [23].

Взятием Очакова кончились действия русской главной армии в 1788 году. Немного было сделано при средствах, которыми обладал и распоряжался Потемкин, но все же больше, чем

Австрийцами. Командовавший оконечностью левого их фланга, принц Кобург, просто боялся наступательных действий, приводя в резон, что после долгого мира в австрийской армии не было уже людей, которые умели бить Турок. Задавшись такою же мыслью, как и Потемкин под Очаковым, — принудить Хотин к добровольной сдаче, принц Кобург провозился с этою крепостью до половины сентября и удовольствовался капитуляциею, достойною смеха. Этим главным образом и ограничились его военные действия. В других местах австрийского театра войны дела шли еще хуже. Собрав на своей турецкой границе без малого 300000 человек, из коих половина составляла главную армию императора иосифа, Австрийцы вместо того, чтобы действовать энергически, удовольствовались занятием ничтожной крепостцы Шабац и, хотя начали осаду Белграда, но потом сняли ее. Турки перешли в наступление, напали на корпус Вартенслебена и разбили его на голову. Император иосиф двинулся на выручку; на ночном переходе войска перепутались, бросились вразброд, открыли пальбу по несуществующему неприятелю; свита императора разбежалась, оставив его одного. Эта жалкая армия конечно была тоже разбита.

Промежуточная армия, Украинская, выполнила свою пассивную задачу вполне; граф Румянцев не допустил турецких подкреплёний ни к Очакову, ни к Хотину и тем способствовал их покорению. Этот военачальник, бесспорно самый даровитый из главных деятелей тогдашней войны, представлял собою мертвый капитал, который не умели или не хотели употребить производительно.

Суворов первое время жил и лечился в Кинбурне, оттуда переехал в Херсон и затем в Кременчуг. При этих переездах, он не мог и не желал миновать Потемкина, озабочиваясь своим будущим, но это ни к чему не повело. В одном из писем своих Суворов говорит, что ему тогда готовилась «Уриева смерть» [24]. Хотя Потемкин не отличался злопамятностью, но на этот раз был слишком глубоко задет в своем властительном самолюбии. К счастию обстоятельства сложились иначе, и затереть Суворова не удалось.

Глава XI. Вторая турецкая война: Фокшаны, Рымник; 1789.

Зимняя поездка Суворова в Петербург; назначение его в армию; опровержение некоторых ложных сведений. — Наступление Турок; движение Суворова к принцу Кобургскому; отказ от свидания с ним. — Сражение при Фокшанах. — Бездействие Потемкина; неудачное покушение Репнина на Измаил. — Верность предположений Суворова; наступление великого визиря; промедление Суворова и спешный поход на соединение с принцем; совещание с ним.—Движение союзников; успешная атака Суворова; разные фазисы боя; беспокойство принца Кобургского; кавалерийский удар; бегство Турок за Рымник.— Преобладающее участие Суворова в обеих победах; наступательные его проекты. — Радость Екатерины и Потемкина; переписка о наградах; Суворов - граф. — Последние события кампании

Немногое было сделано Русскими в кампанию 1788 года, но следующий год открывался при политических усложнениях еще менее благоприятных. Война со Швецией, навязанная сумасбродством Шведского короля, задержала в Балтийском море большой русский флот, назначенный против Турок, и оттянула часть сухопутных сил. Англия и Пруссия силились усугубить эту полезную для Турции диверсию, втянув в дело еще и Польшу. России пришлось делать разные уступки и удовлетворять настояниям Польского правительства, лишь бы отсрочить разрыв. «Пакости Поляков вытерпеть должно до времени», писала

Екатерина Потемкину в октябре 1789 года. Пруссия сильно подняла тон, дипломатическая переписка её получила задорный, вызывающий характер. Но несмотря на все это, Русская Императрица оставалась по-прежнему тверда; вопреки советам Потемкина, она не поступалась ничем существенным, сохраняла самообладание и держалась прежней политики.

Окончив кампанию 1788 года, Потемкин поехал в Петербург и был принят с почетом и триумфом, в которых благосклонность к нему Государыни играла гораздо большую роль, чем действительные его заслуги. Кроме благосклонности, действовало тут и соображение: тогда восходила новая звезда, Платон Зубов, которая могла угрожать Потемкину в будущем; следовало ублажить старого любимца, успокоить его тревожные чувства и опасения. Обремененный непрерывною цепью празднеств, всеобщим славословием и поклонением, бесчисленными знаками милости и внимания Императрицы, он отправился к армии в начале мая 1789 года.

Екатеринославская армия была укомплектована до 80,000 человек, Украинская — до 35,000. Первая долженствовала занять линию Днестра; вторая — прикрывать операции первой и содержать связь с Австрийцами, которые намеревались переправиться через Дунай и занять Белград. Турки рассчитывали выставить против Австрийцев сильный корпус, а с остальными силами, разделенными на две армии, наступать на Бессарабию и Молдавию.

Военные действия начались в Украинской армии, графа Румянцева, когда Потемкин находился еще в Петербурге. Турки предприняли наступление на Австрийцев со стороны Фокшан и на Русских со стороны Пуцен. Австрийские передовые войска отступили; русская же дивизия генерала Дерфельдена получила приказание Румянцева — идти к Бырладу и разбить неприятеля, несмотря на большое превосходство его в силах. Дерфельден исполнил приказание с блестящим успехом, обнаружив при этом искусство, храбрость и энергию. Он дважды разбил Турок на голову; в первом деле, при Максимене, они потеряли больше 500 человек; во втором — при Галаце, свыше 3000. Затем, в последних числах апреля, Дерфельден отошел к Бырладу и занял наблюдательное положение, чтобы или подать помощь Австрийцам. или обратиться против Турок. Сюда вскоре прибыл Суворов и принял у Дерфельдена дивизию.

При распределении генералитета по войскам обеих действующих армий, он не был внесен в списки; единственной тому причиной могло быть продолжавшееся неудовольствие Потемкина, Суворов узнал про это вовремя, поскакал в Петербург

и представился Государыне для принесения благодарности за прошлогодние награды. Поклонившись по обыкновению ей в землю, Суворов с жалобным видом сказал: «Матушка, я прописной». — Как это? — спросила Екатерина». «Меня нигде не поместили с прочими генералами и ни одного капральства не дали в команду». Государыня на этот раз не поддержала своего баловня, не захотела сделать несправедливость; как бы ни был в её глазах виноват Суворов за очаковскую попытку. В самом деле ей не расчет было лишиться на театре войны такой боевой силы, какую представлял собою Суворов, особенно при усложнявшихся обстоятельствах. Но не желая поступать прямо наперекор Потемкину, Государыня назначила Суворова в армию Румянцева. Апреля 25 Суворов получил повеление ехать в Молдавию и в тот же день поскакал из Петербурга [1].

Описанный случай относят обыкновенно к началу второй Турецкой войны, но это неверно, так как тогда не существовало никаких поводов к исключению Суворова из списков действующей армии, да и в Петербург он не приезжал. Кроме того рассказывают, что для убеждения Потемкина в замечательных свойствах Суворовского ума, Екатерина однажды пригласила к себе Суворова и стала беседовать с ним наедине, поставив Потемкина за ширмы. Когда Потемкин, озадаченный глубиною его мыслей и меткостью суждений, спросил его потом, почему он говорит с ним иначе, то Суворов будто бы отвечал, что для Императрицы у него один язык, а для Потемкина — другой. Все это весьма сомнительно, хотя и записано современниками. Только люди, не имевшие с Суворовым близкого и серьезного дела, могли сомневаться в обширности, проницательности и логичности его ума, будучи обмануты маской его чудачеств и шутовства, Потемкин же знал Суворова давно и потому собственной инициативой взял его в свою армию перед началом войны, дал ему самый важный в ней пост и зачастую советовался с ним, в чем удостоверяет их переписка. Если он решился отказаться от Суворова после очаковского случая, то это потому, что самолюбие и эгоизм его пересиливали все другие соображения. Они были Суворовым затронуты, — и этого достаточно, хотя Потемкин оценял перед тем Суворова в 10,000 человек, а после кинбурнской победы конечно дорожил им и того больше.

Суворов уже в то время был отчасти облечен несколько легендарной оболочкой, которая отводила современникам глаза и спутывала их о нем понятия. Еще при его жизни расплодилось много вымышленных о нем анекдотов и известий, и значительная их часть, относящаяся к ранним периодам, очевидно изобретена в

пору позднейшую, когда причуды и странности Суворова дошли до апогея и почти совсем заслонили самого человека. Историку весьма трудно разобраться во всей этой груде измышлений, преувеличений и анахронизмов. Для примера приведем еще анекдот, относящийся к 1788 году. Один из современников [2] говорит, что Государыня послала Суворову в Петербург (он в этом году там не был) 5,000 рублей, через камер-лакея, но что Суворов, недовольный таким незначительным подарком, отдал один империал посланному, а остальное возвратил, сказав, что и без того слишком богат по милости Государыни. Вслед затем, по выезде Суворова из Петербурга, Екатерина будто бы послала ему 30,000 р., и эту сумму Суворов принял безоговорочно. Ничего подобного не было. Годом раньше, т.е. осенью 1787 г., действительно последовал указ о назначении Суворову 5,000 р. на экипаж, но не в Петербурге, а заочно, в Кинбурн, за что Суворов и благодарил Государыню письмом 17 октября из Кинбурна [3]; других же денежных пожалований ни тогда, ни в ближайшее время он не получал. В этом свидетельствуют разнородные документы, в которых сохранился бы хоть намек или какой-нибудь след такой крупной суммы, как 30,000 рублей.

Прибыв на театр войны и представившись графу Румянцеву, Суворов вступил в командование дивизией, расположенной между реками Серетом и Прутом. Сделав осмотр местности, он выбрал у Карапчешти, впереди Бырлада, очень выгодную позицию, куда и перевел свои войска.

Вслед за тем переменилось у него начальство. Под влиянием Потемкина, Екатерина перестала относиться с прежнею благосклонностью к Кагульскому победителю и виновнику Кучук-Кайнарджиского мира. Этому отчасти способствовал сам Румянцев, сильно наскучив Государыне жалобами на разные недостатки в его Украинской армии. Кроме того он состарился, часто хворал и утратил большую часть своей прежней военной энергии, хотя все-таки представлял собою военное дарование, значительно превышавшее Потемкинское, доказательством чему служило начало кампании. Екатерина решилась устранить его от командования и подчинить обе армии Потемкину, «дабы согласно дело шло». Это было натяжкой, потому что Румянцев исполнял свою задачу в минувшую кампанию безукоризненно и раздоров с Потемкиным не имел. Ему предложили начальствование над новой армией, предполагавшейся к формированию против Пруссии; он понял заднюю мысль, сдал Украинскую армию Каменскому до прибытия назначенного на его место князя Репнина, подал в отпуск за границу и поселился в небольшом имении Стынки, неподалеку от Ясс. Пришло дозволение ехать в

отпуск, а Румянцев оставался, вероятно выжидая перемены к лучшему. Потемкину не могло нравиться пребывание близ самого театра войны старого победоносного фельдмаршала, бывшего его начальника и учителя, имевшего много тайных сторонников в армии. Под его влиянием началось, по повелению Государыни, выживание Румянцева из-под Ясс, но ввиду неподатливости старого фельдмаршала, долго не имело успеха. Он оставался тут около двух лет и только тогда выехал в свое малороссийское имение.

Князь Репнин, сменивший графа Румянцева, поступил под начальство Потемкина. В Молдавской, бывшей Украинской армии, оказался большой во всем недостаток; Потемкин принялся за её укомплектование и снабжение, на что потребовалось время. Бывшая Екатерипославская армия между тем стягивалась к Ольвиополю, а потом, в половине июля, потянулась к Бендерам; движение но обыкновению совершалось не торопясь. Турки. пользуясь этим, решились нанести сильный удар, и корпус войск под начальством Османа-паши предпринял наступление к Фокшанам, дабы разбить сначала Австрийцев, а потом обратиться на Русских. Командовавший лсвою оконечностью австрийской армии, принц Кобургский, обратился с настоятельной просьбой о подкреплении к ближайшему русскому военачальнику, Суворову.

Под начальством Суворова состояло пять пехотных, восемь кавалерийских полков и 30 орудий полевой артиллерии. О своем прибытии на пост он известил принца Кобургского и получил от него любезный ответ. Они не были знакомы лично, но с первого же шага между ними установились добрые отношения, которые и послужили залогом последующих успехов. На приглашение принца Кобургского Суворов отвечал. что выступает тотчас же, и действительно двинулся в 6 часов вечера 16 июля, с большею частью своей дивизии, по направлению к Аджушу на реке Серете. Он выбрал кратчайшую, но трудную дорогу; шел вечер, ночь и следующий день, давая войскам лишь необходимые роздыхи, и прибыл к Аджушу в 10 часов вечера, пройдя в 28 часов до 50 верст самой дурной дороги. Тут ждал его принц Кобургский, который поверил такому быстрому прибытию Русских лишь тогда, когда увидел их своими глазами. Весь следующий день пошел на наводку трех мостов на реке Тротуше, и русские войска основательно отдохнули. Первым делом представлялось конечно взаимное соглашение командующих отрядами насчет дальнейших действий, и потому Кобург послал 18 числа утром к Суворову, приветствовать его и просить о личном свидании. Суворов дал уклончивый ответ, который поставил Кобурга в недоумение. Он писал к Суворову во второй раз; посланного не приняли, сказав,

что генерал Богу молится; несколько времени спустя отправлен третий посланный, — отвечено, что генерал спит. Недоумение Кобурга возрастало, он не мог понять причины странного поведения Суворова. Так прошел день, не бесплодно конечно, потому что делались приготовления к переправе, и в 11 часов вечера Кобург получил от Суворова небольшую записку, написанную по-французски. Сущность её состояла в следующем: «войска выступают в 2 часа ночи тремя колоннами; среднюю составляют Русские. Неприятеля атаковать всеми силами, не занимаясь мелкими поисками вправо и влево, чтобы на заре прибыть к реке Путне, которую и перейти, продолжая атаку. Говорят, что Турок перед нами тысяч пятьдесят, а другие пятьдесят — дальше; жаль, что они не все вместе, лучше бы было покончить с ними разом». Получив эту записку, Кобург не без колебаний решился принять ее к исполнению, так как препираться и спорить было некогда, а Суворов имел уже такую боевую репутацию, что уступку ему сделать можно, несмотря на то, что Кобург был старше его в чине и имел поэтому больше прав на общее руководительство [4].

Поступок Суворова был рискованный, но на этот раз удался, благодаря мягкости австрийского генерала. Зная очень хорошо образ действий Австрийцев, их медленность, нерешительность, склонность к крайнему методизму, Суворов решился повести дело по своему. Позже он объяснял, что должен был избегать свидания с Кобургом, иначе «мы бы все время провели в прениях дипломатических, тактических, энигматических; меня бы загоняли, а неприятель решил бы наш спор, разбив тактиков [5]. Выраженное в конце записки сожаление, что Турки не все вместе, было средством, которое Суворов употреблял не раз, дабы привить к другим свою уверенность в успехе, и средство помогало. В настоящем случае, для него было особенно важно внушить подобную уверенность войскам незнакомым, с традициями анти-Суворовского направления. Надо было озадачить, покорить методиков дерзостью, подчинить их своему нравственному влиянию, влить в них свою бестрепетную душу. Вся трудность состояла в этом нервом шаге, последующие делались уже логически. Суворов напал на материал, не в конец еще испорченный фальшивой воспитательной системой и дурным предводительством, а потому в расчетах своих не обчелся. Условиться с Кобургом о подробностях он имел время и впереди, а бояться тогда колебаний и возврата назад было уже нечего.

Часа в 3 после полуночи союзники выступили тремя колоннами, перешли по трем мостам Тротуш и продолжали путь к Фокшанам двумя колоннами; правую составляли австрийские

войска, левую русские. Левой колонне дан авангард из австрийских войск, преимущественно из конницы, под начальством полковника Карачая, чтобы скрыть от Турок как можно дольше присутствие Русских. С этою же целью, при остановках для отдыха, русские войска располагались скрытно, в лощинах. Переночевав в Карломанешти, утром 20 июля двинулись дальше и в. Маринешти построились в боевой порядок. Суворов выехал слишком много вперед, производя рекогносцировку, и чуть было не попал в руки Турок, но к счастию они его не узнали. В боевом порядке по правую руку стали Австрийцы, построившись кареями в две линии, в третьей конница; Русские — таким же образом, но за третьей линией стояли еще казаки и арнауты [6], а впереди первой линии австрийские гусары под начальством Карачая.

Показался отряд турецкой конницы, Суворов выслал сотню казаков; в 4 часа дня тронулись и главные силы союзников. Завязалась передовая схватка, довольно упорная; в результате Турки были прогнаны за р. Путну с большою потерей. При наступившей ночи, под проливным дождем, стали наводить мост; Турки препятствовали, вздувшаяся вода замедляла работу, но мост все таки поспел раньше полуночи. Вслед за небольшим австрийским авангардом перешел на ту сторону и Суворов, а на рассвете 21 июля переправился австрийский корпус.

Союзники стали в прежнем боевом порядке и двинулись вперед, к городку Фокшанам, до которого оставалось 12 верст. Карачай со своим отрядом служил связью между австрийскою и русскою частями боевого порядка. Тотчас же начались турецкие конные атаки, сначала слабые на фронт союзников, потом сильные на фланги. Особенно настойчиво производились атаки на корпус Суворова. Наторелые в турецких войнах русские батальоны встречали Турок хладнокровно, близким огнем; хотя некоторые смельчаки, отчаянные головы, доскакивали до каре и врывались внутрь, но погибали на штыках, не производя серьезного расстройства. Целых два часа кружилась турецкая конница, выбирая моменты для атак и пользуясь ими, но наконец всею массою отхлынула.

Союзники продолжали наступление. На пути их находился довольно большой и густой бор, по которому нельзя было двигаться не расстроившись. Решено было его обойти; Австрийцы взяли вправо, Русские влево; Турки повалили оттуда беспорядочными толпами к фокшанским земляным окопам, где и засели для последнего отпора. Обогнув лес в примерном порядке, как на ученье, Русские пошли по местности, покрытой зарослью и цепким кустарником. Путь этот весьма утомил войска; у людей и

лошадей ноги были перецарапаны и изранены, а между тем приходилось еще пособлять движению артиллерии, вытаскивая ее на руках. Но благодаря тем же свойствам местности, атаки Турок были редки и слабы; они участились и сделались настойчивыми лишь в то время, когда войска выбрались на открытое место. Суворов вызвал из-за 3 линии конницу, которая и отбивала Турок, пока наступающие не приблизились версты на две к турецкому ретраншаменту. Затем турецкая кавалерия очистила поле, заняла позицию на флангах укрепления, и Турки открыли сильный артиллерийский огонь. Оба союзные корпуса вошли между тем во взаимную связь и двигались вперед с удвоенною быстротой. С расстояния одной версты союзная артиллерия открыла сильный огонь; кавалерия бросилась в атаку, опрокинула турецкие конные толпы и сбила с позиции часть пехоты, прогнав ее за фокшанскую черту. Тогда первая линия союзников, предводимая генералом Дерфельденом, с расстояния 1000 шагов бросилась в атаку, без выстрела, и лишь подойдя близко, дала залп. Окопы были слабы и слабо вооружены артиллерией; пехота на штыках ворвалась внутрь, выбила остальных Турок, обратила их в бегство и заняла весь ретраншамент. Конница турецкая, опрокинутая раньше, в полном беспорядке искала спасения в бегстве.

Не в дальнем расстоянии от ретраншамента находился укрепленный монастырь св. Самуила, нечто в роде редюита. Тут засело несколько сот янычар; решившись обороняться до последней крайности, они отвергли все предложения о сдаче. Суворов обложил монастырь с одной стороны, принц Кобургский с другой, и союзная артиллерия открыла огонь. Янычары держались упорно; прошло не мало времени, пока удалось разбить ворота и калитку. Вход был расширен лежавшим тут же во множестве турецким шанцевым инструментом; Дерфельден повел войска на штурм, а за ним тронулись Австрийцы. В это время случайно или намерено был взорван в монастыре пороховой погреб; от взрыва пострадали не только Турки, но и штурмовавшие: с русской стороны, кроме солдат, было переранено больше 10 офицеров; принца Кобургского чуть не задавило обломком стены. Но это обстоятельство не могло уже остановить штурмовавших, и все оставшиеся в живых защитники монастыря были переколоты.

Оставалось затем сделать немногое. Невдалеке за городом находился другой монастырь, св. поанна; туда скрылось несколько десятков Турок. Принц Кобургский отрядил батальон. и через час монастырь был взят [7].

Разбитые на голову войска Османа-паши бежали в полном расстройстве на Рымник и Бузео, бросая на дороге все, что

замедляло их бегство. Легкие войска союзников преследовали их, не давая опомниться, и тем удвоили их потери.

При этом взято без малого тысяча повозок, нагруженных всякого рода запасами, и много скота. Сверх того победителям достался богатый фокшанский лагерь и значительные продовольственные магазины. Военных трофеев насчитано 12 пушек и 16 знамен. Потеря Турок убитыми определяется в 1500, число раненых осталось неизвестным, в плен взято не больше 100. Свою потерю убитыми и ранеными Суворов исчисляет в 84 человека [8]; по другим источникам она простиралась до 150, а у Австрийцев до 200; но надо полагать, что эти цифры ниже истины, если взять в расчет штурм монастыря, взрыв погреба, несколько упорных моментов боя и численность отрядов — русского в 7000, австрийского в 18000 человек.

Бой продолжался 10 часов; войска были очень утомлены, но победа возбудила нервы и маскировала усталость. Оба начальника съехались, сошли с лошадей и крепко обнялись; их примеру последовала свита; поздравления, добрые пожелания и надежды слышались всюду, при встрече Русских с Австрийцами. Суворов особенно отличил храброго Карачая и в присутствии Кобурга обнял и расцеловал его. С этого памятного дня начались близкие, дружеские отношения между Суворовым и Кобургом, благодаря тому, что благородный принц сразу признал превосходство над собою своего русского товарища по оружию. Тотчас по окончании дела, он приказал разослать на земле ковер и подать походный обед. Суворов, Кобург, их свита, многие русские и австрийские военачальники сошлись за импровизованным столом радушного хозяина. Добрые отношения между Русскими и Австрийцами выдержали даже довольно существенное испытание — дележ трофеев и добычи; не было при этом никаких споров, все обошлось полюбовно. Продовольственные магазины Австрийцы получили безраздельно, так как Русским приходилось идти далеко назад, на прежнее свое место. Императрица Екатерина была очень довольна таким согласием, потому что её европейские недоброжелатели возлагали большую надежду на неизбежность внутренних раздоров между союзниками. «Фокшаны зажмут рот тем, кои рассеявали, что мы с Австрийцами в несогласии», сказала она при этом случае.

Суворов конечно был за продолжение наступательных действий, доказательством чему служит его письмо к Репнину тотчас по возвращении в Бырлад. «Отвечаю за успех, если меры будут наступательные; оборонительные же, — визирь придет. На что колоть тупым концом вместо острого? [9]». Однако он не имел

на то полномочия; ожидалось приближение армии Потемкина; получено известие, что визирь готовится переправиться через Прут и идти на Яссы. Все это вместе взятое, при ничтожных силах и без уверенности в поддержке, удержало Суворова от наступательных действий. Решено было возвратиться к своим местам, — Кобургу к Аджушу, Суворову к Бырладу. Суворов тронулся 22 числа по кратчайшей дороге, но по недостатку понтонов у Фурчень, вернулся и перешел на прежний свой путь. Тут тоже представились препятствия от раздувшейся реки; он оставил тяжести, пошел налегке и прибыл к Бырладу 25 и 26 июля, а обозы подошли несколько позже.

На первых порах Суворов послал Репнину такое донесение: «Речка Путна от дождей широка; Турок 5-6 тысяч спорили, мы ее перешли, при Фокшанах разбили неприятеля; на возвратном пути в монастыре засели 50 Турок с байрактаром, я ими учтивствовал принцу Кобургскому, который послал команду с пушками, и они сдались». Должно быть в подобном же роде он извещал и Потемкина, который не удовлетворился донесением и написал Репнину: «о фокшанском деле я получил, так сказать, глухую исповедь и не знаю, что писать ко двору. Синаксари Александра Васильевича очень коротки; извольте истребовать от него подробного донесения, как дело происходило и куда неприятель обратился». Вследствие ли дошедших неточных известий или почему другому, князь Репнин поторопился послать принцу Кобургскому поздравительное письмо, приписывая ему честь победы. Потемкин в том же письме от 31 июля делает по этому случаю Репнину замечание: «в письме к Кобургу вы некоторым образом весь успех ему отдаете. Разве так было? А иначе не нужно их так подымать, и без того они довольно горды» [10].

Фокшанская победа произвела живую радость при обоих союзных дворах, особенно в Вене, так как это было первым значительным успехом Австрийцев в поле с самого начала войны. Императрица Екатерина заплакала от удовольствия, поехала из Царского Села в Петербург, прямо в Казанский собор, где и слушала благодарственный молебен с коленопреклонением, в присутствии великих князей, вызванных из Гатчины. Суворов был награжден бриллиантовым крестом и звездой к ордену Андрея Первозванного, а от Австрийского императора получил богатую табакерку с бриллиантовым шифром при очень любезном рескрипте. Кобургу пожалован большой крест ордена Марии Терезии [11].

Император отдавал Суворову лишь должное, даже меньше должного. Не будь Суворова, не было бы и победы, потому что принц Кобургский ни в каком случае не отважился бы сам собою

на решительные наступательные действия; все предшествовавшее и последующее время служит неопровержимым тому доказательством. Строго говоря, не прибытие русского вспомогательного корпуса, а собственно присутствие Суворова дало делу толчок и победный исход; в таком именно смысле выражается один из старых историографов Суворова [4], и истинность этого положения не подлежит сомнению. Тут требовалось не увеличение сил с 18 на 25 тысяч, а решимость, энергия и дарование. Турки потому и были побеждены, что все это, не доставшее Кобургу, Суворов принес с собой.

И прежде Турки знали Суворова, но теперь он стал им особенно известен; ему даже дали кличку. Перед тем он как-то наступил на иголку, которая вошла ему в ступню ноги и там сломилась; сломанный конец трудно было вытащить и потому Суворов хромал. Его назвали Топал-паша, хромой генерал.

Июль прошел, а Потемкин ничего еще не сделал; армия его продолжала медленно двигаться от Ольвиополя к Днестру. Он опасался за Крым, за Кубань, колебался, раздумывал — осаждать ли Бендеры или идти в Молдавию, куда по слухам тянулись огромные турецкие силы. Когда же наступательные намерения великого визиря показались Потемкину несомненными, он приказал князю Репнину предпринять также наступательную операцию. Репнин выслал отряд для подкрепления Суворова и сохранения с ним связи, а сам направился противу наступавшего корпуса Гассана (бывшего капитан-паши). При Сальчах произошло 18 августа авангардное дело и затем ночное отступление Турок. Репнин пошел дальше, подошел к Измаилу, самой сильной на Дунае крепости, и стал в пушечном от нее выстреле. Русская артиллерия открыла сильный огонь; загорелось предместье, а за ним и город; в крепостной стене образовалась брешь. Войска с нетерпением ждали штурма, находясь на ногах с раннего утра до вечера, по Репнин на это не отважился, убоясь «знатной потери и памятуя приказание Потемкина — сберегать людей». Ударили отбой; после 2300 выпущенных снарядов пальба замолкла; с музыкой и барабанным боем отступили войска, но по удостоверению очевидца, и с весьма тяжелым чувством [12]. Репнин пошел обратно прежним путем и, перейдя р. Ларгу, остановился.

Великий визирь ввел Потемкина в заблуждение; наступление Гассана было только диверсией для отвлечения русских сил от Молдавии, чтобы произвести там сильный удар. Суворов был проницательнее и если не предвидел, то подозревал замысел Турок. Он приготовился идти на соединение с принцем Кобургским при первой надобности, продвинулся для этого из Бырлада вперед, к Пуцени, чтобы находиться почти на

одинаковом расстоянии от Галаца и Фокшан, оставил у Бырлада и Фальчи часть войск и приказал производить беспрестанные разведки.

Верность предположений Суворова оправдалась в самом скором времени. Великий визирь собрал огромную массу войск, перешел Дунай у Браилова и двинулся к Рымнику. Принц Кобургский узнал про это через лазутчиков и тотчас же обратился к Суворову за помощью. Суворов получил извещение 6 сентября ночью, но не убежденный в его справедливости и обязанный наблюдать не только Фокшаны, но и Галац, он решился выждать, пока обстоятельства разъяснятся несомненным образом. Почти через сутки приспел к нему новый гонец Кобурга со вторичной просьбой и с извещением, что визирь продвинулся еще вперед, остановился в расстоянии 4 часов пути от Австрийцев и потому на завтра надо ожидать атаки. Суворов увидел, что напрасным выжиданием потратил много дорогого времени, а потому выступил ни мало не медля, в полночь на 8 сентября, о чем и донес Потемкину. Потемкин тотчас же написал Государыне, пояснив, что «Кобург почти караул кричит» и что наши едва ли к нему поспеют вовремя [13].

В самом деле, обстоятельства сложились неблагоприятно для союзников и затем стали усложняться новыми препятствиями. Суворов тронулся в путь темною ночью; пройдя около 25 верст, войска достигли речки Бырлада в полдень 8 числа, перешли ее и сделали короткий привал. Тронулись дальше по дороге, становившейся все хуже; верст чрез 15 предстояла новая переправа, чрез р. Серет, где по условию Австрийцы должны были навести понтонный мост. Моста не оказалось, по какому-то недоразумению он был наведен в 14 или 15 верстах выше. Пошли туда по самой дурной дороге; вечером полил сильный дождь и разразилась буря; дорога превратилась в болото. Однако кое-как добрались среди ночи; авангард перешел, за ним тронулись карабинеры с Суворовым во главе, но в это время мост повредило вздувшейся водой. Переправа сделалась более, чем рискованной, следовало выждать. Подошла пехота; измученные, промокшие насквозь люди стояли по колено в грязи, под проливным дождем, и ждали. Суворов осмотрел окрестную местность, выбрал небольшую возвышенность, покрытую лесом, где по свойству почвы было не так грязно, и приказал перевести туда войска. Здесь они отдыхали до утра, при продолжавшемся ненастье.

Вместе с тем приказано дежурному майору Курису исправить мост. Согнали до 1000 человек окрестных жителей, нарядили 1500 солдат, взяли в работу австрийских понтонных лошадей, и к утру мост был готов. Буря пронеслась, небо прояснилось; войска

ободрились и повеселели. На рассвете тронулись в путь, перешли Серет, сделали около 20 верст но размытой дождями дороге, перед вечером переправились через р. Путну у Маринешти расположились снова на отдых.

Тяжела была ночь с 8 на 9 сентября для войск, а для самого Суворова и того хуже. При своей энергической, бурной натуре, он испытывал Танталову муку, сидя сложа руки на месте, когда нужно было идти и идти.

Нарочно для сокращения пути в случае движения на неприятеля, перешел он заранее из Бырлада в Пуцени и оттуда внимательно следил за Турками, а между тем потерял целые сутки, когда спешность именно и требовалась. Конечно не из нерешительности он так поступил, не в колебаниях пропало время; требовали того осторожность и осмотрительность. Тем не менее время было потеряно, и Суворов, ценивший в военном деле время выше всего, больше всякого другого понимал важность потери. Но в этом самом обстоятельстве заключалась и надежда: у Суворова двойника не было, а взгляд других, особенно Турок, не отличался такой строгостью. Стала подтверждать это и действительность: Кобург беспрестанно посылал к Суворову гонцов с записочками, на которых Суворов писал ответы карандашом; извещения Кобурга ничего существенно-тревожного в себе не заключали; Турки очевидно не торопились. Суворов мог под конец успокоиться совершенно, но что он достиг этого после сильной внутренней тревоги, это явствует из серьезности тогдашнего положения дел и подкрепляется одним обстоятельством. Находясь в Пуцени, он страдал лихорадкой, поход к Рымнику делал при самых благоприятных для развития болезни условиях, а между тем совершенно выздоровел. Такой неожиданный исход может быть объяснен только психическими причинами.

Рано утром, 10 сентября, русская легкая кавалерия подошла к австрийскому лагерю и легко понять с какою радостью была встречена. Затем с пехотою прибыл Суворов; до полудня весь русский отряд был на месте и примкнул к левому флангу Австрийцев, которые стояли на реке Мильке, невдалеке от Фокшан, и уже два дня выдерживали довольно горячие авангардные стычки с Турками. Для Суворова тотчас же разбили шатер, навалили сена, и он принялся соображать дальнейшие действия.

Немного времени спустя приехал к нему принц Кобургский; услышав имя принца, Суворов вскочил, бросился ему навстречу, крепко его обнял и несколько раз поцеловал. Принц стал выражать ему свою радость, свою благодарность за своевременное

прибытие; Суворов, не охотник вообще до комплиментов и до траты слов, когда ожидало спешное дело, не слушая Кобурга потащил его на сено и, разлегшись около, принялся объяснять свои предположения, он настаивал на необходимости безотлагательной атаки, потому что если Турки сами не атакуют, то значит поджидают подкреплений. Кобург заметил, что силы слишком неравны, что Турок почти вчетверо больше, и атака будет очень рискованной. Суворов возразил, что при таком неравенстве сил, только быстрая, смелая атака и обещает успех; что при свойственном Туркам способе действий, множество их умножит и беспорядок; да наконец, прибавил он с усмешкою: «все же их не столько, чтобы заслонить нам солнце». Трудно было принцу Кобургскому убедиться в том, что противоречило всему складу его понятий; он продолжал приводить разные затруднения в роде изнурения русских войск, сильно укрепленной неприятельской позиции и т. н. Суворов его оспаривал и под конец несколько раздраженный сказал, что если Кобург не разделяет его взгляда, то он, Суворов, атакует Турок одними своими войсками и надеется их разбить [14]. Слова эти вероятно были приняты принцем за браваду, но так как вместе с тем затрагивалась его военная честь, то он счел за лучшее согласиться. Принц стал вдаваться в предположение — исполнил ли бы Суворов вырвавшееся у него слово или нет, но ясно, что он прибегнул к своей угрозе, как к последнему средству. Перед ним находился представитель тогдашнего, низко упавшего военного искусства, совершенно расходившегося с Суворовскими принципами. Дело, которое Суворов строил на духовной натуре человека и обставлял целою воспитательною системой, понималось другими в виде какого-то графического искусства, требовавшего кучи механических подробностей, т, — е. дрессировки. При такой основной разнице взглядов, возможно ли было свободное соглашение и не следовало ли разрубить Гордиев узел вместо это развязывания? Не даром Суворов, перед фокшанским делом, уклонился от беседы с Кобургом; он и теперь готов бы был прибегнуть к этому средству, но после фокшанского знакомства оно сделалось невозможным.

Атака турецких позиций таким образом была решена, и великому визирю предстояла жестокая расплата за непростительную трату времени и ничем не извинимое бездействие в виду одного корпуса принца Кобургского. Надо было только развит подробности плана действий, Суворов в сопровождении нескольких офицеров и небольшой партии казаков отправился на рекогносцировку, к реке Рымне, и чтобы лучше обозреть местность, взлез на дерево. Отсюда он охватил

глазом пространство между речками Рымною и Рымником, где была расположена огромная турецкая армия на крепкой позиции. Внимательно смотрел он вокруг, запоминая подробности; диспозиция мало-помалу складывалась у него в мыслях, и он поехал назад с готовым в голове планом. Встретив два австрийские эскадрона, любезно посланные Кобургом ему в конвой, Суворов приехал к принцу, сообщил ему виденное и обещал прислать доверенное лицо, для окончательного соглашения. Возложив это на полковника Золотухина, он отправился к себе, чтобы приготовить войска к предстоящему бою и, по всей вероятности, чтобы отдохнуть, так как с выступления из Пуцени он не смыкал глаз.

Как только солнце зашло, войска тронулись двумя колоннами; правую составляли русские войска, с двумя дивизионами австрийской кавалерии; левую австрийские. Перешли речку Мильку в брод и продолжали движение в совершенной тишине, дабы явиться перед неприятелем внезапно; как и перед делом при Фокшанах, сигналов не давали, командные слова произносили вполголоса, Ночь была безлунная, но звездная; движение произведено действительно скрытно, хотя и не без некоторой путаницы, так как часть русских войск сбилась с пути но ошибке проводника и столкнулась с Австрийцами. Прошли верст 12 или 14; реку Рымну, шириною в 200 шагов, но мелководную, перешли в брод; а для переправы артиллерии употребили сильных лошадей австрийского понтонного парка. Времени пошло на переправу много, но совершена она в тишине и порядке, и войска построились на рассвете в такой же боевой порядок, как при Фокшанах. Австрийцы имели 6 пехотных каре в первой линии, 4 во второй, затем кавалерия; русские войска тоже имели первые две линии из пехоты, а конницу сзади; часть её впрочем находилась на флангах. Первою линией Русских командовал генерал-майор Позняков, второю бригадир Вестфален, кавалериею бригадир Бурнашов.

Суворов должен был идти параллельно Рымне вправо, Кобург же прямо, подавшись довольно много в правую сторону; для поддержания связи между Русскими и Австрийцами назначена часть австрийских войск под начальством генерал-майора Карачая. Численность обоих корпусов была приблизительно та же, что и при Фокшанах.

Когда солнце встало, войска уже двигались, доселе никем не замечаемые: до такой степени была дурно распоряжена и исполнялась аванпостная служба в турецкой армии. Турки поверили своему шпиону, будто Русские находятся по прежнему в Пуцени, и хотя один русский офицер, взятый с несколькими

казаками в плен и при начале боя расспрашиваемый визирем, уверял его, что Суворов находится здесь, с сильным корпусом, но визирь заметил, что Суворов умер от ран в Кинбурне, и это должно быть его однофамилец.

Наконец Турки увидели наступающего неприятеля и выслали против него конные толпы. Суворов продолжал двигаться по направлению к с. Тыргокукули, густым высоким бурьяном и кукурузными полями, где верстах в 4-5 от места переправы находился 12000-ный турецкий лагерь, тянувшийся от р. Рымны до леса Каята и защищенный батареей. Большие турецкие орудия открыли огонь, Русские прибавили шагу, но неожиданно наткнулись на глубокую лощину, лежавшую поперек их пути, через которую пролегала одна только дорога. Первая линия замялась под сильным артиллерийским огнем Турок, по Суворов, находившийся при одном из каре, не дал времени раздумывать. Он приказал правому крылу спускаться, потом подняться и атаковать; 2 батальона Фанагорийских гренадер исполнили это, бросились на батарею и выгнали Турок. Тем временем стали постепенно переходить лощину остальные каре линии, и шедшая на правом фланге кавалерия, обогнув овраг, атаковала Турок. Подоспело до 3- 4,000 спагов, подвезя на своих лошадях 2-3,000 янычар; русская кавалерия была охвачена и опрокинута, и янычары с ятаганами и кинжалами бешено ударили на гренадер. Каре дало твердый отпор, а другое, с Суворовым, взяло атакующих во фланг и сильно поражало артиллерийским и ружейным огнем. С полчаса Турки упорствовали в атаках, но безуспешно. Поражаемые огнем и атакованные в свою очередь гренадерами в штыки, а кавалериею с фланга, они бежали, по прежнему по два всадника на лошади, преследуемые русской кавалерией. Между тем казаки и арнауты успели еще раньше ворваться в турецкий лагерь, откуда добрая половина войск в самом начале боя бежала по букарестской дороге. Они встретили атакой опрокинутую турецкую кавалерию, которая поэтому промчалась мимо своего лагеря и рассеялась в две разные стороны. Суворов велел дать бегущим «золотой мост», объясняя в своем донесении, что впереди ему предстояло дело поважнее.

Пока все это происходило, Кобург, тронувшийся с места позже Суворова, наступал левее его на большой турецкий лагерь, находившийся впереди Крынгумейлорского леса. Таким образом два союзные корпуса образовали собою прямой исходящий угол, с большим в вершине угла промежутком, который охранялся отрядом генерал-майора Карачая. На Австрийцев Турки повели несколько сильных последовательных атак с обоих флангов, особенно с левого, но были постоянно отбиваемы и прогоняемы

австрийской кавалерией. Затем визирь, обратив внимание на большой промежуток между Русскими и Австрийцами, решился направить удар в это место, разрезать союзников и истребить их. Сюда двинулась от дер. Боксы масса турецкой конницы, силою от 15 до 20,000 и, разделившись на две части, ударила на Австрийцев и на Русских. Удар был такой ужасный, что правое крыло Австрийцев с трудом устояло. Карачай семь раз бросался в атаку и семь раз был отбит; Суворов подкрепил его двумя батальонами. В конце концов, хотя с огромными усилиями, но Турки все таки были отброшены. Не больше успеха имело их нападение на левый фланг 2 линии Суворова, которая не успела еще вся иерейти через овраг. Суворов поставил среднее каре таким образом, чтобы встретить Турок перекрестным огнем, и выдвинул из 3 линии часть кавалерии. Турки кидались в атаку не раз, даже иногда прорывались в каре, но благодаря стойкости войск, их выдержанному ружейному огню и атакам русско-австрийской кавалерии, были отбиты. Они решились на последнее усилие: соединившись с толпами, отброшенными от левого австрийского фланга, налетели со слепою яростью на русские каре. Их встретил губительный огонь и атака Карачая в правый фланг; Турки отхлынули и, по пятам преследуемые, понеслись к дер. Боксе.

Суворов направил свой отряд влево, частью через лес Каята, частью в обход его с обеих сторон, переменив таким образом фронт от Тыргокукули к Крынгумейлорскому лесу, т.е. почти под прямым углом. Маневр исполнен совершенно благополучно, Турки бежали из Каяты, русские каре стали выстраиваться в линию по новому направлению. Не доходя версты 3 или 4 до Крынгумейлорского турецкого лагеря, Суворов остановил свои войска около полудня и, пользуясь близостью колодцев, дал им отдых. Прекратили бой также Австрийцы, да и Турки, как бы по безмолвному соглашению с неприятелем, приняли выжидательное положение.

Самое трудное было исполнено: движение вдоль главного турецкого лагеря, взятие флангового отдельного лагеря при Тыргокукули и перемена фронта, Кобург, отбив атаки турецкой конницы, тоже продвинулся несколько вперед. Интервал между корпусами австрийским и русским уменьшился, но все-таки был значителен, да притом оба корпуса находились еще далеко не на одной высоте относительно друг друга.

Полчаса с небольшим отдыхали войска, а Суворов в это время осматривал впереди лежащую местность. По западной опушке Крынгумейлорского леса, куда вели Австрийцы атаку, расположены были главные турецкие силы и тянулся длинный

неоконченный ретраншамент, на котором и в это время еще производились работы. Позиция была крепкая. Оба её фланга прикрывались глубокими, топкими оврагами, по которым протекали речки, и хоть между левым флангом и оврагом тянулась узкая полоса, удобная для движения, но за то впереди его лежала деревня Бокса, укрепленная батареями, которые обстреливали к ней подступ и анфилировали Крынгумейлорскую позицию.

Суворов положил овладеть Боксой и потом атаковать крынгумейлорскую позицию. В час дня войска поднялись и тронулись, — Русские на левый турецкий фланг, Австрийцы на центр и правый. Тысяч сорок Турок бросились в атаку на корпус Кобурга со всех сторон, преимущественно на левое крыло. Удары следовали почти без перерыва, но австрийская пехота держалась мужественно, а кавалерия врубалась в неприятельские толпы, окруженная и теснимая открывала себе обратный путь и снова атаковала с замечательной отвагой. Принц Кобургский, окруженный громадными полчищами, не без тревоги замечал, что неприятеля не убывало, а прибывало и что отбитые толпы постоянно сменялись свежими. По-видимому наступала критическая минута, и не в состоянии будучи превозмочь свое душевное волнение, принц посылал офицера за офицером к Суворову, прося его поскорее присоединиться.

Суворов не мог еще этого сделать. Он двигался по направлению на Боксу, под выстрелами тамошних батарей и при налетах турецкой конницы. Русская артиллерия действовала так удачно, что Турки два раза свозили свои орудия с позиции, наконец убрали их совсем и очистили Боксу. Суворов «держал марш параллельный, вдоль черты принца Кобурга», занял Боксу и продолжал движение к Крынгумейлорскому лесу. Спаги производили беспрерывные атаки; из них одна была очень сильная, так что казаки и арнауты были совершенно ею смяты, но регулярные войска выдержали, и отбитые Турки понеслись назад, под ударами русских карабинер и австрийских гусар. На полном марше Суворов велел кареям первой линии раздвинуться, части кавалерии занять эти интервалы, части казаков и арнаутам поместиться по флангам, остальным казакам в резерве. а австрийским эскадронам на оконечности левого фланга. В таком порядке войска его приближались к турецкому ретраншаменту при непрерывном действии артиллерии своей и турецкой, сближаясь с австрийским корпусом и наконец составив с ним одну общую, несколько вогнутую линию.

Турки занимали ретраншамент и опушку очень редкого Крынгумейлорского леса пехотой и артиллерией, а конница

прикрывала фланги. Суворов послал полковника Золотухина к принцу Кобургскому — передать предположение к атаке и просить об одновременном и однородном действии; принц на все согласился. Таким образом оба корпуса продолжали движение под учащенным огнем турецких батарей; союзная артиллерия отвечала им все с большим успехом, по мере сокращения пространства, и наконец заставила замолчать. В неприятельских рядах произошло движение, — признак приближающейся развязки: более робкие стали уходить, более смелые готовились к отпору. Минута наступила жуткая, внушительная.

Когда атакующие подошли к неприятелю сажен на 300 или на 400, конница по данному знаку бросилась из интервалов всей линии полным карьером в атаку, а за нею с удвоенною скоростью пошла пехота. Так как ретраншамент турецкий далеко еще не был похож на оконченное укрепление, то кавалерия без труда перескочила рвы и брустверa и врубилась в толпы янычар, оторопевших при виде такой небывалой атаки. «Не можно довольно описать сего приятного зрелища», говорит Суворов в своем донесении про кавалерийскую атаку окопов. Но впечатление неожиданности скоро прошло под сабельными ударами союзников, и янычары стали защищаться с яростью отчаяния. Казаки и арнауты с правого русского крыла и австрийские уланы с арнаутами с левого австрийского, атаковали турецкую кавалерию и ворвались в лес. Вслед затем, с грозными раскатами «ура», подоспела и ударила пехота, никем не тревожимая на ходу. Суворов, находившийся почти весь день в постоянном огне, был тут же и кричал солдатам: «ребята, смотрите неприятелю не в глаза, а на грудь: туда придется всадить ваши штыки» [4]. Началась страшная резня, а затем беспорядочное бегство Турок. В 4 часа дня победа была обеспечена.

Турки бежали к Мартинешти на р. Рымнике, где находился их третий самый большой лагерь, верстах в 6 от Крынгумейлорского леса. Союзники преследовали их настойчиво и беспощадно: неприятелей было слишком много, чтобы забирать их в плен. Небольшая часть союзных войск осталась на месте, охраняя взятую артиллерию, очищая и занимая лес; остальные гнали, рубили и кололи Турок. Кобург обогнул лес слева, Суворов с Карачаем справа, направляя в лес выстрелы. Преследование производила собственно кавалерия, пехота не поспевала. Тут отбито несколько тысяч повозок, пушки, зарядные ящики; под эти последние Турки приспособляли зажженные фитили и взрывами наносили союзникам немалый вред.

Во время сражения великий визирь находился на

крынгумейлорской позиции. Он страдал изнурительной лихорадкой, а потому ездил в коляске; но когда бой разгорелся и сделался вероятным дурной его исход, визирь в нервном возбуждении пересел на коня. Он делал все возможное, чтобы собрать войска и восстановить бой; убеждал их священными для мусульман именами, подымал и показывал коран, даже прибегнул к силе, приказав артиллерии стрелять по беглецам из лагеря при Мартинешти. Орудия сделали 10 выстрелов, но ничто. не действовало; Турки были слишком глубоко потрясены нравственно, и визирь с поспешностью уехал по браиловской дороге.

Вся обширная равнина между Крынгумейлором и р. Рымником была буквально покрыта турецкими телами; здесь, при преследовании Турок, полегло их гораздо больше, чем во время сражения. Переправа чрез р. Рымник у Мартинешти прикрывалась земляными окопами, но их никто уже не думал защищать: паника овладела всеми без исключения. На мосту столпились обозы в совершенном беспорядке. загородя единственный путь бегущим; Турки бросились вплавь, по на их беду вода была выше обыкновенного уровня, и они тонули во множестве, особенно когда подоспели союзники и стали громить них выстрелами. Только наступившая ночь дала несчастным беглецам перевести на время дух [7].

Чуть ли не столько же нуждались в отдыхе и Русские с Австрийцами, после целых суток усиленного похода и упорного боя. Они расположились биваком перед Мартинешти, в полуверсте одни от других. Принц Кобургский в сопровождении огромной свиты приехал к Суворову; оба они молча бросились друг другу на шею и крепко обнялись. Русские и Австрийцы последовали примеру своих предводителей; взаимные приветствия, поздравления, объятия были тем искреннее, чем труднее досталась победа. Суворов опять отличил перед всеми Карачая, назвав его истинным героем и заявив во всеуслышание, что он больше всех других содействовал одержанию победы. Этим благородным признанием заслуг союзника и подчиненного, Суворов заполонил его сердце. Карачай не отходил от него остаток дня ни на шаг, и всю свою жизнь питал к нему сыновнюю преданность и глубокое уважение. Что касается до принца Кобургского, то его признательность к Суворову и добрые, искренние к нему отношения, зародившиеся при Фокшанах, были теперь окончательно скреплены; следуя влечению своего честного сердца, он откровенно называл Суворова своим учителем. Нельзя не сознаться, что подобное признание было голой правдой, без всяких комплиментов, хотя уроки Суворова не имели для

медлительного и малоспособного Кобурга дальнейших последствий. Суворов двукратно увлек Австрийцев к победе своим неотразимым нравственным влиянием и боевою авторитетностью; это же влияние, вместе с чувством благородного соревнования, заставило их развернуть в обеих делах, особенно в последнем, необычную для них в те времена энергию. Суворов выбил их из глубокой колеи и указал настоящий путь к победе. Заимствовав даже свой боевой порядок от Суворова и убедившись в его практической рациональности, войска принца Кобургского были особенно поражены смелостью и верностью его наступательного принципа. Это Суворовское *sine qua non* победы, замечено было простыми солдатами, и в рядах австрийского корпуса сложилось меткое прозвище Суворову: «генерал вперед». Словцо дошло до сведения Суворова и доставило ему искреннее удовольствие; он и впоследствии вспоминал эту боевую оценку его особы, самодовольно усмехаясь.

Было взято три турецких лагеря, но оставался еще четвертый, за Рымником, верстах в 4 от ночлега; об этом лагере союзники ничего не знали, потому что подошли к Мартинешти уже в темноту. Его открыли на другое утро партии казаков и арнаутов, перебили там несколько сот Турок и завладели богатой добычей. Это был лагерь самого великого визиря; в добычу досталась и его ставка, убранная изнутри золотой и серебряной парчой. Захватив лагерь, легкая кавалерия продолжала преследование, а один австрийский батальон очистил Крынгумейлорский лес от бродивших и спрятавшихся там Турок. Визирь бежал по дороге на Браилов, чрез мост на р. Бузео. Переехав мост с передовыми, он велел его взорвать, так что последующим беглецам пришлось переправляться чрез Бузео вплавь, и опять их много потонуло. Оставшиеся на левом берегу реки турецкие толпы рассеялись в разные стороны, спасаясь от преследования легкой кавалерии; обозы, которым удалось добраться до этих мест, были разграблены окрестными поселениями.

Таким образом Турки понесли сильнейшее поражение, которое произвело на них тем более деморализующее влияние, что они были уверены в победе; еще в прошлом году тот же самый великий визирь разбил Австрийцев дважды наголову. Он даже заготовил цепи для заковывания пленных; одну из таких цепей доставили потом к принцу Кобургскому, и он писал об этом Суворову [15]. Задавленный впечатлениями 11 сентября, визирь просил увольнения и умер от давней своей болезни, чахотки.

Победа при Рымнике есть одно из самых выдающихся проявлений Суворовского военного дарования, столько же внешним образом блестящее, сколько по сущности своей

капитальное. На долю свою и своего малочисленного корпуса Суворов взял самую трудную задачу и исполнил ее с мастерством неподражаемым. Трудно верить, следя за ходом дела, что оно происходило при страшном численном перевесе турецких сил. А между тем это факт бесспорный; сведения о численности турецкой армии различны, но они колеблются только между пределами 90 и 115 тысяч человек. Справедливо оценяя качество одержанной победы, Суворов ознаменовал ее особым торжеством. Войска его, сходясь на поле сражения в одно большое каре для слушания благодарственного молебна, по его приказанию запаслись зелеными ветвями. Когда молебен был отслужен, Суворов держал слово, тема которого вращалась на победе, чести, славе и лаврах, и по окончании этой речи, каждый бывший в строю увенчал себя победною ветвью. Особенно гордясь рымникской победой, Суворов собственноручно написал о ней длинную реляцию, на 12 страницах [16].

Если бы за поражением Турок при Рымнике последовали энергические наступательные действия за Дунай, к Балканам, то война, по всей вероятности, могла бы окончиться в том же году, так как главные силы Оттоманской Порты почти не существовали, разбежавшись по переходе через Дунай. Суворов и просил подкрепления, чтобы двинуться за Дунай, но безуспешно. Подобные взгляды и предположения далеко превышали уровень военных способностей Потемкина, который сверх того внес некоторую долю горечи в добрые отношения союзников, скрепленные было новой блестящей победой. Вечером 11 сентября, на поле сражения, принц Кобургский получил от него письмо с довольно резкими замечаниями на счет его, Кобурга, медленности и очень этим оскорбился.

Урон Турок 11 сентября простирался до 15,000 человек; в плен взято не больше нескольких сот. победителям достались 100 знамен, 80 орудий, целые стада скота, несколько тысяч повозок с разного рода имуществом; вообще добыча была очень велика. Потеря союзников определяется в 600 человек с небольшим, в том числе Русских меньше 200; но верность этих цифр подлежит сомнению, ввиду продолжительности боя и нескольких кровопролитных его фазисов. Во всяком случае она должна быть несоразмерно мала сравнительно с неприятельскою, так как громадную долю всей своей потери Турки понесли во время бегства и при переправах чрез реки.

Получив донесение о победе, Потемкин писал Суворову: «объемлю тебя лобызанием искренним и крупными словами свидетельствую мою благодарность. Ты, мой друг любезный, неутомимою своею ревностью возбуждаешь во мне желание иметь

тебя повсеместно... Если мне слава, слава, то вам честь, честью...» Государыня была восхищена и того более, Отвечая на шуточное поздравительное послание принца де Линя, она назвала Суворова и Кобурга «loyals et illustres chevaliers». Был отслужен в придворной церкви молебен при огромном стечении имеющих приезд ко двору; произведено 101 выстрел; архиереи говорили поздравительные речи; курьер Потемкина, подполковник Зубов, получил следующий чин. Екатерина даже цитировала окружающим письмо Суворова, полученное его дочерью, где говорилось, что в самый день рымникской победы, много лет назад он разбил Огинского. Еще сильнее был восторг Австрийцев. В одном современном письме читаем: «туживший об участи Кобурга цесарский посол (при Петербургском дворе), пробудясь аки от сна, предался вдруг веселию и, упоенный паче прочих радостью, имел при сем случае на счет разбитого визиря церемонияльный во дворец въезд». Безбородко пишет одному из графов Воронцовых, что «Австрийцы от сна восстали, но уже и загордились успехами;... не спорят однако же, что Суворов решил принца Кобургского атаковать Турок, а то было уже стали на оборонительную ногу». Признание это выразилось и в рескрипте императора Иосифа, Суворову, где сказано: «совершенно признаю, что я победою обязан наипаче вашему скорому соединению с принцем Кобургским». Факты эти многозначительны; подобные признания очень туго сходят с языка и пера, ибо затрагивают национальное самолюбие, Если они были сделаны даже в такой скромной форме, то значит истина резко бросалась в глаза [17]). И действительно, не было возможности ее скрыть. Один австрийский офицер, участник рымникского сражения, писал, что «почти невероятно то, что о Русских рассказывают: они стоят как стена, и все должно пасть перед ними». Он приводит в пример русского бесстрашие такой случай (упоминаемый и другим писателем). Когда корпус Суворова, направляясь на Тыргокукули, перешел глубокий овраг и атаковал первое укрепление, то разразился ужасным, диким хохотом, «каким смеются Клопштоковы черти»; хохот этот смутил и потряс Австрийцев. рассказчик недоумевает, что бы мог значить этот неестественный смех, а между тем дело было по всей вероятности самое простое: наши смешливые солдаты заметили что-нибудь забавное и расхохотались. Конечно, для смеха в такую пору, под жерлами неприятельских пушек, надо иметь закаленную душу, но рассказчик не даром же сознается, что Суворовская пехота лучше австрийской.

На этот раз Государыня, всегда щедрая, выказала свое благоволение особенно; главные награды однако все-таки были

продиктованы ей Потемкиным. Сентября 22 он ей пишет: «ей, матушка, он заслуживает вашу милость, и дело важное; я думаю, что бы ему, но не придумаю. Петр Великий графами за ничто жаловал; коли-б его с придатком *Рымникский?*» В другом письме он советует Государыне наградить победителя еще Георгием 1 класса. Екатерина пожаловала Суворова графом Русской империи с прозванием *Рымникского*, назначила ему орден Георгия 1 класса, бриллиантовый эполет и весьма богатую шпагу, пояснив: «хотя целая телега с бриллиантами уже накладена, однако кавалерии Егорья большого креста посылаю по твоей просьбе, он того достоин;... осыпав его алмазами, думаю, что казист будет». Но и этого Государыне казалось мало; в тот же день, 18 октября, она пишет Потемкину третье письмо, говоря: «к вещам для Суворова я прибавила еще перстень, буде вещи тебе покажутся недовольно богаты». Сообщая Суворову о монарших награждениях, Потемкин пишет: «вы конечно во всякое время равно приобрели славу и победы, но не всякий начальник с равным мне удовольствием сообщил бы вам воздаяние; скажи, граф Александр Васильевич, что я добрый человек: таким я буду всегда». Суворов, вообще знавший себе цену, тем не менее был изумлен такою оценкою его заслуг и отвечал Государыне на её рескрипт: «неограниченными, неожидаемыми и незаслуженными мною милосердиями монаршими Вашими, великая Императрица, я теперь паки нововербованный рекрут»; он обещает ей служить до смерти и в заключение говорит: «великодушный мой начальник, великий муж князь Григорий Александрович, да процветет славнейший век царствования Вашего в позднейшие времена». Не менее восторженно было его письмо к правителю канцелярии Потемкина, Попову. Указывая на какую высоту он, Суворов, поднялся из темного ничтожества, он говорит: «Долгий век князю Григорию Александровичу; увенчай его Господь Бог лаврами, славою; великой Екатерины верноподданные да питаются от тука его милостей. Он честный человек, он добрый человек, он великий человек. Счастье мое за него умереть» [18].

Украшенная бриллиантами шпага была пожалована Екатериною и принцу Кобургскому. Австрийский император тоже высказал свою признательность победителям, пожаловав Суворову графский титул Священной Римской империи, а Кобургу звание фельдмаршала,

С понятною гордостью написал Суворов своей дочери письмо, начав его словами: «графиня двух империй». Но не эта награда произвела на него наиболее глубокое впечатление, т.е. отвечала его затаенным желаниям и надеждам, а Георгий I класса. «Скажи Софье Ивановне (начальнице) и сестрицам (институткам), у меня

горячка в мозгу, да кто и выдержит! Слышала ли сестрица, душа моя? Еще от моей *magnanime mere* рескрипт на полулисте, будто Александру Македонскому, знаки св. Андрея тысяч в пятьдесят (за Фокшаны), да выше всего голубушка, первый класс св. Георгия: вот каков твой папенька за доброе сердце. Чуть право от радости не умер». Да и как было не радоваться; это не было только милостью, знаком благоволения, какие доставались Потемкину и иным; это было засвидетельствованием действительной, выходящей из ряда заслуги перед отечеством. Но подобное признание заслуги имеет свои неудобства, свои тернии: оно возбуждает зависть и зарождает в завистниках желание, — найти несоответственность между заслугой и её оценкой. Такое случилось и с Суворовым. Пожалованное ему графское достоинство особенно раздражило и обеспокоило завистников; в Петербурге больше прежнего стали говорить. что успехом своим он обязан не дарованиям, а исключительно счастию. Одно из доверенных лиц Потемкина, сообщая ему эту заметку, прибавляет, что такой взгляд распространен впрочем только в чиновном люде [19]; к этому надо еще прибавить, что конечно только в высших сферах.

Разумеется, не на Суворове одном выразилась признательность Императрицы за блестящую победу; подкомандующие и офицеры получили повышения и ордена, солдаты денежные награды, а более отличившимся пожалованы кроме того серебряные медали с надписью: *Рымник*. Суворов два раза представлял списки отличившимся, не без опасения надоест Потемкину, но приводил в свое оправдание, что «*где меньше войска, там больше храбрых*». Старшие генералы, в том числе Дерфельден, в списки не вошли: они в деле не участвовали, оставшись по болезни дома. Дерфельден был серьезно болен [20].

На третий или четвертый день Суворов расстался с принцем Кобургским и малыми переходами двинулся к месту прежнего своего расположения. Остановившись у Текуча, он простоял тут несколько дней, написал реляцию, потом продолжая поход, прибыл в Бырлад в последних числах сентября. Тут долгое время пришлось ему оставаться без дела и даже отделить часть своих сил в помощь Потемкину к Бендерам.

Успокоенный рымникской победой со стороны великого визиря, Потемкин направил все свои усилия на овладение Бендерами. Взят был замок Гаджибей, вслед за ним Паланка, за нею Акерман сдался на капитуляцию, армия Потемкина окружила Бендеры. Крепость была сильная и гарнизон её многочисленный, но командующий паша или по малодушию, или закупленный Потемкиным, сдал ее и сам предпочел остаться у Русских, а

гарнизон и население отправились к Дунаю. Суворов поздравил Потемкина, говоря, что в том столетии ни одна турецкая важная крепость «не сдавалась Русским так приятно [21]. Государыня наградила Потемкина великолепным золотым лавровым венком. «Не даром я тебя люблю и жаловала», писала она ему по этому случаю: «ты совершенно оправдываешь мой выбор и мое о тебе мнение: ты отнюдь не хвастун, и выполнил все предположения, и Цесарцев выучил Турков победить». Так мало нужно было сделать Потемкину, чтобы заслужить подобную лестную признательность.

Взятием Бендер закончилась кампания. Австрийцы сделали в этом году больше прежнего, но все-таки очень мало по своим средствам и способам: был занят Букарест принцем Кобургским, сдался Белград ни еще два незначительных пункта. Да и то следует принять во внимание. что важнейшее из сделанного Австрийцами и Потемкиным, совершено главным образом. благодаря сильному впечатлению, произведенному на Турок рымникским погромом. Особенно ясно это обнаружилось в Букаресте. Турки бросили этот город тотчас, как появился авангард Кобурга, и бежали с 4 пашами во главе. Так описывал он Суворову свое вступление в Букарест, относя панику Турок прямо нравственному гнету, под которым они находились от минувшего поражения [15].

Зима наступила рано, войска разошлись по зимним квартирам. Подходил к концу 1789 год, представлявший собою оригинальное зрелище: огромные армии, с главнокомандующими во главе, осаждали крепости и забирали крепостцы, а два небольшие корпуса со второстепенными ролями, побивали неприятельский сильный отряд и главную армию в генеральном сражении. Суворов уже оправдывал сказанное про него впоследствии одним писателем: «если победа не давалась добровольно в руки ему, своему любимцу, то он ее насиловал» [14].

Глава XII. Вторая турецкая война: Измаил; 1790.

Зимние переговоры Суворова с браиловским пашой; план действий. — Наступательное движение принца Кобургского; неудача под Журжей. — Занятия Суворова в Бырладе: объезд войск, чтение, научные беседы; образ его жизни; кружок приближенных. — Наступление визиря; движение Суворова к принцу Кобургскому. — Перемирие между Австрией и Турцией. — Неудачное предприятие Русских против Измаила; назначение туда Суворова. — Приготовления к штурму; переговоры с измаильским сераскиром; военный совет. — Бомбардировка; ночь перед штурмом. — Действия штурмовых колонн и флотилии; разные эпизоды; победа. — Исключительность этого военного предприятия; потрясающее впечатление, им произведенное. — Отъезд Суворова; свидание с Потемкиным; неожиданный его исход; объяснение этого обстоятельства

Война тянулась давно, а сделано было мало, и близкий конец не предвиделся. Австрия тяготилась своим в ней участием, особенно по кончине императора Иосифа в феврале 1790 года и при возникших в Брабанте мятежах; Англия напрягала усилия оттянуть ее от союза с Россией; дела с Польшей находились в положении весьма натянутом, и могли разрешиться внезапным разрывом; война со Швецией не была еще окончена. Вдобавок ко всему грозил вероятный разрыв с Пруссией, которая задалась целью, — во чтобы то ни стало отвлечь Австрию от участия в

турецкой войне и мобилизовала свою армию.

При таких условиях силы Русских, выставленные в прошлом году против Турции, неизбежно должны были уменьшиться, и для наступательных действий предназначалось всего две дивизии с небольшим промежуточным между ними отрядом, в общем итоге не больше 25000 человек. Оберегаясь от Пруссии, Австрия тоже должна была отделить часть сил с турецкого театра войны.

Со своей стороны Порта предполагала действовать наступательно в Крыму и на Кубани, а на Дунае держаться оборонительно, заняв тамошние крепости сильными гарнизонами. Боевые её средства для кампании 1790 года были довольно слабы; поэтому, выгадывая время, Турки продолжали начавшиеся еще в минувшем году переговоры о мире и изъявили желание заключить перемирие. Но Потемкин не согласился на приостановку военных действий, которые таким образом и велись с мирными переговорами параллельно.

Суворов не оставлял своей мысли о наступательных действиях и, в виде подготовления к ним, вошел зимою в сношение с пашой, командовавшим в Браилове. Между ними установились добрые отношения, в роде тех, какие бывают между воюющими во время перемирия; они делали друг другу разные мелкие угождения и любезности, пересылались свежею рыбой и другой живностью, а вместе с тем переговаривались о деле. Суворов старался убедить пашу в бесполезности сопротивления Браилова, когда Русские начнут в этом направлении свои наступательные действия. Подействовало ли тут его грозное для Турок имя, или паша имел свои соображения, но только он поддался на увещания и согласился ограничиться легким сопротивлением, для вида, а затем сдать крепость. Суворов составил смелый план наступления за Дунай Русских совместно с Австрийцами. Принц Кобургский должен был взять Оршову и Журжу, Суворов — Браилов, и затем одновременно переправиться за Дунай. Кобург одобрил этот план, переписывался о нем с Суворовым, разъясняя подробности, но проект оставался проектом, потому что Потемкин не только не давал своей санкции, но просто не отвечал ни слова на все сообщения принца. Он очень недолюбливал Кобурга, что в соображениях такого своенравного и себялюбивого человека должно быть принимаемо к счету; кроме того, зная ход европейской политики, он вероятно не рассчитывал на долговечность австрийского союза, что потом и оправдалось.

Принц Кобургский, не будучи подчинен Потемкину и быть может задетый за живое его невежливостью, решился открыть действия один. Для исполнения своей части плана до перехода

чрез Дунай, он не нуждался в содействии Русских, а после того мог или рассчитывать на вынужденное согласие Потемкина поддержать его ближайшими войсками, или в крайности просто остановиться на сделанном, не развивая плана далее. Поэтому Кобург двинулся к Оршове, а когда Оршова сдалась, то осадил Журжу. Осада шла сначала хорошо, но вследствие ли самонадеянности Австрийцев, или дурной наблюдательной их службы, осажденные сделали, в отсутствие Кобурга, весьма удачную вылазку, испортившую все дело. Они прогнали Австрийцев, забрали у них артиллерию, нанесли урон в 1000 человек; по странному распоряжению, которое вероятно было следствием дурнопонятых Суворовских уроков, прикрывавшие брешь-батарею батальоны получили приказание действовать лишь штыками и не имели при себе патронов. Австрийцы были в 6 раз сильнее гарнизона Журжи, но несмотря на это, потеряли всю свою осадную артиллерию и принуждены были от Журжи отступить.

Потемкин со злорадством описывал это дело Государыне, называя Кобурга тупым, глупым, невежественным, достойным сумасшедшего дома; издевался над отданным приказанием — действовать одними штыками, говоря, что войскам предоставлено было только отбраниваться из траншей словами или дразниться языком [1]. Потемкин был прав только отчасти. Как бы ни ясна была военная посредственность Кобурга, но при умении, из него можно было извлечь большую пользу, чему доказательством служил минувший год. Дело под Журжей было простой частной неудачей, которую в конце того же июня месяца генерал Клерфе отчасти загладил победой над Турками под Калафатом. Но этими тремя делами Австрийцев и. кончились их активные действия.

Готовясь зимою к открытию кампании, Потемкин доносил Государыне, что рассчитывает начать военные действия рано и повести их с живостью и стремительностью, дабы повсюду и одновременно навести на неприятеля ужас. Если это было не похвальбой, то платоническим проектом, которые обыкновенно складываются в воображении у людей нерешительных или медлительных и исчезают, когда надо приступать к делу. Проживая в Яссах и Бендерах, окруженный роскошью невиданною, Потемкин походил не на военачальника, а скорее на владетельного государя среди блистательного двора. Тут были знатные и богатые иностранцы, рассыпавшиеся перед ним в комплиментах, а про себя издевавшиеся над его сатрапскими замашками, азиатскою роскошью и капризным непостоянством. Тут были люди знатных или влиятельных фамилий, налетевшие из столичных салонов за дешевыми лаврами; вокруг жужжал рой

красавиц, вращался легион прихлебателей и проходимцев. Праздник следовал за праздником; одна затея пресыщенного человека менялась другою, еще больше чудною; по истине то был *folle journee*, продолжавшийся недели и месяцы.

Суворов не посещал главной квартиры, как то видно из довольно деятельной его с Потемкиным корреспонденции за этот период времени, или если и был там какой-нибудь раз или два, то в конце прошлого года. Он не затруднялся лишний раз и поклониться, и покадить своему всесильному начальнику, но не мог быть членом Потемкинского придворного штата, прихлебателем, участником «в хороводе трутней», по его собственному выражению. Он, добровольно тешивший других разными выходками и коленцами, этим самым зло издевался над своей публикой; быть же посмешищем невольным, стороною исключительно страдательною, вовсе не желал. При своих искательных тенденциях, он не впадал в идолопоклонство; кланяясь могуществу, не поворачивался спиной к пасынкам судьбы; для него загнанное достоинство продолжало быть достоинством. Под Яссами жил Румянцев в полном уединении, всеми забытый; Потемкин посетил его только однажды; некоторые другие, весьма немногие, бывали у него изредка, и то как бы украдкой, а остальные как будто и не знали про соседство старого победоносного фельдмаршала. Один Суворов оказывал ему должное уважение и притом открыто; бывая в Яссах, он являлся к Румянцеву; посылая курьеров к Потемкину с донесениями о своих действиях, он посылал дубликаты Румянцеву, как будто тот по-прежнему командовал армией. На этом пробном камне сказалось различие между Суворовым и другими [2].

Сидя у себя в Бырладе в течение нескольких месяцев подряд, Суворов скучал бездействием, но бездействием боевым, а не недостатком дела вообще. Прежде всего и больше всего он занимался обучением войск, объезжая и осматривая их во всякое время года. Когда же ему приходилось сидеть дома, то он отдавал свои досуги умственным занятиям, между которыми не последнее место занимало знакомство с кораном и изучение турецкого языка. Это последнее не было препровождением времени от нечего делать, без серьезной цели; спустя 9 лет, в Италии, Суворов умел писать по-турецки и написал на этом языке письмо турецкому адмиралу союзной турецко-русской эскадры. Большая же часть свободного времени в Бырладе шла у Суворова на чтение. При нем находился один немецкий студент или кандидат, с которым он познакомился несколько лет назад и взял его в чтецы. К этому молодому человеку Суворов очень привык, звал

его Филиппом Ивановичем, хотя тот носил совсем другое имя; предлагал ему определиться в военную службу под его, Суворова, начальство и обещал вывести в штаб-офицеры, — обещание, по тому времени легкоисполнимое. Кандидат по-видимому был не прочь, но отец его, гернгутер, не согласился, следуя принципам своего вероисповедания; разрешил же сыну поступить в чтецы к русскому генералу вероятно потому, что Суворов предупредил будущего сожителя о своем образе жизни, об отсутствии театров, карт, шумных сборищ. Суворов зачастую беседовал со своим молодым компаньоном о предметах самых разнообразных, из которых любимейшим была история, причем Суворов интересовался не столько фактической её стороной, сколько философской. Независимо от беседы в связи с ними шло чтение, Суворов был ненасытим, заставлял Филиппа Ивановича читать много и долго и почти не давал ему отдыха, препираясь за каждую остановку. Вероятно физическая невозможность удовлетворить в этом отношении Суворова и была одною из причин, по которым чтец с ним впоследствии расстался. Читалось все и на разных языках: газеты, журналы, военные мемуары, история, статистика, путешествия; доставались для чтения не только книги, но и рукописи. Иногда к чтению приглашались офицеры Суворовского штаба и другие лица, Тут чтение принимало вид некоторого состязания или экзамена. Суворов предлагал присутствующим вопросы из истории вообще и военной истории в особенности; ответы были конечно большею частию неудовлетворительные или заключались в молчании. Суворов стыдил невежд, указывал им на Филиппа Ивановича; говорил, что они должны знать больше его, а знают меньше. Не трудно понять, что для такого времяпрепровождения, Суворову трудно было найти не только подходящих собеседников, но и просто желающих. И действительно, участвование в подобных чтениях принималось за тяжелую служебную обязанность, от которой все открещивались, особенно ввиду злых сарказмов хозяина-начальника. Один из генерал-адъютантов Суворова, которому Филипп Иванович с помощью какой-то удачной шутки доставил позволение — уходить с чтений когда угодно, долго с благодарностью вспоминал про эту услугу [3].

Причиною тому был низкий уровень образования и умственного развития тогдашнего русского общества, но ее усугублял сам Суворов дурным выбором своих приближенных, за редкими исключениями. Это были его сослуживцы, которым удалось ему угодить на поле сражения или в домашних делах, родственники, рекомендованные, или наконец пройдохи, сумевшие его обойти, выказавшись с выгодной стороны и

замаскировав свои крупные недостатки. Нахождение при Суворове таких лиц представлялось аномалией, поражавшей даже поверхностного наблюдателя. Только в пороховом дыму эта особенность исчезала, потому что все они были люди храбрые и служили в его руках простыми орудиями неважного значения. Но тотчас после боя картина менялась и тем резче, чем ближе знали Суворова его приближенные. Такой капитальный недостаток стал особенно заметен впоследствии, в Польскую войну, но уже и во вторую Турецкую невысокие качества Суворовских приближенных и дурное их на него влияние были фактом несомненным и засвидетельствованы лицом, заслуживающим полной веры. Подполковник Сакен (впоследствии фельдмаршал) в частном письме 31 июля 1789 года говорит: «я постоянно слыхал о его странностях, но был лучшего понятия о его справедливости и его качествах домашних и общественных. Он окружен свитою молодых людей; они им управляют и он видит их глазами. Слова нельзя ему сказать иначе, как через их рты; нельзя приблизиться к нему, не рискуя получить неприятности, на которые никто не пойдет по доброй воле. Им одним принадлежит успех, награда и слава. Я не могу добиться здесь команды над батальоном, потому что один из его любимцев, его старый адъютант, не принадлежащий даже к армии, имеет их, да не один, а два, Надо быть философом, даже больше, чтобы не лопнуть от всех несправедливостей, которые приходится здесь выносить» [4].

Письмо писано под горьким впечатлением, сгоряча, а потому страдает преувеличениями. Например батальон, которого добивался так Сакен, он получил несколькими днями позже написания письма, вместе с партиею казаков, для занятия отдельного поста в Фальчи, следовательно сетования его были слишком поспешны. Есть и другие преувеличения, но в основании Сакен справедлив. Суворов совмещал в себе такие крайности и противоречия, что только сводя их в ходе нашего рассказа исподоволь в одно целое, получим правильное понятие об этой оригинальной личности.

Кроме занятий служебных и научных, Суворов вел по своему обыкновению довольно деятельную переписку. Он переписывался с Потемкиным не только как подчиненный, но и как вообще пользующийся его доверием человек; темою для переписки служили между прочим и современные политические обстоятельства. Писал он также дочери, управляющим имениями, принцу Кобургскому, который и со своей стороны не скупился на корреспонденцию. Он заверяет Суворова, что несмотря на свою высокую степень (фельдмаршал), продолжает состоять в его распоряжении, и это послужит только к скреплению дружбы,

которая родилась на Марсовом поле и окончится в полях Елисейских. Одобрение целого света для него не так приятно, как похвала его уважаемого друга, которому он обязан наибольшей долей своей боевой репутации, Он выражает надежду, что их разлука не протянется долгое время и что он, Кобург, в состоянии еще будет пользоваться советами и примером Суворова, дабы наводить страх и ужас на неверных. «Моя полнейшая вам преданность, мой дивный учитель, не уменьшится никогда, ни от пространства, ни от времени». Несколько позже, уезжая с театра войны в Венгрию, принц больше всего жалел, что расстается с Суворовым. «Я умею ценить вашу великую душу», писал он: «нас связали великие события, и я беспрестанно находил поводы удивляться вам, как герою, и питать к вам привязанность, как к одному из достойнейших людей в свете. Судите же, мой несравненный учитель, как тяжело мне с вами расставаться» [5].

Образ жизни и вся обстановка Суворова на зимних квартирах, скромные и простые до отрицания всякого комфорта, в деятельное время кампании нисходили до лагерного и даже бивачного солдатского обихода. Один из посланных Потемкина попал к Суворову на обед вскоре после Рымника: в палатке была разослана на земле скатерть, и вся компания лежала перед своими тарелками.

Сервировка отвечала меблировке: у Суворова совсем не было столового багажа, а тарелки, ножи и тому подобное его люди доставали у кого попало. Одевался он обыкновенно в куртку грубого солдатского сукна, что было тогда разрешено Потемкиным офицерам, для уменьшения их издержек на туалет, и заслужило одобрение Императрицы. Сам Потемкин завел себе мундир из солдатского сукна; в угождение ему тоже сделали и генералы, но только для показа, а Суворов ввел в свою практику. В жаркое время, на походе и в бою, он бывал обыкновенно в рубашке, к которой иногда пришпиливал некоторые из своих орденов; большую тяжелую саблю возил за ним казак, даже в бою, а Суворов держал в руках одну нагайку. Он не имел ни экипажа, ни верховых лошадей, а брал обыкновенно казачью. Странности его и причуды росли вместе с его известностью, и репутация чудака утвердилась за ним во всей армии. К числу его странностей относили, между прочим, его ненависть к немогузнайству и беспощадное преследование этого порока во всех видах. Однажды в Молдавии, за обедом, произошла у него горячая схватка с военным инженером де Воланом, человеком весьма способным и основательно образованным. Де Волан не хотел отвечать положительно и категорически на вопросы о вещах, ему неизвестных; Суворов возражал против не знаю —

Спор дошел до того, что де Волан выскочил из за стола, выпрыгнул в окно и побежал к себе. Суворов пустился вслед за ним, догнал, примирился с ним и вдвоем возвратился к столу [6].

Тем временем новый великий визирь предпринял наступление, и хотя двигался очень медленно, но его намерение — отбить у Австрийцев Букарест, беспокоило принца Кобургского. По просьбе принца, Потемкин приказал Суворову сблизиться с Австрийцами, но не сразу, а по мере движения Турок; так что прошло больше полутора месяца, пока Суворов дошел до Афумаца, в 10-12 верстах от Букареста. Окруженный большой свитой, поехал он в Букарест представиться принцу, но тот его предупредил. Они встретились на полудороге, братски обнялись и в экипаже принца вернулись в Афумац, для предварительных переговоров. Офицеры и солдаты союзных войск встречались старыми друзьями, обнимались, пили за здоровье, за общий успех. Суворов привел 10,000 человек, у принца было на лицо 40,000, да притянув некоторые отряды, можно было усилиться в общем итоге до 60,000. Будущее им улыбалось, дух войск был превосходный; у Турок же, на оборот, обнаружились зачатки внутреннего раздора, и сам визир выказывал признаки малодушия. Во время проектирования плана нападения на Австрийцев, к нему привели крестьянина; который разглашал, будто с Кобургом соединился Суворов. Визирь не поверил, но когда крестьянин стал ручаться головой, что это правда, что Суворова он видел собственными глазами вблизи, — то визирь выронил из рук перо и сказал: «что же мне теперь делать»? Таким образом все складывалось в пользу союзников, как вдруг произошел поворот обстоятельств, совершенно изменивший положение дел.

Пруссия готова была объявить Австрии войну, для отвлечения её от союза с Россией; но министр Герцберг решился прежде испробовать последнее мирное средство. В Рейхенбахе собралась конференция из представителей нескольких держав, заинтересованных в тогдашних политических усложнениях, кроме России, которая отказалась от участия в переговорах, желая улаживать свои дела с Турцией без посредников. Что редко бывает, конференции удалось постановить положительные решения, принятые обеими сторонами. Между Австрией и Пруссией состоялся договор, по которому между прочим Австрия отказывалась от дальнейшего участия в войне с Турцией, обязывалась немедленно заключить с нею перемирие и, на известных основаниях, начать вслед затем переговоры о мире. Тотчас же был отправлен курьер к принцу Кобургскому с соответственными приказаниями, и привезенные депеши

положили конец всяким наступательным замыслам. Мало того, предстояло озаботиться о безопасности корпуса Суворова, выдвинувшегося далеко вперед; по приказанию Потемкина, он стал немедленно отходить назад и остановился в Максимени, наблюдая на дунайскими низовьями.

С искренним чувством простились Суворов и принц Кобургский; особенно горевал последний. Недавно еще писал он Суворову во время его похода: «приходите только в решительный момент с двумя кареями и 500 казаками, я вам дам остальное, и мои войска будут непобедимы» [7]. Вера его в Суворова выросла в непреклонное убеждение, и в этом частном случае мы можем видеть образчик того нравственного обаяния, которое Суворов производил на поле сражения.

С выходом Австрии из союза, положение России несколько изменилось, но не существенно, потому что хотя надо было принимать меры предосторожности против Пруссии и Польши, но за то удалось заключить мир со Шведским королем Густавом, и действовавшие против него силы употребить в других местах. В это же время адмирал Ушаков одержал над турецким флотом решительную победу близ Гаджибея, и Потемкин счел наконец возможным начать действия против визиря.

Суворов, страдавший в это время лихорадкой, очень обрадовался. «Ах, батюшка Григорий Александрович, вы оживляете меня», писал он 3 сентября Потемкину и, чтобы поддержать его в принятом намерении, объяснял тогдашнее положение так: «Поляки двояки и переменчивы; Герцберг суперфин и рвется; Густав наш..... Коли угодно, геркулесовой дубине и центр не далек..... Я готов, милостивый государь, к повелениям вашим» [7]. Некоторые историки утверждают, что Суворов подал Потемкину совет касательно последующих военных операций; «гребной флот должен овладеть дунайскими устьями, взять Тульчу и Исакчу, вместе с сухопутными войсками покорить Измаил и Браилов и навести трепет на Систово». Потемкин так и поступил; впрочем ничего другого и не оставалось делать, ибо Русские могли действовать только на пространстве от моря до р. Серета, против Добруджи, согласно статье перемирия Австрии с Турцией.

Два отряда предназначались для действия на нижнем Дунае; с помощью гребной флотилии они должны были завладеть всеми турецкими укрепленными пунктами, уничтожить речные неприятельские суда и вообще очистить низовья Дуная с прибрежьями. Большая часть этой задачп, по количеству, была исполнена без особенных усилий; к концу ноября небольшие крепости Килия, Тульча и Исакча находились в руках Русских, и

турецкие гребные флотилии были истреблены. Оставалась грозная твердыня — Измаил.

Измаил был важнейшею турецкою крепостью на Дунае. Расположенный на левом берегу Килийского рукава, на плоской косе, спускающейся к реке крутым обрывом, Измаил был сильно укреплен в последнее время французскими инженерами и служил Туркам главным опорным пунктом в их операциях. Он имел вид прямоугольного треугольника; главный вал, длиною до 6 верст, представлял собою ломаную линию с 7 бастионами и множеством исходящих и входящих углов. Один из бастионов был каменный, другой также обшит камнем и с двумя каменными же башнями на плечевых углах; все остальные верки земляные. Крепостной вал имел разную, от 3 до 4 сажен вышину, ров до 6 сажен ширины и кое-где до 4 глубины. Не было ни внешних укреплений, ни прикрытого пути, кроме двух фосбрей в разных местах; обращенный к реке фронт крепости был слаб и состоял всего из одной, да и то недоконченной, насыпи, так как отсюда Турки не ожидали нападения, рассчитывая на свою флотилию, и только в виду грозившей опасности стали воздвигать тут батареи. На валганге сухопутных фронтов стояло больше 200 орудий разного калибра; в крепость вели четверо ворот.

После взятия 18 октября Килии, генерал Гудович двинулся к Измаилу и обложил его с сухого пути; затем прибыл туда для этой же цели отряд генерал-лейтенанта Потемкина. Войска расположились полукружием, верстах в 4 от крепостных верков. Гудовича сменил генерал-поручик Самойлов; общего командования не было, время проходило в совещаниях, колебаниях, спорах. и не принималось никакого решения. Между тем подошла флотилия под начальством генерал-майора де-Рибаса; на большой дунайский остров Чатал, против крепости, были высажены войска, и началось возведение батарей. Рибас был деятельнее, энергичнее и искуснее своих сухопутных товарищей; он нанес Туркам много вреда, но не мог добиться ничего существенного без содействия сухопутных войск. Между тем ему надо было торопиться: наступало зимнее время, а флотилию поджидал Суворов для действия против Галаца. Рибас писал ему, что не потеряет ни одной минуты и тронется в путь тотчас, как только здесь освободится; что он «жаждет поступить под начальство героя, для новых подвигов» [8]. Но желанный час был по-прежнему далек.

Погода изменилась к худшему; наступило сырое и холодное время; при большой скудости в продовольствии и топливе, в войсках стали развиваться болезни, а колебание и бездействие главных начальников не замедлили произвести и

деморализующее влияние. Из переписки некоторых участников осады видно, что шла слабая бомбардировка с наивною надеждою — не сдастся ли от этого крепость; что Рибас даже посылал к измаильскому паше с подобным предложением, но тот отвечал, что не видит, чего бы ему бояться. Войска постоянно держались настороже из опасения вылазок и не раздевались на ночь; из продовольствия нельзя было ничего достать, кроме говядины, да и ту с большим трудом; у Потемкина, командовавшего одним из осадных корпусов, стол накрывался на 8 приборов, а сыты могли быть только двое [9]. Продолжать так было нельзя, настоятельно требовалось принять хоть какое-нибудь решение. Собрался военный совет; он признал успех штурма сомнительным и дорогостоящим, о чем и положил представить главнокомандующему; если же штурму не быть, то облежание переменить на блокаду, так как у гарнизона имеется пропитания всего на 1 1/2 месяца [1].

Трудно сказать наверное, что именно затем произошло. Осадные корпуса много уступали численностью измаильскому гарнизону; едва ли могли начальствующие возложить блокаду на отряд еще более слабый: он подвергался бы серьезной опасности без возможности исполнять свое назначение. Из некоторых сведений и документов можно скорее заключить, что постановление совета или существовало только в проекте (подлинного, с подписями и обозначением числа, не найдено), или оно было вслед затем изменено в смысле совершенного освобождения Измаила от всякого обложения, с возвращением войск на зимние квартиры. По крайней мере Рибас, хотя и не разделявший взглядов сухопутных генералов, собирался плыть к Суворову под Галац. В письме его от 27 ноября читаем, что у него продовольствия достанет только до 10 декабря, что надо бы выждать еще три дня для получения дополнительного запаса, но он предпочитает идти скорее к Суворову и сегодня вечером поднимает якоря [10].

Дело однако устроилось иначе. Окончить кампанию взятием нескольких неважных крепостей, в виду тогдашнего возбужденного положения политических обстоятельств, было бы большой ошибкой. Потемкин это понимал и потому решился прибегнуть к последнему средству — послать под Измаил Суворова. Решение снять осаду крепости тогда еще до него не дошло, но он предчувствовал возможность такого исхода, а потому 25 ноября послал Суворову предписание. Он писал, что турецкая флотилия под Измаилом почти вся истреблена; «остается предпринять на овладение города, для чего ваше сиятельство извольте поспешить туда для принятия всех частей в

вашу команду»; советовал вести атаку с речной стороны: «если бы начать тем, что войдя тут, где ни есть ложироваться и уже оттоль вести штурмование, дабы в случае, чего Боже сохрани, отражания, было куда обратиться». В тот же день, он послал Суворову другое письмо: «Моя надежда на Бога и на вашу храбрость, поспеши мой милостивый друг... Много там равночинных генералов, а из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного... Огляди все и распоряди и, помоляся Богу, предпринимайте». Через день или два после отправки этих двух писем, Потемкин получил донесение из-под Измаила о принятом там решении на счет снятия осады, а потому 29 ноября вновь пишет Суворову, но уже не так решительно: тяжесть задачи и ответственности начинает его устрашать. Он говорит, что Гудович, Потемкин и Рибас решились отступить прежде, чем узнали о поручении, данном Суворову: «предоставляю вашему сиятельству поступать тут по лучшему вашему усмотрению, продолжением ли предприятия на Измаил, или оставлением оного» [1].

Предписание Потемкина о назначении Суворова под Измаил было получено там 27 числа. Рибас, готовившийся в тот вечер плыть к Галацу, остался, сообщив об этом Суворову тотчас же и прибавив: «с таким героем как вы, все затруднения исчезнут»; но часть сухопутных войск под начальством Потемкина уже выступила, и осадная артиллерия была отправлена. Весть о назначении Суворова разнеслась по флотилии и осадному корпусу моментально и подействовала электрически. Все до последнего солдата поняли, в чем будет состоять развязка минувшего тяжелого бездействия, и одно из высших лиц в своем частном письме выразилось без оговорок: «как только прибудет Суворов, крепость возьмут штурмом» [11].

Суворов отвечал Потемкину 30 ноября коротко: «получа повеление вашей светлости, отправился я к стороне Измаила. Боже, даруй вам свою помощь» [7]. Сборы его были невелики и распоряжения не сложны: назначив под Измаил Фанагорийский гренадерский полк, 2 сотни казаков, 1000 арнаутов и 150 охотников Апшеронского полка, он приказал изготовить и отправить туда же 30 лестниц и 1000 фашин. Сам он выехал с конвоем из 40 казаков и с дороги послал генерал-поручику Потемкину приказ вернуться к Измаилу. Но так как время было особенно дорого, потому что приготовления к штурму не могли кончиться скоро, то Суворов оставил свой конвой и поехал с удвоенной скоростью. Рано утром 2 декабря, после больше чем 100-верстного пути, два всадника подъехали к русским аванпостам: то был Суворов и казак, везший в небольшом узелке багаж генерала. Раздалась приветственная пальба с батарей, все

оживились и просияли: в лице маленького, сухопарого, неказистого старичка явилась победа.

Осмотревшись и собрав сведения, Суворов увидел, что ему предстоял подвиг, быть может более трудный, чем он полагал прежде. Крепость была первоклассная и защищала ее целая армия, усиленная в последнее время гарнизонами покоренных Русскими крепостей, которым грозил гнев Султана, обрекавший их на смерть в случае сдачи Измаила, Всего считалось, с некоторою частью городских жителей, находившеюся под ружьем, 42,000 человек на казенном довольствии, но в сущности, по турецкому обычаю, было меньше, не свыше 35,000, в том числе 8,000 кавалерии. В военных припасах было изобилие; продовольствия имелось месяца на 1 1/2; главным начальником был поседелый в боях Айдос-Мехмет-паша, твердый и бесстрашный воин, одинаково далекий от самонадеянности и слабодушия. Силы Русских были меньше; они исчисляются различно; наиболее близкую к истине цифру следует искать между 28 и 31,000, в том числе меньше половины казаков. Осадной артиллерии не было; полевая имела боевых припасов не больше одного комплекта; в продовольствии и других потребностях чувствовался крайний недостаток, который пополнить было невозможно по зимним условиям и недостатку времени; больных было много [12]. В общем итоге положение дел представлялось очень неутешительным, тем не менее штурмование было в военном и политическом отношениях необходимо, и потому оставалось только обеспечить его успех всем, чем можно.

Суворов так и сделал. Немногие дни, которыми он мог располагать до приступа, были наполнены кипучей деятельностью. Шли переговоры с Турками, велась переписка с Потемкиным, собирались сведения чрез шпионов, возводились батареи, обучались войска. Рибас доносил Суворову каждый день, иногда по нескольку раз, о ходе работ по постройке и вооружению батарей на Чатале, о результатах канонады, о работах Турок, о их замыслах и т.п., кончая свои письма стереотипною фразой: «целую ваши руки». Через несколько дней у него все было готово к атаке, и каждый солдат знал свое место и дело. На сухом пути, под зорким глазом Суворова, тоже не сидели сложа руки, и каждый час был на счету. На топливо резали тростник и камыш, заготовляли 40 штурмовых лестниц и 2000 больших фашин; из-под Галаца вызваны маркитанты с разной провизией. Суворов объезжал полки, говорил с солдатами так, как только он один умел говорить, вспоминал прежние победы, не скрывал серьезности настоящего положения и

больших трудностей предстоящего штурма, «Валы Измаила высоки, рвы глубоки, а все-таки нам надо его взять», — говорил он: «такова воля матушки-Государыни». Солдаты отвечали, что с ним возьмут, и в словах их звучало не минутное увлечение, а сознательная, спокойная уверенность. Суворов выбрал место где-то в стороне, приказал насыпать вал и вырыть ров. Сюда высылались солдаты из полков и, по личным указаниям Суворова, практиковались в приемах перехода через ров, эскаладирования вала и т. под. Ученья делались ночью, чтобы не возбуждать внимания Турок; в программу входил и удар штыком, но не в пустое пространство, а в фашины, представлявшие Турок [13].

Рекогносцировки производились несколько раз; в них принимали участие многие генералы и штаб-офицеры, дабы все штурмующие колонны были ознакомлены с верками, против которых им придется действовать. Сам Суворов сопровождал рекогносцирующих, а руководил рекогносцировкой особый офицер. Когда рекогносцировка выяснила главные подробности неприятельской обороны, заложены были на флангах сухопутного расположения по две батареи и вооружены 40 полевыми орудиями. Батареи эти имели целью — замаскировать до времени намерение штурмовать крепость и усыпить бдительность Турок надеждою на правильную осаду. Турки пытались разрушить эти батареи своим огнем, но без успеха.

Параллельно с приготовлениями велись и переговоры. Суворов не возлагал на них большой надежды; двукратное отступление Русских от Измаила в прошлом и нынешнем годах ободрили Турок и давали им надежду на такой же исход и третьей попытки. Но без переговоров обойтись было невозможно по понятной причине, тем более, что они давали время на штурмовые приготовления.

Еще 1 декабря Рибас получил от Потемкина письмо на имя измаильского сераскира, которое следовало передать по прибытии Суворова. Потемкин предлагал сдать крепость во избежание кровопролития, обещая отпустить войска и жителей за Дунай с их имением, грозил иначе участью Очакова и в заключение сообщал, что для исполнения назначен генерал граф Суворов. Письмо это было послано в Измаил 7 декабря, в 2 часа дня, так как только 5 числа возвратились к Измаилу войска генерал-поручика Потемкина и лишь 6 числа прибыл назначенный Суворовым отряд из-под Галаца, Вместе с письмом главнокомандующего, Суворов послал и свое, почти такого же содержания, дав сроку на ответ 24 часа; кроме того он приложил дополнительную или, лучше сказать пояснительную, записку. Записка эта отличалась от первой, строго-официальной, чисто-

Суворовским складом речи, и содержала в себе следующие немногие слова: «Сераскиру, старшинам и всему обществу. Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление — воля; первый мой выстрел — уже неволя; штурм — смерть. Что оставляю вам на рассмотрение». Один из подручных пашей, принимавший это послание, разговорился с посланным офицером, знавшим турецкий язык, и между прочим сказал ему: «скорее Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил». Сераскир же отвечал на другой день, к вечеру. Он прислал довольно длинное письмо, сущность которого состояла в отказе, если не будет разрешено послать двух человек к визирю за повелением, если не дадут сроку 10 дней вместо 24 часов и не заключат на это время перемирие. Очевидно Турки хотели затянуть дело; это было бы чистым для них выигрышем, при позднем сезоне и недостатке всего нужного в русском лагере, и такой прием удавался им не раз. Но они имели теперь дело не с Потемкиным и не с принцем Кобургским. Понимая это, сераскир прислал парламентера и 9 числа, как будто за ответом: ему не хотелось считать дело безвозвратно оконченным. Суворов отвечал словесно, что если в тот же день не будет выставлено белое знамя, то последует штурм, и никто не получит пощады. Белое знамя не показывалось, участь Измаила была решена [14].

В тот же день Суворов собрал военный совет. Советоваться ему было не о чем, но поступая таким образом, он действовал на основании закона и пользовался этим средством, чтобы перелить в других принятое им решение, сделать свой взгляд их взглядом, свое убеждение их убеждением. Это очень трудно для военачальников ординарных, не возвышающихся над подчиненными ничем, кроме своего положения; но очень легко для таких, как Суворов. Тут не нужно ни разглагольствований, ни хитросплетенных доказательств; убеждает победный авторитет, увлекает ни перед чем не склоняющаяся воля. Немного говорил Суворов в совете и однако увлек всех, увлек тех самых людей, которые несколько дней назад считали тот же самый штурм неисполнимым. Младший из присутствовавших, бригадир Платов, произнес слово *штурм*, и штурм был решен всеми 13 лицами без исключения. Совет постановил: «приближась к Измаилу, по диспозиции приступить к штурму неотлагательно, дабы не дать время неприятелю еще более укрепиться, и посему уже нет надобности относиться к его светлости главнокомандующему. Сераскиру в его требовании отказать. Обращение осады в блокаду исполнять не должно. Отступление предосудительно победоносным её Императорского Величества

войскам. По силе четвертой на десять главы воинского устава» [16]. Из определения этого видно, что оно редактировано прямо против прежнего советского решения.

Теперь штурм закреплен был окончательно, с формальной стороны. Некоторые повествуют, будто Потемкин, устрашенный риском предприятия, предоставил перед самым штурмом Суворову свободу — отступить. Это ничем не подтверждается. Из предписаний Потемкина 29 ноября видно, что он и не приказывал Суворову штурмовать во что бы то ни стало; следовательно не было надобности предоставлять ему свободу действий, которую он без того имел. Во все это время Потемкин писал к Суворову, сколько известно, только раз, 4 декабря, о доставке снарядов, причем сказал: «даруй Боже тебе. мой любезнейший друг, счастья и здоровья», ничего больше, Суворов писал ему два раза: 3 декабря, что штурм будет дней через пять, что «обещать нельзя, Божий гнев и милость зависят от Его провидения»; а дня 2 или 3 позже, как бы в устранение вмешательства Потемкина: «мы бы вчера начали, если бы Фанагорийский полк сюда прибыл». Очевидно, последнее было сказано только для заявления решимости, в устранение сомнений Потемкина, ибо не могло быть исполнено прежде доставления сераскиру письма и получения ответа [16].

После военного совета, день штурма был назначен на 11 число. Требовалось сохранить это в тайне, дабы не увеличить бдительность Турок, которые и без того были настороже. Чрез беглецов получены из Измаила разные сведения о числе войск, орудий, размещении их и проч. Турки считали осадный русский корпус в 85000 человек, ожидали штурма каждую ночь, половина людей не спала и сидела в землянках, сераскир объезжал крепость 2 и 3 раза, ночью осмотр делали татарские султаны и янычарские агаси, и ходили дозоры от батальона к батальону. Обыватели защищаться не склонны, женщины убеждают пашей к сдаче, но те хотят обороняться, да и вообще военные надеются на свои силы. Таковы были донесения перебежчиков, неуспокоительные для Русских, но Суворов не только ими не секретничал, а приказал сделать их известными всем, «от высших начальников до рядовых» [1]. Такова была его система, коренившаяся на взаимном доверии начальников и подчиненных.

Окончены были последние приготовления, отданы последние приказания. Хотя каждую ночь пускали ракеты перед рассветом, чтобы приучить к ним Турок, но на этот раз войска предупреждены о настоящем значении трех ракет [17]. Запрещено строго, по завладении валом, врываться внутрь города, пока не будут отворены ворота и впущены резервы. Начальникам взаимно

согласовать движения своих частей, но начав атаку, не останавливаться; отыскивать под бастионами пороховые погреба и ставить к ним караулы; оставлять сзади, в приличных местах, также караулы при движении внутрь города; ничего во время атаки не зажигать; христиан, безоружных, женщин и детей не трогать. Штурмовым колоннам иметь впереди стрелков и рабочих с топорами, кирками и лопатами, сзади резерв по назначению; колонным командирам употреблять резервы по своему усмотрению и в случае надобности подкреплять ими других. Вообще диспозиция была весьма обстоятельная и заключала в себе много практических указаний и наставлений.

С восходом солнца открылась 10 декабря сильнейшая канонада с флотилии, с острова и с 4 фланговых батарей. Действовало несколько сот орудий, не прекращая огня до ночи. Турки отвечали горячо, но с полудня стали стрелять реже, а ночью вовсе замолчали. Город сильно пострадал, но немалую потерю понесли и Русские; у них между прочим взорвана бригантина с 200 человек экипажа. С приближением ночи, бежало в Измаил несколько казаков; таким образом Турки были предупреждены на счет штурма. Они рассчитывали сделать к утру три вылазки; на фланговые батареи и на главную квартиру Суворова, которая по обыкновению охранялась отрядом незначительным, но были предупреждены штурмующими.

Спустилась темная ночь; чрез непроглядную тьму только вспыхивал огонь выстрелов, да и те мало-помалу замолкли и наступила тишина, прерываемая по временам только глухими, неопределенными звуками, доносившимися из крепости. Мало кто спал в эту ночь; не спал и Суворов; он ходил по бивакам, заговаривал с офицерами и солдатами, напоминал им прошлые славные дни, внушал уверенность в успехе. Вернувшись к своему биваку, он прилег к огню, но не спал. Тут же находилась его многочисленная свита: чины полевого штаба, ординарцы, адъютанты, — были и посторонние, — знатные иностранцы, гвардейские офицеры, даже придворные, вообще те, которым в позднейшее время, в кавказской армии дано меткое прозвище *фазанов*. Они впрочем группировались более на флотилии; некоторые из них принесли существенную пользу при штурме; имена многих сделались потом знаменитыми на различных поприщах.

В 3 часа, по ракете, войска поднялись и выступили к назначенным по диспозиции пунктам; в 5 1/2 в густом тумане двинулись на штурм. Атаку с запада и севера производили три колонны генерал-майоров Львова, Ласси и Мекноба, под общим начальством генерал-поручика Потемкина. На левой половине

боевого порядка действовали три колонны бригадиров Орлова, Платова и генерал-майора Голенищева-Кутузова, под общим начальством генерал-поручика Самойлова. Из них четвертая и пятая состояли из спешенных казаков с укороченными пиками, а пятая исключительно из казаков-новобранцев; обе колонны подчинялись генерал-майору Безбородко. Стрелки, шедшие в голове колонн, должны были остановиться у крепостного рва и огнем поражать защитников. Наконец, для десанта и атаки с речной стороны, под начальством генерал-майора Рибаса назначались три же колонны — генерал-майора Арсеньева, бригадира Чепеги и гвардии майора Маркова. Кавалерийский резерв сухопутной стороны располагался перед тремя воротами и состоял под общим начальством бригадира Вестфалена. Сам Суворов находился на северной стороне, невдалеке от третьей колонны.

Колонны двинулись в порядке, соблюдая тишину; Турки сидели смирно, не выдавая себя ни одним выстрелом. Но когда колонны подошли шагов на 300 или 400, открылся адский огонь; атакующие ускоренным шагом продолжали движение. Прежде других подошла ко рву вторая колонна, перешла ров, по лестницам взошла на вал и распространилась влево, очищая вал от защитников. Подоспела скоро и первая колонна, которой приходилось действовать против каменного редута Табия. Овладеть этим редутом открытою силою было совершенно невозможно; колонна направилась правее, к палисаду, протянутому от редута к берегу Дуная. Генерал Львов перелез через палисад, за ним сделали тоже самое Фанагорийские гренадеры и Апшеронские егеря (пришедшие из-под Галаца) и атакою во фланг и с тыла овладели ближайшими дунайскими батареями, под картечным огнем из Табии. Из редута налетела на них вылазка и ударила в сабли; колонна штыками отбила вылазку; не обращая внимания на картечный огонь и ручные гранаты, обошла редут под самыми его стенами, оставила его позади себя и продолжала движение вперед. Львов был ранен, за ним полковник князь Лобанов-Ростовский;. повел колонну полковник Золотухин, на штыках дорвался до ворот, овладел ими, затем другими, впустил через ворота резерв и соединился со второю колонною. В это время, на противоположном фланге, шестая колонна тоже овладела бастионом, но держалась с большими усилиями под напором Турок, получавших беспрестанно свежие подкрепления, причем убит бригадир Рибопьер. Дважды Кутузов оттеснял неприятеля и дважды был сам оттеснен к самому валу. Произошло замедление, которое в настоящих обстоятельствах не обещало ничего хорошего. Кутузов

двинул резерв, оставив часть его для обороны занятого рва; свежие силы произвели бурную атаку на скопившихся Турок и опрокинули их окончательно. Колонна стала твердою ногою на бастион и, разделившись на две части, двинулась по куртинам для очищения соседних.

Еще труднее была выполнена задача 4 и 5 колоннами, составленными из казаков. Когда часть четвертой колонны взошла на вал, а другая оставалась еще за рвом, соседние Бендерские ворота вдруг отворились и Турки, бросившись в ров, ударили во фланг атакующим. Колонна таким образом была разрезана на двое, и положение находившихся на валу становилось очень опасным. Тут, вне крепости, произошла ожесточенная хватка; сражавшиеся смешались в темноте, крики *ура* и *алла* беспрестанно сменялись, указывая, какая сторона одерживала верх; казаки несли страшный урон и гибли под саблями Турок почти безоружные, с перерубленными пиками. В это время пятая колонна, двигавшаяся невдалеке от четвертой, встретила глубокий крепостной ров, наполненный водою по пояс человеку. Перейдя ров под сильным перекрестным огнем, казаки стали взбираться на вал, по услышали вправо от себя громкие крики Турок и затем шум жестокой свалки, произведенной вылазкой. Они остановились в недоумении, стали колебаться и тотчас же были сбиты с вала в ров. Суворов, находившийся неподалеку от 4 колонны, извещенный о дурном у нее обороте дела, тотчас послал подмогу из частных резервов обоих флангов и из общего кавалерийского. Усилия прибывших войск быстро изменили картину боя; Турки, оставшиеся вне крепости, погибли почти все под штыками и саблями. Обе колонны опять пошли на штурм, после тяжелых усилий утвердились на валу при содействии присланного Кутузовым батальона, вошли в связь с 3 и 6 колоннами, и часть казаков проникла до самого берега реки по лощине, облегчив таким образом задачу колонны Арсеньева. При этом генерал Безбородко был ранен, место его заступил бригадир Платов.

Труднее всех выпала роль третьей колонне, штурмовавшей с северной стороны самый сильный бастион крепостной ограды. Вышина вала и глубина рва были так велики, что приходилось 5 1/2-саженные лестницы связывать по две в одну. Войска эскаладировали с чрезвычайными усилиями и наверху вала встретили такой отпор, о который разбивалась самая энергическая настойчивость. Только когда подоспел резерв, удалось сломить Турок, утвердиться на бастионе и завладеть соседними верками, причем Мекноб был тяжело ранен.

Одновременно с атакою сухопутной стороны произведена

атака и речной. Несмотря на сильный туман, суда флотилии благополучно подошли к берегу, производя неумолчный огонь, под защитою его сделали высадку и двинулись вперед. Хорошо распределенные и направленные части войск ударили на Турок повсеместно и одновременно, с беззаветною храбростью; начальники, в том числе несколько иностранных офицеров, давали солдатам блестящий пример своим бесстрашием. Многие из них были ранены, но порыв войск не ослабел. Быстрому и удачному ходу атаки, в самом начале много содействовала первая штурмовая сухопутная колонна, завладевшая несколькими дунайскими батареями и тем облегчившая высадку войск. Турки были сбиты с речной стороны также успешно, как с сухопутной, и Рибас вошел в связь с колоннами Львова и Кутузова.

В 8 часов утра вся ограда крепости находилась в руках Русских. Потеря была большая, расстройство значительное; Турки массировались и готовились к отчаянной обороне на улицах и в домах. Рассвело; числительное неравенство противников сделалось заметным; к тому же сильные числом были в массах, а слабые в растянутой линии. Приказано было как можно скорее устроиться, перевести дух и продолжать атаку, не давая Туркам опомниться. Колонны двинулись, завязался такой упорный бой, с которым ночной штурм не мог идти в сравнение. Шло не общее сражение, а вереница частных кровопролитных дел, прекращавшихся на одних местах и начинавшихся через минуту на других. Каждая площадь была полем сражения; в каждой улице и переулке обороняющийся не упускал воспользоваться выгодами своего положения. Из домов летели в Русских пули; большие дома, особенно «ханы», т.е. гостиницы, обратились в настоящие маленькие крепостцы и замки, которые надо было штурмовать с помощью лестниц и выламывать ворота или разбивать их пушечными выстрелами.

Русские войска подвигались концентрически, живое кольцо вокруг Турок сжималось. Давалось это с тяжкими усилиями и большим уроном, особенно терпели казаки 4 и 5 колонн; вследствие неполноты своего вооружения, они не могли действовать с такою смелостью и отвагой, как другие, и победный путь доставался им дорого. Был момент, когда на большой площади они, окруженные Турками, могли погибнуть, если бы не выручила их регулярная пехота и Черноморские казаки с флотилии. Не обходилось без таких опасных эпизодов и в других местах, с другими войсками. Один из татарских султанов, Каплан-гирей, собрав несколько тысяч Турок и Татар, бурным потоком опрокинулся на наступающих. Смяв Черноморских казаков и отняв у них 2 пушки, он перебил бы их без остатка,

если бы не подоспели три батальона, но и те решили дело не сразу. Окруженный Каплан-гирей бросался как лев во все стороны, на все предложения сдаться отвечал сабельными ударами и умер на штыках; с ним полегло тысячи 3 или 4. Но подобные эпизоды не могли уже изменить исхода боя. Согласно приказанию Суворова вступили в город все резервы, пехотные и кавалерийские; но работала одна пехота, пробиваясь к городскому центру, а коннице велено было держаться поодаль и обирать у убитых ружья и патронницы. Первым добрался до середины города генерал Ласси; за ним стали постепенно сближаться другие. К часу дня был занят весь город; Турки продолжали обороняться лишь в мечети, двух ханах и редуте Табия, но не могли продержаться долго и частию были выбиты, частью сдались.

Старику Айдос-Мехмету не суждено было пережить этого кровавого дня. Он засел в каменном хане с 2,000 янычар и несколькими пушками. По приказанию генерала Потемкина, полковник Золотухин с батальоном Фанагорийских гренадер атаковал этот хан, но долгое время без успеха. Наконец ворота были выбиты пушечными выстрелами, и гренадеры ворвались внутрь, где Турки продолжали обороняться. Только когда большая их часть была переколота, остальные стали просить пощады и были выведены из хана для отобрания оружия; в их числе находился и Айдос-Мехмет. Во время обезоруживания пробегал мимо егерь; заметив на паше богатый кинжал, он подскочил и хотел его вырвать из-за пояса; один янычар выстрелил в дерзкого, но попал в офицера, отбиравшего оружие. В суматохе этот выстрел был принят за вероломство; разъяренные солдаты ударили в штыки и перекололи почти всех Турок; Айдос-Мехмет умер от 16 штыковых ран. Офицерам удалось спасти не больше ста человек, принадлежавших к Мехметовой свите.

Суворов приказал кавалерии окончательно очистить улицы, ибо местами встречались еще Турки. Понадобилось время для исполнения этого приказания; отдельные люди и небольшие толпы защищались как бешеные, а другие прятались, так что приходилось спешиваться для их отыскивания. К 4 часам все было кончено [1].

Двукратная неудача под Измаилом. невзгоды осадного времени, крайнее возбуждение солдат вследствие дорого доставшейся победы, все это вместе сделало измаильский штурм в высшей степени кровавым. Солдаты рассвирепели: под их ударами гибли все, — и упорно оборонявшиеся и безоружные, и женщины и дети; обезумевшие от крови победители криками поощряли друг друга к убийству. Даже офицеры не могли

удержать их от бесцельного кровопийства и слепого бешенства. За убийством и в параллель с ним шел грабеж, — прискорбное знамение времени. По улицам и площадям валялись груды, чуть не холмы человеческих трупов, полураздетых, даже нагих; торговые помещения, жилища побогаче стояли полуразрушенные; внутри все было разбито, разломано, приведено в полную негодность. Грабеж продолжался 3 дня, согласно заранее данному Суворовым обещанию; следовательно на другой и третий день продолжались еще случаи насилия и убийства, а в первую ночь сплошь до утра раздавалась трескотня ружейных и пистолетных выстрелов. Впрочем оставшиеся в живых Турки, попрятавшиеся для спасения своей жизни, этим самым свидетельствовали, что жизнь им дороже, чем их павшим товарищам, а потому больше сдавались, не обороняясь..

Кутузов был назначен комендантом Измаила [18], в важнейших местах расставлены караулы, и всю ночь ходили по разным направлениям патрули. На следующий день совершено благодарственное молебствие при громе орудий; много при этом было неожиданных, радостных встреч между людьми, считавшими друг друга убитыми; наоборот много было тщетных расспросов и разыскиваний товарищей и близких, упокоенных навеки. После молебна Суворов пошел к главному караулу, который содержали Фанагорийские гренадеры; он поздравил их с победой, хвалил их храбрость, мужество, бесстрашие; говорил, что доволен ими; объявил свою благодарность и всем другим войскам. Два дня спустя он присутствовал на обеде, который Рибас давал на своей флотилии; на следующий день находился на подобном же обеде генерала Потемкина. А тем временем подавалась помощь раненым, прибирались мертвые. Для первых с самого начала был открыт огромный госпиталь внутри города. Тела убитых Русских свозились и выносились за город, где и были преданы честному погребению, по уставу церковному. Что касается до неприятельских трупов, то их было так много, что следовало опасаться появления заразы, если замедлит погребением; похоронить же их в земле не было никакой возможности в короткий срок, почему приказано бросать в Дунай, и на эту работу употреблены пленные, разделенные на очереди. Несмотря на такую радикальную меру, Измаил был совершенно очищен от трупов только по прошествии шести дней. Пленные были направлены партиями на Николаев, под конвоем казаков, уходивших на зимние квартиры; для обеспечения их в порядочном содержании. Суворов назначил одного из своих приближенных лиц, штаб-офицера.

На первых порах Суворов послал Потемкину такое донесение:

«нет крепче крепости, отчаяннее обороны, как Измаил, падший пред высочайшим троном её Императорского Величества кровопролитным штурмом. Нижайше поздравляю вашу светлость». Потом он послал более обстоятельное сведение, с цифровыми данными. Убитых неприятелей оказалось 26,000, пленных набралось до 9,000 из числа вооруженных, но на другие сутки из них умерло до 2000; турецких женщин и детей сосчитано до 3,000, христиан и евреев от 5 до 6,000, которые и водворены по-прежнему в их жилища. Пушек досталось 265, знамен 364, бунчуков 7, санджаков 2, пороху 3,000 пудов, судов 42, но почти все они были повреждены до степени негодности; боевых запасов, продовольствия и фуража огромное количество, лошадей около 10,000. Потеря Русских убитыми и ранеными сначала показана приблизительно в 4,000, потом точнее — убитых 1,880, раненых 2,648, всего 4,528, считая с офицерами. Многие признают эту цифру далекою от истины, так как донесение о потере было составлено довольно поспешно. Говорят, что позднейшие, верные сведения определяют число убитых в 4,000, а раненых в 6,000, всего 10,000, в том числе 400 офицеров (из 650). Официальные ли эти сведения или нет, во всяком случае они дошли до нас разными путями и быть может, при всем своем преувеличении вернее первых [16].

Войска получили громадную добычу; в донесении Екатерине Потемкин называет ее «чрезвычайною»; в письме к Кобургу Суворов говорит, что она превышала миллион рублей. В Измаил перевезены были купеческие склады товаров из укрепленных мест, капитулировавших в предшествовавшее время; стало быть условия для грабежа оказывались самыми благодарными. Сколько же было испорчено и уничтожено, если получено более, чем на миллион рублей? Солдаты не знали что делать с награбленным добром, продавая его всякому желающему за бесценок. Они сорвали с древок много знамен и щеголяли, опоясанные ими, гордясь своею добычею, как знаками отличий; часть этих знамен была от них отобрана, но остальная пропала и в счет трофеев не вошла, с добыче следует отнести и неизвестное число пленных обоего пола и разных возрастов, которых с разрешения Суворова разобрали офицеры, обязавшись подписками в порядочном их содержании и человеколюбивом с ними обращении. Сам Суворов по обыкновению ни до чего из добытого грабежом не коснулся, отказавшись от всех представленных и поднесенных ему вещей. Даже когда привели к нему, на память о славном дне, великолепного, в богатом уборе коня, он отказался и от коня, сказав: «донской конь привез меня сюда, на нем же я отсюда и уеду». Один из генералов заметил, что

теперь тяжело будет Суворовскому коню везти на себе вновь добытые лавры; Суворов отвечал: «донской конь всегда выносил меня и мое счастие». Недаром же солдаты говорили: «наш Суворов в победах и во всем с нами в паю, только не в добыче».

Измаильский штурм отличался нечеловеческим упорством и яростью Турок, и немудрено: они знали, что им пощады не будет после предшествовавших штурму переговоров. Но это упорство безнадежного отчаяния, в котором принимали участие даже вооруженные женщины, могло быть сломлено только крайним напряжением энергии атаковавших. высшею степенью возбуждения их духа. Все это и было произведено Суворовым. Храбрость русских войск под Измаилом дошла как бы до совершенного отрицания чувства самосохранения. Офицеры, главные начальники были впереди, бились как рядовые, переранены и перебиты в огромном числе, а убитые до того изувечены страшными ранами, что многих нельзя было распознать. Солдаты рвались за офицерами, как на каком то состязании; десять часов не перемежавшейся опасности, нравственного возбуждения и физических напряжений не умалили их энергии, не уменьшили сил. Многие из участников штурма потом говорили, что глядя при дневном свете и в спокойном состоянии духа на те места, по которым они взбирались и спускались в ночную темноту, они содрогались, не хотели верить своим глазам и едва ли рискнули бы на повторение того же самого днем.

Кроме этой внутренней стороны дела, содействовала успеху штурма и внешняя. В диспозиции указано было все существенное, начиная от состава колонн и кончая числом фашин и длиною лестниц; определено число стрелков при колонне, их место и назначение, также как и рабочих; назначены частные и общие резервы, их места и условия употребления; преподаны правила осторожности внутри крепости; с точностью указаны направления колонн, предел их распространения по крепостной ограде и проч. Эти наставления были хорошо поняты, внимательно и толково исполнены. Нельзя например не подивиться, что в полном разгаре боя и грабежа, в городе не произошло ни одного пожара. Особенного же внимания заслуживает употребление резервов; они не раз выводили штурмовые колонны из весьма затруднительных обстоятельств; благодаря именно резервам первая, ночная часть действий была окончена скоро и с полным успехом.

Тем страннее встретиться с заявлением одного современника, что порядка при штурме было мало; что Суворов не делал рекогносцировки, а возложено это было на колонных

начальников; что колонны двигались чуть не на авось; что лестницы оказались коротки, верного плана городу не имелось и проч. [14]. Конечно не было возможности осмотреть крепость так тщательно, чтобы верно измерить высоту валов, глубину рвов и пригнать заранее лестницы; но происходивший от этого замешательства нельзя называть беспорядком. Хороших планов крепости и города, как по всему видно, действительно не имелось; с этим обстоятельством поневоле приходилось мириться, но оно возвышает качество распоряжений и исполнения, а не уменьшает его. Не в пользу Суворова можно бы сделать одно, не приведенное критиком замечание: участие в штурме спешенных казаков без достаточного вооружения. Но отказаться от участия казаков в штурме не было возможности уже потому, что они составляли чуть не половину осадного корпуса, а дополнить их вооружение и обучить действию новым, представлялось неисполнимым по совершенному недостатку времени. Подготовка к бою была коньком Суворова; она и в настоящем случае им не пренебрежена, как объяснено выше. Сделать больше было невозможно, а отказаться из-за этого от штурма ему и в голову конечно не приходило: на то он был Суворов. Только такие люди и годны на подобные дела.

Таким образом успех измаильского штурма достигнут благодаря сочетанию изумительной нравственной силы русских войск с прекрасно составленным и исполненным планом Действий. Штурм этот по размерам и значению предприятия, по неравномерности сил обеих сторон, по сложности и трудности исполнения, имеет мало равносильных примеров в военной истории. Здесь не крепость взята, а истреблена неприятельская армия, засевшая в крепостных стенах. Нечего и говорить, что измаильский штурм далеко превзошел Очаковское однородное дело; участники того и другого, не без некоторого преувеличения конечно, имели основание называть второй детской игрушкой сравнительно с первым. Сам Суворов, не останавливавшийся ни перед каким смелым предприятием, смотрел на измаильский штурм как на дело исключительное. Года два спустя, проезжая мимо одной крепости в Финляндии, он спросил своего адъютанта; «можно «взять эту крепость штурмом?» Адъютант отвечал: «какой крепости нельзя взять, если взят Измаил?» Суворов задумался и, после некоторого молчания, заметил: «на такой штурм, как измаильский, можно пускаться один раз в жизни.» [19]. Мы видели, что в ночь штурма он не мог спать; в это же время он получил с курьером письмо от Австрийского императора, но так был озабочен предстоящим делом, что не распечатал и не прочел письма, отложив его до развязки штурма

[20].

Почти так же, как Суворов, смотрела на измаильский штурм и Екатерина. Рискуя оскорбить Потемкина в его очаковских воспоминаниях, она писала ему, что «почитает измаильскую эскаладу города и крепости за дело, едва ли где в истории находящееся». В мнении своем она конечно руководилась между прочим тем оцепеняющим впечатлением, которое произвели измаильские известия на врагов и недоброжелателей России. И не мудрено: путь к Балканам лежал теперь перед Русскими открытый, и на Турок напала сильнейшая паника. Систовские конференции перервались; из Мачина все стали разбегаться, из Бабадага также; в Браилове, несмотря на 12000-ный гарнизон, жители просили пашу не медлить сдачей, как только Русские появятся; в Букаресте просто не верили возможности измаильского погрома, несмотря ни на какие подтверждения; содержавшиеся в Богоявленске пленные Турки пришли в такой ужас, что пристав их счел долгом довести об этом Потемкину. Изумление и восторг охватили русское общество; русские поэты, начиная с Державина и кончая Петровым, выразили общее настроение в стихах; Суворов был засыпан поздравительными письмами и посланиями, летевшими к нему со всех сторон. Принц де Линь, сын, отличившийся и раненый под Измаилом, величал его «идолом всех военных»; принц де Линь, отец, благодаря его за внимание к сыну, писал, что графов было бы не много, если бы каждый из них сделал сотую долю того, что Суворов, и что дружба такого человека приносит честь и есть патент достоинства. Принц Кобургский тоже не преминул приветствовать своего бывшего сотоварища с обычною своею искренностью. Одним словом, Суворов сделался предметом общего восторженного внимания [31].

Суворов оставался в Измаиле 9 или 10 дней. Он продолжал переписываться с Потемкиным; говорил. что предпринимать теперь что-либо серьезное в Браилове поздно, что надо усилить войска на Серете, что ему необходимо туда спешить. Он не жалеет комплиментов, благодарит Потемкина от имени войск за его благосклонное письмо, уверяет, что все готовы за него умереть, что «желал бы коснуться его мышцы и в душе обнимает его колени» [22]. И как все это затем скоро изменилось!

Воротившись на короткое время в Галац, Суворов поехал затем в Яссы. Потемкин приготовился к торжественному приему измаильского победителя; были расставлены по улицам сигнальщики; адъютанту приказано не отходить от окна, чтобы своевременно известить Потемкина, Проведал ли при эти приготовления Суворов, или так уж случайно пришлось, но

только он въехал в Яссы ночью, никем не замеченный, и отправился на ночлег прямо к старому своему знакомому, полицмейстеру, которого и просил не разглашать о его приезде. На следующий день утром, Суворов надел парадный мундир, сел в старинную колымагу своего хозяина и поехал к Потемкину. Лошади были в шорах, кучер в широком плаще с длинным бичом, на запятках лакей в жупане с широкими рукавами. Никто не признавал в этой странной обстановке Суворова; в таких экипажах езжали обыкновенно архиереи и иные духовные лица. Потемкинский адъютант не дался однако в обман и, когда подъезжала карета, доложил Потемкину. Потемкин поспешил на лестницу, но едва успел спуститься несколько ступеней, как Суворов взбежал наверх в несколько прыжков и очутился около Потемкина, они обнялись и несколько раз поцеловались. «Чем могу я наградить ваши заслуги, граф Александр Васильевич», спросил Потемкин, в полном удовольствии от свидания. «Ничем князь», отвечал Суворов раздражительно: «я не купец и не торговаться сюда приехал; кроме Бога и Государыни никто меня наградить не может». Потемкин, никак не ожидавший такого ответа, побледнел, повернулся и пошел в зал; Суворов за ним. Здесь он подал строевой рапорт, Потемкин принял холодно; оба рядом походили по залу, не в состоянии будучи выжать из себя ни слова, затем раскланялись и разошлись. Суворов вернулся к полицмейстеру [23].

Случай этот иначе не объясним, как характеристикой того века, века искательств, подслуживания, лести и всяких кривых путей. Существовали эти пороки в русском обществе и раньше, и позже, но никогда не имели такой благодарной почвы, как в XVIII столетии, после Петра Великого. Ничто не доставалось тогда прямо; даже богато одаренным людям приходилось держаться общей колеи. Суворов, искавший исхода своим внутренним силам с самого вступления в действительную жизнь, успел уже состариться, когда сделался человеком известным. Путы, которые мешали ему развернуть все свое дарование, он мог ослаблять и понемногу сбрасывать только с помощью испытанных приемов века. Но прошли долгие годы, а он все еще не добился надлежащего положения. Еще недавно, в прошлом году, принц Кобургский был возведен за Рымник в фельдмаршалы; он, главный виновник победы, нет. Поэтому когда Суворову привелось совершить в Измаиле новый подвиг, более крупный и блестящий, чем все предшествовавшие, он вздохнул свободно: давно искомая цель не могла теперь миновать его рук.

Суворов ошибся, несмотря на то, что знал Потемкина с его завистью и властительным эгоизмом. Потемкин не терпел около

себя равного по положению, особенно равного с громадным перевесом дарования. В кампанию 1789 года он оттер от дела князя Репнина, дабы, как потом говорили, отнять от него возможность производства в фельдмаршалы. Суворов же был гораздо способнее Репнина и следовательно еще неудобнее для Потемкина. Иметь его под своим начальством, отличать. ценить, осыпать милостями Императрицы, — Потемкин был согласен, потому что победы подчиненного ставились в заслугу главнокомандующему, но поставить его рядом с собой, на равной ноге, — ни в каком случае. Контраст был бы слишком велик. Поэтому ждать от Потемкина производства Суворова в фельдмаршалы было бы пустым самообольщением; оставалось возложить всю надежду прямо на Императрицу. Суворов на этой мысли и остановился, вдаваясь в другое самообольщение. Он не знал, что всеми предшествовавшими отличиями и наградами обязан был почти исключительно Потемкину; что самое графство и Георгий I класса были, так сказать, продиктованы им же: интимная по этому предмету переписка между Государыней и подданным конечно содержалась в секрете; подобными вещами не хвастают. Некоторые из его биографов говорят, что когда Суворов отказывался от всякого участия в дележе измаильской добычи, то произнес слова: «я и без того буду награжден Государыней превыше заслуг».

Питая такую надежду или, вернее сказать уверенность, Суворов однако не поднял носа, не изменил ни на волос своих отношений к Потемкину и в письмах к нему употреблял прежние льстивые, изысканные приемы. Это между прочим свидетельствует, говоря мимоходом, что они постоянно имели у него чисто внешнее значение; век временщиков и фаворитов делает такую оболочку обязательною. Но едучи к Потемкину, он, настроенный как сказано, ожидал, что его начальник поймет разницу между своим подчиненным теперешним и прошедшим и оттенит ее в своем обращении. Новое самообольщение: Потемкину подобные тонкости и в голову не могли придти. Он видел перед собой того самого Суворова, которому несколько времени назад жаловал шинель со своего княжеского плеча, а потому обошелся с ним весьма любезно, но совершенно по прежнему, в чем никто никогда не находил ровно ничего обидного, ниже сам Суворов. Потемкин был вполне прав со своей точки зрения, а Суворов, рассчитав неверно, поступил заносчиво и из прежнего протектора сделал себе жестокого врага.

Потемкин написал Екатерине: «если последует высочайшая воля сделать медаль Суворову, то этим будет награждена служба его при Измаиле. Но так как из генерал-аншефов он один

находился в действиях в продолжении всей кампании и, можно сказать, спас союзников, ибо неприятель, видя приближение наших, не осмелился их атаковать, то не благоугодно ли отличить его чином гвардии подполковника или генерал-адъютантом» [24]. Государыня на это согласилась, хотя не могла не понять, что её «добросовестный советодатель» явно кривит душой и руководится побуждениями не совсем честными. Она приказала выбить медаль, назначила Суворова подполковником Преображенского полка, наградила офицеров измаильского корпуса золотыми крестами, а солдат серебряными медалями.

Полковником Преображенского полка была сама Государыня, следовательно назначение в этот полк подполковником было для всякого весьма почетным, но ничего больше. Отличия этого удостаивались обыкновенно старые заслуженные генералы; таких было уже десять, Суворов назначен одиннадцатым. Однако всякий понимал, что продолжительная служба и взятие штурмом крепости с уничтожением неприятельской армии, — две заслуги разнородные. Недоброжелатели и завистники радовались, все прочие недоумевали.

Впрочем обо всем этом Суворов узнал уже в Петербурге; куда он поехал из Ясс, после свидания с Потемкиным. Войну пришлось кончать другим; великий мастер, который довел искусство бить Турок до небывалой степени совершенства, до истинной виртуозности, — отсутствовал. Но имя его осталось. Для Турок оно сделалось пугалом, страшилищем, наводило на них панику; в рядах же русских войск производило электрическое действие. В мнении войск Суворов тогда уже не имел равносильных соперников. и никакие обстоятельства не в силах были отодвинуть это в тень надолго.

Глава XIII. В Петербурге и Финляндии; 1791—1792.

Бездействие Суворова в Петербурге; поручение в Финляндию; Потемкинский праздник в его отсутствие; возвращение. — Назначение в Финляндию; занятия. — Петербургские на Суворова наговоры за дурное содержание войск, изнурение их, за большое число умерших и беглых. — Жалкое состояние военно-врачебной части; злоупотребления. — Санитарные меры Суворова. — Большое число беглых в русской армии; Суворов уменьшает размеры зла в Финляндии. — Негодование его на петербургские обвинения. — Тревожное состояние Суворова по случаю разных известий и слухов; переписка с Турчаниновым и Хвостовым; отношения ж ним и другим лицам; частная жизнь Суворова и неслужебные занятия. Перевод его в Херсон

Почти 3 месяца жил Суворов в Петербурге без всякого дела. Он все ждал справедливой оценки своей славной в минувшем году службы и признания её по достоинству, но ждал напрасно: судьба повернулась к нему спиной. Носились потом слухи, что он посещал нового фаворита и будущего временщика Платона Зубова, с целью разных внушений и инсинуаций насчет Потемкина. Зубова он действительно посещал, и разговоры их вероятно не обходили ни Потемкина, собиравшегося приехать в Петербург — *зуб дергать*, ни других предметов. По крайней мере в позднейшем письме Суворова к Зубову (от 30 июня 1791 г.) из Финляндии, читаем: «ежечасно вспоминаю благосклонности

вашего превосходительства и сию тихую нашу беседу, исполненную разума с приятностью чистосердечия, праводушия, дальновидных целей к общему благу» Но этим путем Суворов ничего не приобрел, кроме самоуслаждения, да и то минутного. Потемкин был положим уже не то, что несколько лет назад, но для одной только Екатерины, а для Суворова и всех прочих он по-прежнему представлял собою силу несокрушимую [1].

Приехал в Петербург и Потемкин. На него посыпались милости и выдающиеся знаки благоволения; Суворов оставался в стороне, не причем. Жестоко страдала его впечатлительная натура. Дабы сколько-нибудь успокоить свой возмущенный дух, он прибегнул к средству, к которому прибегал постоянно в подобных случаях: стал излагать свои мысли письменно, для самого себя.

В одной записке он вспоминает про старое, про Козлуджи, где Каменский помешал ему идти вперед; про принца Кобурга, Лаудона, которые награждены лучше его, Суворова; перечисляет всех высших генералов русской службы, указывая, что он старше почти их всех. Относительно Потемкина он задает вопрос, что было бы ему, Суворову, если бы он со своими делами занимал место Потемкина? «Время кратко», кончает он записку: «сближается конец, изранен, 6 лет, и сок весь высохнет в лимоне».

В другой записке он пишет: «здесь поутру мне тошно, ввечеру голова болит: перемена климата и жизни. Здесь язык и обращения мне не знакомы; могу в них ошибаться; потому расположение мое не одинаково — скука или удовольствие. По кратковременности мне неколи, поздно, охоты нет учиться, чему до сего не научился. Это все к поступкам, не к службе; глупость или яд не хочет то различить. Подозрения на меня быть не может, я честный человек. Бог за меня платит. Бесчестность клохчет, и о частом утолении моей жажды известно, что сия умереннее как у прочих. Зависть по службе! Заплатит Бог. Выезды мои кратки; если противны, — и тех не будет» [2].

Тем временем готовился великолепный праздник в воспоминание славных военных подвигов, в особенности измаильского штурма. Присутствие на торжестве истинного героя дня, Суворова, не могло нравиться Потемкину, особенно после всего того, что между ними произошло. Было что следует внушено Государыне. За несколько дней до праздника, 25 апреля, Суворов получил от Потемкина повеление Государыни — объехать Финляндию до самой шведской границы, с целью проектировать систему пограничных укреплений. Суворов поехал с охотой, чтобы только избавиться от своего бездействия; край был ему несколько знаком, так как 17 лет назад он уже объезжал

шведскую границу, и хотя теперешняя задача представлялась посложнее, но при обычной своей энергии и трудолюбии, Суворов выполнил ее всего в 4 недели времени, даже меньше. [3]

В то время, как суровою финляндскою весною он разъезжал в санках и таратайках по диким захолустьям русско-шведской границы, вынося лишения, которых военный человек высокого положения не знает даже в военное время, — Потемкин утопал в роскоши и упивался своей славой. В сущности повторялось прежнее: припомним Суворова, едущего в зимнее ненастье, верхом на казачьей лошади, без багажа, к Измаилу, — и Потемкина, предающегося в это самое время всем излишествам в главной квартире. Но тут, в Петербурге, контраст бил в глаза; тут должно было воздаваться достойному достойное, а делалось наоборот. Это от того. что сказывалась неиссякшая еще Потемкинская сила; она никого конечно не убеждала, но всем импонировала. А что за дело временщику до остального?

Праздник происходил у Потемкина, 28 апреля. По роскоши, разнообразию, блеску, он выходил из уровня самых пышных торжеств того времени, отличавшегося роскошью и пышностью. Весь двор был тут, с Государыней во главе; великие князья танцевали в первых парах; дамские наряды поражали богатством и разнообразием; в оркестре и хорах насчитывалось до 300 музыкантов и певцов; балет и драматическое искусство тоже не были забыты. Залитый светом громадный зал, великолепный сад с редкими растениями, повсюду драгоценности, редкости и художественные произведения, — все это поражало и восхищало самых привычных к изысканной роскоши людей. Искренним похвалам и комплиментам не было конца; Государыня была очарована; праздник удался совершенно.

Он был дан в таврическом дворце, который Екатерина еще в прежние годы пожаловала Потемкину, потом купила обратно за полмиллиона рублей и теперь снова дарила, по желанию Потемкина, вместо постройки для него нового дворца, как предполагалось. Но и этим не ограничилась щедрость Императрицы в воздаяние заслуг Потемкина; положено было соорудить ему в царскосельском парке обелиск, пожалован фельдмаршальский мундир, унизанный по швам бриллиантами, и подарено 200000 рублей.

Суворов вернулся из Финляндии и представил проект укрепления границы на случай наступательной войны со стороны Шведов. Июня 25 последовало высочайшее на его имя повеление: «полагаемые вами укрепления построить под ведением вашим». Мотивы в этом повелении изложены не были; они подразумевались в тогдашнем положении дел, ибо носились

неясные слухи насчет непрочности недавно заключенного с Шведским королем Верельского мирного трактата [4].

Это было новою, хотя и замаскированною немилостью. Шла война с Турцией, в которой только один Суворов обнаружил до сей поры блестящее дарование и решительными ударами придвинул войну к исходу, если бы его победами сумели пользоваться. Англия, Пруссия, Польша вооружались и угрожали другой войной, более вероятной, чем шведская. Предстояла практическая военная деятельность в обширном размере, а лучшего боевого генерала посылали строить крепости. Тем не менее, надо признать произвольным утверждение большей части писателей, будто это назначение состоялось без ведома Суворова и повергло его в отчаяние. Из последующей его переписки со статс-секретарем по военной части Турчаниновым видно, что на то была добрая его воля. По всей вероятности он расчел, что оставаться в Турции под начальством Потемкина ему нельзя, и решился принять службу в Финляндии. Здесь он был самостоятелен, т.е. зависел непосредственно от военной коллегии, чего давно добивался, и перевод отсюда, в случае надобности, в другое место, считали легко исполнимым [5].

На назначении Суворова в Финляндию сошлись и Государыня и Потемкин, только по разным соображениям. Еще в конце1789 года, в одном из писем к Потемкину, Екатерина говорит: «мне нравится, куда мы Суворова прочим». Спустя года полтора, 25 апреля 1791 года, перед Потемкинским праздником, она пишет временщику, что находит очень хорошею его мысль — назначить Суворова в Финляндию, и прилагает подписанный рескрипт, для вручения по принадлежности, предоставляя это впрочем его, Потемкина, усмотрению. Очевидно, что в первом случае назначение Суворова в Финляндию, когда еще продолжалась война со Швециею, и командующий русскими войсками Мусин-Пушкин оказался совершенно неспособным, — было вполне логично. Если оно не состоялось, то конечно потому, что Суворов с Потемкиным ладил и был еще ему нужен в Турции, что и доказал в 1790 году под Измаилом. Позже Суворов сделался уже совсем» не нужным, даже больше, — и потому Потемкин вручил ему рескрипт Государыни. Однако дело ограничивалось временным поручением, командировкой; начальником Финляндской дивизии Суворов назначен не был и, по расписанию войск под начальством Потемкина, составленному в мае 1791 года, помещен в списки главной армии [6].

Суворов поехал и тотчас же принялся за работу. Некоторые называют его охотником и знатоком инженерного дела. Он действительно был хорошо с ним знаком, быть может даже

несколько лучше, чем с другими вспомогательными отраслями военного искусства, но вовсе его не любил и постоянно им тяготился. Это впрочем не повлияло на успех. В продолжение 1 1/2-годового своего пребывания в Финляндии, Суворов исполнил в существенных чертах свой план, составленный после предварительной финляндской поездки и утвержденный Государыней. Усилены укрепления Фридрихсгама, Вильманстранда и Давидштадта: исправлен и усилен Нейшлот; на важнейших дорогах из шведской Финляндии к Фридрихсгаму, Вильманстранду и Завитайполю сооружены новые форты Ликкола, Утти и Озерный; оборонительные средства саволакской дороги, заключавшиеся в Нейшлоте, усилены проведением каналов в окрестной стране, усеянной озерами. Для противовеса Свеаборгу и с целью дат надежную станцию шхерному флоту, возведены при Роченсальме, на нескольких островах, довольно сильные укрепления, а на сухом пути заложена крепость Кюменегард. Таким образом Роченсальм сделался главным укрепленным пунктом южной части финляндской границы, и в конце 1792 года Екатерина имела полное основание лично благодарить Суворова за то, что «он подарил ей новый порт».

Вообще Государыня относилась с полным одобрением к строительным трудам Суворова, что и выражала ему неоднократно. Да и сам он был доволен ходом дела и в конце 1791 года писал Турчанинову, что недоверие к себе есть мать премудрости, что успех превысил ожидание и что в следующее лето границы будут обеспечены на 100 лет. Он считал делом своей чести — поднять кейзер-флаг в Роченсальме и имел утешение дождаться исполнения своей мечты. При рескрипте 26 августа 1792 года Государыня, сообщая ему, что повелела выслать кейзер-флаг и штандарт для роченсальмского порта, приказывает подымать первый в будни, а второй в праздники, по обыкновению. После того, Суворов при всяком удобном случае старался прогуляться по Роченсальму и полюбоваться на свое произведение, как говорится *чужим* взглядом. «Массивнее, прочнее и красивее строение тяжело обрести», писал он своему племяннику, Хвостову: «так и все пограничные крепости». Нейшлот был тоже его гордостью. Маскируя свое удовольствие при виде этого форта, он говорил: «знатная крепость, помилуй Бог, хороша: рвы глубоки, валы высоки: лягушке не перепрыгнуть, с одним взводом штурмом не взять». Сообщая в Петербург по своей обязанности разные известия и слухи, доходившие из-за границы, даже из самого Стокгольма, Суворов не упускает случая похвастать впечатлением, производимым на шведскую публику быстро воздвигаемыми русскими укреплениями, прибавляя, что

существует между Шведами опасение, как бы не поступили с их крепостями, как с турецкими, — напоминание между строками об Измаиле, так плохо награжденном[7].

Работы шли быстро и успешно между прочим потому, что Суворов торопился от них отделаться, чтобы быть свободным для иной службы, в другом месте. Он отнимал время от сна, переезжал беспрерывно с места на место, обходил работы, вникал в мелочи и частности. Кроме того требовалось делать не только хорошо, но и дешево. Суворов разыскивал известковый камень и жег из пего известь, устраивал временные кирпичные заводы, выписывал известь и кирпич дополнительно из Петербурга и Ямбурга, строил для их доставки особые суда. Переписка его полна распоряжениями по этому предмету, которые совсем не вяжутся с представлением о рымникском и измаильском победителе. Все это сильно его тяготит и временами выводит из терпения, когда представляются усложнения и препятствия. А в них недостатка не было. Освидетельствована по крепостям артиллерия и написано в Петербург об её исправлении; прошел год, — ничего не сделано. Бури прорывают плотины, и усиленные годовые труды пропадают. «Лаубе (строитель) тремя его каналами мне накопил работы пуще трех баталиев; неизмерные работы, недостаток людей, немогзнайство и ускромейство непрестанные», жалуется Суворов Хвостову. Поручив надзирание за какой-то работой одному полковнику, Суворов долго ее не посещал, а когда приехал, то нашел большие неисправности. Он стал выговаривать полковнику, тот сваливал вину на своего подчиненного. «Оба вы не виноваты», сказал рассерженный Суворов, схватил прут и начал хлестать себя по сапогам, приговаривая: «не ленитесь, не ленитесь; если бы вы сами ходили по работам, все было бы хорошо и исправно»[8].

Это несомненно, но физической к тому возможности не было. У Суворова, кроме постройки и исправления крепостей, были на руках войска и флотилия. Большая часть гребной флотилии находилась в шхерах, меньшая на озере Сайме. Сначала флотилией командовал принц Нассау-Зиген, но летом 1791 года он отпросился у Екатерины на Рейн, чтобы предложить свои услуги французским принцам для войны против республиканцев. Флотилия была немалая, в ней числилось до 125 судов разных названий и величины, с 850 орудиями; она состояла под начальством контр-адмирала маркиза де Траверсе и генерал-майора Германа, подчиненных Суворову. На нем лежали обязанности по укомплектованию судов, по обучению людей, по производству морских экзерциций и маневров. Суворов никогда не бывал начальником номинальным; он постарался

познакомиться, сколько возможно, и с военно-морскою специальностью. Кое-какие практические сведения он приобрел раньше, в Очаковском лимане, где ему тоже подчинена была флотилия, и продолжал в Финляндии присматриваться к делу. В первую свою сюда поездку, он брал частные уроки, о чем и писал тогда же Турчанинову; позже, по некоторым известиям, он в шутку просил испытать себя в морских познаниях и выдержал экзамен довольно удовлетворительно [9].

Если начальствование флотилией не было номинальным и требовало от Суворова трудов и времени, то тем паче командование войсками. Укрепления, каналы, флотилия не причиняли ему и десятой доли тех неприятностей, которые посыпались на него за войска. Неудовольствия начались еще в Петербурге. В каком-то собрании или, как говорит Суворов, «в компании». вероятно высокостоящие люди осмеивали и осуждали взгляд его на дисциплину и субординацию. Упоминая про это в одном из своих писем, Суворов не пускается в опровержения, а только замечает едко, что эти господа «понимают дисциплину в кичливости, а субординацию в трепете подчиненных». Месяца через два или через три стали доходить до него слухи, что в Петербурге толкуют, будто войска в Финляндии наги и босы, будто работающие на укреплениях и каналах не имеют рабочего платья, будто все люди вообще не получают срочной по закону одежды и тому подобное, Эти вести оскорбили и раздражили Суворова. Он пишет Хвостову письмо, опровергает взводимые на него вины, излагает подробности, объясняет, что снабжение войск одеждою не принадлежит к его, Суворова, обязанностям и власти; говорит, что граф Николай Иванович (Салтыков, ведавший военным департаментом) должен был раньше других знать, что люди наги и босы, что все это «прибаски кабацкого ярыги». Затем он переходит в угрожающий тон: «однако я не жалую, чтобы меня кто решился порицать, и лучше буду требовать сатисфакции», — и дает наставление, как поступать с клеветниками: «помните, никогда не *negatif*, не извинительное, оправдательное, нижеобъяснительное, но упор — наступательный... Я как партикулярный человек, отвечаю всякому партикулярному человеку, как ровный ему, кто бы он ни был...И чтобы тоне было одно угрожение, то я ныне желаю знать — кто на меня дерзнул клеветать». Вероятно Хвостов узнал и сообщил ему имя сплетника, ибо Суворов написал и послал (неизвестно кому) письмо: «По слухам приезжих, ваше высокопревосходительство знаете, чем честь платят. Из почтения к вам, наконец я должен буду впредь приступить к требованию удовольствия по законам» [10].

Работы в крепостях и на каналах производились нарядом людей от земли и от войск, на точном основании высочайшего повеления. Солдатам платилось по 5 коп. заработчих денег в сутки; эта норма также была одобрена Государыней, по представлению Суворова, и очевидно была недостаточна. Хотя таким образом солдаты были заняты работами, но Суворов требовал от них и военного образования; так что летом одни работали, другие учились, а перед роспуском на зимние квартиры, всем производились строевые ученья и маневры. Суворов считал трудовую жизнь солдата необходимым условием военного благоустройства, а военную подготовку войск — самым важным требованием, никакими другими требованиями не отменяемым. Поэтому он постоянно писал Хвостову и Турчанинову, что распустил на зимние квартиры «не мужиков рабочих, а солдат», и при этом роспуске подтверждал начальникам, «что труды здоровее покоя», т.е. указывал, чтобы и зимой солдаты не были праздны [3].

В высших служебных сферах Петербурга пошли толки, что Суворов не жалеет солдат, эксплуатирует их бесчеловечно с целью выслужиться самому, и оттого они в огромном числе болеют или бегают за границу. Говорили, что Суворов, имея странный взгляд на медицину и лечебницы, закрыл вовсе госпитали, а потому несчастные солдаты мрут как мухи. Толковали, что необходимо прекратить такие ненормальные порядки; что следует воспретить чудаковатому генералу изнурять солдат непосильными работами (напр., жжением извести) и после работ строевыми ученьями и маневрами; что убыль людей в Финляндии дошла до громадной цифры и т. п.

Финляндская дивизия действительно отличалась от других большим числом беглых и умерших, что впрочем было давним её свойством, а не виною Суворова; но нелюбовь к нему высших правительственных сфер и близость Финляндии к Петербургу питали темы для пересудов и давали им оттенок справедливости. Например, выборгский губернатор сообщил в 1791 году Турчанинову, что Суворов собирается ломать камень и жечь из него известь; что он опустошит только леса и уморит людей на зимней работе, а известь все-таки получит никуда негодную. Предсказание не оправдалось: известь добывалась очень удовлетворительная, так что в одном из писем Турчанинову, Суворов кричит ей «виват». Тем не менее таких поводов было достаточно, чтобы открыть против Суворова кампанию [11].

В те времена военно-врачебная часть и в западной Европе находилась в жалком состоянии, а в России отличалась совершенным безобразием. Писатель-очевидец говорит, что на

русский военный госпиталь можно было смотреть почти как на могилу; что врачей в русской армии было чрезвычайно мало; что были они почти все из немцев и только назывались врачами, а на самом деле были простые цирульники, оставшиеся на родине без работы; что жалованье они получали на русской службе ничтожное, которым нельзя было приманить мало-мальски сносного врача. Ко всему этому присоединялось соображение, или лучше сказать отсутствие соображения о стоимости человеческой жизни, вследствие чего смертность в войсках была страшная, а в рекрутах, до прибытия их в войска, и того больше. Были местности, именно Кронштадт и Финляндия, где скорбут уносил из войск полкомплекта ежегодно. К 70-м годам, по заявлению того же писателя, военно-врачебная часть несколько улучшилась, потому что службу врачей стали оплачивать лучше. Улучшение было однако яге незначительное, потому что, по свидетельству другого современника, русского генерал-поручика Ржевского, в 80-х годах «установление госпиталей, их содержание и образ контрактов *ужасают*; к этому скверный выбор лекарей». В своих объяснительных по этому предмету письмах, Суворов прямо говорит, что на нем отзывается неустройство предшествовавших 60 лет; что он застал годовую смертность в войсках больше 1000 человек; что однажды при его предместнике в один день умерло 500 и что все это известно военной коллегии [32].

Контракты подрядческие в госпиталях были истинно разбойничьи, а содержание больных служило предметом самого наглого лихоимства и трудно-вообразимых злоупотреблений. Порядочной величины госпиталь, не стоящий впусте, был золотым дном для неразборчивых охотников до наживы; не даром же Суворову предлагали в Крыму взятку в 7,000 рублей за то только, чтобы он не закрывал госпиталей. Главные злоупотребления коренились на числе умерших, времени их смерти, способе счисления их и проч. «Мертвая собака не лает», с горьким цинизмом поясняет Суворов. «Брошен в яму фланговый рядовой Алексеев», говорит он дальше (надо думать обмерший или трудно больной): «вдруг стучится у спальни (вероятно начальника) нагой». «Ведь ты умер?» — «Нет, жив». Суворов прибавляет лаконически: «был богат». Продолжая посвящать Хвостова в подробности военно-врачебных порядков, он иронизирует: «бывают и ошибки»: иной положит себе в карман 2-месячный провиант на известное число людей, в надежде, что авось повымрут за это время, но по несчастью для него не вымерли, и в таком случае проектированные мертвецы отправляются гулять за милостынею, до истечения термина [5].

При суровом климате Финляндии и обилии болот, солдаты,

уроженцы других мест России, хворали особенно много: зимою скорбутом, весною и осенью — лихорадками, летом — поносами и горячками. Госпитали переполнялись, злокачественность их увеличивалась; врачей приходилось но одному на сотню и больше больных; госпитальная прислуга отличалась полнейшим невежеством в своем деле. Как же было Суворову не принять радикальных мер, не опростать до последней возможности госпиталей, сделавшихся без преувеличения гнездами заразы, и не передать больную часть больных в лазареты при войсках, на прямую ответственность их непосредственных начальников? Он так и поступил; эвакуировал госпитали; людей, наиболее пострадавших от болезней, велел выключить в отставку, а остальных передать в полковые лазареты. В госпиталях остались только одержимые чахоткой, водяною, камнем и сифилисом, да находившиеся на испытании в действительности падучей болезни. В двух госпиталях находилось больше 1000 больных; после эвакуации осталось очень не много, в одном из них всего 40 [13].

Одновременно с опорожнением госпиталей, он устраивал лазареты, околодки, слабосильные команды. Достойны внимания те подразделения больных, которые у него практиковались: больные, слабые, хворые и льготные (имеющие временную льготу от служебных обязанностей). Приказано, под угрозой строгого взыскания, в дальние госпитали *больных* не посылать: «дорогой они приходят в худшее состояние и вступают полумертвыми в смертоносный больничный воздух». Давать *слабым* льготу и помещать на пользование «в особой казарме или в крестьянских домах; соблюдать крайнюю чистоту; потному не садиться за кашу, не ложиться отдыхать, а прежде разгуляться и просохнуть. На лихорадку, понос и горячку — голод, на цингу — табак. Кто чистит желудок рвотным, слабительным, проносным, — тот день голод. Солдатское слабительное — ревень, корень коневьего щавеля тоже. Непрестанное движение на воздухе. Предосторожности по климату — капуста, хрен, табак, летние травки. Минералы, ингредиенции (аптечные лекарства) не по солдатскому воспитанию, на то ботанические средства в артелях» [14].

Из сказанного видно, что Суворов был, что называется *гигиенист*, т.е. шагнул далеко вперед сравнительно со своими современниками. Зная быт солдат, их понятия, симпатии и антипатии как свои пять пальцев, он не только не думал оспаривать их традиционную ненависть к госпиталям (не исчезнувшую и в наше время), но поддерживал ее, действуя таким образом совершенно в их духе, и с помощью его мер процент

болезненности и смертности в войсках понизился ощутительно. А между тем, эти самые меры послужили поводом к злоязычию в высшем петербургском обществе. Не хотели и не умели видеть в Суворове, кроме чудака, еще нечто другое; как его живое, осмысленное обучение Суздальского полка в Ладоге относили к категории причудливых выходок, так теперь в Финляндии здравые гигиенические меры огласили вредным фантазерством, которое подбито эгоистическими расчетами. Правда, убыль в войсках была все-таки велика. В один из моментов Суворовского 1 1/2-годового командования, в Финляндии считалось по штатам в войсках 44164 человека; из них не доставало до комплекта 9633, в отлучках и госпиталях было 4267, больных всех категорий состояло при полках 3408; здоровых находилось налицо 26856. Но надо взять в расчет местные условия и цифры прежнего времени, да кроме того принять в соображение усиленные работы в крепостях и на каналах; освещение тогда получится несколько другое [13].

Из числа опорных пунктов для нападок на Суворова, главный состоял в большом числе беглых. Но это было язвой всей русской армии того времени; особенно много теряли беглыми войска, расположенные в областях пограничных, так что в разных местах, за русскою границею, образовались целые колонии русских беглых солдат. К числу таких наиболее благоприятных для бегов районов, принадлежала и Финляндия. Она имела за собою еще одну особенность: служила ссылочным местом для порочных солдат. Русские войска в Финляндии постоянно получали на свое укомплектование множество так называемых *кригсрехтных* (осужденных по суду, за вины) и переведенных из гвардии за проступки. Немудрено поэтому, что в финляндских войсках было постоянно много беглых. Суворов писал, что беглых Шведов на нашей территории еще больше; конечно это не оправдание, но для нас оправдание собственно и не нужно, так как не может быть и обвинения, ибо корень зла лежал глубоко. Довольно того, что Суворов уменьшил размеры зла. При его предместнике, по одному только полку было беглых до 700 человек, а при нем в 10 месяцев бежало из всех войск меньше 300 [15].

Предместником Суворова в Финляндии был граф И. П. Салтыков, его начальник на Дунае в первую Турецкую войну. Граф Салтыков был во всех отношениях посредственностью, но человек родовитый и со связями, которые умел приобретать и сохранять угодливостью перед сильными мира. Защищая себя от нападок, Суворов поневоле приводил в свое оправдание беспорядки и неумелость Салтыковского командования, указывал цифры и не церемонился в выражениях. Представленную

Салтыковым ведомость он называл в официальном письме «бестолковою»; писал, что Салтыков доказал свое «недоумие» и тому подобное. Это только подливало масла в огонь; Салтыков и его благоприятели усиливали отпор и нападения; Суворов — без связей, без поддержки, да к тому же отсутствующий, тщетно возвышал свой голос; обвинения противу него не стихали. Наконец он обратился в военную коллегию со следующим посланием: «Военной коллегии известно, что я в Финляндии имел, через 10 месяцев, умерших более 400, бежавших свыше 200, а больных, слабых и хворых оставил свыше 300. Это определяет клевету, недоумие и лжесвидетельство. Хотя оное теперь оставляю, но впредь за такие плевелы буду утруждать коллегию о разбирательстве, поелику мне честь службы священна». Те же цифры, но в еще более сжатых выражениях, он сообщает Платону Зубову, говоря: «впрочем отвечают прежние начальники; довольно ли против клеветы, недоумия и молвы о ложном изнурении?» [16]. Приведение финляндской границы в оборонительное состояние было главным делом Суворова в 1791 и 1792 годах, «а которое преимущественно и употреблялись его войска. Образование их по необходимости было сдвинуто с первого плана, но отнюдь не пренебрежено, и всякое свободное время употреблялось на их обучение. В программу обучения входили и походные движения. На эту статью антагонисты Суворова нападали особенно, говоря, что он без всякой надобности гоняет людей, изморенных и без того работами. Суворов указывал на неосновательность обвинения примерами своих усиленных маршей со времени командования полком, приводя и цифры убыли во время этих походов, но все это было гласом вопиющего в пустыне. Боевое обучение войск производилось с разделением их на две стороны; маневрировали войска всюду, на любой местности. До той поры считалось за аксиому, что в Финляндии производить маневры по свойствам местности нельзя. Суворов с этим не соглашался и писал Хвостову: «оболгали мы здесь невозможность всеместных маневров». Не ограничиваясь одною механическою стороною дела, он, по своему обыкновению, старался заинтересовать солдат смыслом ученья, в чем и успевал. В письме его к Хвостову читаем, что маневр одному из полков, среди ротных квартир, был хорош и понравился всем; солдаты, расходясь по ротам, оборачивались и глядели на место только что происходившего примерного сражения. Достойно также внимания, что ощущая недостаток в генеральном штабе, Суворов брал молодых офицеров и назначал их в колонновожатые поочередно [17].

Таким образом уходило все время Суворова; изредка езжал он в Петербург на несколько дней, но и эти отлучки находил

неудобными. Вернувшись однажды, он нашел значительную прибыль больных. «Нашему брату с поста не отлучаться; держитесь сего, коли вздумаете донкишотить», писал он по этому поводу Турчанинову; «бегите праздности; коли нельзя играть в кегли, играйте в бабки». Следуя этому правилу, Суворов и играл в Финляндии «в бабки». возводя форты, проводя каналы. И эта скромная деятельность может статься удовлетворила бы его, если бы в то же самое время, в других местах, другие люди не играли «в кегли». Но они играли, и философские афоризмы Суворова оказывались для него самого, в применении, пустыми звуками [18].

Кампания 1791 года в Турции велась довольно деятельно, потому что Потемкин проживал в Петербурге, сдав войска во временное начальствование князя Репнина. Она ознаменовалась несколькими крупными делами: взятием штурмом Анапы, разбитием турецкого флота при Калакрии, победою князя Репнина при Мачине. Все это вместе взятое, особенно мачинская победа, где легло на месте свыше 4000 Турок, побудило наконец султана искать мира. Репнин вступил в переговоры, и по прошествии немногих дней были подписаны 31 июля предварительные условия мира. Победа Репнина сильно уязвила Потемкина, который хотел стоять на высоте одиноким и еще в прежнее время опасался возвышения Репнина, как потом Суворова. До сей поры никакие настояния Государыни не могли выжить его из Петербурга, теперь он поскакал сломя голову в армию. Он опоздал: предварительные условия мира были уже подписаны. Потемкин выходил из себя, осыпал Репнина бранью и настаивал на мирных условиях, более выгодных. Он был отчасти прав; из эгоистических ли расчетов или вследствие неверной оценки взаимного положения двух переговаривавшихся сторон, Репнин поторопился и, по словам Безбородко, много напортил. Потемкин перенес переговоры в Яссы, в надежде направить их на свой лад, но не успел довести их до конца. Болезнь его, которая уже ясно давала себя знать в Петербурге, усилилась; присланные Екатериной знаменитые врачи не помогали, тем более, что Потемкин и не слушался их, твердо надеясь на свою железную натуру. Но натура не выдержала под напором неумеренных требований и беспорядочного режима, Чувствуя приближение смерти, Потемкин выехал из Ясс в Николаев, но отъехав едва 40 верст, не мог продолжать путь и близ дороги, в степи, скончался [19].

Много было у него поклонников, льстецов, искателей и ласкателей или, по выражению Суворова, сателлитов, но друзей он по себе не оставил. Искренно оплакивала его одна Екатерина, да разве еще те, чьи интересы были связаны с его интересами. Он

оставил по себе громадное состояние из 76,000 душ крестьян, кроме другой недвижимости; бриллиантов насчитывалось на 1 1/2 миллиона рублей. Было немало и долгов; едучи последний раз из армии в Петербург, он накупил на 200,000 рублей, в долг, разных вещей для подарков знакомым дамам, да в какие-нибудь 5 месяцев прожил там до 850,000 р. В гражданском управлении вверенных ему губерний царил полный хаос, где не только поверки, но и простого счета трудно было добиться. В занятой войсками Молдавии опустошение превосходило всякую меру и беспорядок был ужасный; вся страна кляла свою участь и её виновника. Армия была обставлена в материальном отношении удовлетворительно, но сиятельные и превосходительные подрядчики страшно наживались. Названия полков и вооружение их были совсем не те, какие назначены штатами и постановлениями; армия была набита иностранцами и разными проходимцами, получившими штаб-офицерские чины по дамской протекции; понятие о заслуге почти перестало существовать. Солдаты были распущены до степени своеволия; офицеры утратили в глазах нижних чинов всякое значение, ибо Потемкин обыкновенно оправдывал во всем подчиненных и винил начальников. Тактическое образование войска упало. Тяжелая предстояла задача преемнику Потемкина [20].

Чтобы привести мирные переговоры как можно скорее к исходу, Государыня послала в Яссы графа Безбородко. Турки однако успели уже поднять голову и стали отступаться от прежних условий; но энергические и искусные действия Безбородко образумили их. В последних числах декабря 1791 г. мир был подписан. Очаков со своею территориею перешел во владение России; пограничною рекою сделался Днестр; все прочие завоевания Русских в Азии и Европе были возвращены Турции. Вмешательство соперничествовавших держав, в связи с предводительскою бездарностью Потемкина и австрийских главнокомандующих, далеко отодвинули действительные мирные условия от мечтательных химер греческого проекта. Для четырех кампаний и огромных понесенных жертв, приобретено было немного, так как Кубань и Крым перешли во владение России еще раньше. Но в такой же несоразмерности оказались и турецкие первоначальные цели войны с её результатами. Порта надеялась отвоевать завоеванное у ней прежде, а между тем поплатилась вновь целою провинциею. Поступательное движение России не было остановлено, и она сделала новый шаг по направлению своего исторического призвания.

С горячечным чувством следил за этими событиями Суворов. В нем кипела буря, и чтобы ее утишить, ему приходилось

прибегать к самообольщению, к отыскиванию тени на светлых местах, — ко всему тому, что обыкновенно диктует глубоко оскорбленное самолюбие. При получении известий о штурме Анапы Гудовичем и о мачинской победе Репнина, он просит у Хвостова уведомления «о 1 классе (Георгия) Репнину» и спрашивает: «вкупе с успехами Гудовича не навлекает ли мне то упадок?» Хвостов, одержимый страстью к стихотворству в размере, обратно пропорциональном дарованию, тем временем успел написать оду в честь Репнина и старается узнать, как на это смотрит ревнивый к славе других дядя. Суворов, еще не утративший самообладания, отвечает: «вправду не пошлете ли оду князю Н. В. Репнину, тем пииты утверждают в патриотстве; как думаете». Но потом досада берет мало-помалу свое, и тайные мысли начинают высказываться. По обыкновению пошли слухи про дутые цифры донесения; говорили, что Турок было не 100,000, а всего 15,000 (на самом деле было около 70,000), что визиря в сражении не было (что и действительно), что потеря Русских гораздо значительнее показанной в реляции. Суворов схватывает молву на лету и спрашивает у Хвостова разъяснения этих и других слухов: «такие и подобные интересуют; князю Репнину, как патриоту, желаю блага». В следующем письме являются опасения; Суворов боится, что если еще раз удастся побить визиря, то Потемкин генералиссимус, а чем далее он пойдет, тем хуже, Находясь в Петербурге, он, Потемкин, стоял на колеблющейся почве, а теперь Репнин дал ему новые силы, «так что лучше бы вовсе не было Мачина». Затем проглядывает желание — уменьшить заслугу Репнина: «при Мачине действовали рымникские и измаильские войска, но кавалерия была сбита за то, что стояла на воздухе... Софизм списочного старшинства; быть мне под его игом, быть кошкою каштанной обезьяны или совою в клетке; не лучше ли полное ничтожество?» Напоследок Суворов пишет эпиграмму, называя ее переводом с английского [21]:

> «Оставших теней всех предтекших пораженьев
> Пятнадцать тысяч вихрь под Мачин накопил:
> Герой ударил в них, в фагот свой возопил:
> Здесь сам визирь и с ниш сто тысяч привиденьев».

Впрочем в это время, т.е. при жизни Потемкина, Суворов еще не обнаруживал к Репнину жгучей неприязни, и в происшедшем между Потемкиным и Репниным столкновении по поводу заключенных с Турцией предварительных мирных условий, держал сторону Репнина. В неприязни Суворова к Потемкину

заключался для Репнина противувес, так как для первой существовало больше действительных причин; когда же Потемкин умер, ревнивое чувство Суворова перешло значительною долею на Репнина, а по отношению к покойному утратило свою едкость. На первых порах Суворов отдал Потемкину даже справедливость, по крайней мере относительно ума, сказав (что повторял и впоследствии): «великий человек и человек великий: велик умом, велик и ростом; не походил на того высокого французского посла в Лондоне, о котором канцлер Бакон сказал, что чердак обыкновенно худо меблируют». Позже всякое горькое чувство к Потемкину в Суворове пропало, и он старался вспоминать «одни его благодеяния». За то явились другие недруги: жизнь и натура взяли свое [22].

Вскоре после мира с Турцией, открылась война с Польшей. Было уже упомянуто раньше, что падение Польши назревало давно, что оно было намечено ходом истории как её собственной, так и соседних государств, и во второй половине XVII века исход зависел уже только от группировки внешних обстоятельств. Польша сделалась ареной борьбы иностранных государств за преобладание, и правящий класс сам разделился на соответствующие партии. В конце 1788 г. Пруссия, весьма неприязненная России, сделала в Варшаве искусный дипломатический ход и достигла полного успеха. Прусская партия усилилась, подняла голову; началась задирательная относительно России политика, оскорбления русского имени и чувства; созидались новые для России затруднения в её тогдашнем и без того затруднительном положении. Издавна русские войска ходили по Польше во всех направлениях, учреждали магазины, оставались в ней. С началом второй Турецкой войны, по предварительном сношении Русского правительства с Польским, они прошли ближайшим путем чрез южные польские земли в турецкие пределы. В Польше стали говорить, кричать и писать, в смысле протеста, что она независимая, самостоятельная держава. С наружным равнодушием Екатерина велела очистить войскам Польшу и вывезти оттуда магазины. Но этим дело не кончилось; подозрительность Поляков, при наущениях Пруссии и неразумной ревности господствовавшей партии, дошла до апогея: снова поднялись гонения на диссидентов, притеснения их, наказания, даже казни. Екатерина терпела и это, выжидая лучшего времени.

Поляки как будто не видели, что Польша была самостоятельна и независима только благодаря соперничеству своих соседей, и что она не могла выдержать напора любого из

них, если другие ему не помешают. Польша не хотела понять, что обращаться таким образом ей, слабому государству, с Россией, государством сильным, значило наносить оскорбление, которое не прощается. Однако это было очевидно всякому; даже отдаленный от европейского востока Французский двор предостерегал Польское правительство и советовал ему быть осторожнее с соседями, особенно с Россией. Но ослепление господствовавшей партии было слишком велико. Она действовала конечно не без исторической основы, припоминая грабительство русских войск в конфедератскую войну, дерзкие поступки некоторых русских начальников, бесцеремонное пребывание в Польше русских войск, заносчивость русских посланников в роде князя Репнина, наконец раздел части польских земель, который русофобы всецело приписывали России. Но все это вместе с тем доказывало наглядно, что такое есть независимость и самостоятельность Польши, которыми так кичились.

Нашлись однако люди, которые смутно сознавали одну сторону этой истины и пришли к заключению, что для возрождения Польши требуется, прежде всего, изменение многих основных положений её государственного устава. Проектировали новую конституцию, куда не вошли анархические принципы в роде единогласия решений, права конфедераций, избирательного престолонаследия. Но было уже поздно; требовалось не одно внешнее улучшение уставов, а также внутреннее перевоспитание людей, из понятий которых уставы вырастают. И точно, новая конституция 3 мая 1791 года оказалась созданием искусственным, так как для её проведения потребовался ряд самых неразборчивых мер, и недовольные составили спустя некоторое время конфедерацию. Кроме того она явилась средством запоздалым, потому что еще в 1773 году, иностранные посланники нотою к сейму выразили волю своих правительств, чтобы характер польской конституции оставался неизменным, сохраняя избирательное престолонаследие, liberum veto и проч. Правда, Пруссия интриговала теперь против России, и прежнее единодушие соседних правительств уже не существовало, но это благоприятное для Польши обстоятельство скоро исчезло. Развивающаяся французская революция представлялась настолько страшною монархическим правительствам, что в состоянии была соединить разъединенных. угрожая принципу первостепенной важности, пред которым другие интересы казались мелкими. Между Пруссией и Австрией состоялся в начале 1792 года тесный союз, направленный преимущественно против Франции, а летом в том же году, с каждою из этих держав в отдельности Россия заключила оборонительный договор,

которым между прочим обоюдно гарантировалась целость владений, особенно приобретений по первому разделу Польши.

Тем временем, в начале 1792 года, состоялся Ясский мир с Турцией; Россия сделалась свободной для сведения счетов с Польшей. Поляки стали думать о мерах к обороне; в апреле решено расширить королевскую власть, сделать заграничный заем и проч. Но было уже поздно, и через месяц Россия начала военные действия. Обратились к Австрии и Пруссии; обе они отказали в помощи и советовали восстановить прежнюю конституцию. Тогда только Поляки убедились, что должны рассчитывать единственно на самих себя и что Пруссия заигрывала с Польшей, как кошка с мышью.

После усилий многих лет, Польше удалось сформировать к этому времени регулярную армию, силою в 50 — 60000 человек. Русская Императрица, чтобы покончить дело как можно скорее, решилась двинуть 100000-ные силы. Большая часть этих войск, приблизительно две трети, должна была под начальством генерала Каховского наступать с юга, остальные под командой генерала Кречетникова действовать с севера и востока. Противники господствовавшей в Польше партии примкнули к России и в м. Тарговицах образовали конфедерацию.

Силы были слишком неравны, а Поляки вдобавок еще растянули свою оборонительную линию. Она была вскоре прорвана и Каховским, и Кречетниковым. Поляки дрались храбро; местами успех доставался Русским дорого, но результат все-таки не подлежал сомнению. Русские с двух сторон подошли к Варшаве на несколько миль. Король, согласно с большинством своих советников, отказался от дальнейшей борьбы и со всею армиею присоединился к тарговицкой конфедерации. Военные действия прекратились; господствующая партия сменилась другою.

Суворов во все это время был истинно-несчастным человеком. Одна война окончилась без него; другая подготовлялась, велась и завершилась — также без него, а между тем оба театра войны он знал близко и заслужил на них блестящее боевое имя. Оставалось успокоиться на мысли, что сам он желал назначения в Финляндию; но для людей Суворовского склада это обстоятельство приносило не утешение, а удваивало муку. Суворов рвался как лев из клетки, подозревая всех в зложелательстве, в интригах, в подвохах. «Постыдно мне там не быть», пояснял он Хвостову, а Турчанинову писал, что не может «сидеть у платья». Стараясь выследить интригу, которая удерживала его в Финляндии, он пишет Хвостову: «Валериан (Зубов, младший брат фаворита) за столом наклонил: Суворов

один, в Финляндии необходим; закулисный там лучше короля». Когда назначение генералов в Польшу еще не состоялось, он надеялся, что вспомнят его, по опасался соперничества Репнина, недавнего победителя при Мачине, который был к тому же старше. Опасения Суворова имели основание, потому что Репнин был человек родовитый, способный, с заслугами и связями. Как военный, он конечно не мог идти в сравнение с Суворовым, отличался медленностью, нерешительностью и методическою осмотрительностью; при Мачине однако поборол в себе эти качества и действовал быстро, с энергией. Оттого ли это произошло, что он торопился сделать что-нибудь крупное, до возвращения к армии Потемкина, или по другой причине, но только мачинская победа выдвинула его и возвысила его военную репутацию. Однако не попали в Польшу ни Репнин, ни Суворов [28].

С самого начала приготовлений в польскому походу, Хвостов сообщает Суворову разные слухи и предположения. «О Польше ничего нет; если что будет, то ни Репнин, ни И. Салтыков; ближе всех вы». В другом письме: «кн. Репнин нуль; к Польше — Кречетников и Каховский; разве нужда потребует, то вы или кто другой, но не Репнин».

Против этих слов Суворов кладет заметку; «*кто же меня двуличит?*» Затем Хвостов сообщает цепь известий, слухов и сплетен по мере развития дела: недовольны тем-то за то-то. «порасчесали» такого-то, Репнин уехал, «чтобы не быть пустым»; гр. П. Салтыков «на даче скрылся»; Гудович назначен туда-то, Герман приехал за тем-то; Кречетниковым недовольны, зачем первый ввязался в стычку; Каховскому очень не хорошо, «и близко схватиться за иного»; курьер его «принят весьма не благоугодно; сказано: — ты запылился, сходи в баню, — ничего больше». Летал Хвостов и в Царское Село разузнавать и разведывать; описывает, кого видел, где, кто и что сказал. Наткнулся на Турчанинова, тот спрашивает: «ты что, сударик мой?» — Я о Каховском. — «Ничего не знаю; граф будь спокоен». Здесь опять положена заметка Суворова: «Эльмпт». Так он, руководясь оскорбленным самолюбием, умел выискивать себе соперников [21].

Переписка велась деятельно; Суворов этого требовал, а Хвостов беспрекословно исполнял. Он сообщал все, что слышал, и тем только распалял недовольство Суворова. Однажды он написал, что князь Репнин его, Суворова, хвалил. Суворов по этому случаю отвечает: «в трудах и сокращающейся жизни оставь меня в покое, о фагот, воспитанный при дворе и министре и оттого приобретенными качествами препобеждающий грубого солдата. Не довольно ли ты уже меня унизил, и не от тебя ли, моего кровавого банкета десерт Каховскому? Ты меня якобы

хвалишь; твой лай нестолько мне вреден; под сею благовидностью плевелы скрыты и под розами терны». А между тем эта, столь желаемая экспедиция в Польшу, по словам того же Суворова, но в другом письме, гроша не стоила; «мудренее мне было привести Ногайцев к присяге, нежели занятие областей польских >. И был он совершенно искренен в обоих письмах, только смотрел на один и тот же предмет при различном освещении [5].

Существовали резоны, но которым Суворова не приходилось посылать из Финляндии на польскую войну. Во-первых. разделаться с Поляками считалось делом немудреным. что и сбылось. Во вторых, в марте 1792 года король Шведский Густав, смертельно раненый на маскараде одним шведским офицером, умер, а регент, герцог Зюдерманландский, был соседом ненадежным, особенно вследствие доброго его расположения к Франции. В Финляндии требовалось усиленно продолжать оборонительные работы и держать наготове искусного и опытного генерала. Хвостов так и писал Суворову: «по могущим случиться в Швеции переменам, надеются на вас, как на стену». Но Суворов не давал этому резону большой цены; тут, на севере, только предполагалась возможность войны, а на западе она уже была решена; наконец, в случае надобности, его могли сюда из Польши во всякое время вызвать. Но крайней мере, несмотря на шведские обстоятельства, он настойчиво, косвенными путями, напрашивался в Польшу. «Пора меня употребить, — писал он Хвостову: — я не спрашиваю ни выгод, ни малейших награждениев, — полно с меня, — но отправления службы... Сомнений я не заслужил... Разве мне оставить службу, чтобы избежать разных постыдностей и отойти с честью без всяких буйных требований». Однако назначения в Польшу не последовало, и «буйные требования» дошли до того, что Суворов обратился чрез Турчанинова к самой Императрице. Государыня поручила Турчанинову отвечать, что польские дела не стоят Суворова, что «употребление его требует важнейших предметов», и вероятно для полнейшего успокоения просителя, написала записку, которую и велела к нему отослать. Записка была короткая: «Польские дела не требуют графа Суворова: Поляки уже просят перемирия, дабы уложить, как впредь быть. *Екатерина*» [23].

Суворов угомонился однако не сразу; он собирался в это самое время подать в отставку или проситься в иностранную службу, и спрашивал у Хвостова, как именно поступить для получения желаемого. Хвостов убеждает его бросить эти мысли: «к крайности не приступайте; зачем напитывать абшидом ваших злодеев?... Турчанинов говорит, что на иностранную службу не

пойдут никак, а абшид не почли бы угрозой». Надо было волей-неволей последовать благоразумному совету и успокоиться хоть на том, что военные действия в Польше закончились [21].

Таким образом два предлога быть недовольным своим положением, турецкая и польская войны, миновали, но оставался еще третий, почти неосязаемый, но самый заманчивый, — возможность участия в войне с Францией.

Французская революция росла быстро, и революционные идеи проникали больше и больше в европейские общества. Это заботило сильно правительства, и слухи о вооруженном противодействии Французам стали носиться гораздо раньше, чем возможность самого противодействия назрела. Хотя Австрия и Пруссия заключили между собою союз, но от этого первого шага до действительной войны было еще далеко. Ускорила войну сама Франция, которая в апреле 1792 года сделала вызов Австрии. К австро-прусскому союзу присоединились почти все владетельные государи Германской империи, также короли Сардинский и Неаполитанский, и в средине года союзные войска стали сосредоточиваться на границах Франции.

Союзники нисколько не сомневались в полном и легком успехе и готовились на военную прогулку в Париж, особенно гордые своею недавнею славою Пруссаки. Так думали военные люди того времени, вместе с ними и Суворов, который прямо говорил, что Французов нельзя равнять с Пруссаками. Такое всеобщее мнение основывалось на дурной репутации, приобретенной Французами в Семилетнюю войну, тогда как Пруссаки заслужили напротив всеобщее удивление и уважение. Суворов пред Пруссаками не преклонялся и если отдавал им предпочтение перед Французами, то вовсе не из-за достоинств первых, а из-за недостатков последних. Перед началом революционных войн ни Суворов, ни вообще военные люди не могли еще знать, что прежняя параллель между Французами и Пруссаками не удержится, и что на полях сражений, вместе с беспорядочными толпами Французов, суждено появиться новой боевой системе.

Кроме самомнения и кичливости относительно Французов, союзники имели и другие слабые стороны: несогласие в самом образе действий; мертво-рутинное (за редкими исключениями) предводительство, застывшее на Фридриховских формах без усвоения Фридрихова духа; извращенное понятие о тогдашней Франции и Французах, заимствованное на веру от эмигрантов. Оттого успехи союзных войск были не продолжительны, и после дела при Вальми, главная армия, начальствуемая фельдмаршалом герцогом Брауншвейгским, проникшая было

довольно далеко внутрь Франции, начала отступательное движение. В начале октября войска перешли обратно границу, изможденные голодом, болезнями, изнуренные трудами, униженные нравственно. Не лучшим успехом отличались действия союзников и на других театрах войны.

В России, как и в других государствах, молва о предполагаемой войне с Французской республикой носилась еще перед польской войной и становилась все настойчивее. В июне Хвостов пишет Суворову, что по слухам против Французов назначается князь Репнин с 40000, советует не дремать и кончать все работы к осени. Сообщая в следующих письмах о разных разностях и новостях, Хвостов уведомляет, что слышал, будто война с Францией решена, и за Репниным послан курьер. «Вздор», уверял его Турчанинов: «ради Бога, не пишите к графу, попусту вы его беспокоите». «Лучше понапрасну обеспокоить, нежели прозевать», отвечал ему одержимый усердием Хвостов: «граф спокоен, но не употреблен». Турчанинов заключил беседу словами: «его отсюда не возьмут». Суворов кладет против этого места отметку: «*в гарнизоне кассирован*». Легко понять, как его взбудоражила неразборчивая болтовня Хвостова, сколько она ему крови перепортила и скольких бессонных ночей стоила. Он долго крепился, наконец не выдержал. написал графу Безбородко письмо: «вы министр; настоит дело с Францией; число войск — влажный (пустой) предлог; победительным оружием ни сражался с 500, с 5000 против десятичисленных». Неизвестно, был ли ответ; если и был, то уклончивый. Затем, после многих тревожных известий в продолжение лета, Хвостов пишет осенью Курису, одному из приближенных Суворова: «Пруссаки много напроказили отступлением, и неминуемо до русских стариков дойдет дело, если совсем не изгадят, помиряся... Надо графу действовать: усердие к Императрице, охота к службе, климат вредный здоровью». В этом месте заметка Суворова: «*верхнее хорошо, всегда и везде видно, а сие есть прихвостие*». На этот раз совет Хвостова остался без исполнения, ибо вереница предшествовавших ложных слухов и пустых тревог сделала Суворова менее восприимчивым, да и время года было позднее для военных предприятий [21].

Но прежде, чем этот результат был достигнут, много вынес Суворов душевной муки. Недовольство его настоящим не держалось на одном уровне, а увеличивалось, уменьшалось, видоизменялось, смотря по напору обстоятельств и по внушению темперамента, «Баталия мне лучше, чем лопата извести и пирамида кирпича», пишет он Хвостову: «мне лучше 2-3,000 человек в поле, чем 20-30,000 в гарнизоне». Турчанинов

указывает ему на ту выгодную сторону, что жизнь его по крайней мере покойна; Суворов возражает: «я не могу оставить 50-летнюю навычку к беспокойной жизни и моих солдатских приобретенных талантов;... я привык быть действующим непрестанно, тем и питается мой дух... Пред сим в реляциях видел я себя; ныне же их слушать стыдно, кроме патриотства... О мне нигде ни слова, как о погребенном. Пятьдесят лет практики обратили меня в класс захребетников; стерли меня клевреты, ведая, что я всех старее службою и возрастом, но не предками и не камердинерством у равных. Я жгу известь и обжигаю кирпичи, чем ярыги со стоглавою скотиной (публикой) меня в Петербурге освистывают... Царь жалует, псарь не жалует... Страдал я при концах войны: Прусской — проиграл старшинство, Польша — бег шпицрутенный, прежней Турецкой — ссылка с гонорами, Крым и Кубань — проскрипция... Сего 23 октября (1792 г.) я 50 лет в службе; тогда не лучше ли кончить мне непорочный карьер? Бежать от мира в какую деревню, готовить душу на переселение... Чужая служба, абшид, смерть — все равно, только не захребетник» [10].

«Стремись, душа моя, в восторге к небесам,
Иль препобеждай от козней стыд и срам».

Непризнанный и неоцененный по достоинству измаильский подвиг продолжает быть больным местом Суворова. В марте 1792 года к нему последовал рескрипт Государыни, где между прочим сказано, что болезнь Потемкина помешала исполнить высочайшее повеление о награждении измаильских героев, а потому Суворову повелевается сделать дополнительное представление. В апреле того же года он получил одобрительные листы для отличившихся при штурме. Это конечно не могло залечить его душевную рану; он все ждал себе хоть генерал-адъютантства, которое даже Потемкин находил возможным ему дать. Суворов желал получить это звание для того, чтобы иметь свободный вход к Государыне; но Екатерина смотрела на предмет другими глазами, и от генерал-адъютанта требовала качеств, которых Суворов не имел. Когда в конце 1791 года Суворов, приезжавший на время в Петербург, откланивался Екатерине вместе с князем Прозоровским, то она была очень довольна их отъездом и сказала одному из статс-секретарей: «они там у себя больше на месте». Суворов этого вероятно не знал и весьма естественно, что ошибался в своей годности к генерал-адъютантской службе, но был совершенно прав с другой стороны, считая измаильский штурм оцененным не по достоинству. Он пишет, что если бы

выпустил Турок из крепости на капитуляцию, то показалось бы мало, а рискуя на штурм, ставил на карту и жизнь свою, и репутацию. Он признает за собою еще ту заслугу, что диспозиция измаильского штурма послужила Гудовичу моделью для удачного штурма Анапы (что действительно справедливо). Но толкуя об Измаиле и Гудовиче, он не может не задеть Мачин и Репнина и говорит, что как жабе далеко до быка, так Мачину до Рымника [24].

Однако этот «измаильский стыд», как Суворов называет свое тяжелое чувство, и другие душевные тревоги действовали не непрерывно и освобождали его по временам от своего гнета на столько, что он находил свое положение в Финляндии не только сносным, но даже хорошим. В такие моменты он заботится, чтобы временную командировку превратить в оседлость, в командование Финляндской дивизией: «я от нее могу откомандирован быть всюду, но в ней мне будет пристань». Кроме «пристани», откапывались на этот случай и другие выгодные стороны, например практика в инженерном деле; говорилось, что он предпочитает быть первым в последней деревне, чем вторым в городе. А так как подобные переходы от пессимизма к оптимизму были резки и неожиданны, и сам Суворов это чувствовал, то чтобы не дать Хвостову изумляться и делать большие глаза, он сердито поясняет; «не развешивайте уши, я гарнизонный на досуге, но жертвую и во сне марсову полю» [10].

Пребывая в Финляндии в качестве полуопального, Суворов разумеется не церемонится в своих отзывах на счет лиц, ему неприязненных, или казавшихся ему такими, а иногда и о приязненных, но почему-либо ему не угодивших. Один «добр в софизме и сцептик, — мало догмы»; другой «достоин од, а паче эпиграммы»; третий «продаст дешево первому купцу»; Турчанинов «от Пилата к Ироду, от Ирода к Пилату, сам руки умыл, подлинно ему недосуг»; Безбородко «изобилует в двуличии», и т. д. Отзывы эти конечно часто изменяются, смотря по освещению и по направлению обстоятельств, и худые внезапно делаются хорошими. В один из таких моментов, Суворов хвалит своего недруга, графа Н. Салтыкова, говоря, что готов подкреплять его своею кровью. Наиболее постоянен Суворов в своих суждениях о Репнине; неприязнь его к этому человеку доходит до ненависти. Он приказывает беречься Репнина больше всех других и быть на бессменном карауле, потому что ему ни почем «по ипокритской снеси заключать трактаты и разрывать трактаты, травить одного другим; хваля, порицать; он лжив, низок, внутренно горд и мстителен». Если бы верить всему, что пишет Суворов о Репнине, то пришлось бы признать последнего за исчадие своего века. Но Суворов сам же и разубеждает в противном. В одном месте он

поясняет Хвостову, что нападает на Репнина потому, что «привык обращать оборону в атаку»; в другом признается, что пуще всего досаждает ему в Репнине гордость; в третьем, после жестоких против Репнина выходок, читаем: «Репнин, слышу, болен; жалею, что о нем выше строго судил. Персонально я ему усерден. Не ему ли губернии (Потемкина)? По сему званию им были бы довольны, и он их поправить может». Забывались таким образом и «гугнивый фагот», и «чорту свечка», и обещание дать «солдатского туза», а просвечивало чувство если не раскаяния, то сожаления о своей излишней раздражительности. Князь Репнин был одним из выдающихся людей Екатерининского времени, обладал замечательными административными и дипломатическими дарованиями, образованием, умственным развитием и многими хорошими личными качествами. Он не удовлетворялся нравственной и умственной средой русского общества той эпохи, пытался раздвинуть свой кругозор, ездил за границу, был некоторое время масоном и последователем Сен-Мартена, автора мистической книги «Des erreurs et de la verite», за что Екатерина его, Репнина, недолюбливала. Он занимал видное место и в придворной сфере, имевшей тогда большое развитие и значение, и был в ней как дома, В военном отношении он тоже выходил из ряда дюжинных генералов, что и доказал при разных случаях, особенно под Мачином, хотя крупными военными качествами не отличался. Но при своих многочисленных и неоспоримых достоинствах, он не был чужд и больших недостатков, к которым следует отнести властительно-деспотические замашки, вспыльчивость до степени ярости, гордость, надменность. В обращении его просвечивала спесь родовитого человека, трактование других свысока. Барская закваска проглядывала и в складе понятий Репнина он например недоумевал, из-за чего так заботятся о польских диссидентах, когда между ними нет дворян. В военном отношении, он тоже был генералом без всякой солдатской подкладки, и отличался поклонением омертвелым формам Фридриховой тактики.

Таким образом Суворов был почти антиподом Репнина. Не отрицая в нем достоинств, он говорил, что Репнин мечтает быть первым министром, как он, Суворов, первым солдатом, и признавал за ним право на такое возвышение. Он не мог переварить Репнина только на военном поприще, где тот представлялся ему соперником, благодаря своему старшинству, мачинской победе, значению при дворе, обладанию известными качествами, которых солдат Суворов не имел. И прежде Репнин был старше Суворова, но последнего это не беспокоило, так как расстояние между ними было слишком велико, во вторую же

Турецкую войну, победы настолько выдвинули Суворова вперед, что расстояние это уничтожилось и явилась возможность соперничества. Эта возможность сделалась для Суворова острою болезнью, в чем однако же виноват не он один. Репнин не видел в Суворове того, что сделало его знаменитым историческим лицом; он не мог отрешиться от своего горделивого, несколько покровительственного и снисходительного тона в сношениях с этим причудливым солдатом-генералом. А именно эта манера и в состоянии была глубоко задевать Суворова, больше всякой грубости. Мало того. с высоты модных, авторитетных прусских воззрений на тактику, Репнин дозволял себе насмешливые отзывы на счет Суворовского способа ведения войны, называя его *натурализмом*. Суворов отвечал по своему обыкновению злыми сарказмами; вместе с тем в нем росла неприязнь к менее даровитому, но лучше обставленному сопернику, развивалась зависть. Ему это указывали, он сам понимал свое дурное чувство и не отрицал его. «Зависть! Да, 50 лет в службе, 35 лет в непрерывном употреблении, ныне рак на мели». В другом письме он объясняет Хвостову, что принц Кобургский лучше его, Суворова, награжден. однако он к нему зависти не чувствует [21].

Некому было успокоить, разубедить этого огневого человека, отдавшегося так безраздельно своему призванию; некому было вносить мир и тишину в его слишком впечатлительную душу. Пытался делать это Турчанинов, но не ради его, а ради самого себя, чтобы избавиться от докуки и назойливых спросов, причем иногда требовалось если не прямо невозможное, то неудобное, могущее компрометировать. А Турчанинов подобных шагов очень остерегался. Он был крещеный еврей, с молода получил довольно сносное образование, преимущественно внешнее, вышел в люди, состоял в числе Потемкинских клевретов и был его секретарем; держался за своего патрона крепко и поднялся в статс-секретари. Суворов знавал его чуть не с малолетства и был о нем вообще хорошего мнения, но в дурной час ставил ему и укор, что он «пускает плащ по ветру», иначе говоря, служит разным господам, по указанию обстоятельств. Впрочем, по смерти Потемкина, Суворов мог доверяться ему безопаснее, чем прежде, и было бы несправедливо обвинять Турчанинова в систематическом двоедушии, лицемерии, тем менее в вероломстве. Он только был осторожен и себе на уме. и если не мог считать свою хату с краю, то старался придерживаться старой истины, что своя рубашка ближе к телу. Он неоднократно пытался успокаивать Суворова, называл себя его сыном, уговаривал его «не верить здешним брехням, не прибегать вместо самых легчайший средств к крайним, действовать с кротостью и терпением, не выставляясь»,

и многое другое.

Благоразумные советы Турчанинова производили некоторое действие, но не надолго, так как поводы к беспокойству и тревоге сменялись беспрестанно новыми и, при Суворовском темпераменте, росли, как грибы под летним дождем. Если бы и Хвостов действовал в духе успокоительном, то вероятно результат был бы более полный, но Хвостов, из боязни не угодить, исполнял требования Суворова буквально; передавал ему без проверки всякие сплетни и летучие слухи и, вместо успокоения своего дяди, невольно поддерживал и увеличивал его раздражительность. Своим чрезмерным усердием к дяде и назойливостью, Хвостов скоро надоел многим, особенно Турчанинову, который и назвал его как-то «шпионом Суворова». Сообщая об этом своему дяде, Хвостов говорит: «я на брань не смотрю; воспламенен предметом дела, иду своей дорогой». Заслужив несколько позже жестокие от Суворова укоризны по делу, о котором будет сказано дальне. Хвостов очень обиделся, но продолжал ему служить, говоря: «Излияние пылкостей чувств ваших мне всегда сносно; ваши приказания мне святы; не смею даже и помыслить и не буду сметь вас от себя избавить... Я виноват, но я годен, не лишите меня милости и доверенности вашей, она мне жизнь», Как же было Суворову не дорожить таким преданным человеком и не доверять ему [25]?

Хвостов не отличался ни обширным умом, ни какими-либо дарованиями, но был человеком добрым и хорошим, в банальном смысле. Сделавшись свойственником Суворова чрез брак с его племянницей, княжной Аграфеной Ивановной Горчаковой, и проживая в Петербурге, он постарался заслужить доверие дяди, войти к нему в милость, сделаться нужным ему человеком, чего и достиг вполне. Пристроившись к Суворову, он однако очень мало от этого выиграл в первые годы, но потом довольно успешно стал подвигаться вперед, дослужился до звания обер-прокурора святейшего синода и получил графское достоинство от Сардинского короля. В описываемое время, Хвостов был не более, как армейский подполковник, и вся его надежда на служебное возвышение основывалась на дяде. Надежда в конце-концов не обманула, потому что на боевом поле Суворов был одним человеком, а в остальных условиях жизни совсем другим, легко подчинялся чужой воле, известным образом замаскированной, и становился игралищем в умелых руках, особенно по делам денежным. Он сам это очень хорошо понимал, неоднократно говаривал и так писал Хвостову: «обманет меня всякий в своем интересе; надобна ему моя последняя рубашка, — ему ее дам, останусь нагой; чрез то я еще не мал». Временами, вследствие

своего темперамента или, как он сам выражался, «по своему быстронравию», Суворов восстановлял свой авторитет, прибегая к довольно резким приемам, но скоро опять все входило в прежнюю колею, и доверенные лица снова распоряжались по своему усмотрению его делами, придерживаясь только выработанных опытом способов действия [5].

Хвостов часто давал Суворову советы, и он их большею частию слушался. Советы эти касались не только домашних дел. но и службы Суворова, т.е. его отношений к лицам; по указаниям Хвостова, Суворов писал письма, выбирал время для просьб и ходатайств, ездил в Петербург и проч. Мало того,. посылая к кому-нибудь письмо чрез Хвостова, Суворов зачастую просит его вручить письмо, если он, Хвостов, «находит это полезным»; или же уполномочивает его «письма, кои не кстати, назад возвращать, с примечанием, как переписать»; или прямо говорит: «а вы руководствуйте судьбою моею, как я за Валдаями». Бывают и исключения; к советам племянника он относится иногда насмешливо, скептически, или поддается на них туго, после споров и рассуждений; но это случается довольно редко. Так, при совете Хвостова — написать письмо Платону Зубову, Суворов не выражает на то желания, говоря, что в крайности не писывал и другу своему Григорию Григорьевичу Орлову, а Потемкин служит исключением вследствие особенных обстоятельств и так как он, Суворов, «часто нужен был ему в виде Леонида». Письмо однако было в результате написано и послано, но когда Хвостов известил, что передал его по принадлежности, то Суворов, придерживаясь своего взгляда, заметил, что лучше было бы этого не делать.

Принимая от Хвостова советы и указания, Суворов в свою очередь снабжал его наставлениями и в исполнении их был очень требователен. Он желал «знать худое, а не хорошее, ибо приятное обличается само собой. неприятное же поспешно объяснять для мероприятиев; лучше предостережение, чем утешение; ожидать от времени, тож что давать голову в петлю; уласкание опрокидывать, лучше терпеть грубое; различать доброхота с лисьей или овечьей кожей от добротворца; различать всегда *solide* от *propos de table*; стеречься примолчки, она разведывает; не окончивши одной материи, другой не начинать, не отвечать на дуб кедром, на розу лилией» и т. под. В особенности не терпел он в письмах Хвостова неопределительности; слова *слышно*, *говорят*, — преследовались; требовалось знать, *от кого* слышно, *кто* говорит; если что узнал на улице, на площади, — все-таки пиши, от кого узнал. Вообще служба Хвостова Суворову была нелегка, и хотя племянник несомненно питал к дяде привязанность, но нет сомнения, что

привязанность подкреплялась и соображениями в смысле чаяний будущих благ. Он может быть не всегда умел быть дяде полезным, но наверное всегда этого хотел, ибо радея ему, радел чрез это и себе. И Суворов дорожил им, даже больше, чем Хвостов в действительности стоил. Оттого Суворов несколько встревожился, получив от Хвостова письмо, что он по каким-то соображениям думает выйти в отставку. Мысль эта была внушена Хвостову женою; с ними проживали в то время дочь Суворова и сестра его (Олешева), которая при Наташе состояла. Суворов написал племяннику, что он задумал непутное дело, представил ему невеселую картину его отставного житья в Петербурге ли, в Москве ли, и советовал руководиться своим собственным рассудком. «Груша, не дури, у тебя волосы долги», говорит он в конце: «сестрица, высеки ее до новых веников» [21].

Не один Хвостов пристраивался к Суворову и ожидал от него всяких благ: искали протекции и другие родственники, и посторонние. Положение и репутация Суворова давали ему порядочный вес, и он не прочь был помогать чем мог, как собственной своей властью, так и предстательством у других. В числе просителей встречается и Марья Савишна Перекусихина, любимая камер-юнгфера Государыни, которая пристраивала в то время своего родственника. Но ходатайства иногда бывали так неумеренны и несвоевременны, что выводили Суворова из терпения. Хвостов, подбиваемый женою, изъявляет неудовольствие, что отстает по службе от других; Суворов ему отвечает: «стерегитесь от беса полуденного (жены), ждите удобнейшего времени, я сам на черте пучины». Зять, князь Горчаков, просит за своего сына Алексея, о котором Суворов писал уже графу Н. Салтыкову, но не получил ответа. Суворов сердится; отказывается просить вторично (с Н. Салтыковым он был не в ладу), издевается над «сложно-перебойным» языком письма, противупоставляет ему свой «адамовский» и заодно зацепляет князя Алексея; «как в превратном свете внучка розгою заставляет бабушку прясть, так в письме его отца, в полном блистании Алексей-князь». Граф Безбородко изъявляет неудовольствие, что Суворов недостаточно внимателен к некоторым его родственникам; Суворов опять сердится и пишет Хвостову: «мне всех быков, козлов и лисок не употчевать». Приближенные к нему лица также жаждут разных наград и благостынь, не скупясь конечно в оценке собственных заслуг, и в сентябре 1792 года один из них пишет: «конец пограничным постройкам; все проиграли, только Прохор (камердинер Суворова), или и того лучше, супруга его в выигрыше» [5].

К числу причин, раздражавших Суворова и поддерживавших в

нем ненормальное внутреннее состояние, следует отнести также один случай, много испортивший ему крови. В переписке с Хвостовым, он был очень не сдержан в своих отзывах и суждениях о людях, почему и просил Хвостова все такие письма жечь. Но Хвостов этого не исполнил, по крайней мере относительно большой части получаемых посланий, которые и дошли до нашего времени. Хвостов считал себя поэтом, т.е. страдал болезненным позывом к кропанию виршей; эта страсть развивалась в нем прогрессивно; ни равнодушие, ни насмешки читателей и критиков не производили на него отрезвляющего впечатления. В позднейшее время он сделался посмешищем, почти нарицательным именем бесталанного стихоплета, и так как его сочинения лежали в книжных лавках без сбыта, то он сам покупал их, где его лично не знали, или поручал делать это близким людям. только бы показать, что книги его в спросе. Эта неудержимая страсть заставила его в описываемое время сделать неосторожный поступок. Суворов написал ему письмо, с едкими выходками в прозе и стихах против своих недоброжелателей и завистников, действительным и мнимых, и приложил листы с подобным же писанием. Хвостов, накропавший в то время также стихи, относившиеся к Суворову и начинавшиеся словами: «почто почил наш Геркулес», не утерпел, показал и свои стихи, и Суворовские подполковнику Корицкому, человеку близкому. Корицкий в свою очередь стал показывать под секретом другим, и злые сарказмы Суворова облетели большой круг людей, побывали у Державина, у Турчанинова и иных, и попали даже в руки Платона Зубова. Суворов узнал про это случайно, от одного из своих подчиненных, приехавшего из Петербурга, и сильнейшим образом рассердился. Досталось тут всем: Корицкому за его «леноумие»; Турчанинову за то, что он поступил «не как сын, а недружный пасынок»; но пуще всех Хвостову, как главному виновнику. Не пощадил Суворов своего преданного и усердного племянника, имевшего на своем попечении его дочь; слова: «мошенник, предатель, глупая нянька» показывают степень его гнева. Хвостов был оскорблен, чуть не уничтожен непомерною горячностью дяди, и первое время совсем потерялся, но придя в себя, прибегнул к наилучшему средству для своего оправдания, а именно к откровенному изложению всего дела. Суворов, обезоруженный чистосердечием Хвостова, его непритворною печалью, кротостью и непоколебимою преданностью, пришел в себя и стих; между ним и добряком племянником установились прежние отношения, переписка поэтому делу однако продолжалась. Суворов требовал, чтобы Хвостов открыл «побочную интригу» лиц, которые распространили и довели так

далеко письмо с его, Суворова, «солдатским лаем»; чтобы были «обращены в метеор глупозлобные клевреты»; чтобы Хвостов «оглупотворил их». Он говорил, что не успокоится до тех пор, пока не будут добыты эти злосчастные бумаги и сожжены вместе с другими, однородными письмами. Хвостов постарался исполнить справедливое требование дяди, уверил его, что письмо добыто, что листов, к письму приложенных, посторонние лица не видали, что все из переписки Суворова, могущее его компрометировать, истреблено. На том дело и покончилось [21].

В заключение, для полноты представления о Суворове за время его пребывания в Финляндии, остается сказать несколько слов о его частной, неслужебной жизни и занятиях. Он проживал в разных местах своего района, смотря но надобности: в Выборге, Кюменегарде, Роченсальме. В Кюменегарде он оставил по себе память, между прочим заботами о православной церкви, выписывал из Петербурга регента обучать тамошний хор, накупил разных церковных вещей на несколько сот рублей. Тут у него образовался кружок знакомых; свободное от службы время проводилось весело; Суворов часто танцевал, и в письме к Хвостову хвастал, что однажды «сряду 3 часа контртанц прыгал». Проживая в Фридрихсгаме, он занимал верхний этаж лучшего в городе дома, г-жи Грин, вдовы врача. Она была женщина умная, ловкая, пользовалась общим уважением, хорошо говорила по-русски и умела вполне угодить своему причудливому постояльцу, который в свою очередь оказывал ей внимание, заговаривал с нею по-фински, называл ее маменькой и приходил беседовать за чашкой чая, просватав свою дочь и племянницу, г-жа Грин просила Суворова быть, по русскому обычаю, посаженным отцом у дочери; он не только согласился, но вызвался быть тем же у племянницы, перебрался в одну небольшую комнату, а остальное помещение уступил хозяйке для свадебного праздника. Сначала все шло благополучно, но потом Суворов не удержался от разных выходок. Ему не понравился жених племянницы, большой руки франт, одетый изысканно, раздушенный, с огромной модной прической. Во время венчания Суворов часто посматривал на него, хмурился, морщился, прищуривался, вытягивал вперед голову, усиленно нюхал и поплевывал в сторону. Затем он стал вполголоса сравнивать голову жениха с походным котлом, называл его «щеголем, прыгунчиком, пахучкой», наконец вытащил носовой платок и зажал себе нос. Это произвело некоторый скандал, но почетный гость и посаженный отец, к потехе одних и к замешательству других, продолжал преследовать несчастного молодого во время свадебного бала, и громко называл его голову круглой щеткой для обметания

потолков, а на другой день послал свадебный подарок одной хозяйской дочери [26]. Как ни скромна была настоящая доля Суворова, но громкие победы недавних лет не оставляли его в тени и вдохновляли русских поэтов. Один из них, Костров, переводчик Гомера, написавший в честь Суворова оду и на взятие Измаила эпистолу, перевел затем поэтическую подделку Макферсона: «Песни Оссиана, сына Фингалова». Полный восторженного удивления к измаильскому герою, Костров посвятил ему свой последний труд и прислал экземпляр книги при соответствующем случаю письме. Как ни слаб и бледен был этот снимок, притом не с подлинника, а с французского перевода, но он произвел довольно сильное впечатление на Суворова. Костров и Суворов обменялись при этом стихами; причем первый уподоблял Суворова Фингалу; кроме того Суворов, вдохновленный чтением Оссиана, пустился в подражание и написал целую страницу прозой, подходящей к переводу Кострова. Приводим начало и конец: «Странствую в сих каменомшистых местах, пою из Оссиана. О, в каком я мраке! Пронзающий темноту луч денного светила дарит меня…… О барды, воспойте тамошнюю (идет речь о юге) радость, поелику о ней от кулдеев (?) слыхали. Скоро ли меня перенесут орлы в те медомлечные страны, где я толико упражнялся с браненосцами, и где бы я тонкий воздух, наполненный зефирами, приятно разделил хоть на роге мира» [7].

По временам Суворов писал и стихи, очень дубоватые, и чем длиннее, тем хуже.

> «На что ты, отче. дал сию мне колесницу?
> Я не могу везти вселенные денницу.
> Кичливо вознесясь. я пламенем сожжен,
> Низвержен в стремину и морем поглощен» [21].

Суворов был вообще охотник до изящной литературы, при отсутствии вкуса и признаков таланта. Некоторые его современники свидетельствуют, будто он говаривал, что если бы не чувствовал в себе преобладающего военного призвания, то сделался бы писателем. Если это правда, то в таком случае из него вышел бы поэт на столько плохой, на сколько хорош оказался воин. Стихотворство имело и его глазах смысл рекомендации человека. При конце его пребывания в Финляндии, Хвостов советует ему взять к себе одного ротмистра, выставляя в числе его хороших качеств и писание стихов; Суворов кладет заметку: «*очень рад*». Польщенный посвящением ему Оссиана, Суворов положил сделать Кострову денежный подарок, но

колебался — дать ли единовременно 500 рублей или назначить 100-рублевый пенсион до своей смерти. В виде иллюстрации к сказанному раньше о влиянии на Суворова его приближенных, приводим письмо состоявшего при нем подполковника Куриса к Хвостову по этому делу. «Костров на имя его сиятельства перевел Оссиана; он заботится, чем его наградить; раз мыслит вдруг 500 руб., потом ежегодно по 100 руб. по смерть графа, Последнее не к чему и не имеет виду, первое очень много, а кажется 200, 250, 300 приличный подарок. Как вы думаете, решите» [27].

Пользуясь своими небольшими досугами, Суворов занимался в Финляндии и чтением; без умственной пищи он не мог жить. Не знаем, были ли в его руках в ту пору научные сочинения, но газет он читал много, как это видно из его подписки на 1792 год. Он получал газеты немецкие — гамбургские, венские. берлинские, эрлангенские; французские; варшавские — польские; московские и петербургские — русские. Заглавий не обозначено, кроме французских Bas-Rhin и Courrier de Londres. Сверх того выписывались: немецкий гамбургский политический журнал, Journal encyclopedique и Nouvelles extraordinaires [25].

Следя таким образом за политическими событиями, Суворов не успокаивал, а еще более усиливал свои муки честолюбия. Усталый от постоянной внутренней тревоги, не сбывавшихся надежд и не осуществлявшихся ожиданий, он имел лишь краткие минуты душевного покоя. «Суетствие», писал он в одну из таких минут Хвостову: «весьма наскучило о сих материях писать и без нужды не буду; да будет воля Божия и матери отечества». Но за этой «нуждой» дело не ставало, и опять все шло на прежний лад. По окончании Турецкой и Польской войн, и когда немедленное военное вмешательство России во французские дела не состоялось, Суворов стал все чаще мечтать о назначении его на юг. Это проглядывает, между прочим, в отрывке приведенного выше подражания его Оссиану; Хвостову он писал о том же прямо, а Турчанинову хотя и сообщал сначала, что готов на службу «в Камчатку, Мекку, Мадагаскар и Японь», но под конец уже просился именно в Херсон. Писал он тоже самое и другим, но безуспешно: одни к нему не благоволили, другие были равнодушны; к последним принадлежал и Платон Зубов, сила и светило того времени. Пособили внешние обстоятельства. Французской республике не расчет было поднять против себя разом всю Европу и, чтобы отстранить Россию от содействия формировавшейся коалиции, агенты французские сильно работали в Константинополе. Скоро их происки и подстрекательства стали как будто обещать успех; Порта принялась за вооружения, и в пограничные с Турциею области

понадобился Суворов [10].

Подобные назначения и перемещения редко совершаются внезапно; им предшествуют слухи, идет говор, разыгрываются на эту тему разные вариации. Слухи и предположения доходили до Суворова быстро, чрез Хвостова и других. Еще в сентябре Суворов писал: «здешние вихри. — один несет меня на Кубань, другой на Кавказ, третий в Херсон до Очакова. Я готов лучше последнее, лучше дать играть судьбе, я здесь слеп... Но не бить бы мне площадь по прошлогоднему, с декорациями и конвенансами. Прежде против меня был бес К. Г. А. (Потемкин), но с благодеяниями; ныне без них 7 бесов с бесятами». В половине октября, когда дело налаживалось, он пишет: «я жду фугасов и мин к скорейшему меня подрыву из Петербурга;... как бы о моем перемещении не разнеслось и не вышло бы мечтою». Потом идут разные соображения и предположения, а за ними неожиданный вывод: «все то соображая, лучше бы я хоть не ехал; дело будет к весне, и ныне есть. Вот весь наш гордый *librum arbitrum!* Петр Семенович (один из приближенных) рассмеялся». Да и как было не рассмеяться.

Днем позже Хвостов пишет, что Репнин отправляется генерал-губернатором в Ригу, что это ему ссылка; Турчанинов говорит, что «вы теперь одни; отведали Каховского... Словом, или Франции или Херсон, вот куда целить должно». Заметка Суворова: «*сие письмо мне душу облегчает*» [25].

Наконец, 10 ноября последовал рескрипт Екатерины. Под начальство Суворова отдавались войска в Екатеринославской губернии, в Крыму и во вновь присоединенных землях, и приказано немедленно приводить в исполнение апробованное по проектам инженер-майора де Волана укрепление границ. Вместе с тем предписывалось — представить планы и сметы производящимся в Финляндии работам, для приведения всех укреплений и каналов к окончанию; требовалось также его, Суворова, мнение на случай оборонительной и наступательной войны в Финляндии. Суворов представил все данные для продолжения работ, представил и замечания свои на случай войны со Швециею [28]. Замечания эти имеют ныне только историческое значение, так как русско-шведская граница отодвинулась на несколько сот верст от прежней; но они очень характеристичны и дают осязательное понятие о стратегическом глазомере Суворова и его взгляде на ведение войны. (См. приложение II) [4].

Таким образом Суворову предстояло променять одни постройки на другие, да еще свои на чужие. Правда, это доказывало доверие к нему Государыни и одобрение всего, им

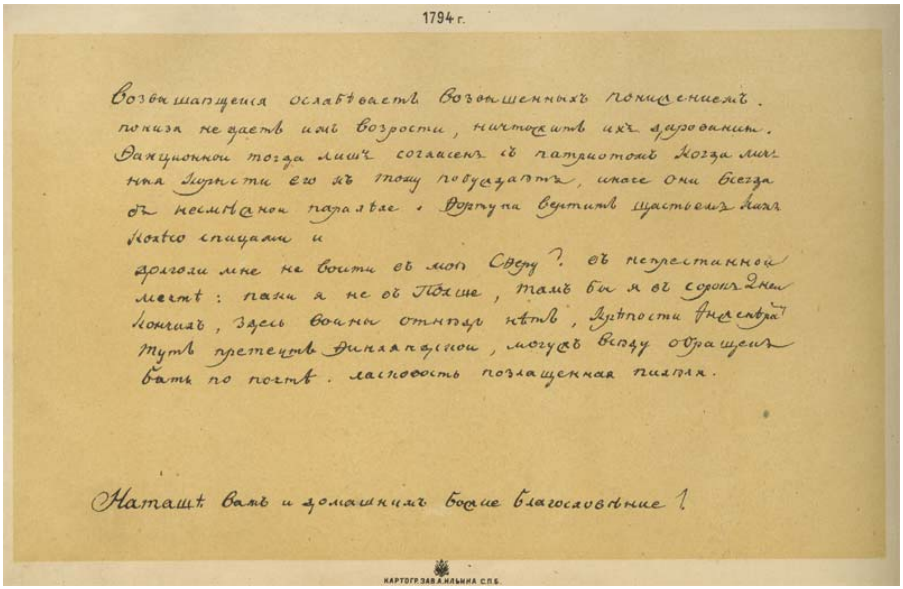
сделанного, но смысл деятельности все-таки не изменялся. Недаром Суворов раздумывал, не отказаться ли. Но там, на юге, у него были шансы на боевую службу, в виду турецких военных приготовлений, а тут, на севере, никаких. Это соображение его успокоило и ободрило; в ноябре он выехал как бы обновленным, с радостью и надеждой.

ТОМ ВТОРОЙ [5]

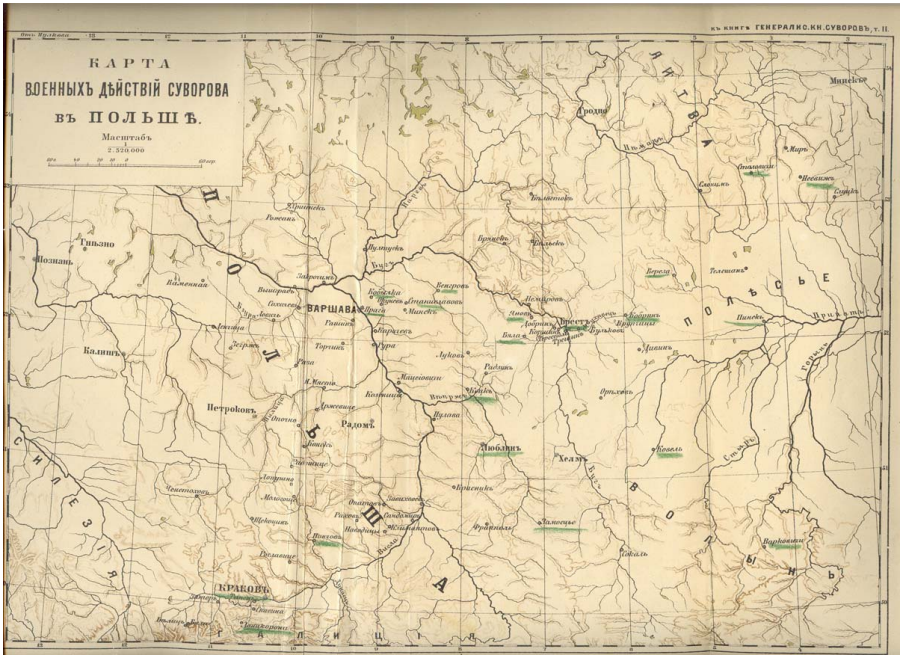
Иллюстрации ко 2 тому

Портрет Суворова. 1799 год:

Факсимиле Суворова №4. 1794 год:


1794 г.
Возвышающегося ослабевает возвышенных помышлением.
помыслы не дадут им возрасти, ничтожить их здравомыслие.
Фанфаронов тогда лишь согласен я патриотом назвать, когда мысли
его к тому побуждают, иначе они всегда
с несмысленой паралью. Фортуна вертит щастьем лишь
только слепцами и
долголи мне не быть в моей Сфере? в пространном
месте: пали я не об Полше, тамъ бы я в сорок 2ком
помнил, здесь войны отнюдь нет, крепости финляндия
тут претенть финляндцы, могущ всему обращенье
быть по почте. маловесть позлащенная пилюлях.
Натащ. вам и домашним боже благословение!
КАРТОГР. ЗАВ. А. ИЛЬИНА С.П.Б.

Карта военных действий Суворова в Польше:



Глава XIV. В Херсоне; 1792-1794.

Инструкции Суворову. — Инженерные работы; недостаток в деньгах; отмена заключенных Суворовым контрактов; готовность его удовлетворить подрядчиков на свой счет. — Наблюдение за происходящим в Турции; продиктованный Суворовым план войны. - Восстановление порядка службы в войсках; меры против дезертирства и своеволие; против волнений в казачьих полках; против развития болезней. — Желание Суворова избавиться от неприятной службы; тревожное его состояние при слухах о войне; два прошения о дозволении поступить в иностранные армии. — Образ жизни Суворова; переписка. — Польская революция; подчинение пограничного района Румянцову; обезоружение польско-русских войск; распределение пограничных военных сил. — Назначение Суворова в Польшу.

Отправляясь в Херсон, Суворов получил довольно подробное наставление. Ему вверялось начальство над войсками в екатеринославской губернии, таврической области и вновь присоединенном от Турции крае, с обязанностью руководить производившимися там крепостными работами. Черноморский флот оставался под начальством вице-адмирала Мордвинова, а гребной — под командою генерал-майора де Рибаса, который находился в зависимости от Суворова лишь по войскам, на флоте находящимся. Суворову приказано осмотреть войска, удостовериться в их исправности, пополнить недостающее; обозреть берега и границы, представить соображение о

приведении их в безопасность от нечаянного нападения; разрешено также изменять дислокацию войск, не давая однако же повода соседям думать, будто мы тревожимся; — наконец, указано собирать и представлять извещения из-за границы, «как посредством конфидентов, так и по допросам купцов и выходцев получаемые» 1*(здесь и далее это означает номер документа из списка источников к соответствующей главе в «Ссылках и пояснениях ко 2 тому», см. сноски в конце книги)*.

Проезжая в Херсон чрез Петербург, Суворов оставался там недолго и отправился на юг не совсем довольный, потому что ему были сделаны намеки, а может быть и прямо внушения, насчет устранения дурных сторон его финляндского командования. Вообще своими финляндскими объяснениями он вовсе не достиг той цели, на которую рассчитывал. Даже граф Безбородко, не говоря уже про других, был против назначения Суворова на турецкую границу: он-де всех изнурит и разгонит, как в Финляндии, а Турчанинову будет писать одними загадками. Этот оттенок недоверия и опасении выразился еще яснее по прибытии Суворова на место: здесь получил он вскоре рескрипт Императрицы, где говорилось, что хотя употребление солдат к крепостным работам позволительно, «но мы соизволяем решительно, чтобы оно сопряжено было с собственной их пользой» и без изнурения, а также чтобы госпиталей отнюдь не уничтожать, так как полки не обладают средствами, чтобы пользовать больных и содержать их на своем попечении. Таким образом, военно-санитарные взгляды Суворова остались непонятыми и грозили ему впереди новыми неприятностями. Но все эти мелочи не изменяли сущности дела, которое состояло в доверии к нему Государыни, в надеждах, возлагаемых на него всей Россией, и в опасениях, которые возбуждало его имя во врагах. Доверие Государыни сказалось в самом назначении Суворова на юг, вопреки неблаговолению к нему высших придворных и служебных сфер. Сочувствие соотечественников, не подлежавшее никакому сомнению, подтвердилось одним мелким фактом, доказывающим однако, как велика уже была в то время популярность Суворова. В проезд его через Белгород, у него испросили аудиенцию двое семинаристов и поднесли ему печатную оду, написанную в его честь. Наконец, вскоре по прибытии на место, он получил от Хвостова, русского резидента в Константинополе, депешу, в которой между прочим значилось: «один слух о бытии вашем на границах сделал и облегчение мне в делах, и великое у Порты впечатление; одно имя ваше есть сильное отражение всем внушениям, кои от стороны зломыслящих на преклонение Порты к враждованию нам делаются» 2.

Прибыв в Херсон, Суворов принялся тотчас же за самое ему неприятное — возведение крепостных построек и, чтобы не пропадало самое дорогое время, он заключил контракты с подрядчиками, а так как задаточных денег не было, то надавал им векселей. Это произвело большой переполох в петербургских правительственных учреждениях, которым приходилось расплачиваться; стали раздаваться протесты, отказы. Турчанинову пришлось списываться с Суворовым за всех, объясняя ему с большою осторожностью, что политическое положение едва ли требует такого спеха, что мало денег, что некоторыми из работ придется замедлит и т. под. Суворов отвечал: «вы делаете конец началом и предваряете тогда, когда я фундамент утвердил... Политическое положение извольте спросить у вице-канцлера, а я его постигаю как полевой офицер... Вы временили 2 месяца вместо двух дней, подобно как бы ловили меня за рыбу в тенета, зная, что я не сплю... Пропал бы год, если бы я чуть здесь медлил контрактами, без коих по состоянию страны обойтись не можно... Вы говорите, их не надобно; это надлежало мне сказать в Петербурге. Так сей год повороту нет; будущий год в вашей власти. присылайте деньги и с ними хоть вашего казначея» [3].

Но это легко было сказать, а трудно сделать при безденежье. Суворов, присутствие которого требовалось настоятельно в разных местах его района, сидел в ожидании денег прикованный к Херсону, сердился, жаловался, грозил. А ему тем временем подготовлялся удар. Еще в феврале 1793 г. он представил свои соображения о изменении плана некоторых укреплений; в апреле последовал ему ответный рескрипт Императрицы. Проекты его одобрялись в принципе, ему свидетельствовались «особливое удовольствие и признательность». но за недостатком средств, некоторые работы приостанавливались на неопределенный срок, другие рассрочивались на более или менее продолжительное время. Сообразно с этими указаниями, ему повелевалось представить генеральную смету, «с расположением подробных на то издержек погодно» и с точным определением суммы на каждый год. Засим, хотя в очень мягкой форме, подносились Суворову позолоченные пилюли: солдат употреблять на работы без изнурения; платить им по 10 коп. в рабочий день; по мирной поре и ненадобности экстренных мер, подряды производить и контракты заключать, на основании законов. в казенной палате. Наконец, в виду того, что никакое правительственное учреждение, кроме сената, не имеет власти заключать контракты более, как на 10,000 рублей, «заключенные в походной канцелярии вашей контракты оставить без действия» [4].

До получения этого рескрипта, Суворов писал Хвостову: «по

неприсылке денег, с препонами, о грусти моей внушать можете, коли прилично, но не в жалобном виде; истинно так тошно, что я здешнему предпочитаю Финляндию». Теперь он опрокинулся на Турчанинова: «так добрые люди не делают; вы играете вашим словом, я ему верю, а вы пускаете плащ по всякому ветру, ведая, что они не постоянны». Он исчисляет Турчанинову насколько больше были средства Потемкина для тех яге строительных работ, как будто могла существовать на практике какая-нибудь параллель между Потемкиным и ним; указывает на необходимость быстрых и полных крепостных работ в южном крае и, принимая все эти препятствия близко к сердцу. в письме к Хвостову восклицает с горечью: «Боже мой. в каких я подлостях, и кн. Григорий Александрович никогда так меня не унижал».

Таким образом мечты о службе на юге, лелеянные в Финляндии, рассеялись при первом почти прикосновении к действительности. Таков уж был Суворов. Впрочем, кроме помехи в успехе дела, создавалось еще весьма неприятное лично для него положение: подрядчики успели зайти далеко, и теперь должны были нести убытки, некоторые даже разорение. Это его не только заботило, но и подвинуло на решительный шаг. Он написал Хвостову: «Подрядчикам выданы деньги из казны, я должен буду взнесть и, чтобы не отвечать Богу в их разорении, остальные им дополнить. Чего ради извольте продать мои новгородские деревни не ниже 100,000 рублей; людей перевесть в Суздаль. Теперь еще не знаю, какая и будет ли выручка за материалы, с согласия подрядчиков; хорошо, коли б осталось на выплату, а остальные мне на странствования». Позже цифры определились; требовалось по расчету Суворова 91,148 рублей, в том числе 23,648 рублей для пострадавших купцов, а остальное в казну; цена за новгородские имения назначалась в 150,000 р. и никак не ниже 135,000. Но все дело обошлось благополучно, и прибегать к крайней мере не потребовалось; каким именно способом и при каком компромиссе достигнуто удовлетворение обеих сторон, не знаем [5].

При описанном настроении Суворова, трудно было с ним ладить строителям. Их было двое — полковник Князев и поступивший на русскую службу подполковник де Волан, знакомый Суворову еще в последнюю войну с Турками. С Князевым дело шло довольно гладко, но с де Воланом бывали беспрестанные столкновения. Недостаточно освоившийся с условиями русской жизни и службы, де Волан покладливостью не отличался и часто пытался сбросить с себя гнет, казавшийся ему несправедливым или излишним. «Князев хорош, де Волан скучен и грозен», пишет Суворов Турчанинову: «избалован и три раза уже

абшит брал, а мне истинно неколи о их капризах думать». Но эти неприятности не имели большого значения; немного спустя, Суворов отзывался о де Волане так: «он у меня принят как приятель, а если вышло неудовольствие, то сие было от него же. и сам он себя успокоил». Еще позже Курис пишет Хвостову: «де Волан честнейший человек, его не знали; граф душевно его любит». И действительно де Волан оказался человеком вполне достойным, и между ним и Суворовым установились отношения приятельские [6].

Вообще инженерная специальность занимала самое видное место в деятельности Суворова на юге, как и в Финляндии. Сохранились подписанные им планы: проект Фанагорийской крепости, три проекта укреплений Кинбурнской косы и Днепровского лимана, план крепости Кинбурна, главного депота (Тирасполя), форта Гаджидера (Овидиополя) на Днестровском лимане, Гаджибейского укрепления, Севастопольских укреплений. Часть их строилась при нем и подвинулась вперед ощутительно, другая только начата; есть и оставшееся в проекте за коротким временем и недостатком денег. Из Севастопольских укреплений начаты 4 форта, в том числе 2 казематированные; в Гаджибее (Одесса) устраивалась военная гавань с купеческою пристанью, по планам де Волана, под непосредственным руководством де Рибаса и высшим надзором Суворова [7].

В тоже время производились внимательные наблюдения за всем, что делалось у соседа, и принимались меры предосторожности. К Суворову присылались извещения наших временных и постоянных дипломатических агентов на Балканском полуострове; доходили до него сведения даже из Италии. из Польши и других мест. Наши посланники и консулы не спускали глаз с Турции, также с действительных и мнимых замыслов Французского революционного правительства, сообщая обо всем Суворову. расспрашивались шкипера купеческих судов, турецкие беглые; доставлялись отрывки газет, преимущественно гамбургских; цитировались частные письма. Добытые такими путями сведения Суворов сообщал в Петербург, графу Зубову, иногда даже самой Государыне.

В них много тревожного, но мало действительно опасного — и бездна противоречий; особенно пессимистским характером отличаются извещения ясского консула Северина. «Северин вам врет», разубеждает Суворова из Константинополя Кутузов, посланный туда с особою миссией: «крепости турецкие валятся, флот не силен, вся внутренность расстроена, а паче всего вы тут». Полгода спустя наш посланник в Константинополе, Кочубей, подтверждает тоже самое и успокаивает Суворова по крайней

мере на срок до осени 1794 года. Но Суворову, поставленному на страже и снабженному известными инструкциями, нельзя было успокаиваться, и он продолжал готовиться к войне с обычным своим рвением и энергией [8].

А между тем именно это рвение и энергия были отчасти причиной тревожного состояния, которое замечалось в Турции. Усиленная военная деятельность в пограничном русском районе естественно смущала и беспокоила Турок; они старались проведать истинную причину приготовлений и с этою целью подсылали шпионов. В таком смысле писали Суворову Северин, Кочубей и Хвостов; последний даже советовал распустить слух, что наши вооружения остановлены, так как слух этот тотчас дошел бы до Константинополя чрез посредство купеческих судов. Но приготовления не прекращались, а усиливались. Поддерживались они между прочим интригами Французского правительства в Константинополе и его враждебными намерениями, по донесениям наших агентов. Суворову сообщалось, что из Константинополя готовятся посетить русские черноморские порты два шпиона-француза, на судне, нагруженном фруктами, и что за собирание и доставку желаемых сведений им обещано 7,500 пиастров, кроме торговых барышей. Писалось, что капитаны французских военных судов получили приказание нападать на русские купеческие корабли к водах Турции; что эскадра из 18 судов адмирала Латуша ожидается для совместного с Турками действия в Черном море: что под турецким флагом пойдет в Синоп якобинское судно, под командой Перголе, а на возвратном пути зайдет в один из наших портов. Особенного внимания русских властей заслужило неоднократно доходившее из-за границы известие, что бывший полковник русской службы Анжели, около 30 лет назад выгнанный из России за измену, собирается из Парижа, в качестве уполномоченного якобинского клуба, посетить Россию снова. Описывались его приметы, говорилось; что при нем будет находиться его сын, бывший паж двора Екатерины, и еще несколько человек; что Анжели получил миллион франков золотом, а цель его миссии — произвести в России революцию в роде французской. Как ни дуты были большею частью эти известия, но страх, наведенный злодействами французской революции, и опасения за монархический принцип, заставляли не пренебрегать ничем. А так как область Суворовского командования была местом, куда преимущественно направлялись все действительные и мнимые замыслы врагов России, то легко понять, что тут сосредоточивались и главные меры противодействия. Дошло наконец до того, что стали опасаться

французского десанта на русские черноморские берега и, по требованию графа Зубова, Суворов проектировал, при сотрудничестве де Волана, план защиты берегов от 15,000-ной высадки Французов, с обозначением пунктов, где надо иметь войска и гребные суда, и с исчислением тех и других. Проект этот в январе 1794 года он отправил к Зубову с де Рибасом [9]. Главные опасения, впрочем, заключались в предположении о возможности близкой войны не с Францией, а с Турцией. Едва ли даже можно называть эти заботы *опасениями*, так как возбуждались они главным образом не извне, а шли от Петербургского кабинета. Турция не желала войны, ибо не могла еще оправиться от предшествовавшей; сношения её с Россией отличались умеренностью и миролюбием; если она принимала военные меры, то в смысле оборонительном, вынуждаемая приготовлениями России. Желала войны Екатерина, не забывшая прежних проектов, которые она лелеяла вместе с Потемкиным. Возбуждал ее к этому преемник Потемкина, Зубов. в воображении которого роились мечты о высшем командовании, о фельдмаршальстве. Греческий проект Потемкина еще имел за себя хоть какие-нибудь данные в политической и военной обстановке времени; детские же мечтания Зубова совсем висели в воздухе, без всякой под собой ночвы. Замыслы его простирались на Персию, Тибет, Китай и выражались, как в конечном результате, в завоевании Турции и во взятии Константинополя. Под влиянием своего любимца, Екатерина не могла вполне отрешиться от химер прежнего, более благоприятного для них времени, и открыто, в большом придворном кругу говорила, что ей надоело возиться с Турками и что она убедит их наконец, что забраться в их столицу ей также легко, как совершить путешествие в Крым [10].

Положение делалось весьма напряженным, так что пущенный кем-то слух, будто Татары собираются с турецкой стороны Днестра на наш берег для грабежа, заставил командовавшего на границе генерала, принимать усиленные меры предосторожности и даже просить подкрепления кавалерией, хотя сам он доносил, что признает слух несбыточным. Следствием натянутости, явилось учреждение укрепленного лагеря при Ботне, а потом и усиленное его вооружение. В половине января 1794 года последовал от Екатерины Суворову рескрипт о снабжении войск всем нужным по военному положению, о доукомплектовании их при встретившейся надобности из остающихся на месте, о сосредоточении одних полков при Ботне, а других к приморскому пункту, для посадки на гребную флотилию. Суворову приказывалось быть в такой готовности, чтобы можно было захватить неприятельский берег Днестра; говорилось, что Турок

надо сразу озадачить; разрешалось даже, на случай объявления войны Портою, начать военные действия, не сносясь с Петербургом [11].

Суворов, как исключительно военный человек, не считал завоевание Турции несбыточною мечтою, конечно при условии, что оно будет поручено ему. Под влиянием назначения своего с севера на юг, производившихся здесь военных приготовлений и завоевательных проектов прошедшего и настоящего времени, Суворов решился набросать план наступательной войны с Турцией и прилежно занялся этим делом в конце 1793 года. Обдумав предмет со всех сторон, он продиктовал свой план (по-французски) де Волану. Разгласил ли он сам про свою работу чрез Хвостова или Турчанинова, или весть об этом дошла в Петербург другим путем, но только Екатерина потребовала план к себе, и Суворов представил его в ноябре 1793 года. Этот замечательный в историческом отношении документ (см. Приложение III) [6], лучше всяких рассуждений дает понятие о взгляде Суворова на предмет [12].

Кроме этого плана, в бумагах Суворова сохранились отрывочные заметки, писанные также по-французски, частью им самим, частью де Воланом, и служащие как бы дополнением или пояснением плана. В них говорится вскользь не только о военной, но и о политической стороне предмета; проектируется разделение Турции, конечно без соображения ненародившегося еще тогда принципа национальностей; излагается, как следует поступать, если разрыв последует с турецкой стороны и как — если с русской. Вот некоторые из этих заметок. «Не раздроблять сил, пока Турки не будут сильно побиты. Почти все крепости их разрушить. Зимние квартиры (после первой кампании) левым флангом к Варне... Мы у подножия Балканов. *Где проходит олень, там пройдет и солдат*... Умейте удержать Болгар в их домах, чтоб они не бежали в горы, и тогда хлеб у вас будет. В Румелии, плодородной стране, не может быть недостатка в продовольствии. Но солдат должен заранее привыкнуть к пшеничному хлебу, для чего следует понемногу примешивать пшеничную муку к ржаной, доводя до пропорции двух частей первой на одну второй». Затем Суворов замечает, что надо рассчитывать на 2 или 3 кампании, а Тамерлан делал обыкновенно расчет на 5-6 кампаний: «верность расчета принадлежит одному Провидению». Принимается в соображение участие в войне Австрии, и против этого положена заметка; «между нами: сюда бы нужно кого-нибудь в роде Дерфельдена». рассчитывается на содействие Греков, на согласие с Махмудом Скутарским, на диверсию Черногорцев. Части Боснии и Сербии предполагается отдать Австрии; часть Далмации

Венециянцам, если удастся их завлечь в войну; Англичанам Кандию и преобладание в левантской торговле; острова Архипелага уступить Венеции и другим союзникам; Греческую империю составить из Греции собственно, с прибавкой Негропонта [13].

Не ограничиваясь изложением своих соображений на случай войны с Турками, Суворов старался приготовиться к ней и собиранием сведений. В это время находился в Константинополе один иностранец. Антинг, будущий историограф Суворова, по какому-то случаю и кем-то ему рекомендованный. Суворов написал ему письмо, прося ответа на 22 вопроса; главнейшие из них заключались в следующем: каковы оборонительные средства Константинопольского пролива и могут ли они быт усилены; чем огражден город с моря и суши; есть ли в нем публичные здания, замки и проч., которые могли бы служит для обороны; какова там вода и откуда ее получают; каковы средства константинопольского адмиралтейства; много ли иностранцев в турецкой службе; какие производятся в армии реформы. Остальные вопросы касались султана, визиря, капудан-паши, окрестностей Константинополя, Балканских проходов, дороги от Балкан к столице и т. п. На все это Антинг привез ответы лично и вручил их Суворову в феврале 1794 года [14].

Но все эти планы и предположения проектировались между другим делом, составляя для Суворова если не отдых, то развлечение. Самое дело было совсем других свойств, и теперь мы переходим к нему снова.

Одним из главных трудов Суворова на юге было восстановление сильно упавшей в войсках дисциплины. Как Суворов исправлял этот изъян. видно из следующего примера. Современник, вероятно даже свидетель, пишет, что прибыв в Херсон. Суворов увидел, что нижние чины Ряжского пехотного полка вовсе не знают службы, не занимаются ею и все свое время употребляют на торговлю рыбой и разною мелочью. Он повернул дело круто, но без крайних мер; роздал в роты свой военный катехизис (о нем будет говорено впоследствии), требовал, чтобы все люди затвердили его наизусть, приказал обучат их строевой службе. каждодневно и сам на ученьях присутствовал. Он внушал и наблюдал, чтобы солдат был молодцеват, бодр, опрятен. к службе нелицемерно усерден; в числе других военных упражнений, строил солдатскими руками укрепления, учил обороняться и штурмовать, внезапно, по тревоге, преимущественно поздно вечером. Все это делалось с любовью к делу, почти без наказаний и даже брани; результатом было отличное состояние полка и восторженная любовь солдат к их

умелому начальнику [15].

Рассматривая списки находящихся в командировках и разного рода отлучках. он увидел, что многих нет на лицо с давнего времени; другие отсутствуют по причинам, не имеющим ничего общего со службой; третьи числятся при разных лицах, состоящих в войсках совсем других дивизий. Хотя все это было явлением заурядным, но в настоящем случае переступало всякие пределы, так что Суворов дал строгую инструкцию к искоренению злоупотребления и сам наблюдал за приведением его приказания в исполнение [16].

Из отчетных ведомостей он убедился, что в войсках его сильно развито дезертирство, чему конечно способствовала между прочим, как и в Финляндии, близость границы. Как велико было зло, можно видеть из следующего примера: в Староингерманландском полку (меньше 1500 человек) с 1 по 8 апреля 1793 года бежало 24 человека, Нисколько не колеблясь, Суворов отнес такие позорные явления «к совершенному предосуждению полковых командиров», и в этом направлении стал действовать. По его ли приказанию или применяясь к его взглядам, один из пограничных начальников, генерал Волконский, отдал приказ, чтобы ротные командиры не смели наказывать солдат больше, как 15 палочными ударами. И точно, надо было принять меры, ибо целые массы наших дезертиров проживали за турецкой границей, и работы в ближайшей турецкой крепости Бендерах, производились преимущественно ими. Ясский Консул возвращал беглецов в наши пределы целыми командами, объявив амнистию именем Императрицы; генерал Волконский посылал к турецкому пограничному паше офицера, с целью уговаривать дезертиров на возвращение, и не безуспешно. Они так легко дезертировали, что без большого труда и возвращались, когда представлялся к тому удобный случай. [17]

Наши пограничные команды не только снабжали Турцию большим числом дезертиров, но и производили в турецкие пределы самовольные экскурсии. Как только Суворов прибыл в Херсон, на него посыпались по этому предмету жалобы. Из Константинополя сообщалось, что казаки и арнауты переходят границу и производят грабительства; на то же самое жаловался и Молдавский господарь. Две шайки в 8-12 человек ограбили Молдаван, ехавших из Бендер; когда турецкие власти обратились к пограничному русскому начальнику, штаб-офицеру, он стал ругаться и пригрозил, что как только станет река, он с командой выступит лично и будет забирать скот. Из Константинополя пришло известие, на этот раз сомнительное, будто Русские, в большом числе перейдя Днестр. порубили и вывезли лес. Суворов

наряжал следствия, грозил карою по всей строгости законов, подтверждал строжайшее исполнение пограничных правил, запрещал переход чрез Днестр без паспорта во всех случаях, без исключения. Не довольствуясь этим, он писал в Петербург. прося дозволения на передвижение внутрь России самых отчаянных грабителей, арнаутов. Он представлял. что две последние войны от них не было почти никакой пользы, «разве то, что они не умножили число турецкой сволочи; в случае войны такую саранчу всегда можно достать, ибо цель их не служить, а грабить». Прося переселить их подальше в глубь России, Суворов приводил в резон, что там по крайней мере дети их могут быт полезны. Просьбу его уважили; приказали переселить арнаутов, а также пеших и конных волонтеров, всего 1135 человек, «под видом службы», на левую сторону Днепра и разместить в двух уездах, «чтобы они нечувствительно могли водвориться в пределах России» [18].

Но и этим еще не ограничивались признаки внутреннего неустройства войск Суворовского района, Было указано из военной коллегии, чтобы Суворов обратил внимание на донские казачьи полки в Крыму; что в декабре 1793 года оттуда бегали два казака домой, на Дон, с возмутительными письмами; вернулись они с ответами за станичными печатями, и после того в 5 донских станицах происходят волнения, так что понадобилось командировать туда военные команды. Вслед за этим указанием военной коллегии, поступило к Суворову сообщение от имени графа Зубова, что перед посещением двумя казаками из Крыма волнующихся ныне станиц, проехали по Дону два поляка, которых и велено разыскать в Екатеринославской губернии, а впредь следить за всеми проезжими на Дон иностранцами. Два месяца спустя, часть казаков бежала из Крыма; за бежавшими отряжена погоня, но они обнаружили такое упорство, что произошел бой, и двое из них было убито, а несколько человек ранено. Оставшиеся, судя по всему, имели намерение сделать тоже самое при первом случае, так что Суворов, для наблюдения за ними, послал в Крым полк Екатеринославского казачьего войска [8].

Но больше всего стоило Суворову забот санитарное состояние войск. Он начал осмотр их и подведомственных учреждений до прибытия своего на место, находясь еще в пути из Петербурга. Ехавший с ним подполковник Курис пишет из Елизаветграда Хвостову, что «не в силах описать, в какой жалости здесь госпиталь;... строение сыро, кучи больных, один другого теснят без разбора; нашли в этом госпитале не отправленных по указу военной коллегии в гарнизон, инвалид и отставку до 500 человек

на порции». Кроме того оказалось в городе, вне госпиталя, столько же и таких же, незаконно находящихся с августа на казенном довольствии. Гоже самое найдено потом и в остальных 4 госпиталях. Приказано немедленно отправлять подобных людей партиями; но несмотря на то, что Суворов был начальник грозный, в конце января их все еще числилось до 370. Немногим лучше велось дело и в войсках. Больных оказалось гибель, особенно в Крыму и во вновь приобретенной от Турции области; даже в казачьих полках считалось по 100 и более в каждом, что по словам Суворовского приказа, «совсем по их званию не соразмерно». Уход за больными был очень дурной; умершие показывались живыми долгое время; захворавшие задерживались при войсках до последней крайности, лишь бы доставить в госпиталь дышащих и уменьшить по отчетности полка число смертных случаев. Люди, поступившие в госпиталь, не показывались выбывшими из полка по неполучению уведомления о их приеме и под другими предлогами, дабы тем временем пользоваться отпускаемым на них довольствием. Все это свидетельствует сам Суворов в своих письмах. Находясь в Екатеринославле и посылая Турчанинову оттуда письмо, Суворов приводил такой короткий разговор с одним из своих ординарцев: «Зыбин, что вы бежите в роту, разве у меня вам худо, скажите по совести». — Мне там на прожиток в год 1000 рублей. — «Откуда?» — От мертвых солдат [19].

Помня финляндские неприятности и повеление Императрицы, Суворов поостерегся эвакуировать госпитали до степени почти полного опорожнения, которую он практиковал на севере. Но это не спасло его от сплетен, и спустя несколько месяцев по прибытии в Херсон, он шлет Турчанинову жесткий укор: «слышу, что разглашено было по Петербургу, будто я кассировал госпитали; во благе льстят, клевете молчат, и о сей лжи я уведомлен не был» [18].

Не в первый и не в последний раз приходилось Турчанинову глотать от Суворова подобные пилюли, вовсе даже не позолоченные. Сердитый старик легко раздражался, а поводов к раздражению было много. Наследованное им бедственное санитарное состояние войск пустило такие глубокие корни, что не поддавалось принимаемым мерам. Войск под начальством Суворова числилось около 1 января 1793 г. по штатам 77341 человек, но до комплекта не доставало 13006, а из списочных считалось в госпиталях и командировках 8963, состояло при войсках больных 388, и таким образом на лицо, здоровыми, имелось всего 51484. С наступлением жаров болезни и смертность стали расти. В одном из полков число больных,

слабых, хворых и льготных дошло до 205, в другом до 218, в третьем до 241, в четвертом — 16 до 484, не считая находившихся в госпиталях. Еще поразительнее была цифра смертности. В Белевском и Вятском пехотных полках умерло в 8 дней по 8 человек в каждом, в Николаевском гренадерском в 5 дней 10 человек, в казачьем Родионова полку в 17 дней 12, в Троицком пехотном в 28 дней 27, в Полоцком в 18 дней 43, — все это независимо умерших в госпиталях. В другое время в Белевском полку умерло в 5 дней 12 человек, в Витебском в 19 дней 19, в Троицком в 24 дня 28. Суворова назначил две комиссии, одну из штаб-офицера и дивизионного врача, другую из 2 штаб-офицеров и штаб-лекаря. Комиссии исполнили поручение основательно и добросовестно, особенно последняя. Она проживала в войсках по нескольку недель кряду, посвящая своей задаче все время от утра до ночи, исследовала зло в самом корне и лично наблюдала за исполнением предписанных мер и за их результатами. Труды комиссий увенчались успехом [20].

По мнению Суворова, корень зла заключался в полковых и ротных командирах. Он об этом говорил и писал постоянно, повторяясь на одной и той же странице. Даже некоторые свои приказы он начинает словами: «небрежением здоровья подчиненных, полковых и ротных командиров, умерло там-то столько-то». Для него эта принципиальная причина была ясна как день, а назначал он комиссии для того, чтобы выяснить общность всех. [16].

Поводов к усилению болезней и к развитию смертности оказалось множество, в разных местах разные, а сочетание их в одной местности приводило уже к совершенному бедствию. В 1792 году выстроены казармы ив сырого кирпича и окончены только в декабре; местами и такого жилья не было, а приходилось довольствоваться землянками. Стены промерзали насквозь и с них текло; усиленно отапливать было нечем, потому что не заготовили дров вовремя, и солдаты доставляли их за 25-30 верст пешком, обогревались чрез сутки и вовсе не просушивались от сырости. Больные не были разделены по категориям и не отделены от здоровых; медикаменты не потребованы заблаговременно; в питье употреблялась стоячая озерная вода, покрывающаяся летом гнилою зеленью. С наступлением в 1793 году лета, хотя войска были выведены в лагерные сборы и размещены по палаткам и шалашам, но за то стали палящие жары. С 8 часов утра до 7 или 8 вечера, при горячем ветре, термометр Реомюра показывал до 30 и даже 33° в тени, а ночью только 7°; гнилая, вонючая зелень покрыла весь Днестр слоем в полдюйма; в продолжение 2 месяцев не было ни одного дождя;

земля дала трещины до 2 аршин глубины. При таких исключительных условиях не могли соблюсти свое здоровье и люди, лучше солдат обставленные: более трети наличных офицеров лежали больными. А лечить было почти некому и нечем, так плоха была эта часть в русском военном управлении [5].

Суворов предписал войскам для руководства целый ряд мер и уполномочил обе комиссии расширять и изменять их по указанию обстоятельств. Приказано отделить больных от здоровых, подразделить первых на 4 категории и каждую расположить отдельно, как можно шире; из палаток переместить людей в шалаши и сараи; часто переменять под здоровыми и больными подстилку. Сырые казармы обсушивать, отапливая их, выставляя окна и двери и вскрывая потолки. Один полк совсем переместить из нездоровой местности при Карасубазаре в Евпаторию. В лагерях поддерживать крайнюю чистоту. Врачебные средства истребовать тотчас же из ближайшей казенной аптеки; о командировании врачей распоряжение сделано. Иметь постоянное наблюдение за содержанием больных и здоровых: первым движение и работа в прохладные часы, купанье с окуниванием головы для здоровых, в проточной воде, пока она не загнила и не зацвела. Такую воду не употреблять ни для питья, ни для приготовления пищи, а брать из колодцев, которые с этою целью во многих местах и устроены. Употребление рыбы из стоячей воды запрещено безусловно, а из Днестра дозволена только мелкая и притом соленая. Предписаны чистота белья, постелей и посуды; употребление уксуса для больных и здоровых [21].

Было преподано и многое другое, а потом, весною следующего 1794 года, вкратце изложено в особом приказе по войскам. Этот небольшой приказ приводится целиком. (См. Приложение IV) [7].

Одними гигиеническими мерами однако нельзя было ограничиться, особенно когда болезни успели внедриться. Нужны были также средства фармацевтические, а их приходилось всеми способами заполнять или обходить, ввиду злоупотреблений при заготовке медикаментов, дурного их содержания, недостаточного количества, несвоевременной доставки и неумелого употребления. Такую задачу попытался разрешить штаб-лекарь Белопольский. Согласно со взглядами и понятиями Суворова, он составил «Правила медицинским чинам», которые и были тогда же, по приказанию Суворова, разосланы по войскам. Инструкция эта заслуживает в историческом отношении внимания, а потому приводится вполне. (См. Приложение V) [8]. Другие документы, о которых в ней упоминается, не отысканы.

Суворов был совершенно нрав, утверждая, что санитарное состояние войск находится в прямой зависимости от степени заботливости начальников о подчиненных. Как только принятыми им мерами эта заботливость доведена была до maximum'а, болезни и смертность покинули свой maximum и спустились до minimum'а. Как он писал прежде в приказах. что «небрежением начальников» болезни и смертность выросли и умножились, так стал потом свидетельствовать, что «попечением начальствующих лиц» они введены в умеренные пределы. В самый развал жаров он писал, что благодаря действиям комиссии, «а паче искусству штаб-лекаря Белопольского (члена комиссии), Полоцкий полк приведен в совершенное благосостояние». В августе и сентябре улучшение продолжалось; бывали рецидивы, притом довольно частые, но уже не очень упорные. В октябре Суворов пишет графу Платону Зубову: «у вашего сиятельства отделяю я несколько минут, для утешения вашего человеколюбия», и сообщает ему, что при Ботне, в 10 батальонах, насчитывается больных вдвое меньше обыкновенной нормальной цифры, а умерло в 5 последних недель всего 12 человек. В ноябре он сообщает Хвостову, что «прошедший месяц очень здоров, можете то внушить; во всех частях умерших, *невероятно*, 48; в госпиталях и разных отлучках 15» [22].

Зло было так велико, что по временам и у Суворова как будто опускались руки. «Никто не виноват», пишет он Хвостову в конце августа: «посещение Божие. Приложение (не оказалось) на случай превратных разглашений; ежели надо, покажите Турчанинову. Жары продолжаются; надо терпеть еще неделю или две: Вышнего воля». Но месяц спустя, читаем в письме Куриса к тому же Хвостову, что из приложения (не оказалось) он увидит бдительность Суворова: «сие самое спасает здесь человечество; посудите, что было бы без того» [5].

Была еще одна причина бедствия. В апреле 1793 года Суворов донес военной коллегии, что в карасубазарском магазине провиант никуда не годен, и что от него солдаты болеют и мрут. Коллегия приказала ему дело исследовать, виновных предать суду, магазины освидетельствовать и принять подходящие меры. Пошла но обыкновению переписка; подчиненные генералы отвечали Суворову не на вопросы; бумаги, из Херсона в Петербург и из Петербурга в Херсон, находились по 3 и по 4 недели в пути. А между тем Государыня приняла дело близко к сердцу и прислала в военную коллегию (без подписи) такую записку: «Белевского и Полоцкого полков полковников, карасубазарского магазейна провиант кто подрядил, кто в смотрении имел, провиантского штата провиантмейстера или комиссионера —

прикажите судить и сделайте пример над бездельниками и убийцами, кои причиною мора ради их воровства и нерадения, и прикажите сделать осмотр прочим магазейнам в той стороне, и на каторгу сошлите тех, кои у меня морят солдат, заслуженных и в стольких войнах храбро служивших. Нет казни, которой те канальи недостойны». Наконец в июле прибыл от провиантского ведомства ревизор; вместе с назначенным от Суворова генералом, он освидетельствовал карасубазарскую муку, признал ее негодною и поехал в другие места для такой же ревизии. Неизвестно, чем она разрешилась, кто оказались преступниками и были ли они наказаны; но польза от осмотра магазинов не подлежит сомнению. В сентябре Суворов пишет Хвостову: «тайная причина (смертности) не жар, а как аквы-тофаны гнилого провианта позднее действие; тоже было бы и с другими, ежели бы не предварены» [6].

Но беспечность или злоупотребление не сразу поддавались. В декабре Суворов отдает приказ обер-провиантмейстеру Боку, что хлеб хранится без крыш и гниет, а потому сейчас же сделать покрышки, хлеб освидетельствовать и порченый запретить к отпуску. Турчанинову он сообщает, что нельзя держать провиант в буртах, что «пролитое полным не бывает, и надо только принять меры к предохранению от зла». Зная очень хороню, что за спинами мелких воришек зачастую хоронятся крупные воры, или же что у них нередко бывают могущественные покровители, которых затрагивать опасно, Суворов однако надеется на Государыню и говорит Турчанинову: «nie dbam o gwiazdy kiedy ksiezyc swieci; кого бы а на себя ни подвиг, мне солдат дороже себя; лучше его я имею способы к самоблюдению» [23].

Все эти работы, заботы, труды и неприятности не замедлили произвести на впечатлительного Суворова дурное действие и возбудили в нем горячее желание чего-нибудь лучшего. Это «лучшее», эта новая арена деятельности, представлялись ему в разных формах, и одна из них, едва ли не самая заманчивая, рисовалась в его воображении в виде войны с Французами, — старая финляндская история.

После жалкого исхода первой кампании союзников против Франции, в начале 1793 года произошли два события первостепенной важности: казнь несчастного Французского короля и объявление Французской республикой войны Голландии и Англии. Первое усилило в Европе ужас к французской революции и укрепило коалицию морально, второе усилило ее материально. Казнь Людовика XVI произвела удручающее действие при всех дворах, в том числе и при Петербургском: негодование, горе, уныние наложили на него тяжелую печать;

Екатерина была крайне смущена и несколько недель не выходила. Смелость и энергия Французского революционного правительства, не боявшегося сплотить противу себя всю Европу, граничили с безумием; в самом начале этот дерзкий вызов как бы нашел себе оправдание в успехах Дюмурье в Голландии, но потом стали брать верх союзники. Австрийцы с принцем Кобургским, генералом Клерфе и молодым эрцгерцогом Карлом, несколько раз разбили неприятеля, распространились на его территории и завладели важными укрепленными пунктами — Валансьеном и Конде.

Суворов, следивший со вниманием за ходом французской революции и возникшими из нее войнами, написал принцу Кобургскому поздравительное письмо. Принц ответным письмом благодарит его за доброе слово; вспоминает общих знакомых; сообщает о разных новостях, о том, что Валансьен сдался после штурма внешних укреплений, «на манер храбрых Русских»; называет Суворова «профессором, вспомнившим своего ученика»; пишет, что ему, Кобургу, приходится поневоле только возиться с крепостями и что идея — двинуться на Париж, должна быть пока оставлена, «особенно потому, что херсонский губернатор не с нами» [13].

Благоприятный коалиции ход дел продолжался однако недолго, несмотря на то, что союзники имели огромный перевес над французской армией, почти дезорганизованной, и могли бы смело идти к Парижу. Предводительство их не отличалось нужными для такой решимости качествами, и принц Кобургский, думая сказать Суворову комплимент, высказал одну голую правду, сознавшись в недостатке того, что принес бы с собою «херсонский губернатор». В ноябре Кобург снял осаду Мобежа и отступил за Самбру, на зимние квартиры. На театре войны среднего и верхнего Рейна результат кампании был такой же, благодаря в особенности недостатку согласия и единодушие между Австрийцами и Пруссаками, да и на третьем театре войны, на границах Италии, успех Французов тоже закончил год.

Еще несчастнее для союзников был следующий 1794 год... Сначала дело шло не дурно, потом с переменным успехом, но окончание было неизменно не в их пользу. На нидерландском театре войны, главнокомандующий принц Кобургский проявлял все более свою неспособность; крепости, завоеванные прежде союзниками, опять перешли в руки Французов. и, осенью Австрийцы принуждены были уходить за Рейн. Герцог Йоркский не оказался ни более умелым, ни более счастливым, и в конце концов Голландия принуждена была заключить с Францией союз, приняв республиканский строй, с названием Батавской

республики. На Рейне французы тоже одолели; Австрийцы с Пруссаками к осени отретировались, и во власти союзников остался на левом берегу реки один Майнц. Не более счастлива была коалиция и на итальянском театре войны.

Еще в 1792 году носились в Петербурге неясные слухи о предполагаемом вступлении России в активную против Франции коалицию; со времени же смерти Людовика XVII, они стали держаться упорнее. Находясь в Финляндии, Суворов имел еще возможность, по близости к Петербургу, следить за прихотливой молвой и проверять ее перепиской; но перебравшись в Херсон, он очутился в невыгодном положении. А дело как будто назревало. Он тревожился, волновался, забрасывал Хвостова, а отчасти и Турчанинова, письмами. Турчанинов, получив в 1793 году еще другое назначение, переписывался с ним меньше, чем прежде, а Хвостов поступал неумело, как и доныне, успокаивая своего дядю на одной странице и распаляя его вздорными слухами на другой. «Мое постижение, что часть сухопутных войск из Польши к Рейну, для сильного удара... Командира еще нет, но ни князь Репнин, ни граф И. Салтыков; сего глаголят в Москву. Болтовня — будто князь А. Прозоровский или князь Ю. Долгорукий, но пустое; там готов Игельстром. Стоголовая скотина (публика) вопит и о вас. Вам был курьер на счет мер, если Латуш прорвется в Черное море; стали говорить, что послали за вами сюда для Франции. Я опроверг, ибо может разглашение штукарное, а Царица не любит, чтобы угадывали её мысли... Вам и так хорошо, от добра добра не ищут, — Херсон не гарнизон; но в случае, лучше отнестись как к другу, к графу П. А. (Зубову): не скажут, что вы не хотели или там не досужно» [24].

Нетрудно понять, как раздражали Суворова слова, в роде «вам и так хорошо», если они приходили к нему в моменты недовольства. Тогда не успокаивали его и другие, более действительные утешения. Раз Хвостов сообщил ему, что Государыня выразилась про Кобурга, что «ученик Суворовский в подмастерья еще не годится», и что об этом трубит весь город. Суворов приписал тут же: «прекрасный панегирик;... я, по дару Измаила, во тьме сидящий Тучков» (высший начальник инженерной части). Переписка его полна выражениями неудовольствия на инженерную судьбу. «Я захребетный инженер и посему как в горячке»; «уже третий год в Тучковых»; «малые мои таланты зарыты»; «Бога ради избавьте меня от крепостей, лучше бы я грамоте не знал»; «известны мне многие придворные изгибы, коими ловят сома в вершу, но и там его благовидностью услаждают, а меня обратили в подрядчика». Под конец его одолела тоска; он пишет Хвостову коротко и сухо: «напомните

Турчанинову, что я не инженер, а полевой солдат, не Тучков, а знают меня Суворовым и зовут Рымникским, а не Вобаном» [5].

Как обыкновенно бывает с характерами, подобными Суворовскому, недовольство плодило новые поводы к беспокойствам, а эти поводы в свою очередь питали и раздували недовольство. Одному генералу, занимавшему гражданскую должность, дали назначение в армию; у Суворова является опасение, не стал бы тот выше и не оттер бы от дела. Приняли из отставки другого, старшего; Суворов говорит, что «в состоянии переваривать только девятерых, а ныне понижен в десятые». Военная коллегия перестала называть его в своих указах «главнокомандующим», а просто писала чин и графство; является подозрение, — не предвещает ли это уменьшения власти, и всем ли, или ему одному. Прислали к нему на укомплектование рекрут меньше, чем в Польшу генералу Игельстрому; выводится заключение: «следственно я гарнизонный, а действующие они» [25].

Повторялось тоже самое, что было в Финляндии. Весною или в начале лета 1793 года он пишет Хвостову: «если продолжится с Французами, я волонтер на кампанию; говорю с зимы, у принца Кобурга и в иных частях: лучше обыкновенного вояжирования... В свое время приуготовляйте мне краткий отпуск в Петербург; о волонтерстве не открывайтесь, а сондируйте... Быть волонтером при дружеских армиях, по рангу моему неприличности нет, как таковыми бывают и владетельные особы, и ежели б можно было приобрести обычай или возможность — отбыть в текущее летнее время, как у Немцев будет огромная кампания, то бы я не дожидался и зимы». Так и случилось; дождаться до зимы у него не хватило терпения. Уже в приведенном письме он предупреждал Хвостова о необходимости занять денег, а в июне Курис пишет Хвостову о займе уже положительно и требует скорейшей присылки документов. т.е. копий с разных полученных Суворовым рескриптов и грамот. В том же месяце, Суворов шлет Государыне просьбу об увольнении его волонтером к союзным войскам, «по здешней тишине», на всю кампанию, с сохранением содержания, и о том же пишет графу Платону Зубову, поясняя, что давно без практики [26].

Была ли эта просьба отклонена безмолвием Государыни, или чрез посредство какого-нибудь лица, или же был послан категорический отказ, — остается не разъясненным. Во всяком случае, Суворов не истолковал отказа в невыгодную для себя сторону; по крайней мере в сентябрьском его письме к Хвостову читаем: «одна милосердная Монархиня меня паки в моем отечестве задержать благоволила, но надежен ли перед?» Два или три месяца спустя, он однако сознавался, что «последствия

Измаила гнали его заграницу, и не надежда его удержала, а дочь», которая не была еще пристроена. Поэтому он продолжал внушать Хвостову, что если при первой войне России, не будет назначен начальствующим армией «без малейших препон», то непременно отправится заграницу. Он сдержал слово. В 1794 году, при войне с Польшей, видя себя опять-таки не у боевого дела, Суворов послал 24 июля Государыне прошение: «всеподданнейше прошу всемилостивейше уволить меня волонтером к союзным войскам, как я много лет без воинской практики по моему званию». Тогда же он послал Хвостову доверенность на заем у частных лиц 11,000 рублей и написал графу П. Зубову о посланном прошении, прося содействия [27].

Хотя за несколько дней Суворов предупреждал Хвостова, что лишенный службы после Измаила, он решается поступить в союзные войска волонтером, но посланное им прошение все-таки упало в Петербурге в виде бомбы. Хвостов забегал; де Рибас, посредник и доверенное лицо Суворова в этом деле, хотел было несколько поправить его излишнюю скорость и горячность; но всякая к тому возможность была отнята самим Суворовым, который решился принять крутую меру против «тиранства судьбы». Поступок Суворова был, как принято говорить, в высшей степени неприличен. Только год назад он сделал тоже самое, пытаясь «перейти чрез Рубикон». а теперь вздумал повторить попытку, да еще при обстоятельствах отягчающих, ибо шла уже война с Польшей, и проситься в чужую службу, значило прямо показывать Государыне недовольство своей. Но Суворов уже привык разрубать гордиевы узлы свой судьбы, вместо их развязывания. Вероятно, Екатерина была недовольна назойливостью своего подданного и так плохо замаскированным его желанием — повлиять на её решение, касательно выбора лица для войны с Польшей, однако неудовольствия не выказала. Она только вторично отказала, но при этом подала ему некоторую надежду на боевую службу дома: «объявляю вам, что ежечасно умножаются дела дома, и вскоре можете иметь, по желанию вашему, практику военную много. И так не отпускаю вас поправить дел ученика вашего, который за Рейн убирается по новейшим вестям, а ныне как и всегда, почитаю вас отечеству нужным». Судьба однако сжалилась над ним и через несколько дней по получении рескрипта, Суворову открылась давно желаемая боевая арена [28].

Было бы ошибочно полагать, что чрез все его пребывание в южных областях, неизменно и постоянно проходило чувство недовольства, неудовлетворенности. скуки или тоски. Расположение его духа напротив менялось часто и только по

временам доходило до высокого градуса раздражения. По натуре своей Суворов не был бирюком, и натура брала свое. Надо принимать в соображение чрезвычайную подвижность его темперамента; надо иметь в виду, что все резкие выходки неудовольствия, зависти, ненависти хотя у него совершенно искренни, но имеют значение только узоров на картине его жизни, а не самого фона, В одном и том же письме он зачастую переходит от неумеренной требовательности к широкой снисходительности, от злейшего сарказма к словам миролюбия и уступчивости. «Что написал, лучше В не читать, сожгите этот вздор, — я в грусти», говорит он Хвостову в конце письма, после самых резких выходок и суждений первых страниц. Из переписки его приближенных и родных видно. что строй его жизни и службы вообще отвечал его желаниям. Зять его, князь И. Р. Горчаков, пишет например одному из своих сыновей, что Суворов «здоров, весьма доволен своим постом, живет и все идет по его воле и расположился так, что хоть до конца жизни так жить в Херсоне» [5].

Образ жизни Суворова в Херсоне также показывает в нем человека веселого и общительного, а не угрюмого, вечно и всем недовольного старика. Он праздновал все торжественные дни, обходя впрочем свои собственные именины я рожденье; на масленице катался с гор и давал у себя званые вечера с танцами, где и сам танцевал, перед Святой приказывал ставить на площади, близ своего дома, разные качели, для всеобщего увеселения, по открывал праздничный сезон сам, с некоторою торжественностью, в первый день Пасхи. Прежде всего он шел к обедне с толпою офицеров и из церкви возвращался вместе с ними домой разгавливаться; для того же приезжали к нему высшие чиновники города и почетные жители. Часов около десяти утра, Суворов выходил со своими гостями на площадь, одетый в полней форме, рассаживал значительных дам по местам, на горизонтальные качели, садился сам с одною из них, самою важною по положению мужа, и приказывал качать. В это время играла военная музыка, пели песенники. Покачавшись, он обходил и другие качели, садился с простыми горожанами, купцами, их женами и качался с ними. Перед вечером он уходил домой и угощал чаем сановников и людей именитых.

Близ города находилась тенистая роща, любимое летнее гулянье горожан; но после Потемкина она была запущена, и строение, в ней находившееся, нечто в роде вокзала, полуразвалилось. Суворов велел исправить вокзал, расчистить дорожки, усыпать их песком. Сюда, в Троицын день и в Семик, он приезжал обедать с кампанией офицеров; при этом играли полковые музыканты, пели песенники, а после обеда он

забавлялся в хороводах, но водил их не с девицами, а с офицерами же. В рощу посылались музыканты и песенники вообще по воскресеньям и другим праздникам; послушать их и погулять собиралась разнокалиберная публика из города. Вечером в эти дни бывали в вокзале танцы; приезжал туда и Суворов, которого гулявшие встречали громкими криками ура — Оставался он тут недолго, но не разыгрывал из себя важного хозяина, недоступную особу, а был приветлив и безыскусствен. Когда наступала зима и подходили святки, — у Суворова опять затевались вечеринки с танцами, с фантами и другими святочными играми, в которых он принимал живое участие, отдавая особенное предпочтение игре, называемой «жив — жив курилка». В городе его вообще очень любили и встречали приветливо; одною из главных тому причин была строгая дисциплина, введенная им в гарнизоне, а следовательно и устранение поводов к неудовольствию горожан на военных.

Здесь кстати привести некоторые особенности вседневной жизни Суворова, записанные со слов одного из его служителей. Вставал Суворов очень рано; камердинеру Прохору приказано было тащить его за ногу, коли поленится вставать. После того он бегал но комнатам неодетый, или по саду в одном нижнем платье и сапогах, заучивая по тетради финские, турецкие и татарские слова и фразы; затем умывался, обливался водой и пил чай, продолжая твердить урок. За чаем следовало духовное пение по нотам, потом Суворов отправлялся на развод и, возвратившись домой, принимался за дела и за чтение газет; обедал рано, выпивая рюмку тминной водки и закусывая редькой, а в болезни употреблял пенник с толченым перцем. Редко обедал один, в военное же время никогда; любил, чтобы за обедом шла оживленная беседа; имел для своего собственного употребления особую посуду; фруктов и лакомств не ел, вина пил немного, в торжественные дни угощал шампанским. В великий пост, в его комнате почти ежедневно отправлялась церковная служба; при этом Суворов служил дьячком. В церкви, на светлый праздник, христосовался со всеми и раздавал красные яйца, но сам не брал. Спал на сене с двумя пуховыми подушками под головой, прикрываясь простыней, а когда холодно, то синим плащом; не носил ни фуфаек, ни перчаток; в комнатах своих любил жар почти банный; в баню ходил не часто; парился в страшном жару и окачивался холодной водой. При туалете употреблял помаду и духи, преимущественно оделаван. Имел трех человек прислуги и фельдшера, но зачастую обходился и меньшим штатом. Любил животных и ласкал их, но дома не держал; иногда, при встрече с собакой, на нее лаял, а с кошкой — мяукал [29].

Хотя таким образом тон жизни Суворова на юге был вовсе не грустный, не скучный, но тем не менее недовольство существовало, таясь как искра под пеплом и при первом поводе высказывалось то тихо, то бурно, смотря по обстоятельствам и по настроению минуты. Выражалось это недовольство чаще всего в личных отношениях Суворова к людям, при нем состоявшим, и в злых сарказмах, испещрявших переписку с Хвостовым. Иногда он даже, как тогда говорилось, настраивал свою лиру и писал стихами, не длинно конечно, так как не имел никакого поэтического дарования, и стихотворство должно было составлять для него немалый труд. Одно четверостишие он написал, как сам сознается, находясь в грустном настроении, припоминая разные несправедливости судьбы к людям, заслуживавшим лучшей доли:

Voyez l'aveugle Beluzaire
Un Frederic dans sa misere,
Le grand Columbus d'outre mers
Emprisonne et dans les fers.

Другое стихотворение с намеками на разных лиц, иного свойства:

Tel est flatte par les promesses,
Un antre trompé par des caresses;
Colas intimide, touffu,
Par des egards et des refus
Seduit d'une esperance folle:
Le ministre jouant son rôle,
Prepare le gouffre et sourit;
Le preux Bayard enfin perit.
Ajax est plongé dans ses bornes,
Tenant la vache par les cornes.
Et un Tersite l'alaitit.
Ca est le monde perverti.

Не в таких сравнительно мягких формах выражалось дурное расположение духа Суворова, в его вседневной жизни и в ежечасных отношениях к людям приближенным. Тут он являлся нередко требовательным, капризным, несносным, когда не в силах был себя одерживать. Борьба с самим собою и обуздание своего темперамента составляли постоянную его внутреннюю работу. и эти усилия значительно умеряли вспышки его гнева, почти бешенства; но с годами борьба становилась все труднее,

тем паче, что с расширением значения и власти, ослаблялась и потребность быть постоянно настороже против самого себя. В описываемое время, под влиянием измаильского разочарования и разных обстоятельств, неровности его характера стали выражаться чаще и резче, и он сделался больше прежнего человеком *тяжелым*. Курис пишет Хвостову: «старик наш не перестает свирепствовать; мочи нет. Среди страшного числа дел непрестанно фигуря, вчера со мною хоть и расстаться, сегодня повинился. Я просился прочь. но обращение то остановило меня; было довольно изъяснений, какое и вам огорчение показал он... Дай Бог сил, чтобы снести все». Стало быть, Суворов чувствовал себя не правым и винился; черта хорошая, по много утрачивает своего практического достоинства, если вслед за извинением опять являлись взрывы гнева, Суворов очень хорошо сознавал в себе этот недостаток, а потому старался умалить его значение соответственными объяснениями. «Я иногда растение не тронь — меня»., говорит он в позднейшее время: «иногда электрическая машина, которая при малейшем прикосновении засыплет искрами, по не убьет». Но дело в том, что она сыпала искрами и без прикосновения к ней, и хотя действительно не убивала, но наносила рапы, особенно самолюбию. Вообще свойства Суворовской натуры были таковы, что приладиться к ней было делом мудреным, а потрафить на него всегда и во всем, невозможным. Иногда нельзя было разобрать сразу — доволен ли он или пет. В одном из своих писем к Хвостову, Курис говорит: «со стороны графа будьте спокойны; ей-ей он не сердится, по расположен; *суптельность* его характера всему виною» [30].

К числу дурных свойств характера Суворова принадлежала также нетерпимость, проявлявшаяся с особенною осязательностью, когда затрагивалась его военная репутация, его слава и заслуги. Один из участников второй Турецкой войны, секунд-майор Раан, написал и издал небольшую книжку, перечень военных действий, отчасти как очевидец, но большею частию со слов других. Он наделал в ней много грубых ошибок, иногда прямо противоречивших действительности, как наприм. при описании кинбурнского сражения, да и Фокшаны с Рымником, особенно последний, представил не в истинном свете. Суворов прочел книжку, усмотрел в ней посягательство на свою военную славу и написал в апреле 1794 года прошение в академию наук. В прошении он говорит, что Раан «сделал постыдное изъяснение о делах при Кинбурне, Фокшанах и Рымнике»; что таким образом «он дает другой толк и цену знаменитым происшествиям, к славе обоих дворов победоносного оружия»; что терпеть такой лжи невозможно, а потому «академии наук представляя сочинение

сие, которая благоусмотрит из реляциев, колико оное описание противоречущее, следственно и не имеющее внимания свету — уничтожить». Прошение это Суворов переслал к Хвостову, прося подать его по принадлежности и при этом не лестно отозвался и самом Раане, говоря, что он служил под его, Суворова, начальством, отличался неспособностью, состоял больше при чертежной, а потому ни в одном из упомянутых сражений участия не принимал, а между тем его, Суворова, прославил гайдамаком. Так как прошение это сохранено Хвостовым, вместе с другими бумагами Суворова, и существует в настоящее время там же, то надо думать, что Хвостов просто не исполнил приказания Суворова, признав его через чур притязательным и неуместным [31].

Как Суворов был ревнив к умалению его славы, так признателен за её оглашение и возвеличение. Почти одновременно с указанным письмом о Раане, он пишет Хвостову: «речь кронштадтского проректора, моего однофамильца, должна быть вам известна; он в ней до меня ласков, чего ради я присудил ему на домашние расходы по моей возможности 300 рублей, которые, как лежачих из моих доходов у вас уповаю нет, извольте занять и к нему при дружеском письме отправить» [6].

Вообще Суворов вел довольно большую переписку, преимущественно с Хвостовым, и больше всего от него же получал писем. Хвостов сообщает ему все происшествия, вести и сплетни, также свои предположения и «постижения», в которых критикой не отличается. Это истинный винегрет. «Каховский от взяток пооправдался, но принят холодно;... о вас благоволение сказывал Турчанинов;... Попов и граф Безбородко запутались в херсонских подрядах, а паче в крымской соли;... Попова счеты экстраординарной суммы бывшей войны, в 54 миллиона рублей, велено поверить Турчанинову» ни т. д. Суворовские письма не такого универсального содержания, но они полны разных соображений и догадок: о долговечности дружбы между графом Н. Салтыковым и Пл. Зубовым и происходящих оттого для него, Суворова, неудобствах; о возможности «просвистания» Шведским королем Финляндии и проч. Ведет он переписку и с другими лицами: с Турчаниновым, с гр. Пл. Зубовым, с принцем Кобургским, Карачаем, управителями именин и др. С Зубовым у него по-видимому наилучшие отношения; Суворов хвалит его Хвостову, пишет к нему самому вежливо, даже почтительно, но впрочем не таким тоном, как писывал Потемкину. Эти добрые отношения окрашивают в белый цвет и многое такое, что при других условиях было бы признано Суворовым несомненно черным. Так он с особенною благосклонностью отзывается об

одном из секретарей Зубова, Альтести, проходимце, интригане, человеке более чем сомнительной репутации, и даже пишет в его честь четверостишие:

> Altesti meprisant les traits d'un satellite,
> Près d'un illustre ami distingue le merite,
> Et soutient noblement l'hопneur d'un homme de bien.
> Remonte aux principes des Grecs et de Romains.

Эта аттестация так далеко отходит от истины, Альтести на столько был действительным сателлитом графа Зубова и составлял такую противуположность с классическими образцами добродетелей, что панегирик, помимо воли автора, может быть правильнее назван злейшею эпиграммой [32].

В переписке Суворова из Херсона находим также одно письмо к Зотову. Захар Константинович Зотов был первым камердинером Императрицы, и подобно её любимой камерюнгфере, И. С Перекусихиной, представлял собою силу не видную, но действительную. Хотя им обоим запрещено было Государыней говорить ей о ком бы то ни было в смысле похвалы или порицания, но они находили средство незаметно обходить это приказание. До них снисходили первые вельможи; в них заискивали люди сильные. Возвышением своим Платон Зубов обязан был отчасти Зотову; Потемкин, во время своего последнего пребывания в Петербурге, разговаривал с Зотовым о разных делах как с ровней, вероятно в надежде, что тот передаст что следует Императрице. Граф Безбородко помнил дни рождения и именин Зотова, Перекусихиной и даже некоторых других, менее значащих служителей, и всегда делал им хорошие подарки. Суворов, не доходя до такой близости и панибратства, поддерживал однако же добрые с ними отношения. Из Финляндии он пишет Хвостову, что Зотову «издревле обязан, как усердствующему приятелю»; из Херсона пишет ему самому, ибо получил от него письмо, вручителя которого Зотов рекомендовал благосклонному вниманию и покровительству Суворова. Суворов отвечает Зотову любезным, но коротким и приличным по тону письмом, называет его истинным приятелем, благодарит за услуги и обещает свою помощь подателю письма [33].

Не забывались также и другие люди, сделавшиеся Суворову почему-либо близкими; между ними не последнее место занимал сослуживец его в минувшую Турецкую войну. барон Карачай, которого он так отличил, и который чувствовал к нему с тех пор горячую привязанность. У Карачая родился в эту войну сын, названный в честь Суворова Александром; заочным крестным

отцом был, по просьбе Карачая, Суворов же. Карачай проживал после войны в Лемберге и, встретившись там с одним русским офицером, который знал Суворова лично и недавно его видел, зазвал его к себе и показал ему своего сына, Вслед за тем Карачай послал Суворову в марте 1793 года письмо, в котором изъявляет удовольствие, что он, Суворов, здоров; говорит, что маленький Александр учится прилежно, целует руки своего крестного отца и поручает себя его милости. Передавая поклон от своей жены, Карачай просит Суворова испросить соизволение Екатерины на зачисление маленького Александра в один из полков под его начальство и о пожаловании ему патента. Суворов обратился тотчас же к графу Зубову; просьба его была уважена, и Александру Карачаю пожалован патент на чин поручика. Суворов был чрезвычайно доволен успехом своего ходатайства, благодарил Зубова, отправил патент к Карачаю и приложил при этом наставление своему крестнику, как будущему военному человеку [34]. Это небольшое наставление есть довольно полная характеристика Суворова, как военного наставника, и заслуживает быть переданным вполне. (См. Приложение VI) [9].

Суворов любил давать военные наставления и не скупился на них в разных случаях, даже несколько рисуясь в роли наставника. Раньше приведенного случая с Карачаем, он напутствовал в службу старшего из своих племянников Горчаковых, князя Алексея, такими словами: «последуй Аристиду в правоте, Фабрициану в умеренности, Эпаминонду в нелживости, Катону в лаконизме, Юлию Цезарю в быстроте, Тюренню в постоянстве, Лаудону в нравах». Вскоре после отсылки Карачаю патента на чин и наставления, Суворову снова представился случай сказать поучение одному из своих приближенных, Курису, что он и сделал. Произошло это таким образом.

По случаю мира с Турцией и Польшей (после второго раздела), в Петербурге происходило торжество, на котором Государыня вспомнила и о Суворове. Пожаловав ему похвальную грамоту, где перечислялись его подвиги и последних лет строительные работы, Екатерина велела написать ему об этом рескрипт, прибавить эполет и перстень, украшенные брильянтами. ценностью около 60,000 рублей, и орден Георгия 3 класса, для возложения по его усмотрению на храбрейшего и достойнейшего из его подчиненных в минувшую войну. При этом произошла любопытная случайность: Екатерина подписала рескрипт 7 сентября, и в этот же самый день Суворов писал Хвостову: «при торжестве мира если бы мне какая милость, я ее не прошу, ниже желаю; лучше процент за долг измаильский». Пожалованный Георгий Суворов присудил состоявшему при нем

подполковнику Ивану Онуфриевичу Курису. Справедлив ни был выбор, сказать теперь доподлинно нельзя, но несомненно, что Курис отличался большими заслугами, особенно в кампанию 1789 года. Полковник Золотухин, командир Фанагорийского полка, стоял несравненно выше Куриса в боевом отношении, но он в предшествовавшем 1792 году был убит во время Польской войны. И так почти генеральская награда дана была Курису; возложение её происходило по Суворовскому обыкновению торжественно: Курис стоял на коленях, Суворов надел на него жалуемый крест и сказал наставление. Смысл наставления тот, что награда, быть может, слишком тяжела по своему значению, но это обязывает награждаемого заботиться о приобретении достоинств генеральских; честности, заключающейся в держании слова, в прямоте и в отсутствии мстительности; затем трудолюбия, бдения, постижения, мужества и, выше всего, глазомера. Суворов замечает при этом, что сам желал бы приобрести все то, что изложил в наставлении маленькому Карачаю. В заключение своего наставительного слова, он приводит последнее условие, необходимое генералу: непрерывное образование себя науками с помощью чтения [35].

Требуя от каждого генерала добродетели, глазомера и науки, Суворов считает, кроме того, непременным условием победы — тщательное и осмысленное обучение войск. В Херсоне он скорбит о некомплекте своих частей, о неприсылке рекрут и пишет Хвостову: «придется с Турками начать; флот их лучше нашего и люди выучены, а у нас ничего. Из сухопутных экзерцируются 8,000, из коих 3,000 не уступят никаким европейским, и непрестанно прибавляются... Нам ежегодно будет тяжелее начинать с Турками, они успеют в регулярстве». Придавая механическому обучению важное значение в смысле достижения регулярности, он пишет графу Зубову: «из писем видно, что тысячи три Турок обучались экзерциции при султане непрерывно;... из этого ваше сиятельство изволите усмотреть, что Турки получают вкус в экзерциции; это мне не очень приятно». Он обучал свои войска с особенным рвением, как будто накануне войны, и действительно не ошибся.

Совершавшийся в 1793 году второй раздел Польши показал Полякам, как близко их отечество подошло к своей конечной гибели. Противодействие их было подавлено силой. но материальная сила действует обыкновенно на поверхность, а не вглубь. Чем меньше сопротивление их могло выказываться наружу, тем больше оно назревало и организовалось внутри. Многочисленные и влиятельные польские эмигранты, рассеявшиеся по Европе в последние годы, возбуждали своих

соотчичей и поддерживали в них патриотическое чувство вместе с жаждою мщения. Ждали только удобного времени и смелого человека, который дал бы толчок. Таким явился литвин Фаддей Косцюшко, горячий патриот, даровитый человек, с чистою, незапятнанною репутацией. В марте 1794 г. он, прибыв из-за границы, поднял восстание в Кракове; быстро вырастая из первых успехов, оно пошло дальше и обхватило всю страну. В Варшаве, в начале апреля, произошли кровавые сцены избиения Русских в большом числе; в других местах повторилось почти тоже, только в меньшем масштабе, или обнаружились к тому попытки, и возбуждение умов стало проникать за польские пределы, в отторгнутые от Польши области.

На новоприобретенной Россиею территории находилось около 15,000 бывших польских войск, поступивших на русскую службу год назад. Влияние происшедших в Польше событий не замедлило на них обнаружиться. Один легкоконный полк но чьему-то тайному приказу собрался в свою штаб-квартиру и куда-то выступил, как оказалось потом, к польской границе. Эскадрон другого полка сделал в другом месте тоже самое. В третьем — целая бригада выступила из квартир в полном вооружении и снаряжении, пошла к турецкой границе и благополучно перебралась в Молдавию. Несколько эскадронов другой бригады направились к границе Польши, были встречены русским батальоном, вступили с ним в бой. понесли порядочный урон и, не в состоянии будучи опрокинуть батальон, разделились и частями продолжали свой путь, до новой встречи с Русскими. Остальные полки или обнаруживали довольно явственную наклонность к мятежу, или в них происходило скрытое брожение [36].

Как в Польше русские войска были захвачены восстанием врасплох, так и в русских пограничных местах катастрофа эта, с её последствиями, произвела переполох совершенной неожиданности. Потребовалось командировать в Польшу войска из наличных безотлагательно, стягивать другие поближе к опасным местам и принимать спешные меры против польско-русских полков. Граф П. Салтыков, начальствовавший в соседнем с Суворовым районе, засыпал Суворова разными требованиями на счет передвижения войск и высылки частей на подмогу, особенно кавалерии. Суворов, на основании недавно последовавших повелений о наряде части войск на крепостные работы и о приведении остальных в совершенную готовность к войне с Турками, отказывал Салтыкову и доносил об этом Императрице и графу Зубову. Салтыков обратился к нему наконец с требованием, опираясь на только что полученное высочайшее повеление;

Суворов отказал, так как вероятно вследствие всеобщей суматохи, подобного повеления не получил. Об этом он однако донес, прибавив, что еще раньше сделаны им подготовительные распоряжения к исполнению требований Салтыкова, но ожидается приказание. так как ему, Суворову, указаны другие задачи. Наконец, он получил высочайшее повеление от 27 апреля такого содержания: требуется общая связь в охранении границ польской и турецкой; посему графу Румянцеву поручается общее начальство над всеми войсками от пределов минской губернии с изяславскою до устья Днестра, т.е. подчиняются ему и Салтыков, и Суворов.

Четырьмя днями раньше этого повеления, последовало еще одно; однородное с данным Салтыкову. на котором тот в своих требованиях и основывался, но Суворов его получил или одновременно с указом о назначении Румянцева главнокомандующим, или всего одним днем раньше. Этим распоряжением предписывались следующие меры. Русских подданных, служащих в бывших польских полках, или уволить от службы, кто того желает, или перевести в другие внутренние войска, по назначению военной коллегии; таким же образом поступить с несостоящими в русском подданстве, но оставшимися верными. Так как из войск графа Салтыкова отделяется значительная часть для действий в Польше, под начальством князя Репнина, то Суворову занять все пространство от Егорлыка до Могилева и расположить войска так, чтобы пресечь бывшим польским полкам всякую возможность к сборам, к побегам или к чему-либо худшему, а затем приступить к их роспуску. Граф Салтыков будет делать тоже самое в своем районе; Суворову действовать с ним в полном согласии и единодушии. Вслед за этим повелением, Суворов получил еще одно, где говорилось о замысле Косцюшки поднять в Крыму восстание, перебить там всех Русских и сжечь флот, а потому предписывалось ему, Суворову, принять должные меры [37].

Суворов приступил безотлагательно к выполнению трудной задачи по обезоружению польско-русских войск. Этот спех, этот расчет — не упустить ни одного дня, доказали и при настоящем случае верность Суворовского военного взгляда. Впоследствии стало известно, что три легкоконные бригады и два пехотных полка предполагали 2 июня собраться для ухода в Польшу, и кое-где эскадроны начали было уже стягиваться, но прослышав про движение Суворова, приостановились: пусть-де пройдет куда его посылают, в Польшу, а пропустив его, тронемся и мы, расчет их оказался ошибочным. Разослав по заранее составленному плану несколько отрядов и сам выступив с одним из них (всего на это

употреблено 13,000 человек), Суворов со всех сторон опутал бывшие польские войска как бы паутиной. Пути бегства за границу были отрезаны, взаимная связь частей пресечена, пункты для временного содержания обезоруженных учреждены, пути для препровождения их назначены. Русские отряды обыкновенно прибывали в назначенный пункт внезапно, захватывали и обезоруживали прежде всего главный караул, затем распространялись по окрестным селениям и делали то же самое; подобным же образом поступали они и со всеми людьми, прибывающими в полковую штаб-квартиру. Приказано было вести дело с осторожностью и мягкостью до тех пор, пока не будет оказано явного сопротивления; так и исполнялось, и сопротивления нигде не встретилось. Вся операция была не только хорошо обдумана, но и с замечательною точностью исполнена. Все обошлось без крупных недоразумений и ошибок; дело началось 26 мая выступлением Суворова из Балты, а окончилось 2 июня в Белой Церкви: 8000 человек обезоружены на протяжении нескольких сот верст мирно, не прибегая к употреблению оружия, без пролития капли крови [38].

Успешно, но не в такой степени гладко и не так скоро, было окончено разоружение и распущение бывших польских полков и в районе графа П. Салтыкова. Строгий, требовательный Румянцев не был им доволен, тогда как Суворов удовлетворил его вполне. Об окончании сложного и трудного дела Румянцев донес Императрице; Екатерина поблагодарила его и поручила передать её благодарность Суворову.

Был доволен Румянцевым и Суворов. Как только в мае Румянцев принял общее начальство, Суворов приветствовал его письмом: «вступая паки под высокое предводительство вашего сиятельства, поручаю себя продолжению вашей древней милости». В разгар операции обезоружения и роспуска польских войск, он в частных письмах своих продолжает отзываться о Румянцеве с почтительным уважением, величая его своим «почтенным начальником, Велисарием, Нестором». Прожив в Белой Церкви не менее 10 или 15 дней, для следовавших за оконченною операциею распоряжений по выдаче паспортов, жалованья и проч., — Суворов проехал к Румянцеву, в его имение, недалеко от Киева, с нелицемерною радостью с ним свиделся и обнял его от всей души. Румянцев принял его приветливо, оставил у себя обедать, беседовал с ним о текущих событиях, о положении Польши. Вероятно не миновала их беседа и доброго старого времени, — любимая тема всех стариков; а у Румянцева с Суворовым было вдобавок много общего в пережитом, было о чем вспомнить из старины, начиная с Семилетней войны, когда

Суворов в чине подполковника состоял у Румянцева под начальством, и ему же обязан был первым засвидетельствованием пред Императрицей своих военных способностей и боевых заслуг [39].

Затем Суворов вернулся восвояси. Он распределил свои войска по лагерным стоянкам, сообразно с обстоятельствами, происходившими в Польше, и ввиду ожидаемого со стороны Турции почина неприязненных действий. Значительную долю войск он сосредоточил в Немирове, куда и сам переселился. Ожидаемая война с Турцией и уже открывшаяся с Польшей, питали в нем внутреннюю тревогу, и в голове его постоянно вертелся вопрос: что лучше — в Польшу или в Турцию? В Турцию казалось как будто лучше, но являлось опасение — быть задержанным в Херсоне «кандалами», т.е. не войной с Турцией, а одним предлогом ожидания войны. Если же война действительно состоится и будет принят прошлогодний его план, то новое опасение: «среди операциев будут выходить правила, обстоятельствам противные, и мешать производству его (плана)»; наконец «могут изменить план на иного, а меня еще посвятить каштанным котом». Потом стали ходить слухи, будто этот план передан на рассмотрение в военный совет; Суворов же, по его собственным словам, с подобными учреждениями «никогда знаться не хотел», по той простой причине, что заседающие там «политические люди не годятся в истинные капралы». Наконец Суворов пришел к окончательному убеждению: «не сули журавля в поле, дай синицу в руки», причем «журавлем» была турецкая война, а «синицей» — польская [40].

Желание получить «синицу в руки», по мере развития военных действий обострялось; Суворов с напряженным вниманием следил за всем происходившим, прикидывал свой взгляд, свою мерку, и план *его собственных* действий сложился у него в голове совсем готовый. Он пишет Хвостову: «в непрестанной мечте, паки я не в Польше; *там бы я в сорок дней кончил*»; слова по-видимому хвастливые, но в действительности основанные на верном расчете, который впоследствии оказался очень близким к истине. с Румянцеву он пишет почти тоже самое; жалуясь на «томную праздность», в которую невинно погружен со времен Измаила, он просит: «изведите меня из оной; мог бы я препособить окончанию дел в Польше и поспеть к строению крепостей». Около этого же времени он обратился к Государыне о просьбой — отпустить его на службу за-границу; но как мы уже знаем, получил ответ отрицательный. Почти таков же был ответ Румянцева насчет Польши: очень любезный, но уклончивый; Суворов написал ему снова: «ваше сиятельство в писании вашем

осыпать изволите меня милостями, но я все на мели». Несколько позже, в начале августа, он сообщает де Рибасу, что кроме посланных в Петербург писем об увольнении его, Суворова, за-границу, онъпосдал еще другие, более решительные; объясняет, что жизнь ему в тягость, что он перешел Рубикон и не изменит себе; что не будет игрушкою какого-нибудь гр. Н. С. (Салтыкова, управлявшего военным департаментом); что уже несколько лет, как ему все равно где умереть, под экватором или у полюсов и т. под. Письмо свое он заключает возгласом: «увы, мой патриотизм, я не могу его выказать; интриганы отняли у меня к этому все средства» [41].

И действительно, как это ни странно кажется, но Государыня не думала посылать против Поляков своего даровитейшего полководца. Это видно из переписки некоторых государственных людей того времени и из приводимого в ней свидетельства графа Безбородко. Екатерина предоставила главную роль князю Репнину, который находился с театром войны в близком соседстве, но разве это могло служить достаточным основанием и разве она не знала малую способность Репнина, его медлительность и нерешительность? Еще недавно, разговаривая с ним о неудачно окончившейся кампании союзников против Французов, и выслушав отзыв Репнина, что союзные предводители, отретировавшись, поступили мудро, ибо спасли свою армию, — она заметила насмешливо: «не желала бы я, чтобы мои генералы отличались такою мудростью». Разве она не понимала, со своим светлым умом, пто при страстном возбуждении Поляков, при их опьянении событиями того года и при их национальном темпераменте, каждый потерянный Русскими день придавал им силы, физические и нравственные? Наконец минуя все это, разве не стоила внимания просьба её победоносного вождя об отпуске за-границу, лишь бы получить «практику»? Ведь находила же Государыня, когда Суворов уезжал из Петербурга к месту своей службы, что «он там у себя больше на месте»; а разве на боевом поле, перед лицом врагов, он не был еще больше на своем месте? Нельзя не сознаться, что сетования Суворова на поворот судьбы после Измаила или, лучше сказать, после свидания его с Потемкиным в Яссах, были в основании справедливы. Видно, Потемкин еще жил в памяти Екатерины, и наветы его на Суворова посеялись глубоко. Да и какая богатая почва для наветов эта ясская беседа, вместе с возраставшими странностями и дурачествами победоносного чудака, которые, по собственным словам Екатерины, способны были прямо вредить ему самому [42].

Румянцев понимал Суворова лучше. Ни Потемкин, ни

систематическое шутовство Суворова не производили на него дурного влияния, и высокое его мнение о редких военных качествах старого его подчиненного, с годами только возрастало. Это потому, что не занимая в мировых летописях места в ряду первоклассных полководцев, Румянцев все-таки был истинным военным человеком и чуял в Суворове то, что было скрыто от других, в том числе и от Екатерины. Оттого и Суворов, понимая в Румянцеве лучшего своего ценителя, чувствовал к нему особенную преданность и уважение, не внешнее, как к Потемкину, представлявшему собою силу, а внутреннее, чуждое всяких расчетов, основанное на признании в нем достоинства, В настоящем случае, при наступившей войне с Польшей, разочарованный, обескураженный Суворов кончил тем, что возложил свою надежду на Румянцева. И надежда эта его не обманула.

Не сразу выяснились военные обстоятельства, не вдруг можно было решиться, особенно Румянцеву, на самостоятельный шаг, не входивший в план действий, утвержденный в Петербурге. Но когда сделалось ясно, что дело затягивается, что Поляки обнаруживают замечательную энергию, далеко не лишены искусства (о чем писал Румянцеву и Суворов), и становилось весьма вероятным, что войну придется продолжать и в будущем году, — то Румянцев решился, без сношения с кабинетом, на свой страх отправить на театр войны Суворова. Правда, Суворов был далеко, в Украйне, и ему предстоял длинный поход, чуть не втрое длиннее, чем Репнину из Литвы; но опытный, прозорливый полководец понимал, что военные дарования Суворова восполнят этот недостаток с лихвою. Августа 7 Румянцев подписал на имя Суворова предписание и послал к нему с курьером. В бумаге говорилось, что в Турции все спокойно и ничего худого не предвидится; Поляки же становятся все более опасными, а потому признается нужным «сделать сильный отворот сему дерзкому неприятелю от стороны Бреста, подлясского и троцкого воеводств», дабы облегчить достижение военных целей в других частях театра войны. Для этого назначается Суворов; ему дается два отряда (на пути от Немирова к Бресту), каждый из 3 батальонов, 5 эскадронов и 250 казаков с 4 полевыми орудиями; предводительство над ними поручается ему «только на сие время»; желательно бы, чтобы он усилил эти войска частью своих, находящихся в брацлавской губернии, но отдаленность этого края и требуемая поспешность делают это желание почти невозможным (слово «почти» прибавлено в черновой бумаге рукою Румянцева), так что прибавить войска придется из других мест. Приказ свой Румянцев дополняет признанием, что Суворов

«всегда был ужасом Поляков и Турок», что «имя это подействует лучше многих тысяч», и говорит в заключение, что с большим нетерпением ожидает ответа, особенно насчет усиления новыми войсками двух экспедиционных отрядов.

Несмотря на то, что ему выпадала на долю только демонстрация, Суворов схватился за возложенное на него поручение как за якорь спасения, конечно в надежде придать своим операциям другое значение, и уже 14 августа выступил из Немирова в поход. Он взял с собою один гренадерский и один карабинерный полки, два егерские батальона и 250 казаков и о своем распоряжении послал Румянцеву донесение уже с дороги [43].

Глава XV. Польская война: Крупчицы, Брест; 1794.

Обзор предшествовавших событий в Польше. — Выступление Суворова и соединение в пути с другими отрядами; переписка с Румянцовым; недовольство своей ролью. — Дурные вести; ускорение похода; меры осторожности; обращение с войсками. — Захват под Дивином и Кобрином двух польских отрядов; движение к Крупчицам. — Крепкая позиция Поляков; фронтальная атака и обходное движение Русских; ретирада неприятеля. — Ночной поход к Бресту; две переправы; атака фронтальная с охватом флангов и угрожением тылу; ретирада Поляков; отрезание их пути отступления и полное поражение. — Следствия победы. — Невольная остановка в Бресте; русский лагерь; учебные занятия; неутомимая деятельность Суворова.

Польская революция 1794 года, вызванная предшествовавшими событиями, особенно разделами Польши, подготовлялась с гродненского сейма. Поляки хорошо хранили тайну и только в последнее время, пред взрывом, стали возбуждать некоторые подозрения; однако систему эту до конца не выдержали, приступив к делу слишком рано, недостаточно подготовившись. Виною тому был один случай. На основании постановлений гродненского сейма, часть польских войск подлежала роспуску; когда генерал Игельстром, командовавший русскими войсками в Польше, потребовал исполнения, то большая часть польских генералов повиновалась, но начальник

одной конной бригады, Мадалинский, ослушался, выступил из Пултуска, усилился по дороге несколькими мелкими отрядами, напал внезапно на русский пехотный полк, потом на прусский эскадрон, разбил их и, собирая дорогой контрибуции, подошел к Кракову. Туда поспешил из-за границы Косцюшко, заранее избранный главным вождем восстания, и принужден был обнародовать преждевременно инсурекционный акт. Таким образом началась революция, а вслед затем открылась и война.

Вспыхнули частные восстания в разных местах Польши. Игельстром сосредоточил в Варшаве до 8000 русских войск; русские генералы Денисов и Тормасов погнались за Мадалинским; Пруссаки вступили в польские пределы; наблюдательные отряды их продвинулись далеко вперед, к разным пунктам. Косцюшко бросился на Тормасова и Денисова, разбил их под Рославицами и взял несколько знамен и пушек. Бой был кровопролитный, пленных очень мало, потому что Поляки не давали пощады; так по крайней мере доносил Косцюшко. Весть о победе сильно возбудила энергию инсургентов. В четверг на страстной неделе поднялась Варшава; русский гарнизон, внезапно атакованный, не подготовленный к отпору и вообще дурно предводимый, потерял до 3000 человек, 40 орудий и, с трудом пробившись за город, отступил к Ловичу. Вслед затем вспыхнуло восстание в Вильне, и хотя результаты его были не столь для Русских бедственны, но одинаково плачевны, благодаря беспечности, оплошности и неспособности высшего начальствования. Небольшой русский гарнизон, под начальством генерала Арсеньева, был частью перебит, частью забран в плен сонным, частью пробился в Гродно и присоединился к отряду генерала князя Цицианова. Последнему грозила та же опасность, но он предотвратил ее, выступив за город и пригрозив бомбардированием, при первой попытке жителей к восстанию.

Надежды инсургентов быстро выросли. В сущности сделано было еще немногое, но для экзальтированной массы важнее всего первые шаги, а они оказались очень удачными. Косцюшко, наименованный генералиссимусом, провозгласил всеобщее вооружение; произведены разные поборы, удвоены налоги; армия организовалась и, разделенная на корпуса, сосредоточилась в важнейших пунктах. Собирались в разных местах и русские отряды, а другие готовились вступить в Литву с севера и востока; главное начальство над всеми этими силами было поручено князю Репнину. Австрийцы собирали свои силы на галицийской границе; Пруссаки двигались под личным начальством короля, который, соединившись с Денисовым, разбил Косцюшку при Щекоцине. Кроме того сдался Краков, и генерал Дерфельден,

перейдя Буг, разгромил Зайончека, занял Люблин и проник до Пулав. Косцюшко начал движение к Варшаве и, благодаря медлительности союзников, совершил его благополучно и в полном порядке.

Таким образом второе действие разыгрывавшейся драмы не походило на первое, но ничего похожего на катастрофу еще не произошло, а потому Поляки, имея во главе всеми обожаемого Косцюшку, не падали духом, и народившиеся вскоре обстоятельства еще более укрепили их надежды на благополучный исход их рискованного предприятия.

Следуя за Косцюшкой, Прусский король дошел в конце июня до Торчина и здесь расположился. Предпринята была осада Варшавы, но ведена настолько вяло и несвязно, на сколько искусна и энергична была Косцюшкина оборона, Недостаток продовольствия и снарядов, развившиеся болезни и дезертирование значительно ослабили прусскую армию и принудили ее перейти от осады к простой блокаде. Прусский король прибегнул было к новому средству, — к угрозам, к запугиванию Варшавы, но оно конечно не подействовало: Польский король вежливым письмом указал заносчивому противнику, что между прусским лагерем и Варшавой находится польская армия Косцюшки, с которою надо считаться. Все опять пошло по прежнему [8].

В эту пору двинулся на театр войны Суворов. Выступая утром 14 августа в поход, он взял с собою не 8,000 человек, как показывают все его историографы, а немногим больше половины этого числа, потому что ввиду польской революции и недавнего разоружения польско-русских войск, присутствие достаточных военных сил в пограничном районе было необходимо. Для увеличения же своего корпуса, он распорядился заблаговременною отправкою нескольких мелких отрядов к Варковичам, местечку, лежавшему на пути его следования, а еще дальше должны были к нему присоединиться отряды генералов Буксгевдена и Маркова, назначенные Румянцевым как ядро экспедиционного корпуса [3].

При описании событий давно минувших, обыкновенно недостает подробностей бытовых, сведений об обыденной, будничной жизни, тогда как от них именно и зависит настоящее освещение предмета. К счастию, воспоминания одного из мелких участников войны 1794 года, дают возможность хоть отчасти пополнить этот недостаток в настоящем случае. и изобразить Суворова не с одной только стороны.

Рассылая приказания о выступлении в военный поход частей войск, не состоявших до того времени под его начальством,

Суворов приложил и свою «Науку побеждать», или военный катехизис, о котором будет подробнее говориться в одной из последующих глав. Это военно-педагогическое наставление приказано было офицерам и унтер-офицерам выучить наизусть, а рядовым читать вседневно, чтобы хорошо запомнили. Лицо, передающее этот факт, свидетельствует, что наставление Суворова заучивалось так твердо, как Отче наш.

В поход приказано взять ротам и эскадронам по одной повозке для офицеров и по одной артельной для солдатских котлов, круп и соли; при полках иметь патронные и палаточные ящики, сухарные фуры с 8-дневным провиантом и но две лазаретные кареты. В солдатских ранцах велено уложить сухари также на 8 дней, кроме того иметь запасную обувь и все необходимое людям для содержания себя в опрятности; зимнего платья не брать, кроме одних плащей; быть в кителях. Сам Суворов оделся также по летнему, в белый колет или китель, и взял синий суконный плащ; оружие его состояло из небольшой сабли или тесака на поясной портупее. Походная обстановка его ограничивалась последнею степенью возможности; при нем состояли — камердинер Прохор, повар и один казак, всюду за ним следовавший; экипаж был единственный — кибитка, куда и помещался весь его небольшой и незатейливый багаж; сам он лично ею не пользовался, будучи постоянно верхом на казачьей лошади, вплоть до самой Варшавы [4].

Августа 22 отряд Суворова прибыл в Варковичи, сделав почти 300 верст, без дневок; присоединение других частей было рассчитано и исполнено так хороню, что состоялось на следующий день, хотя им пришлось сделать от 350 до 400 верст. Тут получены первые сведения о Поляках, стягивавшихся в окрестностях Бреста Литовского. Надо было спешить, между тем обоз требовал починки, и запас провианта значительно уменьшился, а впереди не было ни магазинов, ни времени на их учреждение. Суворов велел печь хлеб и исправлять повозки, что заняло два дня, и затем 24 числа выступил дальше. Сделав 150 верст, отряд остановился в Ковле и поджидал тут больше двух суток отставшие обозы, которые вследствие дождливой погоды и разведенной по дорогам сильной грязи, не поспевали. В Ковле присоединился к Суворову Буксгевден, а несколько дальше и отряд Маркова, но без начальника, который за болезнью остался на месте. Теперь отряд Суворова был в полном составе и простирался до 12-13,000 человек [5].

Суворов при всякой возможности отправлял к Румянцеву не длинные, но обстоятельные донесения о своих распоряжениях, о соединении отрядов, о собираемых относительно неприятеля

сведеньях. Румянцев был очень доволен получаемыми донесениями, благодарил Суворова и писал ему: «вижу в сем походе наисильнейшее действие ваших несравненных воинских качеств». Румянцев тем охотнее отдавал справедливость своему подчиненному, что только что получил благодарность Государыни за свои распоряжения и за назначение в экспедицию Суворова. Екатерина писала, что назначение Суворова ей приятно, удостоверяет ее в скорых и несомнительных успехах и дает ей твердую надежду, что при руководительстве Румянцева, при деятельности и предприимчивости Суворова, война будет окончена до зимы. Недоволен был только Суворов, во-первых медленным своим движением вследствие ненастья и бездорожья и затем тою ролью, которая ему предназначалась в близком будущем и недавно подтвер-дилась [6].

Когда разразилась польская революция, и Поляки открыли военные действия, было направлено против них несколько отрядов с разных сторон, и главное начальство над ними, а равно главные наступательные действия с северо-востока, поручены князю Репнину. На Румянцева возложена оборона всего пограничного края от минской губернии до Турции, в случае враждебных попыток со стороны Поляков, а также содействие Репнину в его наступательных действиях, соответствующими военными операциями и даже советами. Когда, по мнению Румянцева, наступило время, он отрядил Суворова для демонстративного движения на Брест. Суворов отправился в поход с тайною надеждой — расширить возложенную на него задачу, но теперь наступило разочарование. Видя, что дела идут вообще не важно и что Репнин серьезных наступательных действий не предпринимает, Екатерина подтвердила ему приводить предписанный план в исполнение с большим спехом и энергией. Вместе с тем, не зная еще о возложенном на Суворова поручении, Государыня повелела Румянцеву прикрыть и обеспечить левый фланг наступающего Репнина сильным отрядом, который препятствуя вместе с тем вторжению Поляков в Волынь, должен был двинуться к Бугу и занять правый его берег от галицийской границы до Бреста. Начальнику этого корпуса предназначалось занять Брест, укрепиться в нем и оборонять линию Буга от неприятельских покушений, содержа связь с нашими войсками в Польше и Литве и с Австрийцами в люблинском и хелмском воеводствах. На его обязанность также возлагалось устройство в Бресте магазинов и пополнение их провиантом для себя и для других [7].

Таким образом Румянцев упредил Императрицу, и хотя конечная цель последующих действий Суворова, по исполнении

им первоначальной задачи, оставалась неопределенною, но производимое Суворовым движение соответствовало задаче, указываемой Екатериной. Румянцев передал это повеление по принадлежности, развив его в некоторых подробностях и приказав Суворову присоединить к себе на пути еще один пехотный полк и несколько орудий полевой артиллерии. Но на Суворова это обозначение географического предела его будущим успехам, произвело весьма неприятное впечатление. Сгоряча он написал записку, кому — неизвестно, вероятно Репнину [8]. «Невежды петербургские не могут дать правил российскому Нестору, одни его повеления для меня святы. Союзники ездят на российской шее; король Прусский даже и варшавских мятежников обращает на Россиян, если то не из газет взято. Мне погодить о себе публиковать, чтоб оставалось в запасе нечто нечаянности до первого побиения, коли благословит Бог. Время драгоценнее всего. Юлий Цезарь побеждал поспешностью. Я терплю до двух суток для провианта, запасаясь им знатно на всякий случай. Поспешать мне надлежит к стороне Бреста, ежели между тем мятежники уже не разбиты, но не для магазейн-вахтерства (как прежде кондукторства); есть младшие,... или оставить все. Там мне прибавить войска, идти к Праге, где отрезать субсистенцию из Литвы в Варшаву».

Как ни горька была Суворову перспектива «магазейн-вахтерства», но и до него добраться было делом трудным. Препятствия возрастали, дурные вести умножались. Из Пруссии донеслась молва, что Прусский король, предпринявший осаду Варшавы вместе с русским генералом Ферзеном, а потом перешедший на блокаду, — принужден был восстанием в тылу отступить в свои земли. Слух этот, если был справедлив, коренным образом изменял взаимное положение воюющих, придавал Полякам новую нравственную и физическую силу и мог значительно затруднить Репнину и Суворову исполнение их плана, Как будто предвозвестником такой дурной новости, был прорыв польского отряда в минскую губернию и усилившееся там между шляхтою брожение, что встревожило Румянцева и заставило его передвинуть некоторые войска. Это неожиданное обстоятельство было также причиною, что Орловский полк, назначенный на усиление Суворова, остался по прежнему в распоряжении местного губернатора. По доносившимся вестям, Поляки усиливались в Бресте, дошли будто бы до 20.000 человек и готовились к наступательному движению. Все это обязывало Суворова к особенной осмотрительности и для многих на его месте послужило бы поводом к замедлению похода и к продолжительной переписке, но на него произвело действие

противуположное. Он поддерживал сношения с кем нужно, но не выпускал из своих рук инициативу, в расчете, что будет гораздо лучше, если не он станет сообразоваться с Репниным и Салтыковым, а они с пим. Независимое его от Репнина положение и дальность Румянцева, дозволяли Суворову поступать таким образом; он решился удвоить энергию своих действий и 31 августа тронулся в дальнейший путь, предшествуемый казачьим авангардом бригадира Исаева, силою в 800 коней [9].

До сих пор движение Русских производилось при соблюдении одного главного условия — быстроты; скрытность не требовалась, так как неприятель был еще далеко. Суворов часто объезжал войска, встречаемый обыкновенно дружными приветственными криками батальонов, раскатывавшимися по всему протяжению походной колонны. Иногда он подъезжал к тому или другому полку, ехал шагом, беседуя с солдатами и офицерами, узнавал старых сослуживцев. вспоминал с ними про минувшие походы и дела, давал знакомым солдатам одобрительные прозвания — Огонь, Орел, Сокол. Бывало и так, что беседуя на походе с войсками, он проезжал мимо какого-нибудь батальона или полка не останавливаясь; это значило, что он полком за что-нибудь не доволен, и такая немилость продолжалась иной раз не маю времени. Если где-нибудь происходил беспорядок, то не давая виду, что его заметил, Суворов проезжал мимо, как бы в дремоте; зато потом призывал к себе полковника и премиер-майора ни жестоко им мылил голову.

Но теперь, когда неприятель был близко, и кроме быстроты требовалась скрытность движения, поход производился в полной тишине, не давалось сигналов, не было слышно ни песен солдатских, ни криков, ни музыки. Бывало так, что подымались с ночлега или с роздыха, по заранее отданному приказу — *когда петух запоет*. В таком случае Суворов, не обозначая времени подъема заранее, выжидал, когда люди достаточно отдохнут, и тогда, хлопнув несколько раз в ладоши, громко пел петухом. Причуду эту можно между прочим объяснить желанием — замаскировать расчет времени для предстоявших действий не только от населения, но и от своих войск, в предосторожность от шпионов, так как в рядах находилось некоторое число офицеров и солдат бывших польских войск. Трудность походного движения наверстывалась, когда можно, его продолжительностью; приходилось войскам двигаться- часов по пяти сплошь, без привала и остановок. Кто уставал, тот выходил из фронта в сторону и отдыхал; уставших до упада подбирал ариергард и подвозил на подводах. Артельные повозки с кашеварными котлами выезжали обыкновенно вперед, чтобы заручиться

временем для приготовления пищи при следующем роздыхе. На дороге всюду было тихо и спокойно; евреи поставляли исправно порционный скот и другие предметы продовольствия; маркитанты ни в чем не нуждались. Приходилось лишь забирать заготовленное на лугах сено, а иногда и овес в снопах [10].

На пути Суворова, в 90 верстах от Ковля, лежало м. Дивин, куда продвинулся передовой польский отряд, состоявший из кавалерии. Сторожевая служба велась в нем так небрежно, а движение Русских производилось так скрытно, что передовая партия казаков из 50 коней, подойдя на рассвете к Дивину, наткнулась на Поляков и тотчас же их атаковала. На выстрелы примчалась еще сотня казаков, поддержала атаку, и польская партия, приблизительно в 150-200 человек, была изрублена или исколота; человек 25 попались в плен, спаслись немногие. Дело окончено живо; когда подошел казачий авангард, оставалось только хоронить убитых. За казаками пришла пехота, прибыл и Суворов. Жители местечка и пленные показали, что в Кобрине, за 35 верст отсюда, расположен авангард корпуса Сераковского, силою в 500 человек пехоты и кавалерии, а проезжий священник еще раньше дивинского дела сообщил, что Поляки центрируются к Бресту. Генералы советовали Суворову выждать, пока казаки соберут по дороге к Кобрину более обстоятельные сведения, но Суворов не согласился. Он считал более предпочтительным — накрыть неприятеля внезапно, чем движением партий открывать ему себя и свои намерения, и потому велел выкормить лошадей и идти дальше.

Это было 3 сентября. Когда наступила ночь, Суворов поехал в авангард, настиг его на привале в лесу и лег на короткое время у костра вздремнуть. Не было еще полуночи, когда Исаев поднял свой отряд и выступил в путь; за ним следовали 10 эскадронов регулярной кавалерии в виде резерва; на расстоянии нескольких верст шла остальная конница отряда, а за нею уже пехота. Дивинский опыт скрытного похода и нечаянного удара удался; Суворов решился его продолжить, зная как подобные погромы сокрушают нравственные силы впечатлительного и малоопытного противника. С небольшою партией казаков и с Исаевым, он ускоренным аллюром поехал вперед. В нескольких верстах от Кобрина они наехали на придорожную корчму и расположились тут на отдых. На расспросе еврей-корчмарь объяснил, что Скраковского ждут в Кобрине завтра, в числе 20,000, и что часть его сил уже находится перед городом в лагере. Тем временем подошел Исаевский авангард. Продвинулись ближе к городу, казаки сорвали аванпосты, помчались дальше и, не давая Полякам опомниться, одним ударом порешили все дело. Поляки

знали уже о движении Русских, но никак не предполагали встречу с ними такой близкой. Оттого кобринский отряд был захвачен врасплох; люди спали, и спросонья засуетились, не успевали отвязывать лошадей от коновязей, а обрубали поводья или убегали пешие, так что казакам досталось до 300 лошадей. По словам пленных, Скраковский сначала предполагал прибыть с корпусом своим к Кобрину, дабы ударить на Пинск и истребить отряд бригадира Дивова; но узнав про наступление Русских со стороны Ковля, отменил свое намерение. Вслед затем он решил притянуть кобринский авангард к главным силам; к чему этот отряд уже и приготовился, отправив накануне обозы; даже командующий генерал часа за 1V2 до дела уехал к Бресту. Таким образом кобринский польский авангард был истреблен или взят в плен (всего в нем состояло до 400 человек) единственно потому, что Русские не потеряли в Дивине и в дальнейшем движении ни одного лишнего часа. Были они вознаграждены еще с другой стороны: в их руки достался кобринский провиантский магазин, небольшой, но довольно хорошо снабженный, а терять время на заготовление продовольствия они не могли. И однако, все-таки пришлось хоть ненадолго, отсрочить развязку. Обозы притащились к Кобрину насилу, до того лошади были изнурены бездорожьем, и вследствие этого неустранимого препятствия, Суворов вынужден был тут остановиться на остаток того дня и на весь следующий [11].

Урон Русских в кобринском деле был не велик людьми; более ощутительную потерю понесли они в лошадях; Поляков же полегло много, притом почти все наповал. Суворов приказал разыскивать на боевом поле раненых и свозить их в Кобрин, где открыл госпиталь, а для погребения убитых велел собрать жителей. Засим он принялся наводить справки о польских силах и донес Румянцеву, что ему, Суворову, предстоит быть в постоянном движении, так как Поляки в разных местах усиливаются. Он писал между прочим, что просил Дивова идти на подкрепление по направлению к Бресту и о том же писал Репнину, но сомневается в исполнении этой просьбы, а потому ходатайствует о содействии. В этом обстоятельстве сказалось неудобства двуначалия Румянцева и Репнина на двух частях одного театра войны, против чего Суворов постоянно ратовал всю свою жизнь. Только благодаря военным качествам Суворова, это неудобство осталось без вредного влияния на выполнение возложенной на него задачи.

Пятого числа, рано утром, показались две неприятельские конные партии против правого фланга и фронта позиции русских войск, занятой в ожидании предполагаемого наступления со

стороны Сераковского. Суворов приказал Исаеву, не вступая с партиями в серьезное дело, задерживать их. Вечером был захвачен пленный, который показал, что Сераковский до последнего времени считал своими противниками в смежном краю Буксгевдена и Маркова, что он слыхал о движении с юга Суворова, но полагал его еще в окрестностях Варкович, узнал же о его близком соседстве лишь в Крупчицах, куда перешел из Бреста. Ко всему сказанному пленный прибавил, что Скраковский на другой день собирается атаковать Русских. Поверив этому известию, Суворов решился выждать атаки, отвел все тяжести назад, в особый вагенбург, под защиту одного пехотного полка и казаков, и так как позиция была во многих отношениях не выгодна, то ночью, часа в два, продвинулся верст 5 вперед и занял новую. Поляки однако не показывались. Тогда Суворов решился уже не выжидать их, а идти самому. В 7 часов утра 6 сентября войска тронулись в путь, казаки завязали перестрелку с польскими разъездами и захватили несколько пленных. Пленные показали, что Скраковский предпочел остаться на занятой им крепкой позиции, за болотом, под защитою батарей, где находится и теперь.

Русские перешли реку Мухавец — пехота и артиллерия по мосту, конница в брод; в 8 часов утра они были уже в 3 верстах от неприятеля и перестроились из колонн в боевые линии. Поляки открыли артиллерийский огонь из своих орудий большого калибра; русская артиллерия стала отвечать им часом позже. Польские войска были расположены за ручьем, по окраине топи шагов в 200 шириною, окаймлявшей все течение ручья; в тылу их находился крупчицкий монастырь, вправо и влево подымались небольшие лесистые высоты, перед фронтом было поставлено пять батарей. Позиция была крепкая, атака с фронта грозила большими потерями, а для обхода не хватало войск, потому что силы Суворова численностью уступали польским. Надо было придти к какому-нибудь решению и притом не медля, ибо канонада продолжалась, причем польская артиллерия заявляла свои добрые качества. Суворов решился обозреть местность вблизи; он велел одному кавалерийскому полку атаковать часть польской кавалерии, отходившей к своей правой высоте, и сам отправился с атакующими. Конные егеря понеслись отважно, но через топь перебраться не могли, и польская кавалерия ушла благополучно. Таким образом неудободоступность неприятельской позиции подтвердилась опытом, по выбирать все-таки было не из чего, и Суворов удовольствовался тем, что давали ему обстоятельства.

Он приказал пехоте вести фронтальную атаку, но только не

прямо на неприятельскую позицию, а правее, ближе к левофланговому их холму; через 1/4 часа части конницы взять влево и стараться перейти топь около тех мест, где это ей не удалось первый раз; через другие V4 часа другой части кавалерии, большей, произвести обходное движение вправо, верстах в 2-3. Пехота, под начальством Буксгевдена, бросилась вперед с сильным порывом; Поляки участили артиллерийский огонь. В особенности досталось Херсонскому гренадерскому полку; картечь вырывала у него целые ряды, он два раза смыкался, но не останавливался и не колебался. Впрочем было бы еще хуже, если бы Суворов не выставил на высоте батарею из 14 орудий; она порядочно вредила Полякам и облегчала атаку. Болото оказалось глубоким и труднопереходимым; солдаты разобрали попутные избы, сараи и проч. и запасались бревнами, досками и иным подходящим материалом. С помощью этих вспомогательных средств, поддерживая один другого и помогая друг другу, они под картечным огнем Поляков перебрались через болото. Для перехода потребовалось около часа времени; особенно затрудняли людей и замедляли движение четыре полковые пушки, которые несли на руках. Вся прочая артиллерия осталась назади, под прикрытием.

Перейдя болото, пехота выстроилась под тупым углом к польской позиции и ускоренным шагом двинулась вперед. Это было перед полуднем. Видя, что Русские переправляются влеве и стало быть по переправе могут ударить во фланг, Поляки, пользуясь продолжительностью переправы, тоже переменили позицию, под углом к прежней, и встретили Русских готовым фронтом. Удар в штыки был жестокий; ему предшествовали лишь несколько ружейных выстрелов, служившие ничтожным противувесом частому огню польской артиллерии. Поляки защищались с большой храбростью и упорством, и несли большую потерю в людях в рукопашном бою. Потом появились между ними признаки ослабления энергии, некоторые бежали, торопясь укрыться за стенами монастыря, где впрочем были настигнуты и переколоты. Сераковский построил колонны я каре, с конницею по флангам, и начал отступление тихо, шаг за шагом.

Стойкости Поляков однако грозило новое испытание: почти одновременно на обоих их флангах появилась русская кавалерия, переяславский конно-егерский полк, предводимый генералом Исленьевым, не отыскавший пути через болото в начале боя, теперь был счастливее и переправился чрез отысканный им полуразрушенный мост. Четыре конных полка, посланные вправо под начальством генерала Шевича, сделали довольно дальний обход и перешли болото с большим трудом, спешенные, ведя

лошадей в поводу и устилая топь древесными ветвями и валежником. Несмотря на появление кавалерии, Поляки продолжали отступление медленно и в порядке, поддерживаемые огнем своей многочисленной артиллерии, которой Русские могли противопоставить лишь 4 полковых орудия. Но пехотные и кавалерийские атаки Русских учащались, сменялись одна другою, производились со всех сторон, и Поляки несли большие потери. Они пытались было своею конницею атаковать Русских с тыла, но были отбиты. Тем не менее они все-таки добрались до опушки густого леса и перед закатом солнца втянулись в лесную чащу, где Русские не могли уже продолжать деятельного преследования.

Поляки потеряли убитыми много; большинство историографов Суворова определяет их цифру в 3000 человек. Вероятно она преувеличена, но во всяком случае должна быть высока, так как бой отличался большим упорством, и русская пехота почти постоянно действовала штыками. В своей реляции Суворов говорит, что Поляки потеряли 3000 человек убитыми, ранеными и пленными; это ближе к истине. Потеря Русских определяется в 325 человек; один из писателей показывает гораздо больше, именно до 700 [12].

Как только победный исход стал очевидным, Суворов послал к Кобрину приказание — обозам с их прикрытием двинуться вперед, а ротным повозкам ехать как можно скорее. Благодаря такой предусмотрительности, через час по окончании боя артельные повозки прибыли, и тотчас началось приготовление пищи для усталых солдат. Очень устал и сам Суворов; в этой первой серьезной встрече с Поляками он принимал деятельное личное участие, беспрестанно переносясь с места на место по полю сражения и немедленно являясь туда, где замечал колебание или недостаточную энергию. А так как он почти не спал в продолжение нескольких ночей, то с окончанием дела, взъехав на небольшой холм, слез с лошади, снял каску, перекрестился, произнес «слава в вышних Богу», выпил стаканчик водки, съел сухарь и, завернувшись в плащ, лег отдохнуть на землю под деревом. Подкрепившись несколько сном, он встал, пообедал и отправился объезжать войска, Останавливаясь в каждом полку, он благодарил за одержанную победу и кратким, но огненным словом поощрял солдат на будущие успехи. При этом офицеры и солдаты окружали его сплошной толпой, так что лошади его негде было повернуться; он это очень любит. Речь свою он но обыкновению заканчивал несколькими выдержками из своего военного катехизиса: «субординация, экзерциция; ученье — свет, неученье — тьма; дело мастера боится» и т. под. Объехав

весь отряд, Суворов скомандовал *к заре*, по пробитии на *молитву* снял каску и громким, внятным голосом прочел вместо «Отче наш» другую молитву: «Всемогущий Боже, сподобившись святым Твоим промыслом сего ночного достигнути часа»... Потом он проехал к раненым, которых продолжали перевязывать лекаря; легкораненых и пленных приказал отправить к назначенному для них пункту пешком, тяжелых на обывательских подводах в кобринский госпиталь; велел собрать жителей для погребения умерших и убитых; сносить в одно место оружие от них, от раненых и пленных, переломав у ружей приклады, а у сабель эфесы. Суворову было доложено при этом одним из генералов, что мало хлеба, что надо бы заняться теперь печением и сушкой, обождав прибытия транспорта с мукой. Суворов отвечал вопросом: «а у Поляков разве нет хлеба», намекая на польские войска, находившиеся впереди [10].

И в самом деле, не до печения хлеба было теперь, когда удалось нанести корпусу Сераковского хотя сильный, но далеко не сокрушивший его удар. Перед двумя часами ночи Суворов поднял свой отряд на ноги, окатился холодной водой, оделся и сел на копя. Было отдано короткое словесное приказание: «патронов не мочить». Старые Суворовские сослуживцы поняли и объяснили новичкам, что будет значит переправа через реку в брод, и придется подвязать патронные сумы повыше, Войска двигались в тишине, беспрестанно натыкаясь на павших лошадей, ибо Поляки уходили со спехом и торопились вывести обозы в безопасное от Русских место. Еще с большею поспешностью уходили войска Сераковского, кратчайшим путем, лесами, избегая преследования и торопясь занять под Брестом позицию. Но Суворов и не преследовал. Войска его и лошади были так изнурены после похода и боя, что отдых представлялся совершенно необходимым, а преследование в ночное время, по лесам, не обещало никаких существенных результатов. Оставление же Сераковский без нового боя такого важного пункта, как Брест, он не допускал, следовательно давая своим войскам 8-часовой отдых, считал, что ничем не рискует.

Пройдя около 20 верст, корпус Суворова остановился при д. Булькове на короткий отдых и потом продолжал движение до д. Трещин, отстоявшей от Булькова приблизительно на столько же, а от Бреста верст на шесть. Сюда прибыл он к ночи, расположился под закрытием лесистого холма и на малом огне стал готовить пищу, скрывая до последней возможности свое присутствие. Неприятель высылал небольшие партии для разведывания, но они не подходили близко и потому могли заметить только передовую казачью партию, что еще не обозначало присутствия главных сил.

С нашей стороны также производились необходимые разведки, ибо Суворов не хотел идти прямою дорогой на Брест. а решил обойти позицию Поляков, для чего и предположено было повернуть влево и идти полями к переправе через Мухавец и Буг. Был послан состоявший при Суворове подполковник Ивашев с 20 казаками; ему удалось и броды разведать. и издали обозреть расположение неприятельских войск, не возбудив тревоги. Ивашев не успел еще возвратиться, как казаки привели пробиравшегося из Бреста еврея, который сказался посланным от своих земляков-единоверцев. По его словам, в Бресте ожидали скорого прибытия русских войск, и еврейское население, заботясь о своей участи при предстоявших военных действиях, предлагало Русским свои услуги. Посланный показал, что войска Сераковского очень утомлены, что решено избегать нового боя и утром ретироваться по направлению к Варшаве, для чего обозы уже тронулись в путь. Кроме того еврей разъяснил, насколько мог, разные другие обстоятельства, важные для Русских: о свойстве местности, ширине Мухавца и Буга, бродах, и предложил себя в проводники [13].

Суворов собрал генералов, продиктовал диспозицию и, в час по полуночи 8 сентября, подшил войска с привала. Конница шла в одной колонне, пехота с артиллерией в другой. При лунном свете перешли Мухавец, а через 300 сажень другой его рукав. Воды было по колено, но вторая переправа потребовала много времени по вязкости и болотистости берегов. Двинулись к Бугу, до которого оставалось версты три; начинало светать. Приближение русских войск было замечено, и с брестских и тереспольских церквей раздались звуки набата; многие жители поспешили в церкви, под защиту святыни. Войска ускорили шаг и подошли к Бугу, переправа через который считалась особенно трудною, так что пехотным частям было придано по нескольку кавалеристов, дабы веревками-сеновязками пособлять малорослым. Брод оказался однако не глубок, немного выше колена. Быстро перешли войска реку и стали выстраиваться в боевой порядок.

Поляки были расположены в две линии с резервом, лицом к Тересполю, откуда и ожидали Русских, поставив у бугского моста сильный батальон с двумя орудиями. Но когда выяснилось обходное движение Суворова, то Скраковский изменил направление фронта под прямым углом, примкнув левым флангом к Тересполю, а правым к лесу. Перемена фронта произведена быстро и в порядке; Поляки ожидали Русских по-видимому с твердостью.

Суворов расположил свою пехоту в центре, конницу по флангам; правым крылом командовал Шевич, левым Исленьев,

пехотою Буксгевден, всем корпусом П. Потемкин, под главным начальством Суворова. В эту кампанию Суворов, несмотря на малую числительность предводимых им сил, устроил себе всю обстановку главнокомандующего и имел даже дежурного генерала. Командующим действующим корпусом считался П. Потемкин, он же представлял Суворову и реляции, но под этими признаками новизны скрывалась прежняя сущность: Суворов, как и всегда, был действительным распорядителем, все видел и за всем наблюдал. Потемкин на самом деле не корпусом командовал, а заведовал хозяйственною частью, до которой Суворов был не охотник; также отправлял пленных. учреждал госпитали, распоряжался заготовкою провианта и т. под. Он был человек образованный, сведущий и не глупый, но не имел никаких боевых качеств и даже недолюбливал запаха пороха. Нахождение подобного генерала в высших рядах войска, и роль, которую он играл хоть по одной наружности, могло бы быть вредно при других условиях, но не при Суворове, который по прежнему оставался душой, жизненной силой, и выставлял Потемкина только потому, что к нему благоволил [14].

Все распоряжения к атаке были сделаны быстро; готовился удар с фронта с охватом флангов конницей, если представится возможность. Кроме того приказано одному пехотному полку и драгунскому эскадрону, оставшимся в тылу за Бугом, для прикрытия обозов, сблизиться к Бресту и угрожать переправой в брод в тыл неприятеля. Как только русские боевые линии выстроились и несколько сблизились, польская артиллерия открыла огонь, который оказался действительным. Но вслед затем, передовыми кавалерийскими частями было замечено в польском корпусе какое-то колебание, и точно, не дождавшись приближения Русских, он стал свертываться в три большие колонны, которые и перешли в отступление. Артиллерия занимала интервалы, кавалерия расположилась частями по бокам колонн. Построение колонн и начало отступления произведены в полном порядке, по направлению к дер. Коршин, т.е. в сторону, противуположную от Тересполя. Вероятно Сераковский был недоволен второй позицией, которую Суворов заставил его занять, иначе ему был чистый расчет начать ретираду раньше, не теряя времени.

Как только Суворову было доложено конными разъездами о начавшемся отступательном движении Поляков, он приказал кавалерии атаковать, а пехоте спешить на поддержку кавалерии. Четыре егерские батальона двинулись вслед за Исленьевым почти беглым шагом; за ними тронулся один пехотный полк, за которым шла остальная пехота; таким образом движение

производилось в виде уступов пли лестницы. Сераковский тем временем успел занять двумя колоннами выгодную позицию, на высоте за дер. Коршин; на плотине поставил три батареи по 4 орудия и показывал намерение тут держаться, а конницею и 3-ю колонною атаковать наш левый фланг. Но эта последняя колонна, находившаяся от других влеве, была сама атакована Исленьевым с фронта и фланга. Атаке не благоприятствовала неровная, изборожденная рытвинами песчаная местность, да и польская артиллерия била сильно и метко; кроме того очень досаждали из лесу выстрелы засевшей там части пехоты и артиллерии. Двукратная атака Исленьева не удалась, но когда бригадир Исаев ударил во фланг находившейся при колонне коннице, смешал ее, насел ей на плечи и погнал неотступно, — то третья атака имела успех. Было захвачено несколько орудий, и русские эскадроны, врубившись в неприятельскую пехоту, сильно ее растрепали. Расстроенная и поредевшая колонна отступила к дер. Коршину, где и пыталась построиться на возвышенном месте.

Исленьев был слишком слаб, чтобы атаковать Сераковского с двумя остальными колоннами в его позиции, да Сераковский долго на ней и не оставался. Заметив приближение четырех егерских батальонов, а за ними уступами остальную русскую пехоту, он перешел снова в отступление. Лес был уже не очень далеко, и мог спасти Поляков от полного поражения, как спас при Крупчицах. Две колонны потянулись вправо, третья влево, на поддержку замаскированной лесной батарее, которая сильно вредила Русским и которой Исленьев грозил атакой.

Перед этим временем подоспел Шевич с кавалериею правого фланга, обскакивавший Поляков справа. Он помог атакам Исленьева и затруднил вступление неприятеля в деревню Коршин, но не мог воспрепятствовать занятию позиции. Когда же Скраковский возобновил отступление, то Шевич, снова его обскакав, атаковал невдалеке от леса, куда Поляки направлялись в двух колоннах. Несмотря на жестокий пушечный и ружейный огонь, русская кавалерия опрокинула польскую и врубилась в пехоту. Неприятель защищался с упорством, которое граничило с отчаянием; мало кто просил пощады, и почти вся колонна полегла рядами, как стояла. Тогда Шевич обратился на вторую колонну, атакованную еще раньше несколькими эскадронами. Она подверглась почти той же участи, но с меньшим уроном, потому что многие успели рассеяться и добраться до лесу. При этом разгроме двух неприятельских колонн взято 6 пушек.

Оставалась третья, раньше всех потерпевшая, а также замаскированная лесная батарея. Исленьев с конницею левого фланга взял батарею с одного удара и потом обратился на

колонну, которая в свою очередь его атаковала, производя жаркий огонь из четырех орудий. Бой завязался упорный; русская кавалерия должна была пробиваться и пробилась; остатки последней польской колонны направились к дер. Добрину, находившейся вблизи, на варшавском тракте, а отдельные из нее люди, также беглецы из других колонн, в одиночку и кучками спасались правее, по болоту, покрытому лесом и кустарником, которое тянулось далеко в обе стороны, т.е. вправо к Бугу, и влево за дер. Добрин, по берегам речки Красны. В эту пору подоспели русские егерские батальоны, т.е. передний эшелон пехоты, с одним орудием, к которому скоро присоединилось второе, а затем еще два, — так трудно было двигаться артиллерии по пашням, пескам и рытвинам боевого ноля. Несмотря на плетни, рвы и другие препятствия, в этом месте особенно многочисленные, Русские продолжали преследование и атаки; расстроенный в конец неприятель давал слабый отпор, бросал пушки, зарядные ящики, и напрягали все усилия к одному — достичь поскорее деревни, полагая в ней свое спасение. Но и этой надежде суждено было лопнуть: часть русской кавалерии и егеря бросились в обход Добрина, дабы отрезать путь отступления, что и исполнили при чрезвычайном напряжении сил, особенно пехоты, которая прибыла туда почти вслед за конницей.

За дер. Добрин протекает речка Красна, впадающая ниже Бреста в Буг; от Добрина до речки тянулась гать, а через речку был перекинут мост. Сюда-то и поспешили русские войска и прибыли так скоро, что через гать и мост беглецы успели перебраться лишь в небольшом числе, а остальные были отрезаны. Русские разрушили мост, испортили гать и открыли артиллерийский огонь но деревне, где скопились беглецы. Выгнанные оттуда, они попали под картечь. под сабли конницы и под штыки пехоты. Удалось уйти немногим, да и из тех не всем посчастливилось перебраться через болото. Некоторые бросали с себя амуницию и оружие, такие попались в плен; другие не хотели сдаваться и погибали под ударами. Небольшой кавалерийский отряд, коней в сотню, завяз; люди или потонули вместе с лошадьми, или были перестреляны; немногие ушли пешими. Русская конница преследовала спасшихся в бою верст 15 от Бреста; казаки прошли еще дальше с батальоном егерей, а другие части войск тем временем очищали окрестные леса. Очищение это продолжалось два или три дня. Общего настойчивого преследования не было потому, что в сущности некого было преследовать: спасались бегством отдельные люди, без хлеба, частью безоружные; в числе их удалось уйти и

Сераковскому в сопровождении нескольких человек [14].

Пехота русская, спешившая вслед за передовым своим эшелоном — егерями на подкрепление коннице, была остановлена, когда стало ясно, что она во время не поспеет и что затем в ней нет и надобности. Все видимое глазу пространство было усеяно телами, которые местами лежали огромными кучами, и между ними довольно изредка белелись кителя Русских. Дело было кровавое, как и при Крупчицах; разъяренные солдаты, бившиеся почти исключительно холодным оружием, наносили смертельные удары, так что убитых было гораздо больше, чем раненых. Это ожесточение было произведено главным образом предшествовавшими событиями польской революции, в особенности избиением Русских в Варшаве, тем более, что как ни кровав был варшавский эпизод сам по себе, но молва еще более его раздула, возбуждая в русских сердцах негодование и ярость. Оттого брестское поле сражения представляло необычную картину даже для закаленных Суворовских солдат. «Ну, поработали ж мы», говорили они друг другу, обводя глазами кругом, и в словах их звучало не только радостное, гордое чувство, но также жалость и соболезнование, столь свойственные русскому человеку, перешедшему от возбужденного состояния к спокойному. «Да кто ж виноват», рассуждали солдаты: «сами они виноваты; прости нас Господи Боже наш», прибавляли они, набожно крестясь: «а покойникам дай царствие твое небесное».

Наибольшая потеря Русских, особенно пехоты, происходила от действия польской артиллерии, в начале боя, при движении к неприятельской позиции; оттого уборка убитых и раненых началась в то время, когда дело еще продолжалось под дер. Добрином. Раненых сносили к лекарям, русским и пленным польским, которых впрочем было гораздо меньше, чем нужно; люди, разыскивавшие живых между убитыми, помогали им чем могли и как умели: поили водой, давали из ранцев сухари, старались остановить кровотечение, разрывали иногда для этого свое чистое белье. Было объявлено, что находившийся под Добриным Суворов прислал приказание: «помогать раненым Полякам», т.е. подтвердил, чтобы заботились не об одних Русских. Сносили и покойников русских, укладывали их рядком, по полкам, поротно и эскадронно, ставили в головах образа, читали Псалтырь; священники служили панихиды по убитым, молебны за избавление от смерти.

В развал этих занятий явился Суворов, возвращавшийся из-под Добрина, измученный, в поту, в пыли, с грязными потоками на лице. За ним неслась конница, дальше тянулись егеря. Он

здоровался с людьми и благодарил их за одержанную победу, шибко проезжая мимо; добравшись до своего помещения, он пообедал и лег спать. Вечером началась для него новая работа, Всю ночь и весь следующий день писались и диктовались бумаги, развозились приказания и отправлялись в разные места курьеры. Вплоть до 10 числа Суворов не выходил из дому. Тем временем были собраны окрестные жители с лопатами, они копали большие и глубокие могилы и сносили туда тела убитых Поляков. Этим же самым занимались и Русские, для честного предания земле своих почивших сотоварищей. с утру 9 числа братские могилы были готовы; собрались офицеры и представители от солдат всех полков; совершено отпевание, погребение, и священник одного из полков сказал надгробное слово. Суворов, занятый спешной работой. не присутствовал. К вечеру вырос над могилою курган, и на нем стояло множество простых деревянных крестов, а к 10 числу место боя было уже совсем чисто, как будто на нем ничего и не происходило.

В этот день, рано утром, опять собрались к могиле офицеры и по нескольку солдат от каждой роты и эскадрона, прибыл и Суворов. Отслужена общая панихида; Суворов молился усердно и по окончании' её сказал короткое слово, в память сложивших тут свои кости. Несколько стариков-солдат поднесли ему кутью; Суворов перекрестился, сказал: «Господи, помяни рабов Твоих. здесь лежащих», и съел ложку кутьи. Затем он отправился в Брест, навестил раненых в открытом накануне госпитале и по возвращении объезжал войска. Они стояли лагерем на том самом месте, где были расположены Поляки. и Суворов квартировал в Тересполе там же, где перед ним Скраковский [10].

Трудно определить с точностью число участвовавших в этом кровопролитном деле, продолжавшемся 6 часов. Под Крупчицами сила русского корпуса не могла превосходить 11,000 человек, а вернее была несколько ниже, так как высшая его цифра во время похода едва доходила до 13,000, откуда надо вычесть ежедневный и экстренный расход людей. К ежедневному расходу относились умершие и больные, которых не могло быть очень мало, по продолжительности и трудностям походного движения; кроме того, по нескольку десятков солдат выбывало ежедневно из строя *залогами*, т.е., помещикам и управляющим имениями давалось, по их просьбам, по одному надежному солдату для охраны. В двух — трех местах учреждены были госпитали, и при них оставлены довольно большие команды; оставлялась также охрана для пленных и трофеев. Взяв все это в расчет и приняв в соображение потери в стычках при Дивине, Кобрине и в деле при Крупчицах, приходится заключить, что под Брестом находилось Русских от 8

до 9000 человек. Поляков было больше.

Польские источники показывают противное, но исчисление их объясняется известной задней мыслью. Ваврженцкий, главнокомандующий после Косцюшки, арестованный по окончании войны и содержавшийся в Петербурге, — в своем показании говорит, будто у Сераковского было всего от 6 до 7000 человек. Но некоторые из его показаний, которые можно проверить (напр. о численности польских войск по окончании войны — с одной стороны, и число выданных им Суворовым паспортов — с другой), свидетельствуют, что он ощутительно уменьшает численность польских войск. Другое лицо — Огинский, утверждает, что Поляки были подавлены под Брестом численным перевесом Русских. Если даже принять силу Поляков в 7000, а силу Русских наибольшую во время их похода, т.е. 13,000, то и тогда не только подавляющего, но и никакого численного перевеса в бою не существовало, так как в брестском деле приняла участие только половина русского корпуса, считая с егерями. Суворов определяет силу Поляков, по показаниям пленных, в 16,500 человек; в другом месте он говорит, что их было против Крупчиц на 3000 человек меньше, следовательно считает их под Крупчицами в 20,000. Этого не могло быть, при общем итоге польских сил на всем театре войны, да и показания пленных редко представляются достоверным источником для исчислений. По соображении всех данных, кажется следует остановиться на том, что под Брестом находилось Поляков до 10,000. а под Крупчицами приблизительно на 3000 больше. Значит, принявшие участие в деле под Брестом русские войска, были по крайней мере вдвое слабее Поляков числом, а под Крупчицами на 2-3000 [15].

Несмотря на такое неравенство сил, польский корпус был не только разбит, но почти истреблен. По донесениям Суворова, в плен было взято больше 500 человек, число раненых Поляков не определено, итог спасшихся бегством показан сначала в 500, а потом всего в 150, и эта последняя цифра снова подтверждена. Едва ли она верна. Суворов не был строгим критиком выставляемых в его донесениях цифр; правда, он не сочинял их и не выдумывал небывальщин, но из разнообразных данных брал то, что для него было выгоднее. Однажды в Турции, после дела, адъютант докладывал ему, что число убитых Турок показывается разными лицами различно, и потому спрашивал приказания — большую или меньшую цифру поместить в реляцию. Суворов отвечал: «**пиши больше, что их басурманов жалеть**». Этого же правила держался он конечно и не в одной Турции. В настоящем случае он не имел никакой возможности знать точное число

спасшихся Поляков; а потому вернее принять показание некоторых писателей, что из корпуса Сераковского спаслось и пробралось в Варшаву до 1000 человек. Что касается до потери Русских, то Суворов определяет ее в 325 человек и в В00 лошадей убитыми и ранеными; один из писателей говорит, что убитых и раненых было больше 1000, а другой обозначает число одних убитых свыше 300. Цифра 1000 должна быть ближе к истине. Поляки потеряли всю артиллерию. 28 орудий, из них 24 полевых бронзовых большого калибра; кроме того два корпусных знамени (других у них не было): одно для пехоты, другое для конницы. Знамена эти были присланы из Варшавы, от Народной Рады; на них была надпись золотыми буквами: «свобода, единство, независимость» [16].

Суворов донес Румянцеву на первых порах: «Брестский корпус, уменьшенный при монастыре Крупчице 3000-ми, сего числа кончен при Бресте... Поляки дрались храбро, наши войска платили их отчаянность, не давая пощады... По сему происшествию и я почти в невероятности. Мы очень устали». Победа эта, вычеркнув целый корпус из счета вооруженной силы Поляков, имела значение громадное и должна была произвести впечатление потрясающее. В самом деле, то был удар, надломивший польскую воинствующую революцию на столько, что она уже не могла оправиться. Первоначальные широкие планы сразу сузились. по крайней мере в глазах людей, не утративших трезвость мысли. Не было места сомнениям в горькой действительности, ни утешениям в преувеличении несчастия или в неосновательности молвы, как то обыкновенно бывает. Поляки признавали, что Скраковский был разбит *совершенно*. На завтра, по получении известия, Косцюшко примчался в Гродно, осмотрел наскоро войска и тотчас же уехал обратно в Варшаву, озабоченный дурною вестью до такой степени, что не мог этого скрыть, и настолько ею угнетенный, что имевшие до него надобность военачальники, не могли с ним переговорить обстоятельно. Можно из этого судить, каково было впечатление, произведенное брестским поражением на польские войска. Слава Суворова так выросла в последнюю Турецкую войну, даже раньше Измаила, что в Польше, задиравшей в то время Россию, очень интересовались тогда его личностью, и упорно держался в 1790 году слух о его смерти от полученной раны, что Потемкин счел нужным опровергнуть особым письмом к русскому резиденту. Ныне, в 1794 году, когда в Польше стало известно, что назначен на театр войны Суворов, был распущен для ободрения польских войск слух, что это не турецкий победитель, а его однофамилец. Теперь, по совершенным Суворовым делам, всякий мог убедиться

в присутствии мастера и догадаться, чего от него следует ожидать впереди [17].

Не менее сильно, хотя в другом смысле, было впечатление в Петербурге. Суворову удалось, победив Сераковского, победить и многих из своих недоброжелателей и завистников, по крайней мере по наружности. Его восхваляли, его превозносили, рассказывали про него анекдоты, цитировали его письма. Сделалось известным письмо его к Платону Зубову, в котором, поздравляя Зубова «со здешними победами», он писал: «рекомендую в вашу милость моих братцев и деток, оруженосцев великой Екатерины, толико в них прославившейся». Сообщали друг другу присланные Суворовым к дочери весьма плохие стихи, где он описывает свою трудовую жизнь:

Нам дали небеса
Двадцать четыре часа.
Потачки не даю моей судьбине,
А жертвую оным моей Монархине.
И чтоб окончить вдруг,
Сплю и ем, когда досуг.
Здравствуй Наташа с домашними.

Екатерина пожаловала ему дорогой алмазный бант к шляпе и три пушки из числа им отбитых, а племянника его, полковника князя Горчакова, присланного от Румянцева с реляцией, произвела в бригадиры. Двух посланных Суворовым вестников об одержанных победах, Румянцев произвел в следующие чины, а третьего князь Репнин. Румянцев был вдвойне рад его успехам, ибо выбрал и послал его на свой страх, и этот выбор оправдался теперь таким блистательным образом. Румянцев неоднократно благодарил Суворова, в самых любезных выражениях, и относил причину успехов «к высшим дарованиям предводителя». 0 брестской победе он выразился, что она «столько важна по существу, сколь редка в своем роде, и подтверждает истину, что большое искусство и горячая ревность предводителя и подражания достойный пример в подчиненных, — преодолевают все в воображении возможные труды и упорности [18].

Брестский успех завершил победоносное движение Суворова на долгое время. Прежде всего надо было спустить с рук обузу — трофеи, пленных и польских дезертиров, которых накопилось около 500 человек. Суворов рассортировал пленных и беглых; не возбуждавших подозрений распустил по домам, в том числе 12 офицеров на реверс и 212 косиньеров; а остальных, 376 человек, отправил к русской границе под конвоем, послав туда же и

польскую артиллерию [3]. Надо было выделить и для других надобностей несколько отрядов и партий; оставалось под ружьем всего около 5000 человек или несколько больше, но не выше 6000. С такими силами нечего было думать о продолжении наступательных операций, и Суворов остался в Бресте в ожидании подмоги. Очистили и выровняли место под лагерь, разбили палатки, вырыли землянки; образовался правильный городок, с шатрами и бараками маркитантов, с лавчонками местных торгашей евреев. Во всех необходимых потребностях было обилие и дешевизна, говядины фунт продавался по копейке, ведро водки по 50 коп., пива 30 коп., курица стоила 5-6 копеек. Солдатский провиант заменялся на 1/3 пшеничной мукой, в скоромные дни выдавалось по 1/2 фунта мяса на человека, в постные приобреталась свежая рыба по ничтожной цене; солдаты получали также водку, а непьющие водки — пиво.

Скоро начались ученья и производились ежедневно по два раза, исключая праздников и субботы. Они никогда не продолжались более 1 1/2 часа, зато отличались большою быстротою движений и эволюций. Суворов находился каждое ученье непременно при каком-нибудь полку, сам учил и командовал, но никогда не сердился и не бранился. В несколько дней раз делалось ученье общее. всему отряду. Пехота обучалась драться против конницы, ходить в штыки и ими работать, конница училась рубке. Насыпались правильные земляные укрепления, вооружались пушками и получали по нескольку рот в гарнизон; укрепления эти ночью штурмовались. Требовалась от всех ловкость, проворство и тесно — сомкнутый фронт. При ученьях Суворов говорил свои афоризмы и наставления; «полк - подвижная крепость; дружно, плечом к плечу. и зубом не возьмешь». После ученья он произносил выдержки из своего военного катехизиса, дополняя их пояснениями и наставлениями; разбирал произведенный маневр; объяснял. что было хорошо и что худо; наставлял как поступать впредь. Утреннее учение завершалось разводом, на котором Суворов находился постоянно; присутствовал он также при вечерней заре и сам читал молитву *Отче наш*.

Накануне праздников Суворов бывал у всенощной, а по праздникам у обедни, в походной церкви какого-нибудь полка, становился у правого клироса и пел вместе с певчими по нотам, которые иногда держал перед ним регент певчих, офицер; читал также Апостол. Ежедневную жизнь вел он также деятельную; кроме обширной служебной переписки и занятий с войсками, наблюдал лично за чистотою и порядком в лагере, ездил в госпиталь навещать больных и раненых, даже по два раза в день;

отведывал их пищу и делал тоже в ротных кухнях; если же замечал злоупотребления, то поступал с беспощадною строгостью. Несмотря на такую неустанную деятельность, он находил время для чтения, преимущественно по вечерам, имея в своем походном багаже книги, и между ними Комментарии Юлия Цезаря, своего любимого героя [4].

Так проходили дни за днями, спокойно и безмятежно для подчиненных, в волнении и нетерпении для начальника, остановленного на половине победного пути. Долгим и скучным показался ему месяц такого бездействия, но все это забылось в день желанного выступления в дальнейший поход.

Глава XVI. Польская война: Кобылка; 1794.

Обзор последних событий. — Инструкции Румянцову и Репнину; степень участия в войне союзников России; состояние дел и положение Суворова в Бресте; отношения его к Румянцову, Репнину и другим; бесплодные сношения. — Действия Дерфельдена и Ферзена; поражение Косцюшки и плен. — Распоряжение Суворова о присоединении к нему Дерфельдена и Ферзена; военный совет в Бресте; выступление Суворова; обращение его с войсками. — Соединение с Ферзеном; поиски на Окунев и Кобылку; упорное дело при Кобылке; полное поражение Поляков; послепобедный пир. — Войска польские и русские; Суворовский образ действий в Польше; его боевые принципы; некоторые особенности в делах его с Поляками. — Приписывание его побед случаю или счастию; обвинение Суворова в невежестве; объяснение.

Слух, донесшийся до Суворова во время движения его к Бресту — об отступлении Прусского короля от Варшавы, оказался в Бресте справедливым: в конце августа Пруссаки отступили к Рашину, а оттуда тремя колоннами направились на Ченстохов, Петроков и Закрочим, бросив в Рашине больных, раненых и часть обоза [1]. Причиною тому было восстание в присоединенных от Польши новых провинциях прусских. Поляки не могли забыть своей недавней независимости и свободы, особенно под прусским владычеством. Бремя русского подданства для них было легче, потому что в России они видели врага открытого и сравнительно

более сильного, бороться с которым было мудрено. Пруссия же, под личиною союзника, друга, противодействовавшего планам России, скрывала те же самые намерения, что и Россия, лицемерила, обманывала Польшу, а потом сама же подала мысль о втором разделе. Россия не торопилась вводить во вновь присоединенные польские области коренные и крутые реформы: Пруссия принялась сразу навязывать свои порядки и онемечивать Поляков форсированным способом. Таким образом, в присоединенных к России польских областях не было ни заговора, ни попыток к общему восстанию; происходили только частные, местные покушения, подавленные без особенных усилий. А в новых польско-прусских провинциях, заговор назревал в продолжение 5 месяцев и разразился в самую затруднительную для Пруссии пору.

Отступление Пруссаков из под Варшавы произвело чрезвычайно сильное впечатление и на друзей, и на врагов. Варшава ликовала, польская армия как будто удвоилась в силах, во всей Польше подъем духа достиг замечательной высоты. Европа недоумевала, пока не разъяснились причины; России нанесен был косвенный удар, который требовал от нее новых усилий и далеко отодвигал исход борьбы. И в самом деле, неудача Прусского короля, имевшего в осадном корпусе до 35,000 человек, кроме 12,000 Русских, была явлением знаменательным и служила союзникам предостережением от излишней самоуверенности. Такое впечатление она и произвела в Петербурге, но потом там успокоились, получив известие о победах Суворова под Крупчицами и Брестом, которые снова наклонили чашку весов в пользу России. Тем не менее, Екатерина приказала усилить Репнина двумя полками из Ревеля, повелела ему торопиться усмирением Литвы и затем обратить к Бугу все, что возможно. Вместе с тем указано Румянцеву, по соединении этих войск с находящимися под начальством Суворова, направить их до берегов Вислы, с целью обеспечения края от покушений инсургентов и занятия спокойных зимних квартир. Высочайшее повеление дополнялось впрочем выражением желания, чтобы в случае благоприятных обстоятельств и при вероятности успеха, было произведено внезапное нападение на город Варшаву. Румянцев, не получив еще этого повеления, писал Репнину почти тоже самое, говоря, что Суворов взял бы Варшаву, если бы корпуса Дерфельдена и Ферзена были к нему присоединены, если бы время не стояло позднее, и продовольствие войск было обеспечено. Один Безбородко думал и выражался несколько категоричнее, говоря, что содействие Суворова может привести к скорому концу усмирение Польши и что Варшава будет им взята,

хотя бы и зимою [2].

Граф Безбородко был дальновиднее других, но предположение его в первое время мало походило на правду. инсурекция в Великой Польше росла; исключая городов Познани, Ченстохова, Петрокова и Ленчицы, занятых сильно Пруссаками, вся страна была в восстании, поддерживаемая посланным от Косцюшки генералом Домбровским. Дошло до того. что Прусский король потребовал на подкрепление несколько полков из корпуса принца Гогенлое, со стороны Рейна. В других местах дело также плохо спорилось: после брестской победы, Суворов оставался вт. вынужденном бездействии; Репнин, несмотря на высочайшее повеление, подвигался вперед медленно. Австрийцы, следуя своим традициям, рассчитывали приобретать без риска и потерь, русскими и прусскими руками, а потому, по выражению одного из русских государственных людей, «ни шили, ни пороли». Они заняли на польской территории несколько пунктов и остались спокойными зрителями всего происходившего.

Сидя в Бресте и, по пословице, ожидая у моря погоды, Суворов не оставался без дела. Он рассылал партии для собирания фуража и провианта, что требовало не мало людей, так как окрест бродили вооруженные шайки инсургентов. Половина казаков его отряда была выслана по варшавской дороге, для разведок и наблюдения; передовые их партии дошли до полдороги и даже проникали дальше, Было ими сделано несколько мелких поисков; происходили частые стычки, большею частию удачно. Казаки собирали от проезжающих и населения сведения о ходе дел в других местах театра войны, но они были до того тенденциозны, неверны и часто нелепы, что почти ничего не разъясняли, а скорее могли сбивать с толку. Таким образом Суворов долгое время не имел известий об окружающем, особенно о Ферзене, который командовал корпусом, находившимся под Варшавой с Прусским королем. Большой беды впрочем в этом не было, так как Суворов не мог предпринять со своими ничтожными силами ничего серьезного и, во ожидании подкреплений, только держался наготове, чтобы производить удары близкие, если неприятель вздумает его атаковать, или приблизится без достаточной осторожности. Да еще приходилось ему исполнять разные приказания Румянцева, в том числе разыскивать в окрестностях Бреста Косцюшкиных сестер, разных знатных дам и арестовывать их взамен Русских, находящихся в плену, что впрочем он не успел исполнить. Для дальнейших операций ему не доставало содействия генералов Дерфельдена и барона Ферзена и присоединения нескольких мелких отрядов; все это находилось в подчинении большею частью у Репнина,

меньшею — у графа Салтыкова, Суворов беспрестанно сносился с ними и Румянцевым, но по его словам «время уходило на доклады». Нельзя сказать, чтобы у Репнина и Салтыкова не доставало доброй воли — помочь своему сотоварищу, на долю которого выпала главная активная роль, или чтобы в них действовали себялюбие и зависть. Но они были людьми не того разбора, как Суворов, и опасались нанести ущерб своим собственным задачам: Салтыков — охранить границу от вторжения, Репнин — очистить Литву от инсургентов. Кроме того оба они, а также Румянцев, находились так далеко один от другого и от Суворова, что много времени должно было уходить даром, вопреки их собственному желанию [3].

На усиление Суворова прежде всего требовался Дерфельден. Находясь в Люблине и, принужденный уступить этот город втиснувшимся туда самым вежливым образом Австрийцам, Дерфельден отошел к Слониму. Весть об этом Суворов получил вскоре по прибытии в Брест, и послал ему приказание — атаковать в Гродно Макрановского, имевшего корпус в 6,000 человек. Мотивом приказания было то, что по полученным извещениям, после кратковременного пребывания в Гродно Косцюшки, следовало ожидать там сосредоточения польских войск, разбросанных по Литве, а Дерфельдену до Гродна было почти вдвое ближе, чем Суворову. Суворов, соблюдая приличия, сообщил об этом и Репнину, и просил его отделить часть войск Дерфельдена к Бресту. Репнин приказал Дерфельдену идти, «если справедливо известие, что в Гродно только 6,000», а от отделения части корпуса к Бресту отказался, так как Дерфельден ослаблен командированием многих от него отрядов и находится от Бреста в 200 верстах. У Дерфельдена состояло в то время 8-10,000; с такой силой Суворов пошел бы на инсургентов, не справляясь о их числе; Репнину же непременно требовался численный перевес. Расстояние в 200 верст Суворов сократил бы форсированными маршами вдвое; Репнин смотрел на этот ресурс иными глазами; недаром же еще в первую Турецкую войну ему доставалось от Румянцева за медленность походных движений.

Дерфельден исполнил возложенное на него поручение. Авангард его, под командою графа Валериана Зубова, занял Гродно, взяв около сотни пленных и разные запасы; после чего Репнин поручил удержание Гродна в наших руках генерал-майору князю Цицианову, а Дерфельдену приказал направиться на Белосток и продолжать очищение Литвы. Получив известие о занятии Гродна, Суворов тотчас же написал Репнину, снова прося отделить к Бресту отряд, дабы он, Суворов, мог наконец иерейти в наступление. Репнин отвечал, не промедлив ни одного часа, что

он не в состоянии этого исполнить, ибо войска его разбросаны малыми отрядами по всей Литве, для удержания края в спокойствии, и не могут оставаться без прикрытия со стороны Варшавы, для каковой цели и служит корпус Дерфельдена, очищающий кроме того землю от неприятельских войск. Под ружьем у Дерфельдена всего 8,000 человек; отделить от него значительную часть в Брест нельзя, без большого риска, а послать туда весь корпус — тем менее. В заключение, благодаря Суворова за сообщение ему своих предположений (сделать наступление по варшавской дороге, дабы отвлечь неприятеля от Ферзена), Репнин говорит, что по его мнению Суворов мог бы это сделать без особенного риска собственными силами. Замечание было очень не основательно, потому что Суворов мог взять для подобной операции из Бреста меньше 4,000 человек; приходилось значит по-прежнему сидеть и ждать. К счастию, обстоятельства внезапно изменились.

С отступлением Прусского короля из-под Варшавы, корпус Ферзена, занимавший правый фланг расположения Пруссаков, отделился от них и направился левым берегом Вислы вверх, по направлению к Пулавам, для переправы на правый берег. Сначала его удержала необходимость — прикрыть тыл отступавших Пруссаков, дальше он не нашел перевозочных средств, еще дальше нашел их слишком мало. Так Ферзен дошел до Козеницы, обмениваясь по временам пушечными выстрелами с польским генералом Понинским, который зорко следил за ним с другого берега. В это время барон Ферзен был как бы отрезан от остального мира, и ни Суворов, ни Репнин не имели о нем никаких известий. Репнин послал ему в половине сентября предписание — соединиться с Суворовым и состоять в его распоряжении, и сообщил об этом Суворову, но тут же оговорился, что не уверен в получении этого предписания. Суворов неоднократно доносил Румянцеву, что о Ферзене ни слуху, ни духу, и где находится — неизвестно. Сентября 28 он донес, что по слухам Ферзен еще не переправился и что ему необходимо помочь, но покуда Дерфельден не прибыл, он, Суворов, сделать этого не в состоянии. На следующий день Суворов получил от австрийского генерала Гарнонкурта весть, что Ферзен совершил переправу благополучно, но куда пошел — неизвестно. Суворов послал Ферзену на авось такое приказание; так как Австрийцы, бросив перед тем Люблин, теперь снова его заняли, то расположиться на полпути из Люблина в Брест, именно в Радзине, а 5 -6000 послать в Коцк. Вместе с тем Суворов сообщил Репнину, что в командировании от Дерфельдена войск к Бресту, ныне надобности не настоит. Любопытно, что это

распоряжение Суворова на счет Ферзена, сообщенное им для сведения и Репнину, подверглось со стороны последнего критике, впрочем по форме мягкой и приличной. Репнин написал Суворову, что по его мнению, теперь не в оборонительные позиции надо становиться, а стеснять неприятеля, который собирается на него, Суворова, ударить. Суворов отвечал спокойно и сдержанно.

Действительно Ферзен перешел Вислу в Козенице, обманув Понинского, который имея под начальством 4 или 5,000 человек, мог бы нанести ему огромный урон, если бы не дался в ловушку. Суворов получил и прямое об этом от Ферзена донесение, по только через 6 или 7 дней, тогда как между ними обоими не было и 150 верст расстояния; до того сообщения были затруднительны. Суворов, поблагодарив за извещение, отвечал, что «переход чрез Вислу полон искусства», сообщил вкратце о всем происходившем в последнее время на театре войны и в заключение прибавил, как будто для сведения и руководства, что «ордер баталии Поляков — настоящий галло-тактический Фоллардов», что они «избирают боевые позиции в крепких и тесных местах» и проч. [4].

Распоряжение Суворова насчет занятия Радзина и Коцка осталось неисполненным, вследствие поворота военных обстоятельств. Понимая, что прибытие Суворова на театр войны представляет собою наиболее серьезную опасность в ряду других, Косцюшко стал стягивать все сколько-нибудь свободные корпуса и отряды, чтобы воспрепятствовать соединению Ферзена с Суворовым; велел Понинскому следить за первым неотступно, не допуская его до переправы, а сам предположил занять центральный между ними пункт, Луков. Отсюда он хотел произвести на брестский корпус Суворова сильный удар с фронта, одновременно с нападением на его тыл генерала Макрановского, которому поручил общее командование над литовскими инсургентскими отрядами и, для распоряжений по этому предмету, съездил в Гродно. Плану этому не суждено было осуществиться: сосредоточению войск Макрановского, для удара на Суворова со стороны Бельска, помешал Дерфельден, а сам Косцюшко был отвлечен Ферзеном [6].

Понинский донес Косцюшке, что небольшая часть корпуса барона Ферзена собирается переправиться у Козеницы, а остальная у Пулавы; вслед затем сообщил, что Русские у Козеницы переправились. Косцюшко спешно отправился навстречу Ферзену с войсками, находившимися под рукой, всего в числе 9-10,000 человек. Встреча произошла при Мацеиовичах; Ферзен атаковал Поляков 28 сентября всем своим корпусом, силою около 12,000, предупреждая соединение Косцюшки с

Понинским. Поляки были разбиты совершенно и понесли огромную потерю; сам Косцюшко, тяжело раненый, попался в плен.

По словам графа Безбородко, победа Суворова при Бресте сделала в Польской войне переворот, а победа Ферзена при Мацеиовичах этот переворот закрепила. Действительно, она имела огромное значение и прежде всего отразилась на образе действий самого Суворова. Задержанный в Бресте до октября, он начинал усваивать мысль, что кампанией того года война не окончится и что, прежде взятия Варшавы, придется расположиться на зимние квартиры. Дерфельден, по его мнению, возился над Гродном слишком долго, «делал томные марши»; у Репнина «время уходило на доклады»; о Ферзене известий не было, и помочь ему не представлялось никакой возможности. Ко всему этому Австрийцы, понимая слишком узко свои интересы, то занимали, то очищали разные пункты польской территории, не предуведомляя союзника и не сообразуясь с его потребностями; чрез что затрудняли, а под час и вовсе прекращали его сообщения, препятствовали сбору провианта и фуража, приводя в негодование самого Румянцева. «Тако, сиятельнейший граф, близ трех недель я недвижим», писал Суворов Румянцеву: «и можно здесь сказать, что Магербал (сказал) Аннибалу — *ты умеешь побеждать, но не пользоваться победой* — Канна и Брест подобие имеют; время упущено, приближаются винтер-квартиры, сходно высокому намерению вашего сиятельства». Но эта печальная необходимость была устранена победою Ферзена, т.е. Суворов усмотрел в ней средство для перехода к наступлению.

Он тотчас же сделал соответственные распоряжения. На отправляемой Румянцеву официальной бумаге было приписано: «поздравляю в живых первого героя, российского Нестора; Господь сил с нами». Ферзену и Дерфельдену послано приказание — следовать по направлению к Праге. Ферзен еще раньше получил от Репнина приказ — состоять в распоряжении Суворова; Дерфельден же продолжал оставаться в его, Репнина, команде, и никаких донесении Суворову не делал, чем этот был весьма недоволен. Потом, по настойчивым требованиям Суворова, Репнин подчинил ему и Дерфельдена; это распоряжение было утверждено в Петербурге, однако с оговоркою, что Ферзен и Дерфельден отдаются под начальство Суворова только на нынешний случай, а по внутренней службе и довольствию остаются по-прежнему в ведении Репнина. Но все это разрешилось поздно, перед самым выступлением Суворова из Бреста; Репнин уже собирался кончать кампанию и в этом смысле отдал приказание Дерфельдену. Не успел этот последний сделать

распоряжений, как прискакал к нему от Суворова курьер с требованием, именем Румянцева, пользуясь победой Ферзена, бить и гнать литовских инсургентов и идти на соединение с ним, Суворовым. Дерфельден был в недоумении, как поступить, но начальник его авангарда, граф Валериан Зубов, убедил его идти по зову Суворова. Совет такого лица, как брат фаворита, значил очень много и снимал большую долю ответственности в случае каких либо недоразумений; кроме того Дерфельден сам понимал фальшь всякого другого решения. Он донес Репнину и выступил из Белостока на Бельск и Брянск [6].

Будет кстати при этом заметить, что взаимное положение Суворова и Репнина было очень не нормальное и что особенно трудно было Репнину, на которого возлагалась сложная и искусственная задача. Он писал в Петербург, управляющему военным департаментом, что «не знает, сам ли командует или отдан под команду», говоря: «ради Бога разведите нас, разделите между нами войска» [7]. Если принять при этом в соображение прежние поводы к взаимным неудовольствиям между Суворовым и Репниным (см. гл. XIII), то нельзя не удивиться, что в настоящем случае дело обошлось благополучно, не только без ссоры, но и без крупных неудовольствий, и обстоятельство это следует поставить в заслугу им обоим, особенно Репнину.

Ко времени мацеиовичской победы барона Ферзена, Суворов был усилен несколькими мелкими частями. Решив предпринять наступление, он отделил около 2000 человек для занятия Бреста и для тыльной службы, под начальством бригадира Дивова, и 6 октября собрал военный совет, на котором присутствовали не только генералы, но также полковые и батальонные командиры, всего 21 человек. Совет постановил: пользуясь победою Ферзена, выступить для покушения на Варшаву, оставить в Бресте бригадира Дивова и очистить от неприятеля край к стороне Бельска, взяв с собою провианта но 1 ноября. Если неприятель из-под Бельска уйдет на Варшаву, добровольно или разбитый Дерфельденом, то идти на Янов, Венгров, Станиславов и соединиться с Ферзеном в Минске; соединиться и с Дерфельденом, если подоспеет, но не ожидать его. Просить австрийского генерала Гарнонкурта — протянуть цепь постов до Русских и Пруссаков; прусскому генералу Латорфу написать в Опатов о содействии в покушении на Варшаву. Прежде атаковать Прагу, потом против Вилланови или в другом месте, переправиться через Вислу, оставив при Праге Дерфельдена с 6000. Если же Дерфельден не прибудет, или прусские войска не окажут содействия, то расположиться на первый раз по кантонир-квартирам на правом берегу Вислы, а когда позади расположения

весь провиант и фураж будут выбраны, то сблизиться снова для винтер-квартир к Бресту и Радзину.

Из советского постановления видно, в какой мере обдуманно и осторожно Суворов располагал своими будущими действиями, отказываясь даже, при известных условиях, от за владения Варшавой в нынешнем году. Правда, основанием такому плану действий служило приведенное нами раньше высочайшее повеление, но по своей условности оно не было строго обязательным. Эта-то условность и была Суворову на руку; (ин понимал, что всякое предположение красно исполнением. Внушив приведенный план военному совету, Суворов еще за два дня перед тем приступил к его выполнению. Октября 4 он писал Румянцеву, что в Бресте остается Дивов, что Гарнонкурта просил протянуть цепь вправо и влево, что прусскому генералу Латорфу написано в Опатов о содействии в предстоящем предприятии русской армии на Варшаву, и что о том же он, Суворов, писал и Прусскому королю. Это даже не совсем понравилось Румянцеву, который только что выражал ему (бумаги должно быть разошлись) свое желание, — «без всякого содействия союзников, одними собственными силами одолеть неприятеля, и не по держанному военному совету и не по нужде, но по победе в квартиры возвратиться». Спустя несколько дней, Румянцев подтверждает тоже самое в виде вежливой просьбы. Но Суворов не извиняется перед ним, не оправдывается изложением причин предпринятого решения, а предпочитает действовать по слагающимся обстоятельствам. Румянцев знал Суворова хорошо, но все-таки не вполне; другие же имели о нем представление еще более неправильное. Граф Безбородко, в письме одному из Воронцовых описывая план предстоящих действий, между прочим говорит, что под Прагой Суворов будет иметь больше 30,000 хорошего войска, «с которым не потеряет времени напрасно, особлико имея несомнительно перспективу за взятие Варшавы сделаться фельдмаршалом». Суждение косное; Суворов не потерял бы даром времени и без всякой перспективы: он был очень честолюбив, но еще больше славолюбив [8].

После поражения и плена Косцюшки, польские корпуса и отряды стали поспешно стягиваться к Варшаве. Макрановский торопился достигнуть Буга, Дерфельден следовал за ним попятам; авангард его имел с польским арьергардом несколько мелких дел, в одном из которых графу Зубову оторвало ногу последним пущенным Поляками ядром. Поляки уходили форсированными маршами, и уходили успешно. Как бы предвидя это, Суворов, вообще недовольный, что Дерфельден не истребил неприятеля и таким образом сберег для Варшавы лишнее

подкрепление, — решился пособить Дерфельдену. За два дня до выступления из Бреста, он доносит Румянцеву: «к сожалению, вместо прямой дороги на Венгров», должен взять кружный марш на Бельск, для боя с Макрановским, чтобы не дать ему моего крыла, обеспечить Брест и очистить Литву». Макрановский однако был деятельнее и искуснее, чем Суворов предполагал. Прибыв в Янов, Суворов узнал, что польского генерала под Бельском уже нет. Двинувшись дальше и остановившись верстах в 20, он получил известие, что Макрановский проскользнул по направлению к Варшаве, и что одна из его колонн направилась к Станиславову. Суворов послал Ферзену приказание — идти из Минска на Станиславов, прибыть туда к 13 числу и поджидать там его, Суворова. Но Ферзен не мог поспеть к назначенному сроку и донес, что на сутки принужден опоздать. Суворов замедлил движением, давая время Ферзену и Дерфельдену с ним сблизиться, и через Соколов пришел к Венгрову. Несколько захваченных казаками пленных показали, что Макрановский должен быть не далеко и к Варшаве еще не пришел. Ферзену послано на всякий случай новое приказание — не ожидая Суворова, атаковать в Станиславове Поляков, которые не могут быть там в большом числе; сам же Суворов в Венгрове остановился не на долго, выжидая Макрановского и наводя о нем справки. Но Поляки не показывались, и разъезды не могли собрать о них никаких сведений. Суворов двинулся дальше по узкой, очень песчаной дороге и 14 числа утром прибыл в Станиславов, куда перед тем только что пришел Ферзен, также не встретив никого на пути и не найдя неприятеля в Станиславове [9].

Ферзен привел с собою около 11,000 человек, Суворов имел под ружьем при выступлении из Бреста до 8,000. Суворов сделал смотр вновь прибывшему корпусу. Некоторые полки служили под его начальством в Турецкую войну и потому знали его хорошо; другие поступали в его команду первый раз, но он не был для них человеком новым, как и для всей русской армии. Суворов приказал тотчас же разослать в полки свой военный катехизис и предъявить Ферзену постановление брестского военного совета. Ферзен и еще два генерала подписали его, прибавив следующее: «с положением, учиненным на консилиуме корпуса его сиятельства, графа Суворова, мы согласны, прибавя к тому, что за лучшее находим подступить к Праге на рассвете, всеми корпусами единовременно, для лучшей рекогносцировки тех пунктов, которые назначатся колоннам для штурмования и для устрашения смятенных жителей, чем заставить можно скорее к помышлению о сдаче». Это обстоятельство между прочим указывает, что Суворовские военные советы не были одной

формальностью, и что заявление различных мнений на них допускалось со внесением в протокол [10].

Теперь до Варшавы было не далеко. По доходившим известиям, Поляки сильно укрепляли Прагу и готовились к отпору; Суворов не только не скрывал этого от солдат, а напротив заранее им внушал, что Прага даром в руки не дастся. По своему обыкновению, объезжая ежедневно на походе войска, он останавливался у каждого полка, здоровался, балагурил, называл по именам знакомых солдат, говорил о предстоящих трудах. Чуть не весь полк сбегался туда, где ехал и беседовал с солдатами Суворов; это беспорядком не считалось. «Нам давным-давно туда пора», говорил он: «помилуй Бог, пора; Поляки копаются как кроты в земле». Солдаты отвечали, что был бы приказ — взять, так будет взято; что кто сердит, да не силен, тот козлу брат; что другого Измаила не выстроят, а и тому не поздоровилось. Дух войск был как нельзя лучше: долгое брестское сидение не сопровождалось праздностью и бездельем; последующий поход был далеко не из трудных, переходы не велики, отдыхи частые, особенных недостатков ни в чем не ощущалось. Больше всего приходилось терпеть от холода, так как в холщовых кителях пронимало насквозь, особенно по ночам, но и это горе теперь миновало, ибо зимнее платье наконец к полкам подвезли. Верный самому себе во всем, Суворов мерз в холщовом кителе вместе с войсками, и надел суконную куртку только тогда, когда все облачились в зимнее платье. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания солдат (оно солдатом и записано) и было оценено ими по достоинству; много подобные мелочи прибавляли к репутации Суворова [11].

В Станиславове Суворов не мешкал. Ферзен не застал тут Поляков потому, что они успели, до его прибытия, отступить по направлению к Варшаве и по слухам должны были находиться в Окуневе, верстах в 20 от Варшавы, и в Кобылке, в том же расстоянии, но по другой дороге. Суворов усилил свой собственный корпус (по-прежнему состоявший в непосредственном командовании П. Потемкина) частью кавалерии Ферзена, последнему приказал с приближением ночи сделать поиск на Окунев, а сам в тоже время выступил к Кобылке. Он употребил на эти поиски все свои силы потому, что местные слухи ходили о значительных неприятельских отрядах, особенно в Кобылке; кроме того оба эти пункта находились не вдалеке от Варшавы, с которою могли сообщаться и получать оттуда подкрепления, не считая возможной близости не дававшегося в руки Макрановского.

Отряды тронулись в путь; в середине ночи, пройдя 14 верст,

Суворов остановился на отдых. В авангарде шел бригадир Исаев с несколькими сотнями казаков и с 10 слабыми эскадронами переяславских конных егерей. Исаев узнал от крестьян, что в Кобылке инсургенты действительно находятся и что в эту же самую ночь к ним пришла подмога. Он остановился, послал Суворову донесение и спрашивал — не будет ли подкрепления; Суворов приказал ему продолжать путь. Пошли густой чащей, а потом, невдалеке от неприятеля, наткнулись на болотную местность. С большими усилиями казаки и конные егеря одолели это препятствие, особенно двигавшиеся в хвосте колонны, и в 6 часу утра 15 октября появились перед неприятелем.

Поляки были расположены двумя линиями на равнине, около 1 1/2 верст диаметром, окруженной лесом, который в тылу позиции тянулся густой чащей, прорезанной многими дорогами. В центре их расположения стояла пехота, на флангах кавалерия; фланги обстреливались кроме того пешими егерями, скрытыми по опушке леса вместе с несколькими орудиями. Было видно сразу, что неприятель гораздо многочисленнее русского авангарда, и действительно Поляков тут находилось тысячи три-четыре, а Исаев едва имел и полторы. Он все таки произвел атаку немедленно, преимущественно на фланги, пренебрегая сильным артиллерийским и ружейным огнем; причем особенно надоедали замаскированные лесом батареи. Неприятель держался хорошо; несколько смешалась и расстроилась только кавалерия, пехота же осталась почти нетронутой. В это время прибыл Суворов, опередив свой корпус. Заметив большое неравенство сил, он послал приказ следовавшей за ним кавалерии спешить, не переводя духа. Конница бросилась вперед и стала прибывать к полю сражения, дефилируя на поляну как попало, не соблюдая очереди; каждый полк шел сам по себе, стараясь лишь об одном — прибыть поскорее. Как только прибывшие эскадроны несколько устроились, произведена атака. Исленьев врубился в неприятельскую конницу левого крыла, а также сбил и потоптал часть пехоты; Шевич атаковал правый фланг, опрокинул конницу и вогнал ее в лес. Поляки стали отступать двумя колоннами, с замечательною стройностью и порядком, под прикрытием артиллерийского огня, но были настойчиво преследуемы русской конницей, которая производила частые атаки отовсюду, где только представлялась возможность. Пехоты еще не было; два батальона егерей только подходили.

Первая польская колонна, силою около тысячи человек, ретировалась по правой из лесных дорог. Исленьев преследовал ее, усиленный драгунами из резерва и батальоном пеших егерей, нанес огромную потерю и заставил положить оружие после атаки

спешенными драгунами. Пленные офицеры, которых было до 25, просили Суворова накормить их, так как находясь в постоянном и спешном движении несколько дней, они все время голодали. Суворов приказал накормить как их, так и пленных солдат чем только можно, что и было исполнено переяславским конно-егерским полком, причем солдаты охотно делились с пленными скудным запасом, который имели при себе.

Вторая колонна была гораздо многочисленнее первой и двигалась по большой варшавской дороге. В обход ей была послана значительная часть кавалерии с одним из двух подоспевших егерских батальонов; отряду этому приказано перехватить у Поляков путь отступления. Потом к нему присоединились еще два казачьи полка, отряженные Ферзеном. Польская колонна продолжала ретираду, усилившись уцелевшими остатками первой, разбитой Исленьевым. На пути лежала высота, хотя лесистая, но более открытая, чем ближайшие окрестности. Поляки взобрались на нее и вдруг увидели перед собою русскую кавалерию и егерский батальон с пушками, которые тотчас же и открыли огонь. Полякам приходилось и отбиваться, и пробиваться; они стали жарким артиллерийским огнем очищать свой путь отступления. Пальба эта продолжалась однако недолго, потому что Русские произвели решительный удар, в котором приняли между прочим участие и войска, загородившие Полякам дорогу в Варшаву. Но так как с этой стороны действие в конном строю, по лесному характеру места было невозможно, то 4 эскадрона Мариупольского легкоконного полка и 2 эскадрона Глуховских карабинер спешились и, о бок с егерским батальоном, ударили на неприятельскую пехоту в палаши и сабли. Поляки бились отчаянно и не сдавались; больше часа продолжалось побоище; пленных было взято сравнительно мало; в числе их генерал-адъютант Польского короля Бышевский, раненый в плечо. Спаслось немного.

Так кончилось это небольшое, но кровопролитное дело. К концу его подоспела часть войск Ферзена, который не нашел в Окуневе неприятеля и потому хотел подать помощь Суворову, но надобности в этом не оказалось. Не участвовала в бою и большая часть войск самого Суворова, именно пехота, за исключением двух егерских батальонов. Причиною тому была, во первых, очень дурная дорога и болотистая местность перед Кобылкой; весьма трудный и без того путь сделался совершенно непроходимым после кавалерии, обратившей все в жидкую грязь. Во-вторых Суворов вел дело особенно энергично, ибо близость Варшавы и предполагаемое соседство Макрановского требовали спеха, так что сражение продолжалось всего 5 часов. Он был прав вполне.

Макрановский, прибывший к Праге 13 числа пополудни, послал к Кобылке подмогу, но посланный отряд, не дойдя 5 верст, повернул назад, вероятно опасаясь наткнуться на засаду или на слишком сильного неприятеля [12].

В руках Русских остались 9 польских орудий, т.е. вся артиллерия неприятельская, и единственное его знамя; сверх того захвачен обоз отряда во время следования его к Варшаве. Потеря Русских определена Потемкиным в 153 человека и 578 лошадей, убитых и раненых; если эта цифра и ниже действительной, то не на много, что объясняется ходом боя. Поляки потеряли напротив очень много; одних пленных, по точному исчислению, набралось 1073 человека, в том числе множество офицеров. Из них половина, именно добровольно сдавшиеся, была тотчас же распущена но домам. В донесении Суворова говорится, будто все остальные люди польского корпуса были истреблены; историографы его утверждают тоже самое, прибавляя, что некому было подать весть в Варшаву о поражении при Кобылке и что там узнали об этом случайно. Тут очевидно преувеличение, основанное на слухах, показаниях, предположениях и проч., а не на положительных данных, которых победители не имели и не могли иметь. Противуположная сторона впадает в другую крайность, как и следовало ожидать, определяя свою потерю только в 1500 человек со всею артиллериею, что совсем неверно, если припомнить общий ход и подробности боя, а также вышеприведенное число пленных; едва ли подлежащее сомнению. Ближе всего будет к истине, что на июле сражения осталась наибольшая часть инсургентского корпуса, составлявшего одну из колонн Макрановского (остальные две, хотя и с потерями, пробрались в Варшаву). Командовал этою колонною генерал Майен, уехавший при самом начале дела; в погоню за ним было послано несколько десятков казаков, но они не могли его догнать.

Числительное отношение сражавшихся нельзя верно определить по недостатку данных; но можно сказать утвердительно, что из Суворовского корпуса поспело на поле сражения и приняло в нем участие от 3 до 4,000 человек, не более, так как в его войсках состояло до одной трети конницы. Числительную силу неприятельского корпуса Суворов определяет в 4,300 человек, что должно быть довольно близко к истине и немногим выше действительности [13].

В начале сражения владелец Кобылки, престарелый граф Унру, выехал верхом из своей усадьбы, желая ради безопасности приютиться где либо под покровительство Русских. Его заметили казаки, приняли по голубой орденской ленточке за неприятельского генерала, захватили и отвели вт. лес. Скоро

истина разъяснилась, Унру был помещен в безопасное место и по окончании дела представлен Суворову. которого он знал и прежде. После короткого разговора, Суворов отправился к нему обедать и пригласил туда же польских и русских офицеров. Унру, приверженец русской партии, содержавшийся за это даже в варшавской тюрьме, принял гостей очень любезно. Обед прошел в оживленной беседе; Суворов обращался с пленными Поляками приветливо, как бы оттеняя свои отношения к противнику, действующему на поле сражения, и отдавшемуся на его великодушие.

После Кобылки до Варшавы было уже близко, как говорится — рукой подать. Дело войны еще далеко не завершилось, впереди оставалась важнейшая его часть, но собственно поход, в смысле долгого и трудного движения, здесь оканчивался. Поход этот и связанные с ним боевые дела, выделялись из общей картины происходивших тогда военных действий. На них была особенная, свойственная одному Суворову, печать энергии и искусства. И однако противники его не походили на Турок, ни на войска барской конфедерации, с которыми доселе приходилось ему сражаться. По единодушному свидетельству многих, польские войска, помимо врожденной им храбрости, отличались устройством и хорошей подготовкой; кавалерия имела порядочных лошадей и была хорошо вооружена; артиллерия отличалась очень хорошим состоянием и обучением. Маневрировали Поляки весьма удовлетворительно, совершенно по-европейски, «живо и проворно», по словам Суворова. Многие из польских офицеров служили перед тем в европейских армиях; кроме того в польской армии состояло немало иностранных офицеров. Правда, ее приходилось укомплектовывать многочисленными добровольцами, которые, особенно в начале, составляли большой контраст с настоящими солдатами, но потом дисциплинировались и сливались в одну общую с ними массу. Только в том случае. когда из добровольцев формировались, отдельные части и особые отряды, они отставали от войск регулярных. Особенность польской армии заключалась еще в *косионерах*, довольно жалком подспорье регулярной силе. Так назывались люди, вооруженные, за недостатком ружей, насаженными на длинные древки лезвиями кос, или лучше сказать подобия кос, а иногда пиками. Они размещались обыкновенно в задних шеренгах, иногда же составляли отдельные части, обучались действовать в колоннах и ставились по флангам регулярных войск. В рядах корпуса Сераковского находились и добровольцы, и косионеры, около 2,000, но уже достаточно обученные и освоившиеся, успевшие, по выражению Суворова,

«войти в регулярство». Может быть благодаря отчасти этому обстоятельству, Поляки и прибегали к строю в колоннах; ибо при известном подъеме духа, косионер мало чем уступал в колонне, при ручном бое, вооруженному ружьем со штыком, чему и были доказательства в эту войну. Да и в русских войсках. еще не так давно, в царствование Екатерины же, небольшая часть людей была вооружена пиками вместо ружей, конечно не по недостатку ружей. Если же в последнее время Польской войны 1794 года, наступило полное разочарование относительно косионеров то это потому, что регулярных войск стало слишком мало сравнительно с ними, да и утратили они, вследствие хода войны, всякую нравственную силу, кроме редких моментов возбуждения. Только избыток нравственного элемента и может служить противовесом недостатку материальных способов [14].

Каковы бы впрочем ни были польские войска, они во всяком случае много уступали войскам русским, которые или уже были раньше *Суворовскими*, или успели ими сделаться во время похода. Особенности Суворовского военного дарования накладывали на них и печать особенную. Со свойствами этого дарования мы уже знакомы по прежним его войнам, но в войну 1794 года они приобретают как будто еще больше выпуклости. Из числа его боевых принципов, обращает на себя внимание во-первых *быстрота*. Он заполняет ею недостаток численной силы и предотвращает сосредоточение неприятельских масс. Прибегая к внезапному нападению, он только возвышает выгоды быстрого походного движения и вселяет в неприятеля преувеличенное понятие о числительной силе его противника. И Суворов достигает цели. Он является перед лицом неприятеля тогда, когда тот считает его за десятки верст; он бьет его потому, что тот, собираясь отступать, не торопится и остается на месте лишних 2-3 часа; он бьет его и потому еще, что идущий к нему на помощь (под Брестом) генерал Княжевич не торопится движением, и весть о совершенном разбитии Сераковского застает его, Княжевича, на походе. До чего быстрота Суворова и внезапность появления должны были сильно действовать на людей впечатлительных, видно между прочим из того, что находившийся при Сераковском комиссар народной рады бежал, едва заметив издали наступавшие русские войска [15].

Затем — *глазомер*. Требуется большая военная сметка, чтобы ознакомиться с местностью и с расположением неприятеля, притом так, чтобы по видимому пространству, вывести заключение об остальном, не видимом, и еще при условии — не возбуждать внимания противника до атаки, сохраняя неожиданность удара. В этом отношении взгляд Суворова был

изумительный и доходил до проницательности маловероятной; Суворов иногда знал местность, занятую неприятелем, лучше чем сам неприятель. Такой глазомер был его природным даром, развившимся от практики и опыта. Суворов пополнял его расспросами пленных и местных жителей, мастерски выведывая у них все что нужно; прибегать же зауряд к посредству разъездов и патрулей не любил [16].

Третье основное его правило — *натиск*. Мало — поразить противника, надо заронить в него зерно сознания в непобедимости того, с кем он имеет дело или, что тоже, сомнение в своих собственных победных качествах. Для этого, явившись пред ним быстро и накрыв его внезапно, надо тотчас же нанести ему жестокий удар. В описанных делах с Поляками и нельзя было поступать иначе. Продолжительная канонада, методическое развертывание сил и сложное маневрирование обнаружили бы численную слабость Суворова, Вследствие этой слабости, он не мог давать в своих действиях предпочтения охватам и обходам, как оружию, в настоящем случае обоюдоострому; тем паче, что Поляки были сами достаточно сильны в маневрировании. Не имели же их предводители того, что составляло главную силу Суворова — уменья владеть волею войск, как своею собственною. Это нравственное влияние Суворова на подчиненные ему войска, пробывшие в его школе, было поистине громадно. Возможно ли и расчетливо ли было ему отказаться от главного своего преимущества и стать в уровень с противником, из-за одного принципа, который вовсе не имел первостепенного -значения в его живом военном искусстве?

По этой и по другим равносильным причинам, близорукие ценители Суворова отзываются о его военных делах вообще, а в Польше особенно, как о незнании или отрицании всяких тактических правил, т.е. как о невежестве. Не вдаваясь в своих суждениях в глубь дела, они руководятся одною внешнею его стороною, да и то неправильно. По слабой численности своего корпуса и но необходимости дорожить каждою минутой времени, чтобы не упустить неприятеля, — Суворов например прибегал к фронтальным атакам, но он все-таки заставил своего противника в двух первых делах спешно переменить позицию, отказавшись от прежней, выгоднейшей. Кроме того он прибегал к охвату флангов, к угрожению тылу, к отрезанию пути отступления. Потом — атака неприятельского корпуса одной кавалерией. Что другое мог сделать Суворов, не рискуя упустить противника? Артиллерия его уступала польской или числом, или калибром, или тем и другим; пехота не могла поспеть; оставалось атаковать конницей. В Турции он поступал иначе. Не особенно опасаясь ни пехоты, ни

артиллерии, он должен был беречься только лихой турецкой кавалерии и потому атаковал обыкновенно пехотой, в колоннах или кареях, со стрелками впереди или по флангам. В Польше ему более всего был опасен огонь артиллерии; кавалерия же, а тем паче пехота, опасений не внушали, так как его собственная конница была не ниже, а пехота несомненно выше польской. Кавалерийская атака оказывалась таким образом наиболее соответственной и по быстроте, и по своему почти рассыпному строю, особенно у конницы Суворова.

Кавалерийские атаки под Брестом и под Кобылкой напоминают, хотя и в разной степени, такую же атаку Суворова под Ланцкороной, 22 года назад, кончившуюся поражением Дюмурье. Это показывает, что в тактических правилах Суворова была устойчивость, и что он поступал так не по минутному порыву. В этих приемах, называемых анти-тактическими, действовала не опрометчивость, а необходимое военное качество-смелость и с нею трезвая осмотрительность. Пуская кавалерию в атаку, Суворов непосредственно затем двигает пехотные части на её поддержку. Не так поступают люди, увлекаемые фантазией, и кидающиеся на неприятеля очертя голову; не так действовали неразумные подражатели Суворова в Польскую войну 1792 года и потому платились дорого. Наконец, для правильного освещения действий Суворова, укажем еще на его непрерывные, злые атаки и на настойчивое (под Брестом) преследование. Такой способ действий ошеломлял неприятеля, не давал ему придти в себя и успокоиться, пока окончательно не подрывал его духа и физических сил, после чего следовали плен или смерть. Это ли не тактика?

Дело при Кобылке, представляя собою подобно предшествовавшим наглядные особенности Суворовской военной теории, имеет еще одну характерную частность — атаку спешенной кавалерии на пехоту с ударом в сабли. Атака эта была вызвана, как мы видели, необходимостью — местностью и отсутствием пехоты; Суворов не задумался прибегнуть в крайности к такому необычному средству, и оно увенчалось полным успехом. Практикуя часто на полях сражений приемы, которые нельзя найти в учебниках, он уже привык к ним и приучил свои войска, но настоящий случай даже и ему казался заслуживающим особенного внимания. «Если бы ты был при Кобылке», говорил он потом одному французскому эмигранту, вступившему в русскую военную службу: «ты бы увидел то, *чего и я никогда не видал*». Но спешивая эскадроны легкой и тяжелой кавалерии и пуская их на пехоту, Суворов постарался однако же обеспечить успех атаки вспомогательными способами, какие имел

в своем распоряжении: он пустил в атаку с этими эскадронами единственный пехотный батальон, которым мог распорядиться. И что же? Такое живое его отношение к военному делу осталось или незамеченным, или приравнено к способу действий первобытных полудиких воителей. У одного из новейших военных писателей сказано, что под Кобылкой «Суворов сделал самое жалкое употребление из своей конницы, ввалив одну часть её в болото, а другую заставив спешиться и атаковать с одними саблями пехоту, находившуюся в лесной засаде». Как различно можно осветить один и тот же факт, и до какой степени может доходить путаница понятий! [17].

Вообще странным путем иногда складываются репутации и долго держатся по одной инерции, вопреки простому здравому смыслу. Так создалась и живет в западной Европе репутация Суворова, как ни нелепо объяснять непрерывную цепь тождественных явлений случаем, или, что тоже, счастьем. Ценители и судьи проглядели в Суворове самую важную его особенность — неограниченное нравственное владычество над своими войсками. Не заметили они и другой его черты — знания своего противника со всех сторон и построенного на этом знании уменья — пользоваться его слабостями и недостатками, по указанию слагавшихся обстоятельств. Оттого он и мог делать многое такое, на что не осмеливался никто другой, а если бы и осмелился, то жестоко поплатился бы за свою дерзость. Откиньте эти Суворовские особенности, и подведите его действия под один формальный тактический шаблон, — выйдет *счастье*; возьмите в расчет не одни внешние данные, а также животворящий их дух, — выйдет *гений*. Невольно припоминаются здесь слова Суворова, сказанные им 10 лет перед тем в письме к Потемкину: «я был счастлив, потому что повелевал счастьем».

Глава XVII. Польская война: Прага; 1794.

Решение штурмовать Прагу; присоединение Дерфельдена; военный совет; послания из Праги и Варшавы; ответы Суворова. — Расположение польских сил; состояние Варшавы; избрание Вавржецкого главнокомандующим; разномыслие его с другими; интриги Колонтая. — Приготовления Русских к штурму; приказ по войскам; наставление Ферзену. — Укрепления Праги; силы обеих сторон; диспозиция Суворова. — Ночь перед штурмом; распоряжения Вавржецкого. — Начало штурма и его ход; быстрые успехи Русских; их ожесточение; зажжение моста; канонада до ночи; её поводы; пожар в Праге и грабеж. — Потери. — Суворов после штурма; возводимые на него обвинения. - Параллель штурмов Праги и Измаила.

После Кобылки оставалась одна ступень до Варшавы — Прага. На защите Праги Поляки должны были сосредоточить всю свою энергию, собрать все средства, ибо Польша с её революцией заключалась теперь в Варшаве, а с потерей Праги погибала и Варшава, и Польша, и революция. Суворову надо было завладеть Прагой во что бы то ни стало, а выбор для этого средств оказывался не велик. Для правильной осады время было слишком позднее, и Русские не имели ни одного орудия осадной артиллерии. Блокада Праги вместе с Варшавой может и привела бы к желаемому результату, так как продовольствия там запасено было не много, но для этого требовались большие силы, помимо другого препятствия — позднего времени. Оставалось одно — штурмовать. Средство это было рискованное, так как по сведениям укрепления Праги были обширны, грозны, вооружены

крупнокалиберной и многочисленной артиллерией, а гарнизон превышал 30,000 человек, не считая вооруженных варшавян. Но все это не могло остановить Суворова. Почти везде и всегда ему приходилось иметь дело с неприятелем, более многочисленным, чем его, Суворовские войска; не задумывался он над предприятиями рискованными, неоднократно ставя на карту свою будущность и приобретенную репутацию. Он твердо верил прежде всего в самого себя и затем в свои войска; теперь, после блестящей кампании, такая уверенность могла только возрасти. Он решился сделать последний шаг, к которому был готов еще находясь в Немирове, в качестве зрителя, ибо рассчитывая покончить с Польшей в 40 дней, он конечно не имел в виду ни осад, ни блокад. Как ни велико будет число жертв, но оно во всяком случае окажется гораздо ниже цифры, которую принесет затянувшаяся война. Кроме того подобный решительный удар потрясает, наводит ужас, подсекает остатки энергии и иссушает войну в самом её источнике. Суворов решил штурмовать Прагу.

Дерфельден присоединился 19 числа и расположился на правом фланге, Ферзен стоял на левом; общая числительность всех трех корпусов простиралась до 24-25,000 человек при 86 полевых орудиях. Суворов собрал военный совет и передал ему свой взгляд на дело; состоялось постановление — идти к Праге и брать ее приступом, несмотря ни на какие укрепления. Началось приготовление штурмовых лестниц, фашин, плетней.

Казаки, очищая от инсургентов окрестности Кобылки, добрались почти до пражских укреплений и появлением своим произвели большую тревогу, потому что были приняты за авангард приближающегося корпуса Суворова. С пражских укреплений открылась артиллерийская пальба, и запылали маяки вокруг Варшавы. Вскоре после того, 18 числа, стало быть раньше военного совета, большое число генералов и штаб-офицеров произвели усиленную рекогносцировку пражских окопов, под прикрытием значительного кавалерийского отряда. Они были встречены сильным огнем, впрочем безвредным; конница наша потеснила несколько польских пикетов, нанесла, им некоторый урон, захватила пленных. Поляки не решились на вылазку и серьезную атаку, и русский рекогносцировочный отряд благополучно удалился, окончив свое дело. В этот же день прибыли к Суворову посланные из Праги и Варшавы, по разным делам. — Посланный от короля просил отпустить генерала Бышевского в Варшаву для лечения; Суворов тотчас же согласился и поручил ему засвидетельствовать королю глубочайшее его, Суворова, почтение, Другой посланный был от верховного народного совета, с экипажем и врачом для Косцюшки; в этом

отказано, так как Косцюшко находился очень далеко и ни в чем не нуждался. Третье послание последовало от командующего в Варшаве и Праге генерала Зайончека, который прислал Суворову через трубача письмо, в дополнение к просьбе народного совета. Зайончек требовал возвращения Косцюшкиного обоза, причем счел почему-то уместным, не только обойти в своих выражениях общепринятые формы приличия и вежливости, но и трактовать русского военачальника свысока. Суворов был в этом отношений очень щекотлив, и потому выходка польского генерала задела его за живое. Он написал и послал Зайончеку ответное письмо, короткое, энергическое и суровое, указав на неприличность его тона и на кичливость вождей инсурекции по отношению к России; причем возвратил самое письмо и предупредил, что никакие послания не будут принимаемы, кроме тех, где будет говориться о раскаянии и о забвении прошлого [1].

Все приготовительные к штурму работы были окончены 22 числа; в тот же вечер войска двинулись к Праге 3 колоннами и с развернутыми знаменами, с барабанным боем и музыкой вступили в назначенные им под Прагой лагерные места, от передовых окопов дальше пушечного выстрела. Пикеты неприятельские были тотчас же сбиты, и русская цепь заняла их места. В тот же день вновь произведена рекогносцировка, так сказать поверочная, в которой приняли участие все генералы; затем Суворов объехал и осмотрел лагерь. Его собственный корпус под начальством Потемкина занимал центр лагерного расположения, Дерфельден правый фланг, Ферзен левый. Около полуночи стали возводить перед фронтом трех корпусов батареи; работали 2,000 человек под прикрытием 6 батальонов. с 5 часам утра батареи были готовы: у Дерфельдена на 22 орудия, у Потемкина на 16, у Ферзена на 48. Возведение батарей предпринято, по донесению Суворова Румянцеву, для замаскирования готовящегося приступа, чтобы дать неприятелю повод ожидать осады. Утром батареи открыли огонь, к удивлению защитников Праги, которые не заметили производившихся ночью работ; артиллерия неприятельская отвечала с живостью. Суворов лично сделал рекогносцировку с некоторыми лицами своей свиты и назначил штурм на ту же ночь, с 23 на 24 число.

Все приготовления к штурму были кончены, а диспозиция объявлена еще раньше, после состоявшегося в Кобылке военного совета. Развязка приближалась; Суворов относился к ней не слегка и все подумывал об участии союзников. «Здесь на Пруссаков безнадежно», пишет он Румянцеву 13октября: «а Австрийцы малосильны». Три дня позже, обдумывая средства для овладения Варшавой после взятия Праги и находя, что для этого

нужно прежде всего отрезать ей продовольствие, Суворов говорит: «без содействия Пруссаков с Варшавой справиться будет очень трудно, паче по позднему времени». Перед штурмом, 23 числа он доносит: «из приложений изволите усмотреть добрую волю Пруссаков; мы времени тратить не будем, но жаль, что уже глубокая осень». Как бы в утешение ему, Румянцев сообщает: «я вижу внятно, что вы все обстоятельства и происшествия и все, что касается до вашего предприятия, с лучшей пользой службе соображаете и все то в себе самом и в соревновании подчиненных находите, чего от помощи союзных ожидали. И то уверительно не без удивления, что все старания и предложения вашего сиятельства, в сем виде были вовсе тщетны и без всякого уважения на поводы, что вы там наводили, и на саму видимую пользу общественных действий, и что сие единственно и едино виной было, что Варшава могла без помехи жизненными средствами запасаться, и войска из Литвы и Пруссии к Варшаве скрытно пробрались» [2].

Румянцев был прав; союзники могли оказать Русским немалое содействие, судя по занятым ими пунктам на польской территории, но не оказали. Пока Русские сближались к Праге, Пруссаки стояли близко от Варшавы, в Вышеграде, Закрочиме, Зегрже, Пултуске и Рожане, всюду в малом числе, также на Бзуре, в Каменной и Сохачеве; а в больших силах в Ловиче, Раве и Петрокове. Австрийцы занимали разные пункты, преимущественно в сандомирском и радомском воеводствах. Конечно, присутствие союзных войск служило инсургентам помехой, и оно облегчило Суворову взятие Праги, оттянув от Варшавы часть польских войск. По этого было слишком недостаточно, благодаря их образу действий, или своекорыстному, или неумелому и вялому. Варшава снабжалась продовольствием не только из дальних мест, так как ближние были разорены и обобраны, но и из отбитых у союзников транспортов, и хотя жила изо дня в день, но большой нужды не ощущала. Неудобства такого порядка стали особенно ощутительны при приближении развязки, когда состояние запасов в Варшаве должно было прямо влиять на степень её стойкости и упорства. Чрез посредство шпионов и особенно беглых, число которых с каждым днем возрастало, Суворов имел об этом предмете сведения. Октября 17 он донес Румянцеву, что войска в Варшаве получают по фунту мяса и по полу-фунту хлеба, а лошади кормятся соломою с крыш. Четыре дня позже он пишет, что генерал Гедройц отправился с сильным корпусом к стороне Кракова за сбором провианта; что Пруссаки не сумели ему воспрепятствовать, а потому он, Суворов, просил графа Шверина

и Прусского короля — разбить Гедройца на возвратном пути и отнять у него транспорт, ибо в Варшаве осталось хлеба всего недели на две, а рогатого скота несколько тысяч, из коих тысяч пять голов недавно убито на солонину.

Действуй союзники иначе, Варшаве грозил бы буквально голод, а с ним и какая-нибудь катастрофа, ибо там и без голода было смутно, тревожно, и в душной политической атмосфере происходило глухое брожение. С пленом Косцюшки усилилась рознь; одни тянули на прусскую сторону, другие — на русскую, третьи, не заглядывая вдаль, стояли за продолжение борьбы до последней крайности. В одном лишь все сходились — в искренней скорби о потере Косцюшки. Это доказывает, что инсурекционная Польша потеряла в нем очень многое, что она потеряла в нем все, хотя в наше время, почти из столетней дали, видно довольно ясно, что этого *всего* было слишком мало для успеха польской революции и возбужденной ею войны [3].

Следовало избрать Косцюшке преемника; право это принадлежало верховному народному совету. Ксендз Колонтай предложил Зайончека, которому Косцюшко, уезжая, поручил главное начальство над варшавскими войсками; ведавший иностранными делами, Игнатий Потоцкий, выставил кандидатом Томаса Вавржецкого, командовавшего на курляндской границе. Некоторые из адъютантов Еосцюшки потом говорили, будто и он упоминал про Вавржецкого, на случай своей смерти или плена, но это осталось недоказанным. Большинство верховного совета не любило и боялось Колонтая, — подобия французских террористов, а потому Вавржецкий взял верх. Объявили об этом во всеобщее сведение, армия присягнула; почти все корпусные командиры сообщили, что и они, и их подчиненные приняли выбор совета с удовольствием. За то он сам был не согласен, поехал в Варшаву и заявил свой отказ совету лично. Его уговаривали, приводя в резон, что избрание его привело разномыслящих к единству, что все довольны и что при его отказе нельзя отвечать за спокойствие в городе. Вавржецкий возражал, говоря, что сознает себя неспособным к предложенному ему высокому посту, не видит впереди ничего хорошего, не считает возможным исправить наделанных ошибок, ни согласить оборону Варшавы с продолжением революции. Колонтай холодно и сухо советовал ему не отказываться; прочие члены говорили, что его опасения и предположения гадательны, а опасность от народного восстания близка. И точно, по улицам толпился народ, перед крыльцом совета скоплялась чернь, слышались крики, угрозы, застращивание восстанием, анархией. Вавржецкий оставался при своем решении. Члены совета приступили к нему поодиночке,

говоря в полголоса, что их ненавидит Колонтай, что в случае восстания черни они будут повешены, а находящиеся по подозрению под арестом — замучены, и сам король подвергнется серьезной опасности. Ваврженкий не устоял, согласился, — как он сам выражается, «с отвращением». Не много могла выиграть революция, поставив во главе своей человека, который с подобным чувством принимал высокое назначение, будучи искренно убежден, что дело проиграно безвозвратно.

Мацеиовичский погром и назначение нового главнокомандующего повлекли за собою большие перемены в расположении боевых сил на театре войны. Макрановский предпринял отступление из Литвы к Варшаве. которое и совершил не без значительных потерь; Домбровский и Мадалинский более счастливо ретировались из прусской Польши к р. Пилице. Домбровский приехал в Варшаву и занемог; Зайончек остался командующим войсками под Варшавой; князь Понятовский прикрывал левый берег Вислы со стороны Варшавы. Продолжалось начатое Косцюшкой возведение укреплений вокруг Праги и, для успешнейшего их хода, принимались всевозможные прямые и косвенные меры. Первое время работы исполнялись с пылом, с патриотическим увлечением и подвигались быстро; возникавшие окопы видели на себе людей всех сословий и даже дам; их присутствие, горячие патриотические слова и иногда непосредственное участие в работе, поддерживали энергию и прилежание работавших. Езжал сюда и король; он также, в пример другим, прикладывал свои руки к делу, но это не прибавило ему не достававшей популярности и даже не спасло от оскорблений. Одна женщина язвительно посоветовала ему, для успеха дела, не принимать в нем участия, так как все его начинания постоянно имели дурной конец. Потом пыл уменьшился, энергия ослабела и хотя работы продолжались, но к дню штурма не были окончены. Впрочем Косцюшко задумал их в слишком большом размере: внешний ретраншамент своим протяжением почти равнялся окружности Варшавы за Вислой; вооружить все укрепления как следует было нечем, а собрать надлежащий гарнизон и того труднее. Ваврженкий считал невозможным отстоять Прагу и говорил членам верховного совета, что Прага погубит Варшаву, но авторитет Косцюшки пересилил [4].

Ознакомившись с общим состоянием дел, Ваврженкий больше прежнего убедился в безнадежности дальнейшей борьбы. Он считал самой благоразумной мерой послать кого-нибудь к Суворову, с просьбой о приостановке военных действий, а в Петербург — с мирными предложениями, дабы обратить все силы

Польши против Пруссии. Потоцкий был не прочь, или по крайней мере не спорил, но спустя некоторое время сообщил Вавржецкому, что обращался к двум из русских пленных, барону Ашу и Дивову, с предложением съездить к Суворову и узнать, примет ли он посольство, но оба они отказались. Этим попытка и кончилась. А между тем положение ухудшалось: Суворов приближался, увеличивая по пути свои силы: инсургенты были разбиты Пруссаками на Нареве и при Остроленке; энергия Поляков видимо ослабевала; многие генералы действовали сонливо, как бы нехотя, так что одному из них, Понятовскому, Вавржецкий предложил отказаться от начальствования, если он не считает возможным исполнять получаемые приказания. Конечно, численность июльских войск далеко не соответствовала обстоятельствам и потребности, но это самое и требовало особенной смелости, даже дерзости в действиях. Рискуя, Поляки ничего не теряли, а могли только выиграть. Но на войне отразилось общее настроение: революция доживала последние свои дни.

Предстояло теперь сосредоточить в Варшаве всю вооруженную силу, какую только можно притянуть; этого требовало принятое решение — отстаивать столицу. Правда, опасности грозили всюду, но из них самая большая и близкая олицетворялась в Суворове. В других местах можно и по необходимости должно было действовать на авось, полагаясь на время, на случай и т. под.; здесь требовалось нечто более солидное. А между тем Прагу не усиливали, а ослабляли. Вавржецкий еще раньше выслал два отряда на обсервацию Вислы до Пулавы и в сандомирское и радомское воеводства, благодаря которым Варшава получила водою и сухим путем немного хлеба и большое количество скота. Эти отряды не были притянуты. От Домбровского, Понятовского и других не только ничего не взято, но еще отправлен Гедройц с сильным корпусом в 6-7,000 человек на соединение с Домбровским, для скорейшего взятия Равы и Ловича. Вавржецкий все убеждал членов верховного совета оставить Прагу, укреплять варшавский берег и не пропускать Суворова за Вислу; или же трактовать с Русскими о капитуляции, когда они займут Прагу; пользуясь проволочкой вывезти из Варшавы все что можно, идти в Великую Польшу и переместить туда короля и верховный совет. Ему отвечали, что Варшава доставит на защиту Праги «20,000 человек, вооруженных оружием и отчаянием», что бесчеловечно бросить столицу на мщение неприятеля и что этим по справедливости можно заслужить общее презрение и вселит во всех уныние. Вавржецкий уступил и принял меру, не отвечающую ни тому, ни другому решению:

притянул к Праге войска из ближайших мест около Варшавы.

Узнав, что Суворов, находившийся в Кобылке, не соединился еще с Дерфельденом, Вавржецкий решился его атаковать, но генералы Макрановский, Зайончек и Ясинский его отговаривали, объясняя, что солдаты обескуражены и изнурены, лошади обессилены, местность в Кобылке неблагоприятная и тому подобное. Вавржецкий послушался. Он хотел разделить в Праге начальствование между Макрановским и Зайончеком, но первый отказался, ибо не имел никакой надежды на успех. Готовясь против своей воли к делу, в которое не верил, главнокомандующий велел президенту города оповестить пражских жителей, чтобы оставляли дома и выезжали из Праги. À между тем варшавская чернь волновалась; в народе говорили с неудовольствием, что преемник Косцюшкин — враг гласности, что он есть «диктатура арбитральная». Вавржецкий потребовал, чтобы к нему был приставлен особый военный совет, но и это никого не успокоило. Мутил Колонтай, недовольный ни Вавржецким, ни верховным советом. в котором он не имел уже большого значения, а играл роль всеобщего пугала. В это критическое время, когда требовалось как можно больше дела и как можно меньше слов, он предложил проект об усилении совета новыми членами и основал клуб «для поддержания революции и краковского акта». Вавржецкий объявил ему, что никакой новизны против Косцюшкиного времени не допустит. Колонтай не угомонился и стал требовать, чтобы Вавржецкий принял от народа депутацию с жалобою на верховный совет и на управление вообще; Вавржецкий отвечал, что с народом не будет иметь никаких сношений помимо установленных властей. Колонтай пустил слух, что будет объявлено равенство, и чернь стала собираться у дворца; Вавржецкий поскакал туда и разогнал сборище в самом начале [4].

Вся эта сумятица происходила накануне кровавой катастрофы, которая назревала без шума и надвигалась как туча на небосклоне. Когда производилась большая русская рекогносцировка под Прагой, польский главнокомандующий потребовал из Варшавы 10,000 вооруженных, но пришло только 2,000. Не желая ограничиваться канонадой, а рассчитывая действовать против рекогносцировки активно, он послал двух офицеров на кобылкский тракт для разведок. Но к нему приступили некоторые генералы с советом — ничего не предпринимать, ибо в ближнем лесу подозревали засаду. Вавржецкий опять согласился. Вообще вследствие ли излишней его мягкости и недостатка характера, или по особенностям польской военной среды революционной эпохи, когда могли

импонировать лишь такие авторитеты, как Косцюшко, но только внутренняя жизнь польской армии носила на себе печать какой-то ненормальности, чего-то гражданско-республиканского. Совсем не то было в русской армии, и контраст этот сказывался во всем; особенно же велик он был между главнокомандующими, помимо их военных дарований.

Все приготовления к штурму в русской армии были уже окончены; выбраны в полках стрелки, назначены рабочие. роздан шанцевый инструмент, объявлен по войскам приказ. Приказ этот прочитан в полках вечером 23 числа, до трех раз, чтобы каждый солдат потверже его запомнил. В приказе сказано, чтобы полки строились в колонны по-ротно, стрелки впереди, с ними рабочие; людям с шанцевым инструментом, под начальством особого офицера, быть на нравом фланге колонн. У рабочих ружья через плечо на погонном ремне. Идти в тишине, ни слова не говорить; подойдя же к укреплению, быстро кидаться вперед, бросать в ров фашинник, спускаться, приставлять к валу лестницы, а стрелкам бить неприятеля по головам. Лезть шибко, пара за нарой. товарищу оборонять товарища; коли коротка лестница, — штык в вал, и лезь по нем другой, третий. Без нужды не стрелять, а бить и гнать штыком; работать быстро, храбро, по-русски. Держаться своих в середину, от начальников не отставать, фронт везде. В дома не забегать, просящих пощады — щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого убьют — царство небесное; живым — слава, слава, слава [5].

Кроме этого приказа, общего для всех, Суворов дал дополнительную инструкцию Ферзену, перед самым штурмом. В этой короткой записке указывается: при малейшем сопротивлении, атаковать и действовать наступательно, не давая опомниться, а если неприятель стоит спокойно на месте, то прежде всего окружит его конницей. Кричать ему: *згода, пардон, отруць брон* (бросай оружие); кто послушается, так отделять, давать им свободу и снабжать паспортами; кто вздумает обороняться, тех бить как сказано, Операцию вести быстро, действовать холодным оружием, принуждать к сдаче и не отдыхать до тех пор, пока все не будут забраны; о ходе дела доносить записками чрез каждые 3 часа [6].

Прага, обширное предместье Варшавы, расположена на правом берегу Вислы, имеющей тут значительную ширину; соединялась Прага с Варшавой длинным мостом (другой находился ниже города) и была населена почти исключительно евреями. Мост прикрывался небольшим укреплением; сама Прага была обнесена земляным валом, а в версте от него тянулся длинный ретраншамент, над возведением и вооружением

которого и работали варшавские жители целое лето. Между ретраншементом и валом, окружавшим Прагу, стояли лагерем польские войска. Внешняя укрепленная линия имела вид почти прямого угла; она начиналась от берега Вислы, против небольшого острова ниже города, и направлялась к востоку почти на две версты с половиной, до песчаных холмов, где поворачивала к югу и тянулась без малого на четыре версты до болот Саской Кемпы; остальная узкая полоса до Вислы защищена была тремя батареями. Ретраншамент этот, проектированный и возведенный искусными инженерами, прикрывался местами передовыми отдельными укреплениями и был усилен разными искусственными преградами, в том числе несколькими рядами волчьих ям. Особенно сильно был укреплен исходящий угол, где сходились оба фронта; он имел два крепкие кавальера, один из них кирпичный. На всех этих укреплениях находилось свыше 100 орудий, большею частью крупного калибра; кроме того оборона усиливалась батареями той стороны Вислы, а левый фланг пражского ретраншамента обстреливался еще и с острова, противу которого примыкал к берегу реки.

Такую позицию можно бы назвать недоступной для открытой атаки корпусом, едва имевшим 25,000 человек, в том числе больше трети кавалерии, и снабженным артиллерией, которая и числом орудий, и калибром их уступала неприятельской. Но на стороне Русских был прежде всего резкий перевес в главном элементе победы, в высшем предводителе, а затем и в войсках. Закаленные не только в боях, но и в победах русские полки, уверенные в себе и в своем начальнике, представляли собою силу, далеко превышавшую число рядов. Нельзя сказать того же про Поляков. Бесспорно храбрые, одушевленные любовью к родине, они однако вынесли уже много ударов; нравственная сила их надломилась, между ними прокралось уныние, и с каждым днем усиливалось желание — окончить эту тяжелую, неравную борьбу. Первоначальный состав польской армии изменился; число дисциплинированных, обученных и хорошо вооруженных заправских солдат значительно убыло. Стали легче сдаваться в плен, стали больше дезертировать. Все это видно из донесений Суворова. Он принял правилом — отпускать по домам, снабдивши паспортами, тех из пленных, которые сдались добровольно. Под Кобылкой таких оказалось половина. Он доносил оттуда же Румянцеву, что по полученным сведениям косиньеры бегут, кто только может; от одного Макрановского ушло за Буг свыше 1,500. В день, предшествовавший пражскому штурму, т.е. 23 октября, перебежало в русский лагерь больше ста человек. В Варшаве, по словам самого Вавржецкого, находилось

большое число генералов и огромное число офицеров без войск, т.е. без солдат, — тоже обыкновенный признак дезорганизации армии [7].

При таких условиях, численный перевес над атакующим противником значит не много, но и его не было. По донесениям Суворова и печатным источникам, Прагу обороняло до 30,000 человек, даже больше. Цифра эта преувеличена; она основана на данных гадательных, в роде слухов, показаний пленных и проч., и опровергается соображениями и сопостановлениями, которые однако же не дают точного вывода. С другой стороны не заслуживает веры и показание Ваврженцкого, будто в Праге, в ночь штурма, имелось не больше 10,000 войска, из коих до 6,000 рекрут и косионеров. Тенденциозность цифр Ваврженцкого очень естественна и слишком очевидна. Он например говорит, что не мог собрать в Прагу, в ночь с 23 на 24 октября, больше нескольких сот вооруженных варшавских жителей (народной гвардии или стражи), вместо 8,000, им потребованных. а между тем их полегло во время штурма гораздо больше. Да и общая потеря Поляков, как увидим ниже. совсем не соответствует цифрам Ваврженцкого. Принимая в расчет, что вооруженная сила Варшавы не могла быть из нее выведена вся без остатка для обороны предместья, так как в столице происходило анархическое брожение, не будем далеки от истины, определив цифру защитников Праги тысяч в двадцать или немногим выше, У Суворова, как мы видели, было 24-25,000 [8].

Диспозиция Суворова, основанная на одной рекогносцировке и проверенная другою, даже третьею, заключалась главным образом в следующем. Армия разделена на сем колонн. по две Дерфельдена и Потемкина, три Ферзена. Первые четыре назначались для атаки северной, короткой стороны, остальные- для восточной, более длинной. При каждой колонне по 128 стрелков, 472 работников и 30 человек с шанцевым инструментом; вторые и третьи несут штурмовые принадлежности и очищают путь, первые их защищают и содействуют огнем штурмующим. За каждой колонной свой резерв из пехоты и кавалерии, отчасти спешенной. Назначены колоннам сборные пункты и час выступления из лагеря, самая же атака производится по ракете. По ней первые четыре колонны срывают находящиеся перед ними передовые укрепления, на плечах неприятеля врываются на вал главного ретраншамента, овладевают им и затем — три атакуют укрепленную ограду Праги, а первая направляется вдоль по берегу и отрезывает неприятеля от моста. Колонны 5-я и 6-я начинают атаку, когда первые четыре сорвут передовые укрепления (дабы част

неприятельских сил была от них оттянута), а 7-я выступает двумя часами раньше других, чтобы успеть сделать дальний обход, овладевает батареями правого неприятельского фланга, по берегу Вислы врывается в Прагу и содействует первой колонне в отрезании неприятеля от моста. Атака производится холодным оружием. Резервы выстраиваются, по взятии первого ретраншамента, на его парапете и разрабатывают проходы кавалерии, а потом, по взятии колоннами пражской ограды, занимают ее. Вся полевая артиллерия, под прикрытием трети кавалерии, располагается на валах внешнего ретраншамента, а потом, когда Прага будет взята, ставится батарея на берегу, для обстреливания Варшавы. Остальная кавалерия, под начальством Шевича, подразделена на четыре части: на нравом фланге, в большом промежутке между 4 и 5 колоннами, правее 5 колонны и между 6 и 7. Казаки размещены в разных местах, наибольшая часть в промежутке между 4 и 5 колоннами, остальные по флангам и при 6 колонне. Войска очищают от неприятеля Прагу, не отвлекаясь мелочами и не заходя в дома; они действуют с крайнею энергией противу вооруженных, но щадят безоружных и сдающихся. Казаки между прочим развлекают внимание обороняющихся при начале штурма, подъезжая к валу с криками *ура*.

Ночь спустилась тихая, но темная и мглистая; было холодно и сыро. В ротах запылали костры; солдаты надевали чистое белье, осматривали оружие, молились перед ротными и полковыми образами, поставленными у огней. Во втором часу ночи пошла на назначенное место 7 колонна; в 3 часа двинулись остальные. Шли в гробовой тишине, которая не прерывалась и по прибытии колонн на места. Тут стали слышны оклики неприятельских часовых, да доносился неопределенный гул из польского лагеря. Колонны стояли и ждали ракеты. Она взвилась до рассвета, в 5 часов. Четыре первые колонны двинулись на приступ, соблюдая по возможности тишину, но ускоряя шаг.

Появление их было для Поляков неожиданностью, хотя постройка Русскими батарей и не ввела их в полное заблуждение. Открытой атаки они ждали, по крайней мере так показывает Вавржецкий, но только по какому-то ложному извещению не теперь, а несколькими днями позже. Преследуемый одною и тою же мыслью, он под конец решился поступить по своему, т.е. вывести из Праги войска и перевезти артиллерию. а затем разломать мосты. Написав об этом в верховный совет с объяснением причин, Вавржецкий просил совет поручить варшавскому магистрату трактовать о капитуляции города, убедить короля к выезду в Пруссию и туда же выехать самому

совету. Делая соответственные распоряжения, особенно о сборе лошадей для вывоза из Праги артиллерии, он отправился туда в 4 часу ночи, волнуемый опасениями или предчувствием. Осведомившись прежде всего относительно отправления сторожевой службы, он узнал от адъютанта генерала Зайончека, только что возвратившегося с объезда, что все в полной исправности, пикеты и часовые на местах, рунды ходят, и другие меры усиленной осторожности соблюдаются. Успокоенный в этом отношении, Вавржецкий стал убеждать Зайончека в опасности дальнейшего удерживания Праги, но Зайончек не соглашался и в виде утешения говорил, что Бог даст, Русские найдут здесь себе могилу. Вавржецкий однако остался при своем решении и принялся отдавать кому следует приказания, как вдруг раздались с внешнего ретраншамента выстрелы. Зайончек поскакал к правому флангу, Вавржецкий к левому.

Две первые русские колонны (генерал-майора Ласси и полковника князя Лобанова-Ростовского, участников измаильского штурма), атаковали под ружейным и перекрестным артиллерийским огнем с ретраншамента и с острова, но выдержали его не замявшись, накрыли волчьи ямы плетнями, закидали ров фашинами и взобрались на вал. Тут стало им еще труднее; начальствовал генерал Ясинский, горячий патриот, храбрец и энтузиаст, незадолго перед тем говоривший, что или вернется в Варшаву победителем, или не вернется вовсе. Он сдержал. свое слово, был убит с саблею в руке; Поляки подались назад. Третьей и четвертой колоннам приходилось идти по глубокому сыпучему песку, что очень утомило людей; многие из рабочих побросали плетни, и штурмующим пришлось перебираться чрез 6 рядов волчьих ям по наложенным на них лестницам. Но это только задержало, а не остановило Русских. Третья колонна (генерал-майора Исленьева) перешла волчьи ямы и рвы двух передовых шанцев, взобралась на парапет, выгнала неприятеля и бросилась к главному ретраншаменту. В это время показалась невдалеке польская конница и готовилась ударить атакующим во фланг. По приказу Исленьева, два батальона мгновенно развернулись фронтом к стороне неприятеля и с криком *ура* бросились на него в штыки. Конница ретировалась, а другие два батальона тем временем атаковали и взяли главный вал. Четвертой колонне (генерал-майора Буксгевдена) предстояла самая трудная задача — штурмовать наиболее укрепленный пункт линии, т.е., исходящий её угол; тут находился каменный кавальер, главный вал был усилен рядом палисадов, и еще далее впереди возвышалось передовое укрепление. Но порыв войск был так стремителен, что все преграды переходили в их руки одна за

другою последовательно, и кавальер был быстро занят. Чуть ли еще не большей стремительностью отличались действия двух следующих колонн, пятой (г.-м. Тормасова) и шестой (г.-м. Рахманова), принадлежавших к корпусу барона Ферзена, которые завладели главным валом и батареями чуть не в один миг. Седьмая колонна (г.-м. Денисова), сделавшая обходный путь в 8 верст, тоже с полным успехом выполнила свою часть диспозиции: достигла гати, тянувшейся по топкому берегу Вислы, прорвалась чрез нее, завладела батареями и отбросила к реке неприятельскую конницу, нанеся ей огромную потерю.

Все это совершилось так скоро, что главным польским начальникам трудно было исправить дело; к тому же Зайончек, в самом начале раненый пулею в живот, уехал в Варшаву. Ваврженкий, поскакавший от левого к правому флангу внешнего ретраншамента, встретил солдат в беспорядочных кучах и 7-й литовский полк в полном бегстве. Он остановил их; сделал выговор начальствовавшему майору и велел идти на помощь 5-му полку, который упорно держался на вверенном ему пункте. Продолжая затем путь, польский главнокомандующий наткнулся на 4-й полк тоже в беспорядочном отступлении, велел генералу Майену привести его в порядок и атаковать, а сам поскакал к месту, где по его приказанию, отданному тотчас по тревоге, должны были собраться некоторые части конницы. Там никого не было, кроме нескольких человек, один из которых сообщил ему, что правый фланг укрепленной позиции. после слабой обороны занят Русскими, а Зайончек ранен и давно уехал в Варшаву. Возвращаясь назад, к Майену, Ваврженкий встретил еще полк, ретировавшийся в разброд. Паника вступила в свои права, расстройство сделалось общим.

Главная тому причина находилась конечно в самих войсках, но способствовало этому хаосу и увеличивало его энергическое наступление Русских, не дававшее неприятелю опомниться и придти в себя. Завладев внешнею линиею укреплений, русские войска двинулись далее без малейшей потери времени. По открытому месту между передним ретраншаментом и валом, окружавшим непосредственно Прагу; происходило беспорядочное отступление польских войск и преследование их русскими. Первые две Русские колонны были атакованы тотчас за ретраншаментом отрядом кавалерии и частью выбитой пехоты, но приняли их в штыки, сбили и горячо преследовали в самую Прагу, причем генерал Ласси был ранен и сдал команду, но колонна продолжала преследование, добралась до моста и отрезала бегущим путь отступления за Вислу. Третья колонна дальнейшего сопротивления почти не встретила, но четвертой

пришлось иметь упорное дело с отступавшими. На её пути, за валом, тянулся зверинец с засеками и частоколом; этою местностью и старались воспользоваться Поляки. Попытка не удалась: колонна разделилась на две части и повела атаку по двум направлениям. Поляки, обойденные и с двух сторон атакованные, полегли во множестве, в том числе чуть не поголовно 500-ный полк евреев, сражавшийся с замечательной храбростью; но полковник их избег общей участи, оставшись на это время в Варшаве. По очищении и занятии зверинца, колонны продолжали наступление; в этот момент взорвало неприятельский погреб с артиллерийскими снарядами, что атакующих впрочем не остановило, и они стремительно ворвались в Прагу. Пятая колонна, прежде всех других исполнив первую часть своей задачи, быстро дошла до Праги и добралась до моста вслед за первой колонной; шестая появилась во внутреннем ретраншаменте почти одновременно с нею. Обе они на своем пути почти не встретили сопротивления, также как и седьмая, после взятия батарей и поражения неприятельской конницы.

Резервы колонн исполняли свое дело безукоризненно, разрабатывали через вал проходы для конницы, перехватывали бегущего неприятеля, поддерживали атакующих в трудных случаях. Общий кавалерийский резерв, разделенный по частям, тоже способствовал одержанию победы в той мере, как ему было указано: производил ложные атаки, зорко следил за появлением неприятельских конных частей из-за укреплений и рубил их; по занятии внешнего ретраншамента, перебрался внутрь, помогал пехоте, преследовал и захватывал в плен бегущих. Артиллерия под прикрытием и при пособии части общего резерва, к ней приставленного, по взятии ретраншамента, расположилась на нем частями и выставила батарею на берегу Вислы.

Таким образом русские войска, пройдя быстро пространство между первым и вторым ретраншаментами, ворвались с разных сторон в Прагу, почти безотпорно захватив окружающий ее вал. Едва ли много Поляков успело перебраться в Варшаву до появления Русских у моста, а после того никто. Вавржецкий успел спастись, сопровождаемый одним офицером и двумя пражскими жителями; успел бы и Майен со значительною частью своих войск, если бы второпях не ошибся улицей. Прискакав под выстрелами к мосту, Вавржецкий не только не нашел тут караула, по даже ни одного человека для обороны, да и на варшавском конце не видать было ни души. Русские егеря приближались, взошли на мост и стали в Вавржецкого стрелять; польский главнокомандующий ужаснулся: такая страшная и близкая

опасность грозила Варшаве. Но он напрасно тревожился: Суворовым было отдано приказание, чтобы русские войска отнюдь не были на мост пускаемы. перейдя через мост пешком, так как сопутники ссадили его для большей безопасности с коня, Вавржецкий увидел на варшавском конце пушку, пехотный же караул укрывался в ближайших домах. Главнокомандующий вызвал его оттуда, от искал канонира, велел стрелять и послал за другими орудиями; две пушки скоро прибыли, но гранаты не имели трубок. Вавржецкого больше всего озабочивала необходимость испортить мост (другой, ниже города, был уже испорчен), а потому во ожидании снарядов, он послал для этого солдат на мост, но они были прогнаны русскими ядрами, так как несколько русских пушек уже прибыло к Висле. Вавржецкий повел солдат сам, с топором в руках, но был русским огнем отбит. В это время прибыли артиллеристы, доставлены исправные снаряды, и польские орудия у моста открыли огонь. Вавржецкий поехал в город, сзывать вооруженных жителей на берег.

Суворов с самого начала штурма находился на холме, в версте от передней линии польских укреплений, и следил оттуда за ходом боя. По скорости, с которою Русские появились на укреплениях и двигались вперед, и по донесениям ординарцев и начальников, он видел, что войска сражались не только с особенной энергией, но и с крайним ожесточением. Ожесточение это еще возросло, когда они с разных сторон ворвались в Прагу. Кров полилась рекою; стоны, вопли, мольбы, проклятия и боевые крики стояли гулом. сопровождаемые барабанным боем, ружейной трескотней и пушечными выстрелами. «Страшное было кровопролитие», доносил Суворов: «каждый шаг на улицах покрыт был побитыми; все площади были устланы телами, а последнее и самое страшное истребление было на берегу Вислы, в виду варшавского народа». На общую беду своих, многие спрятавшиеся в домах, не исключая и женщин, стали оттуда стрелять, бросать каменьями и всем тяжелым, что попадалось под руку. Это еще усилило ярость солдат; бойня дошла до апогея; врывались в дома, били всех кого попало, и вооруженных и безоружных, и оборонявшихся и прятавшихся; старики, женщины, дети — всякий, кто подвертывался, погибал под ударами. В ужасе и отчаянии многие бежали к Висле, надеясь на мост, но и эта последняя надежда их обманула; бросались в лодки, но их было немного, и они тонули от непомерного груза; кидались вплавь, но до другого берега было слишком далеко, и вслед за пловцами летели пули [9].

Суворов, сам не ожидавший такого ожесточения, содрогнулся подобно Вавржецкому за участь Варшавы. Мост оберегали, но при

том градусе возбуждения, до которого дошли войска, гарантия становилась недостаточной. Военный разгром польской столицы не входил в цели пражского штурма. Суворов отдал приказание — немедленно разрушить мост с нашей стороны, т.е. сделать то, чего только что добивался польский главнокомандующий. Мост запылал, путь в Варшаву был закрыт. Спустя некоторое время загорелся мост и с варшавской стороны, так как этому Русские уже не препятствовали [10].

Между Прагой и Варшавой грохотала канонада, От варшавских батарей много потерпели русские войска, сбившиеся в Праге; меньший материальный вред, но более сильный нравственный, несла Варшава от русской прибрежной батареи. Свист ядер и треск разрывавшихся гранат наводил ужас на жителей; унылый набатный звон, раздававшийся повсеместно, усиливал тяжелое впечатление. Варшавяне запирались в домах, прятались в погреба, бежали под защиту святыни церквей, искали спасения у иностранных посланников. Верховный совет находился в сборе, шло заседание; влетела русская граната и убила секретаря. Совет вотировал полномочие Ваврженцкому и отправился с письменным постановлением в его дом. Колонтая в совете не было, он бежал [11].

Канонада замолкла в 11 часу утра, после полудня возобновилась и продолжалась до ночи. Цель её с русской стороны состояла не в нанесении материального вреда, который и был ничтожен, а в нравственном действии. Таким образом Варшава была пощажена, но несчастная Прага испила чашу бедствий до дна. С моста пламя перекинулось на ближайшие постройки и пошло гулять дальше; в нескольких других местах тоже вспыхнули пожары от бомб варшавских батарей. Прага обратилась в огненное море, вид которого усугублял ужас варшавских жителей.

В 9 часов утра 24 числа все было кончено; продолжался лишь пожар, да шел грабеж. Хотя ни в диспозиции, ни в приказе не упоминалось о добыче, но таков уже был обычай времени, и в Суворовском военном катехизисе очень ясно говорилось; «возьмешь лагерь — все твое, возьмешь крепость — все твое». Грабеж продолжался весь день и ночь, но разжились на нем солдаты не много, потому что грабить было нечего. Еврейское население Праги отличалось бедностью, а если кто и имел что-нибудь получше и подороже, то конечно заблаговременно вывез вон, особенно из имущества не громоздкого, которое только и могло пригодиться солдатам. Довольно много досталось лошадей, но они были очень изнурены, ходить за ними было некогда и содержать решительно нечем, так что казаки одного

полка принуждены были продать добычных коней евреям, по 2 рубля за голову. Вероятно тоже самое было и у других [12].

Тотчас после боя, Суворову разбили простую солдатскую палатку; сюда собрались главные начальствующие лица и знатные волонтеры, которых при штурме было не мало. Пошли взаимные поздравления, поцелуи, объятия. Как-то не верилось, что уже все кончено в такое короткое время. Суворов потребовал к себе пленных польских генералов, пожал им руки и обошелся с ними вообще очень приветливо. Стали тут же, вблизи кавальера, на оконечности зверинца, собирать все что было под рукой, для подкрепления сил, и к столу приглашены были пленные польские штаб-офицеры, принятые также любезно. После импровизованного обеда все разошлись по своим местам; требовался отдых после крайнего нервного напряжения, ибо благодаря только усилиям воли, многие могли быть действующими лицами в минувшей кровавой драме. Сам Суворов был совсем болен и писал в этот день одному из своих приятелей, что «едва таскает ноги». Шевич страдал лихорадкой с ежедневными пароксизмами; бригадир Поливанов с самого выступления из Бреста едва говорил, что не помешало ему врубиться первым в неприятельские ряды; Исаев оставался на ногах с пулей в руке, пронизавшей ему предварительно грудь; Ферзен перемогался несколько дней через силу. Имея в самом себе неисчерпаемый запас энергии, Суворов умел вливать ее и в подчиненных. Теперь он лег на солому отдохнуть. При палатке находился караул по уставу, вблизи расположились разные части войск, но не было ни движения, ни шума. Солдаты соблюдали полную тишину и даже говорили вполголоса, чтобы не потревожить сна своего любимого начальника. «Он не спит, когда мы спим», поясняли они: «и в жизнь свою еще не проспал ни одного дела». К ночи разбили ему калмыцкую кибитку, так как погода стояла свежая. В тот же день он отправил к Румянцеву короткое донесение: «сиятельнейший граф, ура, Прага наша» [13].

«V некоторых историографов Суворова читаем, будто перед штурмом, приехал к нему курьер от прусского генерала графа Шверина с извещением, что он, Шверин, не в состоянии оказать Русским содействия, будучи занят другими операциями против Поляков. Суворов отпустил будто бы курьера по окончании штурма, велев передать то, что видел, Шверину. Едва ли это было на самом деле. Мы не находим ничего подобного ни в официальных документах, ни в Суворовской переписке, а сходство приводимого эпизода с таким же, бывшим будто бы под Измаилом, наводит еще больше сомнения [14].

Потерн обеих сторон можно определить только

приблизительно. В реляции Суворова от 7 ноября говорится, что сочтено убитых Поляков 13,340, пленных 12,860, потонуло больше 3000; в числе пленных 3 генерала и 442 офицера; в числе убитых 4 генерала; артиллерии досталось победителям 104 орудия. Свою потерю убитыми и ранеными он определяет в 1500 слишком. Исчисления нескольких историков приблизительно таковы же, с варьированием частных цифр. Все это весьма гадательно й отчасти произвольно, ибо какие например данные были для определения числа утонувших? Существуют однако некоторые указания, по которым можно добраться до истины, не задаваясь требованиями точности. Один французский эмигрант, поступивший к Суворову на службу тотчас по окончании войны, говорит, что он слышал на месте, будто потеря Русских одними убитыми простиралась до 1100 человек, а общая потеря Поляков доходила до 21,000. Другое показание участника штурма, отличающегося впрочем неверностью своих цифр, определяет число убитых и раненых Поляков в 14,000, причем говорится далее, что жители, собранные с окрестных селений похоронили до 7000 польских тел. Один из польских источников утверждает, что Поляков погибло с оружием в руках до 8000 и пражских жителей 12,000. Приняв в соображение как эти, так и некоторые другие сведения, можно придти к следующему приблизительному выводу. Убитых, умерших от ран и утонувших неприятелей было 9-10,000; пленных, т.е. взятых с оружием, безоружных и раненых 11-13,000, в том числе около 450 офицеров; пушек осталось в руках победителей 101-104. Потеря с русской стороны заключалась не менее, как в 2000 убитых и раненых, или несколько выше. Из числа взятых живьем и раненых, распущено по домам больше 6000; отправлено в Киев до 4000, из регулярного войска, без косильеров, которые отпущены на свободу вместе с другими невоенными [16].

Многие иностранные писатели называют штурм Праги простой бойней, где не видать никакого военного таланта, а действовала одна грубая сила, в роде стихийной, и где успех был завершен невообразимым зверством и кровожадностью войск и их предводителя. Из приведенных выше распоряжений Суворова перед штурмом и из самого хода дела видно, насколько подобный приговор далек от истины. Суворову дали даже насмешливое название: «генерал без диспозиции». А между тем диспозиции его, не будучи никогда педантскими, отличались замечательною обстоятельностью; такова и пражская. Она в основании совершенно однородна с измаильскою и тождественна с нею по многим крупным частностям. Обе обнаруживают замечательный военный расчет, куда входят не одни цифры, а знание характера,

свойств и вообще силы противника, верная оценка своих собственных ресурсов, моральных и материальных, и основанный на этих данных выбор средств. Но еще более плана, программы штурма, замечательно исполнение, в котором некоторые частности плана оказались даже липшими ступенями к победе. Так могут действовать только войска, отличновыученные, и между которыми и их предводителем существует полная гармония. Числом, массой Русские взять не могли, потому что их численный перевес над Поляками не превышал 4000 человек. Перевес был качественный, как в Измаиле, особенно в предводительстве, и если пал Измаил, то тем более не могла избежать этой участи и Прага.

Суворов в реляции своей говорит: «редко видел я столь блистательную победу; дело сие подобно измаильскому». Подобно, но не равно. Там, при значительном численном перевесе обороняющегося, атакующий имел две целые штурмовые колонны из спешенных казаков, да и едва не половина штурмующего корпуса состояла из казачьих полков. Правда и под Прагой казаков было много, но на конях; из них штурмовых колонн не формировали и хотя в штурме участвовала спешенная кавалерия, но не казаки, а драгуны (в резервах 2, 3 и 4 колонн), и их было сравнительно не много. С другой стороны, в Измаиле была одна крепостная ограда, хоть и очень сильная, а тут двойная линия ретраншаментов, с передовыми укреплениями и тет-де-поном. Но укрепления эти были заняты слабо, и оборонялась с упорством только первая линия, да и то не везде, тогда как в Измаиле Русские встречали отпор что дальне, то сильнее. Обстоятельство это имеет существенное значение; им объясняется и небольшая продолжительность всего дела под Прагой, и несоразмерно малый урон Русских. По завладении передним ретраншаментом, Русским лишь местами и частями приходилось драться, а больше только гнать и бить. Вообще сравнением Праги с Измаилом подтверждается репутация чрезвычайного упорства Турок при защите укрепленных мест, и обнаруживается недостаток энергии у Поляков при обороне Праги, которая однако же была для них гораздо важнее, чем Измаил для Турок.

Может быть причина тому заключается в необыкновенной энергии русской атаки, энергии, едва ли доходившей до такой степени развития под Измаилом. Энергия эта, как и жестокое кровопролитие в самой Праге, были следствием чрезвычайного возбуждения войск. Кровавые апрельские события в Варшаве постоянно держались у всех в памяти, особенно в корпусе Ферзена, где находилось несколько батальонов, очевидцев варшавской резни. Суворов подтверждал о милосердии и пощаде;

он даже дал, как мы видели, особое наставление Ферзену, где люди были наиболее озлоблены, но недавние воспоминания оказались в пылу боя более сильными. В виду вероломной Варшавы, все солдаты по примеру Ферзеновых дошли до остервенения. «Смотри братцы, никому пощады». кричали они друг другу, еще не добравшись до Праги, а когда ворвались в это несчастное предместье, то только и слышны были крики: «нет пардона». Как же можно в этом винить Суворова, да и можно ли, положа руку на сердце, клеймить Суворовского солдата? Настроение его было исключительное, понятия того времени иные, способ ведения войны жестокий. Разве Поляки, убивая в Варшаве Русских, вооруженных и безоружных, не давая пардона им под Рославицами (о чем было публиковано в свое время в Варшаве) и обнаруживали при всяком случае свою к ним ненависть, не делали тоже самое? Правда, Поляки побеждены, на их долю — сострадание, и обвинение победителей самое легкое к тому средство; но способ этот рано или поздно обнаруживает свою несостоятельность. Кроме того, надо принимать в соображение и осязательные результаты. Из всего изложенного выше, можно убедиться, что пражское кровопролитие вовсе не доходило до таких чудовищных размеров, которые принимаются за несомненный факт, и что оно далеко не может равняться с измаильским [16].

Пражский штурм имеет историческое значение, несравненно выше измаильского. Революция была вырвана, война была подсечена в самом корне. на достоверным известиям, полученным Суворовым несколько времени спустя, воеводства люблинское и сандомирское и вся Галиция готовились к восстанию, для чего назначен был день в первых числах ноября, но взятие Праги с его последствиями разрушило инсурекционный план. Этот кровавый штурм, происходивший на глазах варшавян, навел ужас на польскую столицу, вселил в нее трепет, по свидетельству самих Поляков. Население Варшавы ждало той же участи от безжалостного победителя. Нравственные и материальные силы инсурекционной Польши были сломлены. Суворов достиг своей цели; пролилась река крови, но устранялось хроническое кровопролитие затягивающейся войны. Не прошло суток после пражского побоища, и в русском лагере явилось посольство от капитулирующей Варшавы [17].

Глава XVIII. Польская война: Варшава, обезоружение; 1794.

Варшава во время штурма Праги; депутация к Суворову; умеренность его условий; контр-предложения; ответ. — Уличный беспорядок в Варшаве; сосредоточение правительства в руках короля; переговоры с Суворовым; оттяжки Вавржецкого. — Вступление Русских в Варшаву; аудиенция Суворова у короля; амнистия и освобождение 500 пленных Поляков; объяснение этого поступка. — Распоряжение Суворова о преследовании и обезоружении польских войск; общее их желание воспользоваться амнистией; противодействие генералов; непослушание войск, бунты и сдачи Русским. — Денисов кончает дело внезапно; совершенное обезоружение. — Признательность Екатерины; радость и выходки Суворова-фельдмаршала; восторженные поздравления его отовсюду; зависть. — Дурная репутация Суворова в Европе со времени этой войны; объяснение причин. — Некоторые слабые стороны русских войск.

Октября 25, вскоре после полуночи, от варшавского берега Вислы отчалили две лодки и при звуке трубы, с развевавшимся белым знаменем, поплыли к Праге. В Варшаве царила тишина, не неслось оттуда обычного городского шуму; было совсем тихо и на самом берегу, покрытом толпами народа, который с фонарями и факелами, по без оружия, провожал взглядами и мыслями

уполномоченных и остался ждать их возвращения. Это отправилось к Суворову три депутата от варшавского магистрата, с депешею магистрата и с письмом короля.

Под свежим впечатлением только что окончившегося пражского штурма и в виду пожираемого пламенем несчастного предместья, верховный совет немедленно выслал из Варшавы свой архив, отправил казну в корпус Понятовского и выпустил из тюрем приверженцев русской партии, или по крайней мере подозревавшихся в этой приверженности. Еще недавно им и русским пленным грозила серьезная опасность, вернее сказать — могла грозить: Колонтай собирался внести в верховный совет предложение о предании их казни. Как ни боялись члены совета своего мрачного сотоварища, предложение его было бы по всей вероятности отклонено, но у Колонтая оставался другой ресурс, возмущение черни, при помощи которой он быть может и добился бы своего. Теперь обстоятельства изменились, и под влиянием нависшей беды, в варшавском населении взяли верх другие побуждения. Но так как анархические стремления все таки могли в чем либо выказаться, то Вавржецкий послал приказание Гедройцу, — не дожидаясь под Равой Домбровского, вернуться к Варшаве и остановиться под Мокотовым. Кроме того, преследуя свой прежний план, Вавржецкий дал королю письменный совет — выехать из Варшавы к войскам.

С самого утра 24 числа, из Варшавы потянулись длинные вереницы экипажей, обозов и пешеходов; уезжали и уходили все те, которые не верили в благоприятный исход дела и торопились избегнуть участи, постигшей Прагу. Уезжали не только мирные граждане, но и офицеры; уехал между прочими и Зайончек, с невынутой пулей. Колонтай убежал раньше, опасаясь за свою личную безопасность; Вавржецкий имея несколько донесений, что Колонтай увез с собой большие деньги и драгоценности, пожертвованные частными лицами еще при Косцюшке на патриотическое дело, послал в погоню за ним одного генерала. По поручению последнего, были с дороги отправлены в Козеницу 200 человек кавалерии при двух офицерах, но они своей обязанности не исполнили, открыв Колонтаю цель их командировки и дав ему возможность бежать дальше. Провинились перед долгом и совестью и некоторые другие; свидетельствуя по приказанию верховного совета казну, таможенный директор Зайончек передал больше 6,000 червонцев нескольким офицерам, для доставления в указанное место, но не все они это исполнили [1].

Варшава переживала 24 октября часы, стоившие многих лет. Требовалась крайняя энергия правительства для успокоения

обезумевшего от ужаса населения, а между тем и правительства почти не было. После полудня, когда возобновилась русская канонада, сформировалась депутация от горожан и представилась королю, Ваврженцкому и верховому совету; она требовала капитуляции и решительно отказывалась от всяких оборонительных действий, дабы спасти город от мести и разорения. Эти три власти думали тоже самое, различие было лишь в оттенках, а потому решение последовало в ту же ночь. Верховный совет поручил магистрату отправить к Суворову депутацию с предложением капитуляции; король дал от себя письмо в том же смысле.

Депутация была принята пражским комендантом Буксгевденом с подобающею честью и отправлена к правившему при Суворове должность дежурного генерала, Исленьеву. Исленьев расспросил депутатов о цели их посылки и дал знать Суворову. Русский главнокомандующий принял эту весть с особенным удовольствием, и тотчас же продиктовал одному из своих приближенных условия капитуляции. Они состояли в следующем. Оружие, артиллерию и снаряды сложить за городом, в условленном месте; поспешно исправить мост, чтобы русские войска могли вступить в Варшаву сегодня после полудня или завтра утром; дается торжественное обещание именем Русской Императрицы, что все будет предано забвению, и что польские войска, по сложении ими оружия, будут распущены по домам с обеспечением личной свободы и имущества каждого; тоже самое гарантируется и мирным обывателям; Его Величеству королю — всеподобающая честь. Суворов вручил эти статьи Исленьеву и приказал прочесть их присланным уполномоченным. Варшавские депутаты, озадаченные такою умеренностью и ожидавшие совсем других условий, от радости прослезились и вместе с Исленьевым отправились к Суворову. Русский главнокомандующий поджидал их, сидя перед своей калмыцкой кибиткой. Заметив, что депутаты подходят нерешительным шагом, как бы волнуемые разными опасениями, он вскочил со своего места, кинул саблю на землю и бросился к депутатам с распростертыми руками, крича по-польски; «мир, мир»! Обняв депутатов, он ввел их в кибитку, усадил около себя, стал угощать вином и разными закусками. Депутаты снова прослезились.

Переговоры велись в виде приятельской беседы и продолжались недолго. Депутаты предъявили депешу магистрата и письмо короля. В первой говорилось об обязанности магистрата заботиться о благосостоянии города и его обывателей и вытекающей из того необходимости — устранить возможность всяких нежелаемых случайностей, при вступлении в Варшаву

русских войск; на каковом основании он поручил вести переговоры трем своим уполномоченным, прося Суворова гарантировать жизнь и собственность варшавских жителей и прекратить военные действия до заключения капитуляции. Король писал, что магистрат Варшавы ходатайствует о его вмешательстве в переговоры, для разъяснения намерений Суворова относительно польской столицы, а потому он, король, просит по этому предмету ответа, предупреждая, что жители намерены защищаться до последней крайности, если им не будет гарантирована личная и имущественная безопасность. Суворов вручил депутатам заготовленные перед тем условия капитуляции, а также короткое письмо к королю, тут же написанное, в котором говорилось, что все желания короля выполнены. Затем депутаты были отпущены под эскортом, сели в лодки и отправились к варшавскому берегу. Там по прежнему толпился народ, ожидая ответа. Когда депутаты приблизились на столько, что могли быть услышаны, то стали кричать: «мир, мир». Весь берег загудел от радостных криков народа, и депутаты были на руках вынесены из лодки [2].

Депутатам было Суворовым внушено, что ответ ожидается через 24 часа, и затягивание дела не допускается. В ожидании вторичного их прибытия, весь день 25 октября прошел в очистке улиц и уборке мертвых тел. Вечером Суворов переместился к Белоленку, на прежнюю свою квартиру.

Когда уполномоченные магистрата передали королю ответ Суворова и условия капитуляции Варшавы, главнокомандующий и верховный совет были призваны во дворец; туда же прибыли генералы Грабовский, Макрановский и князь Понятовский, приехавший из своего корпуса тотчас по получении известия о взятии Русскими Праги. Здесь разыгрались сцены, доказавшие, как велико было разномыслие между людьми, управлявшими погибающей Польшей. Макрановский объявил от имени генералов и армии готовность повиноваться королю и главнокомандующему, но не верховному совету, и осыпал этот последний горькими упреками за его неумелость и многочисленные ошибки. Потом держал слово король. Он говорил о немедленном сложении оружия, как того требует Суворов; обращаясь с этими словами преимущественно к Вавржецкому, он настаивал на неизбежности этой меры, утверждая, что русский главнокомандующий от своего требования пи в каком случае не отступится. Вавржецкий не согласился с королем, утверждая, что имея 20,000 войска под ружьем и 100 орудий, можно если не поддержать революцию и спасти отечество, то по крайней мере защитить народ, или

погибнуть со славою. Пусть столица и вся земля отдадутся Суворову, но армии не подобает следовать их примеру; она может направиться в Пруссию и там зимовать. Суворов, имея тут много дела, не пойдет за нею, да и во всяком случае не решится на такой важный шаг без особого повеления Императрицы, хотя бы король Прусский и звал его на помощь. Предприятие это обещает успех, ибо прусские войска весьма раздроблены и до зимы не в состоянии собраться для сколько-нибудь действительного отпора. А король Станислав может тем временем написать Русской Императрице, что если Поляки пред нею и провинились, за то вся Польша разграблена беспримерным образом, и ей грозит голод и долгое обнищание. Справедливое изображение нынешнего ужасного положения, должно возбудить в Русской Императрице чувство жалости и сострадания; Екатерина выскажется наконец, чего она от несчастной Польши хочет [3].

Судя по последствиям, надо думать, что мнение Ваврженцкого одержало верх; он сам по крайней мере утверждает, будто король, хотя и по многом размышлении, согласился ехать в армию. Верховный совет, уменьшившийся за бегством некоторых членов из Варшавы, собрался в заседание и снабдил городской магистрат, как и в первый раз, пунктами для ведения дальнейших переговоров о капитуляции. Изъявлялось согласие на обезоружение мирных жителей и на сложение оружия в условленном месте, на исправление моста и на вступление затем русских войск в Варшаву; говорилось, что город Варшава всегда был полон почтения к своим королям и что от этой приятной обязанности и впредь не отступит. Но на остальные требования Суворова представлялись контр-предложения, а именно: обезоружить войско, сдать артиллерию, снаряды и все воинское снаряжение-город не может, так как войско магистрату не подчинено, но постарается склонить армию к принятию этого решения; не может также починить мост в назначенный срок, так как на это требуется не меньше нескольких дней, да и польские войска не в состоянии двинуться из города раньше восьми дней. Магистрат принял это постановление верховного совета к исполнению [4].

Октября 26, около 10 часов утра, прибыли прежние депутаты с ответом магистрата. Суворов прочел депешу и пришел к заключению, что дело умышленно затягивается, тогда как успех переговоров обеспечивался именно их быстротою, под свежим впечатлением пражского штурма. Суворов тотчас же подтвердил и развил прежние свои требования в ряде новых пунктов, изложив в них следующее. Жители Варшавы немедленно обезоруживаются, их оружие перевозится в Прагу на лодках, а находящееся в

оружейных магазинах — передается магистрату. Арсенал, порох и все военные припасы Варшавы сдаются Русским, по занятии ими города, который вместе с тем обязывается принудить войска тоже сложить оружие, кроме гвардии короля, или же заставить их выйти за городскую черту. Для исправления моста назначается сроком 28 октября; русские войска будут также работать; до этого числа назначается перемирие, Магистрат встречает русские войска, при их вступлении в город, на мосту, с городскими ключами; все дома по пути следования Русских будут закрыты; архив русской миссии и все её бумаги сдаются по принадлежности; русские пленные получают свободу завтра утром.

Вручив эти условия депутатам, Суворов снабдил их еще особым заявлением, в котором просил о поддержании тишины и порядка при вступлении русских войск и снова: удостоверял в безопасности обывателей. Затем. он приказал отправить посланных, не задерживая их ни минуты, а, Буксгевдену приступить тотчас же к исправлению моста со стороны Праги. Сверх того, в виду возможности выступления польских войск из Варшавы, а также на случай инсурекции или какой-нибудь другой катастрофы в городе, он признал нужным иметь на той стороне Вислы сильный отряд войск. Поэтому тогда же отдано барону Ферзену приказание- отправить Денисова вверх по Висле, в Карачев, а за ним следовать и самому Ферзену, совершив переправу на левый берег Вислы, с помощью местных судов [5].

В это же утро было прислано к Суворову еще посольств» из Варшавы: Потоцкий упросил находившихся в плену русских дипломатических чиновников, баронов Аша и Бюлера, съездить к Суворову, вероятно с целью его умилостивления в интересе всех пленных. Аш и Бюлер пробыли в русском лагере недолго и вернулись в Варшаву вскоре после полудня. Возвращение их произвело впечатление на народ. усилило его надежды на мирный конец и укрепило доверие к русскому главнокомандующему. Результат этой миссии остается неизвестным; Суворов и без того решился быть умеренным, лишь бы добиться скорого умиротворения края.

Вскоре после полуночи с 26 на 27 число, понесся из Варшавы гул, потом раздались крики, вопли и другие признаки уличного беспорядка, а затем раздались и выстрелы. В русском лагере были приняты предосторожности и сделаны некоторые приготовления. На утро говорили, будто польские войска, собираясь выступать за город, хотели увести с собой короля и русских пленных, но народ, боясь мщения русской армии, восстал против этого замысла и помешал привести его в исполнение. Так доносил Суворов, и в

таком смысле передают означенный случай многие его историографы. В сущности дело происходило несколько иначе. Беспорядки были вызваны распоряжениями Вавржецкого, который правда желал, чтобы король удалился вместе с войском, но к насилию не прибегал, да и едва ли был к такому поступку способен. Похищения короля и избиения его сторонников добивалась одна «якобинская», т.е. ультрареволюционная партия, притом с помощью восстания черни, которое и подготовлялось с этою целью еще до штурма Праги. Но этой партии Вавржецкий был первый враг и противник. В настоящем случае действовали на улицах Варшавы не анархисты, а толпы народа, добивавшегося во что бы то ни стало капитуляции города. Они очень опасались отъезда короля, считая его присутствие вернейшим залогом мирного исхода, и подозревали Вавржецкого в возможности противодействия. Но главною причиною смуты был бесхарактерный, малодушный король, который для успокоения партий лавировал между ними и, не имея ни малейшей охоты разделить с войсками труды, опасности и риск дальнейших военных предприятий, — таил однако такой свой взгляд и высказывал несколько раз намерение отправиться в армию [6].

Когда утренние, окончательные условия Суворова сделались известны в городе, то большинство населения осталось ими очень довольно, не исключая и офицеров, которые подобно королю предпочитали пребывание в Варшаве неудобствам и трудностям боевой жизни, без всякой надежды на успех. Огромное большинство, почти все, чувствовали усталость от бурных событий последних лет; «ни в ком не видно было духа революции», с горечью говорит Вавржецкий. Таким образом население Варшавы добивалось скорейшего заключения капитуляции, Вавржецкий же старался этот срок отдалить, чтобы успеть вывезти за город как можно больше. Король и магистрат требовали от главнокомандующего скорейшего выступления войск из Варшавы; он возражал, что должен прежде выпроводить военные транспорты. Приступал к нему с подобными требованиями и народ; Вавржецкий отвечал упреками, что «затеяв революцию, хотят так подло ее кончить». Несмотря на мостовой караул, чернь прорвалась на мост и принялась его чинить; Вавржецкий послал батальон с приказанием — очистить мост и никого туда не пропускать, но народ настаивал на своем намерении. Вавржецкий приказал стрелять по работавшим картечью и таким образом прервал только что начатую работу.

Видя упорство главнокомандующего, король послал утром к Суворову с просьбою об отсрочке вступления русских войск, но Суворов отказал, усматривая тут ловушку, поставленную и

королю, и ему. После этого отказа, революционному правительству делать уже было нечего; верховный совет закрылся, передав королю свои полномочия. Получив власть, король послал к Суворову второе доверенное лицо, а затем и третье, снабдив его полномочиями уже не по предмету капитуляции Варшавы, а для трактования о мире между Россией и Польшей. Узнав от уполномоченного о содержании письма, Суворов возвратил его нераспечатанным, сказав, что войны между Россией и Польшей нет; что он, Суворов, не министр, а военачальник, присланный для сокрушения мятежников и, кроме отправленных уже в Варшаву статей, ни о чем другом трактовать не станет. Но дабы облегчить королю задачу умиротворения и вывести его из затруднительного положения, усложняющего эту задачу и грозящего ему опасностью, Суворов в конце концов согласился изменить свое первоначальное решение и отложил вступление войск в Варшаву до 1 ноября [3].

В числе трех послов, приезжавших в этот день к русскому главнокомандующему от Польского короля, находился граф Игнатий Потоцкий, один из главных действующих лиц революции. Суворову советовали удержать Потоцкого в виде заложника, так как русские пленные не были еще освобождены, но он решительно отказался, сказав, что подобный поступок был бы злоупотреблением доверия, оказываемого неприятелем, и ничего кроме худого в происходящие переговоры не внесет.

Пражская сторона моста была уже готова, на варшавском конце работа кипела, никем не останавливаемая. Магистрат написал Суворову ответ на последние присланные условия капитуляции; все пункты принимались, кроме вступления Русских в Варшаву 27 числа, так как день этот уже истекал; оружие мирных жителей было отобрано, сложено и готово к отправлению на лодках к Праге; обезоружение польских войск или вывод их из города король принимал на себя; оставлялось при оружии только 1,000 человек гвардии и 300 полиции. Доставление этого ответа было однако оттянуто до следующего дня, вероятно по настоянию Вавржецкого, для выиграния суток времени на выход войск. Не ограничиваясь прямым ответом на условия капитуляции, магистрат написал еще депешу, которою подтверждал, что все будет исполнено с точностью и благодарил Суворова за его условия, принятые населением с радостью. На следующий день, 28 октября, перед рассветом, в Прагу прибыли прежние магистратские депутаты, привезли с собой два означенные документа; они были допущены к Суворову и обратились к нему со словесною просьбой о скорейшем вступлении русских войск в Варшаву, так как город, и в особенности короля, нельзя было

считать обеспеченными от недовольных капитуляцией. Вслед затем явился посланный с письмом от короля, коротким, но любезным, где Станислав-Август благодарил Суворова за его образ действий, чистосердечный и честный, и выпускал на свободу русских военных, содержавшихся в Варшаве, говоря, что передает их генералу, достойному ими командовать. Суворов назначил на завтра вступление в Варшаву и отправил бригадира князя Лобанова-Ростовского с ответным письмом к королю и с поручением — принять освобожденных пленных [7].

Таким образом дело, приближаясь к мирному концу, получало и оттенок мирный, почти дружественный. Одному из пленных польских генералов, старику Геслеру, Суворов дозволил перебраться в Варшаву, к семейству; сообщение между Варшавой и Прагой сделалось свободным; освобожденные русские пленные ездили в Прагу навещать знакомых, из пражского лагеря многие отправились с той же целью в Варшаву. А Вавржецкий тем временем спешил отправлять военные транспорты; таким образом было вывезено больше 50 пушек, много разных других предметов военной потребности, а также с монетного двора золото и серебро в слитках на 157,000 злотых; все остальное он надеялся выпроводить вслед затем, поручив это коменданту Орловскому. Не обошлось без уличных замешательств, так как народ боялся выезда короля и подозревал в этом замысле Вавржецкого, а этот последний сваливал всю вину на слабодушие и лицемерие Станислава-Августа, Гедройц уже выступил из-под Мокотова в Торчин, туда же направлен Каменецкий с бывшим корпусом Понятовского; Домбровскому с Пилицы назначено быть в ариергарде. Призванный к королю, дабы снова выслушать убеждения в необходимости сложить оружие, Вавржецкий остался при своем проекте — уходить в Пруссию, объясняя Станиславу-Августу, что это нисколько не может вредить России, что для нее подобное удаление польских войск равносильно их обезоружению. Он просил вместе с тем короля ходатайствовать пред Русской Императрицей о милосердии, а пред Суворовым, чтобы допустил остаткам польского войска беспрепятственно уйти, не нападая на них и не преследуя. Сделав затем последние распоряжения, Вавржецкий выехал из Варшавы в Торчин ночью с 28 на 29 октября, т. е. пред самым вступлением в Варшаву русских войск. С ним поехал и президент бывшего верховного совета Закржевский [3].

Вступление в Варшаву назначено было утром. Суворов, с самого штурма Праги объезжавший войска ежедневно, был в лагере и 28 числа, отдав в этот день приказание — войскам вести себя порядочно и мирно, вступать в город с оружием

незаряженным, и если бы даже были выстрелы из домов, — не отвечать. Такая миролюбивая осторожность главнокомандующего показалась многим опасною, по крайней мере головной колонне было отдано начальником её Буксгевденом приказание — зарядить пушки и ружья, но тайно, чтобы никто этого не знал. К счастью такое ослушание не имело дурных последствий. Войска изготовились как на парад и глядели щеголями; даже у казаков Исаева «лошади были против обыкновения вычищены», замечает участник и очевидец. Движение через мост началось в восьмом часу; прежде шли войска Потемкина с казаками Исаева во главе, потом корпус Дерфельдена. Шли с музыкой и развернутыми знаменами. На передней колонной Буксгевдена ехал Суворов с большой свитой, одетый в ежедневную кавалерийскую форму, без орденов и знаков отличий. Городской магистрат, в черной церемониальной одежде, находился в сборе на варшавском конце моста; по приближении Суворова, старший член поднес ему на бархатной подушке городские ключи, также хлеб и соль, и сказал короткое приветственное слово. Суворов взял ключи, поцеловал их и громко поблагодарил Бога за то, что Варшава куплена не такою ценою, как Прага. Он передал ключи дежурному генералу Исленьеву и стал по-братски обниматься с членами магистрата и с многими из окружающего народа, а другим пожимал руки, обнаруживая непритворное душевное волнение.

С моста войска вступили в город тем же порядком; перед Суворовым ехал Исленьев, держа на подушке городские ключи. Вопреки условию, город кипел жизнью, дома не были заперты, и во всех окнах и на балконах виднелись любопытные зрители, а на улицах толпился народ. Часто раздавался виват Екатерине и Суворову, перемежавшийся с криками протестующих патриотов, но ни выстрелов, ни других каких-либо неприязненных действий не было: самые горячие, непримиримые революционеры заблаговременно выехали. Когда проходили мимо кафедрального собора, Суворов на несколько моментов остановился и совершил короткую молитву. Пройдя город, полки направились к своим лагерным местам, внутри ограды варшавских укреплений: корпус Потемкина к стороне Виланова, а Дерфельдена к Маримонту. Суворов остановился в гостинице на городской окраине, где и заказал себе обед, а после того занял один из лучших домов в близком соседстве с лагерем. Магистрат представил ему прусских, австрийских и освобожденных русских пленных; первых было больше 500, вторых 80, третьих 1,376; Австрийцы и Пруссаки были скованы: в числе Русских находилось три генерала и три дипломатических чиновника высших чинов. Разыгралась трогательная сцена; освобожденные падали перед Суворовым на

колени и горячо его благодарили; радость и благодарность их были тем понятнее, что несколько дней назад носились разные зловещие слухи на счет их судьбы [8].

Припомним, что Суворов в письме своем из Немирова к Хвостову, считал возможным «кончить с Польшей в 40 дней». Это не было обмолвкой самохвальства, а выводом мастерского соображения: Суворов исполнил свое обещание с точностью, почти математическою. Кроме 29 дней, проведенных им не по своей воле в Бресте, которые разумеется в счет идти не могут, вся его кампания, от вступления в Польшу до занятия Варшавы, продолжалась 42 дня.

В то время, как русские войска вступали в Варшаву, Суворов. командировал генерал-поручика П. Потемкина в распоряжение Польского короля, возложив на него поручение заботиться о безопасности Станислава-Августа и испросить для него, Суворова, аудиенцию. Король пожелал видеть Суворова на следующий день. Суворов оделся в полную форму, надел все свои многочисленные орденские знаки и, в 10 часов утра 30 числа, отправился в королевский дворец, сопровождаемый большой свитой и конвоем. Впереди скакал эскадрон гусар, вокруг кареты Суворова ехало верхом множество генералов и офицеров разных чинов; рядом с ним сидел П. Потемкин, впереди бароны Бюлер и Аш. Эскадрон конных егерей замыкал кортеж. Во дворце был устроен церемониальный прием; Станислав-Август обошелся с ним, Суворовым, особенно любезно, обнял его несколько раз и беседовал с ним глаз на глаз в течение целого часа. Тут было условлено многое, чего еще не значилось на бумаге; между прочим положено, что король отдаст приказание, дабы все польские войска (которые Суворов называл не иначе, как бунтовщиками) положили немедленно оружие и выдали пушки. Но так как такое приказание без соответственных гарантий ничего не значило, то Суворов обещал доставить королю для объявления всем войскам амнистию. Действительно на следующий день он прислал такое заявление: «Сим торжественно объявляю: 1) войска, по сложении оружия перед их начальниками, тотчас отпускаются с билетами от их же чиновников в свои дома и по желаниям, а оружие, тож пушки и прочую военную амуницию, помянутые начальники долженствуют доставить в королевский арсенал; 2) вся их собственность при них; 3) начальники, штаб и, обер-офицеры, как и шляхтичи, останутся при оружии» [9].

Суворов, этот суровый военачальник, беспощадный к вооруженному противнику, делался совсем другим, когда противник бросал оружие. Характеризуя свое отношение к

побежденным Полякам, он приводил стихи Ломоносова:

Великодушный лев злодея низвергает,
А хищный волк его лежащего терзает.

Такая метаморфоза происходила в нем и по внушению сердца, и по расчету ума. В настоящем случае и то и другое усугублялось. Перед ним находился король, венчанный властитель, помазанник Божий, т.е. лицо, перед которым Суворов, глубоко убежденный монархист, всегда привык преклоняться. Притом этот король был несчастен. С другой стороны, конец войны был обеспечен, и чем шире победитель выказывал свое великодушие и безбоязненность, тем полнее получался результат умиротворения. По всем этим побуждениям, Суворов решился сделать королю истинно царский подарок. Во время беседы, Станислав-Август попросил отпустить из числа пленных одного офицера, который в прежнее время служил при нем, короле, пажом. Суворов тотчас же согласился и спросил, не пожелает ли король получить еще кого-нибудь. Не ожидая такой любезности, Станислав-Август обнаружил что-то в роде удивления, но Суворов, улыбаясь, предложил ему сто человек, даже двести. Замечая, что недоумение короля возрастает, Суворов пошел дальше и сказал, что готов дать свободу 500 человек по королевскому выбору. Станислав-Август не знал, как выразить ему свою благодарность, и послал генерал-адъютанта, с приказом Суворова, догонять задние партии пленных, отправленных уже довольно давно к Киеву. Нагнав их на пути, верстах в 200 от Варшавы, посланный предъявил приказание Суворова, освободил свыше 300 офицеров, а остальных, до полной цифры 500, выбрал из унтер-офицеров и рядовых. Нетрудно понять, какое благое впечатление произвел этот поступок Суворова не на одних освобожденных. Теперь, по занятии Варшавы, очередным спешным делом стало обезоружение польских войск. Первый к тому шаг был сделан еще до вступления Русских в Варшаву, ибо Денисов переправился через Вислу 28 числа под Гурон. Вверх по Висле, в сандомирском воеводстве, находились разные мелкие польские команды, под начальством бригадиров Язвинского и Вышковского; но после штурма Праги, Вышковский бежал в Галицию. Вавржецкий приказал Язвинскому собрать все команды и препятствовать переправе Русских. Сопротивление Поляков было однако же слабое; русская кавалерия переправилась вплавь, артиллерия на судах, пехота частью на судах, частью вместе с кавалерией; Язвинский был отброшен. Вслед за Денисовым, выступил 23числа барон Ферзен со всем своим корпусом. В это

время, кроме войск Язвинского на Висле, многочисленные отряды находились на Пилице, под начальством Домбровского и Мадалинского; Гедройц шел из Варшавы на соединение с ними; корпус князя Иосифа Понятовского, племянника короля, находился в Закрочиме и перешел под команду генерала Каменецкого; наконец, отряд бригадира Ожаровского стоял под Торчином. Считая свои силы слишком слабыми, Ферзен просил высылки к Торчину подкрепления, но Суворов не признал этого нужным, так как стало явственно обнаруживаться нежелание польских войск продолжать войну. Взамен высылки подкрепления, он рекомендовал Ферзену энергические действия, при условии которых успех несомненен; приказал принуждать Поляков к сдаче, а при отказе истреблять совершенно, настигая и побивая их без остатка. «А кто сдастся, тому згода, пардон, если же сдастся до атаки, то и вольность, и вообще с капитулирующими поступать весьма ласково и дружелюбно» [10].

В этом сочетании энергии с мягкостью, действительно и лежал залог успеха. Быстро разнесшийся слух об амнистии, с первого же дня стал увеличивать число отказывающихся от борьбы, а когда начали в войска приходить из Варшавы письма от оставшихся там военных и являться лично эмиссары мира, то инсурекционные вооруженные силы стали таять буквально не но дням, а по часам. Этому много помог король, обещавший Суворову употребить меры к обезоружению инсургентов и сдержавший свое слово; от его имени или с его согласия и ездили эмиссары; он обнадеживал оставляющих оружие полною безопасностью личною и имущественною; может быть от него же пущен был слух, что только те офицеры сохранят свои чины, которые без замедления сложат оружие и уговорят к тому же свои части войск.

Ваврженкий выехал из Варшавы к корпусу Домбровского и, проезжая чрез Рашин, оставил там 300-ный конный наблюдательный отряд. Октября 30 показались казаки, и отряд положил оружие. Приехав в Торчин, Ваврженкий нашел там вместо сильного в несколько тысяч корпуса, заново обмундированного, всем обильно снабженного и оплаченного, жалкий остаток. В нем произошло что-то в роде открытого бунта, так что Гедройц принужден был просить у короля разъяснения условий обезоружения. Посланный не успел еще возвратиться, как офицеры и солдаты стали разбегаться, и Гедройц с трудом удержал остаток под знаменами. В то же почти время Ваврженкий получил от оставшихся в Варшаве генералов и офицеров эстафету, с просьбами об отставке под разными предлогами, но на нее не отвечал. Вслед затем Каменецкий донес, что его отряд

(считавшийся в ряду других лучшим) не желает ни драться, ни идти в поход, а отдается под начальство короля, ибо почти всем успели внушить из Варшавы, будто главнокомандующий действует под влиянием отчаяния и ведет на гибель. В разгар этой смуты подоспели ближайшие прусские войска, переловили несколько сот, зачислили их в свои ряды рекрутами и взяли 17 орудий. Вавржецкий командировал туда генерала Неселовского с приказанием принять начальствование от Каменецкого, и вести остатки отряда на соединение с главными силами. То же самое, даже хуже, произошло в небольшом отряде Ожаровского: не дождавшись ответа на посланный вопрос об амнистии, люди просто разошлись, бросив 10 пушек, которые были подобраны и увезены казаками. Вавржецкий прибыл к войскам 'Домбровского и Мадалинского; на соединение с ними шел и Гедройц. Мадалинский впрочем исчез; имея в своем распоряжении казенные деньги, он взял из них 4,000 червонцев и написал Вавржецкому, что начав революцию, он, Мадалинский, будет предметом мщения Русских, а потому удаляется, оставляя свое имение на уплату взятых денег. Получено донесение Неселовского, что он застал едва половину войск Каменецкого, принял от него отряд и приказал выступать, но один полк побросал ружья и разбежался. Неселовский хотел усмирить бунтовщиков вооруженною рукою, но встретил неповиновение и отказ; проглотив эту пилюлю, он продолжал движение с остальными, но когда дошел до перекрестка дороги на Варшаву и Торчин и повернул к последнему, то почти все отказались от повиновения с угрозами и, выпрягши лошадей из под артиллерии и обоза, частью пошли к Варшаве, частью рассыпались в стороны.

Деморализация войск и нежелание их вдаваться в какие-либо военные предприятия били в глаза, но не образумили главнокомандующего. Заботясь о спасении своей военной чести, он как бы забывал про подчиненные войска и направлял их на поступки, которых лучше было бы не вызывать. Кроме того, он встретил в своих подначальных и другого рода затруднение, которое доказывало, как велика была внутренняя рознь, и до - какой степени не к поре и не к месту приходились всякие грандиозные замыслы [11].

Несколько дней назад, когда надежда на успех революции и войны была уже утрачена, Домбровский сообщил Вавржецкому, в Варшаву, свой план о дальнейших действиях. По его преувеличенному счету, тогда состояло под ружьем до 40.000 Поляков при 200 орудиях, с 10 миллионами польских флоринов в казне. Армия должна выйти в поле, вместе с королем и центральным правительством, не связывая своей судьбы и

будущности отечества с участью города Варшавы, и направиться к границам Франции по составленному маршруту. Русские войска не могут воспрепятствовать этому движению всеми своими силами, ибо им будет довольно заботы с зашитым краем и столицей, а отряженный ими корпус ничего не сделает. То же самое и Пруссаки, тем более, что Франция конечно употребит все средства, чтобы помочь польской армии сблизиться с французскими войсками. Если даже соединение Поляков с Французами окажется невозможным по большой длине пути, то все-таки такой способ действий не останется без благотворных для Польши последствий: армия в 40,000, с королем и правительством, будет представлять собою нацию, и Россия с Пруссией конечно войдут с нею в переговоры не иначе, как на почетных для Польши условиях. Таким образом достигнется результат, гораздо более выгодный, чем постыдная капитуляция, которая может повести только к временному спасению Варшавы. Такова была сущность плана Домбровского. Вавржецкий отвечал, что предложение Домбровского рассмотрено в военном совете, по мысли одобрено, но в исполнении найдено не осуществимым, так как король не желает оставить Варшаву, и народ грозит восстанием в случае попытки к его похищению; кроме того, офицеры и солдаты упали духом и потеряли доверие к своим начальникам. Домбровский подчинился по неволе и впоследствии, с ухудшением обстоятельств, отказался от своего плана, оспаривая однако и проект Вавржецкого об удалении армии в Пруссию. Он пришел к убеждению, что лучше всего перейти с войсками в прусскую службу; Вавржецкий был об этом предуведомлен и держался настороже [12].

Притянув к себе Гедройца и приказав Язвинскому присоединиться к армии за Пилицей, в Конской, Вавржецкий продолжал движение, 3 ноября перешел Пилицу в Новомясте, с присоединившими остатками отряда Неселовского, и разрушил за собою мост. Русские гнались за Поляками неутомимо, не упуская их из виду своими передовыми войсками, но не могли во время достигнуть Пилицы с достаточными силами. Впереди шел Денисов, за ним Ферзен. Денисов приспел к Пилице, когда мост был испорчен, и тотчас принялся его чинить; это его задержало, и войска Вавржецкого успели снова отдалиться. Оставалось удовольствоваться брошенной польской пушкой и несколькими сотнями инсургентов, положившими оружие. После переправы Ферзен донес, что Поляков насчитывается до 20,000, а у него всего 7,000, и потому просил подкрепления. По обыкновению счет основывался на слухах и преувеличенных показаниях сдающихся; в действительности у Вавржецкого, считая и отряд Язвинского, не

было больше тысяч 14, или и того меньше, и при их деморализации, перевес в силах тут ничего не значил. а все дело заключалось лишь в том, чтобы настичь бегущих. Суворов так и понимал дело, по все-таки послал Шевича с 8 батальонами и 25 эскадронами, приказал доносить себе о ходе действий чрез каждые 6 часов, подтвердил вернее считать неприятеля, возложил на Ферзена ответственность «по всей строгости воинских правил» и пояснил, что личным своим присутствием он, Суворов, устранил бы медленность в ходе дела, но по понятной причине не может отлучиться из Варшавы. На следующий день новое от него подтверждение: «рекомендую вашему превосходительству полную решимость, вы генерал; я издали, и вам ничего приказать не могу. Иначе стыдно бы было, вы локальный. Блюдите быстроту, импульсию, холодное ружье; верить счет мятежников» [13].

Недавно Вавржецкий посылал в Варшаву к королю узнать о результате его ходатайства пред Суворовым в пользу польских войск. Теперь возвратился посланный; за ним прибыл от Суворова офицер. Польский главнокомандующий извещался, что при условии сложения оружия, инсургенты могут возвратиться в свои дома с паспортами за подписью командиров. Как видно, это было тоже самое, что говорилось в данной еще 31 октября амнистии, но Вавржецкий остался недоволен и послал к королю того же генерала Горенского, снова написав, что условия не выгодны, ничего не гарантируют, и он их не понимает. Между тем Поляки продолжали быстро уходить и прибыли в Држевицу. Здесь Вавржецкий накрыл письмо прусского генерала Клейста к Домбровскому: именем короля Поляки призывались в прусскую службу, а Домбровский приглашался для переговоров. Вавржецкий продиктовал Домбровскому уклончивый ответ и приказал отправить это письмо к Клейсту, но не прекратил происков. Корпус Домбровского был особенно вреден Пруссакам, с успехом поддерживая и развивая восстание в Великой Польше; в нем находилось много великополяков, которые не могли возвратиться с безопасностью восвояси иначе, как передавшись Пруссакам на определенных условиях. Домбровский в другой раз приступил к Вавржецкому с убеждениями, при содействии нескольких десятков офицеров; Вавржецкий отказал вторично. Он говорил, что нельзя верить подписи Прусского короля, который вероломно изменил трактату с Польшей; что ручательство Суворова надежнее, потому что Русскую Императрицу честь обяжет соблюсти данное её военачальником обещание. Но аргументация эта не убедила никого; личный интерес говорил против нее слишком сильно.

Неутешительные события последних дней не остались без

влияния на Ваврженкого. Упрямство его не было еще сломлено, но поколебалось. Убедившись в невыполнимости своего первоначального плана, он стал теперь заботиться лишь о том, чтобы гарантировать наиболее выгодные условия обезоружения войск. В действительности это было лишнее, ибо нельзя было ожидать, чтобы Суворов изменил объявленную амнистию, по Ваврженкий вероятно увлекался желанием окончить свое несчастливое предводительство спасением, на сколько то возможно, своей собственной и национальной военной чести. Побуждение благородное, но при тогдашних обстоятельствах неуместное, так как почти все во чтобы то ни стало хотели мира, только чаяли получить его — одни от Пруссаков, другие — от Русских, смотря по складу понятий или по направлению интересов. Ваврженкий в этом тотчас же и убедился, может быть в десятый раз. Пикеты и высланные к Новомясту разъезды перешли либо к Русским, либо к Пруссакам; посланы были новые — тоже самоё. Из опасения дальнейшего дезертирования, приказано было выступать дальше, прямо на Конскую, но Домбровский просился идти чрез Опочно, где будто бы заготовлен для него фураж. Ваврженкий поспорил, но согласился, «не желая его раздражать». В Опочне Домбровский получил с нарочным из-за прусской границы письмо с предложением, подобным прежнему. Опять разыгралась сцена относительно перехода на службу к Пруссакам, но Ваврженкий опять настоял на своем. Почти тоже самое продолжалось и дальше, по дороге к Конской и оттуда к Радошице. В одном месте вся кавалерия ариергарда передалась напиравшим казакам; в другом — разразился формальный бунт, с пушечной и ружейной пальбой; в третьем — часть войск, забрав лошадей из-под артиллерии и обоза, ушла к Русским и Пруссакам, так что 24 пушки пришлось закопать в землю; в четвертом — при одном слухе, что показались казаки, опять бунт с пальбой, разъезд не возвратился, почти целая бригада рассыпалась. Ваврженкий собирал офицеров, говорил, что необходимо обождать Горенского с ответом Суворова и до тех пор удерживать солдат; что если ответ будет не удовлетворительный, то лучше пробиваться к Французам и погибнут со славой или сдаться всякой другой армии, только не русской и не прусской. Офицеры соглашались, испуская крики энтузиазма, но дело все-таки шло по-прежнему [3].

Так Ваврженкий добрался до Радошице, соединившись, как он говорит, «с незараженным» отрядом Язвинского из 3,000 человек с 20 пушками. Однако «зараза» была так сильна и прилипчива, что вновь прибывшие скоро подошли под общий уровень. Сюда вернулся 5 ноября Горенский и привез от Суворова полную

амнистию от 31 октября, уже опубликованную по трактату от Радошице до Варшавы. Вавржецкий все-таки этим не удовольствовался и хотя послал сказать Денисову и Ферзену, что из Радошице не сделает никуда ни шагу, а Суворову, что согласен положить оружие, но затягивал развязку, послав королю просьбу, чтобы он сверх условий амнистии, ходатайствовал об освобождении взятых раньше в плен.

Польскому главнокомандующему ничего и не оставалось делать, как остановиться в Радошице. Последнее время Денисов сидел у него на плечах, а передовые казачьи партии и разъезды появлялись в разных местах внезапно, и одним своим появлением усиливали внутреннее расстройство Поляков. Были даже случаи, если верить Ваврженкому, что отдавшиеся добровольно, направляли казаков на остававшихся под ружьем, дабы таким образом ускорить развязку. Трофеи доставались Русским дешево: орудия приходилось только подбирать. Так, под Новомястом подобрано 1 орудие, под Карачовым 4, под Радошицей 20, в других местах тоже по несколько. Но как дешево ни доставались, в боевом смысле, эти трофеи, все же они служили справедливым возмездием за предшествовавшую победную кампанию и за подъемлемые Русскими большие труды при производившемся преследовании, в позднее и ненастное время года. Отряд Шевича например прошел 170 верст меньше чем в трое суток. «Мы отдыхаем, а вы в трудах», писал Суворов Ферзену, а в другом письме говорил: «о пора, пора под кровли». Действительно было давно пора, а потому приходилось торопиться; удваивая энергию и труды. По результатами этих усиленных трудов не всегда пользовались сами трудившиеся. Так в Опочне, где вследствие бунта части войск, были оставлены 24 орудия, наехали Пруссаки и завладели ими почти на глазах Денисова. Из этого возникла переписка, Ферзен спрашивал приказания у Суворова — как поступить; Суворов отвечал: «с сими пушками извольте поступить но вашему благорассмотрению: вы локальный, а я вдали; коли можно взять добрым манером, то возьмите; коли нет, уступите; не стоит того, чтобы за них ссориться». Но так как Суворов терпеть не мог служить другим «мартышкиным каштанным котом», а в настоящем случае Пруссаки именно вытаскивали каштаны русскими руками, то Суворову стало досадно, и через два дня он пишет Ферзену, что было бы очень желательно отобрать от Пруссаков пушки, захвачённые ими без всякого на то права, и чтобы он, Ферзен, употребил на то все усилия. Пушек однако не удалось добыть из цепких рук союзников [4].

Отправив к Суворову извещение о своей готовности положить оружие, Ваврженкий, во ожидании ответа, объявил об этом

войскам и находившимся при них великополянам. Для удобства квартирования и довольствия, по представлению Домбровского, требовалось расквартировать кавалерию по окрестным деревням, на что Денисов согласился; но как только конница стала выходить из местечка, на пехоту напало сомнение, и она, захватив артиллерийских лошадей из-под орудий, почти вся перешла к Русским. Вероятно в пехоте прошел слух, что конница оставляет ее совсем, и слух этот оказался не совсем пустым. По условию с Денисовым, кавалерию следовало развести по деревням в 2-3 верстах от Радошице; между тем Домбровский о тремя полками пошел в Лопушно, за 20 верст, откуда намеревался пройти еще 15 верст дальше, до Мологоща, по направлению к Кракову. Вавржецкий послал вдогонку за ним генерала, с напоминанием о данном слове и с приказанием возвратиться; Домбровский не ослушался, но своим самовольным поступком внушил Русским недоверие к даваемым польскими военачальниками обещаниям. Денисов прислал к Вавржецкому офицера с жалобой; Вавржецкий объяснил причину, постарался успокоить Денисова и подтвердил свое прежнее слово. Но так как происшедший случай показал, что польский главнокомандующий, при всей своей доброй воле, не может почитаться достаточной гарантией за подчиненных, то Денисов обошел занятый Поляками район и расположил часть своих войск, загораживая пути в Краков. Домбровский заявил претензию, что два казачьих полка стали между деревнями, занятыми его войсками, отчего может произойти сшибка. Вавржецкий просил Денисова удалить казаков; помня смысл наставлений Суворова, Денисов не упорствовал и отвел казаков несколько назад, но все по той же краковской дороге.

Все это происходило 6 ноября. Опасаясь ли какого-нибудь нового подвоха, на манер движения Домбровского, или вообще желая окончить скорее дело, исход которого был все равно несомненен, Денисов не счел нужным ожидать получения Вавржецким ответа от Суворова, тем более, что условия обезоружения были уже опубликованы. Поэтому утром 7 ноября он послал к Вавржецкому двух офицеров при трубаче, с требованием обезоружения. В то время, как Вавржецкий распоряжался о сложении оружия в одно место, явился в Радошице сам Денисов с двумя эскадронами и прямо вошел в дом, занимаемый главнокомандующим. Появление его было совершенною неожиданностью для Вавржецкого и находившихся в то время у него генералов Домбровского, Неселовского, Гедройца и Гелгуда, а произошло это потому, что польские аванпосты, при приближении русских эскадронов, положили

оружие. Денисов, войдя в комнату, пригласил Ваврженкого и его собеседников ехать в Варшаву, к Суворову. Придя в себя от изумления, Ваврженкий возразил, что этого условия в опубликованной амнистии нет, что он сам и его генералы, подобно всем прочим, имеют право получит паспорта и свободно ехать домой. Денисов отвечал, что он и не арестует никого и оружия не отбирает, а только исполняет присланное приказание (которого на самом деле не было) и не думает, чтобы этим нарушалось объявление русского главнокомандующего. Ваврженкий сказал, что поедет в Варшаву, ибо считает себя арестованным. Весть о произошедшем быстро разнеслась и произвела чрезвычайную суматоху. Польская кавалерия бросила своих лошадей, солдаты и офицеры ворвались к Ваврженкому и с криками и грубостью стали требовать паспортов, а некоторые горячо и назойливо обратились с тем же к Денисову. Денисов отвечал, что грубостей от них терпеть не будет, и паспортов выдавать не станет, потому что это дело не его, а их начальников. Вслед за тем, по совету Ваврженкого, он вышел и оставался при своих эскадронах, близ крыльца, пока Ваврженкий подписывал паспорта и увольнял людей, выслушивая от Домбровского упреки. Всего уволено несколько больше 2,000 человек. — до такой ничтожной цифры растаяла инсурекционная армия в какие-нибудь 9-10 дней [15].

Ваврженкий с 4 поименованными генералами, под эскортом Русских отправился в Варшаву, где и представился Суворову. Неизвестно, какой между ними происходил разговор, но польский главнокомандующий показался русскому «подающим сомнение в спокойном пребывании». Тем не менее, чтя данное слово, Суворов предложил ему паспорт для свободного проживания где угодно, конечно на общем для всех условии — выдаче реверса, но Ваврженкий дать реверс не согласился. Тогда Суворову ничего больше не оставалось, как отправить его в Киев, под присмотром двух офицеров, откуда Румянцев препроводил его в Петербург, по присланному оттуда приказанию. Остальным четырем тоже предложены паспорта для проживания где пожелают, но реверс сразу согласился дать только Домбровский, который и уехал тотчас же в Саксонию, в свое имение, и 5 лет спустя встретился снова на боевом поле с Суворовым, к вящей славе последнего. Прочие трое заупрямились и потому тоже были назначены к отправлению в Киев, но перед самым выездом из Варшавы изменили свое намерение «и, по просьбе короля, обязавшись реверсами о спокойном пребывании, уволены в домы».

Еще перед 7 ноября получив донесение, из которого можно было усмотреть близкий конец, Суворов написал Ферзену: «ваше

превосходительство, чудесные вести, одна другой радостнее! Господь Бог увенчай вас полным окончанием; не упустите ни единого. Его превосходительству Федору Петровичу Денисову мое покорнейшее благодарение». По получении же извещения от 7 ноября, Суворов в нескрываемом восторге восклицает: «ура, конец», передает «братское целование» Денисову, приказывает «не упускать ни одного, на то казаки», велит готовить войска к выступлению на винтер-квартиры ближайшими трактами, без маршрутов, и обещает чрез несколько часов прислать квартирное расписание. В тот же день 8 ноября, он поздравлял графа Платона Зубова с обезоружением Польши, а 17-го, когда уже были собраны все главные сведения и цифры, пишет Румянцеву: «виват великая Екатерина, все кончено; сиятельнейший граф, Польша обезоружена». Он торопится посылать трофеи и вывозить всякого рода военное имущество в Россию, и еще более спешит разместить свои войска по квартирам, ибо выпал глубокий снег и наступили морозы.

Умиротворенным инсургентам выдавались паспорта почти всюду, куда они являлись, и выдача эта едва ли была окончена в ноябре. По числу выданных до 1 декабря паспортов видно, что после занятия Варшавы инсургентов состояло под знаменами 29,500 человек; если же взять в расчет, что и в декабре по всей вероятности они являлись в одиночку, а также, что были и не решавшиеся явиться, то приведенная цифра должна быть несколько повышена. В это число впрочем входит до 2,500 не солдат, а жителей краковского и сандомирского воеводств. Разогнано, отпущено и взято в рекруты Пруссаками 2,500 человек, остальные сдались Русским. Из польской артиллерии взято Пруссаками 17 орудий да 24 подобраны в Опочне; Русским досталось гораздо больше; они кроме того получили большое количество пороха, ружей, другого оружия и всякого рода военного имущества; но цифры или неизвестны, или противоречивы. Генералов, явившихся за паспортами, было 18 [16].

Нечего и говорить, какое сильное впечатление произвела в России и во всей Европе эта блестящая и кратковременная кампания, которою достигнуты такие полные результаты. Ноября 19 приехал в Петербург от Румянцева посланный Суворовым генерал-майор Исленьев, с ключами и хлебом-солью покорившегося города Баршавы. На другой день во дворце был выход при большом съезде; граф Безбородко читал «объявление о причинах войны с Польшею», затем отслужен благодарственный молебен при пушечной пальбе, с коленопреклонением. Дочь Суворова удостоилась самого благосклонного приема; между прочим Екатерина, отведав варшавской хлеба-соли, поднесла их

ей собственноручно. Потом был парадный обед, в середине которого объявлено о возведении Суворова в звание фельдмаршала. Пили его здоровье при 201 пушечном выстреле, стоя, причем Государыня говорила о нем в самых любезных и милостивых выражениях. Желая засвидетельствовать перед всеми самое полное внимание к новому фельдмаршалу, она, при обратном отъезде в Варшаву одного из приближенных к Суворову лиц, ротмистра Тищенко, поручила ему заботиться о здоровье фельдмаршала. Передавая обо всем этом одному из своих приятелей, Суворов писал, что он от радости болен. Он получил от Государыни два рескрипта; в одном из них значилось, что не она, Екатерина, а он, Суворов, сам произвел себя своими победами в фельдмаршалы, нарушив старшинство, от которого Государыня отступать не любит. Племянник его, князь Алексей Горчаков, привез ему от Императрицы фельдмаршальский жезл в 15,000 рублей; кроме того доставлен богатый алмазный бант к шляпе, пожалованный за Крупчицы и Брест. В заключение, Государыня назначила Суворову в его полное и потомственное владение одно из столовых имений Польского короля, Кобринский Ключ, с 7,000 душ мужского пола, т.е. увеличила его состояние втрое [17].

Суворов был гак всем этим тронут, что не мудрено, если бы в самом деле захворал. Сделавшись фельдмаршалом, он достиг того, что было мечтой всей его долгой жизни. Туго развивалась его военная карьера; каждый шаг вперед приходилось брать с бою и наконец, по засвидетельствованию самой Государыпи, взято с бою фельдмаршальство. Суворов не скрывал своего восхищения. По приказу Хвостова, велено во всех имениях Суворова отслужить молебен с коленопреклонением. Не обошлось и без причудливых выходок. Когда прибыл из Петербурга фельдмаршальский жезл, который Суворов ожидал с волнением и упоминал про него в своих письмах не иначе, как под одной начальной буквой ж…, то его отнесли в церковь, для освящения. Суворов прибыл туда в куртке, без знаков отличий, и приказал расставить в линию, с интервалами, несколько стульев. Затем он стал перепрыгивать эти стулья, один за другим, приговаривая после каждого прыжка: «Репнина обошел», или «Салтыкова обошел», или «Прозоровского обошел», и таким образом поименовал всех генерал-аншефов, которые были старше его. После того он велел убрать стулья, оделся в полную фельдмаршальскую форму и, войдя снова в церковь, велел начинать божественную службу [18].

В этот же день освящались и ордена Красного Орла и большого Черного Орла, присланные Суворову королем Прусским. Фридрих Вильгельм жаловал их, как свидетельство его

«ненарушимого уважения и особенного почтения, хотя Суворов не нуждается в этих орденах для возвышения своей славы и конечно их не ищет». Австрийский император тоже его не забыл, пожаловав свой портрет, богато осыпанный бриллиантами; не скупился ни на рескрипты, ни на комплименты, поздравлял его с фельдмаршальством, называл оконченную кампанию «блестящею» и, упомянув про недавние успехи австрийских войск против Французов, изъявил уверенность, что Суворов порадуется «за своих старых учеников и товарищей по оружию». Оба государя старались выказать ему свое внимание и благосклонность, награждая орденами ближайших его сотрудников, родственников и даже курьеров. Их принимали всюду и приглашали к себе самые почетные лица; «обращаясь с ними как с Дон-Кихотами или оракулами», по шутливому замечанию Суворова. Вообще император и король как бы соперничали в этом отношении с русскою Императрицей, которая по своему обыкновению награждала широко, щедрою рукой. Правда, и Суворов не стеснялся ходатайствовать о своих подчиненных, представляя длинные им списки, надоедая графу Платону Зубову и выхваляя некоторых из них свыше меры, напр. Потемкина. Императрица это заметила и в одном из писем своих к Гримму говорит: «граф двух империй расхваливает одного инженерного поручика, который, по его словам, составлял планы атак Измаила и Праги, а он, фельдмаршал, только выполнял их. вот и все. Молодому человеку 24-25 лет. зовут его Глухов».

Оказывая Суворову, а ради его и другим лицам, свое внимание, оба иностранные государя в сущности делали еще очень немногое, потому что в победном шествии Суворова и в счастливом окончании кампании заключались их прямые интересы. В сущности же на долю Суворова досталось немногое сравнительно с некоторыми другими, и он имел право сказать спустя несколько лет, в Италии, под гнетом австрийской политики: «щедро меня за Лодомирию, Галицию и Краков в князе Платоне Зубове наградили». Платону Зубову, который находился все время в Петербурге и только мешал правильному направлению польских дел, выпала львиная доля наград; например, из бывших польских коронных имений ему досталось 13,000 душ, т.е. почти вдвое против Суворова. В своей наивности временщика и фаворита, он нисколько не сомневался в первоклассном размере своих заслуг, поддерживаемый в этом убеждении толпами льстецов и низкопоклонных искателей. Даже Румянцев не постыдился написать ему хвалебное письмо, в котором главную долю достигнутого успеха приписывает ему же, Платону Зубову [19]. Чем полнее был успех Суворова, тем более он

должен был затронуть личные самолюбия и зависть. Высшая среда была настолько известна с этой стороны, что во избежание интриг, искательств, клеветы и всяких иных докук, держалось в большом секрете принятое Императрицею решение — возвести Суворова в фельдмаршалы; об этом не знал даже управлявший военным департаментом граф Н. Салтыков, находивший, что покорителю Польши довольно будет звания генерал-адъютанта, Когда же пожалование в фельдмаршалы совершилось, то произвело большую и неприятную сенсацию между многими. Один из членов коллегии иностранных дел, Морков, нашел такую награду даже неуместною, говоря, что всякий должен считать себе наградою одно то, если его употребляют на дело; «но себя он исключает из этого правила», язвительно замечает граф Безбородко. Некоторые из старших генерал-аншефов не скрывали своей досады; были между ними и такие, что просили увольнения от службы, именно князь В. В. Долгоруков и граф П. П. Салтыков, которого к тому же побуждали и неудовольствия с Румянцевым. Недаром Суворов не любил эту высшую сферу и постоянно клеймил своих завистников сарказмами. Зато вся остальная Россия была на его стороне, удивлялась ему, восхищалась им, с гордостью произнося его имя. Русская литература, хотя и младенческая, отзывалась о нем в общий тон. В. Г. Рубан прислал к нему акростих и пеан своего сочинения при хвалебном письме; по этому поводу Суворов спрашивал у Хвостова; «как вы думаете, не можно ли ему учинить приличного подарка»? Костров прислал в Варшаву эпистолу; Державин — поздравительное письмо с четверостишием:

Пошел, и где тристаты злобы?
Чему коснулся, все сразил:
Поля и грады стали гробы;
Шагнул — и царство покорил.

Суворов поручил Хвостову выдать Е. П. Кострову 1000 рублей из доходов того или следующего года, смотря по возможности, и кроме того отвечал автору эпистолы письмом в стихах:

В священный мудрые водворены быв лог,
Их смертных просвещать есть особливый долг;
Когда ж оставят свет, дела их возвышают,
К их доблести других примером ободряют.
Я в жизни пользуюсь чем ты меня даришь,
И обожаю все, что ты в меня вперишь
К услуге общества что мне не доставало,

То наставление твое в меня влияло:
Воспоминаю я, что были Юлий, Тит,
Ты к ним меня ведешь, изящнейший пиит.
Виргилий и Гомер, о если бы восстали,
Для превосходства бы твой важный слог избрали.

Это стихотворение достойно внимания по изложенному в в нем взгляду Суворова на поэзию, хотя бы взгляд этот и был несколько гиперболичен, в виде комплимента поэту. Державину Суворов отвечает смесью прозы и стихов; уверяя, что «изливает чувство своей души в простоте солдатского сердца», он, как и всегда в подобных случаях, становится на ходули, пишет высокопарно и темно. Первые строфы еще выглажены: [20]

Царица севером владея,
Предписывает всем закон.
В деснице жезл судьбы имея,
Вращает сферу без препон.
Она светила возжигает.
Она и меркнуть им велит;
Чрез громы гнев свой возвещает,
Чрез тихость благость всем явит.

Далее идет далеко не так гладко. Вызывая Державина на прославление Екатерины, Суворов прорицает ему:

Парнасский юноша на лире здесь играет,
Имянник князя, муз достойный стих сплетает;
Как Майков возрастет. он усыпит сирен,
Попрет он злобы ков,... прав им ты, Демосфен.

Но все заявления сочувствия, удивления и проч., которые получал Суворов отовсюду, не могли быть для него неожиданностью. Настоящий сюрприз подготовил ему магистрат города Варшавы в Екатеринин день 1794 года, поднеся именем варшавян золотую, эмальированную табакерку, с лаврами из брильянтов. На середине крышки был изображен городской герб, плывущая сирена; над нею надпись- *Warczawa zbawcy swemu*, а ниже еще другая, обозначающая день пражского штурма, 4 ноября (нов. ст.) 1784 года. Варшава назвала Суворова «своим избавителем» за разрушение моста в разгар штурма. Не следует преувеличивать значение этого подарка; после всего, что

произошло, варшавяне не могли сделаться внезапно русофилами, считать Россию и Суворова своими благодетелями и т. под. Но очень естественно с их стороны было желание — засвидетельствовать Суворову благодарность за его человеколюбивый поступок, тем более, что Суворов оставался среди них и, в управлении завоеванным краем, руководился доброжелательными, человеколюбивыми побуждениями. Правда, поднесение сделано магистратом, который но словам самого Суворова не был враждебен России, но магистрат не мог бы ни выдумать, ни исполнить такого заявления благодарности города, если бы это расходилось с направлением мыслей и чувств городских жителей [21].

Имя Суворова, приобревшее в Европе лестную известность со времени последней Турецкой войны, сделалось теперь знаменитым. Генерал Фаврат, принявший начальствование над прусскими войсками вместо Шверина, отданного под суд за то, что выпустил Мадалинского и Домбровского со всею добычею из пределов прусских, хотя они три для переправлялись чрез р. Бзуру, — был поражен быстрым исходом кампании. Он написал Суворову восторженное письмо, в котором сознается с наивной откровенностью, что несмотря на всю свою неусыпность и добрую волю, прибыл к Петрокову так поздно, что ему оставалось только удивляться подвигам «великого Суворова». Письмо свое он начинает словами; «Monsieur le comte, general eu chef, grand general, grand homme et grand chevalier», а подписывается: «celui qui vous admire, qui vous honore, qui vous respecte». Разумовский, русский посол в Вене, служа отголоском впечатления, произведенного Суворовым на столицу Римской Империи, обращается к нему с еще более восторженными посланиями и говорит, что все в мире солдаты завидуют его подчиненным и все монархи были бы рады вверить ему свои армии. И точно, вслед затем затронута была Венским двором тема о назначении Суворова командующим русским и австрийским корпусами против Французов. Французский эмигрант, Гильоманш-Дюбокаж, только что принятый в русскую службу и назначенный под начальство Румянцева, не желает поступить ни к кому другому, кроме Суворова. Русский посланник в Константинополе, Кочубей, пишет графу С. Воронцову, что польская кампания Суворова произвела изумительный эффект в Турции, вследствие контраста с предшествовавшими неудачными действиями союзников. В глазах Турок русские войска еще выросли; мусульмане напуганы, и Порта заявила полное свое невмешательство в последующее разрешение польских дел. Кочубей замечает, что он обязан Суворову особенною признательностью, потому что, благодаря

ему, Порта стала питать к Петербургскому двору удвоенное почтение. Один из русских дипломатических агентов в Германии сообщает в частном письме, что в общественном мнении Суворов занял там весьма высокое место. Находят, что только Русские могут изменить ведение войны с Французами; где теперь армия в 60,000 человек оказывается недостаточной, там будет довольно 30,000 при Суворове; если Фридрих Великий ценил Шверина в 10,000 человек, то за Суворова можно дать втрое. Имей немецкие войска своим начальником пол-Суворова, то не были бы прогнаны до Майнца; ибо будь они составлены сплошь из одних героев, все-таки ничего не могут сделать, когда предводитель их безголовый или обязан спрашивать у военного совета, что ему делать. Курьеры Суворовские привозят известия о победах, а курьеры императорские спрашивают, дозволяется ли побеждать [22].

Таково было *свежее* впечатление Польской кампании Суворова. Но потом, в нынешнем столетии, оно забылось, изгладилось и заменилось мнением противуположным. Прежде в Европе представляли себе Суворова военачальником суровым, даже страшным, который никогда не колебался при выборе решительных средств: знали, что он предпочитал кратчайшие, хотя и труднейшие пути к цели, видя в этом средство к сохранению и людей, и времени; что он был враг оборонительных действий, совсем не допускал пассивной обороны, и атаки свои доводил до конца, не останавливаясь перед жертвами. Но при этом не отрицали, что он не избегал ни капитуляций, ни вообще мирных решений, если они не умаляли результатов ощутительно и не вели к проволочке времени; равным образом не находили в его обращении с побежденным неприятелем мстительности и безжалостной свирепости. Образ ведения войны того времени, особенно в столкновениях России с Турцией, заставлял желать много лучшего, но Суворов не выделялся в этом отношении из общего уровня в дурную сторону. Люди, интересовавшиеся ходом военных действий и приемами военного искусства, не указывали на Суворова как на отрицание этого искусства, как на олицетворение грубой силы, инстинкта войны. Напротив, он приобрел почетную известность, по крайней мере в сопредельных с Россиею государствах; его имя проникло там даже в народные слои, некоторые из его подвигов послужили темой для дешевых народных изданий.

Теперь, после Польской войны, Суворов преобразился в полудикого воителя, который умел побеждать только при условии ненужного и беспощадного пролития крови, без всякого пособия военного искусства; в жестокосердого мучителя побежденных, услаждавшегося их бедствиями и страданиями. Отчего же

произошла такая метаморфоза? Оттого, что дело шло уже не о Турции, а о Польше; оттого, что с лица Европы исчезло государство со свободными учреждениями, которое было к ней внутреннею своею жизнью ближе не только Турции, но и России. Многочисленные представители правившего в Польше класса рассыпались но Европе; эти люди, удрученные несчастием, нуждою, возбуждали к себе и к своему отечеству соболезнование и симпатию; с их горьких слов вошло много неправды в понимание и изображение случившейся катастрофы. Падение Польши было подготовлено её предшествовавшей историей, в которой действовало преимущественно шляхетство; шляхетство же является и обвинителем других в падении отечества. В военном отношении главным виновником катастрофы был Суворов, и он делается целью нелепых вымыслов и клеветы; в нем отрицается дарование и искусство, тем легче, что ни то, ни другое не укладываются под ходячие понятия. Но так как бездарный невежда постоянно бьет даровитых и искусных, притом одушевленных крайнею степенью патриотического возбуждения, то это объясняется численным перевесом, грубою силой, которая не щадит неприятеля и не бережет своих, а затем кровопийством и жестокостью. Недостаток энергии и стойкости в защите последнего оплота независимости, Праги, является добавочным, хотя и тайным поводом к выгораживанию себя во что бы то ни стало и к обвинению неприятеля, и русский главнокомандующий выставляется каким-то выродком человечества, амфибией, которой вместо воды нужна кровь.

Польша, после своего падения, не могла пожаловаться на недостаток в покровителях, защитниках или сторонниках; причиною тому не только сочувствие к несчастию, но и политическая доктрина. Этой политической подкладкой и подбиты натянутые, несправедливые и даже нелепые сведения о Суворове, усвоенные многочисленными друзьями Польши, и выводы из этих данных, вторгнувшиеся в историю. Если сочувствие к судьбе Польши, завлекло одного знаменитого историка так далеко, что он не затруднился найти у русских людей взор, напоминающий насекомых, то не представляется особенно трудным сделать из Суворова дикого невежду и кровопийцу.

И в русских войсках, и в Суворове были дурные стороны, но беспристрастная их оценка вовсе не ведет к обобщениям и заключениям, в роде приведенных. Войны того времени не отличались нынешней сравнительной мягкостью или, лучше сказать, желанием сузить сферу военных бедствий, а военные действия Русских тем паче, благодаря их предшествовавшей

истории и войнам с Турками. *Добыча* была узаконенным явлением войны, а следовательно и грабеж, особенно при штурмах. Румянцев, Суворов и некоторые другие старались урегулировать грабеж в тех случаях, когда его допускал военный обычай, но большею частию бесплодно, ибо тут каждый солдат делался сам себе господином и из рук начальства ускользал. Отменить же совсем право на добычу, было делом невозможным ни по понятиям времени, ни но традициям; оно успело войти в плоть и кровь и представлялось одним из залогов победы. À как только это право существовало, то солдаты старались применить его всюду, где только могли: получалось мародерство и грабительство. И то, и другое преследовалось и наказывалось, особенно Румянцевым и Суворовым. и таким образом умерялось, но не искоренялось, потому что такое требование начальства представлялось солдату непоследовательным. И в самом деле, грабительство было логическим последствием права на добычу; не уничтожив второго, нельзя было уничтожить и первого.

Естественным спутником привычки к грабежу была распущенность, которая особенно развилась при Потемкине. Знаменитый впоследствии Ростопчин, обыкновенно не жалевший густых красок и смелых уподоблений, пишет одному из Воронцовых о назначении Румянцева в 1794 году главнокомандующим: «победа собирается вновь поступить на службу России, вместе с порядком и дисциплиной, которые при Потемкине были отставлены без пенсиона». Не так хлестко, но в действительности не мягче выражается Безбородко, Воронцов и другие государственные люди того времени. Все это после Потемкина стало понемногу исправляться, но следы остались надолго, и в Польскую войну давали себя знать. Нельзя конечно верить польским источникам в описании русских грабежей, ибо в них говорит тенденция и расчет на эффект, но несомненно, что солдаты сохранили и в Польше свои привычки, приобретенные в Турции. Следует однако принять в соображение, что польские войны были борьбою партий, и Россия держала сторону одной из них, а такие войны всегда и всюду носили характер особенной жесткости. Бывали случаи, когда эта жесткость заходила слишком далеко. В эту войну Дерфельден получил повеление — имений князей Чарторижских, противников России, не щадить; поэтому была предана грабежу Пулава с дворцом, прекрасными садами и парками, библиотекою и т. под. Дворец подвергся совершенному разорению, картины были изорваны и испорчены, библиотека из 40,000 томов разметана и истреблена, кабинет естественной истории тоже, богатая коллекция окаменелостей раздроблена. Такие излишества были исключительно делом рук

невежественных солдат, вследствие невозможности регулировать грабеж, чуть только он разрешен. Русское правительство разумеется не желало такого вандальства, ибо не так оно поступило позже, в Варшаве, с библиотекою Залуского; не такого рода инструкции давало и в других случаях. Впрочем приведенный случай есть исключительный; распущенность войск выражалась обыкновенно в фактах более мелких, но зато и более заурядных. Приведем примеры. Когда корпус Дерфельдена шел на соединение с Суворовым, в авангарде графа Зубова находилось несколько сот Черноморских казаков, под начальством кошевого Чепеги. Проходя чрез одно местечко, кошевой заметил бегающих по улице поросят и обратился к своему полковнику: «Алексей Семенович, вишь какие гадкие поросята; чего глядишь!» Полковник соскочил с коня, поймал несколько поросят, заколол их, положил в торбу и продолжал путь с кошевым. На пути из Бреста к Варшаве, перед соединением с Дерфельденом, Суворов заметил в одной попутной деревне человек пять русских мародеров и велел своему конвою их схватить; солдаты оказались корпуса Дерфельдена. «Вилим Христофорович, караул, разбой», сказал Дерфельдену Суворов при первом свидании: «помилуй Бог, солдат не разбойник, жителей не обижать; субординация, дисциплина». Смущенный Дерфельден только кланялся и говорил: «виноват, не доглядел». Несколько времени спустя, он остановил свой корпус и произвел экзекуцию: мародеры были прогнаны сквозь строй погонными ружейными ремнями [23]. В излишествах разного рода обвиняют и лично Суворова, говоря, что он воспламенял войска до крайней степени возбуждения, рассчитывая на высшую энергию минуты, отчего солдаты превращались на некоторое время в зверей. Но без возбуждения, заглушающего в людях чувство самосохранения, невозможны боевые подвиги, выходящие из ряда. Говорить против такого подъема духа, когда невозможное становится возможным, легко, а производить подобное возбуждение — трудно; это удел избранных. Кроме того надо помнить, что возбуждая в солдатах боевой дух в моменты высших испытаний, Суворов непременно напоминал о человеколюбии, о пощаде безоружных, о женщинах и детях, и делал это не для одной очистки совести, а настойчиво и упорно. Затем ему оставалось взыскивать с виновных, что он и делал, постоянно настаивая на поддержании строгой дисциплины. Но до него мало что доходило (в чем он конечно сам виноват), а в случаях огульных, как например в Праге, наказание виновных становилось невозможным. Разумеется и тогда у военачальника есть способы привести к порядку и устранить излишества на будущее время. Суворов может быть в

этом отношении и погрешал, под радостным впечатлением одержанной победы, но опять-таки следует помнить, что в Польской войне русские войска действовали под влиянием особенного, едва ли устранимого ожесточения. Наконец, руководясь указаниями современников, приходится значительную долю вины отнести на высших и низших начальников и на офицеров. Между офицерами было очень много людей совершенно необразованных, грубых, не возвышавшихся своим развитием над простыми солдатами; они не только не останавливали своих подчиненных, но еще распаляли их и сами им помогали. «К моему удивлению», говорит один современник (русский немец): «эти офицеры большею частью не русские, а немцы». Тоже самое отчасти замечено и в войну с барской конфедерацией [24].

Существовали еще посторонние обстоятельства, которые не только не отваживали войск от поползновения — пользоваться чужим добром, но косвенно их к тому поощряли. Полки не получали амуничных вещей за 3 и за 4 месяца; высылка войскам денег на покупку фуража сильно замедлялась; некоторые части не получали в конце года жалованья не только за майскую, но даже за январскую треть. Суворов был бессилен изменить дело к лучшему; высшие петербургские военно-административные органы находились вне его власти, и он ничем иным, кроме писания, не мог помочь горю. Он писал и просил, но не получал; доносил Румянцеву, но безуспешно; доносил наконец самой Императрице. А вдобавок, внутреннее хозяйство полков было плохо во все царствование Екатерины и изобиловало всякого рода злоупотреблениями, которые коренились в самых основах его организации. В этом отношении Суворов бывал не вполне прав недостаточностью контроля и более активного отношения к административно-хозяйственной части, но от этого недостатка до капитального порока еще далеко, и конечно не из указанного обстоятельства родились обвинения его в бесцеремонном обращении с побежденными и мирными жителями, в жестокости и кровопийстве. Они, эти обвинения, выросли или из недоразумений, порожденных поверхностным знакомством с предметом, или из побуждений, не имеющих ничего общего с исторической критикой.

Глава XIX. В Польше после войны; 1794-1795.

Запоздавшие инструкции; противоречия между ними и Суворовским образом действий; ответы и возражения Суворова; опасения в Петербурге. — Характер деятельности Суворова по умиротворению края; иная политика Австрии и Пруссии. — Затруднения Суворова относительно экономических условий края и содержания войск; мягкие его поступки с Польским королем; строгие указания по этому предмету из Петербурга; перемещение короля в Гродно. — Некоторые частности пребывания Суворова в Польше и его распоряжений; заботы о войсках и эксцентрические выходки; беспорядки и злоупотребления по хозяйственной части; дело Вронского. — Трудность соглашения союзников на счет судьбы Польши; военные приготовления и слухи. — Мелкие неудовольствия и неприятности, особенно по нарушению амнистии. — Иностранные писатели о Суворове в Польше.

Война 1794 года окончилась так неожиданно быстро, что союзные правительства, особенно Русское, были застигнуты врасплох. Взятие Варшавы могло послужить русскому главнокомандующему источником больших затруднений на первых порах, если бы он был человек нерешительный, так как ни из Петербурга, ни от Румянцева он не имел никаких наставлений и полномочий, насчет направления и смысла его последующих

распоряжений. Если верить графу Безбородко, то он, Безбородко, говорил неоднократно, особенно после сражения при Мацеиовичах, о необходимости дать Суворову инструкцию на случай взятия Варшавы, но на его настояния не обратили достаточного внимания. Таким образом Суворов, не имея инструкций, повел дело по собственному усмотрению. Он во-первых объявил амнистию именем Императрицы, считая это вернейшим средством к умиротворению Польши и к обезоружению польских войск, тем более, что стояла поздняя осень и требовалась большая спешность. Во-вторых он отчасти восстановил законное правительство, существовавшее до революции, или, лучше сказать, оно восстановилось само, ходом событий, а Суворов не счел полезным этому препятствовать. За сим на все остальное, как второстепенное, можно было ожидать инструкций, что Суворов и сделал, заботясь лишь, чтобы военное имущество побежденной Польши поступило целиком в руки победителя [1].

Первое по времени предписание, на счет образа действий Суворова в завоеванной Польше, последовало от Румянцева 6 ноября, т.е. получено было тогда, когда не только вышеизложенное было уже сделано, но и обезоружение окончилось. Румянцев писал, что сдача Варшавы «на дискрецию» делает ее нашим завоеванием, а потому управление должно производиться русской военной властью, с устранением короля от участия в делах; участников революции и войны надлежит забирать, лишая их свободы; доходы, контрибуции и предметы продовольствия войск собирать, не заботясь об инсургентах, которые должны вполне заслуженно нести эту тягость. Румянцев выражает надежду, что «Варшава покорена едино и единственно высочайшей воле, что все преступники в злочинии томятся» и прочее, в этом роде, т.е. значительно жестче, чем было сделано Суворовым. Последующие предписания Румянцева проникнуты тем же духом и направлением; в них встречаются постоянно «я надеюсь, я уверен», указывается на некоторых подозрительных, которых следует забрать, но настойчивых, безапелляционных приказов не дается, вероятно потому, что предполагается снабжение Суворова категорическими инструкциями из Петербурга [2].

Эти инструкции последовали в форме высочайшего повеления от 21 ноября, которое значит получено Суворовым через месяц по покорении Варшавы. Высочайшее повеление в сущности однородно с предписанием Румянцева, но подробнее в изложении частностей, и в нем еще более указаний по таким предметам, которые давно были исполнены и порешены.

Повелевается преследовать вышедших из Варшавы инсургентов, не изнуряя войск; ввести затем русские войска на зимние квартиры по правому берегу Вислы, от устья Вепржа, куда примкнет линия Австрийцев, до устья Нарева, где начнется линия Пруссаков; причем Ферзена направить в Литву, а Дерфельдену расположиться по Нареву до литовских границ. Все военное имущество отобрать и послать, так же как и пленных, в русские пределы; гарантированную неприкосновенность лиц и имущества соблюсти, но главных деятелей апрельских событий и всех членов бывшего верховного совета арестовать и прислать в Петербург; короля препроводить в Гродно; иностранным посланникам объявить, что миссия их кончена. Взять с Варшавы сильную контрибуцию деньгами или предметами, полезными для войск, понуждая в случае надобности военною силой; арсеналы и все принадлежащее короне отобрать в казну, также регалии королевские, бунчуки, знамена, печати, маршальские жезлы и проч., равно публичную библиотеку, называемую Залуского, и все архивы, произведя тщательный пересмотр монастырских архивов, под предлогом отыскивания оружия. Управление краем производить, по праву завоевания, военной властью, от имени Русской Императрицы, уничтожив введенные последнею революцией советы и департаменты, и никаких протестов и манифестаций не допускать. Так как удержание Варшавы требует большого числа войск, которые очень трудно продовольствовать, особенно в виду необходимой заботы о продовольствовании городского населения, то вследствие близости города к прусской границе, предложено Прусскому королю взять ее на свое попечение и занять своими войсками; если же, по извещению русского посланника из Берлина, окажутся к тому с прусской стороны препятствия, то разрешается в крайности просто оставить Варшаву, предоставив ее собственному жребию. Окончательное решение участи Польши будет принято с общего согласия союзников [3].

Таковы были официальные указания, сделанные Суворову в его новом положении — правителя завоеванного края. Нельзя сказать, чтобы им были положительно недовольны за первые его самостоятельные шаги, так как не его была вина, что не поспели вовремя инструкции; но видно, что он затруднил правительство в прямой и категорической постановке дела на желаемую ногу. Суворов «не нашелся в нужных по обстоятельствам мерах», говорит неоднократно Безбородко в своих письмах к разным лицам, и это же стереотипное выражение находим мы в переписке других государственных людей. Оно не совсем верно выражает действительный факт. Суворов не путался, не колебался в выборе

предстоящего пути, а избрал сразу единственный, отвечавший по его мнению обстоятельствам. Правительство уже знало, что Польша должна подвергнуться окончательному разделу, а Суворову это было совершенно неизвестно. Таким образом он только не предусмотрел намерений правительства, не имея на то решительно никаких руководящих данных; не могли предусмотреть видов Петербургского кабинета и дипломатические чиновники высших чинов, бароны Аш и Бюлер, освобожденные из плена и Суворову помогавшие. А так как первые самостоятельные шаги Суворова, по взятии Варшавы, повели прямо к цели, т.е. к быстрому обезоружению польского войска и умиротворению края, то никак нельзя сказать, что он не нашелся.

Однако, вследствие поздно подоспевших инструкций, народились затруднения, которых иначе не было бы, ибо теперь приходилось уже не делать наново, а переделывать сделанное. С этой стороны Суворов не отличался большой податливостью, и в Петербурге не без основания опасались, чтобы он, «взяв совсем иное понятие о короле и о прочих, не нанес беспокойств с неугомонными Поляками». Он конечно не мог не повиноваться, но и не расположен был смотреть на себя как на простое колесо, служащее лишь для механической передачи движения. Он был на месте, у самого дела, и этому условию всегда придавал большое значение; план мог быть составлен в общих чертах в Петербурге, но исполнение его следовало предоставить *локальным*, так как средства к удержанию края в полном спокойствии вытекали и из местных условий. Этого взгляда на предмет Суворов и придержался [4].

Он отвечал Румянцеву, не имея еще приведенного выше рескрипта Екатерины. С некоторым оттенком неудовольствия он говорит, что «кабинетной политики не знает», вероятно намекая на необходимость знакомства с местными обстоятельствами, которых из кабинета не видать. Затем он доносит, что все, что следует отправить внутрь России, будет отправлено, и за сим в варшавских цейхгаузах ничего не останется; что магистрат остался при своем деле под ведением коменданта Буксгевдена; что по крайнему оскудению земли, никаких сборов (контрибуционных) производить нельзя. «Все предано забвению», говорит он далее: «в беседах обращаемся как друзья и братья». Отношения его к Полякам были так хороши, что начальники инсургентов обращались к нему (до обезоружения) с откровенною просьбою — дозволить им продолжать войну с Пруссаками, на что Суворов отшучивался, говоря, что «это неприлично». За сообщения между частями русских войск, расположенными по

зимним квартирам, он не опасается нисколько, потому что инсургентов не существует и везде спокойно; для удержания Польши с Литвой в таком состоянии спокойствия, считает достаточным 20,000 войска, а спустя некоторое время довольно будет и половины. Засим на последующие напоминания Румянцева о необходимости постоянной бдительности и осторожности, Суворов всякий раз отвечает, что опасаться нечего, что везде тихо и будет тихо.

Государыне он донес на её рескрипт следующее. При сдаче Варшавы, объявлена Императорским именем всем покоряющимся свобода и забвение, потому что эта мера успешнее всяких других способна умиротворить край и прекратить в нем замешательства; от прощеных взяты реверсы в том, что будут жить спокойно и воздержатся от вредных для России и её союзников замыслов. Лица эти уволены с паспортами по домам, а некоторые остались жить в Варшаве; из них, согласно полученного повеления, президент верховного совета Закржевский и наличные члены Игнатий Потоцкий и Мостовский будут отправлены в Петербург, но он, Суворов, счел нужным обнадежить их помилованием. Высочайшая воля будет объявлена Польскому королю по учреждении почтовых станций от Варшавы до Гродна. Варшава так оскудела, что едва пропитывается, а потому не только сильная, но и самая малая контрибуция совсем бы ее разорила; на этом основании контрибуция не была наложена и ныне не налагается, а взамен её приказано забирать скарбовые доходы. Высшее Польское правительство упразднено, но городской магистрат возобновлен; он действует под наблюдением генерала Буксгевдена, отличаясь приверженностью к Русской Императрице; протесты, манифестации и подобного направления книги и сочинения запрещены. Архивы, библиотеку Залуского и проч., приказано тайному советнику Ашу отыскивать и приготовлять к отправлению; артиллерия, оружие, амуниция и другие предметы военной потребности, забраны без остатка и перевозятся в русские пределы. По сношению с прусскими и австрийскими властями, открыт беспрепятственный ввоз из-за границы жизненных припасов, а потому и жители Варшавы, и квартирующие в ней войска будут иметь средства к пропитанию, не чувствуя особенной нужды. К тому же теперь зима, перемещать отдыхающие на винтер-квартирах войска с левой на правую сторону Вислы, было бы затруднительно и для них беспокойно, а потому все они оставлены на нынешних их местах, с которых и не тронутся впредь до нового повеления. На том же основании сообщено и Прусскому королю, что в Варшаве русские войска остаются, и чтобы он для занятия города своих войск не посылал

[5].

Спокойный, уверенный тон донесения Суворова, уступчивость по одним вопросам, отстаивание сделанных распоряжений по другим, вообще сознательное отношение его к делу, без упрямства и без вмешательства личного самолюбия, — все это не могло остаться без результата. В Петербурге несколько успокоились, поневоле помирившись с мыслью, что новый фельдмаршал «не нашелся» вовремя. Но так как мир был вынужденный, то беспокойство по временам возвращалось, подымалась тревога, раздавались нарекания на Суворова. «Теперь, по положению нашему, наиболее надлежит со всех сторон ожидать сквозных ветров», писал Хвостову Курис, правитель канцелярии Суворова, И действительно, «в сквозных ветрах» недостатка не было, потому что не было недостатка в разных тревожных симптомах, которые Суворову представлялись пустыми, а в глазах других вырастали до огромного размера.

Безбородко пишет одному из Воронцовых, что «вся Галиция наполнена польскими эмигрантами, и там все готовы к бунту, да и не встретят много к тому затруднений». Кочубей сообщил Суворову из Константинополя, что по доходящим слухам, Французы стараются возбуждать в Венгрии и Польше дух волнения и что неудовольствие Поляков произведет взрыв при первом удобном случае; Кочубей этого не опасается, но считает долгом донести. Румянцев пишет о грозящем в Венгрии и Галиции возмущении; о том, что прусские и австрийские войска двигаются по направлению к местам, занятым Русскими; что сверх находящихся в Галиции 24,000 человек, Австрийцы двинули чрез границы Венгрии еще 60,000; что дух польского возмущения далеко не исчез, как это доказывается разными признаками, особенно подметными и прибиваемыми письмами; что в многие места отправлены из Молдавии эмиссары под видом купцов, и необходимо учредить строгий надзор над всеми приезжающими иностранцами. Князь Репнин извещает Суворова (в марте 1795 г.), что разнесся ложный слух о бегстве Косцюшки из плена, а потому принимаются меры к предупреждению в Литве волнений [6].

Суворов, зная близко положение дел, не дает серьезного значения изложенным тревожным признакам и выросшим из них опасениям. Он разубеждает Румянцева, ручается за спокойствие; говорит, что в Галиции всего 12,000 австрийских войск, а не 74,000; что если Австрийцы предпримут военный поход, то не против нас, а против Пруссаков и т. под. Но как ни убедительно говорит в пользу Суворова и его системы время, проходящее в совершенной тишине месяц за месяцем, петербургские руководители все не могут усвоить его взгляда, распаляют свое

воображение ужасающими призраками будущего, или просто будируют, так как Суворов уже слишком много *напортил*, чтобы можно было все им сделанное *исправить*. Не без того, чтобы в оценку действующего в Польше порядка не вмешивалось и оскорбленное самолюбие дельцов-заправителей, из рук которых ускользнула доля прямого дирижирования делом. В письме одного из государственных людей, Трощинского, к А. Воронцову, читаем: «все чувствуют ошибку Суворова, что он с Варшавы не взял большой контрибуции; но не хотят его в этом исправить, из смеха достойного уважения к тем обещаниям, какие он дал самым злейшим Полякам о забвении всего прошедшего и о неприкосновенности ни к их лицам, ни к их имениям». Таковы могли существовать понятия о силе обещаний, данных именем Императрицы! Граф Безбородко не столь категорически держался подобного взгляда, но все-таки не раз относился критически к порядкам, созданным в Польше Суворовым. В особенности он не мог помириться с тем, что Суворов не отстранил сразу короля и других высших властей от управления и не поставил русских военных начальников. «Горячка в Поляках действовать не перестает», говорит он в одном из своих писем; «гетман Ржевуский прислал сюда своего адъютанта с планом правления Польши и заранее торгуется о власти гетманской». В другом его письме излагается убеждение, что Суворов «скорее всю Варшаву истребит до основания, чем даст своих сюрпренировать», но все-таки высказывается опасение, что там существует «мятежное гнездо», хотя и не отрицается, что полиция Буксгевдена «очень бдительна». В сущности грозящая опасность сводится к тому, что Иосиф Понятовский живет свободно в Варшаве, ходит без орденов, в революционном плаще, содержит на свои средства и угощает множество офицеров, которые говорят Бог знает что на наш счет. Кроме того, беспокойных из черни высылают за прусский кордон, где их пишут в солдаты, а следовало бы, как предлагал Буксгевден, «посылать ради страха в Киев, для употребления в дальние гарнизоны и работы». Цепь этих малоубедительных и противоречивых доводов Безбородко замыкает тем, что Суворов «взял на себя вид слишком большой кротости»; но Безбородко ошибается и тут, потому что Суворов вовсе не прикидывался, а сознательно держался системы, но его мнению единственно ведущей к цели. «Того только и ждать, что вспыхнет огонь», продолжает Безбородко и затем, незаметно для самого себя, обнаруживает одну из главных причин своего недовольства. «Вообще дела после взятия Варшавы пошли странным ходом», говорит оп: «наши новые министры и правители в полном удостоверении, что добрый оборот дел есть

их единственная работа, — зачали нас худо трактовать, так что мы не знаем уже ничего, что там делается. Суворов себя исключает сам из зависимости старого фельдмаршала (Румянцева), а сей последний и сам удаляется от распоряжений по той части; князь Репнин весьма малодушествует и видит всякую беду втрое».

Странное заблуждение! Разве не Суворову обязана была Россия скорым успокоением побежденной Польши и непрерывавшимся в ней мирным положением дел; разве не было это умиротворение прямым следствием того, что Суворова не успели снабдить заранее инструкциями и невольно предоставили ему полную свободу действий на первое, самое важное время? Или это видно только нам, отделенным от того времени почти столетием, а современникам могло казаться иначе, под слишком живым впечатлением двигавшейся панорамы событий и под влиянием сталкивающихся интересов и самолюбий? Должно быть так, но во всяком случае взгляд Безбородко, будучи в высших сферах преобладающим, не был единственным, и мы встречаем изредка в переписке высоко-стоящих людей эпохи если не полное признание заслуги Суворова, то за свидетельствование факта, что Польша находилась в совершенном повиновении и серьезных опасений не возбуждала. Но Суворову тем не менее приходилось защищать свою систему от неправильных толкований и нареканий. И вот он насмешливо указывает на возможность удержания Польши в наших руках, мирною и спокойною, при оккупации её всего 10,000 человек, как бы вызывая на опыт, а репрессивные побуждения клеймит сарказмом, говоря, что у Поляков взято уже все — пожитки, артиллерия, оружие, военные запасы и пр., а взамен того выдано несколько десятков тысяч паспортов. «Острый и значащий ответ», замечает лицо, приводящее его слова [7]. Несмотря на осторожное, но все-таки заметное осуждение его системы и особенно некоторых её частностей, Суворов, делая уступки где это было неизбежно, продолжал свой прежний путь, глубоко убежденный в его благодетельности. Аресты производились лишь единичные, на основании высочайшего повеления от 21 ноября 1794 года, Еще до появления Суворова на театре войны в роли первенствующего лица, было отправлено в Петербург несколько человек, в том числе взятые в плен Косцюшко, его секретарь Немцевич и адъютанты Гофман и Фишер; затем арестованы Суворовым Ваврженкий, Закржевский, Игнатий Потоцкий и Мостовский; теперь тоже самое сделано с разорившимся банкиром Капустасом, близким к Колонтаю лицом, а также с сапожником (из шляхтичей) Килинским, как с лицами, принимавшими в

революции выдающееся участие, причем последний кроме того был одною из главных пружин варшавской апрельской резни. Капустас и Килинский (арестованный в Познани и выданный Пруссаками) отправлены, подобно всем прежним, сначала к Румянцеву, а от него в Петербург. Затем, сколько известно из документов, никаких арестов Суворовым произведено не было; но и эти немногие, произведенные им против своей воли, он старался как бы возместить поступками милосердия и ходатайствами. Тотчас по взятии Варшавы он доносил, что, хотя президент верховного совета Закржевский куда-то скрылся (он уехал с Ваврженцким), но «по добродушию непременно явится или письменно отзовется.» Несколько позже, когда это сбылось, Суворов снова обращается к Румянцеву с добрым словом о Закржевском, указывая, что однажды, при народном волнении в Варшаве, он с опасностью своей жизни избавил от смерти нескольких благомыслящих магнатов. Одновременно с этим, Суворов поручает заступничеству своего начальника бывшего польского коменданта Варшавы Орловского, называя его «добрым и достойным человеком», который своими попечениями о русских пленных, заслужил общую их благодарность. Он обращается к киевскому коменданту с просьбою освободить под реверсы 4 офицеров, взятых в плен в разных сражениях и отправленных в Киев, объясняя, что «все они люди честные, ни в чем по делам невинные» и имеют в Польше свои семейства и деревни. Генерала Гелгуда, того самого, что не сразу согласился подписать реверс, и которому потом понадобилось ехать по делам в Петербург, Суворов рекомендует графу Платону Зубову и поручает в его покровительство. Около того же времени он просит Хвостова похлопотать об освобождении Грабовского, взятого в одном из сражений в плен и находящегося в Смоленске, а также поручает позаботиться об оказании пособия бедной семье одного польского чиновника. Не довольствуясь всем этим, он обращается к Платону Зубову за испрошением высочайшего повеления насчет принятия в русскую службу многих офицеров бывшей польской армии, «весьма достойных людей, не имеющих пропитания». Когда исполнение этого ходатайства затянулось, Суворов поручает Хвостову подвинуть дело, ибо «бесхлебные офицеры инсургентов здесь площадь бьют, весьма должно этим разрешением ускорить», говорит он: «за то они мною недовольны».

Было бы слишком продолжительно перечислять все просьбы, представления и ходатайства Суворова о Поляках разных общественных положений, их женах, семействах и проч. он сносился даже но этому предмету с русским посланником в Вене, а число писем его к Платону Зубову такого содержания поистине

громадно. Чтобы понять, как широко применял Суворов к делу свой принцип милосердия к безоружному неприятелю, стоит привести из донесения Румянцева цифры. Отпущено на свободу генералов, взятых на штурме Праги — 2, по покорении Варшавы 5, генерал-поручиков по покорении Варшавы 5, генерал-майоров 6 — тоже; штаб и обер-офицеров, взятых по покорении Варшавы и позже явившихся — 829, а взятые на штурме Праги — все, но точная цифра их неизвестна. Не лишнее будет также указать на сохранившееся письмо коменданта Орловского к пленному Косцюшке, где прямо свидетельствуется, что в обрушившейся на Польшу бедственной катастрофе, остается утешаться «тем великодушием и мягкостью, с которыми победитель относится, насколько может, к побежденным» [8]. По неимению достаточных данных, нет возможности представить в полноте и системе правительственную деятельность Суворова в завоеванном крае, но характер этой деятельности все-таки виден из вышеизложенного и будет подтвержден еще некоторыми фактами. Не то было у союзников, в особенности в Пруссии. Как только инсурекция в Великой Польше, по завоевании Суворовым Варшавы, прекратилась, и восстановился законный порядок, была учреждена специальная комиссия для разбора, суждения и наказания всех тех, кто принимал участие в восстании. В Пруссии и до того было много недовольных всякими тягостями ни рекрутскими наборами; теперь гнет этот увеличивался новым денежным сбором, которым были обложены все, участвовавшие прямо или косвенно в инсурекции. «Если бы Прусский король вздумал предпринять что либо против России», пишет Суворов Платону Зубову в половине 1795 года, когда война с Пруссией представлялась возможною: «то большая часть жителей употребит оружие в нашу пользу». В Австрии Поляки чувствовали себя менее угнетенными, но зато занятые области Польской республики Австрийцы обирали дотла и вымогали там все, что только могли вынудить. Румянцев доносит Екатерине в июне 1795 года, что Австрийцы решились наконец оставить часть занятых ими земель и начали двигаться; что при этом выправляют все ими назначенные налоги по самый день выхода и требуют обывательские фуры для своза всего им принадлежащего, даже соломы; что они забрали несколько рекрут и пустили в обращение нарочно чеканенные для Польши деньги, которых однако в уплату податей и налогов не принимают. Для большей наглядности, продолжим в параллель действия Суворова, В Польше не было привычки к бумажным деньгам; их принимали не охотно, им не доверяли, и на них стоял довольно низкий курс. При взятии Вавржецкого, таких денег было найдено в его

войсковой кассе 768,554 польских злотых; посоветовавшись с варшавским магистратом, Суворов приказал их истребить.

Затруднения по продовольствию войск были громадные; во время военных действий с ними еще справлялись кое-как, пользуясь широкими правами войны, но по взятии Варшавы, Суворов следуя принципам своей политики, отверг эти способы, как не подходящие. Препятствия к пропитанию войск сделались почти неодолимыми, так что Дерфельден и Ферзен, продолжавшие состоять по внутренней службе в подчинении у князя Репнина, нашли необходимым донести ему об этом. Затруднения были облегчены, как раньше сказано, открытием беспрепятственного ввоза из-за границы; но Суворов все-таки не признал удобным собирать продовольствие с земли под квитанции, а предоставил собственному попечению Поляков покупку фуража, для чего назначил за сено и овес довольно высокие цены, которые лишь в будущем году, при новом урожае, были уменьшены. Правда, мера эта была им принята и в интересах русской казны, так как иной способ заготовления потребовал бы, по его удостоверению, больших лишних затрат, но довольно и того, что в соображение входило и нежелание отягощать население. Однако неисправности в высшей военной администрации и истощение государственного казначейства были так велики, что войска Суворова решительно не получали денег, и предписанная им мера обращалась в нуль. Суворов приказал заимствовать нужные деньги из артельных, экономических и других полковых сумм, но и эти источники скоро стали иссякать. Тогда он велел удовлетворить часть потребности подрядом, но денег все не было, и подрядчики стали отказываться от своих обязательств, за неполучением задатков. Суворов все-таки не хотел прибегать к последнему ресурсу-сбору под квитанции с населения, донося, что край истощен, что за удовлетворением потребности войск, жители будут доведены до крайности, и впереди может быть голод. Он прибегнул к иному средству: не опасаясь нимало за спокойствие Польши, приказал 5 пехотным и 7 конным полкам готовиться к выступлению в Россию и просил у Румянцева на это разрешения. Только тогда подоспели деньги, хотя и в недостаточной цифре; войска запаслись фуражом до близкого по времени подножного корма, и Суворов отменил, в марте 1795 года, выступление части войск в Россию. Лишь спустя лето, при новом урожае, который оказался довольно обильным, он признал возможным сделать с обывателей местами сбор хлеба под квитанции, под присмотром выборных от населения комиссаров, уравнительно, с зачетом в подлежащие подати, на что и получил разрешение из Петербурга с повелением —

запретить вывоз за границу хлеба из мест, занимаемых войсками [9].

Направляя свои старания к облегчению населения Польши, для удержания края в спокойствии, Суворов не в меньшей мере обнаруживал заботливость по отношению к Польскому королю. Мы знаем, что он получил от Екатерины повеление — отправить Станислава-Августа в Гродно; но оно пришло в конце ноября 1794 года, когда уже был сделан шаг, противоречивший политическим видам Русского правительства больше, чем что-либо другое. Вероятно следуя последним советам Ваврженцкого, перед выездом его из Варшавы к войскам, Польский король написал Русской Императрице письмо. Сознаваясь, что судьба Польши в её руках, Станислав-Август говорит, что считает своею обязанностью обратиться к великодушию её Величества. Военная сила Польши уничтожена, но нация осталась, пока воля победительницы ее не уничтожит. Польша разорена надолго и начинает походить на пустыню; тысячи земледельцев бежали в соседние страны, туда же удалились многие землевладельцы; голод почти неминуем, особенно если продолжится оккупация других соседей Польши. Одна победительница, Русская Государыня, может все это прекратить, объявив свою волю насчет своего завоевания. Не рискуя пускаться в предположения по этому предмету, он, Станислав-Август, полагает однако же несомненным, что для Русской Императрицы имеет более прав быть принятым то решение, которое принесет ей наиболее истинной славы и сделает три миллиона людей наименее несчастными. Это письмо Польского короля было отправлено в Петербург с курьером 12 или 13 ноября; курьер повез также к графу Платону Зубову письмо Суворова следующего содержания: «король Польский в плачевном состоянии исторгает мои слезы; припадите к высочайшему престолу её Императорского Величества, испросите у премудрой Монархини Его Величеству милосердие; вашего сиятельства великодушие известно свету».

Суворов поторопился, не выждав инструкций. Его амнистия, обезоружение и проч. требовали спеха, ибо от них зависело спокойствие покоренного края и удержание его в наших руках; вопрос же о короле не имел такого значения. Своим предстательством Суворов нисколько не улучшил, а быть может ухудшил положение короля. В Петербурге заговорили об интригах Станислава-Августа, о том, что распоряжения и действия Суворова в Польше имеют основанием чувство соболезнования к королю, которого поэтому необходимо удалить и поставить вне влияния на ход дел. Письмо Станислава-Августа было принято очень дурно; письмо Суворова не произвело

никакого действия, как и следовало ожидать. Безбородко даже нашел первое «весьма непристойным». Может статься оно было, по видам политики, неуместным и неудобным, но только не непристойным, потому что ничто не может быть для государя пристойнее, как заступничество за свое государство и за своих подданных в критическое время. Екатерина отвечала Станиславу-Августу сухо, что дело будет решено, как требуют пользы и спокойствие государства; что же касается лично до него, короля, то ему будет предложен переезд в Гродно, необходимый для его собственной безопасности. где он и получит извещение о последующем. Написан вместе с тем рескрипт Суворову. В нем повелевается вручить королю ответное письмо; объясняется, что выезд короля из Варшавы нужен для облегчения народа, «лишенного многих способов к продовольствию», а также и потому, что особа короля там не безопасна, особенно если обстоятельства заставят передать Варшаву Пруссакам или предоставить собственному жребию. В силу этих причин, нельзя ожидать со стороны короля каких-либо затруднений к исполнению настоящего повеления; если же паче чаяния они окажутся, то Суворов обязывается ему объявить не обинуясь, что воля Екатерины неизменна, основана на праве завоевания, и король должен ей повиноваться. Перемещение короля в Гродно произвести немедленно; под видом почета приставить к нему одного из генерал-майоров, которого снабдить 8,000 червонцев и приказать ему оказывать королю всевозможное уважение; до сведения же короля довести, что попечение о приличном его содержании в Гродно возложено на князя Репнина [10].

Оба эти письма были отправлены к Суворову вместе с вышеприведенным высочайшим повелением от 21 ноября. Прежде чем они были получены, король, благодарный Суворову за его расположение и услуги, пожелал сделать ему 25 ноября визит. По приказанию Суворова, дежурным генералом был составлен церемониал приема; между прочим дежурные адъютанты должны были встретить короля у кареты, дежурный генерал у лестницы, а Суворов перед приемной. Но когда карета короля подъехала, Суворов без шляпы и шпаги бросился вниз, подскочил к карете и стал было принимать Станислава-Августа под руки, но спохватившись сказал: «да ведь по церемониалу мне не здесь следует быть; простите Ваше Величество, я так почитаю освященную особу вашу, что забылся». Вслед затем оставив короля, он взбежал по лестнице, занял свое место и принял короля как было назначено. Визит продолжался больше получаса, велась беседа в присутствии многих лиц, отъезд короля совершился по церемониалу же. Немного дней спустя получены

рескрипты Екатерины; для Станислава-Августа едва ли воля Екатерины была большою неожиданностью, но на Суворова решение Государыни должно было произвести действие ушата холодной воды. Приготовления к отъезду короля были окончены в продолжение месяца, и 27 декабря он выехал из Варшавы, не пожелав принять никаких соответственных случаю почестей. Провожая его, Суворов как ни крепился, при официальном исполнении воли Императрицы, не мог удержаться от слез. Без малого через год, Станислав-Август, уступая советам и настояниям Екатерины, отрекся от престола, получив от союзных дворов ежегодное содержание в 330,000 червонцев, а в начале 1798 года умер в Петербурге [11].

Постоянно проводимое Суворовым доброжелательство к Полякам, сделавшееся лозунгом его управления Польшей в продолжение целого года, конечно коренилось главным образом в его понятиях о характере политики, вызываемой обстоятельствами, а по отношению к Польскому королю, им руководило чувство благоговейного уважения к венценосной особе, усугубляемое состраданием к его несчастиям. II то и другое во всяком случае делает большую честь его сердцу, и для полноты его характеристики с этой стороны, будет уместно привести еще некоторые данные, хотя они не имели никакого соотношения к политике. Пользуясь тем, что покорение Польши сильно возвысило его значение и придало новый вес его предстательствам, Суворов старается осыпать благодеяниями чуть не всех, к нему прибегающих, обращаясь с просьбами всюду. Приведем два примера. За какую-то, должно быть крупную вину, четыре штаб-офицера, Денисовы, подлежали тяжелому наказанию; Екатерина снизошла на ходатайство Суворова и простила их. Во время пребывания в Херсоне, Суворов познакомился с женою разжалованного из капитанов 1-го ранга в матросы, Вальронта, был тронут её несчастным положением, приглашал ее к себе наравне с другими и танцевал с нею. Проступок Вальронта был из тяжких. Во время Шведской войны, адмирал Грейг, после сражения 6 июля 1788 года, отрешил некоторых офицеров от командования судами, в том числе Вальронта за то, что при начале боя он поворотил на другой галс, вышел самовольно из линии и затем в сражение не вступал. Суд приговорил его к разжалованию. Суворов не решился из Херсона просить о прощении, а обещал г-же Вальронт сделать это при первом удобном случае. Теперь это время подошло, Суворов обратился к Государыне с ходатайством чрез Платона Зубова, и Вальронт был прощен [12].

Всю зиму 1794-95 годов производилась перевозка разного

государственного имущества из Польши в Россию, преимущественно военного; одних артиллерийских орудий перевезено 340. Наиболее важным приобретением победителя была библиотека Залуского, в которой состояло, по разноречивым известиям, от 200 до 400,000 томов, вернее — больше 250,000. Она была учреждена в Варшаве графом Залуским для всеобщего употребления и имела в своем составе множество редких книг и рукописей. Она пользовалась большою известностью; папа Бенедикт XIV издал в 1752 году буллу, которою угрожал отлучением от церкви всем, кто из этой библиотеки что-либо похитит. На перевозку её и некоторых архивов было ассигновано 30,000 руб.; библиотека Залуского послужила основанием ньнешней Императорской публичной библиотеки в Петербурге.

Занятый и крупными, и мелкими делами по управлению завоеванным краем, Суворов не имел уже возможности сосредоточивать по прежнему свое внимание на войсках. В продолжение целого года он только однажды отлучился из Варшавы на короткое время, для объезда войск, и то счел нужным донести о своей отлучке в Петербург. Из сохранившихся отрывочных данных однако видно, что заботливость его о войсках была обычная, но отличалась преимущественно контрольным характером. Больше всего требовала его внимания продовольственная часть, особенно при неисправном снабжении войск деньгами; он не избавился впоследствии от больших неприятностей по этому предмету, когда по-видимому все было уже кончено. Затем находим приказания и напоминания о сохранении здоровья войск, об устройстве лазаретов, о мерах к уменьшению местами дезертирства, — все тоже, что бывало в Финляндии и Херсоне; только не встречается здесь таких резких как там аномалий, а следовательно и экстренных мер. Беспокойств и смут не было никаких; «весьма всюду тихо», пишет Суворов Хвостову: «но парит еще земля телесами». Происходили только мелкие недоразумения между войсками и обывателями, без сколько-нибудь заметных последствий, причем Суворов не давал поблажки виноватым и всякий беспорядок относил к нерадению или упущению командиров [14].

Объезд войск он произвел в августе 1795 года с быстротой замечательной. Под его начальством тогда находилось около 50 батальонов, 100 эскадронов и казачьих полков; войска эти были расположены в нескольких лагерях на довольно большом пространстве, в окрестностях Варшавы и в брестском воеводстве. На посещение и осмотр этих войск, Суворов употребил всего около 15 дней. Зато и смотры были своеобразны. Краткое известие об одном из них записано участником; по нем можно

составить понятие и об остальных. В Немирове, на Буге, стояло лагерем два конных и один пехотный полк; Суворов явился сюда около полудня, когда люди после обеда отдыхали. Он был верхом, в сопровождении трех лиц своего штаба и казака. Быстро подскакав к середине пехотного полка, он стал кликать знакомого ему барабанщика, старого, седого солдата, отличившегося в эту войну: «Яков Васильевич,...Кисляков!» Барабанщик выскочил, Суворов поздоровался с ним и велел бить тревогу. Привычные войска выстроились живо, Суворов тотчас же свернул их в колонны и повел по направлению к Бугу; тут пехота подвязала патронные сумы к шее и, подняв ружья над головами, направилась чрез реку в брод; конница тоже, причем кавалеристы помогали своими веревками-сеновязками малорослым из пехоты. Перейдя реку, войска шибким шагом пошли вперед. Верст пятнадцать выводил их Суворов, маневрируя и атакуя, потом свел в общее каре, держал речь, произносил выдержки из своего военного катехизиса, благодарил за ученье и сделал жестокий выговор командиру одного из кавалерийских полков, за шалости солдат на квартирах. Потом, едучи по фронту, он здоровался и заговаривал со знакомыми солдатами, иногда обращался к целым ротам, когда-либо отличившимся, и затем попрощавшись со всеми, быстро ускакал. Начальник конной бригады и командир пехотного полка провожали его верст двадцать [15].

Эти и подобные оригинальные приемы, составлявшие особенность Суворовской военной подготовки, зачастую сопровождались также исключительно Суворовским чудачеством и прихотливыми странностями, на которые он все меньше и меньше скупился. Из под причудливых его выходок выглядывал обыкновенно какой-нибудь военный принцип, но бывало и так, что маскирующая оболочка одна и бросалась в глаза. Однажды зимой, после смотра варшавскому гарнизону на городской площади, он держал перед войсками обычную речь. Мороз был сильный, все ежились, многие невольно обнаруживали разные признаки нетерпения. Заметив это, Суворов намеренно затянул свою речь и употребил на нее чуть не два часа. Почти все, от генерала до солдата, вернулись домой с сильными симптомами простуды, но сам Суворов, хотя был одет в одну белую канифасную куртку, чувствовал себя совершенно здоровым и не скрывал удовольствия, что несмотря на свои годы, послужил войскам образцом военной выносливости. В другой раз, в ту же зиму, ему представлялось большое число новопоступивших офицеров. Прием и угощение происходили в великолепных покоях примаса; несмотря на страшный мороз, окна были настежь, для того, как объяснял Суворов, чтобы выморозить из

новичков немогузнайство; подавались какие-то скверные щи и ветчина на конопляном масле, которые однако все ели, потому что ел Суворов и беспрестанно похваливал. В третий раз, во время объезда в августе лагерных сборов, он был встречен в Бресте дежурным по полку, молодым офицером родом из Ревеля. Почти дрожа от страха, подошел к нему дежурный и стал рапортовать; Суворов перебил его отрывистым вопросом: «какой суп готовили у вас, в Ревеле, в четверг?» — «Капустный», — отвечал смело дежурный. — «Â в пятницу?» — «Такой-то». — «А в субботу» и т. д. Молодой офицер изложил ему таким образом menu за целую неделю, после чего и был отпущен благополучно. И дело в том, что в низших чинах Суворов стаивал в Ревеле, заметил особенность тамошних домашних порядков — назначать заблаговременно на каждый день недели особый суп, и теперь, на этом не подходящем к службе предмете, вздумал испытать молодого оробевшего офицера. Многочисленные причуды Суворова разносились всюду и составляли собою богатую тему для пересудов и разных о нем отзывов. Один из государственных людей охарактеризовал его фельдмаршальство так: «чин по делам, а не по персоне»; другой писал, что «Суворов просвещается в Варшаве и не перестает блажить»; третьи пожимали плечами и снисходительно улыбались [16].

Все это было более или менее колко, но безвредно; враги и завистники Суворова не могли нанести ему с этой стороны сколько-нибудь существенного ущерба и даже просто неприятностей. Более доступным для атак недоброжелателей он был в некоторых других отношениях, например как мы уже видели, со стороны внутренней политики; военно-хозяйственная администрация тоже представляла собою слабое, доступное место. Если им не воспользовались, и оставили Суворова в покое, то вероятно потому, что оно было общим во всей русской армии. Впрочем злоупотребления по этой части в Польше, в некоторых отношениях выходили из общего уровня, благодаря военному, а потом — полувоенному положению, в котором находились там русские войска. Образовалась целая система злоупотреблений. Говорят даже, что домашнее хозяйство Суворова велось во время Польской войны, как будто без его ведома, на счет экстраординарной суммы. Это однако маловероятно, а совсем невероятно то, будто Суворов про это знал, делая вид, что не знает [17]. В разных местах было изложено не мало фактов, опровергающих возможность такого поступка; припомним хоть то, что при покупке имений, он никогда не соглашался уменьшать по документам платную сумму, ради уменьшения пошлины. А подобные приемы были во всеобщем ходу и не представляли

собою такой опасности, как подложная очистка расходов экстраординарной суммы. Кроме того, подобный подлог непременно обнаружился бы при производстве скандального «дела Вронского» (будет дальше), а между тем этого не было. Злоупотребления существовали, но несколько иного смысла, что видно из следующих примеров.

Нескольким казачьим частям, находившимся в составе одного и того же отряда, следовало получить от казны деньги на продовольствие, из особой комиссии, учрежденной в Варшаве. Послали туда офицера с доверенностью, но он вернулся с пустыми руками и осмеянный. Послали другого, порасторопнее и бойчее, и тот возвратился ни с чем. Нарядили третьего, Мигрина, снабдив его наставлением и полномочием — не скупиться на взятку, так как без нее никто ничего из комиссии не получал, особенно конные полки, которым приходилось денег сравнительно больше. Поехал третий, но в Варшаве прожил без толку несколько дней: его кормили одними отговорками да обещаниями. Он изменил способ действий и стал грозить, что пожалуется Суворову; тогда сделались сговорчивее, и один из членов объяснил ему, что требование составлено неправильно, что подлежит выдаче гораздо больше, и взялся сам составить новое. Посланный согласился; итог новой требовательной ведомости, правильной, оказался в 106,000 руб. ассигнациями. Из них в комиссии осталось 16,000 руб., в кармане у посланного 10,000 руб., а полки получили 80,000 к великому своему удовольствию, ибо на такую большую сумму никак не рассчитывали [18].

Однажды назначена была поверка экстраординарной суммы, находившейся в распоряжении главнокомандующего, комиссиею из трех штаб-офицеров. Один из состоявших при Суворове лиц, подполковник Мандрыкин, выдал комиссии все документы и сказал, что в 9 часов вечера поедет от Суворова курьер с отчетом, а потому поверка должна быть окончена раньше. Комиссия заявила, что так скоро поверить 50,000 червонцев, израсходованных по мелочам, едва ли она будет в состоянии; Мандрыкин с грозным видом отвечал, что таково приказание Суворова, и не советовал прибегать к отговоркам. Комиссия окончила поверку к назначенному сроку; все оказалось исправно, кроме двух ордеров на 150 червонцев, не подписанных Суворовым. Мандрыкин взял ордера, пошел к Суворову и вынес их подписанными. Дело было тотчас же кончено и оформлено, к великому удовольствию Мандрыкина, который вероятно имел причины опасаться противного. С радости он предложил свои услуги председателю комиссии, Энгельгардту. Тот поблагодарил,

сказав, что на этот раз ни в чем не нуждается. Тогда Мандрыкин вытащил и показал Энгельгардту рапорт Ферзена с просьбою о предании его, Энгельгардта, суду. Хотя по уверению Энгельгардта, приговора суда он решительно не боялся, будучи совершенно прав, но все-таки это обстоятельство представлялось крупною неприятностью, тем более, что по тогдашним правилам, нахождение офицера под судом во всяком случае вносилось в послужной список. Заметив на лице Энгельгардта огорчение и смущение, Мандрыкин сказал: «не беспокойтесь, граф никогда этого рапорта не увидит», и тут же разодрал бумагу Ферзена, Не успел Энгельгардт придти в себя, как Мандрыкин обратился к нему с новым вопросом: «вы ведь просились в отпуск; скоро ли хотите ехать?» Энгельгардт отвечал, что уехал бы тотчас по получении паспорта. «Погодите немного», сказал Мандрыкин, пошел к Суворову в кабинет, вынес оттуда подписанный отпускной билет и отдал Энгельгардту [19].

Не всегда лица Суворовского штаба своевольничали безнаказанно; обрушивалась и на них гроза, но это бывало редко, и еще реже гнев Суворова оставлял по себе глубокие следы. Доказательством тому может служить *дело Вронского*.

В Варшаву приехал, для свидания с братом, 2-го Чугуевского полка секунд-майор Вронский, втерся к Суворову в доверие и подал ему донос на злоупотребления по провиантской части. Суворов назначил следственную комиссию, в которую вошли генералы Исаев и Буксгевден, а также и Вронский. Последний, как видно, взял на себя всю черную работу и сделался действительным следователем; допрашивал прикосновенных лиц с угрозами и «пристрастием»; одного провиантского поручика продержал целую ночь в ретирадном месте и угрожал ему розгами. Злоупотребления оказались немалые: получение взяток под видом займов; продажа подрядчикам из провиантских магазинов муки, якобы купленной смотрителями на свой счет; покупка дорогих вещей у подрядчиков без отдачи денег; игра в банк и проч. Но цифра доноса не оправдалась: Вронский доносил о расхищении полумиллиона, а оказалось всего начету на 62,554 рубля. Следствием выяснено пятеро виновных: три провиантских чиновника и двое из штаба Суворова — Мандрыкин и Тищенко. Суворов велел их арестовать, посадить на хлеб и воду и взыскать с них всю сумму, которая по получении и была распределена на разные надобности, — на выдачи подрядчикам, на прогоны, в пособие бедным польским офицерам, разоренным революцией, и наконец Вронскому 15,166 руб., «яко доносителю», по закону.

Вронский этим не ограничился и, пользуясь приобретенною у Суворова доверенностью, стал мешаться в производство торгов,

объявленных тогда на большую поставку хлеба; входил в сношение с подрядчиками, грозил им, предлагал заменить подрядный способ заготовки комиссионерским. Тем временем арестованные, высидев на хлебе и воде несколько недель или месяцев, были освобождены Суворовым, и дней через 20 — 25 после того Вронскому приказано ехать в свой полк. По всей вероятности, этим исходом он был обязан между прочим Суворовскому штабу, но главным образом самому себе, так как наглость и бесстыдство его превосходили всякую меру и совершенно отрицали его якобы честные побуждения. В начале Вронский проживал в Варшаве без всяких средств, перехватывая где только можно по червонцу и по два; а втершись в доверенность к Суворову, получив назначение в следственную комиссию, а потом и участие в производстве торгов, он стал брать направо и налево, нанял дом по 100 червонцев в месяц, обзавелся экипажем, большим штатом домашней прислуги и выездных верховых, держал любовницу, давал богатые обеды. Суворов, начинавший понимать истину, запретил ему вмешиваться в производство торгов. Вронский как-то вздумал самовольно выехать из Варшавы; его остановили на пражском мосту и, по жалобе подрядчика-еврея, у которого он взял дорогие часы и не заплатил денег, — отобрали карету и лошадей. Вскоре после того он был, как сказано, выпровожен по приказанию Суворова из Варшавы в свой полк [20].

Все участники этого грязного дела выступают в очень неприглядном виде; сам Суворов, чистый от всякого подозрения в корыстных злоупотреблениях, не свободен от упрека в других отношениях, так как поручил исследование злоупотреблений самому доносчику; не предал виновных суду на том основании, что они понесли наказания, и ущерб казны пополнен; самовольно дал назначение взысканным деньгам; допустил вмешательство Вронского в производство торгов, тогда как для этого была назначена особая комиссия из нескольких генералов. Он и впоследствии продолжал не придавать делу Вронского серьезного значения, будучи убежден, что главною всему причиной была карточная игра, завлекшая молодых людей дальше, чем они сами хотели. Впрочем он сообщил обо всем этом происшествии Зубову, а также донес Императрице, но как о деле маловажном. По понятиям административных сфер того времени, высших и низших, присмотревшихся к постоянным злоупотреблениям и воспитавшихся на своеволии, варшавское происшествие действительно представлялось делом мелким и заурядным, а потому решение Суворова было безмолвно признано концом венчающим. Но по странному самомнению, Вронский считал себя

несправедливо обнесенным и спустя несколько месяцев снова возбудил дело; старые грехи вышли на свет при новой обстановке, и на долю Суворова достались новые неприятности [21].

Очень большую долю дурного, замечаемого в Суворове, следует отнести к худому выбору им приближенных лиц. Это были люди или недалекие, или необразованные, грубые и значительною долею не совсем чистые. Мы видели образчик в Мандрыкине, которому не доставало ума или такта не рисоваться перед посторонними своею силою и значением, а хранить это про себя. Таковы или в таком же роде были и другие, не без исключений конечно, но исключения только подтверждают общее правило. Уже в Турецкую войну это бросалось в глаза, а в Польскую и того больше. За то Суворов обращался с ними без церемоний; тех кто помоложе, кликал «мальчик»; Мандрыкина звал просто *Андрыка* и никого из них не вывел далеко в люди, кроме своих племянников, которые впрочем были людьми другой категории, да и не состояли при нем постоянно. В этом же кружке ежедневных собеседников, приспешников и сотрапезников, он не стеснялся ни причудливыми выходками, ни проявлениями дурных сторон своего характера; все выносилось, лишь бы не лишиться его милостей и своего положения, на что люди с самолюбием и развитым благородным чувством были бы не способны. Контроль над ними был так невелик, что можно сказать сам Суворов как будто поощрял их к дурным поступкам. Он например сам не распечатывал конвертов, большею частью не читал бумаг, а выслушивал, даже зачастую не читал, а выслушивал подносимое к его подписи. Оттого в деле Вронского читаем, что один из офицеров Суворовского штаба добился прусского ордена, дав подписать Суворову бумагу, в которую себя включил, а при чтении пропустил. Другой офицер вытащил на смотру из кармана Суворова жалобу, только что поданную посторонним лицом. Всего этого могло не быть, вероятно и не было, так как следствием не подтвердилось; но одно указание на подобные случаи свидетельствует, что в них не признавалось ничего невозможного, нелепого. И действительно, в самой главной квартире, так сказать под носом Суворова, делалось иногда то, что прямо противоречило его воле. В числе его адъютантов находился ротмистр Тищенко, человек грубый, невежественный, плохо грамотный, исполнявший преимущественно экзекуторские и полицейские обязанности. Когда к Суворову, конечно по его собственному выбору, был назначен постоянный вестовой из дворян, Столыпин, то Тищенко, вероятно из чувства ревности, не хотел его представить Суворову,

потом старался не допускать его в присутствие фельдмаршала и, перед отъездом Суворова в Петербург, даже скрыл от Столыпина время отъезда, тогда как именно при поездке он и был нужен Суворову. Чего же после этого могли от Тищенки ждать посторонние? [22]

Говорят, будто Суворов объяснял дурной выбор своих приближенных тем соображением, что честные люди слишком редки, а потому надо привыкать обходиться без них. Это едва ли верно, потому что Суворов не был мизантропом, а если бы приведенные слова действительно принадлежали ему, то все таки они его не извиняют, так как за людьми сомнительной честности требуется деятельный надзор. Да наконец они, его приближенные, погрешали не против одной честности; что же его заставляло смотреть сквозь пальцы на другие их недостатки? Дело в том, что он сам невольно отваживал от себя людей лучших; выходки его иногда прямо задевали самолюбие, даже оскорбляли и нарушали самые элементарные приличия. Один штаб-офицер, приглашенный Суворовым к обеду, Энгельгардт, заметил, что сержант гвардии, разносивший водку, наливал ее не иначе, как строго держась старшинства чинов и в чинах. Энгельгардт усмехнулся и за свою невежливость немедленно поплатился: Суворов выскочил из-за стола, закричал «воняет» и убежал в другую комнату. Открыли окна, но это не помогло; не знали что делать. «За столом вонючка», пояснил Суворов. Тогда адъютант подошел к Энгельгардту и, выразив предположение, что у него грязные сапоги, просил его выйти из-за стола, вычистить их и потом вернуться. Энгельгардт встал и ушел домой. Как ни мелок этот случай, но он достаточно характерен; такого же свойства бывали конечно и крупные [19].

Тем временем, пока Суворов распоряжался в завоеванном крае, проявляя наряду с мелкими недостатками крупные достоинства, дипломатия работала на счет дальнейшей судьбы Польши. Задача её была сложная и трудная, ибо требовалось согласить почти несогласимое. Суждения об этом предмете начались давно, когда война только что разгоралась. Английский и австрийский посланники при Петербургском дворе говорили, что по утушении революции, следует дозволить Полякам жить и устраиваться как хотят; из перлюстрации секретной переписки Берлинского кабинета усматривалось, что он помышляет о новом разделе; в Петербургском кабинете не сразу установилось категорическое решение, но Безбородко склонялся больше к разделу. К половине года мнение это стало созревать и потом утвердилось окончательно; де литься предположено было трем державам, но Пруссия желала, чтобы Россия высказалась первою.

Когда приступили затем к разъяснению оснований дележа, то тут и начались трудности, которые, что дальше, то вырастали больше, потому что Пруссия собиралась мириться с Францией; стало быть изменяла свои взгляды, а Австрия просила подмоги против Французов и предпочитала отложить решение польского вопроса до конца французской войны. Победы Суворова и взятие Варшавы поощрили Россию возвысить свой голос, настаивая на принятии проекта раздела по русскому плану, и Литовский край, который по этому плану предполагалось присоединить к России, уже получал новое устройство под управлением князя Репнина, с концу 1794 года негоцияция с Венским двором была успешно окончена, но с Пруссией соглашение не достигнуто; приходилось, по выражению Безбородки, «показать ей не только деятельность и твердость, но даже и зубы». Положено было заключить между Австрией и Россией союз против Пруссии, продолжая убеждать Пруссию к сговорчивости, а Австрию к уступчивости, так как соглашение не достигалось из-за будущей австро-прусской границы. Но дело все таки не очень спорилось и даже угрожало дурным поворотом, потому что Прусский король решительно шел к миру с Францией, а тогда по мнению Безбородко следовало ожидать, что Пруссия захочет придержаться последнего раздела и предложит Полякам составить конфедерацию под её защитой.

Опасения его скоро начали как будто сбываться. В апреле 1795 года Пруссия заключила с Францией мир, а в мае и договор, который в августе был в Берлине утвержден. Суворову было сообщено о приготовлениях к войне, а несколько погодя, в июне, прислан рескрипт, начинавшийся словами: «вероломство Берлинского двора, заключившего мир с Францией, заставляет нас быть на стороже, ибо участь Польши не окончена, и наши предложения на этот счет не приняты». Поэтому объявляется новое распределение войск и главного начальствования над ними: войска в Варшаве, окрестностях и в брестском воеводстве подчинены Суворову; в Литве (кроме брестского воеводства) и Лифляндии — князю Репнину; в губерниях волынской, подольской, врацлавской, вознесенской, екатеринославской и Малороссии — Румянцеву. Все три армии приблизительно одной силы. Суворову приказано подвозить заготовленный провиант и покупать вновь; учредить запасный магазин, определить величину подвижного магазина; иметь дружеские отношения к австрийским войскам, но не подавать повода к остуде и с прусскими; разведывать, что в прусских областях будет происходить и соображать с Румянцевым и Репниным общие мероприятия.

Эти приготовления не оставались в тайне и, в связи с

усилиями дипломатии, привели к желаемому исходу. В октябре 1795 года получено согласие Прусского короля на разные частности плана и на некоторые уступки в пользу Австрии из новых земельных приобретений, и в том же месяце состоялось общее соглашение. Впрочем, формальная сторона дела была закончена еще не скоро, и конвенция по окончательному разделу Польши заключена между тремя державами после кончины Екатерины, в январе 1797 года [23].

Приготовляя боевую и хозяйственную часть армии на случай войны с Пруссией, Суворов мало однако же верил возможности этой войны и чуть ли не более интересовался сделанным Австрией предложением о совокупном действии против Французов под его, Суворова, начальством. Заводили речь о 40-50,000-ном корпусе, с содержанием на счет Австрии; у Венского двора зародился даже проект о сформировании 100,000-ной армии из Русских, Австрийцев, Пруссаков и французских эмигрантов, для отправки на Рейн под предводительством Суворова. Заботясь о скорейшем решении польского вопроса, Петербургский двор не отрицал прямо такой комбинации, а старался ласкать Австрию надеждой, не говоря ничего положительного. Суворов не раз списывался по этому предмету с Хвостовым, поручая ему следить за ходом дела, и приказал иметь в готовности 12,000 червонцев. Он даже сделал прибавку к своему военному катехизису: «о ветреных, безбожных Французах, которые дерутся колоннами, и которых надо бить колоннами же». Почти одновременно с существованием этих предположений, зародился слух о новой войне с Турцией, неизвестно откуда взявшийся и не имевший сколько-нибудь серьезных оснований. Сплетня однако оформилась настолько, что назначала главных начальников, обходя Суворова; это не замедлило его уколоть, и он вспомнил про представленный им в 1793 году план войны с Турцией. «Зубов — верховный начальник, главные генералы Волконский и Дерфельден», пишет он Рибасу: «да здравствует мой план... как мы глупы!» Однако и Турецкая война, подобно Французской, оказалась пуфом.

Кроме этих воображаемых поводов к неудовольствиям, у Суворова были и другие, если не совсем мнимые, то все-таки мелкие, что однако не мешало ему воспринимать их. Румянцев обращается к нему как к равному, но военная коллегия не удостаивает его прямыми сношениями — повод к неудовольствию. В какой то газете напечатано о нем что то неверно, не сходно с сенатским указом — другой повод. Патент на чин фельдмаршала не совсем сходится с патентом, данным Потемкину; в первом сказано: «за оказанную к службе нашей

ревность и прилежность», во втором; «по отличным и знаменитым заслугам»; в первом: «как верному и доброму офицеру надлежит», во втором: «как верному военачальнику нашему надлежит»; в Потемкинским патенте была живописная арматура, портрет Екатерины и проч., а у Суворова ничего подобного. Новая причина указывать на несправедливость и быть недовольным [24].

Но все эти мелочи были только аксессуарами, суть заключалась не в них: Суворов помнил, что обещание его, данное именем Императрицы инсургентам, не было исполнено с буквальной точностью. Он не мог ни оспаривать отданных ему приказаний, ни делать каких либо протестующих заявлений; дело было слишком ясное, и если предписывались распоряжения, противоречившие его, Суворова, решению, то оставалось беспрекословно им подчиниться, он так и поступил, в надежде, что арестованные вскоре будут освобождены. Но прошло три месяца, а они содержались под арестом. Суворов удержался от вмешательства в правительственные распоряжения, но излил свое неудовольствие в письме к Хвостову, поручив своему родственнику позаботиться об этом предмете косвенными, неофициальными путями. «Граф Игнатий Потоцкий, Мостовский, Закржевский, банкир Капустас и башмачник Килинский, в угодность двора, в Петербурге изрядно или хорошо содержатся, но мой пароль тем не содержан; в нем (обещано) забытие прежнего, и они (должны быть) вольны. Стыдно России их бояться, ниже остерегаться; Польша обезоружена, пора им домой, и не в коня корм. Вашему благоразумию это внушение весьма рекомендую; мне совестно, хоть без торопливости. Граф Игнатий врал, и раздражение им обстоятельств должно презреть». Вероятно по этому же предмету, с намеком на предстоящий дележ Польши, он сделал в Варшаве, публично, следующее темное, аллегорическое заявление. Когда его спросили, можно ли ожидать благих для Польши последствий от мира Пруссии с Францией, он отвечал: «могло бы быть; но внутренние замешательства наиболее меня беспокоят; я не могу более того сносить и принужден буду наконец принять некоторые меры». Повторив это несколько раз к общему недоумению, он прибавил: «так как крысы, мыши и кошки находятся в беспрестанном движении в сем доме и ни на минуту не дают мне покоя, почему я намереваюсь, как наискорее, переменить квартиру». Ему действительно было мало покоя; его осаждали просьбами по всевозможным предметам и со всех сторон; в числе ходатайств попадалось немало таких, которые он и рад бы был удовлетворить, но не мог, вследствие взглядов правительства. Так по крайней мере случилось однажды, когда к нему прибыла

депутация по подобного рода делу. Осведомившись о содержании просьбы, Суворов вышел к депутации.; стал посреди приемной, поднял руку вверх и прыгнул как можно выше, сказав: «Императрица вот какая большая»; затем присел к земле на корточки, пояснив: «а Суворов вот какой маленький», поклонился и выбежал из комнаты. И депутаты поняли и ушли [26].

Ничего нет мудреного, если все эти неприятности, и крупные и мелкие, и действительные и мнимые, в общем итоге утомляли его и раздражали. Этому содействовало и дурное состояние здоровья, по крайней мере в начале. После трудной кампании он очень утомился, «еле жив», как писал он своим родственникам. Спустя некоторое время он жаловался Румянцеву, что здоровьем ослабел, что «надо временно от шума городского удалиться в малое местечко, как скоро дела перемежатся». Но дела не перемежались, и это не одно физическое, но и нравственное утомление продолжалось. «Я угрюм и молчалив, заперт в четырех стенах и скучаю, как подьячий», пишет он позже одному из своих приятелей: «лоб у меня в морщинах, я нездоров». Правда, было и противоядие: «здесь я имею утешение видеть, что за мою откровенность платят мне везде дружбой и верностью»; но от этого фон картины не изменялся. Суворов стал находить «жалкую сухость в своем апофеозе» и упоминать про необходимость «спасти свою честь на склоне дней [26].

Короче говоря, происходило с ним тоже самое, что бывало раньше и что будет повторяться позже. В сущности ход дел в Польше оставался таким, какой с самого начала был дан им же, Суворовым, лишь за некоторыми частными изъятиями; самое крупное из них состояло в арестовании пяти лиц из главных деятелей революции. Подчиненное положение Суворова снимало лично с него нарекание за такое распоряжение; всякому было известно, что оно шло из Петербурга. Да и в Петербурге вовсе не имели намерения лишать их навсегда свободы; Безбородко говорит положительно, что «по окончании дел, положено отпустить их на свет и дать полную всем амнистию». Правда, термин этот оказался очень длинным, без малого два года, так как и эти лица, и пленный Косцюшко с сотоварищами, получили свободу лишь при Императоре Павле, тотчас по его воцарении; но причиною тому могли быть обстоятельства, остающиеся нам неизвестными. Судя по приемам надзора, в лишении означенных лиц свободы не было мести, а только опасение новой смуты. Содержались они хорошо; только двое, Капустас и Килинский, вероятно вследствие их сравнительно низкого общественного положения, находились в крепости; прочие содержались там лишь в начале, да и то не все, и вскоре перемещены в нанятые для них-

198 частные дома. Наиболее опасным из всех считался конечно Косцюшко; между тем находясь в крепости, он занимал две комнаты в комендантском доме и мог прогуливаться, под наблюдением двух офицеров, в комендантском саду, а потом перемещен в частный дом с садом. Арестованные не могли жаловаться на недостаток к ним внимания; из отчетов видно, что некоторым из них посылались газеты, предлагались книги; в случае болезни оказывалось немедленное медицинское пособие, даже собирались консилиумы. На стол их тоже не скупились; на Косцюшку например. израсходовано в 8 дней 188 руб., хотя он ел очень мало и ничего не требовал. Присмотр был строгий, но не в смысле ненужного стеснения дома, а только относительно отлучек из дому, в публику. Один из приставов например, был сменен за то, что вдвоем с арестантом (оба были молодые люди) отправился тайком ночью в маскарад, причем оба были костюмированы. Вообще материальная тягость заключения ограничивалась пределами необходимости [27].

Арест и заключение пленного Косцюшки с секретарем и двумя адъютантами, а также остальных шестерых, взятых при Суворове, — кроме опасения за продолжение смуты, были вызваны желанием открыть связь польской революции с французскою, главные её пружины вообще и варшавских апрельских событий в частности. Таково направление деланных арестованным допросов. Из ответов видно, что между двумя революциями не было ничего общего. Польская была порождена событиями последнего 25-тилетия; ближайшая её цель заключалась в восстановлении конституции 3 мая. Варшавская резня родилась оттуда же, и так как была следствием взрыва страстей, то и отличалась жестокостью и зверством. Инсурекционная Польша не имела своих представителей при иностранных дворах; она была совершенно изолирована; правительство её не состояло в сношениях с Францией, что служило постоянной темой жалоб ультрареволюционной партии. Ниспровержение религии, дворянства, духовенства не только не входило в программу революционного правительства, организованного Косцюшкой, но прямо ей противоречило; террор, царствовавший тогда во Франции, наводил на Косцюшку ужас и отвращение. Инсурекционный акт гарантировал права собственности каждого; универсалы Косцюшки отнюдь не уничтожали помещичьих привилегий, а только уменьшали на время войны размер крестьянских повинностей. Верховный народный совет, учрежденный Косцюшкой, состоял исключительно из дворян; мещане были только заместителями первых, в случае их отсутствия, и имели голос не решающий, а

совещательный. Это было даже шагом назад, потому что вплоть до 28 мая 1794 года, в Варшаве существовал временной совет наполовину из дворян, наполовину из мещан, с одинаковым для всех правом голоса; преобразование этого совета Косцюшкой произвело в народе большое неудовольствие. Никаких французско-революционных образцов польское инсурекционное правительство не принимало и на демократические тенденции смотрело как на наиболее опасные. «Мы и без того могли легко склонить на нашу сторону мещанина и крестьянина», говорится в показании одного из коноводов революции: «они в просвещении весьма отстали; облегчить несколько их жребий было совершенно достаточно, и не представлялось никакой нужды давать им полную вольность и равенство, которых они не могут понимать, а тем паче благоразумно ими пользоваться».

Таким образом «шляхетская» Польша осталась и в революции не тронутой; её задача не имела ничего однородного с Францией, перегоравшей в перевороте, который изменял коренным образом все, что существовало прежде, Этому выводу как будто противоречат факты: народные волнения с самосудом, якобинский клуб, громогласно выражаемые сочувствия к Франции и к ходу её внутренних дел, нахождение во главе правительства таких людей, как Колонтай, а в армии таких, как Ясинский или Зайончек. Но все это только доказывает, что были в Польше и последователи французских революционных принципов и приемов; под их-то влиянием и происходили по временам уличные беспорядки и даже злодейства.

Но подобные взрывы сдерживались и наказывались правительством; так за уличный мятеж, когда чернь перевешала несколько человек за принадлежность их к русской партии, Косцюшко велел арестовать и заковать в кандалы 400 человек и из них семерых повесил. Но все-таки анархические эпизоды в Варшаве напоминали ужасы французской революции; они устрашали соседние правительства и в их глазах окрашивали польскую инсурекцию в не принадлежавший ей цвет. Таким образом преувеличенное и неверное понятие о свойстве и целях польской революции и затеянной ею войны сложилось, обобщилось и без труда поддерживалось. Этому содействовала между прочим внезапность взрыва, смелость, с которою он был произведен, и быстрое распространение революции по краю. В признаках этих усматривали обдуманность, зрелое приготовление, хорошо организованный и доведенный до конца заговор. На самом деле было противуположное. Заговор существовал, но далеко не обнимал всех польских областей, и многие выдающиеся лица отказались в нем принять участие.

Взрыв произошел раньше, чем вожаки желали и рассчитывали, когда очень многое еще не было готово; вызван он был, как объяснено в своем месте, Мадалинским, не поддержать которого Косцюшко считал делом не честным и не патриотическим. Предполагалось поступать совсем иначе, именно выждать открытия войны России с Турцией, когда потребуется вывести из Польши часть русских войск. Таким образом начало революции и войны было необдуманное и неподготовленное; это наложило свою печать и на все последующее. Одни действовали очертя голову, скользя по наклонной плоскости, без возможности остановиться; другие увлекались самообольщением и, по удачному выражению Косцюшкина секретаря Немцевича: «принимали призраки за надежды, а надежды за действительность».

Суворов разделял общее заблуждение на счет происхождения и зависимости польской революции от французской, называл ее *карманьолкой*, а инсургентов *якобинами*. Но по взятии Варшавы, он должен был в этом разубедиться.

Прямого в том признания нет в его письмах и бумагах, но оно выразилось в его действиях. Он стал заботиться только о скорейшем и общем обезоружении, считая его концом венчающим; далее по его мнению ничего не требовалось, конечно кроме упразднения революционной организации. И Суворов оказался совершенно прав, потому что к подобному результату не могло привести одно обезоружение, если бы польская революция была прологом переворота такой глубины и значения, как французская. [28]

Прошел год мирной деятельности Суворова в завоеванной Польше. К акту окончательного её раздела, подписанному Россией и Австрией, присоединилась наконец и Пруссия. Предстояло выводить войска Суворова из занятой ими территории, но передать Варшаву Пруссии положено было не прежде, как Пруссаки сдадут Австрийцам Краков и другие отходящие к Австрии по акту земли, остававшиеся еще в прусских руках. Сдачу Варшавы и вывод русских войск в пределы империи, приказано было Суворову передать Дерфельдену, а самому ехать в Петербург для получения нового назначения, на что и отпущено ему 10,000 рублей. В рескрипте по этому предмету от 17 октября 1795 года, Екатерина благодарила его за все им сделанное, за искусство, деятельность и усердие; говорила, что «познает цену его службы» и заявляла свою волю на счет это дальнейшего служения: «вы будете в других употреблениях, вам свойственных, или на иных пределах империи, где мы в спокойствии не столь удостоверены». Суворов принялся заканчивать разные дела, на

что потребовалось немало времени, сдал войска Дерфельдену и наконец из Варшавы выехал [29].

Прошлое уходило вдаль, уступая место будущему. Три с половиною года спустя, Суворов писал из Италии русскому послу в Вене, Разумовскому: «не мщением, а великодушием покорена Польша; так удобно покорить и Францию». Предшествовавшие страницы свидетельствуют, что Суворов имел право сказать эти слова. Многие думают иначе. Одни говорят, что по взятии Варшавы, Суворов приказал отрубить кисти рук у 6000 польских шляхтичей; другие утверждают, что он не сморгнув глазом, перевешал 12,000 Поляков. Знаменитый историк французской революции, руководствуясь такого рода «историческими» данными, характеризует Суворова коротко: «знаменитый своими победами в Турции и жестокостями в Польше» [30].

Глава XX. Суворов и его дочь; 1784-1795.

Дочь Суворова в Смольном монастыре; переписка с нею отца. — Окончание курса; она помещена во дворце; Суворов берет ее к себе. — Удвоенные заботы отца по отъезде в Финляндию; его наставления дочери, Хвостову и другим; духовное завещание. — Появление женихов. — Перемещение Суворова в Херсон; он чувствует себя связанным дочерью; затруднения с Хвостовым. — Новые женихи; предпочтение, отдаваемое Суворовым одному из них; несогласие с этим Хвостова; переписка их; письмо Суворова к Платону Зубову; неудовлетворительный ответ. — Внезапный новый жених—граф Н. Зубов; объяснение этого обстоятельства. — Степень участия дочери в выборе жениха; опровержение неверных сведений. — Обручение дочери Суворова и вступление её в брак.

Расставшись с женой в 1784 году, Суворов, как мы знаем, поместил свою 9-летнюю дочь в Петербурге, в надежные руки Софьи Ивановны де Лафон, начальницы Смольного монастыря. Вслед затем началась его переписка с любимой Наташей, но эти первые письма не сохранились; потом он находился на службе в Петербурге, следовательно видался с дочерью лично и лишь в конце 1786 года разлучился с нею на довольно долгий срок. с этому времени, и именно к 1787 году, относится начало дошедшей до нас переписки Суворова с *Суворочкой*, переписки, так хорошо очерчивающей отца и сделавшей дочь известностью. Горячая привязанность Суворова к своему ребенку послужила его

панегиристам темою для разыгрывания разных вариаций, в которых истина перемешана с вымыслом. Для примера укажем на одно принятое всеми на веру характерное сведение, будто разойдясь с женой, Суворов все-таки навещал по временам свой дом, чтобы взглянуть на спящую дочь, благословить ее, поцеловать и затем тотчас же уехать, не повидавшись с женой. Этого не могло быть потому, что расставшись с женой, он взял от нее и дочь.

Известиями о своих победах Суворов постоянно делился с дочерью, беседовал с нею вскользь и о других предметах, подделываясь, даже слишком, к уровню ребяческого понимания Наташи. В своих не длинных письмах он любил рассыпать нравоучительные сентенции и разного рода наставления; о жене, Наташиной матери, не упоминал никогда. После кинбурнской победы, оправившись от ран, он пишет: «Будь благочестива, благонравна, почитай свою матушку, Софью Ивановну, или она тебе выдерет уши да посадит за сухарик с водицей..... У нас драки были сильнее, нежели вы деретесь за волосы; а как вправду потанцовали, — в боку пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка, да подо мною лошади мордочку отстрелили; насилу часов через восемь отпустили с театра в камеру... Как же весело на Черном море, на лимане: везде поют лебеди, утки, кулики, по полям жаворонки, синички, лисички, а в воде стерляди, осетры, — пропасть!» В следующем письме его читаем: «Милая моя Суворочка, письмо твое получил, ты меня так утешила, что я по обычаю моему от утехи заплакал. Кто-то тебя, мой друг, учит такому красному слогу... Куда бы я, матушка, посмотрел теперь тебя в белом платье! Как-то ты растешь? Как увидимся, не забудь мне рассказать какую-нибудь приятную историю о твоих великих мужах древности. Поклонись от меня сестрицам (монастыркам); Божие благословение с тобою». с исторической теме, которую как видно затрагивала Суворочка, писавшая вообще складно (несомненно под диктовку), Суворов возвращается и в следующих письмах. «Рад я с тобою говорить о старых и новых героях; лишь научи меня, чтоб я им последовал. Ай-да Суворочка, здравствуй душа моя в белом платье (в старшем классе), носи на здоровье, рости велика, Уж теперь-то, Наташа, какой у них (Турок) по ночам вой: собачки воют волками, коровы охают, волки блеют, козы ревут... Они (Турки) так около нас, очень много, на таких превеликих лодках, шесты большие к облакам, полотны на них на версту. На иной лодке их больше, чем у вас во всем Смольном мух-красненькие, зелененькие, синенькие, серенькие; ружья у них такие большие, как камера, где ты спишь с сестрицами». Продолжая угощать свою Суворочку или сестрицу, как он ее

называл, подобными детскими гиперболамп и описаниями, Суворов в том же 1788 году ей сообщает: «В Ильин и на другой день мы были в refectoire с Турками; ай-да ох, как же мы подчивались! Пграли, бросали свинцовым большим горохом да железными кеглями в твою голову величины; у нас были такие длинные булавки да ножницы кривые и прямые, рука не попадайся, тотчас отрежут, хоть и голову... Кончилось иллюмишацией, фейерверком... С festin Турки ушли ой далеко, Богу молиться по своему и только; больше нет ничего. Прости душа моя, Христос Спаситель с тобою» [1].

В таком роде продолжал Суворов переписку с дочерью всю вторую Турецкую войну, то по-русски, то по-французски, изредка писал и по-немецки. Он рекомендует ей любить С И. де Лафон как мать, напоминает про правила нравственности, про долг послушания, про благочестие; не вдаваясь в подробности, пишет про результаты своих побед, высчитывая добытые трофеи, урон неприятеля, свои потери. Посылая ей письмо с поля сражения при Рымнике, он начинает его так: «в этот самый день победил я Огинского». Иногда в незамысловатых посланиях его к ребенку-дочери, проскакивают для внимательного глаза мелкие блики, освещающие исторически описываемый предмет. Письма его к Суворочке приобретают известность в Петербурге, их иногда цитирует сама Императрица, После рымникской победы пожалованный в графы и Русской, и Священной Римской империи, Суворов с гордостью начинает свое письмо словами: «comtesse de deux empires», говорит, что чуть не умер от радости, будучи осыпан милостями Императрицы — «скажи Софье Ивановне и сестрицам, у меня горячка в мозгу, да кто и выдержит!... Вот каков твой папенька за доброе сердце». Но настоящим перлом этих писем следует признать то горячее, нежное чувство отца к дочери, которое сквозит чуть не в каждой строке и прорывается в безыскусственных, трогательных выражениях. «Мне очень тошно' я уж от тебя и не помню когда писем не видал. Мне теперь досуг, я бы их читать стал. Знаешь, что ты мне мила; полетел бы в Смольный на тебя посмотреть, да крыльев нет. Куды право какая, еще тебя ждать 16 месяцев». Ровно через месяц он ей пишет: «Бог даст, как пройдет 15 месяцев, то ты поедешь домой, а мне будет очень весело. Через год я буду эти дни по арифметике считать... Дела наши приостановились, иначе я не читал бы твоих писем, ибо они бы мне помешали, ради моей нежности к тебе» [2].

Время это пролетело, и Суворов, после недружелюбного объяснения с Потемкиным в Яссах о награде за взятие Измаила, приехал в Петербург, не задолго до выпуска дочери из Смольного

монастыря. Мы видели, что это время было тяжелым для Суворова, вследствие несбывшихся ожиданий и надежд — даже такое радостное событие, как окончание дочерью курса и возвращение её под родительский кров, не на много умерило горечь тогдашнего его положения. С другой стороны оно породило новые тревоги и беспокойства. Выпущенная из института 3 марта и пожалованная впоследствии во фрейлины, дочь Суворова была помещена сначала во дворце, около Императрицы. Этот знак особой милости и внимания Екатерины к её знаменитому полководцу, произвел на него совсем не то действие, на которое рассчитывали. Под разными предлогами, которые сводились к желанию отца видеть около себя дочь после давней с ней разлуки, Наташа через некоторое время перешла в родительский дом. Государыня конечно не стала настаивать на своем, уступила, но этот поступок Суворова не мог не затронуть её щекотливость, тем более, что заде вал вообще придворные круги, выказывая к ним пренебрежение. За соответственными внушениями не стало дело, и многочисленные недоброжелатели Суворова постарались придать его поступку самое невыгодное освещение. Конечно это не навлекло на него немилости, но неприятное впечатление остаюсь несомненно [3].

Что же заставило Суворова поступать так нерасчетливо и бестактно, наперекор своим собственным интересам? Сильная антипатия ко всему *придворному*, разжигаемая опасениями на счет дочери. По своей натуре, по военно-солдатскому воспитанию, по вкусам, по внешним качествам, вообще по всему, — Суворов не был человеком придворным или даже способным приспособиться к требованиям придворного быта. Сначала, в молодости и средних летах, он должен был только чувствовать себя там не на месте; потом, когда крупные заслуги и приобретенное с их помощью положение придали ему апломб, он стал получать при дворе уколы, даже раны, которые что дальше, то становились чаще и чувствительнее. Не даром же он впоследствии говорил, что в домашней жизни бывал ранен гораздо больше, чем на войне, а при дворе еще чаще, чем дома. Тогда, не избегая двора по расчетам честолюбия, но не находя в себе ничего с ним общего, он вооружился сарказмом и сатирою и щедро расплачивался ими за наносимые ему удары, уже ни мало не скрывая антипатии к своим зложелателям и их среде.

Жизнеописания Суворова полны его выходками противу двора и придворных, из числа которых конечно многие созданы современной молвой или присочинены впоследствии. Это однако не меняет сущности дела и не опровергает истинности основания. Его саркастическое антипридворное настроение особенно

развилось в последнее 10-летие его жизни, хотя в меньших размерах существовало несомненно и прежде. Перед производством в генерал-аншефы, он например стал однажды почтительно раскланиваться с одним из дворцовых истопников, и когда ему заметили, что это служитель самого низшего разряда, Суворов отвечал, что будучи новичком при дворе, считает полезным приобрести себе на всякий случай благоприятелей, и что сегодняшний истопник может быть завтра Бог знает чем. Потом его выходки сделались еще язвительнее. Он называл придворных угодников «антишамбристами»; открыто говорил, что генералы бывают двух категорий, — одни генералами родятся, другие делаются; первые видны в пороховом дыму, на полях сражений; последние отличаются на паркете, перед кабинетом, в качестве полотеров. «А мундир на тех и других одинаковый», прибавлял он с усмешкой. Из двух его племянников, князей Горчаковых, старший, Алексей, был военным, пройдя под руководством дяди практическую школу; младший же, Андрей, поступил на придворную службу камер-юнкером. Князь Горчаков-отец так описывает сыну Андрею впечатление, произведенное этим известием на Суворова. «Он начал рассказывать, как Алешу учил казаком, солдатом, капралом, сержантом, офицером в пехотном и кавалерийском полку и егерском батальоне служить, и похвалял, что он скоро понял и прошел все должности с усердием, и так-де теперь сам командует с похвалою..... А потом, о тебе не упоминая ни слова, рассказывал критики о придворных, вход, походки, поклоны, речи льстивые, улыбки безмолвные, взгляды надменности, умствования и прочее..... Из сего ясно, что ему неблагоугодно, и потому он о тебе ко мне ни слова не писал». Про генералов, обращающихся и успевающих при дворе, Суворов говорил и писал, что для них военное дарование есть талант «побочный». Иногда в словах его переписки нет злости, но и хладнокровные суждения, при сравнительной мягкости выражений, отличаются резкостью понятий. с числу его наиболее категорических представлений о дворе и придворных, принадлежит высказанный Хвостову афоризм: «для двора потребны три качества — смелость, гибкость и вероломство» [4].

Тогдашний двор и придворные не могли похвастаться строгими нравственными принципами в жизни вообще и во взаимных отношениях двух полов в частности. Суворов же был в этом последнем смысле безукоризненных правил, не допускавших никаких уступок. Легко понять, как строги были его взгляды в применении к дочери, которая оставляла монастырь, не имея еще 16 лет от роду. Хотя она не блистала ни красотой, ни умом, ни другими видными качествами, но все это яснее было

посторонним, чем отцу. Для объяснения его заботливости о дочери достаточно прибавить, что он называл двор *Цитерою* и в особенности опасался распущенности нравов Потемкина. Сначала он думал отправить дочь в Москву, к своей сестре княгине Горчаковой, но потом переменил намерение, может быть не желая с Наташею расстаться, может быть избегая своей жены, там же проживавшей, или опасаясь поступить слишком резко против воли Государыни. Он выписал в Петербург другую свою сестру, Олешеву, и поместил ее вместе с Наташей в своем доме. Потом около августа попечительство перешло к Хвостову, мужу кузины Наташиной, Аграфены Ивановны; а ближайший надзор, как бы в качестве гувернера, по указанию Хвостова еще раньше был поручен женатому подполковнику Петру Григорьевичу Корицкому, давнему сослуживцу и подчиненному Суворова, которого он не раз употреблял по своим частным делам. Олешева однако оставалась тут же довольно долгое время. Вообще Суворов хватался за все под гнетом своих опасений и под влиянием разных советов; дело от этого конечно не выигрывало в логичности, особенно когда он должен был уехать на службу в Финляндию.

Как только он выехал туда из Петербурга, отстранять Наташу от двора стало невозможно, до того всякие к тому резоны представлялись странными и даже оскорбительными. Суворову писал об этом Сакен, сослуживец его во вторую Турецкую войну, говоря, что надо поступать с величайшею осторожностью и непременно представить дочь ко двору в тот, самый день, как Государыня вернется в конце лета в Петербург. Убеждая Суворова в невозможности иного решения, Сакен успокаивал его тем, что главная причина опасений не существует, что Потемкин уехал в армию. Не боясь навлечь на себя гнев Суворова за противоречащие его взглядам советы, Сакен указывает ему между прочим, что графиня Наталья Александровна не так удобно помещена; что дом, где она живет, отличается величайшей нечистотой и проч. Суворов действительно был недоволен некоторыми из указаний Сакена, назвал его в письме к Хвостову бранным прозвищем «дипломат», по волей-неволей должен был последовать его совету хоть отчасти, тем более, что и Хвостов настаивал на том же самом [5].

Во-первых он приказал Хвостову всех вразумлять, что Наташа еще дитя, и года 2 или 3 не будет ничьею невестой. Во-вторых он изложил ему целую систему надзора, не зная меры в своих подозрениях и опасениях. Он говорит, что приходится отдать дочь баронессе Мальтиц (гофмейстерине) «без шуму, как казнили в Бастилии»; советует стеречься такой-то дамы, сын которой

лазил через потолок к горничной Маше; опасаться «просвещения» другой; третья по слухам способна «заповедным товаром промышлять»; не велит верить «ни Грациям, ни Меркуриям». Истопника Суворов приказывает посадить на пенсию, камер-лакея задарить, другому дат двойное жалованье; горничной Маше тоже, коли не подозрительна, иначе заменить ее другою, сообщив кем именно; девушек баронессы Мальтиц одарить. Корицкому тоже нельзя доверять много: «я вас об этом предупреждал, но вы сами настояли. Он непостижимого *леноумия* и дальше четырех стен постигнуть не в состоянии. От его обещаниев не ждите лучшего; он природы своей переменить не может; четыре стены его, но и то за присмотром». Со сжимающимся сердцем приказывает Суворов готовить Наташу к дежурству, к балам, к спектаклям в эрмитаже: «бедная Наташа, не обольстись утехами!» Хвостову он дает наставление, как ее вести и что ей внушать, и просит непременно найти в баронессе Мальтиц слабую сторону, на которую и действовать в том же духе. «Для любопытства ничем из Жан-Жака не просвещать, на всякий соблазн иметь бдительное око..... Из любомудрия и морали просветите благовременно в тленной заразе сует, гиблющих нравы и благосостояние». Никого из молодежи ей у себя не принимать, кто подойдет к руке, — полтора шага назад. Проводить время в благочестии и благонравии, отчуждаясь от людского шума и суеты, занимаясь чтением, рукоделием, играть, бегать, резвиться. Вследствие обычной бережливости и в особенности по ненависти к роскоши и её растлевающему влиянию на нравы, Суворов определил на содержание дочери немного, всего 600 руб. в год, да на подарки ей к праздникам 400. Впрочем, он не держался педантически этой мерки, ибо встречаются по счетам большие расходы; на одну карету например было истрачено 1,000 руб., на платье подарено 300 руб., на шаль назначено 100 руб. [6]

Не забывал Суворов наставлять свою дочь и непосредственно, напутствуя вступление её в жизнь, между прочим и собственным примером. «Будь непререкаемо верна великой Монархине. Я её солдат, я умираю за отечество; чем выше возводит меня её милость, тем слаще мне пожертвовать собою для нее. Смелым шагом приближаюсь я к могиле, совесть моя не запятнана, мне 60 лет, тело мое изувечено ранами, и Бог оставляет меня жить для блага государства». В другом письме он пишет: «помни, что дозволение свободно обращаться с собою, порождает пренебрежение; берегись этого. Приучайся к естественной вежливости, избегай людей, любящих блистать остроумием: по большей части это люди извращенных нравов. Будь сурова с мужчинами и говори с ними немного, а когда они станут с тобой

заговаривать, отвечай на похвалы их скромным молчанием... Когда будешь в придворных собраниях, и если случится, что тебя обступят старики, показывай вид, что хочешь поцеловать у них руку, но своей не давай [7].

В Финляндии он продолжал свои беседы с дочерью почти так, как прежде, с такими же гиперболами и детскими сравнениями, но оттенок серьезности проглядывает все больше. Сентября 7 он шлет ей письмо: «сего числа в темнейшую ночь выступил я к Рымнику, отчего и ты, Наташа, Рымникская. Я весьма благодарствую, что ты твоему бедному офицеру отдала для гостинца; ежели и после будешь так думать и делать, то Бог станет тебе давать два гостинца». Нежность отца не слабеет. Едва приехав из Петербурга в Финляндию, он уже пишет, что по дочери соскучился, что месяц за год тянется, и справляется у Хвостова, сколько у нее прибавилось роста, Письма его испещрены такими задушевными выражениями: «помни меня, как я тебя помню; я везде буду тебя за глаза целовать; как будто мое сердце я у тебя покинул; смерть моя для отечества, жизнь моя для Наташи» и многое другое.

В свою очередь и дочь не ленилась отвечать отцу, писала часто, но очень понемногу, большею частию приписками на письмах Хвостова. Прежних писем, какие посылались из Смольного, почти не видать, — новое доказательство, что они писались с помощью других лиц. Тема писем если не совсем прежняя, то по прежнему узкая. С малыми изменениями беспрестанно повторяется стереотипная фраза: «милостивый государь батюшка, я слава Богу здорова, целую ваши ручки и остаюсь ваша послушнейшая дочь Г. Н. С Р.». Иногда прибавляется о посылке апельсинов, бергамот, кошелька или рисунка своей работы, или же говорится о получении посланной отцом рябиновой пастилы, мамуры и проч. Отец обыкновенно надписывал: «благодарствую, Христос с тобою», или что-нибудь подобное; против понравившейся дочери рябиновой пастилы написал: «берегись, Наташа, брюхо заболит». На тех же письмах встречается приписка Анны Васильевны Олешевой; она благодарит за присылку чего-нибудь, или сама посылает, называет Суворова «батюшка-братец, Александр Васильевич», желает здоровья, целует ручки и остается покорною и благодарною сестрой. Суворов обыкновенно надписывал: «благодарствую»; против целования ручек прибавлял: «и я тоже твои»; раз тут же приписал: «по секрету» [8].

Постоянные заботы о дочери, вечная о ней тревога, должны были наконец утомить Суворова и натолкнуть его на мысль о женихе, хотя недавно он сам назначил Хвостову для руководства

термин в 2 или 3 года, раньше которого Наташа не должна выходить замуж. А затем, усвоив мысль о браке дочери, он стал ее преследовать со свойственною ему настойчивостью. Сознавая кроме того свою старость и возможность близкого конца, он прежде всего позаботился о материальном обеспечении своей дочери. В феврале 1792 года составлено и подписано духовное завещание, которым отказывались дочери все благоприобретенные имения с 834 душ мужского пола, а из денег, что на лицо останется. В завещании говорилось, что если графиня Наталья Александровна выйдет замуж при жизни отца, то ей предоставляется право получить все завещанные деревни и деньги, и вступить во владение без всякого со стороны его, отца, прекословия. Эти 834 души (а если считать оба пола крепостных, то свыше 1,500) составляли в то время от 1/4 до 1/5 всего его состояния; что касается денег, то у него их не было на лицо почти никогда, кроме небольшой суммы на его скромный прожиток, потому что все они уходили преимущественно на новые «завоевания», т.е. на покупку земель или населенных имений. Следовательно, денежная часть духовного завещания была в сущности фиктивною и ни к чему определительному не приводила. [9]

Прежде, чем Суворов пришел к решению пристроить дочь, не отлагая в долгий ящик, — стали навертываться женихи. Первым кандидатом представился молодой сын графа Н. И. Салтыкова, управлявшего военным департаментом, когда графине Наталье Александровне не исполнилось еще 16 лет. Казалось бы, что по положению графа Николая Ивановича, жених был подходящий, и союз этот для честолюбивого Суворова, не ладившего с Салтыковым, представлял большие служебные выгоды, но в расчеты Суворова эта сторона дела не входила. Он был даже того мнения, как видно из его писем к Хвостову, что свойство с таким лицом как Салтыков, *связало* бы его. Кроме того жених был слишком молод и не казист, по крайней мере Суворов называет его то подслепым, то слепым, то кривым; говорит, что не желает «вязать себе на шею мальчика для воспитания»; пеняет Хвостову, что первые подходы к сватовству не были отклонены сразу. Графу Салтыкову-отцу Суворов ответил, что не думает «ни о богатстве, ни о светских просвещениях» дочери; не думает и о женихах, потому что замуж выходить ей еще рано. Однако отказ не прекратил попыток; Суворов говорит, что он 3 раза был бомбардирован «жалуемым Наташе подслепым женихом». Такой исход дела не мог остаться совершенно без влияния на взаимные отношения Суворова и Салтыкова. Если припомним, какие неприятности перенес Суворов за время своей службы в

Финляндии, то станут понятны слова его, что не состоявшемуся сватовству он обязан «тьмою и положением своим», и что граф Н. П. Салтыков «за кривого жениха топчет достоинство титлов и старшинства», хотя конечно, ввиду характера Суворова, эти выводы следует признать слишком преувеличенными.

В следующем 1792 году явился другой искатель. В мае молодой князь Сергей Николаевич Долгоруков, «по склонности к военной науке», захотел осмотреть финляндские крепости и укрепления, попросил у Хвостова рекомендательное письмо и явился к Суворову. Он был принят ласково, объехал границу, перед возвращением в Петербург бывал несколько раз у Суворова, начинал было сквозь зубы комплименты графине Наталье Александровне, но это принято холодно. Однако он Суворову понравился, понравился первоначально и Хвостову, но потом взгляды их разошлись. Немного дней спустя, Хвостов пишет Суворову письмо, хвалит сначала нового искателя, но потом говорит, что но важности дела спешить не годится; что невеста еще дитя и находится в надежных руках, на его, Хвостова, ответственности; что жених и его родня конечно радехоньки, но графине он не пара и к тому же беден. Кончая словами, что не дерзость, а усердие руководит его замечаниями, Хвостов втирает в свое письмо, как бы мимоходом, замечание, что искатель приходится правнучатым племянником графу Н. П. Салтыкову.

Суворов не знал про это родство, нашел, что Хвостов судит благоразумно и согласился «дать времени играть». Но вслед затем он передумал, или по крайней мере стал колебаться, и Хвостов получает новое письмо, где приводятся доводы в пользу Долгорукова. Суворов говорит, что эти Долгоруковы с другими «не очень смежны», что «мать его из Строгоновых, а сии все не горды», «что семейство это хороших нравов и проч.» За этим письмом опять новое: «Наташу пора с рук, выдать замуж, не глотать звезды, довольно ей кн. С. Н. Долгорукова: не богат — не мот, молод — чиновен, ряб — благонравен; что ж еще, скажите. Мне он кажется лучше других; сродники не мешают, бедности пособлю службою, поелику здравствую; благоприобретенное уже ей отделено... Сам я и без того сыт». Вероятно при этом же письме он посылает Хвостову собственноручную записку без числа и подписи: «Князь Сергий Николаевич, моя Наташа, ваша невеста, коли вы хотите, (и если) матушка ж ваша и Нестор вас благословят. Нет, — довольно сего слова; да, — покажите после их письма для скорых мероположениев. Sapienti sat». Хвостов отвечает, что не изменяет своих прежних мнений; «графиня не может быть вам бременем и препоною... большое бремя, сохрани Боже, ее- несчастие. Я доказал вам, что он низок жених; сверх

того — не мое правило чернить и никого — извольте узнать его поведение, благонравие; вера к Богу — первейшее всего — знает ли он ее?» Суворов пометил сбоку: «что ж за чорт он или чертенок». Этим кончилась переписка, а с нею по-видимому и самое дело. Не по пустому писал Хвостову Суворов: «правьте моею судьбою, как я нахожусь за Валдаями». Впрочем год спустя, трактуя с Хвостовых о других женихах, Суворов вспомнил о князе Долгорукове и сказал мимоходом, что пороком его, разрушившим дело, были «не рябины или ветроверие, а свойство» с нежелаемыми людьми.

Был еще намек как будто на нового претендента в конце 1791 года. В одном из писем Суворова между прочим значилось: «дивитесь мечте: царевич Мариамн Грузинский жених Н. (очень тайно); Курис мне сказывал, что онъ в Петербурге». Суворов прибавляет, что царевич «благонравен, но недостаток один — они дики». Впоследствии он снова упоминает вскользь про царевича, как бы опровергая невыгодное о нем мнение Хвостова, но этим все и кончается [6].

По перемещении Суворова в конце 1792 года из Финляндии на юг, дочь его продолжала жить у Хвостова, По смыслу переписки надо полагать, что она являлась ко двору, но не часто, посещая только балы, спектакли и проч. Императрица продолжала быть к ней милостивой, и пожаловала ей свой вензель, который препровожден Зубовым к Суворову в ноябре 1792 года. Заметной при дворе особой, графиня Наталья Александровна конечно не была, не обладая нужными для того качествами; это впрочем совершенно соответствовало взглядам и вкусам её отца, который говорил, что если «Наташе недостает светского, то научит муж по своему вкусу» [10].

Усвоив мысль о замужестве дочери, Суворов уже в Финляндии привязался к этой идее со страстью. Заботы о любимой Наташе не дозволяли ему сосредоточиваться на одном предмете; он начал чувствовать свои руки связанными, свою волю пригнетенною; ему трудно было решаться на смелые шаги, в роде отставки или заграничной службы, на все то, что он называл «переходом чрез Рубикон». Он пишет: «крамола ведая, что Наташею я обуздан, злокозненно ею может мою свободу отвращать». Даже перемена близкого к Петербургу места службы на дальнее, в роде командировки в армию против Поляков или перевода в Херсон, представлялась ему в начале страшною из-за расставанья с дочерью: «где она (как порох в глазу (, когда я буду удален?» Его держало сердце, чувство его к дочери влияло даже на издавна намеченную цель жизни: «Наташа правит моею судьбою, скорее замуж; дотоле левая моя сторона вскрыта». То же

самое продолжалось и в Херсоне, только шло crescendo. Правда, доверенность его к Хвостову была так велика, что уезжая вдаль, он оставлял на его руках дочь без опасений, но это успокаивало голову, а не сердце. Суворов до того озабочен в Херсоне будущностью Наташи, что решается писать Зубову. В одном письме он говорит: «милое дитя мешает службе, я ж на 64 (году от роду); для её участи должно мне сказать Генриху: «Sir, il est temps». В другой раз он сообщает, что определил выдать дочь замуж в её наступающем 20 году: «я ей отец, желаю ее при моей жизни пристроить; по службе заниматься мне недосуг; не юную невесту Рабнер играет в лотерею» [11].

Суворов имел основание тяготиться положением дочери еще и потому, что проживая у Хвостова, она и ему служила обузой, что видно из переписки Куриса с Хвостовым. Усердствующий и радетельный племянник хотя ничем этого дяде не высказывал, но будучи недоволен своим служебным положением и отсутствием всякого движения вперед, как бы намекал, что услуга требует услуги же. Недовольство свое Хвостов показал Суворову еще в Финляндии, собираясь выйти в отставку; тоже самое он повторил и теперь. Завязывалась последняя война с Польшей, из Петербурга высылали армейских офицеров к своим полкам. обер-полицмейстер рассылал им повестки и приглашения, получил повестку и Хвостов. Он послал Суворову прошение об увольнении от службы. Суворов прошения не принял, приказал Хвостову перечислиться в войска на юг, под его начальство, советовал не слушаться подстрекательств жены, а следовать единственно своим душевным чувствам и расположению. Вместе с тем Суворов написал Зубову о переводе Хвостова, с оставлением его при Наташе до её замужества; просил всесильного фаворита «воздвигнуть» пожилого Хвостова, которого «судьба осадила против сверстников»; за одно просил и о родном племяннике, Олешеве, именно о переводе его в гвардию. Курис в тоже время писал Хвостову, что со своей стороны старался внушать Суворову о совершенной справедливости его, Хвостова, претензий, но за это ему жестоко досталось, при внушении, что он, Суворов, сам не спокоен еще больше и никогда племянника не оставит, но надо ждать времени. Хвостов послушался, и хорошо сделал, потому что был Суворову человеком незаменимым; требовались только выдержка, терпение да выслеживание случаев [12].

Замужество графини Натальи Александровны сделалось для отца ее, в Херсоне, чуть не преобладающею темою для писем и разговоров с близкими людьми. Навертывались новые женихи; первое место между ними, по серьезности своей кандидатуры, занимал молодой полковник граф Эльмпт. Суворов познакомился

с ним в марте 1793 года и тогда же написал Хвостову: «Дмитрий Иванович, не сей ли наш судебный (т.е. назначенный судьбою)? Коли старики (родители) своенравны, то отец его разве в пункте благородного почтения и послушания; мать добродушна и по экономии скупа; тем они богатее, кроме германского владения. Юноша тихого портрета, больше со скрытными достоинствами и воспитанием; лица и обращения не противного, в службе беспорочен и по полку без порицания; в немецкой земле лучше нашего князя, в России полковник, деревни под Ригой и деньги. Вера — он христианин, не мешает иной вере, и дети христиане. Далее по сему мне судить не можно, при сестрице вы». Эльмпта рекомендовал П. П. Турчанинов, женатый на его сестре; Суворов написал Турчанинову, что он не прочь, да и домашние его того же мнения, только жаль, что у молодого человека рука не здорова, и он плохо ею владеет. Желая познакомиться с Эльмптом поближе, Суворов пригласил его к себе погостить. Скоро обнаружилось, что больная рука есть последствие дуэли, из-за которой по всей вероятности Эльмпт и должен был выехать из Петербурга. Но это обстоятельство не повредило ему в мнении Суворова, у которого он продолжал гостить и нравился все больше [13].

Около этого же времени, летом 1793 года, представился еще кандидат, князь А. Трубецкой, единственный сын отставного генерал-поручика, владельца 7,000 душ. Описывая его, Суворов дает ему 21 год от роду, говорит, что он «собою хорош, порядочных поступков и воспитания, премьер-майор; он очень мне показался и лучший жених». То же самое написал Хвостову и Курис, называя Трубецкого молодцом и отдавая ему пред Эльмптом предпочтение. Но это розовое освещение скоро изменилось; через два месяца Суворов писал: «князь А. Трубецкой пьет, его отец пьет и в долгах, родня строптивая, по паче мать его родная — тетка Наташе двоюродная». Дело в самом начале порвалось, и Суворов был очень доволен, что «с ним ни малой пропозиции не было, лишь на воздухе». Затем он возвращается к Эльмпту: «граф Эльмпт мне лучший, я его не упускаю и вам (советую) тож; судебный он». Молодой Эльмпт видя, что его первые шаги приняты благосклонно, написал отцу, в Ригу. Генерал-аншеф граф Эльмпт пишет Суворову по-французски весьма вежливое и любезное письмо. Он не колеблясь ни минуты, дает сыну дозволение на брак с дочерью Суворова и выражает свое искреннее удовольствие по случаю сделанного им выбора. Все свидетельствует в пользу такого решения — происхождение, общественное положение, возраст и личные качества невесты, вместе с обоюдным сочувствием двух молодых сердец. Радость его, Эльмпта, увеличивается еще тем, что он делается

родственником старого друга (они были знакомы давно), который своими блестящими качествами приобрел бессмертную репутацию и уважение всей Европы [9].

Дело запило далеко, но тут-то и стали обнаруживаться симптомы сомнительного исхода. Хвостов, обойденный ли Турчаниновым, или признававший в начале вместе со своею женою затеянное дело более выгодным, чем оно представилось ему потом, стал выдвигать препятствия. Он поступал так не по тупому инстинкту противодействия, а в интересе Суворова, которому несомненно желал добра, а потому подыскивал для его дочери партию, как можно более выгодную. Не подлежит сомнению также и то, что желая по своим собственным понятиям добра Суворову, он вместе с тем работал и для самого себя. Он начал с того, что указал Суворову на довольно большую семью Эльмпта; Суворов нашел, что это никому и ничему не мешает. Он выставил на вид больную руку жениха; Суворов признал и это не важным, сказав, что «слаборукий не кривой». Он сделал указание на другого, более выгодного кандидата, князя Щербатова, Суворов отвечал, что «князь Щербатов должен быть богат, да и только; взрачность не мудрая, но паче непостоянен и ветрен, чего последнего отнюдь в Эльмпте не примечается, и никакой охулки я здесь на него не слыхал». Написано было старику Эльмпту и Турчанинову. Турчанинов, обрадованный желанным исходом, дал Суворову совет — испросить соизволение Императрицы, «яко матери и вашей и ее», что совершенно необходимо по существующим правилам. Эльмпт-отец поблагодарил Суворова за доброту к сыну, за похвалы ему и за согласие на союз детей, удостоверяя, что ему очень лестно породниться с «русским Тюренем». Молодой Эльмпт поехал в Петербург; предположенная свадьба получила огласку, и в высшем петербургском свете стали говорить и писать о ней как о деле, окончательно решенном. А между тем распространившийся слух оказался преждевременным, благодаря тому, что Суворов, озабоченный, как мы видели, массою неприятностей и погруженный в кучу дел, не мог отлучиться с места службы и лично все порешить и покончить [14].

Опять потянулась бесконечная переписка между им и Хвостовым. Напрасно Суворов в досаде спрашивал у него: «скажите мне хоть наугад, кто ваш жених первой черты?» Есть основание думать, что невеста не была расположена к избранному отцом жениху и что между прочим это и побуждало Хвостова затягивать дело, хотя остается совершенно темным — было ли нерасположение невесты к жениху самостоятельное, или внушенное Хвостовым же. По характеру, воспитанию, развитию Натальи Александровны, и послушание отцу было одним из

самых выдающихся её свойств, и потому последнее предположение возможно, тем более, что жена Хвостова, недовольная молодостью жениха, возмущалась сверх того его неправославием и все это конечно внушала дочери Суворова. Как ни склонен был Суворов следовать указаниям Хвостова, но в настоящем случае не отступался от своего взгляда и начинал терять терпение. В апреле 1794 года он пишет: «С осени выдавайте Наташу за Эльмпта; где же лучший жених? Лучший — Чернышев, но там гнездо сибаритово, где душевного спокойствия нет. Эльмпта жена живет (т.е. будет жить) с мужем от родителей (его) далеко; он спокоен, не роскошен и не забияка; больше застенчив по строгому воспитанию, но умен и достоин; только по наружности стоит иногда фертом по немецкому». Затем Суворов обращается к жене Хвостова: «Груша не дури, вера его христианская; Наташа и я уже из протекции фамильной выжили; года его зрело-молодые, не ветрогонные». В середине лета Суворов снова подтверждает свою волю: «граф Филипп Иванович Эльмпт лучший жених Наташе; я в нем никаких пороков не нахожу, сколько ни стараюсь, и еще (будет) верный муж. Как ни балансируйте, затеи Груши уничтожьте, вообще всем семейством приуготовляйте Наташу к браку... Эльмпт поедет на зиму в Петербург». Затем чрез два дня опять письмо, короче и категоричнее прежнего: «В настоящую осень отправится граф Ф. И. Эльмпт в Петербург; моя дочь его невеста, я ей отец, он ей жених; предуготовляйте брак». Несколько спустя Суворов посылает письма по этому предмету к дочери, к Турчанинову и к графу Платону Зубову. Последнему он пишет: «принимаю смелость поручить в вашу милость полковника Эльмпта, избранного мною в женихи моей дочери» [13].

Наталья Александровна отвечала, что «она без отрицания исполнит волю отца купно с волею Императрицы», т.е. дала согласие не безусловное, так как волю Государыни еще не знала. Граф Зубов написал в своем ответе, что Екатерине может показаться необычайным и даже неприличным, что дочь знаменитого русского полководца, слывущего столь привязанным к вере и отечеству, — дочь, отличенная именем (вензелем) и покровительством Государыни, выдается за иностранного иноверца. Графиня молода; она найдет себе партию более подходящую, выгодную и приличную. В заключение Зубов просит Суворова верить, что излагая эти мысли, он руководится единственно чувством доброжелательства [15].

Зубов писал это письмо конечно с ведома Императрицы, до того оно категорично, если не по форме, то по смыслу. Суворов получил его находясь в Польше, ибо его письмо к Зубову об

Эльмпте, только 13 августа 1794 года прибыло в Петербург, а 14 он уже выступил в поход. Дальнейшей переписки по этому предмету не найдено, да ее вероятно и не было; сватовство графа Эльмпта на этом фазисе и кончилось.

Едва ли может быть сомнение, что действительною причиной расторгнутого сватовства графа Эльмпта, было не протестантское его исповедание. Екатерина II хотя к тому времени состарилась и во многом против прежнего изменилась к худшему, но такою узостью понятий и взглядов все-таки не отличалась. Существовало впрочем еще одно обстоятельство не в пользу этой фамилии: генерал-аншеф граф Эльмпт был человек благородного характера, честных взглядов и правил, но чрезвычайно заносчив, самолюбив и горяч, а главное — отличался злым и острым языком, который не умел и не хотел сдерживать. Суворову, знавшему Эльмпта давно, были очень хорошо известны эти его качества, но он толковал их не в дурную сторону, как сказано выше, да и рассчитывал, что Наталья Александровна будет жить с мужем вдали от его родителей. Екатерина была не так снисходительна и Эльмпта недолюбливала. Но этой причины все-гаки недостаточно, чтобы расторгнуть решенный родителями и оглашенный во всеобщую известность брачный союз. И действительно, настоящую причину надо искать в связи с последующим женихом, а затем и мужем дочери Суворова, графом Николаем Зубовым.

Он не был у Суворова на счету женихов дочери. В переписке Суворова с Хвостовым встречаются в двух-трех местах намеки на какое-то лицо, обозначаемое начальными буквами и непонятными значками, но буквы эти не подходят к именам и фамилии Зубовых; говорится про чьего-то сына, а не брата, и упоминается про него вскользь, без особенного к нему внимания. Писалось бы иначе, если бы шла речь о брате всесильного временщика. Следовательно искательство Николая Зубова принадлежит позднейшему времени; по соображении обстоятельств, оно должно совпадать с вышеприведенным ответным письмом Платона Зубова к Суворову.

Из сохранившегося письма Турчанинова к Хвостову от 4 октября 1794 года видно, что молодой граф Эльмпт лично сообщил ему, Турчанинову, о полученном отказе 2 октября. Если взять в расчет расстояние от Петербурга до местонахождений Суворова в Польше, то будет ясно, что письмо Платона Зубова пришло к нему и затем сообщено Хвостову для отказа Эльмпту, после побед при Крупчицах и Бресте, т.е. когда Суворов оказал новые заслуги пред отечеством. Даже если отнести проекты Зубовых на счет дочери Суворова к более раннему времени, все

таки придем к выводу, что Суворов тогда уже был главным действующим лицом в Польше, т.е. находился на пути к дальнейшему возвышению. Это обстоятельство кажется имеет цену при заключении таких браков по расчету, каков был Николая Зубова с Суворовой. Но так ли, нет ли, т.е. расчет Зубовых доходил ли до предполагаемой тонкости, или все сладилось проще (что также возможно, ибо единственная дочь Суворова и без новых побед отца представляла собою весьма крупную приманку), во всяком случае дело сложилось после выступления Суворова в польский поход и послужило естественным поводом к отказу графу Эльмпту. Самого Суворова нельзя упрекнуть в неискренности и двуличии, также как и в эгоистическом расчете- возвысить свое положение с помощью брака дочери. Этих побуждений не замечается в нем с самого начала сватовства за Натальею Александровной; нет их и при развязке дела, да и не могло быть: он стоял уже слишком высоко, чтобы в ком либо заискивать, особенно по производстве в фельдмаршалы, когда дело с Н. Зубовым было окончательно решено.

Нельзя также происшедший оборот приписывать махинациям Хвостовых; если при этом и было их влияние, то слишком мелкое, чтобы принимать его в расчет. До того времени Хвостов действительно орудовал делом. Курис пишет ему: «мысли графа к Эльмпту очень постоянны, лишь бы вы. Правда, дело великой важности и касается до чести и совести, Бог же благослови вас свершить по вашему благомысленному расположению; вы прямо назначайте того или другого, как прилично; верьте, он будет согласен». Суворов сам обращается к нему в начале с такими словами: «далее по сему мне судить не можно, при сестрице, (так он продолжал иногда называть свою дочь) вы; более со мною по сему не входите и ежели благоугодно Богу и вам, то с его высшею помощью начинайте». Но все это было раньше, а во внезапно выросшей кандидатуре Зубова, действовали уже не Хвостовы и не Суворов.

Какая же была доля участия Натальи Александровны во всем этом деле, прямо до нее касавшемся? Что участие её было, это не подлежит сомнению, но главная роль принадлежала отцу. Здесь кстати заметить, что распространенное в литературе мнение, будто Суворов был упорным представителем и защитником старых, до-Петровских начал русской жизни, не выдерживает критики. Оно основано на внешних признаках, или поверхностно понятых, или ложно освещенных. Было уже приведено воззрение Суворова на веру, и притом по отношению к самому дорогому для него существу- дочери, что нисколько не мешало ему строго держаться обрядностей православной церкви. В дальнейшем ходе

настоящего повествования, читатель убедится в истинности высказанного положения и с других сторон. В настоящем же случае следует сказать, что во взглядах своих на женщину, Суворов был разумеется далек от идей женской эмансипации нынешнего времени, но не разделял и татарского представления Московской Гуси о женском поле. Он только был противником и порицателем мужского слабодушие пред женским влиянием, придававшего женщине роль «полуденного беса». По его понятиям, женщина принадлежала всецело своей семье и домашней жизни, и обязана была послушанием главе семейства — отцу или мужу. Но это послушание не уничтожало её человеческих прав. Если Суворов играл преобладающую роль при выборе жениха своей дочери, то потому, что смотрел на нее как на ребенка, и не на много в этом ошибался; на её 18-мъгоду писал ей соответствующие своему воззрению письма и желал сильно, чтобы она дожила в таком состоянии до самого замужества, в виду соблазнов безнравственного света, в котором ей предстояло вращаться, особенно двора, Письма его к Хвостову относительно её будущности, не были от нее секретом, а прочитывались ей; многие из них, притом самые важные, начинались словами: «любезный друг Дмитрий Иванович, сестрица, Груша». Что Наталья Александровна не была безгласным субъектом брачных проектов отца и Хвостовых, усматривается из переписки, хотя эта переписка дошла до нас далеко не в целости. В одном из писем Курис просит Хвостова сказать откровенно. как расположена дочь Суворова к браку с Эльмптом, чтобы с этим и сообразоваться, иначе могут быть потом неприятности, «и мы же будем виноваты». Сообщая Суворову в августе 1794 года, что дочь приняла его волю о выходе замуж за Эльмпта «без отрицания», однако при условии согласия Императрицы, Хвостов прибавляет: «сие графинино не есть единое, как изволите знать, с прошедшего января препятствие». Значит препятствия были, нам неизвестно только в чем они состояли. Но они не влияли на теплоту отношений Суворова к его не безусловно послушной дочери, и мы ни разу не встречаем не только жесткого слова, к ней обращенного, но и ни малейшего на то намека. Был же он настойчив в этом деле по основному свойству своего характера, проявлявшемуся всегда и во всем, да имея вдобавок полное основание приписывать многие взгляды дочери влиянию Хвостова и особенно его жены [9]. Существуют стихи, которые Суворов будто бы написал дочери, уговаривая ее не противиться его воле, и ответные строфы дочери, оправдывающей себя недостатком привязанности к жениху. Стихи эти здесь не приводятся, так как подлинность их весьма сомнительна. Стихотворное послание

Суворова помечено в печати 4 октября 1794 года, и действительно в нем говорится о поражении Косцюшки, как о недавнем факте; имя отвергаемого жениха не упомянуто. До кого это послание могло касаться? К той поре подходят только два претендента — Эльмпт и Зубов, все остальные были раньше. Письмо касается не до Эльмпта, он еще перед тем получил отказ, как выше объяснено. Не может оно относиться и к Зубову, потому что с ним дело тогда только что зарождалось, или еще готовилось зародиться, да и самую мысль об этом брачном союзе нет основания приписывать Суворову; она навеяна извне, вероятно с ведома самой Императрицы. Это последнее утверждение как будто опровергается следующими словами одного из писем Екатерины к Гримму, в апреле 1795 года: «Суворов пригласил к себе Николая Зубова и сказал ему: «вы человек порядочный и честный; сделайте мне удовольствие, женитесь на моей дочери. Зубов согласился». Но Екатерина, в своих письмах к Гримму, не всегда говорит строгую правду, увлекаемая остроумием, шутливостью и пикантностью сообщаемых слухов. Суворов не мог сделать подобного предложения Н. Зубову по одному тому, что увидался с ним чрез несколько месяцев после его свадьбы. В этом деле Государыня не была холодным, безучастным зрителем; не даром же она прибавляет Гримму, что лучшей брачной пары, как Зубов и Суворова, никогда не видывала.

Итак Суворов не писал дочери упомянутого письма в стихах. Ответ Натальи Александровны еще сомнительнее; она не стала бы упираться против воли отца и Императрицы и стихотворством вообще не занималась; наконец в этих ей приписываемых стихах, видна совсем не она [16].

Чтобы покончить с претендентами, кандидатами и неудавшимися сватовствами, остается упомянуть еще о полковнике Золотухине, которого некоторые писатели выставляют, как намеченного самим Суворовым жениха Натальи Александровны. Не существует никаких данных, которые бы подтверждали это предположение. Золотухин пользовался его расположением как образцовый полковой командир (Фанагорийского полка), истинный воспитанник Суворовской боевой школы, много раз оказавший крупные отличия, особенно при Рымнике и Измаиле; но в числе близких, домашних людей Суворова его не видать. Золотухин убит во время Польской войны 1792 года, т.е. в то время, когда уже шли трактования между Суворовым и Хвостовым о женихах, но при этом он не упомянут ни разу. Много подобных выдумок дошло до нас и получило ложно-историческую окраску [17](.

Граф Николай Александрович Зубов, человек самый рядовой

и ординарный, был попроще своих братьев, особенно Платона, без самомнения, без убеждения в каком то высшем призвании. Суворову он был известен довольно давно, когда брат его, Платон, не вошел еще в фавор и стоял в ряду самых обыкновенных смертных. Н. Зубов имел еще ту хорошую сторону, что не задаваясь выспренними задачами, нес службу добросовестно и усердно. Суворову приводилось с ним переписываться; одно письмо делового характера, писанное из под Кинбурна в 1788 году, в этом свидетельствует. Таким образом они не были людьми незнакомыми, но никогда не состояли и в близких отношениях. Теперь судьба свела их почти внезапно. Как именно все это произошло, не знаем; Суворов так был погружен в войну с Польшей, а потом занят умиротворением края, что у него хватало лишь времени на переписку, почти исключительно деловую, и в бумагах почти нет указаний на этот неразъясненный предмет. Да и последующее время, вплоть до свадьбы, освещено очень недостаточно.

Мы знаем, что Наталья Александровна была заранее обеспечена отцом на случай его смерти или её замужества, 1500 благоприобретенных душ (мужского и женского пола (. Когда брачный союз был решен и начались переговоры о приданом, то Суворов назначил дочери кое-что из своих брильянтовых вещей (должно быть немного), денег же, надо думать не давал, или дал мало. Правда, около года после свадьбы Дочери, он переписывается с Хвостовым о 60,000 рублях, обещанных зятю с выплатою в сроки, но как увидим позже, эти деньги не были приданым. Вообще переговоры о приданом велись через Хвостова, так как и он и жених находились в Петербурге, а Суворов в Варшаве. Дело шло порядочно и прилично, по крайней мере никаких признаков острого свойства не видать; но было дано понять Суворову со стороны графа Н. Зубова, что укрепленная за невестою недвижимость имеет слишком скромные размеры и что этот недостаток легко устранить, прибегнув к милости и щедротам Императрицы. Суворов отказался на отрез от указываемого пути, написав Хвостову, что этого «общего правила» он никогда не держался; что такой его взгляд должен быть Хвостову хорошо известен; что Наташе 1500 душ довольно, а если мало, то для него, Суворова, легче добавить впоследствии, когда удастся приобрести новые имения собственными средствами. Такой отказ однако подействовал не сразу, и попытки возобновлялись, но постоянно безуспешно. Под конец уже не сам Суворов, а по его поручению Курис написал Хвостову, что домогаться деревень Суворов не станет, что пожалование в воле монаршей, а выпрашивать он решительно не согласен, ибо во всю

свою жизнь никогда этого не делал [9].

Суворов имел бы право указать своему будущему зятю другой путь для исполнения его желаний, именно обращение к Государыне чрез его брата, графа Платона. Но это может быть избавило бы Суворова от лишней докуки, а успеха все равно не имело бы; Платон Зубов поступил бы также, как Суворов, хотя по другим побуждениям: он не любил утруждать Императрицу просьбами за других, даже за своих родных братьев.

Все эти переговоры впрочем не имели значения вымогательства, торга или непременного условия, от которого зависело бы заключение брачного союза. Трактование шло, а вместе с тем двигалось и дело. В пятницу, намасляной1795 года, совершилось торжественное обручение в таврическом дворце; Суворов по этому поводу писал: «благословение Божие Наташе и здравие с графом Николаем Александровичем; ай-да, куда как мне это утешно». Апреля 29, в отсутствие Суворова, все еще находившегося в Варшаве, они были обвенчаны. Дочь его сделалась отрезанным ломтем, произошла в некотором отношении пустота на прежде занятом ею месте. Пустоту эту Суворов вскоре заполнил сыном [18].

Глава XXI. В Петербурге и Тульчине; 1796.

Переезд Суворова из Варшавы в Петербург; прием у Императрицы; житье в таврическом дворце. — Поездка в Финляндию для осмотра границ; отказ от Персидской экспедиции; назначение в Тульчин. — Найденные там неустройства; распоряжения Суворова. — Ожидание войны; изучение Суворовым последних кампаний; назначение его в заграничный поход и приготовление войск к походу. — Ход Персидской экспедиции; издевательства Суворова над нею и над Зубовыми. — Платон Зубов; удовлетворительные отношения между ним и Суворовым в начале; изменение к худшему. — Отношения Суворова к зятю и дочери; появление Аркадия Суворова; другие родственники; их значение. — Щедрость Суворова при его скупости; образ его жизни в Тульчине.

Когда Суворов выезжал из Варшавы, морозило и дул резкий ветер; почему сберегая свои болевшие глаза, он сидел в дормезе, подняв все стекла. Переехав Вислу и едучи по Праге, он с нескрываемым удовольствием глядел по сторонам, замечая сглаживающиеся следы прошлогоднего бедствия и большое число новых зданий, возводившихся на месте пожарища. «Слава Богу, кажется забыто прошедшее», промолвил он в заключение, улыбаясь. Проехав Прагу, он часто обращался к тому месту, где после штурма была разбита для него калмыцкая кибитка и где он принимал депутатов варшавского магистрата. Едучи через передовую линию укреплений, он заметил: «волчьи ямы еще не заросли и колья в них живут до времени», а потом перекрестясь, прибавил: «милостив Бог к России, разрушатся крамолы и

плевелы исчезнут».

И Варшава, и Прага скоро пропали из виду в мглистой дали, и потянулась белая однообразная дорога. Зимний путь еще не установился; кочки и выбоины сменялись на каждом шагу и награждали Суворова беспрерывными толчками. Не имея привычки к продолжительной езде в крытом экипаже, он поминутно вскрикивал, но все-таки решил продолжать путь безостановочно, отдыхая только по ночам. Впереди скакал курьером в кибитке один из его адъютантов, заготовлявший лошадей, ночлеги и проч. На первом или втором ночлеге произошел комический случай, показывающий как поразительны были для посторонних людей некоторые привычки и причуды Суворова. Генеральс-адъютант Тищенко приготовил и прибрал для ночлега теплую хату, но не догадался осмотреть в ней запечье, где спала глухая старуха. Когда приехал Суворов, то по своему обыкновению разделся до нага, окатился холодною водой и, чтобы расправить одеревеневшие от долгого сиденья члены, стал прыгать по хате, напевая по-арабски разные изречения из корана. В это время проснулась старуха, выглянула из запечья, приняла Суворова за чорта и закричала во вес голос: «ратуйте, с нами небесная сила». Перепугался и Суворов от этого внезапного вопля, и инстинктивно тоже поднял крик; явились люди и вывели старуху, полумертвую от ужаса.

На всем пути готовились новому фельдмаршалу торжественные военные встречи, но он этого не пожелал и разослал самые категорические просьбы и запрещения. Многие послушались, но не все, так как некоторые считали своим служебным долгом — представиться фельдмаршалу. Суворову пришлось прибегать к разным хитростям, чтобы избежать встреч; останавливаться для перемены лошадей в нескольких верстах от почтовой станции, пересаживаться в передовую курьерскую кибитку и закрываться рогожей. Выходило это местами не совсем ловко, например в Гродно, где ожидал его с почетным рапортом князь Репнин, один из тех, которых Суворов обошел при производстве в фельдмаршалы. Тут же, под Гродном, дошли до Суворова разные слухи о столичных новостях, в том числе один, очень для него неприятный. Он встревожился и послал одного из своих спутников вперед, с письмами к Платону и Николаю Зубовым, на которые и получил перед Нарвой успокоительные ответы. Несмотря на это, он отправил к своему зятю другого посланного, с вопросами: «что, как, где», на которые граф Н. Зубов отвечал: «ох, уж вы мне..... все хорошо».

В Стрельну была выслана по повелению Государыни парадная придворная карета, при эскорте из чинов конюшенного

ведомства; туда же выехал на встречу своему тестю Н. Зубов; несколько других генералов встретили его еще раньше. В Стрельне Суворов облекся в фельдмаршальский мундир со всеми орденами, сел в присланный экипаж и отправился в Петербург. Это было 3 или 4 января 1796 года; мороз стоял сильный, больше 20 градусов; несмотря на это Суворов просидел весь переезд в одном мундире, с открытою головой, держа шляпу в руках; спутники его, Н. Зубов и генералы Исленьев и Арсеньев, поневоле следовали его примеру. Прибыв в Петербург, к зимнему дворцу, Суворов зашел предварительно к Платону Зубову, чтобы обогреться самому и дать отойти от стужи полузамерзшим спутникам. Исленьев и Арсеньев из субординации молчали, но Н. Зубов заметил с неудовольствием одному из свиты Суворова: «твой молодец нас всех заморозил». Из покоев фаворита отправились в приемные комнаты Императрицы. Тут Суворову был оказан самый благосклонный прием; Екатерина на первых же порах вступила с ним в разговор о предполагавшейся тогда персидской экспедиции и предложила ему главное начальствование, но Суворов попросил несколько времени на рассмотрение дела. Она совершенно очаровала Суворова своим милостивым обхождением и простерла внимание до того, что зная нелюбовь Суворова к зеркалам, приказала их завесить на время приема причудливого фельдмаршала.

Суворову и его свите назначен был на жительство таврический дворец, куда они тотчас по окончании аудиенции и отправились. Велено было заранее разузнать все привычки Суворова и сообразно с ними устроить его домашний обиход. Приехав в таврический дворец, Суворов прытко пробежал по комнатам вплоть до спальни, не заметив, что его везде встречала придворная прислуга. В небольшой спальне, с диваном и несколькими креслами, уже была готова пышная постель из душистого сена и ярко горел камин; в соседней комнате стояла гранитная ваза, наполненная невскою водой, с серебряным тазом и ковшом для окачивания и прочею принадлежностью. Суворов разделся, сел у камина и приказал подать варенья, он был оживлен, необыкновенно весел и особенно красноречив; говорил с воодушевлением о милостивом приеме Императрицы, но ввернул замечание, что «Государыне расцветили, помилуй Бог как красно, азиятские лавры». На другой день начались к нему визиты, но приняты были весьма немногие, в том числе Державин и Платон Зубов. Державина Суворов встретил дружески, без всяких церемоний и оставил обедать; также бесцеремонно обошелся он и с Платоном Зубовым, но в другом смысле. Накануне, когда Суворов приехал в зимний дворец из Стрельны,

Зубов встретил его не в полной форме, а в обыкновенном вседневном костюме, что было принято за неуважение и пренебрежение. Теперь Суворов ему отплатил, приняв временщика в дверях своей спальни в одном нижнем белье, а Державину объяснил причину своего поступка словами: «vice-versa» [1].

Живя в Петербурге, Суворов был предметом общего любопытства и внимания; он вошел на первое время в моду, о нем говорили, спорили, ему прислуживались и угождали, так что зависть и недоброжелательство до поры спрятались и замолкли. Он вел прежнюю жизнь, с некоторыми уступками столичным условиям, и обедал уже не в 8 часов утра, а в 10 или 11, причем всегда бывали у него гости. Во дворце, у Государыни, он бывал редко, в особенности избегая парадных обедов. Узнав, что он ехал из Стрельны в одном мундире, Екатерина подарила ему соболью шубу, крытую зеленым бархатом, но Суворов брал ее о собою только едучи во дворец, да и то держал на коленях и надевал лишь выходя из кареты. Когда ему приходилось бывать в собраниях, он давал полную волю своему темпераменту и не скупился на насмешки и разные выходки. Встречаясь с обоими Салтыковыми, обиженными его производством в фельдмаршалы, он зло над ними подшучивал, растравляя их зависть и недоброжелательство. Принимая визиты от именитых и чиновных лиц, он по своему оказывал им разную степень внимания и уважения. Увидев в окно подъехавшую карету и узнав сидевшее в ней лицо, он выскочил из-за стола, сбежал на подъезд, вскочил в карету, когда лакей отворил дверцу, и просидел в ней несколько минут, беседуя с гостем, а затем поблагодарив его за честь, распрощался и ушел. В другой раз, тоже во время обеда, при визите другого лица, Суворов не тронулся с места, приказал поставить около себя стул для вошедшего гостя, сказав ему: «вам еще рано кушать, прошу посидеть», поговорил с ним некоторое время, и когда тот откланялся, то не встал его проводить [2].

Обращение его с Императрицей также было для придворной сферы необычное, режущее глаза. Он был предан Государыне никак не меньше, если не больше всякого другого и в заявлении ей наружных знаков почтения шел дальше чем нужно, но отличался от других подчас неумытой откровенностью, лагерной бесцеремонностью и своеобразными воззрениями на приличия. В разговорах с Екатериной он постоянно высказывал ей голую правду о дурном состоянии войск, вкоренившихся злоупотреблениях и т. под., так что стал наконец однообразен, т. е. скучен. В своих выходках он не стеснялся касаться личностей. Однажды за обедом, Екатерина желая оказать внимание

сидевшему около нее князю С. Ф. Голицыну, сказала, что спала эту ночь очень спокойно, зная что в карауле находится надежный офицер (сын Голицына). Голицын встал и поклонился. Суворов, сидевший по другую руку Государыни, тотчас же обратился к Голицыну с вопросом, отчего тот не прислал кого-нибудь из сыновей под Варшаву за Георгием и, указывая на некоторых лиц за столом, в том числе на князя Барятинского, хваставшего своими подвигами, прибавил: «они даром получили». Эффект вышел неприятный, особенно для Екатерины; но слова Суворова отдавали кроме того и большим цинизмом, потому что в своем первом, коротком донесении о штурме Праги, упоминая про небольшое число наиболее отличившихся, он поместил между ними и Барятинского. Таким образом издеваясь над другими, он издевался и над самим собой, как над человеком, принужденным по пословице — с волками жить, по волчьи выть. В другой раз он находился на придворном балу и конечно скучал сильно. Обходя гостей и беседуя с ним, Государыня приблизилась между прочим к нему и спросила: «чем почивать дорогого гостя»? — Благослови, Царица, водочкой, — сказал Суворов кланяясь (был 9 час вечера). «А что скажут красавицы фрейлины, которые будут с вами разговаривать», заметила Екатерина. — Они почувствуют, что с ними говорит солдат, — отвечал простодушно Суворов. Екатерина собственноручно подала ему рюмку тминной, его любимой. Как-то цесаревич Павел Петрович пожелал его видеть; Суворов вошел к нему в кабинет и начал проказничать. Цесаревич этого терпеть не мог и тотчас же остановил шутника, сказав ему: «мы и без этого понимаем друг друга». Суворов усмирился, но по окончании делового разговора выйдя из кабинета, побежал вприпрыжку по комнатам, напевая: «prince adorable, despote umplacable». Это было передано цесаревичу [8].

Едва успел Суворов прожить в Петербурге несколько дней, как ему нашлось дело: Государыня предложила ему съездить в Финляндию и осмотреть пограничные укрепления. Суворов много над ними поработал в 1791 и 92 годах, кончив главное; но после того исполнение по его мысли и планам все-таки продолжалось, и никто лучше его самого не мог быть судьей в этом деле. Он с радостью взялся исполнить волю Государыни, в половине декабря отправился и вернулся к Рождеству, совершенно довольный всем найденным, «ибо не осталось уголка, куда бы могли проникнуть Шведы, не встретив сильных затруднений и отпора», писала Екатерина Гримму. Кроме этого оконченного дела, занимало Суворова еще другое — персидская экспедиция. Суворов согласился принять главное над нею начальство и стал к ней подготовляться, но потом передумал и отказался «от азиатских

лавров», предпочитая остаться в европейской России, в ожидании более значительной войны, которая предполагалась. Тогда ему было предложено командование войсками на юге, в знакомых местах, что он и принял, и хотя потом жалел, что отказался от экспедиции, но поправить ошибку уж было нельзя. Впрочем сожаление его не основывалось ни на чем положительном, ибо будущее оставалось в тумане, только возбуждая в нем безотчетное тревожное состояние. Впечатление недавнего триумфа тем временем успело сгладиться и забыться; Суворов чаще бывал не в духе, становился несносен и придирчив, находя например неприличным, что великий князь Александр Павлович употребляет в театре лорнетку. Многие в это время попадали к нему на зубок, много самолюбий было задето и себялюбий оскорблено. Оттого современники высшего круга относились к нему большею частию неблагосклонно, с затаенной, но прорывающейся наружу досадой. Один, упоминая про его странности, не распространяется на этот счет, а говорит полупрезрительно: «и прочее, и прочее»; другой, извещая своего приятеля, что «Суворов продолжает предаваться шутовству», находит, что он «самое гордое существо на свете» и что «в каждом его слове обнаруживается непомерное самолюбие». Это замечание отчасти справедливо, но мелкие недостатки не должны заслонять больших достоинств, а именно в этом смысле многие современники и погрешали. Не так смотрела на своего знаменитого подданного Екатерина, но и в её глазах внешняя оболочка Суворова делала его человеком неудобным при установившейся обстановке. Государыня и прежде находила его здесь, около своей особы, не на месте, а теперь он стал таким вдвойне. Ростопчин в это время писал: «не знают как отделаться от Суворова; его плоские шутки наскучили Императрице, и она от них краснеет». Ростопчин по своему обыкновению прибавил, но в основе его фразы лежала правда: Суворову пора было на действительную службу, тем более, что и он сам скучал от бездействия.

Не знаем, что его задержало в Петербурге до половины марта 1796 года; вероятно, кроме домашних и семейных дел, еще забота о том, чтобы как можно определительнее выяснить свое назначение и будущее служебное положение. Он выбрал себе штаб-квартирою Тульчин, разослал войскам расписание их будущих квартир с открытием подножного корма и отправился в дорогу. Путь свой он совершил почти безостановочно, завернув лишь к старому начальнику, Румянцеву. На последней станции перед местом его жительства, Суворов надел полную парадную форму, подъехав к воротам дома, вышел из экипажа и, держа

шляпу в руке, прошел весь двор пешком. Беседа продолжалась часа два; они свиделись тут в последний раз [4].

По новому расписанию войск, состоявшемуся еще в начале января, под начальство Суворова назначены были войска в губерниях врацлавской, вознесенской, екатеринославской, харьковской и в таврической области, всего 13 кавалерийских и 19 пехотных полков, черноморский гренадерский корпус, три егерских корпуса, 40 осадных, 107 полевых орудий и 48 понтонов; кроме того 3 полка чугуевских и екатеринославское пешее и конное войско. В нескольких соседних губерниях войска были отданы под главное начальство графа Румянцева; далее и в Литве они оставались под командою князя Репнина, Таким образом по южной и западной границам России образовалось три армии, во ожидании событий [5].

По приезде на место, в Тульчин, Суворов прежде всего обратил внимание на благоустройство войск. Картина представилась давно знакомая, Умирало огромное количество, как в эпидемическое время, особенно на работах в одесском порте, где годовой процент умерших доходил до 1/4 всего штатного состава войск, и между прочим вымерла одна отдельная команда почти целиком. Причины тому были тоже не новые: многие генералы состояли поставщиками в войска; строитель Одессы де Рибас наживался страшно; рекруты прибывали на укомплектование босые, полунагие, изнуренные, со всех сторон «обиженные»; казармы были сырые, без бань; солдаты находились на работах во всякое время, в жару и ненастье, а после работы не могли в сырых казармах ни согреться, ни обсушиться; воды в Одессе не хватало даже на приготовление пищи, так что иногда употреблялась вода с грязью; наставления и приказы Суворова, данные два года назад, забылись и не соблюдались. Суворов тотчас же отдал приказ о делении больных на разряды, о порядке отправления их в лазареты и лечения при полках; послал штаб-лекаря Белопольского в Одессу; одного наиболее виновного начальника, которого он называл «торговой бабой», выгнал из службы. Но в особенности его «сердце было окровавлено» от поступка де Рибаса. Живя зиму в Петербурге и видясь с Суворовым, де Рибас скрывал от него дурное состояние одесских войск и, по назначении Суворова главнокомандующим на юге, послал в Одессу 1,000 червонцев, чтобы «воскресить больных по лазарету и меня омрачить», объясняет Суворов. Иначе говоря, этот давний его приятель, рассчитывая на его снисходительность или заступничество, подкупил кого следует, дабы показать умерших живыми и перечислить снова в умершие потом, во время командования Суворова. Теперь только прозрели глаза Суворова,

и лукавый, двоедушный де Рибас представился ему если еще не вполне в настоящем свете, то по крайней мере не под розовой дымкой, так что Суворов стал держаться от него настороже и уже не удостаивал его прежнего названия «intime ami». Зоркий глаз, не ослабевающая деятельность и практическая опытность грозного Суворова не заставили долго ждать доброй перемены. Едва прошло два месяца, как в Одессе смертность понизилась вчетверо, а в некоторых других местах процент умерших еще ближе подошел к нормальному. Суворов извещал об этом то Хвостова, то Н. Зубова, приводя цифры. Но результаты все еще отставали от его надежд и ожиданий, и он с удвоенной энергией продолжал преследовать свою цель. В августе он имел утешение донести Екатерине, что в июле умер один из 792-х. Еще успешнее велась борьба с какою-то опасною, заразительною болезнью, обнаружившеюся на Таманском полуострове уже при Суворове, в конце апреля. Она с самого начала стала развиваться так быстро, что число больных в населении и войсках дошло до 320 человек, но своевременными мерами была совсем прекращена [8].

Внутреннее неустройство войск проявлялось и в других видах: в большом числе беглых, в своевольстве и в обидах мирных жителей. Вслед за приездом Суворова в Тульчин, ковельский окружной начальник донес, что многие помещики приносят жалобы на квартировавший там драгунский полк, команды которого не только берут фураж насильно, под квитанции, но отбивают замки в амбарах, забирая оттуда самовольно сено и овес. Надо думать, что такое самовольство было порождено невысылкою де нег или какою-нибудь другою неисправностью провиантского ведомства. Это конечно не оправдывает насилий, и хотя остается неизвестным, что именно сделал Суворов по жалобам на драгун, но если припомним его взгляды и распоряжения по однородному предмету в последнюю войну, то убедимся, что ковельские самовольства не остались безнаказанными. Впрочем такого рода явления были более или менее случайны, хроническое же зло состояло по-прежнему в дезертировании. Для искоренения его паллиативные меры не годились, а распоряжения центрального военного начальства имели именно это значение, тогда как требовались коренные реформы в военном устройстве и управлении. Суворов застал тут если не совсем тоже, что было 2 года назад, то не многим лучше, и прибегал к тем же мерам, но существенной перемены к лучшему добиться не мог. Пограничный начальник, князь Волконский, который старался действовать прежде, как мы видели в своем месте, на отстранение причин побегов, теперь донес Суворову, что за поимку беглых назначил премию: за

первую 50 рублей, за следующие по 5 рублей с каждого пойманного. Побеги конечно от этого не прекратились [7].

Будучи начальником по военной части в обширном пограничном крае, куда он был послан потому, что не были уверены в мире, Суворов считал круг своего ведения недостаточно обширным, ибо хотя войска были в его руках, но крепости и флот от него не зависели. Выждав некоторое время, он пишет Хвостову, что при последнем свидании, Платон Зубов говорил о подчинении ему, Суворову, флотов, гребного и парусного, а между тем ничего писанного об этом нет, флоты же находятся в очень дурном состоянии. «Будет ли что?» спрашивает Суворов и чрез несколько дней пишет Хвостову о том же, с пояснением, что неустройства во флоте, по слухам, быстро возрастают. Результата не было никакого. Спустя некоторое время Суворов решается обратиться к самому Платону Зубову и пишет, что в Петербурге была объявлена ему, Суворову, высочайшая воля о подчинении ему парусного и гребного флотов, а между тем указа нет, на что и просит объяснения. В тот же день он посылает письмо своему зятю, Н. Зубову, где между прочим говорит: «время проходит, люди мрут, суда гниют; князь Платон Александрович знает, сколько ныне в лом и перед сим было; против прежнего найдет, что оба (флота) уменьшились, а у Турок возросли, многочисленнее и несказанно исправнее наших». Но ответов не последовало. Суворов в неудовольствии махнул рукой: «пусть этими флотами князь Платон берет Стамбул из своего кабинета»; однако выждав несколько недель, решился сделать последнюю попытку. Донося Императрице о произведенном им осмотре войск, он замечает, что флотов и крепостей не видал, потому что они ему не подведомы. Но и этот намек не имел последствий [5].

«При войне будет поздно», объяснял Суворов Хвостову свое желание получить начальство над Черноморским флотом. Действительно, ради возможности войны его сюда и назначили, но она оставалась до самой осени 1796 года в неясных предположениях. Грандиозный проект Платона Зубова, о котором было раньше упомянуто, продолжал существовать; одно время носились слухи о назначении Суворова для исполнения азиатской части этого предприятия и, он ни маю такою задачею не затруднялся, говоря: «Тамерланов поход мне не важен, хоть до Пекина». Но европейский театр войны Суворов считал для себя более предпочтительным, поэтому отказался потом от персидской экспедиции и, прибыв в Тульчин, стал добиваться высшего начальствования над флотом. Впрочем, фантастические бредни Зубова далеко еще не дошли до одобренного и принятого плана

действий. Персидская экспедиция, состоявшая под начальством графа Валериана, меньшего брата фаворита, имела ближайшую, гораздо более узкую цель, хотя и была обставлена довольно широко. О «Тамерлановом походе» не было пока и речи. Из почти ежемесячных донесений Суворова Императрице о состоянии войск и о положении дел в Турции видно, что Россия ожидала от Турции войны, а не Турция от России. В одном донесении говорится, что если через месяц турецкие войска не сблизятся к Балканам, то войны нечего ожидать; в другом значится, что Турки не деятельны, и раньше года их нечего опасаться. К тому же в 1796 году, являлась временами возможность неприязненных действий со стороны Швеции и Пруссии, и таким образом не могло быть помышления о чем-нибудь, что подходило бы к завоевательным планам Зубова [8].

Собираясь выезжать из Польши и разделяя общие ожидания на счет близкой войны с тем или другим противником, Суворов писал зятю, что желает иметь при себе генералов Шевича, Исленьева, Денисова и Буксгевдена. По истечении нескольких месяцев, передавая Хвостову свой афоризм; «готовься в войне к миру, а в мире в войне», он упоминает про князя А. À. Прозоровского, желающего служить под его начальством, про Дерфельдена, про П. Потемкина, который «в последнюю кампанию очень руку набил». Перечисляя этих лиц, Суворов впрочем не настаивает на них, а дает Хвостову такую короткую инструкцию: «кто бы ни был, был бы первое — деятелен, второе — наступателен, третье — послушен». После того политические обстоятельства начали разъясняться и военные предположения делаться более определительными; стали громко говорить о войне с Турцией и Францией; толковали, что первая будет поручена Платону Зубову, а против Французов двинут вспомогательный корпус под начальством Дерфельдена. Как ни маловероятен был этот слух, но Суворова он сильно обеспокоил. Всполошились и его приближенные, говоря, что их победоносного вождя «хотят послать в хижину, как Румянцева», а один из них, не допускавший такого решения, изложил в письме к Хвостову другой мотив: «как-де поверить ему управление, когда им самим управляют Арсеньев и Тищенко; да и где ему против Французов, его дело против Турок». Суворов решился напомнить о себе, послал Екатерине донесение о только что оконченном осмотре войск и в заключение прибавил: «Карманьольцы по знатным их успехам могут простирать свой шаг на Вислу... Всемилостивейшая Государыня, я готов с победоносными войсками Вашего Императорского Величества их предварить» [9].

О войне с Францией говорили уже давно, только времени

нельзя было определить, так как оно зависело от группировки обстоятельств. Время это подошло в августе; правительство решило окончательно — принять активное участие в войне Австрии с Францией, снарядив вспомогательный корпус. Хотя 11 августа дано было по этому предмету высочайшее повеление военной коллегии, но Суворов узнал про решение Государыни стороной. Давно уже он мечтал о войне с Францией, и с большим интересом следил по газетам и другим сведениям за ходом военных действий, изучая их в подробностях, с картою на столе. Иногда даже он собирал из наличных генералов подобие военного совета, докладчиком которого был инженер-полковник Фалькони, и предлагал на обсуждение интереснейшие эпизоды современной французской войны, с их вероятными последствиями. В июне он писал Государыне, что успехи Французов больше всего могут поощрить Турцию на войну с Россией; в августе вызывал Екатерину на неотлагательное снаряжение экспедиции. Из его частной переписки видно, что не личные честолюбивые расчеты заставляли его так говорить, а военные и политические соображения. Он писал, что опасное для Европы Французское правительство без войны существовать не может, что Франции приходится действовать против России или с Турцией, или с Пруссией, или с той и другой. В Турцию Французы могут снарядить корпус тысяч в 50, а чрез Пруссию могут придти в Польшу с сотнями тысяч. Отдача Варшавы Пруссии есть большая ошибка, доказывающая «слабость и недостаток предприимчивости нашего министерства»; оно дало этим «Прусскому королю в руки хлыст» против себя. Как бы то ни было, но если успехи Французов приведут их в Польшу и Турцию, то понадобится большая численная сила, чтобы их одолеть; если яге не ожидать их, а искать в Германии, то потребуется гораздо меньше. Но если будет принято последнее решение, то следует приступить к исполнению нимало не медля, ибо Французов необходимо побить основательно, «не на живую нитку», а для этого теперь понадобится войск вдвое меньше, чем в будущем году, при продолжающихся успехах общего врага. Если при ухудшившихся обстоятельствах, будет послана армия, численность которой соображена с нынешним положением дел, то «последняя лесть выйдет горше первой» [10].

В октябре сомнения Суворова на счет его назначения против Французов рассеялись, хотя войной все еще не спешили, ведя переговоры с Англией. Усердный Хвостов всюду рыскал, всех расспрашивал, обо всем разузнавал и в результате сообщил дяде успокоительное известие. Он узнал от австрийского посланника Кобенцеля, что император требует именно Суворова, и никого

другого не возьмет. Хотя графа Валериана Зубова произвели в генерал-аншефы, продолжал Хвостов, но брат его Платон очень раздосадован и обижен, что тот его в чинах догнал, и против Французов Валериана Зубова не пошлют, как ни стараются об этом некоторые. Слух ходил о назначении туда Дерфельдена, но Безбородко говорил ему, Хвостову, что это вздор и что если война состоится, то пошлют никого другого, как Суворова. Государыня к Суворову непоколебимо милостива и в его способностях настолько уверена, что никакого противуположного внушения не примет. Хвостов писал правду, и дело это приобрело такую известность, что в Пруссии начались вооружения, в смысле демонстрации в пользу Франции, которые однако же Екатерину не испугали.

Начались приготовления по указаниям военной коллегии, высочайшее же повеление на имя Суворова все еще не последовало. Назначено какие войска пойдут в поход, приказано их укомплектовывать, ставить на военную ногу и подготовлять все остальные предметы военной потребности. Суворов приказал из остающихся полков выбирать в выступающие самых лучших людей, а в кавалерийских и лошадей; хилых же и ненадежных, назначенным в кампанию частям сдавать в остающиеся на месте. Укомплектование и другие приготовления шли быстро под зорким его взглядом; многие полки были уже готовы, когда о выступлении не шла еще и речь. Посыпались на Суворова кучи просьб от желавших отправиться к кампанию; он написал Хвостову, что просится генерал-аншеф князь Волконский и генерал-поручик Апраксин, что он не прочь, если чрез это не отстраняется Дерфельден. Потребовав к себе провиантмейстера, полковника Дьякова, он приказал ему привести подвижные и запасные магазины в полное комплектное, исправное состояние и пригрозил в противном случае повесить его, Дьякова, на первой осине, пояснив: «ты знаешь, друг мой, что я тебя люблю и слово свое сдержу». Пока он таким образом» готовил свои войска к походу, в Петербурге, в начале ноября, заготовлялся на его имя рескрипт. В нем значилось, что «составляется армия для отправки за границу, как на помощь союзникам, так и для охранения прав и безопасности империи нашей»; армия эта поручается начальству Суворова; формируется она, по особому расписанию, из войск Суворова, Румянцева и Репнина, численностью в 51,094 человека, с 8 генерал-майорами, 3 генерал-поручиками и 1 генерал-аншефом. Войска должны быть совершенно готовы к выступлению на Краков не позже 4 недель; в свое время последует повеление с подробным наставлением о времени выступления, куда идти и проч., во ожидании чего войска должны

быть укомплектованы по штатам военного времени; о ходе укомплектования и о времени, когда все может быть готово — доносить и наблюсти, «чтобы полки имели полное число воинов не на одном показании полковых командиров, но все бы они находились под знаменами в действительном строю». Но этот проект рескрипта так и остался проектом: в ноябре Екатерина скончалась, и вступивший на престол Император Павел отменил отправку войск за границу [11].

Так лопнула надежда Суворова — померяться с новым противником, который уже несколько лет, к общему недоумению, вел с коалицией неравную борьбу счастливо и успешно. Суворов мог утешаться тем, что произошло это не по его вине; но относительно персидской экспедиции не было у него и такого утешения. Она вызвана была желанием — не давать Австрийскому императору вспомогательный корпус войск или денежную субсидию, что следовало сделать на основании заключенного с ним трактата, если Россия не будет иметь на руках своей войны. Экспедиция обещала выгоду — утвердить русское владычество на берегах Каспийского моря, чего добивался Петр Великий, а местные смуты давали для войны достаточно поводов. Официальною целью похода было наказание Шейх-али-хана дербентского и Агу-Магомет-хана, за их неприязненные поступки против России. Цель эта, и даже занятие Испагани, в Петербурге казалась очень легкою; Валериан Зубов хвастал, что доберется до Испагани не позже сентября; участники экспедиции заранее распределяли между собою щедрые награды. Вся черная подготовительная работа возложена была на командующего Кавказским корпусом, генерал-аншефа Гудовича; во время военных действий ему предстояла тоже второстепенная, но самая трудная роль, — забота о продовольствии и заведование тылом, — хотя он был старше чином Зубова, годился ему чуть не в деды по летам и считался в числе самых заслуженных генералов. Вообще вся обстановка отзывалась придворными, закулисными соображениями и расчетами; нахождение у трона малоспособного, честолюбивого временщика просвечивало во всем. Только этим и можно объяснить тот изумительный факт, что вместо отказавшегося от экспедиции победоносного 66-летнего фельдмаршала, имя которого составляло военную гордость России, главное начальство было поручено 25-летнему юноше, без опытности, без обнаружившегося в чем либо дарования и без заслуг, если прикинуть к нему общую мерку, которою меряют всех. Командование в последнюю Польскую войну небольшим авангардом, грабительства и насилия, да оторванная неприятельским ядром нога, — вот в сущности все,

что показала бы эта мерка.

Подробности дела — как и почему Суворов отказался от экспедиции, остаются неизвестными, но едва ли может быть сомнение, что его уговорили Зубовы. В переписке его с Хвостовым читаем, что они еще в Варшаву подсылали к нему майора Цылова, для отговаривания от персидской экспедиции; затем находим упрек, что Николай Зубов сделал его, Суворова, «ослушником воли монаршей». Уговорить Суворова было не трудно, особенно таким людям, как Зубовы, да еще при туманных политических обстоятельствах начала 1796 года. Потом его брало раздумье, а по временам и раскаяние, и потому он с горьким чувством следил за ходом экспедиции. Официально дело шло как нельзя лучше, а в действительности приобретаемые успехи совсем не стоили средств и жертв, на них затрачиваемых. Эта оборотная сторона медали была очень хорошо известна публике, но только, как всегда бывает, официальные прикрасы и умолчания служили поводом к преувеличению дурных слухов. Такими темами служили неудачный штурм передовой дербентской башни, истребление отряда подполковника Бакунина, падеж волов, недостаток продовольствия, развившиеся от употребления фруктов болезни, вредные особенности климата, большое число беглых, просьба Гудовича об увольнении его от командования на линии и пр. Взятие Дербента, занятие Баку, производство Валериана Зубова в генерал-аншефы — не разубеждало неверующих, ибо во всем этом звучала фальшивая нота, и пристрастие высшей правительственной сферы к молодому полководцу кидалось в глаза. Если в одном из своих писем к Гримму, Екатерина проводила параллель между военными действиями Зубова и Петра Великого, к резкой невыгоде последнего, без соображения условий прошедшего и настоящего времени, то каким же восхвалениям Зубова не было места при дворе, и кого эти дутые панегирики могли обмануть? [12].

Если об экспедиции Зубова строго судили дилетанты, то такому знатоку, как Суворов, имевшему вдобавок личные причины относиться к делу неприязненно, представлялась богатая тема для саркастической критики, особенно в горькие минуты. Про награждения за Дербент он пишет Хвостову, что они назначены будто за Стамбул; над производством В. Зубова в генерал-аншефы иронизирует: «граф Валериан за освобождение Грузинского царства и за завоевание знатной части Персии, стыдно сказать, генерал-аншеф; случится ему из тамошних нескольких тысяч, побить несколько десятков тысяч — и целый фельдмаршал». Официальные восхваления В. Зубова Суворов преследует сарказмами: «Граф Валериан *освободил* Грузинское

царство, — ложь, он там и не был; *лютый* Махмуд — он с ним не встречался; *покорение* — покоряют ослушных и противоборных (а их там не было); *соблюдение* (здоровья (войск, — последняя ложь; здесь умирает в год 50-й человек, а там в полгода 4-й и говорят 3,000 побито; запрещено о том рассуждать под смертною казнью». Огромные потери и издержки экспедиционного корпуса в официальных сведениях умалчивались или сглаживались, но Суворов про них знал и де лился ими с Румянцевым; когда же доносились до него тревожные слухи о разных небывалых бедствиях и катастрофах экспедиции, тогда патриотическое чувство возбуждало в нем другого рода беспокойство, и он требовал от Хвостова разъяснений. Однако, несмотря на театральное значение графа Б. Зубова, Суворов опасается его конкуренции и боится подвоха. Когда назначение Суворова против Французов было уже делом окончательно решенным, он пишет Хвостову: «слышно, победитель лютого Махмуда, сдавши команду Исленьеву, скачет в Петербург. Для чего? Вы скажете, для наставлениев по Анатолии; может быть то верно, однако сумнение, не для Французов ли?» Как бы в доказательство возможности такой перемены, он приводит и причину: «и то резон, что он послушен предписаниям, а я исполняю по обстоятельствам». Но перемена царствования одинаково наложила руку на обе экспедиции [13].

Относясь с иронией и сарказмом к Валериану Зубову, Суворов не отличался лучшими отношениями и к его братьям. Требовательный, неуживчивый, знавший себе цену, он в Польше успел оказать отечеству новые важные услуги, и разница между ним и другими обозначилась еще резче, А между этими другими находился фаворит, сделавшийся всесильным владыкой, которого Суворов знал за человека самого ординарного. Они стали, правда, свойственниками, но в настоящем случае это обстоятельство было не примиряющим, а обратно, потому что от свойственника больше требовалось, а между тем меньше получалось. Тоже самое произошло между Суворовым и Н. Зубовым, тестем и зятем.

Семейство Зубовых, принадлежавшее к известной, но не знатной фамилии, состояло в конце 80-х годов из отца, 4 сыновей и дочери. Отец, Александр Николаевич, дал своим детям довольно поверхностное образование и почти никакого воспитания; все они были люди заурядные. Один из них, Платон, родившийся в 1767 году и отличавшийся красотой, впрочем женственною, вышел в люди благодаря придворным интригам и покровительству Н. И. Салтыкова. За собою он потянул отца и братьев, и если они сделали служебную карьеру не одинакового уровня, то опять-таки вовсе не пропорционально своим личным

достоинствам или степени служебного рвения, а в силу разных посторонних обстоятельств. Действительную службу нес только один, Николай, и однако это его не выдвинуло. Впрочем слишком большое возвышение родни было вовсе не в намерениях Платона, вследствие развившегося в нем эгоизма. Вообще он в начале своего «случая» был гораздо лучше, чем в конце. В начале он был человек не злой, не злопамятный и довольно правдивый; к новому своему положению относился довольно серьезно и добросовестно, стараясь вникать в дела, к которым вовсе не был подготовлен; не ленился и не отдавался одним забавам и удовольствиям. Но эти задатки пропали бесследно, потому что ни ум Платона Зубова не отличался глубиною, ни характер устойчивостью, и голова его закружилась на высоте, куда его забросила судьба, и до которой он своими личными средствами никогда не достиг бы.

Его испортила во-первых чрезмерная благосклонность Государыни, уже состарившейся и утратившей прежнюю энергию мысли, но болезненно сохранившей энергию чувства. Она усмотрела в Зубове не то, что в нем было, а что ей было очень желательно в нем найти, и приняла его за Потемкина. Карьера Потемкина создалась не одними его государственными способностями, но и личным расположением Екатерины, и последнего было больше, чем первых; карьера Зубова выросла исключительно на одном личном расположении Государыни. Его стали приучать к делам управления, выдвигать на первые места, делать опытных и даровитых государственных людей его учителями, ставя их в тень и маскируя их действительное значение. Когда такая роль самолюбивым людям не нравилась, и происходили недоразумения и столкновения между действительными и показным руководителями, первые замечали признаки неудовольствия Государыни; им оставалось или отстраняться от дел, или подчиняться и служить пьедесталом для неспособного фаворита. При этом происходила путаница и промахи, распутывать и расправлять которые должны были они же, что не всегда было легко, а иногда и вовсе невозможно. Но все это нисколько не вразумляло Государыню; она со старческим упрямством продолжала выдвигать своего любимца на самую вершину государственного здания, и сделала его таким всесильным владыкой, каким не бывал и Потемкин.

Во-вторых Платона Зубова портила сфера, в самый центр которой он был поставлен волею Екатерины. Тут, за малыми исключениями, он встретил лесть и угодничество от самых утонченных до самых грубых форм. Пред ним курили фимиам, его превозносили до небес, удивлялись его обширному уму,

проницательности, светлому пониманию самых трудных вопросов внутренней и внешней политики. Угодить временщику, втереться к нему в милость или даже удостоиться одного благосклонного его взгляда, признавалось за верх благополучия. Не привередничали в выборе средств для достижения такого благополучия, тем паче, что признание и воспевание в Платоне Зубове великих государственных дарований, совпадало со взглядами и желаниями Государыни. Со своей стороны он постарался обзавестись несколькими умными, понимающими дело помощниками, которые однако принесли его репутации больше вреда, чем пользы, потому что были значительною долею люди бесчестные и интриганы. Таким образом, в неумолкаемом хвалебном хоре возрастала и укреплялась самоуверенность Зубова, и чем больше убеждался он в своих достоинствах, тем камертон угодничества, лести и низкопоклонства давал тон выше и выше. Один знаменитый впоследствии генерал, собственноручно и по собственной инициативе варил ему утренний кофе и относы чашку к нему в постель. Другой, в порыве благоговейной благодарности за какую-то награду, целовал ему руку. Третий в полном присутствии сената сказал ему, что некоторый зловредный гений (Потемкин) присоединил к России голые степи, а он, Зубов, завоевал плодоноснейшие страны (польские). Ежедневно многочисленные толпы наполняли его покои, ласкали последних лакеев и терпеливо сносили от них толчки, а от любимой его обезьяны всякие проказы.

Бывали острые случаи, вызывавшие как будто охлаждение к нему Императрицы, и все с замиранием сердца ожидали исхода. Но такие эпизоды разрешались скоро мировою, и с утратою Екатериною некоторой доли её гения, деятельности и силы, каждая мировая только увеличивала могущество Зубова. Он занял наконец беспримерно-высокое положение, и в нем утвердилось искреннее убеждение, что его дарования и способности вполне этому положению соответствуют. Наравне с таким гигантским самомнением развилось его властолюбие, во все вмешивавшееся и все захватывавшее, а также надменность, размерам которой трудно теперь верить. Она доходила не только до полного забвения приличий, самых общеупотребительных и безусловных, но и до низведения людей на степень неодушевленных предметов. Платон Зубов забывался даже до того, что дозволял себе дерзости в обращении с наследником престола, в присутствии его семейства и всего двора. Если прибавить ко всему этому жадность, скупость и эгоизм, развившиеся в нем по мере его восхождения кверху, то получится довольно полный очерк последнего временщика Екатерининского времени. И

однако, несмотря на непривлекательность портрета, следует сознаться, что низость приспешников, раболепно пред временщиком пресмыкавшихся, представляет собою картину, еще более отталкивающую [14].

Суворов не только не принадлежал к ним, но выделялся из общего хора в виде диссонанса. Он не будировал, не разыгрывал из себя Катона, старался даже сблизиться с «универсальным министром» или «великим визирем», как втихомолку многие называли Платона Зубова, и приобрести в нем протектора у престола, но не покупал этого ценою душевного раболепства и нравственного унижения. В начале поприща временщика, когда Суворов находился в Финляндии, между ними не происходило никаких столкновений, и Суворов мог жаловаться только на равнодушие и безразличность к нему Платона Зубова. В Херсоне являются некоторые симптомы неудовольствия Суворова, но больше в смысле общем, по отношению к двору и к высшей администрации, а не к Платону Зубову лично. Щадил ли Зубов чуткое самолюбие Суворова, или Суворов старался быть ручным, — трудно сказать; вернее и то и другое. В Польше, по завладении Варшавой, поводов к неудовольствиям явилось больше, вследствие различия политики «кабииетной» от «полевой», но опять-таки в смысле безличном, и тогдашние отношения между Зубовым и Суворовым скорее можно назвать хорошими. В эту же пору обе фамилии породнились, что прибавило в общественном мнении новый устой для Зубовых вообще и для Платона в частности, да и Суворову могло послужить на пользу. Платон Зубов обратился в феврале 1795 года к Суворову с письмом, очень любезно поздравляя его с предстоящим браком дочери. Суворов благодарил его «зачисто-сердечные изъяснения», прибавив: «они по государевой службе делают меня спокойным и уверенным в особе вашей», и изъявил соболезнование о постигшем его, Платона Зубова, горе — потере отца. На это последовало повое письмо Зубова; изъявляя благодарность за присылку карты расположения войск, состоящих под «знаменитым» начальством Суворова, за прежние подобные сообщения и за соболезнование о кончине родителя, Зубов говорит: «все это подтверждает ваше благосклонное ко мне расположение, коего я видел всегдашние опыты, и которое всемерно буду стараться сохранить с моей стороны во всей его силе, уверяя ваше сиятельство, что как в собственном моем, так и по службе, найдете вы меня во всякое время готовым на угодное вам». Чрез несколько дней, когда совершилось бракосочетание его брата с дочерью Суворова, он опять пишет поздравительное письмо и получает новый благодарственный ответ, с обещанием, что за обнаруживаемую

им Зубовым искренность, он Суворов будет платить искренностью же. Таким образом в 1795 году их взаимные отношения были очень удовлетворительны, и если существовали поводы к неудовольствию, то при помощи обоюдного желания и сдержанности обеих сторон, не выходили из зачаточного состояния и не вели к неприятностям [15].

Не так пошло дело в Тульчине. Поводы к перемене еще народились в Петербурге; они были не крупные, но при характере Суворова и свойствах Платона Зубова, сделали свое дело. Первым поводом были известные читателю визитные костюмы. Затем кто-то пустил слух, будто Суворов совершил запись, определив дочери 7,000 душ, пожалованные ему в кобринском уезде, 7,000 руб. годового содержания и 100,000 руб. единовременно. Ничего подобного и в помине не было, а основанием для молвы вероятно послужило составленное Суворовым несколько лет завещание, по которому Наталья Александровна должна была получить все *благоприобретенные* отцом имения и наличные деньги. Подкреплением слуху могло служить и то обстоятельство, что Суворов как будто забыл про своего сына, который с самого рождения оставался на руках у матери. Недоразумение конечно разъяснилось, Зубовы разочаровались, и это оставило в них след. Правда, дело касалось собственно Николая Зубова, но не могло не интересовать и Платона, как фактического главы семейства. Суворов узнал об этих мечтаниях позже других и принял меры, объяснив Хвостову, что составляя завещание, он имел в виду *благоприобретенные*, а не *жалованные* имения; что последних тогда не было и на них не рассчитывалось, а потому, если надо пополнить в этом смысле духовную, то чтобы Хвостов распорядился это сделать.

Новым поводом к последующим неприятностям послужила персидская экспедиция, от которой Суворов хотя и отказался, но потом об этом жалел и своего сожаления нимало не скрывал, так что о нем открыто говорил Валериан Зубов. Суворов задел Зубовых еще тем, что до своего отказа от персидской экспедиции, составил для нее список генералам, в который никого из Зубовых не включил. С другой стороны, Платон Зубов дал Суворову повод к неудовольствию, не подчинив ему флота, что было однако обещано; сверх того Суворов требовал из Тульчина на разные надобности войск — 5 миллионов рублей, а зубов пытался удовлетворить его только 100,000. Наконец, Суворова укололо возведение Платона Зубова в княжеское достоинство Римской империи. По этому поводу он писал в апреле 1796 года Хвостову: «Платон Александрович — князь по вступлении моем в Варшаву; это — мне предопределяемое и ведомо кознью осеклось».

Успокоительный ответ Хвостова мало на него подействовал, ибо «служить другим мартышкиным каштанным котом» он не любил, а только постарался замаскировать свое честолюбие посторонними резонами: «Платон Александрович — князь взял мое; вы на это холодно взираете; титлы мне не для меня, но для публики потребны». Держась своего взгляда, он поручил Хвостову «попенять Кобенцелю за императорову неблагодарность» и высказал даже свое неудовольствие в письме к Платону Зубову. Поздравив его с получением княжеского достоинства, Суворов заметил: «до меня ж император скуп: я ему больше утвердил и подарил, нежели подобные титла с собой приносят».

Эти поводы дополнялись еще и другими. Явились подозрения в намерении князя Зубова оттереть его, Суворова, от командования армией против Французов; не разрешавшееся ничем дело Вронского не давало ему покоя и внушало мысль, что оно затянулось неспроста, а по зложелательству князя Платона; припутались сюда и иные недоразумения. «Вронский лаял, но его никто палкой не ударил, хотя я того довольно стою, и ведомо от попущения князя Платона», сообщил он Хвостову. Князь Зубов, будучи безмерно властолюбив, захватил в свои руки множество высших должностей, в том числе управление всей артиллерией и Черноморским флотом. Суворов издевается над этим и говорит, что «алгебра чертящего пушку фельдцейхмейстера и знающего имена мачт и парусов адмирала» никогда не достигнет до назначения против Французов его, Суворова. Такое подозрение на счет свойств или силы Зубовской «алгебры», как мы видели не оправдалось, да и по делу Вронского едва ли Суворов был прав в свои подозрениях: оно просто тянулось обычным черепашьим шагом, а не дать ему хода было бы большой несправедливостью. Тем не менее, постоянно обнаруживавшееся кичливое самомнение Зубова и случаи высокомерного его невнимания к Суворову, дававшие себя чувствовать даже в тоне официальной корреспонденции, а с другой стороны крайняя чувствительность Суворова в этом отношении, — продолжали подливать масла в огонь. Суворов становился все злее в своих сарказмах, срывая сердце в интимных письмах к своему универсальному поверенному. Он радуется, когда обстоятельства придвигают графа Безбородко к преобладающему участию в делах, называет его единственным «надежным членом кабинета», а Зубова «козлом, который и с научением не будет львом», и которому пора опомниться ради блага России. Издеваясь над его угодливостью и сговорчивостью, чтобы только сохранить милость состарившейся Императрицы, Суворов пишет: «князь Платон добрый человек, тих, благочестив, бесстрастен, как будто из

унтер-офицеров гвардии; знает намеку, загадку и украшается *как угодным*, что называется в общенародии лукавым, хотя царя в голове не имеет...» В другом письме он говорит: «при его мелкоумии, он уже ныне возвышеннее князя Потемкина, который с лучшими достоинствами, в своей злобе был откровеннее и, как великодушнее его, мог быть лучше предпобежден... Я часто смеюсь ребячьей глупости князя Платона и тужу о России... Снять узду с ученика, он наденет ее на учителя. Вольтером правила кухарка, но она была умна, а здесь государство» [16].

Как ни крепился Суворов, ограничиваясь саркастическими выходками на счет Зубова в письмах к Хвостову, однако не выдержал, послал ему самому записку, в которой между прочим сказал: «Ко мне стиль ваш рескриптный, указный, повелительный, употребляемый в атестованиях!... Не хорошо, сударь». Не довольствуясь этим наставлением, Суворов решился прекратить с зазнавшимся временщиком сношения и обращаться впредь к самой Императрице. Хвостову он выставил поводами к разрыву недостаток почтения со стороны Зубова, хотя вежливость и мало тут значит, «ибо вежлив бывает и палач»; указал, что Зубов на многие бумаги вовсе не отвечает, а в последнее время и совсем перестал писать. «Князю Платону дал я над собой много власти», говорит Суворов: «ослабить оную ни у кого пет силы, остается отнестись прямо к престолу». В другом письме он замечает: «князь Платон не перестает меня атестовать», и подтверждает неоднократно выраженное прежде желание, иметь посредником между собой и Императрицей графа Безбородко, который хотя «роскошен и ленив, но мудр». Он говорит, что письма Зубова, какие будут, он без ответа не оставит, но со всякими представлениями намерен обращаться прямо к Императрице; прекращает посылку своих курьеров чрез зятя, Николая Зубова, и направляет их к Хвостову.

Хвостов обратился к Безбородко, который, отклоняя комплименты насчет своего государственного значения, охарактеризовал себя так: «я золотарь; я очищаю, что пакостит князь Зубов». Хвостов стал его убеждать от имени Суворова в необходимости меньшей уступчивости; говорил, что Екатерина отличается мудростью, любит Россию и свою славу, а он, Безбородко, проницателен и опытен; что Государыня и Европа ему верят, а потому поддаваться не следует. Безбородко на это возражал, что ему верят как деловому человеку, а к князю Зубову имеют хотя неосновательное, пристрастное доверие, но оно сильнее и ближе. На дальнейшие настояния Хвостова или, лучше сказать, Суворова — воспользоваться настоящим моментом, когда к нему, Безбородко, силою обстоятельств возвратилось прежнее

влияние (вследствие промахов Зубовской партии по сватовству Шведского короля за одной из великих княжон), Безбородко скептически отвечал, что эта перемена ненадолго, а потом опять все пойдет по прежнему. Таким образом миссия Хвостова не удалась, и быть посредником между Суворовым и Екатериной Безбородко не согласился. Несмотря на это, Хвостов одобрил принятое Суворовым решение — обращаться прямо к Государыне, а не к Зубову, но курьеры должны вручать бумаги все-таки Зубову; это будет приятно Екатерине и так советует Захар Константинович (Зотов). Переписываться с Зубовым нет надобности, кроме разве мелочей; он Суворову ничего худого сделать не в состоянии, но доводить дело до полного разрыва не следует, а лучше сохранить наружное согласие «с особою верховного избрания». «Он свойства доброго», заключает Хвостов: «подлинно сержант гвардии, но воздух вонючий — Рибасы, Марковы, Кутузовы». Таким образом Хвостов советовал почти тоже самое. на что решился Суворов, и хотя формального разрыва с князем Зубовым не произошло, но отношения стали на столько холодными и натянутыми, что при неуступчивости обеих сторон, дурной исход в будущем не подлежал сомнению, если бы не был предупрежден катастрофой, перевернувшей все вверх дном и отразившейся и на Зубове, и на Суворове.

Неудовольствие с князем Платоном отразилось и на отношениях Суворова к зятю, графу Николаю, вдобавок к другим, непосредственным поводам. Эти последние почти не выходили из круга обыденных неприятностей между тестем и зятем, от которых никто и никогда не может уберечься. Все дело лишь в том, давать ли им значение, или пропускать без внимания, ради сохранения добрых отношений. Суворов не обладал таким миролюбивым качеством; он был слишком восприимчив, и всякое лыко шло у него в строку; оттого с его стороны не делалось почти ничего для поддержания доброй связи с зятем. Н. Зубов тоже не отличался предупредительностью и не очень-то старался примениться, с помощью уступок, к неуживчивому старику. Служить Суворову в том смысле, как Хвостов, он был вовсе не расположен; быть для тестя ступенью к брату Платону — тоже не желал, да едва ли и мог, ввиду эгоизма временщика. Тесть с зятем переписку вели не частую, и временами она прерывалась. Суворова очень затрагивало, что Николай Зубов пишет редко, да еще иногда забывает подписывать свои письма, и он видел в этом пренебрежение, хотя сам часто писем не подписывал. Суворов находил еще, и не совсем несправедливо, что зять тянет больше к брату, чем к тестю и, при недоразумениях и неприятностях между ними, не оказывает последнему никакого содействия. «Князь

Платон лгал и обманывал», пишет Суворов Хвостову: «а граф Николай ему потакал, и ему недосуг было ни строчки писать, а досуг было зайца гонять. С Зубовыми нам наблюдать настоящетекущие правила, недоверия не уменьшать и цветками какими не обольщаться... Я от несбыточных услуг Зубовых удалился; граф Николай может быть скорее инструментом князя Платона, по недоразумению или невинно; чего ради ему нет никакой нужды иметь со мной переписку, а о здоровье и вы скажете. Равно мне, если он меня будет называть отцом или сыном; я ему приятель». Н. Зубов как будто переставал быть близким человеком и, так сказать, отчислялся от семейства Суворова к фамилии Зубовых. «Наташа отдана мужу, тако с ним имеет связь; он ко мне не пишет, я к ним не пишу, — Божие благословение с ними! Естественно муж имеет связь с братьями; обоюдно для брака муж и я имели связь, по совершении его она кончилась. *Родство и свойство мое с долгом моим: Бог, Государь и Отечество*. Месяц от вас писем не было, я не хотел и к вам писать, — Божья судьба всем правит». Впрочем это выдержки из писем за 7 или 8-месячный период, а потому кладут слишком густую тень, которая на самом деле не была такой мрачной и перемежалась просветами. Во всем этом сказывается Суворов, и если бы понадобился вывод — кто же из них двух, тесть или зять, был главною причиною их неудовлетворительных отношений, то справедливость указала бы на Суворова [13].

К дочери он продолжал питать привязанность, но прежние горячие и нежные её заявления встречаются гораздо реже. Оно и понятно после лихорадочного его желания — выдать Наталью Александровну замуж и стать человеком свободным. Цель эта теперь была достигнута, дочь сделалась отрезанным ломтем; она естественно тяготела к мужу больше, чем к отцу, жила с мужем хорошо, и отец успокоился. Он не забывает ее почти ни в одном письме к Хвостову, посылает благословение и иногда обращается к ней с несколькими словами. В январе 1796 года она родила мертвую дочь, когда отец находился в Петербурге; в октябре была уже во второй половине своей второй беременности; Суворов но этому поводу писал её мужу коротко: «благослови Бог Наташу в её беременности; желаю ей благополучного конца». Встречаются со стороны Суворова и мимолетные на нее неудовольствия за то, что редко пишет, но дальнейших последствий они не имеют. Вообще отношения между отцом и дочерью хорошие и спокойные; размолвки с зятем не ведут к размолвкам с дочерью.

Но выдав дочь замуж, Суворов не остался вполне бобылем и не избавился от семейных забот, так как на смену дочери явился сын. Детские свои годы до 11-летнего возраста он провел при

матери, в Москве; эти 11 лет остаются для нас совершенно темными; не знаем даже, виделся ли с ним Суворов в этот промежуток времени; если да, то проездами через Москву. В сентябре 1795 года Суворов первый раз упоминает о сыне, и именно в письме к Платону Зубову: «монаршее к сыну моему благоволение я имел счастие получить; посредство вашего сиятельства в сем случае обязывает меня всепокорнейшею вам благодарностью, и я желаю, чтобы он был полезен высочайшей службе». Из этого видно, что Аркадию предстояла тогда перемена судьбы и что Государыня, вероятно в знак внимания к его отцу, оказала ему в чем-то свое благоволение. Молодой сын Суворова однако в то время еще не появляется в Петербурге; из Москвы он был вызван лишь в январе или феврале 1796 года и назначен камер-юнкером к великому князю Константину Павловичу. По свидетельству одного современника, 11-летний сын Суворова «под униженной и странной личиной, скрывал гордую, повелительную и впечатлительную душу». Отец разумеется не мог взять на себя его воспитания и образования; к подобному труду он не был ни склонен, ни способен; к тому же ему предстояла скорая поездка к новому месту службы, на юг. Естественнее всего было поручить Аркадия попечению его замужней сестры; Суворов так и поступил, а граф Николай Зубов взял на себя надзор за педагогической стороной дела.

В переписке Суворова из Тульчина, довольно часто упоминается имя его сына. Но если до той поры не имеется никаких данных для оценки воспитания и образования Аркадия, то последующее время, давая их больше, все-таки крайне бедно этим материалом. Судя по некоторым фактам и главное по последствиям, педагогический план, приложенный к сыну Суворова, не отличался ни систематичностью, ни рациональностью, и молодой Аркадий подготовлялся к жизненному поприщу отрывочно, неполно и неправильно. Оба они были одарены богатыми, хотя и несходными натурами, но отец имел и жажду, и время для самообразования, сделавшись взрослым человеком, а сын этой возможности не имел, потому что вступил в действительную жизнь на 15-летнем возрасте. Поручив своего сына его сестре и ее мужу, Суворов приставил к Аркадию нечто в роде гувернера или воспитателя и приискал учителей. Воспитателем был взят иностранец де Сион, кажется по рекомендации Платона Зубова принятый в русскую службу с чином майора. Из учителей за первое время известен Микулин, преподававший во всех четырех фортификационных классах кадетского корпуса.

Суворову сообщалось о ходе занятий его сына довольно

часто, но из этой переписки сохранились только кое-какие отрывки. Граф Николай Зубов пишет ему, что Аркадий «учится математике на основаниях алгебры, но не так, как бы готовился в академики; Микулин показывает ему при каждом уроке военные чертежи, кои он копирует изрядно и вообще к рисованию имеет безошибочное воображение. Сион, со своей стороны, довольно попечителен и, не притупляя в нем врожденного живого характера, преподает ему добрые правила; по желанию брата, князя Платона, Аркадий нередко у него бывает и, одним словом, много предвещает доброго». Со своей стороны Микулин пишет отцу, что сын «занимается разрешением задач, касающихся до общежития, наипаче же до военного состояния; притом для удовлетворения его склонности и для предварительного приготовления к фортификации, начал чертить архитектуру». На подобные извещения Суворов иногда отвечает и делает замечания, например: «Аркадий учится методически, не лучше ли ему сократить алгебру», но не настаивает на этом и отдает на усмотрение Н. Зубова. Вообще же, как видно из его письма Н. Зубову в ноябре 1796 года, занятиями своего сына он «весьма доволен». К сожалению, нет данных для исследования его взгляда и поверки сделанной аттестации [17].

Выдав дочь замуж и пристроив сына к её семейству, Суворов приобретал желанную свободу действий далеко не в том размере, как предполагал, а в некоторых отношениях даже более утрачивал, чем приобретал, потому что делался больше доступным эксплуатации других своих родственников. Все они чаяли от него разных благ и, кто только мог, старались на него действовать не в одних его собственных, но и в своих интересах. Благодаря своему значению, он служил для них обильным источником протекции, и даже одно его имя, помимо его воли, делало судьбу к ним благосклонною. Главный из них по влиянию на Суворова, Хвостов, хотя недалеко еще продвинулся, но это произошло от сплетения разных неблагоприятных обстоятельств и вознаградилось позже. Родственники Суворова, вместе с некоторыми из его приближенных, образуют вокруг него незримую сферу, где происходит борьба самолюбий и личных интересов, зарождается и зреет интрига, но все это искусно от него маскируется, ибо действуют люди, подробно его изучившие. В Тульчине повторяется тоже, что было раньше, только покрупнее, так как Суворов недавно поднялся на новую, высшую ступень и потому искателями и эксплуататорами оценивался дороже прежнего.

Старший из князей Горчаковых, племянников Суворова, пишет Хвостову из Тульчина длинное письмо, ярко освещающее

сферу, окружавшую его дядю. Описывая свое прибытие в Тульчин и радостное чувство, с которым встретил его Суворов, князь Алексей Горчаков объясняет это исключительно тем, что Суворову не перед кем было срывать сердце и изливать свою желчь по поводу разных неприятностей и недоразумений. Передавая затем смысл своих с ним разговоров, Горчаков сообщает, что причиною некоторых неприятностей он признает дежурного генерала Арсеньева, о чем и дал почувствовать дяде/ Далее даются Хвостову наставления по разным предметам и испрашиваются у него советы — как поступать и что делать. «С Зубовыми у нас совершенный разрыв», продолжает Горчаков: «так по малой мере с ним (Суворовым) сохраним союз, а паче не дозволим восторжествовать тем, которые хотят нас от него удалить. Он совершенно отступился от дочери и, что важнее, от зятя, не говорит больше о своем сыне и считает тебя и меня своими единственными близкими людьми». Горчаков впрочем усматривает тут одни слова и им не верит, но решается остаться при дяде и «терпеть все мерзости, покуда сил достанет». Арсеньев, имеющий на Суворова большое влияние, желает ему, Горчакову, всякого зла и находится с ним в отношениях дипломатических; Мандрыкин смотрит туда же, но не слишком к Суворову близок; Тищенко черен по натуре, служит Арсеньеву послушным орудием, однако любезен; Прошка «нас всех обожает и передает мне все, что происходит во внутренних покоях». Горчаков беседует с Суворовым ежедневно, часа по два наедине, «но дело не подвигается; впрочем, никакого нового любимца нет и все идет по прежнему, т.е. из него делают, что хотят». Дальше идет речь, чтобы сестер Горчакова сделать фрейлинами; действовать в этом смысле Суворов согласен, но не сам и притом окольными путями, однако обещал каждой из них по 300 душ при выходе замуж. «Но это все одни слова», снова замечает Горчаков: «ежели нужны какие письма отсюда его именем, наставь меня... О себе скажу, — я не генерал и Бог знает когда им буду; я без деревень и Бог знает когда их получу». Суворов затеял устроить женитьбу Горчакова, но он на это не соглашается, пока не получит генеральского чина, а до тех пор будет выжидать обстоятельств. «Если случится, что пошлют против французов Ферзена, как тут толкуют, я хотел бы отправиться с ним, чего ненасытно желаю; пожалуйста устрой это, потому что нужно же искать счастья где-нибудь. Дядя этим немного оскорбится, но если при нем ничего нельзя выиграть, то надо приискивать ресурсы инде». В заключение Горчаков просит передать свое письмо на прочтение брату и сестре, «ради их научения».

В пояснение этого извлечения из письма, можно разве

прибавить, что племянник, прослужив всего 7 или 8 лет до бригадира, в последующие 3 года получил еще два генеральские чина без выдающихся заслуг. Находясь в видимом противоречии с самим собой, он говорит Хвостову, что оба они «служат Суворову прибежищем в дурных обстоятельствах и что на него, дядю, не действуют никакие резоны, когда идет дело о нем самом и его эгоизме». А между тем, страницей раньше он пишет, что «внушил дяде по партикулярным делам держаться Перекусихиной и Зотова, которые ему доброжелательствуют» и, заручившись его согласием, отправил к Хвостову письмо на имя Марьи Савишны, прося именем Суворова её «посредничества» относительно назначения сестер фрейлинами. «Внушение» его так хорошо подействовало на Суворова, что тот счел нужным подкрепить свою просьбу еще следующими строками к Хвостову: «осталось у меня нечаянно давних драгоценных варшавских венгерских три бутылочки: две Марье Савишне, одну Захару Константиновичу; при обязанности моей просите, чтобы на здоровье пили». Суворов был действительно погружен в самого себя, часто забывал о других, не видя чужих интересов из-за своих собственных, но упрекать его в этом имел право не всякий. Впрочем такова уж была среда и её воззрения. Князь Алексей Горчаков был вообще не дурной человек; другие поступали еще более беззастенчиво.

Суворов, почти всегда бережливый, даже просто скупой, был и в этом отношении человеком своеобразным, не похожим на всех. В каждом периоде его жизни можно найти тому доказательства; особенно в последние годы встречаем широкую щедрость наряду чуть не со скаредностью. Пребывание его в Тульчине ознаменовалось несколькими примерами такой щедрости, и если не все они реализовались, то причины тому народились после. Сестре своей, Олешевой, он велел производить по 1,000 руб. пенсии, вероятно за её услуги по отношению к его дочери до выхода замуж. Была у него бедная родственница, девица Евпраксия Федоровна Раевская; Суворов обещал ей на приданое 6,000 руб. и, когда она была в июне сговорена, приказал Хвостову вручить ей обещанную сумму. Это не было исполнено потому, что свадьба не состоялась. В Тульчине проживал один французский эмигрант, принятый в русскую службу майором; он очень хворал, нуждался в деньгах и в уходе, и хотя желал выписать свою жену, но не мог этого сделать по крайней бедности. Суворов просил Императрицу, чрез графа Безбородко, о пожаловании эмигранту пенсии, дал ему от себя 500 руб. на путевые издержки жены и намеревался назначить по 300 руб. ежегодного пособия. Последнее вероятно не состоялось, так как князь Горчаков, написав об этом Хвостову, заметил, что если дядя

будет таким образом содержать всех, то ему самому ничего не останется, почему и просил Хвостова собрать но этому предмету справки и уведомить.

Щедрость Суворова еще более обнаружилась при следующем случае. Дежурный генерал Арсеньев, человек ничем не замечательный и состоявший при Суворове не так давно, был болен чахоткой и осенью 1796 года умер, оставив вдову с несколькими сиротами, в Петербурге или Москве, да долгу 60,000 руб. Отсутствие Арсеньевой и её детей казалось бы облегчало Суворову официальную, казенную сторону дела; не было ни плача, ни раздирающих сцен, ни щемящего зрелища нужды; нервы оставались спокойными, и соболезнование могло ограничиться одним выражением вдове сочувствия, да просьбою в Петербург об оказании милости. Суворов однако поступил не так; он назначил вдове Арсеньевой 40,000 руб. единовременно, но с уплатою в несколько сроков, о чем и вошел в переписку с Хвостовым. Письмо его замечательно между прочим тем, что не имея свободных денег и не предвидя их в близком будущем, он решил было выдать Арсеньевой деньги, подлежавшие уплате Зубовым. Нигде прямо не говорится, какие это деньги, но разные выражения наводят на мысль, что Зубовы, по смерти их отца Александра Николаевича, сумели привлечь Суворова, как своего свойственника, к складчине, на уплату оставленных покойным долгов, и на долю Суворова причлось внести 60,000 руб. Хвостов разверстал эту сумму на 4-годовой срок, по 15,000 ежегодно; ни одного взноса еще не было сделано. Желая непременно пособить Арсеньевой в её трудных обстоятельствах, Суворов, под впечатлением дурных своих отношений к Зубовым, в особенности к князю Платону, пришел к убеждению, что платить Зубовым не следует. В один и тот же день, 11 ноября, он пишет Хвостову несколько писем по этому предмету, приводя в них разные резоны в подкрепление своего решения. Доводы его вертятся преимущественно на том, что от Зубовых он ничего хорошего не видал; что они богаты, а Вера Ивановна Арсеньева бедна, причем разбирается каждый из Зубовых в отдельности, и лучше всех оказывается граф Дмитрий, наименее известный. Суворов говорит как бы в свое оправдание: «я не денежник, счет в них мало знаю, кроме казенных»; прибавляет, что «не хочет быть ослом или шутом Зубовых» и наконец указывает на главное доказательство в свою пользу:«что мне нужды до долга их отца? я повинен был только приданым». Об Арсеньевой Суворов пишет, что 20,000 рублей своего долга она должна выплатить сама, соблюдая экономию; если же не в силах будет, то он пожалуй и их возьмет на себя, вместо уплаты Зубовым, и кроме того обещает устроить в

службе её 15-летнего сына. Он посылает Хвостову особую, короткую записку, с обязательством уплаты Арсеньевой 40,000 рублей, и приписывает на ней: «сие служит вам завещанием, если бы мне последовала смерть». Но натянутость доводов, после данного Зубовым обещания, остается все-таки очевидною; сам Суворов не может этого не заметить и, отвечая на свою невысказанную мысль, пишет в одной из посылаемых записок: «это правда, ежели особливо в графе Н. Зубове буянства не приметится, то предпочитая Беру Ивановну, должен я им (все таки) вперед о 4 раз 15,000; слово мое держать, поелику Бог пособит». На этом дело и было кончено, но Вера Ивановна Арсеньева получила, как надо полагать по разным соображениям, только 10,000 рублей, которые ей были выплачены немедленно. Уплата остальных должно быть не состоялась, по наступившим вскоре непредвиденным обстоятельствам, о которых будет сказано в своем месте [18].

Таким образом проходило время Суворова в Тульчине. Он жил в замке графини Потоцкой, занимая один этаж и оставляя другой в распоряжении хозяйки; обедал в 8 часу утра, носил платье из грубой холстины, часто посещал церковь и пел на клиросе. Он очень сошелся с Потоцкою и её семейством, беспрестанно их посещал, и они у него обедали почти каждый день. У Потоцкой было две взрослые дочери, одиа в Петербурге, другая в Тульчине; из доброжелательства к матери, Суворов взялся за совершенно новое для себя дело, за сватовство. В женихи он прочил своего племянника, князя Алексея Горчакова, который жил в Тульчине несколько месяцев. Потоцкая была как видно не прочь, но Горчаков не согласился; тогда Суворов выставил кандидатом в женихи молодого Эльмпта, того самого, который был женихом его дочери. Дело кажется сладилось, благодаря именно участию в нем Суворова. Вообще же и образ его жизни, и все привычки, и причуды оставались прежние; замечается только некоторое развитие религиозного чувства и внешних его проявлений. Он например постоянно посылал деньги на поминание родителей в церковь Федора Студита, в Москве, а в 1796 году послал деньги на тот же предмет и в другую церковь, сделав кроме того в нее вклад; прежнее строгое соблюдение постов еще усилил, не принимая никакой пищи в продолжение первых трех дней страстной недели [19]. Во всем этом сказывалась старость, когда религиозное чувство нередко просыпается даже у тех, у кого дотоле дремало, и усиливается у тех, кто никогда с ним не расставался. Суворов действительно старел и это чувствовал, но старался разными способами скрывать и от себя и от других, так как, по его мнению, военный человек должен быть

постоянно крепок духом и телом, т.е. вечно юн.

Глава XXII. В Тульчине: обучение войск; 1796.

Любовь Суворова к учебным занятиям с войсками. — "Наука побеждать"; время составления, её первообраз, историческое значение с уставной стороны, военно-педагогическое с внутренней. — Начала, положенные в основу "Науки побеждать". — Нещадное преследование немогузнайства. — Важность обучения по мнению Суворова: направление и способ приложения уставных правил, т.е. боевая их целесообразность и прикладной смысле; связь между механическими приемами обучения и нравственными требованиями боевого воспитания. — Характер, свойства и некоторые частности Суворовского обучения; трудность службы с Суворовым для старших чинов и приближенных. — Устные беседы с войсками. — Соответствие воспитательного метода с боевым поприщем Суворова. — Отзывы иностранцев того времени о Суворове и его войсках.

Не только в мирное, но и в военное время, когда имелась малейшая возможность, Суворов занимался обучением войск. В мирное время он отдавался этому делу преимущественно перед всем другим, и пребывание его в Тульчине, т.е. в южно-русском районе, отличается особенным развитием этой деятельности. Он так любил учебные занятия с войсками, что очевидно исполнял не одну только обязанность, отдаваясь этому делу, а следовал

своему призванию. Припомним, что будучи еще солдатом, он добивался обучать других и был в полном удовольствии, когда ему это удавалось. С годами его призвание выражалось все яснее, когда же он сделался фельдмаршалом и ожидал войны с Францией, то предался своим любимым занятиям так усердно и широко, что они наконец были замечены и одним из летописцев записаны, с достаточною обстоятельностью для назидания потомства.

Приехав в Тульчин в начале весны, Суворов имел так много разнообразных занятий, что не мог посвятить себя сразу обучению войск. Нет однако сомнения, что с самого его назначения в Тульчин до прибытия к месту, войска уже начали заниматься по Суворовской программе и в Суворовском смысле, ибо в том районе уже было не мало старых его знакомых и сослуживцев, а потом и с ним прибыло несколько генералов, усвоивших его систему военного образования. С выходом войск в лагери, Суворов сам принял участие в этом деле, по крайней мере в ближайшей местности, под Тульчином. Состоявший при нем голландец Фалькони пишет Хвостову: «наш почтенный старик здоров; он очень доволен своим образом жизни; вы знаете, что наступил сезон его любимых удовольствий, — поля, ученья, лагери, беспрестанное движение; ему ничего больше не нужно, чтобы быть счастливым». II действительно, учебные занятия заслоняли от его внимания все прочее и заставляли его хоть временно быть довольным настоящим положением, в особенности, когда разобравшись в настоятельных делах и получив досуг, он не ограничился уже ученьями и маневрами в окрестностях Тульчина, а отправился в объезд по всему своему району [1].

С дороги он пишет разным лицам, говоря, что все у него обучаются и многие без поправки; что войска очень хороши, не обучены только ночным сражениям, но это теперь пополняется. Вернувшись в Тульчин, он сообщает князю Зубову, что «возвратился от осмотра войск здоров и доволен», а Екатерине доносит такими словами: «Вашего Императорского Величества победительные войска, — искусством, прилежанием и трудолюбием генерал-аншефов Каховского и князя Болконского, генерал-поручиков Розенберга, Любовицкого и Шевича, генерал-майоров Берхмана, Арсеньева и Текутьева, весьма исправны к дневным, как ночным баталиям и штурмам, и готовы к увенчанию себя новыми лаврами» [2].

Итак, Суворовское обучение войск имело своим предметом точным образом определенную цель — *бой в дневное и ночное время*, в разных его видах. Каким же путем шел Суворов к этой

цели и какие приемы он употреблял при исполнении своей программы? Ответ на эти вопросы дает дошедший до нас документ, военный катехизис Суворова, называемый обыкновенно «Наукой побеждать» [8].

Составление «Науки побеждать», или по крайней мере объявление её по войскам в виде обязательного руководства, относят обыкновенно к 1796 году, а некоторые даже к концу года, по кончине Екатерины. Последние основываются вероятно на том, что в этом произведении Суворова упоминается имя Императора Павла, — доказательство слабое, потому что замена одного имени другим дело весьма легкое. В действительности руководство дано войскам гораздо раньше, а записано историографами Суворова лишь в 1796 году. Из предшествовавших глав мы видели, что по «Науке побеждать» войска под начальством Суворова обучались не только в Польскую кампанию, но и до нее, когда Суворов находился в Херсоне [4]. Из некоторых мест «Науки» усматривается, что она объявлена по войскам после второй Турецкой войны, и что затем кое-что прибавлено в нее после Польской. Не может быть никакого сомнения, что она существовала раньше, но только в несколько ином виде; нынешняя же окончательная редакция ей придана в первой половине 1796 года.

Первообразом этой замечательной инструкции следует считать тот сборник правил, который под названием «Суздальского учреждения» был составлен Суворовым во время командования Суздальским полком. Хотя «Суздальское учреждение» до нас не дошло, и мы знаем из него лишь немногие отдельные мысли, изложенные в главе 3-й, но это немногое так существенно важно, что невозможно сомневаться в полной внутренней тождественности «Суздальского учреждения» и «Науки побеждать». Оба они — произведение одной и той же мысли, одного и того же взгляда на предмет; можно без особенного риска высказать предположение, что если бы «Суздальское учреждение» было найдено, то мы получили бы ту же самую «Науку побеждать», какую имеем, с частными и внешними лишь различиями. (*«Полковое учреждение», оно же "Суздальское...", было обнаружено в 1938 году в фондах Артиллерийского музея в Ленинграде, и является скорее дополнением к пехотному строевому уставу 1763 года. Отождествить "Науку.." и "..Учреждение" довольно сложно. Познакомиться с этой работой вы можете здесь: А.С. Суворов. «Суздальское учреждение» – прим. сайта Адъютант*).

«Наука побеждать» состоит из двух частей — «вахт-парада» и «словесного поучения». «Вахт-парадом» Суворов назвал приказ

или наставление — как производить ученье перед разводом. Наставление это назначалось преимущественно для начальников, но было очень хорошо известно и солдатам. Начинаясь словами, что ученье перед разводом имеет влияние на обучение, «вахт-парад» указывает на весь ход ученья сначала до конца, поясняет разные частности и дает наставления на многое, что признается более важным. «Словесное поучение солдатам о знании, для них необходимом», говорилось после развода, громогласно, наизусть, перед фронтом, командиром или другим штаб-офицером. «Поучение» это состоит из небольшого числа уставных правил того времени и, главною долею, собственно — Суворовских наставлений и афоризмов, не только боевых, но касающихся и разных сторон внутреннего быта войск. (См. Приложение VII) [10].

«Наука побеждать», если смотреть на нее с формальной. уставной стороны, представляется приложимой к делу только в ту эпоху, когда была составлена, или вернее сказать, пока оружие и формы строя той эпохи не изменились. В этом отношении она имеет в наше время только исторический интерес. Но этою стороною далеко не исчерпывается смысл Суворовского наставления; напротив, она имеет в нем сравнительно неважное значение. На войне нравственная сила в несколько крат важнее материальной; слабый телом, неумелый, но крепкий духом, сделает гораздо больше, чем обученный, но малодушный силач. Оттого в приготовлении человека к военному делу, преимущественное внимание должно быть обращено на соответственное развитие его духовной стороны, и только под влиянием и по указаниям этого нравственного воспитания должна складываться система физического образования, говоря вернее — обучения.

Для успеха на войне прежде всего нужно, чтобы человек как можно меньше боялся смерти; *как можно меньше* потому, что *совершенно* искоренить в человеке чувство самосохранения — невозможно, причем принимается в расчет конечно масса, а не исключительные, единичные натуры. Первым к тому шагом будет — приучить человека, ввиду предстоящей опасности, не ожидать ее, а идти ей на встречу; не отражать удары, а наносить их, в том соображении, что если не наносить, то без отражения дело никак не обойдется, стало быть опасности все равно не минуешь; если же обойдется, то может представиться нечто худшее — опасность без возможности её отражения. Идти же на встречу опасности — значит действовать наступательно, атаковать, что и составляет основной принцип «Науки побеждать». Давая таким образом безусловное предпочтение активному началу перед пассивным, атаке перед обороной, и сводя так сказать клином всю свою

систему к атаке, — Суворов разумеется не мог допустить в свою программу учение о действии диаметрально противуположном, потому что учить ретираде, значило бы знакомить войска с понятиями и побуждениями, искоренение которых было основной задачей Суворова. Он не видел в такой кажущейся неполноте учебной программы, вредной односторонности или пробела. По его убеждению, в отступательных движениях и действиях обучать нечему; тут больше всего требуется упорство, т.е. развитие нравственной силы, а не совершенство механических манипуляций; ретирада же будет тем упорнее, чем менее она признается в принципе и чем в войсках строже на нее взгляд.

Развитие в войсках упорства, настойчивости — проводится в «Науке побеждать» от первой до последней строки с замечательною последовательностью и вниманием. Следуя своей руководящей мысли, Суворов и в этих качествах старается развить активное начало, так как пассивным упорством русский солдат и без того отличался искони. В связи с таким требованием излагаются приемы и наставления, имеющие целью между прочим воспитать и укрепит в духовной натуре людей, особенно начальников, решимость, которая прямо содействует активной деятельности и порождает инициативу. Быть решительным вовремя и в пору, без колебаний и потери времени, очень трудно, а принимать быстро решение, соответствующее данному случаю — и того труднее, для многих же и вовсе недостижимо по свойствам натуры. Между тем решаться скоро, хоть бы выбирая и не лучшее из средств, — есть дело совершенной необходимости в живом военном искусстве вообще, а при Суворовском взгляде на это искусство — в особенности. Суворов зато не распространяется в аргументации по этому предмету, а напирает везде на быстроте действий, следовательно и решений, как на истине безусловно верной. Изведав долгим опытом, в какой сильной степени решительный образ действий электризует и подымает дух в собственных войсках, а на противника наводит опасение, вселяя в него излишнюю осторожность и робкую осмотрительность, — Суворов дает в этом смысле и краткие советы, в роде: «атакуй, с чем Бог послал».

Но чтобы решительность в выборе мер и затем в самом действии, как можно более соответствовала обстоятельствам, требуется подкрепить ее находчивостью, сообразительностью, короче говоря — сметкой. Обладая сам необыкновенной военной сметкой, т.е. глазомером, и сознавая, что в своем поприще он много был обязан именно этому качеству, Суворов ставит его чрезвычайно высоко в ряду других, необходимых для военного человека. Он внушает своим подчиненным, что хотя военное

искусство состоит в умении одолевать неприятеля, но что есть много врагов, в ряду которых неприятель занимает далеко не первое место; что страшнее неприятеля — «богадельня» (госпиталь), а опаснее богадельни — «проклятая немогузнайка, намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка». Вся эта вереница слов изображает цепь понятий, отрицающих точность, определительность, положительное знание, и обозначающих уклончивость, неподвижность ума, леность мысли, страх ответственности и т. под. Самым опасным из этих «врагов» Суворов считал «немогузнайство», питая к нему ненависть искреннюю и глубокую. Преследуя горячо этот недостаток, как обозначающий отсутствие находчивости и сметливости, а потому чрезвычайно вредный для каждого, Суворов так увлекался своею ненавистью и нетерпеливым характером, что впадал в крайность противуположную, задавая неожиданные вопросы о количестве рыбы в реке, грибов в лесу и т. под. Однако следует заметить, что ответы скорые, но глупые или пошлые, хотя и зажимали ему рот, но нисколько не удовлетворяли и не служили в пользу обнаруживавшего находчивость подобного свойства, Тем не менее «немогузнайство» постоянно претило Суворову, и что дальше, то больше, так что под конец жизни он под этим словом уже разумел чуть ли не все человеческие недостатки и прибегал к разным забавным приемам для уменьшения их прилипчивости, вроде открывания окон, несмотря на сильный мороз, окуривания ладаном и т. п.

Основав свою военно-педагогическую теорию на элементе нравственном, т.е. на закалке человеческой души и на развитии в духовной натуре человека активных боевых качеств, Суворов параллельно с этим вырабатывал и внешнюю сторону дела, Важность «экзерциции» он оценял можно сказать больше, чем кто либо другой, и именно потому, что имел свою собственную, строго осмысленную систему военного воспитания, которой у других не было. О необходимости хорошей подготовки войск на учебном поле, он заявляет в своей «Науке», внушая подчиненным, что «ученье — свет, а неученье — тьма», дает наставления о соблюдении интервалов, о сохранении везде строя и т. под. Но он не усложняет уставную оболочку дела, а упрощает; не предлагает ничего нового в *механизме* обучения, а указывает только на его *направление* и на способы *приложения*. Он требует не слепого, а осмысленного исполнения устава, т.е. спрашивает то же самое, чему учил Петр Великий, грозивший жестокими наказаниями тем, кто будет держаться устава «яко слепой стены».

Настаивая на целесообразности приложения уставных правил

к делу обучения, Суворов этим самым настаивал и на простоте обучения, потому что и то и другое сводится к исполнению лишь требуемого боевой практикой, боевая же практика очень не сложна. «Солдаты ученье любят», пишет он Турчанинову: «лишь бы кратко и с толком» [5]. Краткость и простота обучения не служат однако у Суворова синонимом, «легкости», потому что по его выражению: «легко в ученье — тяжело в походе, тяжело в ученье — легко в походе». В «Науке побеждать» поэтому нисколько не избегаются «трудности»; за то в ней нет ничего, не вызываемого боевою надобностью, а есть все, что не нюхавший порохового дыма новобранец может встретить в военном походе и на боевом поле. По этой «Науке», солдат усваивает смысл уставных правил не абстрактный, а прикладной; во время ученья он находится постоянно в обстановке настолько близкой к боевой, насколько то возможно при мирных упражнениях; курс его сжат, но весьма полон, потому что знакомит с разновидностями и даже со случайностями боя воочию. Солдату не нужно слово, которого он, без приложения к делу, или не понимает, или не усваивает, а потому Суворов дает ему в руки прямое дело, в виде примеров на все случаи. Солдат знакомится с атаками разных родов войск; он не только их видит и понимает, по и ощущает, потому что испытывает известную долю сопряженных с ними впечатлений. II цель всякого действия, и средства к её достижению усваиваются им легко, вследствие наглядности способов ознакомления; если же, как при односторонней атаке, он не видит цели, то по крайней мере знает ее: ему немного остается предполагать или воображать. От него не спрашивалось ничего лишнего против практических требований военного времени, даже мирной регулярности и стройности эволюций и особенно атак. Не прибегая к способам искусственным, которые не научают тому, для ознакомления с чем назначены, Суворовы естественным путем осваивал свои войска с «боевым беспорядком».

Таким образом, между механическими приемами обучения и нравственными требованиями, действующими воспитательно на духовную натуру человека, «Наука побеждать» проводила всюду единство и непрерывающуюся связь. Выучивая это наставление и вместе с тем действуя в полном с ним согласии на учебном поле, войска знакомились одновременно и с теорией и с практикой военного дела, без сомнений или недоумений в уме, без колебаний в воле. Отличительным свойством всей системы были именно внутренняя стройность и осмысленность, и если многие не усматривают тут ничего, кроме грубой силы, отрицающей искусство, то причиною тому или предвзятость мысли, или легковесность критики. Укажем для примера на одну частность.

Из трех направлений атаки — в лоб, во фланг и в тыл, «Наука побеждать» отдает предпочтение двум последним; если же Суворов учит не бояться первой и употребляет ее чаще, чем другие, то это потому, что в бою она труднее, а войска должны быть приучены именно к средствам трудным, требующим большой моральной силы. И действительно, в «Науке» все направлено в эту сторону; даже способ изложения — «лети, рви, ломи, скачи» — дает наставлению характер стремительности, бурной мощи, а именование тяжелой солдатской ноши, ранцев, — «ветрами», показывает, что материальные препятствия не принимаются в счет при нравственном возбуждении. Слог «Науки побеждать» краткий, прерывистый, понятный для нас лишь после многократного чтения, но он был вполне вразумителен для Суворовских войск, привыкших к оригинальной диалектике своего предводителя. «Наука» не читалась, а произносилась устно; приложите к Суворовскому слогу должную интонацию и смысл каждой фразы сделается ясен.

На ученьях и маневрах Суворов производил марши. контр-марши, обходные движения, развертывал фронт, свертывал колонны, выстраивал каре и т. д., т.е. исполнял эволюции, требуемые уставом, значит делал тоже самое, что делалось в других частях русской армии и во всех иностранных. Но все это у него имело смысл предварительных фазисов обучения, ведущих к одной конечной цели-атаке, до которой он и доходил сколько возможно скорее и прямее. А так как быстрота движений и действий считалась у него одним из главнейших условий всякого хорошо подготовленного войска, то вообще его учебные упражнения, а тем паче предварительные, не могли быть продолжительны вследствие усталости людей. Требовалось приберечь их силы к концу ученья, ибо при атаках развивалась двойная быстрота и энергия. Атаки, как и вообще маневры, бывали иногда односторонние, но с обозначением какими-нибудь признаками противника, большею же частию двусторонние. В последнем случае обе стороны, которым досталось быть противниками, строились развернутым фронтом, или в каре, или в колонны разной глубины. Колонн к атаке не было, употреблялись колонны походные, длина фронта которых изменялась по обстоятельствам, да и глубина тоже; хвост колонны служил голове резервом. Нормальным строем был развернутый. Суворов не последовал за Французами того времени, не принял колонну исключительным строем для атаки, вероятно потому, что форма строя для атаки в штыки не имеет большого значения для войск, получивших хорошую боевую подготовку и отличающихся крепостью духа, а Суворовские

войска именно этими качествами и обладали. Построившись как приказано, обе стороны одновременно начинали движение вперед и, сблизившись на сотню шагов, бросались в атаку по команде начальников, пехота бегом, кавалерия галопом. Пехота держала ружья на-руку и только в момент встречи с противником поднимала штыки, что было строго приказано, так как иначе многочисленные несчастия были неизбежны.

Непременным условием сквозной атаки было ускоренное, безостановочное движение до самой встречи и дальше. Остановка перед встречей значила бы, что войска замялись перед ударом, т.е. именно то, против чего и было направлено обучение; то же самое обозначало бы и замедление движения. Кроме того, чтобы подобная фронтальная атака служила точным подобием настоящей, люди атакующих войск должны были в момент встречи идти прямо друг на друга, не принимая в сторону. Не дозволялось также вздваивание частей и рядов, для образования интервалов к свободному прохождению атакующих сторон насквозь, как это было принято европейскими воинскими уставами, при смене боевых линий под неприятельским огнем. Такая уступка вовсе не соответствовала задаче Суворова, который и самой смены боевых линий не допускал, как противоречащей его боевым принципам. Только перед самой встречей, каждый пехотинец делал в роде полуоборота направо, что вместе с неизбежным, при быстром движении, некоторым размыканием рядов, давало людям обеих атакующих сторон возможность *протиснуться*, и пройти насквозь.

Сквозные атаки были не безопасны, если атакующие стороны состояли, одна — из пехоты, а другая — из конницы, или обе из конницы. При действии пехоты противу пехоты, и движение было менее стремительно, и образование промежутков между рядами легче. Когда же конница неслась на пехоту, а пехота бежала ей на встречу с опущенными штыками, очень трудно было соблюсти всю иллюзию атаки, т.е. не допускать не только остановки, но и колебания перед самым ударом. С этою целью, для образования интервалов, фланговые люди кавалерии принимали на скаку вправо и влево, что дозволяло и середине разомкнуть несколько ряды, до момента встречи с пехотой. Еще труднее становился маневр, когда обе атакующие стороны состояли из конницы, потому что быстрое их движение, при мало-мальски недостаточных интервалах, грозило неловким и оплошным ездокам большою опасностью. Нередко происходила настоящая свалка, с выбитыми из седла людьми, с помятыми ногами и особенно с поврежденными коленями; иной из пострадавших не в состоянии был ходить несколько дней, случалось что и несколько

недель.

Трудноисполнимость сквозных атак увеличивалась еще тем, что они происходили при ружейном и артиллерийском огне. Облака порохового дыма иногда так густо обволакивали атакующих, что сообразиться с интервалами было совсем нельзя, и тогда число несчастных случаев возрастало. При встречной атаке кавалерии и пехоты, опасности подвергалась конечно больше пехота, а потому пехотинцы, вопреки положительному приказанию, местами прибегали к вздваиванию рядов, в надежде, что в дыму и пыли это не будет замечено, в чем часто и не обманывались. Буква Суворовского приказа таким образом не исполнялась, но дух его солдаты все-таки усваивали, потому что делали описанные отступления тайком, сознавая их незаконность. Случалось также, что фронт атакующей кавалерии слишком растягивался, так что местами разрывался; заметив это, ближайшие люди пехоты толпою устремлялись в образовавшиеся промежутки. Во всяком случае, строгого порядка и педантической регулярности во всех этих движениях не могло быть, да они и не требовались, потому что Суворов добивался не мирной чистоты маневра, а сходства его с боем. Но вместе с тем он настаивал, чтобы беспорядок прекращался как можно скорее, и чтобы батальоны или эскадроны были немедленно после атаки готовы к новому удару. Благодаря качествам обучения, это достигалось вполне. Со стороны, на некотором расстоянии, было заметно лишь волнообразное движение линии при встрече и свалке, и затем, при дальнейшем движении все приходило в прежний порядок в самом скором времени. Зритель не мог себе ясно представить, каким образом эти массы людей и лошадей могли пронестись одна через другую без больших бед. И действительно, подобный способ обучения войск не мог обойтись без несчастных случаев, но они бывали не так часто, как следовало бы ожидать, судя по наружным признакам. Суворов понимал, что миновать их невозможно; тем не менее, когда кто-нибудь падал во время атаки с коня, — в нем, Суворове, замечали невольное движение беспокойства; но все-таки он не изменял своего метода, ибо был до такой степени убежден в его целесообразности, что скрепя сердце приносил мелкие жертвы крупной пользе.

Цель Суворова достигалась; сходство его учебных атак с боем было поразительное и для людей бывалых. Бурная стремительность движений; вид несущихся друг против друга масс с поднятыми саблями и опущенными впол-человека штыками, без соблюдения строгой регулярности; ружейные и пушечные выстрелы; застилающий всю картину пороховой дым; безостановочный переход атаки в свалку, при криках офицеров:

«коли, руби», и раскатывающемся по рядам атакующих «ура»; — все это близко знакомило войска с видом, требованиями и ощущениями боя. Даже несчастные случаи, при всем желании их избежать, содействовали общему впечатлению, особенно когда, по прискорбному стечению обстоятельств, подобие боя облекалось в слишком реальную форму. А это тоже изредка случалось. Однажды, на двустороннем маневре под Тульчином, Суворов командуя одною стороною, вел ее в атаку, построив в колонны. Описывающий это очевидец, молодой и расторопный офицер, задыхался от быстроты движения, был весь в поту и едва поспевал за наступающею пехотой; по его словам, такая удивительная скорость марша напоминала настоящее дело и происходила несомненно от присутствия Суворова, которое электризовало войска, Артиллерия двигалась в интервалах между колоннами, на высоте их головных частей, и производила жаркий огонь, но по прошествии немногих минут отстала и очутилась шагов на сто позади линии войск. Суворова нисколько это обстоятельство не озадачило и не заставило замедлить марш, чтобы огнем артиллерии подкреплять атаку; по всей вероятности, в энергии пехотной атаки он видел больше залогов победы, чем в слабой действительности выстрелов артиллерии, содействие которой приходилось покупать дорогою ценой. Только одна батарея, двигавшаяся в близком соседстве Суворова, не отстала от пехоты и, гордясь этим, употребляла нечеловеческие усилия, чтобы удержаться на своем месте, продолжая стрелять и наступать. Может быть вследствие этой торопливости, одно орудие, дурно пробаненное, произвело неожиданный выстрел, от которого 5 человек артиллерийской прислуги повалилось на землю. Но таково было обучение Суворовских войск, что моментально при орудии явились другие люди, и оно продолжало движение и действие наравне с прочими, как ни в чем не бывало.

Другой раз произошел случай иного свойства, Кавалерийский полк, никогда не служивший под начальством Суворова, прибыл в тульчинский лагерь. Суворов назначил ему на другой день смотр, т.е. ученье в виде двустороннего маневра против кавалерийского же полка, хорошо обученного. Командир новоприбывшего полка, убоясь, что его не проходивший Суворовскую школу полк не угодит грозному начальнику, приказал выдать своим людям, перед ученьем, по порядочной порции водки, для смелости. Водка произвела действие; полку приходилось атаковать несколько раз, и атаки эти сопровождались немалым числом сабельных ударов направо и налево. К счастию, по мирному времени, палаши и сабли не были отточены, иначе произошло бы много бед. От

Суворова скрыли эту подробность, а он сам ее не заметил, или вернее сказать, при наметанности его взгляда, сделал вид, что не заметил.

Кроме двусторонних маневров с обоими наступающими противниками, Суворов воспроизводил на своих учениях и другие виды боя. Пассивная оборона была не в его духе, ибо решающийся ограничиться обороной, как бы признает превосходство противника и обнаруживает сомнение в своих собственных силах; но при неизбежности частных оборонительных действий даже в наступательном бою, никак нельзя отрицать подобных случаев и не давать о них понятие при обучении. Поэтому у Суворова пехота часто выжидала атакующую конницу, стоя на месте, причем главный прием обучения состоял в открытии огня на самом близком расстоянии от налетавшего противника. В программу его «Науки побеждать» входили также штурмование и оборона укреплений. Для этого возводились земляные окопы по всем правилам, с глубокими рвами, усиленные разными вспомогательными преградами в виде палисадов, рогаток, засек, нескольких рядов волчьих ям и т. под. Укрепление вооружалось артиллерией и оборонялось пехотой. Атаки укрепленных мест открытою силой есть вообще дело трудное и кровопролитное, к которому прибегают редко; но трудность чего-либо была для Суворова лишнею причиной для включения в программу мирного обучения войск. Учить тому, что считается исключением из правила и на что отваживаются в редких случаях, значило приобретать то, чего противники не имеют. Но строго логичный в своей военно-воспитательной системе, которая допускала оборонительный способ действий лишь условно, Суворов поставил правилом, чтобы защитники штурмуемого укрепления, непременно переходили затем к активной роли, т.е. делались атакующими, а прежде атаковавшие — обращались в обороняющихся.

Если Суворов не мог выкинуть из программы обучения войск штурмов, то тем более должны были входить в нее всякого рода упражнения ночью. Ночной бой имеет ту особенность, что в нем не видно, кто из противников сильнее, да и огнестрельное действие, производимое наудачу, значит очень мало: отвага и смелость одни одерживают победу. Это как раз подходило к взглядам Суворова, и еще с самого начала своей боевой карьеры он не пренебрегал ночными военными действиями, как оружием, в обращении с которым другие не искусны. В ночном бою бывает столько случайностей, неожиданностей и даже так возможны катастрофы, что требуются от войск особенные выдержанность и самообладание, — опять-таки лишний резон для Суворова

сделать его предметом обучения. Поэтому он повторял свои дневные упражнения в самые темные ночи, не исключая и штурмов, так как и действительные штурмы производил по ночам, перед рассветом. Ночные маневры у него всегда оканчивались, подобно дневным, атакою холодным оружием; к сожалению неизвестно, какие приемы употреблялись для сходства учебной атаки с боевой, так как сквозные атаки едва ли были исполнены в ночную темноту, без каких-нибудь перемен в вышеобъясненном способе их производства.

Воспитывая в войсках энергию, настойчивость, упорство, и проводя для этого в обучение исключительно наступательный элемент, Суворов не только отбрасывал все, напоминающее отступление, но и клеймил это понятие злейшими сарказмами. «Ретираду» он ненавидел едва ли не больше «немогузнайства» и старался свою ненависть перелить в подчиненных. Не любил он и слова defensive, уверяя, что на русском языке соответственного слова нет, а «ретираду» произносил не иначе, как зажмурясь и нараспев. Однажды, при объезде на юге войск, он был встречен где то молодым кавалерийским офицером. Суворов любил в подобных случаях задавать разные озадачивающие вопросы, чтобы испытать находчивость, и теперь обратился к офицеру с вопросом: «что такое ретирада»? Офицер отвечал, что не знает [6]. Суворов готов был разразиться какой-нибудь резкой выходкой, как офицер прибавил: «в нашем полку это слово неизвестно, я его там никогда не слыхал». «Хороший полк», сказал Суворов успокоившись: «очень хороший полк», а потом заметил: «в первый раз немогузнайка доставил мне истинное удовольствие». Этот взгляд на злокачественность самого понятия о ретираде, издавна уже заставлял Суворова проектировать маневры так, чтобы отступательных движений не было; вместо них практиковались, как мы видели в одной из глав, обходные или боковые марши и вообще какой-нибудь прием, хотя бы сшитый белыми нитками, лишь бы предохранить девственность воинского чувства от растлевающего прикосновения ретирады. Сквозные атаки между прочим вполне удовлетворяли этому условию; там никто не отступал, все шли вперед, обе стороны были победителями, потому что проходили насквозь одна через другую и затем продолжали движение шагов с сотню. Такой порядок маневра имел еще одно выгодное свойство, достигнуть которого Суворову было очень важно. Обе стороны остановившись, поворачивались лицом друг к другу, т.е. на третью шеренгу, и снова шли в атаку; таким образом задняя шеренга делалась переднею, привыкала встречаться с противником лицом к лицу, и войска предохранялись от пагубного впечатления, которое обыкновенно

производит внезапное появление неприятеля в тылу. В понятиях Суворовских войск, привыкших ходить в атаку безразлично на заднюю и на переднюю шеренгу, этой слабой стороны не существовало, или по крайней мере она была ощутительно парализована, что и подтверждалось не только последнею Польскою войною, но и обеими Турецкими.

Брезгливость Суворова по отношению к ретирадам распространялась и на всякие движения назад, хотя бы они вовсе не обозначали отступления. Во время движения, выдвинувшиеся вперед люди не осаживались ни в каком случае, а по ним должны были равняться другие, хотя бы целый батальон. Тоже самое правило было обязательно и для войск, стоящих на месте. «Шаг назад — смерть», говорил Суворов: «вперед 2, 3, 10 шагов дозволяю». Войска, послужившие под Суворовым, знали это правило твердо; новичков он испытывал и ловил. Раз он направился верхом прямо на фронт, как бы желая через него проехать насквозь; офицер, видя голову лошади у самого фронта, приказал одному ряду вздвоить, отойдя назад. «Под арест», закричал взбешенный Суворов: «этот немогузнайка зачумит всю армию, учит ретираде» [7]. С такою же тщательностью он оберегал войска от всяких намеков и на другие вредные понятия, например от допущения возможности понести поражение. Руководясь этой мыслью, он например никогда не дозволял смены линий одной другою, и в апреле 1796 года писал Хвостову, по поводу одного дошедшего до него из Варшавы слуха: «у В. Х. Дерфельдена, по выезде моем из Варшавы, хотя приезжие уверяли, что он держится моих правил, — при прусском Фаврате задняя линия сменяла переднюю, якобы сия побита была; а сей строй ему от меня выше иного запрещен был» [1]. Точно также он сильно стоял за быстроту движений, видя в ней одно из средств возбуждения в войсках боевой энергии подъема духа. Поэтому, заметив у одного из подчиненных генералов «развод в две шеренги, без штыков, шаг тише», он не преминул сообщить о таком непонимании дела своему племяннику. О князе Репнине дошли из Литвы подобные же слухи, и Суворов снова пишет: «у князя Репнина экзерциции нет, но приказано — тихий марш и залпы, опасное и вредное; мои, кои к нему достались, очень пеняют». Последнему можно поверить, не считая эту фразу продиктованною авторским самолюбием. Суворовское обучение было не только в высокой степени логично, следовательно понятно, но и усваивалось сознательно, за чем он постоянно и следил.

Изыскивая все способы для осваивания войск с тем, что от них потребуется перед лицом неприятеля, он учил кавалерию рубить, а пехоту колоть. Но так как обучение этому делу с

нанесением ударов в пустом пространстве, не имело бы наглядности и реального значения, то приготовлялись чучелы из соломы и вязкой земли, на которые пехота и конница (особенно последняя) и ходили в атаку. При этом обучении требовалось исполнение непременного условия — наносить удары не останавливаясь и продолжать движение, что опять таки совершенно отвечало основным мыслям «Науки побеждать». Он требовал также, вопреки близоруким толкователям его афоризма «пуля дура, штык молодец», — чтобы пехота как можно чаще упражнялась в цельной стрельбе, потому что и при тогдашних ружьях стрельба могла быть более меткою и менее меткою, и высшая степень меткости зависела от хладнокровия и отсутствия торопливости при прицеливании. Суворов учил (с этими его мыслями мы уже встречались), что громкая трескотня на ветер не устрашает, а ободряет неприятеля, который оценяет силу нашего огня лишь по числу выбиваемых из строя людей. Суворов разумел, что подобная стрельба кроме того дурно характеризует нравственное настроение стреляющих, и есть признак плохой на тот случай, если придется ударить в штыки. Снабжение армии патронами, особенно при плохой организации этой части в ту эпоху, представляло большие трудности, и Суворов учит беречь пулю «на целую кампанию», стрелять «редко, да метко», имея в виду конечно и то, что выпускать пули из дула, особенно на авось, может всякий, не исключая и трусов, а сойтись на штык в состоянии только люди крепкие духом. Следовательно Суворов не противуставлял штык пуле, не исключал одним другую, а только указывал на относительные их свойства в применении в бою, и таким образом изречение его — «пуля дура, штык молодец» — остается совершенно верным.

Огнестрельному действию кавалерии он не придавал почти никакого значения и с первых своих кампаний указывал ей на холодное оружие, как на единственное, к ней подходящее. Тем не менее он не упускал из виду и цельную стрельбу кавалеристов с седла, имеющую применение в некоторых случаях боевой кавалерийской службы, а потому при атаке конницею чучел, приказывал иногда стрелять в них на скаку из пистолетов. Упражнение это производилось впрочем очень редко.

Говоря об экзерциях войск под начальством князя Репнина, Суворов назвал любимые Репниным залпы пехоты «опасными». При долгом заряжении ружей с дула и при малой дальности тогдашнего ружейного выстрела, когда пехота могла встречать залпом атакующую конницу почти в момент самого удара, — залпы действительно представлялись опасными для войск невыдержанных, чему на глазах Суворова бывали и примеры.

Однако он все-таки их употреблял, так как при отражении кавалерийских атак, нельзя было без них обойтись. Противоядием в настоящем случае служил воспитательный метод Суворова, делавший войска стойкими и близко знакомыми со штыком, так что дурная сторона залпов значительно сглаживалась. Но и при залпах следовало заботиться о наибольшей меткости огня, одновременного же прицеливания от всего строя требовать невозможно; поэтому Суворов, как косвенно подтверждается некоторыми местами «Науки побеждать», практиковал не общепринятый, а свой собственный залп. Когда произносилась команда, то каждый солдат должен был выстрелить, но не иначе, как порядочно прицелившись и не гоняясь за одновременностью звука всех выстрелов. Таким образом выпускались все нули по числу ружей, но предполагалось, что не на ветер, ибо никто не торопил, кроме скачущей неприятельской конницы. Эффект звука утрачивался в некоторой степени, а эффект неприятельской потери увеличивался.

Хотя настоящая глава не имеет предметом своим всестороннего рассмотрения Суворовского катехизиса в частностях, но нельзя не упомянуть еще про то производительное пользование каждой минутой привала (во время походных движений), которое Суворов предписывал к руководству. Правило это целиком взято им из практики военного времени, в чем имеются свидетельства, следовательно подобно всем прочим положениям «Науки побеждать», оно имело живое значение.

Полного и систематического курса Суворовского обучения войск, от первого шага до последнего, представить по неимению данных нет возможности, но и из сказанного на предшествовавших страницах можно вывести заключение, что школа Суворова была школой не только самообладания, энергии и упорства, по и живого, прикладного знания каждым своего дела. Знали не много, как раз сколько было нужно на войне, но знали в совершенстве. Бой не представлялся для Суворовских войск новостью; военные качества, приобретаемые войсками после долгих кампаний, выражаемые термином *обстрелянные войска*, были Суворовским солдатам присущи до открытия военных действий в такой степени, что разность между ними и *обстрелянными* низводилась до минимума. Хорошо выученные рекруты стоили старых, бывалых солдат. Суворовские воспитанники атаковали с несокрушимой энергией. встречали атаки спокойно и твердо. Неожиданностей для них не существовало, ибо все было предусмотрено в мирном обучении; строй не имел слабых частей, потому что в людей, из которых строй составляется, было вкоренено понятие, что фронт там,

откуда появился неприятель. Общностью и всеми частностями обучения влито в офицеров и солдат сознание, что одним огнем не добьешься победы, и что в этом убеждении заключается их превосходство над всяким неприятелем; отрицанием самой мысли о возможности отступления, ретирада сделана временным фазисом боя, ей придано лучшее её качество — упорство, а вместе с тем обеспечен переход в наступление при первой возможности. Все обучение было до последней степени просто; оно требовало, при понимании основной мысли, много внимания, но мало времени. Дурная его сторона заключалась в возможности несчастных случаев с людьми, особенно с новичками; но несчастные случаи не были часты, и неизбежность их объяснялась не суетными требованиями эффекта от мирного зрелища, как это бывало и бывает у других, а действительно — достигаемыми боевыми целями. Не одни люди, но и лошади получали в Суворовской школе боевую выдержку. Приучившись проноситься, при ружейном и артиллерийском огне, чрез пехотные ряды, они не заминались, не артачились и перед неприятельским фронтом, встречавшим кавалерию огнем с близкого расстояния. Все эти результаты были бы не достижимы, если бы в основной мысли и приемах обучения лежало неверное, сочиненное начало, или если бы вся учебная система сводилась к формам одной механической дрессировки. Надо сознаться также и в том, что они, результаты, не были бы так полны и в том случае, если бы все дело исходило не от такого непререкаемого, авторитетного лица, как всегда победоносный Суворов.

Вера солдат в Суворова не знала пределов; выросла она главным образом на победах его долгого поприща, но содействовали тому и другие характерные особенности его личности. Он был настолько же генералом, насколько и солдатом; не впадая в аффектацию можно сказать, что наиболее соответствующее ему звание или название было бы *солдат-фельдмаршал*. В сочетании этих двух понятий и заключается тайна его изумительного господства над войсками и полное себе подчинение коллективной воли множества людей. Частности его жизни, некоторые обычаи и привычки, разные причудливые выходки и неразборчивые дурачества могли не нравиться кому угодно, но только не солдатам. Умный Суворов очень хорошо это понимал и в этом направлении не стеснялся. На разводах, ученьях, маневрах, когда его побуждала необходимость, он исполнял естественные надобности, не заботясь о присутствии публики и как бы указывая солдатам, что и они, выполняя требования природы, не делают ничего худого. Только будучи чистоплотен до брезгливости, он споласкивал после того руки и

вытирал их полотенцем. Точно также, находясь перед солдатами в фельдмаршальском мундире, вышитом золотом по всем швам, обвешанный орденами и осыпанный брильянтами на сотни тысяч рублей, он не стеснялся сморкаться по-солдатски, двумя пальцами. Даже в обиходе военной службы он напоминал во многом солдата; принимая представляющихся, или рапорты, или выслушивая какое-нибудь служебное объяснение, он стоял «стрелкой», с плотно сжатыми каблуками, раздвинутыми носками и с приложенною по уставу правою рукою к козырьку гренадерской каски.

Он приходился солдатам по сердцу между прочим и потому, что не вмешивался в разные мелочи ни на учебном поле, ни на квартирах, и не любил, чтобы и другие придирались к солдатам и офицерам из за пустяков, на что обыкновенно бывает много охотников. В этом отношении он имел много общего с Потемкиным; но Потемкин баловал солдат, попуская им многое важное, Суворов же отличался большою строгостью во взысканиях, за проступки против существенных требований военной службы. Это не наносило ущерба его популярности в среде войск, скорее напротив. Вообще он был более требователен к высшим, чем к низшим, так как от первых исходит на последних и добро, и зло. Старшим офицерам и генералам было трудно служить с Суворовым, не навлекая на себя по временам его неудовольствия, как по его требовательности, так и по свойству самых требований, в которых было много необычного, лично Суворову принадлежащего. К их числу принадлежала необходимость быстрых, точных и толковых ответов на делаемые Суворовым вопросы и скорая сообразительность при получении от него приказаний; последнее было иногда очень трудно, особенно для новичков, потому что язык Суворова отличался прихотливой конструкцией, сжатостью и лаконизмом. А между тем то и другое требовалось во имя сметки и находчивости, — первостепенных качеств военного человека. «Если кто теряется от одного слова», говорил Суворов: «то на что же он будет годен при неожиданной неприятельской атаке?» Привыкали и к слову, и даже просто к звуку голоса или к жесту; приучались, под опасением едких сарказмов, понимать и приказания в форме намеков, чуть не загадок. Однажды, в послеобеденное время, Суворов кликнул дежурного адъютанта. Адъютант вошел к нему в спальню, которая служила в тоже время и кабинетом; Суворов умывался и полощась в воде, спросил: «завтра суббота?» «Да, ваше сиятельство», отвечал адъютант. «Пушки не боялись бы лошадей, а лошади пушек», сказал Суворов, продолжая умываться ни замолчал. Адъютант вышел, послал за дежурным по

тульчинскому лагерю и сказал ему, что назавтра назначается ученье кавалерии против артиллерии [4].

Нельзя не упомянуть в заключение еще об одном средстве, которое Суворов употреблял и для наставления своих войск, и для укрепления в них своей популярности. После каждого развода, ученья или смотра, он держал перед войсками речь, иногда короткую, но иногда и длинную, с час и больше. Темою для речи служило прежде всего только что оконченное ученье; Суворов делал замечания, указывал на ошибки и переходя от частностей к общему, в подробности излагал отличительные свойства хорошего служивого, как офицера, так и солдата, и условия, которым тот и другой должны удовлетворять. Затем он обращался к давно прошедшему, припоминал и указывал ошибки, сделанные тем или другим полком в том или другом деле, под его, Суворова, начальством; выставлял также подвиги или примеры поучительные, достойные подражания, и хвалил тех, кто оказал такое отличие. После всего он сводил речь на военное искусство вообще и излагал существенные его основания, указывая и на некоторые частности. Затем войска распускались по домам.

Голос Суворова не отличался силою, ни речь плавностью; говорил он кратко, отрывисто, как бы отдельными сентенциями или поговорками, совершенно так, как написана его «Наука побеждать». Оттого его не могли слышать и понимать на большом расстоянии, но когда один из иностранцев высказал сожаление, что такими наставлениями могут воспользоваться лишь немногие, то Суворов разубедил его. «Довольно и того, что передние офицеры и солдаты меня услышат и поймут», сказал он: «вечером они передадут смысл моих слов товарищам, а завтра будет их знать вся армия». Лицо, записавшее это объяснение, прибавляет, что Суворов сказал истинную правду, и что речи его служили между солдатами предметом разговоров, сильно их интересуя. И действительно солдаты, с чувством гордости и удовольствия видевшие, что фельдмаршал обращается прямо к ним и удостаивает их частыми и долгими поучениями, не могли пропускать мимо ушей его наставлений, тем паче, что на каждом шагу убеждались в их справедливости и верности.

Нельзя в заключение не заметить, что в могущественное значение и силу своего военно-педагогического метода Суворов верил вполне и совершенно, почти столько же, как и в свое личное военное дарование. Он признавал возможным, что его войска будут и без него, с другим начальником, победоносны, если хорошо им, Суворовым, обучены. Косвенных доказательств такого убеждения можно бы привести много, но довольно будет

указать на одно прямое. Он пишет Хвостову: «я экзерцирую, *сим неприятеля бью*; я выэкзерцирую войска, их могут от меня отбирать, и *ими они будут бить*; для того мне не надлежит экзерцировать. Коли ж вдруг мне самому надлежать будет драться, не поспею выэкзерцировать, будет беда, как под Кинбурном. Постигая верно, что я буду действовать без препон, остался бы я при моей экзерциции. Сумнительно, — не хочу я на иных работать и *моим хребтом их прославлять*». Положим, все эти сомнения и колебания нельзя принимать за чистую монету, потому что Суворовым руководили неудовольствие и подозрительность, но в основании все таки остается глубокое убеждение педагога в непогрешимой верности принятого им метода [8].

Изложенные в настоящей главе данные, соображения и выводы могут быть легко поверены; стоит только привести их в связь с предшествовавшею военною жизнью Суворова. Царствование Екатерины заключает в себе наибольшую долю военного поприща Суворова и для подобных сопоставлений дает материал более чем достаточный. Поверка показывает, что военно-педагогический метод Суворова был неизменно один и тот же и служил образом и подобием его характерной боевой деятельности. Но соответствие это не было замечено и оценено почти никем из его современников, как не была оценена самая деятельность, благодаря именно её оригинальным, конкретным свойствам. «На войне все просто, но эта простота дается трудно», говорит один военный писатель. Суворову эта трудная простота далась сразу, он даже почти не вырабатывал ее опытом; но она осталась непонятой другими, продолжавшими упорно смотреть на военное искусство чрез призму Фридриховских традиций, сохранивших одни омертвелые формы. Ввиду всего этого и ради полноты представления о Суворовском обучении войск, в связи с их образом действий на боевом поле, приведем выдержку из мнений иностранцев, имевших случаи наблюдать самого Суворова и его войска в последнюю Польскую войну, т.е. непосредственно перед тем временем, которое в настоящей главе описывается. Коротенькая записка эта, составленная по отзывам Пруссаков и отчасти Австрийцев, была представлена в Петербург в 1796 году и доложена Императрице. Автор ее — майор Вронский, тот самый, что подал донос на злоупотребления Суворовской администрации. По словам записки — Суворов есть разумнейший, добродетельнейший и благороднейший человек, который однако имеет слабость по себе судить о других и потому не допускает мысли, что его могут обманывать, тогда как его жестоко обманывают. Он преисполнен военных дарований, не

подражает правилам обыкновенной тактики «и стремится открыть путь к новому военному обороту». Он не любит сложных маневров, требующих большого размышления, а рассчитывает преимущественно на смелую и быструю атаку, отчего и прибегает к таким средствам, как штурм или удар пехоты на кавалерию линиею и кареем. Все подобные новости должны сильно удивлять тех, кто к ним не привык. Самый выдающийся его недостаток — своенравие, а большое достоинство — во мгновение ока узнавать истинное состояние неприятеля и схватывать слабые его стороны. Что касается до его войск, то по твердости, выносливости и послушанию, русский солдат бесспорно первый в мире. Кавалерия русская способнее брать батареи, чем наносить поражение пехоте, в чем имеет преимущество пред прусскою и австрийскою. Суворовские войска, особенно конница, не соблюдают в атаке ни линий, ни дистанций, ни порядка и часто не заботятся о своих флангах. Они могут быть побеждены тотчас по одержании ими победы, потому что не наблюдают порядка и предаются пьянству; но до сего времени им приходилось иметь дело только с такими противниками, которые не умели пользоваться этой слабой их стороной. Коль скоро русская армия в расстройстве, она будет непременно побита, потому что забыла про ретирады; даже генералы не имеют понятия об отступлении и того ради принуждены всегда атаковать. При скоплении неблагоприятных обстоятельств, подобные войска могут сильно потерпеть. Победы над русскими войсками можно достигнуть лишь с помощью, во первых, маневрирования, не допускающего их до атак холодным оружием, во вторых — ретирад, способных их завлечь, и в третьих — сильного, беспрестанного огня, которого больше всего боятся казаки. Можно еще заметить, что Русские слишком привыкли к своему «ура», прислушались к этому боевому крику и употребляют зауряд то, что надо приберегать для одних важных случаев [9].

Едва ли нужны комментарии на эту характеристику Суворова и его войск после объяснений, изложенных на предшествовавших страницах. Но из того, что отчасти сказано критиками прямо, а еще больше из того, что сквозит в их словах, можно догадываться, какое внушительное впечатление производил Суворов со своими войсками не только на противников, но и на сторонних наблюдателей.

Глава XXIII. Екатерина II и Павел Петрович; 1754-1797.

Детские годы Павла Петровича; недостатки, обнаружившиеся в нем с раннего возраста; двукратное супружество; влияние на Павла Петровича каждой из супруг; заграничные путешествия; дурные их следы. — Взаимное отчуждение Екатерины и Павла; сосредоточение последнего на гатчинских войсках; увлечение прусским образцом; выработка одностороннего, формального взгляда. — Несогласимость взглядов матери и сына; кончина Императрицы Екатерины; ее духовное завещание. — Воцарение Павла Петровича; перемены в политике; резкое изменение общественной жизни и отправления службы; щедрые награды и опалы. — Изнанка Екатерининского времени по военной части. — Необходимость реформ. — Военные преобразования Павла I; хорошие и дурные их стороны; заурядное употребление крайних мер; результат преобразовательной деятельности.

Ноября 6 Императрица Екатерина скончалась; на престол вступил сын ее, Павел Петрович.

Павел Петрович родился в 1754 году и с самых юных лет обнаруживал зачатки тех качеств, которые впоследствии сделались характеристическими его особенностями. Ни отец его, ни мать, не отличались привязанностью к своему сыну и мало

следили за его воспитанием; однако он был обставлен и веден, как вообще дети его высокого положения, и имел при себе главным наставником и наблюдателем человека с выдающимися достоинствами, Никиту Папина. Педагогическая критика нашла бы много ошибочного в системе первоначального воспитания Павла, но это в настоящем случае к делу не идет, потому что в воспитании почти всякого другого царственного ребенка можно указать на такие же или однородные недостатки, а между тем Павел вышел не похожим на других. Достаточно заметить, что указаний на систематическую порчу духовной натуры Павла Петровича с младенческих лет — не существует.

С раннего возраста в нем замечена переменчивость и непостоянство. Он беспрестанно переходил с одного предмета на другой и не имел почти ни к чему терпеливого внимания. Представлялось делом гораздо более легким — понравиться Павлу, приобрести его расположение и привязанность, чем сохранить эту привязанность на долгое время. Он был чрезвычайно восприимчив и горяч, с большим трудом сдерживал свои порывы и принимал всякого рода решения весьма быстро и необдуманно. Ему была присуща настойчивость, которую скорее можно назвать капризом воли, чем её твердостью; он с трудом сносил отказы или необходимость подождать, потерпеть. Не углубляясь в предмет своего внимания, он прельщался больше его внешностью и склонен был находить в людях дурные стороны со слов других, особенно если наговоры делались ловко, не прямым обращением к нему, Павлу, а в виде разговора двух лиц между собою. При всем своем непостоянстве в поступках и занятиях, Павел обнаруживал однако же склонность преимущественно к военному делу.

В последующее время, т.е. в возрасте юношеском, эти черты его характера развиваются и дополняются. В нем несомненно виден острый ум, хорошая память, чувствительное сердце; в его взглядах, суждениях и поступках сквозит что-то рыцарски-благородное; но все это оттеняется большими недостатками. В уме его, не мелком и не узком, не достает однако же порядка; характер, который несправедливо было бы назвать слабым, тем не менее лишен всякой выдержки и служит игралищем воображения. Образование Павла Петровича не глубокое, воображение развилось в ущерб положительному мышлению; впечатления легко воспринимаются, скользят и затем забываются; серьезного убеждения нет, а вместо него упрямство. Переменчивость и непостоянство Павла Петровича поддерживаются подозрительностью и недоверчивостью, ибо следуя советам других, он бывал неоднократно обманут; вспыльчивость и

раздражительность уже составляют резкую его особенность.

Двукратная женитьба не изменила Павла Петровича. Первая супруга, Наталья Алексеевна, не имела привязанности ни к нему, ни к его матери, не оказывала Императрице подобающего уважения, управляла мужем деспотически, более прежнего расстроила отношения его к матери и увеличила горечь в его сердце. Второй брак, с Марией Федоровной, одаренной богатыми душевными качествами, повлиял на Павла Петровича в начале благодетельно, так что при контрасте распущенного, безнравственного Екатерининского двора, семейная жизнь Павла Петровича и его супруги не замедлила привлечь к ним симпатии петербургского не придворного общества. Но это продолжалось не вечно, как увидим ниже [1].

Цесаревич предпринимал между прочим двукратное путешествие за границу; однако вояжи эти не послужили лекарством в известном направлении, а скорее наоборот. Правда, супруги обогатили себя познаниями, осматривая все достойное внимания и находясь беспрестанно в сообществе ученых, писателей, художников; но Павел усвоил ультра-аристократические идеи и вкусы, которые между тем отживали в то время, накануне французской революции, свои последние годы. Еще больший вред ему нанесло личное знакомство с Фридрихом Великим, которое, да позволено будет так выразиться, совершенно обратило его в прусскую военную веру. Присутствие гениального короля-полководца, скромно называвшего себя инвалидом; размеренные движения маневрировавших войск; доведенная до апогея стройность; отсутствие отдельного человека, исчезавшего в массе, и доведение массы до значения машины, — все это поражало и изумляло. Законченная система, вытекавшая из условий организации армии, её быта и особенностей положения Прусского государства, была очень наглядна и доступна для понимания большинства; в ней все было размерено, урегулировано и при помощи тщательной дрессировки приведено к механической исполнительности. Цесаревич был в полном восторге и не знал как выразить свое восхищение. Он сделался таким же «пруссаком», каким был его отец, и простер свое увлечение до того, что копировал Фридриха Великого во всем, даже в мелочах костюма и в посадке на коне. Такому нежелаемому обращению наследника Русского престола в «пруссака», много способствовал также пышный прием и почести во владениях Фридриха, к которым Павел Петрович не привык на родине; в Пруссии его прославляли и воспевали как ни одного германского принца, и совсем вскружили ему голову. Впечатление на этот случай

оказалось таким полным и прочным, что не могло быть сглажено ничем и не ограничилось одной военной системой. Во время второго заграничного путешествия цесаревича, Австрийский император и его родственники в Неаполе, Флоренции, Париже, Парме и Голландии усиленно старались привлечь его на сторону Австрии, но без всякого успеха: пруссофильство его осталось незыблемым [2].

Не на радость возвращался цесаревич оба раза домой. Еще будучи 10-летним ребенком, он сознавался, что ему у матери скучно, что он чувствует себя в её присутствии связанным; потом, войдя в юношеский возраст, он мог уже сознательно оценить эту ненормальность, тем паче, что условия, на которых она коренилась, с годами умножались или выяснялись. После заграничного путешествия стало еще хуже. Екатерина, всегда строго державшаяся приличий, не считала этого обязательным в отношении к сыну, часто была к нему невнимательна, суха, иногда принимала даже тон государыни. Холодность между матерью и сыном увеличивалась и переходила в чувство неприязненное. Екатерина выказывала Павлу Петровичу не только равнодушие, но и пренебрежение, а к супруге его, своей невестке, относилась зачастую с каким-то оттенком оскорбительного снисхождения, которое маскировало зависть или сознание, что Марья Федоровна обладает семейными добродетелями, которых у нее, Екатерины, нет. Со своей стороны Павел не скрывал и не мог скрыть от нее чувства отчуждения и иногда прямо выказывал свое неудовольствие, а это ни к чему доброму конечно не вело, ибо сила реванша и репрессалий находилась на стороне Екатерины. Никто не мог быть ему деятельным союзником, а против него были фавориты-временщики, которые обращались с ним и его супругой как с лицами, не имеющими никакого значения, а кому из них не хватало ума и честного чувства, тот даже не удерживался от дерзостей и оскорблений [1].

Цесаревич не имел ни определенных государственных занятий, ни какого либо делового значения. Он носил звание генерал-адмирала, но в управлении морскою частью не принимал участия; ему было предоставлено право пожалования орденом св. Анны, учрежденным его дедом, герцогом Карлом Фридрихом, но право сводилось к подписыванию грамот, а назначением ордена Екатерина распоряжалась сама. Цесаревич не присутствовал ни в совете, ни в сенате; лишь изредка Государыня говорила с ним о делах государственных, да дважды в педелю являлся он к ней для слушания депеш русских посланников. Она не любила, если кто либо обращался к цесаревичу с просьбами или искал у него

заступничества, и зорко следила, чтобы этого не было. Павел Петрович стал больше и больше уходить в самого себя; но его внутренний строй не мог дать ему ни утешения, ни успокоения, а только усиливал желчь и гнев. Цесаревич уединился в загородных дворцах Павловска и Гатчины и предался своему наиболее любимому, военному делу, так как в этой сфере у него уже сложились свои непререкаемые идеалы. Он сформировал несколько полков пехоты и кавалерии, части пешей и конной артиллерии и флотилию; все это приводилось в исполнение медленно, исподволь; полки имели микроскопические размеры в период- 300 лучшего их процветания, а офицерами в них определялись, по словам современника, «почти оборыш из армии». Цесаревич одел свои войска по прусскому образцу и ввел прусский устав. Обучение и служба производились с выполнением последних мелочей, при весьма строгой оценке; все определялось уставом и инструкциями; требовалось одно повиновение да исполнительность, и офицерам внушалось, что они ничто иное, как машина. Гатчинские войска были совершенным антиподом тогдашних русских войск вообще, Суворовских в особенности. Взыскания отличались беспощадною строгостью; в этом отношении помощники и подручники цесаревича далеко его превосходили. Каждый гатчинец был постоянно на-вытяжке, всегда при каком-нибудь деле и под страхом ответственности; служба отнимала все его время, ибо доведена была до последней степени педантства и обставлена массою формальностей, которым придавалось важное значение. И обучение, и смотры утратили смысл военных приготовительных упражнений, перестали быть средством для достижения в будущем военных целей, а сами сделались как бы конечной целью. Маленькие размеры полков и других частей не препятствовали цесаревичу с полною серьезностью смотреть на свою гатчинскую гвардию и производить с нею всевозможные эволюции и маневры. Иногда они бывали и сухопутные и водяные, с десантами и вообще с довольно сложными задачами, как например в 1796 году маневр, известный под названием; «на гатчинских водах». Вообще же и эти упражнения и сами гатчинские войска, с их физиономиею и особенностями, обнаруживали в Павле Петровиче страсть к военному делу почти того же характера, какая была у отца его, т.е. доходила иногда до значения детской игры [3].

Екатерина не мешала воинским забавам Павла Петровича уже по одному тому, что они по-видимому должны были отвлечь его внимание от занятий государственных и избавить ее от присутствия критика, большею частью безмолвного, но

непримиримого. На какие-нибудь насильственные с его стороны поступки она, зная своего сына, не рассчитывала, и потому гатчинской военной силе не придавала никакого значения, тем более, что гатчинские войска пользовались в среде преданной ей гвардии большой антипатией и были мишенью постоянных сарказмов. Не войска Павла Петровича, ничтожные по своей численности, были причиною опасений Екатерины, а сам Павел, устраненный временно от престола дворско-военным переворотом 1762 года. В царствование Екатерины не совсем исчезло сознание о правах Павла на престол; мысль об этом проявлялась временами в толках, пересудах народных и в заговорах отдельных лиц; Пугачевщина тоже признавала права Павла. Все это оставалось без дальнейших последствий, но не могло не производить в Екатерине некоторой тревоги и поддерживало её недоверие к сыну, чему со своей стороны содействовали и лица, имевшие на нее влияние, так как прочность их положения зависела отчасти от этой розни.

Впрочем инсинуации и наговоры могли иметь значение разве только в начале; для объяснения последующего времени они совсем не нужны. Рознь, посеявшаяся на благодарной почве, сама себя питает и растит, ибо сама родит новые причины вдобавок к прежним, если прежние остаются не искорененными. В этом круговороте недоразумений, неудовольствий, подозрений довольно трудно различить, что именно действует как причина и что является последствием: и первая, и последнее беспрестанно смешиваются и взаимно заменяются. Отстранение наследника престола от государственных дел, говоря принципиально, должно быть поставлено Екатерине в крупную вину; но нельзя не сознаться, что содействие цесаревича было бы отрицательным, так как он осуждал сплошь почти все, что она делала. Во вторую половину своего царствования, Екатерина придерживалась сближения с Австрией, а Павел был неотвратимый пруссофил; Екатерина вела беспрестанные войны и расширяла пределы государства, Павел был против этого; Екатерина отличалась щедростью к своим выдающимся слугам и сотрудникам (хотя бы при несправедливой оценке заслуг), — Павел стоял за строгую экономию, говоря, что «доходы государственные — государства, а не государя». Екатерина предоставляла высшим военным начальникам большую инициативу и простор в действиях; Павел подал ей записку о необходимости ограничивать каждого, от фельдмаршала до рядового, подробными на все инструкциями, а на все не указанное инструкциями, испрашивать высочайшее повеление, и таким образом «дать им способ быть хорошими, отняв способ быть дурными». Он проектировал нечто в роде

военных поселений, осуждал существовавший способ комплектования армии несвободными людьми и предпочитал вербовать иностранных наемников. Говоря о праве дворян служить и не служить, Павел Петрович заметил, что «свобода должна быть однако управляема прямым понятием оной, которое не иным приобретается, как воспитанием, но оное не может быть иным управляемо, как фундаментальными законами, а сего последнего нет». Вообще не только система управления Екатерины, но склонности и связи Государыни, её образ жизни, — все служило Павлу темою для осуждения.

Прав он был или нет, это все равно; для него первое даже было хуже, потому что должно было большее действовать на Екатерину, по пословице: «правда глаза колет». Выслушивая сына, что бывало редко, а больше узнавая про его взгляды и суждения от великого множества охотников подслужиться на его счет, Государыня убеждалась все более в глухой, пассивной, но упорной оппозиции наследника и укреплялась в мысли о необходимости устранить его от престола, чтобы он потом не испортил все ею сделанное. Хотя со вступлением Екатерины на престол, присяга приносилась не только ей, но и наследнику её Павлу, однако это обстоятельство не могло служить серьезным препятствием к замышляемой перемене, и Государыня остановилась на мысли о назначении себе преемником внука, великого князя Александра Павловича. Тайное её предположение или намерение не миновало молвы, да если В его и вовсе не существовало, то такого рода слухи были бы неизбежны; они естественно должны были возникнуть из всем известных взаимных отношений Государыни и её сына. Не замедлила молва дойти и до Павла Петровича, да и после, при разных подходящих случаях, снова возникала. Такое постоянство летучих слухов, обыкновенно переменчивых, служило дурным предзнаменованием для Павла Петровича [1].

Для того, чтобы так поступить с сыном, Екатерине ничего не требовалось, кроме решимости, потому что закона о правильном престолонаследии не было. Екатерина собиралась издать закон о преемстве престола и изложила некоторые его пункты, но он остался до её кончины не законченным или по крайней мере не обнародованным. Таким образом, на основании «Правды воли монаршей» Петра Великого, Государыня обладала несомненным правом избирать себе преемника и могла воспользоваться этим правом со спокойною совестью, потому что видела в своем сыне такие капитальные недостатки, которые, по её искреннему убеждению, делали для государства весьма опасным переход верховной власти в его руки. Но убеждение это Павел Петрович

разумеется не разделял и смотрел на него как на новую, самую большую несправедливость в ряду других, которые ему приходилось испытывать. Он видел все недостатки своей матери; в его положении они заслоняли её достоинства, и он не мог к ним относиться сколько-нибудь снисходительно. Он имел возможность постоянно наблюдать её тщеславие выше всякой меры, славолюбие в ущерб пользе и самолюбие, похожее на самообожание; она была часто несправедлива и пристрастна; любила разорительную пышность; щедрость её к фаворитам переходила в мотовство, которое расстраивало государственное хозяйство и дурно отражалось на внутренней политике; это однако же не мешало Государыне быть скупой по отношению к сыну. Внутренняя жизнь двора представляла зрелище распущенности и беспорядка; самые низкие эгоистические побуждения прикрывались маскою лицемерия и выражались подобострастием и беззастенчивою лестью, на которую Екатерина ловилась особенно легко. Годы не укрощали её страстей, а усиливали; слабость её в этом отношении доходила до болезненных проявлений, которые наполняли сыновнее сердце горечью и негодованием, так как в нем не было уже места для всепрощающей любви. Все это видел, сознавал и ощущал Павел Петрович, но был бессилен изменить, а потому поневоле подчинялся, возлагая надежды на будущее, Но роковая воля Императрицы грозила ему таким же бессилием и в будущем; с этим он помириться не мог.

Таким образом цесаревич все реже имел душевный покой, все больше подвергался напору тревожных мыслей и чувств. Он настойчивее прежнего удалялся в уединение своих загородных дворцов и находился почти постоянно в мрачном расположении духа; подозрительность и раздражительность его росли. В начале он проявлял заметную наклонность к приобретению популярности; теперь наступила другая крайность — невнимание и пренебрежение к окружающим лицам; он даже отталкивал своих сыновей грубыми выходками и пренебрежительным с ними обращением. Воображение его было наполнено видениями и призраками; малейшее противоречие производило вспышки гнева; столкновения с разными лицами сделались нормальным явлением; всюду ему чудились недостаток уважения к нему, непочтительность, революционное направление; четыре офицера были посажены под арест за революционные тенденции, выразившиеся в недостаточной длине косичек. Он не мог уже находить прежнего успокоения и в семье, потому что стал отличать и преследовать фрейлину Нелидову и чрез это унижать свою редкую супругу. Нельзя представлять Павла Петровича в

этом деле одной только жертвой интриги, задумавшей внести смуту в его семейную жизнь; иначе пришлось бы допустить, что сердечная связь между им и супругой была очень эфемерна [4].

При таком внутреннем состоянии цесаревича последовала кончина Императрицы. Павлу Петровичу по прежнему были присущи благочестие, великодушие, горячее желание добра, правдолюбие, ненависть ко лжи и особенно к лихоимству, отсутствие злопамятности и рыцарское благородство побуждений. Но эти качества оставались абстрактною его характеристикой и если имели прикладное значение, то случайно, без системы и без общей взаимной связи, а только в тех случаях, когда обстоятельства не вызывали напора противодействующих сил. На практике все доброе уничтожалось бурной горячностью, необычайной раздражительностью и подозрительностью, неразумной требовательностью, нервическим нетерпением, отсутствием всякой во всем меры и надменным непризнаванием в ком либо человеческого достоинства и свободной воли. Короче говоря и употребляя выражение одного из преданных Павлу I лиц, «рассудок его был потемнен, сердце наполнено желчи и душа гнева».

Существуют свидетельства, что Екатерина изготовила завещание, одною из статей которого сын её Павел устранялся от престола, Предание об этом шло от Безбородки. Говорят, что завещание было засвидетельствовано несколькими государственными людьми, в том числе графами Румянцевым и Суворовым. Участие последнего в этом деле подлежит сильному сомнению. Суворов никогда не находился в близкой доверенности у Императрицы и не выходил из своей военной колеи. Он не был человеком партии, не интриговал ни за, ни против Павла Петровича и вдобавок, как по обязанности своего звания, так и по монархическому убеждению, всегда оказывал наследнику престола должное почтение. Екатерина уважала Суворова и под конец стала ценить его по достоинству, но нельзя сказать, чтобы питала к нему особенное благоволение и чтобы включала его в свой близкий кружок. Правдолюбие Суворова, его грубоватое чудачество и ненависть ко двору и всему придворному достаточно тому препятствовали. Наконец, при той сильной степени раздражения и неудовольствия, которые были в нем возбуждены реформами вступившего на престол Павла И, Суворов хоть полусловом обмолвился бы в своей интимной переписке с Хвостовым о неисполненной воле покойной Императрицы; но ничего подобного не было.

Завещание Екатерины, хотя бы и без подписи Суворова, вероятно существовало; ибо если нет тому неопровержимых

положительных доказательств, то нет и отрицательных, так что предание об этом может быть принято, пока не будет опровергнуто. В такой же степени имеет вероятность и указание на графа Безбородко, как на виновника неисполнения воли покойной Екатерины, т.е. будто он указал Павлу Петровичу на завещание, которое затем и было уничтожено. Безбородко был человек, нравственные основы которого не отличались твердостью и строгой честностью. При известии о безнадежном состоянии Екатерины, он потерял голову от страха и выказал большое малодушие, а между тем не только остался при Павле, по был повышен и осыпан наградами. Приписывать это одним его деловым способностям едва ли можно, потому что Павел I принимал подобные данные к соображению только при других условиях; да и по смерти Безбородко, заметив общее сожаление об утрате такого способного министра, выразился резко; «у меня все Безбородки». Суворов на своем поприще был никак не ниже, чем Безбородко на своем; однако Государь ни мало не задумался отказаться от его службы [5].

Внезапная кончина Екатерины и воцарение Павла произвели на всех потрясающее впечатление. В гвардии плакали; рыдания раздавались и в публике, по церквам. В Петербурге дрожь всех пронимала, «и не от стужи», замечает современник: «а в смысле эпидемии». Наступающее новое время называли торжественно и громогласно возрождением; в приятельской беседе, осторожно, вполголоса — царством власти, силы и страха; втайне, меж четырех глаз — затмением свыше. Тоже самое было всюду, хоть и не в такой степени: отдаленность в этом случае много значила. Но не все имели пессимистский взгляд на будущее, и если очень мало насчитывалось поклонников Павла, то гораздо больше критиков Екатерины. В Петербурге за Павла было ничтожное число гатчинцев. В Москве, со времен Петра Великого приюте недовольных настоящим положением, «умные люди» перешептывались, что «в последние годы, от оскудения бдительности темные пятна везде пробивались чрез мерцание славы». В простом народе перемена царствования произвела радость, потому что время Екатерины было для него чрезвычайно тяжело [6].

С первых же дней нового царствования произошла перемена политики внутренней и внешней. Прекращена война с Персией, и войскам графа В. Зубова приказано возвратиться в пределы России; из недоверия к Зубову, приказ о возвращении войск был послан не только ему, но и каждому полковому командиру в отдельности. Прекращены военные приготовления против Франции; рекрутский набор, объявленный в сентябре 1796 года,

отменен; эскадрам, находившимся в Англии и в Немецком море, велено плыть в свои порты. Остановлен новый выпуск ассигнаций и медной монеты низшего достоинства; уничтожена хлебная подать; сделаны шаги к расширению свободы торговли, к устройству крепостных, имевших право на освобождение, и проч. Произведены в фельдмаршалы на первых порах граф Н. Салтыков, князь Н. Репнин и граф П. Чернышев, последний по флоту; через несколько месяцев еще Каменский и графы Эльмпт и Мусин-Пушкин, а потом князь Прозоровский, граф П. Салтыков и Гудович. Было много и других пожалований чинами, орденами, имениями; несколько месяцев спустя, по случаю коронации, последовали еще более щедрые награды: одних крепостных роздано до 200,000 душ. Щедрее всех был награжден граф Безбородко, получивший между прочим и княжеское достоинство Российской империи с титулом светлости; он сам говорил, что, благодаря щедротам Павла, имения его округлились до цифры 40,000 душ.

Наряду с этими повышениями и награждениями разных лиц, в числе которых конечно находились и гатчинские сотрудники Павла Петровича, происходили также смещение и замена лиц, ему неугодных. Немилость и кары нового Государя коснулись сначала немногих; гроза разразилась не сразу, но с кончиною Екатерины тотчас же почувствовалось её приближение. Жизнь двора и высшего круга столицы изменилась немедленно и резко; вельможи, нежившиеся в своих роскошных палатах, должны были в 7 часов утра уже быть у Государя. Деятельность правительственных учреждений закипела, служащие сидели в присутственных местах с 5 часов; сенаторы находились за красным столом в 8 часов; военные разводы производились в 9 часов ежедневно; караульная служба и казарменный быт круто повернули на новую колею. Государь принялся неотлагательно за преобразования по всем частям, преимущественно же по военной [8].

Блестящая военная эпоха Екатерининского царствования имела свою оборотную сторону, которая лицевой стороне во многом и далеко не соответствовала, Поэтому неверно было бы утверждать, что перемены по военной части, произведенные новым Государем, истекали исключительно из его оппозиции предшествовавшему царствованию и коренились единственно на духе противоречия или противодействия покойной Императрице Екатерине.

Петр Великий, составив свой «артикул» по лучшим образцам, преимущественно по шведскому, не увлекся однако же подражанием и ввел в него многие особенности, которые сделали

этот знаменитый законодательный акт вполне соответствующим русской армии. После Петра военная часть в России упала и хотя возродилась при Екатерине II в небывалом дотоле блеске, но уже с изменениями относительно состава войск, хозяйственной их части и хода службы. Сделанные изменения повели, между прочим, к расширению власти полкового командира в полковом хозяйстве. «Не могу понять, почему к полковничьим чинам доверенность стала велика», писал Румянцев Императрице после первой Турецкой войны. Но не так был худ закон, как его применение к делу. Злоупотребления выросли потому, что закон посеян был в благодарную для них почву. Они существовали и в прежние времена, но скрытно, как зло; при Екатерине же зло принарядилось, потеряло робость и перестало скрываться. Главною тому причиною была система временщичества и фаворитизма, которая обыкновенно развивает общественные пороки и понижает уровень общественной нравственности. Господство Потемкина было именно временем развития всяких злоупотреблений; его самовластие, властолюбие, леность, беспечность, эгоизм — служили другим и примером, и ширмою, и щитом. Не только безнаказанно проходило то, что было достойно наказания, но еще награждаюсь. Надзор за деятельностью учреждений ослабел и проявлялся только капризными порывами; покровительство силы парализовало закон и власть; служебное достоинство отошло на задний план. Многие высшие начальники жили в столицах пли в своих поместьях; их примеру старались следовать и младшие; управление происходило заглазно и бесконтрольно. Беспрестанные преобразования Потемкина путали, отнимали у постановлений и уставов всякую устойчивость и облегчали возможность ловить рыбу в мутной воде. В последние 5 лет царствования Екатерины, т.е. во времена всемогущества Зубова, беспорядок еще увеличился, ибо Потемкин обладал умом, дарованиями и по годам проживал на местах, которыми управлял, а Зубов, при своей неспособности, забрав в руки еще больше Потемкина, из Петербурга не отлучался [8].

При производстве в офицеры и повышении их в чинах, покровительство, протекция были самым могущественным рычагом; невнимание к заслуге доходило до цинизма. Говорилось между офицерами не о том, кто что сделал и в чем оказал отличие, а чьей милостью заручился, и какая знатная дама взялась его протежировать. Армия наполнилась иностранцами, людьми без рода и племени, казаками, которым Потемкин раздавал лучшие полки. Люди, бывшие сержантами гвардии, в два года и меньше достигали по армии чина подполковника. Чины доставались и тем, кто вовсе не служил; купцы, чтобы

получить право на приобретение деревень, записывались в гвардию, назначались к генералам адъютантами и выходили в отставку с чином. У Потемкина находилось во дворе до 200 человек, служивших конюхами, лакеями, гусарами, и он производил их в офицеры когда кто-нибудь понравится или за кого попросят. Не ограничиваясь этим, он давал офицерские чины разным ремесленникам. Так, под Хотином он произвел одного булочника в подпоручики; в Бендерах пожаловал в поручики портного за прекрасно сшитое платье княгине Долгорукой. Все были заражены легким взглядом на серьезный предмет, и всякий делал тоже самое, только в меньшем масштабе. Суворов, стоявший вместе с немногими другими выше современного общества по честности понятий и убеждений, тоже был далеко не безгрешен, как мы видели в предшествовавших главах. На просьбу одного сановника — перевести сына из гвардии под его, Суворова, начальство, он изъявляет полную готовность и «ручается, что Бог поможет молодому человеку попасть в штаб-офицеры в самое короткое время». Такова уж была атмосфера; довольно того, что Суворов смотрел на протекцию, как на компромисс с существующими порядками [9]).

Многие служили только номинально, находясь постоянно в отсутствии; в иных полках офицеров состояло на лицо одна треть: из остальных двух третей, кто скакал курьером по частным надобностям начальства, кто находился в негласном отпуску, уступив полковому командиру часть своего содержания. Многое из этого относится и к Суворову. Мы видели в главе ИХ, что он употреблял подведомственных офицеров на свои частные дела по имениям; такими же услугами пользовался он и от посторонних. В 1786 году прибыл в Кончанск, в помощь управляющему Качалову, подпоручик весьегонской команды Иванов, вероятно по сношению Качалова с начальником команды. Доброй волн Иванова тут не было, ибо едва прошло два месяца, как он униженно просится домой, говорит, что может «добрести пешком, ибо путь сух», но молит о пожаловании ему на пропитание в дороге. Качалов выдал ему 5 рублей. Курьеры возят к Суворову людей из деревни, разные вещи в столицу и из столицы и иногда ездят без служебной надобности, по одним частным его делам. Про других начальников и говорить нечего, а про Потемкина и подавно: у него курьеры делали тысячи верст из-за какой-нибудь икры или дамской шляпки. Таким образом, за огромным расходом, остающимся в полку беднякам приходилось нести двойную службу. Вытребовать офицера из незаконной отлучки в полк было тоже не легким делом; перед последней Польской войной были разосланы отсутствовавшим генералам и офицерам

самые строгие приказания, которые однако исполнялись медленно. Бывало и так, но крайней мере случилось при воцарении Павла, что офицеры, возвращавшиеся к своим полкам, блуждали их отыскивая, так как полки успели, может и не один раз, переменить свои квартиры во время их отсутствия.

Ни эти, ни другие беспорядки и злоупотребления, не имели под собой законной почвы, если разуметь букву устава 1763 года, но вытекали из значения, полученного полковниками, отчасти по смыслу устава и инструкций, а более вследствие недостаточного надзора и контроля со стороны высших военных властей. В начале 70-х годов, такое фактическое преобладание полковых командиров во всех частях полкового управления уже успело окрепнуть, а затем пошло логически развиваться из прецедентов. Участие офицеров в контроле хозяйственной части, как-то свидетельствование денежных сумм, получаемых предметов снаряжения и довольствия, выбор лиц, командируемых для покупок и проч., — сделалось вследствие начальнического давления полковников номинальным, а потому прямо вредным, так как этим ничто не удостоверялось, а только прикрывались злоупотребления. Офицеры свидетельствовали своею подписью законность цифр, под которыми скрывались «наглое похищение полковых денег и подделка расходных статей в книгах», по выражению современника-генерала, делая это под страхом лишения полковничьей милости и потери места в полку. Честным и заслуженным офицерам, навлекшим на себя неудовольствие полкового командира, приходилось выносить от него обиды и несправедливости, при представлении к производству в чины и в других многочисленных случаях. «Под тиранским полковничьим правленьем», говорит тот же современник, подтверждая своими словами многочисленные свидетельства других: «офицеры находятся в рабстве, полковник в гордости и славолюбии, а все вместе в совершенном невежестве и в незнании существа службы» [10].

Своеволие полковников было главною, но не единственною причиной незавидного положения офицеров на службе. С этой неприглядной картиной лучше всего знакомит сохранившийся документ — анонимная жалоба офицеров одного полка, без подписей, без числа, года и без означения полка или места его расположения. Адресована жалоба к какому то графу; время её составления и подачи должно быть отнесено к концу 80-х или к началу 90-х годов. Вероятно прошение было адресовано к графу Н. Салтыкову, управлявшему военным департаментом; правда, в прошении говорится, что его «истинная слава, со звуком плавающая в свете», побудила просителей на такой поступок, а

Салтыков ни в какой славе был не повинен, — но на такие выражения надо смотреть как на риторическую фигуру. Прошение написано сдержано, весьма прилично, без всяких резкостей. Жалуются на свою нищету; говорят, что часто стыдятся своих хозяев, где квартируют, скрывая он них свое состояние; во время обеда собираются там, где не было бы посторонних, и насыщаются хлебом и водою. Приложен расчет расходам: поручик получает 120 рублей, из них вычитается на парадные вещи 41 р., на оде жду и белье нельзя издержать меньше 62 р., из остатка приходится кормить 2 лошадей, а самим таким образом «питаться манною». расчет этот нисколько не дутый; например срок службы сюртуку выведен трехгодовой. Просители говорят, что недостаток средств для самой скромной жизни заставляет их входить в долги и что они не могут съездить домой, к родителям, так что иные по 12 лет дома не бывали. Но главное зло заключается все-таки не в этом. «Бедные, благородные дворяне преданы в подданство полковникам, должны им не по службе и законам повиноваться, а во всяком случае раболепствовать, все его движения усматривать и угождать. Если кто не желает быть скверно руган и всеминутно сидеть за профосом, принужден от него в подлые партикулярные должности употребляться». Оговариваясь, что упоминают в своей жалобе только про часть испытываемых гонений, просители продолжают: «не хотим именоваться донощиками, пишем от недостающих сил и терпения; отчего по малу в сердцах наших ревность к службе и расторопность в должностях исчезает, а врождает нерадение к отечеству, пренебрежение присяги и совести. это имеет кусок хлеба, уходит, да и остальные ушли бы, если бы не надежда на перемену обстоятельств» [11].

Из этого между прочим видно, какое хищническое хозяйство велось в полках и как подобная система должиа была отзываться на содержании нижних чинов. Не все конечно полковники были одинаковы, но результат получался почти однородный, судя по словам Румянцева, в донесений его Императрице: «один употребляет остаток казны на украшение полка, а другой на себя; между ними разницы мало». В том же донесении он говорит: «у нас иной счет на бумаге, а иной на деле, — и служивым, и всему им подобному». Слова эти подтверждаются со всех сторон. Жалованье и все довольствие получалось по списочному числу, а расходовалось по действительности, которая была гораздо ниже; остаток удерживался полковником. Тысячи солдат, особенно знавших ремесла, жили в поместьях начальствующих лиц (лично у Суворова никогда) и были очень этим довольны, избавляясь от тягостей тогдашней суровой службы. Другие отпускались прислугою к партикулярным лицам: при вступлении Павла I на

престол, таких обнаружено не мало. По словам Безбородко, «растасканных» разными способами из полков людей было в 1795 году до 50,000, при 400,000-ной армии. Вопреки точному указанию закона, полковые командиры, а за ними и все офицеры, брали наличных людей к себе в услужение; у генералов их было человек по 20 (у Суворова не было). Сверх того, следуя общей моде, всякий полковник старался блеснуть своими хорами музыкантов и певчих, — новый расход людей из строя. И все это делалось почти открыто, не особенно стесняясь, так что однажды в 1784 году Императрица, в своей резиденции, «усмотрела гренадера едущего за каретой в воинском мундире». По этому поводу издан был строжайший указ в подтверждение многим прежним, чтобы нижних чинов ни в какие несоответственные должности и партикулярные услуги не употреблять, но он остался мертвой буквой [12].

Б коннице злоупотребления были чуть ли не крупнее, чем в пехоте. Зачастую конные полки не имели половины лошадей, положенных штатом, и командиры старались употреблять наличных как можно реже, чтобы экономнее их содержать. От этого страдало обучение кавалерии, и она в боевых качествах далеко уступала пехоте. По словам Австрийского императора, командир русского кавалерийского полка «считал естественным и законным ежегодный доход в 20-25,000 руб.»; тут едва ли много преувеличения, так как кавалерийские полки имели сильный численный состав. А в это время младшие офицеры, послушные во всем воле полковника, разорялись от безмерного и вынужденного щегольства, солдаты же «обираемые и лишаемые предметов насущной потребности, озирались, как бы выискать случай бежать». Из южных пограничных мест бегали к Туркам капральствами, переплывали Днестр толпами, в том числе и во время командования там Суворова, Один из наших государственных людей видел их тысячами на службе у Пруссаков и Австрийцев; в небольшой шведской армии насчитывалось их больше 2000 человек. По воцарении Павла, вследствие наступивших строгостей, в одной екатеринославской губернии разыскано беглых до 400 человек [13].

Дезертирование, капитальнейшее зло тогдашней армии, поддерживалось еще дурным обращением с нижними чинами. Взыскания были суровые; двести палок считались дисциплинарною мерою заурядною. Еще при Императрице Елисавете была замечена излишняя строгость обращения начальников с солдатами, выражавшаяся нередко в серьезных увечьях, не дозволявших людям продолжать службу, почему и был издан запретительный указ. Сравнительная мягкость

правительственных принципов Екатерины сделала однако в этом отношении меньше улучшений, чем можно было ожидать, благодаря именно безнаказанному своеволию ближайших начальников и недостаточному за ними надзору.

Своеволие полковников выказывалось и во внешнем виде войск. Одни полки были одеты в темно-зеленое сукно, другие в светло-зеленое, смотря но вкусу и прихоти полкового командира. Прихоть эта в особенности выражалась на предмете соперничества полков, — музыкантских хорах, которые, в ущерб строевому составу небольших двух — батальонных полков, состояли из 50, 60 и более человек, одетых в тонкое сукно, под управлением нанятых за большую плату капельмейстеров. Щегольство внешностью не ограничивалось музыкантскими хорами; полковники сильно напирали вообще на щеголеватость их полков, а потому солдаты выводились на смотры в самом блестящем виде, что удостоверяют иностранцы. Но за то рукоять тесака горела как огонь, а полоса, закрытая ножнами, не была отчищена от ржавчины; ружье блестело как зеркало, а прикладу дана была удобная форма не для цельной стрельбы, а для прямого держания ружья в плече; огнива не закалены, и т. и. Обучение войск тоже подгоняли к наружному эффекту и вели его очень разнообразно, но беспрестанные войны Екатерининского времени, при 25-лет-нем сроке службы солдат, исправляли прихоти начальников и клали на войска боевую печать. В конце концов, полки русской армии не походили один на другой, хотя подобное разнообразие было запрещено законом. Конечно разнообразие это не имело само по себе большого значения, но оно было признаком других, существенных пороков военного управления.

Чтобы кончить с изнанкою быта русской армии в Екатерининское время, остается заметить, что хозяйство, плохое внизу, велось еще хуже на верхних ступенях и в учреждениях, не принадлежавших частям войск. Жалованье и прочее довольствие поступало в полки неисправно, запаздывая иногда на полгода и больше, что поощряло солдат к распущенности и насилиям, особенно в военное время. Комиссариат еще кое-как вел свое дело, но провиантский департамент был, по выражению Безбородко, «самый пакостный». Злоупотребления по провиантской части были феноменальные, подряды отличались страшною дороговизной, и от них сторонились люди честные, дорожившие своей репутацией. В особенности знамениты были подряды госпитальные. Припомним, как не любил госпитали Суворов; другой современник, генерал-поручик Ржевский, говорит, что госпитальная часть ужасала всякого, «кто только

каплю чести и человеколюбия имеет» [14]. Мы рассматривали одни дурные стороны армии, потому что в настоящем случае только это и нужно, но она, вопреки многочисленным язвам, служила отечеству блистательно, и боевым её качествам могла позавидовать любая армия в Европе. Значит, основной и конечной цели своего существования она отвечала, Нельзя того же сказать про привилегированный её корпус, существовавший на особых правах, про гвардию. В гвардии может быть не было места злоупотреблениям и хищничеству в армейском размере; некоторые из внутренних зол армии и вовсе не могли к гвардии привиться по местным условиям, но за то она совсем не несла боевой службы в продолжительную эпоху Екатерининских войн (да и раньше), и являлась учреждением дорогостоящим и выродившимся. Один иностранный писатель говорит: «не гвардией может блестеть Россия; с 1742 года ни один человек из гвардии в кампании не бывал». Это было сказано в 1771 году; с тех пор прошло времени почти столько же, и в военном отношении гвардия осталась на прежнем градусе, следовательно, в виду выросших боевых свойств армии, спустилась сравнительно еще ниже. Участие некоторых гвардейских частей в Финляндской войне такого заключения изменить не в состоянии, а присутствие отдельных лиц в различных делах на других театрах войн, и того меньше. Подобные волонтеры и «фазаны» ездили туда за наградами, до черной боевой работы не касались, и были там совсем не нужны; от них только увеличивались размеры штабов и свит. В последнюю Польскую войну, при графе Валериане Зубове, командовавшем небольшим авангардом небольшого корпуса Дерфельдена, состояло таких штаб-офицеров человек сорок, из коих старшему было 27 лет от роду [15].

Гвардия, ядром которой послужили «потешные» Петра Великого, была в его время учреждением в высшей степени полезным, даже необходимым. Под огненным взглядом и железною рукой великого преобразователя, она служила и работала много и сильно; благодаря ей, формировалась и вырастала русская армия. Гвардейцы были не одними учителями, а мастерами на все руки, доверенными лицами Государя в его нескончаемой и разнообразной деятельности. Служба гвардии при Петре была страдною порой. В Екатерининское время видим уже совсем не то; первоначальное Петровское значение гвардии успело утратиться, а между тем она продолжала расти, и с нею росли её привилегии, увеличивалась льготная обособленность. Одною из главных тому причин было участие гвардии или гвардейцев в переворотах престолонаследия и дворских интригах государственного значения. Гвардия сделалась баловнем

царствующих особ и особенно Екатерины; ряды её пополнялись из лучших фамилий, людьми образованными или по крайней мере светскими. Между гвардией и двором образовалась тесная внутренняя и даже наружная связь; праздная жизнь, любовь к роскоши, погоня за удовольствиями — делались насущными потребностями; гвардейцы, не исключая нижних чинов, щеголяли в богатых гражданских нарядах; строевая служба пришла в небрежение; дисциплина упала и получила оттенок не военный.

А между тем гвардейцы получали армейские полки; делались начальниками частей, закалившихся в боевой службе и во всяческих лишениях, и оттирали людей, заслуживших повышения кровью. Такая аномалия порождала недовольных, на гвардию стали смотреть в армии косо и с завистью, образовалась и укоренилась в войсках антипатия к привилегированному петербургскому корпусу. Это было замечено; задумали поставить гвардейские полки на иную ногу, назначая туда офицеров из армии, но зло слишком уже укоренилось, и реформа не состоялась. Еще указом Елисаветы в 1748 году повелено, без высочайшего разрешения не принимать в гвардейские полки солдатами детей моложе 15 лет, и в 1762 году это запрещение подтверждено указом Екатерины, но осталось без исполнения. Так дожила гвардия до царствования Павла, имея в себе очень мало военного и ровно ничего боевого.

Ненормальное положение гвардии бросалось в глаза всем, даже людям необразованным, из низших слоев. Возникали слухи, что гвардии не будет, проносилась молва о каких-то в этом отношении преобразованиях. По большей части в слухах и молве не было ни протеста, ни злого намерения; выскакивавшие из общей массы болтуны допрашивались в тайной экспедиции и затем отпускались, потому что в их словах не всегда можно было добраться даже до какой-нибудь логики. Так в 1763 году, пьяный купец Ларионов подошел в Петербурге к одному гренадеру и, едва ворочая языком, сказал, что гвардии не будет, а будет гвардиею артиллерия. Он был взят и допрашиваем; выросло целое дело, а Ларионов и не помнил, что в пьяном виде говорил. Иногда однако же высказывались мнения не в пользу гвардии из высших слоев общества. В 1786 году, генерал-аншеф князь Н. Репнин обратился к Государыне с предложением о передаче гвардии из военного в придворное ведомство. Как велико было негодование Екатерины, видно из следующего письма её к Потемкину. «Репнин сюда приехал и стал хуже старой бабы; вздумал в егорьевской думе заражать сумнением первый корпус армии, гвардию, которой я полковник, а он, дурак, за честь почитать должен, что подполковник. Почитать ли тот корпус и

инженерный — за военный, — с тем пришел словесно мне доложить. Вы понимаете, что я ему намылила голову; но как я думала, что ушам своим могу едва ли верить и не ослышалась ли я, то требовала, чтобы о том подал записку, и он оную подал. Что же мудренее всего, что в той думе сидели вице-президент военной коллегии и три майора гвардии, аки сущие болваны, и не единый вопреки не растворил уста; то-то люди, ниже мухи с носа не сгонят». Екатерина дальше называет предложение Репнина «нелепостью»; но из всего сказанного выше и из молчания членов георгиевской думы видно, что другим это нелепостью не казалось [16].

Таким образом самые основания, на коих существовала Екатерининская гвардия как военная сила, были ложны, ставили этот корпус войск ниже других и указывали, что если коренная реформа нужна, то прежде всего по отношению к гвардии. Но ясное издали и со стороны, не всегда бывает очевидным для стоящих у самого дела, особенно при предвзятых мыслях.

Император Павел принялся за реформы. Есть поводы думать, что он спрашивал мнения престарелого фельдмаршала Румянцева, к которому не раз летали курьеры из Петербурга. Румянцев сообщил Государю свои мысли откровенно, но они во многом не сходились со взглядами Государя, а потому ни к чему не привели, да и Румянцев в очень скором времени умер. С Суворовым советов не было; по характеру Суворовских военных понятий, Государь не мог дорожить его мнением. Другое дело Репнин, противник Суворовского «натурализма»; для Государя он был лицом авторитетным, и его Государь не чуждался [17].

Командующие дивизиями были уничтожены и заменены инспекторами, т.е. изменены их значение и обязанности. Генерал-аншефы переименованы в генералы от инфантерии, кавалерии и пр., генерал-поручики названы генерал-лейтенантами. Все генералы, начиная от фельдмаршалов, сделаны шефами полков, которым и даны названия по фамилиям их шефов; а так как шефов по числу полков не доставало, то многие полковники произведены в генералы. Обращено особенное внимание на расход в полках людей, внутренний и внешний. Шефы, а в отсутствие их полковые командиры могли давать офицерам отпуска не более 28 дней, а в летнее время ни на одни сутки. Без дозволения губернатора или коменданта, офицер не смел отлучаться от гарнизона вовсе, даже на одну ночь. Число ординарцев у начальствующих лиц ограничено; фельдмаршалу дозволялось иметь только двух. Предписано разыскивать нижних чинов, находившихся в партикулярном услужении по домам, дачам, деревням, и возвращать в полки. Обмундирование,

введенное по почину Потемкина, которое было просто, удобно, нравилось войскам и между прочим очень одобрялось Суворовым, изменено совершенно. Принята одежда точного прусского образца: мундир с узкими панталонами, чулки со штиблетами и повязками, лакированные башмаки; на затылке напудренной головы красовалась коса, уставной длины, увитая черною лентой. В некоторых мелочах Павел пошел даже дальше Фридриха [18].

Резкая перемена произведена также в уставе строевой службы. Основания устава и без того были прусские, но он не был копией Фридриховых регламентов; кроме того, при Екатерине, начальники могли вносить свой личный взгляд в метод применения устава к делу. Павел ввел прусский устав 1760 года, но с некоторыми исключениями и добавками, которые имели смысл не компромисса с существующим порядком, а протеста против него. Тут все было предусмотрено, взвешено и смерено, начиная с приравнения фельдмаршала к простым генералам (так как требовалось от всех одинаковая исполнительность) и кончая мерою кос; ничто не предоставлялось усмотрению и свободной воле, ничто не было условным. На точном применении и исполнении этого устава, а также какой-то добытой в Пруссии несколько лет назад «секретной» инструкции, и основывались все надежды ближайших сотрудников Государя по преобразованию русских войск из беспорядочной орды в регулярную армию. Один из них. Аракчеев, находясь в 1814 году в Париже, наивно признавался: «в наше время мы были убеждены, что чем ближе своим уставом подойдем к прусскому, чем ровнее шаг и чем правильнее плутоножная пальба, тем и надежды больше на победу». Устав проводился с настойчивостью и последовательностью изумительными. Поседевшие в боях военачальники учились маршировать, равняться, салютовать эспонтоном; гатчинские генералы и штаб-офицеры разъезжали с полномочиями Государя, делали смотры, производили ученья, указывали ошибки, разъясняли уставные требования.

Государь слил свои гатчинские войска с гвардейскими полками. Сделано это не только для награждения подчиненных минувшего тяжелого времени, но и для того, чтобы скорее переучить гвардию. А так как в его мыслях гвардия должна была оставаться рассадником начальников армии, то этим путем он и надеялся с наибольшим успехом привести армию к строгому однообразию. В тех же видах Государь ежедневно, во всякое время года, присутствовал на разводах, длившихся от 9 часов утра иногда до полудня, куда должны были собираться все генералы и офицеры петербургских войск, свободные от должностей. Кроме того был учрежден в зимнем дворце «тактический класс»,

преподавателем которого назначен полковник Каннабих, а надзирателем генерал-майор Аракчеев, петербургский комендант. В сущности все дело сводилось на разъяснение нового устава. Каннабих ломаным русским языком толковал разные части устава, преимущественно налегая на обязанности офицеров, как и где им находиться, что и когда командовать и проч., размахивал эспонтоном и показывал эспонтонные приемы. Посещение этих «тактических» лекций было обязательно только для штаб- и обер-офицеров, но из желания угодить Государю присутствовали и многие генералы, бывал часто и фельдмаршал князь Репнин. Государь также старался не пропускать чтений Каннабиха, иногда вызывал слушающих и предлагал им вопросы. В русской армии генеральный штаб существовал только в слабых зачатках, в нем чувствовалась настоятельная надобность, и в новое царствование было обращено на это внимание. Генерал-квартирмейстером был назначен Аракчеев же, который и принялся приготовлять к службе офицеров, вновь назначенных в свиту Государя по квартирмейстерской части. С семи часов утра до семи вечера (на обед давалось два часа), в зимнем дворце, под квартирою Аракчеева, сидели молодые офицеры над перечерчиванием старых планов, большею частью бесполезных; других занятий не было. Аракчеев требовал прилежания и быстроты в чертежной работе — ничего больше, являлся внезапно несколько раз в день из своей квартиры, напускал страху и опять исчезал [19].

Эти и подобные им реформы следовали быстро одни за другими, в системе и в одиночку. Не представляем полной их картины, потому что для последующего повествования довольно знать характер военных преобразований Павла I и практические приемы применения их к делу. Приемы эти отличались такою страстностью и отсутствием всяких уступок, что указывали в преобразователе не только на глубокую уверенность в пользе реформы, но и на непримиримую ненависть к недавнему прошлому. Строгость была непомерная; за сущую безделицу генералы и офицеры исключались из службы, сажались в крепость и ссылались в Сибирь; аресты считались за ничто, до того они были многочисленны. На петербургских гауптвахтах сиживало по нескольку арестованных генералов одновременно. Один генерал-майор уволен от службы за постройку полковых вещей, не сходных с образцами; другой отставлен за неформенную тесьму на гренадерских шапках; один генерал-лейтенант уволен за командирование с лошадьми строевых солдат вместо нестроевых; другой «исключен без абшита из службы за ложное показание себя больным для отбытия от инспекторского смотра»; фельдмаршалу Салтыкову объявлен в приказе выговор «за

незнание службы». При вступлении Государя на престол, приказано было исключить из службы всех офицеров, не находившихся при своих полках на лицо; один из них свидетельствует в своих мемуарах, что находился в это время в дороге, возвращаясь в полк; но все-таки понадобилась протекция, чтобы удержаться в службе. Донесения, признанные Государем неудовлетворительными, возвращались «с наддранием»; вошел в практику новый термин для некоторых случаев недобровольной отставки — «выкинут из службы»; об офицерах, просрочивших в отпуску, доносилось самому Государю и объявлялось «повсюду с барабанным боем», и многое другое.

Эта система заурядного употребления крайних мер естественно должна была распространяться, переходя от верхних ступеней к нижним, тем более, что приближенные и доверенные Государя были преимущественно гатчинцы, привыкшие к ней раньше. И точно, обращение на службе старших с младшими, особенно с солдатами, не отличавшееся мягкостью и при Екатерине, теперь приобрело еще более жесткости. Если прежде зачастую грешили против человеколюбия, то соблюдали по крайней мере известный род приличия, предоставляя расправляться с низшими непосредственным их начальникам. В гатчинских войсках смотрели на это иначе, и их понятия привились в армии быстро. Генералы не брезгали собственноручно наделять солдат палочными ударами, благо введены были новым уставом для всех офицеров форменные палки; телесные наказания стали доходить в отдельных случаях до истинной жестокости. Одно из самых доверенных у Государя лиц, генерал-майор Аракчеев, обучая Преображенский полк, ругался не выбирая слов, поправлял стойку солдат ударами палки, рвал усы у гренадер. Так же поступал он объезжая и поверяя караулы, по званию петербургского коменданта; если караул не скоро выбегал или вяло выстраивался, палочные удары щедро сыпались на неисправных, без различия-были то простые солдаты или юнкера, Обращение его с офицерами отличалось равносильною грубостью, даже хуже. «Исполненною отчаяния» — называет свою службу один из свитских офицеров по квартирмейстерской части, обучавшихся в зимнем дворце под руководством Аракчеева. Генерал-квартирмейстер разражался площадными ругательствами при малейшем поводе и под ничтожнейшими предлогами. Однажды он дошел до того, что одному из колонновожатых дал пощечину; другой раз осыпал позорною бранью заведовавшего свитскими офицерами, подполковника Лена. Лен, служивший под начальством Суворова и награжденный георгиевским крестом, сдержался, безмолвно

выслушал брань и остался при своих занятиях до конца дня; но вернувшись домой, написал Аракчееву короткое письмо и застрелился.

В то время, как Государь не скупился на взыскания и кары, от престола лились широким потоком и награды, в виде чинов, орденов, деревень. Особенно быстро шло повышение в чинах, потому что при ежедневном увольнении в отставку служащих, вакансии беспрестанно открывались, а кто получал к тому же награды чинами, то подвигался вперед со скоростью вдвойне ненормальной. Что касается до орденов, то Павел I не раздавал их, а разметывал. Так как Государь был гневлив, в движениях своего гнева скор, но не злопамятен, то случалось нередко, что лица, подвергшиеся каре, почему-либо замедленной в исполнении, не только не получали назначенного им наказания, которое затем отменялось, но были осыпаемы милостями. Знаки монаршего благоволения лились на иных истинным дождем. Нелидов из камер-пажей сделался генерал-адъютантом в год и три месяца и в такой же почти срок попал в тайные советники; Каннабих дослужился до полковничьего чина чуть ли не скорее Нелидова. Но быстрое возвышение и обилие других полученных наград, не только никого не гарантировали от внезапной немилости, а напротив. В такой переменчивости Павла I винят обыкновенно интриги, зависть и наушничество его приближенных. Они действительно не отличались доблестями и усугубляли зло, но существовавший в его царствование порядок вещей нельзя приписать посторонним влияниям. Государь был сам первым и злейшим себе врагом; в нем самом заключались дурные особенности тогдашнего правительства. Отвергать это и всю беду возлагать на посторонние воздействия и влияния, значит делать из Павла верховного вождя, не имевшего никакой самостоятельности и служившего послушным орудием в руках других. А этого не было [20].

Но так как в Государе было много очень хорошего, то это хорошее не могло не выказаться в преобразованиях. Внутри государства стало несколько спокойнее; боясь жестоких кар, власти сделались осторожнее в своих своевольствах и насилиях; грабежи по дорогам, успевшие местами перейти в хроническое состояние, или ослабели или вовсе превратились; на Волге, бывшей местом частых и дерзких разбоев, в год времени установилось такое спокойствие, которого давно не знали. В военном законодательстве проведено желание оградить наказания нижних чинов от произвола и чрезмерной жестокости начальников, для чего исполнение этих наказаний поставлено под контроль губернаторов и комендантов. Видна заботливость

уединообразить применение к делу дисциплинарных и уголовных постановлений, что было далеко не лишнее. По степени строгости требований и взысканий, при Екатерине существовали, можно сказать, три системы; Румянцева (самая строгая), Потемкина (самая слабая) и средняя между ними, Суворова. Это дурно влияло на дисциплину и субординацию; когда Репнин, последователь Румянцева, на смотрах и маневрах строго взыскивал за малейшие неисправности и упущения, слышались сквозь зубы замечания, что Суворов на все такие мелочи сквозь пальцы смотрит. Правда, взыскательность и строгость при Павле I приведены не к среднему, а к высшему градусу, но по отзыву одного современника, старого и разумного генерала, «принцип этот остался далеко не без пользы, потому что породил постоянную и недремлющую бдительность, под страхом грозной взыскательности». При Павле И уже не было прежнего незаконного расхода людей в частях войск, прекратилось растаскивание солдат частными лицами для своих партикулярных надобностей, люди не пропадали бесследно, их не обкрадывали, и начальники не наживались на их счет в прежней мере [21].

Во взглядах и поступках Государя высказывался порою такой возвышенный образ мыслей и душевная сила, которые резко выступали на темном фоне дурных его сторон. Не лишним будет один пример, хотя и не относящийся до военной части. Несколько поляков, главных деятелей революции и войны 1794 года, содержались арестованными в Петербурге, — одни вопреки объявленной Суворовым амнистии, другие в качестве пленных, один или два как не согласившиеся дать реверс. Павел I повидался с главными из них и приказал всех их выпустить на свободу, по приведении к присяге. Сделано однако характерное изъятие. Арестанты жили в частных, для них нанятых домах, кроме Капустаса и Килинского, содержавшихся в крепости вместе с двумя французами, из которых один давно уже сошел с ума, и его велено поместить в дом умалишенных, а другого, Боно, *держать по прежнему* в заключении, так как он прислан Сиверсом из Варшавы по подозрению в *шпионстве*. Косцюшке предложено вступить в русскую службу, но он отказался и пожелал выехать из пределов России, что и разрешено; он снабжен денежными средствами и уехал в Стокгольм в сопровождении двух спутников, из числа находившихся при нем приставов. Графу Потоцкому пожаловано 1000 душ; прочим выданы на проезд деньги. Капустас и Килинский получили по 100 червонцев и поехали в прусские пределы, но в марте следующего 1797 года появились в Литве, высланные из прусской Польши, как опасные люди. Литовский

генерал-губернатор пришел в большое замешательство, не зная что с ними делать, послал донесение в Петербург и испрашивал приказания. Он доносил, что Капустас и Килинский просят дозволения поселиться в польско-русских областях, но это невозможно, так как они люди «со всех сторон опасные»; кроме того, по их следам, Прусское правительство станет пожалуй высылать и других. Государь не согласился с генерал — губернатором и приказал: «предоставить Капустасу и Килинскому свободу жить, где пожелают». Они поселились в Вильне, и взгляд Государя на неосновательность опасения местного начальства оправдался [22]. Но доброе и благое в деятельности Павла I сверкало лишь в виде бликов на фоне мрачной картины его преобразовательной деятельности. Противуположные качества преобладали в подавляющем количестве и с подавляющею силой, оставляя по себе последствия, в которых тонуло почти все хорошее. Так было и в крупном, и в мелочах. Желание все урегулировать и подвести под одну мерку механической исполнительности — побудило Государя, отступив от прусского образца, унизить фельдмаршалов и дать им одинаковые с низшими генералами обязанности. К этой же цели привело производство в фельдмаршалы, в мирное время, почти десятка генералов, в том числе самых заурядных, тогда как в наследство от Екатерины он получил Румянцева и Суворова, которых знала и которыми гордилась вся Россия. Также точно ослаблен был в своем значении вообще генеральский чин, искусственным расположением генералов и производством в них юношей. Учреждение шефов уронило в глазах офицеров полковников, которые оказались связанными по рукам и ногам, — крайность еще более вредная, чем практиковавшаяся при Екатерине, ибо начальник теперь обращался в куклу. Заимствуя из прусского устава все, что бесполезно и неприложимо, переделали внутренний состав частей войск, освященный привычкою и долгим боевым опытом; ссадили штаб-офицеров пехоты с коней, так что в строю они ничего не могли видеть; уничтожили подразделения унтер-офицерских чинов, дали им алебарды вместо ружей, т.е. сделали бесполезными для боя 100 человек в полку. Вместо прежней удобной и простой одежды, принята самая причудливая и стеснительная; «смешная», как ее справедливо называли многие современники; введены лакированные башмаки, которые никогда не употребляются русскими людьми и которые мешали пехоте ходить. На походе, по грязным дорогам, солдату было истинное мученье со штиблетами, штиблетными подтяжками, крючками, башмачными петельками и проч. Прежнюю прическу, дозволявшую содержать голову в чистоте,

заменила сложная куафюра с салом, пудрой и прямыми их последствиями — паразитами; нужно было заводить парикмахеров; в ночь перед смотрами нельзя было ложиться спать, чтобы не испортить прическу, ибо два парикмахера в эскадроне едва успевали кончить свое дело, работая целую ночь.

В службе завелась надоедливая, мертвящая мелочность; в мелочах путались начальники, из мелочей не мог выбраться солдат. Все шло за предмет первостепенной важности, заднего плана не существовало, сущность дела улетучивалась. Сам Государь, бывая ежедневно на разводах, снисходил до того, что приезжал на место развода заранее, назначал линию фронта, после развода присутствовал при смене главного караула в зимнем дворце. Присылаемые Государем инспекторы имели возможность поверять лишь строевое уставное ученье, знакомиться с внешним видом войск, т.е. ревизовать то, что бросалось прямо в глаза. Доискиваться до сути им было недосужно, да и многие ли из них понимали эту суть, выйдя из узкой гатчинской школы? À между тем они, пользуясь неограниченным доверием Государя, были так сказать решителямм судеб, безапелляционными судьями. Стройность, точность, однообразие во всем, — вот чего недоставало Екатерининским войскам при первом взгляде и чем, наоборот, отличались гатчинские войска цесаревича; этот идеал и преследовался инспекторами-гатчинцами. Развились разные ухищрения и уловки. Так, при прохождении одного конного полка чрез Ригу, при недостатке новых высоких сапог, кои не успели заготовить, людям были надеты на правую ногу новые сапоги, а на левой — красовались старые, Уловка удалась, но куплена она дорогой ценою — заговором полкового командира и офицеров с солдатами, чтобы обмануть начальство. И такое безнравственное отношение к делу коренилось в самом характере требований; оно развивалось самим законом, который плодил на своих страницах мелочность ненужную, иногда неисполнимую. Устав предписывал например офицерам иметь сюртуки, зимой подбитые байкою, а летом — стамедом, «по не иметь для сего двух сюртуков». Правило об обеденных столах генералитета, на время полевых кампаний, назначало число столов, блюд и кувертов даже у фельдмаршала; прочим генеральским чинам эти цифры точным образом соответственно уменьшались, а ужины запрещались под опасением вычетов из жалованья [23]. Увлечение мелочами и подражательностью доводило до неуважения к существенному, вело к переменам, затрагивавшим предание и историю. Чтобы больше сроднить войска с их знаменами, Петр Великий дал каждому полку название по имени русских городов и земель;

теперь это было изменено, и полки назывались по имени своих шефов. После Голландской экспедиции 1799 года, русский посланник в Англии обходя наших больных в портсмутском госпитале, спросил одного из них, какого он полка. «Не знаю», отвечал солдат: «прежде был такого-то, а потом какому-то немцу дан полк от Государя». Это «незнание» заключало в себе нечто такое, чего не должно быть в армии, во всяком случае — был ли ответ насмешлив или простодушен. «Не знали» не одни солдаты, а иногда и высшие начальники. В Праге, на обратном пути в Россию из Швейцарии, Суворов спросил вновь назначенного ординарца, какого он полка. «Драгунского Шепелева», — был ответ. «Я этого не знаю», — возразил Суворов: «как полк назывался прежде?» — «Петербургский», — отвечал ординарец. «А знаю, знаю», — сказал Суворов: «славный полк» и т. д. Вообще производившиеся перемены, особенно по предмету строевого образования, должны были возбуждать в войсках недоумение, для чего все это делается. Мирной гвардии, к тому же слитой с гатчинскими войсками, недоумевать было не над чем; не даром же, по свидетельству современника, в начале царствования Павла, Суворов переставал уже в столице слыть за знатока службы. Но боевым армейским войскам, понимавшим разницу между мирными и военными условиями службы, педантические требования нового устава несомненно представлялись не вразумительными. Им не могло придти в голову, что их тридцатилетние победы ничего не значат, а между тем так выходило. На донесение одного местного инспектора о неполучении до сего времени (1797 г.) одним полком медалей за пражский штурм, Павел I отвечал: «медалей за пражский штурм бывшим на нем отпущено не будет, понеже я его не почитаю действием военным, а единственно закланием жидов». Не объявить это полку, значило оставить справедливую претензию без удовлетворения и даже без объяснения; передать солдатам причину неотпуска медалей точными словами рескрипта, значило сделать еще гораздо более вредное.

Хорошо еще, если Павел I написал это сгоряча (незадолго перед тем Суворов был послан в ссылку) и потом свое решение изменил, но едва ли такое предположение справедливо, потому что взгляд Государя на военное дело образовался под особенным углом, и Суворовское военное искусство он должен был ценит очень не высоко. В таком случае в результате опять являлось *незнание* со стороны войск, чего от них требуют. Скорость и горячность Павла I давали к тому беспрестанные поводы, если не войскам, то начальствующим лицам, и ставили их в невозможность уберечься от поступков, не угодных Государю.

Издано было правило, чтобы унтер-офицеров из дворян производить в подпоручики по способностям и достоинствам, «притом не безобразных». Один из инспекторов, вероятно под страхом возможного взыскания, представил, что поручик Рагузин горбат, а потому к полевой службе не способен. «На это я вам замечу», — пишет ему Государь: «что многие весьма хорошие полководцы были в таком же состоянии, что ни мало не препятствовало им продолжать службу». В конце приписано собственноручно: «я и сам горбат, хотя я и не полководец» [24].

Страх был главным двигателем службы; из страха последовало донесение о горбатом, из страха генерал-лейтенант Загряжский не пошел на инспекторский смотр, как было сказано выше. Все и от всего трепетало; участник пражского штурма уверяет, что шел с полком на смотр с ужасом, которого не испытывал, идя на штурм. Никто не был уверен в завтрашнем дне; беда налетала нежданно-негаданно. Внешняя дисциплина процветала, но внутренняя была потрясена в глубине её основ; уважение к старшим потеряно, потому что всех уравнивали вспышки гнева или болезненное проявление подозрительности Павла И. Громадные заслуги сводились к нулю, достоинство не принималось в расчет, даже недавние милости и благоволение Государя ничего не значили в этой азартной игре счастья и несчастья. Вместо того, чтобы бережно регулировать инициативу и самодеятельность, их подсекли в самом корне; требовались только послушание и исполнительность. Служба впадала в карикатуру: на лекциях у гатчинских наставников учились боевые генералы; старые победоносные вожди встречали не нюхавших пороха штаб-офицеров — мальчиков с рапортами и представляли им свои полки. Офицеры или тяготились службой и сотнями ее оставляли, рассчитывая убраться до большой беды, или подчинялись своему жребию с тупым чувством равнодушие ко всему, или же выказывали к ней явное пренебрежение, пускаясь на разные шалости и проказы, осмеивавшие вновь заведенные порядки.

А между тем, эти новые порядки прививались очень туго, исключая разве одной гвардии, и вовсе не из-за недостатка доброй воли. Служили тогда долго, служебные правила, привычки и злоупотребления въедались глубоко, и отрешиться от них было трудно. Вводимые по всем отраслям преобразования представлялись хаосом, где разобраться было делом непосильным для людей, лишившихся самообладания, а боязнь кары, страх беды — только увеличивали суматоху и заставляли терять голову. И кары не медлили, разражаясь по всем направлениям. В 4 года и 4 месяца царствования Павла I, уволено, отставлено и выкинуто

из службы 7 фельдмаршалов, более 300 генералов и свыше 2,000 штаб и обер-офицеров, а вся армия едва доходила численностью до 400,000 человек.

В прежнее время Павел Петрович говорил и писал не то, что теперь делал. Он указывал на необходимость незыблемого закона для воспитания военного сословия, дабы начальствующим не было повода к произволу и дабы все, не предусмотренное законом, решалось верховною властью. Теперь он сам колебал обаяние и непогрешимость этой власти таким страстным образом действий, который вносил в умы смущение, в сердца трепет и олицетворял власть в виде капризов воли, порывов гневливой души. Прежде, осуждая военные реформы Екатерины, он писал, что «часто ищут лучшего, теряют оттого хорошее, пороча все, что было, когда надо исправить только худое»; ныне поступал несравненно радикальнее своей матери. Будучи цесаревичем, он писал Петру Панину: «покойный мой отец вступил на престол и принялся заводить порядок, но стремительное его желание — завести новое, помешало ему благоразумным образом приняться за оный; прибавить к сему должно, что неосторожность может быть была в его характере, и от ней делал вещи, наводящие дурные импрессии, которые соединившись с интригами против его персоны, а не самой вещи, погубили его и заведениям порочный вид старались дать... Чего интрига не в состоянии повести, если благоразумие, осторожность и твердость духа не противустоят ей». Сделавшись Императором, Павел I стал образом своих действий отвергать именно эти принципы [25].

Как велось дело в военном ведомстве, так шло оно и всюду. Страх, боязнь за себя — сделались всеобщими двигателями; наказания потеряли нравственный смысл, а сохранили одно материальное значение; награды тоже. Особенно тяжело жилось в Петербурге; обязанность — выходить из экипажа хоть бы в грязь для приветствования проезжающего Государя, проходить мимо дворца с непокрытою головой во всякую погоду, недозволение употреблять те или другие статьи одежды известного покроя или фасона, и проч. и проч., вырастали одно за другим. Нравственная атмосфера сделалась тяжелою до удушливости; в ней не могли долго жить люди, сознававшие в себе духовную природу и не считавшие себя за манекенов. Менее чем кто-либо мог в ней жить Суворов.

Глава XXIV. В Тульчине и Кобрине; 1796-1797.

Впечатление, произведенное на Суворова кончиною Императрицы Екатерины. — Отношения его к цесаревичу Павлу Петровичу; первые сношения с новым Императором и одобрительные отзывы. — Благоволение к нему Государя на ряду с признаками противуположного свойства. — Снова возникшее дело Вронского. — Первые неудовольствия; поводы к ним; двукратное прошение Суворова о годовом отпуске; интимная его переписка; прошение об отставке; одновременное с этим прошением увольнение его от службы. — Задержка Суворова в Тульчине; его фальшивое там положение; мнимое прощание с войсками; отъезд в Кобрин. — Впечатление, произведенное отставкою Суворова. — Переселение в Кобрин офицеров, оставивших службу по приглашению Суворова. — Несбывшиеся его расчеты; ссылка в село Кончанское. — Объяснение опалы.

Екатерина II скончалась 6 ноября, но весть об этом дошла в Тульчин лишь 13 числа, Впечатление было такое же, как и всюду: замешательство, инстинктивный страх, разговоры шепотом, а в глубине всего — зашевелившееся чувство самосохранения. Суворов был поражен грустною вестью; приближенные его это предвидели, а потому он узнал ее не сразу и сохранил наружное самообладание. Назначили божественную службу, отдано

приказание — всем собираться в церковь, в полной форме, священнику быть в самом богатом облачении. Суворов явился в церковь в фельдмаршальском мундире, при всех орденах, осыпанный бриллиантами, пожалованными покойною Императрицей, и прямо прошел в алтарь.

Пока шла литургия, он все время стоял на коленях, горько плакал и усердно молился, а к благодарственному молебну вышел из алтаря и стал на клиросе. Здесь он был совершенно спокоен, на лице его нельзя было заметить и следов слез. Отошел молебен; все вышли на площадь, где стояли войска; Суворов сам командовал. По окончании присяги, все снова вернулись в церковь; Суворов опять прошел в алтарь, всю панихиду плакал и, стоя на коленях, молился. Затем он вернулся домой, обедать; разговаривал с окружающими, тая свою печаль; был серьезен, но спокоен; никто из собеседников не мог в нем подметить признаков горя. Однако такая разладица между ощущениями и наружным поведением сделалась ему в самом скором времени не по силам, и он переселился в деревню, верстах в 12 от Тульчина [1].

Ноября 24, в день тезоименитства покойной Императрицы, Суворов приехал к заутрене и, но окончании службы, долго оставался в алтаре один, на коленях, обливаясь слезами. «Неблагодарный усопшему Государю будет неблагодарен и царствующему», поясняет он в письме к Хвостову, прибавляя: «в Херсоне я ходил на гроб князя Потемкина, помня одни его благодеяния», а в заключение говорит; «подарите моим русским крестьянам (т. е. не кобринским) всем по рублю из оброков».

Отношения между цесаревичем Павлом Петровичем и Суворовым были постоянно удовлетворительные. Приезжая в Петербург и представляясь Императрице Екатерине, Суворов непременно являлся на поклон и к цесаревичу, и неизменно оказывал ему знаки почтительной преданности, как наследнику престола, Правда, он не удерживал своих странностей и причуд в присутствии Павла Петровича, особенно в последние годы, когда сделался чудаком по преимуществу, и это было неприятно Павлу, который не любил вообще никаких отклонений от общепринятой колен обычаев, приличий и проч. Происходили в подобных случаях и некоторые с обеих сторон резкости, как мы уже имели случай убедиться раньше, но все это было делом обычным и для того, и для другого. В выходках своих Суворов на стеснялся нигде, в том числе и в присутствии Екатерины, которой говорил даже многое очень для нее досадное; следовательно Павел Петрович не имел причины видеть в дурачествах Суворова что-нибудь специальное, для него, цесаревича, предназначенное и потому лично оскорбительное. В этом могло его убедить и то

обстоятельство, что Суворов никогда не принимал участия в интригах большого двора противу него, цесаревича, его семейства и приближенных, и вообще держал себя вне сферы дворской деятельности.

Цесаревич писал Суворову письма по разным случаям, например о бракосочетании своих детей, получал от него почтительные поздравления с пожеланиями и прочее, в подобном роде; но это доказывало добропорядочность, а не близость их отношений. Существовали причины и к холодности со стороны Павла: глубокая преданность Суворова Екатерине и сочувствие его многим нововведениям Потемкина. Подозрительный Павел Петрович, как глава небольшой партии, не в авантаже обретавшейся, не мог или не хотел смотреть на приверженцев своей матери иначе, как на своих врагов; он как будто забывал, что мать его есть царствующая Государыня, занимающая престол не со вчерашнего дня, и что можно быть верным ей слугой, а затем когда придет время, сделаться верным слугой ему, новому Императору, без всякой непоследовательности. Что касается до Потемкинских нововведений, то Павел Петрович ненавидел их сплошь, гуртом, больше всего на свете; он не признавал в них ничего хорошего и всех, кто был на их стороне, считал сообщниками Потемкина, своими противниками и людьми вредными для общего блага. Стало быть к числу таких лиц Павел Петрович относил отчасти и Суворова, который расходился с ним еще и в том, что был творцом своеобразного военного искусства, по мнению Павла — дикого, беспорядочного, противоречащего единственно верным принципам великого Прусского короля.

Таким образом, не имея противу Суворова ничего прямо неприязненного, Государь однако не чувствовал к нему расположения. Почти тоже самое, по рефлексии, происходило и в Суворове, помимо преданности верноподданного государю. Но живя почти всегда в провинции, далеко от Петербурга и появляясь в придворной сфере случайно, как лицо постороннее, Суворов не представлял себе Павла Петровича таким, каким его олицетворяли другие, стоявшие ближе к центру дел и закулисных тайн. Оттого, по вступлении Павла на престол, в Суворове было гораздо меньше опасений за будущее, чем печали и грусти о прошедшем. Первое время он находил в новом царствовании даже немало хорошего, сравнительно с прежним, и лишь по прошествии нескольких недель перед ним развернулось настоящее в истинном виде. Этому немало способствовали и письма Хвостова, изображавшего действительность в розовом свете, под влиянием воздвигнутого Государем гонения на многое худое, унаследованное им от Екатерины.

Одно из самых первых (если не первое) представлений Суворова Государю, имело своим предметом обеспечение судьбы Веры Ивановны Арсеньевой, вдовы дежурного генерала, и ходатайство об освобождении содержавшихся в Петербурге поляков, вопреки данной Суворовым амнистии. Последнее, как писал Суворов Хвостову 18 ноября 1796 года, истекало «из угрызений его совести». Не знаем, вышло ли что из первой просьбы; вернее — нет, судя по некоторым позднейшим признакам. Что касается до поляков, то они, как мы видели, были Государем освобождены, неизвестно только — по собственному ли побуждению или вследствие просьбы Суворова. Одним из первых рескриптов Государя на имя Суворова засвидетельствовано ему высочайшее благоволение; затем оказаны разные милости его родственникам. «Посвящаю мою жизнь службе Вашего Императорского Величества», отвечает ему Суворов и потом неоднократно благодарит за высочайшее внимание к его, Суворова, родным. Не раз высказывается и в письмах к Хвостову удовольствие Суворова по случаю многого происходящего: «ура, мой друг граф Безбородко — первый министр»; «вы меня восхищаете милосердным нашим государем; для себя я начинаю забывать, но не как неблагодарный, невозвратную потерю»; «Боже благослови намерения великого Государя»; «с одной стороны я плачу, с другой возношу хвалу Вышнему, что повалил кумиров (гл. образом князя Зубова): великому Государю я верен полвека». Как бы втягиваясь в колею новой жизни, Суворов изъявляет готовность несколько сойтись с близкими и доверенными у Государя лицами: «они честные люди; ниже когда косого вида от кого из них я к себе не видал, и Ростопчин внове знаком; к ним и прочим высочайшего штата душевное почтение, без ласкательства, и поздравление мое кому приличествует». Впрочем он не увлекается через меру и указывает Хвостову на осторожность и сдержанность: «к их доверенностям отнюдь не сближаться».

Скоро начали сквозить чрез розовую окраску темные пятна. Милости и награды лились от Государя полной рекой, но Суворова миновали. Он сам по этому предмету не проговаривается ни одним словом, но приближенные его лица обращаются к Хвостову с вопросами, обнаруживая недоумение и беспокойство. Еще большее беспокойство в штабе Суворова произвело возникшее снова дело Вронского, да и самого Суворова оно повергло в досаду и негодование, которые отражались на расположении его духа, даже на состоянии здоровья и высказывались в резкости писем [2].

Высланный в сентябре 1795 года из Варшавы в свой полк,

Вронский явился к Румянцеву и, получив от него 6-месячный отпуск, отправился в Петербург. Здесь он написал и подал генерал-поручику Исленьеву (заседавшему раньше в варшавской комиссии по его доносу) прошение, где писал, что все смотрят на него, Вронского, как на опозоренного; что он сам стыдится самого себя, лишившись невинно милостей и благоволения Суворова; что возвратить себе доброе имя он не может иначе, «как совершенным себя оправданием перед его сиятельством и публикой», и что «всякое другое наказание не может быть ему унизительнее». Так как это письмо осталось без последствий, то Вронский подал в июле того же года прошение на имя Императрицы о дальнейшем расследовании обнаруженных им в Варшаве злоупотреблений, причем выгораживает Суворова — лично, а всю вину расхищения приписывает его подчиненным. Узнав об этом тогда же, Суворов донес Императрице почти тоже, что писал в предшествовавшем году из Варшавы, объяснив, что виновные достаточно наказаны и что дело это можно считать оконченным. Так вероятно смотрела и Екатерина II, потому что, хотя по приказанию генерал-прокурора и были отобраны от Вронского некоторые объяснения и документы, но дальнейшего хода дело не получило. Когда вступил на престол Император Павел I, Вронский, по его собственному признанию чувствовавший на себе всеобщее, явное презрение и слышавший даже мнение о его помешательстве, — через 10 дней подал новое прошение о продолжении производившегося в 1795 году следствия. Это совершенно совпадало с намерениями Государя, задавшегося мыслию — уничтожить с корнем злоупотребления предшествовавшего царствования, а потому он приказал: «всех лиц, оговоренных Вронским, отреша от мест и должностей, предать строгому исследованию и воинскому суду по законам», для чего немедленно собрать их в Петербург, удержав здесь и Вронского. Находившийся в Петербурге от полевых войск кригсрехт нашел было нужным предварительно затребовать от Суворова некоторые объяснения, но Государь на это не соизволил.

К исходу 1796 года дело однако не только не подвинулось, но и не начиналось, потому что из 13-ти прикосновенных лиц, прибыл в Петербург только один. Военная коллегия подтвердила о немедленной высылке остальных и о доставке затребованных документов, а затем еще подтверждала не раз, но безуспешно. Суворов, в районе командования которого находилось наибольшее число оговоренных Вронским, не только не отправлял Мандрыкина и Тищенко, но н запретил тульчинской провиантской комиссии высылать других, пока не последует решение на сделанное им Государю представление по этому

предмету. Тем временем был упразднен в Петербурге кригсрехт и учрежден генерал-аудиториат, который и открыл судную комиссию при петербургском ордонанс-гаузе. Подтверждение было сделано строжайшее, приказано исполнить без отговорок, и высочайшим повелением, отданным при пароле 30 января, Мандрыкин и Тищенко переведены в дальние войска. Но время это уже почти совпало с выходом Суворова в отставку, когда строгие меры, направленные против него, были в полном ходу [3].

В ноябре и декабре 1796 года, сношения Суворова с Государем не имели в себе ничего неприятного Суворову или неугодного Государю. Как сказано, Суворов остановил отправку в Петербург потребованных военною коллегиею лиц, ожидая решения его всеподданнейшего донесения; в донесении этом однако никакой просьбы изложено не было, а только сказано в нескольких строках про сущность дела с Суворовской точки зрения, причем упомянуто, что Вронский одержим «частым разума помрачением». Император Павел I усмотрев в его донесений только беспокойство, отвечал собственноручным рескриптом от 15 декабря. «Не беспокойтесь по делу Вронского», писал Государь: «я велел комиссии рассмотреть, его же употребить. Что было прежде, того не воротишь; commençons de nouveau; кто старое помянет, тому глаз вон; у иных правда и без того по одному глазу было. Поздравляю с новым годом и зову приехать к Москве, к коронации, если тебе можно. Прощай, не забывай старых друзей. *Павел*. Приводи своих в мой порядок пожалуй». Такое благосклонное или, по крайней мере милостивое, отношение к Суворову высказывается в рескриптах Павла I еще раза два-три. Так, на одной деловой бумаге он приписывает собственноручно по-французски: «Мои чувства, любезный фельдмаршал, вам известны; я рассчитываю на вашу дружбу и на то, что вы ее выкажете также во всем, касающемся блага службы. Будьте здоровы, прощайте».

Но это продолжалось не долго, да и таких заявлений Суворову казалось мало. Он видел, какие щедрые милости и награды сыпались на других, но сам подобных знаков монаршего благоволения не удостаивался. В письмах его и его приближенных к Хвостову стала проглядывать по отношению к Государю какая-то сдержанность, в роде недоверчивости. Екатеринин день разбудил старые воспоминания, смерть Румянцева произвела также впечатление не веселое, строгий режим нового царствования выразился запрещением производить радостную пальбу в торжественные дни. Как будто одолевала скука; Суворов стал каждую почти неделю ездить за несколько верст на охоту, любителем которой никогда не был. Вслед затем

проявились первые неудовольствия Государя [4].

Декабря 15 были посланы к Суворову два фельдъегеря для посылок вместо офицеров, а между тем к новому году прибыл от него в Петербург адъютант, капитан Уткин, притом с партикулярными письмами, без служебной корреспонденции. Петербургский комендант Аракчеев доложил об этом Государю; Павел I приказал капитана Уткина определить в один из тамошних полков, а Суворову выразил свое неудовольствие, называя подобное употребление офицеров «неприличным ни службе, ни званию их». Кроме того, из расспросов Уткина Аракчеевым, Государь увидел, что Суворов не распустил еще, как было приказано, своего штаба, а потому в том же рескрипте, сообщая ему об этом «с удивлением», подтвердил свою волю к непременному и немедленному исполнению. Не успел Суворов получить этот рескрипт, как сделал три новые провинности. Во-первых, он вошел с представлением о некотором изменении в дислокации подчиненных ему войск, что делывал прежде безбоязненно и даже изменял дислокацию сам собою, по заранее данному ему полномочию. Во-вторых, вследствие полученного приказания о роспуске домой казаков с днестровской кордонной линии и о замене их гусарами, Суворов обратился к Государю с ходатайством об оставлении под его, Суворова, начальством, генерал-майора Исаева, командовавшего казачьими форпостами по Днестру, а мотивом ходатайства выставил совместную с Исаевым службу в последнюю Польскую войну, отличные качества этого генерала и желание его остаться под начальством Суворова. В-третьих, вопреки новому уставу, Суворов уволил в отпуск, в Петербург, подполковника Батурина. Батурин был тотчас же выслан из Петербурга назад, и Суворову сообщено 14 января, чтобы впредь «в отпуск сюда никого не увольнять, не испросив прежде на то высочайшего соизволения». Кроме того последовал на имя Суворова рескрипт: «с удивлением вижу я, что вы без дозволения моего отпускаете офицеров в отпуск, и для того надеюсь я, что сие будет в последний раз. Не меньше удивляюсь я, почему вы входите в распределение команд, прося вас предоставить сие мне. Что же касается до рекомендации вашей, то и сие в мирное время до вас касаться не может; разве в военное время, если непосредственно под начальством вашим находиться будет. Вообще рекомендую поступать во всем по уставу». Вместе с тем, в высочайшем приказе 15 января, был сделан Суворову выговор.

Не успели эти высочайшие повеления дойти до Суворова, как он послал в Петербург вновь офицера— капитана Мерлина — с донесением, что он, Суворов, не получал повелений о

неупотреблении офицеров в курьерские должности. Государь сильно разгневался, велел Мерлина поместить в Ригу, в гарнизонный полк, «для примера другим», и выразил Суворову в рескрипте свое крайнее неудовольствие, сказав в конце: «удивляемся, что вы тот, кого мы почитали из первых ко исполнению воли нашей, остаетесь последним». Затем Суворову был опять объявлен в высочайшем приказе выговор.

Весь этот поток неприятностей не успел еще излиться на Суворова, как последний принял уже решение. По получении первого рескрипта Государя с выражением неудовольствия (от 2 января), он положил устраниться временно от службы. Он написал и послал 11 января всеподданнейшее донесение, что в войсках все обстоит благополучно, умирает мало, дисциплина соблюдается и проч. В заключении он прибавил: «мои многие раны и увечья убеждают Ваше Императорское Величество всеподданнейше просить, для исправления ото дня в день ослабевающих моих сил, о всемилостивейшем увольнении меня в мои здешние кобринские деревни на сей текущий год». Павел 1 сухо отказал, написав 19 числа, что «обязанности службы препятствуют от оной отлучиться». Между тем требования о введении новых порядков делались настойчивее и безусловнее, давались на все правила, из опасения злоупотреблений отнималась всякая самодеятельность у высших начальников. При этом самый способ введения реформ был спешный, нервический, не дававший возможности вникнуть в дело, и сопровождался резкостью приемов, которая с каждым днем увеличивалась. Суворов, как известно, выражался лаконически и обладал своеобразным языком, не всем сразу понятным; это обстоятельство тоже было поставлено ему в строку. Получив одно из его донесений, Павел I написал 26 января: «донесение ваше получа, немедленно повелел возвратить его к вам, означа непонятные в нем два места; по предписаниям нашим исполнять в точности, не доводя о напоминовении долгу службы». Но случилось ли еще какое-нибудь обстоятельство, раздражившее Государя, или подписав рескрипт, он нашел заключительные свои слова слишком слабыми, сравнительно с виновностью Суворова, только принял тотчас же другое решение, более радикальное, и в тот же день написал ему следующее повеление: «с получения сего немедленно отправьтесь в Петербург» [5].

Тем временем Суворов, получив отказ в годовом отпуске, раздумывал о своем положении. Тяжело ему было оставлять службу и военное дело, которому он отдал всю свою жизнь, и перейти к занятиям, которые со своей военной точки зрения он отождествлял с бездельем и праздностью. «Я только военный

человек и иных дарованиев чужд», писал он впоследствии генерал-прокурору. Однако иного решения не представлялось: продолжать службу было бесполезно для нее и вредно для него. Она изменялась не только в формах, но и в содержании, а Суворов, имевший за собою длинное, славное прошлое, не мог переродиться, сделаться не-Суворовым. Вынуждаемый обстоятельствами отказ от службы не только не противоречил долгу подданного и чувству преданности и верности к Государю, но напротив выражал серьезный взгляд на первое, строгое отношение ко второму. Участвовало во всем этом и раздражение, и оскорбленное самолюбие, и гордость; но они одни не в состоянии были произвести переворот, без основной, руководящей причины. Суворов был человек с большими недостатками, но достоинств у него было гораздо больше, и они лежали глубже. Оценить горечь положения Суворова, сложившегося под влиянием реформ Павла I, можно только познакомившись с интимною его перепиской. Из этой переписки видно, что еще в декабре 1796 года, когда Государь не обнаруживал к нему неблаговоления, а потому личных причин к неудовольствию у Суворова не было, он уже критически относился к реформам, по мере того, как они доходили до его сведения. Началось это даже в конце ноября. Вся переписка Суворова по обыкновению происходила с неизменным доверенным лицом, Хвостовым, изредка с другими. Иногда попадаются не письма, а записки, никому не назначенные, а писанные как будто для себя, под напором впечатлений; записки эти по всей вероятности тоже посылались Хвостову, если же нет, то остались у Суворова, но впоследствии вместе с прочими его бумагами перешли к Хвостову же.

В конце ноября 1796 года, когда стали обозначаться мелочность и педантский методизм прусских порядков во вновь вводимых реформах, Суворов пишет: «методик подо мною, я выше правил; я не уступал Юлию Цезарю, наставнику моему, до Кобрина. Мальчик Ростопчин (один из ближайших к Государю деятелей реформы) много добра (сделал бы), если б отнял пустокрашение солидного» (пустые украшения от того, что требует солидности). Эта беглая заметка остается одинокою долгое время; потом к концу декабря, когда новые требования сделались совсем ясными, следует целый ряд писем и записок. Называя себя «вождем вождей» (так величали его Костров и другие поэты), Суворов с гордостью говорит, что «все степени до сего брал без фавора»; что «генерал-аншеф велика степень — вождь, было их со мною два, ныне ни одного». Он сожалеет, что традиция теперь уже не имеет никакой силы; говорит, что он не

наемник, и Русские не наемники, а составляют национальную армию; клеймит сарказмами «мерсенеров» и страсть — переносить в русскую национальную армию наемнические особенности армии прусской. Намекая на то, что Екатерининская система военного управления больше соответствует России, чем вновь вводимая, Суворов поясняет, что Россия не Пруссия, и Русскому Государю не достанет зрения за всем самому усмотреть. Не одобряя отказ Государя от военного предприя-тия против Французов, он говорит: «карманьольцы бьют Немцев; от скуки будут бить Русских, как Немцев»; затем, как бы сшхватясь, поясняет: «я далеко зашел, но подозрение — мать премудрости». Переходя к учреждению инспекторов, он с горечью замечает, что фельдмаршал понижается до генерал-майора; если бы фельдмаршала сделали не инспектором, а генерал-инспектором, то и тогда не его дело этим заниматься. «Он имел право сам таковых инспекторов из нижнего генералитета посылать, а довольно с него быть, как прежде, всегда главнокомандующим, до которого звания я служил больше полувека и честно его заслужил больше всех иных ранами, увечьями и многими победами, и на краткую уже мою жизнь грех его от меня отнимать».

Новый 1797 год Суворов начинает запискою, дав ей заглавие: «Буря мыслей». Он говорит тут неодобрительно об иностранной политике, об ослаблении русских пограничных областей выводом войск внутрь и о разном ином, отрывочно, вразумительно лишь местами, и заключает записку словами: «солдаты, сколько ни веселю, унылы и разводы скучны. Шаг мой уменьшен в три четверти, и тако на неприятеля вместо сорока — тридцать верст. Фельдмаршалы кассированы без прослуг... я пахарь в Кобрине, лучше нежели только инспектор, каковым я был подполковником. В Москве (на коронации) я безгласен и для декорации Величества. Со дня на день умираю». Сетуя таким образом на всеобщую нивелировку, на разные немецкие нововведения и на то, что Государь не желает с ним посоветоваться, Суворов на следующий день переходит к немцу Штенверу, светилу гатчинского военного искусства, который «показывал прусские ухватки», и благодаря которому народился «опыт военного искусства», т.е. ныне вводимый воинский устав. «Вообразительно сим победит заяц Александра (Македонского)», — язвительно замечает Суворов и издевается над слепою подражательностью нового устава, «Русские Прусских всегда бивали, что ж тут перенять» — прибавляет он, замечая с горечью, что теперь не нужны ни достоинства, ни практика, что фельдмаршалы сравнены с обыкновенными генералами, дабы (иронически) они не пользовались царскими преимуществами, это-де невозможно! «À

прежде того я буду в сырой земле», — заключает Суворов.

На следующий день, 4 января, он набрасывает в немногих строках абрис драматической сцены — пародии, из которой понятно лишь кое-что. Ирис, отняв от Диогена золотой горшок с простоквашей, подносит его Аристиду (Суворову), в виде подарка от Фабиуса, но предварительно сняв сметану для других. «Знакомо от Финляндии», — едко замечает автор. Раздается гром, является Меркурий с декретом богов. «Не острацизм ли», — спрашивает Аристид: «всего покойнее». Меркурий отвечает, что так определено тремя грациями (графы Н. и И. Салтыковы и князь Н. Репнин, пользовавшиеся тогда особенною милостью Императора Павла); «дали они мне себя чувствовать за мою правду», — говорит Аристид. Однако у него остается еще надежда: на Олимпе Юпитер с весами в руке; чашка с истиной тяжела; грациям ее не свернуть. Кончается обращением к Хвостову: «не обольщайтесь розами, тернии под ними; для грациев потребно мое низложение, начинают понижение уравнением; забудут ли они, что я провидением от моего запада взял их восток». В нравоучении этом виден прежний Суворов; он не мог или не хотел уразуметь, что теперь все изменилось, — и основания, и обстановка, и что в этом новом мире сам собой вырастал на него неотвратимый «острацизм», к которому «грации» могли, правда, прибавить горечи, или ускорить развязку, но она все-таки не от них зависела,

Следующие дни, 5 и 6 января, Суворов пишет новые записки. Из них видно, что он был не близко знаком с подробностями обстоятельств, вырастивших тактические и уставные преобразования нового царствования; путает действующих лиц и их фамилии, и характеризует пруссака Штенвера словами: «открытель шаржирного огня и ретирад прусских наемников». Он выражает нежелание ехать в Москву на коронацию, ибо «Москва мне гроб», разумея под этим, что личное его присутствие, в месте нахождения Государя и двора, не обещает ему ничего хорошего. Он говорит, что все его приятели «без пристрастия судят, что лучший мне ныне случай отойти от службы». По-видимому Суворов и сам уже усвоил эту мысль, но выжидал случая, или лучше сказать повода. Ему однако не приходило в голову просить ни формальной отставки, ни дозволения поступить на службу в какую-нибудь иностранную армию, а тем менее «надеть военный пояс против герба России», разве он, Суворов, будет «без головы или с прусской головой в прусской службе» [6].

Таково было настроение Суворова в декабре и в начале января, до получения от Государя первого замечания. Легко понять, какое тяжелое впечатление должно было произвести на

него высочайшее повеление от 2 января, с резким выражением неудовольствия, и за ним несколько последующих, еще более категорических и грозных. Первый рескрипт Суворов получил 8-10 января, и с 10 января его внутреннее волнение опять выражается массою писем и записок, написанных в продолжение 4 дней.

Прежде всего он обращается с упреком к Хвостову, зачем тот расписывал ему из Петербурга новое положение дел в розовом свете: «ваши розы крыли России терны; ваши лавровые листы открывают трухлый корень, древо валится... Какое благовоние от цветов ваших и каков контраст».

Потом он выступает с горячею критикой на все происходящее. Внимание его обращается преимущественно на нововведения в обмундировании войск, в обучении их, в содержании, в дисциплине. «Нет вшивее Пруссаков», пишет он: «лаузер или вшивень назывался их плащ; в шильтгаузе и возле будки без заразы не пройдешь, а головною их вонью вам подарят обморок. Мы от гадины были чисты, и первая докука ныне солдат — штиблеты: гной ногам, за артельные телеги идут на половинное жалованье (т.е. перечисляются в нестроевые). Карейные казармы, где ночью запираться будут, — тюрьма, а прежде (солдаты) делили провиант с обывателями, их питомцами (т.е. кормильцами)... Опыт военного искусства (новый устав) найден в углу развалин древнего замка, на пергаменте, изъеденном мышами, свидетельствован Штенвером и Линденером и переведен на немо-российский язык... Милосердие покрывает строгость, при строгости надобна милость, иначе строгость — тиранство. Я строг в удержании (в войсках) здоровья, истинного искусства благонравия: милая солдатская строгость, а за сим общее братство. И во мне строгость по прихотям была бы тиранством. Гражданские доблести не заменят бесполезную жестокость в войсках... В титле строгости (бывает) прицепка для тиранства заслуженного человека. Строгий Валенштейн не давал себе время к размышлению: скор и краток — вели бестию повесить... Всемогущий Боже, даруй, чтобы зло для России не открылось прежде ста лет!»

Четырехдневная филиппика Суворова постоянно перемежается ссылками на самого себя; видно, что он сильно оскорблен недостатком внимания к его победному прошлому. «Государь лучше Штенвера не видал; я лучше Прусского покойного великого короля; я милостью Божией баталии не проигрывал... Я генерал генералов, тако не в общем генералитете. Я пожалован (в фельдмаршалы) не при пароле (на разводе)... Новый титул — я инспектор. Я вам объяснял, что был таким

подполковником. Я быть таким не хочу и не могу; я главнокомандующий... Мою тактику прусские (войска) принимают, а старую, протухлую оставляют: от сего французы их били. (Позже он сознается, что этот слух неверен). Не зная моей тактики, Вурмзер (теперь) в опасности». Вероятно отвечая на совет Хвостова — обратиться к Государю с изложением своего мнения, Суворов говорит: «если кого (хотят) слушать, — спрашивают; если кого не спрашивают, того не будут слушать; тем более это относится ко мне... Сколь же строго, Государь, ты меня наказал за мою 55-летнюю прослугу! Казнен я тобою штабом, властью производства, властью увольнения от службы, властью отпуска, знаменем с музыкою при приличном карауле, властью переводов. Оставил ты мне, Государь, только власть высочайшего указа 1762 года (о вольности дворянства — служить или не служить)». Наконец, он указывает и на настоящую, основную причину, по которой не в состоянии оставаться на действительной службе. «Хоть бы я остался при всех прежних моих преимуществах, но опыт воинского искусства (т.е. новый устав), неудовольствие солдат и чиновников (т.е. офицеров), Васильчиков, Татищев, Митусов — гонят меня немедленно в Кобрин, где на сей год буду ждать лучшего. Потом или продолжу там, или вовсе оставлю, как долг велит естественного Божьего закона. Ныне чуть что от князя Алексея (Горчакова, племянника), оставляя до того все по прежнему, перееду тотчас в деревню, а оттуда по полной резолюции мгновенно в Кобрин».

Все это Суворов писал после получения первого замечания со стороны Государя, и этот сравнительно-легкий знак монаршего неудовольствия окончательно побудил его просить годового отпуска, Можно догадаться, до какого градуса поднялась его внутренняя буря чрез несколько дней, когда были получены один за другим два рескрипта, с выражением Государева гнева, и два высочайшие выговора, объявленные Суворову по войскам. Суворов этого не ожидал, был озадачен и огорчен в высшей степени, а потому со жгучим, лихорадочным нетерпением стал ждать из Петербурга дозволения уехать в отпуск. Но около 26 января он получил сухой отказ; приходилось или подчиниться и приняться тотчас же за предписанные преобразования, или же вторично ходатайствовать об исполнении просьбы. Первое было для Суворова духовным самоубийством; на этом решении он не остановился ни минуты и принял второе. Надо было однако привести новые резоны для повторения просьбы, и Суворов совершенно чистосердечно донес, что время стоит мирное, а потому он снова ходатайствует об отпуске, так как для него и дела теперь нет. Отправив это прошение, Суворов не сомневался

уже в получении отпуска, но когда, несколько дней спустя, он получил суровое напоминание об исполнении обязанностей, свою возвращенную бумагу с требованием пояснения непонятных выражений и наконец призыв в Петербург, то он тотчас же принял решение — во что бы то ни стадо выйти из своего ненормального и даже лично для него опасного положения. Он написал прошение об отставке и 3 февраля отправил в Петербург.

В нравственном смысле это было для Суворова крайним средством, решением безнадежности, так как он дожил до 66 лет и всегда рассчитывал умереть на службе. В материальном же отношении сделанный им новый шаг почти ничего не изменял: Суворов рассчитывал, как и прежде, поселиться в Кобрине и заняться хозяйством. Обдумывая свое намерение, он заранее обзавелся помощниками и подручниками, так как кобринское имение было велико, а именно предложил нескольким офицерам оставить службу и ехать в Кобрин, обещав вознаградить их деревнями в полное владение. Офицеры согласились. Один из них пишет Хвостову, что Суворов «*приказал* им подать в отставку, и они по привязанности к нему оное выполнили», причем умалчивается про условия, им предложенные. Суворов не приказывал и не мог приказывать в таком не служебном деле; сверх того он уже решился оставить в то время службу, и все в Тульчине знали про это решение. Следовательно, не желавшие идти в отставку, имели полную возможность отказаться от предложения Суворова безбоязненно. Однако все они послушались, никто не отказался, только под рукой постарались на всякий случай обеспечить себе путь отступления. Представитель их, Тихановский, обратившийся с письмом к Хвостову 14 января, т.е. вслед за поданною Суворовым первою просьбою об отпуске, дает племяннику Суворова такое наставление; если Государь отпустит Суворова, притом без неудовольствия, то все 18 просьб от отставке подать в военную коллегию; в противном же случае и при неблагосклонных отзывах Государя о фельдмаршале, — удержать[7].

Перед половиною февраля Суворов получил *отставку*, хотя его прошение об отставке не могло придти в Петербург и вернуться в Тульчин с разрешением так скоро. И действительно, отставка последовала до получения о ней просьбы. Февраля 6 отдан на разводе высочайший приказ: «фельдмаршал граф Суворов, отнесясь Его Императорскому Величеству, что так как войны нет, и ему делать нечего, за подобный отзыв отставляется от службы». Вместе с тем, батальон Преображенского полка, носивший имя Суворова, передан генерал-лейтенанту князю Голицыну. Произошло ли это вследствие дошедших до Государя

новых дурных известий о Суворове, или просто по внушению порывистого темперамента Павла I, — трудно сказать. Вернее всего допустит обе эти причины, так как раздражение Государя против Суворова вырастало уже но самому ходу описанного дела, а с другой стороны Суворов, соблюдая должное к высокой особе Государя почтение, изощрялся однако в насмешках над новыми порядками и новыми людьми, в домашней беседе и публично, не стесняясь ничьим присутствием и как бы намеренно давая своим словам огласку. Во всей России повторялись тогда шепотом пли в тесных кружках остроты и сарказмы Суворова; добрая их половина, если не больше, была выдумана разными досужими остряками, но молва и подделку принимала за чистую монету. Нет сомнения, что слухи достигали и Государя, благодаря усердствующим себе на пользу, ближнему во вред. Несомненно также, что многое действительно принадлежало Суворову, наприм. присловие: «косой не колоть, буклей не палить, пудрой не стрелять», или другое, приобретшее громкую известность: «пудра не порох, букля не пушка, коса не тесак, и я не немец, а природный русак». Но Суворову приходилось расплачиваться и за свое, и за чужое [8].

Худо кончилось дело, но все таки кончилось; в этом было своего рода утешение Суворову, хотя и тупое. Он стал подготовляться к сдаче, спеша удалиться в свое мирное пристанище, но принужден был проглотит еще горькую пилюлю. Один из приближенных Государя, Ростопчин, написал ему 14 февраля: «Государь Император, получа донесение вашего сиятельства от 3 февраля, соизволил указать мне, доставить к сведению вашему, что желание ваше предупреждено было и что вы отставлены еще 6 числа сего месяца». Но вместе с тем Суворов имел некоторое утешение окончательно убедиться, что продолжая службу, спустился бы до степени простого генерала: на его место назначен был генерал-лейтенант Беклешов.

К концу февраля Суворов был совершенно готов к отъезду. Занимаясь в это время служебными и домашними делами, он продолжал также зорко следить за политикой и за ходом военных действий против Французов. Видно, что война эта сильно его занимала. Он относится критически к действиям обеих сторон и сообщает короткие свои замечания Хвостову, но попадаются его письма по этому предмету и к другим лицам. Гак 27 февраля он пишет к нашему послу в Вене, графу Разумовскому, о тогдашнем положении военных действий: дрожит за Мантую, боится, что эрцгерцог Карл опоздает; говорит, что нечего поджидать артиллерии, а следует бить просто вперед; что из всех дел этого принца, ему, Суворову, приятнее всего Вюрцбург и т. под. Он

сетует, что не только новые, но и старые войска «не разумеют штыка», несмотря на то, что чувствуют на себе «гибельный карманьольский», и кончает свое письмо крутым поворотом к своей действительности: «я команду сдал как сельский дворянин и еду в кобринские деревни» [9].

Однако для отъезда требовалось какое то особенное разрешение, — с тою ли целью, чтобы в Петербурге могли прежде удостовериться в исправности сдачи, или почему либо иному. Суворов был готов к выезду, по не выезжал. Отъезд его несправедливо относят обыкновенно к 1 марта; он состоялся гораздо позже. Марта 3 Суворов писал Государю из Тульчина: «во ожидании увольнения на всеподданнейшие мои прошения, которое по слуху уже и воспоследовало, отдавши давно уже команду, на сих днях еду я в мои кобринские деревни». Но и это не состоялось почему-то; 23 марта Суворов пишет еще из Тульчина к своему поверенному в Кобрине об отставных офицерах, туда отправляющихся. Между тем его тянуло в Кобрин и потому, что там ждало дело, и потому, что положение его в Тульчине было фальшивое. И в самом деле, что было делать там, среди войск, отставному фельдмаршалу, уволенному от службы даже без права ношения мундира? Его любили, каждый его шаг интересовал, каждое его слово ловилось на лету. Не заключается ли отчасти в этом положении Суворова корень молвы, звонившей по всей России о сатирических его в то время выходках? [10].

Редкое о нем сочинение не украшается описанием драматической сцены прощания его с войсками. Один повествует, что Суворов, одетый простым гренадером, явился перед собранным Фанагорийским полком, снял ордена, положил их на барабан и сказал: «прощайте ребята, молитесь Богу... может быть придет время, когда Суворов опять явится среди вас и возьмет назад эти ордена, которые он заслужил победами». Другой, не ограничиваясь одним полком, говорит про целую армию, перед которой ставится не барабан, а пирамида из барабанов, и заставляет Суворова произносить приблизительно те же слова. Все это крайне сомнительно. Суворов, в порыве увлечения, был действительно способен на многое такое, на что другой не осмелился бы; но при выходе в отставку он испытывал неприятность хроническую, с которою мало- помалу свыкся и к ней применился в продолжение почти двух месяцев. Есть и свидетельство против приведенной сцены прощания; один из состоявших при Суворове в то время адъютантов, говорит, что ничего подобного не было. Да и нельзя предположить, чтобы Суворов, уволенный от службы и сдавший командование другому, мог собрать войска или даже один полк, явиться перед ним и

держать речь. Очевидно сплетня и молва раздули в целое событие какой-нибудь мелкий случай [11].

По-видимому, военное поприще Суворова кончилось. Ему было 66 лет его дарования, опытность и энергический, упорный характер отрицали всякую возможность уступки; компромисс со стороны Государя представлялся еще менее вероятным. Оставление Суворовым службы почти все считали громадной потерей, невознаградимой утратой. Имя его успело сделаться священным для русской армии; не все под его начальством служили, но все его знали, и для всякого он был предметом восторженного поклонения. Громко гремело это знаменитое имя и во всей России; катастрофа еще усилила к нему симпатии и сочувствие, кроме разве высших служебных слоев, где группировались его завистники и враги. Тягостное впечатление, произведенное удалением Суворова от дел, особенно в войсках, правда ничем явственно не высказывалось, но в ту пору неудовольствия и страха, прятались даже сами неудовольствие и страх. В гробовом молчании была принята затем и весть о ссылке Суворова, до кого она только дошла; многие не знали, а расспрашивать и разузнавать было опасно. В высшем слое общества или молчали, или находили образ действия Государя по отношению к Суворову слишком милостивым; в войсках и низших слоях всю тяжесть вины возлагали на его врагов и людей нового порядка, пользовавшихся доверенностью Государя с нечестными и непатриотическими побуждениями. Офицеры Преображенского полка, с трудом вынося начальствование Аракчеева, распространяли между своими многочисленными родными и знакомыми, что «гатчинский капрал» был главным виновником опалы Суворова. Между офицерами армейских войск, квартировавших в смоленской губернии, сильно развилось неудовольствие на резкие меры и преобразования вообще и на оскорбление Суворова в особенности. По доносу одного из гатчинцев было назначено следствие, которое впрочем ничего серьезного не открыло, и хотя просвечивало в нем намерение — замешать в дело имя Суворова, но осталось без успеха. Следствие прекратили, однако не всем удалось отделаться одним страхом, и знаменитый впоследствии Ермолов был сослан в Кострому. На юге, где Суворов на последях командовал, воспоминание о нем жило самое свежее; солдаты не знали, где он находится, здоров ли, даже жив ли; по каждый вечер, приходя в сборные избы за получением приказаний, толковали о нем и творили по нем молитву [12].

Выехав из Тульчина в последних числах марта и прибыв в Кобрин, Суворов принялся знакомиться со своим имением,

которого еще не видал. На это нужно было время; кобринское имение почти втрое превышало все прочие поместья Суворова, за выделом приданого дочери. По числу душ, оно было даже значительно выше той цифры, которая была обозначена при пожаловании; по документу числилось 6927 душ, а по донесению подполковника Корицкого, производившего прием, оказалось 8,087. Распоряжения Суворова по имению однако до нас не дошли, да и вообще кратковременное пребывание его в Кобрине не оставило по себе почти ничего, достойного замечания; даже его корреспонденция за этот период очень скудна. С Хвостовым он менялся немногими письмами по денежным делам, особенно по уплате сделанных долгов, писал о недостатке прислуги и о прочем в подобном роде. Родственница его Евпраксия Раевская, имевшая около 30 лет от роду, отказала своему жениху, и свадьба расстроилась; а так как несколько месяцев раньше, Суворов определил ей в приданое 6,000 руб., то теперь пишет, чтобы денег ей не выдавать, ибо «она может браковать женихов другие 30 лет». Впрочем, утрированной бережливости, по случаю прекращения служебного содержания, в нем не замечается ни в Кобрине, ни в Тульчине, скорее наоборот; так, он приказывает Хвостову выдать старшему из племянников, князей Горчаковых, 5,000 рублей «для его необходимых нужд». Житье его в Кобрине было скрашено приятною новостью: дочь его, графиня Зубова, разрешилась от бремени сыном Александром. По собственному признанию Суворова, «он дрожал от радости», получив это известие, и послал дочери следующее письмо: «Наташа, привези графа Александра Николаевича ко мне, а он пусть о том же попросит своего батюшку, твоего мужчину» [13].

Почти одновременно с Суворовым, т.е. несколько раньше и позже, в разные сроки, приехали в Кобрин и те 18 офицеров, которым он предложил оставить службу на известных условиях. Это были: полковник Борщов, подполковники Фалькони, Гесс, Тихановский, майоры Трескин, Грессер, Тимашев, князь Ухтомский, Зыбин, Сион, капитан Капустянский, ротмистры Павловский и Вишневский, поручики Ставраков, Матюшинский, Дорбут, Покровский и штаб-лекарь Белопольский. Кроме них в Кобрине находился подполковник Корицкий, как кажется с самого приема этого имения, что ему не мешало считаться на действительной службе. Офицеры эти, подавшие в свое время прошения об отставке, отослали их к Хвостову, как мы видели условно, но изменили ли потом свое условие, или оно Хвостовым не было почему либо исполнено, только прошения их получили дальнейший ход. В ожидании указов об отставке, Суворов, еще состоя на службе, снабдил их временными паспортами, с

которыми они в Кобрин и приехали. Из них Корицкий был управляющим и полномочным поверенным Суворова по всему кобринскому имению; о прочих точных указаний нет; быть может они служили ему подручниками, т.е. заведовали разными частями обширного поместья. Надел их деревнями еще не состоялся, но Суворов снабдил каждого из них «партикулярным письмом», на владение известным числом крестьян, с землею и угодьями, при чем цифра крестьян мужского пола колебалась между 25 и 100 душами на каждого. В общем итоге составилось 1184 души на 18 человек (без Корицкого), но эти «партикулярные письма» не имели силы законного обязательства до предъявления в судебном месте и занесения в протокольную книгу, с засвидетельствованием собственноручною подписью Суворова [14].

Что касается до Корицкого, то он получил документ от Суворова годом раньше, на деревню Хабовичи с 120 душ, или около того. Есть основание полагать, что Суворов просил (или хотел просить) покойную Государыню о пожаловании Корицкому небольшой деревни, руководясь предшествовавшим примером, когда Екатерина, согласившись на подобное ходатайство, пожаловала правителю его канцелярии, подполковнику Курису, имение в нескольких десятках верст от Одессы. Но на этот раз почему-то ходатайство или не состоялось, или не имело успеха, и потому Суворов отблагодарил Корицкого за его услуги из собственных средств. Документ был однако не окончательный, а «до дания формальной крепости». Таким образом получил 100 душ в кобринском имении и Мандрыкин, почти одновременно с Корицким [15].

В числе лиц, окружавших Суворова в Кобрине, мы не видим ни Мандрыкина, ни Тищенки, ни Куриса, Первые двое были отчислены от Суворова высочайшим приказом еще 30 января, с переводом в гарнизонные полки Риги и Оренбурга, и истребованы в Петербург, где и преданы суду по делу Вронского. Куриса встречаем последний раз при Суворове в Варшаве; затем он перешел на какую-то другую службу и во время кончины Суворова находился на Урале [16].

Выбрав Кобрин своим местопребыванием, с целью заняться устройством этого имения, Суворов жестоко ошибся в расчете. Не успел еще он осмотреться надлежащим образом, как получил приказание о перемене места жительства. Апреля 22, вечером или ночью, приехал в Кобрин коллежский асессор Николев и предъявил Суворову следующее именное высочайшее повеление: «ехать вам в Кобрин или другое местопребывание Суворова, откуда его привезть в боровицкие его деревни, где и препоручить Вындомскому (боровицкому городничему), а в случае надобности

требовать помощи от всякого начальства». Неожиданность эта поразила не только Суворова, но и отставных офицеров, положение которых не было еще обеспечено и даже не определилось. Их обуял страх, и не без основания, потому что существовали неутешительные прецеденты, и Корицкий, сообщая Хвостову об отъезде Суворова, пишет, что находится «всякую минуту в ужасе, ожидая жребия, подобно случившегося с Мандрыкиным и Тищенко». Офицеры успели однако принять кое-какие меры в свое обеспечение. Данные им Суворовым «партикулярные письма» они предъявили в кобринском суде (неизвестно- когда именно), с занесением в протокольную книгу на польском языке. Всем делом орудовал Корицкий, но для поднесения Суворову к подписи, удобного момента не нашел; поступая же без соображения обстоятельств и минуты, можно было все испортить. Теперь, с отбытием Суворова, могло лопнуть дело, а потому следовало действовать немедленно. По закону засвидетельствование подписью статей, внесенных в протокольную книгу, должно было совершаться в суде; высылка книги на дом допускалась только в случае болезни лица, от которого подпись требовалась. Сговорившись с кем следует, Корицкий истребовал протокольную книгу на дом к Суворову 23 апреля утром; привез ее регент кобринский Воротынецкий. Когда Суворову надо было уже садиться в экипаж, т.е. в 10 часов утра, Воротынецкий был введен в комнату, Корицкий взял у него протокольную книгу, раскрыл статью с партикулярными письмами офицерам и с доверенностью шляхтичу Красовскому, на законное утверждение за офицерами прав на землю, и подал Суворову к подписи. Суворов, не говоря ни слова, подписал, потом прошел в другую комнату, вышел на подъезд, сел в экипаж и уехал в новгородскую губернию [17].

Красовский, состоявший в то время при управлении кобринским имением Суворова в качестве юрист-консульта и адвоката, тоже не остался с пустыми руками и обеспечил себя лучше офицеров, количественно и качественно. Еще 31 марта он получил от Суворова запись: «сим пожизненным документом, который почитаю за равно как все крепости, за оказанные г. Красовским, поверенным моим, разные труды в интересах моих, яко и по доброй моей воле», Суворов давал Красовскому и его жене, до смерти их обоих, фольварок Сосновку или Планту, без внесения какой-либо платы, кроме чиншевых денег от крестьян. Красовский тотчас дал законное движение этому документу, который и был в том же году утвержден судом. Таким образом Красовский получил 434 души крестьян мужского пола, из коих только малая доля, 75 души, были признаны впоследствии, по

смерти Суворова, незаконно-присвоенными, а остальные 359 душ остались в его бесспорном владении [18].

Отъезд Суворова из Кобрина был до того внезапен и неожидан, что представлялся как бы сном. Не сделано никаких распоряжений, не отдано никаких приказаний; не взяты даже бриллианты, стоимостью в 300,000 рублей слишком, и другие ценные вещи. Не успели подвести счеты и снабдить Суворова деньгами, так что он принужден был занять у Корицкого 1,000 рублей. Обождать, не спешить — было как видно нельзя [19].

Какая была причина этой новой немилости Государя к Суворову? Категорического ответа мы не находим, но объяснение факта лежит во всем предшествующем. Выше изложены в хронологическом порядке фазисы дела, упомянуто также про слухи, но все это является в системе и последовательности лишь после изысканий. На самом деле происходило не так; одни обстоятельства доходили до сведения Государя раньше, другие позже; одни прикрашивались молвой, другие перетолковывались наушниками и доносчиками; есть и такие, которые остаются не разъясненными, напр. долгое пребывание Суворова в Тульчине, после высочайшего приказа об его отставке, или подробности его жизни в Кобрине. Неподатливость Суворова и его открытое осуждение многих нововведений служили широким полем для пересудов, сплетен и доносов. Из одного частного письма того времени узнаём, что про Суворова рассказывались «ужасные вещи»: тенденциозное прощание с войсками, писание к Государю слишком смелых писем, возвращение в военную коллегию всех русских орденов на том основании, что они получены в прошлое царствование; ношение одних иностранных орденов и проч. Справедливо ли все это рассказывалось, писалось и разносилось? Конечно нет; сам автор письма говорит в заключение: «признаюсь, я верю только половине всего этого». Таково уж свойство молвы вообще, а в случаях, подобных настоящему, в особенности.

Но молва редко выдумывает небывальщину, она только сильно преувеличивает, из мухи делая слона и расцвечивая тему бесконечными вариациями. В настоящем случае отвергать все сплошь нельзя, потому что где дым, там и огонь; разграничить истину от добавков — тоже невозможно, ввиду характерных свойств Суворовского темперамента и недостатка документальных данных. А что существовали прикрасы, — это несомненно. Приведем один пример, из более резких. Во всех почти сочинениях о Суворове принят на веру анекдот о присылке от Государя фельдъегеря с пакетом и о непринятии этого пакета Суворовым, что относят ко времени пребывания отставного фельдмаршала в селе Кончанском. Из упоминаемого письма,

писанного раньше, следует заключить, что это случилось (если только действительно случилось) или в Кобрине, или в Тульчине, после отставки. Приезжает фельдъегерь в то время, когда Суворов находился в бане, и требует, чтобы его допустили немедленно. Суворову докладывают, он приказывает ввести. Фельдъегерь входит в жарко натопленную баню; Суворов, паривщийся на полке, спрашивает — на чье имя и от кого привезен пакет; фельдъегерь отвечает, что от Государя фельдмаршалу графу Суворову. Суворов говорит ему, что фельдмаршал находится обыкновенно при армии, а он, Суворов, проживает в деревне, стало быть пакет не к нему, и он его не примет. Несмотря на убеждения фельдъегеря, Суворов остается при своем, и фельдъегерь принужден ехать, увозя обратно пакет. Нет никаких фактов, с помощью которых истинность этого анекдота прямо опровергалась бы, но он все-таки подлежит сильному сомнению. Император Павел был большой ригорист на счет всяких форм, что уже доказывается характером очень многих из его военных преобразований и требований, а потому назвать фельдмаршалом того кто им не был в действительности, он не мог. Отнятие от Суворова его высокого звания, притом в недавнее время, за целый ряд провинностей, тоже противоречит возможности подобного его титулования Государем, не говоря уже про то, что с точки зрения Павла I, такое именование Суворова от высочайшего лица было бы равносильно возвращению ему звания [20].

Особых причин, побудивших Государя усилить свою немилость к Суворову, отняв у него свободу избрания места жительства, вероятно не было, или же они остаются неизвестными — последнее довольно трудно предположить, потому что когда-нибудь и в чем-нибудь они высказались бы хоть намеком. Новой немилости не было, как не было новой для нее причины; существовал ряд немилостей и цепь причин; выделять из тех или других что либо в виде особого факта и объяснять этот факт вне общей последовательности, — невозможно, кроме немногих случаев, очень хорошо освещенных.

Если же между винами и карами оказывается несоответствие, т.е. если не были взвешены заслуги Суворова, то это объясняется всем внутренним складом Государя и издавна усвоенными им взглядами. Да и существовали неоспоримые факты, которые говорили сами за себя и против Суворова, В письме Тихановского к Хвостову читаем: «у нас все по прежнему, отмены ни в чем ни на волос нет». Только со сменою Суворова Беклешовым, начались в войсках Екатеринославской дивизии преобразования. Можно себе представить, какой гнев должно было вызвать это известие в раздражительном Павле I [21].

Во всяком случае выезд Суворова из Кобрина в новгородскую деревню обозначал худое: Кобрин олицетворял собою опалу, а Кончанск — и опалу, и ссылку.

Глава XXV. В селе Кончанском; 1797-1798.

Село Кончанское. — Приезд туда Суворова; присмотр за ним боровицкого городничего Вындомского. — Арестование в Кобрине отставных офицеров; отправление их в Киев; следствие над ними. — Прибытие к Суворову дочери и сына; разъезды его и приемы; донесения Вындомского. — Замена Вындонского Николевым; инструкция ему; первое свидание с ним Суворова. — Отъезд гостей; домашняя жизнь Суворова. — Донесения Николева; перехватывание корреспонденции. — Разные на Суворова иски и жалобы; взыскания по ним; грабительство в кобринском имении; решение Суворова разделаться с отставными офицерами. — Приглашение Суворова в Петербург; отозвание Николева и отмена надзора.

Село Кончанское, боровицкого уезда, новгородской губернии, лежит верстах в сорока от Боровичей и, во времена Суворова, принадлежало к разряду местностей, которые обыкновенно называют глухими или медвежьими углами. Оно окружено озерами, болотами и лесами; рыболовство однако не процветало; лесу было много, но строевого очень мало; каменистая и песчаная земля не отличалась плодородием. Во всей вотчине, состоящей из сопинской и кривинской волостей, жили пашней и покосами, разводимыми по расчищенному кустарнику и жженым лесным порослям; нанимались также на барки; промыслов почти никаких не знали; пчеловодство не существовало, во всем округе насчитывалось всего два-три улья. Не отличаясь особенной зажиточностью, Суворовские крестьяне не были однако бедны; в эту пору они довольно легко платили оброку по 5 рублей в год и

не несли никаких натуральных повинностей, кроме одного села Кончанского, где рубили и ставили дрова для надобностей господской усадьбы, да наряжали иногда подводы в Москву и Петербург.

Вотчина Суворова, имевшая 1000 душ мужского пола, была в это время уголком полузабытым, полузаброшенным. Слишком 20 лет перед тем она составляла собою предмет внимания и забот своего владельца, Василия Ивановича Суворова, который наезжал сюда и живал тут часто, особенно вскоре после покупки; но с его смертью все изменилось. Александр Васильевич Суворов, занятый по горло службой и своими честолюбивыми задачами, не жил тут никогда, в первый раз посетил свою вотчину чрез 9 лет после смерти отца и затем бывал в ней редко, случайно и на самое короткое время. Двухэтажный помещичий дом ветшал; сад, разведенный в 1784 году на десятине, разрастался медленно и содержался небрежно; господская усадьба имела вид унылый; даже построенная А. В. Суворовым в конце сада маленькая деревянная церковь, во имя св. Александра Невского, заметно старилась и своим не изящным очертанием вторила общему угрюмому, нежилому виду.

Сюда-то внезапно прибыл 5 мая Суворов, после 12-ти дневного, утомительного пути по весенней распутице. Помещичий дом оказался очень ветхим, но невзыскательный хозяин нашел возможным в нем поселиться, утешаясь тем, что наступало теплое время года. Исполнивши свое поручение, Николев передал обязанность присмотра за отставным фельдмаршалом боровицкому городничему Вындомскому и уехал.

Обязанность эта была делом не только неприятным, но и трудным. Сочувствие, которым пользовался в русском обществе Суворов, заранее окрашивало его опальную судьбу в цвет мученичества, а роли его надсмотрщиков придавало значение крайне незавидное; личный же характер Суворова грозил им большими неудобствами в положении, которое теперь создавалось. Все это понимал боровицкий городничий, премиер-майор Алексей Львович Вындомский, но отказаться от поручения не мог, при тогдашних правительственных принципах и понятиях. Ему было дано повеление; «иметь за Суворовым бдительный надзор и смотреть, чтобы он никуда не отлучался». Донесений Вындомского за первые два месяца, пока новгородским губернатором был Архаров, не сохранилось (или не найдено); но надо полагать, что он был человек гибкий и ловкий, потому что сумел удержаться в хороших с Суворовым отношениях, даже больше, ибо Суворов писал Хвостову: «иногда мне больше себя

жаль честного человека, здешнего городничего Алексея Львовича Вындомского, при мне страждущего». Обстоятельные сведения о Суворове начинаются с половины июля; но прежде., чем к ним перейти, необходимо вернуться несколько назад и ознакомиться со всем, что произошло в Кобрине после Суворовского отъезда [1].

Все офицеры, приехавшие по приглашению Суворова в Кобрин, остались там и по его отъезде; к ним присоединилось в разное время еще несколько других. Вероятно они, подобно Корицкому, чуяли над собою беду, но подав давно в отставку и переселившись в Кобрин, зашли уже так далеко, что оставалось только ждать. Прождали они недолго: 20 мая приехал Николев, арестовал их всех и повез в Киев, где они и были посажены в крепость. Вслед за тем последовало высочайшее повеление, на имя тогдашнего киевского военного губернатора графа И. Салтыкова, о производстве дознания относительно намерений и замыслов этих офицеров. Салтыков допросил их и донес, что они ничего не знают и никаких особых намерений, выходя в отставку и уезжая в Кобрин, не имели; что они «были заблуждены» обещаниями и обнадеживаниями Суворова — жить на свободе и владеть деревнями. По мнению Салтыкова, их незачем было возвращать на службу, кроме одного Капустянского, который жил «в сем скопище без паспорта и всякого вида», а потому отправлен в полк и посажен под арест. Ответом Государя было повеление: Салтыкову поступить с арестованными по своему усмотрению. Салтыков распустил их по домам, кроме капитана Капустянского, продолжавшего находиться под арестом при полку, и полковника Борщова, высланного в свой полк, в Омск. С прочих взята подписка, что они без ведома губернатора не будут никуда отлучаться из мест жительства и по первому зову обязуются явиться куда будет приказано. Из них майор Антинг поехал в Петербург к своему семейству, а майор Грессер и ротмистр князь Четвертинский просились вновь на службу. Ответом на это донесение послужило высочайшее повеление от 5 августа, об исключении из службы Антинга, Грессера и князя Четвертинского и о том, чтобы местное гражданское начальство имело наблюдение за сношениями Борщова и Капустянского. От того же числа последовало повеление петербургскому коменданту — иметь за Антингом всегдашнее наблюдение, а новгородскому губернатору Митусову написано собственноручно: «Имейте смотрение, чтобы исключенные из службы майоры Антинг, Грессер и ротмистр князь Четвертинский, и подобные им свиты Суворова, не имели никакого сношения и свидания с живущим в новгородской губернии бывшим фельдмаршалом графом Суворовым» [2].

Кроме этих лиц и Корицкого, остальные вернулись в Кобрин после 2-месячного отсутствия и поселились по-прежнему в помещичьем доме; Корицкий же проехал в свою полтавскую деревню, чтобы «опамятоваться и придти в себя». Так кончилась вторая часть кобринского эпизода и началась третья, совсем иного характера, продолжавшаяся до смерти и даже после смерти Суворова.

В июле месяце приехали к Суворову дорогие гости — сын, дочь и внук. Он звал их еще в Кобрин, когда считал себя совершенно свободным — а теперь, при иных условиях, свидание с близкими сердцу становилось для него двойным праздником. Суворов послал в Петербург письмо с нарочным (значит присмотр Вындомского был тогда не очень еще бдителен), за разными поручениями, в том числе и к дочери. Она находилась в Петербурге одна, без мужа, который по требованиям службы проживал почти безотлучно в Павловске. Весть о ссылке отца поразила ее, и она написала ему следующее письмо: «Все, что скажет сердце мое — молить Всевышнего о продолжении дней ваших при спокойствии душевном. Мы здоровы с братом и сыном, просим благословения вашего. Необходимое для вас послано при записке к Прокофью. Желание мое непременное — скорее вас видеть; о сем Бога прошу, он наш покровитель. Цалую ваши ручки». Возможность посетить отца представилась ей однако не тотчас же: требовалось разрешение Государя, а для получения его — удобный момент; может были и другие препятствия. Приблизительно через месяц, графиня Зубова однако уже была в с. Кончанском, вместе с братом, сыном, родственницей Евпраксией Раевской, воспитателем брата-майором Сионом и его женой. Кончанское помещение, и для одного Суворова сносное с горем пополам, для такого числа гостей было из рук вон плохо, тесно и неудобно. Суворов поехал за 45 верст в свою деревню Каменку, лично осмотреть тамошний дом — не будет ли лучше; дом оказался еще хуже, пришлось оставаться в Кончанске. Здесь провел он слишком два месяца в своей семье, и это время много усладило горечь его положения. «Графа Николая Александровича обнимаю», писал он Хвостову, «как руки и ноги графа Александра Николаевича (внука) и наслаждаюсь с его любезною Наташей. Провидению я предан, служу небесному Богу и верен богу земному» [3].

Донесения о Суворове составлялись и отправлялись от Вындомского к Митусову еженедельно, а затем представлялись к генерал-прокурору Куракину. Из них видно, что Суворов постоянно жаловался на дурное состояние здоровья, и приезд детей подкрепил его только временно. Его заботило впереди

зимнее и даже осеннее время, так как жить в Кончанском доме, в холод или ненастье, решительно было нельзя. Он решил переехать за 45 верст, в село Ровное, к свойственнице своей Ольге Александровне Жеребцовой (рожденной Зубовой). Можно ли ему это дозволить? Майора Сиона он отправил в Кобрин за брильянтами и другими вещами, которые хочет хранить здесь, в нашем лесистом, малолюдном крае, а их будет слишком на 300,000 рублей. Можно ли ему это разрешить? Приезжали евреи для расчетов по поставке из кобринских деревень провианта в казну, но до него не были допущены. Прочитав это донесение, Государь приказал: в Ровное Суворову переселиться можно, хранить при себе брильянты тоже; но подтверждается строгое наблюдение за его поведением и образом жизни.

Вындомский доносит, что Суворов ездил в Каменку осматривать дом и вернулся через два дня, заехав на обратном пути к помещице Мякининой. Через несколько дней он снова выехал к соседке Лупандиной, за 7 верст, отобедал там и вернулся домой в тот же день. Митусов спрашивает генерал-прокурора, — можно ли Суворову так разъезжать? Повелено: запретить.

Митусов доносит, что приехал из Кобрина ротмистр Павловский, требовал свидания с Суворовым и говорил, что многие еще приедут. Ему было отказано и велено ехать в Петербург, под присмотром нарочного. Павловский заупрямился и ехать под присмотром не захотел, разве-де свяжете. Вындомский его арестовал и отправил со всеми найденными при нем бумагами. Повелено: по допросе Павловского в тайной экспедиции, выпустить с обязательством никому не говорить, где содержался и о чем спрашиван. — Перехвачено письмо Хвостова к Суворову; в нем нет ничего особенного, но оно все-таки отправлено к генерал-прокурору, и Вындомский не ручается, чтобы переписка не производилась чрез живущую здесь графиню Зубову. Приказано: стараться перехватывать все письма, но переписки графини Зубовой и её людей не свидетельствовать. — Перехвачено новое письмо Хвостова к Суворову, а также письма камердинера Прохора Дубасова к графу Н. Зубову и Хвостову о денежных делах, но есть и жалоба. Относительно ожидаемого из Кобрина в Кончанск Сиона приказано: допустить его к сдаче Суворову, в присутствии Вындомского, привезенных брильянтов и вещей, и затем велеть ему немедленно уехать; но потом приказание это отменено и Сиону, воспитателю графа Аркадия, разрешено оставаться при Суворове. — Донесено, что Евпраксию Раевскую Суворов хочет выдать за боровицкого помещика капитан-лейтенанта Александра Румянцева, с назначением ей в

приданое 100 душ, но на условии, чтобы они жили в его, Суворова, доме. Вындомский старается отговорить от этого последнего условия. Повелено: разрешить.

Таковы были обстоятельства и результаты двухмесячного надзора за Суворовым. Вындомский очень тяготился своим в этом деле участием, со времени назначения новгородским губернатором Митусова вместо Архарова, вероятно вследствие усиления за опальным фельдмаршалом надзора. Вындомский тогда же решился обратиться к новому губернатору с просьбой об увольнении от этой обязанности, причем приводил в резон, между прочим, возможность захворать и таким образом оставить Суворова без всякого наблюдения. Он указывал даже на лицо, которое могло бы заменить его при фельдмаршале, именно на директора боровицкой конторы статского советника Гензеля. Митусов как видно согласился с неудобствами положения Вындомского, но кандидатура Гензеля не удостоилась в Петербурге утверждения, а назначен надворный советник Феофилакт Долгово-Сабуров, помещик боровицкий, находившийся в отставке, и выбор этот сделан между прочим потому, что Долгово-Сабуров «может бывать у Суворова часто, не возбуждая подозрений».

В Петербурге или не составили себе ясного понятия о взаимном положении надзирателя и надзираемого, или сами себя обманывали для мнимого сохранения наружных приличий, если полагали, что присмотр может не возбуждать в Суворове подозрений. Дело было для него совершенно ясное, да и не могло быть иным, если правительственный агент находился постоянно на его глазах, письма пропадали, приезжие (о которых он мог знать от своих людей) до него не допускались, и ему самому был запрещен выезд за какие-нибудь 7 верст. Тем не менее продолжали держаться этой системы, может быть из желания не оскорблять Суворова слишком грубыми формами лишения свободы, что и заставило обратиться к одному из частных, не служащих лиц. Отказ не предполагался; Долгово-Сабуров однако отказался, конечно на основании веских причин. Он отвечал губернатору, что готов всячески служить Государю, но не может, потому что болен чахоткой и еде жив. Донося об этом, Митусов удостоверил, что слова Сабурова справедливы и что он сам, Митусов, видел внезапные припадки его болезни. Пришлось приискивать другого. Московский военный губернатор И. П. Архаров рекомендовал еще раньше отставного коллежского асессора Николева, когда шла речь только об арестовании Суворова в Кобрине. Поручение это Николев исполнил успешно; потом арестовал и отвез в Киев из Кобрина офицеров, тоже без

всяких проволочек и неудач; на нем и теперь остановился выбор.

Юрий Алексеевич Николев по прослужении 15 лет вышел в отставку, как он говорит «не получа ни малейшего вознаграждения», и проживал в своем имении (160 душ), которое досталось на его долю по дележу с 4 братьями наследства их дяди, генерал-майора Николева, но находилось под секвестром по комиссариату. Ю. Николев был в описываемое время человек пожилой, имел двух сыновей на службе и двух дочерей. Он, если верить его словам, порядочно бедствовал, проживая в своем секвестрованном имении, пока Архаров не «сжалился над ним», отрекомендовав как сказано. По сдаче в Киеве кобринских офицеров, Николев опять уехал в свою деревню, под Москвою, но 16 сентября получил повеление — явиться снова, так как на него возлагается присмотр за Суворовым в селе Кончанском. Николев донес безграмотною запиской, что в тот же день выезжает и поедет прямо в с. Кончанское, что иначе поступить по его мнению неудобно и что он просит выслать ему инструкцию на место.

Сентября 20 он был уже в Кончанске, но Вындомский, не получив еще приказания о передаче ему присмотра за Суворовым, несколько дней продолжал состоять при опальном. Он доносил, что приехал из Кобрина шляхтич Красовский, привез Суворову бриллианты, 3,000 р. денег, получил наставление и уехал обратно. Перехвачено несколько писем; Сион и Павловский просят о перемене подаренных им деревень на другие; первый пишет своей жене, что дела Суворова в Кобрине в величайшем расстройстве; Антинг извещает, что исключен из службы, находится с семьею в нищете; Фалькони благодарит за деревню и проч. Здоровье Суворова по прежнему слабо. Приказано: перехваченные письма передать по принадлежности, такт» как в них ничего нет. Вместе с тем, или вскоре, выслана инструкция Николеву, а Вындомскому приказано возвратиться к своей должности [4].

Инструкция предписывала Николеву отправиться в Боровичи, жить там для наблюдения за поведением и образом жизни Суворова и еженедельно доносить генерал-прокурору во всей подробности. Сколько возможно скрывать от всех возложенное на него поручение, делая вид, что приехал туда и проживает там по своим делам, — торговым, судебным или иным. Осведомляться, от кого будут к Суворову посещения, с каким намерением, чем он с посетителями или один, будет заниматься или с кем пересылаться; в последнем случае — что станет посылать, кому, куда и зачем. Лицам его бывшей свиты, ныне исключенным из службы, не дозволять с ним, Суворовым, иметь ни свиданий, ни сношений, кроме одного майора Сиона. Наблюдать за

корреспонденцией, разузнавая, что Суворов пишет, кому и через кого; особенно следить «какими бы то путями ни было» за адресуемыми ему письмами. С этою целью приказано боровицкому почтмейстеру все письма пересылать через Вындомского к нему, Николеву, а земскому исправнику велено, в случае отлучки Николева из уезда, наблюдать и извещать его чрез Вындомского о письмах, получаемых или отправляемых с нарочными, также о «посещениях и упражнениях» Суворова; для чего ему, Николеву, рекомендуется повидаться с исправником и переговорить с ним. До переписки дочери, графини Зубовой, или её близких, не касаться. Вындомский будет оказывать всякое содействие и пособие. Если паче чаяния будет замечено что-нибудь подозрительное, то об этом должно быт немедленно донесено генерал-прокурору. Так как он, Николев, с некоторого времени с Суворовым знаком, то должен сохранять к нему должное почтение, не давать повод ни ему, ни домашним к неудовольствию, «оказывать ласку и доброхотство». Если бы Суворов вздумал куда-либо в гости ехать, то представлять ему учтиво, что по теперешнему его положению он не может этого делать; если же не послушается, то объявить ему высочайшее повеление, отказать наотрез и донести генерал-прокурору.

Как только появился Николев, дочь Суворова и другие лица, с нею приехавшие, собрались домой и выехали на другой день. Может быть это совпадение случайное, так как становилось холодно, и в ветхом доме нельзя уже было жить, не рискуя здоровьем. Сам Суворов тоже покинул дом тотчас же и переселился в избу, на краю деревни, за неимением другого жилого помещения, ибо новый дом хотя строился, но был еще не готов. Во ожидании близкого отъезда дочери, Суворов был очень печален, а по её отъезде много плакал. В таком настроении он встретился первый раз с Николевым и спросил его: «откуда приехал?» — Заехал по дороге в Тихвин», — отвечал Николев, понимавший свою роль, хотя инструкция не была еще получена, «Я слышал, что ты пожалован (за Кобрин) чином», продолжал улыбаясь. Суворов: «правда, и служба большая; выслужил, выслужил; продолжай так поступать, еще наградят». Николев отвечал, что «исполнять монаршую волю есть первейший долг верноподданного». Суворов заметил: «я бы этого не сделал, а сказался бы больным». Николев выразил удивление по поводу такого взгляда на службу; Суворов замолчал, а потом, по словам Николевского донесения, сделался гораздо снисходительнее и ласковее.

Из этого первого донесения видна домашняя жизнь Суворова. Он вставал за 2 часа до света, пил чай, обливался водою, на

рассвете шел в церковь, где стоял заутреню и обедню, причем сам читал и пел. Обед подавался в 7 часов, после обеда Суворов спал, потом обмывался, в свое время шел к вечерне, после того обмывался раза три и ложился спать. Скоромного он не ел, был весь день один и разговаривал лишь со своими людьми, несколькими отставными солдатами. Носил он обыкновенно канифасный камзольчик, одна нога в сапоге, другая (раненая) в туфле; по воскресеньям и другим праздникам надевал егерскую куртку и каску; в высокоторжественные дни куртку заменял фельдмаршальским мундиром без шитья, по с орде нами. Свой простой ежедневный костюм Суворов впрочем еще упрощал до минимума: ходил без рубашки, в одном нижнем белье, как делывал обыкновенно в лагерное время. Он жаловался на нездоровье, на параличные симптомы в разных частях тела, но Николев доносил, что ничего подобного не заметил, что вообще здоровье Суворова, если взять в расчет его годы, находилось в состоянии удовлетворительном. Предшествовавшие донесения Вындомского не совсем с этим согласны, и в письмах своих к Хвостову Суворов неоднократно упоминает о своих недугах, говорит даже про «дюжину тульчинских параличей». Хотя последнее выражение неправильно, но по всему видно, что здоровье Суворова несколько пошатнулось, и если он не был буквально болен, то благодаря преимущественно своей энергии.

Кончая свое первое донесение, Николев говорит, что присмотр за Суворовым оказывается в действительности невозможным; изба, занимаемая Суворовым, удалена от села, невдалеке от нее находится лишь церковь; приставнику нет помещения, откуда можно было бы наблюдать. Нет и путей для наблюдения: Суворов постоянно окружен своими людьми, ближайшие к нему — камердинер и два отставных солдата — люди «не покорливые и не трезвые». Хотя ему, Николеву, предоставлено в распоряжение 1,000 душ Карел (та местность населена Карелами), но из них мало кто, да и то плохо, разумеет по-русски; нельзя усмотреть за отправкою и получением писем, а по неимению военной команды, не с кем отсылать донесения. В силу таких обстоятельств Николев просит снабдить его дополнительным повелением, или вызвать для личных объяснений. Повелено: надзирать неприметным образом, а потому нет нужды ни в новых наставлениях, ни в новых средствах [5].

Два последующие донесения Николева не заключая в себе ничего особенного, все-таки дают кое-что для характеристики обстоятельств. Николев просит дать в его распоряжение несколько солдат (вероятно для рассыльной службы);Митусов

присылает двух. Суворов находится в прежнем состоянии здоровья, но однажды больно ушибся, набежав ночью на лежащую собаку. У него прибавилось новое препровождение времени: по утрам и после обеда поет духовные концерты. Рассердившись на Николева за то, что тот назвал его *вы*, вместо *ваше сиятельство*, он однако сделался с ним на другой день по-прежнему ласков. Перехвачены письма; из них одно от баронессы Карничай, из Пешта: просит Суворова быть воспреемником сына Александра; другое — от г-жи фон Тиллен, из Силезии: просит о том же — для младенца, которого она должна родить чрез два месяца, Приказано; письма отдать по принадлежности. — Барон Карачай, боевой товарищ и приятель Суворова, пишет ему из Венгрии, спрашивая о состоянии здоровья. Повелено; письмо не отдавать, все подобные удерживать и вообще переписку Суворова с Карачаем прекратить. — Между людьми Суворова идут разговоры, будто он собирается уехать в Петербург. Ему не трудно это исполнить и вести корреспонденцию вне надзора; бурмистру приказано, в случае попытки к отъезду, не давать ему лошадей, а чтобы не быть в ответе, Николев испрашивает на этот предмет приказаний. Никаких приказаний не последовало, вероятно потому, что усердие Николева увлекало его к слишком большим и несбыточным опасениям.

Дальнейшие донесения Николева вращаются в тех же границах, и резолюции из Петербурга в том же роде. Приказано майора Сиона, находившегося в Кобрине, к Суворову не допускать, в отмену прежнего разрешения, но по просьбе графа Н. Зубова снова дозволено на условии, чтобы Николев за Сионом смотрел. Отправленного Суворовым в Петербург камердинера Прохора приказано допросить; оказалось, что он приехал к графу Зубову с поручением от Суворова — ускорить платежи по казенным взысканиям (о них будет дальше). Перехвачены многие письма к Суворову, большая их часть оказались просительными. Суворов перестал надевать по праздникам фельдмаршальский мундир, но за то носит на шее орден св. Анны (любимый Императора Павла); ночью это изба однажды загорелась, но вовремя потушена; здоровье его по-прежнему, но с чего-то подошвы на ногах распухли, так что он несколько дней с трудом ходил. Печаль его по уехавшей дочери перешла в хроническое грустное настроение, вследствие неполучения никаких от графини Зубовой известий; но превратилась в сильнейшую радость, когда пришло от нее письмо. Потом, как можно догадываться, наступили дни томительной скуки; недовольство настоящим обострилось и перешло в раздражительное состояние, которое выросло с наступлением святок, потому что Суворов

привык всегда проводить праздники в разных забавах. Николев доносит в конце декабря, что Суворов становится все сердитее; не проходит дня, чтобы он не побил кого-нибудь из людей; даже 25 числа за обедней дал Прошке пощечину. При этом Николев не упускает однако же заметить, что «Суворов был в канифасном камзольчике, но с Анной на шее» [6].

Тяжело было положение Суворова, но описанными данными далеко не исчерпывается итог неприятностей, которые ему приходилось выносить. Нежданно-негаданно на него обрушилась целая масса казенных взысканий и несколько частных претензий, а в Кобрине установилась неурядица, перешедшая наконец в бесцеремонное грабительство.

Пока Суворов был в чести, славе и силе, все молчало; народилось и появилось на дневной свет только дело Вронского, но оно было направлено не против него лично, и доносчик выгораживал его особу всяческими оговорками. А едва собралась гроза и грянул гром, свергнувший победоносного полководца с высоты его положения в беспомощное состояние опального, стали возникать разные темные дела, появляться жалобы за прежнее время, нарождаться иски.

Первый открыл этого рода кампанию майор Донского войска Чернозубов. Как только Суворов отправлен был в ссылку, Чернозубов заявил претензию в том, что остается по настоящее время неудовлетворенным за употребленные им с 16 октября 1795 по январь 1796 года на фураж 8,021 руб., которые он, находясь в Польше, израсходовал по словесному приказанию Суворова, за неимением тогда прямого на этот расход источника. А так как, по сделанной справке, Суворову уже была отпущена в то время сумма на продовольствие войск, то 6 мая повелено: взыскать с него 8,021 руб.

Суворов был очень удивлен, получив первое об этом известие и, не зная подробностей, тотчас же выслал Хвостову верющее письмо на заем 10,000 рублей под залог 250 душ. Потом, сообразив обстоятельства, он стал приводить в свое оправдание, что удовлетворение Чернозубова относится до провиантского ведомства, имеющего на все свои законы и правила, которые главнокомандующий изменить не в силах; что если провиантская канцелярия имея деньги, их не отпускала, то на ней и вина, а не на главнокомандующем, который обязан заботиться, чтобы войска были сыты. Он с едкостью замечает, что Философов, в инспекции которого возникло это дело, должно быть сошел с ума или, не бывши 30 лет в военной службе, забыл, что словесные приказы о деньгах не исполняются. Он замечает, что на него, Суворова, наложено взыскание без рассмотрения дел и счетных

книг штаба; что даже не был сделан ответчику предварительный запрос но заявленной на него претензии; что поступать таким образом, значит дать повод другим заявлять что угодно, без всякого с их стороны риска, и тогда претензии могут вырасти до миллионов. Уже один полковник прислал ему, Суворову, частное письмо, требуя 3,500 руб. и угрожая обратиться в противном случае с прошением к Государю; подобным случаям и конца нельзя предвидеть, а между тем они, помимо основной своей несправедливости, кладут пятно и на его, Суворова, честь.

Все это однако не привело ни к чему, и Суворову оставалось только платить. Хвостов просил Митусова обождать взысканием, пока деньги будут собраны, но в октябре последовало из военной коллегии вторичное, строжайшее требование, так что приходилось налагать секвестр на часть боровицкого имения. Хвостов сбился кое-как с деньгами и заплатил.

Слова Суворова сбывались: в октябре заявлена новая жалоба, и по ней повелено: деньги, употребленные умершим полковником Шиллингом, по словесному приказанию Суворова, на продовольствие полка, — взыскать с Суворова, Несколько позже приказано дополнительно: деньги, израсходованные в том же Низовском мушкетерском полку из офицерских и церковных сумм на ту же потребность, — взыскать с него же, что составляло в итоге 4,232 рубля. Суворов писал Хвостову по этому поводу тоже, что и о претензии Чернозубова, но также бесполезно: взыскания обращены на доходы с кобринского имения, и немного погодя строго подтверждено не затягивать исполнение.

В декабре состоялось высочайшее повеление о новом взыскании. В последнюю войну войска Суворова проходили чрез гор. Брест-Литовский; здесь был сложен в сарае поташ, а в плотах на р. Буге находился корабельный лес, — то и другое справлялось к Данцигу. Суворов приказал приставить к амбару и плотам караул и велел потом бригадиру Дивову эту военную добычу продать. Купил один еврей и получил от Дивова удостоверение на бумаге в том, что лес и поташ действительно ему проданы, а деньги за них получены. Цифра полученных денег не была в расписке обозначена, и таким образом продажная цена осталась неизвестной; вероятно она была ниже 700 червонцев, потому что еврей вскоре перепродал лес и поташ другому, взяв с него именно эту сумму. В июне 1797 года бывший литовский подстолий, граф Ворцель, подал прошение, объясняя, что лес и поташ принадлежали ему, стоили 5628 червонцев, а потому просил взыскать понесенный им убыток с Суворова, как главнокомандующего. Надо заметить, что Ворцель был в это время по горло в долгах, кредиторы его с каждым днем

становились настойчивее, и подав им некоторую надежду на уплату, он приобретал хоть временное спокойствие. Прошение свое он написал в самых общих выражениях и цифру претензии не подкрепил ничем. Должно быть это обстоятельство кидалось в глаза, потому что взыскание с Суворова не последовало тотчас же, а было приказано князю Репнину привести в ясность обстоятельства дела. Репнин употребил на это немало времени, а разъяснял очень не многое; приведенное выше изложение дела есть результат не только Репнинского исследования, но и розысков Суворовского управляющего, Красовского, который собирал справки в Данциге, Варшаве и других местах, и добыл копию с расписки Дивова. Не был спрошен даже этот последний, хотя все дело на нем вращалось. Черный год Суворова взял верх, и в декабре приказано взыскать с него 5628 червонцев (по тогдашнему курсу около 28.000 рублей бумажных), опять без предварительного его спроса о справедливости принесенной на него жалобы.

Суворов указывал на корыстолюбивое побуждение просителя, на то, что жалоба принесена через 2 1/2 года не без причины, что главнокомандующий не может быть ответственным лицом за каждого из своих подчиненных, что истина не разъяснена производившимся дознанием, что разница между 5628 ни 700 червонцами слишком разительна, что если Ворцель и справедливо показывал бы, то все-таки привлечение виновного к делу может иметь место по отношению к Дивову, а не к нему, Суворову. Он действительно совсем позабыл про подробности этого дела и даже не мог припомнить, куда девались вырученные за лес и поташ деньги. Для обеспечения взыскания, на кобринское имение наложен секвестр.

Аппетит хищников на чужое добро разгорался, и в январе 1798 года бывших польских войск майор Выгановский подал прошение о взыскании с Суворова 36,000 рублей за опустошение и истребление во время последней войны его имения. Польский генерал Сераковский, ретируясь чрез Крупчицы, навлек на местечко и на стоявший за ним дом Выгановского огонь русской артиллерии; от гранат пострадало местечко и сгорел дом. Уже этого краткого изложения достаточно, чтобы убедиться в нелепости иска Выгановского. «Я не зажигатель и не разбойник», говорит Суворов и ставит вопрос прямо: «война или мир?» И действительно от наложения на него взыскания удержались, но жалоба Выгановского нелепою все-таки не признана, и кобринскому суду приказано произвести расследование. Оказалось между прочим, что не только крупчицкий дом, но и все имение Выгановского, тронутое войной и не тронутое, не стоит

36.000 рублей; что за год до революции оно было заложено владельцем в 6000 червонцев; что дом был деревянный, ветхий и стоял совершенно пустой, без всякой мебели. расследование продолжалось около года, если не больше, и ко взысканию с Суворова не привело; но Суворов считал его возможным, так как и предшествовавшие претензии признавал не многим основательнее. Поэтому иск Выгановского, подобно другим, сильно его беспокоил и раздражал; лишь притерпевшись ко всему и убедившись в своем бессилии противу этого потока неприятностей и огорчений, он махнул рукой и нашел в себе самом утешение. «В несчастном случае — бриллианты», пишет он: «я их заслужил, Бог дал, Бог и возьмет и опять дать может».

Только этот облегчающий довод ему и оставался. Все взыскания были безапелляционные, и лишь в конце 1798 года, когда было уже поздно, Суворов получил возможность подать в первый раз голос в защиту своей чести и собственности. Опровержения же, приведенные выше, он излагал в частной переписке, да и то под зорким взглядом надсмотрщиков, перехватывавших корреспонденцию; таким образом она и в счастливом случае к практическому результату не приводила, а служила лишь некоторым утешением в смысле разделенного с кем-нибудь огорчения[7].

Кроме описанных официальных вымогательств, Суворов сделался предметом нападений в том же отношении и с других сторон. Какой-то купец пишет ему в конце мая из Москвы, что 1 1/2 года назад сторговали это дом Суворовским именем комиссионеры, но задатку не дали, а между тем он, владелец, уничтожил ситцевую в доме фабрику, не пускает жильцов и вообще несет большие убытки. Суворов послал письмо это к Хвостову, с надписью: «Дмитрий Иванович, я дома держусь, считал что то и кончено; исправьте, а потом хоть три серых камня Оссиановых». В октябре прибыл к нему нарочный от давно забытой жены, с письмом. Варвара Ивановна пишет, что крайность принуждает ее сделать этот шаг; что она в бедности, живет у брата, который весь в долгу и продает теперь свой дом, так что ей придется скитаться по чужим углам. «Тринадцать лет вас (пишет ему то *ты*, то *вы*) не беспокоила», продолжает она: «воспитывала нашего сына в страхе Божием, внушала почтение, повиновение, послушание, привязанность и все сердечные чувства к родителям, надеясь, что Бог приклонит и ваше к добру расположенное сердце к вашему рождению; что вы, видя детей ваших, вспомните и про их несчастную мать». Объясняя дальше, что «в разные годы получала разную малую пенсию» и вошла в долги, которые ныне простираются до 22,000 рублей, она кончает

письмо словами: «развяжите душу мою, прикажите дочери нашей меня, несчастную мать, знать, как Богом узаконено». Письмо написано складно; очевидно составляла его не Варвара Ивановна; о пенсии сказано не совсем верно, потому что с начала разлуки Суворова с женой, Варваре Ивановне выдавалось ежегодно по 1200 р., а потом по 3000; эту последнюю сумму она получала и в последнее время. Суворов отправил посланного, не видав его и приказав передать жене, что он сам много должен, а потому помочь ей теперь не в состоянии, но в будущем постарается. Вскоре после того он написал Хвостову: «я ведаю, что графиня Варвара Ивановна много должна, но мне сие постороннее».

Так думал или хотел думать Суворов, но не так вышло. Николев донес Куракину о просьбе Варвары Ивановны и об ответе Суворова; повелено: сообщить графине Суворовой, что может обратиться к генерал-прокурору. Вслед затем Суворов пишет зятю, графу Н. Зубову: «я слышу, что Варвара Ивановна желает жить в моем московском доме; с сим я согласен, да и рождественский дом к её услугам; только бы никаких иных претензиев не было: знакомо, что я в немощах». Написал он об этом и своему давнему приятелю, Н. Ф. Скрипицыну, московскому управляющему, но Варвара Ивановна уже успела войти в переписку с Куракиным, по его приглашению. «Угнетена будучи должайшее время от несчастного своего положения крайним недостатком», она прилагает копию с письма своего к мужу, оставленного без письменного ответа, и просит дом для жительства, 8000 руб. в год содержания и уплату 22,000 р. долгу. она возлагает все свое упование на высочайшее благоволение, признавая его «единственным законом, который может ее извлечь из настоящего бедственного положения». Потребована от Хвостова справка о размере состояния Суворова и количестве дохода, и затем повелено: назначить Варваре Ивановне дом для жительства и ежегодное денежное содержание в 8000 рублей, о чем и сообщено как Суворову, так и его жене. Суворов коротко сообщил своему зятю высочайшее повеление к исполнению; Варвара Ивановна рассыпалась перед Куракиным в благодарностях. За несколько дней перед тем Скрипицын сообщил ей, что оба дома, в Москве и селе Рождествене, передаются ей в хозяйство с мебелью, всем убранством и прислугой. Варвара Ивановна отвечала ему благодарственным письмом, которое, выйдя из под другого пера, было бы злой иронией, так как оно кончается уверением: «не премину оказать послушание мужу, ибо приятным долгом себе поставляю всегда исполнять его волю». В таком же смысле она пишет и Куракину, но намекает, что Скрипицын не очищает дом и вероятно не скоро

очистит, ибо живет в нем по найму. Куракин успокаивает ее, потому что мужу её дано высочайшее повеление; Варвара Ивановна отвечает, что на мужа она положиться не может, ибо «вследствие влияния на него близких лиц, мне лицедействующих, можно ждать ежевременной перемены», и напоминает о своей просьбе на счет 22,000 р. долга. Куракин подтверждает графу Н. Зубову о передаче графине Суворовой московского дома, а ей сообщает, что об уплате долга надлежит просить установленным законным путем. Этим письмом от 3 февраля 1798 года переписка пока и закончилась, и претензия Варвары Ивановны осталась удовлетворенною не вполне [8].

Если все сосчитать, то итог покажет, что жалобы, иски и претензий на Суворова превысили цифру 100,000 рублей, а по современному свидетельству Хвостова, не совсем впрочем верному, годовой его доход простирался только до 50,000 р. Но главный материальный ущерб, нанесенный Суворову в это несчастливое для него время, шел из Кобрина и заключался в беспорядке, который развился там после его отъезда в Кончанск и грозил перейти в полный хаос. Офицеры, положение которых оставалось неопределенным, болтались без дела, жили на счет Суворова, или же, завладев участками, вели хищническое хозяйство. К ним прибавилось несколько новых, имен которых не находим в первоначальном списке; как они сюда попали и на каком основании пристроились к делу или получили участки, — остается темным. Легкий способ получать даром хоть небольшое, но обеспеченное состояние, послужил соблазнительным примером для других, и Суворов был засыпан прошениями о наделе. Майор фон Ваде просит пожаловать ему данную на 60 душ; француз Морис умоляет «по бедности» о такой же цифре; отставной майор Сухов, с письмом от Корицкого, ходатайствует о том же и даже приехал за этим в село Кончанское лично; множество других выпрашивают просто пособия. Корицкий, за время своего управления имением, до отправки в киевскую крепость, роздал разным шляхтичам в пожизненное владение 209 душ, с землею и угодьями. Другие бомбардируют Суворова и даже Прохора письмами о перемене назначенных им Корицким и занесенных в протокольную книгу участков; сам Сион, посланный для приведения всего в ясность и порядок, трижды просит Суворова письмами о перемене подаренной ему деревни; Фалькони ничего не просит, а только благодарит, ибо очень доволен своей судьбой. Антинг пишет к Суворову, к Вындомскому, к Хвостову, что он обижен, что во все время ревностной своей службы Суворову, ничем не одарен. Между тем в сохранившейся переписке Суворова можно насчитать 5 или 6

раз, когда ему приказано было выдать от 500 до 1000 рублей. Красовский высматривает и лавирует; получив 434 души в пожизненное владение и закрепив их за собою надлежащим образом, он, как рассказывали злые языки, добился 2000 р. дохода с помощью Прохора, пообещав ему благодарность в несколько тысяч рублей, но не сдержал слова [9].

Неустройство кобринских дел проглядывает чуть не в каждой строке писем, оттуда посылаемых к Суворову, Зубову, Хвостову, Вындомскому, Прохору, и поддерживается самим Суворовым, помимо его воли. Получив первые известия о тамошних беспорядках, он просит Хвостова послать туда доверенное лицо, с полномочиями для управления имением и приведения всего в надлежащее устройство. Через месяц, воспользовавшись приездом в Кончанск Сиона, он отрывает его от сына и посылает в Кобрин почти на полгода, давая доверенность в нескольких строках и уполномочивая его избрать пред обратным отъездом главного управляющего. Является таким образом два уполномоченных, из которых один остается ни при чем. Налетевшие со всех сторон на добро Суворова, как вороны на неподвижное тело, отставные офицеры и шляхтичи стараются урвать что можно, ссорятся, сплетничают друг на друга, посылают Суворову, Хвостову, Зубову предостережения и доносы. Корицкому, Сиону и Красовскому, т.е. бывшему, настоящему и будущему главноуправляющим, достается больше всех и, сколько можно разобраться в этой массе писем и путанице дел, значительною долею не напрасно. Сгорает строевой лес, по 1,000 руб. десятина, дававший 3,000 рублей годового дохода; подожжен он для того, чтобы было больше валежника и подешевели дрова на продажу. Хлеб продан по хорошей цене, а в отчетах цена поставлена малая. Сион не имеет никакого понятия о ведении хозяйства и, будучи иностранцем, подозревается в возможности забрать деньги и уехать за границу. Красовский занимается ходатайством по чужим делам и интересы Суворовского имения не блюдет. Сион угощает беспрестанно окрестное шляхетство; однажды у него обедало 130 человек и ужинало больше 60. У Красовского ежедневные столы, музыка, охота в лесах Суворова. Уезжая из Кобрина, Сион оставил по себе 500 руб. долгу и совершенно пустым погреб Суворова, в котором находилось вина на 300 рублей [10].

Все это (а если не все, то многое) доходило до Суворова разными путями, возбуждало в нем беспокойство и заставляло искать выхода из такого положения. Выход найти было трудно; самое прямое средство — личное присутствие в Кобрине, было невозможно; да и другие способы почти не существовали: переписка перехватывалась и если возвращалась, то поздно;

личные переговоры с немногими лицами дозволялись только временами, а с прочими запрещались безусловно. Положение создалось по истине безвыходное, и на перемену к лучшему не представлялось надежды. Суворов, вышедший в отставку с расчетом хозяйничать в Кобрине, стал убеждаться, что привлечение туда офицеров, с наделом их деревнями, представляется теперь капитальным злом, мерою, достигающею цели как раз противуположной той, которая им предполагалась при оставлении службы. Известия из Кобрина поддерживали такой поворот его мыслей, а разговор с Красовским, привезшим бриллианты, убедил его в том совершенно. Хитрый, плутоватый шляхтич еще в Кобрине уразумел Суворова до тонкости и решился добиться полной его доверенности. Он сообщил Суворову, что многие из офицеров, благодаря Корицкому, получили самые лучшие деревни, притом на условиях, для него, Суворова, крайне не выгодных; что от этого происходит путаница, и правильное управление имением невозможно; что многие из получивших наделы отсутствуют и т. под. Убедить Суворова было тем легче, что приведенные доводы были большею частью справедливы; Красовский же указал Суворову и средство избавиться от офицеров: разделаться с ними деньгами. для чего в итоге требовалось, по его исчислению, не больше 30,000 рублей. Суворову эта мысль понравилась и, соображая все обстоятельства, в ноябре он остановился на таком решении: офицерам дать отступного по двум нормам — 40 и 20 руб. за душу или около того, но не больше. Те, которые возвратятся на службу или пожелают оставить Кобрин, получают по 20 рублей; те, которые останутся и обяжутся жить в окрестностях Кобрина до его, Суворова, смерти, получают по 40 рублей. Впредь до заключения с ними законным путем сделки в этом смысле, они пользуются данными им деревнями. Корицкому, если справедливы его поступки и лихоимство, Суворов затрудняется дать и по рублю.

На этом фазисе остановилось дело в зиму 1797-98 годов. Соображения и расчеты составлялись одною заинтересованною стороной, не спросившись другой, а потому, как ниже увидим, почти ни к чему путному не привели.

Тем временем жизнь Суворова текла своим чередом; однообразные и тоскливые дни сменялись один другим, и не видно было просвета в этой опальной тьме ежедневного прозябания. По прежнему жил в Кончанске и Николев, наблюдая за своим узником и посылая периодические донесения. Приехал Сион, пробыл довольно долго; каждый день, часа по два подряд, просиживал он у Суворова, давая ему отчет и посвящая его в тайны кобринских порядков. Привез он немало писем от

кобринских офицеров, арендаторов и разных просителей, но Суворов их не принял, дал Сиону несколько наставлений и отпустил его в Петербург. Сион уехал 6 февраля 1798 года; вскоре после того Суворов отпустил бывших при нем отставных солдат; уединение его стадо еще глуше и безжизненнее. Февраля 14 вдруг все изменилось: перед Суворовым совершенно неожиданно предстал племянник его. подполковник князь Андрей Горчаков, флигель-адъютант Императора Павла, с приглашением ехать в Петербург [11].

Что побудило Государя обратить внимание на опального фельдмаршала? Вопрос, трудно разрешимый при характере Павла Петровича; но в числе причин главною, судя по последующим данным, было намерение поставить Суворова в необходимость, или по меньшей мере в возможность и желание, повиниться пред Государем и сделать первый шаг к выходу из настоящего положения. Опала Суворова, человека с громким и популярным именем, могла только увеличить общее к опальному сочувствие и представляла большие неудобства. Да и все происшествие имело дурной вид борьбы двух волей, положить которой конец следовало в интересах принципа. Поэтому февраля 12 князь Андрей Горчаков получил в Петербурге такое высочайшее повеление: «ехать вам, князь, к графу Суворову; сказать ему от меня, что если было что от него мне, я сего не помню; что может он ехать сюда, где надеюсь не будет повода подавать своим поведением к наималейшему недоразумению». В тот же день написано генерал-прокурору: «дозволив графу Суворову приехать в Петербург, находим пребывание Николева там не нужным». Горчаков тотчас же поскакал в Кончанск и, приехав туда, сообщил Николеву на словах приказание Куракина — возвратиться к себе домой. Николев уехал не медля под Москву, в свое имение [12].

Николев нес службу безвозмездно и, приехав в Москву, донес генерал-прокурору, что все 5 месяцев жил в Кончанске на свой счет, с трудом добрался по бедности до Москвы и потому просил хоть небольшого награждения. Еще прежде, в начале января, он просил о том же, говоря, что «своим настоящим положением по рвению к службе Его Императорского Величества удовлетворяется сердечно, но находится без жалованья», а потому ходатайствует о снятии с его имения секвестра и о денежном пособии. Жизнь его в Кончанске была не легка; Суворов ни в чем и ничем ему не пособлял, исполняя лишь то, на что получил высочайшее повеление, которое этого предмета не коснулось; жить приходилось в простой избе, питался чем попало, да и доставать все было очень трудно. В марте ему пожаловано 5000 рублей; кроме того в продолжение нескольких месяцев он получил три

чина. Служба при Суворове открыла ему карьеру. В том же 1798 году его командировали в ярославскую губернию, для разведок о намерениях крестьян, хотевших будто бы произвести смятение в проезд Государя, а потом послали в Калугу, для разузнавания о злоупотреблениях губернатора и чиновников, по доносу генерал-майора Линденера. После того, уже в чине действительного статского советника, Николев ездил в Батурин для собирания сведений о Кирилле Разумовском и его окружающих; в Москву — для того же относительно двух Куракиных, Плещеева и княгини Долгоруковой; в Шклов — для разведывания о генерале Зориче и проживавших там отставных и исключенных из службы; на Дон — для секретного разъяснения и поверки анонимной жалобы на двух генералов Иловайских. Все эти поручения он исполнил удовлетворительно, не выставляя на показ одну черную сторону и не злоупотребляя своими опасными для других полномочиями. Однако, в одном из своих донесений из Москвы, он говорит: «все меня боятся и от меня бегают», и просит награды. При Суворове его служба уже не возобновлялась [13].

Узнав от племянника о цели его приезда, Суворов принял это известие равнодушно и от поездки в Петербург отказался: мудрено ему было обманывать себя надеждами на счет соглашения своих взглядов и требований с Государевыми. Племянник принялся его убеждать, справедливо представляя, что такое упорство может вывести Государя из себя. Нельзя было с этим не согласиться, и Суворов пришел к убеждению, что ехать необходимо, но только поставил условием, что по старости и болезни отправится не иначе как на долгих, проселочными дорогами. Горчаков пришел в ужас, зная нетерпеливый нрав Государя, и стал уговаривать дядю ехать на почтовых, так как путь требует всего двух суток времени. Но Суворов ничего не хотел слушать, и Горчаков отправился обратно в Петербург, торопясь всеми силами, так как был уверен, что Государь его ждет.

Глава XXVI. В Петербурге и селе Кончанском; 1798-1799.

Приезд Суворова в Петербург; прием у Государя; выходки его на разводе и при других случаях; явное его нежелание поступить снова на службу; посредничество его племянника, князя Горчакова. — Просьба Суворова о дозволении удалиться снова в деревню; возвращение в Кончанск. — Неудачные попытки Суворова привести кобринские дела в порядок; уплата долгов жены; плачевное состояние денежных дел; возможность новых взысканий; обращение к Государю. — Окончание дела Вронского. — Заботы Суворова о сыне; духовное завещание. — Образ жизни Суворова; занятия; крайняя раздражительность; тоска; прошение о поступлении в монастырь. — Вызов Суворова в Петербург для войны против Французов.

Прискакав из села Кончанского в Петербург, князь Горчаков тотчас же поехал во дворец и убедился, что Император Павел действительно его ждал. Увидев Горчакова, Государь спросил: «а что, приедет граф?» Горчаков отвечал, что приедет непременно и приглашение Государя принял с радостью, но по слабости здоровья скакать на почтовых не может, а принужден ехать на своих лошадях и потому явится в Петербург не так скоро. Государь потребовал определить время приезда хоть приблизительно; Горчаков по своему соображению назначил день.

Государь ждал с нетерпением, спрашивая Горчакова по временам о здоровье Суворова, находится ли он в дороге и проч.

К назначенному Горчаковым дню Суворов не поспел а прибыл только на завтра, вечером. Горчаков в ту же минуту доложил об этом Государю, который уже разделся на ночь, но надев шинель, вышел и сказал, что принял бы Суворова тотчас же, если бы не было так поздно, а потому будет ждать его завтра утром, в 9 часов. Так как Суворов был отставлен от службы без мундира, то Горчаков спросил, в какой форме быть его дяде. Приказано — в общей армейской форме. Суворов военного платья с собою не взял, а потому оделся в мундир племянника, худощавого 19-летнего гоноши, оказавшийся впору, и раньше 9 часов был уже во дворце. с 9 часам вернулся Государь с утренней прогулки и только что сошел с коня, как спросил у Горчакова, ожидавшего на подъезде, здесь ли его дядя; затем пройдя в приемную, он взял Суворова за руку и ввел его в кабинет. Тут они пробыли больше часу, затем Суворов вышел и поехал к разводу, а вскоре после него и Государь.

До сиих пор дело шло довольно гладко, хотя Суворов оставался прежним Суворовым: ожидая Государя в приемной, он подшучивал над находившимися там придворными, а с гардеробмейстером Кутайсовым, крещеным турченком, будущим графом, заговорил по-турецки. Но впереди, на разводе, предстояла опасность, ибо там было чувствительное место и Государя, и Суворова. Так и вышло. Желая сделать Суворову приятное, Государь производил батальону ученье не так, как обыкновенно, а водил его скорым шагом в атаку и проч.; но Суворова это не подкупило. Он отворачивался от проходивших взводов, подсмеивался и подшучивал над окружавшими, всячески выказывал свое умышленное невнимание и беспрестанно подходил к князю Горчакову, говоря: «нет, не могу более, уеду». Горчаков убеждал его потерпеть; внушал, что оставить развод, когда на нем находится Государь, было бы в высшей степени неприлично; но Суворов не принимал никаких доводов. «Не могу, брюхо болит», сказал он племяннику и уехал.

Государь заметил проделки Суворова, но смолчал; вернувшись же во дворец, позвал Горчакова. Павел был заметно взволнован; вспоминал свой разговор с Суворовым во всей подробности; говорил, что делал ему разные намеки, с целью убедить его проситься снова на службу, но без всякого успеха, Суворов вспоминал про Измаил, длинно рассказывал штурм; Государь терпеливо слушал и когда, вставив свое слово, наводил речь на прежнюю тему, т.е. что Суворов мог бы оказать новые заслуги, вступив на службу, он кидался в Прагу или в другое место. Так прошел целый час, потом странное поведение Суворова на разводе..... «Извольте, сударь, ехать к вашему дяде»,

сказал в заключение Государь: «спросите у него самого объяснение его поступков и тотчас же привезите мне ответ; до тех пор я за стол не сяду». Горчаков поскакал к Хвостову, где остановился Суворов, торопясь исполнить поручение, так как обеденное время Государя было очень близко. Суворов, раздетый, лежал на диване. Выслушав племянника, он отвечал раздражительно, что вступит на службу не иначе, как с полною властью Екатерининского времени, с правом награждать, производить в чины до полковника, увольнять в отпуск и проч.; что он был инспектором в чине подполковника, быть им снова не хочет, поедет лучше опять в деревню и т. п. Горчаков возражал, что не может передавать ничего подобного Государю; Суворов отвечал: «передавай что хочешь, а я от своего не отступлюсь». Горчаков поехал во дворец и сказал Государю, что дядя его был слишком смущен в присутствии Его Величества, не помнит хорошо, что говорил, крайне огорчен своей неловкостью и т. под., т.е. представил извинения общего, неопределительного характера, прибавив, что дядя его с радостью подчинится монаршей воле о поступлении на службу, если таково будет высочайшее соизволение. Едва ли Государь всему этому поверил, зная Суворова и видя смущение его юноши-племянника, и хотя сделал вид, что удовлетворен, однако пригрозил Горчакову, что именно он будет отвечать, если не вразумит своего дядю.

После того Государь не раз приглашал Суворова к своему столу и на развод, обращался с ним милостиво, наводил разговор на прежнюю тему о поступлении на службу, но получал в ответ уклончивые заявления о старости и болезнях. Мало того, Суворов не переставал «блажить», не упуская случая подшутить и осмеять новые правила службы, обмундирование, снаряжение, — не только в отсутствии, но и в присутствии Государя. Садясь в карету, он находил большое к тому препятствие в прицепленной сзади наискось шпаге, которая якобы не дозволяла пролезть ему в каретную дверцу; он запирал дверцу, обходил карету, отворял другую дверцу, старался в нее протискаться, но опять безуспешно. Целые четверть часа иногда у него уходило на усаживание в экипаж, и все это делалось, по его обыкновенной манере шутить, с серьезным, даже озабоченным видом, что усиливало комичность положения и возвышало едкость выходки. На разводе он делал вид, что не может справиться со своей плоской шляпой: снимая ее, хватался за поля то одной рукой, то другой — все мимо, и наконец ронял ее к ногам сумрачно смотревшего на него. Государя. Между проходившими церемониальным маршем взводами, Суворов бегал и суетился, что считалось крайним нарушением порядка и строевого благочиния; при этом он

выражал на лице своем то удивление, то недоумение, шептал что-то себе под нос и крестился; когда же Государь спросил однажды, что такое он делает, то Суворов отвечал, что читает молитву: «да будет воля Твоя». Через несколько дней последовал приказ о благочинии на разводах, которым строго подтверждались правила порядка, нарушенные Суворовым, но имя его в приказе не упоминалось.

После каждой выходки Суворова, Государь обращался к молодому Горчакову и грозно требовал объяснения. Горчаков, на долю которого приходилось по пословице — в чужом пиру похмелье, был в положении очень затруднительном. Он ездил к дяде, объяснялся с ним, убеждал его безуспешно, получал от него прежние реплики, возвращался к Государю и передавал ответы собственного вымысла, диаметрально противуположные действительным, так как поступить иначе считал невозможным. Государь, перед которым все трепетало и безмолвствовало, в котором малейшее противоречие не в добрый час производило взрывы страшного гнева, переламывал себя и оказывал Суворову необыкновенную снисходительность и сдержанность, но вместе с тем недоумевал о причинах упорства старого военачальника, А между тем дело было простое: Суворов жил для военного ремесла и олицетворял его в издавна усвоенном, известном смысле, отречение от которого было для него самоотречением. Кроме того он обладал особенностью, развитию которой в русских людях не благоприятствовали исторические условия, — твердым; независимым характером. Усвоив многие недостатки эпохи, он однако не пропитался ими до глубины нравственных основ; сгибал перед обстоятельствами шею, но не гнул ни перед кем волю; был полон благоговейного почтения и преданности своему Государю, но правдолюбие и моральную стойкость считал не противоречием, а непременною их принадлежностью. Эти свойства Суворова, в соединении с его военною славой, и сделали его лицом, привлекавшим к себе особенное внимание современников и дорогим для потомства.

Все бесцельнее и скучнее становилось его пребывание в Петербурге; наконец выбрав время, он прямо попросил у Государя дозволения — возвратиться в деревню. Государь выслушал просьбу с видимым неудовольствием, но ответил, что не хочет удерживать его против волн. Суворов поцеловал Императору руку, откланялся Императрице и в тот же день выехал из Петербурга. Как ни худо было его житье в Кончанске, но зрелище новых порядков и жизнь в их сфере оказались еще тяжелее [1].

Первое время по возвращении в деревню, Суворов блаженствовал: петербургские впечатления были еще свежи,

Николев не появлялся и никаких признаков прежнего надзора не замечалось. Он принялся за свои обычные занятия, стал изредка посещать соседей и принимать их у себя. Однако особенного рвения к хозяйственным делам у него по документам не замечается (кроме переписки по кобринскому имению), может быть потому, что он стал вчетверо богаче и, удерживая за собою общее руководительство, предоставлял теперь все остальное своим управляющим. Впрочем были предметы, которыми он интересовался преимущественно. В кончанской усадьбе строился одноэтажный дом для самого помещика и заготовлялся лес для новых служб, устраивались в саду беседки, на соседней горе Дубихе и в некоторых других окрестных пунктах ставились светелки, перекидывались через речки мостики, сажались фруктовые деревья. Часть дворовых обучалась пению, и из них сформировался порядочный церковный хор, которым Суворов даже несколько хвастал. Дворовые мальчики учились грамоте; дворовым улучшалось содержание и прибавляюсь жалованье, некоторым вдвое; отцу Прохора назначена пенсия во 100 рублей; самому Прохору (и особо его жене в Кобрине) выдавалось гораздо больше, но цифры в разных отчетах разноречивы. Из письма Прохора к Хвостову видно, что Суворов обещал ему вольную, но что она лежала не подписанная; вернее будет сказать, что Суворов обещал камердинеру волю после своей смерти — это и было исполнено впоследствии. Он так привык к Прохору, несмотря на его пьянство и грубость, что на замену его другим не мог решиться [2].

Наибольшая доля внимания Суворова, его распоряжений и переписки относилась к Кобрину, где хотя порядок начал восстановляться, но только по наружности и по отчетам, в сущности же происходило совершенно обратное. Главноуправляющим был там Красовский, искусившийся делец и крупный плут, который умел ловко обойти Суворова, внушить ему безграничную к себе веру и оттереть Корицкого от дела, для того, чтобы еще больше обирать своего доверителя. Подполковник Петр Григорьевич Корицкий, малоросс, служил с Суворовым довольно давно, но только ни в военных делах, ни даже в службе мирного времени имя его не встречается; состоял он при своем начальнике по части домашних его дел. По выходе дочери Суворова из Смольного монастыря на попечение Хвостова, этот последний просил к себе в помощь Корицкого, с тем, чтобы тот непосредственно состоял при молодой графине. Суворов не одобрял выбора; говорил, что место Корицкого в деревне или на хуторе; что вне этой сферы он никуда не годится, отличаясь замечательною неповоротливостью ума. Когда Хвостов настоял на

своем, Суворов согласился, но предупреждал его: «Петр Григорьевич добрый человек, но леноумие его не препобедимо; вам в его мудрственных недоумениях придется преспособлять, как бы то ни было скучно, паче, что всякое с ним трактование тяжелее, нежели с Кондорсетом». Ближайшее в то время к Суворову лицо, Курис, шел гораздо дальше и предостерегал Хвостова так: «вы судите его совесть против каждого, а между тем он и отца при малейшем случае своем в годы не пожалеет; я тысячными опытами видел сие от него к себе, а что хуже, что не помнит никакого ему добра». Вскоре действительно последовали у Хвостова разные неприятности, в которых «леноумие» и нрав Корицкого играли главную роль. По этому поводу Суворов дает Хвостову практический совет: «с Корицким смирение лучше; не открывайте ему слабой стороны, не отвечайте; лает пес, — идите мимо; я вам то предсказал год назад, пеняйте с Наташею на себя». После того его отправили в объезд Суворовских деревень, для хозяйственных распоряжений, собирания оброка и т. д.; в последующие годы он или жил в своем имении в полтавской губернии, или исполнял разные поручения Суворова по вотчинам и наконец производил прием кобринского имения [3].

Корицкий был знающий и опытный сельский хозяин, поэтому Суворов поручил ему управление своим большим имением с широкими полномочиями. Но доверие его к старому сослуживцу не оправдалось. с сказанному по этому предмету в предшествовавшей главе можно прибавить, если верить имеющимся указаниям, что Корицкий распределил участки офицерам весьма невыгодно для имения, роздал несколько документов на денежные суммы, по которым пришлось потом уплачивать, и в заключение, уехав после киевского ареста в свое полтавское имение, неизвестно куда девал 16,240 рублей и не давал в них отчета, несмотря на настояния Красовского. Красовский кроме того сообщал Хвостову, что «Корицкий говорил о кончанских такое, что нельзя писать», и что прочие офицеры стараются поддержать с ним связь. Трудно определить, сколько в этом правды и сколько лжи; но едва ли подлежит сомнению. что Корицкий злоупотреблял доверием Суворова, так что последний приказал Красовскому взыскивать с Корицкого 16,240 руб. судебным порядком, отобрав от него и Хабовичи, что впрочем сделать было уже нельзя.

Кратковременное управление Сиона кобринским имением тоже сопровождалось разными злоупотреблениями и растратою сумм, так что Суворов решился совсем расстаться с воспитателем своего сына. Больше всех его удовлетворил шляхтич Красовский, добрые отношения с которым он сохранил до самой смерти; но

разные факты управительской деятельности Красовского и состояние, в котором оказалось кобринское имение в 1800 году, удостоверяют, что под рукою этого шляхтича продолжала расти и развиваться, с большим противу прежнего успехом, система хищничества и грабительства, Наплыв в Кобрин людей, жаждущих попользоваться на счет Суворова, увеличивается; кроме явившихся сюда, по окончании дела Вронского, отставных Мандрыкина, Тищенко, Головлева, Носкова, — попадаются фамилии Ширая, Шкодры и других, никогда доселе не встречавшиеся. На жалованье состоит масса лиц; кроме того им производится до 1,500 рублей на стол, что по смерти Суворова было кассировано без всяких хлопот, следовательно производилось без законного основания. Сверх этого встречаются периодические выдачи на говядину, на пост; за одну и ту же бричку Суворова заплачено двум лицам, одному 400, другому 500 злотых. Новая отдача фольварков и ключей в аренду состоялась очень дешево, и вместо 3-летнего на 6-летний срок, при том на очень невыгодных для владельца условиях, с отнесением например на его счет градобитий и скотского падежа. Суворов уплачивал «десятый грош» (казенную подать) за всех офицеров, что после его смерти прекращено опять-таки без всякого труда и споров. Розданные Корицким в пожизненное пользование участки, Красовским не только не отобраны, но еще переведены на новые, более невыгодные для Суворова условия, тогда как в 1800 году оказалось возможным их отобрать по бездоказательности прав, хотя при этом и пришлось употребить военную силу. Арендная плата вносилась не исправно и не вполне; некоторые арендаторы вошли в соглашение с Красовским и потом совсем отказывались платить, вследствие особых с ним расчетов. Вообще характеристикой положения дел в Кобрине могут служить слова отчета, составленного посторонним лицом, по смерти Суворова: «это имение было так распоряжаемо и управляемо, как своим собственным, только с тою разницей, что кто хотел, тот брал и никому отчета не отдавал» [4].

Задумав по совету Красовского отобрать от офицеров розданные им участки, Суворов утвердился окончательно в своем намерении, когда плутоватый шляхтич убедил его в удобоисполнимости и законности такой меры. Красовский, с помощью приличной благодарности, привлек на свою сторону Воротынецкого, привозившего протокольную книгу к Суворову в кобринский его дом, и Воротынецкий подал в суд заявление на самого себя, т.е. против незаконности своего поступка. С этого и началось дело. Суворов не только не отказывался от вознаграждения деньгами своих «тамошних приятелей», но даже

увеличил отступное, написав в августе Красовскому, что как его, Суворова, в Кобрине на лицо нет, то для него и наличные и отсутствующие офицеры фактически сравниваются, а потому тем и другим можно одинаково предложить по 40 рублей за душу. На эту сделку согласились однако немногие; сколько именно- не знаем, но к числу их принадлежали отсутствовавшие князь Ухтомский и Борщов, а также находившийся в Кобрине Ставраков, который не хотел против воли Суворова владеть его деревней. По этому поводу Суворов писал Красовскому: «честному человеку Семену Христофоровичу Ставракову, по возвращении деревни, извольте определить по смерть с юными братьями ежегодный пенсион 300 рублей, а Воротынецкому награждение в вашем рассмотрении». Из остальных лиц, Капустянский, которого Суворов по собственному сознанию и в глаза никогда не видал, не пользовался подарком Суворова и не предъявлял своих прав на обещанную деревню, а предпочел сделать это по смерти Суворова, когда возникло на покойника множество разных претензий. Затем прочие, все или почти все, не пошли на сделку и предпочли подчиниться приговору суда. В начале следующего года Суворов обращался к новому генерал-прокурору Лопухину, с просьбою о содействии, однако Государь как видно не согласился признать это дело исключительным и оставил его идти обыкновенным путем. Определение суда состоялось по смерти Суворова и, как кажется, не в его пользу.

Не в его же пользу окончилось и другое дело, — по претензиям его жены. Варвара Ивановна, получив дом для жительства и 8,000 руб. годового содержания, потребовала еще уплаты 22,000 руб. долга, в чем и успела. Суворов подчинился своей судьбе беспрекословно и в октябре занял в банке деньги, но велел поставить жене на счет издержки по займу, на поездки, полупроцентные и проч., а московскому своему управляющему, Скрипицыну, приказал выдать деньги не Варваре Ивановне, а её заимодавцам [3].

Таким образом общее состояние денежных дел Суворова было плачевное, что и отозвалось на всем. Уплата 30,000 р. В. И. Арсеньевой не производилась; из 60,000 руб., обещанных зятю Зубову в 1796 году, тоже ничего еще не было уплачено; других долгов по распискам считалось до 55,000 рублей; Ворцелю приходилось еще внести до 18,000 рублей. А между тем годовой доход едва превышал 40,000 рублей, тогда как при нормальных условиях одно кобринское имение должно было дать больше 50,000 руб. Чем же было жить самому Суворову и содержать в столице своего сына? Он и пишет Хвостову, что ума приложить не может. В особенности заботил его сын, потому что воспитатель

его оказался в денежном отношении человеком ненадежным не только в Кобрине, но и дома. То и дело Суворов насчитывал за ним или сотни рублей, или целые тысячи; спрашивал Хвостова — куда они девались, спрашивал Н. Зубова, называл Сиона «гайдамаком», ждал ответа «с трепетом». На содержание Аркадия шло немного, всего 2,500 рублей в год, но и эту цифру пришлось понизить до 2,000 рублей, а себе самому Суворов определил всего 3-4,000 рублей. «Теперь бедный юноша почти скуднее меня», писал он Хвостову: «пособите ему временно от себя, доколе опомнюсь» [6].

Эти тесные обстоятельства, которые лишь в редкие минуты оптимизма Суворов считал пустяками и сравнивал «с неурожаем одного года», т.е. с обыкновенным, неизбежным злом, — заставили его прибегнуть к экстренной мере — обратиться к Государю. Но чтобы обеспечить насколько возможно успех ходатайства, он хотел заручиться содействием нового генерал-прокурора, Петра Васильевича Лопухина, назначением которого на эту должность был очень доволен и называл его человеком милосердым, правосудным, нелицемерным блюстителем законов. Наладить начало этого дела Суворов поручил Хвостову: «вы внимете с ним по сей материи в конференцию и преподадите мне сего честного мужа совет или и исправление». Но для этого он советует Хвостову «с Лопухиным дело исков трактовать просто, ясно и тем вразумительнее, без украшениев, не обременять слога элоквенциею и особливо без проклятого экивока, коим сжимается всякий переговор, предается на угады и под харею лукавства закрыть вид глупого обмана». Одних «конференций» Хвостова с Лопухиным впрочем не могло быть достаточно, и Суворов с крайней неохотой пишет генерал-прокурору два письма, одно в ноябре, другое к конце декабря. Сущность их в том, что болезни и раны, а в особенности непривычные долги, препятствуют ему «наслаждаться высочайшими милостями» в Петербурге, а потому он продолжает жить в деревне на скудном содержании. За сим Суворов просит предстательства Лопухина пред Государем, говоря, что взыскания последовали при Куракине, «может быть без надлежащего разбирательства и справок», и просит «подвергнуть дело существенному разбирательству, ежели сочтется за нужное». Одновременно с этими письмами, он посылает два прошения на имя Государя, излагая в них, что взыскания последовали по несправедливым просьбам и причинили стыд ему, некорыстолюбивому солдату, который привык довольствоваться малым; что он, Суворов, ищет не убытков, а принимает случившееся за гнев Государя и опасается, чтобы неблагомыслящие люди не покусились на сомнение о его

чести, а потому просит — недоплаченное взыскание сложить и кобринское имение от секвестра освободить [7].

Легко быть может, что из двух пар писем была послана только одна, декабрьская, потому что обе они однородны, а прошения к Государю даже тождественны. Советовал Хвостов еще просить заступничества у наследника престола, через Императрицу, и сохранилась черновая просьба, Хвостовым писанная, но по всей вероятности это осталось без исполнения. Во всяком случае переписка не привела к желаемой цели, и хотя 25 января 1799 года Суворов послал Хвостову письмо: «при сем должное мое приношение к великодушному князю Петру Васильевичу, недостающее вы дополните», но остается неизвестным — что именно приносилось и за какую «великодушную» услугу. Знаем также, что Государь поручил (до 12 февраля) Лопухину рассмотрение дела о наложенных на Суворова взысканиях, однако это поручение направлялось не только к поверке сделанного, но и к отыскиванию причин для новых оштрафований. Из центральных управлений собирались справки за старые годы, и военною коллегией положено уже было взыскать с Суворова 97 рублей, следовавшие к уплате в 1793 году. Другая справка показывала, что в 1791 и 1792 годах, за бытность Суворова в Финляндии, четыре статьи расходов, общею суммою почти на 122,000 рублей, не очищены подробными отчетами. В третьей говорилось, что за 1793 год не получено из Херсона отчета об израсходовании 810,000 рублей на крепостные постройки; нет извещения об израсходовании в 1794 году 6,000 червонцев на чрезвычайные случаи; не доставлены в счетную экспедицию оправдательные статьи о 265,000 рублях в 1795 году. Если все это осталось без дальнейшего движения, то конечно потому, что Суворов понадобился для войны против Французов [8].

Но и этим не совсем еще исчерпывались невзгоды, готовые на него обрушиться: оставалось дело Вронского. За множеством необходимых справок и разъяснений, первое время дело почти не подвигалось, хотя все привлеченные к суду были в сборе, и из военной коллегии беспрестанно сыпались всюду напоминания и подтверждения. Особенно торопили военно-судную комиссию, хотя дело стояло не за нею, а за недостатком данных. Она должна была еженедельно представлять донесения о ходе своих занятий; заседала каждый день по два раза; каждое заседание продолжалось пять часов, а иногда и больше; бывали дни, что заседание не прерывалось даже для обеда. В октябре 1797 года Государь, долго сдерживавший свое нетерпение, указал: «кончить военный суд, не ожидая более справок, и заключить сентенцию по теперешним доказательствам». После того дело пошло ходко и к

марту 1798 года было окончено.

Всех подсудимых было 16, из них один находившийся во время варшавского происшествия в отставке, другой подрядчик-еврей, остальные все служащие, преимущественно в провиантском ведомстве военно-судная комиссия признала семерых невиновными, в том числе Тищенко; из остальных приговорила трех к денежному взысканию в 2,056, 3,750 и 6,373 рубля; на четвертого наложила взыскание втрое против причитавшейся с него суммы, именно около 42,000 рублей. Кроме того, с троих определено взыскать по 1,111 р. 11 к. за незаконную карточную игру, а с одного двухгодовое жалованье. Затем один приговорен к лишению чинов; четверых решено «жестоко на теле наказать и из числа добрых людей выключить», в том числе Мандрыкина и Вронского, последнего «за ложный большею частью донос, клевету на генералов и взятки»; наконец один приговорен к повешению. Относительно Суворова определено: взыскать с него во-первых 9,418 рублей, не довзысканные в Варшаве с одного из подсудимых; во-вторых 47,488 рублей, взысканные в Варшаве с оказавшихся виноватыми, но не представленные куда следует по закону, а издержанные на разные потребности; в третьих — обратить на него же все то, чего ко взысканию с подсудимых доставать не будет.

Генерал-аудитор, князь Шаховской, с приговором комиссии согласился лишь относительно оправдания и освобождения семерых невинных, в остальном же нашел сентенцию большею частью неправильною и слишком строгою. В мнении своем он изложил, что комиссия нашла подсудимых виновными в тех самых преступлениях, за которые они уже были в Варшаве оштрафованы, а новых злоупотреблений за ними не открыла. Принимая к соображению это обстоятельство, давнее содержание подсудимых под арестом, пополненные убытки казны и другие облегчающие причины, генерал-аудитор полагал: взыскать с одного 3436 рублей (вместо 42,000); с троих по 1,111 руб. 11 коп.; никого не подвергать ни казни, ни телесному наказанию; двух выключить из службы, а третьего, Вронского, «лишить чинов и выкинуть из службы». Что касается до Суворова, то закон повелевает «без ответа никого не винить», спрашивать же фельдмаршала было высочайше воспрещено 31 января 1797 года; взяв это во внимание, а также и то, что казна, согласно определению варшавской комиссии, пополнена и никакого убытка не понесла, следует признать, что судная комиссия осудила Суворова к взысканию беззаконно, а потому объявить ей выговор.

Государь написал 17 марта 1798 года: «как виновные давно

уже наказаны сколько надлежало, ибо семеро из них исключены из службы, а прочие, в числе коих и майор Вронский, долговременно содержатся под арестом, то дело оставить, и им быть свободными» [9].

Так миновала Суворова новая беда. Правда, военно-судное дело велось кое-как, лишь бы скорее кончить, не вызывая гнева Государя; в приговоре суда есть непоследовательности; одна из главных пружин варшавского происшествия не открыта, хотя фамилия лица в деле вскользь упомянута, и на него же встречается указание в письме Мандрыкина Хвостову; но таким дурным ведением дела и увеличивалась опасность для Суворова. Другое отягчающее обстоятельство заключалось в том, что решенное дело было поднесено на высочайшую конфирмацию как раз в то время, когда Суворов, уклоняясь от вторичного поступления на службу, уехал из Петербурга в деревню, оставив Государя при дурном впечатлении. Однако все прошло благополучно, и одной липшей заботой на душе Суворова стало меньше.

Довольно было с него и остальных, тем паче, что в эту тяжелую пору приходилось думать о сыне. Аркадию исполнилось 14 лет; наступил возраст, требующий наибольшего внимания к юноше и попечительности, а между тем отец и сын жили постоянно врозь. Зашла было речь о присылке Аркадия в Кончанск, но Суворов отказал, говоря, что юноше нечего тут делать. Он был совершенно прав, потому что не только при тогдашней, но и при всякой другой обстановке, в педагоги к мальчику решительно не годился. Аркадий жил у графа Зубова, под надзором своей сестры и непосредственным руководительством Сиона. Особенных попечений о нем тут не могло быть, рациональной педагогической системы тоже, но все-таки он был пристроен по мере практической возможности. В настоящую зиму однако и это условно-хорошее расстраивалось: между Суворовым и Зубовым пошли недоразумения, потом Зубову с женою понадобилось ехать в Москву. Суворов написал Хвостову: «должен я прибегнуть к дружбе вашей; при выезде Наташи из Петербурга, прошу принять Аркадия на ваши руки и содержать его так, как пред сим реченную его сестру содержали». Письмо было получено Хвостовым поздно; Сион уже успел нанять небольшую квартнру, вести хозяйство поручил своей жене и собирался начать со своим воспитанником визиты, дабы завязать порядочное и выгодное в будущем знакомство. Суворов не одобрил этого, написав Хвостову, что «Аркадию потребны непорочные нравы, а не визиты и контр-визиты; не обращение с младоумными, где оные терпят кораблекрушение, а беседа с

мертвыми приятелями не усильно; угол его у вас, знакомство его — Андрюша и разве Вася, и так до 18 лет, а там посмотрим. Аристотель его вы; Наташа воспитана вами, он ей наследник». К этому времени у Суворова уже набралось не мало разных резонов, чтобы не доверяться Сиону с денежной стороны, а тут воспитатель сына прислал еще ему «разбойничий» счет, хотя только перед тем уверял, что не выйдет из назначенной суммы. Был ли Суворов в этом последнем случае прав или нет, но только решился расстаться с Сионом; граф Ы. Зубов вздумал было его уговаривать, по это только подлило масла в огонь.

Молодой сын Суворова перешел на попечение Хвостова, который однако не мог взять на себя ничего, кроме общего надзора и руководства; следовало приискать воспитателя или гувернера, который находился бы при мальчике безотлучно. Суворов добыл, не знаем откуда и но чьей рекомендации, Ивана Дементьевича Канищева, может быть служившего раньше под его начальством. По этому случаю Суворов пишет Хвостову: «я полагаю Аркадия у кас на воспитании; причем к нему для ассистенции П. Д. Канищев, не ради наук, но для благонравия. Он получает от меня 300 руб. в год; он у вас и на квартире с Аркадием». Тогда же он сообщил об этом и сыну, прибавив: «будь благонравен, последуй моим правилам, будь почтителен к Дмитрию Ивановичу, употребляй праздное время к просвещению себя в добродетелях; Господь Бог с тобою». Вообще в своих довольно редких письмах к сыну и даже в приписках к письмам Хвостову, Суворов любил обращаться к Аркадию с краткими наставлениями, в роде приведенного или следующего: «Аркадию-благочестие, благонравие, доблесть; отвращение к экивоку, энигму, фразе; умеренность, терпеливость, постоянство». Едва прошел месяц по прибытии в Петербург Канищева, как Суворов, вероятно получив одобрительный от Хвостова отзыв о новом воспитателе, пишет сыну: «доколе при нас И. Д. Канищев, он получает ежегодно 300 рублей; по кончине ж моей, определи ему ту ж сумму ежегодно до его смерти». Это показывает, до какой степени Суворов был отзывчив к впечатлениям и скор в решениях, особенно если находился под влиянием контраста, который в настоящем случае олицетворялся Сионом.

Делая сыну такой завет, Суворов основывался на недавно состоявшемся заявлении своей воли на случай смерти. Написав несколько лет назад завещание, он обозначил в нем только то, что касалось дочери, т.е. упомянул про меньшую долю своего состояния; остальною же, наибольшею, не распорядился. После того недвижимое его имущество увеличилось вчетверо, а здоровье ухудшилось и временами возникали недоразумения и

неприятности с зятем. Все это заставило его подумать об обеспечении будущности сына, и в сентябре 1798 года он составил новое духовное завещание, в смысле дополнения первого. Сыну он оставлял все свои родовые и за службу пожалованные имения, дом в Москве и жалованные бриллианты, а дочери назначал по прежнему благоприобретенные имения и купленные бриллианты. Распоряжение свое Суворов представил Государю, прося утверждения, что Государь и исполнил рескриптом 9 октября; копию с рескрипта Суворов препроводил к Хвостову, прося его «что надлежать будет, выполнить после моей смерти», а также к сыну, заключив свое короткое письмо пожеланием: «Господь Бог продолжи тебе долгий век» [10].

Не переводившиеся беспокойства и тревоги делали для Суворова необходимыми развлечения и разнообразие занятий, а этого-то и не было. Впрочем, летом еще представлялось кое-что: постройки в усадьбе, уход за садом, посещение крестьянских работ, купанье, прогулки. Любимым его местом была гора Дубиха, в полуверсте от дома; самое её название показывает, каким лесом она была покрыта, но это относилось к очень давнему времени, а при Суворове дубов и в помине не было. Росли огромные ели (как и теперь); с вершины горы, в просветах между лесом, открывались дальние виды, которые оживлялись большим количеством воды. Здесь Суворов построил двухэтажный домик с кухней и людской, приходил сюда часто и оставался по долгу, так как не утратил живого чувства природы; тишина и некоторая унылость места не наводили на него тоску, как на людей, искалеченных городской жизнью и вкусами, а напротив успокаивали его. Часто посещал он и крестьянские дворы, устраивал свадьбы, бывал на венчаньях и крестинах, ласкал крестьянских ребятишек и принимал участие в их играх. Однажды он играл с крестьянскими подростками на кончанской улице в бабки; тут его застал какой-то гость, который не сумел скрыть своего удивления. Суворов объяснил, что в России развелось очень много фельдмаршалов, делать им нечего, а потому приходится играть в бабки. Зимою программа летнего препровождения времени суживалась, и приходилось чаще просиживать дома. Он устроил себе «птичью горницу», некоторое подобие зимнего сада, о котором было говорено в главе IX; напустил туда птиц, сидел в этой комнате, прохаживался, даже обедал. Каждую неделю он парился в жарко натопленной бане, часто посещал церковь, сам звонил в колокола, сам читал громогласно апостол и с певчими пел на клиросе.

Привыкнув с юных лет к умственным занятиям, Суворов разумеется не мог без них обойтись в своем унылом уединении.

Читал он много, сколько только дозволяли глаза, начинавшие слабеть; в Кончанске была библиотека; он ее по временам пополнял, но не знаем — чем именно; один только раз встречаем в его переписке, что требовались, «между прочим», ода Хвостова — на Измаил, ода Кострова — на Варшаву, песнь — на Варшаву Державина, Оссиан в переводе Кострова. Надо полагать, что чтение Суворова было, как и до того времени, энциклопедическое, но преимущественно историческое, а также современные газеты. Он жадно следил за ходом политических и военных дел в Европе и искренно смеялся над замышляемою высадкою Французов в Англии, называя приготовления к ней «репетициею трагикомической военной драмы, которая никогда не будет разыграна». В начале сентября, в виду усложнившихся обстоятельств и становившейся возможною войны с Францией, Государь пожелал узнать мнение Суворова по этому предмету, для чего и послал к нему генерал-майора Прево де Люмиана, старого знакомого и сослуживца Суворова еще в 1791 году, в Финляндии. Суворов передал ему на словах свои мысли и даже продиктовал в общих чертах план кампании (см. Приложение VIII) [11]. Из этого ничего не вышло, потому что предположения, выросшие из Суворовского военного взгляда и дарования, требовали для своего исполнения этого же самого своеобразного дарования; для других они должны были представляться или непосильными, или невразумительными и причудливыми. В этом легко убедиться по прочтении самого плана [11].

Но все эти занятия были не то, чем мог удовлетвориться Суворов, привыкший к практической деятельности и для нее одной считавший себя предназначенным и подготовленным. Скука и тоска одолевали его все больше, тем паче, что он не имел самого необходимого условия для довольства настоящим, — личной свободы. Он вернулся в свою глушь по доброй воле, прежний надзор был с него снят, переписка его не контролировалась, а между тем симптомы опалы и ссылки продолжали существовать. Подобная непоследовательность, странная в другое время и при другом режиме, в ту нору не поражала, потому что проглядывала во всем. Государь был недоволен Суворовым за его нежелание поступить на службу. и это должно было в чем-нибудь выразиться. Узнав, быть может по внушению Суворовских недоброжелателей или по излишнему усердию своих приближенных, что Суворов делает частые выезды и приемы, Государь в порыве раздражительности приказал исключит из службы своего флигель-адъютанта, младшего Горчакова. Хотя сердце у него скоро прошло, и на другой или на третий день он приказал снова зачислить на службу племянника

Суворова, но случай этот служил дурным предзнаменованием. Суворов растревожился и счел нужным снабдить Хвостова объяснением образа своей жизни, упомянув и про наговоры своих зложелателей, до него дошедшие или им предполагаемые. В письме его говорилось: «меня желают», — я Цинцинат; «солдаты меня любят», — я их люблю; «дворяне меня любят», — я их люблю и морально безгрешен; «весело живу», — весело жил, весело умру, весел родился, не мизантроп; «много ездят», — в торжественные дни препровождаем весело императорские праздники и даже до полуночи, иначе счел бы я за преступление; итак глас бездушных крамольников предавать насмешеству. Редко мой выезд; прочие многие дни я, как Цинцинат, препровождаю в глубоком уединении». С приближением в 1798 году святок, которые Суворов издавна привык проводить в забавах, он как будто опасается в этом помехи и снова возвращается к той же теме. «Бездушные крамольники», — пишет он: «да не вменят во зло, что я здесь иногда упражняюсь с моими соседями непорочно в дружеских утехах; они меня любят за мое чистосердечие, как любили солдаты; тако препроводя святые вечера, изготовлюсь к великому посту». Высчитывая свой домашний бюджет на следующий год и определяя себе на первое полугодие, в виду крайнего расстройства дел, всего 1,600 рублей, Суворов указывает на свой образ жизни: «5-6 дней собрания и иногда с виватом из пушек за высочайшее здоровье; обеды с друзьями, в числе полудюжины, вдвоем и втроем приезжающих нечаянно, иногда сам друг со священником — вдвое, втрое против того; да сверх того в расходе дюжина дней, — сам в гостях, согласились мы на непорочные игрища в святые вечера; неужто в сем вы мне воспретите?» Не довольствуясь этим предупреждением, — а может быть и вследствие новых дошедших до него слухов, Суворов обращается к самому Лопухину: «войск здесь нет, обращение мое две трети года с дворянами, в государские дни званы были раз 5-6: их не торжествовать я считал за грех. Не званые, по дружбе, — и в другие праздники были у меня к службе Божией и одному обеду раз до восьми человек от трех до полдюжины; сам я был в гостях меньше 10 раз; прочее время препровождал я в глубоком уединении, сам друг, сам третей, или со священником».

Были и другие признаки неудовольствия Государева и опального характера Суворовского пребывания в деревне; для примера приведем один. В середине 1798 года майор Антоновский представил в петербургскую цензуру небольшое сочинение, «Опыт о генерал-фельдмаршале графе Суворове-Рымникском», совершенно безвредное и даже в полном смысле

невинное. Но так как на книжку набросилась бы читающая публика, и в результате получилось бы увеличившееся сочувствие к отставному фельдмаршалу, то цензурное разрешение не последовало.

А между тем, одновременно с неприятностями и утеснительными требованиями, сыпались на Суворова косвенные милости: 19 или 20-летний его племянник произведен в полковники; другой, не многим старше, был уже генерал-майор; Хвостов повышен в генеральский чин и одно время имел у Государя доклады; наконец Аркадий, сын Суворова, несмотря на свои 14 лет, пожалован в камергеры. Но эти знаки Государева благоволения еще более оттеняли противуположную сторону; они доставляли Суворову временное утешение, но не облегчение. Прибавим, что война надвигалась, а надежды на призыв к делу не было никакой. «Зима наградила меня влажным чтением и унылой скукой», — писал он Хвостову. Его неуживчивый, крутой нрав прорывался все чаще, природная живость и веселость уступали место тоске, воспоминания приносили не утешение, а жгучую боль. Все окрашивалось в черный цвет и пропитывалось горечью. Мелкие неудовольствия вырастали до крупных неприятностей, размолвки до вражды, взыскательность переходила в придирчивость. Отношения Суворова к зятю приняли остро неприязненный характер из-за разных недоразумений по денежным делам; говорилось про «похищение казны», по поводу отыскиваемых за два года назад 10,000 рублей; про «пограбление», по поводу не оплаченных еще 4,000 р. за грамоту на кобринское имение; про «шпионство», за время пребываний Суворова в Петербурге в начале 1796 года; кончилось тем, что Суворов прекратил корреспонденцию с Н. Зубовым: «по многим на меня налогам». Не обошлось даже без заподозревания любимой дочери в корыстных побуждениях [12].

Для нас не существенно, какая во всем этом была доля правды; нам важен градус душевного настроения, до которого был доведен Суворов обстоятельствами переживаемого им тяжелого времени. Он сам понимал, что находился в состоянии крайней раздражительности и по временам круто понижал тон. Так в одном из писем к Хвостову, после страстного изложения, он вдруг говорит: «но войдем в умеренность», и переходит к сдержанному обсуждению. После дерзкого письма к Зубову (быть может не отправленного), он пишет к дочери и просит передать поклон «любезному зятю». Упрекая Хвостова в недостаточном внимании к его, Суворова, интересам, в непрактичности, «в витании за облаками», Суворов тепло благодарит его в другом месте «за искреннюю дружбу, за благодеяния», говорит, что «во

всех частях следует его воле», и в особенно-горькую минуту пишет ему: «не оставляйте меня, Бог вас не оставит». Для объяснения тогдашнего душевного настроения Суворова следует еще принять к соображению, что вопреки донесениям Николева, здоровье его пошатнулось довольно заметно. В начале своей ссылки, он говорит мимоходом в одном из своих писем о пользе съездить за-границу с лечебною целью, затем упоминает часто про свои увеличивающиеся недуги, а в декабре 1798 года пишет: «левая моя сторона, более изувеченная, уже 5 дней немеет, а больше месяца назад я был без движения во всем корпусе». Ему было уже 68 лет; годы брали свое, и им много помогал беспримерный переворот, постигший его в конце блестящего поприща. Душевная его сила не поколебалась, воля не была сломлена, но тем сильнее сказывалось внутреннее потрясение [13].

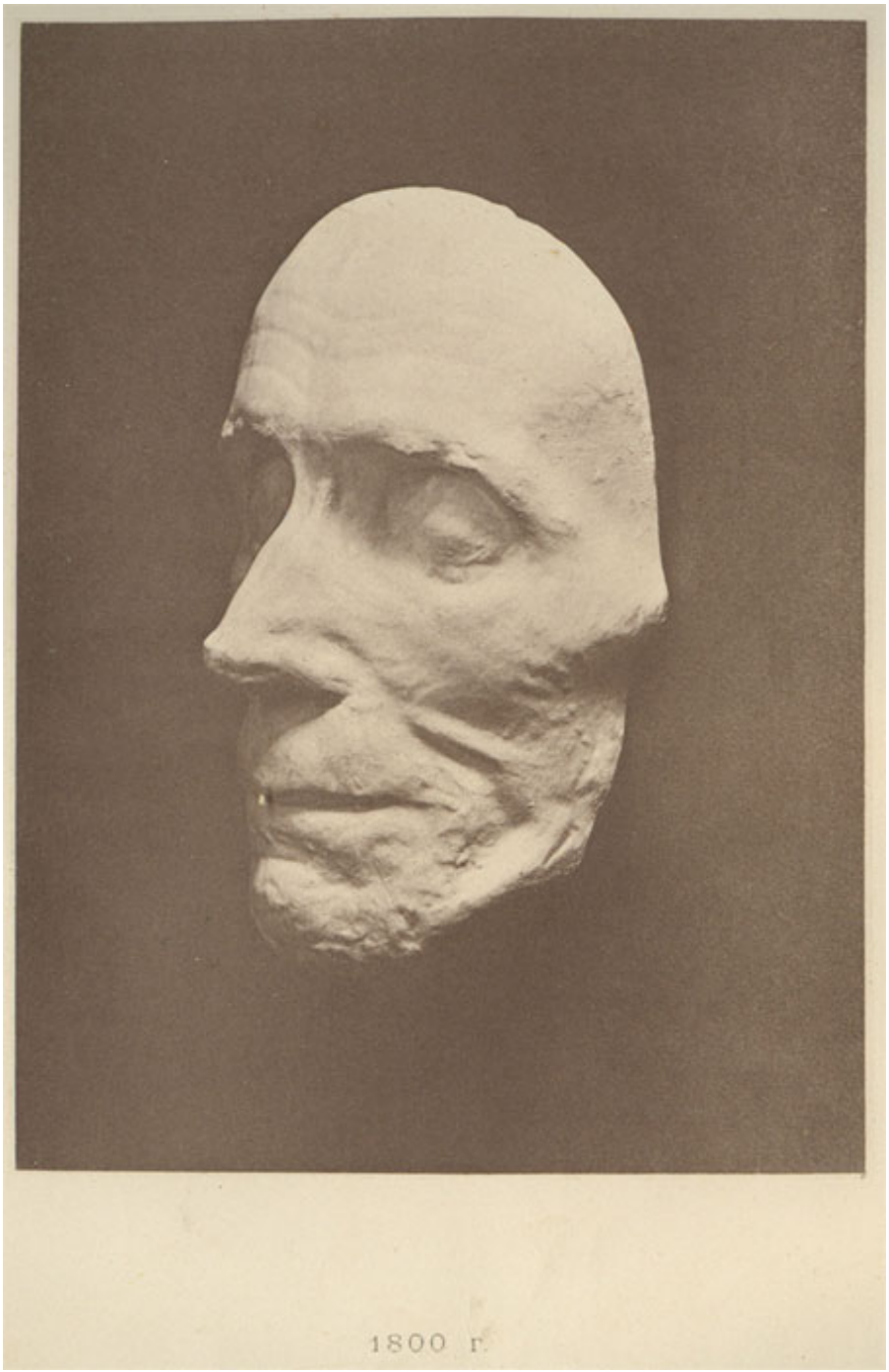
Такое состояние требовало какого-нибудь исхода, и религиозное чувство Суворова подсказало ему этот исход. Он был всегда и в одинаковой степени глубоко-верующим человеком и исполнительным сыном церкви, но под старость сделался еще строже в обрядовой стороне и вообще во внешнем богопочитании, особенно же в с. Кончанском. Видя для себя закрытою практическую деятельность, он решился уединиться в монастыре и отдаться одному Богу. «Со стремлением спешу предстать чистою душою перед престолом Всевышнего», говорит он в одном письме, а в другом пишет: «усмотря приближение моей кончины, готовлюсь я в иноки». На тоже самое довольно явственно указывают распоряжения его по имуществу, и особенно усиленная заботливость о разъяснении всех недоразумений по денежным счетам. Переходя от слова к делу, он пишет в декабре 1798 года Государю: «Ваше Императорское Величество всеподданнейше прошу позволить мне отбыть в Нилову новгородскую пустынь, где я намерен окончить мои краткие дни в службе Богу. Спаситель наш один безгрешен. Неумышленности моей прости, милосердый Государь». Под прошением подпись: «всеподданнейший богомолец, Божий раб». Принял ли Государь просьбу Суворова за минутный, скоропреходящий порыв, или в то время уже начала разъясняться потребность в отставном фельдмаршале для войны с Французами, — но ответа не последовало. Развязка приближалась, только совсем другая [14]. Февраля 6 приехал в с. Кончанское флигель-адъютант Толбухин и вручил Суворову собственноручный высочайший рескрипт, помеченный 4 февраля: «сейчас получил я, граф Александр Васильевич, известие о настоятельном желании Венского двора, чтобы вы предводительствовали армиями его в Италии, куда и мои корпусы Розенберга и Германа идут. Итак по сему и при

теперешних европейских обстоятельствах, долгом почитаю не от своего только лица, но от лица и других, предложить вам взять дело и команду на себя и прибыть сюда для отъезда в Вену». После всего только что описанного, не трудно понять, что Суворов был ошеломлен поворотом своей судьбы. Он отправил Толбухина немедленно назад с ответом, что исполняя монаршую волю, выезжает в Петербург, а сам принялся на скорую руку изготовляться к отъезду. Принеся в своей маленькой церкви горячую молитву, он 7 числа выехал, но не так, как в прошлый раз, а на почтовых, и ехал быстро. Как тогда, так и теперь, Государь ждал его нетерпеливо; он не был совершенно свободен от сомнения — примет ли старый, больной и причудливый фельдмаршал посланное ему приглашение, после выраженного им год назад нежелания поступить на службу. Государь не совсем верно понимал Суворова и причины его отказа; Суворов *тогда* не мог принять мирной службы на немыслимых по его разумению началах; *теперь* он не мог отказаться от службы боевой, призвание к которой было его жизнью. Февраля 8 возвратился в Петербург Толбухин; прочитав привезенное от Суворова письмо, Государь приказал тотчас же отнести письмо к Императрице и сказать австрийскому послу Кобенцелю, что Суворов приезжает и что Венский двор может им располагать по желанию. На другой день приехал и Суворов [6].

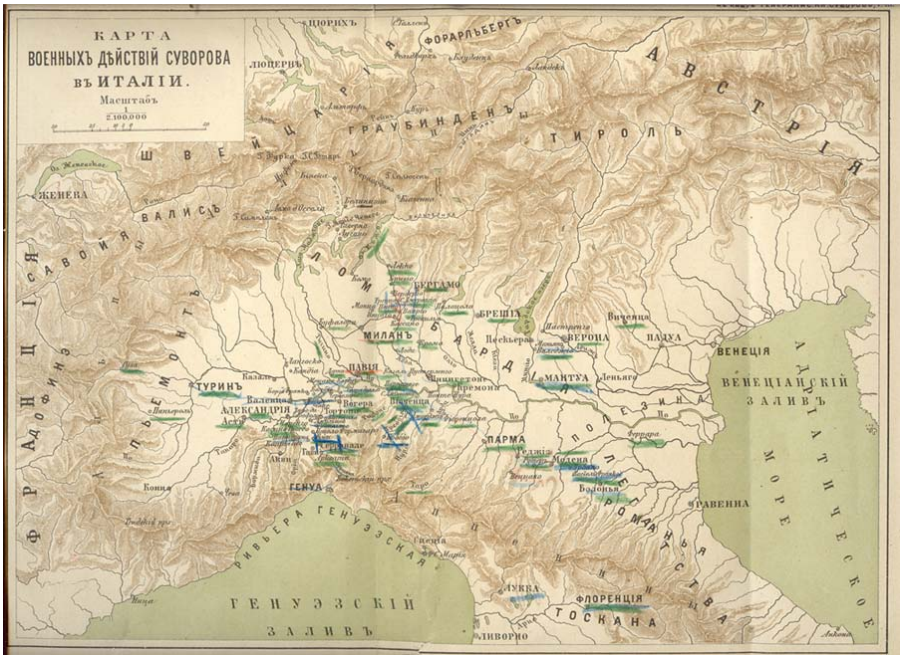
ТОМ ТРЕТИЙ [12]

Иллюстрации к 3 тому

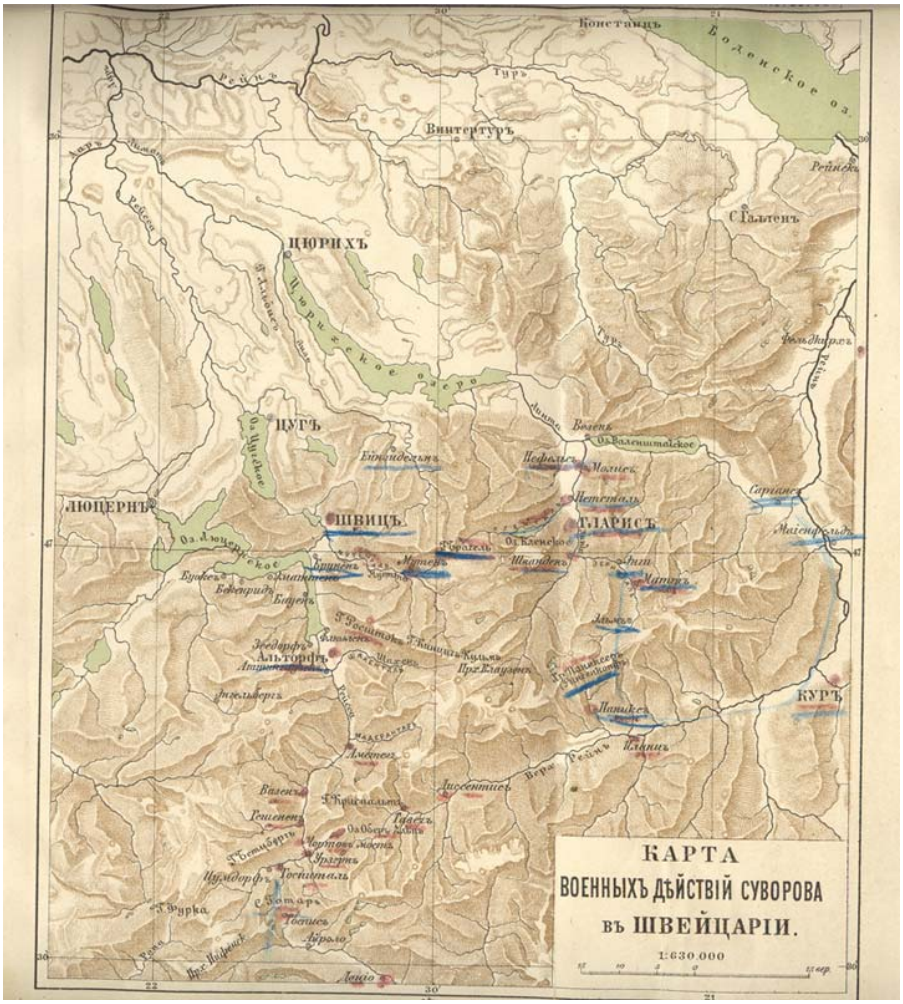
Посмертная маска Суворова. 1800 год:



Карта военных действий Суворова в Италии:



Карта военных действий Суворова в Швейцарии:


Констанцъ
Боденское оз.
Винтертуръ
Рейнъ
Цюрихъ
С. Галленъ
Цюрихское озеро
Цугъ
Оз. Цугское
Люцернъ
Оз. Люцернское
Швицъ
Гларисъ
Оз. Клёнтальское
Оз. Валенштадтское
Альторфъ
Куръ
Оз. Урнерское
Оз. Ури
Оз. Ури
КАРТА
ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ СУВОРОВА
ВЪ ШВЕЙЦАРІИ.
1:630.000

Глава XXVII. На пути в армию; 1799.

Военные успехи Французов в последние годы; новая коалиция с участием в ней России; назначение Суворова в Италию по просьбе союзников. — Приезд его в Петербург; выходки; общее удовольствие; благосклонность к нему Государя с оттенком недоверия — Отъезд в армию; посещение в Митаве Французского короля-претендента; разные встречи в пути; прибытие в Вену. — Аудиенция у императора; смотр войск; народные овации; переговоры о будущей кампании; их неудовлетворительность. — Прощальная аудиенция; инструкция Суворову; ее вредное значение. — Прибытие Суворова в Верону; встреча. — Залог будущих его успехов; французская и его собственная военные теории; основное их сходство, при неодинаковости происхождения и частных различиях.

Франция продолжала вести войну с замечательным упорством. Как и в начале, успехи и неудачи перемежались, но в результате выигрывала она. После Польской войны, в 1795 году Пруссия заключила с республикою мир, уступив ей свои зарейнские земли; при этом почти вся северная Германия была объявлена нейтральною; вслед за тем вышла из коалиции и Испания; войну продолжала Австрия во главе южной Германии. Кампанию того года она окончила довольно счастливо: Французы ретировались за Рейн, и обе армии заключили перемирие. Но следующий 1796 год не походил на предшествовавший. На Рейне, после первых неудач, Австрийцы, благодаря эрц-герцогу Карлу,

еще успели повернуть дело в свою пользу, прогнали Французов за Рейн и заключили с ними перемирие. Но в Италии дела шли иначе. Несмотря на совершенное расстройство французских войск, военный гений Бонапарта перетянул весь успех на свою сторону. После продолжительной кампании, Австрийцы потеряли половину своей армии и лишились почти всех итальянских союзников, поставленных в необходимость трактовать прямо с Бонапартом и принимать от него беспрекословно всякие условия, как бы они тяжелы ни были. Таким образом, Сардиния, Парма, Модена, Неаполь, папа - одни за другими мирились с Францией, а Генуя поступила под её покровительство. Даже Англия стала тяготиться долгой, безуспешной войной и вступила в переговоры с республикой. Австрия осталась одинокою, т.е. слишком слабою.

Слабость эта оказалась в следующем 1797 году, когда Бонапарт открыл весенний поход. Австрийцы поручили главное начальствование эрц-герцогу Карлу, но и он не в состоянии был поправить испорченного дела. Прошло каких-нибудь 20 дней со времени открытия кампании, и Французы были уже в нескольких переходах от Вены. С разрешения императора, эрц-герцог Карл вошел с Бонапартом в переговоры, и 18 апреля заключил в Леобене перемирие.

Одна надежда Австрии оставалась на Россию. Еще с начала 1796 года, император Франц неоднократно умолял Екатерину о помощи; Русская Императрица наконец согласилась, но вошла в переговоры с Пруссиею и Англиею, надеясь склонить их на содействие. Переговоры затянулись, Екатерина скончалась, а Павел I отказался от всех военных предприятий своей матери, решившись дать России отдых после 40 лет военной тревоги. В намерении этом он однако выстоял не долго: подошли разные обстоятельства, которые вместе с отвращением к принципам французской революции, заставили его изменить свою иностранную политику. Первым по времени подобным обстоятельством было Леобенское перемирие.

По смыслу договоров, заключенных между Австрией и Россией в 1792 и 1794 годах, первая имела право требовать от последней вспомогательного 12,000-ного корпуса войск, в случае неприятельского вторжения в пределы наследственных владений императора. Теперь именно это и случилось. Франц обратился к Павлу I, умоляя спасти Австрию от гибели; Русский Государь немедленно приказал приготовить часть полевых войск к походу и вошел в обширные дипломатические переговоры, с намерением добиться успокоения Европы. Это однако к цели не привело, а Россию в войну втянуло. Прежде всего Император Павел имел случай разубедиться в искренности и чистосердечии Венского

двора: октября 6 Австрия заключила с Францией окончательный мирный договор в Кампоформио. Большая часть Венецианской республики с Истрией и Далмацией отошли к Австрии; Ионические острова к Франции; ей же окончательно уступлены Нидерланды; Ломбардия с владениями моденскими и тремя римскими легатствами вошла в состав новой Цисальпийской республики. Все спорные вопросы между Германией и Францией постановлено решить на особом конгрессе в Раштате, но в секретных статьях сущность дела предрешена: император признал Рейн границею Франции, с условием вознаграждения владетелей германских внутри Германии посредством секуляризации; в том числе Австрийский дом должен был получить архиепископство Зальцбургское и часть Баварии. Таким образом Австрия выходила из долгой и безуспешной борьбы без потери и даже выигрывала в округлении границ. Но такой предательский способ действий нанес ей потерю нравственную: она на долго утратила влияние свое в Италии и даже в Германии. Впрочем этот мирный договор не состоялся. Во время конгресса Франция продолжала действовать в прежнем смысле, если не оружием, то насилием; из Генуэзской республики сделана Лигурийская, из Голландии Батавская, из Швейцарии Гельветическая, из Папской области Римская; сверх того предъявлены новые условия, о которых не было и помина в Кампоформио. Надежды на окончательный мир совершенно рассеялись, и если война не возобновилась немедленно, то единственно потому, что и Австрия, и Франция тянули время для приготовления к формальному разрыву.

Австрии это замедление нужно было главным образом для того, чтобы добиться фактического содействия России, что было уже не так трудно, как в начале, ибо нашлись облегчающие обстоятельства. Входя во владение Ионическими островами, Французы арестовали на острове Занте русского консула; обнаружилось участие Франции в замыслах по восстановлению Польши; Домбровский формировал в северной Италии на счет Франции польский легион, для кадров будущей польской армии. Со своей стороны и Император Павел подавал Франции поводы к заявлениям неудовольствия: формировался корпус русских войск для помощи Австрийцам; принят в русскую службу 7,000-ный корпус французских эмигрантов принца Конде; приглашен в Россию и помещен в Митаве французский король - претендент Людовик XVIII (граф Прованский), и ему назначено содержание по 200,000 рублей ежегодно. Кроме того снаряжался черноморский флот на помощь Турции, в обеспечение её от покушений со стороны Французов: на основании прежних договоров отправлены на соединение с английским флотом две

эскадры из Балтийского моря; запрещен Французам въезд в Россию; конфискованы находившиеся в России французские корабли, товары и капиталы в государственном заемном банке. Очевидно составлялась против Франции новая коалиция, только дело подвигалось медленно.

Ускорили его сами Французы. По предложению генерала Бонапарта, сделанному в 1797 году, директория решилась снарядить экспедицию в Египет и Сирию, с целью учреждения там французской колонии, расширения сбыта французских мануфактур и для военного предприятия против английской Индии. План был фантастический, неисполнимый даже для такого гения, каким оказался Бонапарт; но подобное дерзкое предприятие должно было придать новый блеск французскому оружию и сильно возвысить в глазах Французов предводителя, того же самого Бонапарта. Может быть из этих побуждений оно и развилось в голове честолюбивого Наполеона. Приготовления к экспедиции производились деятельно, с сохранением глубокой тайны и с принятием разных мер для замаскирования настоящей цели предприятия. Все это удалось, и 19 мая 1798 года большой военный и огромный транспортный флоты вышли из Тулона, неся на себе десантную армию в 37,000 человек. По счастливой случайности не встретившись с английскою эскадрою адмирала Нельсона, Бонапарт явился перед Мальтою, принадлежавшею ордену св. Иоанна Иерусалимского, овладел островом, оставил в нем гарнизон и поплыл дальше. Остальной путь до Египта тоже совершен благополучно, и высадка произведена успешно.

Этот новый вызывающий поступок Французской директории много содействовал успеху образования коалиции, в особенности по отношению к Русскому Императору. Мальтийский орден, давно не имевший никакого военного и политического значения, потому что был историческим анахронизмом, заслужил расположение Павла I, как представитель антидемократических учений. Русский Государь принял в 1797 году титул покровителя ордена, потом возложил на себя звание великого магистра и с обычною своею страстностью принял к сердцу интересы отжившего учреждения. Таким образом захват Мальты Французами явился новым, могущественным поводом к неприязненным поступкам противу Франции со стороны Императора Павла.

Составилась новая коалиция; к ядру её из России, Англии и Австрии присоединились Турция и Неаполь; начались приготовления. Первоначальное предположение о посылке в Австрию 12,000 человек расширено, и цифра доведена до 70,000. Один из корпусов, генерала Розенберга, был готов к выступлению

еще в августе, но отправление его замедлилось по вине самих Австрийцев, вследствие мелочных их прицепок к статье договора о продовольствии, так что Павел I приказал даже распустить войска по квартирам, до получения удовлетворительного ответа из Вены. Лишь в половине октября войска Розенберга начали переходить границу, в числе около 22,000 человек, а когда подошли к Дунаю, то стали готовиться к походу и остальные. Другой корпус, под начальством Германа, из 11,000 человек, предназначался частью в помощь королю Неаполитанскому, частью на остров Мальту; третий 36,000-ный князя Голицына, замененного потом Нумсеном, должен был действовать в Германии. Кроме того изготовлялись и все прочие войска западной границы, в составе двух армий, на случай надобности. Флот, как мы видели, был уже в действии в 1798 году. Несколько эскадр разновременно отплыли в Немецкое море и соединились с английским флотом для блокады батавского флота, но ограничивались положением наблюдательным. Черноморская эскадра Ушакова, с присоединенной к ней небольшой турецкой, отплыла к Ионическим островам и успешно очищала их от Французов.

Таким образом первоначальная политика Павла I, стремившаяся исключительно к мирным целям, в два года времени преобразилась в совершенно противоположную. Войны еще не было, но она приближалась самым ходом событий, служивших явным отрицанием недавних договоров. Австрия заняла часть Швейцарии, принадлежавшую Тиролю; Франция навязала Гельветической республике новый договор, вынудив от нее 18,000 вспомогательного войска; французская же бесцеремонная политика заставила короля Сардинского отречься от престола и удалиться на остров Сардинию; Пьемонт присоединен к Франции. Неаполитанский король, не выждав времени, открыл враждебные действия в средней Италии, но успеха не имел, на английском корабле переехал на остров Сицилию, и Французы провозгласили вместо Неаполитанского королевства Парфенопейскую республику. В Раштате все еще продолжались бесплодные переговоры, а между тем Французы занимали правый берег Рейна.

Зима 1798-99 годов приближалась к исходу. Для увеличения своих сил, Австрия решилась сделать попытку, обратившись к Павлу I с просьбою - обратить все три вспомогательные корпуса ей на помощь. Хотя это не согласовалось с договором, но Русский Император согласился и велел корпусу Германа следовать в северную Италию, а корпусу Римского-Корсакова (назначенного вместо Нумсена) в южную Германию, на помощь Австрийцам.

Кроме того, к этому последнему были присоединены войска принца Конде. Известие о такой сговорчивости Русского Императора и доброжелательном отношении его к союзнику, было принято в Вене с нескрываемым восторгом. Венский кабинет тем более ценил рыцарский поступок Павла I, что сам не был способен на что-либо подобное, по своей традиционной политике и по свойствам своего тогдашнего руководителя - барона Тугута. Приготовления к войне закипели, и близкое открытие кампании сделалось несомненным, так как Французы потребовали очищения в двухнедельный срок австрийских владений от русских войск.

Оставалось одно обстоятельство, затруднявшее Венское правительство - выбор в Италии главнокомандующего. Эрц-герцог Карл получил назначение на другой театр войны; между австрийскими генералами равносильный ему не отыскивался, и потому решились вверить армию в Италии венгерскому палатину эрц-герцогу Иосифу; но так как принц был очень молод и никогда на войне не бывал, то следовало приискать ему хорошего помощника и руководителя. Дело значит в сущности не изменилось, и выбор лица оставался таким же трудным, как и прежде. После долгих колебаний, положено обратиться к Русскому Императору с новой просьбой - соизволить на назначение "знаменитого мужеством и подвигами" Суворова.

Всей Европе был известен этот наиболее прославившийся из русских генералов, особенно со времени последней Польской войны. В Австрии же он приобрел громкую известность еще раньше, когда во вторую Турецкую войну, вместе с принцем Кобургским, одержал две блестящие победы, доставившие полное удовлетворение национальному самолюбию Австрийцев, страдавшему от многочисленных неудач. Эти победы выдвинули принца Кобургского, по последующие войны разочаровали в нем, показав, что он светил не своим собственным, а заимствованным светом. Затем Польская война заставила прозреть и слепых, выказав вновь победоносные свойства Суворова и обнаружив в нем источник того света, который послужил Кобургу ореолом при Фокшанах и Рымнике. Кандидатура Суворова для войны против Французов подтверждалась и последними распоряжениями Екатерины II, назначившей его начальником вспомогательного корпуса. Такая общность доказательств в пользу Суворова подкреплялась с другой стороны невозможностью выбора главнокомандующего, или эрц-герцогу Иосифу руководителя, из числа австрийских генералов. Правда, хронические неуспехи Австрийцев зависели, по крайней мере на половину, от несчастной системы вождения главнокомандующих на помочах,

но это основное зло, видимое для всех, особенно впоследствии, оставалось невидимым для самого заинтересованного правительства. Таким образом Венский кабинет, или лучше сказать надменный барон Тугут - его фактический руководитель, решился, отложив в сторону национальную щекотливость, вверить ведение предстоявшей войны иноземцу 1*(здесь и далее это означает номер документа из списка источников к соответствующей главе в «Ссылках и пояснениях к 3 тому», см. сноски в конце книги)*.

Впрочем решение это было вызвано не одними перечисленными причинами. Тугут и его партия не любили России и, вынужденные обстоятельствами вымаливать у нее помощь войсками, едва ли могли сами собой, без постороннего сильного давления, сделать последний, самый трудный шаг в признании военной несостоятельности Австрийской империи. Скорее это было делом Англии, если не всецело, то значительною долей. В состоявшейся коалиции она играла очень важную роль и стало быть имела большое влияние, так как практические государственные люди Англии никогда не продавали дешево услуг своей страны. Литература дает не мало данных для убеждения, что в выборе Суворова участвовала Англия; а в некоторых сочинениях прямо говорится, что Англия указала на Суворова и склонила Венский двор на этот выбор. Может быть Англия же настояла на устранении эрц-герцога Иосифа и назначении русского фельдмаршала главнокомандующим. На такое заключение наводит одно из писем Суворова к графу С.Р. Воронцову, русскому послу в Лондоне. Говоря про "патриотическое участие" Воронцова в назначении его, Суворова, главнокомандующим, он пишет: "не могу я описать ощутительную признательность к оказываемому благоволению Его Великобританского Величества в избрании моем на предлежащий мне трудный подвиг". Во всяком случае избрание Суворова произошло извне 2.

"Суворов явился из заточения тощ и слаб, но живой дух удержал и без блажи ни на пядь, чем много теряет", читаем мы в одном современном письме. Представляясь Государю, он бросился к его ногам, сделал земной поклон и по своему выказывал разные другие признаки преданности. По словам очевидца, все это видимо выводило Павла I из терпения, однако он сдерживался. В тот же день, 9 февраля, Суворов был снова зачислен на службу с чином фельдмаршала, но без объявления в приказе. Несколько дней спустя, Государь возложил на него большой крест ордена св. Иоанна Иерусалимского, с подобающей церемонией, причем Суворов стоял на коленях. В это же время Суворов получил просьбу от одной вдовы, Синицкой, которая ему

писала: "70 лет живу на свете, 16 взрослых детей схоронила; 17-го, последнюю мою надежду, молодость и запальчивый нрав сгубили: Сибирь и вечное наказание достались ему в удел, а гроб для меня еще не отворился". Суворов обратился к Государю с просьбой о помиловании бывшего капитана Синицкого, и Государь не отказал. Суворов отвечал Синицкой: "утешенная мать, твой сын прощен; алилуия, алилуия, алилуия". Не сдерживая своей причудливой натуры, прорывавшейся в сотне разных странностей, он однако не делал ничего преднамеренно-неприятного для Государя, как в прошлый свой приезд: это не имело бы теперь смысла, Таким образом он не прикидывался недоумевающим или изумленным при виде новых порядков, форм и уставов, не затруднялся снимать шляпу, не путался со шпагой садясь в карету, не производил никакого замешательства на разводе [3].

Прием его петербургской публикой был самый восторженный. За ним теснились толпы, раздавались приветствия и пожелания; почтение, уважение выражались при всяком случае самым разнообразным образом. Восходило солнце славы, и бедствия двух минувших лет придавали ему особенный блеск. В армии весть о назначении Суворова главнокомандующим произвела электрическое действие, особенно в войсках, которые назначались на войну. Даже в высшем петербургском обществе, где ютились недоброжелатели и завистники Суворова, все как будто преобразилось в смысле общего настроения. Все повалили к нему с поклоном и поздравлениями; вынужденно - надетая личина равняла друзей с недругами до неузнаваемости. Любезностям, комплиментам не было ни конца, ни меры; но Суворов помнил прошлое, различал людей, и многим из его новообъявившихся поклонников пришлось с притворною улыбкой жаться и ёжиться под его иронией и сарказмом. В числе явившихся на поклон был и Николев. Такая бестактность застала Суворова в расплох, и он не нашел в себе достаточно великодушия, чтобы оставить ее без внимания; назвал Николева "первым своим благодетелем" и велел Прохору посадить его "выше всех". Прохор взмостил стул на диван, заставил Николева сесть на это действительно "высокое" место, при громком смехе присутствовавших, и Суворов почтил своего сконфуженного гостя изысканными поклонами [4].

Суворову дано было 30,000 р. на подъем, назначено по 1,000 р. в месяц столовых; приказано не производить с него взыскания по претензии Ворцеля, а предоставить последнему искать убытков обыкновенным судебным порядком с тех, кто продал его лес и поташ. Такое исключение в ущерб Ворцелю последовало потому,

что претензии прочих лиц были уже удовлетворены; о них не упоминалось как о деле прошлом. Да и по Ворцелевскому делу разрешение последовало несколько поздно, потому что более 9,000 руб. было уже к тому времени взыскано; теперь их пришлось требовать обратно, и вся эта путаница осталась при жизни Суворова не распутанной. Оба русские корпуса, направленные в Италию, были отданы в полное подчинение Суворову, и от них отнято право непосредственных представлений к самому Государю, данное им раньше. Суворову разрешено требовать усиления русских войск под его начальством, когда он найдет то нужным. Рескрипты Государя следовали один за другим и отличались выражениями благоволения и благосклонности. Император Павел потребовал книгу Антинга, чтобы подробнее познакомиться с прежними кампаниями своего полководца. Случилось даже одно мелочное, но многозначительное обстоятельство. Суворов просил у Государя дозволения на кое-какие перемены в войсках, против существующего положения. Павел I разрешил, сказав: "веди войну по-своему, как умеешь". Это было верхом снисходительности со стороны Государя; жаль только, что и просьба Суворова, и разрешение дошли до нас без дальнейших подробностей, которые могли бы осветить кое-что из случившегося впоследствии [5]. Доверие Государя к Суворову было однако неполное; доказательство тому - высочайший рескрипт к генералу Герману, тотчас по отправлении Толбухина за Суворовым в село Кончанское. Этим рескриптом возлагалась на Германа обязанность: "иметь наблюдение за его, Суворова, предприятиями, которые могли бы повести ко вреду войск и общего дела, когда будет он слишком увлекаться своим воображением, заставляющим его иногда забывать все на свете. Итак, хотя он по своей старости уже и не годится в Телемаки, тем не менее однако же вы будете Ментором, коего советы и мнения должны умерять порывы и отвагу воина, поседевшего под лаврами". Герман не затруднился принять на себя такое щекотливое поручение; это был цеховой тактик, смотревший на военное дело как на графическое искусство и не подозревавший, что в нем нельзя принимать людей только за счетные единицы. Он весь обозначился в ответе своем Государю; толкуя про глубокий строй, про параллельный боевой порядок, про направление маршей и лагерные расположения, он видит в Суворове только "старые лета, блеск побед и счастие, постоянно сопровождавшее все его предприятия". Последствия не замедлили разочаровать Государя на счет Германа и многих иных, коих он принимал за корифеев военного искусства, и доказали, что оно,

это искусство, находилось именно в руках Суворова, несмотря на порывы его "воображения".

Впрочем, опять-таки Государь был совсем не одинок в опасениях насчет Суворова. Он боялся его "воображения", другие находили в нем излишний "натурализм", третьи ожидали всяких зол от его "своенравия". Все это в сущности сводилось к излишней пылкости Суворова, т.е. к главному его недостатку - запальчивости. Но разве одна запальчивость действовала в Суворове, разве не выкупались его недостатки сторицею громадными достоинствами и даже не были ли эти недостатки только оборотною стороною его несравненных военных качеств? Как видно, в мнении его судей - нет. Его просто не понимали, и это непонимание шло так далеко, что сочли возможным приставить к нему дядьку, тогда как одна мысль - о руководительстве Суворовым на боевом поле - представляется нам ныне (и вполне справедливо) чем-то совершенно не понятным.

Следует впрочем заметить, что распоряжение о надзоре за Суворовым последовало значительно раньше, чем прочие, свидетельствовавшие о доверии к нему Государя. Но это не изменяет дела, так как первое не было отменено, и менторство Германа не осуществилось лишь потому, что он получил назначение на другой театр войны.

Суворов выехал из Петербурга в последних числах февраля и ехал не очень скоро, особенно за Митавой, так как дорога с каждым днем ухудшалась, да и здоровье его не могло уже выдерживать безостановочной езды прежних лет, заметно расстроившись в Кончанске, о чем прямо говорится в письмах его приближенных с дороги. Остановки делались дважды в день, для обеда и чая, каждый раз на три часа, "ради пищеварения, прежде чем тронуться в дальнейший путь", - обстоятельство новое, прежде не встречавшееся. Кроме того сделаны более продолжительные остановки в нескольких местах. Первая по времени была в Митаве, в замке герцога. Желающих представиться Суворову собралось в приемном зале великое множество. Отворилась дверь, показался Суворов босой, в одной рубашке, сказал: "Суворов сейчас выйдет" и скрылся. Весьма скоро, через несколько минут, он появился снова, но уже в полной форме, и сделал прием. Выходка эта имела целью показать, насколько он еще расторопен, вопреки носившимся слухам о его старости и дряхлости. После приема Суворов пошел пешком по улицам, за ним валили толпы народа; придя на гауптвахту, он заметил, что караулу был принесен обед, сел вместе с солдатами, с большим аппетитом поел каши и затем

поехал к французскому королю - претенденту, жившему в Митаве - же [6].

На Людовика он произвел впечатление большое, но смешанное: и в хорошую, и в дурную сторону. Людовик упоминает про его "причуды, похожие на выходки умопомешательства, если бы не исходили из расчетов ума тонкого и дальновидного"; говорит про "обезьянскую физиогномию, про ухватки до того странные и уморительные, что нельзя смотреть без смеха или сожаления". В отзыве претендента разумеется упоминается про жестокость Суворова, про его кровожадность, про веру в колдовство, в таинственное влияние светил, и вообще высказываются избитые, пошлые понятия о Суворове, которые успели уже сделаться ходячими. Представляясь Людовику, Суворов преклонился пред ним почти до земли, поцеловал руку и полу платья. Людовик сказал, что твердо уверен в его, Суворова, победе; Суворов отвечал, что уповает на помощь Божию, считает Божеским наказанием, что не встретится с Бонапартом, находящимся в Египте, и надеется увидеться в будущем году с Людовиком во Франции. Суворов поддерживал разговор "с ловкостью бывалого придворного" и до такой степени занял своего собеседника, что тот не заметил, как пролетел час времени. Выйдя от претендента, Суворов встретился на подъезде с одним аббатом, который поднес ему книгу своего сочинения; Суворов принял ее "с изящною вежливостью версальского царедворца". Приехав домой, он разделся, окатился холодной водой, надел шубу и пошел к столу. Обедал он в шубе, стоя, сам пят; на столе не было ни скатерти, ни салфеток; ели рыбу и пшенную кашу; выпили в заключение порядочную чашу пунша.

Так описал Людовик свое свидание с Суворовым, и трудно теперь сказать, в чем именно это описание погрешало против действительности по предвзятости взглядов. Признавая в Суворове "дарования великого военного гения", Людовик не скрывает однако того неблагоприятного впечатления, которое произвел на него русский полководец своею "внешностью". Отзыв его имеет для нас значение, потому что был первым при вступлении Суворова в Европу; потом его повторяли и многие другие, с вариациями лишь в частностях.

Продолжая путь, Суворов доехал до Вильно. Остановившись пред главною гауптвахтой, он, не выходя из экипажа, принял почетный рапорт от командира квартировавшего в Вильне Фанагорийского полка. Тут находились все власти гражданские и военные, толпы городских жителей, Фанагорийские офицеры и солдаты. Суворов пожелал видеть старых гренадер, своих

прежних знакомцев - человек 50 подошли. Суворов поздоровался, назвал их витязями, чудо-богатырями, своими милыми; обращался ко многим поименно, подзывал поближе, целовался. Легко понять, какое действие произвело это свидание на старых, седых Суворовских сослуживцев, издавна сроднившихся в пороховом дыму со своим любимым начальником. Солдаты переглянулись, выступил вперед гренадер Кабанов и стал просить, чтобы Суворов взял полк к себе в Италию, против Французов. "Хотим, желаем", подхватили другие. Просьба была невозможная: росписание войск было составлено давно и, при известных взглядах Государя, вмешиваться в это дело не следовало. Но не желая огорчить своих боевых товарищей отказом, Суворов обещал просить Государя; тут же приказал переменить почтовых лошадей и отправился в дальнейший путь. Немного спустя, в Италии, он вспомнил про своих любимых Фанагорийцев и пожалел, что их с ним нет, а еще вдвое жалели об этом гренадеры, попавшие в неумелые руки, в Голландию [7].

Зима была очень снежная, ухабы и сугробы делали дорогу местами совсем непроезжею. В одном из сугробов экипаж Суворова засел; к счастию подоспел шедший походом эскадрон кирасирского полка и принялся вытаскивать. Все время, пока солдаты работали, Суворов кричал: "ура, ура, храбрые рымникские карабинеры", узнав полк, участвовавший в знаменитой кавалерийской атаке на турецкие окопы под Рымником. Что дальше, то езда становилась затруднительнее, так что Суворов бросил наконец экипаж и сел в почтовые сани. Марта 3 приехал он в Кобрин и решился остановиться тут на несколько часов, выжидая экипаж, но судя по маршрутным числам дальнейшего пути, остался по каким-то причинам несколько дней. Вероятно большая часть этого времени пошла на распоряжения по имению; Суворов ожидал еще высочайшего решения по прежним на него искам и возвращения деревень от офицеров на предложенных условиях, однако ни теперь, ни после не дождался. Из кобринской переписки также видно, что между лицами его свиты происходили какие-то неудовольствия или интриги по поводу одного из них, которого одни принимали за шпиона и хотели немедленно выжить, другие же противились, чтобы не компрометировать Хвостова перед генерал-прокурором, а последнего перед Государем. Речь шла о каком-то sieur Wenkov; в чем именно было дело, не знаем; младший Горчаков настоял, чтобы подозреваемый субъект был послан из Вены или из другого места в Петербург с поручением, без возврата к армии, ибо-де "по крайней мере будет замаскировано". По всей вероятности, происходила обыкновенная скрытая борьба вокруг Суворова из-за

личных самолюбий, своекорыстных интересов и т. под., а он про нее и не подозревал. Присутствие же в свите Суворова тайного правительственного агента ничем не подтверждается, и в делах тайной экспедиции нет на это ни малейшего намека. Тайная экспедиция была учреждением очень небольшим; ее составляли в то время начальник Макаров, два его секретаря, три чиновника канцелярии и двое для поручений. Из последних один, Николев, разъезжал по России но разным делам, а другой, Фукс, состоял при корпусе Розенберга, о чем будет речь ниже.

Продолжая путь из Кобрина, Суворов получил от Государя несколько рескриптов, "весьма милостивых и благоволительных"; около 9 числа перевалил в Бресте границу и 14 марта вечером приехал в Вену. Он остановился в доме русского посольства; посол, граф Разумовский, заранее распорядился, чтобы в комнатах фельдмаршала не было зеркал, бронзы и вообще никакой роскоши, и чтобы была приготовлена постель из сена [8].

На следующий день назначена была у императора аудиенция; Суворов поехал вместе с графом Разумовским. Толпы любопытных образовали собою шпалеры по всем улицам, от самого посольского дома до дворца; даже дворцовая лестница и смежные коридоры были полны зрителями. Везде гремели "виваты" императору Павлу и Суворову; на восторженные клики народа, Суворов отвечал виватами императору Францу. Прибыв во дворец, Суворов был приглашен к императору один, и полчаса пробыл с ним наедине; после него дана аудиенция Разумовскому; затем приняты офицеры, находившиеся в свите Суворова. Разговор Франца с Суворовым остался неизвестным даже в общих чертах; последний доносил Павлу I об аудиенции очень коротко и упомянул только об одной подробности, именно что Австрийский император очень недоволен медленным движением русских корпусов, почему приказано Розенбергу и Герману спешить. Да и этим донесением Суворов не поторопился, отправив его перед самым отъездом своим из Вены. Графу Разумовскому в аудиенции также ничего не высказано, кроме благодарности и соответствующих случаю любезностей. Суворов вернулся домой при тех же овациях народа; на другой день ездил представляться императрице, эрц-герцогам и французским принцессам, но по причине великого поста отказался быть на обеде у Разумовского, куда съехался весь высший круг Вены. Под тем же предлогом он не принял ни одного подобного приглашения от министров и других знатных лиц - отчего, во избежание отказа, не был приглашен к столу и императором. Есть известие, что находясь в Вене, Суворов виделся и беседовал с принцем де-Линем (отцом), с принцем Кобургским, с отставным генералом Карачаем, которого

и уговорил поступить снова на службу в войска под его, Суворова, начальство; но затем больших приемов он не делал и обширного знакомства не водил.

Вообще он старался вести в Вене свой обычный образ жизни, вставал задолго до света, обедал в 8 часов утра. Один из его не многих выездов был в Шенбрунн, чтобы взглянуть на отделение Розенбергова корпуса, проходившее на театр войны. В этот день Вена почти опустела; все повалило в Шенбрунн, где встречал русскую колонну император Франц. Не будучи сюда приглашен, Суворов сидел в карете и смотрел оттуда на войска; Франц его заметил и предложил верховую лошадь; Суворов сел верхом и рядом с императором смотрел проходившие русские войска.

По словам очевидца-иностранца, вся Вена нравственно преобразилась с приездом Суворова. Об нем только и было речи; его оригинальность, жесты, слова разбирались в мельчайших подробностях, перетолковывались, извращались за пределы вероятного. "Радость, доверие и надежду" внушало присутствие Суворова всем, от последнего горожанина до высшего вельможи; казалось новая жизнь прихлынула широким потоком. Даже в императоре заметили перемену; удовольствие светилось в его глазах; он сделался весел, как не бывал дотоле. Да и было отчего: он получил в свое распоряжение вождя, доселе непобежденного; получил вспомогательные войска, сроднившиеся с победой. Последние нововведения нового царствования - полезные принесли свою долю пользы, - вредные не успели еще проникнуть глубоко. Русские войска все еще были войсками Рымника, Измаила, Праги; предводитель их оставался прежним Суворовым [9].

Сначала все шло хорошо, даже лучше, чем Суворов мог ожидать, так как было отменено прежнее предположение о поручении главного начальствования в Италии эрц-герцогу палатину под наблюдением и руководством Суворова, и решено отдать последнему союзную армию в качестве главнокомандующего. Это повлекло за собою новое для него повышение; чтобы подчинить ему, генералу иностранной службы, австрийские войска, признано нужным поставить его ступенью выше самых старших австрийских генералов итальянской армии, пожаловав чин фельдмаршала. Ему обещана была свобода действий на театре войны; об этом говорено и ему, и графу Разумовскому бароном Тугутом и самим императором, а Разумовский доносил в Петербург. Однако Венский кабинет все-таки желал, чтобы Суворов изложил ему свои предположения о плане предстоящей кампании; от этого требования и зародились несогласия и взаимное недоверие, Франц прислал для совещания

с Суворовым некоторых членов гофкригсрата, а в другой раз одного генерала, хорошо знакомого с итальянским театром войны; Суворов отвечал, что решит дело на месте, по тамошним данным. После этого приехали 4 члена гофкригсрата с изготовленным планом кампании *до р. Адды*, прося его именем императора исправить или изменить проект, в чем он признает нужным. Суворов зачеркнул крестом записку и написал снизу, что *начнет* кампанию переходом через Адду, а кончит где Богу будет угодно. Он иногда разговаривал об этом предмете с Разумовским, передавая ему основные принципы своего военного искусства и особенности своей тактики, но это было совсем не то, что требовалось Венскому кабинету, и Разумовский справедливо доносил Государю, что не считал полезным передавать слова Суворова [10].

Последствием таких неудачных негоциаций должно было явиться нечто в роде холодности между Суворовым и Тугутом, который привык властвовать безраздельно и руководить самим гофкригсратом, хотя к военному делу не имел серьезной подготовки, а тем меньше дарования. Подобное вступление ничего хорошего впереди не обещало, потому что сталкивались руководитель с исполнителем, которые еще друг друга близко не знали и надеялись один другого сломить, не подозревая в своем противнике всего упорства и энергии, которыми он в действительности обладал. По-видимому в таком повороте виноват был более Суворов, чем Австрийское правительство, но это кажется только с первого взгляда. Суворов знал, что такое гофкригсрат и должен был сразу отучить его от всяких поползновений на руководительство. Это удивительное учреждение могло вырасти не на всякой почве; его можно объяснить только узким военным методизмом эпохи и принципиальною недоверчивостью правительства ко всему и ко всем. Только на этих основах и понятно существование придворного военного совета, составлявшего планы войн, походов и всякого рода военных действий, стоявшего на точном их исполнении, без изменений до получения на то разрешения, и строго каравшего ослушников. Заставить командующего генерала ходить на помочах, протянутых из столицы, иногда Бог знает на какое расстояние и при каких условиях, — значило делать его бессильным при малейшей перемене обстоятельств. Даровитому генералу подобная опека была невыносима, а обладающему такими особенностями как Суворов — совсем невозможна.

При своих основных взглядах на военное дело и при громадном опыте, Суворов лучше всякого другого понимал что прекрасно составленные планы кампаний могут оказаться

исполнимыми только частию, а иногда и совершенно измениться, потому что им будет противодействовать неприятель, которого силы и способы с верностью определить нельзя, и который имеет свои собственные намерения и цели. Суворов всегда принимал к соображению случай на войне, а потому отвергал всякие законченные планы действий, где все предусматривается и предрешается. Он признавал практически - возможными только самые общие предначертания, предоставляя все остальное указанию обстоятельств, и в этом смысле постоянно говорил и писал, ссылаясь на Юлия Цезаря. Он имел сильное нерасположение к планам писанным, тщательно разработанным, да еще коллегиальным образом; и действительно такие планы, составляя секрет многих, редко остаются в тайне и попадают обыкновенно в руки неприятеля. Будучи знатоком истории, особенно военной, и изучив в совершенстве войны XVIII столетия, Суворов не мог не видеть, что несчастная мания - все предвидеть, все комбинировать на бумаге и направлять каждый шаг главнокомандующего из кабинета, - дорого обходилась Австрии уже несколько десятков лет, и только одна эта держава, по непонятной слепоте, не замечала фальши в своей системе. "В кабинете врут, а в поле бьют", постоянно говаривал Суворов про подобные тенденции.

Таким его взглядам вовсе не противоречат составленные им — заметка о войне в Финляндии и план действий в Турции (Прилож. II и III). Первая указывает лучший способ противодействия неприятелю, в связи с системою возводимых укреплений. Второй состоит из мелочных исчислений наших морских сил, из общих соображений о ходе операций и из исследования неизвестной части театра войны; число кампаний определяется от 2 до 4. Примером того, в каких общих чертах Суворов признавал единственно-практичными планы кампаний, может служить Приложение VIII.

При всем том может быть сделано замечание, что правительство государства, которое столько лет подряд несло громадные жертвы и терпело военные неудачи, не могло продолжать войну без обозначения её ближайших целей, вверившись слепо одному лицу, вдобавок иностранцу. Может быть указано, что Суворову следовало понять свое положение и, в интересах самого дела, не обрекать робкое, обескураженное правительство на роль не только бездейственную, но и лишенную контроля. Иначе говоря, отказавшись от предъявления подробного плана кампании, в духе гофкригсрата, не должен ли был русский полководец изложить письменно, или хоть словесно, свои соображения в самых общих чертах? Ведь сложилось же у

него в голове общее направление предстоявших действий; отчего же ему было не поделиться своими мыслями с гофкригсратом? Утвердительный ответ едва ли был бы верен. Конечно Суворов составил себе общее предположение, но сообщение его гофкригсрату ни к чему не привело бы. Из разговора Суворова с королем-претендентом Людовиком мы видели, что он рассчитывал выгнать Французов из Италии и затем, в настоящем или будущем году, внести войну в пределы Франции. Из слов Суворова, записанных в Кончанске Прево-де-Люмианом, мы познакомились с планом действий против Франции, который Суворов считал соответствующим обстоятельствам. Разве что-нибудь подобное могло удовлетворить Венский кабинет? Конечно нет. Всякий план Суворова показался бы ему во-первых слишком смелым и рискованным. Затем, при том анализе, которым только и существовал гофкригсрат и который приложим лишь к обстоятельно выработанным проектам военных операций, — планы общие представлялись неуловимыми для взвешивания, измеривания и прикидывания к масштабу; они непременно требовали разработки, ибо тогда только подходили под уровень критики. Окажи Суворов уступчивость, сделай первый шаг, — от него потребовали бы и второго, и третьего, а при некотором диалектическом искусстве, подобное требование явилось бы вполне естественным и логичным. Между тем второго и третьего шагов Суворов сам не знал, отлагая их до знакомства с делом на месте. Ему пришлось бы или погрузиться в бесплодные измышления, противоречившие характеру его военного дарования, или пуститься в препирательство и споры и на этого рода арене понести несомненное поражение, в чем он сознавался еще под Фокшанами. А конечным результатом было бы составление гофкригсратом собственного законченного, округленного проекта, к чему попытка уже и была сделана относительно начала кампании до Адды.

Вот по каким причинам Суворов должен был отказаться и отказался от изложения своих намерений. Может быть следовало ему сделать это несколько иначе, при помощи более мягких приемов, не обижая самолюбий. Но таков он был искони и переделать себя не мог, да вероятно и не хотел. Если он в этом смысле проступился, то еще более провинились австрийские властные люди, стоявшие у дела. Русский император не навязывал Австрии Суворова; она сама признала его якорем своего спасения, сделала своим фельдмаршалом, обещала широкие полномочия. При таких исключительных условиях можно было не обращать особенного внимания на формы, на внешность, а заботиться об одной сущности. Но ничто так не

живуче, как дурные традиции, и ничто так не чувствительно, как самолюбие, особенно если под ним нет ничего или есть очень малое.

Суворову было больше нечего делать в Вене. Здесь успел написать его портрет "первый венский живописец" Крейцингер, по протекции одного из близких, за что и отблагодарил протектора портретом с его собственной особы. Портрет Суворова остался в Вене как бы на память; оригинал в нее более не возвращался. Выезд в армию назначен был на 24 число; накануне была назначена императором отпускная аудиенция. Суворов, кончивший переговоры с Венским кабинетом ничем, дал только в одном частном обществе шутливое обещание - не следовать примеру других, не обращаться с Французами так деликатно как с дамами, ибо он уже стар для подобных любезностей. Но он жестоко ошибся, полагая, что выедет из Вены с пустыми руками, т.е. с полной волей. На прощальной аудиенции император Франц принял его по прежнему весьма благосклонно и снова заявил ему полную свою доверенность, но при этом вручил инструкцию с изложением главнейших указаний для первоначального хода кампании. [11]

После вступительных комплиментов, в которых между прочим значились и "великие, испытанные дарования" Суворова, инструкция гласила, что целью первых наступательных действий должно быть прикрытие австрийских владений и постепенное удаление от них опасности неприятельского вторжения. Для этого надлежит обратить усилия в Ломбардию и в страну по левому берегу р. По; достигнутые успехи оградят южный Тироль от неприятеля, освободят от Французов полуденную Италию и дадут возможность усилить союзную армию в Италии частью тирольских войск. Согласно с этим, Суворов должен был отрядить часть войск в Полезину и в низовья По, для наблюдения за неприятелем со стороны Феррары, а с главными силами двинуться к Минчио, перейти ее, овладеть Пескьерою и потом или осадить Мантую, или блокировать ее, продолжая наступление к рекам Олио и Адде. Предположения свои о дальнейших затем действиях Суворов обязан был сообщить императору. Наконец, чтобы внимание его, Суворова, не было отвлекаемо от главных военных соображений заботами о предметах побочных, поручено генералу Меласу вести с гофкригсратом переписку о продовольствии и других потребностях [12].

Эта инструкция была именно тем самым, во избежание чего Суворов не хотел обязываться пред гофкригсратом никакими заранее составленными предположениями. Неисправимое

Австрийское министерство вытребовало Суворова для тех же действий ощупью, с оглядкой, в которых оно упражнялось до того времени. По духу и букве документа следовало ожидать длинной, бесцветной кампании, с нескончаемым маневрированием и с зимними квартирами пожалуй по-прежнему за Адижем. Робость проглядывала во всем плане вместе с обычной недоверчивостью к главнокомандующему. Это был, так сказать, заранее изготовленный приказ, со вставленным именем Суворова вместо "имя-рек". Для такого плана положительно не стоило вызывать Суворова из Кончанска; мало того, назначать его на пост главнокомандующего при подобных условиях было прямо вредно, потому что он во всю свою военную карьеру постоянно боролся с непрошеной опекой, в каких бы размерах она ни проявлялась. Упоминается в инструкции и об операциях за Аддой, но это как бы на всякий случай; притом употребляется прием для парализования свободы действий главнокомандующего еще худший, чем до Адды: предписывается предварительное представление в Вену предположений. В заключение инструкции проглядывает недоверие к Суворову, как к иностранцу, передачею в ведение Меласа хозяйственной части.

Таким образом сделано было то самое, что перед тем поручено четырем членам гофкригсрата, но отвергнуто Суворовым, даже больше, потому что его мнения теперь не спрашивали. Пристрастие к системе, к бумаге, закрыло от Венского кабинета живого, даровитого человека. Не знаем, как отнесся Суворов к полученной инструкции, ибо не находим ровно ничего ни в официальной, ни в частной переписке его и его близких. Вероятнее всего, что он решился держаться данных правил лишь постольку, поскольку они будут отвечать обстоятельствам и его собственным предположениям, вытекающим из условий места и времени. Он ведь делал так всегда, не только отступая от инструкций, но даже действуя вопреки инструкциям. Он полагал, что успех все покроет и извинит, как было до сих пор. Что касается до хозяйственно-распорядительной части, то передача её другому была по всей вероятности даже приятна Суворову, по крайней мере на первое время. Его всегда тяготили этого рода заботы, и еще недавно ему пришлось дорого поплатиться за хозяйственную часть без всякой вины. Однако, в настоящем случае предположения и надежды Суворова, если они действительно были таковы, скоро рушились, и ему пришлось принять много горя.

Конечно, в некоторой доле своего последующего разочарования виноват он сам. Отражая посягательства Венского кабинета на свою свободу действий, он этим и ограничивался, не

добиваясь категоричности решения, а между тем только такая категоричность в состоянии была поставить дело на твердую почву и устранить недоразумения в будущем. Не дойдя до конца, Суворов дал поверхность над собою Австрийскому императору, что и выразилось внезапно появившейся инструкцией. Недостаток положительных выводов в переговорах сказался, между прочим, еще и в том, что потом каждая сторона считала себя правою, и Франц оправдывался перед Русским Государем тем, что поступил на основании венских переговоров. Таким образом, если строго придерживаться истины, то несмотря на высказанные раньше соображения, нельзя вину во всех плачевных последствиях отнести безраздельно на Венский кабинет, а Суворова признать только несчастной жертвой. На Суворова несомненно падает известная доля вины, хотя она и составляет очень небольшую величину сравнительно с виною Венского кабинета, излюбленная система которого заключала в себе самой корни всевозможных, ничем не отвратимых зол.

Выезжая из Вены, Суворов поблагодарил графиню Разумовскую за гостеприимство, надел на нее золотое сердечко на золотой цепочке, замкнул сердечко и ключик оставил при себе. Направившись на Брук и Виллах, он стал обгонять русские войска, которые теперь шли ускоренным маршем и, по собственному свидетельству Суворова, сделали в 19 дней 88 миль, несмотря на непогоду, разлитие рек, бездорожье и гористые местности. К 3 апреля авангард под начальством князя Багратиона был уже в Вероне, но так как войска двигались эшелонами, то последний из них находился еще в 12 переходах назади. На встречу Суворову, в Виченцу, выехал генерал-квартирмейстер армии маркиз Шателер; Суворов пригласил его к себе в карету. Здесь Шателер развернул карту и стал объяснять расположение и движения войск, наводя Суворова на изложение мыслей о плане предстоящих действий. Суворов слушал рассеянно и, в виде ответа, произносил иногда только слова: "штыки, штыки"[13].

В этот день были привезены в Верону и выставлены трофеи, добытые недавно одержанной над Французами победой. Здесь, как и почти во всех других местах Италии, население делилось на две главные партии, - сторонников и противников Франции и её режима. Первая партия была в начале сильна, но от безмерных грабежей и насилий французов быстро редела и потом, благодаря победам Суворова, уменьшилась до размеров ничтожных. При виде трофеев, впечатлительный народ пришел в восторг, раздались радостные восклицания, образовалось гулянье, открылось празднество. Австрийские власти и успевшие съехаться

сюда русские генералы готовились к встрече Суворова; народ это узнал и толпами повалил за город, по дороге. В 6 или 7 верстах за городом толпы встретили экипажи; в одном сидел Суворов с Шателером, в трех или четырех других - офицеры свиты и прислуга фельдмаршала; эскорт состоял из 8 казаков. Раньше, на дороге, было Суворову немало торжественных и сочувственных встреч, но такой как здесь нигде еще не бывало, даже в Вене. Толпы окружили карету Суворова, остановили ее, укрепили на ней какое-то принесенное из города знамя и с криками провожали до самых городских ворот. Тут прибавились новые толпы, которые на каждом шагу вперед все умножались; многотысячное сборище кричало виваты то Суворову, то Францу и Суворову, двигалось, волновалось и на разные лады высказывало свой восторг при виде знаменитого полководца. В такой триумфальной обстановке, вечером 3 апреля, подъехал Суворов не без труда к приготовленному для него помещению и быстро взбежал по лестнице [14].

Слишком большие перемены произошли в его судьбе за последние два месяца; очень велик был почет, оказанный ему в чужих землях [15]. Эти восторженные встречи и приемы не могли ведь быть выражением благодарности за прошлое, как в России; они обозначали твердую надежду на будущее, выражали уверенность, что победная судьба русского полководца не изменит ему и впереди. Имела ли эта уверенность твердое под собою основание, и не была ли она самообольщением? Ведь говорили же скептики, что Французы не Турки и не Поляки, и что достаточное для одоления последних, окажется бессильным против первых. Не одна зависть или зложелание диктовали такие слова; сомнение вытекало и из событий последних лет. Несмотря на анархию внутри, на разложение правительственных и общественных элементов, на дезорганизацию армии, на оскудение источников материального благосостояния, - Франция не только выстаивала противу соединенной Европы, но еще грозила ей и все свои частные военные неудачи приводила в результате к положительному успеху. Много лет подряд коалиция напрягала свои усилия, армии её выростали одна за другой как из земли, истощенная казна наполнялась снова, - а победная звезда Франции не только не меркла, но блестела все ярче. Не были ли правы скептики, сомнительно качавшие головой, когда против такого неодолимого врага прибегали, в виде последнего средства, к вызову на театр войны чудака-генерала, имевшего доселе дело только с беспорядочными толпами выродившихся Отоманов и с бандами разъединенных политическим разномыслием Поляков?

Они не были правы. Выставляя различие между Французами с

одной стороны, и Поляками и Турками - с другой, да и то далеко неверно, они принимали в соображение одну действующую силу, забывая о другой. А между тем в этой другой силе, т.е. в Суворове, и заключалась главная данная для наиболее верного решения вопроса, на сколько может подлежать решению в настоящем вопрос о будущем.

Французская военная система, благодаря которой Франция с успехом противустояла Европе такое долгое время, родилась из обстоятельств и сложилась под их влиянием. В начале революции анархия, охватившая всю Францию, разрушила в войсках дисциплину; армия в настоящем смысле перестала существовать, и открывшаяся война доказала это воочию. Стали приискивать средства и нашли указание на полях сражений. Следовало избегать правильного боя и заменять крупные столкновения рядом мелких стычек; задирая неприятеля, тревожа его беспорядочным огнем, учащать усилия и в массах людей находить для этого способы. При революционном возбуждении, а особенно при терроре, дело не могло стать за людьми, и они поступали под знамена в большом числе. Правда, не было ни средств, ни времени для обмундирования, снаряжения, обучения людей, и против неприятеля приходилось высылать не солдат, а свежих рекрут, но это оказывалось достаточным в виду новопринятого образа действий. Даже не изменили устав в смысле его упрощения, рассуждая правильно, что сущность дела не в нем, а в применении уставных правил к практике. Обучение по необходимости стало самым поверхностным и отнюдь не обращалось в цель, как в других европейских армиях; смысл его заключался в усвоении людьми общего условного языка, без чего не будет взаимного понимания. Далее этого не шли, и это удовлетворяло. Был введен рассыпной строй и колонны, требующие меньшей дрессировки людей, в стрелки рассыпались целые полки, колонны походили на кучи; действовали налетами, занимали неприятеля малой войной.

Первые военные успехи придали смелости революционному правительству; политика и война сделались наступательными. Попытка - выработать соответствующий обстоятельствам способ военных действий - преобразилась в систему, по духу родную дочь революции. Ополчения росли; неподготовленные люди прибывали во множестве, но уже находили в своих полках боевую, опытную школу. Французские колонны, не теряя времени на маневрирование и стрельбу, в которых были слабы, смело бросались в штыки и прорывали тонкий строй неприятеля, который привык видеть в штыке средство не заурядное, а последнее. Кроме многочисленности и готовности сойтись на

штык, французские войска успели приобрести над противником и другие преимущества. Они были во-первых легки, не имели обоза, палаток, даже зачастую одежды, обуви, продовольствия; ибо на снабжение всем этим не хватало ни времени, ни средств; все надлежало добыть самим впереди, в неприятельской стране, а до тех пор терпеть и изворачиваться. Во-вторых, будучи всегда налегке, они отличались от неприятеля быстротой походных движений, чему помогала поневоле усвоенная выносливость, привычка к лишениям, уменье довольствоваться малым и надежда найти впереди большее. В-третьих, что самое главное, французская армия отличалась энергией в ведении военных операций. Кроме возбудительных свойств революционного увлечения, энергия снисходила на армию от генералов - выскочек. Не нужны были для занятия высокого военного поста ни рождение, ни образование, ни долгая служба или старшинство; адвокаты, ремесленники, отставные сержанты - беспрестанно появлялись на верхних ступенях военной иерархии. Они правда беспрерывно сменялись новыми и исчезали бесследно сотнями, но те десятки, которые оставались и продолжали идти вперед, были люди с характером, с дарованием, смелые, отважные. Всем обязанные революции, они сознательно принимали и ревностно проводили её военную систему. Случай на войне играл в их образе действий выдающуюся роль; рисковали они очень многим, не отступая перед опасением большой потери, так как тут же, рядом, видели возможность еще большего выигрыша. Они всегда употребляли средства, отвечающие цели; преследовали эту цель с настойчивостью изумительною: считали, что ничего не сделано, пока остается хоть что-нибудь сделать; каждому усилию давали такое напряжение, как будто это усилие было последним.

Таким образом французские войска, наэлектризованные первыми успехами, воспитались на последующих. Вместе с тактикою, которой учила война, выросла своеобразная дисциплина, отвечавшая духу нации. Оставаясь вдалеке от недостижимых требований рафинированной школы, в виде стройности и чистоты приемов и эволюций, неподвижности и безмолвности строя, геометрической правильности построений и т.п., французские войска однако перестали уже быть прежними бесформенными кучами и приобрели навык к гармоническому совокупному действию трех родов оружия. Они продолжали пользоваться перевесом числа, ибо за некоторыми изъятиями были многочисленнее неприятеля, или же получали над ним численный перевес искусством тактических и стратегических движений. Избегая по- прежнему правильных сражений и

стараясь действовать рядом мелких стычек, они, в случае неизбежности генерального боя, прибегали к обходу, охвату и прорыву. Французская военная система изменила не только вид сражений, но и стратегических действий на театре войны: неподвижность была побеждена движением, армии взяли верх над крепостями, марши вытеснили осады. Старая тактика - осмотрительная, выжидающая, с робко - рассчитанными шагами, не могла устоять. Корифеи её теряли голову, отыскивая причины своих поражений, но долго ничего не находили, так как в глубь дела не вникали, да и то что видели глазами, уразуметь правильно не могли. Им поневоле приходилось удовольствоваться довольно бессмысленным утешением, что Французы побеждали *не по правилам*.

Тактики - рутинеры скорее поняли бы весь секрет, если бы в приговоре своем были смелее и логичнее; они нашли бы тогда, что Французы вели войну не то, что *не по правилам*, а *вопреки правил*. И действительно, французы действовали прямо наперекор непреложным и безусловным военным принципам времени. Вступив в сражение, они мало заботились о прикрытии флангов, о надежном обеспечении сообщений, о сбережении людей, а атаковали смело, беззаветно и пристрастие к штыку простерли даже до крайности, за что и платились впоследствии, как например в Испании. Склонность - атаковать во чтобы то ни стало, обнаруживала во Французах не только большой перевес над противником в духовной силе, но и искусство, так как атака имеет громадные преимущества перед выжидательной обороной, сбивая с толку нерешительного противника, который предполагает в атакующем какие-нибудь особенные соображения. Когда нельзя было обойти, охватить неприятеля, ударить ему во фланг или в тыл, Французы не колебались идти на прорыв, бить в лоб, несмотря ни на какие потери. Они переправлялись через реки днем, в виду неприятеля, нередко вплавь, или наводили мосты прямо под его огнем; горы переходили с конницей и артиллерией; переносили на руках орудия, возили их людьми вместо лошадей, взбирались на кручи и спускались в пропасти, увязая по плечи в снегу. Зимние кампании вошли в правило; палаток не было; бивуакировали без одежды, полунагие; форсированные марши производили без обуви; ходили в атаку впроголодь. Правда, тоже самое можно встретить не у одних Французов, но и у всех других, в разные времена; только все это имеет значение исключения, вносимого в летопись подвига. Во французских же войсках, в эпоху революционных войн, исключение сделалось правилом; что было редким, стало обычным; что считалось маловероятным, повторялось каждый

день. Солдат считал себя обязанным делать все, что от него требует война, и был убежден в своей годности на все; он усвоил себе привычку - не иметь ни к чему привычки. Вся французская военная доктрина сложилась на выполнении того, что для дюжинного благоразумия считалось невозможным.

Не будет большой натяжки, если эту доктрину назовем для краткости *теорией невозможного*. Делать противное тому, что делалось прежде и делается другими теперь; выбирать исполнение самое трудное; предпочитать предприятия, которые робкая школа неприятеля отвергала, ибо довольствовалась полумерами, - вот сущность французской теории. Нерешительности, робости, - quasi-математическому расчету, Французы противупоставили диаметрально противуположное: смелость и даже дерзость. Они обязаны теории невозможного наибольшими успехами, их противники наибольшими поражениями, Европа - наиболее изумительными военными событиями. Теория эта породила в армиях коалиции удручающее убеждение, будто они имели против себя неодолимое превосходство в средствах и источниках; она вселила в них если не веру в непобедимость Французов, то сомнение в собственных силах. Одолеть Французов могли только новые люди, имевшие другие средства, обладавшие военными принципами, однородными с французскими; против теории невозможного требовалась тоже теория невозможного. Ее принес с собой Суворов [16].

Суворовская военная система не порождена обстоятельствами, а родилась из особенностей его военного дарования. Главная её основа - человек и духовная его сила; главные атрибуты - энергия, смелость, быстрота, простота, Система эта родилась у Суворова в своей основе совсем готовая, лет за 30 до революционных войн; она ясно выразилась в его командовании полком и получила приложение к делу в первую же войну. Основным условием своей теории Суворов ставил *боевое* воспитание и обучение войск; устава он не изменял, ибо не мог и не считал нужным, все внимание обратил на применение уставных правил к практике; на внешних требованиях не останавливался; обучение за цель не принимал. Он напирал на развитии в людях отваги и упорства, на воспитании солдатского сердца в самоотвержении, в закалке его до притупления инстинкта самосохранения, до парализования впечатлительности ко всякого рода неожиданностям. "Испуган, - наполовину побежден", гласил Суворовский принцип. Воспитывая в этом смысле войска, Суворов приучил их не бояться за свои фланги и тыл; он влил в них убеждение, что самое верное, прямое и даже

наименее опасное средство одерживать победу - заключается в том, чтобы искать ее в середине неприятельских батальонов. "Смерть бежит от сабли и штыка храброго", говорил он: "счастье венчает смелость и отвагу". В наставлении молодым офицерам, изданном во Франции в 1802 году, сказано: "кто выжидает нападения, тот уже почти побежден". Это существеннейшее правило французской теории невозможного, было таким же и в Суворовской теории; все сводилось к наступлению и атаке; решителем судеб боя признавался штык; отступательные движения исключались из обучения; намек на ретираду считался растлевающим [17].

Суворовская система, благодаря его методу воспитания и обучения войск, была цельнее и совершеннее французской со стороны военно-педагогической. Французские солдаты приходили на войну рекрутами, Суворовские рекруты являлись в бой солдатами. В некоторых других отношениях французская система была законченнее. Формы Суворовского строя менее отвечали характеру тактических требований и хотя видоизменялись по указанию обстоятельств, но не складывались окончательно в смысле нормальных. Выросший на линейной тактике, Суворов не мог от нее отрешиться; употреблял стрелков, но не переходил к рассыпному строю; употреблял для атаки колонны, но также и развернутый строй. Он не был безусловно не прав. Для быстрой исполнительности, сплоченности и единодушия в действии - сомкнутый строй предпочтительнее рассыпного; что касается до колонны, то хотя она более чем тонкая линия пригодна для сильного удара в штыки, но это различие почти исчезает при высоком градусе нравственной силы войск и известном характере их воспитания и обучения. А Суворовские войска именно этим условиям и удовлетворяли.

Одно из существенных различий между системами французскою и Суворовскою заключалось в том, что первая сложилась и развивалась под влиянием перевеса численности; Суворов же действовал почти постоянно меньшим числом против большего. В немногих лишь делах силы неприятельские не превосходили его собственных, а еще реже численный перевес бывал на стороне Русских. Этим между прочим и обусловливалась, по его взглядам, необходимость наступления и атаки, и атака практиковалась чаще в виде прорыва, т.е. фронтально. Обход и охват употреблялись реже, так как при малой численности атакующих, представлялись опасными, или не хватало на них времени. Не пренебрегая ударами во фланг и тыл, Суворов однако, по сказанным причинам, не придавал им чрезмерного значения, также как и непременному обеспечению

собственных флангов и тыла. Заботясь о том и о другом в каждой своей диспозиции, он не вязал себя этими условиями и постоянно издевался над тактиками-рутинерами, говоря, что они непременно примкнут фланги к чему-нибудь, хоть к навозной куче и луже, не справившись, достаточно ли в луже воды для плавания лягушек.

Характеристика остальных сторон Суворовской системы еще более делает ее однородною с французскою. Простота его соображений была замечательная, и ей соответствовала простота исполнения. Быстрота его доходила до маловероятного развития, и он буквально побеждал неподвижность движением. Это было нелегко; русская армия отличалась тяжеловесностью, вследствие значительного количества обозов и большой ноши пехотинца; но Суворов обходил то, что не в силах был изменить: он оставлял обозы позади, облегчал движение солдата попутными местными средствами; наконец просто шел вперед, не обращая внимания на число отсталых и утешая себя соображением, что остающихся в строю храбрых и энергических людей будет достаточно для одоления неприятеля. Это было не увлечением, а логикой; время стоило гораздо дороже; "одна минута решает исход баталии, один час успех кампании, один день судьбы империй", говорит он, прибавляя: "я действую не часами, а минутами". Подобно Французам, Суворов считал главным элементом войны армию, не любил осад, не связывал себя магазинами или депо и считал скорость движений важнее достоинств позиций. Энергия Суворова высказывалась не в одной быстроте движений, а решительно во всем, особенно в бою. Он обладал такой нравственной упругостью, что препятствия не уменьшали, а увеличивали его настойчивость, перед которою наконец гнулась или ломалась воля противника. Эта характерная черта была едва ли не самой выдающеюся особенностью его личности. "Знаешь ли, почему якобинцы взяли верх и владычествуют теперь во Франции", говорил он французу-эмигранту, своему подчиненному: "потому, что у них твердая, глубокая воля, а вы, ваша братия, *не умеете хотеть*". Оттого полумер Суворов не знал; перед трудностями в своих расчетах не останавливался; случаю давал широкое место в своих успехах, ибо умел им пользоваться моментально. "У фортуны длинные волосы на лбу, а затылок голый", говаривал он: "пролетела, - не поймаешь". Его отвагу и смелость можно было бы назвать дерзостью, если бы они не коренились в глубокой уверенности Суворова в себе; эта-то уверенность, выросшая на испытанной верности усвоенных принципов, и делала его всегдашним победителем [18].

По военачальнику были и войска. Обладая богатыми

природными качествами, русский солдат в школе Суворова еще вырастал и складывался в героя. "Где проходит олень, там пройдет и солдат", сказал Суворов в 1793 году, т.е. когда его взгляды и афоризмы нельзя уже было заподозрить в абстрактности, и в пояснение еще прибавил: "не надо допускать ущерба делу". И точно, Суворовские солдаты не ходили, а летали, несмотря ни на какие препятствия, в роде ли болотистых дорог, или пустого желудка. В бою Суворовская школа отражалась на войсках еще полнее. Зимний штурм крепости, где засела целая армия, оказался возможным для корпуса, сравнительно слабого, почти с половиною спешенных казаков, изнуренного и обескураженного недавнею блокадой. Здесь же, под Измаилом, во время штурма, колонна обогнула каменную батарею и шла вперед, не обращая внимания на то, что в тыл ей производился жестокий огонь. Под Прагой штурмующей колонне внезапно стала грозить с фланга конница; часть колонны выстроила фронт на лево и бросилась в штыки, а другая часть продолжала штурмовать, как ни в чем не бывало: кавалерия исчезла. Под Кобылкой физическая невозможность задержала пехоту назади; несколько эскадронов легкой и тяжелой кавалерии спешились и ударили на пехотную часть в сабли: успех получился полный. На Рымнике, где происходил бой противу вчетверо сильнейшего неприятеля и успех доставался тяжело, признано нужным подействовать на Турок и ударом, и неожиданным впечатлением: на неоконченный ретраншамент, защищавший позицию, пущена в атаку конница; Турки были разбиты. Суворовские войска действовали со смелостью беззаветной; дрались "как отчаянные", по собственному выражению Суворова, который к этому прибавлял: "а ничего нет страшнее отчаянных". Их настойчивость и упорство казалось не знали иного предела, кроме победы; по выражению одного иностранца, русские батальоны "обладали твердостью и устойчивостью бастионов". [19]

Из сказанного видно, что у Суворова все необычное и редкое стало повседневным, чудесное низведено к обычному, по рутинной оценке неисполнимое сделалось возможным. Из его великой души, без внешних влияний и напора обстоятельств, выросла система действий, построенная на *теории невозможного*. Также точно, только еще сильнее Французов, Суворов успел вселить в неприятеля, Турок и Поляков, страх к его имени. Так же не понимали его системы и говорили, что он действует не по правилам, что ему везет счастие. Непонимание или нежелание понять его военную теорию привело к тому, что сомневались в будущем его успехе против Французов, тогда как одна Суворовская теория для войны с Французами в то время и

годилась. Да и потом, после войны, раздались в пользу Суворова лишь немногие слабые голоса. Так, неизвестный автор замечательной брошюры, по которой преимущественно изложена выше французская система войны, промолвился, что "Австрийцы как будто стали понимать эту систему, но им не доставало смелости в исполнении и решимости прибегнуть к крупным средствам; Суворов же соединил то и другое, и Французы были побеждены". Да еще престарелый прусский фельдмаршал Мёлендорф объяснял одному из русских государственных людей, что "только завистью, невежеством или глупостью можно объяснить мнение, будто Суворову везло одно счастье; он был первым и единственным полководцем, который понял дух и свойства современной французской армии и сразу нашел верный способ для успешного противу нее действия" [20]. Не пускаясь в поиски за другими однородными суждениями, заметим, что и два приведенные не отличаются особенною верностью. Вступая в войну с Французами, Суворов не прибегал ни к каким новым средствам, а приложил к делу лишь свой обычный способ действий. Он отправлялся против Французов со своей старой, давно сложившейся теорией и нес с собою уверенность в победе; уверенность эта, поддержанная 30-летним опытом, не изменила ему и при новых обстоятельствах.

Глава XXVIII. Итальянская кампания: Адда; 1799.

Ход кампании до прибытия Суворова. — Приемы у Суворова; его прокламации и распоряжения по боевой подготовке австрийских войск. — Наступательное движение; взятие Брешии; порядок похода; неудовольствие Австрийцев; выговор Меласу. — Занятие Бергамо и Кремы. — Расположение неприятеля на р. Адде; диспозиция Суворова; дело при Лекко; переправа у С. Джервазио; сражение у Ваприо; Мелас у Кассано; Вукасович у Бривио; пленение Серюрье. — Смятение в Милане; занятие города; торжественная встреча Суворова; любопытство, возбуждаемое им и Русскими. — Прибытие корпуса Розенберга. — Уничтожение Цисальпийской республики и учреждение временного правления; народное восстание в Италии. — Боевые наставления Суворова и обучение войск; план действий, неодобренный в Вене. — Упреки Суворову в медлительности; объяснение.

Когда Суворов приехал в Италию, пролог кампании 1799 года был уже разыгран.

Дела Франции находились в очень не блестящем виде, благодаря между прочим тому, что французские войска оставались, после потерь минувшего года, не укомплектованными. Конскрипция шла так медленно, что в феврале все армии республики получили в общем итоге только

40,000 конскриптов, между тем как ожидалось впятеро больше. Коалиция обладала средствами гораздо более значительными, но Французская директория не унывала, мечтала даже о завоеваниях и выработала наступательный план кампании. Она действовала в настоящем случае с дерзостью, очертя голову; но за исключением некоторых крайностей в подробностях, в поведении её не усматривается ничего нового. Делалось тоже самое, что в предшествовавшие 6 или 7 лет, и что в конце концов приводило к успеху; сонливости, нерешительности, робости союзников в замыслах и в исполнении, — Французы противуставляли энергию, пылкость, отвагу. Революционная система, воплотившаяся и в политике их и в войне, доселе их выручала; как же было не держаться её в будущем?

В южной Германий кампания открылась в начале марта: Австрийцами начальствовал эрц-герцог Карл, Французами генерал Журдан. Произошло два крупных дела — при Острахе и при Штокахе, оба нерешительные, хотя численный перевес был на стороне Австрийцев, и при более энергическом образе действий, они могли бы добиться результата полного и блестящего. После 5-недельной кампании, Французы отступили за Рейн, но удержали в своих руках многие на нем переправы.

В Альпах военные действия начались среди полной зимы, и Граубинден был немедленно занят Французами при огромных потерях Австрийцев, а затем республиканцы вторглись в Тироль и, хотя принуждены были потом оттуда ретироваться, но удержались в Граубиндене. Пользуясь неподвижностью противника под командою генералов Готце и графа Бельгарда, Французы, предводимые способным, энергическим Массеной, сделали все, что только было возможно, и понесли потери ничтожные сравнительно с австрийскими. Успех их, при тройном превосходстве сил Австрийцев, был изумительный, почти неправдоподобный. Различие двух военных теорий высказалось тут наиболее ярко, благодаря неспособности австрийских генералов, связанных кроме того гофкригсратом.

На третьем театре войны, в северной Италии, действия начались позже, чем в Швейцарии и на Рейне. Начальство над Австрийцами вверено было барону Меласу, 70-летнему старику, который имел за собой опытность, отличался личным мужеством, но как предводитель был нерешителен, неискусен, неспособен. Мелас отказывался от почетного назначения, отговариваясь старостью и недугами, но правительство настаивало; ему дозволили ехать в армию не спеша, со всевозможным комфортом; он этим воспользовался и прибыл в Верону лишь за несколько дней до Суворова. Временное начальствование войсками

поручено было барону Краю, генералу деятельному, мужественному и решительному, но с военным дарованием, не превышавшим уровня посредственности. Французскими войсками начальствовал генерал Шерер, старый, дряхлый, слабый характером и неспособный, войска не любили его, не доверяли ему, да и он сам согласился принять над ними начальство с большою неохотой.

По общему плану директории, Шерер должен был действовать наступательно, что он и сделал. Произошла встреча и кровопролитный бой на р. Адиже, который однако не имел существенных результатов. Французы одержали решительный верх на своем левом фланге и отчасти в центре, но правое крыло их было разбито. Обе стороны понесли большие потери, и затем остались в бездействии. Вторая их встреча была при Маньяно: обе стороны понесли значительный урон, Французы потеряли больше Австрийцев. Решительного результата сражение не имело; полной победы или поражения не было; но Шерер отступил в ту же ночь - Австрийцы преследовали его одними передовыми разъездами до Минчио.

Довольствуясь своей полупобедой, Край не воспользовался ни перевесом сил, ни выгодами положения; он все поджидал Меласа и подкреплений и потерял дорогое время бесповоротно. Прибыл наконец и Мелас, но бездействие продолжалось; ждали генералов Отта, Вукасовича, русских войск, Суворова. Шерер не считая возможным удержаться на Минчио, спокойно отступил, усилив гарнизоны Мантуи и Пескьеры. Выждав три дня, Мелас перевел армию чрез Минчио и перенес главную квартиру в Валеджио. В этот самый день Суворов въехал в Верону.

Он приехал вечером. В приемный зал стали тотчас же собираться находившиеся в Вероне русские и австрийские генералы, высшие лица местного духовенства, гражданской администрации, представители разных сословий. Спустя несколько минут вышел Суворов, поклонился всем и подошел под благословение архиепископа. Архипастырь сказал ему приветствие, а затем и городская депутация. Суворов выслушал добрые пожелания, объяснил, что прислан выгнать Французов, защитить троны и веру, восстановить мир и тишину; просил у архиепископа молитв, а прочим рекомендовал верность и повиновение законам. Произнеся свое короткое слово, он остановился, как бы собираясь с мыслями, но потом, наклонив голову в виде поклона, вышел. Все стали расходиться, остались только русские генералы и несколько австрийских. Суворов опять показался, поклонился и, зажмурив глаза, обратился к Розенбергу с просьбою - познакомить его с сослуживцами. Розенберг стал

представлять, произнося чин и фамилию каждого. Суворов стоял зажмурившись и при имени лица, с которым прежде не служил, открывал глаза, делал поклон и говорил: "не слыхал, познакомимся". Этот отзыв, довольно обидный для многих, считавших себя людьми известными, изменился, когда Розенберг называл фамилию генерала, сослуживца Суворова, или известного ему похорошей репутации. Суворов обращался к таким с ласковым приветствием, вспоминал старое время, сулил доброе будущее. С особенною теплотою отнесся он к молодому генералу Милорадовичу, вспомнил как он, Милорадович, будучи ребенком, ездил на палочке, размахивая деревянной саблей; очень похвалил пироги, которыми угощал его отец; поцеловался со своим старым знакомым и пообещал ему геройскую будущность. Еще задушевнее принял Суворов Багратиона, который служил под его начальством на Кавказе, во вторую Турецкую и в последнюю Польскую войну. Он встрепенулся при имени Багратиона, вспомянул про прежнее славное время, обнял "князя Петра", как он его называл, поцеловал его в глаза, в лоб, в губы, сказал: "Господь Бог с тобою" и своею сердечною приветливостью тронул его до слез.

Кончив прием, Суворов стал широкими шагами ходить по комнате; потом остановился и принялся произносит главные афоризмы своего военного катехизиса, как бы подтверждая их значение и на новом театре войны, при новом неприятеле. Замолчав, он как будто погрузился на несколько моментов в думу, но затем быстро повернувшись к Розенбергу, проговорил: "ваше высокопревосходительство, пожалуйте мне два полчка пехоты и два полчка казачков". Розенберг не уразумел приказания и отвечал, что все войско в его, Суворова, воле. По лицу Суворова пробежала тень; он обратился к Розенбергу с разными вопросами, но либо формою, либо духом ответов остался недоволен: от них отдавало не Суворовской школой. Суворов отвернулся, сделал несколько шагов, нахмурился и, не обращаясь ни к кому, промолвил: "намека, догадка, лживка, краткомолвка, краснословка, немогузнайка; от немогузнайки много, много беды". После того, приклонив голову в виде поклона, он вышел; генералы разошлись, ушел и Розенберг, не понявший сделанного ему замечания [1].

Всю ночь горела иллюминация и народ праздничал на улицах. Встав по обыкновению чуть свет, Суворов рано утром выехал за город, в лагерь первопришедшего эшелона русских войск; можно догадаться, какая восторженная была ему встреча. Возвратившись домой, он нашел в приемной вчерашних русских генералов и снова обратился к Розенбергу насчет "двух полчков

пехоты и двух полчков казачков". Розенберг отвечал по-вчерашнему. Тогда князь Багратион, знавший Суворова ближе, чем кто либо другой из присутствовавших, вышел вперед и сказал: "мой полк готов, ваше сиятельство". Суворов обрадовался, что его приказание понято, и велел Багратиону готовиться к выступлению. Багратион вышел, предложил нескольким начальникам частей идти под его начальством в авангарде и вернулся доложить Суворову, что отряд к выступлению сейчас будет готов. Суворов поцеловал Багратиона, благословил его и велел идти быстро. Не наступил еще полдень, как Багратион выступил по направлению к Валеджио. Войска шли бодро, с песнями; их всюду встречали, провожали и сопровождали массы любопытных разных сословий и состояний, пешком и во всевозможных экипажах, от деревенской крестьянской повозки до щегольской коляски. Многие шли рядом с войсками, втискивались в ряды, пожимали руки, предлагали солдатам вино, хлеб, табак; уставших подвозили в своих повозках. Первое походное движение русских войск походило больше на торжественное шествие возвращавшихся с войны победителей.

В тот же день, 4 апреля, Суворов выехал из Вероны в Валеджио, издав прокламацию к народам Италии. Подобные воззвания имеют большею частию значение одной формальности, но в настоящем случае Суворовская прокламация была мерой в высшей степени уместной и полезной. Революционные войны не походили на предшествовавшие; тут шло дело не о взаимных распрях государей, исход которых почти ничего не изменял в судьбе народов, а об изменении всей социальной системы, о перерождении человеческих обществ в понятиях, нравах, основных законах. Питт справедливо называл революционные войны "борьбою вооруженных мнений". Обращение к народам сделалось существенно нужным, и если союзники пренебрегали этой мерой, то Французы прибегали к ней постоянно. Суворов придержался их примера. Он призывал Итальянцев к оружию за Бога, веру, законные правительства, на защиту собственности каждого, частного и общего спокойствия; указывал на чрезмерные поборы, налоги и систематические насилия Французов; на горести и бедствия, внесенные революционерами в мирные дотоле страны, под предлогом свободы и равенства. Обещая освобождение Италии от всех этих бед, он требовал содействия всех сословий и предостерегал, что сторонники Французов, которые будут упорствовать в своих замыслах, подвергнутся расстрелянию, а имения их секвестру.

Воззвание Суворова не осталось пустым документом; оно, как семя, пало на подготовленную почву, которую представляла из

себя большая часть итальянского народа, особенно сельское население. Народные восстания сделались вскоре заурядным явлением, прямым следствием отступления Французов или появления союзных войск; последние почти всюду были встречаемы как защитники и избавители. Конечно, одни слова значат мало, и победы союзников послужили главною силой, поднимавшей мирное население; но победы служили продолжением прокламации, убеждая, что в настоящем случае слово ладится с делом.

Апреля 5, в Валеджио, представлялись Суворову австрийские генералы. Некоторые писатели свидетельствуют, что и генералы, и вообще австрийские войска ожидали Суворова в Италии с добрыми надеждами, приняли его с полным доверием. Со своей стороны и он был с ними ласков и любезен, выказал особенную приветливость по отношению к Меласу и Краю, а последнему даже сказал, что тот открыл ему путь к дальнейшим победам. Познакомившись с генералами, Суворов пожелал видеть и войска, для чего все, что можно, было собрано из ближайших окрестностей Валеджио на смотр. Более часа пристально и внимательно всматривался он в проходившие перед ним войска и, когда смотр кончился, сказал окружавшим: "шаг хорош, - победа!" [2].

Войска австрийские были действительно во многих отношениях хороши, и Край между австрийскими генералами итальянской армии занимал но своим боевым качествам едва ли не первое место, но в отзыве главнокомандующего все-таки была преувеличенная похвала, весьма понятная и даже необходимая для первого знакомства. В близком кружке Суворов был не так снисходителен и, хваля распоряжения и действия Края при Маньяно, он однако указывал на неполноту одержанной победы, насмешливо говоря; "но вдруг нечистый дух шепнул - *унтеркунфт*, - и преследование разбитых Французов остановилось". [3] Вообще, при присущих австрийской армии понятиях о военном искусстве и боевых требованиях, войска и особенно генералы австрийские далеко не подходили под Суворовский идеал. С первых же своих шагов он открыл в них основной порок - "немогузнайство", которое тотчас же и окрестил соответствующим немецким словом, составленным из нескольких - "нихтбештимтзагерство"; затем появились и другие выражения, никогда Немцами не слыханные, созданные иронией Суворова. Вследствие различий между Австрийцами и (особенно Суворовской школы) Русскими, потребовались немецкие слова для выражения понятий, которых в русском военном лексиконе Суворова не было. К числу таких слов относилось и

вышеприведенное "унтеркунфт", что значило теплый уголок, удобное помещение, кабинет, или в переносном смысле спокойствие, комфорт, - вообще все противуположное условиям военного времени и боевой службы. Впоследствии прибавились к этим словам и некоторые другие.

Так как обстоятельства, со времени сражения при Маньяно, успели измениться, и теперь ошибку Края исправлять было уже поздно, то Суворов не перешел в наступление тотчас же, а решился выждать два дня приближавшейся части русских войск и немного подучить Австрийцев. В прежние войны он пользовался, можно сказать, моментами для боевой подготовки тех из своих войск, которые не состоя под его начальством в мирное время, не имели случая усвоить его боевых правил. Тем более это было необходимо теперь, когда шло дело о войсках чужих, выдержавших несколько лет неудачной войны. Поэтому русские офицеры были разосланы в австрийские полки с целью передачи им Суворовских требований. Кроме того, пользуясь свободным временем, Шателер предложил Суворову произвести рекогносцировку. Австрийцы были очень пристрастны к рекогносцировкам, демонстрациям, ложным атакам и прочему, что прямо противоречило Суворовской военной теории. Поэтому предложение Шателера было принято очень неблагосклонно. "Рекогносцировки"? возразил с досадою Суворов, может быть под недавним впечатлением разных венских ходов и подходов: "не хочу; они нужны только для робких и предостерегают противника; кто хочет найти неприятели, найдет и без них... Штыки, холодное оружие, атаки, удар - вот мои рекогносцировки". Шателеру вероятно впервые привелось услышать такое резкое осуждение излюбленных Австрийцами приемов, но он скоро должен был убедиться, что под прихотливою манерою выражаться, чудаковатый фельдмаршал скрывал замечательно верный военный взгляд.

Австрийцам очень не понравилось распоряжение Суворова об обучении их полков русскими офицерами, на которых они смотрели несколько свысока. Помимо уровня офицерского образования, который в русской армии был гораздо ниже, русские войска и во многом другом уступали австрийским. В них не было генерального штаба в надлежащем его значении, ни правильно организованных штабов для больших частей войск - прибыли войска без собственного интендантства, которое условлено было заменить австрийскими соответствующими учреждениями. Армия была обременена обозами, материальная часть артиллерии отличалась тяжеловесностью и другими недостатками, так что вновь введенные облегченные орудия не составили заметного

улучшения; артиллерия и кавалерия значительно уступали пехоте в боевых качествах. Русские войска, не исключая и пехоты, не могли похвастать и своим обучением; оно было тщательное, но одностороннее и не полное; налегали преимущественно на первоначальное строевое образование солдата и на маневрирование небольшими частями; обучение действиям большими единицами оставалось пренебреженным. Пристрастные писатели, изображающие дело по внушениям предвзятой мысли, идут дальше и утверждают, что русские войска отличались отсутствием всякого обучения, заменяя его дикою, фанатическою храбростью. Это преувеличение, не выдерживающее критики, вместе с тем косвенно высказывает истину, что победная репутация русских войск была велика в Европе, а если прибавить к ней знаменитое имя Суворова и принять в соображение, чему именно приказано было обучать Австрийцев, то окажется, что разве только щекотливость национального чувства могла внушить австрийским офицерам неудовольствие на распоряжение Суворова. Как бы то ни было, они должны были повиноваться [4].

Не довольствуясь рассылкою инструкторов, Суворов, как некоторые свидетельствуют, составил несколько небольших наставлений в виде приказов но войскам. Делалось это с целью развития в боевых упражнениях Австрийцев смелости и отваги и ослабления привычек педантизма и робости. Не вводилось никаких усложнений, не затрогивался устав в ширине его программы, а только учебные цели превращались в боевые средства, и сосредоточивалось обучение на тех из них, которые, по Суворовским понятиям, были существенны и вели кратчайшим путем к победе. Была уже раньше изложена система Суворовского обучения; эта система сокращалась до минимума и сводилась к небольшому числу эволюций. Однако, приводя Австрийцев к штыку и сабле, как к решителям победы, Суворов не ограничивается атакой и ударом, а дает короткие наставления и по другим предметам, даже такого общего смысла, как сознательное отношение каждого служащего к службе. Встречаются тут, в тактических приемах, и некоторые перемены против "Науки побеждать", вследствие изменившихся частностей в условиях боя. Но Суворовские взгляды и требования до того не подходили к общепринятому шаблону, что повергли Австрийцев в большое изумление, чему отчасти способствовала и внешняя сторона наставлений - отрывочный, лаконический, неправильный язык [5]. (См. Приложение IX) [13].

Подготовка австрийских войск продолжалась всего два дня, и повторение предполагалось в будущем, при дневках и других остановках; по крайней мере так было приказано. Впрочем нельзя

принять за несомненное, что все вышеизложенное было сделано Суворовым именно в Валеджио. Вернее допустить, что он, следуя своему нетерпеливому характеру, приступил тут к обучению Австрийцев или сделал лишь первоначальные к тому распоряжения; самое же дело могло быть здесь, по краткости времени, лишь затронуто или начато, к чему нам и придется вернуться вскоре.

Апреля 7 подошли все русские войска, составлявшие дивизию генерал-лейтенанта Повало-Швейковского; на следующий день армия двинулась тремя колоннами к р. Киезе, по 9 число простояла опять на месте. В голове всех колонн посланы были казаки; к австрийскому авангарду присоединен Багратион: русскому корпусу Розенберга придано несколько австрийских эскадронов, в том числе 4 от полка Карачая, старого знакомца и любимца Суворова. Апреля 10 армия направилась к реке Мелле.

Суворов ежеминутно ждал встречи с Французами; из заметок его видно, что эта первая встреча с новым, незнакомым доселе неприятелем сильно его занимала и даже несколько заботила. Он считал дни, соображая время присоединения к армии следующей русской дивизии; припоминал действия принца Савойского в этих местах в начале столетия. Но Французы отступали к Адде, истребляя или бросая из запасов все то, чего не могли поднять, и удерживая в своих руках лишь тыльные крепости. Первым таким пунктом на пути союзников была Брешиа, значительный город с цитаделью. Понимая цену впечатления, которое должна была произвести первая его боевая встреча с Французами, Суворов приказал штурмовать Брешию, если она не сдастся добровольно, и поручил это дело Краю. Австрийцы подойдя к городу, открыли по нем артиллерийский огонь и заняли командующие высоты с северной стороны; Багратион расположился с западной и преградил Французам пути отступления. Французский генерал Бузэ не мог с малыми силами оборонять обширного города, а потому отступил в цитадель. Жители города, раздраженные поборами и насилиями Французов, отворили союзникам городские ворота и опустили мосты, а сами бросились грабить дома французских сторонников и рубить деревья вольности. Австрийцы и Багратион одновременно вошли в город и стали готовиться к штурму цитадели, так как на предложение сдаться - Бузэ отвечал выстрелами. Однако Французы не выдержали. Видя деятельные приготовления и догадываясь, что они делаются не для одного только устрашения, Бузэ изменил свое первоначальное намерение и после нескольких часов канонады сдался, не дождавшись атаки, безусловно. Гарнизон вместе с госпиталем оказался в 1264 человека; орудий союзникам

досталось 46.

Дело было не крупное, но в смысле первого шага важное. В Вене были довольны, в Петербурге тоже. Находясь в Павловске при получении этого известия, Император Павел приказал отслужить в придворной церкви благодарственный молебен и потом провозгласить многолетие "победоносцу Суворову-Рымникскому". Такой же молебен отслужен и в Петербурге; кроме того Государь удостоил Суворова очень милостивым рескриптом. "Начало благо", писал он: "дай Бог, чтобы везде были успехи и победа. Вы же, умея с нею обходиться, верно и в службе нашей ее из рук ваших не выпустите, в чем поможет вам успеть особенная и давнишняя личная привязанность её к вам самим". Награждая, по представлению Суворова, отличившихся и во главе их князя Багратиона, Государь велел всем офицерам, бывшим в деле, объявить монаршее благоволение, а унтер-офицерам и рядовым выдать по рублю. "Дай Бог им здоровья", говорилось в конце рескрипта: "а бить неприятеля станем; этого дела они были и будут мастера". Государь выразил свое внимание к Суворову еще и другим путем. Когда, при возглашении фельдмаршалу многолетия после молебна, молодой граф Аркадий, растроганный и смущенный такою неожиданностью, бросился перед Императором на колени и поцеловал его руку, то Государь похвалил его сыновние чувства и велел ему ехать в Италию, к отцу, сказав: "учись у него, лучше примера тебе дать и в лучшие руки отдать не могу".

В донесении Суворова взятие Брешии приукрашено; город назван крепостью на том основании, что окружен каменною стеной с башнями; кроме того сказано, что цитадель производила 12 часов артиллерийский огонь и сдалась лишь "по упорном сопротивлении". Стилистические прикрасы впрочем не скрывают истинного хода дела, да и сам Суворов в донесении говорит, что в русских войсках убитых и раненых не было. Этот первый нанесенный Французам удар, так дешево стоивший, дал в руки союзников литейный завод, обеспечил сообщение армии с Тиролем и, главное, произвел нравственное влияние на весь край в ущерб французам и их приверженцам. Порядок был восстановлен в городе не без труда, однако Суворов, зная подвижной темперамент Итальянцев, приказал обезоружить жителей всей области, учредив в ней прежнее правление.

Союзная армия продолжала наступление к р. Мелле. Порядок походных движений был предписан Суворовым в общих чертах тот же, который практиковался у него в прежних войнах, с выступлением ночью и с частыми роздыхами; расчет приводился к тому, чтобы в 14 часов войска могли сделать до 30 верст.

Однако, на самом деле, это удавалось далеко не всегда: пересеченная местность, дождливая погода, частые переправы и недостаток распорядительности сильно замедляли движение. Предположенные 14-часовые переходы требовали часто гораздо больше времени и сопровождались беспорядками в роде столкновения колонн и проч., а иногда войска и в целые сутки не доходили до назначенного для ночлега пункта. В особенности оказался трудным один из переходов, когда войска не попали на переправу по маршрутам, переходили реку под проливным дождем, промокли до костей и сильно утомились. В некоторых австрийских полках послышались жалобы на форсированные марши, раздался ропот, даже между офицерами. Это дошло до Суворова. Он очень рассердился, тем более, что Мелас, командовавший колонною, был как бы за одно с недовольными, потому что чувствуя себя нездоровым, решился остановить войска, не выполнив маршрута, и дать им время обсушиться. Суворов написал ему грозное и вместе с тем саркастическое письмо, начав его словами: "до моего сведения дошли жалобы на то, что пехота промочила ноги". Далее говорится, что "за хорошею погодой гоняются женщины, петиметры и ленивцы"; что "большой говорун, который жалуется на службу, будет как эгоист отрешен от должности"; что "у кого здоровье плохо, тот пусть и остается назади". Письмо кончается словами: "ни в какой армии нельзя терпеть таких, которые умничают; глазомер, быстрота, натиск, - на сей раз довольно". Кроме того есть свидетельство, будто Суворов, желая внушить Австрийцам понятие о быстроте, как о требовании нормальном, повседневном, а не исключительном, - приказал избегать употребления слов "форсированный марш" и стал остерегаться перемешивания русских войск с австрийскими, допуская постоянное исключение только для казаков в голове австрийских колонн, ибо считал их для такого рода службы незаменимыми [6].

Армия продолжала наступление, но ни на Мелле, ни на Олио Французов не нашла; остался только небольшой ариергард одной из французских колонн у Палоцоло. Правая колонна союзной армии, в голове которой шел русский генерал Повало-Швейковский со своей дивизией, двигалась по этому направлению. Узнав, что переправа в руках Французов, Швейковский остановил колонну и сам поскакал к авангарду Багратиона; после перестрелки Французы отступили. Суворов сделал замечание Швейковскому, за остановку колонны вместо ускорения её движения, и приказал: "сие дневное правило внушить строго всем начальникам". Устройство переправы заняло не мало времени; первым перешел реку полковник Греков с

казаками, погнался за неприятельским ариергардом и вслед за ним ворвался в гор. Бергамо. Появление казаков было такое внезапное, что Французы не успели даже укрыться в цитадель; казаки завладели и городом и цитаделью, захватив в плен до 130 Французов, взяв знамя, 19 осадных орудий, много ружей и военных запасов. Апреля 14 армия подошла к Адде и расположилась в виду неприятельских постов противуположного берега; авангард Багратиона продолжал преследование Французов на Лекко. В это же время один из австрийских генералов занял Крему, другой подступил к крепости Пицигетоне. Края Суворов еще раньше отправил в Валеджио для командования войсками, оставленными в тылу, и для блокады крепостей, занятых Французами.

По прибытии на Адду, французская армия имела под ружьем не больше 28,000 человек; но Шерер решился тут держаться, чтобы успеть присоединить к себе прочие войска с оконечностей флангов и сохранить связь с корпусами, действовавшими в Альпах и в средней Италии. Он рассчитывал на выгодность своего оборонительного положения, так как река широка и глубока, бродов имеет очень мало и в верхней своей части, до Кассано, течет в возвышенных, крутых берегах, из коих правый, занятый Французами, командует левым. Но Шерер не сумел воспользоваться выгодами этой естественной оборонительной линии, растянув свои незначительные силы почти на 100 верст. Союзная армия, силою в 48 или 49,000, хотя также протянулась по Адде от Пицигетоне до Лекко, однако Суворов мог двинуть 35,000 против неприятельского центра, следовательно имел совершенно достаточные силы для прорыва. Диспозициею своею на 15 число он назначил австрийской дивизии Отта устроить переправу у Сан-Джервазио, против Треццо; вслед за ним должны были переправиться главные силы, а Меласу с дивизиями Кейма и Фрелиха приказано было оставаться у Тревилио, в виде резерва, впредь до особого приказания.

Предположение это было отменено вследствие донесения Багратиона о сильном занятии Французами своего крайнего левого фланга при Лекко. Суворов задался мыслью, что там находится целая дивизия Серюрье, тогда как она была растянута от Лекко до Треццо и занимала Лекко небольшим лишь отрядом. Движение части войск, ближайших к Лекко, было поэтому остановлено, для подкрепления в случае нужды Багратиона, и переправа армии отложена. До полудня 15 числа Багратион атаковал город, обнесенный каменною стеной и защищаемый 4 батальонами и 1 эскадроном; кроме того с противоположного берега действовала французская батарея. Одну колонну он повел

прямо на город, другую послал в обход, третью оставил в резерве; небольшую часть расположил против моста, защищенного укреплением. Первая атака не удалась; Багратион ввел в дело резерв, и Французы были выгнаны, но заметив с высот малочисленность русского отряда, перешли снова в наступление, вытеснили в свою очередь Русских и стали грозить им отрезанием пути отступления. Багратион прикрылся густою цепью застрельщиков и спешенных казаков и послал за подкреплением. Как раз вовремя приехал на обывательских подводах Милорадович с одним батальоном, а затем подоспели еще два с Повало-Швейковским. Город был занят вторично, французская кавалерия, врезавшаяся в русскую колонну, переколота штыками до последнего человека. Неприятель, упорствуя в своих усилиях, послал с той стороны реки отряд на лодках, для высадки в тылу Русских, но русская полевая артиллерия, там остановленная дурными дорогами, отбила вместе со своим прикрытием и эту попытку.

В один из моментов боя, вероятно в начале, до прибытия подкрепления, Русские пытались атаковать и мост, но были отбиты. Этого обстоятельства нет в официальном донесении, но про него упоминают иностранные писатели, притом некоторые с пафосом, как о первой встрече Французов с "варварами", и означенною неудачною атакой Русских ограничивают все дело при Лекко. С русской же стороны идет известие, что французский батальон просил пардона, а когда подошли Русские, то встретил их огнем [7]. Во всяком случае попытка эта вероятно была сделана, так как занятие моста должно было входить в цели боя; если же она не повторилась, то надо думать потому, что бой затянулся до вечера. А ночью австрийский генерал Вукасович, принадлежавший вместе со Швейковским и Багратионом к правой колонне союзников, приблизясь верст на 12-13 к Лекко, начал там (у Бривио) устраивать переправу. Тогда Русским нечего было уже делать в Лекко, и они отошли несколько верст назад. Французская потеря убитыми и ранеными неизвестна; пленными она простиралась до ста человек; у Русских убитых и раненых в этом упорном деле насчитано 365 человек.

Нельзя не упомянуть про прекрасный поступок Милорадовича в бое при Лекко. Будучи старше Багратиона в чине и прибыв к нему на помощь с батальоном, он предоставил Багратиону кончить дело, обещавшее успешный исход, сказав при этом, что здесь не место считаться старшинством. Суворов лично благодарил Милорадовича за его поступок, упомянул о нем в донесении Государю и объявил в приказе по армии.

Таким образом, выжидая результатов столкновения,

происшедшего на крайнем правом фланге, Суворов оставался все 15 число в бездействии. Обстоятельство это никакого существенного ущерба последующим операциям не нанесло, вследствие невозможности сосредоточения в короткое время растянутых французских войск. Попытка к такому сосредоточению была сделана, но поздно. В этот самый день, 15 апреля (**Числа обозначены в настоящем сочинении везде по старому стилю**), получено было из Парижа увольнение Шерера от звания главнокомандующего, а вместо него назначен состоявший на лицо при армии генерал Моро. Во всю эпоху революционных войн, Франция, выставившая столько военных дарований, имела все-таки мало таких способных генералов как Моро, который не мог идти в сравнении только с одним Бонапартом. Он пользовался общим уважением, особенно в армии, был человек умный и образованный и хотя не отличался особенной предприимчивостью и отвагой в военных предприятиях, но зато обладал устойчивостью характера, хладнокровием, самообладанием при всяких обстоятельствах, был неизменно-ровен и никогда не увлекался впечатлением минуты. Назначение Моро на место всеми нелюбимого Шерера было принято французскою армией с живою радостью и много прибавило ей нравственной мощи. Сам Суворов отзывался постоянно с уважением о Моро и, узнав о замене им Шерера, изъявил удовольствие, что вместо "шарлатана" будет иметь своим противником истинного военного человека, а добытые в бою с ним лавры окажутся и более прочными, и более блестящими.

Но декрет Французского правительства о назначении нового главнокомандующего пришел слишком поздно. Моро не мог уже вовремя исправить ошибок своего предместника: перед лицом его находился энергический противник, знавший цену времени. Однако Моро не сложил рук в бездействии, немедленно сделал распоряжение о передвижении войск и, получив донесение о приготовлениях Вукасовича к переправе при Бривио, послал генералу Серюрье приказание - оставить у Треццо один батальон, а с прочими войсками дивизии идти к Бривио.

Опоздай Суворов еще одним днем, он встретил бы за Аддой совсем не то, что оказалось утром 16 числа. Ошибка эта была возможна, так как бой при Лекко затянулся до позднего вечера, и расстояние оттуда до главной квартиры было значительное. Но Суворов ее не сделал, ночью приказал всем казачьим полкам немедленно идти от князя Багратиона к Сан-Джервазио и велел сейчас устраивать в этом пункте переправу. Секендорфу, завладевшему уже Кремой, назначено переправляться на завтра в Лоди, а Меласу атаковать предмостное укрепление у Кассано. За

Меласом должны были идти русские войска с самим Суворовым [8].

Место для переправы выбрано было выше Треццо, против Сан-Джервазио, самое неудобное. Одно из близких к Суворову лиц и некоторые его историографы говорят, что сделано это нарочно, дабы отвлечь от избранного пункта внимание Французов. Это очень похоже на правду [9]. Изгиб реки, чрезвычайно быстрое здесь течение, утесистые берега, - все это по общепринятым понятиям делало наводку моста в указанном месте невозможною, особенно ночью, и действительно, понтонерный офицер прислал в этом смысле донесение, не в состоянии будучи спустить понтоны с высокого утесистого берега на воду. Но туда поехал Шателер и принял решительные меры: начатая в полночь работа была к 5 часам утра окончена. Тотчас же стали переправляться передовые войска и, когда перешло несколько рот егерей и несколько сотен казаков, - французский батальон, стоявший в Треццо, спохватился, но уже не мог исправить своей оплошности. Мало того, казаки обскакали его с тыла и он едва успел отступить. Моро, убедившийся теперь, что именно в этих местах союзники положили вести свою главную атаку, поскакал к дивизии Гренье, которая со стороны Кассано стала подходить к Поццо и Ваприо, ниже Треццо, но едва не попал сам в руки казаков. Он приказал генералам Гренье и Виктору ускорить движение на позицию между Поццо и Ваприо, а Серюрье послал приказание - остановиться там, где посланный его застанет.

Гренье с частью своей дивизии остановил быстрое движение генерала Отта, который имел под рукою еще очень мало войск; затем Французы, усилившись подошедшими батальонами, перешли в наступление. Шателер приспел с головными частями двигавшихся к полю сражения войск, причем австрийской кавалерии отдано было Суворовым приказание - не ждать сбора каждого полка, а атаковать неприятеля отдельными эскадронами, по мере их прибытия, что показалось Австрийцам очень странным [10]. Но и это подкрепление не остановило Французов, пока донской атаман Денисов, собрав свои полки, не ударил вместе с венгерскими гусарами на левый фланг неприятеля; лишь тогда пехота была опрокинута и прогнана к Поццо. Тем временем подоспело еще несколько австрийских частей, бой усилился, Поццо и Ваприо были взяты. Моро потерял надежду удержаться на позиции до прибытия Виктора и велел отходить на новую позицию между Кассано и Инцаго, тем паче, что в тылу Французов, со стороны Кассано, раздавалась сильная канонада. Там, согласно диспозиции, Мелас с утра повел атаку; Французы держались однако крепко, в продолжение 5 часов, в предмостных

укреплениях и за каналом, составлявшим фронт их позиции. Суворов приказал Меласу выбить их во что бы то ни стало. Мелас выставил большую батарею, навел через канал мост, взял штурмом тет-де-пон на Адде, и Австрийцы ворвались в Кассано вслед за бежавшими Французами, которые не успели даже поджечь мост и свести с укреплений орудия. Из Кассано Австрийцы продолжали движение в поле и таким образом очутились в тылу Французов, ретировавшихся от Ваприо. Прямой путь отступления на Милан был республиканской армии отрезан, и она перешла на другие, более кружные дороги.

Потери обеих сторон в этом 12-часовом бою были большие, но, как и следовало ожидать, очень не равномерные. Союзники лишились свыше 1000 человек убитыми и ранеными; французы гораздо больше, сколько же именно - определить трудно по разноречивости известий; во всяком случае не меньше 3000 человек, считая тут же около 2000 пленных; кроме того в руках союзников осталось 19 французских орудий и знамя. Потеря эта без сомнения сильно бы возросла, если бы Французы были безотложно и деятельно преследуемы; но обе колонны австрийской армии остановились на поле выигранного сражения в полном изнурении, и за Французами пошли одни казаки.

В сражении при Ваприо - Кассано действовали одни австрийские войска, из русских принимали в нем участие только казаки. Делом при Ваприо - Поццо управлял маркиз Шателер [10]; сам Суворов оставался на левой стороне Адды, как предполагалось вначале, по диспозиции. Принимая в соображение это обстоятельство, а также и то, что наибольшая настойчивость и энергия замечаются в действиях войск Меласа, следует полагать, что Суворов находился именно в этом пункте.

Кроме удачной переправы двух колонн австрийской армии у Кассано и Треццо, благополучно совершена и переправа Вукасовича у Бривио. Войска Серюрье разрезаны были таким образом надвое; северная часть едва успела отступить в Комо и чрез Лугано к Лагомаджиоре; другая, в числе 3000 человек с самим Серюрье, осталась ниже Бривио у Вердерио, исполняя приказание Моро - остановиться там, где оно застанет. Другого распоряжения затем Моро прислать уже не мог, так как атака союзников у Поццо и Ваприо отрезала его от Серюрье. Находясь в совершенной неизвестности о происходящем, слыша гул выстрелов и справа и слева, Серюрье не знал на что решиться и так простоял в своей позиции весь день. Между тем он находился в каких-нибудь 7-8 верстах от Ваприо, и появление его в тылу сражавшихся союзников могло бы причинить им большие затруднения; наконец, при недостатке решимости на такой шаг,

он все-таки мог спасти свой отряд, отретировавшись на Монцу. Но он предпочел оставаться на своей позиции, усилив ее несколькими укреплениями, и таким образом сам напросился на катастрофу [11].

После победы 16 числа, все союзные войска направлены были к Милану, Вукасовичу приказано идти туда же от Бривио чрез Монцу, а за ним и Розенбергу. Вукасович выступил 17 числа рано утром и передовыми войсками своими неожиданно наткнулся на отряд Серюрье. Французам предложено было положить оружие, но получен отказ. Тогда Вукасович, имея под своим начальством до 7000 человек, атаковал позицию Французов с правого фланга и тыла. Серюрье упорно дрался и даже сам пытался атаковать Австрийцев во фланг, но заметив двигавшиеся вдали войска Розенберга, убедился в безнадежности своего положения и капитулировал. Кроме 250 генералов и офицеров, отпущенных затем во Францию с обязательством не служить против союзников до конца кампании, оказалось у Серюрье до 2700 нижних чинов и 8 орудий.

Этим завершился переход союзников чрез Адду. "Тако и другие реки в свете все переходимы", писал Суворов Разумовскому в Вену и называл Адду Рубиконом на дороге в Париж. Вообще он был доволен делами на Адде, хвалил Императору Павлу Меласа за штурм Кассано, выставлял особенно храбрость Донских казаков и атамана их Денисова, Разумовскому писал, что "Мелас действует похвально", одобрительно отзывался об Австрийцах, которые "бились хватски холодным оружием", хвалил венгерских гусар [12]. Известие о победах на Адде было принято и в Петербурге, и в Вене с восторгом. Император Франц благодарил Суворова рескриптом; император Павел двумя. Все лица, представленные Суворовым, получили награды; нижним чинам приказано выдать по рублю; Суворову пожалован бриллиантовый перстень с портретом Государя. "Дай Бог вам здоровья", писал Павел I: "о многолетии вашем опять вчера молились в церкви, причем были и все иностранные министры. Сына вашего взял я к себе в генерал-адъютанты со старшинством и с оставлением при вас; мне показалось, что сыну вашему и ученику неприлично быть в придворной службе". Поздравительных писем от своих знакомых и от разных лиц Суворов получил кучу.

Французы быстро отступали на Павию и чрез Милан на Буфалору; но их опережали вести о происшедшем разгроме. В столице Цисальпийской республики, Милане, произошло страшное смятение; члены Цисальпийской директории, Французы, их приверженцы и вообще горячие республиканцы,

бросились бежать в Турин, под покровительством отступавших французских войск. Хотя для путевых сборов беглецы имели лишь несколько часов времени, следовательно не могли забрать с собою слишком много тяжестей, однако транспорт все-таки образовался такой большой, что сильно затруднил движение французской колонны, следовавшей на Турин [11]. Как только Французы вышли из Милана, оставив в цитадели 2400 гарнизона, а в городе больше 400 больных и раненых, - появились казаки, в числе нескольких сотен. Найдя городские ворота запертыми, они стали их отбивать и потом ворвались в улицы. Здесь встретили они французских офицеров и солдат, которые вышли из цитадели или не успели еще туда войти; произошло несколько мелких схваток и забрано больше 30 пленных. Затем, очистив город от Французов, казаки окружили цитадель и таким образом провели ночь. Появление казаков произвело народное восстание; противники Французов бросились истреблять всякие наружные знаки и эмблемы республиканского правления и преследовать тех из выдающихся республиканских деятелей, которые не выехали из города. Казакам же пришлось оберегать и защищать преследуемых [13].

Через несколько часов после казаков, вошел в город Мелас с передовыми австрийскими войсками и был принят восторженно. Суворов тоже приближался к Милану, но остановился в нескольких верстах, отлагая свое вступление в город до утра, так как было уже поздно. Рано утром 18 числа, в Светлое Христово Воскресенье, громадные толпы повалили за город, с духовенством во главе, которому предшествовали кресты и хоругви. Австрийские войска уже двигались к городу; встреча произошла на дороге. Суворов слез с коня, подошел к архиепископу, принял благословение, приложился к распятию, поцеловал руку архипастыря и сказал несколько слов, приличных случаю. Продолжая путь в сопровождении войск и возвращавшегося вместе с ними народа, Суворов был встречен у городских ворот Меласом, причем произошел комический случай: видя, что фельдмаршал хочет его обнять, Мелас потянулся к нему с лошади, но потерял равновесие и свалился наземь. Вступление в город было еще торжественнее загородной встречи [10]. День стоял ясный, теплый и притом праздничный; улицы, окна, балконы, даже крыши были полны зрителей; гудел гул от приветственных кликов и громогласных изъявлений восторга. В этих заявлениях радости было много искренности: дворянство, духовенство видели в Суворове восстановление прежних своих прав и привилегий; сословие торговое и промышленное чаяло освобождения от насильственных займов и непомерных налогов;

прочие либо приветствовали восстановление порядка, отвечавшего их понятиям II интересам, либо следуя прирожденной впечатлительности, увлекались обстановкой и примером, заразительным для подвижного темперамента. Суворову оказан был в Милане совершенно такой же блестящий, шумный прием, как три года назад Бонапарту, и конечно значительная доля восторженно встречавших и приветствовавших, состояла в обоих случаях из одних и тех же людей [11]. Тогда возбудительно действовали увлечение утопией, фанатизм свободы, равенства и братства; теперь - религиозный фанатизм и разочарование, как последствие не сбывшихся чрезмерных надежд и ожиданий.

В ряду причин действовало впрочем и любопытство. Суворов и Русские представляли собою явление не обычное, не такое, как соседи Италии - Французы и их генерал Бонапарт, имевший, так сказать, только вчерашнюю известность. О Суворове же давно говорили и писали; его военные подвиги отличались блеском и эффектностью, его странности придавали ему особенность, которой никто другой не имел, а потому могучее южное воображение рисовало его образ в фантастических очертаниях. Почти в такой же степени возбуждали в Итальянцах любопытство русские войска, прибывшие на другой день, но в настоящий момент представляемые казаками. Северные люди, жившие в снегах и льдах, исполины с диким видом, варвары с непонятными обычаями и особенностями, - такими изображала Русских народная фантазия не в одной Италии. Всех озадачивали благочестие и набожность Русских, крестившихся у каждой церкви; казались совершенно непонятными троекратные поцелуи, которыми они обменивались между собою при встречах и даже наделяли ими Итальянцев, принимавших это приветствие с тупым изумлением. Всякая мелкая особенность этих новых людей привлекала на себя внимание и объяснялась на разные лады.

Фокусом общего внимания был разумеется Суворов, а между тем он, как многие повествуют, подшутил над Миланцами довольно бесцеремонно. Он ехал позади встречавшего его духовенства, верхом, в сопровождении Шателера и двух адъютантов, а предшествовали духовенству остальные высшие чины армии, во главе которых находилось двое - генерал Ферстер и статский советник Фукс в шитом мундире дипломатического чиновника. Фукс, изображая из себя Суворова, любезно раскланивался на обе стороны, за что потом Суворов его и благодарил. Едва ли однако все происходило так, как сказано. Суворову естественно надо было ехать или впереди, или назади всех, что он и сделал, выбрав последнее и взяв в свою свиту

немного лиц вовсе не для того, чтобы стушеваться в процессии, а скорее напротив. Понятно также, что народ встретил криками Фукса и Ферстера, как первых, не зная кто они, и так как Фукс счел долгом отвечать на приветствия, то многие и могли быть введены в заблуждение, приняв его за Суворова. Раскланивался впрочем не один Фукс, а также и Ферстер, чего он не делал бы, если бы заранее было условлено - предоставить Фуксу роль Суворова. Вышеприведенное объяснение этого случая просто выдумано, как и многое другое. А что Суворов благодарил потом Фукса словами: "спасибо, хорошо раскланивался, помилуй Бог как хорошо", то во-первых едва ли Суворов мог и видеть Фукса с его поклонами, будучи отделен от него значительною частью процессии, а во-вторых в благодарности его слышна шутливая ирония. Так надо полагать между прочим потому, что в одном частном письме, несколько месяцев спустя, мы находим довольно явственный намек на то, что Суворов был не совсем доволен происшедшей при въезде его в Милан мистификацией [14].

Квартира Суворову была отведена в доме, где перед тем останавливался Моро. Хозяйка дома пригласила к себе в тот вечер большое и избранное общество; явился на приглашение и Суворов. Он был учтив, любезен, остроумен; ответы и возражения его отличались меткостью и сарказмом, но не стало дело и за причудливыми выходками. В тот же вечер ожидали Суворова и в театре, где была подготовлена блистательная ему встреча, но он не поехал. С наступлением темноты весь город был иллюминован.

На следующий день назначено было торжественное молебствие; войска выстроились по городским улицам шпалерами. Между двумя их рядами, в парадной позолоченной карете, поехал Суворов в собор; как и накануне, он был в австрийском фельдмаршальском мундире, при всех знаках отличия. При входе в церковь, архиепископ встретил его в полном облачении, с крестом в руке, и призвал Божие благословение на предстоящем ему поприще. Суворов отвечал немногими словами, по-итальянски, прося молитв. Пройдя в собор, он преклонил колена и отказался занять приготовленное ему почетное место на возвышении, обитое красным бархатом с золотом. Огромный собор был совершенно полон молящимися и любопытными; богослужение шло с внушительной торжественностью. Когда Суворов вышел из собора, многие из народа стали бросать ему под ноги венки и ветви, становились на колена, ловили его руки или полу платья. Растроганный Суворов прослезился, благословлял каждого, благодарил, советовал молиться Богу, испрашивая у Него спасения. "Как бы не затуманил меня весь этот

фимиам", говорил он потом: "теперь ведь пора рабочая" [15].

В этот день у него назначен был парадный обед; когда стали съезжаться гости - почетные жители и австрийские генералы - Суворов со всеми христосовался. Тогда же ему представлены были три пленные французские генерала, в том числе Серюрье; Суворов принял их весьма ласково, пригласил к столу и также похристосовался, заставляя их по-русски отвечать: "во истину воскрес". За столом, когда он изъявлял сожаление, что русских войск не было при торжественном вступлении в Милан, вошел Розенберг и доложил, что его корпус прибыл и расположился лагерем близ города. С французскими генералами Суворов беседовал преимущественно о кампаниях последних лет и очаровал их любезностью, особенно Серюрье. Последний заметил к слову, что нападение Русских на войска его дивизии (вероятно при Лекко) было слишком смелое; Суворов с тонкой иронией отвечал: "что делать; мы, Русские, без правил и без тактики: я еще из лучших". Рассказывают также, что прощаясь с Серюрье, он сказал, что надеется увидеться с ним в Париже. Это не было хвастовством или фанфаронством; Суворов действительно надеялся (о чем и писал Разумовскому) в будущем году дойти победоносно до столицы Франции. Мог ли ему в то время придти в голову, после такого начала кампании, постигший ее исход [16]?

Миланский прием не затуманил голову Суворова, который даже не считал его вполне искренним; по крайней мере, принимая представителей города, он поблагодарил их за прием и пожелал, чтобы их чувства отвечали внешним заявлениям [2]. Да и дело не было далеко еще окончено: в цитадели сидели Французы, и австрийско-русские войска заняли под городом три главные дороги, а один отряд бивакировал на городской площади. Суворов объявил Цисальпийскую республику не существующей и учредил временное правление, впредь до получения распоряжений из Вены, так как до Кампоформийского мира Австрия владела большею частью Ломбардии. Все остальное он предоставил барону Меласу, как лицу, снабженному от австрийского правительства известною долею доверия и полномочий. Мелас тотчас же завел в Милане австрийские полицейские порядки, обезоружил и распустил народную гвардию, запретил ношение цисальпийского военного мундира, ввел в обращение билеты венского банка и проч. Была еще издана в Милане, за подписью Суворова, напыщенная прокламация к войскам Французской республики; но она принадлежала не ему, а исходила из Вены и имела характер стереотипный, так как появлялась еще раньше, на других театрах войны. Воззвание это, как и следовало ожидать, прошло вполне бесследно.

В две недели, со времени открытия военных действий, было сделано много: не только в Ломбардии, Романьи и Легатствах отозвались победы на Адде и занятие Милана, но они не остались без влияния и на отдаленные части Италии. Везде сторонники Французов были обескуражены, а противники их подняли голову и стали смелее; местами подымались грозные народные восстания; местами происходили первоначальные вспышки и делались попытки, хотя слабые, но показывавшие поворот народного темперамента. Однако все это могло заглохнуть, без поддержки и без возбудительных средств в виде новых успехов союзных армий. Суворов так и понимал положение дела, а потому старался сократить свое пребывание в Милане до наименьшего срока. Его занимали не торжества; надо было время на необходимые гражданские и военные распоряжения. В числе последних главные состояли в следующем.

Будучи официально доволен первыми своими успехами, он в глубине души был не совсем ими удовлетворен. В этом смысле он обмолвился в письме к графу Разумовскому, сказав, что войскам не хватало обучения; "выучить мне своих неколи было; причины - что я выше описал". Слова "о причинах" остаются не разъясненными [12], Недостаток обучения, в его Суворовском смысле, быть может обнаружился и в последующем движении войск к Милану. Существует положительное свидетельство, что Суворов поручил в Милане маркизу Шателеру написать тактические правила, общие для русских и австрийских войск, с целью приведения к однообразию походных и боевых движений, лагерного расположения, действий в бою, и затем объявил свои наставления в приказах по армии. Они ни в каких архивах не сохранились, т.е. не найдены; в источнике же, откуда почерпнуто сведение об их издании, говорится, будто это была уже известная нам "Наука побеждать" [6].

Все это крайне темно и смутно. Верно одно - Суворову не зачем было трогать воинского устава австрийского, как он прежде не трогал и русского, обучая войска на свой лад; сущность его требований заключалась в способе применения уставных правил, а не в их механизме. Поэтому самому ему не было никакой надобности и согласовать уставы русский и австрийский, тем более, что он еще на Адде решил - избегать перемешивания тех и других войск. Он не мог поручить составление тактических наставлений Шателеру, ученому немецкому генералу, не знавшему ни русского языка, ни Суворовского военного катехизиса. Объявлять Австрийцам всю "Науку побеждать" не было резона; без переделок они бы ее не поняли; да и за чем потребовалось бы тогда снабжать их впоследствии, в конце

кампании, дополнительной инструкцией (Прилож. IX, пункт Б), когда она заимствована из той же "Науки побеждать", по крайней мере по духу? Все это невольно наводит на заключение, что военно-педагогические приказы Суворова, помещенные в приложении IX настоящей книги, были фактом, который одними отнесен ко времени пребывания его в Валеджио, а другими к позднейшему нахождению в Милане. Таким же образом перепутаны некоторыми писателями и подробности встречи Суворова в Вероне и Милане. Высказанное предположение поддерживается еще тем, что командирование русских офицеров в австрийские полки для обучения, тоже относится одними к Валеджио, другими к Милану. Итак, издание тактических наставлений и рассылка инструкторов имели место или в Валеджио, или в Милане, или начаты в первом и продолжены во втором, а по войскам объявлено именно то, что помещено в Приложении IX, п. А, хотя быть может приказ этот дошел до нас и не в полном объеме.

Другое дело, порешенное Суворовым в Милане, было составление дальнейшего плана действий против Французов, к чему обязывала его инструкция, полученная от императора Франца в Вене. Суворов сделал уже больше того, что говорилось в этой инструкции, но в тылу его оставалось в руках французов несколько крепостей; ожидать их взятия, значило терять время на второстепенные цели, упуская главную - французскую армию. Армия эта должна была находиться в худом состоянии, но оставленная в покое, могла оправиться и усилиться резервами из Франции. Кроме того приходили известия о движении к северу французских войск из средней и южной Италии, под начальством Макдональда; было бы большой ошибкой со стороны союзного полководца - допустить соединение Макдональда с Моро. Суворов принял все это в расчет и на пути от Адды к Милану обдумал план дальнейших операций. В Милане, при первом досуге, он призвал Шателера, передал ему свои соображения в подробности и приказал изложить все это на бумаге, в форме плана дальнейших действий. Шателер был очень удивлен и не мог удержаться от вопроса - когда успел он, Суворов, все это обдумать? Приказание главнокомандующего было исполнено безотлагательно, и 20 апреля Суворов отправил составленный план на утверждение в Вену, а копии с него командующим рейнскою и тирольскою армиями.

Сущность плана состояла в следующем. Не ожидая взятия крепостей в тылу, меньшую часть армии оставить для их осады, а с остальною продолжать наступление, препятствуя соединению Макдональда с Моро. С этою целью перейти реки Тичино и По,

двинуться на Макдональда, разбить его и потом обратиться к Турину, к армии Моро. Связь между осадною и действующею армиями союзников поддерживать двумя отрядами; по взятии Мантуи и Пескьеры, большую часть осадной армии двинуть вперед и обложить Тортону, а другому отряду овладеть Генуей при содействии английского флота; северную Италию прикрывать со стороны Швейцарии двумя отрядами тирольской армии, которые содействуют в тоже время этой армии в вытеснении Французов с верховий Рейна и Инна. Командующий тирольскою армией, Бельгард, двигается в Граубинден, а эрц-герцог Карл с рейнскою армией направляется между Базелем и Констанцем в тыл Массены. После этого итальянская и тирольская армии наступают двумя колоннами: одною к Тунскому озеру и Берну, другою в верховья Роны и по северному берегу Женевского озера.

Таковы вкратце были соображения Суворова; полный план излагается в Приложении X, на языке подлинника [14]. План этот вполне отвечал цели войны, тогдашним обстоятельствам и относительному расположению сил обеих сторон. Правда, он был смел и обширен, и многие его частности вероятно потребовали бы при исполнении перемены, но при огромном перевесе союзных сил, нельзя было считать программу Суворова рискованною. Не так взглянул на дело гофкригсрат.

Тем временем в Вене заготовлялось напоминание Суворову о прежде данной ему инструкции, т.е. подтверждалось "ограничивать главные действия левым берегом По", обращая особенное внимание на покорение тыльных крепостей, дабы потом уже приступить к дальнейшим предприятиям, в зависимости от времени и обстоятельств. При этом дважды указывалось на необходимость завладения Мантуей. Не успели отправить этот рескрипт, как получили план Суворова и тотчас же написали ответ в дополнение к рескрипту. В ответе говорилось, что правило - ограничиваться левым берегом По - не изменяется, но ему не противоречит завладение какою-нибудь крепостью правого берега не в дальнем от реки расстоянии; рекомендовалось особенному Суворова вниманию, чтобы у Края было довольно войск для покорения Мантуи и чтобы прочие силы армии не были слишком рассеяны. Согласование в подробностях движения войск трех армий признано невозможным; если изгнание Французов из Граубиндена совершится благополучно, то большая часть тирольского корпуса будет присоединена к итальянской армии; движение к Лозанне или по тамошней дороге во Францию не допускать и в предположении; пока не прибудет русский корпус Нумсена, дотоле рейнская армия не может действовать с какою либо в рассуждении Швейцарии важною

целью, так как это подвергло бы опасности Австрийскую империю.

Таким образом предположения Суворова были отвергнуты, ибо писал он их под одним углом зрения, а в Вене их читали под другим. Это доказывается самим изложением причин; из них только с одною и можно согласиться - о невозможности согласования подробностей; но подобная частность не может браковать всего плана. Суворов не дождался в Милане этого неприятного документа и получил его по ту сторону По. Те 4 дня, которые он провел в Милане, казались ему вечностью, чуть не преступным бездействием, хотя, как мы видели, без дела он не сидел. Но впереди ожидало другое дело, требовавшее крайнего спеха; Суворов принял на свою личную ответственность продолжение военных действий, не ожидая инструкции, и 20 апреля двинул войска к р. По.

Есть однако строгие судьи, упрекающие его в потере времени на миланские празднества и на другие дела второстепенной важности, вместо неотступного преследования и полного истребления слабой французской армии. По их словам, он мог совершенно отрезать одну от другой две французские колонны и, поспешив переправиться чрез По, захватить путь отступления на Геную. Все это прекрасно можно рассчитать по карте после свершившихся событий, но очень трудно, а иногда и совсем невозможно предвидеть в самый момент полезного исполнения. Суворов не имел никаких известий об отступавших Французах (обстоятельство, почти постоянно повторявшееся и после); о возможности разрезать французскую армию узнал впоследствии и сам писал из Турина Разумовскому, что если бы мог преследовать Французов по пятам, то "почти бы никто из них не спасся". Не имел он также никакой возможности устроить на По переправу раньше, чем это сделал, по недостатку наличных понтонов и отдаленности понтонного парка, взятого у Французов. Из письма его к Разумовскому, написанного из Милана, видно также, что уже ощущались препятствия к быстрому движению войск вследствие нераспорядительности австрийского интендантства: "быстрота столь велика, что задние российские войска еще к нам не поспели, но еще и тут мешает провиянт по томным здешним обычаям". Замечаний, подобных приведенным, можно при рассмотрении всякого случая наделать десятки, но они к области действительной критики не принадлежат. По выражению знаменитого военного писателя, они, по отношению к разбираемому здесь факту, сделаны "на досуге" [17].

Глава XXIX. Итальянская кампания: Басиньяна, Маренго; 1799.

Распределение союзных сил; осада крепостей; приготовления к переправе через По; прибытие к армии великого князя. — Перемены в маршрутах войск; занятие Тортоны; Розенберг у Борго-Франко; неисполнение им полученных приказаний; вмешательство великого князя в его распоряжения; неудачное дело при Басиньяне; приказ по армии. — Новое изменение плана по ложным слухам; встреча с Французами при Маренго; неполный успех. — Движение к Турину; обстановка Суворова на походе; занятие Турина; шумный прием; переговоры с комендантом цитадели. — Сдача Александрии, Феррары и миланской цитадели; торжество в Турине. — Неприятности из Вены; негодование Суворова; переписка его с Разумовским. — Приписываемые Суворову ошибки и грабежи войск; объяснение.

Оставляя Милан, Суворов рассчитывал встретить нового противника - генерала Макдональда, который шел из южной Италии и, по слухам, был уже довольно близко. Главная союзная армия двигалась к Пиаченце и Парпанезе для переправы чрез По; Вукасович был выдвинут к Буфалоре, принц Роган и полковник Штраух прикрывали тыл действующей армии и сообщения её с тирольским корпусом, находясь у озера Комо и в Вальтелине. Во всей армии под начальством Суворова считалось почти 100,000 человек, но больше половины находилось позади, для блокады и

осады крепостей, занятых Французами, и для содержания гарнизонов в остальных. Суворов не имел для своего утешения даже надежды - получить вскоре сколько-нибудь значительную часть этих сил, удерживаемых для второстепенных целей в ущерб главной задаче: осадные средства были ограниченные, и приходилось осаждать крепости поочередно, одну после другой. Но делать было нечего, и ход военных действий поневоле приходилось ставить в зависимость от соображений австрийской политики.

Войска выступили из Милана 20 апреля; в это время присоединилась к ним русская дивизия Ферстера, который сам приехал несколько раньше. На следующий день колонна Розенберга расположилась на По, против Парпанезе, а Меласа — у Казаль-Пустерленго. Авангарды обеих колонн начали в тот же день переправляться на лодках без всякой помехи со стороны неприятеля, так как его тут уже не было; но помеха явилась в виде недостатка перевозочных средств. Взятый у Французов понтонный парк пришлось бы долго буксировать к месту, против течения, своих же понтонов было так мало, что требовалось в добавок к ним набирать разные суда из окрестностей. Таким образом пошло почти 4 дня на устройство моста в Пиаченце, а в Парпанезе пришлось и совсем от него отказаться.

Тем временем разнеслись слухи, что Макдональд еще далеко и что Французы оставили даже Тортону, — крепость по правой стороне По, имевшую весьма важное значение в общем плане действий. Суворов тотчас же изменил свои распоряжения. Части Австрийцев, переправившихся на судах у Пиаченцы, приказано идти к Парме и Модене, для наблюдения пути приближения Макдональда; русским войскам двинуться к Павии; Вукасовичу наступать за Тичино. Не имея терпения ожидать устройства мостов, над коими работали ниже устья Тичино, Суворов велел устраивать еще один, но выше, в Мецано-Корти. Вообще 3-4 дня по прибытии на По, видна какая-то путаница в распоряжениях главной квартиры, чему между прочим способствовало частое отсутствие самого главнокомандующего и иногда на довольно большое расстояние. В этом отношении Суворов не был человеком строгого порядка, что и сказывалось при обстоятельствах сложных, каковы были тогдашние. Съездил он, между прочим, и на поле знаменитого сражения под Павией, где Французский король Франциск I потерпел поражение и попал в плен в 1525 году; был и в монастыре, где временно содержался король. Любознательность его высказывалась здесь, в Италии, не в первый и не в последний раз подобным образом, так как действовал он в стране великих и частых военных столкновений [1].

Мост у Мецано-Корти устраивался, но Суворова томило нетерпение. Он велел Багратиону переправиться еще выше, где ходил паром, и идти на разведки о неприятеле. Багратион переправился, пошел к Тортоне, наткнулся на небольшой неприятельский отряд и, исполняя приказание - не завязывать дела, отошел к Вогере. По направлению к этому же пункту тронулись австрийские войска по изготовленному к тому времени мосту у Пиаченцы, а Розенберг продвинулся дальше Павии, к Дорно. Таким образом союзная армия расположилась по обе стороны По; связью служили мост у Мецано-Корти и паром у Червезино. Из всего этого можно заключить, что Суворов хотел занять центральную позицию между Моро и Макдональдом, дабы обратиться туда, куда обстоятельства потребуют. Тем не менее он находился в полном недоумении на счет неприятеля и путался в своих предположениях. Таким же образом колебался и Моро, по крайней мере первое время, ибо положение его было в самом деле трудное. Часть своих войск он направил к Валенце и Александрии, с другою сам двинулся к Турину. Здесь он разрешил выдать жителям оружие из арсенала, для обороны против союзных войск, а они обратили его против самих Французов. Вспыхнули восстания и в других местах; пришлось отряжать войска, дробить силы, увеличивать гарнизоны крепостей. Затем, оставив в Турине 3,400 человек, Моро направился к Валенце и Александрии и между этими пунктами занял 26 апреля весьма важную стратегическую позицию. Отсюда он мог действовать по обоим берегам По, поспеть к Турину раньше Суворова и грозить его тылу, если бы он двинулся на Макдональда.

В этот самый день Суворов прибыл в Вогеру; час спустя приехал туда же великий князь Константин Павлович, посланный Государем - начать свое боевое поприще в школе Суворова.

Присылка великого князя на театр военных действий вероятно имела помимо этой цели и другие; по крайней мере присутствие здесь Государева сына не замедлило вдохнуть новое рвение в войска и произвело на население благотворное в интересе союзников влияние [2]. Оно было радостным событием и для самого Суворова, по его верноподданническим чувствам, но представляло для него и неудобство. Такие высокие особы стесняют, ибо ответственность за них, если не фактическая, то нравственная, - очень велика. Это было особенно верно в применении к настоящему случаю, так как великому князю едва исполнилось 20 лет и, при своей необузданной пылкости и горячности, он требовал строгого за собою надзора, иначе мог и себя и других ввести в беду. Только строгостью и страхом можно

было его сдерживать; он бледнел при одном суровом слове своего отца - Государя. Но тут, в армии, обстановка и положение великого князя были иные; той тяжелой руки, которую он постоянно чувствовал над собою в Петербурге, не существовало в Италии. Суворов правда не затруднился бы быть его строгим ментором, но в звании главнокомандующего ему было не до того. И хотя великий князь приехал не один, кроме нескольких молодых людей свиты, при нем находился старый, заслуженный генерал Дерфельден, -но назначение Дерфельдена состоялось не задолго до отъезда, и великого князя он близко не знал; при особенностях же натуры Константина Павловича, годилось ему в руководители только лицо, авторитету которого он привык подчиняться издавна. Таким образом, неудобство присутствия Константина Павловича Суворов ощутил в самом скором времени.

Великий князь ехал в армию под именем графа Романова. В Вене он был принят самым блестящим образом и пробыл там около двух недель, в продолжение которых не прерывалась цепь парадов и смотров, а также всякого рода празднеств. Не раз торопил это Дерфельден, говоря, что знает хорошо Суворова; что фельдмаршал начав военные действия, поведет их безостановочно, и великий князь рискует ничего не застать [3]. Вырвавшись наконец, из Вены, Константин Павлович приехал 24 апреля в Верону. На другой день сдалась на капитуляцию Пескьера; сюда он въехал с первыми австрийскими войсками и затем продолжал путь, всюду встречаемый приветственными кликами населения. К вечеру 26 числа, высокий гость был уже в Вогере и тотчас же поехал со своими сопутниками к Суворову. Суворов, одетый в кителе, с каской на голове и с подвязанным глазом, выскочил из другой комнаты, подошел к великому князю, поклонился ему об руку, т.е. как бы желая поцеловать его руку, и сказал: "сын нашего природного Государя!" Константин Павлович обнял его и спросил, что сделалось с его глазом. "Ах, Ваше Высочество", — отвечал Суворов, "вчера проклятые немогузнайки опрокинули меня в ров и чуть было всех моих косточек не разбили". Потом он подошел к свите великого князя, стоявшей вряд и, обратившись к Константину Павловичу, сказал: "не вижу". Великий князь понял и стал представлять всех поименно. Первым стоял Дерфельден, старинный приятель и сослуживец Суворова, один из лучших русских генералов конца прошлого столетия, которого Суворов любил и ценил очень высоко. Дерфельден был прислан в Италию не только в качестве попечителя великого князя, но и на тот случай, чтобы принять под свое начальство корпус Розенберга, если Суворов признает нужным этого

последнего сменить, как неспособного. Мало того, Дерфельден предназначался заступить место самого Суворова, если бы фельдмаршалу "приключилось какое несчастие". Великий князь произнес имя Дерфельдена; Суворов открыл глаза, обнял Дерфельдена, перекрестился, поцеловал у него на груди орденский крест и сказал: "нам должно Его Высочество, сына природного нашего Государя (поклон Константину Павловичу об руку), беречь больше своих глаз, потому что у нас их два, а великий князь здесь один". Затем Константин Павлович представил Суворову остальных, и все разъехались по домам [3].

На следующий день, утром, Суворов приехал к великому князю в полной форме австрийского фельдмаршала, в сопровождении всех чинов главной квартиры, и представил строевой рапорт о войсках русских и австрийских. Великий князь пригласил его в кабинет, долго с ним беседовал наедине и когда вышел в приемную, то представил находившегося тут князя Эстергази, сопровождавшего великого князя из Вены. Суворов сказал Эстергази: "прошу донести императору, что я войсками Его Величества очень доволен; они дерутся *почти* также хорошо, как и Русские". Если справедливо, что Суворов сказал Эстергази именно эти слова, то конечно не без умысла; по всей вероятности он получил уже тогда из Вены дополнительную инструкцию, забраковавшую все его планы, и захотел чем-нибудь выразить свое неудовольствие [3].

В этот же день, 27 числа, Константин Павлович обедал у Суворова, а потом отправился в русский лагерь впереди Павии, у Дорно. Здесь он объехал войска, объявил им от имени Государя "благодарность и поклон" и остался при главной квартире Розенберга.

Пока в русской армии происходило торжество по случаю прибытия великого князя, Суворов получил известие, будто Французы, с одной стороны, оставляют Валенцу и отступают, а с другой, что в Тортоне ожидаются подкрепления из Генуи. Известия были прямо противуположны истине, потому что Моро избрал и занял позицию между Валенцой и Александрией. Суворов, столько раз уже вводимый в заблуждение пустыми слухами, поверил однако же и теперь, приказав на 27 число войскам произвести соответственные движения. Розенбергу приказано занять авангардом Валенцу; Багратиону двинуться от Вогеры, обойти Тортону и отрезать сообщения её с Александрией и Генуей; Карачаю подкрепить Багратиона; прочим австрийским войскам идти от Вогеры к Тортоне.

Маркиз Шателер подошел с передовыми частями австрийских войск к Тортоне 28 числа, при помощи жителей выломал ворота и

овладел городом. На другой день въехал туда Суворов и отслужено благодарственное молебствие, но 700 Французов заперлись в цитадели и открыли из 70 орудий сильный огонь. Осадных орудий не было; пришлось терпеть и выносить огонь, ограничиваясь блокадою цитадели. По крайней мере город все-таки был занят, т.е. достигнут некоторый успех; по другую же сторону По не было и этого. Авангард Розенберга, под начальством генерала Чубарова, не нашел на реке перевозных средств: все было истреблено или забрано Французами. Суворов приказал удвоить усилия и увеличить отряд Чубарова; он до того был убежден в очищении Французами Валенцы, что назначил Чубарову, по занятии этого пункта, идти к Александрии.

Розенберг придвинулся ближе к своему авангарду; Чубаров выбрал место переправы у Борго-Франко, в 7 верстах ниже Валенцы. Здесь лежит остров, отделенный от неприятельского берега узким рукавом, переходимым в брод; к нему стали с нашей стороны устраивать паром. Для отвлечения внимания Французов, Чубаров отрядил 2 батальона в сторону, к Валенце, а казаки Семерникова и человек 30 егерей, переправившиеся на островок вплавь, перешли другой рукав в брод и заняли деревню Басиньяну. Но Французы стали подходить; Русские, по своей малочисленности, не могли удержаться в деревне и после небольшой перестрелки снова переправились на остров.

Таким образом обнаружилось, что противуположный берег По занят Французами сильно и Валенца ими не очищена. Тоже самое подтвердилось верным известием, что Моро нет в Турине, а сосредоточился он у Александрии. Суворову приходилось опять менять свои распоряжения; он решился собрать свои силы у Тортоны и атаковать неприятельскую позицию за р. Танаро. В этом смысле были разосланы приказания, причем Розенбергу велено оставить предприятие на Валенцу, перейти на правый берег По ниже, у Камбио, и присоединиться к прочим войскам.

Для исполнения этого распоряжения, Розенберг приказал сделать у Камбио разведки и узнал, что там переправы нет. Между тем у Борго-Франко уже действовал большой паром, а потому Розенберг решил переправить свои войска здесь, не подозревая, что переправа приходится как раз против неприятельской позиции. Апреля 30 войска Чубарова медленно, малыми частями переезжали на пароме к острову, и Розенберг стягивал свои главные силы ближе к месту переправы. В этот день Суворов прислал второе приказание, в подтверждение отданного накануне; вслед за ним последовало и третье, чтобы "спешить денно и ночно" к стороне общего сбора войск. Но Розенберг затруднялся исполнить предписание фельдмаршала, несмотря на

его безусловный характер, ибо получил известие, что вокруг Валенцы находится не больше 1.000 Французов. И действительно, Моро видя настойчивые, не скрываемые приготовления Русских к переправе у Басиньяны, принял это за демонстрацию, маскирующую сосредоточение сил союзников у Тортоны, оставил против Чубарова часть сил, а все прочее направил на позицию у Бормиды, впереди Александрии. Розенбергу донесено, что все потянулось к Александрии, и он решился продолжать свою переправу у Басиньяны.

Утром 1 мая авангард Чубарова собрался весь на острове, тут же на берегу находились великий князь и Розенберг. Константин Павлович предложил Розенбергу, не мешкая дольше, начать переправу с острова на тот берег. Розенберг отвечал, что отряд еще слишком слаб и лучше подождать, пока подойдут тянувшиеся войска. Константин Павлович вспылил и дозволил себе едкое замечание, что Розенберг привык служить в Крыму, где было гораздо спокойнее и неприятеля никогда в глаза не видали. Упрек был слишком резкий и вместе с тем несправедливый, потому что у Розенберга не было недостатка в личном мужестве. Слова великого князя оскорбили старого служаку, у него не достало характера - не вмешивать личного чувства в решение вопроса, и приказание к наступлению было отдано. Авангард Чубарова двинулся на неприятельский берег в брод, по пояс в воде; подошедшая часть Розенбергова корпуса начала переправляться на остров [4].

Жители Басиньяны встретили Чубарова с радостью и тотчас стали рубить дерево вольности; Русские двинулись по дороге к Валенце и атаковали встреченного в нескольких верстах неприятеля. На подмогу скоро прибыли еще две роты; в голове их великий князь бросился неустрашимо в атаку. Успех был полный, но непродолжительный. Стали спешно возвращаться французские войска, шедшие к Александрии; прискакал сам Моро и послал за новым подкреплением. Русский отряд, состоявший всего из 2500 человек, отступил, но продолжал держаться в ожидании подкрепления. Подмога не подходила, потому что один из адъютантов Суворова, примчавшийся к Розенбергу с новыми настоятельными приказаниями - идти к стороне Тортоны, проезжая чрез Басиньяну, остановил переправу войск и даже велел идти назад батальонам, кои успели перейти на правый берег. Чубаров держался с трудом; великий князь сам поскакал за подкреплением; три батальона и две роты одни за другими подошли к полю сражения и восстановили бой. Новых подкреплений уже не являлось, беспорядок как видно был полный, руководительства делом не существовало. Число

Французов росло с каждым часом; они стали близко грозить обоим флангам Русских; но упорство русской пехоты было так велико, что Французы разбивались о русские батальоны, как волны об утесы. Однако всему есть предел; на горах показались новые французские колонны, приходилось уступить поле сражения во избежание большей беды. После 8-часового боя началось отступление; но войска остановились все таки перед Басиньяной и до наступления ночи с непоколебимой твердостью отбивали все атаки.

Затем началось постепенное очищение французского берега; жители Басиньяны, несколько часов назад встречавшие Русских приветственными кликами, теперь стреляли по ним из окон. За недосугом они остались не наказанными, и Русские, преследуемые Французами, мало-помалу перебрались на остров. Но тут постигла их новая беда: крестьяне, состоявшие при паромной переправе, перерезали канат и скрылись, а паром унесло течением. Прошло немало времени, пока его поймали, исправили и пустили в дело для перевозки раненых. Суматоха на острове была ужасная, особенно у переправы; лошадь великого князя чего-то испугалась и занесла его в реку, но казак Пантелеев вовремя бросился на помощь и вывел его на берег. Всю ночь производилась перевозка на пароме раненых; всю ночь Русские держались на острове под огнем французских орудий и отражали неоднократные попытки неприятеля перейти в брод через рукав реки. Надо удивляться, как Французы не догадались удвоить, утроить силу своего огня; тогда ни один человек не мог бы спастись с острова, тем более, что войска стали переправляться на свою сторону когда уже рассвело.

Несчастное дело при Басиньяне стоило Русским больших потерь; убитых, раненых и попавшихся в плен насчитано почти 70 офицеров (один генерал) и до 1,200 нижних чинов; кроме того в руках Французов осталось 2 русские орудия, завязшие на пашне. У неприятеля выбыло из строя до 600 человек, в том числе один генерал. Один русский пленный офицер на другой день бежал на французской лошади; казачьи посты спасли его от погони. Суворов велел возвратить Французам лошадь, захваченную бежавшим.

В ночь после этого неудачного дела, т.е. с 1 на 2 мая, Суворов получил о нем известие и тотчас же послал Розенбергу новое приказание - идти куда было велено раньше, приписав собственноручно: "не теряя ни минуты немедленно сие исполнить, или под военный суд". Но посылки нового приказания было мало; до главной квартиры доходили тревожные донесения с казачьих постов о движениях французских войск, слышны были

выстрелы, а войска Розенберга у назначенных для них переправ не показывались. Суворов стал сомневаться в благополучном возвращении Розенбергова корпуса и двинул было ему на выручку все войска к Камбио. Но эта мера оказалась ненужной: Розенберг скоро показался у Камбио, и неприятель не преследовал его, оставаясь два дня в бездействии.

Это была первая крупная неудача союзников. Раздраженный Суворов написал сгоряча донесение Государю, выставляя опрометчивость Константина Павловича и указывая, что поведение его противоречит дисциплине. Донесение это он однако отправил не сразу, а раздумывал и советовался. Когда же оно было отправлено, Суворова снова взяло раздумье; он стал жалеть, что поторопился, послал второго курьера вдогонку за первым и когда получил обратно бумагу, то разорвал ее и успокоился. Однако он не захотел пропустить происшедший несчастный случай без внимания, для чего и потребовал великого князя к себе. Чувствуя свою вину и желая отсрочить неприятность, если нельзя её избегнуть, Константин Павлович послал одного из своей свиты, Комаровского, отговорившись, что прибудет сам вместе с войсками. Суворов встретил Комаровского грозно; упрекал его в том, что он вместе со своими товарищами допустил великого князя до опасности быть убитым или попасться в плен; обещал заковать их всех и отправить с фельдъегерем в Петербург, и т. под. Суворов говорил с одушевлением и все время ходил по комнате широкими шагами; Комаровский стоял и молчал. Немного успокоившись, Суворов спросил, как велик конвой великого князя, нашел, что недостаточен, велел выделить часть своего собственного при надежном штаб-офицере и приказал Комаровскому отправиться с новым конвоем на встречу великого князя [5].

Прибыв к Константину Павловичу, Комаровский передал ему все, что говорил фельдмаршал. "Так он очень сердит", сказал великий князь и задумался. Прибыв в главную квартиру, он скрепя сердце поехал к Суворову; тот с низкими поклонами и другими знаками почтения встретил его в передней, пригласил в кабинет и заперся с ним вдвоем. Беседа продолжалась с полчаса; великий князь вышел расстроенный, красный от слез. Суворов провожал его с прежними поклонами; проходя приемную, где стояла свита Константина Павловича, он обратился к ним с угрозами, назвал их мальчишками, пообещал то же самое, что говорил Комаровскому, и затем продолжал провожать великого князя до крыльца с прежнею почтительностью.

Неизвестно, где находился и что делал во время неудачного боя при Басиньяне Дерфельден; о нем во всем этом происшествии

не упоминается нигде ни слова.

Не ограничиваясь сделанным великому князю строгим внушением, Суворов хотел отдать приказ по армии, приписав случившуюся неудачу "запальчивости и неопытности юности", но этот порыв у него скоро прошел. Однако он помнил Басиньяну долго и когда, в дурной час, разговор касался этого предмета в присутствии Константина Павловича, то Суворов, не относясь прямо к великому князю, говорил: "молодо-зелено; не в свое дело не мешаться". Вообще он сумел подействовать на великого князя в том именно смысле, как желал; Константин Павлович с той поры проникся особенным к старому фельдмаршалу почтением и послушанием. Будучи прислан к Суворову в качестве ученика военного дела, он просил у него дозволения - присутствовать при докладах и решении дел. Суворов изъявил на это полное согласие, но с тем, чтобы друг другу не мешать и даже одному другого не видеть. Не знаем, долго ли и часто ли Константин Павлович пользовался этим дозволением, но присутствуя при занятиях фельдмаршала с его штабом, строго выполнял заключенное условие: входил тихо, не кланялся и садился где-нибудь в уголку. Суворов со своей стороны тоже делал вид, как будто не замечает своего высокого гостя.

На последнее, присланное в Борго-Франко приказание Суворова с угрозою военным судом, Розенберг отвечал, что в качестве подчиненного виноват без оправдания, но если главнокомандующий пожелает разобрать все дело, то оправдает его совершенно. Однако Суворов, при первом свидании, высказал ему крайнее свое неудовольствие и не принял отговорок, к числу которых принадлежали и ссылки на великого князя. Отдан был и приказ по соединенной армии, где хотя Розенберг не поименован, но косвенным образом сделан ему строгий выговор. Суворов выставлял на вид, что когда Русские храбро и успешно наступали на неприятеля, вдруг услышали у себя в тылу барабанный сигнал к отбою и сбору, чего не следует делать и на ученьях. Во время этого же дела, австрийские войска Вукасовича стали производить против Казале демонстративную переправу, вблизи от сильного неприятеля, и понесли довольно чувствительную потерю. "Демонстрации — игра юно-военных", говорит Суворов в своем приказе, указывает на их бесполезность и даже вред, объясняет, что нужны не демонстрации, а "разъезды и обвещательные посты от конницы; разве в ущельях гор пехота употреблена быть может, и то с великою осторожностью, чтобы отрезана не была. Иначе военный суд разбирать будет". Отзываясь очень одобрительно о храбрости действовавших при Басиньяне войск, Суворов в приказе особенно хвалит Милорадовича, который шел в атаку со

знаменем в руке, в ручном бою сломал свою саблю и потерял двух лошадей, под ним раненых.

Государю было донесено об этом деле, как о последствии случившегося недоразумения, впрочем не скрывая нимало неудачи. Государь взглянул на происшедший случай серьезно и снова уполномочивал Суворова заменить Розенберга, если он недостаточно способен, Дерфельденом или кем иным, не стесняясь условиями старшинства. Но вместе с тем Павел I изъявил полное свое благоволение войскам; пожаловал всем награды по представлению Суворова; нижним чинам, бывшим в делах, повелел выдать по рублю, а находившимся под командою великого князя - по два. Суворов не сменил Розенберга. Он в состоянии был так поступить сгоряча, под минутным впечатлением, но потом делался по обыкновению весьма снисходительным, отличаясь большой так сказать инерцией. Такое его свойство мы имели возможность заметить давно, в первую Турецкую войну, и даже раньше. Некоторые хроникеры утверждают, будто он был часто несправедлив к Розенбергу, под влиянием интриг своих приближенных, и выставляют в виде доказательства, что еще до своего прибытия к армии, он предложил Розенбергу выйти в отставку, но потом взял свое оскорбительное слово назад. Быть может все это верно, но важнее всего результаты, а результат оказался все таки в пользу Розенберга. Для объяснения взаимных отношений Суворова и Розенберга не мешает еще сказать, что их военные натуры совсем не сходились; что Розенберг имел мало тех качеств, которые, по понятиям Суворова, именно и требовались в военном человеке. Поэтому и без интриг штабных чинов понятно, почему Суворов не чувствовал к Розенбергу особенного расположения, тем более, что знал его таким раньше. Да и не один Суворов, а довольно распространенное мнение во всей русской половине его армии было не в пользу Розенберга, которого просто не любили.

На этот раз вместо Розенберга поплатился другой: генерал-майор Чубаров 15 мая отставлен Государем от службы, о чем и сообщено Суворову. Впрочем через два месяца он принят на службу снова, с прежним старшинством [6].

Неудача басиньянского дела, которое некоторые военные писатели неверно называют демонстрацией, не имела важных последствий, кроме потери Суворовым времени в ту самую пору, когда он собирался атаковать Моро. Непроизводительная трата времени продолжалась и в следующие дни, потому что переправа Розенбергова корпуса производилась медленно, по недостатку перевозочных способов и вследствие вздувшейся воды. Во время этого замедления Суворов вдруг принял противуположное

решение, - перенести все свои силы на левый берег. Причиною тому были новые о неприятеле сведения. Пришла весть, что Макдональд задержан на пути; что он даже совсем останется в неаполитанских владениях; об этом, несколько дней спустя, писал Суворову сам император Франц, как об известии "достоверном". Отовсюду шли также слухи, что Моро ожидает подкрепления и что 25,000 Французов идут с Рейна через Швейцарию в северную Италию. Как бы для пущего убеждения Суворова пришло извещение, что принц Роган, прикрывавший фланг и тыл Суворова со стороны Швейцарии, разбит. Грозила большая опасность, и Суворов не колеблясь принял меры для её предупреждения.

В дошедших до него вестях и слухах опять таки было мало правды. В то время как Суворов, в продолжение апреля, сделал в Италии так много, в Швейцарии и на Рейне месяц этот прошел почти в полном бездействии, хотя Французы могли быть подавлены превосходными силами Австрийцев. Впрочем Французы все-таки принуждены были оставить Энга-дин, причем небольшой французский отряд, угрожаемый со всех сторон неприятелем, отступил, открыв Австрийцам путь к С-Готару, пункту чрезвычайно важному. Генерал Лекурб собрав свою дивизию, двинулся к Белинцоне. Принц Роган следовал к этому же пункту; на Монте-Ченере произошла встреча, Роган был разбит и отброшен, а Лекурб заняв Белинцону отрядом Луазона, отошел назад к С-Готару, не имея и в мыслях продолжать наступательные действия или идти на соединение с Моро.

Что касается до Макдональда и Моро, то и о них вести были ложны. Первый отнюдь не рассчитывал оставаться в южной Италии, а напротив шел на соединение с Моро. Последний не ожидал сколько-нибудь значительных подкреплений и даже не мог оставаться долгое время в своей позиции у Александрии, так как весь левый берег По находился в руках союзников, лучший путь к Генуе был отнят занятием Нови, в тылу кипело народное восстание, затруднявшее до последней степени продовольствие войск, и почти все сообщения армии были отрезаны.

Все это оставалось неизвестным Суворову и открылось только впоследствии, а потому задуманное им передвижение союзных войск на левый берег По назначено было начать 5 числа вечером. Но помешал Моро, сам того не подозревая и имея о расположении союзников самые неверные сведения. Французский главнокомандующий, находившийся в положении не хорошем, решился в этот самый день открыть себе путь в Геную через Нови и Бокетский проход. С этою целью дивизия Виктора перешла Бормиду в 6 часов утра и двинулась к Маренго; находившиеся тут

передовые австрийские войска под начальством Карачая отступили, послав гонца в австрийский лагерь при Торре ди Гарофолло. Меласа не оказалось там на лицо, поднялась суета, поехали за приказаниями к Суворову в Сале. Но так как туда было далеко и ждать долго, то генерал Лузиньян решился на свой страх идти с дивизиею, которою временно командовал, двинулся в путь и впереди Сан-Джульяно встретился с Французами. В это же время проходил чрез С.-Джульяно авангард Багратиона, двигавшийся от Нови к Камбио, во исполнение общего плана. Он тотчас пошел на выстрелы и пристроился к флангам Австрийцев. Лузиньян предложил Багратиону принять общее начальство, но тот отказался, предоставив эту честь австрийскому генералу. Союзники стройно двинулись с барабанным боем вперед. Французы держались и даже пытались обойти фланги, но безуспешно: Багратион отразил их встречными атаками. Казаки изрубили целый эскадрон французских гусар, отрезали небольшую часть французской пехоты, приперев ее к реке Танаро, и тоже почти истребили. А тем временем стали подходить свежие австрийские войска из своего лагеря; Моро увидел, что в окрестных местах находятся главные силы союзников и в 4 часа по полудни приказал отступать. Преследование производилось очень вяло, так что Французы, имея на Бормиде всего один мост, отретировались в порядке и разрушили за собою мост.

Суворов прискакал на поле сражения, но не мог поспеть ни к бою, ни даже к преследованию. Выслушав изложение дела, он остался недоволен недостатком энергии в преследовании, можно даже сказать отсутствием самого преследования. "Упустили неприятеля", сказал он с досадой. Он остался тут до следующего дня - поужинав поджаренным луком с хлебом и небольшим куском балыка, ночевал на поле сражения, а на утро расспрашивал казачьего атамана Денисова о ходе боя и участии в нем русских войск, т.е. хорошо ли Багратион атаковал и бил ли в штыки. Денисов, находившийся с Багратионом в дурных отношениях, высказал всю правду, а может быть и больше[7].

В деле при Маренго 5 мая принимало участие 7-8,000 Французов; союзников было несколько больше. Потери обеих сторон, приблизительно одинаковые, простирались от 500 до 600 человек у каждого, в том числе у Французов взято свыше 100 пленных. Как басиньянское дело для Русских, так и маренгское для Французов обошлись дешево и могли бы кончиться гораздо хуже, особенно последнее. При ином образе действий, союзники могли бы выманить всю французскую армию из-за Бормиды и нанести ей полное поражение. Но по несчастной случайности маренгское дело, подобно басиньянскому, происходило в

отсутствие Суворова. Во всяком случае честь победы при Маренго принадлежит Багратиону, который и был за него награжден орденом св. Александра Невского.

После неудачной попытки - открыть себе прямой путь на Геную, Моро покинул позицию при Александрии и ретировался двумя другими дорогами, более кружными и трудными. Это осталось несколько дней неизвестным Суворову, и он стал приводить в исполнение свой прежний план, приостановленный неожиданным переходом Французов через Бормиду. Мая 7 войска тронулись и пошли по назначенным маршрутам, но 10 и 11 числа простояли у Кандии и Лангоско, пока строились через По мосты. Тем временем Французы оставили Казале и Валенцу, которые и были заняты союзниками; здесь найдено больше 100 человек русских раненых и 34 орудия, в том числе одно русское, потерянное при Басиньяне. Посланные за По казачьи разъезды не нашли Французов нигде до самой реки Танаро; между жителями носились слухи об отступлении Моро на Асти, но куда он затем ушел, оставалось неизвестным. Очищение Валенцы довольно ясно указывало, что французы отступают со своей позиции при Александрии; но Суворов этого не разгадал и их не преследовал, хотя время для истребления остатков республиканской армии еще не ушло. Быть может он предпочитал скорее занять Турин, что сулило ему большие выгоды. Даже когда было получено донесение, что небольшая крепость Чева, лежавшая в тылу Моро в Апеннинах, захвачена восставшими жителями, и Суворов велел послать туда гарнизоном летучий отряд по чрезвычайно трудному и опасному пути, -и тогда он продолжал теряться в догадках на счет Моро. Идти за ним, тратить время на осаду своих тыльных крепостей, завладеть Турином - такие представлялись ему главные задачи. Все три были несовместимы, и он предпочел - продолжая блокаду и осаду определенными на то корпусами и отрядами, овладеть Турином.

Решение — уничтожить прежде армию Моро — было бы во многих отношениях предпочтительнее, так как Моро мог уйти, а Турин нет; но невозможно отрицать и громадные выгоды для союзников от немедленного захвата Турина. Занятие этой столицы бывшего Сардинского королевства было весьма важно в отношении политическом; еще более оно было полезно по тому нравственному впечатлению, которое должно было произвести на всю Италию. Кроме того, держа в своих руках Турин, Суворов имел в виду отрезать армии Моро последние пути для получения подкреплений и запасов из Швейцарии и Савойи; он рассчитывал, что один голод заставит французов покинуть Пьемонт, а восстание жителей задержит их до прибытия союзной армии и

совершенного их истребления, после чего Генуя падет сама собою. Наконец, очень большое влияние на принятое Суворовым решение оказало и то обстоятельство, что в Турине хранились огромные склады запасов, артиллерийские парки и арсенал. Суворов скорбел, что тратит столько времени и сил на блокады и осады; туринские средства могли его в известной степени выручить. Все это, вместе взятое, действительно представлялось очень веским мотивом для принятого Суворовым плана действий.

Союзная армия следовала к Турину двумя колоннами, под начальством Меласа и Розенберга. Швейковский был отряжен для занятия Александрии; Отт и Край обеспечивали тыл от покушений Французов со стороны средней Италии; сделаны и другие распоряжения для обеспечения тыла и флангов, и Суворов спокойно продолжал с армиею путь к Турину. Походом он вел себя почти также, как в старое время в Турции и Польше, но тут чаще ездил в экипаже. Штаб его не всегда находился при нем, а часто рассылался в разные части колонны для присмотра, так что при главнокомандующем оставался иногда только небольшой казачий конвой и даже просто один казак. Уезжая верхом вперед, Суворов слезал с лошади, ложился где-нибудь невдалеке от дороги в винограднике или в тени строения и смотрел на мимо проходившие войска. Отсюда, совершенно неожиданно для всех, он шибко выезжал на дорогу, пристраивался к какому-нибудь полку, ехал между солдатами и беседовал с ними. Завидев фельдмаршала, задние спешили вперед; усталые, отставшие прибавляли шагу, приободрялись; его окружали, к нему теснились [8].

На пути к Турину жара стояла страшная; Суворов то присаживался в карету, то ехал верхом. Карета была старомодная; купил ее Суворов у казаков, запрягались в нее обывательские лошади, кучером служил один из окрестных крестьян, на запятках иногда красовался кривой повар Мишка. Уже много лет, как Суворов не имел даже собственных верховых лошадей, а брал обыкновенно казачью, под экипаж же употреблял или обывательские или подъемные. Не мудрено поэтому, что "немогузнайки" часто его вываливали или опрокидывали вместе с экипажем, и ему приходилось расплачиваться подбитыми глазами и помятыми боками. Австрийцы с любопытством посматривали на "ковчег", в котором ехал главнокомандующий. Суворов сидел задумавшись, с 2 или тремя лицами свиты, в тесноте и духоте; потом вышел и сел верхом, другие за ним. Желая объехать двигавшуюся колонну, он взял в сторону и бойко перескочил довольно широкий ров, так что все невольно вскрикнули. Обогнали колонну, ехали часа 4, войска остались далеко позади.

Шателер был раньше послан вперед с несколькими частями войск, для необходимых распоряжений и переговоров с неприятелем; Суворову хотелось пораньше узнать о результатах миссии генерал-квартирмейстера, — и он все ехал вперед. В свите его находилось всего 3-4 лица, конвой состоял из десятка казаков, не было проводника, а между тем Турин был занят Французами. Наступила ночь. Донской атаман Денисов обратился к племяннику Суворова, князю Андрею Горчакову, с советом - остеречь фельдмаршала, так как его могут захватить в плен. Горчаков отозвался, что не смеет. Тогда Денисов заступил Суворову дорогу и объяснил, что ехать таким образом дальше - нельзя. Суворов отвечал, что ему необходимо видеться с Шателером, Денисов вызвался за генерал-квартирмейстером съездить. Город был недалеко, Денисов отыскал Шателера и вскоре с ним вернулся[7].

Оказалось, что Шателер сделал французскому гарнизону предложение - сдать город. Гарнизон состоял из 3,400 человек, под начальством пьемонтского генерала Фиореллы, который отвечал, что будет защищаться до последней крайности. Шателер приказал открыть артиллерийский огонь по форштату; Французы отвечали тем же. Суворов отдал приказание, чтобы город был окружен со всех сторон подходившими войсками, которые должны были в продолжение завтрашнего дня, 15 числа, устроить батареи, вооружить их к вечеру, в первом часу ночи на 16 число открыть огонь и, если к 3 часам утра город не сдастся, штурмовать его. Сделав это распоряжение, Суворов приблизился к предместью, остановился у фонтана и восхищался прелестною итальянскою ночью, любовался прихотливыми очертаниями деревьев, хвалил роскошную южную природу. А тем временем стали вблизи ложиться французские ядра, Денисов, не теряя времени на убеждения, схватил фельдмаршала поперек и побежал с ним в сторону. Озадаченный Суворов вцепился ему в волосы (но не драл), назвал его "проклятым", спрашивал с негодованием, что он делает. Денисов спустил его с рук во рву и так как Суворов все хотел к фонтану, то повел его якобы по желанию, но в сущности в другую сторону, подальше от ядер, и привел в более безопасное место. Суворов выразил свое неудовольствие, но не настаивал на прежнем требований и провел тут остаток ночи[7].

На рассвете 15 мая один из австрийских полков занял предместие Баллоне, прочие войска двинулись на назначенные им места. Суворов поручил князю Горчакову написать опять генералу Фиорелле предложение сдаться, объяснив, что в присутствии многочисленной армии сопротивление поведет к одному бесполезному кровопролитию. Комендант отвечал

довольно дерзким отказом, выразив в письме к самому Суворову удивление, что каждый генерал союзной армии обращается к нему, Фиорелле, с подобными требованиями, а потому предупреждал, что более не станет давать ответов. "Атакуйте меня, и тогда буду отвечать", были заключительные слова письма, с прибавлением угрозы, что если войска не очистят предместия, то по ним будет открыт огонь. После этого не стоило терять времени на переговоры, и Суворов отдал дополнительное приказание - открыть траншеи, ставить батареи и затем бомбардировать город два дня, приготовившись в это время к штурму.

Однако тут, как и во многих других местах, город был спасен самим населением. Жители Турина и национальная гвардия впустили союзные войска; вступление их произошло так внезапно, что многие из Французов не успели спастись в цитадель и скрылись в городских домах. Фиорелла пытался было подать им помощь вылазкою из цитадели, но безуспешно. Французов перебито около сотни, вдвое взято в плен, втрое досталось больных и раненых; кроме того без малого 400 орудий, 20,000 ружей и огромное количество всякого рода военных запасов. В 3 часа пополудни Суворов вступил с войсками в Турин. Улицы были полны народом, отовсюду раздавались восклицания с виватами императорам Францу и Павлу; прием был даже более шумный, чем в Милане. Великий князь въехал в город при одном из австрийских кавалерийских полков, среди офицеров полка, но был узнан и потому сделался предметом оживленных оваций. Вечером город иллюминовался.

Суворов поместился в нижнем этаже одного дома; великому князю был отведен великолепный дворец, от которого он отказался и провел ночь за городом, в расположении австрийских войск. Фиорелла прислал парламентера с объявлением, что канонада будет производиться по городу до тех пор, пока союзники его не очистят. Говорили тогда, что парламентер был прислан с целью - разведать, где занял квартиру Суворов, дабы потом направить выстрелы в ту сторону, и что хотя французский офицер проезжал по улицам с завязанными глазами, но как кажется успел в своем намерении. Около полуночи с 15 на 16 число огонь действительно был открыт, так как Фиорелла считал справедливым наказать жителей за измену. Суворов юмористически доносил, что неприятель "поздравлял победителей непрестанною пальбою, градом бомб, картечей и каленых ядер до рассвета, причем убито в городе из обывателей два человека и досталось жестоко черепице крыш". Однако едва ли ограничился этим вред от французской бомбардировки; в трех

местах города загорелось; во дворе дома, занятого фельдмаршалом, убито несколько лошадей, оторвано несколько рук и ног. Донской атаман решился войти к Суворову в спальню. "Что ты, Карпович", — спросил Суворов проснувшись или делая вид, что перед тем спал. Денисов доложил, что бомбардируют из цитадели и метко целят в этот дом. "Оставь меня, я спать хочу", — отвечал Суворов и повернулся лицом к стене. Денисов вышел, но скоро послышался голос Суворова, требовавшего к себе дежурного генерала[7].

Жители Турина пришли в отчаяние; если бы Фиорелла держал свое слово несколько дней подряд, то городу бы несдобровать. Желая успокоить мирных граждан и отблагодарить их за содействие при занятии города, Суворов велел Горчакову написать французскому коменданту снова. Горчаков стыдил Фиореллу за принятое решение; говорил, что если при занятии Турина погибло несколько Французов, то виновен в этом один он, Фиорелла, а не жители, ибо не могли же 300-400 человек отстоять такой обширный город против многочисленной армии. Затем Горчаков предупреждал Фиореллу, что если канонада по городу возобновится, то будут выведены на эспланаду цитадели пленные Французы, не исключая больных, и останутся под огнем до тех пор, пока будет продолжаться пальба по безвинным гражданам. Угроза подействовала: комендант объявил, что не станет стрелять по городу, если союзники обяжутся не вести атаки с городской стороны. Суворов согласился, хотя часть цитадели, обращенная к городу, была слабее прочих, и в тот же день, 16 числа, была заключена в этом смысле капитуляция. Городское управление издало объявление, где заявляя глубокую признательность главнокомандующему за великодушную, человеколюбивую попечительность о городе, приглашало жителей Турина спокойно и доверчиво приняться за обычные занятия.

В тот же день было получено донесение о сдаче генералу Повало-Швейковскому Александрии на капитуляцию. Генерал Гарданн, с 3000 человек гарнизона, сдал город и отступил в цитадель с тем, чтобы союзники ничего не предпринимали против цитадели со стороны города и чтобы раненые Французы, оставленные в городе, по выздоровлении получили свободу и право вернуться в отечество. Таких Французов было до 600, да 30 русских и австрийских пленных; бывшие в крепости пьемонтские солдаты значительною долею вступили на службу в союзную армию. Суворов был очень недоволен этими условиями, которые противоречили данной Швейковскому инструкции, и выразился в письме к Разумовскому такими словами: "рекрут генерал-

лейтенант Швейковский сделал капитуляцию как невежда с комендантом александрийского замка о увольнении оставшихся в городе больных и раненых, с другими не лучше артикулами". Досаду свою Суворов однако же в официальном донесении скрыл, помирившись с невозможностью исправить дело [9].

Получено также известие о переходе в руки союзников Феррары и миланской цитадели. Феррара (и город, и цитадель) была хорошо вооружена и снабжена, а цитадель нельзя было иначе взять, как правильною осадой. Но малодушный комендант, после первых выстрелов генерала Кленау, причинивших в цитадели пожар, согласился на капитуляцию перед отрядом, который немногим превышал гарнизон, и положил оружие с обязательством не служить полгода противу союзников. Австрийцам достались 1500 ружей и 75 пушек. После кратковременной осады сдалась и миланская цитадель; гарнизон в 2000 человек отпущен без оружия, с условием не служить против союзников год; в крепости найдено 119 орудий, в том числе 30 осадных, и много военных припасов.

По случаю всех этих успехов, назначено было празднество на 17 мая. Утром отслужено в доме Суворова благодарственное молебствие по чину православной церкви; потом главнокомандующий в парадной форме, при всех знаках отличий, отправился в богатой карете в собор. В этом торжественном шествии его сопровождали генералы союзной армии, все верхами; народ теснился около кареты, оглашая воздух криками. При входе в церковь, Суворов был встречен духовенством; во время молебствия усердно молился; артиллерия, расставленная на городском валу, производила пальбу. Таким же порядком возвратился Суворов домой и потом дал парадный обед, пригласив знатнейших лиц города и некоторых генералов союзной армии. Вечером Суворов был в свою очередь приглашен в театр, где приготовили ему торжественный прием; при входе его в ложу раздались общие рукоплескания, поднялся занавес и на сцене открылся храм славы, в котором красовался бюст Суворова, окруженный эмблемами его побед. Суворов, под влиянием смешанного чувства смущения и удовольствия, прослезился и с выражением глубокого почтения кланялся публике. Возвращаясь домой, он ехал по иллюминованным улицам; среди огней блистали литеры его имени.

По занятии Турина, первым делом Суворова было восстановление в Пьемонте прежнего порядка вещей. Почти повсеместный радушный прием союзников давал основание предполагать, что такая мера совпадает с желанием большинства населения Сардинского королевства. С первого дня вступления в

сардинские владения, Суворов стал думать о восстановлении королевства и королевской армии, которая состояла из 40,000 хорошо обученных войск, кроме 26,000 милиции. Мерою этою он рассчитывал усилить свои средства для борьбы с Французами и, находясь на пути к Турину, поручил формирование армии графу Сент-Андре, генералу Латуру и подполковнику Атемсу. Еще раньше он издал прокламацию к войскам пьемонтским; в ней говорилось, что союзники вступают в Пьемонт для восстановления короля; что главнокомандующий приглашает всех присоединиться к избавителям и обещает, что никому другому они не будут присягать, кроме короля Сардинского. Через два дня объявлена другая прокламация, к пьемонтскому народу, в том же духе: народ призывался к оружию для защиты религии и охранения собственности каждого. Кроме того Суворов приказал передовым партиям своих войск распускать слух о скором прибытии герцога Аостского, а за ним и короля.

Действительно таковы и были намерения императора Павла; однако он, хотя не сразу, но стал допускать возможность противуположных австрийских замыслов, и в словесных его повелениях, которые записывались Ростопчиным, мы встречаем под 14 мая 1799 года: "заготовить декларацию Венскому двору, в случае желания и намерения его присвоить что-нибудь в Италии". Когда же получено было донесение Суворова о занятии Турина и об осаде цитадели, Государь написал ему 7 июня: "коль скоро овладеете туринскою цитаделью, уведомьте о сем Сардинского короля, пригласите возвратиться в Турин и восстановите на престоле" [10].

Поступая таким образом на пути к Турину, Суворов в том же смысле продолжал действовать и по занятии города. Он восстановил должности, звания, титулы, ордена и проч., существовавшие в недавнее царствование Сардинского короля, а все распоряжения по введению новой администрации возложил на особый временный верховный совет. Губернатором Турина был назначен Сент-Андре, доверенный короля, а управление Пьемонтом по делам политическим, административным и военным возложено на генерала де-Латура. Вторично объявлено то самое воззвание, с которым Суворов обратился к пьемонтскому народу раньше. Национальную гвардию, хотя она была происхождения республиканского, он не счел полезным распускать, так как большинство национальных гвардейцев не сочувствовало французскому революционному режиму. Национальной гвардии приказано продолжать службу для охранения спокойствия в городе, но от жителей велено отобрать оружие и всякие военные запасы, а также потребована выдача

Французов, укрывавшихся в домах.

Распоряжения Суворова были не долговечны; ему пришлось самому отменить большую их часть, прежде чем они успели дойти до Вены, потому что скоро получены указания Австрийского правительства по поводу первых принятых мер при вступлении союзников в пределы Сардинского королевства. Меры эти возбудили в Вене крайнее неудовольствие, и Австрийский император счел нужным обратиться к главнокомандующему с новым рескриптом. Он писал, что в землях, занятых союзными войсками по праву завоевания, не может быть признаваемо иной власти, кроме его, императора Австрийского; что поэтому все, относящееся до гражданского управления и части политической, должно быть предоставлено распоряжениям Венского кабинета; наконец, что пьемонтские солдаты должны быть призываемы не под знамена Сардинского короля, а на службу Австрийского императора, ибо долгая война требует покрытия потери людей способами чужих областей, отнятых от неприятеля.

После этого рескрипта, своекорыстные виды Венского двора обнаружились с полною ясностью. Все внутреннее управление вверялось австрийским комиссарам; распоряжения по снабжению союзных войск и употребление для того средств занятого края поручено Меласу; офицеры и солдаты бывших пьемонтских войск принимались исключительно на пополнение австрийской армии, что конечно в несколько раз уменьшило число охотников. Все прокламации и объявления после 16 мая издавались уже от имени не главнокомандующего Суворова, а подчиненного ему генерала Меласа, как уполномоченного от Римского императора; о короле Сардинском в них не упоминалось ни слова. Семя неудовольствия между союзниками было брошено в почву, и только изменение австрийской политики могло устранить роковые для союза результаты. Но подобного изменения конечно нельзя было ожидать; эгоистические виды Венского двора напротив того, по мере успехов Суворова, крепли, и поводы к взаимным неудовольствиям множились, потому что захватывали область не только политическую, но и военную.

И точно, Суворову было снова подтверждено Австрийским императором держаться плана операций, изложенного в двух прежних рескриптах, и переход союзников на правый берег По принят за нарушение данной инструкции. Австрийский император опять выражал свою волю, чтобы все предположения Суворова были оставлены, а обращено исключительное внимание на взятие Мантуи и цитадели миланской; чтобы для этого усилены были там осадные корпуса; чтобы главная армия заняла положение, отвечающее только цели охранения сделанных

завоеваний. В особенности заботились в Вене о скорейшем взятии Мантуи и обращались с беспрестанными об этом подтверждениями к русскому послу Разумовскому, о чем он официально и сообщал Суворову. Но в тоже время, пользуясь проездом чрез Вену в Италию сына Суворова, Аркадия, Разумовский послал главнокомандующему с этой верной оказией частное письмо, советуя продолжать по-прежнему, не заботясь о боязливости Венского двора, который напуган прошедшими бедствиями, а после сам будет: "благодарить, славить и обожать". Совет был однако весьма рискованного свойства, в виду неоднократных подтверждений за собственною подписью императора, и его легче было давать, чем исполнять, хотя исполнителем и был такой не охотник действовать по чужой указке, как Суворов [11].

Барон Тугут был вообще не доволен русским полководцем, который не обнаруживал готовности состоять в его услугах. Желчный нрав и беспредельное самолюбие руководителя Венского кабинета не терпели в исполнителях ни малейшей самостоятельности; чего ради высшие ступени армии были наполнены людьми крайне посредственными, но преданными первому министру и точными исполнителями его воли. Имея намерение во что бы то ни стало согнуть волю Суворова перед своею собственною, но не рассчитывая успеть в этом прямо, Тугут пошел к цели окольным путем и действовал чрез своих клевретов, занимавших высшие посты в армии. Интрига, сплетня, донос, противодействие главнокомандующему или по крайней мере умышленно создаваемые ему затруднения, - сделались явлением повседневным. Под предлогом - не отвлекать фельдмаршала к предметам второстепенной важности, - гражданская, политическая и военно-хозяйственная власть вручены были тупому, ограниченному Меласу, которым руководить было гораздо удобнее. Завязались прямые сношения австрийских генералов с гофкригсратом; Суворов перестал им доверять, видя в них своих недругов и Тугутовых шпионов. Единство, стройность в распоряжениях исчезли; многочисленные недоразумения и неисправности, не только невольные, по и умышленные, участились; приказания доходили до австрийских войск медленно, неверно, иногда в таком искалеченном виде, который прямо противоречил первоначальному их смыслу. Затруднения и беспорядки в снабжении армии продовольствием возрастали по дням; магазинов было мало, и войска на походе кормились большею частью реквизиционным способом, а лошади - подножным кормом. Хлеб, доходивший временами до солдат чрез посредство австрийских комиссаров, сплошь да рядом был дурно

испечен, из порченой муки, мясо не свежее, вино разбавленное водой, так что русские войска, не избалованные и не взыскательные, жаловались.

Если при выезде своем из Вены к армии, Суворов, не связавший себя никакими обязательствами относительно направления военных операций, ласкался надеждой, что отделался от гофкригсрата, то он ошибся жестоко. Если уступая Меласу свои обязанности внутренней службы, он, под впечатлением кончанских взысканий и дела Вронского, рассчитывал избавиться от обузы и больших неприятностей, то теперь приходилось ему убеждаться в противном. Если он полагал, что австрийское интендантство есть недосягаемый образец для русского, - то должен был значительно разочароваться и в этом. Он принялся исправлять зло, насколько возможно. Сделано распоряжение, чтобы приказания сообщались из главной квартиры в австрийские войска не чрез Меласа, а прямо ближайшим начальникам, которые должны уже были сами доводить их до сведения Меласа. Велено австрийскому провиантмейстеру и земским комиссарам получать наряды и распоряжения от генерал- квартирмейстера Шателера, знакомого с общим ходом и планом военных операций. Но эти и другие подобные меры были паллиативами, ослабляя временами зло, но не исцеляя его. Они даже принесли известную долю вреда; Шателер, который понравился Суворову, сблизился с ним и открыто выказывал искреннее к нему уважение, - был поставлен в необходимость действовать не так, как указывалось из Вены, стал в холодные отношения с Меласом и навлек на себя неудовольствие Тугута.

Все это освещает дело с невидной его стороны и дает каждому не предубежденному возможность убедиться, что нити злой воли, портившей общую задачу союзников, шли не от Суворова, а от Тугута. Этот узкоглазый руководитель австрийской политики был, подобно Цезарю Борджиа, не разборчив в выборе средств для достижения целей; он отличался кроме того какою-то неразумною ненавистью к России, может быть именно из-за того, что помощь России была необходима Австрии как последний ресурс. Что было делать с ним Суворову, особенно в описываемый период кампании, когда зло только что начинало назревать и не поражало еще глаз своею злокачественностью? Протестовать - бесполезно и нельзя; жаловаться своему Государю - слишком преждевременно; оставалось только переписываться с русским послом в Вене, побуждая его к противодействию интригам и козням. Суворов так и поступил.

В нескольких письмах к графу Разумовскому он касается

некоторых больных мест тогдашнего положения, особенно военной стороны предмета. Он пишет, что много бы набралось добровольных пьемонтских войск для борьбы с Французами, если бы их дозволено было формировать на предложенных им, Суворовым, основаниях; притом они ничего бы не стоили Австрии. Он указывает, что в этом случае пример Французов, в быстрых их завоеваниях, заслуживает полного внимания, поясняя, что "после можно распустить, если не нужно". В особенности настаивает Суворов на наступательном образе действий, говоря, что в офансиве (наступлении) Французы ушли дальше других, что благодаря дефансиву (отступлению) была потеряна Италия с предградием Вены, а офансивом эрц-герцог Карл выгнал из Германии две армии. Объясняя невыгоду оборонительной, кордонной системы, Суворов вразумляет Разумовского, что таким образом погибли тут Болье, Альвинци и Вурмзер, а Бонапарт победил, и что ему, Суворову, видно также придется погибнуть, тем паче, что "недорубленный лес опять вырастает". Особенно сокрушало его требование, вследствие которого значительная часть союзной армии оставалась назади, при крепостях. "Как бы ни была Мантуя драгоценна", говорит он: "все же она не стоит потеряния лучшего времени кампании", и восклицает: "Спасителя ради, не мешайте мне" [9].

Таким образом видно, что ход кампании до занятия Турина вовсе не удовлетворял самого Суворова и, в значительной степени, зависел не от его воли. Конечно он делал ошибки, как объяснено в своем месте, и продолжал их делать в Турине, раздробив значительную часть своих сил для овладения краем и очищения его до Альпов. И хотя главная тому причина заключалась в недостатке сведений о Моро, но и в этой скудости известий Суворов не совсем прав: в его распоряжении находилось гораздо больше войск, чем у Французов, особенно легкой конницы для разведочной службы; союзники владели всем краем вокруг Моро и должны были иметь о нем верные сведения гораздо скорее и легче, чем Моро о союзниках. Но и это замечание верно не безусловно. Некоторые внимательные участники Итальянской кампании заметили, что французская партия была сильна в западной части северной Италии, и это обстоятельство должно было сильно затруднять циркуляцию верных о Французах известий [12]. Торжественные встречи Суворова, а также народные восстания в разных местах, не есть опровержение. Французские сторонники на итальянской территории очень уменьшились в числе, но самые упорные и энергические только присмирели, стушевались и стали действовать втайне. А подобные непримиримые и составляют

действительную силу всякой партии. В эту кампанию происходили беспрестанно такие сюрпризы и неожиданности, что их только и можно объяснить глубоким разделением Итальянцев на две ничем не согласимые политические фракции.

Вообще описываемый период Итальянской кампании сложился под действием многих причин, и приписывать все худое Суворову невозможно, при условии соблюдения хоть тени беспристрастия. Разве все, начиная с безусловных венских инструкций и кончая свойствами австрийского интендантства, не создавало русскому полководцу очарованного круга, из которого он не мог вырваться? В этом и заключается основная суть дела. Но чтобы исчерпать предмет до конца, остается рассмотреть еще одно обстоятельство, которое потом было выдвинуто Австрийцами в виде обвинения Суворова и Русских, именно грабительство войск.

Нельзя отрицать, что русские войска, десятки лет воспитывавшиеся в борьбе преимущественно с Турками и Татарами, отличались известною долею распущенности, тем более, что обычай узаконил в них понятие о праве на добычу. Но в Италии и обстановка войны, и присмотр за войсками были уже не те, что в Турции или Польше. Бывали случаи грабительства, и в начале быть может не редкие, но это были случаи, а не система. При движении от Адды к Милану, Суворов заметил несколько русских солдат на отлете, велел их схватить и тут же, на походе, прогнать сквозь строй [8]. Затем, после выступления из Милана, при устройстве переправы через По, австрийский понтонерный офицер донес о притеснениях, делаемых Русскими местным жителям и, как видно, жалоба эта была не первая. Суворов велел сообщить Розенбергу, чтобы грабежи солдат непременно были прекращены; приказал разыскать, кто ограбил подателя жалобы и найденного наказать, а полковому командиру заплатить обиженному, что причитается. Но жалобы продолжались, и потому спустя несколько дней был отдан приказ. Объявлялось, что за все подобные беспорядки отвечает генерал-гевальдигер, который должен иметь своих помощников в хвосте каждой колонны, при взводе драгун и десятке казаков. "Суд короткий", говорится в приказе: "старший в полку или в батальоне прикажет обиженному все сполна возвратить, а ежели чего не достает, то заплатить обиженному на месте из своего кармана; мародера — шпицрутенами по силе его преступления, тем больше, ежели обиженного на лицо не будет". Суворов обращается и прямо к Розенбергу: "Андрей Григорьевич, Бога ради учредите лучший порядок; бесчеловечие и общий вред впредь падают на особу вашего высокопревосходительства".

Кажется это увещание, вместе с предписанными мерами, в известной степени подействовало. Разумеется отдельные случаи продолжали проскакивать, но это зло неизбежное всегда и всюду. Возводить их в систему и на них строить характеристику армии - прием несправедливый и менее всего приличествующий Австрийцам, которые имеют в этом отношении собственный опыт и дурную славу, распространенную в западной Европе о Хорватах. Да и поводы к самовольству и мародерству со стороны русских солдат создавались Австрийцами же, т.е. нераспорядительностью и неисправностью их провиантских чинов и учреждений. Багратион, узнав однажды о прибытии транспорта с печеным хлебом для других войск, удержал его для своего отряда, потому что уже третий день нуждался в провианте. Казачий полковник Поздеев доносил, что его полк третий день не получает провианта и фуража и что хотя он посылал с требованием в магазин, но австрийский генерал Цопф не приказал выдавать. Подобные жалобы заявлялись русскими начальниками часто, и русский обер-провиантмейстер-лейтенант Крок рапортом подкрепляет их справедливость. Как же было, при таких порядках, удержать солдат от желания — попользоваться чем-нибудь у жителей? Даже в лучших случаях, когда войска не нуждались в самом необходимом, например в хлебе, им приходилось зачастую довольствоваться сухоядением, вместо простой, но сытной и питательной пищи, к которой они привыкли в России. И это происходило в богатой стране, полной продовольственных способов, которые кололи глаза и раздражали аппетит. Однажды, на каком-то переходе, группа солдат расположилась на берегу реки. Закусывали тем, что имели при себе, и смачивали горло водой, хлебая ее деревянными ложками прямо из реки. Наехал случайно Суворов; "что ребята вы тут делаете", спросил он: "Итальянский суп хлебаем, ваше сиятельство", отвечали солдаты. Суворов слез с лошади, подсел к ним, взял ложку, похлебал воды, очень похвалил итальянский суп и потом сказал, что "теперь сыт, совсем сыт". Садясь на лошадь и прощаясь с солдатами, он многозначительно им заметил, что Французы невдалеке, что у них пропасть разного добра и что надо только до них добраться, а там уж не станет дела за приправой к супу.

Каковы бы ни были нарекания на Суворова и на его русские войска, Император Павел был ими очень доволен, и вся Россия тоже. "Честные и верные сыны отечества составляют хор, воспевающий победы ваши", писал Суворову Ростопчин: "а злодеи ваши и тварь пресмыкающая грызет землю и боится блеска славы вашей". Государь приказал справиться, сколько есть готовых

крестов св. Анны, чтобы послать тотчас же Суворову 500, "в его волю". В начале июня Государь писал ему: "в первый раз уведомили вы нас об одной победе, в другой о трех, а теперь прислали реестр взятым городам и крепостям. Победа предшествует вам всеместно, и слава сооружает из самой Италии памятник вечный подвигам вашим. Освободите ее от ига неистовых разорителей, а у меня за сие воздаяние для вас готово. Простите, Бог с вами". И точно, в полтора месяца северная Италия была очищена от неприятеля; в руках Французов оставались только крепости Мантуя и Кони да цитадели туринская, александрийская и тортонская.

Глава XXX. Итальянская кампания: Треббия; 1799.

Нерешительные действия в Швейцарии; дипломатическая переписка. — События на юге; движение Макдональда к Апеннинам, а союзников к Александрии; быстрый поворот их на встречу Французам — Распорядительность Суворова; его наставления и приказ по армии. — Упорное дело у Сан-Джиованни; прибытие Суворова; отступление Французов за Тидону; распоряжение на следующий день. — Атака; непослушание Меласа; отступление неприятеля за Треббию. — Возобновление боя на утро; вторичное ослушание Меласа; атака Лихтенштейна; бегство Французов. — Изнеможение войск; приготовления к завтрашней атаке; отступление неприятеля; бой на Нуре. — Упреки критиков Суворову; объяснение. — Дело Моро с Австрийцами у Касино-Гроссо. — Слабое преследование Макдональда; сдача туринской цитадели.

Май близился к исходу; с новым месяцем нарождались новые, крупные военные события. Но прежде, чем приступить к их описанию, необходимо окинуть беглым взглядом все, что произошло в других местах, и подвести итоги.

Находясь в Турине, Суворов, согласно смысла венских предписаний, решился начать осаду туринской цитадели, но немедленно приступить к этому делу ему не удалось: помешали непрерывные проливные дожди и потребовалось подвезти из Милана осадные орудия. Была осадная артиллерия и в Турине, но

в недостаточном числе; Суворов же держался в Италии правила - приступать к осаде крепостей не иначе, как с весьма сильной артиллерией, подавляя крепости артиллерийским огнем, дабы сократить время осады. Сделаны были распоряжения и в других частях театра войны, соответствующие новым обстоятельствам: выдвинуты небольшие отряды для наблюдения за горными альпийскими проходами со стороны Савойи и Дофинэ, заняты Пиньероль и Суза, Вукасовичу приказано двинуться к Апеннинам; Швейковский, Секендорф и Алькаини направлены тоже в горы долинами Бормиды, Орбы и Скривии. Эти последние распоряжения остались однако, как увидим ниже, не исполненными, по изменившимся внезапно обстоятельствам.

Армия эрц-герцога Карла, почти ничего не сделавшая в апреле, немногим больше сделала и в мае. Назначенный состоять при эрц-герцоге в качестве доверенного лица от Русского Императора, генерал-адъютант граф Толстой, доносил, что Австрийцы, за сырою погодою, расположены по кантонир-квартирам и что эрц-герцог не имеет права решительно ничего предпринимать, без предварительного согласия гофкригсрата. Уступая однако советам Толстого, в начале мая австрийский полководец предпринял наступательное движение для изгнания Французов из Граубиндена. Граф Бельгард двинулся в Граубинден из Энгадина, генерал Готце из Форарльберга, эрц-герцог же ограничился на первое время демонстрациями. Когда, при огромном перевесе австрийских сил, Граубинден был занят, эрц-герцог вступил в Швейцарию, впрочем чрезвычайно медленно и нерешительно. Обе части его армии теперь соединились, но от этого энергии в её действиях не прибавилось. Произошло сражение; обе стороны понесли огромные потери, особенно Австрийцы, при результате неопределенном; спустя сутки Французы однако отступили, и Австрийцы заняли Цюрих. Затем, несмотря на свое численное превосходство, ни на приобретенную с Цюрихом выгодную стратегическую позицию, они снова остановились и расположились по квартирам.

Это было в конце мая; в первых же это числах Бельгард, войдя как было сказано в Граубинден, стал ожидать приказаний от Суворова, под начальство которого он должен был поступить по заранее утвержденному плану. Получив это приказание, он должен был отделить часть своих сил для готовившейся атаки С-Готара и с остальными направился к озеру Комо. Нападение произведено успешно. Суворов отдал благодарность командовавшему генералу Гадику за преимущественное употребление холодного оружия и при этом объявил по армии, чтобы войска поступали всегда таким же образом; "пехота, не

занимаясь слишком много перестрелкою, должна бросаться на неприятеля в штыки, а конница с саблями врезываться в ряды пехоты и кавалерии". Суворов поторопился благодарить Гадика; с последовавшим затем наступательным движением Французов с двух сторон, генерал этот совсем потерял голову и только случайно вышел из опасного положения. Суворов ободрил его письмом и поощрял к дальнейшим наступательным действиям, но Гадик не трогался с С-Готара. Суворов рассердился и сделал ему саркастически-резкое замечание. "Вы победили и остановились", писал он: "забились в унтеркунфт и принимаетесь за нихтбештимзагерство". Объясняя далее, что надлежало преследовать неприятеля и атаковать его с тыла, Суворов говорит: "хотя неприятеля можно отрезывать лишь с превосходными силами, иначе будешь сам им отрезан, но другое дело атаковать с тыла; тогда и с малым отрядом можно его отрезать и принудить к сдаче".

Однако, несмотря на бездействие Гадика, Французы сами отступили, и Австрийцы заняли большую часть малых кантонов. Но они не воспользовались этим, и главная армия эрц-герцога Карла оставалась в полном бездействии. Причиной тому были отчасти военные соображения Венского кабинета, преимущественно же политические и между ними главное - желание завладеть Баварией. Император Павел, раздраженный конфискациею в Баварии имений Мальтийского ордена, чуть было не попал на удочку австрийской политики; но поспешность, с которою Баварский курфюрст обещал исправить свою ошибку, остановила Русского Императора от неприязненных действий против Баварии. Венский кабинет все дожидался, когда русский корпус Римского-Корсакова (бывший Нумсена), находившийся в пути, подойдет, обезоружит баварские войска и передаст Баварию управлению австрийского комиссара; а для замаскирования этой действительной причины, приводилась вымышленная, — будто русский корпус необходим для подкрепления правого фланга Австрийцев. Вообще как на этот, так и на другой русский корпус, Ребиндера, Венский кабинет возлагал большие надежды, но под влиянием обстоятельств беспрестанно изменял свои предположения на счет места употребления русских вспомогательных войск и обращался к Павлу I с просьбами, одна другой противоречащими. Все лето прошло в дипломатической переписке и переговорах о плане действий, в ущерб самим действиям. Император Павел был наконец выведен из терпения, и окончательное решение его последовало в том смысле, что Корсаков пойдет в Швейцарию, а Ребиндер в северную Италию. Так и состоялось, но отношения между двумя императорскими

дворами сделались холоднее.

Иначе впрочем и не могло быть при несогласимых целях, к которым стремились оба правительства, Русский Государь поднял оружие ради идеи, Австрийский - с затаенными эгоистическими намерениями. По мере успехов Суворова, алчность Венского двора увеличивалась, аппетит разгорался, и взоры стали обращаться не только на соседние Пьемонт пли Баварию, но и на южную Италию, так что даже в дальнем Неаполе высказывалось различие между русской и австрийской политикой.

Там, в недавно родившейся республике Парфенопейской, кипела кровопролитная война. Как и всюду в Италии, население бывшего Неаполитанского королевства распалось на две партии; но контрибуции, несправедливые налоги, злоупотребления и насилия Французов скоро уменьшили число сторонников республиканского режима. Спокойствие - поддерживалось временно присутствием французских войск, но несмотря не это, возмущения, местами и не прекращавшиеся, скоро распространились и перешли в общее восстание. Загорелась народная междуусобная война, полная совершеннейшего варварства; под покровом патриотизма и политических принципов происходили ежечасно и повсеместно зверства, неистовства и ужасы, от которых стынет кровь. Уполномоченный Неаполитанского короля, кардинал Руффо, прибывший с острова Сицилии для руководительства инсурекцией и для главного предводительства восставшим народом, объединил разрозненные усилия инсургентов и стал постепенно подвигаться вперед, занимая одну область за другою; но беспощадный, дикий характер войны все таки не изменился.

Король Фердинанд, оставленный союзным и родственным двором Венским, всю надежду свою возлагал на Русского Императора. Павел I повелел Суворову войти в прямые сношения с Неаполитанским двором и приказал обратить особенное внимание на восстановление в Неаполе королевской власти. В том же смысле даны были инструкции адмиралу Ушакову, который начальствовал русско-турецким флотом в Средиземном море. Ушаков, занятый на Ионических островах заготовлением продовольствия для своей эскадры и починкою кораблей, мог только в половине апреля отрядить небольшую эскадру под начальством Сорокина. Появление этой эскадры у неаполитанских берегов произвело страшное смятение между республиканцами и сильно подвинуло вперед дело короля и роялистов. Но еще более решающим оказалось русское военное вмешательство, когда Сорокин в начале мая послал внутрь королевства отряд из 400 солдат и матросов с 4 пушками, под

начальством капитан-лейтенанта Белле, впоследствии усиленный еще сотнею людей и 6 орудиями. Белле соединился с Руффо, по его просьбе стал устраивать и обучать беспорядочные толпы народной рати и потом, в самых последних числах мая, решился двинуться вместе с бандами Руффо к Неаполю, для нанесения окончательного удара Парфенопейской республике.

Командовавший французскими войсками в южной Италии генерал Макдональд, по вестям о первых успехах Суворова обязан был двинуться к северу на выручку своих, однако запоздал поневоле, потому что требовалось время на сосредоточение войск, заготовление продовольствия, обеспечение всем нужным укрепленных пунктов и т. п. Как только началось сосредоточивание войск и едва Французы покидали какую-нибудь часть края, там тотчас вспыхивала инсурекция. С неимоверными усилиями успел Макдональд устроит свое выступление из Казерты 26 апреля и с величайшими затруднениями шел к северу, присоединяя к себе по пути все французские войска, какие только можно было взять. Окруженные инсургентами колонны Макдональда следовали по стране опустошенной, терпели крайний недостаток в продовольствии, ежедневно отражали дерзкие нападения банд и только к 14 мая прибыли во Флоренцию, а затем 18 числа в Лукку, где заняли позицию и оставались на ней до 29 мая, устраиваясь после долгого и трудного пути.

Таким образом две французские армии, силою до 55,000 человек, кроме гарнизонов, собрались на южном склоне Апеннинов. Союзная армия превосходила обе французские почти вдвое, но в главном, действующем корпусе не насчитывалось и трети, - до такой крайней степени доходило раздробление союзных сил для прикрытия завоеванного края, осады крепостей и для охранения северной Италии, окруженной с трех сторон неприятелем. Это невыгодное расположение, порожденное главным образом венскими инструкциями, которых Суворов принужден был держаться местами по духу, а местами и по букве, — не мешало однако же Австрийскому императору быть недовольну, как будто такой ненормальный порядок происходил всецело от доброй воли самого главнокомандующего. Так, например, Тугут находил, что Суворов мог бы не тратить времени на осаду туринской цитадели, для чего требовался отдельный корпус, а просто взять ее штурмом, — обстоятельство в высокой степени комичное, доказывающее до какой степени велико было Тугутово самомнение. Тем не менее существовавшее раздробление сил, безопасное в виду одних остатков армии Моро, могло обойтись союзникам дорого, если бы Макдональд не

задержался в Тоскане, а продолжал энергически наступать к По, — тогда передовые корпуса австрийские были бы несомненно раздавлены, и Макдональд дошел бы до Тортоны прежде встречи с главными силами.

Суворов не мог этого не понимать и потому принимал заботливые меры к обеспечению своего тыла от неприятельских покушений, обратив особенное внимание на пиаченцкую цитадель, что потом и оправдалось, как мера проницательная и в высшей степени благоразумная. Сам же он, как мы видели, решился преследовать Французов в Генуэзскую Ривьеру и отдал уже все по этому приказания, как вновь полученные известия заставили его опять изменить план. По слухам, показаниям, даже перехваченным письмам выходило, что Макдональд морем переезжает в Ривьеру и что Моро получил значительные подкрепления, ожидая новых чрез Бриансон. Присутствие многочисленного французского флота в генуэзской гавани еще более усиливало достоверность известий. Суворов пришел к заключению, что вероятнее всего следует ожидать наступления неприятеля к стороне Турина и потому расположил части своей армии так, чтобы можно было в два-три дня сосредоточить к угрожаемому пункту до 30.000 человек. Несколько дней он выжидал в Турине, чтобы намерения противника обнаружились, но получаемые сведения, хотя неясные и противоречивые, не подкрепляли его предположения; поэтому он пришел к заключению, что ошибался и что наступательные действия Французов будут направлены скорее к Александрии и Тортоне, следовательно надобно сосредоточиться к Александрии.

Исполнение последовало за решением, не теряя времени. Сам Суворов отправился из Турина 20 мая; к Александрии потянулось все, что только можно было тронуть с места, и даже Краю приказано было идти туда же с частью своих войск, преимущественно с кавалерией. Не ограничиваясь этими общими мерами, Суворов, в виду важности приближающегося момента, выказал особенную заботливость и по частностям. Генералу Кейму он дал наставление, как продолжать осаду туринской цитадели и вместе с тем обеспечить себя от неприятеля, который показался бы со стороны Савойи и Дофинэ; указал — где следует построить и возобновить укрепления, сколько заготовить запасов для войск и для жителей и проч. Бельгарду, который шел к Александрии, приказано устроить мосты на реках Бормиде и Танаро, чтобы армия могла свободно маневрировать; указано на Валенцу как на главный опорный и складочный пункт; велено укрепить ее. Кроме того послано приказание производить работы по прикрытию переправы у Мецано-Корти, также предместий

крепостей; приводить в оборонительное положение Павию, Пиаченцу и другие пункты; ускорить развозку из туринского арсенала орудий, снарядов, пороха.

Эта распорядительность Суворова, показывающая, что его нельзя упрекнуть, вопреки мнению многих, в недостатке предусмотрительности и осторожности, шла и вширь, и вглубь. Багратиону он пишет, что войска Бельгарда придут под Александрию из Тироля "не обученные, чуждые действия штыка и сабли", а потому "ваше сиятельство, как прибудете к Асти, повидайтесь со мною и отправьтесь не медля к Александрии, где вы таинство побиения неприятеля холодным ружьем Бельгардовым войскам откроете и их к сей победительной атаке прилежно направите. Для обучения всех частей довольно двух и трех раз, а коли время будет, могут больше сами учиться. А от ретирад отучите. Наблюдите сие крепко и над российскими". Бельгарду, человеку новому, Суворов начинает предписание словами, что "деятельность есть важнейшее из всех достоинств воинских"; почему, в виду принятого плана операций, надлежит спешить, как только возможно, походом к Александрии. Имея в виду нераспорядительность австрийского интендантства, Суворов говорит дальше: "чтобы подкреплять войска, можете вы безденежно брать у обывателей вино и мясо. Идти им тем порядком, какой у меня давно заведен, а именно: кашевары с мясом и котлами во вьюках выступают в 12 часов ночи вперед, на 2 мили (у меня весь суточный переход от 4 до 5 миль); кашевары располагаются и варят. Войска поднимаются в 3 часа ночи, идут милю, отдыхают один час, потом опять подымаются и идут милю, с час отдыхают, идут опять одну милю и приходят к своим котлам; кушанье готово, вино там, ни одного усталого! Поев, отдыхают до 4 часов по полудни, потом опять поднимаются и идут одну милю, так что в 9 часов вечера приходят в лагерь. Все вьючные лошади с палатками были уже отправлены наперед в полдень; палатки поставлены, солдат подоспел и ложится отдыхать до 3 часов следующего утра, а там снова поход". Предписание оканчивается так: "спешите, ваше сиятельство, деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время дороже всего".

Мая 30 войска двинулись с разных сторон к Александрии, и 1 июня там уже сосредоточилось до 34,000 человек. Русские войска, выступившие из Турина, сделали в сутки 50 верст по дорогам, совершенно испорченным от проливных дождей; им удалось это исполнить только благодаря тому, что колонну сопровождал лишь самый необходимый, легкий обоз. Суворов объявил им благодарность в приказе по армии. Но так как ожидалось к

Александрии еще до 15000 человек, то австрийское провиантское управление, привыкшее распоряжаться по заблаговременно составленным маршрутам и не допускавшее в свою программу внезапности, объявило невозможным продовольствовать такую массу войск. Пришлось 2 июня вечером отсылать русские войска опять назад к Асти; но 3 июня ранним утром, собираясь выступить с ночлега на полпути дальше, Розенберг получил от Суворова новый приказ, - идти опять на соединение с ним, потому что получены новые вести и "Французы, как пчелы, почти из всех мест роятся к Мантуе".

Вечером 2 числа оказалось, что все прежние донесения о Французах ложны. Макдональд вовсе не предполагал плыть морем к Генуе, Моро не получал никаких подкреплений (кроме одного батальона), ожидаемое наступление его к Александрии и Тортоне было пустым слухом. Заметив излишнюю внимательность Суворова к молве и вестям, Моро воспользовался его слабой стороной и сам распустил все эти слухи, подкрепив их разными передвижениями войск, нападениями на аванпосты союзников и т. под. Суворов попался в ловушку и сначала не поверил доносившимся до него смутным вестям о движении Макдональда вперед, к Модене и Реджио. А между тем это было верно, в чем Суворов убедился 2 числа вечером, получив официальное донесение, что граф Гогенцолерн атакован 1 числа со своим передовым отрядом при Модене большими силами и отброшен к Мантуе.

Суворов пришел теперь окончательно к сознанию слишком большой своей доверчивости, что и изложил в довольно большой заметке, ни для кого не предназначенной. Он пишет, что новости сменяются одна другою ежеминутно; что шпионы большею частию двойные шпионы, т.е. служат обеим сторонам; что во всяком случае они не станут много рисковать из-за получения верных сведений, а издали не в состоянии судить о положении дел в армии. "Надо действовать по указаниям своего собственного разума", говорит он: "если не хочешь впасть в сомнамбулизм".

Положение дел обрисовалось нельзя сказать, чтобы в хорошем для союзников смысле, так как Макдональд мог напасть на Края, освободить Мантую, разбить несколько разбросанных корпусов и вообще наделать больших бед, будучи подпущен слишком близко. Но Суворов был не из таких, которые от неожиданности теряют голову и делаются пассивными. Он даже усмотрел в новом обстоятельстве больше добра, чем худа, потому что неприятель перестал быть неуловимым, сделался осязательным, и предстояла возможность с ним встретиться, т.е. его разбить. И действительно, было бы гораздо хуже, если бы

Суворов находился еще в Турине; не даром же он добивался занять центральную позицию между двумя французскими армиями. Теперь следовало только торопиться, чтобы отпарировать опасность более близкую и крупную, т.е. Макдональда, а потом обратиться против Моро.

Суворов не потерял ни одного часа, хотя предшествовавший план его еще не был вполне исполнен, под Александрией успели сосредоточиться не все назначенные туда войска, и таким образом ему приходилось выставить против французов силы меньшие, чем предполагалось. Приказав войскам двигаться с наибольшим спехом к стороне Макдональда, Суворов велел Отту с его дивизией держаться между Пармой и Пиаченцой; Краю - все, что может быть отделено от блокадного корпуса, послать на усиление главной армии и других отрядов; Бельгарду - прикрывать осаду александрийской цитадели и наблюдать за неприятелем в Генуэзской Ривьере. Объявлены и многие другие распоряжения, соответственные случаю; сделано сношение с эрц-герцогом Карлом; написано Кейму в Турин - спешить осадою цитадели, "чтобы я не прежде вас пропел Тебе Бога хвалим". Сверх всего дано наставление войскам, как следует действовать (см. Приложение X, Г), и в заключение объявлен приказ, для возбуждения энергии в действиях и милосердия к безоружным и пленным. В приказе помещены слова, которые солдаты должны заучить и употреблять в предстоящем бою, в роде балезарм, жетелезарм и проч.; внушалось, что неприятелей немного и то всякий сброд. Вообще Суворов, совершенно уверенный в победе, хотел и в войска перелить эту уверенность, как лучший залог успеха, и конечно в таком расчете начал свой приказ словами: "неприятельскую армию взять в полон".

Все его распоряжения были превосходны и в высокой степени целесообразны, но в исполнении нельзя было не наткнуться на препятствия. Главное затруднение заключалось в устройстве переправ, и даже приходилось изменять маршруты, чтобы избегнуть наводки новых мостов. Например войска, несмотря на палящий зной, сделали переход в 45 верст, а перед тем потеряли целые сутки из-за неготового моста, Спешить же надо было во что бы то ни стало; к вечеру 31 мая Макдональд уже спустился с Апеннинов и расположился на позиции от Болоньи до Веццано. На следующий день был им атакован передовой австрийский отряд Гогенцолерна и понес сильное поражение, потеряв свыше 1,500 пленных, 3 знамени и 8 орудий, причем был ранен сам Макдональд. Край забил тревогу, и было впрочем из-за чего. Макдональд продолжал наступление, и 5 июня дивизия Отта имела с ним жаркое дело у Пиаченцы; Отт принужден был

отступить и расположиться у С.-Джиовани.

Узнав об этом, Суворов приказал Меласу тотчас же идти вперед на помощь Отту с частью войск, а вслед затем, до рассвета, выступила 6 июня и вся армия. Дойдя до Страделлы, войска расположились было в 10 часов утра отдохнуть, но от Отта пришли новые вести: требовалась немедленная подмога, Слабый отряд его был в критическом положении перед несоразмерным по численности неприятелем, который решился уничтожить Австрийцев прежде, чем подойдет подмога. Суворов поскакал туда сам, захватив из авангарда казачьи полки и взяв с собой Багратиона, который на это время сдал начальство над оставшимися войсками авангарда великому князю Константину Павловичу. Войскам приказано идти как можно скорее, напрягая последние усилия, и в том же смысле прислано с дороги несколько подтверждений.

Неприятель успел перейти чрез р. Тидону; войска Отта в крайнем расстройстве отступали к С-Джиовани, как подоспел с передовыми войсками Мелас. Отт остановился и, пользуясь пересеченною местностью, стал успешно отбивать атаки. Но в 3 часа дня французы удвоили усилия, повели энергическую атаку с фронта и послали в обход правого фланга Австрийцев Домбровского с Поляками. Австрийская батарея из 8 орудий была захвачена, и над головами Меласа и Отта собирался последний, неотразимый удар. Но в этот решительный момент показалось в тылу густое облако пыли, и на поле сражения явился Суворов с 4 казачьими полками. Он поспел как раз вовремя; несколько дней спустя, Мелас со слезами на глазах говорил Милорадовичу, что спасением своим обязан быстрому прибытию Русских [1]. Собственно и не Русских, а Суворова; Русских прибыло так мало, что на стороне Французов все-таки оставался большой численный перевес, но эта разница пополнилась присутствием Суворова.

Явился в нем гений войны, прилетел дух победы. Вскакав на возвышение, он окинул долгим, внимательным взглядом поле сражения. Именно в подобные моменты, когда дело касалось его неподражаемого глазомера, он бывал истинно велик. Два казачьи полка, не успев перевести дух, полетели вправо, во фланг Домбровскому, а против фронта его посланы драгуны; другие два казачьи полка понеслись под начальством Суворовского племянника, Горчакова, грозить правому флангу Французов. Войска Макдональда увидели казаков впервые, - и не по пустому: наступление Французов задержалось, а Поляки приведены были в совершенное замешательство. Успех конечно был минутный, но в подобных случаях каждая минута и дорога. Показалась на дороге голова русского авангарда. Исполняя приказание Суворова,

великий князь не медлил; под палящим зноем пехота не шла, а бежала; колонна растянулась Бог знает как далеко; люди выбились из сил, падали рядами и многие из упавших уже не вставали [2]. Но остальные продолжали идти на выстрелы, и скоро голова колонны подошла к полю сражения. То были храбрые из храбрых; люди, не столько крепкие телом, сколько могучие духом; на них-то всегда Суворов и рассчитывал, поставляя правилом, что "голова хвоста не ждет".

Войска подходили и выстраивались против флангов неприятеля, но полки и батальоны были очень слабы. Князю Горчакову назначено ударить в правое крыло, Отту атаковать центр, Багратиону левый фланг, - всем одновременно, не теряя времени на перестрелку. Багратион подошел к Суворову и вполголоса просил дозволения — повременить, пока прибудет хоть часть отставших, потому что роты не насчитывают и по 40 человек на лицо. Суворов отвечал ему на ухо: "а у Макдональда нет и по 20; атакуй с Богом" [3]. Вся линия ударила дружно, с музыкой и барабанным боем, Русские с песнями. Местность была чрезвычайно пересеченная, что усиливало губительность огня Французов, которые однако же не ограничивались пальбою, а беспрестанно пёреходили к штыковым атакам. Очень упорно они держались, но Суворов разъезжал по фронту и все повторял: "вперед, вперед, коли!" Союзники двигались не равномерно; успевал больше других Багратион. Он валил на Домбровского с фронта, казаки налетали с фланга и тыла, врывались в каре, кололи, рубили, производя атаки одну за другою. Несколько польских батальонов были совершенно рассеяны, подошедшая на помощь французская полубригада сбита, левое крыло неприятельское опрокинуто за р. Тидону. Правое крыло из войск Виктора и Сальма держалось, но отступление Домбровского заставило и его ретироваться, чтобы не быть отрезанным. В это время кавалерия Багратиона, прогнав Поляков, ринулась вдоль позиции и ударила во фланг отступавшему Виктору. Французы построили каре, но не выдержали стремительного нападения; каре были разорваны, рассеяны, и Французы с великим трудом и потерями собрались по ту сторону Тидоны.

К 9 часам вечера дело было кончено, преследование не производилось. Из предшествовавшего изложения можно понять, до какой степени были утомлены союзники; к этому надо прибавить, что искрещенная канавами и заборами местность боя еще более увеличивала их усталость; целые эскадроны спешивались и вели лошадей в поводу или вытаскивали их из канав. Правда, к концу боя начали подходить войска главной колонны, но они оказались также совершенно измученными

большим и быстрым переходом. Следует еще заметить, что со всеми подошедшими подкреплениями, победители имели не свыше 14-15,000 человек, т.е. на 3-4,000 меньше Французов. Было и то сделано много: Макдональд рассчитывал раздавить Отта, а между тем наткнулся на самого Суворова, которого полагал в нескольких днях расстояния.

Суворов поздравил войска с победой и вместе с великим князем поехал на ночлег в С-Джиовани. Французы отступили к р. Треббии, верст за 7 от Тидоны. Макдональд не имел еще всех своих войск под рукой: Оливье и Монришар находились назади в расстоянии около перехода; с прибытием их Французы усилились бы больше чем в полтора раза; сверх того Макдональд твердо надеялся на содействие Моро. По этим соображениям, он положил весь следующий день провести в выжидательном положении и атаковать союзников лишь 8 числа. Но это не сходилось с расчетом Суворова, который решил начать наступательные действия с следующего же утра, хотя подошли еще не все войска, Ночью сделаны все нужные распоряжения; послано приказание одному из отдельных отрядов, Чубарова, спешить на соединение с армией; разосланы офицеры собирать на дороге отсталых; велено в тылу, у Парпанезе, устроить чрез По мост, чтобы ожидаемые войска Края могли подойти к армии. Мост этот имел и другое, тайное назначение: он был нужен в случае неуспеха, так как отступить по прежнему к Александрии не представлялось возможным, ибо союзников встретил бы Моро, движение которого по слухам подготовлялось.

Таким образом, общий смысл своих последующих действий Суворов основывал на сочетании отваги с предусмотрительностью и осторожностью. Для внушения войскам уверенности в победе, он дал диспозицию с маршрутами до Нуры, т. е. на 30 верст вперед; разослал наставление войскам, в котором об отступлении не было помина, и не приказал употреблять команды стой. Чтобы одушевить Австрийцев, отданы пароль и лозунг *Терезия* и *Колин*, в воспоминание победы при Колине, одержанной Австрийцами в Семилетнюю войну. Общий план действий Суворова вполне отвечал обстоятельствам и заключался в сосредоточении усилий противу левого неприятельского фланга; этим угрожалось сообщению Макдональда с Моро и даже пути отступления, а при наибольшем успехе союзников, Французы могли быть приперты к р. По. Суворов предписал строиться войскам в две линии, на 300 шагов дистанции, и правый фланг свой назначил выдвинуть уступом вперед, по образцу косвенного боевого порядка Фридриха Великого.

К утру 7 июня под ружьем состояло до 22,000 человек, но

войска продолжали подходить целый день; последние пришли вечером. Их вводили в дело по мере прибытия, не ожидая общего сбора [4]. Начало действий назначено было в 7 часов утра, но по крайнему утомлению войск отложено до 10. Войска двинулись 3 колоннами; правая состояла из авангарда Багратиона, дивизии Швейковского и двух австрийских драгунских полков; при ней находились Суворов и великий князь. Среднюю колонну составляли русская дивизия Ферстера, казачий и австрийский драгунский полки; левую — австрийская дивизия Отта; резерв — австрийская же дивизия Фрелиха, Начальство над двумя первыми колоннами поручено Розенбергу, а над третьей и над резервом — Меласу, хотя резерв должен был держаться за средней колонной, чтобы подать помощь где потребуется. Из такого распределения начальствования, не отвечавшего преобладающей важности правого фланга, вышла путаница, как сейчас увидим.

Реки Тидона, Треббия и Нура текут почти параллельно и впадают все в реку По. Из них одна Треббия широка (до 1000 шагов), глубину же имела небольшую и, подобно двум другим, была переходима в брод. Но местность была всюду чрезвычайно пересеченная: канавы, реки, плотины, изгороди, виноградники встречались на каждом шагу и весьма затрудняли движение. Войска тронулись с места по назначенным направлениям бойко, но двигались очень тихо; только во втором часу Багратион увидел неприятеля перед собой вблизи. Суворов велел авангарду остановиться, оправиться и перевести дух, так как солнце жгло беспощадно; вслед затем разослал в другие колонны приказание - одновременно начинать атаку, и повел войска Багратиона вперед. Дивизия Домбровского была атакована совершенно таким же образом, как накануне, но оборонялась еще упорнее; это были все самые горячие патриоты, эмигрировавшие из своего отечества, которые ненавидели Суворова и Русских вдвойне. Они дрались отчаянно, в рукопашных схватках действовали не только штыками, но и прикладами, и отстаивали каждый шаг с замечательною храбростью. Но Русские все-таки одолели; Домбровский отступил с большой потерей; один польский батальон, вздумавший атаковать Русских с тыла, был сам отрезан и принужден положить оружие. Французы хотя прислали сильную подмогу, которая могла отрезать войска Багратиона и уничтожить их, но соединенными усилиями Швейковского и Розенберга она тоже была отбита.

Средняя и левая колонны союзной армии также имели успех, особенно последняя, так как Мелас, вопреки диспозиции, удержал у себя резерв Фрелиха, хотя имел против себя слабую французскую бригаду. Благодаря этому обстоятельству, правое

крыло было лишено поддержки и, имея только 11 батальонов, вынесло на себе всю тяжесть боя. Да и вся союзная армия могла попасть в опасное положение, если бы неприятель вздумал ее в центре прорвать, на что имел полную возможность, с прибытием в этот день Оливье и Монришара. Таким образом, хотя союзники на всех пунктах имели 7 числа успех, но Французы, отброшенные за Треббию, все-таки удержались на правом её берегу, благодаря Монришару и Оливье получили вновь значительный перевес в силах и на будущий день могли располагать частью войск свежих, не вступавших еще в дело.

Спускалась темнота; перестрелка, исподволь стихая, прекратилась; запылали костры по обоим берегам Треббии, которая разделяла неприятелей; изможденные усталостью войска готовились отдохнуть и подкрепиться. Вдруг на левом фланге союзников, т.е. к стороне р. По, послышались выстрелы и перешли в гул горячей пальбы. Три французские батальона, без приказания, спустились в реку и направились к противоположному берегу; Австрийцы их встретили; подоспела с обеих сторон конница, и в широком, но мелком русле реки завязался бой, а с берегов грохотала артиллерия. Картина этого сухопутного боя в воде, при лунном свете, была очень оригинальна и живописна, но кровопролитие произошло большое и совершенно бесполезное: атаковали и стреляли не различая своих от чужих, артиллерия била по ком попало, и только к 11 часам ночи удалось прекратить эту кровавую сумятицу. Да еще Розенберг, увлекшись в жару боя, перешел Треббию с несколькими батальонами и, застигнутый тут спустившеюся ночью, запутался в пересеченной местности. Опасаясь наткнуться на Французов, он остановился где был (в тылу неприятельской позиции, за левым флангом), построил общее каре и дал людям несколько часов отдыха, соблюдая тишину. Розенберг находился в положении очень опасном, но вместе с тем и очень выгодном, если бы сумел им воспользоваться; однако он, не зная местности, видел только первое, и потому перед рассветом возвратился на левый берег Треббии, притом так счастливо, что не был даже замечен неприятелем.

Суворов ночевал, вместе с великим князем, в двух верстах от поля сражения. Никаких перемен в диспозиции на завтрашний день он не сделал; войска должны были наступать по прежним направлениям. Меласу подтверждено отправить к средней колонне дивизию Фрелиха и прибавить к этому резерву 10 эскадронов кавалерии. Удивительно, с какою снисходительностью отнесся Суворов к ослушанию Меласа, между тем как, может быть именно из-за него, предстоял на утро новый бой.

Наступление назначено было в 8 часов утра, но вследствие усталости войск отсрочено, как и накануне. Около 10 часов войска стали выстраиваться; одновременно начали делать тоже самое и Французы. Макдональд имел такие же наступательные проекты, как и Суворов, ибо будучи сильнее союзников, он кроме того твердо надеялся, что Моро пособит ему, зайдя в тыл союзникам, а Лапойп с лигурийским легионом выйдя из Апеннин в Боббио, ударит им во фланг. Он даже рассчитывал, что это произойдет не позже 9 числа [5]. В таком расчете он назначил по диспозиции общее наступление, с обходом обоих флангов союзной армии. Правое крыло его армии составляли войска Ватрена и Сальма, в центре находились Оливье и Монришар, на левом крыле Виктор, Руска и Домбровский; резерва не было. Французы тронулись раньше союзников и стали переходить реку колоннами на больших интервалах, которые заполнялись конницей и развернутыми батальонами, оставшимися на своем берегу для содействия наступающим ружейным огнем. Левый фланг завладел на Треббии Ривальтой, и Домбровский двинулся по высотам в обход.

Суворов приказал Багратиону идти против Поляков, принимая вправо, и послал сказать Розенбергу, чтобы он все свое внимание обратил на правый фланг. Багратион смело ударил в штыки, охватив Поляков справа и слева конницей. После упорного боя, Поляки были опрокинуты и едва спаслись за Треббию. Но вследствие движения Багратиона вправо, на встречу Домбровскому, образовался на позиции пустой промежуток, приблизительно в версту; Виктор и Руска, пользуясь этим и своим перевесом в числе, повели атаку на дивизию Швейковского. Русские стали сдавать назад. Французы напирали все настойчивее и не давали опомниться, сменяя одну отбитую атаку другою. Происходило настоящее Суворовское отступление: русские войска, не знакомые с ретирадами, отстаивали каждую пядь земли, переходили в наступление, бросались в штыки, встречали неприятеля огнем чуть не в упор. Один гренадерский полк был охвачен неприятелем со всех сторон; повернув заднюю шеренгу лицом к нападающим, он отстреливался и с фронта, и с тыла одновременно. Французы не могли ничего с ним сделать; он не давался в руки и спас себя сам, благодаря своей неустрашимости и Суворовской закалке.

Бой пяти батальонов против пятнадцати был однако слишком неровен, и истомленные войска едва держались. Розенберг поскакал к Суворову; изнеможенный от зноя, лежал он на земле, в одной рубашке, прислонившись к огромному камню. Вслед за Розенбергом приехал и Багратион. Розенберг доложил, что его

войска не в состоянии больше держаться, и надо перейти в полное отступление. "Попробуйте сдвинуть этот камень", сказал ему Суворов: "не можете? Ну, так в той же мере и отступление невозможно. Извольте держаться крепко, и ни шагу назад". Получив такое категорическое приказание, Розенберг поехал обратно, к своим, а Суворов. послал Меласу приказание — усилить настойчивость действия (вероятно, чтобы оттянуть силы Французов) и потом обратился к Багратиону с приветствием и вопросом — что и как. Багратион объяснил, что Поляки отбиты и отброшены, но у Русских убыль дошла до половины, что ружья плохо стреляют от накопления пороховой грязи и что люди измучены до степени неспособности к дальнейшему бою. — "Не хорошо, князь Петр", сказал Суворов и крикнул: "лошадь". Ему подали копя, он вскочил в седло и как был, в рубашке, держа за рукав перекинутый через плечо полотняный китель, поскакал вправо.

Подъехав к войскам Розенберга, Суворов направился к одному из отступавших батальонов и стал кричать: "заманивайте, ребята, заманивайте,.... шибче,... бегом",.. сам же ехал впереди отступавших. Сделавши таким образом шагов сотню или две, он скомандовал: "стой", и поворотил батальон вперед, против неприятеля, а артиллерии приказал усилить огонь. Солдаты ободрились, Суворов поскакал дальше, к войскам Багратиона. Едва войска увидели своего чародея-начальника, как разом оживились; пропала усталость, явилась энергия, ружья стали стрелять, огонь усилился [6]. С барабанным боем бросились они, по указанию Суворова, влево, на помощь Швейковскому и Розенбергу, и явились в тылу Виктора и Руска. Неожиданное их появление и стремительная атака сразу дали поворот делу; Французы сочли эти войска за свежие, вновь прибывшие, и хотя были все-таки сильнее союзников правого крыла, но перешли в поспешное отступление, причем две полубригады их сильно пострадали. Резервом они не запаслись, подкрепить отступавших было некому, кроме Домбровского; но Поляки, расстроенные в конец и деморализованные трехдневными поражениями, не в состоянии были снова вступить в бой и оставались на правом берегу Треббии в бездействии. Таким образом Виктор и Руска были отброшены за реку. и левое крыло Французов уже не переходило в наступление.

Если, несмотря на геройство и необыкновенные усилия малочисленных войск Багратиона и Швейковского, они не одержали в этот день более решительного успеха над неприятелем и ограничились его отражением, то единственно потому, что лишены были помощи резерва: Мелас опять его

задержал у себя. Тупой старик никак не мог понять, что его роль - второстепенная и что успех сражения зависит от действий правого фланга. Как бы предвидя упрямство Меласа, Суворов перед самым началом дела опять послал ему подтверждение на счет отправки резерва. Не смея уже ослушаться прямо и безусловно, Мелас решился исполнить приказание хоть отчасти и отправил вправо кавалерию Лихтенштейна, удержав пехоту Фрелиха. Но вместе с тем он собрал военный совет, который и постановил, что засим левая колонна никаких наступательных действий предпринимать не в состоянии, а должна ограничиться обороной.

В то время, как Лихтенштейн двигался к правому флангу, Французы производили наступление по всей линии и одною колонною обходили левый фланг союзников. Особенно грозное положение приняли они против центральной дивизии. Ферстер встретил колонну неприятельскую штыковою атакой; в этот же момент, по счастливой случайности, подошел Лихтенштейн и лихо атаковал Французов во фланг. Прискакал сюда и Суворов; летая по рядам войск Ферстера, он направлял бой и все командовал "вперед" [6]. Атакованный с фронта и правого фланга пехотою, драгунами и казаками, Монришар принужден был перейти в отступление, которое скоро превратилось в настоящее бегство, так что Французы едва остановились на той стороне Треббии. Почти к такой же развязке привела встреча Меласа с Оливье, который повел из центра атаку на Австрийцев правого фланга, Сначала Французы имели успех и поставили своих противников в положение опасное, но Лихтенштейн, только что покончивший с Монришаром, примчался к Меласу на помощь, ударил атакующим Французам в левый фланг, опрокинул их конницу и врубился в пехоту. Поддержанные так кстати, войска Меласа оправились от замешательства и перешли в наступление; гоня Французов, они спустились в реку и дошли до её половины, но были остановлены сильным огнем с того берега. В свою очередь Французы тоже пустились было в реку за Австрийцами, но также были отбиты огнем, и войска обеих сторон с тех пор оставались на своих берегах. Отступление за Треббию войск Оливье заставило ретироваться и колонну Ватрена, посланную в обход Меласа, что она и исполнила не без труда и потери, так как зашла уже довольно далеко.

Таков был результат сражения 8 июня к 6 часам вечера. Суворов хотел продолжать наступательные действия за Треббию, что и начал было приводить в исполнение, но встретил отпор [5]. Жара все еще стояла томительная, и войска дошли до совершенного изнеможения; уступая необходимости, Суворов

решился отложить атаку до следующего дня. Цепи аванпостов протянулись по обоим берегам По; грохот батарей продолжался некоторое время, но с темнотой все стихло. Войска расположились на покой; сам Суворов, почти не слезавший с коня все три дня боя, чувствовал крайнее утомление и отправился вместе с великим князем на ночлег. Скоро собрались к нему главные генералы; маскируя свою усталость, Суворов встретил их весело, поздравил с "третьей победой" и поручил передать благодарность храбрым войскам. Но несмотря на эту "третью" победу, он не мог быть доволен полученными итогами, так как троекратно побитые Французы не бежали, а сохраняли внушительное положение. Надо было их сломить во что бы то ни стало, и Суворов приказал войскам изготовиться к раннему утру для возобновления атаки.

Но Французы были уже сломлены и, лишь обладая большою нравственною упругостью, обманывали себя и других. Отразив последнюю попытку союзников к переходу чрез Треббию, они сделали все, что могли; внушительная оболочка сохранилась, но внутри её скрывалось полное разрушение. Когда настала ночь, Макдональд собрал в Пиаченце военный совет, дабы на мнениях генералов основать свои дальнейшие действия. Здесь он получил очень неутешительные сведения: многие полки пришли в совершенное расстройство; убыль людей громадная, кавалерия истреблена почти на половину, Поляков осталось из 2,000 всего 300; некоторые полубригады потеряли по 40 офицеров; много ранено генералов; артиллерийские заряды на исходе; войска упали духом [7]. Вообще положение французской армии было поистине ужасное, и генералы заявили Макдональду в один голос, что продолжать бой считают невозможным. Между тем об армии Моро, который должен был действовать одновременно с Макдональдом, не было никаких известий, также как и об условленном появлении Лапойпа на правом фланге у Суворова. Взамен того, по сделанному Суворовым распоряжению, австрийские отряды, усиленные частями войск Края, уже находились у Французов в тылу и захватили Модену, Реджио, Парму.

Действительно, Макдональду трудно было избрать что-либо другое, кроме ретирады; при таких обстоятельствах принять новый бой мог разве только Суворов. Приказано было тотчас же начать отступление тремя колоннами по направлению на разные пункты, а на берегу Треббии оставить небольшую часть кавалерии, чтобы поддерживать бивачные огни и тем как можно дольше оставить союзников в заблуждении. Так и было исполнено.

Когда забрезжил свет, союзные аванпосты заметили, что неприятеля нет. Послали донесение Суворову; он уже оделся и собирался ехать к войскам, назначив наступление ранним утром. Суворов сильно обрадовался и велел разослать трубачей в окрестные деревни с объявлением о победе. Затем он тотчас же приказал начать преследование неприятеля, для чего и направил Меласа на Понте-Нуру, а Розенберга с русскими войсками на С-Джорджио, послав в авангарде их три батальона Чубарова, только вчера вечером прибывшие. Приказано: "сильно бить, гнать и истреблять неприятеля холодным ружьем, но покоряющимся давать пардон". Отданы в приказе еще кое-какие распоряжения на случай появления Французов на фланге или в тылу. Суворов полагал, что неприятель очень не далеко или что он прибегнет к каким-нибудь военным хитростям, но ошибался, так как не знал еще всей истины о бедственном состоянии Французов.

Союзники тронулись в 4 часа утра; часа через три Мелас занял Пиаченцу и нашел там больше 7,500 больных и раненых, в том числе 4 генералов. Здесь он вновь ослушался Суворова, ибо под влиянием требований гофкригсрата и вообще венских инструкций, счел своею настоятельнейшею обязанностью — заняться разными распоряжениями, касающимися внутренней службы. Таким образом преследование неприятеля было приостановлено, а потом хоть и возобновилось, но только одною дивизиею Отта, который дал спокойно отступить неприятельскому арьергарду.

Не так действовала русская колонна, при которой находился Суворов. Верстах в 20 за Треббией Французы были настигнуты и отброшены за Нуру. Тут, у С-Джорджио, Виктор занял позицию; Суворов велел атаковать ее с фронта и обоих флангов. Видя приближающегося неприятеля отовсюду, Виктор не упорствовал и перешёл в отступление, но несколько запоздал. Русские успели охватить его ариергард с флангов; большая часть французских войск рассеялась, а славная 17 полубригада, известная всей французской армии, положила оружие. Русская колонна продолжала движение еще несколько верст, а передовые войска преследовали неприятеля почти всю ночь. Он отступал поспешно, почти бежал. Суворов как бы удвоил свою деятельность и энергию, весь день был на коне и только с наступлением ночи остановился вместе с великим князем.

Из описания предшествовавших дней можно видеть, какие маловероятные труды вынесли на себе войска. Суворов, при своей военной теории, почти не допускавшей компромиссов, пришел однако к убеждению, что больше требовать нельзя и решился дать людям отдых. Перехваченное письмо Макдональда к Моро и

отбитая переписка Виктора убедили его, что вред, нанесенный Французам, слишком велик, чтобы мог быть скоро исправлен. "Макдональд более чем разбит", писал он Краю и приказал продолжать преследование одной дивизии Отта. Отта сначала задержала внезапная прибыль воды в р. Таро, а потом он сделался медлительнее и осторожнее потеряв почти целый батальон, взятый Французами в плен, остановился у Рубиера и послал за неприятелем лишь партии легкой конницы. Такова была победа на Треббии, на тех самых местах, где за 218 лет до нашей эры, Анибал разбил на голову Римлян. Суворов очень гордился этим совпадением, говорил о нем с воодушевлением и обратился к одному австрийскому генералу с вопросом, отчего Анибал не пошел с Треббии прямо к Риму. Тот отвечал, что вероятно и в Карфагене был гофкригсрат; ответ конечно должен был понравиться Суворову [8]. Но победа стоила очень дорого союзникам, так как сражение происходило в античном роде; холодное оружие, преимущественно штык, действовало с начала до конца и решало судьбу боя. С большою точностью определить потерю нельзя, ибо хотя существуют донесения, но не совсем между собою согласные, и в них замечаются некоторые недомолвки. Недоразумения начинаются с исчисления сражавшихся, так как число их было не одинаковое во все три дня, но несомненно, что наивысшая цифра союзников не доходила до 30,000 человек. Русские и Австрийцы участвовали в сражении приблизительно в одинаковом числе, и потери их были круглым счетом тоже почти одинаковы, простираясь в общем итоге до 5,500 - 6,000 человек убитыми, ранеными и пленными. В числе раненых и контуженных находились Повало-Швейковский и Багратион; под Розенбергом ранено три лошади. Есть свидетельство, впрочем довольно сомнительное, будто Суворов выразился, что еще такая победа, и Французы будут в Вене [9]. Если он и сказал что-нибудь подобное, то под каким-нибудь мимолетным впечатлением, в виде досадного, жесткого слова. Для верной оценки суждений Суворова, необходимо всегда принимать в расчет подвижность и впечатлительность его темперамента, иначе нельзя будет выбраться из массы противоречий, и в результате получится весьма фальшивое о нем понятие.

Суворов не мог давать такое преувеличенное значение своим потерям на Треббии уже потому, что Французам был нанесен урон гораздо больший, и это доказывалось числом одних пленных. Армия Макдональда имела в своих рядах 33-35,000 человек; из них только в пиаченцком госпитале оказалось больше 7,500, и сам Суворов в одном из своих писем, спустя несколько

дней [10], определяет общее их число в 12,268 человек с 4 генералами и 8 полковниками. По соразмерности с ранеными, убитых Французов не могло быть меньше 2,500-3,000, следовательно минимум их общей потери доходил до 15,000, в 2 1/2 раза больше союзной. Трофеи состояли в 6 пушках, 7 знаменах и большом количестве обоза; из числа попавшихся в плен раненых генералов, два было дивизионных (Оливье и Руска).

Награды последовали щедрые. Суворов представил длинный список отличившимся, и Государь утвердил его целиком; нечего и говорить, что никто из генералов, главных участников дела, не был обойден; получил награду даже русский посол в Вене. Всем полкам Розенбергова корпуса пожалован гренадерский марш; нижние чины получили по рублю на человека; сверх того Суворову выслано, для раздачи по его усмотрению, 1000 знаков отличия. Никто не был забыт, даже фельдъегеря; им дано по 100 рублей. Самому Суворову пожалован портрет Государя, оправленный в бриллианты, при рескрипте: "портрет мой на груди вашей да изъявит всем и каждому признательность Государя к великим делам своего подданного, -им же прославляется царствование наше". Сверх того император Павел почтил Суворова другим рескриптом, выразившись в нем так: "поздравляю вас вашими же словами - слава Богу, слава вам". Ростопчин писал ему: "воин непобедимый, спешу уведомить вас, сколь Государь обрадован победами вашими и как мы все, честные люди, в углу церкви молим Господа о сохранении героя российского на славу отечества и жизнь бесконечную". Историк Суворова, Антинг, пожелал быть свидетелем продолжения подвигов своего героя и их летописцем, с разрешения Государя отправился в Италию и привез от Хвостова письмо. Хвостов сообщал, что Государь "неописанно доволен", что по случаю побед беспрестанные праздники, что за молебнами всегда возглашается победительному вождю многолетие, что и он, Хвостов, не обойден, а пожалован обер-прокурором синода. При этом он замечает, что Государь ожидает с нетерпением подробной реляции, ибо "сие дело здесь много гремит; в подобных случаях не надо скупиться на курьеров" [11].

В Австрии весть о победе на Треббии была принята с восторгом, но двор уже имел против Суворова неудовольствия, а потому был сдержан, и император Франц не расщедрился, как увидим ниже. А между тем в Вене надеялись на русского полководца и ожидали от него побед, как уверял Разумовский в своих к нему письмах. Суворов не обманул этих ожиданий; известие о поражении Французов на Треббии должно было иметь там даже двойную цену, так как перед тем получено донесение о

разбитии Гогенцолерна и с замиранием сердца ожидалась весть о последующих действиях [12]. Но предшествовавшее время уже наложило свою печать на отношения между Австрийским правительством и русским полководцем, и затаенные замыслы первого удерживали его вечно на стороже противу второго.

Во Франции уже давно были недовольны правительством, и 30 прериаля (7 июня) произошел там переворот, изменивший состав директории. Вслед затем в Париже получено известие о погроме на Треббии, которое произвело потрясающее действие на всю страну. Народная гордость едва выносила нанесенную ей глубокую рану; обвиняемые в поражении генералы потребованы к ответу в Париж; законодательные советы, до 30 прериаля ревнивые и директории неприязненные, теперь сами выступили с предложением чрезвычайных способов, для спасения отечества от близкой опасности — вторжения иноземцев.

И однако же в военной литературе последующего времени крупная Суворовская победа на Треббии нашла мало справедливых ценителей. С видимой неохотой отдавали должное его необыкновенно-быстрому маршу и замечательной точности комбинации в сосредоточении войск, но вместе с тем как бы в собственное утешение выдвигали соображения, уменьшающие и чуть не уничтожающие достоинство всей операции. Одни указывали, что соединению Макдональда с Моро более всего воспрепятствовала помощь эрц-герцога Карла, в виде оттянутого от него отряда Гадика; другие повествовали, что все усилия Суворова разбились о мужество французских войск и что искусное движение Моро из Апеннинов заставило его бросить недоконченное дело преследования и таким образом довольствоваться полууспехом. Изложенные выше страницы кажется могут служить достаточным ответом на подобные произвольные выводы. Но самые странные обвинения исходили от Австрийцев; по их сведениям выходит, что Суворов поставил союзную армию на Треббии в опасное положение между Макдональдом и Моро, и что его упорство в продолжение трехдневного боя порождено было необходимостью выйти из этого положения. рассуждая по своему вполне логически, эти строгие судьи говорили, что решимость Суворова - употребить последние, страшные усилия для боя на четвертый день, была прямым последствием отчаяния, так как для него иного выхода не было, и оставалось во чтобы то ни стало опрокинуть одного противника, прежде чем другой атакует его с тыла. Короче говоря, Суворова и его армию спасло "добровольное" отступление Макдональда [13].

Тут дело уже не в угле зрения, а в корне понятий, или вернее,

в чувстве, вырастившем понятие. Нам известно, что никаких сколько-нибудь определенных вестей о Моро Суворов не получал до 10 числа и что, для обеспечения отступления, была им устроена у Парпанезе переправа; стало быть "отчаяние" его есть плод досужего воображения, вместе с "добровольным" отступлением Французов. Всякий, знакомый с предшествовавшим боевым поприщем Суворова, знает, что упорство есть индивидуальная его особенность; что он воспитывал войска для "отчаянного" боя и что характер его военной теории заключался в признании возможным невозможного для других. Все это мы видим одинаково и в первых шагах его боевого поприща, и в последних, причем возрастающие препятствия не уменьшают его упорства, а увеличивают. Если же в сражении при Треббии эта упругость предводителя и войск высказывается несколько больше, то причиною тому особенности всей обстановки. Следует помнить, что это было первое генеральное сражение между Французами и Русскими; переход через Адду, где Русские участвовали в деле только местами, к счету не идет. Оба противника не имели друг к другу национальной ненависти или вражды, но оба они привыкли быть победителями многие годы. Встреча их в большой битве приобретала таким образом особенный оттенок; поражение не оправдывалось ни случайностью, ни несчастием, а представлялось стыдом, ущербом чести военной. Оттого, может статься, Русские и Французы дрались на Треббии с последним напряжением сил.

Австрийцы, бесспорно храбрые и мужественные воины, держались однако совсем другой военной теории, а потому. боевые особенности Суворова казались им ненормальными, и упорство его на Треббии могло быть принято за проявление отчаяния. А если прибавить сюда зависть и затронутое национальное чувство, так как ничего подобного кампании 1799 года ни перед тем у них не было, ни после не повторилось, - то этим можно и ограничить объяснение неприязненных отзывов Австрийцев о Суворове.

Прежде чем перейти к изложению дальнейших действий, остается отметить два частные обстоятельства, имеющие связь со сражением при Треббии. В большом ходу анекдот, будто в один из тяжелых моментов боя (вероятно 8 числа), Мелас прислал к Суворову адъютанта с вопросом — куда отступать, а Суворов отвечал — в Пиаченцу. Этого не было. До Суворова дошел потом слух, будто Мелас послал к нему или в его штаб "цыдулку" о том, что в диспозиции ничего не упомянуто про пути отступления, но Суворов этой записки не видал и потому ответа на нее не давал никакого [14]. Другой случай, очень прискорбный, произошел в

Пиаченце, где несколько русских офицеров обобрали находившегося в госпитале раненого французского генерала Сальма. Получив жалобу, Суворов приказал разжаловать виновных в рядовые и потом некоторых из них наказать палками. Хотя много можно встретить в иностранных источниках лжи о Суворове и Русских, но настоящий случай едва ли подходит к категории злостных вымыслов, так как его передает один из панегиристов Суворова [15].

Решив дать своим войскам отдых, Суворов дошел с ними 10 числа до Фиоренцола на р. Арде и остановился на дневку. Только здесь получил он донесение о покушении неприятеля на его фланг и тыл во время сражения на Треббии. Покушения эти состояли в следующем. Для содействия Макдональду, Моро послал по долине Треббии генерала Лапойпа с 3,000-ным лигурийским легионом; Лапойп дошел 5 июня до Боббио и отсюда мог действовать во фланг и в тыл союзникам, но не решился этого сделать, простояв почти три дня в бездействии. Потом он надумался и двинулся к Нуре, но узнав, что русские войска уже там, а Французы в полном отступлении, вернулся опять к Боббио. Осведомившись об этом 10 числа, Суворов послал отряды для прикрытия обозов и для занятия Боббио, так что Лапойп нашел этот пункт уже в руках неприятеля. Он вздумал было атаковать слабый русский отряд, но был им разбит на голову, потерял больше 100 пленных и бежал разными тропинками назад в горы.

Суворову было также донесено, будто за Лапойпом надо ожидать самого Моро, однако это не оправдалось [10]. Моро начал наступление тоже 5 числа, но не сюда, а к Александрии; двигался он чрезвычайно медленно, с целью задержать Суворова у Александрии и дать Макдональду время появиться в тылу союзников. Велико было изумление Моро, когда он узнал, что Суворова давно уже в тех местах нет; расчеты его разлетелись прахом, но он все таки решил продолжать наступление чрез Нови и Тортону, дабы атаковать Суворова в тыл. А так как влево, под Александрией, стоял Бельгард, то французский главнокомандующий счел необходимым устранить предварительно это препятствие. Июня 9 произошло жаркое дело при Касино-Гроссо. Силы были неравные: у Моро около 14,000 человек, у Бельгарда вдвое меньше. Сначала Австрийцы имели успех, но потом Французы одолели, и Бельгард был сильно побит, потеряв убитыми, ранеными и пленными немногим меньше трети своего корпуса. Он однако отступил в порядке за Бормиду и стал укрепляться на новой позиции. Моро, получив затем весть о сражении на Треббии и его развязке, не решился идти на встречу

Суворову, ни даже вторично атаковать успевшего усилиться Бельгарда, а ограничился демонстрациями, чтобы отвлечь союзного главнокомандующего от преследования и конечного истребления армии Макдональда. На этот раз демонстрации остались ни при чем, и союзная армия направилась против Моро не из боязни своего главнокомандующего за тыл, а потому, что по его мнению, разбитие Моро было бы гораздо лучшим довершением победы на Треббии, чем преследование расстроенной в конец армии Макдональда. Суворов оповестил Бельгарда, что выступает обратно, дабы вместе с ним "угостить Моро", но вероятно по усталости войск, тронулся в путь не тотчас же, а на другой день, 12 числа. Несмотря на палящий жар, движение было исполнено как рассчитано, и утром 15 числа назначена совместная атака Суворова и Бельгарда на Моро. Но французский главнокомандующий счел более благоразумным заблаговременно отретироваться в Апеннины.

Пока Суворов шел со спехом назад, на встречу новому противнику, Отт продолжал преследование Макдональда или, вернее сказать, следил за его отступавшими войсками. Французы двигались быстро; отряды, посланные им в тыл Краем, были слабы, а потому не представили серьезного препятствия ретираде. Войска Отта скоро заняли Болонью, а затем и форт Урбано (Кастель-Франко),-последний укрепленный пункт Цисальпийской республики. Суворов, по предложению Отта, велел вывести из форта все запасы, а укрепления его срыть и подорвать, но Австрийский император не одобрил этого распоряжения, а приказал его отменить, имея на то "особые причины", как говорилось в рескрипте. В действительности никаких "особых" причин не было, а существовала одна общая, руководившая австрийскою политикой, которой непонятливый Суворов никак не хотел уразуметь. Этим и кончились действия Отта, так как значительная часть его войск понадобилась для осады Мантуи; он расположился в Парме, Модене и Реджио, а вслед за неприятелем послал легкие конные партии. Макдональд не задавался уже широкими проектами, а заботился исключительно о спасении остатков своей армии и потому решился вести ее по морскому берегу, к Генуе. С большим трудом и риском исполнил он это движение; пехота прошла по горным тропинкам, артиллерию и тяжести перевезли морем. Английский флот был в то время далеко, а на сухом пути союзники прекратили преследование, - вот двойная причина тому, что Французы выбрались из Тосканы беспрепятственно и счастливо. В тылу их тотчас же, даже прежде их отбытия, поднялись народные восстания и скоро обратились в общее движение всей страны, даже без деятельной помощи

союзников. Сенат восстановил прежнее правительство и послал депутатов в Вену, к великому герцогу.

Пока все это происходило, Суворов давно уже находился в Александрии. Он сюда возвратился ровно чрез 10 дней по выступлении на встречу Макдональду. В этот десяток дней форсированных маршей, чередовавшихся с упорными боями, его военное дарование высказалось во всем своем блеске. Как бы для полноты его торжества, союзники в это же время завладели туринскою цитаделью после короткого, но упорного сопротивления. Комендант и все чины его штаба сдались военнопленными; гарнизон, почти в 3,000 человек, отпущен на честное слово - не служить против союзников впредь до размена; в крепости найдено 562 орудия, 40,000 ружей, столько же пудов пороха. Казалось, не далек был и конец Итальянской кампании, но на деле вышло не так.

Глава XXXI. Итальянская кампания: Нови; 1799.

Въезд Суворова в Александрию; маневры и ученья; прибытие дивизии Ребиндера; капитуляция александрийской цитадели; осада тортонского замка; сдача Мантуи; Суворов-князь. — События в южной и средней Италии; бездействие в Швейцарии; начало неудовольствий между Суворовым и эрцгерцогом Карлом. — Замечания из Вены; ненормальное состояние командования; интриги; затруднения со стороны провиантского ведомства. — Сильное неудовольствие Суворова и просьба об отозвании. — Наступательный его план; план Французов. — Колебания нового главнокомандующего, Жубера; атака Австрийцев; смерть Жубера. — Неудачные атаки Края, Багратиона и Дерфельдена; настойчивость Суворова; роздых; возобновление атаки но всей линии, с присоединением Меласа; победа. — Суворов в конце боя; ночная тревога в Нови. — Упреки критиков; объяснение. — Приготовления к наступлению; отмена из Вены.

По возвращении с Требии, Суворов имел торжественный въезд в Александрию, близко напоминавший по своей обстановке миланский и туринский. Суворов ехал верхом; по правую его руку находился великий князь, по левую Мелас — как старший

австрийский генерал [2]. Затем потянулась целая вереница празднеств, так как каждый царский день справлялся непременно. Утром совершалось молебствие при пушечных выстрелах; потом генералы и офицеры приносили поздравление великому князю и фельдмаршалу; в день тезоименитства Государя, Суворов дал великолепный бал, поручив все распоряжения Милорадовичу; в день тезоименитства Императрицы был бал у великого князя. В торжественные же дни объявлялись монаршие милости и происходила раздача наград. После обедни Суворов вносил в алтарь на блюде все пожалованные знаки отличий, для окропления святой водою, потом выносил их из алтаря, вызывал каждого из удостоившихся наград, приказывал стать на колени, надевал пожалованный орден и благословлял. Тоже самое исполнялось и с австрийскими офицерами.

Не в одних торжествах проходило конечно время. Через два дня по прибытии в Александрию, Суворов уже начал свои обычные учебные занятия. На первый раз он произвел ученье русским войскам; на следующий день, 18 июня, маневрировали русские войска с австрийскою кавалерией, которою командовал великий князь; на третий день училась одна австрийская дивизия Фрелиха; затем через три дня происходил совокупный маневр Австрийцев и Русских, пехоты и конницы, а чрез два дня к ним присоединилась и артиллерия. В этот последний день войска представились уже хорошо обученными, так что Суворов объявил им свою благодарность. Чрез несколько дней произведено ночное ученье: войска под начальством великого князя примерно штурмовали городскую стену; спустя некоторое время маневр этот повторен, причем войска шли тремя штурмовыми колоннами и были снабжены всеми принадлежностями для приступа. Но и этим Суворов не ограничивался, а пользовался случаями для передачи войскам своих наставлений всякими другими путями. Так например, в одном из его приказов по армии мы читаем похвалу отрядному начальнику, обер-офицеру, за то, что он напал на неприятеля и прогнал его, руководясь соображением, что "неприятель, делающий наперед угрозы, не расположен ничего предпринять, и в таком случае можно всегда одержать над ним поверхность, если ударить на него с решительностью" [2].

В начале июля союзные войска еще усилились: пришла русская дивизия Ребиндера. Суворов послал в Пиаченцу штаб-офицера для обучения вновь прибывших войск, так как значительная их часть не бывала в прежнее время под его начальством, а спустя несколько дней поехал туда и сам [8]. Приказание о смотре было дано с вечера; стали чиститься, готовиться к приему вождя, имя которого, давно дорогое русской

армии, в последние месяцы заблистало усугубленной славой непобедимости. Мало кто из солдат спал в эту ночь, не потому что не было времени, а потому что не хотели, не могли. Ранним утром дивизия построилась по южной стороне Пиаченцы; городская стена покрылась сплошною массой горожан и раненых французов. Показался Суворов; он быстро ехал верхом с многочисленной свитой. "Если бы не дисциплина", говорит один из стоявших тогда в рядах: "те все войско кинулось бы ему на встречу". Он прискакал к средине дивизии, остановился и громким голосом поздоровался, назвав солдат "братцами" и "чудо-богатырями". Ответ войск вырвался подобно "сильной буре", а потом перешел в раскатистое "ура". Суворов шибко объехал всю линию, приветствуя каждую часть, и затем приказал произвести маневр, дабы ознакомиться со степенью подготовки войск. Ученье продолжалось с час, после чего полки проходили мимо фельдмаршала повзводно, затем построились в колонны и тесно сдвинулись к одному месту. В середину въехал Суворов и сказал короткую речь. Он вспомянул прежние победы над Турками и Поляками, перешел на недавние побиения Французов и высказал уверенность, что неприятель и впредь будет бит такими чудо-богатырями. Громовой крик 10,000 человек служил ему утвердительным ответом, и в этом крике звучала не условная формальность, а глубокая, несокрушимая уверенность.

Войска разошлись, но из рядов их были вызваны старые солдаты, лично известные Суворову; их набралось с полсотни. Как только вошли они в приемную фельдмаршала и выстроились, появился он сам. Поздоровавшись со всеми, Суворов стал обходить стариков, припомнил имя почти каждого, останавливался, заговаривал, вспоминал прошлое, с некоторыми целовался, велел выдать всем по кронталеру, иным сам совал в руку червонцы и, попрощавшись также приветливо, как поздоровался, отпустил своих старых знакомцев домой, приказав кланяться всем товарищам. Старые служивые вернулись в роты в чаду от восторга [4].

Ребиндера Суворов любил и ценил, называл просто по имени, Максимом (что одно уже доказывает его расположение), но руководясь старшинством, отдал его корпус под начальство Розенберга, а войска последнего Дерфельдену. Суворов часто бывал недоволен Розенбергом, но лишить его команды не хотел, потому что это равнялось бы опозорению старого служаки, а позорить Розенберга было не за что. Вероятно в силу подобных соображений Суворов и держал до сих пор Дерфельдена при особе великого князя, без всякого командования, а когда прибыла новая дивизия, то разделил войска между обоими полными

генералами, но Дерфельдену назначил корпус более многочисленный. Донося об этом в Петербург, он пояснял, что Розенберг остался корпусным командиром потому, что до сих пор "похвально" служил.

Тем временем военные действия велись в духе австрийской политики, по программе гофкригсрата, т.е. в смысле не нанесения новых ударов, а сохранения и обеспечения приобретенного. После сражения на Треббии, не ожидая напоминаний, Суворов счел неизбежным перейти с блокады Мантуи на осаду. У Края состояло 15,000 человек, да ожидалось столько же из разных гарнизонов и из Австрии, по Суворов просил Края открыть осадные работы теперь же. Кроме Мантуи, велись осадные работы против цитадели александрийской и блокировался тортонский замок.

Александрийская цитадель имела репутацию одной из лучших итальянских крепостей и была снабжена продовольственными и военными запасами на продолжительный срок. Осада производилась энергически, но и оборона тоже. Гарнизон делал беспрестанные вылазки, впрочем неудачные, и хотя Суворов послал коменданту приглашение в форме чуть не приказания - "прекратить не могущие принести гарнизону никакой пользы вылазки, а терпеливо ожидать решения своей участи", но на это не было обращено никакого внимания. Когда прибыла из Турина осадная артиллерия, союзники повели дело еще энергичнее, и в ночь на 11 июля комендант подписал капитуляцию. Гарнизон сдался военнопленным, в числе до 2,400 человек, сверх 300 больных и раненых; офицерам оставлены шпаги и все имущество; в цитадели найдено 105 орудий, около 7,000 ружей, 6 знамен, много пороху и всяких военных запасов; в числе орудий оказались две русские пушки. Затем положено было приступить к осаде цитадели тортонской, для чего и потребованы туда из под Александрии осадная артиллерия и часть войск. Таким образом Суворову приходилось поступать в продолжение всей кампании, перемещая осадные средства от одной крепости к другой, чтобы иметь при каждом осажденном пункте как можно больше артиллерии. Расчет его был верен: сберегались и люди, и в особенности время.

Прежде чем открылись под Тортоной осадные работы, сдалась Мантуя, одна из сильнейших крепостей в Европе, не столько впрочем по своим укреплениям, как по свойствам окружающей местности, преимущественно по вододействиям. Мантую почитали ключом северной Италии и видели в ней обеспечение австрийских границ, оттого Венский кабинет так ею и дорожил. Комендантом в Мантуе сидел один из лучших французских инженеров, Фуасак-Латур, человек науки и опыта,

но не обладавший сильным характером. Гарнизону в ней считалось до 10,000 человек; продовольствия было запасено на год. Сначала, в продолжение свыше 3 месяцев, она была только блокирована; с 25 июня начались осадные работы; осадный корпус состоял из австрийских войск, при двух русских ротах - артиллерийской и пионерной. Осада велась и энергично, и умелой рукой, так что с половины июля уже можно было видеть скорый конец, который и не замедлил наступить, благодаря слабодушию Фуасак-Латура. Июля 19 крепость была сдана; гарнизона в то время насчитывалось 8,700 человек, в том числе до 1.000 офицеров; солдаты отпущены на честное слово не служить против союзников, а генералы и офицеры остались в плену, впредь до размена в течение трех месяцев. Кроме того 1,000 Поляков перешли в руки Австрийцев как дезертиры; в госпиталях найдено 1,200 человек больных и раненых; победителям досталось 675 орудий, флотилия канонерских лодок и большие запасы продовольствия.

Суворов приказал отслужить торжественный молебен, написал поздравительное письмо барону Краю и объявил благодарность войскам осадного корпуса. Во Франции сдача Мантуи произвела всеобщее оцепенение и была принята как позор для французского оружия; Фуасак-Латура предали суду и приговорили к лишению мундира. В Австрии впечатление было разумеется самое радостное; ни одна победа Суворова не ценилась так высоко, как овладение Мантуей. Император Павел тоже был в высшей степени доволен, что и ознаменовал возведением Суворова в княжеское достоинство с титулом Италийского. "Примите воздаяние за славные подвиги ваши", писал он в рескрипте 9 августа: "да пребудет память их на потомках ваших к чести их и славе России". Суворов просил о награждении Края, но Государь не согласился, по той причине, что "Римский император трудно признает услуги и воздает за спасение своих земель учителю и предводителю его войск".

Не меньше кого бы то ни было был доволен взятием Мантуи сам Суворов и в письме к Хвостову изобразил это счастливо - оконченное предприятие таким образом. "Прииде на Мантуу и бысть тма во всей стране до часа девятого, о девятом же часе завеса церковная раздрася с вышнего края до нижнего, и бысть глас коменданта к Краю: спаси мя и с присными, яко неции от зде седящих не имут веры, дондеже приидет час спасти жизнь их от лютой смерти. И потрясеся земля, и камение распадеся, и прииде Край спасти души страждущих" [5]. Суворов был рад не потому, что получил княжеский титул (об этом он узнал спустя месяц), а из открывшейся, по его мнению, возможности - свободно, без

стеснений и преград, повести наступательную войну по своей мысли. Он не переставал готовиться к движению в Генуэзскую Ривьеру с самого поражения Макдональда на Треббии и только ждал, чтобы с точки зрения Венского кабинета наступила практическая к тому возможность. Теперь, по взятии Мантуи, пора эта казалось подошла, и он на другой же день написал Меласу, что можно приступить к выполнению предположенного наступательного движения безотлагательно. Но и на этот раз Суворов не избег разочарования, которое было тем тяжеле, что в средней и полуденной Италии события не ждали, назревали одно за другим и привели к окончательному изгнанию Французов и восстановлению прежнего порядка вещей.

К концу июня Тоскана была уже совершенно оставлена неприятелем, Флоренция освободилась, легкие австрийские отряды захватили Ливорно, Лукку и друг. Дабы поддержать одушевление жителей, Суворов велел послать туда один казачий полк, а русскому подполковнику графу Цукато поручил приводить в устройство народные ополчения и обучать их действию холодным оружием. Во Флоренции граф Цукато был принят с неистовым восторгом. Его встретили у городских ворот духовенство, городские власти и несметные толпы народа, окружили, носили на руках, оборвали платье. Изъявлено было общее желание - воздвигнуть Суворову конную статую; готовили для (предполагаемого) его въезда торжественную колесницу, на подобие древних триумфальных. В Ареццо прием был не хуже; народ выпряг лошадей графа Цукато и повез коляску; на него надели чудотворную икону, прикололи к его шляпе окропленные святою водою цветы; улицы иллюминовались, на площадях горели щиты с портретом или вензелем Суворова. Ополчения, составившиеся из людей всех сословий и состояний, учились у русского подполковника охотно и прилежно; простые Суворовские эволюции им весьма нравились. От учебных занятий не замедлили перейти к боевой практике; схватки с Французами большею частью были удачны, благодаря многолюдству и одушевлению ополченцев, которые смело бросались в атаку с криками: "Viva Maria! Viva Souvorow!" Французский генерал Гарнье принужден был стянуть все свои немногочисленные силы в стены Рима и Чивитавеккии, но и тут войска его не считали себя безопасными.

Республиканцы не были счастливее и на другой оконечности римских владений, по адриатическому прибрежью. Более всего помогал здесь союзникам глава инсургентов Лагоц, который изменив прежде Австрийцам с патриотическою целью, скоро разочаровался во Французах и сделался злейшим их врагом.

Опасаясь однако за свою будущность и добиваясь формального помилования Римского императора, Лагоц обратился к Суворову с просьбою его покровительства и заступничества, Суворов ответил ему, что прошедшее забывается, когда заглаживается искренним и блистательным раскаянием, и благодарил за "действия, славные для вас самих и полезные для общего блага". Донесено было об этом императору Францу, приказано ближайшим к месту действия австрийским генералам войти в прямые с Лагоцем сношения. Но перед этим временем Лагоц был задержан одним австрийским офицером, как изменник, и хотя вскоре затем освобожден и получил полное прощение императора, однако в продолжение его отсутствия ополчения успели частью разойтись сами собой, частью были рассеяны Французами. Лагоц набрал снова, в несколько дней, до 3,000 вооруженных поселян с 12 пушками и обратился к Суворову с просьбою - подкрепить его небольшим числом конницы и артиллеристов. Суворов не решился исполнить эту просьбу без разрешения императора - и хорошо сделал. Император Франц отказал, а предоставил Суворову, если находит нужным, отрядить казаков. Между тем близ адриатического прибрежья появилась русская эскадра графа Войновича; было занято с боя, десантом, несколько приморских пунктов и с 1 августа открыты осадные работы против важнейшего из них, Анконы, при содействии банд Лагоца.

Еще более полные результаты восстания оказались в южной Италии. При всем своем бессилии, республиканское правительство продолжало предаваться самообольщениям и питало надежды совершенно беспочвенные. Но едва показался в виду Неаполя английский флот и приблизился кардинал Руффо с авангардом капитана Белле из 600 человек при 6 орудиях, все мечты республиканцев разлетелись как дым. Город взят штурмом и в продолжение нескольких дней представлял страшную картину убийств, пожаров и грабежей, доведенных до варварства первобытного состояния человеческих обществ. Кардинал Руффо не в силах был обуздать неистовство своих банд и всю надежду возлагал на русский отряд. Русские действительно восстановили в городе некоторое подобие спокойствия и порядка, но по малочисленности своей могли сделать это лишь тогда, когда больше 2,000 домов было разорено, по улицам валялись кучи трупов и стояли лужи крови. Республиканские войска капитулировали, но прибывший в это время английский адмирал, лорд Нельсон, нашел заключенное условие оскорбительным для короля, отверг капитуляцию и настоял на безусловной сдаче. Лорд Нельсон, ненавидевший революцию всеми силами души,

приказал схватить заметных участников бывшего переворота и предать суду, как изменников. Суд был только средством для скорейшего перехода к казням, и казни действительно не замедлили; вешали даже на мачтах английских кораблей. Но июня 19 прибыл к Неаполю король Фердинанд, и Нельсоновские казни оказались детскими игрушками. Дело мщения и возмездия поведено в другом масштабе; число приговоренных к смерти дошло до 40,000 человек; в ссылку и вечное заточение назначено гораздо больше; доносы, пытки, личные расчеты ежедневно увеличивали число тех и других. Шесть месяцев тянулись ежедневные казни не только в Неаполе, но и во всем королевстве. Это снова разбудило кровожадные инстинкты столичной черни; начались опять грабежи и убийства. Отряд Белле вынужден был оставаться безмолвным свидетелем кровавых сцен и успел спасти лишь несколько отдельных лиц, а потом принял участие в овладении разными замками и крепостями, находившимися еще в руках Французов. Во второй половине июля на неаполитанской земле не оставалось уже ни одного вооруженного француза.

Таким образом, оставленные Макдональдом гарнизоны не принесли никакой пользы эфемерной Парфенопейской республике. Но таково было распоряжение директории, не рассчитавшей, что лишний десяток тысяч был бы, при встрече с союзниками в северной Италии, гораздо более на месте, чем где-либо. "Все усилия мой", писал кардинал Руффо Суворову: "остались бы тщетными, без непрестанных побед предводимого вами воинства". Сам король Фердинанд признавал, что возвратился в свою столицу благодаря Суворову и потому выражал ему живейшую признательность рескриптом от 25 июля. И действительно, не в Неаполе или Риме, а в северной Италии решалась судьба Неаполя и Рима и окончательно решена на берегах Треббии. С поражением Макдональда была отнята от Французской директории всякая возможность восстановления французского владычества на Апенинском полуострове.

Победы и успехи Суворова не всюду однако производили возбуждающее действие, не во всех вливали энергию и решимость: бездействие эрц-герцога Карла в Швейцарии продолжалось упорно. Там силы обеих сторон были почти одинаковы, но у Австрийцев гораздо больше сконцентрированы; несмотря на это австрийский главнокомандующий ничего не предпринимал. На этот раз его взгляды совпали с понятиями гофкригсрата, вследствие рутинных теоретических соображений, которых эрц-герцог, при всей своей даровитости, был далеко не чужд. Как ни старался граф Толстой, не мог сделать ничего: ожидание корпуса Римского-Корсакова выставлялось в виде

неодолимого резона в связи с другими измышлениями. Мало того, сам ничего не делая, эрц-герцог мешал делать и другим. Венский кабинет давно разрешил присоединение к Суворовской армии войск Гадика, но эрц-герцог не отпускал их, ссылаясь на недостаточность своих сил; когда же Суворов бросился на встречу Макдональду, то по крайней и спешной необходимости, сам притянул в Пьемонт часть Гадиковых войск. Эрц-герцог пришел в неописанное волнение из за того, что таким образом якобы оставлен без прикрытия ключ театра войны (С-Готар), и хотел уже выводить войска свои из малых кантонов. Суворов не стал спорить и препираться, возвратил к Швейцарии оттянутые оттуда войска, кроме 3 батальонов, но эрц-герцог этим не удовлетворился и решил, что ему ничего не оставалось больше, "как вовсе отказаться от наступательных действий".

На подобные неудовольствия эрц-герцога нельзя иначе смотреть, как на каприз больного человека, ибо при силах в несколько десятков тысяч, не приходилось изменять наступательные проекты в оборонительные из за убыли 1500-2000 человек. Эрц-герцог Карл был действительно человек больной, временами даже очень больной, да и во взглядах на военное искусство с Суворовым не сходился. Как бы то ни было, армия эрц-герцога продолжала пребывать в упорном бездействии, и неудовольствия между ним и Суворовым накоплялись.

Иначе и быть не могло при положении, которое создалось для русского полководца на театре войны, в период, теперь описываемый. Даже такие всесильные аргументы, как факты, не в состоянии были сломить традиционной системы Венского кабинета, системы эгоизма, недоверчивости и робости. Едва победоносный фельдмаршал успел возвратиться к Александрии, как получил рескрипт императора Франца, писанный 10 июля. В нем указывалось на "неоднократные" повеления об ускорении осады Мантуи; говорилось об ожидаемом усилении Моро и соединении его с Макдональдом; об опасном положении Кейма, оставленного в Турине; о мерах к спасению его отряда при наступлении неприятеля. Хотя император верил в "опытность, храбрость и столь часто испытанное счастье" Суворова, но подтверждал: "совершенно отказаться от дальних и неверных предприятий, и о всяком важном предположении или действии предварительно доводить до его сведения".

Ответом на этот рескрипт служила реляция Суворова о победе на Требби. Это несколько успокоило Венский двор, но отнюдь не избавило главнокомандующего от новых уроков гофкригсрата. Июня 29 император Франц снова писал ему, что хотя одержанная победа устраняет многие опасения, но

предписывается отложить всякие помышления о наступательных движениях, взамен того усилить корпус Края и "исключительное внимание обратить на покорение Мантуи", а за нею Александрии, Тортоны, Кони и проч. Так как это же самое писалось Суворову и раньше, и после, то понятно, что ему оставалось одно - беспрекословно подчиниться.

Слова императора о счастии, постоянно покровительствующем Суворову, оскорбили его глубоко; в них сказывалась, сверх неверной оценки, еще и неблагодарность. Упоминая про это в письме к Разумовскому, Суворов говорит, что слышит такой отзыв не впервые, что тоже самое говорила в армии ослиная голова. "Его Римско - Императорское Величество желает", пишет он: "чтобы, ежели мне завтра баталию давать, я бы отнесся прежде в Вену". В другом его письме читаем: "я в Милане, - из Вены получаю ответ о приезде моем в Верону; я только что в Турин перешел, - пишут мне о Милане". Кроме того мы видели, что Суворов получил от императора Франца неприятное напоминание об осаде Мантуи, когда уже все распоряжения по этому предмету были сделаны. Подобными запоздалыми приказами из Вены была наполнена вся кампания; гофкригсрат привык всем руководить и видеть со стороны австрийских генералов беспрекословное исполнение. Но Суворов был человек другого характера и склада понятий. Он настойчиво требовал от Разумовского, чтобы этот ненормальный порядок был изменен и чтобы гофкригсрат вмешивался лишь "во внутренние детали, и из 4 углов на 1000 верст отнюдь в мои операции не входил... Я волен, служу когда хочу, из амбиции;... я не наемник, не мерсенер, который из хлеба им послушен... У гофкригсрата одна и две кампании мне стоили месяца, а как его владычество загенералисимствовало, может мне стать один месяц его кампании на целую кампанию... Выведите меня из пургатории, ничто не мило... Стыдно мне было бы, чтобы остатки Италии в сию кампанию не опорожнить от Французов... Распутная тонкость Тугута сгубила прежде здесь две лучших армии и повредила рейнскую... Честнее и прибыльнее воевать против Французов, нежели против меня и общего блага" [6].

В Вене давно уже заметили, а теперь окончательно убедились, что русский полководец вовсе не расположен быть слепым исполнителем присылаемых ему приказаний, а принимает из них лишь то, что по его мнению принять можно. Поэтому гофкригсрат, для большей уверенности в исполнении делаемых им распоряжений, стал многое передавать прямо подчиненным Суворову австрийским генералам и требовать от них непосредственных донесений в Вену. Такой порядок

противоречил духу службы, да кроме того вводил в её исполнение сумбур, потому что приказания получались большею частью при изменившихся обстоятельствах, вели к недоразумениям и противоречиям, отменяли распоряжения главнокомандующего, подрывали авторитет его власти. Когда, в бытность Суворова еще в Турине, он, по первым вестям о наступательном движении неприятеля, приказал временно присоединить отряды Отта и Гогенцолерна к обсервационному корпусу Бельгарда, Край прислал ему копию с венского предписания, где говорилось, что до взятия Мантуи ни один солдат не должен быть отделяем из осадного корпуса. Во время осады туринской цитадели было перехвачено письмо коменданта Фиореллы, в котором значилось, что тамошняя артиллерия никуда не годится. О таком открытии было донесено, вероятно Кеймом, прямо в Вену, и оттуда последовало Шателеру приказание - артиллерию эту не исправлять. Суворов узнал про все это впоследствии; артиллерия была по его приказанию все таки исправлена и действовала потом при осаде александрийской цитадели. Когда туринская цитадель сдалась, но донесение об этом до Вены еще не дошло, Шателер получил оттуда замечание или сообщение, что осаду означенной крепости следует отложить до взятия Кони и Генуи ("чего глупее!" замечает Суворов), и что ушедший из под Турина Суворов может быть побит на голову, а армия погибнуть при отступлении, защищая множество протекающих в её тылу рек [6].

Честный и благородный Шателер держал постоянно сторону Суворова и если иногда скрывал от него венские распоряжения, то не из двоедушия, а чтобы не прибавлять горечи в его положение. Не так смотрели, в большинстве, другие генералы, а потому интриговали и своевольничали, благо в Вене поддержка была надежнее, чем у иноземца-фельдмаршала, которого кабинет выносил уже с трудом. Авторитет главнокомандующего видимо падал, положение Суворова становилось с каждым днем труднее, и борьба со скрытыми врагами утомляла его больше всяких других трудов по командованию армией. Подлинные слова его переписки с Разумовским, Ростопчиным, Толстым, преимущественно с первым, лучше всего это доказывают. "Суточные труды, скептическая огромная переписка с бештимтзагерами, беспрестанные от интриг неудовольствия к гофкригсрату - отчаяли меня... У них отнять перо, бумагу и крамолу, и бештимтзагерам отнюдь не относиться в гофкригсрат... Истекающую от глупого Демосфена - Дитрихштейна тайную корреспонденцию к моим подчиненным, для общей пользы крайне воспрепятствуйте: он развращает генерал - квартирмейстера- пространного гениума, деятельного

спиритуса, ветренного юдициума... Гофкригсрат, не касаясь до меня, повелевает частными, мне недоведомо; так генерал - квартирмейстеру, от которого я следственно завишу... Проекторы, элоквенты, пустобаи питают гофкригсрат... Тугут шпионирует здесь перепискаами с генерал-квартирмейстером чрез своего учителя, Дитрихштейна; это старику не хвально, лучше писать прямо ко мне, а разумнее через вас...Таковые подлые невежества, сопряженные с многоместными скрибенскими интригами против моего чужестранства, принуждают меня не терпеть ни часу и сложить с себя мою должность... Вы одни дайте мне к тому способ... чтобы мне отнюдь не мешали гофкригсрат и гадкие проекторы... Подъяческий штиль, которым без моего ведома пишут в гофкригсрат, сколько ни взыскиваю, вывести не могу" [7]. И действительно бесцеремонность, забвение приличий и неуважение Венского двора к главнокомандующему, выпрошенному им самим у Русского Государя, не знали границ. Когда Суворов стал составлять план операций (будет сказано в своем месте), Шателер остановил его замечанием, что это противоречит высочайшему повелению и на вопрос - какому, отвечал - полученному Меласом.

В Вену доходили жалобы на быстрые марши, к которым часто прибегает Суворов; австрийские генералы, не привычные к его образу ведения войны, говорили (пишет Суворов), что "армия этими маршами изнурена, и если неприятель нападет, то все побьет и пленит; сам честный, добрый старик Мелас тем же отзывался". В Вене заседали генералы той же школы, а потому предостережение это произвело большое впечатление и поддержало гофкригсрат в его взглядах на Суворова.

Когда Суворов стал настойчиво требовать присоединения к себе Гадика, согласно с прежними распоряжениями гофкригсрата, ему было дано знать, что если он просит войск теперь, после победы на Треббии, то что же бы стал он требовать, если б был разбит? Суворов рассердился и написал Разумовскому: "глупый министр не знает, что для пользы от победы надобно больше войска". Гофкригсрат этим не ограничился и решил отобрать некоторые войска от Суворова для передачи ничего не делающему эрц-герцогу, так как после победы на Треббии, все страхи и опасения кабинета рассеялись. Оставалось взять несколько крепостей, и завоевания были бы упрочены; затем в Италии не предстояло никакого дела, и армия Суворова становилась почти обсервационным корпусом. Суворов не согласился с таким взглядом и писал Разумовскому: "кабинет желает доказать, что я должен быть только стражем перед венскими воротами... Кроя эрц-герцогову кровлю, мою раскрывать

не надлежит, или предаться по прежнему неприятельским законам". Когда Венский кабинет возбудил вопрос об изменении Ребиндерова назначения, то Суворов, просивший Государя не делать этого, пояснил, что "всю надежду на эрц-герцога Карла потерял", а Разумовскому сообщил, что "как скоро Ребиндера от меня прочь, и я отсюда прочь". Государь согласился не с Венским двором, а с Суворовым, - новый повод к неудовольствиям на Суворова в Вене [8].

Усилить свои войска Суворов мог бы иным путем - средствами занятого края, и в этом смысле некоторые писатели делают укор его беспечности и недеятельности, указывая на пример Французов. Но мы видели раньше, что Суворов так и рассчитывал поступить, только распоряжения его были кассированы из Вены. Он сам приводил Разумовскому в пример французский образ действий в этом отношении, говорил, что можно бы сформировать и сильный корпус войск, и милицию под знаменами Сардинского короля. Хотя он неоднократно возобновлял свои представления в Вену, но успеха не только не было, а еще получались весьма неприятные ответы. Под австрийские же знамена Пьемонтцы не шли; все, что удалось из них набрать, ограничилось 6 батальонами.

Продовольственная часть оставалась по-прежнему совершенно не удовлетворительной, а при усиленных движениях и внезапных операциях играла роль главнейшего тормоза. Участник войны, служивший в корпусе, бывшем Ребиндера, свидетельствует, что солдаты получали хлеб из муки, крупно смолотой из разного рода зерна; вкусом он был полукислый, почти пресный, "как трава, без малейшего вкуса; мягкий - крошился, а о черством и говорить нечего". Говядина выдавалась от скота дурного, очень старого; часто попадалась и ослятина. Порционные водка и вино "были ближайшими родственниками итальянской воды" [4]. Все это говорится за время следования корпуса по Италии до соединения с армией, т.е. за период мирного похода: что же было при походах военных, при передвижениях внезапных, быстрых? Было тоже самое, что описано прежде. Но при этом нельзя пропустить одной характерной черты, бросающей свет на не совсем честное отношение австрийской администрации к русским вспомогательным войскам. Состоявший при Розенберговом корпусе, а потом при армии Суворова, дипломатический чиновник, командированный тайною экспедицией, Фукс, доносил генерал-прокурору, что с самого вступления русских войск в Италию, продолжается "великое нерадение Австрийцев о нашем продовольствии", и оттого происходят разные беспорядки.

Австрийцы приводят в свое оправдание, что походы очень быстры, но (замечает Фукс) и "австрийские войска принуждены двигаться форсированными маршами, однако это на их продовольствии не отзывается" [9]. Таким образом выходит, что вышеприведенный автор записок не совсем прав, утверждая, будто это дело шло "всемирным провиантским порядком".

Все это, вместе взятое, превращало Суворова в лицо, которое было не главнокомандующим, а каким-то представителем главного командования с одной внешней стороны, да и то не вполне. В письме к Разумовскому он говорит, что никогда не может добиться истинной цифры австрийских потерь, ни приблизительного исчисления потери неприятеля, а потому "в описаниях темен" [2]. Мало того, он утверждает, что в некоторых случаях Австрийцы просто лгали, подводя слишком большие итоги своим потерям. На основании повеления Павла I, следовало вести журнал военных действий (что впрочем постоянно делалось и при Екатерине), и Суворов поручил эту работу Фуксу. Фукс доносит в половине июля генерал- прокурору, что "к составлению журнала есть препятствие со стороны Австрийцев, ибо они никаких сведений не дают" [9]. Конечно отчасти этим же обстоятельствам русские военные архивы того времени обязаны своею неполнотою и разноречием архивных документов. К той же категории следует отнести, что Суворов иногда отказывается от своих слов. Так, после Треббии он пишет Краю: "при моем истощенном и слабом здоровье, могу я часто подписывать необдуманно, в особенности же когда мне подкладывают что-нибудь в дипломатическом стиле, который так затемняет военное письмоводство", и затем приводит в доказательство пример.

Принужденный действовать в подобной обстановке, Суворов естественно должен был находиться в напряженном состоянии духа. Он был недоволен, раздражен, и высказывал это часто. Был он недоволен, между прочим, и русским послом в Вене, графом Разумовским, который подчинялся вполне влиянию барона Тугута, смотрел его глазами, сделался слепым его орудием. В какой мере русский посол, по донесению Фукса, был надменен и высокомерен с русскими генералами и офицерами [9], в такой мере отличался уступчивостью и любезностью к вершителям судеб в Венском кабинете. Перед Суворовым он лебезил, заискивал у него, льстил ему; величал фельдмаршала полководцем, подобного которому никогда не было и не будет; извинял боязливость Венского кабинета предшествовавшими поражениями; называл его "напуганным кабинетом"; наивно уверял, что у двора недоверия к нему, Суворову, совсем нет, а есть только опасение, чтобы он не пошел слишком далеко. Все

эти любезности сначала как будто смягчали Суворова, потом шли ни во что; не выходя из форм приличий и вежливости, он все настойчивее требовал от посла содействия при Венском кабинете и наконец стал писать ему без обиняков. Узнав, что в корпус Ребиндера Разумовский посылал прямо свои предписания, Суворов ему пишет: "советую вам, если случится в чем ни есть к войскам отнестись, чтоб мне о том для соображения, как к начальнику, сообщать изволили; не заводите другой гофкригсрат, и один всю мою веру и верность крушит". Когда неприятности как-то перемежились, и Суворов на короткое время успокоился, он обратился к жене Разумовского с просьбой: "матушка графиня, высеки графа, он пред сим много дурил" [7]. Вообще же холодность его к Разумовскому росла с каждым днем и кончилась совершенным разрывом.

Не трудно понять, что касаясь в своих письмах Венского кабинета, гофкригсрата, его приверженцев и большинства австрийских начальников, - Суворов не стеснялся в сарказмах и выражениях негодования. "Везде невежественный гофкригсрат, робкий кабинет, неискореняемая привычка битым быть, унтеркунфт, бештимтзаген.... Здешние завоевания не по их правилам, как они обыкли все терять до венских врат, которые перенесены быть могут в Пресбург" [10]. Ненавистных бештимтзагеров он ставит по средине между дураками и плутами, и нападает в особенности на их уменье - терять людей: "для короны - размен есть; для них - не их люди, чего жалеть!... Бештимтзагеры убавили у меня из-под ружья в три раза почти больше, нежели мне на трех баталиях стоили Тидона, Треббия и Нура". Бельгарда он считает дошедшим в этой науке до *мудрости*, так велики у него потери. Признавая отличные дарования эрц-герцога Карла, Суворов однако же не дает пощады и ему за бездеятельность, называет его "наитомнейшим" и говорит: "эрц-герцог сидит в полном унтеркунфте и тем бештимтзагерит всю бурю на меня, ибо у Французов до 10,000 с Жубером сюда набавилось". Он уверяет Толстого, что эрц-герцог мог бы нанести Французам вдвое, втрое больше потери, если бы прибегал чаще к холодному оружию: "а штыками здесь, при мне, Немцы хорошо колют".

Не всех впрочем бракует Суворов, бичуя своими злыми сарказмами; Мелас, несмотря на его ограниченность, Край, Вукасович, Шателер, Цах и некоторые другие составляют исключение. Достается и им, но не так, как настоящим "бештимтзагерам", а просто по натуре Суворова. Шателера он называет любя "милым ветрогоном", своей "разрозненной библиотекой". При осаде александрийской цитадели Шателер был

в траншее ранен и потому не мог оставаться при должности; Суворов взял от Края генерал-квартирмейстером Цаха, говоря про него, что это "не Цах-гафт, а только Цах: добр, тих, учен, но истинный проектный унтеркунфтер, и я в комбустии". Шателер больше не возвращался к Суворову, так как жестоко провинился перед гофкригсратом, осмеивая его в частных своих письмах и горячо держа сторону главнокомандующего. Письма эти были вскрыты в государственной канцелярии, и Тугут воспользовался случаем, чтобы разлучить с Суворовым такого вредного человека. Спустя несколько недель, Суворов в одном из своих писем отозвался о Шателере совсем не так, как прежде, назвав его шпионом Дитрихштейна. Он был положительно не прав и выразился таким образом вероятно под каким-нибудь минутным впечатлением; может быть также и то, что креатуры Тугутовы успели оклеветать отсутствующего.

Не привыкший действовать со связанными руками, без участия своих дарований и опытности, Суворов постоянно старался сбросить с себя путы, но они от этого больше стягивались. Оставалось еще решение - уйти, бросить блистательно начатое дело; но для него, жившего военной славой и для военной славы, это было почти самоубийством. И однако он останавливался неоднократно на таком решении, сообщая его Разумовскому. Июня 21, после изложения невыносимости своего положения, он кончает письмо словами: "домой, домой, домой, - вот для Вены весь мой план", а спустя 4 дня посылает в Петербург прошение к Государю. "Робость Венского кабинета, зависть ко мне, как чужестранцу, интриги частных двуличных начальников, относящихся прямо в гофкригсрат, который до сего операциями правил, и безвластие мое в производстве сих (операций) прежде доклада на тысячи верстах, принуждают меня Ваше Императорское Величество всеподданнейше просить об отзыве моем, ежели сие не переменится. Я хочу мои кости положить в своем отечестве и молить Бога за моего Государя".

Но Венский кабинет успел забежать вперед. Он делал Суворову сначала замечания и укоры в неповиновении, а когда эти меры оказались недействительными, принес в Петербург жалобу. Император Павел не мог конечно узнать правды из этой жалобы, а потому сообщил Разумовскому, что Суворов находится в распоряжении императора Франца; что "в нем нет недостатка ни усердия, ни доброй воли, а ремесло свое он знает не хуже какого-нибудь министра или посланника; пусть только ему предпишут, чего от него желают, а ему останется исполнять". В Вене конечно возрадовались такому отзыву и продолжали приводить Суворова к повиновению, но Суворов никак не соглашался превратиться в

мертвый инструмент. Тогда, 23 июля, император Франц рескриптом напомнил ему, что он отдан в его, императора, распоряжение: "а потому несомненно надеюсь, что вы будете в точности исполнять предписания мои".

Тем временем Император Павел, получив прошение Суворова, увидел из-за чего возникло неудовольствие, слухи о котором еще раньше доходили до его сведения. Принимая в соображение, что предъявляемые Венским кабинетом к Суворову требования неудобоисполнимы и в существе своем значительно разнятся от первоначальных, Павел I просил Франца II принять меры, чтобы гофкригсрат не давал предписаний, противных его собственной (Франца II) воле, так как подобные поступки могут повести к последствиям, самым гибельным для общего дела. Сверх того дано Разумовскому повеление - потребовать формально объяснений от самого Австрийского императора. Вскоре после (31 июля) последовал на имя Суворова рескрипт, где говорилось о необходимости предохранить себя "от всех каверзов и хитростей Венского двора"; что же касается до "дальнейших военных операций и особенной осторожности от умыслов, зависти и хищности подчиненных австрийских генералов", то Государь предоставлял это "искусству и уму Суворова" [11].

Так непроизводительно тратилось время, недели уходили за неделями в осадах крепостей, и второстепенным целям войны жертвовались главные. Болела душа Суворова, ценившего время выше всего, но изменить ход дел был он не в силах. А между тем в позднейшей литературе именно на него обрушились некоторые quasi-критики, относя его бездействие к недостатку военного соображения и расчета. Опровергать такой взгляд кажется нет надобности. В продолжение своего вынужденного бездействия, Суворов не раз получал сведения о готовящемся будто бы наступательном движений неприятеля, достоверность которых подкреплялась частыми передвижениями французских войск; но эти слухи оставались слухами. Не пропуская их вовсе без внимания и принимая кое-какие меры, Суворов однако сосредоточил свои мысли на другом предмете, именно на собственном наступлении в Генуэзскую Ривьеру. Он постоянно и твердо держался этого предположения, но после категорических, настойчивых венских инструкций, должен был отсрочить исполнение до взятия Мантуи. Был заранее составлен план операций, который пересматривался и изменялся с переменою обстоятельств; делались приготовления, отдавались предварительные приказания. Окончательно принятый Суворовым план состоял в наступательном движении тремя колоннами: главная должна была направиться чрез Тендский

проход к Нице, другая - угрожать Генуе со стороны Александрии, третья - идти вдоль морского берега. План этот был им подписан 19 июля, за несколько часов до получения донесения о взятии Мантуи, и тотчас по получении донесения стал приводиться в исполнение. Суворов обратился к австрийским генералам не только с приказанием, но и с просьбою - спешить всеми распоряжениями, не останавливаясь ни перед какими жертвами, и дал на то десять дней сроку. Краю приказано, оставив в Мантуе гарнизон и отрядив еще часть войск на усиление колонны генерала Кленау, назначенной идти по морскому берегу, с остальными спешить к Александрии, совершив этот путь (175 верст) непременно в 8 дней. Затем, чтобы сберечь время впереди, Суворов приказал овладеть находившимся на предстоящем пути наступления фортом Серавалле.

Город и форт были немедленно обложены, и в ночь на 25 число открыты осадные работы. Хотя по неприступному положению крепостцы на утесе, приходилось вооружать брешь-батарею, втаскивая орудия по кручам на канатах, но все таки утром она была готова, открыла огонь и через несколько часов заставила форт замолчать. Французские передовые посты на Апеннинах пришли в движение, начались мелкие нападения, прошел слух о наступлении республиканской армии. Суворов встревожился и написал заведывающему осадой Багратиону, что Серавалле не стоит больших жертв, и в случае чего, лучше осаду бросить и отойти благовременно назад. "Токмо постыдно будет", прибавлял он: "ежели по пустому... я на все даю вам волю". Багратион воспользовался полномочием и продолжал осаду; Суворов послал своего племянника, князя Горчакова, высмотреть положение неприятеля, поехал за ним сам, и хотя тревога оказалась напрасной, но съездил туда вторично вечером и остался на ночь. Приготовления к приступу устрашили гарнизон небольшой крепостцы, и 27 числа он сдался в числе 180 человек военнопленным, а пятеро офицеров отпущены во Францию с условием не служить год против союзников. Форт заняли Австрийцы.

Вскоре после, именно 30 числа, прибыли под Александрию войска Края, и на следующий день разослана в войска диспозиция. Наступление положено начать 4 августа; остававшиеся 3 дня назначались на предварительные передвижения войск, на отдых корпусу Края и на обучение этого корпуса действию холодным оружием, что и поручено князю Багратиону. Но предположенное наступление союзников было предупреждено Французами.

Во время невольного бездействия Суворова, обстоятельства

успели измениться и в измененном виде укрепиться. Французская директория приняла ряд энергических мер к увеличению и устройству вооруженных сил и сделала большие перемены в персонале высшего военного управления и командования. Формировались новые и переформировывались старые армии - рейнская, гельветическая, альпийская и итальянская. Две первые должны были вытеснить эрц-герцога Карла из Швейцарии до прибытия корпуса Римского Корсакова; назначение армии альпийской, генерала Шампионэ, состояло в обеспечении южной Франции и в угрожении союзникам в Пьемонте; итальянской выпадала главная роль - очистить Пьемонт и выручить Мантую. Во всем этом расчете было очень много увлечения; в конце июля, вместо предположенных 270,000 человек, в четырех армиях состояло всего 150,000; но смелые до нелепости военные планы директории не были одной фантазией, - они находили себе оправдание в недавнем прошлом. Итальянская армия вместо предположенных 70,000 человек, имела только 45,000, но несмотря на это и на численную силу союзников в северной Италии почти в 110,000, она все-таки должна была начать неотлагательно наступление. Ей дали и нового главнокомандующего, Жубера, а Моро перемещался на север, для командования рейнскою армией.

Жубер прибыл 24 июля; Моро сдал ему армию, но предложил на первое время свое содействие; Жубер принял это благородное предложение с искренней признательностью. Новому главнокомандующему не было еще 30 лет от роду; он имел солидное образование, каким могли тогда похвастать немногие французские генералы, обладал замечательным мужеством и врожденным военным дарованием. Он готовился совсем не к военному поприщу, но, поступив в 1791 году рядовым в один из батальонов альпийской армии, через 4 года был уже бригадным генералом, а еще года через три попал в главнокомандующие одной из армий. Теперь, в 1799 году, благодаря доброй его славе в рядах войск, любви к нему солдат, испытанным республиканским убеждениям и политической благонадежности, правительство поставило его на самый важный пост в борьбе с коалицией.

Приезд Жубера подействовал на войска ободрительно, не исключая и высших командующих лиц; это одушевление как бы подкреплялось решимостью нового предводителя не-медленно начать наступательные действия. Но генерал Сен-Сир умерил его пыл положительным удостоверением, что под Александрией находится огромная масса союзных сил. Жубер нехотя отсрочил наступление, стал стягивать войска и собрал военный совет. На

совете мнения разделились, так как о силе и расположении союзной армии имелись различные сведения. Жубер решил произвести движение таким образом, чтобы, по собрании достоверных данных о неприятеле, придвинуть или правый свой фланг к левому, или левый к правому. Сообразно с этим, его войска двинулись несколькими колоннами, и 1 августа левое крыло заняло Акви, а часть правого приблизилась к Серавалле.

Если Французы, владевшие горами, мало знали о силах и расположении союзников на равнине, то тем труднее было Суворову иметь верные сведения о Французах. Он пришел к убеждению, что Французы направляются главным образом вдоль Скривии, для освобождения Тортоны, осада которой была предпринята несколько дней назад, а потому, придерживаясь своих прежних предположений, задался целью - выманить неприятеля из гор и подавить его перевесом своих сил, особенно конницы. Сообразно с этим он расположил свои войска таким образом, чтобы противник был встречен передними частями откуда бы ни появился, а дальше позади разместил резервы. Когда же, на следующий день, была занята французами Каприята, а правое их крыло придвинулось к Нови, Суворов велел отправить все обозы за Александрию и вызвал Багратиона к своему месту, приказав однако же оставить при войсках Края штаб-офицера, дабы продолжать их обучение.

Перед рассветом, 3 августа, войска французского левого крыла подошли к Нови; стоявший тут Багратион, держась предписанного образа действий, отступил с легкой перестрелкой и остановился в 3 верстах у Поцоло-Формигаро. Левое крыло Французов двинулось на соединение с правым, к Пастуране; Край должен был, согласно приказанию Суворова, атаковать, но умолял отсрочить атаку, отзываясь крайней усталостью войск. К удивлению, Суворов согласился; по всей вероятности он поддался на просьбу потому, что она шла от Края, боевые качества которого он ценил и потому ему верил. Так Суворов поступал обыкновенно; припомним почти однородный случай на Треббии с Розенбергом и Багратионом. Французы соединились на позиции беспрепятственно.

С раннего утра Суворов был на коне и разъезжал по войскам, появляясь то в том, то в другом месте неожиданно; солдаты, по давнему обыкновению, сбегались к нему, окружали тесной толпой приветствовали. Суворов здоровался с ними, указывал на Французов, говорил, что надо их выманить с гор в чистое поле и побить, а если не спустятся, то пойти к ним и побить их там; произносил несколько лаконических боевых наставлений и уезжал дальше [4]. Ожидая каждую минуту боя, он делал спешные

распоряжения по всем частям и лично произвел рекогносцировку французской позиции около Нови. Приказав своей свите остаться, он выехал в сопровождении одного казака к своей передовой цепи, которая стояла на близком ружейном выстреле от неприятельской, и поехал вдоль ее. Французские генералы, смотревшие с высот в зрительные трубы, узнали союзного главнокомандующего по его необычному для других костюму; он был в одной рубахе и полотняном исподнем платье. Неприятельские ведеты открыли сильный огонь, позади их стала собираться кавалерия; опасаясь покушения против фельдмаршала, великий князь выслал для его защиты два взвода австрийских драгун, но Суворов вскоре сам повернул назад. Он был совершенно уверен в победе, отличался веселым расположением духа и даже написал стихи и послал их Меласу:

Es lebe Sabel und Bajonnet:
Keine garstige Retraite!
Erste Linie durchgestrochen,
Andere umgeworfen.
Reserve nicht halt,
Weil da Bellegarde und Kray der Held.
Der letzte hat Suworow.
Den Weg zu denen Siegen
Gebannet.

Однако весь день 3 августа прошел, а бой не завязался; Французы не выразили желания бросить свою крепкую позицию и спуститься на равнину. Суворов решился атаковать их сам, притом не теряя времени, чтобы они не успели ни отретироваться, ни на позиции укрепиться, а потому и назначил атаку на следующее утро. Диспозиция Суворова не сохранилась ни в документах, ни в литературе, но в несомненном её существовании убеждают другие документы [12]. Сверх того в литературе имеются указания, что Суворов принял свое решение по совету с генералами. Одни говорят, что он спрашивал мнения Меласа, и Мелас нашел атаку Французов в их позиции удобоисполнимою. По свидетельству других, он собрал военный совет, который в лице большинства австрийских генералов признал предприятие слишком рискованным и даже опасным. Все по тем же источникам, Суворов с таким заключением не согласился и, выставляя перевес сил союзников, качество их войск, влияние недавних побед на настроение их духа, - указывал на сравнительную легкость разбития Французов, пока они не собрали всех своих сил и не укрепились на позиции. Уступая

настояниям главнокомандующего, австрийские генералы будто бы отказались от своего мнения и, полагаясь на его опытность и дарования, признали атаку неприятеля возможною [13].

Легко быть может, что происходило что-нибудь подобное накануне сражения при Нови, но только военный совет вероятнее совещания с одним Меласом, которое не в духе Суворова и не имеет за собой ни повода, ни цели. И в прежние войны Суворов прибегал иногда к созыванию военного совета, не для того, чтобы искать в заявлениях других лиц решимость или силу, в себе самом не находимую, а наоборот, чтобы перелить в других свою уверенность, которой быть может многим из них не доставало. По-видимому он и достиг в настоящем случае своей цели; Край сам вызвался вести главную атаку. Решение Суворова - не откладывать атаку, поддерживалось еще тем обстоятельством, что он (и не он один) считал Французов далеко не в полных их силах, а именно в числе 20,000 человек, да и цель их действий сводил к попытке - освободить Тортону от осады.

Чтобы понять последующие распоряжения Суворова, необходимо бросить взгляд на позицию Французов. Она находилась на крутом гребне небольших высот, между реками Орбой и Скривией; у самой подошвы гор, на середине между двумя реками, лежал городок Нови, обнесенный высокою каменною стеной, окруженный предместиями и садами. Садами же, а также виноградниками, отдельными домиками и строениями были усеяны скаты гор, обращенные к равнине, перерезанные по всем направлениям заборами, изгородями, канавами. Позиция была вообще крепкая, почти неприступная с фронта, но за то правый её фланг уклонялся далеко назад по направлению к Серавалле, где находился австрийский гарнизон. Кроме того тыл позиции представлял большие затруднения для отступления; его прорезывали глубокие овраги с речками почти параллельно фронту, и для ретирады имелось только две дороги: за правым флангом и центром - на Гави и за левым на Пастурану. Суворов предположил атаковать неприятеля с левого его фланга и возложил это на Края, у которого было до 27,000 человек, т.е. больше всей французской армии по тогдашним предположениям, а в действительности до трех четвертей ее. Левее Края, против Нови, стоял Багратион, а позади его, за Поцоло-Формигаро, Милорадович; силы их обоих простирались в итоге до 10,000 и составляли левое крыло союзной армии. Правое крыло должно было стремительно атаковать Французов и гнать их чрез Нови к Серавалле, отрезывая от Гави остальные неприятельские войска; левое крыло, с самим Суворовым, предназначалось к движению за этою атакою, вдоль Скривии к Серавалле. Таким образом главные

действующие силы союзников простирались до 36-37,000 человек, а резервом для них служили Мелас и Дерфельден с 15,000, в 6 - 7 верстах за Поцоло-Формигаро; из них первому приказано было, в случае успеха барона Края, забирать пленных из французской колонны, которая будет отрезана от прочих войск и отброшена по направлению к Тортоне. Наконец оставался в распоряжении Суворова еще 8,000-ный корпус Розенберга, стоявший у Вигицоло, для прикрытия Тортоны, а также на случай покушения неприятеля к той стороне. Если ко всему этому прибавить 5.000-ный осадный тортонский корпус Алкаини, то итог всех союзных сил получится в 65,000 человек.

У Жубера было 35,000, не больше. Выехав 3 августа на высоты у Нови, он увидел перед собою, как на ладони, всю союзную армию и мог в зрительную трубу сосчитать её силы. Никакому самообольщению уже не было места: слева тянулись длинные линии войск Отта, Бельгарда и Края, - стало быть Мантуя не только взята, но и союзные войска из под нее сюда пришли; правее группировались другие корпуса, так что свыше 50,000 неприятелей готовы были принять участие в бою, кроме удаленного резерва. Жубера одолело раздумье, беспокойство, даже уныние. Он созвал военный совет; большинство советовало отступить вследствие превосходства неприятельских сил и ожидать содействия альпийской армии. Жубер не решался, признавая отступление в виду многочисленного и отважного противника опасным; продержал генералов до вечера, не в силах будучи подавить своей тревоги и упадка духа, и наконец распустил ни с чем, сказав, что через два часа пришлет диспозицию к ретираде. Однако прошли многие часы, а он ни на что не мог решиться; тешил себя надеждой, что Суворов отступит в виду сильной неприятельской позиции и ждал рассвета с трепетным чувством страха, смешанного с надеждой. Можно понять, в каком напряженном состоянии была к утру его нервная система, особенно если взять в расчет, что он поехал в армию прямо из под венца и, прощаясь с женой, сказал ей, что вернется или победителем, или мертвым. Французские войска ночевали, не заняв даже боевой позиции, но так как один из дивизионных начальников, генерал Ватрен, зарвался слишком вправо от Нови, по равнине, то послано ему приказание - вернуться как можно скрытнее до утра. Не занималась еще заря, как Край тронулся с места и повел войска в атаку, послав небольшой отряд обходом в тыл неприятеля, к Пастуране. Только одна французская дивизия занимала на левом фланге позицию; резерв находился позади Пастураны в походных колоннах. Передовые части французской кавалерии были сбиты, затрещала ружейная перестрелка.

Надежды Жубера на отступление союзников разлетелись прахом, он поскакал по направлению выстрелов, бросился в застрельщичью цепь и тут же был убит пулей наповал. Смерть его была скрыта от войск до самого конца дела; главное начальство принял Моро.

Первая линия Края приблизилась к подошвам высот, свернулась в походные колонны и стала подыматься. Моро послал на правый фланг за подкреплением; вытянулись и резервы из Пастураны навстречу Австрийцам. Завязалась упорная борьба, кончившаяся тем, что Австрийцы были оттеснены и сбиты с высот на всем протяжении своей боевой линии, но отступили в порядке, под защитою огня своей артиллерии. Французы удержались от преследования.

Во время боя, Край не раз посылал к Багратиону с просьбой - атаковать неприятеля со своей стороны, дабы развлечь его внимание и силы, но Багратион не решился действовать вопреки диспозиции. Однако он послал нескольких ординарцев к Суворову, одного после другого; по они не возвращались. Багратион поехал сам, наехал у Поцоло-Формигаро на кучку генералов и адъютантов и увидел тут Суворова: он лежал на земле, завернувшись в плащ и спал, или делал вид, будто спит [14]. Дерфельден обратился к приехавшему с каким-то вопросом; как только Багратион стал говорить, Суворов вскочил, сказав, что крепко заснул, и принялся задавать своему любимцу вопросы о ходе дела. Узнав про неудачу Края, он послал ему приказание - возобновить атаку, велел одновременно с ним атаковать Багратиону, а Милорадовичу продвинуться вперед для поддержания Багратиона.

Багратион повел атаку прямо на Нови, Край - по-прежнему. Неприятель, пользуясь пересеченною местностью, засел в канавах, садах, в строениях предместия и встретил Русских сильным огнем, но не остановил их и, после жаркой схватки, ретировался в самый город. Русские повели атаку на город, но встретили высокую и прочную стену, не поддававшуюся выстрелам полевых орудий; Русские повернули правее, по направлению к высотам, и под ядрами и картечью продолжали атаку в замечательном порядке и с еще более замечательным бесстрашием. Французы, отлично укрытые местными предметами, были почти невидимы, тогда как их противники, подвигаясь вперед колоннами и останавливаемые на каждом шагу канавами, изгородью и проч., были совершенно открыты выстрелам, да и артиллерия их не могла противодействовать неприятельской, находившейся на верху и занявшей позицию за гребнем высот. Вдобавок ко всему, Французы вышли из Нови и ударили в левый фланг атакующих.

Хотя нападение это было отражено, однако настаивать далее на продолжении атаки представлялось для малочисленного отряда Багратиона совсем непосильным, и войска его стали отходить назад под прикрытием казаков и австрийских драгун.

В это время против левого их фланга появилась французская колонна Ватрена; он запоздал придвинуться к Нови, делал это только теперь и таким образом случайно вышел во фланг Русским. Суворов, который все ждал наступления неприятеля по Скривии к Тортоне, был удивлен появлением Французов именно от Скривии, сейчас же двинул против них большую часть войск Милорадовича и послал к Дерфельдену в Ривальту приказание - со спехом идти к Нови. Войска Милорадовича и Багратиона пошли в атаку левее Нови; бригада Ватрена была отбита, но все-таки атака на Нови не удалась и на этот раз. Багратион удвоил усилия, но снова без успеха; мало того, генерал Гардан опят вышел из Нови и ударил в правый фланг Багратиона, а две остальные бригады Ватрена, подойдя тем временем к месту боя, устремились на левый фланг войск Милорадовича. Левому крылу союзников стала грозить серьезная опасность, но в этот критический момент показались головы колонн Дерфельдена, которые не шли, а бежали под палящим зноем на выручку товарищей.

Линия русских войск, подкрепленная свежими частями, в порядке, как на мирных маневрах, двинулась вперед с барабанным боем. Натиск произведен такой дружный, что Французы были опрокинуты и отброшены к высотам, на которых и поспешили укрыться. Русские не останавливаясь, произвели общий удар на высоты. Но теперь как и прежде, они встретили преграду неодолимую и отхлынули устилая свой путь множеством павших. Дерфельден повторил атаку, - та же неудача; он повел атаку в третий раз. Усилия были доведены до последней степени напряжения, но привели к убеждению в неисполнимости предприятия. Численный перевес Русских ничего им не дал, потому что огромные потери быстро его уничтожили. Жаркое итальянское солнце жгло больше, чем при Треббии; солдаты падали от расслабления и жажды; легкораненые умирали от изнурения. В первом часу дня Суворов велел прекратить атаки.

Нетрудно понять, как тяжело было ему отдать подобное приказание. Он может быть и продолжал бы упорствовать, если бы распоряжался боем издали, но тут все происходило на его глазах, и в ходе дела он принимал непосредственное участие. Можно сказать, что после первых безуспешных атак, он почти беспрестанно был в огне. То он встречал опрокинутый батальон и продолжал с ним ретироваться, крича солдатам, как на Треббии:

"молодцы ребята, заманивай их, заманивай; спасибо ребята, что догадалися", а потом останавливал батальон, говоря: "теперь пора назад, ребята, и хорошенько их". То по первому звуку его голоса бежавшие сами останавливались, строились и кидались снова на неприятеля. То он провожал батальоны после предшествовавшей неудачи вперед и, едучи под пулями и картечью, ободрял солдат, а потом пускал их на врага, приговаривая: "не задерживайся, иди шибко, бей штыком, колоти прикладом... ух - махни, головой тряхни!" То наконец, выведенный из себя неудачами, он слезал с коня и, катаясь перед фронтом по земле, с глубокой скорбью кричал: "ройте мне могилу, я не переживу этого дня". Когда генералы и приближенные лица принимались его успокаивать, он отвечал, что не перенесет поражения при конце своего военного поприща; ему возражали, что отбитая атака не есть еще поражение [15]. Но все эти успокаивания и утешения были фразами, общим местом. Суворов сам знал, что не только далеко до поражения, но что развязка дела находится в его руках; тем не менее вид бегущих солдат и последовательно отбиваемых одна за другою атак производил в нем невыносимо - болезненное ощущение. Ярость, едкая горечь, негодование, стыд кипели в его душе и возбуждали необоримую потребность сломить встреченное противодействие. И хотя атака на Нови была в сущности операцией почти демонстративною, главную же задачу исполнял Край, но Суворов, по свойству своей натуры, был наименее способен к подобного рода действиям, и настойчивость его увеличивалась по мере увеличивавшегося сопротивления. Совершенно верно охарактеризовал его Моро, когда кто-то впоследствии пожелал узнать его мнение о Суворове при Нови. "Что же можно сказать", отвечал он: "о генерале, который обладает стойкостью выше человеческой, который погибнет сам и уложит свою армию до последнего солдата, прежде чем отступит на один шаг?" [16].

Когда атаки Русских прекратились, бой несколько затих по всей линии, так как усилия Края против левого неприятельского крыла кончились еще раньше полным неуспехом, несмотря на то, что упорные нападения Русских у Нови не дозволили Моро подкрепить войсками отсюда свое левое крыло. Таким образом план Суворова - сбить войсками Края французов и зайти им в тыл - не удался совершенно, благодаря непоколебимому мужеству неприятеля и огромным выгодам его позиции. Союзный главнокомандующий уже по одной стойкости Французов теперь убедился, что армия их находится в полном сборе и потому нечего опасаться покушений по долине Скривии. Мелас, стоявший у Ривальты на случай этих покушений, а также чтобы

доконать разбитого неприятеля и забирать его в плен, теперь представлялся в виде драгоценного ресурса, тем более, что Французы принуждены были ввести в дело до полудня все свои наличные силы без остатка. Оставался у Суворова еще и Розенберг, однако он не был потребован; вероятно Суворов предпочел сохранить его на непредвиденный случай [17]. Обстоятельство это имеет значение; оно доказывает - насколько было далеко от Суворова сомнение в победе, не говоря уже про его собственное поражение; иначе он притянул бы к себе обоих. Расчет Суворова оправдался, оказалось достаточно одного Меласа.

За Меласом было послано 1 1/2 или 2 часами раньше того времени, как временно приостановлен бой, - обстоятельство, доказывающее, что Суворов не потерял головы под впечатлением безуспешных атак Нови. Но Мелас на этот раз сообразил, что Дерфельден взят под Нови вопреки диспозиции, следовательно надо принять на себя наступательное движение вдоль Скривии, для которого русский корпус предназначался. Сверх того Мелас не забыл и приказания о доканчивании и забирании в плен неприятеля, которого Край должен разбить. В силу всего этого Мелас выступил из Ривальты - сам, около 11 часов утра, пошел по обеим сторонам Скривии и на пути уже, приблизительно через час, получил приказание -идти левее позиции русских войск и атаковать с фланга правое крыло Французов. Сообразно с этим, Мелас стал делать перемены в распределении своих колонн и потом продолжал движение. Хотя Суворов и говорит в своих реляциях, что Мелас шел быстро и прибыл вовремя, но реляции писались после одержанной победы, главною виновницею которой была помощь Меласа, а при подобных условиях ошибки и прегрешения забываются. На самом же деле, как некоторые свидетельствуют, Мелас прокопался в пути довольно долго, что подтверждается и расчетом времени, ибо с частью своих войск примкнул к левому флангу Русских не раньше двух часов по полудни. Прочие его войска продолжали движение по обоим берегам Скривии.

До трех часов дня войска отдыхали и подкрепляли свои силы; затем бой возгорелся снова. Согласно приказанию Суворова, разом двинулась вперед вся линия - и Край, и Дерфельден, и Мелас; последний, подкрепленный частью русских войск, атаковал высоты, занятые дивизиею Ватрена, т.е. правый фланг французской позиции за Нови. Французы выставили на высотах всю свою артиллерию и встретили союзников страшным огнем. Бой загорелся по всей линии самый отчаянный; отдохнувшие войска набрались сил и возобновили дело с новой энергией.

Французы держались твердо, как стена, и опять стали разбиваться об эту стену бурно набегавшие людские волны....

Но теперь сущность дела была уже не прежняя: союзники получили 8,000 человек подмоги и стали охватывать ими неприятельский фланг. Мелас поднялся на высоты; две его колонны, двигавшиеся по Скривии, дошли до Серавалле, прогнали Домбровского, блокировавшего форт, и затем частью заняли Арквату в тылу французской позиции, частью двинулись к Нови для содействия Меласу. Дивизия Ватрена, принужденная переменить фронт правым флангом назад, держалась довольно слабо; цисальпийский легион почти совсем не держался и при первом натиске бежал в паническом ужасе, офицеры впереди. Прискакал начальник правого крыла, Сен-Сир, и с одной полубригадой восстановил бой: наступление замедлилось, Меласовы войска подались даже назад, Французы захватили в плен одного австрийского генерала и отбили два орудия. Дивизия Ватрена пришла в себя, оправилась, начала выстраиваться; успех по-видимому опять уходил от союзников, но это продолжалось не долго. Русские после кровопролитного боя ворвались наконец в Нови и показались на высотах. Держаться Французам уже было нельзя, приходилось думать лишь об отступлении.

Но и отступать было почти некуда: прямой путь на Гави был захвачен, и двум бригадам правого французского крыла пришлось искать спасения окольными дорогами. Левое крыло французов, сбитое Краем, могло отступать только на Пастурану, а туда уже двинулись Русские от Нови. Здесь столпились отступавшие; узкие улицы деревни и глубокий овраг загромоздились пушками и обозами, и в эту хаотическую массу полетели пули небольшого австрийского отряда. Несколько лошадей было убито; обоз стал, и единственная дорога закрылась для отступающих; а деревня и её окрестности все наполнялись густыми толпами, в которых не пропадал ни один выстрел. К довершению бедствия стали подходить Русские и небольшой отряд занял кладбище; с другой стороны показались Австрийцы Края и двинулись в атаку. Толпы Французов рассыпались во мгновение ока, все бросилось в разные стороны, куда попало. Один батальон пытался обороняться, предводимый двумя генералами, которые с несколькими другими совещались в Пастуране о средствах к спасению армии; но успеха иметь не мог. Оба генерала, израненные, попались в плен, а впереди деревни целая бригада положила оружие.

Отступление Французов, обратившееся потом, кроме части войск Сен-Сира, в настоящее бегство, началось в 6 часу вечера. Не задолго перед тем, когда победа не подлежала уже сомнению, Суворов послал Розенбергу приказание- идти из Вигицоло к Нови

[17]; а сам объехав некоторые войска, остановился в каком-то домике для отдыха и распоряжений. Было около 7 часов вечера, жара стояла еще сильная; Суворов велел открыть настежь все окна и быстрыми шагами ходил по комнате; у двери стоял казак с обнаженною саблей. Доложили, что приехал какой-то офицер; приказано впустить. Вошел поручик Толль и доложил, что прислан от Розенберга, который выступил в 6 часов и спрашивает приказания - где по приходе расположиться. "Хорошо, мой друг, сейчас дам приказание", сказал Суворов и послал за двумя или тремя лицами штаба, продолжая расхаживать взад и вперед. Более чем с любопытством смотрел молодой офицер на главнокомандующего, имя которого гремело во всей Европе и которого он видел в первый раз. Суворов был в том самом костюме, что и во время боя: в рубашке, в коротком исподнем платье из летней ткани и полусапогах; сухощавые его ноги охватывались у самых колен пряжками; весь он был покрыт потом и пылью. Пришли чины штаба; Суворов продиктовал им несколько приказаний, подошел потом к Толлю и спросил его, заложены ли мины под Тортоною. Толль отвечал, что не знает. Как уязвленный отскочил от него Суворов, закричал: "немогузнайка, опасный человек, схватите его", и забегал по комнате с разными странными ужимками и восклицаниями. Присутствовавшие или опустили глаза, или обратились с безмолвным укором к молодому офицеру; Толль стоял в оцепенении от такого неожиданного поворота. Прошло минут десять во всеобщем замешательстве; затем Суворов успокоился, передал сконфуженному Толлю запечатанное приказание и отпустил его, сказав серьезно: "вы должны знать все, будьте вперед осторожнее" [3].

Войска, утомленные до последней степени более чем полусуточным боем, расположились на ночлег на самом поле сражения; преследование продолжали одни передовые части. Французы бежали по всем направлениям; их гнали, рубили, забирали в плен кучами; лишь спустившаяся ночь дала им возможность свободнее вздохнуть. Как союзники понесли огромную потерю во время сражения, так Французы особенно пострадали при отступлении. Равнина, скаты и гребни возвышенности, лощины - были усеяны телами мертвых и умирающими; даже на следующее утро нельзя было проехать несколько сот шагов, чтобы из-под копыт лошади не раздался болезненный стон полумертвого страдальца [3]. Очевидец говорит, что тела лежали вокруг Нови почти сплошь одно около другого, и было их так много, "как на самом урожайном поле не могло быть снопов сжатого хлеба". Приходилось заботиться только о своих,

да и на это потребовалось много времени; собирать же раненых Французов, отвозить их в госпитали и хоронить мертвых, приказано было окрестным жителям" [4].

Ночь наступила довольно свежая; на биваках союзных войск водворилась мало- помалу тишина; истомленные войска отдыхали; лишь издали, из горных ущелий, доносились еще выстрелы: то передовые партии следили за бегущими Французами. Вдруг, около полуночи, раздалась ружейная трескотня в Нови, потом затихла и опять возобновилась. Войска поднялись на ноги, стали в ружье; Суворов послал туда один русский батальон. Оказалось, что несколько сот Французов, не успевших отступить со своими войсками, укрылись в городских домах, ближайших садах и оврагах, а с наступлением ночи собрались, при содействии жителей, большой толпой и напали на главный русский караул. Караул встретил их выстрелами и штыками, но был подавлен массою и почти поголовно лег на месте. Французы заперли городские ворота и вознамерились обороняться, но подоспевший русский батальон отбил ворота и ворвался в город. Французы были большею частью переколоты, а остальные рассеялись и попрятались по домам. Между горожанами находилось много французских сторонников; два раза в продолжение кампании Багратион, занимая Нови, должен был их остерегаться, и все-таки они успевали наносить союзным войскам вред. В настоящем случае городские жители французской партии поступали таким же образом, помогали Французам, укрывали их и даже несколько значительных лиц участвовало в нападении на русский караул, доказательством чему служило пятеро из них убитых. Русские солдаты не сочли поэтому нужным стесняться: многие дома, где укрылись Французы, были взяты, все попавшиеся под руку переколоты, имущество уничтожено и разграблено. Досталось конечно и не одним укрывателям, потому что разбирать было недосуг, да и невозможно; но в это время явился сам Суворов и остановил самовольство солдат [4].

Этим эпилогом закончилось сражение при Нови. Отличительная его черта состоит в необыкновенном упорстве обеих сторон и в естественном следствии этого упорства - огромных потерях. Сам Суворов говорил, что не видал еще такого жестокого по упорству дела [18]. У союзников больше всего потерпели войска Края, находившиеся в огне с раннего утра до вечера; у него выбыло из строя больше 5,000 человек; в русских войсках убыль доходила почти до 2,000; общий итог потери союзников простирался до 8,000; в числе раненых насчитывалось несколько генералов. Урон Французов был еще значительнее;

самые умеренные показания определяют его в 9,500 человек убитыми, ранеными и пленными [19], но в сущности он был выше по меньшей мере на 1,500, особенно если принять в расчет, что много раненых Французов следовало за своею отступавшею армией при пособии пленных Австрийцев, которые были для этого к ним приставлены [20]. Так как союзников участвовало в бою 52,000, а французов 35,000, то процентное содержание потери Французов выходит вдвое больше, чем у союзников; сверх того у Французов разбежалось несколько тысяч человек. В числе 4,600 пленных Французов находилось 84 офицера и 4 генерала, из которых двое, Груши и Партуно, были отправлены в Петербург, так как Император Павел еще раньше повелел прислать к нему французских генералов, которые будут "взяты в полон без акорду". Сверх всего этого, в руках союзников осталось 4 французских знамени и от 37 до 39 орудий, т.е. почти вся их полевая артиллерия, состоявшая только из 40 орудий.

Суворов был очень доволен поведением войск в бою, и русских, и австрийских, о чем и доносил обоим императорам, особенно одобрительно отзываясь о содействии, оказанном Меласом. Представлен был длинный список отличившихся, и Император Павел пожаловал им щедрые награды. Кроме того высочайше повелено: жалованье убитых на войне офицеров обратить в пенсию их женам по смерть, а детям до совершеннолетия; семействам же убитых офицеров, находившимся за границей, выдать еще, в виде единовременного пособия, годовой пенсион на возвратный путь в Россию. Суворова Государь почтил рескриптом, написанным в самых милостивых выражениях; в нем говорилось, что Государь не знает, чем наградить главнокомандующего, который "поставил себя выше награждений". Однако Государь придумал награду, и именно в том роде, который для Суворова был особенно дорог. Последовал приказ, чтобы гвардия и все войска, даже в присутствии Государя, отдавали Суворову воинские почести, следующие по уставу только особе Императора. "Достойному достойное", заключал Государь свой рескрипт: "прощайте князь, живите, побеждайте Французов и прочих, кои имеют в виду не восстановление спокойствия, но нарушение оного".

Впечатление от новой, решительной победы было в Вене и в Петербурге полное, глубокое, но в венских правительственных кружках принято по обыкновению сдержанно, в Петербурге же с искренним, горячим восторгом. С донесением отправлен был состоявший при Суворове подполковник Кушников; ему между прочим приказано было, при проезде чрез Вену, не являться Тугуту. Кушникова чуть не носили в Петербурге на руках, и

Государь первый подавал всем пример своими милостями: произвел его в следующий чин, пожаловал два ордена, в том числе один с бриллиантами, звал к своему столу и к обеду, и к ужину. Государь - наследник, в предвидении зимней кампании, узнав, что у Кушникова нет теплого верхнего платья, подарил ему свою шубу, сказав: "мне нельзя ехать в италийскую армию, так пусть там будет хоть моя шуба" [5]. Вообще Суворовскому посланцу оказывали всюду самые разнообразные знаки внимания, приглашали к себе, расспрашивали о последних мелочах, слушали как оракула.

Такое же глубокое, можно сказать потрясающее впечатление, только в противоположном смысле, произвело известие о побоище при Нови во Франции. Клуб, сформировавшийся из остатков якобинской партии, не знал границ в резких заявлениях своего негодования; оскорбления посыпались на генералов, на Моро, на Жубера, даже на вдову Жубера, Да и в правительственных учреждениях говорилось тоже самое, только в более мягкой форме; национальная гордость конвульсивно трепетала под нанесенным ей новым, жестоким ударом [21].

Распоряжения Суворова при Нови осуждаются иностранными писателями более, чем в каком другом деле. Говорят про разновременность атак, про поздний призыв Меласа, про нерасчетливое оставление Розенберга без всякого употребления, т.е. про отсутствие общей мысли в ведении боя; самые строгие хулители выводят заключение, что Суворов одолел только числом и обнаружил полнейшее невежество в военном деле. Следует впрочем оговориться, что никто из критиков не отрицает храбрости Русских, называя ее по обыкновению "фанатическою", а один из них, наиболее беспристрастный, замечает, что сражение при Нови между прочим доказывает, что "качество войск и непреклонная воля их предводителя иногда могут заполнить ошибочность его соображений" [22]. В настоящей главе предмет изложен таким образом, чтобы самое дело могло служить прямым ответом на приведенные приговоры и замечания критики, а потому к этой теме нет надобности возвращаться. Можно разве только добавить, что если настойчивость и упорство были злоупотреблены, то этот недостаток представляется ничтожной отрицательной величиной в сравнении с тем громадным положительным достоинством, которое присуще долгому и славному военному поприщу Суворова, благодаря тем же настойчивости и упорству. Сам Суворов очень хорошо понимал, что сражение при Нови может послужить канвой для многих узоров порицания и охуждения, а потому выразился, что "тактики будут ругать" его, в чем и не ошибся [23].

Но охуждают не одно сражение, а также и распоряжения после боя; ставят Суворову в укор, что он не сумел воспользоваться победой, дозволив совершенно разбитым Французам отступить, тогда как мог их истребить энергическим преследованием. Обвинение это еще менее основательно, чем первое, в чем легко убедиться из обстоятельств, последовавших за победою.

По ходу боя видно, в какой крайней степени изнурения должны были находиться войска к вечеру 4 августа; серьезное преследование немедленно, без передышки, — стало физически невозможным. Послав за неприятелем легкие партии, Суворов сделал распоряжение об энергическом преследовании на следующий день. Во главе русских войск должен был идти Розенберг со своими свежими, не участвовавшими в бою силами; он подошел к Нови 4 числа поздно вечером, провел тут ночь и тронулся дальше рано утром 5 числа. Прочие корпуса, вследствие чрезмерной усталости, простояли на месте до полудня и только тогда выступили. Розенберг в тот же день имел авангардное дело с Французами; войска его, горевшие желанием добыть хоть долю славы своих товарищей, не тратили много времени на перестрелку. Несколько батальонов дружно и горячо ударили в штыки, вмиг сбили неприятеля и гнали его, не давая опомниться; до 130 человек взято в плен и много полегло на месте. Этим небольшим делом и ограничились действия Розенберга, ибо к вечеру он получил приказание — вернуться назад, чрез Серавалле, куда и двинулся следующим утром, а против неприятеля отправил только легкие партии [24]. Такое же самое приказание — возвратиться на прежние позиции перед Нови или занять другие указанные места, — получили остальные войска 5 и 6 числа, и только что начатое преследование неприятеля прекратилось.

Это спасло остатки французской армии. Она находилась в бедственном положении; два дня сам главнокомандующий оставался в совершенной неизвестности — где находятся войска его левого крыла и что с ними сталось. Австрийская бригада Нобили, участвовавшая накануне в обходном движении Меласовых войск и занявшая в тылу Французов Арквату, была с трудом выбита оттуда отступавшими войсками правого французского крыла, и для этого потребовалась целая дивизия Ватрена. Что же было бы, если бы союзные колонны напирали энергически на неприятеля с тыла, не давая ему опомниться и поддерживая зародившуюся в нем панику? А между тем не Суворов был виновен в этой ошибке. На другой день после новийского побоища, когда Розенберг давно ушел, а может быть и

прочие колонны тронулись, Мелас объявил Суворову, что нет ни продовольствия, ни мулов для движения в горы. Суворов мог конечно ответить, что еще с 20 июля отдано ему, Меласу, приказание — заготовить то и другое не позже 4 августа. По всей вероятности он и поставил это обстоятельство на вид своему подчиненному; но дело оттого не изменялось, и факт неизбежного стояния на месте — оставался во всей своей фактической силе. Что касается до местных средств Ривьеры, то в ней решительно нельзя было найти продовольствия до подвоза морем, а потому идти туда с двухдневным запасом хлеба было бы поступком просто безрассудным. Настоящий случай принадлежал к категории тех, когда *невозможное* нельзя силою воли или гения превратить в *возможное*, и остается ему подчиниться. Суворов так и сделал. Но отказаться вовсе от своего намерения, т.е. лишиться всех плодов своей победы, он не хотел и не мог. Было приказано Меласу — добыть мулов и продовольствие с наивозможною поспешностью и объявлено, что наступательное движение в горы отсрочивается на несколько дней. Однако и этот его расчет оказался в тот же несчастный день 5 августа сделанным "без хозяина", потому что хозяином в армии был не главнокомандующий, а венский гофкригсрат.

По плану Суворова, составленному давно и объявленному кому следует для исполнения по взятии Мантуи, между прочим генерал Кленау должен был двинуться к Генуе вдоль морского берега. В первых числах августа Кленау начал приводить этот план в исполнение и дошел до форта Санта-Мария, но тут получил прямо из гофкригсрата распоряжение — прекратить наступление в Ривьеру, возвратиться в Тоскану и ничего не предпринимать до новых приказаний из Вены. В то же время и тоже из гофкригсрата получено Меласом высочайшее повеление — собрать в Тоскане немедленно 9,000-ный отряд под командою генерала Фрелиха, которому водворить там порядок и обезоружить народные ополчения, ожидая на месте инструкций из Вены. Кроме того Бельгарду дано прямое предписание - прибыть в Вену, а Гогенцолерну — ехать в Тоскану с дипломатическим поручением. Мелас донес обо всем этом Суворову в тот же день 5 августа, говоря между прочим следующее: "так как означенное высочайшее повеление должно быть исполнено безотлагательно, то я прямо уже сообщил о нем по принадлежности и сделал надлежащие распоряжения".

Таким образом, подкомандный генерал делал по армии распоряжения и сообщал о них главнокомандующему *для сведения*, а другой генерал, степенью еще ниже, получал за несколько сот верст приказание от правительства, разрушавшее

составленный главнокомандующим план военных действий. Казалось, какая-то роковая преграда постоянно воздвигалась между Генуей и Суворовым, будто указывая ему иной путь. Так на самом деле и вышло.

Глава XXXII. Итальянская кампания: перемена театра войны; 1799.

Неудобное положение Суворова вследствие распоряжений, получаемых из Вены. — Успехи Французов в Швейцарии; демонстрации со стороны французской границы. — Капитуляция тортонского замка. — Союзный лагерь при Асти. — Чествование Суворова отовсюду; интерес, возбуждаемый его именем; его занятия, образ жизни, странности. — Новое распределение войск по театрам войны; назначение Суворова в Швейцарию; его неудовольствие и жалоба. — Несогласия между Римским Корсаковым и эрцгерцогом Карлом; бездеятельность последнего и удаление из Швейцарии; объяснение причин. — Переписка Павла I с Суворовым. — Двукратное выступление последнего из Италии; порядок похода; сдача тортонского замка. — Прощание с австрийскими войсками; мнение Суворова о них и поведение его по отношению к ним. — Опасения за будущее.

Наступательное движение в Генуэзскую Ривьеру представлялось таким естественным шагом после победы при Нови, что Суворов не сразу от него отказался, несмотря на сделанные из Вены прямые распоряжения в противоположном смысле. Да и не все австрийские генералы приняли эти распоряжения к безусловному исполнению; нашлись люди, которые под риском личной ответственности сочли долгом

повиноваться не гофкригсрату, а главнокомандующему. Так, генерал Кленау продолжал свое наступление по морскому берегу, впредь до изменения самим фельдмаршалом первоначального плана действий, о чем ему и донес. Но надежды Суворова лопнули очень скоро; император Франц вторично подтвердил свою волю, в надежде, что "неприятель вынужден будет сам покинуть Ривьеру по недостатку продовольствия". Таким образом Кленау, успевший приблизиться почти к самой Генуе, но не поддержанный движением других частей армии, принужден был отступить с уроном в несколько сот человек. Распущение ополчений тосканских и особенно аретинских, весьма для коалиции полезных и не провинившихся самовольством или безначалием, также представлялось мерой вредной в военном и политическом отношении, и граф Цукато поспешил выехать из Тосканы, чтобы спасти в глазах итальянского народа честь русского офицера. Предначертания Суворова, так хорошо задуманные и успешно приводимые в исполнение, разлетелись прахом одно за другим.

Некоторым косвенным утешением послужили Суворову вновь сложившиеся обстоятельства, которые, по крайней мере на первое время, отвлекли бы его от предположенного наступления в Ривьеру и без запрета Венского двора. Со стороны Швейцарии были получены неприятные известия. принц Виктор Роган и Штраух, вытесненные Французами из Валиса, с большим уроном были отброшены к Домо д'Оссола и к Белинцоне. Занятием Симплона и С-Готара Французы открыли себе путь в тыл итальянской союзной армии; тревога распространилась до Милана, и Суворов поспешно двинул Края на подкрепление Штрауха и Рогана. Дело ограничилось одной тревогой, ибо Французы дальше не двигались, но за то стала грозить опасность со стороны крепости Кони. Тут уже давно происходили непрерывные движения французских войск и почти ежедневные аванпостные стычки, но Суворов не обращал на них большого внимания, хотя и знал, что на границе собирается французская армия под начальством Шампионэ. Лишь при новых, настойчивых слухах о соединении Шампионэ с частью войск Моро, он дал цену тенденциозным вестям и приказал Краю спешить назад. Однако и эта тревога оказалась пустою; демонстрации Шампионэ производились так медленно и нерешительно, что сами разоблачали свое истинное значение, и Суворов спокойно оставался в лагере при Асти.

Пункт этот находился почти на половине пути между Турином и Тортоной и был избран как центральная позиция на случай предприятий Французов со стороны Кони или Генуи.

Осада тортонской цитадели, прерванная сражением при Нови, после победы тотчас возобновилась, однако огонь осадных батарей не имел большой действительности против казематированных построек, и Суворов, в нетерпении, приказал корпусу Розенберга готовиться к штурму. Уже не один раз подобные крайние его решения приводили к искомому результату - сдаче крепостей; в настоящем случае угроза штурмом тоже произвела действие, тем более, что разгром Французов при Нови отнимал у храброго и решительного тортонского коменданта почти всякую надежду на освобождение крепости от осады. Августа 11 состоялась конвенция, которою заключено до 31 числа перемирие, а в этот день условлено сдать крепость на капитуляцию, если она не будет до того времени выручена французскою армией, причем гарнизон получал свободу с правом возвратиться во Францию, а со своей стороны давал обещание не служить против союзников 4 месяца. Условие было выгодное для обеих сторон, потому что, по тщательному исчислению инженеров, требовалось при самых благоприятных условиях не меньше 3 недель для пробития бреши. Но последствия показали, что штурм, если б он удался, был бы несравненно лучшим решением, потому что капитуляционный срок задержал Суворова в Италии и был одною из причин неудачи Швейцарской кампании.

Таким образом три недели пришлось Суворову простоять в лагере при Асти. Здесь, как и в Александрии, справлялись торжественные дни, служились молебны, раздавались награды при церемониальной обстановке. Сюда стекались мирные жители страны и иностранцы посмотреть на победоносного вождя; неслись отовсюду поздравления, пожелания дальнейших успехов, милости коронованных особ. Сардинский король, выразив Императору Павлу глубокую признательность за все им совершенное для восстановления прежних порядков, обращался с самыми любезными письмами и к самому Суворову, называл его "бессмертным", изъявлял желание служить в армии под его начальством; братья короля тоже просились в русскую службу. Не довольствуясь словами, Карл Эммануил даровал Суворову высшие награды, какие только существовали в королевстве; сделал его "великим маршалом пьемонтских войск и грандом королевства, с потомственным титулом принца и кузена короля", так что с этого времени и сам король, и его братья подписывались в письмах к Суворову: "Votre tres-affectionne cousin". Город Турин, следуя примеру своего монарха, тоже почтил Суворова знаком особенной признательности: депутация от города прибыла в Асти и поднесла победоносному фельдмаршалу золотую шпагу,

осыпанную драгоценными камнями, с благодарственною надписью. Множество поздравительных и признательных адресов получил Суворов также из разных частей Италии. Даже камердинер его, Прохор Дубасов, попал в колею милостей: Сардинский король наградил его двумя медалями за заботы по сбережению здоровья Суворова [1].

Император Павел был чрезвычайно рад, что его подданный, предводитель русских войск, сделался предметом такого внимания и отличий, что и высказал в любезном рескрипте на имя Сардинского короля, благодаря его за великодушную оценку заслуг Суворова и русской армии. И самому Суворову Государь выразил по этому поводу свое благоволение, как бы не желая упустить случая - сделать ему приятное. Дозволив принять отличия, пожалованные Карлом Эммануилом, Государь написал: "чрез сие вы и мне войдете в родство, быв единожды приняты в одну царскую фамилию, потому что владетельные особы между собою все почитаются роднею".

Не только Россия и Италия чествовали русского полководца и восторгались при его имени; в Англии он тоже сделался первою знаменитостью эпохи, любимым героем. Этому отчасти способствовали прославленные странности Суворова, и Англичане, между которыми столько эксцентриков, смотрели в то время на причуды и выходки Суворова довольно благосклонно. Газетные статьи, касающиеся Суворова и его военных подвигов, появлялись чуть не ежедневно; издавались и особые брошюры с его жизнеописаниями, и карикатуры, способные вызвать улыбку и теперь. На одной он изображен в виде маленького, коренастого человека с огромной пастью; втыкая вилку в толпы Французов, пеших и конных, он пожирает их разом десятка по полтора и по два, целиком, с одеждою и оружием, так что изо рта его торчат ноги, головы, шляпы, сапоги, ружья и проч. На другой карикатуре торжествующий Суворов надел петли на всех пятерых французских директоров, которых и ведет в Россию; у них на лице забавно изображены ужас и отчаяние, а он, совершенно спокойный и самодовольный, держит веревку и толстыми, коротенькими своими ногами, в сапогах с длиннейшими шпорами, марширует тихим шагом, покуривая трубку и не оглядываясь на своих пленников [2]. Имя Суворова сделалось даже предметом моды и коммерческой спекуляции; явились Суворовские прически, Суворовские шляпы, Суворовские пироги и проч. В театрах пели в честь его стихи, на обедах пили за его здоровье; по словам русского посланника в Лондоне, графа С.Р. Воронцова, Суворов и Нельсон были "идолами английской нации, и их здоровье пили ежедневно в дворцах, в тавернах, в хижинах".

По его же словам, на всех официальных обедах, после тоста за здоровье короля, провозглашалась здравица Суворову; мало того, однажды, после смотра Кентской милиции и волонтерам, когда лорд Ромней угощал короля и все 9,000-ное войско обедом, король провозгласил первый тост за здоровье Суворова [3].

Суворовские портреты пошли теперь сильно в ход. С.Р. Воронцов обратился к Суворову с просьбою - выслать свой профиль для награвирования и когда получил желаемое, то благодарил в выспренних выражениях, говоря, что ему, Воронцову, не дают покоя, все неотступно просят портрет, все жаждут иметь изображение героя. Тоже самое происходило почти во всей Европе. Известный корреспондент Екатерины II Гримм, находившийся в 1799 году русским резидентом в Брауншвейге, пишет С.Р. Воронцову, что принужден постоянно принимать целые процессии желающих взглянуть на миниатюрный портрет Суворова, подаренный ему, Гримму, Суворовым после последней Польской войны, и теперь, вследствие не прекращающихся просьб, заказал с портрета гравюру. В России слава Суворова доведена была патриотическим чувством до апогея; он составлял гордость своего отечества; в современной корреспонденции беспрестанно наталкиваешься на слова: "приятно быть русским в такое славное для России время". Как ни щедро император Павел награждал Суворова, но русскому обществу всего этого казалось мало; ожидали чего-нибудь особенного, доселе не бывалого, и на этот предмет носились разные слухи. Дело не ограничилось одной молвой: в московском воспитательном доме напечатали рисунок новой звезды, якобы учрежденной Государем для пожалования собственно Суворову, и рисунок этот продавался по 25 коп. за экземпляр, а так как ничего подобного не предполагалось и слух пущен был ложный, то приказано было разыскивать выдумщика [4].

Таким образом Суворов, сидевший в Асти, был предметом всеобщего любопытства, изумления и чуть не благоговения в антиреволюционной Европе, а в революционной Франции возбуждал ужас; там весьма многие считали неизбежным скорое вторжение русского полководца в пределы республики, и составлялись пари на счет продолжительности срока, нужного ему, чтобы достичь Парижа. Эти два хора друзей и врагов, благоприятелей и зложелателей, были явлением естественным; ненормальным представлялось лишь отношение к делу Австрийского правительства, Больше всех была обязана Суворову Австрия, а от Австрийского императора Суворов не видел еще ничего, кроме комплиментов и крупных неприятностей. В документах того времени беспрестанно встречаются указания на

это обстоятельство; даже в переписке лиц дипломатического мира оно нередко служит предметом недоумения и негодования.

Имея в Асти досуги, Суворов по своему неизменному правилу занимался обучением войск; цепь учений, маневров, смотров не прерывалась. В лагерь стекались толпы любопытных; они с напряженным вниманием производили над русскими войсками наблюдения, силясь уловить в их устройстве и порядке службы тайну постоянных побед. Не ограничиваясь школою учебного поля, Суворов продолжал давать австрийским генералам наставления в военном деле. Совершенно верно относя поражение Штрауха и Рогана раздроблению их сил, Суворов указывал Гадику, что его 13,000-ный корпус слишком разбросан, ибо в главном отряде остается всего два батальона; что кордонная линия всегда может быть опрокинута, потому что неприятель по своему усмотрению выбирает один пункт для нападения; что все пути и тропинки следует занимать не для упорной их защиты, а только для наблюдения, дабы дать время сосредоточенным главным силам поспеть на встречу противника, где потребуется. Барону Краю Суворов писал, что "ни одного поста не должно считать крепостью; нет стыда уступить пост превосходному в числе неприятелю; напротив, в том и состоит военное искусство, чтобы во время отступить без потери; упорное же сопротивление для удержания иного поста стоило бы дорого, между тем впоследствии придется все-таки отдать его превосходному неприятелю.... Уступленный пост можно снова занять, а потеря людей невозвратима; нередко один человек дороже самого поста".

Из этих коротеньких инструкций видно, как здраво смотрел Суворов на кордонную войну, излюбленную Австрийцами. В письмах своих Разумовскому он тоже не раз говорил про фальшивое направление их военного искусства и упоминал про "знаменитый Лассиев кордон" в последнюю Турецкую войну, который Турки прорывали когда хотели и где хотели. Приведенные наставления доказывают, что Суворов вовсе не требовал одоления неприятеля всюду, при всякой встрече, во что бы то ни стало, как это многие полагают. Он только не вводил отступательный принцип в обучение войск, как начало деморализующее, и оттого, в беседах с людьми противоположной военной школы, стоял в качестве военного педагога безусловно за свою наступательную теорию, не допуская иногда и таких изъятий, которые сам делал на практике. Однажды Мелас, будучи раздражен сарказмами Суворова на счет ретирад, сказал ему с досадой: "да, я ведь и забыл, что вы генерал Вперед". Суворов отвечал ему: "правда, вперед; но иногда оглядываюсь и назад,

однако не для того, чтобы бежать, а чтобы напасть". Все это Меласу и другим было не вразумительно, и уроки Суворова принесли некоторую пользу лишь на то время, как он командовал Австрийцами, дальне же не пошли. Он был слишком оригинален для рутинеров и педантов. Он сам говорит в одной коротенькой записке, написанной перед выступлением из Италии: "у меня правило - атаковать, не обороняться и слабому отряду благовременно уступать сильнейшему; но методику я вывесть не мог" [5].

И в Асти, и в Александрии, и в других местах продолжительного пребывания, Суворов вел свой обычный образ жизни, с незначительными лишь изменениями, которые вызывались обстоятельствами. Вставал он чуть свет, несколько раз в день обливался холодною водой, ходил одетый в легкую летнюю материю, обедал в 8 часов; работал в кабинете прилежно и много. Его посещали довольно часто, особенно в последнее время, иностранцы, преимущественно Англичане, люди родовитые или высоко стоящие; он с ними беседовал о предметах литературы, современной политики, военного дела. Беседа велась преимущественно за столом, оттого зачастую обедало у Суворова много приглашенных; он даже переносил срок обеденного времени с 8 на 9 часов утра, говоря с забавною серьезностью, что этого требует приличие, так как Англичане садятся за стол позже всех европейцев. Обеденное время служило для Суворова отдыхом и развлечением; он был за столом весел, разговорчив, шутлив, засиживался долго, иногда часа по три, и оттого зачастую съедал и выпивал лишнее. К концу обеда Суворов обыкновенно начинал дремать, так что кто-либо из адъютантов подходил к нему и напоминал, что время вставать из-за стола, или камердинер Прохор толкал его без церемонии под бок, говоря: "пора, сударь, спать". Имели они также полномочие - удерживать хозяина от излишества в еде и питье, только это право, или лучше сказать щекотливая обязанность, не всегда исполнялось с успехом [1].

Обед бывал обыкновенно прескверный, особенно в постные дни, и только привычные люди могли им удовлетвориться; прочие или почти ничего не ели, вставали из-за стола голодные и отправлялись куда-нибудь наверстывать недостатки Суворовской кухни, - или же, заставив себя сделать честь знаменитому хозяину, расстраивали желудок и принимали лекарство. За столом же Суворов давал полный ход своим причудам; приказывал обносить водкой того, кто после молитвы *Отче наш* не сказал *аминь*; смотрел, чтобы кто-нибудь не просыпал невзначай соль; декламировал финские песни; осыпал

сарказмами тех из приглашенных генералов, кто каким-нибудь неловким выражением или поступком становился в разрез с Суворовским складом понятий. Насмешек Суворова боялись все, не исключая даже таких уважаемых им лиц, как Дерфельден. В отношении своей нетерпимости, а также всяческих странностей и причуд, Суворов сделал в Италии успехи; по мере того, как положение и знаменитость его возрастали, он стеснял себя все меньше, и выходки его переходили иногда из обыкновенных невинных чудачеств в распущенность и непристойность. Так, он часто появлялся в окне голый, т.е. в своем излюбленном домашнем летнем костюме, в котором несколько лет назад принимал визит Платона Зубова. Заурядные чудачества шли своим чередом; Меласа он часа по два держал, рассказывая ему про русскую масленицу, про блины, передавал ему эпизоды русской деревенской жизни, учил произносить трудные русские слова и проч., или давал косвенные военные наставления, цитируя свое боевое прошлое. Мелас хлопал глазами, пыхтел, потел, пока наконец вырывался из этой пытки, и по поводу Суворовских самовосхвалений замечал Фуксу, что этот человек подавляет своей гордыней, на что впрочем имеет и право. Разговаривая с лордом Бентинком, Суворов все натягивал свои якобы спускавшиеся чулки, намекая на желание получить орден Подвязки; принимая молодого комиссариатского чиновника, получившего поручение - купить для армии 5,000 пар сапогов, он бросился к нему на шею и вскричал: "иди спасать Европу". В Асти его навестил один

85-летний маркиз, пожелавший познакомиться с героем эпохи; дряхлый старик с трудом втащился в приемную; Суворов его обнял, расцеловал и посадил, сам пред ним стоял и беспрестанно называл "папенькой", а окружающим пояснял, что юность должна чтить маститую старость. Состоявший при нем Фукс попал однажды под боевой огонь и, чтобы избавиться от подобных сюрпризов на будущее время, сознался Суворову, что боится. "Не бойся ничего", сказал ему Суворов: "держись только около меня, я ведь сам трус" [6].

Все подобные шутки, выходки и дурачества практиковались почти исключительно в людях, в обществе, за столом; в кабинете же, за деловыми занятиями, особенно глаз на глаз, им не было места, Тут Суворов являлся совсем другим человеком, и разве только немогузнайство, или что-нибудь равносильное, могло вызвать в нем какую-нибудь выходку чудака. Если он диктовал приказания, исполнитель не смел вымолвить ни слова; при докладах также надлежало держать ухо востро и быть крайне внимательным. Только приспособившись ко всем требованиям

Суворова, лица, состоявшие при нем, приобретали апломб и уверенность в себе, не боялись своего начальника и даже во многих отношениях вертели им по своему усмотрению.

Непроизводительно для целей войны проходили недели в Асти. Тем временем дипломатия работала, но различие целей всех трех союзников клало на эту работу печать не созидания, а разрушения. Чего не успели сделать Суворовские победы, то не могло быть исполнено переговорами, рассуждениями и убеждениями.

Еще весной предполагалось расширить союз привлечением в него Пруссии, северных германских владений, Дании и Швеции, а также дополнить задачу коалиции исторжением Голландии из рук Франции. Проект расширения союза не удался, но мысль о предприятии против Голландии не была оставлена. Родилась она в Лондоне; вырвать из рук неприятеля голландский флот и завладеть им или хоть истребить его, - было мечтою Лондонского кабинета, которая прикрывалась официальною целью - уничтожить Батавскую республику и восстановить прежний порядок. Эта лицевая сторона предприятия совершенно отвечала взглядам Русского Императора, а потому он сразу одобрил мысль и, не ожидая решения подробностей, приказал снаряжать войска и флот для экспедиции против Батавской республики. Тоже самое делалось в Англии; герцог Йоркский был назначен главнокомандующим союзными силами; приготовления производились с чрезвычайным спехом, но заключенный между двумя державами договор содержался, по настояниям из Лондона, в секрете от Австрии.

Суворову было сообщено о морской экспедиции к берегам Голландии, как о предприятии решенном. Он постоянно был противником крупных десантов с обширными военными целями и потому пришёл в отчаяние от такой новости, представлял себе будущность предприятия в самом мрачном свете и говорил: "Господи, да не буду я пророком". Опасения его сбылись, хотя и по другим причинам [1].

Как только Венский кабинет проведал про секрет Англии и России, он прежде всего позаботился приспособить Голландскую экспедицию к своим интересам, а именно решил направить дело к возвращению Нидерландов под владычество Австрийского дома, и принялся расчищать себе путь прокламациями к бельгийскому народу, дипломатическими нотами и проч. Следующею ступенью к цели являлось предполагавшееся в то время новое размещение союзных войск по театрам войны. Первоначально было проектировано - Римскому- Корсакову и принцу Конде занять Швейцарию и вторгнуться во Францию, но потом план этот

изменился. Между Петербургом и Лондоном решено было оставить в северной Италии одни австрийские войска, в Швейцарии сосредоточить все русские под начальством Суворова, которые и предназначались для вторжения во Франш-Контэ; эрц-герцог Карл должен был прикрывать их правый фланг, а австрийские войска в северной Италии - левый; наконец, весь этот план решено приводить в исполнение по совершенном утверждении союзников в Италии и Швейцарии. Предложение Англии и России сообщено было Венскому двору, который потребовал в нем изменения: эрц-герцогу Карлу действовать на нижнем Рейне, войдя в связь с англо-русским десантным корпусом в Голландии и стараясь поднять в Бельгии восстание против Французов, а для связи эрц-герцога и Суворова учредить небольшую промежуточную армию. Кроме того, Австрийское правительство предлагало отложить до будущего года вторжение в пределы Франции, перемещение же русских войск из Италии в Швейцарию исполнить безотлагательно, но постепенно. Не усматривая в этом контрпроекте никаких задних мыслей, Император Павел согласился. Для него имело важность лишь то, что главное - вторжение во Францию - оставалось во всей своей силе, хотя исполнение и отлагалось; кроме того ему было очень приятно, что это главное предприятие поручалось его войскам и его полководцу.

Суворов расходился со взглядами своего Государя на существенную часть вопроса. Он многократно говорил, что вторжение во Францию подымет все её население на защиту родины и что пока республиканская армия не заявит себя за прежнее правительство, до тех пор восстановление старого режима окажется исполнимым лишь на бумаге, на языке у проходимцев-эмигрантов и в голове политических мечтателей [7]. Прежде, при Екатерине, он был другого мнения, но с тех пор много прошло времени и много набралось новых фактов. Однако он не навязывал своего взгляда и не упорствовал в его принятии, так как это было вопросом высшей политики, куда ему вторгаться не подобало. Но он был безусловно против мечтательных предположений о немедленном вторжении в республиканские пределы и считал это возможным лишь в будущую кампанию, в чем и сошелся со взглядами Венского кабинета. Такое совпадение было случайным; с первых же шагов применения основного положения к делу, главнокомандующий оказался в разноречии с венскими прожекторами. Надо заметить, что план нового распределения армий по театрам войны был принят союзными кабинетами и сообщен к исполнению до сражения при Нови (получен позже), следственно когда судьба Италии еще не была

решена окончательно. Несмотря на это император Франц приказал Суворову - приводить в исполнение новый план безотлагательно. Суворов не мог согласиться с пользою подобной поспешности; даже после победы при Нови он был убежден, что дело изгнания Французов оканчивается лишь завладением Генуэзской Ривьерой и последними французскими крепостями; что нужно обеспечить за собою зимние квартиры для успешного приготовления к новой кампании; что требуется около двух месяцев времени для упрочения сделанных в Италии завоеваний. Кроме того русские войска не так были снаряжены, чтобы вести горную войну отдельно от Австрийцев; их требовалось предварительно снабдить необходимыми запасами, зарядами, горными орудиями, понтонами; нуждались они также в офицерах генерального штаба, знакомых с краем. Наконец надлежало принять в расчет, что по первоначальному плану, Суворов должен был идти в Швейцарию только с 11.000 Дерфельдена, а император Франц требовал, чтобы он сменил также и Гадика. Это было уже физически невозможно, так как корпуса Дерфельдена едва хватило бы на смену Гадика, и Суворову пришлось бы, по словам его письма к Ростопчину: "одному со свитою прибыть к Римскому-Корсакову на своем буцефале". Обстоятельство это было устранено дозволением Императора Павла взять в Швейцарию, кроме Дерфельдена, почти весь корпус Розенберга, но большая часть прочих невыгодных сторон нового плана, на которые указывал Суворов Австрийскому императору, остались во всей своей неприкосновенности.

Все эти доводы не привели однако ни к чему. Венский двор настаивал на немедленной смене войск, не слушая никаких резонов; разрешил оставить войска Гадика на прежних их позициях лишь на некоторое время и подтвердил Суворову - не выводить из Италии "ни одного австрийского солдата". Венский двор опасался, или делал вид, что опасается, - за свои собственные владения, за Германию, за только что завоеванную Италию, и взаимные отношения между ним и русским полководцем становились все хуже. Еще раньше, тотчас после победы при Нови, Суворов отправил к Императору Павлу оригиналом полученное из Вены повеление, делавшее эту победу почти бесцельною (см. главу 31). Вместе с тем он писал Ростопчину (около того времени уже первоприсутствующий в коллегии иностранных дел и граф), что не может продолжать службы, "когда хотят операциями править за тысячи верст, не зная, что всякая минута на месте заставляет оные переменять". Он жаловался, что его "делают экзекутором какого-нибудь Дитрихштейна и Тюрпина" (члены гофкригсрата) и просил

доложить Государю, что после генуэзской операции будет ходатайствовать о своем отозвании формально. Через два дня он пишет Ростопчину снова, почти тоже; говорит, что болен и изнурен духом и "что должен вскоре в каком ни есть хуторе или гробе убежища искать". Ростопчин убеждает его - отказаться от этого намерения. "Заклинаю вас спасением Европы, славою вашею", пишет он: "презрите действие злобы и зависти, вы им делами вашими с младых лет подвержены были... Как могут заграждать вам путь те, коих вы научили побеждать и остановили бегущих, забывающих стыд, верность и страх Господень". В другом его письме читаем: "молю вас со слезами и на коленях у ног ваших, - оставайтесь и побеждайте. Вам ли обижаться гнусными хитростями коварного правления, вам ли ждать соучастия в главе вашей от гнусных генералов, кои дожили, а не дослужились до сего звания? Вы их оставите - и они докажут, что их участь -или ничего не делать, или быть повсеместно битыми". Однако все это были слова, хотя бы и справедливые, а Суворову, в его трудном положении, требовалось нечто другое [8].

Венские распоряжения о спешном перемене театра войны подбавили горечи. "Сия сова, не с ума ли сошла", пишет Суворов про Тугута: "или того никогда не имела?" Про эрц-герцога Карла он говорит: "эрц-герцог мне без стыда относится, что ему только велено пещись о закрытии наследственных земель, как будто земель только и есть!... Он близь четверти года оставался в унтеркунфте под кровлею". Про австрийских генералов, своих недоброжелателей, отзывается так: "найдет ли кто их, чтобы не был мерсенер или бродфрессер? Всякий зависит от сателитов гофкригсрата и держится один другого их кабалами... Я с неделю в горячке, хотя еще на ногах; давно всеподданнейше прошу об отзыве: развалин храма Темиры зреть не могу" [8]. Императору Павлу Суворов откровенно излагает и свою скорбь о минувших неприятностях, и свое недоверие к будущему. "Начало моих операций будет и должно зависеть единственно от обстоятельств времени, назначение которому венский гофкригсрат делает по старинному навыку к таковым идеальным политическим выметкам. Беспрерывные оттого последовавшие военные неудачи, помрачавшие славу австрийского оружия, не научили его еще поныне той неоспоримой истине, что от единого иногда мгновения разрешается жребий сражения". Про будущие операции он говорит, что для успеха их необходимее всего единодушное содействие всех союзных войск, а между тем именно в этом и сомневается, выражая опасение, "чтобы эрц-герцог Карл и генерал Мелас, порабощенные гофкригсрату, не отозвались неимением особенного от оного на то повеления". Не

ожидает он успеха и от их демонстраций, предписываемых планом, говоря, что лучше сосредоточивать войска для важных операций, чем разбивать их для побочных целей на мелкие части.

Вместе с беглым критическим разбором минувших действий и будущего плана, Суворов посылает другое донесение, прося у Государя прощения, что в скорби сердца упомянул об увольнении в отечество. Он привык переносить с презрением личные обиды, "но когда наглостью и дерзновенностью союзного, облагодетельствованного кабинета оскорблялись некоторым образом слава и достоинство монарха моего и победоносного мне вверенного его оружия, - тогда долгом поставлял я уклониться в мирное жилище". Письмо это было вызвано милостями и новыми выражениями благоволения и доверия Государя к своему знаменитому подданному. Император Павел не только на него не гневался, но был тех же мыслей об австрийской политике. Не мог русский государь, даже и не с темпераментом Павла Петровича, читать хладнокровно донесения победоносного полководца, где говорилось, что несмотря на победы, поднявшие пригнетенный дух Австрийцев, он, Суворов, получает от Римского императора "токмо равнодушные письма, наполненные иногда выговорами, или же предписаниями - относиться в такой отдаленности о всех военных операциях предварительно к нему". Не мог он не согласиться и со словами Суворова: "не понятны для меня Венского двора поступки, когда единое мановение Вашего Императорского Величества - возвратить войска в империю Вашу - может ниспровергнуть все заносчивые его умыслы".

Венскому двору, впрочем, не было никакого расчета затрагивать "славу и достоинство Русского Государя и его победоносного оружия", потому что Россия представляла еще из себя колодезь, из которого Австрии приходилось пить. Но собственные свои интересы были для последней так дороги, а близорукость руководителей её политики так велика и средства к достижению целей до того не разборчивы, что подтасовка, благодаря Суворову, обнаружилась в игре раньше, чем было полезно для Австрии, и имела подобие посягательства на чужое достоинство. Своекорыстные виды Венского двора в особенности скоро обнаружились по отношению к итальянским владетелям, преимущественно к Сардинскому королю. Мы уже знакомы с этим предметом и видели, что распоряжения Суворова, измененные или отмененные Венским кабинетом, частью исходили прямо из повелений Императора Павла, частью принимались самим Суворовым, но совершенно соответствовали направлению политики Петербургского кабинета. В Вене забили тревогу; полетели дипломатические ноты в Петербург; была пущена в ход

угроза, что в случае вызова Карла Эммануила с острова Сардинии в Пьемонт, австрийские войска будут оттуда выведены в Ломбардию. Тем временем Суворов послал Пьемонтскому королю приглашение - возвратиться в свои владения твердой земли и сообщил об этом Разумовскому; но посол не посмел передать такой новости Тугуту, а стал умолять Суворова - отсрочить исполнением опасной меры. Подоспело затем и решение из Петербурга; устраняя повод к размолвке, Император Павел уступил желанию союзника. Из Вены послано Суворову соответствующее повеление и поставлена ему на вид его обязанность - беспрекословно исполнять повеления Венского кабинета.

Суворов попал в положение щекотливое, однако сообщил Карлу Эммануилу, что союзные дворы решили отложить возвращение Его Величества в Турин до более благоприятного времени, когда Французы будут изгнаны из всей северной Италии. Между тем Карл Эммануил, на основании прежнего решения Павла I, прислал к Суворову своего наместника, графа Сент-Андре. Сент-Андре понял свое неловкое положение, старался сообразоваться во всем с австрийским уполномоченным, но возобновил предположение о сборе пьемонтских войск и милиций. Суворов передал это на усмотрение Венского кабинета, но получил отрицательный и неприятный ответ. Кроме того ему сообщалось, что император не соизволяет на принятие им, Суворовым, звание фельдмаршала сардинских войск, ибо пока австрийская армия занимает Пьемонт, не может быть настоящей сардинской армии. Сардинский же король тем временем готовился к отъезду, так как, по затруднительности сообщений острова Сардинии с материком, не получил еще посланного ему приглашения остаться, а герцог Аостский уже прибыл в Ливорно и писал оттуда Суворову, что будет скоро "иметь счастие лично познакомиться с освободителем Италии". Суворову пришлось изворачиваться; он отклонил свидание с герцогом Аостским, приехавшим в Александрию; скрепя сердце, не дозволил ему переселиться в поместье близ Турина, указав на другое, более уединенное местопребывание, и до самого своего отъезда из Италии с ним не виделся. Извещение короля Сардинского о предстоящем его возвращении было отослано в Петербург; туда же пошло и прошение священной коллегии кардиналов, правившей делами Римской церкви, вместо находившегося в заключении папы. От коллегии являлась депутация и к самому Суворову, но свидание это, в виду венской политики, не могло повести ни к какому результату.

Таким образом вся почти Италия обратилась за

покровительством к Русскому Императору; к нему же стремились надежды и многих других второстепенных государей европейских, потому что французская революционная пропаганда и алчные замыслы Австрии были для всех Сциллой и Харибдой, которые одинаково грозили гибелью. Со своей стороны Австрия хотя нуждалась еще в союзе, но уже тяготилась присутствием союзников там, где настало время пожинать плоды в свою собственную пользу. Такою представлялась ей в тот момент Италия; русские войска, и в особенности их предводитель, были там уже не только бесполезными, но прямо вредными. Надо было сбыть с рук во что бы то ни стало, чем скорее тем лучше, этого неподатливого человека, этого воителя за принципы, верного и убежденного исполнителя воли своего Государя. Ревность и зависть подсказывали тоже самое. Несколько игриво, но в сущности верно писал в сентябре Гримм графу С.Р. Воронцову: "если держаться одной газеты Венского двора, Суворов командует армиею невидимо, подобно тому, как Провидение управляет землей, с тем лишь различием, что Провидению иногда служили молебны, тогда как о Суворове не упоминалось. Вы мне разъяснили дело; я не знал, что главное начальствование принадлежало Тугуту и что Суворова взяли только для того, чтобы снабдить барона первым адъютантом. Надо сознаться, что генералиссимус Тугут выказал большое уменье в выборе людей и что он напал на человека самого покладистого, способного вполне подчиниться его дурацким идеям" [10].

Было бы конечно лучше, если бы поворот во взглядах Русского Государя на австрийскую политику произошел раньше. Но этому препятствовала дальность расстояния для сношений, желание Павла I довести дело до конца на благо монархической Европе, изворотьі Венского кабинета, присутствие в Вене такого посланника, как граф Разумовский, и проч. Разумовский, гордый и надменный со своими, Русскими, был покорнейшим слугой Тугута и свои дипломатические способности употреблял не столько на проведение в Вене взглядов и воли Русского Государя, сколько на истолкование Петербургскому двору Тугутовских идей в самом выгодном свете. В числе словесных высочайших повелений, мы находим еще 31 декабря 1798 года такое: "отставить Разумовского, а вместо него Колычева" [11]. Быть может, это был простой взрыв вспыльчивости Павла I, так как повеление осталось не исполненным, но оно вместе с тем показывает, как давно начали появляться поводы к неудовольствию Государя на посла. В 1799 году, марта 31, последовало повеление - назначить помощником Разумовскому по военной части Колычева; но Разумовский ревниво отстранял его от дел и не допускал до

переписки с Суворовым, сам же между тем продолжал свои извороты, больше всего опасаясь раздражать желчного Тугута. Но такой образ действий только затягивал дело, ни мало его не исправляя, и неудовольствие Государя и Суворова на Разумовского увеличивалось. В последних числах июля было выражено ему Государем негодование в весьма категорической форме, с изложением всех причин, и сказано: "я желал бы также, чтобы вы, при каждом сношении вашем с бароном Тугутом, помнили, что вы русский и посланник мой в Вене по моим делам". Вслед затем получено было в Петербурге первое прошение Суворова об отставке, препровождено к Разумовскому и повелено испросить по этому поводу особую аудиенцию у Австрийского императора, которому объявить, что если Венский кабинет не изменит своего поведения относительно фельдмаршала, то последний уполномочен собрать русские войска в одно место и действовать по своему усмотрению. Разумовский, получив это повеление, сообщил Суворову, что так как русские войска с ним, Суворовым, предположено ныне перевести в Швейцарию, то угроза Государя уже теряет свое значение, а потому он, Разумовский, решился ее не передавать, в интересе сохранения союза, в чем и надеется получить одобрение фельдмаршала. Суворов ответил сухим письмом, в котором изложил полное свое несогласие с мнением посла, прибавив: "вообще, где некоторым образом оскорбляется

слава оружия Его Величества, там потребны твердость духа и большая настоятельность". О "неуместной деликатности" Разумовского Суворов сообщил Ростопчину, говоря, что "усильнейшие настояния русского посла и большая твердость в Вене, были бы для дел службы в течение нынешней кампании гораздо полезнее". Вместе с тем Суворов объявил, что он прекращает свои сношения с Разумовским, а будет во всем относиться к Колычеву. Письмо его было конечно доложено Государю, до которого приблизительно в тоже время дошло и

ответное донесение Разумовского. В своей длинной депеше посол пытался оправдаться лично и оправдать политику Тугута, говоря между прочим, что "передал Австрийскому императору слово в слово все то, что высочайшим повелением было предписано", тогда как Суворову написал, как мы видели, совершенно другое. По всей вероятности, это обстоятельство окончательно убедило Павла I в непригодности Разумовского для поста, им занимаемого, почему его и заместил в скором времени Колычев. А Суворов, в одном из первых обращений своих к Колычеву, просил его "исправить колеблемость общего блага наиспешнейше и исторгнуть его из опасности", находя, что для

этого "лучше дело трактовать посторонним образом, нежели от моего имени, терзаемого и в горячке от сателитов Тугута". Суворов был прав, но дело зашло уже слишком далеко, да и барон Тугут не благоволил к Колычеву в той же мере, в какой был расположен к Разумовскому, и несколько времени не хотел даже входить в официальные с ним сношения.

Полное восстановление между союзниками прежнего согласия сделалось теперь едва ли возможным также и вследствие настроения Императора Павла. Мы видели, что первый признак недоверия к Венскому кабинету обнаружился в Русском Государе раньше, чем явились к тому поводы со стороны Суворова; видели также, что до Государя доходили слухи помимо фельдмаршала о зародившихся неудовольствиях и что Павел I принял их к сердцу. После того причины к недовольству Венским двором быстро умножались, так как Русский Государь, взяв под свое покровительство курфирста Баварского и герцога Виртембергского, закрыл Австрийскому правительству в южной Германии путь земельных захватов, и оно старалось вознаградить себя в Италии. В этом заключается вся сущность дела; неудовольствия с Суворовым не составляют собою причины самостоятельной; они выросли из того же корня, и Венский двор выдвинул их на первый план лишь в виде ширмы. Император Павел уже стал догадываться, что Австрия ведет войну единственно из своекорыстных расчетов; в его рескриптах попадаются заявления, что замыслы Венского двора не лучше посягательств Франции; говорится "о хитростях и каверзах" этого двора; австрийскому послу в Петербурге объявляется, что Русский Государь, "служа общему делу, не служит дому Австрийскому". Вопрос получал такую постановку, что нельзя уже было отделываться одним молчанием или отводить глаза дипломатической риторикой. Барон Тугут объяснил тогда Разумовскому, что Австрийское правительство рассчитывает сделать некоторые изменения в разграничении итальянских государств, т.е. присоединить к Австрии часть владений Сардинского короля и отделить известную долю от Папской области, для вознаграждения других итальянских государей за требуемые от них уступки и для округления австрийских владений. Разумовскому сверх того дано заметить, что Русский Император может и сам сделать при этом некоторые приобретения, если дозволит Австрии свободно распорядиться в Италии; в противном же случае Австрия выйдет из союза.

Император Павел вступив в войну с бескорыстными целями, не соблазнился предложениями Тугута, а потребовал более определительных объяснений. Затем прибавились новые

неудовольствия: препятствия со стороны Венского кабинета к присоединению виртембергских войск к русским, происки Австрийцев на Ионических островах, но больше всего продолжавшиеся обиды Суворову, козни против него австрийских "генералов-министров и министров-генералов", пренебрежение к заслугам русских офицеров. Император Франц все это отрицал, поясняя Разумовскому, что Суворов никаких предписаний не получал от гофкригсрата иначе, как за собственною императора подписью; что все повеления ему давались на основании личного с ним в Вене соглашения; что все его жалобы не основательны; что сам император имел много причин жаловаться на фельдмаршала, но не делал и не делает этого в уважение его заслуг и скорого отбытия в Швейцарию. Большая часть объяснений Франца II совсем не состоятельна, остальное обусловливается различием в точках зрения. До какой степени жалобы Суворова были справедливы - это мы видели в подробности; провинился ли он пред Францем II, действуя в духе своего правительства и добиваясь решительных результатов кампании, - это тоже не нуждается в разъяснении; за чьим подписанием получались предписания от гофкригсрата, - это не имеет значения. Важно лишь то, - противоречили ли эти предписания, по своему смыслу, соглашению, состоявшемуся в Вене, во время пребывания там Суворова. На этот вопрос нет категорического ответа; видно только, что венские переговоры не были надлежащим образом резюмированы и оформлены, а это и повлекло за собой крупное недоразумение с плачевными последствиями. Вместе с тем решительно нельзя допустить, чтобы Суворов согласился в Вене на нечто подобное тому, что с ним потом проделывалось; характер Суворова, свойство его дарования и все его прошлое в том удостоверяют. Легко быть может, что он просто не уразумел предложенных ему в Вене условий командования, потому что понять их точно и определительно, в том именно смысле, как потом требовали и объясняли из Вены, не только не мог он, но и никакой другой генерал, не воспитанный в школе гофкригсрата. А еще вернее, и всем ходом кампании подтверждается, что переговоры велись в Вене замаскированные, отвечавшие задней мысли Тугута, который на этот раз ошибся в расчете, но по самомнению и упрямству продолжал стоять на своем.

В силу ли этих соображений или еще каких-нибудь добавочных причин, но Император Павел не придал большой цены объяснению Франца. В словесных высочайших повелениях, записанных Ростопчиным, мы встречаем под 7 сентября такое: "приготовить ответ Римскому императору на его жалобы на

Суворова, что поведение Суворова и приказания, ему данные его Государем, говорят за него". Неприятности тем временем продолжались, и одна из них оказалась особенно оскорбительной. При отпуске французских пленных на обмен, Мелас прислал к ним письмо, советуя не идти на Геную, во избежание грабительства и притеснений от русских войск. Вероятно этот же самый случай имел в виду и Фукс, донося около того времени (в конце августа) генерал-прокурору, что "Мелас причиняет всевозможные подлые шиканства, ибо управляется майором гр. Радецким, адъютантом кн. Суховским и майором Червенко, которые все находятся под покровительством любовницы Тутутова секретаря". Такой обиды Павел I не мог перенести и потребовал от Венского двора удовлетворения "за дерзость и неподчиненность господина Меласа". Из Вены спросили объяснения у Меласа, он отвечал молчанием [12].

Кроме того Венский кабинет совершил поступок, близко граничивший с предательством, и имевший роковые для русских войск последствия в осеннюю Швейцарскую кампанию. Для объяснения этого необходимо обратиться несколько назад.

Когда русские войска Римского-Корсакова стали подходить к Швейцарии, сам Корсаков приехал в главную квартиру эрц-герцога Карла и узнал от него с изумлением, что все австрийские войска, до последнего солдата, перейдут в Германию и оставят в Швейцарии одних Русских. Корсаков возражал, что это противоречит условленному плану кампании, что австрийские войска должны были очистить Швейцарию от Французов до прихода Русских, но этого не сделали; что русская армия в Швейцарии со вспомогательными баварскими и швейцарскими войсками предполагалась в 70,000 человек, а у него, Корсакова, имеется меньше 30,000, с которыми он конечно не в состоянии держаться на протяжении 200 верст против 70-80-тысячного неприятеля. Эрц-герцог соглашался, что следовало бы повременить выступлением, но отговаривался положительными и безусловными приказаниями Венского кабинета. Однако он имел совесть и, обладая крупным военным талантом, понимал, что представляется превосходный случай, усилясь войсками Корсакова, нанести Французам решительное поражение. Он решился замедлить выступлением из Швейцарии и, перейдя реку Аар, двинуться в тыл неприятельской армии. Предприятие это, не представляя большого риска, обещало последствия самые решительные, но кончилось жалким, почти комическим образом. К переправе сосредоточился главный корпус в 37,000 Австрийцев и Русских; в ночь с 5 на 6 августа стали наводить понтоны, но дно реки оказалось каменистым, а течение быстрым, и к полудню на

противном берегу сосредоточилось до 10,000 французских войск. Попытка была брошена, хотя один офицер английской службы и брался навести понтоны, заменив якоря камнями.

В русских войсках приняли эту слабую, нерешительную попытку за недостойную проделку, за пустую комедию, сыгранную только для виду, так как Австрийцы стояли на этом месте несколько месяцев и должны были знать раньше препятствия к переправе. Суворов жестоко издевался. В одном письме он писал: "Бештимтзагер разумеет, что нельзя перейти Аар в мокрых шинелях.... далее унтеркунфт потребен". В другом говорилось: "генерал-штабной поручик эрц-герцогу доносит, что по каменистому грунту сей реки, понтонов утвердить не можно; тотчас - гальт и назад. Князь Алексей Горчаков (находившийся в корпусе Римского-Корсакова) как слышал: "перед батальею при Ваприо или Кассано, Адда была несравненно в берегах стремительнее и грунт каменистее"; ответ - так доносит поручик. Принц и все - под унтеркунфт, вкупе и поручик: был сильный дождь".

Вслед затем, по усиленным убеждениям английского посланника Викгама, графа Толстого и Римского-Корсакова, эрц-герцог решился сделать еще одну, уже последнюю попытку к изгнанию Французов из Швейцарии. Но это предположение хоть и стало приводиться в исполнение, однако было прервано в самом почти начале новым решением эрц-герцога - немедленно выступить на Рейн, вследствие полученных оттуда свежих известий, причем он предоставлял Корсакову действовать по своему усмотрению. Корсаков пошел к Цюриху и с 18 августа начал смену австрийских войск русскими. Но безнадежность будущего положения Корсакова до того была ясна, что эрц-герцог оставил в Швейцарии еще генерала Готце с 20-25,000 человек для специально - австрийской надобности - прикрытия Граубиндена и Тироля. Таким образом он все-таки не исполнил в точности то повеление Венского двора, на основании которого уходил, и, рискуя ответственностью, принял полумеру, не решившись принять целой меры.

Он уходил с 36,000 человек на Рейн, где Французы вторгнулись в Германию именно для того, чтобы отвлечь Австрийцев от Швейцарии. Двинувшись к Филипсбургу, эрц-герцог принудил Французов отказаться от блокады этой крепости; потом, следя за отступавшим неприятелем, приблизился к Мангейму и здесь, при громадном перевесе в силах, уничтожил слабый французский отряд. Республиканская армия опять расположилась по левому берегу Рейна, а австрийская осталась в спокойствии охранять Германию от возможности нового

вторжения. Здесь получил эрц-герцог новое повеление - вывести из Швейцарии и войска Готце, тотчас по прибытии туда Суворова.

Что же однако могло заставить Австрийцев поступить таким образом вместо того, чтобы соединившись с Корсаковым, вытеснить из Швейцарии единственную остававшуюся у Французской директории нерасстроенную армию и затем угрожать Франции, положение которой сделалось бы тогда критическим? Наступательная демонстрация Французов на Рейне не представлялась достаточной тому причиной; их действующая армия не превосходила тут 12,000, следовательно ничего серьезного сделать не могла. Эрц-герцог оправдывается тем, что и характер действий Французов, и их силы определились лишь впоследствии, а в то время оставались неизвестными; но с таким объяснением нельзя согласиться. Дутые планы директории не могли создавать больших армий из ничего в продолжение немногих недель, наглядным чему доказательством служил главный до осени театр войны в Италии. "Напуганный кабинет", после Суворовской кампании приободрившийся, не мог считать на Рейне действующий неприятельский корпус в 40-50 тысяч вместо 15-20. Наконец, если и допустить возможность такой ошибки, то все-таки самый короткий и выгодный путь эрц-герцогу на Рейн лежал через армию Массены, против которой он мог действовать с превосходными силами. Русские того времени видели в поступке Австрийцев, кроме грубой военной ошибки, спасшей неприятельскую армию, - злоумышление, зависть, коварство, предательство. Не так резко и положительно, но в том же приблизительно направлении высказались также некоторые иностранные писатели, из которых не все были панегиристами Суворова. Один из наиболее авторитетных военных историков говорит, что выказанная гофкригсратом поспешность не может быть оправдана никакими политическими и военными соображениями и что она противоречит не только правилам войны, но и простому здравому смыслу [13].

Приговор этот совершенно справедлив; надо его только пояснить мотивами в дополнение к сказанному раньше. Главным побуждением Венского двора к такому неприглядному поступку было желание распорядиться без помехи в Италии и принять участие в добыче, которую обещала англо-русская экспедиция в Голландию. Как всегда бывает у политиков ограниченных, ближайшие выгоды заслонили собою соображение о дальнейших последствиях. Австрия не думала отказываться от коалиции, это было еще слишком рано; поход Русских в Швейцарию хотя и мог кончиться неудачей, но мысль о Суворове не вязалась с понятием о неуспехе; да и прибыть на новый театр войны он должен был

скоро, раньше, чем вышло в действительности. Что касается Русского Государя, то предпринятое им служение любимой идее обещало, что прочность союза Австрии с Россией в состоянии выдержать много испытаний, ибо переменчивый характер Павла I отличался в подобных случаях стойкостью и упрямством. Кроме того, неподатливость и неуступчивость Суворова, верность его основам петербургской политики, наконец тайная зависть, которая чувствовалась к нему и к русским войскам, - все это, не заметно для руководителей Венского кабинета, подбавляло в их и без того недальновидные соображения новые мотивы для известного способа действий. Традиционная привычка - получать военные успехи преимущественно с помощью союзников или чужих генералов в австрийской службе, расширять свою территорию не оружием, а политикой и союзами, - придавала Венскому кабинету уверенность на искони изведанном пути. Наконец, в поспешности Австрийского правительства очистить Швейцарию, могла действовать и неумышленная ошибка, так как гофкригсрату, составленному из бездарностей и руководимому невеждою в военном деле - Тугутом, не трудно было впасть в комбинацию совершенно фальшивую.

Про эрц-герцога Карла этого сказать нельзя; он имел большие военные дарования и не обладал лишь таким душевным величием, которое в крайних случаях жизни, по одному внушению долга и совести, делает человека способным к безграничной ответственности. Он был слишком мягок, не избегал полумер, впадал иногда в нерешительность; вообще не имел мощной, стальной воли Суворова. Сверх того, как некоторые не без основания полагают, опасение столкновений с русским фельдмаршалом, не отличавшимся уступчивостью, тоже играло при этом не последнюю роль и побудило эрц-герцога - воспользоваться для оставления Швейцарии естественным предлогом, в виде внезапного вторжения небольшой французской армии на правую сторону Рейна. Следует также положить на весы и неприятности, происходившие беспрестанно между ним и Римским-Корсаковым, от которых эрц-герцог избавлялся только разлукой с русским генералом.

Генерал-лейтенант Римский-Корсаков, о котором Император Павел имел очень выгодное мнение, был человек образованный и не без достоинств, но заносчив, самонадеян, надменен и горд, отличался упрямством и своенравием, ни во что ставил чужие мнения и питал очень высокие понятия о самом себе. Он имел самый пренебрежительный взгляд на иностранные армии, особенно на французскую, что одно доказывает его непригодность на назначенный ему высокий пост, а между тем не

представлял со своей стороны ровно ничего, что оправдывало бы такие понятия. Он не сумел завести в своем штабе какое-нибудь подобие порядка и никому из приближенных лиц не оказывал доверия, а между тем не расположен был сам все делать; беззаботность и беспечность возведены были им в административный принцип, и во всех частях корпусного управления царил полнейший хаос. С первого появления на театре войны, начались у Римского-Корсакова споры и столкновения с австрийскими генералами и неудовольствия с эрц-герцогом. Выказанная Австрийцами двуличность, их зависть и стремление к подвохам, разумеется не сгладили недостатков Корсакова и, по словам английского дипломатического агента Викгама, только усилили его недоверчивость и вселили в него справедливые опасения. Самые действия эрц-герцога в течение двух недель, бесплодные передвижения, бесконечные толки и отсутствие всякого результата, тоже не в состоянии были внушить русскому генералу ничего такого, что бы изменило его воззрения на союзников. Он не сдерживал себя, его капризам и своенравию не было конца, и наконец до того надоел эрц-герцогу, что желание избавиться от такого человека могло сделаться одною из побудительных причин к выступлению Австрийского принца из Швейцарии.

Это выступление было роковым для коалиции. Мера терпения Русского Императора истощилась. Австрийский посланник граф Кобенцель пытался успокоить его неторопливою, постепенною сменою русских войск; но в опровержение его слов, эрц-герцог Карл уже приближался об эту пору к Мангейму. Государь приказал объявить Кобенцелю, что поступки Венского кабинета принудят его совсем разорвать союз; однако дорожа своей любимой мыслью о спасении Европы, "все равно от Французов или от Цесарцев", и опасаясь сепаратного мира между Австрией и Францией. Павел I приостановился исполнением угрозы. Лондонский кабинет тоже нашел необходимым вмешаться в дело, ибо Тугут недавно уверял лично английского посланника, что Австрийцы выступят из Швейцарии не иначе, как по занятии их позиций равными силами Русских. Но Тугут, сам изъявивший желание - словесно объясниться с английским поверенным при союзных армиях лордом Мюльгравом, отрекся от своих предложений и отказался иметь с ним свидание, так что английское министерство дало предписание своему посланнику в Вене, лорду Минто, откланяться и выехать из Вены, если Тугут будет упорствовать в своем отказе.

Руководитель австрийской политики, начинавший путаться в своих собственных сетях, усилил систему ухищрений и происков.

Между прочим, он дал поручение - укротить гнев Павла I - первому своему клеврету, графу Дитрихштейну, который отправлялся в Петербург в огромной и блестящей свите эрц-герцога палатина, жениха великой княжны Александры Павловны. Но это нисколько не помогло. Еще до прибытия в Петербург свадебного поезда, Государь отправил 7 сентября повеление Суворову. Рескрипт начинался ссылкою на "неподвижность эрц-герцога Карла, корыстолюбивые виды Венского двора, веками засвидетельствованное хитрое и двоякое его поведение, лесть в словах и делах, в числе коих неожиданный свадебный приезд эрц-герцога Иосифа". Затем, Суворову давалось полномочие на все могущие произойти случаи; поручалось сохранение чести и достоинства Государя и славы русского оружия; признавалось нужным, по овладении остальными крепостями в Италии, соединить все русские войска в Швейцарии, по прежде сообщенному плану, и разрешалось действовать оттуда - *куда и как заблагорассудит*. Если Венский кабинет приступит к сепаратному миру с Францией, то Суворов уполномочивался или оставшись в Швейцарии, продолжать войну своими силами, или возвратиться с армиею в Россию, предоставив вероломных союзников суду Божию. В заключение говорилось: "мужайтесь, князь Александр Васильевич, и идите на труды, аки на победы; живите с Богом и со славою".

Несколько дней позже сообщено в Вену, что Государь, оставаясь верным своим целям, решается совершенно отделить свои войска от австрийских, с тем, чтобы они действовали под начальством Суворова в Швейцарии независимо. В конце рескрипта к нему прибавлено: "весьма желаю, чтобы император Римский один торжествовал над своими врагами или чтобы он снова убедился в той истине, столь простой и осмилетним опытом доказанной, что для низложения врага, бывшего уже раз у самых ворот Вены, необходимы между союзниками единодушие, правдивость и в особенности искренность". В тот же день 16 сентября граф Ростопчин написал Суворову: "Государю угодно было бы, чтобы вы, по выходе из Италии, попросили абшида от Римского императора; зачем вам носить мундир столь несправедливого против вас государя"? [14].

Но Государь, заботясь о сосредоточении русских войск в Швейцарии, о плане их действий и других крупных вопросах осенней кампании, не вполне себе уяснил опасность ближайшую, - которой подвергался Римский-Корсаков. Донесения Суворова открыли ему глаза, и Павел I стал сильно беспокоиться за судьбу русского корпуса. Он еще раньше дал повеление, чтобы Корсаков не предпринимал никаких важных действий без разрешения

Суворова, а теперь поручил последнему полное распоряжение корпусом в Швейцарии и указал поспешить соединением с ним. Не довольствуясь этим, он, под влиянием душевной тревоги, обдумывал меры на разные случаи и сообщал их Суворову, называя венскую политику "гнусною", австрийских министров "бесчестными" и т. под. Но не смотря на это, он все еще не покидал мысли о возможности лучшего оборота дел и излагал свои предположения о вступлении Суворова во французские пределы. Болезненная сила воображения увлекала Павла I за пределы возможного и питала в нем утешения и надежды, для которых не имелось уже рассудочных оснований. Он даже обратился с декларацией ко всем членам Германской империи, приглашал их присоединить свои войска к русским и сообщил Суворову свои виды на разные случаи, если бы к русским войскам примкнули контингенты Германских владетелей. Но вместе с тем он до такой уже степени не доверял своему союзнику, что на случай вторжения Суворова во Францию, предостерегал его от "двух задвижек", разумея австрийские армии эрц-герцога Карла и Меласа. Допуская также возможность отдельного мира между Австрией и Францией, он обдумывал меры к защите пределов своей Империи, писал Суворову о сохранном возвращении войск в Россию и предназначал его для командования всей вооруженной силой на западной границе Империи.

Велико было доверие Государя к Суворову. Подозрительный, недоверчивый, склонный к ограничению всякой власти, кроме своей собственной, Павел I давал однако же своему полководцу обширнейшие, безграничные полномочия. Точно также он поступал, сообщая Суворову свои наставления, или вернее сказать мысли, на разные случаи; он как будто боялся сказать что-нибудь лишнее, связать подданного обязательностью указаний государя. В подобных рескриптах Павел I постоянно делает оговорки, предоставляющие Суворову полную волю - принять или не принимать указание; употребляет слова "советую", "на ваше усмотрение" и другие подобные. В одном из рескриптов он выражается даже так: "сие предлагаю, прося простить меня в том и возлагая на вас самих избрать - что делать;... верьте, что я знаю цену вам". Такое отношение Павла к Суворову, порожденное обстоятельствами, действительно было единственно-возможным путем; подробные обязательные инструкции оказались бы неисполнимыми или гибельными. Во всяком случае, возможность подобных безграничных полномочий едва ли могла даже присниться членам Венского кабинета, по отношению к своим генералам. Выступление Суворова с одними русскими войсками, при обстоятельствах самых неблагоприятных,

сделалось таким образом неотвратимым. Надо было торопиться, но в сроке капитуляции тортонской цитадели заключалось препятствие; Суворов остался выжидать, с тем, чтобы потом наверстать быстротою похода. Однако такое выжидание было крайне томительно в виду тревожного будущего, а потому он решился положиться на авось, тронувшись в путь хоть несколькими днями прежде срока. Рано утром, 28 августа, Дерфельден выступил из Асти, а Розенберг из Ривальты, - оба по направлению к С.-Готару. Но в тот же день, к вечеру, получено известие, что неприятель тремя сильными колоннами показался из гор для освобождения Тортоны, а потому Суворов приказал войскам возвратиться. Обратный поход произведен с быстротою замечательною, за что объявлена от фельдмаршала благодарность. Августа 30 Моро, не зная еще о возвращении русских войск, предпринял вторую попытку к освобождению Тортоны, но удостоверившись собственными глазами в присутствии корпуса Розенберга, отступил. В тот же день австрийские войска заняли, по условию капитуляции, караулы у цитадельных ворот, и на завтра французский гарнизон, в числе почти 1,100 человек, вышел из крепости, оставив 75 орудий, большое число ружей, пороху и других запасов. В 7 часов утра русские войска снова выступили в путь по направлению к Швейцарии.

Поступок Суворова заслуживает внимания. Австрийские войска уже были сданы Меласу, который оставался в Италии самостоятельным главнокомандующим, и всякое промедление в движении русских корпусов, могло нанести вред им самим на новом театре войны. Несмотря на это, Суворов счел долгом выполнить свою обязанность до конца, хотя гофкригсрат и эрц-герцог Карл поступили с ним самим совсем иначе. Очевидно, на чьей стороне союза находилась честность.

Русские войска следовали к Сен-Готару, тяжести их направились кружным путем чрез Верону, Тироль, Форарльберг и по северному берегу Боденского озера, а полевая артиллерия по озеру Комо, чрез Киавенну, в долину Энгадин и затем чрез Ландек и Блуденц в Фельдкирх. Не только полевые, но и полковые орудия шли в этой колонне; взамен их Русские должны были получить 25 горных пушек, и к действию из этой новой артиллерии приказано было приучить прислугу. Войска были облегчены до последней возможности. В продолжение Итальянской кампании они имели при себе гораздо меньше обозов, чем в предшествовавшие войны с Поляками и Турками, но, по замечаниям иностранных писателей, были все-таки слишком обременены тяжестями. Давняя привычка и

злоупотребления поощряли офицеров и солдат прибегать к разным изворотам, чтобы обойти распоряжение. Например, было строжайше запрещено офицерским женам следовать за армией; несмотря на то многие дамы переодевались в мужское платье и не расставались с мужьями, прячась от Суворова. Теперь все, что требовало перевозочных средств, было послано в дальнюю отдельную колонну; при корпусах не оставалось никаких тяжестей, кроме вьюков. Многие офицеры даже вьюков не имели, ни верховых лошадей, а шли пешком со скатанною шинелью через плечо и несли на себе узел с провизией. Войска двигались весьма быстро, но без утомления и без отсталых. Распоряжения отличались точностью, порядок соблюдался образцовый. Выступали в 2 часа утра, в 10 часов солдат находил на привале готовую кашу, подкреплял силы, раздевался и спал несколько часов. В 4 часа, когда полуденный зной начинал спадать, выступали в поход снова, шли часов шесть и, приходя около 10 часов на ночлег, находили готовый ужин [15].

По донесению Фукса генерал-прокурору, Австрийцы расставались с Суворовым не без тайной боязни за будущее, а жители, противники французского режима и Французов, с сожалением и печалью [16]. Августа 27, накануне первого своего выступления, Суворов отдал по армии прощальный приказ. Он благодарил генералов за усердие и деятельность, за старание исполнять волю государя, за благоразумие и храбрость; офицеров за примерную храбрость и сохранение совершенного порядка и дисциплины; нижних чинов за неизменное мужество, храбрость и непоколебимость. Он удостоверял армию в своем неограниченном к ней уважении, не находя слов, чтобы выразить - на сколько ею доволен и с каким сожалением с нею расстается. "Никогда не забуду храбрых Австрийцев", говорилось в конце приказа: "которые почтили меня своею доверенностью и любовью; воинов победоносных, сделавших и меня победителем". В тот же день австрийские генералы и лица главной квартиры откланивались Суворову. В эту минуту все старое - худое было забыто, тем более, что и шло оно преимущественно не от подчиненных, а из Вены; Суворов не мог подавить своего смущения, своей грусти и, обнимаясь с Меласом, прослезился.

Не следует смотреть на это прощание с одной официальной стороны и сомневаться в искренности обнаруженных Суворовым чувств и высказанных им слов. Он был положительно доволен австрийскими войсками; частные случаи противоположного свойства не могут служить этому опровержением, особенно при напряженном внутреннем состоянии, в котором почти постоянно находился Суворов, благодаря венским неприятностям. В письмах

его к разным лицам мы не раз встречаем признание, что Австрийцы служат и дерутся хорошо, что они опытны в приемах войны в тамошних местах и т. под. К гр. Воронцову, в Лондон, Суворов писал, даже после швейцарского похода: "на австрийские войска я не имею причины жаловаться, потому что быв побуждаемы соревнованием, способствовали они многим успехам и, не взирая на порабощение всех и каждого генерала к начальствующему ими министру, с должным согласием исполнял каждый свою обязанность, и все они имели ко мне привязанность". В боевом отношении особенно хороши были их драгуны; артиллерия стояла выше русской; внутреннее устройство хозяйственной части в войсках и управление ею, госпитальная часть, генеральный штаб, - далеко оставляли за собой русские. Замечались и недостатки; "Цесарцы долго равняются", писал Суворов Ростопчину; в предшествовавших главах были указания и на другие, более существенные; но самым крупным из них были злоупотребления по провиантской части, хотя организована она была довольно хорошо. В боевом отношении русские войска должны были конечно больше удовлетворять Суворовским требованиям; однако казаки, умевшие действовать в рассыпном пешем строе, все таки не в состоянии были заменить собою драгун; за то пехота, по отзыву одного иностранного писателя, стояла "неизмеримо выше австрийской". Этому можно поверить, в виду Суворовской школы, имевшей своим предметом больше всего пехоту [17].

Будучи доволен войсками союзными и в особенности своими ("наши - нельзя лучше"), Суворов положил однако много труда, чтобы ввести между теми и другими единство и гармонию, чтобы возбуждать соревнование, не распаляя зависти, и питать благородное соперничество, устраняя антагонизм. Трудность этой задачи исходила из боевого прошлого обеих армий, из различия их военных систем и усложнялась злокозненностью венских принципов, вливавших яд во взаимные отношения Русских и Австрийцев. Не давая в переписке своей пощады Тугутовым сателитам и приспешникам и, при случае, издеваясь над австрийской боевой неумелостью, Суворов однако отличался замечательным тактом в отношениях своих к войскам и их начальникам, как главнокомандующему подобало, и постоянно проводил между Австрийцами и Русскими примиряющее начало. В конце августа он пишет графу Толстому: "в продолжение нынешней кампании никогда не цвело лучшего согласия, как посреди наших и союзных войск; сие не в порядке вещей и правил; но я как сии, так и многие другие сделал фальшивыми: соревнование подало взаимно рука руке помощь и пополняло

недостающее". Нередко являлись к нему русские и австрийские генералы с жалобами и претензиями друг на друга, но Суворову всегда почти удавалось уладить несогласие, не пуская его вглубь. Неожиданное острое слово, шутливый рассказ о постороннем предмете, даже гримасы или забавные скачки, - вот средства, к каким он прибегал, чтобы развеселить и успокоить недовольных. Когда это не могло пособить, приходилось прибегать к убеждениям, уговариваниям, не прикасаясь к чувствительной струне, не трогая больного места. Даже на самом верху армии приходилось улаживать подобные столкновения, например между Меласом и Розенбергом. Из одной диктованной Суворовым записки видно, что между этими двумя лицами существовало "ревнование зависти: я сделал, я сделал; я хорош, тот худ; я бил, не он; его били, я поправил: а все то в полной дружбе". Суворов говорит в записке, что "эти термины подлы,... (служат) для эгоизма и для собственных мелких интересов или только для ребячьего и трактирного хвастовства". Положим так, но тем труднее была эта непрерывная миротворная миссия для Суворова, при его характере и темпераменте, и если в союзной армии не происходило крупных раздоров, не проявлялось в Италии постоянного резкого антагонизма, то этим она была обязана своему главнокомандующему [18].

Оставляя Италию, Суворов нес в своем сердце чувство свято исполненного долга и спокойной совести; к этому чувству хотя и примешивалось сознание неудовлетворительности военного результата, но не он, Суворов, был тому виною. Это соображение, впрочем, не могло его избавить от горечи при воспоминании о прошлом и от некоторой тревоги при ожидании будущего. Опасение за будущее волновало и Императора Павла, увеличиваясь с каждым днем; "жду с нетерпением прихода вашего в Швейцарию", писал Государь: "и заранее жалею о трудах, кои вы в сем походе понесете". Впрочем и в Государе, и в других, подобные опасения, так сказать разбавлялись надеждою на военные дарования Суворова, и письмо к нему графа С. Воронцова из Лондона может быть в этом отношении названо выразителем общего русского мнения того времени, да и не одного русского. Воронцов писал, что личное присутствие Суворова в Швейцарии служит утешением и ручательством за будущие успехи; что особа русского главнокомандующего стоит целой армии, особенно когда он будет действовать свободно, не спрашиваясь Вены; что в Швейцарии не будет уже ни интриг презренного Тугута, ни зависти австрийских генералов, которые, будучи постоянно биты, ныне, благодаря Суворовской кампании в Италии, пребывают в изумлении, что могут вести войну уже не

пятясь назад.

В Суворове действительно заключалась надежда на добрый исход Швейцарской кампании, и он сам отнюдь не считал дело потерянным, но оно представлялось ему очень трудным и даже сомнительным. Злее прежнего сделались его сарказмы. Тугута он называет совой, подъячим, потерявшим Нидерланды, Швейцарию и Италию, систему его - глупою; про эрц-герцога Карла говорит, что он "опочивал больше трех месяцев по указу"; про себя упоминает: "меня не будет, не будет ни одного, кто противу Тугута правду скажет". Государю он пишет, что исполняя высочайшую волю, он ведет храброе русское войско на новые поля сражений, где или поразит врага, или умрет со славою за отечество и государя. К Хвостову он обращается со словами, более откровенными: "не ручаюсь, как пройду чрез горло сильного неприятеля"; гр. С. Воронцову пишет: "хотя в свете ничего не боюсь, скажу - в опасности от перевеса Массены мало пособят мои войска отсюда, и поздно"; еще позже кладет заметку: "Массена не будет нас ожидать и устремится на Корсакова, потом на Конде". Существуют и другие свидетельства, что Суворова озабочивала будущая кампания. В нем конечно не замечается уныния, но довольно и того, что сложившиеся обстоятельства заставили его пытливо заглядывать вперед, допуская возможность дурного исхода. Уже и это состояние было для него ненормальным, и озабоченность выказывалась в нем помимо его желания. Князь Андрей Горчаков пишет Хвостову, что Суворов очень слаб и едва ходит, а причиной тому беспрестанные заботы. Старые солдаты, знакомые с Суворовым издавна, и те замечали, что он погружен к глубокую думу, и находили даже перемену в выражении его лица. Да и не естественно было бы в настоящем случае с его стороны равнодушие, или беспечность, или неразумный оптимизм, вообще надежда на одно счастье. Суворов хотя привык к своему счастью и сжился с ним, но отношение его к этому счастью было всегда активное. Много лет назад он говорил Потемкину, что "повелевал" счастьем; слова эти требовали особенно в настоящее время приложения к делу; теперь больше, чем когда-либо, нужно было завладеть счастьем и не подчиняться обстоятельствам, а править ими. Оттого на Суворова и легла дума, и в одном из писем к Ростопчину он высказал косвенным образом программу своих настоящих и будущих действий: "геройство побеждает храбрость, терпение — скорость, рассудок — ум, труд — лень, история — газеты" [19].

Действительно положение дел было серьезное; смутно ли, ясно ли, но это разумели все, и потому понятны полные негодования слова Гримма, несколько позже высказанные им в

письме к графу С.Р. Воронцову: "я не знаю, чем все это кончится, что с нами будет; но я спрашиваю: сколько Французская директория платит за все это и кому именно?" [20].

Глава XXXIII. Швейцарская кампания: С. Готар, Чортов мост; 1799.

Силы воюющих — Расположение войск в Швейцарии. — Различные туда пути; путь, избранный Суворовым; недостатки принятого плана. — Неподготовленность русских войск к горной войне; наставление Суворова. — Движение Русских; Суворов в походе. — Троекратная атака Сен-Готара; осуждение Суворова критиками; опровержение. — Вымышленный анекдот. — Обходное движение Розенберга; дело при Урзерне; отступление Французов. — Преследование по указанию Суворова; соединение Суворова с Розенбергом. — Атака Урнер-Лоха и Чортова моста; причины удачи и малой потери. — Занятие Альторфа; беспрепятственное отступление Французов и занятие ими фланговой позиции; объяснение причин. — Критическое положение Суворова; пути из Альторфа; избрание самого прямого и трудного; приговоры критики; объяснение.

При выступлении Суворова из Италии, силы воюющих на трех смежных театрах войны были следующие. На Рейне эрц-герцог Карл имел 44,000 человек против 50,000 Французов; из этих последних значительно больше половины было разбросано по крепостям. В северной Италии Мелас командовал 85,000; французских войск под главным начальством Шампионэ было никак не больше 50,000. В Швейцарии со стороны союзников находились корпуса Римского-Корсакова в 24,000 человек и (временно, до прибытия Суворова) Готце в 22,000; кроме того

оставалось за Рейном из корпуса Корсакова 3,000, да ожидались: принц Конде с 5,000 и Суворов с 21,000 человек; у Массены же состояло под начальством больше 84,000.

Из этого видно, что на главном театре войны, в Швейцарии, численный перевес был на стороне Французов, а если бы Готце оставил Швейцарию, то неравенство сил сделалось бы разительным. Эта невыгода увеличивалась еще расположением союзных войск и, в заключение, усугубилась принятием дурного плана действий.

Корсаков стоял впереди Цюриха, раздробив и рассеяв свои силы вдоль р. Лимата и нижнего Аара; по Цюрихскому озеру были расположены войска принца Александра Виртем-бергского, левее, по Линте и Валенштатскому озеру стоял Готце. в Саргансе - Елачич, а дальше, с заворотом вперед до Дисентиса, - Линкен (бригады Зимбшена и Ауфенберга). Пути из Швейцарии в северную Италию охраняли отряды Штрауха, принца Рогана и Гадика. Армия Массены тоже была растянута; левый её фланг находился на Рейне у Базеля, фронт тянулся по Аару, Лимату, Альбису, Линте и дальне до С.-Готара; правый фланг охранял доступы из Италии в Валис. Но Французы были во-первых сильнее, а во-вторых более сосредоточены на важнейшей части позиции, по р. Лимату, так что расположение их представлялось гораздо более выгодным, чем союзников.

Оказывавшиеся на стороне союзников невыгоды могли быть в известной степени возмещены быстрым прибытием Суворова туда, где его присутствие было особенно нужно, т.е. если не к Лимату, то хоть в долину верхнего Рейна, Но он этого не сделал.

Из многих путей, представлявшихся ему на выбор, два были выгоднее других, именно чрез Киавенну и гору Сплюген, или чрез Белинцону и гору Бернардину. Следуя по одному из, этих путей, он мог беспрепятственно соединиться с Линкеном, а затем идти кружным путем чрез Кур и Сарганс, или прямо перейти горный хребет к верховьям Линты и сойтись там с Елачичем и Готце. В особенности предпочтителен был путь на Сплюген. Хотя он лежал значительною частью по дурным дорогам, но не требовал от армии особых приготовлений и следовательно лишнего времени; с нею могла идти и её полевая артиллерия, и весь путь совершался вдали от неприятеля. Русские прибыли бы по этому направлению на соединение с Лотце не позже 14 сентября, даже может быть несколько раньше, и до их прибытия не требовалось со стороны Корсакова и Готце никаких наступательных предприятий, а надлежало только удерживаться на своих позициях. Это последнее условие было исполнимо, потому что Массена, несмотря на энергические приготовления, не мог

никоим образом перейти в наступление раньше 14 числа, т.е. дня, в который произошло роковое цюрихское сражение. Не понадобилось бы также ослаблять Корсакова отделением части его сил на подкрепление Готце, как это было сделано, а в худшем случае, соединение Суворова с Готце несомненно послужило бы если не к устранению происшедшей с Корсаковым катастрофы, то к уменьшению зла, ибо Массене, тотчас после одержанной победы, пришлось бы сводить счеты с новоприбывшим полководцем и его закаленными войсками.

Но Суворов избрал другой путь и предпочел иной образ действий. Он нашел наилучшим двинуться из Белинцоны чрез С.-Готар в верховья реки Рейсы, а затем долиною этой реки и обоими берегами Люцернского озера наступать к Люцерну; причем отряд Штрауха должен был способствовать операции против С.-Готара и в ущелье Рейсы, а Ауфенберг угрожать тылу неприятеля, атакованного в долине Рейсы. В то же время предписывалось Линкену перейти от Иланца к Гларису на соединение с Елачичем, наступающим от Сарганса к Молису, а Готце, получив от Корсакова 5,000 человек, соединиться с Линкеном и Елачичем, наступать к Эйнзидельну и войти у Швица в связь с прибывающим туда Суворовым, направив часть своих сил к Цугу. Наконец, Римскому-Корсакову назначено, одновременно со всем этим, атаковать неприятеля на Лимате.

План был и сложен, и ошибочно рассчитан. Разобщенное движение отдельных колонн, с разных точек обширного полукружия к центру, было трудно исполнимо по условиям местности и опасно в виду более сосредоточенного и более сильного противника. Неприятель принимался в расчет как бы совершенно бездействующий и равнодушный ко всему, что вокруг него происходит, тогда как Массена был военачальник противоположных качеств. Маршруты для корпусов Дерфельдена и Розенберга рассчитаны так, как будто не существовало ни неприятеля, чрез которого надо пробиваться, ни затруднений собственно в пути. Движение по Люцернскому озеру проектировалось по береговым дорогам, вовсе не существовавшим; вообще незнакомство с топографиею края обнаруживалось в диспозиции поразительное, можно сказать непостижимое. В довершение всего и расчет по продовольствию войск сделан ошибочный. Из соображения разных документов и данных видно, что первоначально Суворов предполагал взять с собою 14-дневный иди по крайней мере 10-дневный запас провианта [1], но потом, вероятно вследствие необоримых затруднений, ограничился 7-дневным. На подвоз из Италии рассчитывать было нельзя, а если бы и представилась

возможность обеспечить сообщения, то назначенная маршрутом скорость движения войск сделала бы подвоз неисполнимым. Таким образом, по плану признано возможным ограничиться 7-дневным запасом до самого Швица, а там предположено получить продовольствие чрез посредство Корсакова и Готце. Но при дутом маршруте до Швица, и надежда на Готце и Корсакова была неосновательной, потому что они сами часто нуждались в продовольствии для своих собственных войск.

Итак, весь этот искусственный план оказывался несостоятельным, а между тем в основание его была положена характерная Суворовская мысль, которую можно оспаривать, но нельзя упрекнуть в нелепости или фальши. Суворов, предпочитавший пути к успеху самые прямые и короткие, действия самые быстрые и решительные, изложил в особой записке свои руководящие идеи таким образом. На всей неприятельской позиции, самая сильная часть есть левое крыло (от р. Аара вправо), не только по числу войск, но и по условиям местности. Там 30,000 войск занимают горный хребет, во многих местах совсем недоступный или обстреливаемый батареями: переправа чрез Лимат для атаки этой позиции также очень затруднительна, потому что атакующий может действовать только из одного пункта, Цюриха, под сильным перекрестным огнем. Гораздо доступнее правое неприятельское крыло, где местность хотя и весьма гориста, "но выгоды с обеих сторон одинаковы, а при нападении между озерами Люцернским и Цугским можно противопоставить неприятелю даже большое протяжение фронта". Выгодность подобного направления действий увеличивается еще тем, что первоначально мы будем иметь дело с неприятелем, числом ниже нас. Следовательно остается только решить - каким образом можно скорее и легче опрокинуть правое неприятельское крыло. Если для этого соединиться с Австрийцами при Дисентисе, то надо подыматься на 4 недоступных горных хребта, употребив на это столько времени, а может быть и больше, сколько нужно для достижения Люцерна. Мы имели бы с левого фланга целую неприятельскую дивизию, пришлось бы наступать вверх по долине Рейсы и, чтобы не было задержки у Чертова моста, частью сил действовать со стороны Белинцоны чрез С.-Готар, в тыл неприятеля за этим мостом. Следовательно остается единственным средством атаковать С.-Готар со стороны Белинцоны.

Суворов не хотел терять времени на кружное движение для одного предварительного соединения с Австрийцами; он предпочитал идти кратчайшей к цели дорогой, ударить на противника и выйти французской армии во фланг и в тыл.

"Истинное правило военного искусства", писал он в начале сентября к Готце: "прямо напасть на противника с самой чувствительной стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, чрез что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено прямым, смелым наступлением". В настоящем случае он однако ошибался, принимая длинное за короткое и сложное за простое, вследствие незнакомства с театром войны и ошибочных сведений о неприятельских силах. Одни историки обвиняют в этом его самого, другие (большинство) Австрийцев.

Австрийцы вели войну в Швейцарии давно, приспособились к тамошнему роду действий и должны были знать страну не хуже Французов. Суворов не имел о ней такого обстоятельного понятия, чтобы мог составить сам план операций и приложить его к делу, не справляясь ни с чьими взглядами. Поэтому он, как мы видели, протестовал против ведения войны в Швейцарии одними русскими войсками, без содействия австрийских, и на этом же основании потребовал себе офицеров австрийского генерального штаба. Их было 9 человек с подполковником Вейротером во главе, который и раньше, во время Итальянской кампании, находился при штабе Суворова. Тот же Вейротер был влиятельным лицом при прежних главнокомандовавших австрийскими армиями в Италии, генералах Альвинци и Вурмзере, и продолжал быть главным стратегическим проектором и воротилой в первые годы нынешнего столетия, чем и приобрел большую, но унылую известность. Он составлял во время швейцарского похода Суворова все предположения и диспозиции и вел военную переписку фельдмаршала; не может быть сомнения, что ему же главным образом принадлежит и план кампании. Хотя Вейротер принадлежал больше, чем кто-либо, к категории военных людей, которых Суворов называл "проектными унтеркунфтерами" и над которыми постоянно подсмеивался, но это нисколько не мешало русскому полководцу пользоваться и даже дорожить их услугами и содействием, так как он встречал в них то, чего в русских не было - знание, особенно когда дело шло о таком театре военных действий, как Швейцария.

Существует веское свидетельство одного из участников похода, что Русские давали предпочтение пути на Сплюген, Кур и Сарганс, но Австрийцы изъявили сомнение в достоинствах такого выбора и предложили план движения чрез С.-Готар в долину Рейсы. Русские, не зная местных условий в подробности, не могли оспаривать австрийское предложение и должны были согласиться. Римский-Корсаков говорит в своих мемуарах, что впоследствии Суворов сам признавался в ошибочности принятого

плана, объясняя, что был введен в заблуждение союзниками и что вся диспозиция была составлена одним из австрийских офицеров его штаба. Кроме того, в одном из писем своих к эрц-герцогу Карлу после Швейцарской кампании, он выражается, что принял предложенный ему план "больше по доверию, чем по убеждению". Некоторые прямо указывают на Вейротера, как на автора проекта, говоря, что Суворов имел к нему большое доверие и потому одобрил сущность плана, приказав в нем сделать лишь некоторые изменения. Указывается и на эти изменения; они состояли в исключении из диспозиции мер на случай отступления, а также в отказе от учреждения коммуникационной линии с тылом, в виде цепи отрядов. Историк свидетельствует при этом, будто Суворов объяснил Вейротеру, что Русские не знают ни горной страны, ни постовой войны; что в мелких отрядах они легко могут быть обойдены, отрезаны и т. п.; что таким образом коммуникация с тылом будет уничтожена, а главный действующий корпус без всякой надобности ослаблен; что русские войска, скученные вокруг него, Суворова, представляют самую лучшую и надежную силу, с которою он может отвечать за все **2**. Трудно проверить документально приводимое свидетельство, но нельзя не заметить, что приписываемые Суворову слова значительною долею подтверждаются ходом кампании. Кроме того они подкрепляются косвенно другим лицом, которое рассказывает, что когда Суворову кто-то заметил во время кампании, что тыл его совсем не обеспечен, то он отвечал: "у нас, Русских, нет тыла" [3].

Впрочем, при незнакомстве Русских с краем, при неподготовленности войск к тамошней войне, при заявленной необходимости в австрийском генеральном штабе и вообще при всей обстановке дела, излагаемой в настоящей главе и отчасти объясненной раньше, едва ли нужны более категорические доказательства, что выбор пути в Швейцарию шел не с русской, а с австрийской стороны. Вот если бы приходилось утверждать противное, тогда без подробнейшего исследования обойтись было бы нельзя. Не может противоречить нашему заключению и характер Суворова. Если бы фельдмаршал имел серьезные данные для предпочтения пути на Сплюген или Бернардину, то несомненно его бы и выбрал, несмотря ни на какие оспаривания; но он своего мнения составить не мог по отсутствию прочных оснований. Оспаривать план Вейротера ему не приходилось еще и потому, что случайно или с умыслом взгляд австрийского стратегического проектора подошел к военным принципам Суворова: кратчайший путь к конечной цели, отрицание полумер, решительность действий. Суворов этот план и одобрил, положившись в оценке всего прочего на экспертов. Вообще

характерные особенности Суворова нисколько не делали его недоступным там, где он не мог положиться на одного себя, как в настоящем случае. Он не только готов был выслушать знатоков, но сам к ним обращался за советом. Так, еще из Асти он сообщил главные свои предположения о швейцарском походе Штрауху, Готце и Линкену, как людям, близко знакомым с краем, требуя их замечаний; два первые доставили свои предположения, Суворов их одобрил и поручил Вейротеру соединить в общий план, что и составило окончательную диспозицию.

Но если Суворову на мысль не приходили те ужасные препятствия, которые он потом встретил на избранном пути, то это служит только к усугублению вины экспертов - советодателей. Коварства, злого умысла тут допустить нельзя, потому что неудача Суворова и русских войск хотя могла приятно пощекотать злорадство завистливого и неблагодарного союзника, за то наносила собственным его планам и интересам прямой ущерб. Современники, особенно Русские, не задумывались над таким тяжким обвинением, но историческая даль меняет угол зрения и отрезвляет страстные приговоры. Однако нельзя не признаться, что негодование, родившееся из оскорбленного патриотического чувства, коренилось отчасти и на соображении, которое до сей поры не может быть вполне опровергнуто. Это соображение заключается в вопросе: неужели Австрийцы до такой степей были незнакомы с театром предстоявшей кампании, что направили Суворова на самое худшее решение не заведомо для самих себя? Как ни странно подобное неведение, но приходится его признать за факт. Готце, например, доносил Суворову, что "по достовернейшим известиям", общая численность французских войск в Швейцарии не превосходит 60,000 человек, т. е. ошибся почти в 1 1/2 раза: он же показал дивизию Лоржа на оконечности правого французского фланга, тогда как она стояла на левом фланге, по Лимату. Чего же можно было ждать от Вейротера и других, находившихся не на месте будущего действия, а при штабе Суворова? В защиту их может быть также приведено, что в Суворовском плане упоминается про "весьма дурные горные дороги" в долине верхней Рейсы; что в донесении Готце говорится вскользь о движении Ауфенберга чрез Альторф в кантон Швиц "по пешеходной тропинке"; что наконец у Суворова были свои понятия о качестве дорог и возможности движения по ним и что внушать ему иной взгляд было бы напрасною тратою времени. Однако сущность дела заключалась не в условном различии взглядов. Каким образом введено в операционный план береговое движение по Люцернскому озеру, когда там сообщение производилось исключительно водою? Каким образом могло

проскочить в диспозиции выражение: "колонна выступает из Альторфа до Швица и идет тот же вечер 14 миль далее", когда тут "далее" дороги вовсе не существовало? Причиною тому могла быть или высшая степень небрежности, или полное незнание. Еще удивительнее, что на невозможность обогнуть сухопутно Люцернское озеро не указали ни Готце, ни Штраух, у которых Суворов просил указаний на "местные затруднения и способы края".

Вообще на всем этом лежит печать какого-то рока; зоркий Суворов, в силу обстоятельств, слишком много положился на других. А между тем он считал исход предстоящей кампании подлежащим некоторому сомнению, что обязывало его к большей осмотрительности, тем паче, что Австрийцы уже неоднократно его проучивали. И если все, изложенное выше, не может служить ему оправданием, то по крайней мере объясняет путь, которым он был приведен к неожиданной развязке. Путь этот длинен; его открывает эрц-герцог Карл несвоевременным выступлением за Рейн, и он не завершается еще составлением ошибочного плана действий. Принятый план, при всей своей неудовлетворительности, не приводил еще к бедственному результату, если бы был выполнен без потери времени; но и тут Суворову суждено было потерпеть неудачу. Еще в то время, когда Русские выступали из под Тортоны, Суворов просил у Меласа для горного похода мулов, которых тот имел в достаточном числе для надобностей русской армии. Но Мелас дал их только под горную артиллерию, а в остальных отказал, уверяя Суворова, что должные распоряжения сделаны и что мулы будут ожидать в Белинцоне прихода Русских. Суворов рассчитывал подойти к С.-Готару 6 сентября и 8 предпринять атаку неприятельской позиции, а потому форсированным маршем прибыл 4 числа в Таверну; но тут узнал, что мулов, вместо ожиданных 1430, нет ни одного. Суворов был в крайнем негодовании и стал придумывать средства к выходу из своего положения. Великий князь посоветовал употребить под вьюки казачьих лошадей, так как в Швейцарии большое число конницы было бы в тягость, и спешенные казаки представлялись более полезными, чем конные. Хотя степные казачьи лошади по качествам своим далеко не подходят к мулам и в горной войне их заменить не в состоянии, но в настоящем случае выбирать было не из чего, и Суворов принял с благодарностью благой совет великого князя. Стали приготовлять на скорую руку подобие вьючных седел и собирать по окрестностям мешки, ибо австрийское провиантское ведомство не заготовило ровно ничего. Сначала предположено было употребить под вьюки 2500 казачьих лошадей и заготовить 5000

мешков но для сокращения задержки ограничились 1500 лошадей и 3000 мешков. Вейротер торопил австрийских провиантских чиновников, рассылал по окрестностям казаков; Суворов писал Меласу, доносил в Вену, в Петербург. Императору Францу он донес, что сделал 8-дневный поход в 6 дней совершенно понапрасну и что "решительные выгоды быстроты и стремительности нападения потеряны для предстоящих важных действий". Императору Павлу он писал, что время проходит, а Австрийцы только обманывают "двусмысленными постыдными обнадеживаниями" и что положение его корпусов может "сделаться весьма опасным". Ростопчину сообщалось, что "пришли в Белинцону, но нет лошаков, нет лошадей, а есть Тугут, и горы, и пропасти"; говорилось, что "Тугут везде, а Готце нигде" [4].

Мелас извинялся, оправдывался, сваливал всю вину на одного провиантмейстера, обещал с него взыскать, просил к себе снисхождения, уверял в своем уважении и преданности. Тем временем прибыло несколько сот мулов, но они были законтрактованы только до Белинцоны; пришлось уговаривать погонщиков остаться при армии на весь поход. Спустя два-три дня прибыло еще несколько сот; делались последние распоряжения, работа кипела днем и ночью; но дело чуть не усложнилось с другой стороны. В конце августа французская дивизия крайнего правого фланга стала производить демонстрации; принц Роган и Гадик отступили, Мелас забил тревогу. Суворова это однако не смутило; он принялся передвигать казачьи партии, якобы подкрепляя Штрауха и Рогана, распустил слух, что движение в Швейцарию начнется не раньше 20 числа, и даже отдал об этом приказ по войскам. В тревоге и неустанных трудах прошло 5 суток, - потеря невознаградимая. Сентября 8 Розенберг выступил к Белинцоне, где должен был ждать дальнейших приказаний; в тот же день Суворов собрал в Таверне военный совет для окончательного утверждения диспозиции к нападению на С.-Готар, а 10 числа утром тронулся в путь с корпусом Дерфельдена. Все тяжести и полевая артиллерия следовали другими путями, как уже было сказано.

Войска шли в Швейцарию с прежнею верою в самих себя и в своего предводителя, мало озабочиваясь тем, что им предстояла не только перемена места, но и новый образ действий. Не многим из Русских удалось испытать на Кавказе образчик того, что теперь предстояло впереди; огромное большинство привыкло только к действиям на равнинах и в степях. Это обстоятельство также имеет значение при оценке трудностей Швейцарской кампании, и некоторые иностранные писатели не упустили раздуть его в органический недостаток Суворовской армии, которая будто бы

умела только ломить прямо в штыки и не имела понятия об огнестрельном бое [5]. Суворов конечно знал, что войска его нуждаются в дополнительной подготовке; но знал он и то, что привитые им боевые начала служат одинаково всюду, и на равнинах, и в лесах, и в горах. Недостающие войскам сведения он изложил в виде особого наставления или правил, касающихся как походных движений, так и боя, что и приказал объявить по армии (см. Приложение XI) [15]. Вместе с тем, приготовляясь к общему со всех сторон нападению на Французов, он не забыл и Австрийцев; напомнил им о необходимости держать силы в совокупности, собирать верные сведения о неприятеле и всем отрядам находиться в постоянных сношениях друг с другом. Кроме того он выразил Готце и Линкену желание, чтобы войска их как можно чаще упражнялись в действии холодным оружием, которому союзники обязаны своими победами в Италии, а для обучения Австрийцев приказал Корсакову командировать сведущих офицеров.

Французы тоже приготовлялись к встрече в Швейцарии с новыми врагами; по крайней мере директория сочла нужным посоветовать это Массене. Помимо "северных варваров, полудикарей" и других стереотипных эпитетов, которыми Французское правительство сочло нужным маскировать свои опасения, оно, противореча самой идее своего послания, говорит, что французские войска в Италии привыкли уже не бояться русской пехоты. Все эти оговорки приличия сопровождаются внушением, что, как ни полезно наступление Французов правого фланга против Австрийцев, но еще важнее победа над Русскими, дабы поддержать дух войск; Массену предостерегают, что, действуя против Русских, следует принимать самые обдуманные предосторожности, бить массами, сохранять резерв для восстановления боя, потому что новый противник отличается стремительностью в натиске и стойкостью в огне. Массена, получив такой совет, счел нужным ободрить свои войска приказом по армии; он выразил уверенность, что Французы одержат верх и оправдают свою старинную славу в штыковом бою, но предупреждал, что Русские действуют этим оружием гораздо лучше Австрийцев.

Сентября 10 главные силы Суворова тронулись из Таверны к Белинцоне, а Розенберг из Белинцоны двинулся вверх по р. Тичино. Погода стояла очень дурная: дождь лил ливмя, резкий ветер прохватывал насквозь, ночи были сырые и холодные; войска дрогли на биваках. На третий день корпус Дерфельдена, преодолев множество на пути препятствий, расположился у Дацио, туда же подошла от Биаско австрийская бригада Штрауха.

Розенберг продолжал свое движение в обход неприятельской позиции на Сен-Готаре. Дорога для его колонны была длиннее и хуже, с беспрестанными крутыми спусками и подъемами, под непрерывающимся дождем, по скользким косогорам, с переправами в брод чрез потоки по колено, даже по пояс. Солдаты на ходу выбивались из сил; несколько человек сорвалось с крутизны и расшиблось, погибло также несколько вьюков с лошадьми. Переходы были не в меру велики; войска подымались с рассветом и шли почти безостановочно до самой ночи, а придя на ночлег, не всегда находили даже хворост для бивачных костров. При всем том отсталых было очень мало; солдаты пособляли друг другу и облегчали ношу тех, которые выбивались из сил [6]. Таким образом колонна успела сделать по трудной горной дороге около 75 верст в трое суток и, пройдя 12 числа Дисентис, где стояла австрийская бригада Ауфенберга, пришла к ночи в Тавеч. Но и здесь ей не удалось отдохнуть, потому что на завтра предстоял дальнейший поход с атакою неприятеля, а ночь простояла бурная и холодная, с постоянным дождем.

Несмотря на все трудности и невзгоды, войска были бодры и, по замечанию одного из участников похода, готовы были в бой не только с Французами, но и с Австрийцами. Союзники успели внушить к себе большую неприязнь в рядах русских войск, не сами непосредственно, а как исполнители Тугутовой воли. Не только офицеры, но и солдаты знали имя австрийского министра, толковали в границах своих понятий о его интригах и вероломстве, считая его чем-то в роде чумы. Особа его служила темою для разговоров; кто из офицеров был по сведущее, рассказывал анекдоты, вспоминал былые времена, приводил случаи неблагодарности Австрийцев к России. Не мудрено поэтому, что солдаты изъявляли в шутку готовность бить "не только синекафтанников, но и белокафтанников", и так как австрийское коварство и вероломство не подлежали в их мыслях никакому сомнению, то горячая их любовь к обиженному Суворову дошла до обожания [6].

А он сам, предмет этого обожания, находился среди них по-прежнему простой, доступный, бодрый, изображая собою первого солдата своей армии. Как всегда, он ехал на казачьей лошади, в легком костюме, прикрытый кроме того тонким, ничем не подбитым плащом, который хотя прослыл в войсках за "родительский", но был сшит 7 лет назад, в Херсоне. Голову Суворова прикрывала не каска, как обыкновенно, а круглая широкополая шляпа, неизвестно почему предпочтенная наперекор сезону. Возле него тащился на казачьей же лошади и новый его поклонник, сердце которого он успел заполонить,

Антонио Гамма, хозяин дома, где Суворов в Таверне квартировал. С первого же свидания с знаменитым фельдмаршалом, Гамма почувствовал к нему большое влечение, которое с каждым днем увеличивалось и дошло до того, что забыв свои годы, семью и домашние дела, Гамма дал обещание -следовать за Суворовым в Альпы. Несмотря на возражения и доводы родных, 65-летний старик настоял на своем намерении, поехал с Суворовым, находился при нем весь поход до Кура неотлучно служил местами проводником и не раз приносил войскам пользу [7].

От Дацио, где остановилась колонна Дерфельдена, до Айроло, занятого передовым французским постом, оставалось всего 10 верст. Сен-Готар угрюмо смотрел на пришельцев; при тогдашнем ненастье, вид его был вдвойне суров и внушителен. Гору эту охраняла бригада Гюдена; другая, Луазона, расположена была вблизи, по долине верхней Рейсы; общая численность их простиралась приблизительно до 9,000 человек. Незначительны были эти силы, но местность удваивала, если не утраивала средства обороны. Особенно недоступна была позиция со стороны Италии; тянувшаяся тут тропинка пересекала горные водотоки, беспрестанно спускалась в глубокие ущелья и подымалась по кручам. В бурное время и при зимних метелях она делалась опасною до степени недоступности, что и подтверждалось многочисленными несчастными случаями, и только христианское самоотвержение небольшой общины, занимавшей Госпис, странноприимный дом, выстроенный на высоте 6,800 футов, умеряло цифру жертв. Атака Сен-Готара с этой стороны была делом очень трудным и рискованным, оттого Суворов и послал Розенберга обходом в тыл французской позиции, но положиться на один обходный корпус также было нельзя, потому что неприятель мог его подавить. На этом соображении была построена диспозиция. Атакующие войска Дерфельдена делились на три колонны; правая, из авангарда Багратиона и дивизии Швейковского, должна была обойти левый фланг неприятельской позиции, отрядив от себя несколько батальонов еще правее; левая, из двух австрийских батальонов Штрауха и одного русского, направлялась к верховьям р. Тичино; средняя, из дивизии Ферстера и двух остальных австрийских батальонов, шла через Айроло. Боковым колоннам приказано выступить в 3 часа ночи 13 числа, средней - держаться несколько сзади, чтобы не нести преждевременной напрасной потери; в голове всех колонн иметь пионеров, а артиллерии находиться при средней.

Утро встало пасмурное, мглистое; дождь перестал, но густые облака лепились по ребрам гор. Продвинувшись от Дацио вперед, войска, согласно диспозиции, разошлись в разные

стороны; князь Багратион взял вправо и стал взбираться на кручи, послав небольшой отряд за отступившими от Айроло французскими постами и отрядив правее себя три батальона и спешенных казаков. Передовой отряд слишком горячо гнал посты и зарвался в атаку сильной французской позиции; начальник был убит; другой, заступивший его место, ранен. Багратион поддержал отряд несколькими ротами, а правый французский фланг успела обойти левая союзная колонна: Французы отступили и заняли новую позицию. Здесь их атаковала средняя колонна, усиленная дивизией Швейковского, которую Суворов не послал за Багратионом вероятно потому, что собственными глазами удостоверился в неимоверных трудностях подъема правой колонны в горы. Французы, мастерски пользуясь оврагами, скалами, каменьями, производили губительный огонь, и хотя две правые русские колонны своим обходным движением заставили их перейти в отступление, однако они не раз еще останавливались на выгодных позициях и давали отпор, прежде чем поднялись на самую вершину горы.

Здесь благоприятные для Французов условия местности увеличивались в несколько раз, тем паче, что на подкрепление Гюдена успели прибыть ближайшие войска Луазона. Русские отважно пошли штурмовать с фронта позицию противника впереди Госписа, но Французы били их из за утесов и каменьев чуть не на выбор, и атака была отбита. Одушевленные присутствием Суворова и великого князя, войска двинулись вторично, и опять с той же неудачей и еще большей потерей. А Багратион все не показывался на фланге; войска его, карабкавшиеся по утесам и стремнинам целиком, на глаз, без всяких тропинок, изнемогали от усталости, тратили много времени, а подвигались вперед мало. Вершина горы пред ними все как будто вырастала и уходила вдаль, или совершенно застилалась облаками, которые обхватывали войска густым туманом. Люди помогали друг другу, подсаживали один другого, упирались штыками, прибегали к разным уловкам, а дело все плохо спорилось, и без конца тянулись эти грозные, недосягаемые выси.

День склонялся к вечеру; было 4 часа, ночной темноты оставалось ждать не долго. Суворов стал опасаться за Розенберга, о котором не было никакого слуха, а между тем под его начальством находилась почти треть армии, и порученная ему операция отличалась большою смелостью замысла. Опасение это поддерживалось необыкновенным упорством французской обороны, как бы указывавшей на двойную цель противника. Суворов велел штурмовать французскую позицию в третий раз.

Войска двинулись и вслед за тем, почти одновременно, показались против неприятельского левого фланга, на снежной вершине, головные люди колонны Багратиона. Французы этого не ожидали, тотчас бросили позицию и стали поспешно ретироваться. Дело было Суворовым выиграно, Сен-Готар занят.

Из этого описания видно, как несправедливо многие иностранные писатели порицают Суворова за то, что он, упорствуя во фронтальных атаках, несмотря на убеждения Вейротера, будто бы только вечером послал обходные колонны, которые и решили дело в его пользу. Скорее можно сказать, что он, как при Нови и в силу тех же причин, был слишком нетерпелив, прибегая к троекратной атаке, но данные для подобного заключения имеются только теперь, когда весь ход дела ясен, а в то время рассчитать фронтальную атаку одновременно с фланговою было невозможно уже по одним свойствам местности. Атака Сен-Готара действительно могла обойтись Русским гораздо дешевле, если бы Розенберг не мешкал, как ниже увидим, но тут Суворов ни при чем; поджидать же Розенберга, отряженного по длинному и кружному пути, было дело не мыслимое.

К этому времени относится очень распространенный анекдот, будто русские солдаты, устрашенные видом гор и трудностями похода, отказались идти вперед, а Суворов пригрозил им, что ляжет от срама здесь в могилу, велев рыть и могилу. Ничего подобного не было; по всей вероятности этот драматический анекдот выдуман по поводу следующего случая. В голове одной из колонн ехали два офицера, - один австрийского генерального штаба, другой русский подданный из немцев. Разговор, который они между собою вели, коснулся щекотливого предмета - отношений Австрийского правительства к России, Суворову и русским войскам. Русский не сдержал своего негодования, австриец вступился за правительство с горячностью; произошла ссора, дошло дело до крупных слов, может быть до брани; австриец сгоряча бросил голову колонны, она остановилась, а он, встретив Багратиона, в сердцах сказал ему: "бранятся, не идут". На этой скромной основе должно быть и выросла эффектная, но ложная по духу сцена, попавшая и в историю, и в роман.

Когда Госпис перешел в руки Русских, подъехал Суворов и был встречен престарелым, седым приором с братией. Приор пригласил фельдмаршала подкрепить силы скромной трапезой, но Суворов просил отслужить прежде благодарственный молебен, молился усердно, а потом принял угощение, состоявшее из картофеля и гороха, За трапезой велась оживленная беседа; под влиянием победы, Суворов был весел, любезен, хвалил обитель за

христианские подвиги на пользу ближнего, благодарил за гостеприимство. Приор был человек образованный и не мог не подивиться массе знаний и огромной начитанности русского полководца, который к тому же вел с ним беседу на нескольких языках.

Тем временем войска собрались на вершине горы, перевели дух и стали спускаться вслед за Французами, которые с геройским упорством решились продолжать оборону. На первой занятой позиции они не могли удержаться, но в дальнейшем отступлении были подкреплены остальными войсками Луазона, которые привел сам начальник дивизии Лекурб. Он двинулся на встречу Суворову, но получив извещение, что тылу его угрожала колонна Розенберга, занял оборонительную позицию вблизи деревни Госпиталь с тем, чтобы хоть до ночи остановить наступление Суворова.

Розенберг выступил из Тавеча с рассветом и пошел по долине В. Рейна, имея впереди Милорадовича. Французские аванпосты были сбиты и отступили на вершину горы Криспальт, к двум стоявшим там батальонам; русские войска повели наступление на них прямо и в обход левого фланга. Французы, пользуясь местными прикрытиями, встретили их сильным огнем, но были сбиты смелою атакой передового батальона Милорадовича и затем заняли новую позицию по обеим сторонам озера Обер-Альп. Отсюда выбить их было труднее, хотя войска Розенберга успели стянуться почти все и имели огромный перевес числа. Общая атака тремя колоннами по обоим берегам озера встретила упорную оборону и кроме того была затруднена болотистой местностью; однако Милорадовичу удалось сбить правое французское крыло. Это побудило неприятеля к общему поспешному отступлению; хотя он и пытался останавливаться еще на нескольких позициях, но деятельный Милорадович не давал ему утвердиться, и под конец отступление обратилось почти в бегство. Этому способствовала, между прочим, чрезвычайная энергия войск Розенберга, одушевленных чувством соревнования, так как они почти не имели случая принимать участие в победах Итальянской кампании.

Французы спустились к деревне Урзерн и, вместе с оставленным там по распоряжению Лекурба резервом, построились в боевой порядок. Русские стягивались и устраивались на вершине горы, под которою Французы готовились к новой их встрече; впереди русской боевой линии рассыпан был батальон егерей. Неприятель пробовал бросать сюда гранаты, но они не наносили никакого вреда. Так прошло несколько часов, наступал вечер, густые облака оседали по

ребрам горы книзу и наконец заволокли непроницаемым туманом всю долину: и Урзерн, и Французы стали не видны. В это только время войска получили приказание -спускаться вниз; велено это сделать как можно поспешнее, но без всякого шума и затем выстраиваться в линию. Спуск был очень крутой, так что большинство предпочло скатиться с горы сидя; тишина была соблюдена образцовая, и боевая линия выстроилась у подошвы горы, не замеченная неприятелем. По данному приказанию, линия дала ружейный залп и кинулась в штыки, с криком *ура*, на невидимого противника. Французы были озадачены внезапной атакой, но присутствия духа не потеряли и встретили Русских стойко; однако удар был так силен и стремителен, что отразить его не могли, и смятые, охваченные с флангов, дали тыл. Небольшое число беглецов направилось чрез Урнер-Лох к Чертову мосту, большая же часть отступила по направлению к Госпиталю и присоединилась к Лекурбу [1]. Кроме 220 человек убитыми и пленными, Французы потеряли 3 орудия, да в руки победителей попало до 370,000 патронов и провиант, которого хватило на суточную дачу Розенбергову корпусу. Преследование не производилось за туманом и ночною темнотою.

Розенберг сделал здесь большую ошибку. Придя к спуску в Урзернскую долину между 2 и 3 часами дня, он прислушиваясь к выстрелам Суворова нашел, что они доносились издалека и что поэтому атаковать неприятеля слишком еще рано [1]. Не держись он этого фальшивого соображения, то не только избавил бы колонну Дерфельдена от лишнего боя, заняв в тылу Лекурба Урзерн, но находившиеся на С.-Готаре французские войска едва ли могли избежать тогда истребления или плена в полном своем составе. Не было у Розенберга отговорки и в усталости войск; хотя его дивизия сделала в этот день, при непрерывном почти бое, 18 верст, что много для непривычных войск в горной стране, но колонна Дерфельдена при худших еще условиях прошла 24 версты.

Блистательный дебют русских войск в горной войне стоил не дешево: из строя выбыло до 2,000 человек. Потеря Французов неизвестна, но она должна быть меньше. Они бежали по двум главным направлениям: одни к западу, чрез Фурку к верховьям Роны; другие же, в огромном большинстве, направились вместе с Лекурбом чрез горы в долину Гешенен. Лекурб был генерал даровитый, решительный и смелый, настоящий представитель французской военной школы той эпохи. Он мог бы отступить чрез Фурку в Валис, но тогда Суворову открылся бы свободный путь к Люцернскому озеру с находившеюся там французскою флотилией. Этого было достаточно для Лекурба, чтобы принять

решение, для генералов другой школы невозможное: он побросал всю свою артиллерию в Рейсу и ночью стал пробираться чрез дикий горный хребет Бетцберг. Густой туман и ночная тьма сильно затрудняли ему и без того невероятный по трудностям путь, где извивались редкие, мало посещаемые тропинки и по которому сами местные жители считали невозможным движение войск. Но за то эти самые туман и темнота, не дозволявшие различать едва видимые тропы, спасли войска Лекурба от неприятеля: Французы целую ночь карабкались по горным высям и ущельям, перевалили гребень на высоте 7,800 футов, спустились утром к деревне Гешенен и стали на пути Суворова.

Суворов послал небольшую часть войск для преследования неприятеля к стороне Фурки, а другой, под начальством генерал-майора графа Каменского, приказал ранним утром двинуться к Цумдорфу и Гешенену [1]. Штраух остался на южной стороне Сен-Готара, прикрывать дорогу чрез Нифенский проход в долину Тичино; прочие войска, едва державшиеся от усталости на ногах, расположились на ночлег где стояли, вокруг деревни Госпиталь, откуда Лекурб был выбит уже в ночную тьму. Погода стояла холодная и сырая, солдаты дрогли, несмотря на разведенные огни. Верстах в 4 прорезывались через ночную тьму огни другого бивака, - то был корпус Розенберга; но каждый из русских лагерей принимал другой за неприятельский, а между тем неприятель, в начале ночи, находился почти как раз между ними. Великий князь ночевал в Айроло; Суворов посреди войск, в деревне. Перед полуночью он написал Готце и Римскому-Корсакову, что трудные обходы замедлили взятие Сен-Готара, что войска недавно прибыли к Госпиталю, что завтра наступление будет продолжаться, и он надеется дойти к вечеру до Альторфа, как назначено диспозицией. Он видимо был доволен только что кончившимся 13 числом и на конверте с бумагами, отправляемыми к Готце, написал собственноручно:

Am 20 - sind die Tragthiere bereit,
Den 21 - zieht Rosenberg zum Streit,
Den 22 - folgt Tierfeld zur Schlacht,
Den 24 - ist Gotthardsberg erobert durch Macht.
Dann haben wir durch Sabl und Bajonett
Die Schweitz von ihrem Untergang gerett't.

В 6 часов утра 14 числа Суворов выступил из Госпиталя, соединился у деревни Урзерн с Розенбергом и продолжал движение вниз по р. Рейсе. С версту дальше, дорога по правому берегу врезывается в утесы, отвесно спускающиеся в русло реки,

так что сообщение идет пробитым в скалах туннелем, который называется Урнер-Лох и имел в то время 80 шагов длины при 4 шагах ширины. Несколько ниже по течению реки, дорога лепится в виде карниза по отвесной скале и круто спускается к арке Чертова моста, который составляет с нею прямой угол. На этом пространстве Рейса несется как бы в щели или трещине, между нависшими над ней горами; вода имеет большое падение и низвергается несколькими водопадами; поток ревет, покрытый пеной, и рев его слышится далеко кругом. Центром этой дикой, величественной картины служит Чертов мост, смело переброшенный над пропастью, на высоте 75 футов от воды. Мост, длиною около 30 шагов, состоял из двух каменных арок; большая соединяла правый берег с выдающеюся скалою левого, малая связывала эту скалу с левым берегом. С моста дорога делает опять крутой поворот; продолжая извиваться лентой по ущелью, она несколько раз переходит с одного берега на другой и только перед деревнею Гешенен вырывается из мрачной трещины на свет Божий. Если бы ряд этих узких проходов был защищен хотя небольшими, но достаточными силами, особенно артиллерией, и оборона велась энергически, то атака решительно не могла иметь успеха, а дурно соображенная повела бы и к большим потерям. К счастию, распоряжения атакующего были хороши, а оборона республиканцев слаба [8].

С рассветом Розенберг начал наступление, согласно полученному приказанию. Впереди шел Милорадович, за ним остальные войска дивизии, потом Дерфельден. Французы занимали левый берег реки; их было немного, никак не больше двух батальонов, вероятно из числа разбитых накануне при Урзерне; можно также заключить из сличения разных описаний, что республиканцы имели всего одно орудие, а если и несколько больше, то из самых мелких калибров. В надежде ли на неприступность позиции, или вследствие позднего прибытия к месту обороны и неизбежной суеты, но только они не подготовили разрушение моста до появления атакующих и не препятствовали их наступлению вплоть до Урнер-Лоха. Небольшой передовой отряд с пушкою оставлен был впереди моста для обороны этого туннеля; тут собственно и началось дело. Как только голова передового русского батальона втянулась в туннель, передовой французский отряд встретил его ружейными и пушечными выстрелами. Форсирование прохода повело бы к значительным и напрасным потерям, поэтому для облегчения фронтальной атаки произведены были два фланговые движения: отряд в 300 человек послан вправо, в горы, над Урнер-Лохом; другому, человек в 200, приказано перебираться чрез каменистое

ложе Рейсы на ту сторону и угрожать флангу и тылу французской заречной позиции. Оба эти маневра принадлежали к числу таких, которые вызываются только крайностью, но оба они, благодаря энергии войск, удались вполне. Майор Тревогин с 200 егерями спустился к руслу с огромными усилиями и, одолевая еще большие трудности, стал перебираться через Рейсу. Вода была не глубока, по колено и лишь местами по пояс, но главная опасность заключалась в быстроте течения. Добравшись до берега, люди стали карабкаться вверх по крутизнам, на вид совершенно недоступным. В виду удачи этой рискованной переправы, послан по следам смелой команды целый батальон, который, не без потерь конечно, перешел реку длинным фронтом, так что на той стороне очутилась довольно значительная сила. На переправу и затем на движение в тыл и фланг французской позиции по скалам, потребовалось не мало времени, так что колонна полковника Трубникова, посланная в обход Урнер-Лоха, исполнила свою задачу раньше.

Едва показались его люди на склонах утесов позади туннеля, Французы пришли в смятение и второпях стали разрушать мост. Так как большая арка, над самым потоком, была конечно более капитальной постройки, чем малая береговая, то принялись за последнюю, что было и сподручнее, потому что она находилась на французской стороне. Передовому французскому отряду приходилось теперь думать о собственном спасении, а не об обороне туннеля; надо полагать, что часть его успела перебраться на левый берег, а другая осталась на правом отрезанною. Передовой русский батальон, заметив у Французов суету, возобновил атаку, беспрепятственно прорвался чрез Урнер-Лох и бросился на отрезанных Французов в штыки. С противуположного берега открылся по нем огонь, но слабый; Французы передового отряда частью были переколоты или сброшены в реку, частью искали спасения, спрыгивая с утесов и пытаясь перебраться по руслу, что однако могло удасться немногим. Пушку свою они впрочем спасли от русских рук, сбросив ее в реку. Русские кинулись к мосту; главная арка оставалась не тронутой, но вместо второй арки, зиял широкий и глубокий провал: Французы уже успели, несмотря на огонь русских стрелков правого берега, преградить наступающему неприятелю путь.

Завязалась перестрелка между обоими берегами, которая не придвигала дела к исходу, так как исправлять мост под выстрелами в упор было невозможно. Но к этому времени, переправившиеся в брод на французскую сторону части русских войск успели одолеть путь по горным высям левого берега и начали спускаться к мосту. Они представляли внушительную

силу, потому что с ними случайно сошелся тут генерал Каменский, получивший еще с вечера приказание перебираться чрез хребет Бетцберг и следовать за Лекурбом, для обхода Урнер-Лоха и Чертова моста. Французы не могли дальне держаться в этом месте и стали отступать, а русские войска левого берега под начальством Каменского их преследовали. Отступление сделалось для Французов неизбежным еще и потому, что согласно общему плану похода, австрийский генерал Ауфенберг, спустившись с Дисентиса долиною Мадеран, занял Амстег на Рейсе, выбив оттуда незначительный французский отряд, и таким образом очутился у Французов в тылу. Хотя Лекурб заставил Ауфенберга отойти по долине Мадеранской, но Австрийцы все-таки оставались вблизи, сохраняя угрожающее положение.

Как только обнаружилось намерение Французов ретироваться от моста, Русские правого берега бросились вперед и принялись за устройство на скорую руку перехода чрез разрушенную арку. Разобрали ближний сарай, притащили бревен и досок, перекинули их чрез провал и стали укреплять чем попало; майор князь Мещерский 1-й употребил для этого свой офицерский шарф, а за ним и другие офицеры сделали тоже самое. Когда перекинутые чрез обвал зыбкие и узкие мостки изобразили собою некоторое подобие переправы, храбрецы стали переходить, помогая друг другу; некоторые оборвались и расшиблись, другие были убиты или ранены, так как отступающие Французы все еще обстреливали мост. Скоро французские выстрелы замолкли или не долетали, и временная переправа сделалась удобопроходимее, но едва ли она способствовала усилению преследования, потому что требовала много времени для малого числа людей; сборный отряд Каменского был Французам страшнее и опаснее. Приступлено было тотчас к основательной поправке поврежденной части моста пионерами, и в 5 часу дня вся задержанная колонна русских войск двинулась вперед [10].

Дело у Чертова моста продолжалось довольно короткое время и не причинило больших потерь ни той, ни другой стороне, но надо полагать, что у Французов выбыло из строя все-таки больше, так как часть их передового отряда была истреблена, и отряд Каменского уложил свыше 200 человек на горах и вдоль дороги. Малая потеря атакующего зависела от хорошо скомбинированной атаки и от слабой обороны, которая в свою очередь обусловливалась недостаточными средствами Французов и быстрым наступлением Русских. Эта слабая оборона и в особенности неполная порча Чертова моста, дали некоторым повод заключать, будто Лекурб заманивал Суворова глубже в долину Рейсы, откуда Русским не было выхода и где они должны

были поэтому погибнуть. Соображение это страдает натянутостью, потому что Лекурбу было вовсе не до грандиозных замыслов: он сам рисковал быть отрезанным и окруженным и заботился единственно о том, чтобы выйти из своего затруднительного положения.

Небольшая армия Суворова продолжала наступление, но подвигалась вперед медленно, задерживаемая разными препятствиями, преимущественно мостами. Четыре раза перебегала дорога с одного берега Рейсы на другой; все 4 моста неприятель старался испортить, но при спешном отступлении это ему удалось только отчасти, и восстановление всех четырех переправ не было для Русских так затруднительно, как исправление Чертова моста [1]. Однако все-таки требовались работа и время, так что в этот день Суворов едва успел подвинуться вперед от Госпиталя на 12 верст. В Гешенене присоединился Каменский, в Вазен армия пришла ночью и тут осталась до утра. Сентября 15 войска поднялись в 5 часов и продолжали путь; в авангарде шел Милорадович. Он быстро бросился к Амстегу и, благодаря этой быстроте, предупредил новую остановку: отступавший к Альторфу Лекурб едва успел зажечь мост, как нагрянули Русские, затушили огонь, перебрались по тлевшим бревнам и доскам и выбили французский ариергард из деревни; после чего отряд Ауфенберга, державшийся вблизи в оборонительном положении, получил возможность присоединиться к русской армии и продолжал с нею наступление. Следуя далее по Рейсе, Суворов дошел до впадения в нее речки Шахен, по имени которой называлась и долина, узкая и длинная, тянувшаяся вправо. Тут Лекурб занял позицию, имея в тылу Альторф; мосты были сняты; дорогу обстреливала артиллерия; кроме того он отрядил часть войск в 4 деревни по левому берегу Рейсы, на фланге двигавшихся русских войск.

Все силы Лекурба состояли из 6,000 человек, следовательно попытка его дать отпор Суворову перед Альторфом не имела серьезного значения, да она была бы и бесцельна, так как с занятием Альторфа Суворов ровно ничего не приобретал и в исполнении своего плана вперед не двигался. Оттого корпусу Розенберга не потребовалось больших усилий, чтобы заставить Французов покинуть избранную позицию и ретироваться на Флюэлен и Зеедорф, после чего Лекурб расположил почти все свои войска за левым берегом Рейсы и в этом фланговом положении, относительно Суворова, остался, сняв мосты.

Около полудня русские войска заняли Альторф и нашли тут небольшой продовольственный магазин, который пришелся как нельзя более кстати. Французы были оставлены в покое и даже не

сделана рекогносцировка их позиций, - обстоятельство, которое некоторые ставят Суворову в большую ошибку. Указывают, что ему не стоило большого труда разбить Лекурба, вместо того, чтобы оставлять его у себя в этот день на фланге, а в следующие дни в тылу; завладеть же Зеедорфом и Флюэленом значило пресечь Французам сообщение по Люцернскому озеру, так как это были единственные пункты их нагрузки и выгрузки. Это замечание несправедливо. Суворов принял в тот же день такое решение на счет последующих своих действий, для которого несколько часов отдыха войскам и сохранение под ружьем на лицо каждого лишнего солдата было гораздо важнее, чем обеспечение флангов или тыла и пресечение Французам сообщения с южною частью озера. Дальнейший ход операций совершенно его оправдывает. А если разбить Лекурба и отнять от него два прибрежные пункта, которые вдобавок были укреплены, не удалось бы в тот же самый день 15 числа и вызвало бы остановку с этою целью под Альторфом на завтра, то такая потеря времени, в виду условленного общего плана швейцарского похода, была бы не вознаградима и не простительна. Ведь Суворов еще не знал тогда, что весь этот план уже разрушен победами Французов на Лимате и Линте.

По прибытии в Альторф, он наткнулся однако на первые признаки несостоятельности своего плана. Тотчас за Альторфом, во Флюэлене, кончалась дорога, называвшаяся тогда сен-готарскою, и дальнейшее сообщение производилось исключительно водой; а так как в продолжение уже нескольких месяцев водяным путем владели Французы, то Суворов в Альторфе был, как говорится, приперт к стене. Принимали ли составители плана швейцарского похода посещаемые горными охотниками тропинки за езжие дороги или рассчитывали они завладеть неприятельскою флотилией Люцернского озера, - во всяком случае они жестоко ошиблись и ошибкою своею поставили русские войска в критическое положение. С левой стороны озера существовали две тропинки: одна шла от Зеедорфа чрез Бауен, Эматтен, Бекенрид и Буокс; другая из Аттингаузена к старому аббатству Энгельбергу; но обе они были таковы, что проводники не рекомендовали их одиночным путешественникам, делая исключение разве для смелых альпийских туристов. Правый берег был еще хуже. Тут хотя и тянулась от самого начала озера узкая и длинная долина Шахенская, но это одна из самых диких альпийских долин; она начинается как бы трещиной в скалистой стене, и постепенно поднимаясь, все более суживается. По ней вьется горная тропинка, которая ведет чрез проход Клаузен в верховья Линты; путь этот хотя трудный, не представлял однако

каких-нибудь неимоверных препятствий, но вел не туда, куда по диспозиции надо было идти. Другой путь был еще лучше и безопаснее: обратившись по Рейсе назад, до Амстега, идти по Мадеранской долине к верховьям Рейна, т.е. так, как пришел на соединение с Русскими Ауфенберг. Но дорога эта не приближала к цели, Швицу, а еще больше от нее отдаляла. Затем оставались еще две тропинки: из Шахенталя чрез высокий снеговой хребет Росшток в Муттенскую долину, по которой есть сообщение со Швицем. Эти две горные тропы могли быть названы путями сообщения разве только в насмешку; они были доступны в позднее время года одним смелым охотникам за сернами, привыкшим с малолетства карабкаться по горным ребрам, трещинам, высям и падям. Эти тропинки не только не входили в расчеты австрийского генерального штаба при Асти, но и существования их там не подозревали, а сделались они известны Суворову тут, в Альторфе, когда пришлось искать выхода из безнадежного положения.

Положение Русских войск в Альторфе действительно стоило этого названия и представлялось тем более ужасным, что Суворов не был к нему подготовлен; отчаянные обстоятельства не складывались постепенно, а обрушились внезапно. Выполнить точным образом диспозицию было нельзя, потому что в Альторф войска прибыли сутками позже, а Швиц оказался недосягаемым. В продовольствии чувствовалась крайняя нужда; почти все, что несли на себе люди, было съедено; во вьюках оставалось немного, да они же сильно отстали, растянувшись на пути до Госпиталя, если не до Айроло, и часть их погибла вместе с вьючным скотом в пропастях, а остальное мог захватить неприятель. О Линкене не было ни известий, ни слуху, и вдобавок где-то зародилась и стала ходить смутная молва об упорном бое, будто бы происходившем накануне на Линте. Будущее подернулось зловещей дымкой; вопросы, один другого беспокойнее, назойливо требовали немедленного решения. А откуда было явиться этому решению, когда все данные были отрицательные и ни одного положительного, когда смущенному уму не на чем было опереться в своих выводах, и в надвинувшейся грозовой туче не проглядывало ни одного просвета? Оно могло быть подсказано только волей, и точно, в своей не преклоняющейся ни перед чем воле Суворов нашел быстрое решение. Он положил - не отступать от плана, который был для него, Суворова, обязателен уже потому, что служил основанием для операций Линкена, Иелачича, Готце, Корсакова, а согласно с этим - двинуться не теряя времени к Швицу.

Что касается до выбора дороги, то из двух тропинок,

проходящих чрез Росштокский хребет, для Суворова предпочтительною должна была представиться та, которая ведет к дер. Муттен прямее; ее он действительно и выбрал. Тропа эта, по словам экспертов, оказывалась по степени проходимости худшею из двух; да и вообще все сведения, у пастухов и охотников собранные, были не радостны и тревожны. *Конечно ни одна армия никогда не двигалась по такому пути*, говорят многие из писателей, повествовавших об этом необычайном походе. Но трудность заключалась не в одной дороге; люди были измучены 7-дневным непривычным походом, обувь их разорвана, провиант израсходован; вьючный скот, особенно казачьи лошади, значительною долею обезножены или по совершенной негодности брошены; сам Суворов, голова и душа небольшой армии, болен, слаб физическими силами, истерзан нравственно огорчениями и оскорблениями, измучен кознями, завистью и подвохами. Он однако не изменил ни себе, ни своему доверию к войскам, возлагая на них новое испытание, даже меру которого нельзя было вперед определить. Высказанный им несколько лет назад афоризм - "где прошел олень, там пройдет и солдат", должен был осуществиться.

Нечего и говорить, что такая решимость Суворова, не укладывающаяся под мерку обыденного, ходячего благоразумия, многими не одобряется. Не останавливаемся на обвинениях его в варварстве, беспощадном погублении тысяч жизней и иных подобных укорах, высказываемых некоторыми из его хулителей, которые задались мыслью - не находить в нем ничего хорошего. Уж одни эти крепкие слова и сильные выражения обнаруживают тенденцию и указывают на слабость критики, которая действительно не стоит того, чтобы на ней долго останавливаться. Но и между ценителями более или менее беспристрастными, приходится встречать охуждение Суворова за принятое им решение и за его плачевные последствия, причем эти последствия в сущности и составляют критерий [11]. Говорят, что ему надлежало дать под Альторфом отдых войскам, дабы привести их в нормальное по возможности состояние; тогда он узнал бы о разбитии Корсакова на Лимате, и ему предстоял бы только один полезный путь - чрез Шахенталь в долину верхней Линты; следовательно, было бы обойдено множество трудов и опасностей и понесено гораздо меньше потерь. Такое замечание не состоятельно, потому что основано на разбитии Французами Корсакова и Готце, т.е. на данных, которые получились позже, в Муттентале. А в Альторфе решение о выборе пути зависело от соображения - следует или нет держаться общего плана действий, принятого перед выступлением в поход? Если Суворов держался

этого плана до Альторфа, то почему же он мог не держаться его выходя из Альторфа? Ведь о случившемся несчастии носился только один смутный слух, в роде тех, что беспрестанно зарождались во время Итальянской кампании, и Суворов имел непререкаемое основание рассчитывать, что спасение его маленькой армии зависело от точнейшего исполнения плана, а не от неисполнения его. Что бы стали говорить те же самые критики, если бы Суворов, поддавшись альторфским впечатлениям, изменил свой путь, и погром Корсакова и Готце оказался бы следствием, а не причиною этого изменения? Если правда, что победителя не судят и что военный успех покрывает все, то из этого вовсе не следует, что неудаче или даже бедствию нет ни оправдания, ни извинения. Избрав горную тропу на Муттен, Суворов поступил совершенно правильно, а если он остановился на этом решении, несмотря на трудности практического исполнения, то нельзя же ставить полководцу в вину, что он прибегает в крайних случаях к средствам крайним, на которые у другого не хватило бы духу.

Все объяснение настоящего обстоятельства к этому в сущности и сводится. Ровно ничего произвольного не будет в утверждении, что на месте Суворова, из сотни генералов, едва ли один поступил бы так, как он. Естественнейшим выходом из критического положения прежде всего представилось бы отступление прежним путем на Сен-Готар, а так как подобная ретирада была неисполнима, по нахождению неприятеля на фланге и в тылу, то был бы предпочтен путь чрез Шахенталь или, еще вернее, Мадеранталь. Росштокский перевал не остановил бы на себе чье-либо внимание; для этого следовало быть Суворовым. И если избравшие путем своего следования Шахенскую или Мадеранскую долины, сохранили бы гораздо лучше свои войска и не испили бы чаши бедствий, которая досталась на долю Суворова и его многострадальной армии, то сделались ли бы они от этого больше, а он меньше? Могут назвать этот вопрос праздным, но в таком случае не с большим ли основанием заслуживает названия праздной та критика, из которой вопрос сам собой возникает?

Глава XXXIV. Швейцарская кампания; Мутенталь, Клентель, Рингенкопф; 1799.

Трудное движение чрез Росштокский хребет. — Действия ариергарда и авангарда. — Дурные вести; разгром Римского-Корсакова и Готце; боязливые действия Линкена и Елачича; Суворов оставлен на произвол судьбы. — Его отчаянное положение; военный совет; расстройство Суворова. — Наступление к Клеталю; неудачная атака Французов; их отступление и оборона при Нетстале и Нефельсе. — Розенберг в Мутентале; рекогносцировка Массены; упорное дело на другой день; Паническое бегство Французов. — Движение Розенберга на соединение с Суворовым — Ужасное состояние русских войск; раздражение против Австрийцев; новое решение Суворова; военный совет. — Возводимые на русские войска несправедливые обвинения. — Выступление из Гларис; действия ариергарда. — Бедственный переход чрез Рингенкопф. — Суворов — генералиссимус. — Опровержение делаемых ему упреков; местные легенды; особенное значение Швейцарской кампании.

В 5 часов утра 16 сентября войска Суворова тронулись в трудный поход. Впереди шел Багратион, за ним Дерфельден, потом Ауфенберг; Розенберг должен был прикрывать движение с

тыла, а ариергард его - держаться у Альторфа до той поры, пока будут пропущены вперед все отставшие вьюки.

По мере подъема, тропинка становилась уже и круче, а местами, на голых скалах, и вовсе пропадала. Приходилось двигаться большею частию в одиночку, гуськом, по голым каменьям, скользкой глине, рыхлому снегу; взбираться как бы по лестнице, на ступенях которой с трудом умещалась подошва ноги, или же по грудам мелких камешков, осыпавшихся от каждого шага. Со вчерашнего утра начался опять дождь, который и продолжал идти с перерывами, а когда и стихал, то люди, двигаясь на высоте облаков и туч, все равно были охватываемы густым туманом, и платье их промокало насквозь. Вдобавок дул по временам резкий ветер, становившийся при промокшем платье вдвойне чувствительным; от него дрожь прохватывала казалось до костей, ноги и руки коченели. Требовались большое внимание и осторожность, чтобы не сорваться со скользкого пути и не полететь вниз, а когда туман сгущался или над головою чернела туча, то опасность увеличивалась, ибо приходилось лезть ощупью, двигаться на авось. Еще труднее, почти невозможным делалось движение ночью, когда, при ненастье, не видно было ни зги и истощенные дневным походом силы солдат отказывались служить. Части войск останавливались на привал, где встречались площадки; но такие ночлеги служили больше утешением, чем на действительную пользу, потому что леденящий ветер гулял тут свободнее, пробирая насквозь, а голая, бесприютная высь не давала ни прутика для бивачного огня [1]. Предшествовавший поход по дикой горной стране послужил, правда, школою для войск, но он перемежался упорными боями, а не отдыхами, и войска не имели досуга привести свое снаряжение в исправное состояние. Обувь солдатская, и в особенности офицерская, теперь в течение немногих часов совсем сбилась и пришла в негодность; у иных отодрались подошвы. О каких-нибудь приспособлениях, в роде например сандалий с железными шипами, не было и помину, ибо не имелось ни времени, ни опытности, как у Французов, искусившихся бойцов горной войны. В довершение бедствия нечем было подкрепить силы; вьюки с провиантом тянулись позади, а при себе или ничего не было, или очень немногое, и эту малость надо было расходовать бережливо. Кто был позапасливее, тот сохранил муку, розданную в Альторфе, в ожидании огня, чтобы спечь из нее лепешки. Другого харчевого подспорья не было; иные раздобылись в прежнее время картофелем или сыром, но это все уже вышло, да и большинство солдат употребляло сыр лишь в последней крайности, считая его

гнилью. Офицеры и генералы бедствовали чуть ли не больше, и солдаты им охотно помогали, чем могли: чинили обувь на привале, делились харчами из последних скудных остатков. Милорадович на биваке съел у одного солдата спеченную из альторфской муки пригорелую лепешку, очень ее похвалил, поблагодарил хозяина и прислал ему взамен небольшой кусочек сыра, - половину всего, что имел сам. Солдат не взял сыру, а вместе с другими своего десятка или капральства составил складчину, по сухарику с брата, и все это с кусочком сухого бульона, взятого с убитого французского офицера, отнес в узелке к Милорадовичу, который поблагодарил и принял [1].

Часами становилось полегче: переставал дождь, стихал ветер, отыскивался материал для бивачных костров, и люди приободрялись, словно оживали, даже заливалась "русская песня с рожками и самодельными кларнетами", как свидетельствует участник [2]. Подкрепляли и поддерживали солдат также бравые начальники своим примером. Великий князь сделал целый переход пешком при авангарде князя Багратиона; Суворов то ехал верхом, то шел пешком при передних частях и беспрестанно был на виду у солдат. Проезжая мимо людей, остановившихся в широком месте перевести дух, продрогших, голодных, сумрачных, - он затянул песню: "что с девушкой сделаюсь, что с красной случилось". Раздался дружный хохот, и солдаты повеселели. Им было конечно не до величественных видов, открывавшихся с верхних частей Кинциг-Кульма; но в минуты облегчения не оставались незамеченными и длинная полоса Люцернского озера, тянувшегося внизу налево, и тучи, ходившие под ногами, и глухое рокотание грома, раздававшееся эхом по ущельям, и голубоватые вспышки молнии. Эти редкие минуты развлечения сменялись однако многими, бесконечно-долгими часами трудов, муки и опасностей, особенно когда кончился подъем и начался спуск в долину Муттен. Люди, выбившись из сил, в скользких местах сползали вниз сидя; особенно трудно было конным, а тем паче лошадям и мулам, навьюченным артиллерией, зарядами и патронами. Они едва передвигали ноги, несмотря на понуждения погонщиков; обивали копыта до совершенной невозможности продолжать путь; истомленные бескормицей и усталостью, падали или срывались с узкой тропы, летели стремглав с кручи и разбивались о камни, увлекая за собою нередко и погонщиков. Малейшая неосторожность и невнимание, каждый неверный шаг грозили смертью. Совсем истомились люди от этого напряженного состояния и, как блага, жаждали встречи с неприятелем "на чистом месте" [2].

Как тяжел был переход, видно по времени, которое на него

потребовалось. Голова авангарда спустилась к деревне Муттен чрез 12 часов по выступлении из Альторфа, хотя расстояние между этими двумя пунктами не превышало 15-16 верст; хвост колонны прибыл в Муттен на другой день к ночи, а вьюки тянулись еще двое суток. Расчет Суворова не оправдался: прямой путь оказался сравнительно длинным и обозначался страшным следом людей, лошадей и мулов, искалеченных, умиравших и мертвых. Впрочем нет категорических данных для утверждения, что потеря людей на этом переходе доходила до цифры значительной; по крайней мере были и полки, которые почти не имели убившихся [2]. Самая большая потеря должна была оказаться между казачьими лошадьми, употребленными под вьюки. За то переход этот изумил всех, и тропинка, перейденная русскими войсками, изображается на многих картах Швейцарии надписью: "путь Суворова в 1799 году". Сам смелый до дерзости Лекурб, по словам одного авторитетного писателя, не решился бы на такой подвиг и не считал эту тропинку в числе военных путей сообщения [3].

Крайняя мера, принятая Суворовым, подействовала на неприятеля внушительно: ариергард Розенберга, два раза атакованный Французами и оба раза отбивший нападение превосходных сил, был затем оставлен в покое, и весь вьючный обоз, под прикрытием спешенных казаков, успел втянуться на горную тропинку. По выражению того же иностранного писателя, "требовалось все холодное мужество Русских" ариергарда, чтобы армия Суворова могла спокойно совершить свой беспримерный переход. Но дело тут не в одном ариергарде, а в отважности всего предприятия, которая подавляла мысль противника и парализовала его волю; ариергард был только видимым представителем этого "холодного мужества", остановившего Французов.

Как успешно удалось ариергарду исполнить возложенную на него задачу, так удачны были и первые шаги авангарда в Муттентале. Приближаясь к Муттену, Багратион узнал, что там находится передовой пост Французов, выдвинутый от Швица. Захватив с собою небольшую часть егерей и казаков из головы колонны, Багратион, пользуясь пригорками и перелесками, незаметно окружил Французов, считавших себя в полной безопасности, и произвел внезапное нападение. Весь пост, в числе до 150 человек, был или переколот, или взят в плен, после чего войска русского авангарда, несмотря на свое крайнее утомление, провели ночь в полной готовности к бою, в ожидании нападения со стороны Швица, которого однако же не было.

Спустившись в Муттенскую долину и ожидая, пока стянутся

остальные войска, Суворов послал утром 17 числа вправо, к стороне Гларис, сотню конных казаков, чтобы собрать какие-нибудь сведения о Линкене. Казаки вернулись с дурными новостями: про Линкена не было слуху, а Клеталь занимали Французы. Один из историков говорит, будто Суворов послал с казаками предложение французскому генералу Молитору - положить оружие, потому-де, что он, Молитор, окружен, но Молитор прогнал казаков, передав им весть о погроме Корсакова и Готце. Все это выдумано, так как Суворов не знал о нахождении Французов в Клентале, и казаки были посланы именно для разведывания о положении неприятеля. Страшные вести получены Суворовым действительно в этот самый день, но от окрестных жителей. Это уже не было смутным слухом, в роде носившегося в Альторфе: Корсаков и Готце разбиты на голову и далеко отброшены, Елачич отступил, сильный французский корпус занял Гларис, и Массена стягивает войска к Швицу.

Катастрофа произошла 14-15 сентября; Массена предполагал атаковать союзников позже, но вступление Суворова в Швейцарию заставило его поторопиться; однако больше, как на один день, он сократить срок не мог. Корсаков расположил свои войска как нельзя хуже и не только не принимал мер против неприятельского наступления, но можно сказать напрашивался на поражение. Массена напротив готовился к бою с осмотрительностью, с искусством и в глубокой тайне; с таким же искусством и выдержкою он произвел и нападение. По справедливому замечанию лучшего историка войны 1799 года, гр. Милютина, атака Массены на Лимате имела, в общем своем ходе, очень много общего с переходом Суворова чрез Адду, но при этом Корсаков вовсе не походил на Моро. Русские были застигнуты в расплох; от самонадеянности, кичливости и беспечности, предводитель их перешел в другую крайность и совершенно потерял голову. Беспорядок был невероятный, граничивший с полным хаосом; распоряжений никаких. Правый фланг, под командою генерала Дурасова, оставался во время дела в бездействии, обманутый демонстрациями Французов; он бродил наобум и только случайно избежал истребления. Отряжение в помощь Готце 5,000 человек, согласно общему плану действий, было исполнено лишь накануне атаки Массены и способствовало увеличению расстройства; впрочем очень сомнительно, чтобы нахождение этих войск на лицо могло изменить исход дела, вследствие совершенной разрозненности действий и отсутствия общих распоряжений. Если ко всему этому прибавить значительный перевес сил на стороне Французов, то станет понятно, почему Римский-Корсаков подвергся под Цюрихом

совершенному разгрому и корпус его понес страшные потери. Число убитых, раненых и пленных простиралось до 8,000, в том числе много офицеров и 3 генерала; знамен потеряно 9, орудий 26, обоз почти весь.

Исход мог быть еще гибельнее, если бы русские войска своею беззаветною храбростью и стойкостью не восполняли отчасти недостатков высшего командования. Сам Массена отдавал им в этом отношении справедливость. После поражения, войска нисколько не упали духом и жаждали отместки; офицеры же говорили, что Русских побил не неприятель, а свой собственный генерал [4]. Один Римский-Корсаков смотрел на дело иначе и находил причину поражения всюду, особенно в образе действий Дурасова, но не в самом себе. Император Павел был очень огорчен цюрихским поражением и повелел Суворову, подробно рассмотрев распоряжения Корсакова и Дурасова, представить свое мнение. Суворов донес, что Римский-Корсаков не виноват, а причиною происшедшего есть Дурасов, "поелику занят будучи одною лишь канонадою и угрожением переправы, не поспешал соединиться с прочими войсками, в бою бывшими". С заключением Суворова трудно согласиться; вероятно он основался на донесениях Римского-Корсакова, не затребовав объяснения от Дурасова; последний был конечно виноват, но не в той мере, как первый. Во всяком случае Суворов, произнося свой приговор, не кривил душой и не руководился побочными соображениями и расчетами. В донесении Корсакова Государю дважды было указано на откомандирование, по приказанию Суворова, части войск к Готце, как на распоряжение, повлиявшее на дурной исход боя; уже одно это обстоятельство подсказывало Суворову решение не в пользу Корсакова. Император Павел решил иначе; он повелел отставить от службы и Римского-Корсакова, и Дурасова; та же участь постигла и трех генералов, попавших в плен.

Русские войска отступили на правую сторону Рейна и расположились близ Шафгаузена, уничтожив за собой мосты. Французы преследовали их только вначале: Массена был озабочен движением Суворова.

Одновременно с цюрихским сражением происходил и бой на Линте. В самом начале дела, Готце и его начальник штаба были убиты; австрийские войска понесли полное поражение, потеряв почти половину своих людей убитыми, ранеными и пленными. Они отступили чрез Сан-Галлен к Рейнеку и тут перешли на правую сторону Рейна, разрушив за собой мосты. Одержавший победу французский генерал Сульт преследовал их очень слабо; его внимание было тоже обращено к верховьям Линты и Рейсы.

Прочие отдельные отряды Австрийцев хотя избежали плачевной участи Корсакова и Готце, но также совершенно покинули Суворова, Елачич и Линкен, исполняя общий план кампании, продвинулись вперед; первый из них, встретив упорное сопротивление, а потом услышав про катастрофу на Линте, впал в такую панику, что отретировался за Рейн к Майен-фельду. Линкен поступил еще хуже; будучи вместе с Елачичем сильнее французского генерала Молитора, против которого они оба действовали, он не пособил Елачичу, действовал боязливо, медленно и только увеличивал этим отвагу и решительность Французов. Он должен был понимать, на сколько обязательным представлялось для него движение вперед и открытие сообщения, или по крайней мере сношений, с Суворовым. Несмотря на это он, будучи в одних силах с Молитором, простоял против него у Гларис 16 и 17 числа, не предприняв общей атаки, а когда узнал о событиях на Лимате и Линте и об отступлении Елачича, то сам ретировался. Между тем в этот последний день, 17 числа, сотня казаков Суворова доходила до Кленталя, для открытия с ним сообщения. Таким образом Линкен окончательно выдал Французам Суворова, что называется головой, и никем не преследуемый отошел до самого Иланца.

Суворов остался против Французов на всем театре войны один со своей маленькой армией, истощенной, истомленной в конец, без продовольствия, без артиллерии и, главное, без всякой надежды на чью либо помощь или содействие. Массена был не из таких генералов, как Линкен или Елачич; не теряя часа времени, он поехал по Люцернскому озеру в Альторф и, узнав тут, что Суворов ушел, немедленно произвел рекогносцировку по направлению к Шахенталю. Вдоль пройденного русскими войсками начала тропинки, по склонам гор, валялись трупы людей, лошадей и мулов; было подобрано несколько человек еще живых, но искалеченных, или недалеких от смерти вследствие усталости и голода. Удостоверившись, что Суворов должен быть уже в Муттентале, Массена вернулся в Швиц и приказал сосредоточиваться туда части своих войск, а другим подкрепить Молитора, дабы таким образом запереть Русским эти два, единственные выхода из западни, в которую они попались. Массена был убежден, что русским войскам нет спасения и что они принуждены будут сдаться; выезжая из Цюриха в Альторф, он обещал пленным русским офицерам увеличить чрез несколько дней их общество фельдмаршалом и великим князем. Последние успехи затуманили Массене голову, и он поторопился слишком легко и хвастливо оценить своих новых противников.

Положение Суворова в Муттентале было без сомнения

отчаянное. Теплой одежды не было, да и летняя имела вид рубища, а обувь и того хуже; в сухарных мешках людей не оставалось почти ничего; вьюки с провиантом тянулись еще сзади, и Бог знает сколько из них погибло в пропастях; артиллерии, кроме горной, не было; заряды и патроны на исходе; кавалерийские лошади обезножены и истощены совершенной бескормицей. Нравственный гнет безвыходного положения усугублялся еще горечью сознания, что ничего подобного не случилось бы, если бы войска не потеряли 5 дней в Таверне. Теперь и судьба войск, и военная честь России, и собственная репутация Суворова, - все это зависело от того, какое решение будет им, Суворовым, принято и как исполнено. На него легла тяжкая дума, особенно по получении 18 числа донесения от генерала Линкена обо всем совершившемся; озабоченность его была так велика, что ее замечали даже солдаты [2]. Подвиг предстоял такой трудный, что требовалось для его совершения полное единодушие всех и каждого, высшая степень единения между предводителем и подчиненными, подъем нравственной силы до последнего предела. Суворов приказал собраться у себя военному совету, пригласив великого князя и 10 генералов; австрийского генерала Ауфенберга не позвали [5].

Иностранные историки свидетельствуют, что Суворов, увидя себя в западне, пришел в такую ярость, что решил выбить Французов из Швица и выйти в тыл неприятельской армии, и что только настойчивые убеждения нескольких лиц удержали его от такого отчаянного намерения. Русские источники говорят противное, а один из участников кампании утверждает, что австрийские офицеры генерального штаба указывали Суворову на Швиц, как на лучший путь действий, но он не согласился. Русские источники оказываются более основательными; но очень вероятно, что Суворов, в первом порыве, хотел идти на Швиц. Предприятие было бы в высшей степени дерзким, но непреклонная воля Суворова, уверенность в себе и своих войсках, безнадежные обстоятельства, грозившие завершить катастрофой его долгое победоносное поприще, - все это могло внушить ему решение, которое не пришло бы другому в голову. Намерения этого он держался не долго, так как опасности такого плана были слишком велики и очевидны, и военному совету, собравшемуся 18 числа, сам указывал на него, как на неисполнимое.

Первым явился на совещание Багратион; Суворов в полной фельдмаршальской форме, сильно встревоженный и взволнованный, ходил шибко по комнате, отпуская отрывистые слова и едкие фразы на счет парадов и разводов, неуменья вести войну, искусства быть битым и т. под. Он не обратил никакого

внимания на Багратиона, может быть даже совсем не заметил его прихода, так что тот счел более уместным выйти и явиться вместе с другими. Суворов встретил их поклоном, закрыл глаза, как бы собираясь с мыслями, и потом с огнем во взоре, с одушевленным лицом стал говорить сильно, энергично, даже торжественно. Он будто преобразился; никто никогда не видал его в таком настроении. Объяснив вкратце, что произошло на Лимате, на Линте и с остальными австрийскими отрядами, Суворов, не сдерживая своего негодования, припомнил все затруднения в ходе Итальянской кампании, какие постоянно имел от Тугута и гофкригсрата; говорил, что Русские удалены из Италии, чтобы не мешали австрийским захватам, что преждевременный выход из Швейцарии эрц-герцога Карла был верхом Тугутова вероломства, что задержка Русских в Таверне носит на себе явные признаки измены, что благодаря этому предательству, Корсаков разбит, а он, Суворов, опоздал придти и не успел предупредить скопления неприятельских войск на Лимате и Линте. Сказав это, Суворов остановился, как бы давая время генералам вникнуть в его речь, и потом продолжал. Он объяснил, что сухарей у людей очень мало, зарядов и патронов и того меньше; что на Швиц идти невозможно, отступать же стыдно; что со времени дела на Пруте при Петре Великом, русские войска никогда не находились в таком отчаянном положении, как ныне. "Помощи ждать не откуда, надежда только на Бога да на величайшее самоотвержение войск, вами предводимых; только в этом и спасение", продолжал говорить Суворов своим подчиненным с возрастающим волнением, горестью и негодованием: "спасите честь России и её Государя, спасите его сына!" С этими словами он, в слезах, бросился к ногам великого князя [6].

Впечатление было потрясающее. Это был не тот Суворов, которого все привыкли видеть в бою, на походе, в лагере, то грозного, то шутливого и причудливого, но всегда смотревшего вперед с полною уверенностью в успех, и не допускавшего мысли о неудаче, тем паче поражении. Едва ли кто видел прежде на глазах его слезы; никому не приводилось в прежние годы замечать на его лице такую тревогу и волнение. Все присутствовавшие инстинктивно двинулись вперед, чтобы поднять Суворова от ног великого князя, но Константин Павлович, сам потрясенный до глубины души, уже поднял фельдмаршала на ноги и, весь в слезах, обнимал его и покрывал поцелуями. Потом все, как бы по заранее принятому соглашению, взглядами обратились к Дерфельдену, который, помимо своего старшинства, пользовался всеобщим уважением за свои личные и боевые качества, Дерфельден обратился к Суворову с задушевным

словом, но с лаконичностью, которая всегда приводила Суворова в восторг. Он сказал, что теперь все знают, что случилось, и видят, какой трудный подвиг предстоит им впереди, но и он, Суворов, также знает, до какой степени войска ему преданы и с каким самоотвержением он любим. Поэтому, какие бы беды впереди ни грозили, какие бы несчастья ни обрушились, войска вынесут все, не посрамят русского имени и если не суждено им будет одолеть, то по крайней мере они лягут со славой. Когда Дерфельден кончил, все в голос, с энтузиазмом, с увлечением подтвердили его слова, клянясь именем Божиим, и не было лести у них на языке, ни обмана в их сердце. Суворов слушал Дерфельдена с закрытыми глазами и опущенной головой - когда же раздался сердечный, горячий крик присутствовавших, поднял голову, взглянул на всех светлым взглядом, поблагодарил и изъявил свою твердую надежду, что будет победа, двойная победа - и над неприятелем, и над коварством.

Главная цель была достигнута: нравственная связь между войсками и предводителем скреплена и удостоверена на жизнь и смерть. Начались совещания о плане последующих действий. Великий князь говорил против движения к Швицу, находя, что оно отдалило бы Русских от соединения с союзными войсками, путь же на Гларис приближает и к Линкену, и к кое-каким средствам продовольствия. Совет согласился с великим князем, постановив выступить на Гларис и продолжать марш на Сарганс и дальше, по указанию обстоятельств, для соединения с войсками Корсакова и Готце; постановлено было также собрать о случившемся с ними вернейшие сведения. Относительно провианта совет решил довольствоваться по необходимости существующим его запасом, выдавая людям половинные рационы и дополняя недостающее сыром и мясом, чтобы продовольствия достало на 10 дней. Каким образом совет определил наличный запас провианта 5-дневной пропорцией, остается неизвестным, потому что вьюки еще не прибыли, да и много из них погибло; в постановлении о мясе и сыре тоже было много условного, так как военные действия происходили в очень разоренной стране. Хоть и доставались войскам кое-какие случайные запасы по пути от Сен-Готара, но все это немедленно съедалось; в деревне Муттен великий князь приказал скупить на его счет все, что только там было съестного, и раздать войскам, но и тут конечно могло быть собрано только ничтожное количество сравнительно с потребностью. Следовательно войскам предстояли усиленные боевые и походные труды, а продовольствие уменьшалось, - нелогичность печальная, но неизбежная.

Тут же, в военном совете, Суворов продиктовал диспозицию.

В авангарде назначено идти Ауфенбергу, выступив в тот же день, 18 числа, а на другой день остальным войскам, кроме корпуса Розенберга и дивизии Ферстера, которые остаются в ариергарде и должны удерживать неприятеля из Швица, пока все вьюки перевалят чрез гору Брагель. Розенбергу приказано держаться упорно, отбивать неприятеля с напряжением всех сил, но отнюдь не преследовать его дальше Швица. Участвовавшие в военном совете откланялись Суворову и разошлись, унося в сердце своем небывалое доселе впечатление и сохраняя следы его в выражении лица; особенно гневно и грозно смотрели Дерфельден и Багратион.

Войска выступили, как назначено было диспозицией. Ауфенберг сбил с горы Брагель неприятельские посты, спустился в Кленталь и остановился на ночлеге, не доходя озера. На утро Молитор атаковал Австрийцев, потеснил их и потом сделал предложение - положить оружие. Ауфенберг вступил было в переговоры, испуганный ретирадой чрез Брагель и не надеясь на скорую помощь Русских, но как раз вовремя подоспел Багратион. Переход чрез Брагель был легче, чем чрез Росшток, но подъем все-таки сильно утомил войска, и русская колонна очень растянулась. Только в третьем часу после полудня Багратион спустился в Кленталь, болотистой местностью, между перелесками, и направился по дороге, огибавшей Кленское озеро с северной стороны. Два батальона наступали по дороге, два левее, один полк держался еще левее, карабкаясь по горам для обхода Французов, а сам Багратион взял вправо, дабы угрожать левому флангу неприятеля. Ауфенберг, извещенный о приближении Багратиона, прервал переговоры и стал отступать; Молитор, твердо убежденный, что Массена не выпустит Суворова из Муттенталя, преследовал Австрийцев горячо, считая их своей верной добычей. Внезапно появился на его левом фланге Багратион, скрытно пробравшийся болотистым лесом, и с криком ура бросился в штыки. Велико было изумление Французов, совсем не ожидавших нового врага; встреченные штыковою атакой и с фронта, и с фланга, они подались назад и хотя пытались удержаться, отстреливаясь, но Багратион не давал им опомниться, возобновляя постоянно атаки.

Молитор отступал по узкой дороге, усиливаясь подходившими от Гларис подкреплениями. Занята была сильная позиция у восточной оконечности озера, по гребню крутых гор, левым флангом к озеру; позиция эта, на расстоянии от берега до подошвы гор, усиливалась каменною оградой церкви. Русские наступали по той же узкой дороге, где могли проходить рядом только два человека; по временам движение затруднялось

огромными камнями и сваленными деревьями. Шедший в голове австрийский батальон, по выходе из теснины был встречен залпом и подался назад; протиснувшийся вперед русский батальон бросился в атаку, но был тоже отбит. Багратион возобновлял атаку несколько раз, но безуспешно; спереди осыпал атакующего град пуль и картечи, с правого фланга производился живой огонь из-за каменьев противоположного берега, Спускалась ночь; войска, утомленные 20-верстным переходом по горным высям, чрез снеговой хребет, очень нуждались в отдыхе. Багратион отложил атаку до следующего дня; лишь перестрелка продолжалась, несмотря на ночную темноту. Ночью же подошла и дивизия Швейковского, потеряв на переходе много вьюков. Отдых предстоял не завидный в близком соседстве с неприятелем: приказано стоять в совершенной тишине; огни дозволено развести только в местах, скрытых от неприятеля горами. Ненастье продолжалось; крупные капли дождя перемежались с хлопьями снега; непроницаемый туман мешал разглядеть что-либо в десяти шагах. Войска провели ночь почти без сна; Суворов и великий князь ночевали в овечьем хлеву.

Неудача вечерних атак заставила князя Багратиона принять дополнительные меры к обеспечению успеха на утро. Пользуясь туманом и непроглядною темнотою, несколько батальонов взобрались на утесы влево и расположились на полугорье, в две линии, очень близко от Французов, а подполковник граф Цукато с 2 батальонами, 4 австрийскими ротами и 2 сотнями спешенных казаков пробрался еще дальше и занял почти отвесные утесы, командовавшие правым неприятельским флангом. Войска были голодны, многие люди несколько дней не видали сухарей; они были босы и почти голы, но все с нетерпением ждали встречи с Французами [2]. В результате боя лежала их надежда на лучшее, на выход из настоящего положения; смерти не боялись, о ней и не думали. Появился в отряде Багратиона Суворов, измокший, дрожавший в своем жиденьком плаще; он искал Багратиона и найдя его, стал говорить, что непременно надо пробиться на следующий день к Гларису, что употребить на это нужно все усилия. Багратион успокаивал его, говоря, что в Гларисе будем во что бы то ни стало и объяснил, какие сделаны распоряжения на утро. Суворов одобрил принятые меры, похвалил твердую решимость Багратиона и, провожаемый им, вернулся к своему ночлегу.

Около полуночи Французы, услышав вероятно шум на своем правом фланге, послали туда патрули для осмотра гор. Патрули наткнулись на русский пикет, обменялись с ним несколькими выстрелами и отступили. Обстоятельство это однако несколько

обеспокоило Молитора; не задолго до света он послал другой, более сильный отряд, еще выше по горам, вероятно чтобы занять тут пункт и обеспечить фланг; но отряд опоздал, гора уже была в руках Русских. Тогда французы разом открыли сильный ружейный огонь по всей линии, несмотря на темноту. Это послужило как бы сигналом русским войскам, занимавшим кручи; все кинулись вперед, на выстрелы, с криком ура. Много тут сорвалось людей и убилось; еще больше пострадали Французы от этой страшной, неистовой атаки наугад, на огонь. Войска Дерфельдена, стоявшие внизу, на дороге, тоже повели атаку фронтально и мигом выбили Французов из-за церковной стены. Атакованный с фронта и фланга, угрожаемый с тыла, Молитор перешел поспешно в отступление и был преследуем по узкой горной дороге 6 верст, не мало потеряв людей убитыми, ранеными и пленными. Затем он занял позицию у Нетсталя, чтобы обеспечить свое соединение с войсками, находившимися у Глариса, где и держался довольно долго, несмотря на настойчивые атаки Багратиона. Выбитый наконец из Нетсталя с потерею пушки, знамени и 300 пленных, Молитор отступил к Нефельсу, по обоим берегам р. Линты.

Здесь, впереди деревни, Французы заняли крепкую позицию, где опять долго и упорно отражали Багратиона. Однако как ни ослаблены были войска Багратиона предшествовавшими боями и тяжелым походом по горам, все же они числом превосходили отряд Молитора, а потому, при неослабевавшей энергии и настойчивости, заняли деревни Нефельс и Молис, лежащие на разных берегах Линты, и взяли у Французов знамя, две пушки и до сотни пленных. Молитор перешел было в полное отступление, но скоро подошли к нему на помощь давно ожидаемые передовые войска Газана. Французы получили теперь перевес в силах, завладели снова Молисом, перешли мост, ударили во фланг русским войскам, занимавшим Нефельс, и выбили их оттуда. Багратион в свою очередь атаковал Нефельс и прогнал Французов, которые затем снова пошли в атаку. Пять или шесть раз переходила деревня из рук в руки и, когда последний раз была занята Русскими, Багратион получил от Суворова приказание - отойти к Нетсталю, где в то время уже сосредоточились остальные войска Дерфельдена. Был вечер, когда Багратион выступил из Нефельса; заметив это, Газан двинул в атаку все свои силы и сам повел гренадер в штыки; однако на этот раз Французы тоже были отбиты, а войска Багратиона совершенно спокойно отступили к Нетсталю.

Пока половина русских войск прокладывала себе таким образом выход из Муттенской долины, другая половина

оставалась около Муттена, обеспечивая с тыла движение первой. Главные силы Розенберга стояли у деревни лагерем, авангард находился перед францисканским монастырем, передовые посты еще версты на полторы впереди. Всего было в строю тысячи четыре, считая и спешенных казаков; три полка ариергарда находились еще на пути чрез Росштокский хребет, так как вьюки продолжали тянуться по горной тропе. Французы в Швице были сильнее вдвое и ждали новых подкреплений; Массена прибыл из Альторфа 19 числа и сам делал все распоряжения. Он однако не знал и не мог знать, где именно находится маленькая русская армия; накануне он мог удостовериться лишь в том, что Русские ушли из Альторфа в Муттенталь. Массена положил безотлагательно произвести рекогносцировку и на добытых сведениях основать свой дальнейший образ действий.

Около 2 часов по полудни французские колонны, в предшествии густой цепи застрельщиков, показались перед русскими передовыми войсками. Авангард Розенберга несколько раз ходил в штыки, но всякий раз был отбиваем и потерял было одну пушку, однако овладел ею снова и еще захватил французскую гаубицу. Часа через два появилось подкрепление из главных сил Розенберга и вместе с авангардом атаковало Французов, которые перешли в отступление н, угрожаемые с обоих флангов двумя спешенными казачьими полками, ретировались до самого Швица с довольно ощутительным уроном. Цель усиленной рекогносцировки была достигнута, Массена мог определить приблизительно силы Русских, оставшихся у Муттена, и удостоверился, что Суворов с большею частью своих войск ушел дальше. Русские же полагали, как это часто случается, что отразили настоящее нападение, и в донесении Розенберга, а затем и Суворова, встреча с Французами 19 числа приняла значение упорного дела и одержанной над сильным неприятелем победы, что в действительности произошло лишь на другой день[7].

К ночи прибыли в Муттен остальные вьюки, тянувшиеся из Шахенталя чрез Росштокский хребет, а вслед за ними спустился с перевала и ариергард. Таким образом силы Розенберга возросли приблизительно тысяч до семи, но и Массена получил также подкрепление, так что в Швице сосредоточилось никак не меньше 10,000 человек. Ночь и утро прошли спокойно; нового нападения Русские совсем не ожидали, под влиянием вчерашнего дела, принятого за победу. А между тем готовился решительный удар. Три французские колонны с артиллериею и застрельщиками появились по обеим сторонам реки и повели наступление бойко и решительно; цепи застрельщиков протягивались за их фланги,

занимая скаты гор. Передовые посты Русских отступили, авангарду приказано было оттягивать назад, не завязывая серьезного дела; он это и исполнил, лишь по временам давая французской цепи острастку внезапными ударами, да из цепи русских стрелков храбрецы осаживали штыками неприятельских налетов. Тем временем Розенберг придвинул свои главные силы на несколько сот шагов вперед и вытянул их в две линии поперек долины, а отступавшему авангарду отдал приказание, приблизясь к первой линии, раздаться вправо и влево и быстро отходить к флангам. Маневр был исполнен вполне хорошо, и колонны французские внезапно очутились пред грозным строем, занимавшим всю ширину долины. Артиллерия французская открыла огонь, пехота стала развертываться в линии, продолжая наступление с барабанным боем и музыкой; русская первая линия, подпустив неприятеля на ружейный выстрел, дала залп и разом, с криком *ура*, бросилась в атаку.

Французы были ошеломлены, стали приостанавливаться, заминаться, открывать местами беглый огонь; но русские батальоны приближались так стремительно и грозно, что и мгновения нельзя было терять. Колебание продолжалось не долго: центр неприятеля дрогнул и побежал, не выждав удара; фланговые колонны, более слабые числом, последовали его примеру. Русские продолжали наступление яростно и дошли до такой степени возбуждения, что некоторые батальоны второй линии опережали первую, дабы добраться до неприятеля. Опрокинувшийся зарядный ящик загородил дорогу, по которой отступала французская артиллерия; в больной суматохе не успели во время очистить ей путь, и 5 орудий достались Русским. Очевидец говорит, что трудно себе представить какою паникою были объяты Французы; они потеряли всякое присутствие духа и бежали без оглядки в смертном ужасе [7]. Ариергард их остановился было для отпора при устье ущелья, в очень крепкой позиции, усиленной заранее укреплениями, но атакованный с фронта и обойденный с фланга, не выстоял, бежал. На мосту чрез р. Муотту, где столпились бежавшие, ариергард снова пытался остановить бурное преследование, но опять без всякого успеха, и поплатился тут еще двумя орудиями, которые были тотчас обращены против беглецов и провожали их толпы французскими ядрами. Трудность преследования заключалась для Русских лишь в том, чтобы догнать бегущих, на что не хватало сил, до того поспешно и беспорядочно было бегство. Где удавалось настигнуть Французов, там их рубили и кололи почти безотпорно; пленные сдавались целыми толпами. Поражение нанесено было такое полное, и Французы приведены в такое расстройство, что начали

устраиваться только позади Швица, а русские войска прекратили преследование лишь при выходе из ущелья, передовые же отряды дошли до самого Швица и Брунена, заняв последний.

Так кончилось это знаменитое сражение, составляющее один из самых блестящих подвигов русского оружия. Корпус Розенберга сослужил 20 сентября большую службу и не только выполнил свою трудную задачу с полным успехом, но сделал больше, чем рассчитывал сам Суворов. Весь ход этого кровопролитного сражения был таков, как будто происходил в присутствии и под руководством Суворова; войска дрались с одушевлением, трудно поддающимся описанию. Ребиндер и Милорадович были выступающими героями дня; незаметный, как бы исчезающий в присутствии других Суворовских сподвижников Розенберг доказал свое право на место в их блестящей плеяде. Розенберг не пользовался такою любовью войск, как другие, он был генерал особой категории и школы, его недолюбливал и Суворов; но не все дурное, ему приписываемое, было справедливо. Кто не любим, тот и виноват. На другой день после Нови, когда корпус Розенберга, преследуя Французов, был внезапно остановлен и остался в бездействии, все винили в этом его, Розенберга, а между тем он получил на то положительное приказание от Суворова [2]. Сентября 19, во время усиленной рекогносцировки Французов, авангард Ребиндера не был в скорости поддержан Розенбергом; стали говорить, что причиною тому личная неприязнь Розенберга к Ребиндеру, тогда как гораздо легче было подобрать десяток других более простых объяснений, тем паче, что Розенберг был тут главным начальником и нанося умышленный вред своему авангарду, он делал бы зло самому себе. В настоящем случае, в бою 20 сентября, Розенберг вел себя безукоризненно: принял отличную диспозицию, ездил по фронту войск, ободрял солдат, приказывал не терять времени на пустую перестрелку, а драться по-Суворовски, работая штыком. Есть известие, будто Суворов не был доволен сражением в Муттентале и обошел Розенберга в представлении к наградам, но это сведение страдает нелогичностью и натяжкой, а потому не заслуживает веры. Гораздо достовернее другое, утверждающее, что 20 сентября примирило Суворова с Розенбергом и исправило их взаимные отношения [8].

Сражение 20 сентября не оценено по своему достоинству до сих пор иностранными писателями, а Французы говорят о нем не иначе, как под сурдинкой. Они понесли тут огромные потери, точный итог которых трудно определить по разноречивости сведений, но его надо искать между пределами 3-4000 человек.

Одних пленных взято больше 1000, в том числе генерал и 15 офицеров. Потеря Русских нигде не показана; из хода дела видно, что она должна быть несравненно ниже французской. Поселяне и казаки всю ночь и следующее утро подбирали раненых, сносили их в большой каменный дом в Муттене и рыли могилы для убитых. Взятые у неприятеля пушки были заклепаны и зарыты в землю. У убитых Французов оказалось не мало съестного: водка и вино в маленьких плоских скляницах, сыр, хлеб, сухари и т. и.; у редкого из них не было денег или ценных вещей; все это конечно было обобрано Русскими. Кроме того, не вдалеке от Швица, в лесу, казаки нашли несколько мешков с сорочинским пшеном, сыром, колбасами и другими припасами, - вероятно маркитанские запасы, брошенные при поспешном бегстве. Авангард, получивший таким образом добычу, разговелся в этот вечер горячим, наварив в водоносных фляжках похлебку из разных разностей [2].

Ночь прошла спокойно, неприятель смирно стоял в своей позиции за Швицем, не трогаясь с места; казачьи разъезды невозбранно сновали под городом. Русские отдохнули и повеселели. В эту же ночь, или под утро, Розенберг получил от Суворова приказание - начать движение для присоединения к главным силам. Трудна была эта задача, в виду многочисленного неприятеля с тыла и горы Брагель впереди; но нравственное влияние победы сгладило неравенство положения Русских с Французами. Розенберг прибегнул еще к хитрости: он послал в Швиц приказание - заготовить хлеба, мяса и вина на 12,000 Русских, которые должны вступить в город, что конечно тотчас же сделалось известным французам. Целый день они прождали нападения Русских; только к вечеру напало на Массену сомнение, и он решился сделать рекогносцировку. Но Розенберг выступил еще с утра, и хотя Французы погнались за ним по Муттенталю, до горы Брагель, однако не могли настичь даже ариергарда. Побитый и обманутый Массена оставил в Муттентале несколько батальонов, а прочие свои войска повел кружным путем, чрез Эйнзидельн, на соединение с Молитором. Впоследствии, в 1807 году, беседуя с одним русским генералом, Массена вспомнил Суворова, хвалил его военные дарования и сказал, что никогда не простит ему одного выигранного им в Швейцарии перехода [9].

В Муттене Французы нашли целый госпиталь. Не имея возможности везти за собою тяжелораненых, Суворов велел оставить их здесь с лекарем, несколькими фельдшерами и офицером, знавшим французский язык. Офицер был снабжен письмом к начальнику первых французских войск, которые вступят в Муттенталь; великодушию их поручались русские

раненые. Таких раненых после Розенберга осталось - до 600 человек Русских и больше 1,000 Французов. Офицер, штабс-капитан Селявин, возвратился в Россию в следующем году, с засвидетельствованным Французским правительством документом о прекрасном исполнении возложенного на него Суворовым поручения [2].

Тем временем корпус Розенберга шел форсированным маршем, почему и успел подняться на гору Брагель до французской погони. Переход чрез Брагель был Розенбергу затруднительнее, чем Суворову, потому что выпал свежий снег и продолжал идти вперемежку с мелким дождем, при сильном, холодном ветре. Вьюки растянулись, ночи приходилось проводить почти без огней, на мокрой земле. Всюду виднелись еще свежие следы недавних побоищ, но тела русских убитых были похоронены. Наконец 23 числа войска прибыли к Гларису и здесь имели утешение несколько подкрепить свои силы. Достался ли Русским французский продовольственный магазин, или был сделан сбор припасов с городских жителей, но только каждый солдат получил понемногу пшеничных сухарей и по фунту сыра [2].

В ужасном виде находился наличный остаток Суворовской армии: люди были оборваны, босы, истощены походом и голодом, патронов почти не оставалось, так же как и артиллерии, вьючного обоза не было и половины. Не только офицеры, но даже генералы не выделялись из общего фона картины; Ребиндер обходил войска в сапогах без подошв. Казалось, что чаша горя и бедствий дошла до краев, что человеческая выносливость и терпение достигли последнего своего предела; но это только казалось, а на самом деле худшее ожидало впереди.

В Гларисе пропала последняя надежда Суворова на помощь и содействие Австрийцев: Линкен давно покинул долину Линты и без всякой необходимости отступил в Граубинден. Раздражение противу Австрийцев достигло высшей степени; не может быть сомнения, что его вполне разделял и Суворов. Австрийцы поставили его в положение, доселе им не испытанное, несмотря на долгую военную карьеру; они привели его к краю пропасти, где его слава непобедимости могла исчезнуть как мираж. Пробиваясь чрез Муттенталь и Кленталь, он имел в виду продолжать наступление к Везену, чтобы открыть себе путь на Сарганс, соединиться с Елачичем, потом с Петрашем, временно заменившим Готце, и наконец с Корсаковым. Но жалкие распоряжения Австрийцев, начиная с выступления эрц-герцога Карла из Швейцарии, до того осязательно доказывали ненадежность союзников, что риск, которому подвергались русские войска преследуя такой план, вовсе не соответствовал

выигрышу. Надо было думать уже не о том, чтобы поправить положение дел коалиции в Швейцарии, а заботиться только о себе, т.е. об одних русских войсках; требовалось иметь в виду один свой интерес и пренебречь союзным интересом, который неотразимою силою фактов сделался теперь чужим. Иначе говоря, Суворову предстояло принять решение о спасении военной чести и славы России, как можно меньше рискуя и помышляя лишь о том, чтобы сохранить остаток армии от поражения и истребления.

Такое движение было в сущности отступлением, и если Суворов на него решился, то значит имел важные причины. Как ни капитальны вышеприведенные его соображения, но едва ли они одни руководили им. Он сам говорил, что идти на Сарганс было бы "благороднее", т.е. больше соответствовало его принципам; ради одного этого обстоятельства он мог принять такое решение, даже выкидывая из своего расчета интересы союзников. Но против подобного смелого плана возвышало свой голос ужасное состояние его армии и, в особенности, недостаток артиллерии и патронов, бывших на последнем исходе. В его переписке мы находим два письма, Ростопчину и эрц-герцогу Карлу, где он говорит, что отсутствие патронов заставило его уклониться от новых сражений и повернуть на Паникс. И точно, держаться прежнего плана, не имея средств к огнестрельному действию, было бы безумием. Суворов нашел в себе силу, чтобы подавить свои личные взгляды и поступить объективно [10].

По всему выходит, что такая резолюция была им принята тотчас по прибытии в Гларис, потому что он не поддержал малочисленный авангард Багратиона в Нефельсе, велел ему прекратить атаки и в следующие дни не возобновлял нападения. Прошло, правда, три дня в бездействии, но это потому, что требовалось выждать Розенберга. Некоторые писатели сильно порицают Суворова за принятое им решение, говоря, что Елачич и Петраш не замедлили бы оказать ему свое содействие, при его движении чрез Нефельс к Саргансу. Это обвинение, идущее из австрийского источника, едва ли чего-нибудь стоит, после только что приведенных соображений, подкрепляемых всем ходом кампании. Им, этим критикам, кажется в порядке вещей все, сделанное Петрашем, Елачичем и Линкеном; они не считают нужным объяснять отсутствие в этих генералах всякой инициативы для выручки главнокомандующего из бедственного его положения, а признают более логичным упрекать его самого в непринятии решения, которое походило бы на va-banque азартного игрока, знающего, что он окружен шулерами. Приводят в доказательство, что принятое Суворовым решение - отступить чрез хребет Паниксер - стоило ему большей потери, чем могла

обойтись попытка к прорыву чрез Нефельс и Молис к Саргансу. Но этот вывод, во-первых, совершенно гадателен и голословен, а во-вторых - не верен. Никак нельзя определить иначе, как громадной цифрой, потерю русской армии в отчаянном наступлении без провианта, без патронов и артиллерии. Затем, помимо естественного желания Суворова - устраниться от всяких военных действий в виду злокачественности союзников, - выбор пути чрез Паниксер был вовсе не таким опасным решением, каким оказался по последствиям. Тропинка была очень не хороша, но гораздо лучше пути чрез Росштокский хребет; ее недавно проходил Линкен дважды, она была обыкновенным сообщением между Гларисом и долиною верхнего Рейна. Если движение по ней сделалось для Русских гораздо более гибельным, чем предполагалось, то единственною тому причиной было обстоятельство непредвиденное и новое: в горах внезапно выпал большой снег[7].

Суворов собрал военный совет, так как положение дел было очень серьезное, а он в подобных случаях делился с подчиненными своею решимостью. Обстоятельных сведений об этом совете нет; не знаем даже, кто именно были приглашены; но есть известие, что великий князь восстал против предлагаемого Суворову австрийским генеральным штабом движения на Молис, Везен и Сарганс и что мнение это было советом принято. Последовало решение - взять путь кружный, но безопасный - по Зернфталю, чрез Энги, Эльм, гору Рингенкопф (Паникс) на Иланц, а потом на Кур и Майенфельд к Фельдкирху, откуда уже легко было соединиться с Корсаковым, забрав по дороге обозы и полевую артиллерию, отправленные из Италии чрез Граубинден и Тироль. Суворов принял это решение, как совпадавшее с его собственным взглядом, и послал приказ Линкену - заготовить в Куре к 25 числу провиант для русского корпуса на два дня. Тяжелораненые оставлялись в Гларисе, в наскоро устроенном госпитале; поручив их попечению жителей, Суворов оставил также письмо к начальнику первого французского отряда, который вступит в Гларис, прося его о человеколюбивом обхождении с Русскими и обещая со своей стороны тоже самое относительно пленных Французов.

Некоторые австрийские историки истолковывают по-своему принятое Суворовым решение, указывая как на его причину, на существовавшее несогласие между русскими генералами и на уныние, обуявшее их в высшей степени. Против такого обвинения говорит все. Уныние, не отражающееся в действиях, не есть уныние, а его мы не находим в фактах, начиная с первого дня вступления Русских в Швейцарию. Весь поход есть напротив

живое, полнейшее отрицание упадка духа. Внезапное появление уныния в Гларисе представляется также не логичным: вступление Русских в Гларис было победное и тут не произошло ничего такого, что не было бы предвидимым последствием предшествовавшего. В той же мере заслуживает веры свидетельство о внутренних несогласиях в русской армии. Если под этим разуметь несходство мнений, которое быть может обнаружилось на военном совете, то в этом явлении нет ничего ненормального, а если что иное, то что же именно? Проследив все военное поприще Суворова, можно ли допустить в его войсках что-нибудь в роде внутреннего разложения? Дело представится яснее и проще, если взять в расчет, что мнение австрийского генерального штаба было отвергнуто; что одним из мотивов такого решения было недоверие к союзникам; что в Гларисе негодование Русских на Австрийцев должно было подняться еще на несколько градусов, и едва ли кто, начиная с великого князя, стеснялся его выказывать. Если уже пускаться в исследование причин, побудивших Русских отступать на Иланц и Кур, то найдем не уныние, а негодование, не внутреннее разложение, а недоверие к союзникам, которых все называли предателями. Такое заключение по крайней мере прямо вытекает из всего предшествовавшего, а не является внезапно, изолированным фактом, для которого надо искусственно подбирать основу. Слишком неблагодарное дело - отыскивать в Суворовских войсках то, что прямо противоречит победным началам их духовной организации, и по справедливому замечанию одного участника этой войны, щедрость Австрийцев на подобные обвинения вовсе не пристала к ним, особенно пред судом их собственной военной истории [7]. Кстати будет привести слова и другого писателя (не русского): "в эту кампанию Австрийцы, не будучи биты, до того зазнались, что стали оспаривать у Русских всякое мужество, о чем и говорили по всей Германии; при всякой неудаче, понесенной Русскими, они не могли скрыть своей радости, а по окончании Швейцарской кампании хвастались, что благодаря только их содействию, Суворову удалось оттуда выбраться без больших бед" [4]. Если в этом свидетельстве постороннего лица и допущено, быть может, некоторое преувеличение, то основа таких австрийских отзывов все-таки остается однородною с вышеприведенными обвинениями Суворовской армии в унынии и внутренних раздорах. Там и тут действует одна и та же тенденция, а потому и ответ в обоих случаях будет одинаковый, который изложен выше.

Войска тронулись в путь ночью с 23 на 24 сентября. Милорадович шел в авангарде, за ним вьюки, потом остальные войска Розенберга и наконец Дерфельден; в ариергарде

находился Багратион. Ауфенберга уже не было, он двинулся двумя днями раньше. Утром, узнав об отступлении Русских, Французы немедленно пустились вслед за ними. Когда вьючный обоз еще втягивался в теснину, Французы повели атаку, сильно потрепали казаков и опрокинули их на пехоту. Багратион остановился впереди Швандена и выстроил боевую линию, прикрыв оба фланга, так как правому грозила французская обходная колонна, отряженная заблаговременно. Артиллерия неприятельская открыла огонь; у Русских пушек не было, и они встретили Французов ружейною пальбой, а потом все время действовали штыками. Несколько часов продолжался неравный бой; 5,000-ный неприятельский корпус сильно ломил, учащая атаки; ариергард русский, не имевший в рядах и 2,000 человек, отбивал натиски натисками. По требованию Багратиона, прибыл из хвоста колонны один полк, ариергард перешел в наступление, отбросил Французов, пользуясь их замешательством отошел за Шванден и занял новую позицию. В это время и Французы получили подмогу: как раз в нужную пору подошли головные части отряда, посланного Массеной из Шахенталя чрез Клаузенпас в помощь Молитору. Но и это не помогло; Русские, по сознанию самих Французов, дрались как отчаянные, все усилия неприятеля разбивались об их энергию, а необходимость приберегать последние патроны - только увеличивала их стойкость и упорство. Не зная отступлений, воспитанные и обученные только нападать, идти вперед, бить, - Суворовские батальоны не ограничивались сдерживанием Французов, переходили в атаку, дерзко бросались в штыки и не только останавливали сильного неприятеля, но заставляли его осаживать назад. Тут сказалась фактическая поверка того будто бы уныния, которое открыли в русских войсках их союзники.

Продержавшись таким образом на трех позициях, Багратион отошел к вечеру на четвертую, за дер. Матт. Здесь неприятель прекратил преследование, но всю ночь тревожил Русских, так что в батальонах часть людей оставалась постоянно под ружьем. После полуночи 25 числа, войска снова тронулись в путь, который, благодаря глубокому выпавшему снегу, оказался труднее всех прежних. По крутому подъему на высокий снеговой хребет извивалась тропинка, допускавшая движение только в одиночку; она шла большею частью по косогору, иногда по краю отвесных обрывов, беспрестанно то спускаясь в глубокие пропасти, где приходилось переходить чрез горные быстротоки, то опять подымаясь на вершины. Ночь на 25 число была темная и ненастная; за недостатком горючего материала, люди не разводили бивачных огней и тронулись в путь мокрые,

продрогшие; днем ненастье продолжалось, валил густыми хлопьями снег пополам с дождем, и дорога все больше и больше портилась. Сначала люди вязли в грязи, потом в глубоком и рыхлом снегу; жалкая обувь у кого и была, окончательно теперь пропадала, ибо размокшие и изорванные сапоги, слезая с ног, оставались глубоко в снегу. Чем выше подымались, тем труднее становился путь; наконец снег совсем занес и скрыл тропинку. Тучи в виде непроницаемого тумана обволакивали двигающуюся вереницу людей; войска карабкались наобум, ничего не видя перед собою, и сами отыскивали дорогу, так как, в довершение несчастия, проводники разбежались или попрятались. Огромные каменья с грохотом катились в бездны, ветер завывал, вздымая вьюгу и заметал последние признаки пути. Кто ехал верхом, тому приходилось слезать, но не иначе, как спустившись задом, через круп, и затем идти за лошадью, держась за её хвост; люди подымались в гору чуть не на четвереньках, спускались вниз сидя. К ночи большая часть войск едва успела добраться до вершины хребта; всякий остановился там, где застигла его ночная тьма. Ночь не принесла ничего хорошего: ветер на вершине был еще чувствительнее и вдобавок завернул мороз. Каждый ютился как мог, отыскивая себе убежище от ветра и стужи; не было ничего для разведения огня. Бесконечною казалась эта ужасная ночь, а для многих она была и последнею: к утру несколько человек замерзло и довольно многие отморозили члены [11].

Спуск с Рингенкопфа, вследствие морозной ночи, сделался еще труднее подъема. Сильный ветер сдул в лощины весь снег и оставил на скалах только тонкий слой льда, сгладивший все мелкие неровности и углубления, где нога могла бы утвердиться и удержаться. Поэтому переход 26 сентября был еще бедственнее вчерашнего, особенно для вьючного скота [7]. К полудню войска собрались у дер. Паникс, к вечеру дошли до города Иланца, где удалось добыть немного дров и хоть сколько-нибудь обогреться, а на следующий день пришли в Кур. Движение тут уже не представляло и подобия прежних бедствий; кроме того войска знали, что в Куре запасено для них продовольствие, и надежда на скорый конец безвременья подкрепляла их силы. Действительно, в Куре были выданы войскам дрова, отпущен печеный хлеб, мясная и винная порции, - и люди ощутили такую степень благосостояния, с которою давно уже не были знакомы. В истинно-ужасном виде прибыли войска в Кур, но в тот же самый день уже нельзя было узнать на лицах людей, что они прошли через целую цепь нечеловеческих испытаний. Солдаты принялись исправлять амуницию, чинить обувь себе и офицерам; в лагере происходило давно не бывалое движение, раздавался говор,

сыпались веселые шутки, слышались даже песни: вся горечь недавнего прошлого была совершенно забыта. Как бы обновленная пришла маленькая Суворовская армия в Фельдкирх 1 октября и здесь расположилась лагерем.

Если офицерам и даже генералам достались на долю в этом походе те же самые труды и лишения, как и солдатам, то немногим лучше было Суворову и великому князю. По донесению Фукса генерал-прокурору, 4 дня не было хлеба и приходилось спать в болоте; по его же удостоверению, при выходе из альпийских ущелий, встречены были два быка, вмиг убиты и распластаны, и каждый, добыв кусок мяса, принялся жарить его на палочке или шпаге, в том числе и Суворов [12]. Тут если что и прибавлено, то не очень многое, потому что напр. Каменский заплатил однажды червонец за 3 - фунтовой хлеб в месте обитаемом. Разумеется Суворову не приходилось голодать буквально, а довольствоваться сухарем не было для него большим лишением, но атмосферные невзгоды должны были отражаться на нем чувствительнее, так как еще в Италии здоровье его заметно повихнулось. Но и в этом отношении он старался не выделяться из общего уровня и, будучи прикрыт одним легким плащом, переносил терпеливо вьюгу, стужу, ветер, дождь, ехал бодро на казачьей лошади или шел пешком, показывался войскам на походе или привале, заговаривал с солдатами, шутил, острил. Он даже слишком бравировал, стараясь примером своим доказать, что все эти невзгоды ровно ничего не значат; по крайней мере один иностранец, встретивший его при выходе из гор, уверяет, что он был одет в холщовом кителе и ежедневно окачивался холодною водой [13]. Другой вопрос - что происходило у него на сердце, и какие душевные муки ему приходилось выносить при виде ужасающей массы бедствий, обрушившихся на его армию. Но и в этом отношении он, так сказать, притерпелся, по крайней мере видевшие его при переходе чрез Паниксер (Рингенкопф) не замечали на его лице тревоги или озабоченности [2]. Бодрость поддерживалась в нем силою воли, и если бывали минуты, когда он сомневался в спасении своем и своей многострадальной армии, то и тогда находил утешение в том, что неприятелю не дастся, что смерть на месте все покроет, и будет он жертвою чужого предательства, а не собственного малодушия [14].

Требовалась действительно необоримая душевная сила, чтобы вынести в конце своего 40-летнего боевого поприща славную, но бедственную Швейцарскую кампанию, с её венцом - переходом чрез Рингенкопф. Раненые, как мы видели раньше, были оставлены в Гларисе,

т.е. отданы в руки неприятеля, как и в Муттентале.

Следовало по настоящему оставить и горную артиллерию, но Суворов взял её остатки с собой и потерял всю в начале перехода, так как при спуске с Рингенкопфа уже не было ни одного орудия [7]. Есть свидетельство, что он, видя невозможность их перевезти, но не желая отдать в руки неприятеля, велел свалить в одну общую яму, засыпать землей и водрузить сверху небольшой деревянный крест, как над свежею людскою могилой. Много дней спустя эта хитрость была открыта окрестными жителями, пушки попали в руки Французов и были включены в число трофеев, отбитых от Русских [16]. Кроме всей артиллерии, русская армия лишилась на этом перевале больше 300 вьюков, оборвавшихся вместе с вьючными лошадьми в пропасти. Число погибших людей нигде не определяется; нет причин полагать, чтобы оно было очень значительно; в этом смысле говорится и в переписке Ростопчина. Довольно того, что на переходе этом люди много выстрадали; особенно много вынесли французские пленные, еще легче Русских одетые [16]. Во всяком случае потерю Русских во время Швейцарской кампании нельзя определять иначе, как общим итогом, потому что весь поход состоял из непрерывной цепи крупных и мелких дел, неудобо-отделяемых одно от другого. Да и огульный счет может быть подведен только под цифру не столько верную, сколько вероятную, и мы, по соображении имеющихся немногих данных, не ошибемся в свою пользу, если примем, что вся потеря с С-Готара до Кура, в продолжение 17 дней, была несколько ниже одной трети наличного состава, который в начале кампании простирался до 21,000 человек. Из этого числа наибольшая доля выпадает на раненых, оставшихся в руках Французов по невозможности транспортировки. Французы со своей стороны потеряли в действиях против Суворова несколько меньше, может быть до 5,000, в том числе 1,400 пленных, которых Суворов вывел с собою из Швейцарии и сдал в Куре Австрийцам.

Вся Европа следила с напряженным вниманием за разыгрывавшейся в Швейцарии кровавой драмой; газеты ловили новости на лету и сообщали с театра войны сотни былей и небылиц без всякого разбора. Не трудно понять, до какого градуса возросло это внимание в России и в каком беспокойстве находился Император Павел, получая известия о происходившем позже всех. И действительно, до Петербурга было так далеко, что и тревоги, и радости, и распоряжения - все это там происходило задним числом. Так например, донесение Суворова о начале швейцарского похода могло придти в Петербург лишь в то время, когда кампания была окончена; Ростопчин пишет Суворову о своем беспокойстве на счет будущности Корсакова тогда, когда

уже 10 дней раньше Корсаков был разбит. Это обстоятельство еще усиливало беспокойство Государя и его правительства, потому что увеличивало их бессилие - помочь чем-нибудь полководцу, заброшенному на другой край материка. Переписка государственных людей с Суворовым и между собою показывает, что на него одного возлагалась вся надежда, но что эта надежда не спасала от "мучительной тревоги". Ростопчин пишет ему, что беспокойство Государя превосходит всякую меру: "и дорого бы я дал, чтобы ему принесть известие не о победе (их довольно и слишком было), но о соединении вашем с Корсаковым". В других его письмах к разным лицам читаем: "дела в Швейцарии худы, нет никаких вестей о Суворове; ... мы в мучительной тревоге, от Суворова никаких известий, а с ним великий князь; газеты противоречат, то он побеждает, то разбит и уничтожен". Государь сам пишет Суворову: "вы должны были спасать царей, теперь спасите русских воинов и честь вашего Государя". "Главное - возвращение ваше в Россию и сохранение её границ", говорится в другом рескрипте, а о предписываемых распоряжениях приказывается не секретничать: "дабы отнять чрез сие способ у Венского двора - воспользоваться присутствием вашим с войсками и доставить себе какие-либо выгоды в мерзских своих намерениях". Отдаются высочайшие повеления - "о цесарских победах не служить более молебнов; курьерам к Суворову не заезжать в Вену, коли нет туда писем; объявить Кобенцелю, что Государь не обязан делать что угодно Тугуту; сообщить эрц-герцогу Иосифу, что Дидрихштейн может представиться ко двору и оставаться на праздники, но после них он лучше сделает, если уедет в Вену, ибо Император не любит интриганов" [17].

В 20 числах октября в Петербурге были наконец получены верные известия о Швейцарской кампании и её исходе. "Да спасет вас Господь Бог за спасение славы Государя и русского войска", писал Ростопчин Суворову: "что скажут злодеи ваши и злодеи геройства? Казнен язык их молчанием... До единого все ваши награждены, унтер-офицеры все произведены в офицеры... Дидрихштейн не видал Государя и так уехал... Принц Фердинанд Виртембергский вздумал было худо о вас говорить, оправдывая Венский двор, но с ним с тех пор с самим ничего не говорят... В Вене ваше последнее чудесное дело удостоивают названием *une belle retraite*; если бы они умели так ретироваться, то бы давно завоевали всю вселенную". Государь писал: "побеждая всюду и во всю жизнь вашу врагов отечества, не доставало вам одного рода славы - преодолеть и самую природу; но вы и над нею одержали ныне верх". Тогда же Государь вызывал в Петербург своего сына Константина Павловича с тем, чтобы он ехал не чрез Вену, а

Ростопчину повелено: "если дойдет до объяснения с Венским кабинетом, то объявить, что доколе барон Тугут будет в делах, то связи никакой с ним быть не может [18].

После тревожных опасений, волновавших Императора Павла многие дни и не дававших ему покоя, полученная от Суворова реляция являлась делительным бальзамом. В основе характера Павла I лежал истинно-рыцарский дух, и спасение чести русского оружия в обстоятельствах безнадежных было в его глазах величайшею национальною заслугой. Поэтому он пожаловал 29 октября Суворову звание генералиссимуса, сказав при этом Ростопчину, что другому этой награды было бы много, а Суворову мало; почтил нового генералиссимуса самым благосклонным рескриптом и кроме того повелел военной коллегии вести с ним переписку не указами, а сообщениями. Спустя несколько дней приказано проектировать статую генералиссимуса; когда проект был представлен, то Государь утвердил его и повелел приступить к работе [19]. Великому князю был пожалован титул Цесаревича; все представленные Суворовым получили щедрые награды; одних знаков св. Анны 2 и 3 степей роздано до 200; нижним чинам выдано по 2 рубля на человека.

Безусловные порицатели Суворова повествуют, что этот "якобы непобедимый варвар погубил половину своей армии и ретировался со стыдом и яростью в сердце". Читатель, ознакомившийся теперь со всею жизнью Суворова и с ходом последней его кампании, может сам оценить и "варварство" Суворова, и "стыд", которому подвергается генерал за такие военные действия, как швейцарский поход. Очевидно, в подобных отзывах говорит не критика, а национальное фанфаронство и жгучее чувство глубоко уязвленного самолюбия, которому было нанесено Суворовым в 1799 году столько тяжелых ран. Предприятие Суворова в Швейцарии было бедственно, и план его совершенно не удался, но самый размер бедствия и полнота неудачи способны возбудить только гордость, утвердить сознание совершенного подвига и вполне удовлетворить чувству военной чести, самому требовательному и щекотливому. Неудачная Швейцарская кампания до того внушительна и грандиозна, что поражает воображение. В Швейцарии до последнего времени не совсем еще вымерли предания о Суворове, и многие суеверные Граубинденцы смешивали горного духа Рюцебаля с Суворовым. Еще недавно жила там легенда, а может быть и теперь живет между склонными ко всему чудесному горцами, будто много лет после смерти Суворова, не раз видели его на высях Сен-Готара, верхом на серой лошади; что в горных теснинах и ущельях верхней Рейсы неоднократно появлялась тень седого старика и

огневыми глазами осматривала места, обагренные русскою кровью [20]. Но мало того, что Швейцарская кампания Суворова есть богатый материал для легенды, она и по военно-историческому смыслу своему выходит из ряда смелых военных предприятий. Эта 17-дневная эпопея не могла быть задумана или предначертана заранее; она сложилась в силу обстоятельств, под направлением Суворовского дарования. Она есть венец военного поприща Суворова, крайнее выражение его военной теории; он тут сделал все, на что только способна человеческая воля. Если весь ход и особенно результат этого феноменального предприятия может привести к вопросу или замечанию критики, то никак не в том смысле, что Суворову не удалось одолеть Массену и выгнать Французов из Швейцарии. Вопрос складывается совсем иначе, именно - каким образом сам Суворов выбрался с театра войны, пожертвовав меньше, чем третьею долей своей армии, тогда как вся она, вместе со своим предводителем, должна была остаться в руках Французов, на что твердо надеялся и Массена.

Глава XXXV. Разрыв союза; 1799. [16]

Переписка Суворова с эрцгерцогом Карлом; острый её характер; раздражительность и колебания Суворова; причины. — Соединение Корсакова и Конде с Суворовым; различный их прием. — Ненависть Русских к Австрийцам. — Зимние квартиры; конец боевого поприща Суворова. — Военная его характеристика: военный человек вообще, тактик, стратегик; его заграничная известность; память о нем в России и русских войсках. — Голландская экспедиция англо-русских войск; её неудача; охлаждение Павла I к Англии. — Остановка Суворова в Праге; переговоры и планы военных действий. — Признаки перемены в политике Франции: новые поводы к неудовольствиям на Венский двор; окончательный разрыв союза России с Австрией и затем с Англией. — Выступление русских войск в дальнейший путь.

Пока Суворов пробивал себе путь в Швейцарии чрез неприятельские войска, Римский- Корсаков успел усилиться корпусом принца Конде и несколькими баварскими и швейцарскими батальонами. Прибыл также к границам Швейцарии испуганный вестью о цюрихском погроме эрц-герцог Карл со значительною частью своей армии. Представлялась снова возможность - дать делам в Швейцарии другой оборот, двинув соединенные силы на левую сторону Рейна, пока большая часть неприятельских войск находилась против Суворова. Но так как для австрийских наследственных земель опасность миновала, то эрц-герцог Карл, помня строгие инструкции Венского кабинета,

предпочел остаться в бездействии. Корсаков решился один предпринять демонстрацию, ради отвлечения от Суворова хоть части неприятельских сил, что и исполнил, понеся однако значительную потерю и притом без существенной надобности, так как Суворов находился уже вне опасности.

То были последние действия Русских в Швейцарии, и в первых числах октября вся страна, за исключением Граубиндена, находилась снова в руках Французов. Правда, и в это время силы союзников все еще имели, в общей сложности, значительный численный перевес над неприятельскими, но они находились под начальством двух главнокомандующих, друг от друга независимых и ни в чем между собою не сходных. Да и всё предшествовавшее положило между Русскими и Австрийцами такую грань, что они были союзниками только по названию, и всякая попытка к действиям сообща должна была оказаться неисполнимой.

Доказательства не замедлили обнаружиться. Суворов, предпринявший движение на Иланц и Кур между прочим по недоверию к союзникам и вследствие решимости - устраниться от совместных с ними действий, стал однако обдумывать новый план вторжения в Швейцарию во время самого перехода чрез Рингенкопф. Из Паникса он сообщил об этом эрц-герцогу Карлу, а на пути из Кура в Фельдкирх послал ему и план действий. Предположение Суворова состояло в том, чтобы корпусам Дерфельдена, Розенберга и Петраша наступать из Фельдкирха чрез С.-Галлен к Винтертуру; Римскому-Корсакову, принцу Конде и части австрийских войск вступить в Швейцарию с северной стороны; затем, по соединении всех сил на р. Туре, наступать к Цюриху и отбросить неприятеля за Лимат. План отличался практичностью, ибо войска Массены были в то время очень разбросаны; но эрц-герцог его не одобрил и предложил некоторые изменения. А между тем, во время трехдневного пребывания в Фельдкирхе, Суворов, изменил свои мысли, так как увидел до какой сильной степени войска его расстроены и получил кроме того известие о громадных потерях Корсакова под Цюрихом. По всей вероятности решение это поддерживалось и возвратившимися сомнениями на счет союзников. Как бы то ни было, он двинулся 4 числа берегом Боденского озера на соединение с Корсаковым, чтобы затем расположиться на винтер-квартирах для приведения войск в порядок.

Прибыв на другой день в Линдау, он получил ответ эрц-герцога с замечаниями на предложенный план действий, Суворов нисколько не оскорбился замечаниями и 5 числа отвечал, что совершенно соглашаясь на план эрц-герцога, делает

распоряжение для немедленного его исполнения. Но сомнения опять взяли верх, порыв упорной воли миновал, уступив рассудку, и Суворов на другой же день написал эрц-герцогу, что занят теперь приведением в устройство своих войск и считает необходимым отложить военные операции на некоторое время. Письмо это высказывало не всю правду; отправляя его, Суворов уже положил возвратиться к решению, принятому еще в Гларисе, т. е. вовсе отказаться от военных действий, и с этою целью собрал на другой день, 7 октября, военный совет.

На военном совете Суворов объявил, что имеет мало надежды на успех наступательной операции, о которой завязаны переговоры с эрц-герцогом Карлом, и что на действительное содействие последнего едва ли можно положиться, так как обещания его неопределительны и могут привести к одним демонстрациям. Военный совет решил единогласно, что от Австрийцев ничего кроме предательства ожидать нельзя, а потому от всяких наступательных действий надлежит отказаться, сосредоточив все заботы исключительно на устройстве войск. Суворов принял это решение к исполнению и донес обоим императорам, прося утверждения. В переписке его проскальзывает и еще один мотив принятого решения, о котором он не упоминает официально: необходимость подчинения ему, Суворову, армии эрц-герцога Карла. Про это обстоятельство он проговаривается в письме к Ростопчину, посланном одновременно с донесением Императору Павлу, объясняя, что только при таком общем начальствовании может быть устранено вмешательство Тугута и прибавляя, что "до особы эрц-герцога это не касается - тут он или нет" [1]. Такая же мысль проводится в письмах Суворова и несколько позже. Действовало ли тут честолюбие Суворова, или нет, во всяком случае взгляд его в настоящем деле был верен, и без подчинения обеих армий одному главнокомандующему, общий план действий представлялся не мыслимым.

Вслед затем подошли войска Корсакова и принца Конде, так что составилась одна соединенная под начальством Суворова русская армия, силою в 35,000 человек. Явились к нему, в Линдау, и Корсаков, и Конде; но прием им был различный. Ведя войну с Французами не только по долгу подданного, повинующегося Государю, но и по убеждению, потому что был горячим монархистом и убежденным христианином, Суворов, сверх того, питал глубокое сочувствие к несчастию французской королевской фамилии и личное уважение к принцу Конде. Последний в свою очередь "считал за счастие" служить под начальством непобедимого генералиссимуса, давно об этом

мечтал и в таком смысле ему писал. По всему этому, прием принцу Конде был оказан полный уважения и почтения; Суворов даже удержался от причудливых выходок и резких странностей. Не так поступил он с Римским-Корсаковым, служа отголоском всей армии. Надев полную форму и все ордена, Суворов вышел в приемный зал, где уже находились лица главной квартиры, и стал ходить по комнате с заметным волнением, то закрывая глаза, то охорашиваясь и приговаривая: "Александр Михайлович человек придворный, учтивый, делал Французам на караул, надо принять его с почетом". Наконец приехал Корсаков, со смущением вошел в приемную и направился к Суворову со строевым рапортом в руке. Суворов отступил на шаг, выпрямился и, глядя Корсакову прямо в глаза, сказал: "Адда, Треббия, Нови - родные сестры, а Цюрих?" При этом он закинул голову назад и сделал презрительную гримасу. Корсаков молча протянул к нему рапорт, но Суворов не удовольствуясь сказанным, схватил эспонтон, стал делать им приемы и язвительно спрашивал: "как вы делали Массене на караул, - так, или эдак?" Затем, попятившись к дверям кабинета, он поманил за собою Корсакова и запер за ним дверь. Какой между ними происходил разговор, осталось неизвестным; стоявшие у самой двери не могли расслышать ни одного слова; но Корсаков вышел больше прежнего расстроенный, быстро прошел приемную и уехал.

Между тем эрц-герцог Карл, получив от Суворова извещение об отсрочке наступательных действий, пожелал разъяснить дело кратчайшим путем личным свиданием. Суворов отклонил свидание под предлогом нездоровья. Эрц-герцог послал к нему графа Колоредо, дабы убедить в необходимости словесных личных объяснений, в любом месте, по назначению Суворова; но Суворов снова отказался, прося сообщить письменно свои намерения. Он, человек дела, а не слова, избегал той арены, на которой был сравнительно слаб. Еще в первую Польскую войну просил он Бибикова избавить его от переговоров с Австрийцами, объясняя, что "черт ли с ними сговорит"; впоследствии тоже уклонялся, когда мог, от словопрений, считая самым приличным "предоставить диалектику денщикам" - перед Фокшанами, как и теперь, отказался от свидания с сотоварищем. В настоящем случае предлагаемое эрц-герцогом свидание было для Суворова вдвойне опасно, потому что упорная воля так и тянула его на продолжение кампании, вопреки требованиям разума, и он уже не раз ей поддавался. Суворов сознавал, что эрц-герцог Карл мог без особенного труда склонить его на возобновление операций, наперекор неблагоприятной действительности и зрелым соображениям; следовало значит отвратить эту опасность. "Юный

эрц-герцог Карл хочет меня оволшебить своим демосфенством", писал он Толстому; "вы с ним на три шага, решите с ним и меня разве уведомьте, у меня же на его бештимтзаген ответ готов". Вот где заключается смысл поведения Суворова в настоящем случае, а не в оскорбленном мелочном самолюбии, как утверждают многие по внешним признакам, без исследования сути дела. Да и хронология переписки Суворова с эрц-герцогом говорит против подобного скороспелого заключения.

Вслед затем, 8 октября, Суворов получил высочайшие повеления (данные между 7 и 18 сентября), с выражением сильного неудовольствия на Венский двор и с изложением мер даже на случай разрыва и возвращения войск в Россию (о них упоминалось раньше). Теперь следовало уже откинуть всякую мысль о продолжении кампании и заботиться только о сохранении и устройстве войск. Между тем эрц-герцог продолжал переписку, и неудовольствие его росло. Он говорил Суворову, что сменил войска Корсакова и Конде своими только для того, чтобы дать Русским возможность перейти в наступление; что им следует по меньшей мере прикрыть Форарльберг; что он, эрц-герцог, будет протестовать против оставления Русскими театра войны и ответственность за последствия возлагает на Суворова; что он, наконец, "требует" отменить принятое решение, и т. под. Суворов, раздраженный предложением - стеречь австрийскую границу, указал эрц-герцогу, что его преждевременное выступление из Швейцарии было виною всех злоключений русских войск, что бедственное состояние этих войск может быть исправлено только отдыхом, хорошим довольствием и полным снабжением, а потому они удаляются на зимние квартиры в Баварию. Эрц-герцог опровергал обвинение, будто он был причиной неудачи кампании; укорял Суворова в том, что распределение русской армии по квартирам в Баварии сделано без соглашения с ним, эрц-герцогом; наконец просил замедлить хоть на 5 дней выступлением, пока австрийские войска успеют произвести необходимые передвижения. На последнее Суворов согласился.

В переписке этой, принявшей под конец характер почти личный, обе стороны были не правы, но Суворов пошел дальше эрц-герцога Карла и дозволил себе выражения и выходки, которых можно было избежать. В одном письме он писал: "такой старый солдат, как я, может быть проведен раз, но было бы с его стороны слишком глупо поддаться вторично". В другом письме, написанном накануне выступления из Линдау, говорилось: "наследственные владения должны быть защищаемы завоеваниями бескорыстными: для этого нужно привлечь народную любовь справедливостью, а не покидать Нидерландов,

не жертвовать двумя прекрасными армиями и Италией. Вам говорит это старый солдат, который почти 60 лет несет лямку; который водил к победам войска Иосифа и Франца; который утвердил в Галиции владычество знаменитого дома Австрийского; который не любит болтовни Демосфеновой, ни академиков, только путающих здравый смысл, ни сената Анибалова. Я не знаю зависти, демонстраций, контр-маршей; вместо этих ребячеств - глазомер, быстрота, натиск, - вот мои руководители". Наконец, в ответ на последнее письмо эрц-герцога, где движение русской армии с театра войны названо было "отступлением", Суворов с негодованием писал, что он во всю свою жизнь не знал ни отступлений, ни обороны, а ведет теперь войска на отдых. К этому он прибавил язвительное и не совсем верное замечание, что в начале кампании "оборонительное положение в Тироле стоило свыше 10,000 человек, т.е. больше, чем завоевание Италии".

Такая ненормальность отношений двух главнокомандующих вытекала из хода предшествовавшей кампании и усиливалась новыми поводами. Петербургские и венские письма, полученные Суворовым в Фельдкирхе и Линдау, трактовали о происках и замыслах Тугута и подбавили горечи и раздражения к существовавшим неудовольствиям. К темам политическим и военным присоединился вопрос личного самолюбия: до Суворова дошли слухи (оказавшиеся потом вымыслом), будто Венский двор намерен лишить его фельдмаршальского звания. Весьма вероятно также, что раздражительное состояние Суворова увеличивалось необходимостью - отказаться от продолжения кампании, не загладив последних неудач. По крайней мере в письмах своих к эрц-герцогу, он не раз говорит о своих надеждах на продолжение войны против Франции и не считает минувшую кампанию последнею. В свою очередь и эрц-герцог Карл, хотя втайне сознававший вину своего правительства и свою собственную по отношению к Русским, имел причины к неудовольствию против последних, особенно против Суворова, так как они затрагивали национальное самолюбие Австрийцев. Мы уже говорили, что Русские не стеснялись выражением своего негодования к союзникам, называя их поведение изменою, предательством и проч.; все это конечно доходило до эрц-герцога и должно было его возмущать, а тем более случаи, особенно резкие, каковы следующие.

Когда Суворов, спустившись с Рингенкопфа, прибыл в Иланц, ему здесь представился генерал Линкен, который так малодушно бежал от Французов, бросив главнокомандующего на произвол судьбы. Суворов, желая выразить ему свое неудовольствие,

спросил насмешливо: "по скольку неприятелей солдаты ваши могут посадить на штык? - мои насаживают по шести". Линкен, задетый за живое, отвечал холодно, что его солдаты делают, что в силах, и делают не дурно. Суворов переменил тон и обошелся с Линкеном ласково. Если этот анекдот, как надо полагать, справедлив, то Суворов сделал совсем не то, что требовалось, ибо задел ни в чем неповинных австрийских солдат, а самого генерала, во всем виноватого, оставил в стороне.

Во время нахождения русской главной квартиры в Линдау, Аркадий Суворов сделал у себя танцевальный вечер, пригласив между прочим нескольких австрийских офицеров, и предупредил их, что будет великий князь. Австрийцы приехали; великий князь прибыл несколько позже и, увидев их, сказал, чтобы они сейчас уезжали, потому что ему неприятно их присутствие. Офицеры отвечали, что при всем своем глубоком к нему почтении, они не могут исполнить приказания, потому что находятся на императорско-королевской службе, которая обязывает, а потому избавят великого князя от своего присутствия, когда сочтут это приличным. После того они остались на балу еще около часа, Константин Павлович вообще не терпел Австрийцев и ни мало не скрывал этого; несколько позже, в Мемингене и Аугсбурге, он показывал им отвращение, которое граничило с оскорблением [2].

Октября 13, в Линдау, происходил у Суворова прием. В зале находилось множество русских офицеров и между ними генерал Римский-Корсаков; тут же были присланный от эрц-герцога Карла генерал (вероятно Колоредо) и от принца Конде герцог Беррийский. Суворов вышел в приемную, обратился к герцогу, обошелся с ним очень любезно, расхваливал принца Конде и его корпус и жалел, что в последних действиях против Французов, эмигранты были расположены и употреблены не так как следует. С упреком этим он отнесся к австрийскому генералу, заметив, что не хотели ли их погубить? и потом сказал герцогу Беррийскому, что впредь ничего подобного не случится и Конде будет сам себе хозяином. Затем он опять обратился к австрийцу: "вы мне привезли приказание от эрц-герцога; в Вене - я у его ног, но здесь совсем другое, и получаю я приказания только от моего Государя". После этого сурового замечания, Суворов стал обходить русских офицеров; отличившихся в Швейцарскую кампанию хвалил, с некоторыми целовался, а к генералу, бывшему одним из главных виновников цюрихского несчастия, обратился с весьма жестким словом и дал ему совет - подать в отставку. Слышавший это Римский-Корсаков, ожидая вероятно и на свою долю какой-нибудь неприятности, постарался скрытно уйти. Суворов однако это заметил и обратился ко всем: "вы

видели, господа, что Корсаков ушел, хотя ни он мне, ни я ему не сказали ни слова. Он более несчастлив, чем виновен; 50,000 Австрийцев шагу не сделали, чтоб его поддержать, - вот где виновные. Они хотели его погубить, они думали погубить и меня, но Суворов на них....(крепкое слово)... Скажите эрц-герцогу", прибавил Суворов, повернувшись к австрийскому генералу, "что он ответит перед Богом за кровь, пролитую под Цюрихом" [3].

Во всем этом прискорбном эпилоге Швейцарской кампании, Суворов действовал в качестве представителя русского имени. Русская армия, от генерала до солдата, была так возмущена поведением союзников, что если бы Суворов трактовал Австрийцев впятеро хуже, то это никому не показалось бы излишеством. Такого же взгляда держался и Император Павел; он зашел даже дальше, потому что в это время уже решил разойтись с союзником и, получив от Суворова переписку его с эрц-герцогом Карлом, выразил генералиссимусу полное свое одобрение. Из всего этого видно, насколько неверно утверждение многих иностранных писателей, будто Суворов самовольно оставил театр войны и был причиною разрыва.

Октября 19 Суворов выступил из Линдау, на другой день прибыл в Лейткирх, а 26 числа в Аугсбург. Русская армия заняла все пространство между Иллером и Лехом, главная квартира перенесена в Аугсбург. Союзные войска расстались, чтобы уже больше не свидеться; последняя Суворовская кампания и все его боевое поприще были кончены.

Поприще это было славное, блестящее и поучительное. Во всех войнах за последние 30 лет, где Суворов принимал участие, он резко выделялся из ряда; второстепенная и третьестепенная роли, ему выпадавшие, ограниченная сфера действий, конкуренция военных талантов Екатерининской эпохи, несправедливости высших начальников, - ничто не в состоянии было затереть Суворова. Все степени он взял с боя; всем был обязан своему личному достоинству.

Прежде всего и больше всего Суворов был чрезвычайно цельным типом *военного человека вообще*, или, в обширном смысле, *солдата*. Мало сказать, что военное дело и конечное его выражение - война были его страстью, они были его жизнью. С детских лет Суворова, военное призвание сделалось преобладающим элементом его существования, который над всеми прочими господствовал и ими управлял. Вне военной профессии для него не было деятельности, которая могла бы его сколько-нибудь удовлетворить; когда в 1798 году ему показалось, что военное поприще его кончилось бесповоротно, он пожелал идти в монастырь, т.е. отрешиться от мира и посвятить себя Богу.

Строго логично было это решение. Личные качества Суворова, свойства, понятия, привычки, потребности, - все это вырабатывалось, формировалось и направлялось к одной конечной цели. Он был военным до последних мелочей будничного житья, но понимая военное призвание и служение широко, он, наперекор понятиям времени, употребил всю силу характера, чтобы образовать свой ум и обогатить его познаниями, притом отнюдь не одними специальными. Мало было в ту эпоху таких образованных и так хорошо подготовленных к своему поприщу генералов, как Суворов, и не только в России, но во всей Европе. Поэтому очень странно читать в иностранной литературе стереотипные фразы о невежестве Суворова, о его незнакомстве с теорией военного дела и т. под., или же о неумении приложит свои знания к практике. Последнее еще имеет кое-какой внешний смысл, так как Суворовское военное искусство выработалось иначе, чем у других, хотя образцы для изучения были для всех одни и те же, и произошло это исключительно по его индивидуальности и непосредственности. Но первое обвинение не основано ровно ни на чем; оно есть недоразумение или непонимание предмета, который трактуется. Суворов в продолжение всей своей жизни любил умственные занятия, относился всегда сознательно и критически к современным военным событиям, определял их истинный смысл примерами из военной истории. Не ограничиваясь собою, он старался привить тоже самое и к другим; мы видели у него подобие военных советов в мирное время и попытку завести научные беседы; знаем также, что его требования доходили в известной степени до низших ступеней военного сословия, ибо он настаивал, дабы каждый солдат "понимал свой маневр". Что касается до личной любознательности Суворова, то она была вполне живая; отпуская знакомого офицера за границу в отпуск или для служебной надобности, он требовал от такого лица отчета в виденном и замеченном, читал отчет с интересом и по нем выводил о писавшем заключение [4].

Физическая природа Суворова также была вполне приспособлена к военному поприщу, и начал он себя соответственным образом воспитывать с самых молодых лет, благодаря чему и дожил до 70-ти, несмотря на слабую свою комплекцию. Он был чрезвычайно умерен в своих потребностях, без всякого над собою насилия, и ненавидел роскошь, придавая ей растлевающее влияние. Не знал он даже комфорта, смешивая его с роскошью, и удобства жизни понимал в самых неприхотливых формах: не то чтобы он мог довольствоваться малым в случае надобности, но просто не видел потребности

обставлять свою жизнь лучше лагерного образца. Это весьма существенная его особенность; военные люди такого склада являются чрезвычайно редко, и между генералами XVIII века Суворов красуется в этом отношении в виде самородка, Он вел жизнь солдатскую не из-за какой-нибудь задней мысли, не вследствие какого-нибудь расчета, а только потому, что считал ее для военного человека единственно подходящею; на этом же основании не знал он шлафроков, перчаток, шуб и проч. По его мнению, военный человек обязан быть по своим физическим качествам всегда молод, а потому должен смотреть на старость как на болезнь, которой можно избежать предупредительным средством - суровою, строгою жизнью. Собственно поэтому он не любил в старости зеркал, как назойливых докладчиков о большом числе прожитых лет; потому же самому он не ходил, а бегал, не ездил, а скакал, не обходил стоящий на пути стул, а перепрыгивал через него, как бы удостоверяя себя и других, что обладает легкостью и прыткостью молодого человека. Такой склад мирной жизни Суворова делал его человеком, для которого труды, лишения и всякие неудобства военного времени не представляли ничего неожиданного, нового и непривычного. Он попадал тут в знакомую среду, в свою нормальную атмосферу и, какой бы высокий пост в армии ни занимал, сразу делался в ней первым солдатом по своим военным качествам, становился органического частью коллективного целого, называемого армией. Чужого, пришлого, заимствованного в нем не было ничего; знакомиться с войсками или знакомить их с собою не представлялось никакой надобности, и это не потому, что ему предшествовала слава: он был таким и в то время, когда вовсе еще не пользовался известностью.

Будучи преисполнен страха Божия, Суворов отличался горячим благочестием и строгим соблюдением всех уставов церкви. Вместе с тем он, при всей независимости своего характера, был преданнейшим и вернейшим подданным. В нем неизменно пребывал животворящий элемент - патриотизм; он горячо любил свое отечество, гордился именем русского и, напоминая часто солдатам, что они русские люди, делал это для поддержания в них нравственной силы и чувства национального достоинства. Солдата он любил и сердцем, и головой; во взысканиях с провинившихся был строг, но в оценке вины отличался снисходительностью; не доводил понятия о дисциплине до трепета подчиненных перед начальником; был отъявленным врагом педантства и мелочной требовательности. Образчиком его взгляда на этот предмет - может служить приказ, отданный по войскам в Италии, где он просит офицеров не

снимать шляп при его появлении, а взамен того побольше заботиться о порядке в войсках [5].

Все эти военные достоинства Суворова дополнялись огромною массою качеств чисто-боевых. Начиная с никогда не ослабевавшей энергии и ничем не парализуемой инициативы, переходя к упорству и настойчивости и кончая мужеством и личною храбростью, - Суворов сосредоточивал в себе все, что формирует военного человека. По справедливому замечанию одного иностранного писателя, трудно указать на такое военное качество, которого бы в нем не было, и мало кто может быть в этом отношении приравнен к Суворову [6]. Имея перед собою историю всей его жизни, скажем больше. Не только из крупных военных деятелей вообще, но даже из величайших полководцев всех веков и народов, едва ли найдется кто-либо, который бы представлял собою такой цельный и полный тип военного человека, как Суворов.

Засим он заслуживает особенного внимания как тактик на поле сражения и как *военный наставник и учитель*. Воспитывая и обучая войска исключительно для войны, Суворов проводит эту задачу со строгою последовательностью. Он не поддается никаким военно-мирным искушениям, а если делает уступки, то поневоле, в силу действующей извне необходимости, сводя их по возможности к минимуму; когда же принужден поступаться сущностью, то устраняется от дела и сходит с поприща, которому посвятил всю жизнь. В силу такого метода, войска Суворова являются на поле сражения не только с чисто-боевыми воспитанием и обучением, какие только удободостижимы в мирное время, но представляют собою действующую силу, гармонически отвечающую личным боевым качествам предводителя, следствием чего является победа.

Тактика Суворова простая, живая и подвижная; она не скована почти никакими формами; все для других безусловное, обращается у него в условное; многое важное для доктринеров и схоластиков, нисходит у него до степени пустяков, достойных насмешки. Это потому, что признаваемое другими за невозможное, или по меньшей мере за исключительное, Суворов принимает за возможное и исполняет зауряд. Главными правилами боя у Суворова -глазомер, быстрота и натиск; нормальным действием - наступление; преобладающею действующею силою - закаленная человеческая душа. Все это, приведенное во взаимную связь, составляло полную систему, складывалось в цельную военную теорию. В этой теории холодное оружие получало преобладающее значение, но штык был не столько действующим, сколько принципом боевого действия;

требовался не собственно штыковой бой, а бесхитростная, беззаветная готовность сойтись на штык, т.е. нравственная сила. Та же самая сила выражалась и в отрицании пристрастия к обходам, фланговым атакам, к опасениям за свой тыл и т. под. Мы видим в каждом сражении Суворова и фланговые атаки, и ружейную оборону, и оберегание своего тыла; он никогда не считал все это не нужным, но только не придавал ничему подобному особенной важности и при этом зорко оберегал свои войска от усвоения таких растлевающих понятий. На практике выходило часто иначе, т. е. иногда употреблялась штыковая атака без существенной необходимости, пренебрегалось обходное движение, когда оно было полезно и возможно, и проч. Но надо различать принцип от действия и помнить, что при приложении принципов к делу, они никогда не сохраняются в безусловной неприкосновенности. Суворов был очень горяч и нетерпелив, а потому запальчив, и под влиянием своего темперамента заходил часто дальше, чем сам хотел. Кроме того, всякий предпочитает употреблять те способы, которыми лучше владеет, хотя бы они в данную минуту и не представлялись предпочтительными. Суворов владел солдатскими душами безгранично, и потому, любя кратчайшие пути к успеху, требовал зачастую от войск такого высокого проявления духовной силы, к которому другие прибегают лишь изредка, как к крайней мере, или не прибегают никогда.

Что Суворов пользовался необыкновенным влиянием на войска, - в этом согласны все, и поклонники его, и порицатели. Причина такого духовного владычества Суворова над войсками заключается в указанной выше его особенности - замечательной полноте его военного типа, необычайном богатстве его военной натуры. Если не всякий из его подчиненных понимал это, то всякий чувствовал. Победный ток (да позволено будет так выразиться) передавался от предводителя десятками путей; на кого не действовал один из них, действовал другой. Глазомер, приводящий в изумление своею верностью; инициатива, никогда и ничем не парализуемая; быстрота решения и энергическое исполнение, несмотря ни на какие препятствия; понятная всякому простота действий; полное пренебрежение численным перевесом неприятеля, так как "бьют уменьем, а не числом"; в заключение, как венец всего, не ослабляемая никакими сомнениями вера в самого себя и в свои войска, т. е. безусловное убеждение в успехе, - вот что передавалось от Суворова войскам и делало их послушным победным орудием в его руках. Прибавим ко всему этому патриотизм, благочестие, любовь к солдату, близкое знакомство со всеми мелочами его быта, со складом его понятий,

с процессом образования его идей, уменье с солдатом говорить и обращаться, и проч., и проч., и тогда увидим, какая масса могучих нравственных нитей связывала последнего солдата Суворовской армии с вождем. Следствием были постоянные победы, и эти неизменные победные свойства Суворова сделались в свою очередь причиною, что солдат стал его считать каким-то высшим существом. Говорили, что знал он человеческую душу насквозь; не мог на него прямо смотреть тот, у кого не чиста совесть; видел труса по лицу, ставил его вперед, и делался трус храбрецом. Бог дал ему змеиную мудрость, ведал он "Божью планиду", умел разрушать и волшебство, и козни дьявола именем Божиим, крестом да молитвой. Знал он все на свете, проницал замыслы врагов, чуял в безводных местах ключи; не начинал сражения прежде, чем отойдет обедня, что служат на небе ангелы Господу; Божий посланец оберегал его в бою. И смело шли за вещим Суворовым войска, слепо доверяясь своему вождю [7].

Личное присутствие Суворова, даже одно его имя, производило на войска чарующее действие. В Италии, в каком-то сражении, при одной частной неудаче, рота или какая-то небольшая часть, услышав сзади крик: "Суворов здесь", рванулась вперед и легла чуть не поголовно под губительным огнем неприятеля. На Треббии Фукс был зрителем упорного боя, наблюдая его с небольшого возвышения вместе с Дерфельденом; он заметил, что как только появится Суворов в своей белой рубашке там, где войска приходили от неудачи в расстройство, порядок восстановлялся тотчас же. Дерфельден объяснил Фуксу, что насмотрелся на подобные явления в продолжение 35 лет, как знает Суворова; что этот непонятный чудак есть какой-то талисман, который довольно развозить по войскам и показывать, чтобы победа была обеспечена [8].

Это обаяние громадным образом увеличивало противу других ресурсы Суворова на поле сражения; оно преимущественно и делало его не похожим ни на кого, дозволяя не придавать большой цены многим тактическим правилам и формам, отступать от них безбоязненно и вообще прибегать к средствам необычным. Такой способ действий озадачивал и противников Суворова на поле сражения, и поверхностных критиков в кабинете; но хотя первые были постоянно биты, вторые не убеждались непрерывною цепью фактов. Доктрина, рутина, схоластика, предание, форма - были слишком сильны, и Суворов оказался невеждою в военном деле, незнакомым с основными истинами тактики, варваром, одаренным инстинктом войны. Критики не заметили, что до этого "инстинкта" надо не спуститься, а подняться, и что такую военную теорию, как

Суворовская, может создать и усвоить не всякий желающий, а только избранная, в высокой степени даровитая военная натура. Весьма метко выразился один англичанин того времени, лорд Клингтон, сказав, что Суворов в тактике есть тоже самое, что Рембрандт в живописи [8].

Отличительные качества Суворова-тактика остаются присущими и Суворову - *стратегику*; но в искусстве стратегических соображений, в уменье двигать большие армии, распределять свои силы наиболее выгодно по театру войны и вообще в механизме военных действий, Суворов имеет несколько слабых сторон, которыми и уступает полководцам первой величины. Наполеон сказал, что Суворов обладал душой великого полководца, но не имел его головы; в этих словах большая доля правды. По словам того же Наполеона, в полководце должно быть равновесие ума и воли, а так как подобная гармония встречается в жизни весьма редко, и перевес одного из этих элементов над другим неизбежен, то внутреннему достоинству военачальника меньше вредит преобладание воли над умом, чем наоборот. Этот перевес был характерною чертою Суворова, который имел ум обширный и просвещенный, но в то же время отличался таким запасом воли, что верх последней над первым был очень ощутителен. Стратегические принципы его были верны, но при практическом применении во многом нарушались. Например он всегда ратовал против раздробления сил и стоял за сосредоточенность их, за нанесение главного удара массою; предписания из Вены - об осаде и блокаде многих крепостей и об исполнении иных второстепенных целей одновременно несколькими отрядами - приводили его в негодование; а между тем он сам погрешал в том же смысле. Одна из причин такой невыдержанности заключалась в слишком большой его чуткости к молве, а следовательно и к распускаемым неприятелем слухам, также к его демонстрациям; это заставляло Суворова слишком часто менять свои планы, производить лишние передвижения войск, изменять маршруты и проч. Это замечается не только в Итальянскую кампанию, но отчасти и в последнюю Польскую войну. Может в силу сознания такого в себе недостатка, Суворов не любил составлять стратегические планы иначе, как в самых общих чертах, без всяких даже крупных подробностей, и в свое оправдание ссылался на Юлия Цезаря, которого вообще ставил на первое место в ряду величайших полководцев. Будучи во всех военных операциях, крупных и мелких, безусловным поклонником простоты и врагом всякой сложности и хитросплетений, Суворов и в этом отношении не всегда оставался верным самому себе. Таким образом он принял для Швейцарской

кампании план сложный, где кроме того вовсе не были взяты в расчет деятельность, искусство и энергия противника, неоднократно им заявленные.

При подобных недостатках, Суворов обладал однако большими достоинствами, общими замечательным полководцам. У него был расчет, предусмотрительность, осторожность; он не ограничивался отвагой, решимостью и настойчивостью; не ломил напрямик, не глядя по сторонам, как утверждают его хулители; не жертвовал массами людей, когда этого можно было избежать. Употреблял он и демонстрации, и рекогносцировки, и обходные движения; издевался же над ними для того, чтобы отнять от вспомогательных средств придаваемое им первостепенное значение. При этом клеймилась не наука, а схоластика, не искусство, а рутина; но так как насмешки произносились безусловно, безоговорочно, то и пошли за невежество. К невежеству присоединилась жестокость, к жестокости кровопийство; за характеристику пошел памфлет или и просто брань. Говорили и писали, что на границах Франции появился варвар, с лицом обезьяны и с душою кровожадного пса; что этот скиф идет с железом в одной руке, с огнем в другой и топчет окровавленными лошадиными ногами жатву бедного рабочего народа. Пугали детей переиначенным именем этого варвара - Souwarou, вместо loup garou (оборотень - фр.); посылали к нему по почте пасквили, где его просто ругали, называли вандалом, одетым в окровавленную львиную кожу и тому подобное [9]. А между тем Суворов не изобретал таких терминов, как "пушечное мясо", не вешал в завоеванной Варшаве людей, как Нельсон в Неаполе, не грабил как Массена, и если некоторые из его побед были кровопролитны, за то и решительны, ограничиваясь одним ударом там, где другому понадобилось бы два или три.

Мы уже знаем, когда и из-за чего началась дурная репутация Суворова в западной Европе; война 1799 года раздула эту славу до геркулесовых столбов нелепости. Суворов был страшен для Франции и иноземных сторонников французской революции, как не был страшен ни один полководец коалиции с самого начала революционных войн. Он олицетворял собою неприятельское вторжение и кровавую контрреволюцию, а ручательством в успехе гибельного для республики предприятия служило его дарование, гласно отрицаемое, но признаваемое с ужасом в глубине смущенной души. Да и как было не бояться этого скифа или гунна, когда два из лучших полководцев республики не могли отразить его ударов, а французские войска, семь лет победоносно противостоявшие образцовым европейским армиям, были им раз за разом побиваемы наголову? При таких условиях всякие

выдумки и пасквили насчет Суворова представляются для того времени естественными и понятными; логичность этой ненависти подкрепляется еще диаметрально-противоположными революционным идеям правительственными принципами Императора Павла и малою культурою, интеллектуальною и материальною, той отдаленной страны, откуда появились грозные полчища для разрушения дела, вовсе до них не касающегося. Но затем, когда острая пора миновала, настоящее сделалось прошедшим и перешло в область истории, угол зрения должен бы был измениться. Если мы этого еще не дождались, и о Суворове сохраняются в западных литературах неверные понятия, то причин тому много: оскорбленная национальная гордость; издавна усвоенная точка зрения на Россию и на все русское; слишком поверхностное знакомство с оригинальною личностью Суворова, о которой и в России имеются лишь смутные понятия; своеобразные свойства его военного дарования; наконец, едва ли не больше всего, его чудачество. О последнем будет говориться подробнее впоследствии.

Дабы показать, какого рода сведения о Суворове, вращавшиеся во время последней его войны, перешли в литературу, несмотря на очевидную их нелепость, достаточен будет один пример. Генуэзский антиреволюционный комитет будто бы обещал Суворову 7 миллионов франков, в виде содействия для изгнания Французов из Ривьеры, и фельдмаршал отвечал комитету письмом. Довольно привести заголовок этого письма: "Возвышеннейший, могущественнейший, превосходительнейший господин, граф Суворов, слуга Божий и угодника его Николая чудотворца, кавалер орденов Тигра, Скорпиона, Барса и св. Александра Невского, главнокомандующий австро-русскими войсками в четырех частях света, в странах австралийских и иных, если какие существуют, поборник царей, разрушитель республик, архимандрит и епископ греческой церкви, представитель четырех орденов римского исповедания, архикатолик и прочая, и прочая, и прочая" 10. Очевидно, письмо есть просто карикатура на Суворова и на издаваемые под монархическим правлением документы, а появление этого выдуманного послания в одном из современных французских журналов объясняется революционными тенденциями. Но остается не вразумительным, каким образом эта карикатура была принята за чистую монету и попала в мемуары правительственного лица, изданные четвертью столетия позже?

Конечно не всякий иностранный писатель принимает подобные "документы" за исторический материал, но зато мало кто из них решается идти прямо наперекор общесложившимся

понятиям о русском полководце, хотя бы эти понятия он не разделял. Для доказательства, к каким ухищрениям прибегают критики Суворова, чтобы не поставить его на слишком высокий пьедестал, приведем тираду из одного позднейшего о нем сочинения. "Когда воспроизводишь портрет Суворова", говорит автор: "следует принять в расчет и вес его большой сабли. Тюренн, Конде, Фридрих, Наполеон носили шпагу; за Суворовым тащилась сабля, оружие солдатское; для обыкновенного человека различие тут не велико, но для философа огромное. Магомет носил саблю, Вашингтон шпагу. В шпаге есть что-то божественное; она и ранит, и убивает, но не терзает плоть, не уродует тело, не отсекает члены. Шпага красуется около весов юстиции; рука архангела подымает к небесам пламенное лезвие шпаги же. Сабля, при ударе, наклоняется к земле; она более шпаги удалена от головы и сердца" [6]. Любопытно знать, чем бы автор указываемой книги заменил свое рассуждение, если бы ему было известно, что Суворов носил иногда саблю, иногда подобие тесака, а иногда и ровно ничего, кроме нагайки?

Не все смотрят на Суворова свысока, толкуя о нем вкривь и вкось, лишь бы обойти правду; но такие исключения не многочисленны и принадлежат к первым годам нынешнего и к последним прошлого столетия. Тогда слишком резко кидалась в глаза истина, что где Суворов, там и победа. Гримм, пораженный зрелищем неудач русских войск Германа и Корсакова, пишет гр. Воронцову, что "следовало бы иметь еще двух или трех запасных Суворовых, дабы они находились всюду во главе войск". В 1807 году, на балу в тюльерийском дворце, Макдональд обратился к стоявшему возле него русскому посланнику и, указывая на окружавших Наполеона лиц, заметил: "не видать бы этой челяди тюльерийского дворца, если бы у вас нашелся другой Суворов". Один из иностранных писателей того времени говорит, что "Суворов всегда будет гордостью и славой русских армий, и имя его долгое время будет служить боевым их кликом". И точно, наступившая вскоре эпоха Наполеоновских войн была наибольшим поклонением Суворову; в эту пору имя его неумолчно слышалось в песнях русских солдат, даже народа, и сделалось национальною драгоценностью. Когда, после кончины Аркадия Суворова в 1811 году, дети его, внуки генералиссимуса, остались при скудных средствах существования, и Император Александр I, во уважение заслуг деда, назначил им 20,000 руб. ежегодного пособия, то все русское общество встретило с горячим сочувствием и благодарностью эту справедливую милость Государя. Имя Суворова продолжало жить и в последующее Николаевское время; в войсках еще пелись песни о Суворовских

делах и походах, загроможденные вымыслами; в казармах еще рассказывались анекдоты, большею частию небывалые, о подвигах и причудах генералиссимуса... Теперь все миновало, но зато настало время истории [11].

Пока Суворов удалялся от театров войны, союз распадался. Мы видели, как разрыв зародился и назревал; венская политика, продолжавшая преследовать прежние цели, привела его к исходу. С удалением Суворова в Швейцарию, Австрийцы распоряжались в Италии все с большею бесцеремонностью; Пьемонт подвергался возрастающему разорению, и в Турине вспыхнуло возмущение. По случаю нового вторжения Французов, Австрийцы принуждены были прибегнуть к мере, на которой так безуспешно настаивал Суворов, - к формированию пьемонтской армии, однако и тут остались верны самим себе, не дозволив издать воззвания от имени короля Сардинского, а самого его подвергали неоднократным оскорблениям. Император Павел требовал категорических объяснений; Колычев, ненавидевший Тугута, усердно исполнял волю своего Государя; но Тугут продолжал оттягивать и лавировать. Кроме того он подвергал союз новым испытаниям, завязав довольно давно тайные сношения с Францией чрез испанского посланника, в надежде приискать путь к сепаратному миру; Русскому Государю это было очень хорошо известно, но он все терпел, в надежде сохранить союз. Наконец терпение его лопнуло, по получении 10 октября известия о цюрихском погроме, и разрыв совершился.

Октября 11 Император Павел послал императору Францу сухое, проникнутое негодованием письмо, в котором виною случившегося несчастия выставлялось преждевременное выступление эрц-герцога Карла из Швейцарии и в коротких, но самых категорических выражениях разрывался с Австриею союз. Франц II был очень смущен, Тугут не меньше, однако скоро ободрился, в надежде, что припадок раздражительности и гнева у Русского Государя пройдет, и повеление будет отменено. На этот раз он однако ошибся. Суворову дано приказание занять позицию между Лехом и Изером, т.е. сделать почти то, что он уже сам сделал, и затем заняться приготовлениями к обратному походу в Россию. Суворов тотчас приступил к распоряжениям: у Баварского курфирста сделал заем денег, донес императору Францу о предстоящем походе, просил выслать австрийских комиссаров для заготовления довольствия войскам, испрашивал средства к перевозке из Италии оставшихся там больных, раненых и резервной артиллерии. Затем войска стали последовательно стягиваться к Аугсбургу и с 15 ноября выступать в дальнейший путь.

Когда русская армия находилась уже в походе, Суворов получил от императора Франца рескрипт, с просьбою повременить выступлением, в надежде, что Русский Государь отменит свое повеление. Еще настоятельнее была просьба эрц-герцога Карла, который приводил разные доводы, чтобы удержать Суворова, старался повлиять на его самолюбие и давал обещание оказывать всевозможное ему, Суворову, содействие, если он останется для продолжения войны. Суворов отвечал, что не может остановить движение войск без нового повеления и вскоре убедился из вновь полученных рескриптов Государя, что поступил совершенно правильно. Подтверждались прежние повеления, приказывалось не обращать никакого внимания на предложения Австрийцев; рекомендовалось возвращаться малыми переходами, с отдыхами, дабы постепенно перейти от усиленных трудов к полному покою. "Я весьма рад", писал Император Павел, "что узнает эрц-герцог Карл на практике, каково быть оставлену не вовремя и на побиение; но Немцы люди годные, все могут снесть, перенесть и унесть". Ростопчину было дано 15 ноября такое словесное повеление: "когда придет официальная нота о требованиях двора Венского, то отвечать, что это есть галиматья и бредни" [12].

Разрыв союза России с Австрией и возвращение в отечество армии Суворова произвели сильное впечатление в Европе. Но перемена порядка вещей была еще радикальнее, чем казалась с первого взгляда, только совершилась она не сразу. За разочарованием Русского Государя в одном союзнике наступило недоверие к другому, и первым к тому поводом была неудачная Голландская экспедиция.

Ни главнокомандующий герцог Йоркский, ни начальник русского корпуса генерал Герман не были способны выполнить возложенное на них предприятие, и пророчество Суворова оправдалось вполне. Первые шаги экспедиции были счастливы, но потом пошли неудачи вперемежку с частными, бесполезными успехами, и вскоре стало ясно, что расчеты союзников не оправдываются. Ни войска, ни народ Батавской республики вовсе не соблазнялись предлагаемым им Оранским знаменем; в продолжение шести недель произошло пят сражений, которые стоили очень дорого обеим сторонам, но республиканская армия продолжала держаться упорно. Союзные госпитали были завалены больными и ранеными, из строя выбыло больше половины высаженных на берега Голландии, и для пополнения этой убыли не имелось никаких средств, тогда как к неприятелю подходили подкрепления. Снабжение войск продовольствием и военными запасами также представляло для союзников

чрезвычайные затруднения, ибо сообщение с Англией производилось медленно и с риском. Между русскими и английскими войсками не было единства в действиях, вследствие различия организации, обучения и даже темперамента; да и одни русские войска, сравниваемые в разных делах, как бы не походили на самих себя, до того велико было отсутствие точной идеи в их командовании. Генерал Герман попал в плен; заместивший его Эссен находился в постоянных столкновениях с русским посланником в Лондоне: беспорядок царил во всем страшный. Ростопчин писал С. Воронцову про Суворовскую армию: "я не могу постигнуть, что это те же самые русские люди, как и в Голландии"; и действительно постигнуть это было трудно [13]. Крупные встречи противников продолжались до конца сентября; затем герцог Йоркский вошел в переговоры с французским главнокомандующим Брюном и заключил с ним конвенцию о перемирии и оставлении союзниками Голландии. Военные действия были прекращены, и в начале ноября Голландия очищена.

Император Павел был в сильном гневе, который выразился, между прочим, в разных немилостях к войскам, участвовавшим в экспедиции. Они потерпели тут полную неудачу и не поддержали русской военной славы, с чем особенно было трудно Государю примириться. Но этим дело не кончилось: экспедиция, стоившая больших жертв и издержек, оказалась бесплодной только для России; Англия же успела извлечь из нее выгоду, завладев почти всем батавским военным флотом. Это было горячим желанием Лондонского кабинета, главною, хотя и тайною целью экспедиции; так что Петербургскому кабинету стало наконец видно, что он работал в Голландии на Англию, как в Италии потрудился в пользу Австрии. Такое горькое сознание пришло однако не сразу, а потому разрыв с Англией оставался еще делом будущего, тем более, что её содействие нужно было Императору Павлу для новых политических комбинаций.

Замысел Русского Государя состоял в устройстве нового союза, преимущественно из северных государств, для обеспечения политического равновесия Европы, на случай примирения Австрии с Францией. Англия приняла эту мысль холодно, предпочитая прежний союз новому, и стала усердно хлопотать о примирении двух императоров. Русский Государь, всем своим существом преданный идее о восстановлении монархии во Франции и мира в Европе, не без тайного удовольствия принял предложения Лондонского кабинета, согласился возобновить переговоры о будущей кампании и с обычною своею скоростью решений, не дождавшись ответа, послал 20 ноября приказание -

всем бывшим за границею русским войскам остаться там на зиму.

На этот раз, как и прежде, Суворов предупредил повеление, не даром же Государь в своих рескриптах к нему замечал, что оба они одних и тех же мыслей. Русская армия не успела в Баварии ни отдохнуть, ни одеться, ни исправить свой обоз, так что после нескольких недель похода потребовалась продолжительная остановка, и 5 декабря войска остановились в Богемии и верхней Австрии. Тут застало их высочайшее повеление, и они остались на занятых местах. Точно также Император Павел был предупрежден Суворовым и относительно переговоров о кампании будущего года. Суворов не меньше Павла I мечтал о том, чтобы вознаградить потерянное время; его воля никак не хотела преклониться перед необходимостью противоположного решения, самим же им сознаваемою. Еще в Линдау и в Аугсбурге входил он по этому в совещание с английским уполномоченным Викгамом, который даже получил от него изложенные на бумаге довольно подробные предположения. Сущность плана заключалась в том, чтобы главное наступательное движение во внутрь Франции было произведено со стороны Италии, чрез Дофинэ к Лиону, армией, составленной из Русских и Австрийцев, так как присутствие Русских вливало бы мужество в Австрийцев, а содействие последних было бы полезно по лучшему у них устройству генерального штаба, осадной артиллерии и некоторых других частей (см. Прил. XII). Лондонский кабинет одобрил план Суворова, сообщил его в Вену и Петербург как свое собственное предложение, вызывался давать субсидию на 80.000-ную русскую армию, только бы она состояла под начальством Суворова, и положил кроме того непременным условием, если будет принят какой-либо другой план, чтобы он был предварительно одобрен Суворовым же.

Император Павел составил свое предположение о будущей кампании; Венский кабинет предложил в свою очередь тоже особый план. Начались переговоры, но в самом разгаре были прерваны, потому что мысли Русского Государя опять изменились. Декабря 27 был послан Суворову собственноручный рескрипт: "обстоятельства требуют возвращения армии в свои границы, ибо виды венские те же, а во Франции перемена, которой оборота терпеливо и не изнуряя себя мне ожидать должно;... идите домой немедленно".

Действительно, со стороны союзника ничего нового и хорошего не происходило и впредь не предвиделось, а неприятель давал надежду на коренной у себя поворот к лучшему. Наполеон Бонапарте, вернувшись из Египетской экспедиции, славной, но во всех отношениях бесполезной, кроме утверждения его личной

военной репутации, произвел 18 брюмера (29 октября) государственный переворот. Прежняя конституция была заменена новою; во главе власти стали три консула или, лучше сказать, первый консул Бонапарте; с первых же дней проявилась сильная государственная власть, и анархия стала быстро исчезать, уступая место порядку во всех частях управления; революционные заносчивость и неуступчивость во внешней политике заменились сговорчивостью и умеренностью. В ходе французской революции произошел такой поворот к новому правительственному режиму, что в Европе пошли слухи о восстановлении королевской власти, а Император Павел стал говорить, что ему все равно, кто бы ни царствовал во Франции, лишь бы там было введено монархическое правление [12]. В другое время Императору Павлу было бы, может быть, слишком мало этих веяний, чтобы изменить свою политику, но в настоящую пору горькое чувство разочарования и обманутые надежды поощряли его разорвать союз, оказавшийся искусственным, тем более, что Австрия не изъявляла готовности поступиться чем-либо из своих целей и уж не скрывала их по-прежнему, хотя и обнаруживала искреннее сожаление о разрыве союза с Россией.

Впрочем и это сожаление скоро исчезло. Лондонский кабинет в сношениях с Австрией был сговорчивее Петербургского, не стоял принципиально против австрийских захватов в Италии, предлагал субсидии, обещал свое содействие при заключении Австрией нового займа. Все это потому, что английская политика, по своим началам, была гораздо более однородна с австрийскою, чем с русскою, и если впадала в какие-нибудь излишества, то никак не в донкихотство. Лондонский кабинет желал во что бы то ни стало продолжать с Францией войну, а следовательно и удержать Австрию от сепаратного мира. Тугут заметив, что с Англией поладить можно и Австрия не останется в одиночестве, перестал дорожить другим союзником, несговорчивым и лично к нему, Тугуту, неприязненным. Австрийский министр не находил уже нужным скрытничать по-прежнему и с достаточною ясностью обнаруживал намерения своего правительства на счет приобретений в Италии. Сверх того он довольно бесцеремонно высказал свое мнение на счет совершенной ненадобности сильной русской армии для будущей кампании, объяснив, что 15,000-ный вспомогательный корпус есть все, в чем Австрия нуждается; если же Император Павел желает выставить большие силы, то их лучше всего употребить вместе с английскими войсками, в виде десанта. Еще категоричнее высказался Венский кабинет против зимовки русских войск в пределах Австрии, прикрываясь предлогом, что она очень обременительна для края;

даже Франц II не счел неудобным написать об этом прямо от себя Суворову и, для ускорения выступления русских войск, послал к нему графа Бельгарда. Тугут не останавливался и перед поступками прямого неприличия; так на просьбу Суворова, обращенную к императору Францу, чтобы при размене пленных не были забыты Русские, попавшие в руки неприятеля, Тугут отвечал Колычеву, что русские войска, находясь в Швейцарии, состояли на субсидиях Англии, следовательно дело не Австрии о них заботиться. Суворов представил цифры для убеждения, что в руки Австрийцев он передал пленных Французов в несколько раз больше, чем оставил Русских в руках неприятеля, следовательно русские войска заслуживают, чтобы Австрийцы позаботились о попавшихся в плен из корпуса Римского-Корсакова. Сообщая об этом Колычеву, Суворов писал ему: "будьте тверды, не заразитесь воздухом совиного гнезда, чуть вы гибки, - Тугутова гибкость вас одолеет, и будете вы в узде, как Разумовский" [14]. Но и твердость не помогла: Тугут отделался ответом очень неопределенным, который ничего не разрешал, а только оттягивал решение.

Затем произошел еще один случай, составлявший уже несомненное оскорбление. Под Анкону, осаждаемую русской эскадрой Войновича и десантом при содействии ополчения Лагоца, прибыл австрийский генерал Фрелих с корпусом войск, занял места итальянских ополчений, которые за только что последовавшею смертью Лагоца были распущены, и повел дело так, чтобы совершенно отстранить Русских от осады и капитуляции, а забрать всю операцию в свои руки. Несмотря на противодействие графа Войновича, Фрелих заключил с французским гарнизоном капитуляцию на чрезвычайно выгодных условиях для осажденных, ввел в крепость свои войска и запретил впускать туда Русских, с которыми он вообще обращался крайне пренебрежительно, с непонятным высокомерием. Узнав об этом, Войнович поднял русский флаг вместе с другими союзными на моле, на карантине и на пленных судах; австрийские офицеры силою спустили русский и турецкий флаги, оставив один австрийский. Главный начальник русского флота в Средиземном море, адмирал Ушаков, просил у Фрелиха объяснений; австрийский генерал отвечал, что по множеству занятий не имеет времени входить в подробности.

Император Павел потребовал полного удовлетворения и, до получения его, отказал австрийскому послу в приезде ко двору. Вызвали Фрелиха в Вену, нарядили военно-судную комиссию; депутатом с русской стороны командировали Милорадовича; Фрелих был приговорен к исключению из службы. Это решение нисколько не удовлетворило Русского Государя, да и последовало

оно уже в феврале 1800 года; первое же донесение о дерзком поступке Фрелиха получено было в Петербурге в декабре 1799 года, как бы в подкрепление принятого тогда Государем решения о разрыве с Австрией. Переговоры еще продолжались, но разрыв уже состоялся.

Изменились совершенно и отношения Петербургского двора к Лондонскому. Во время Голландской экспедиции Англичане погрешили недостаточною заботливостью о русских войсках, которые чрез это терпели много лишений; произошли недоразумения в расчете английских субсидий, по поводу чего Император Павел отозвался, что он "подает помощь своим союзникам, а не торгует наемными войсками и не продает своих услуг"; возникли некоторые неудовольствия при переговорах о плане будущей кампании и по другим случаям. Все это, вместе взятое, не составляло еще достаточной причины для разрыва, тем более, что Лондонский кабинет искренно желал поддержания коалиции, но во взглядах Императора Павла произошел уже поворот, и темперамент неудержимо увлекал его по направлению, противоположному прежнему. Задумав в начале нечто в роде крестового похода против Франции, он под конец убедился, что в основную мысль коалиции только сам и верил, а другие, делая вид будто верят, эксплуатировали ее каждый в своем интересе. Придя к такому заключению, он уже не мог оставаться в коалиции; нужно было только приискать логическое объяснение своего поступка для спасения приличий и для собственного утешения. Это было делом не трудным, и в последних числах декабря Ростопчин получил повеление: "если будет речь о выходе Императора из коалиции, то объяснять, что при всеобщем желании мира, разрушение коалиции этому помогает"[12].

Итак коалиция распалась, и русской армии ничего больше не оставалось, как возвратиться восвояси, не ожидая весны. Суворов так и сделал, опять не дождавшись высочайшего повеления, которое в этом смысле хотя уже последовало, но не было еще ему известно. Русские войска стояли больше месяца на просторных квартирах, отдохнули, оправились, оделись и готовы были хоть сейчас в поход. В виду настойчивых требований Венского кабинета, Суворов нашел возможным не откладывать дальнейший поход, тем паче, что имел на это от Императора Павла полномочие, и января 14 армия выступила двумя колоннами, кроме корпуса Конде, который перешел на содержание Англии. В русские пределы войска вступили разновременно, большею частью в марте; сам Суворов, захворав вскоре по выезде из Праги, остановился в Кракове, сдал начальство Розенбергу и отдал по войскам прощальный приказ.

Глава XXXVI. На пути в Россию; 1799-1800.

Душевные муки Суворова вследствие недостигнутых целей войны. — Общее внимание к нему и его войскам во время обратного пути в Россию. — Настроение Императора Павла и русского общества; переписка Государя с Суворовым; восторженные заявления других государей и лиц. — Негодование Суворова по поводу французских известий о Швейцарской кампании; неудовольствие, причиненное ему присылкою из Вены генерала Бельгарда с особой миссией; её неудача. — Образ жизни Суворова; приемы, забавы, эксцентричности. — Суворов-чудак; происхождение и развитие его странностей; усиление их к концу его жизни; отзывы о нем, как о помешанном. — Другие недостатки, ему приписываемые; объяснение. — Заботы Суворова о будущности сына; помолвка князя Аркадия с принцессой Саганской.

Обратный путь Суворова в Россию, перемежавшийся вследствие колебаний политики частыми остановками, продолжался больше трех месяцев. Это время, наполненное для Суворова заботами о войсках, страшно расстроивших в Швейцарскую кампанию всю свою материальную часть, сопровождалось сверх того, как мы видели, многими неприятностями - наследием предшествовавших событий. Но неприятности эти далеко уступали душевным мукам, которые выносил Суворов, удаляясь с театра войны с горьким сознанием неполного успеха Итальянской кампании и совершенной неудачи

Швейцарской. Поправить эту неудачу новыми успехами было его мечтою, которая первое время не давала ему покоя и влекла за собою колебание и непоследовательность в некоторых его поступках. Но мечта так и должна была остаться мечтою, в силу неумолимо отрицавшей ее действительности. Что кампания была военным делом славным, блестящим, достаточным для завидной боевой репутации любого генерала, - это для Суворова было слабым утешением, ибо в его прошлом не было ничего другого, кроме блестящего и славного. Ему нужно было то, для чего он сюда явился из своего Кончанского уединения, - изгнание Французов, восстановление престолов, торжество религии; а в результате почти ничего такого не оказывалось. Не он был в том виноват, а зависть, эгоизм и упорная робость союзника, однако все это оборвалось на нем. В сердце его осталась горечь, которую он унес с собою и в могилу.

Не совсем так смотрело на это большинство современников в антиреволюционной Европе. Одни из них понимали, как связан был в своих действиях русский полководец, и потому отделяли понятие об успехе от понятия о его недостаточном результате. Другие, не вдаваясь в глубь, видели только блеск и слышали только гром победы и приходили в восторг от необычного зрелища, составлявшего сильный контраст с длинным рядом прежних лет коалиции. Для всех вообще особенно поразительна была Швейцарская кампания, представлявшая собою один непрерывный подвиг с драматической окраской. Имя Суворова, выросшее в Итальянскую кампанию, после Швейцарской облеклось двойным блеском, и когда он, удалившись с театра войны, вступил в Германию, то стал центром общего внимания. Всюду на его пути, особенно же при более продолжительных его остановках в Линдау, Аугсбурге, Праге, стекались путешественники, дипломаты, военные, наезжали из ближних и дальних мест любопытные, чтобы услышать от него несколько слов, выразить ему удивление или хоть просто взглянуть на него. Общее почтение граничило с благоговением; дамы добивались чести поцеловать его руку, и он не особенно тому противился. Везде были ему встречи и проводы, хотя он этого избегал; всякое общественное собрание жаждало иметь его своим гостем. Отель барона Вимера, который он занимал в Праге, сделался rendez-vous высшего общества, обратился в подобие дворца владетельной особы, куда все стремилось, где ловилось каждое слово хозяина и где всякий гордился малейшим знаком его внимания. Это настроение не ограничивалось одною особою Суворова, а распространялось и на его войска, которые везде встречали дружеский и предупредительный прием, особенно в

Австрии, и были предметом всякого рода любезностей. "Мы здесь плавали в меде и масле", писал он Ростопчину перед выступлением в Россию [1].

Русское общество гордилось своим героем и восторженно ему поклонялось. Император Павел был настоящим представителем национального настроения; все свои рескрипты он сопровождал изъявлениями самого милостивого расположения к генералиссимусу, говорил о своем с ним единомыслии, спрашивал советов, извинялся, что сам дает наставления. "Прощайте, князь Александр Васильевич", писал Государь: "вас да сохранит Господь Бог, а вы сохраните российских воинов, из коих одни везде побеждали от того, что были с вами, а других победили затем, что не были с вами". В другом рескрипте говорилось: "извините меня, что я взял на себя преподать вам совет; но как я его единственно даю для сбережения моих подданных, оказавших мне столько заслуг под предводительством вашим, то я уверен, что вы с удовольствием его примете, знавши вашу ко мне привязанность". В третьем читаем: "приятно мне будет, если вы, введя в пределы российские войска, не медля ни мало приедете ко мне на совет и на любовь". В четвертом значится: "не мне тебя, герой, награждать, ты выше мер моих, но мне чувствовать сие и ценить в сердце, отдавая тебе должное". Государь до того простер свою любезность, что, отвечая на поздравление Суворова с новым годом добрыми со свой стороны пожеланиями, просил его поделиться ими с войсками, если он, Государь, "того стоит" и высказывал желание - "быть достойным такого воинства" [2].

Не мало благосклонных заявлений получил Суворов и от других государей. Курфирст Баварский, посылая ему орден Губерта, писал, что так как ордена учреждены в воздаяние достоинств и заслуг, то никто больше Суворова не имеет на них права. Сардинский король прислал ему большую цепь ордена Анунциаты, причем писал: "мы уверены, что вы, брат наш, не оставите ходатайствовать за нас у престола Его Императорского Величества". Даже Венский двор как будто спохватился и счел нужным обратиться к нему с любезностью: император Франц прислал ему большой крест Марии Терезии, говоря в рескрипте: "я буду всегда вспоминать с чувством признательности о важных услугах, мне и моему дому вами оказанных". Кроме того, Франц II оставил Суворову на всю жизнь звание австрийского фельдмаршала с жалованьем в 12,000 гульденов; позже, несмотря на то, что союз был разорван и русские войска окончательно двинулись в свое отечество, он повторил заявление искреннего своего уважения к Суворову и всегдашней признательности за его

заслуги [2]. Курфирст Саксонский прислал в Прагу, во время пребывания там Суворова, известного живописца Шмидта, поручив ему написать портрет генералиссимуса, что и было им исполнено [3].

Знаменитый адмирал лорд Нельсон, который, по словам русского посла в Лондоне, был в то время вместе с Суворовым "идолом" английской нации, тоже прислал генералиссимусу восторженное письмо. "В Европе нет человека", писал он: "который бы любил вас так, как я; все удивляются, подобно Нельсону, вашим великим подвигам, но он любит вас за презрение к богатству". Кто-то назвал Суворова "сухопутным Нельсоном"; Нельсону это очень польстило. Кто-то другой уверял, что между русским генералиссимусом и английским адмиралом существует очень большое наружное сходство. Радуясь этому, Нельсон прибавляет с письме к Суворову, что хотя дела его, Нельсона, не могут равняться с Суворовскими, но он просит Суворова не лишать его дорогого имени любящего брата и искреннего друга. Суворов отвечал Нельсону в том же роде, изъявлял удовольствие, что портреты их удостоверяют в действительности существующего между оригиналами сходства, но в особенности гордился тем, что оба они похожи друг на друга направлением мыслей. Получил он также горячий привет от старого своего сподвижника, принца Кобургского. В Кобург ездил великий князь Константин Павлович, чрез которого Суворов послал принцу поклон или письмо и получил через великого же князя ответ. Принц называет его величайшим героем времени, благодарит за память, жалеет об удалении русской армии в отечество и сетует о горькой участи Германии. Суворов отвечает принцу и между прочим говорит, что вся причина неудачи состоит в различии систем и что, не сойдясь в системах, не стоит начинать и новой кампании [4].

Получал Суворов и от незнакомых лиц приветствия и поздравления. Какой то поэт Брежинский прислал написанные в честь его, Суворова, свои стихи. Суворов отвечал стихами же.

И в холодном краю света
Есть к наукам пылкий жар:
Благодарность для поэта
Вместо лавров будет в дар.
Пусть в отечестве любезном
Он Гомером прослывет,
Будет гражданин полезный,
Вместе с музами живет [5].

В дыму фимиама, который со всех сторон курили Суворову, проскакивали однако и тернии. В разных газетах появился приказ Массены по войскам о минувшей Швейцарской кампании, где успех Французов и неудача Русских были представлены в размере преувеличенном до извращения истины. Суворов пришел в негодование, продиктовал два опровержения и велел послать их в газеты. В реплике своей, написанной с иронией, но в весьма приличной форме, он говорит про пылкое воображение Массены, преувеличившее русские потери до цифры, превышающей общее численное состояние их войск; напоминает про бедственное для Французов мутентальское дело, опровергает разные другие хвастливые выходки и в заключении говорит, что если французский главнокомандующий признал нужным возбудить энтузиазм своей армии, то ему следовало бы прибегнут к какой-нибудь другой басне, получше составленной, а не к грубому обману, который можно опровергнуть без всякого труда. Появилось также изложение событий Швейцарской кампании в Precis des evenements militaires, гамбургском периодическом издании генерала Матье Дюма, предпринятом для ознакомления публики с современными военными действиями. Смысл изложения событий был вовсе не неприязнен Суворову, а только представлялись они не во всех подробностях сходно с истиной, как понимал ее Суворов, не всегда в его пользу и с преувеличением русских сил. Это опять задело Суворова, и он снова продиктовал две заметки для напечатания в газетах, одну на французском, другую на немецком языке [6].

Произошло сверх того неприятное столкновение с Венским кабинетом. Тугуту очень не нравилось, как было уже сказано, решение Суворова - остановиться на зимних квартирах в австрийских владениях, а потому для убеждения генералиссимуса в необходимости скорейшего выступления был послан к нему граф Бельгард. Это был горячий приверженец Тугута, интриган, человек заносчивый и несговорчивый, который к тому же не любил Суворова. Колычев и английский посланник Минто старались уговорить Тугута - послать кого-нибудь другого, но безуспешно, и потому Минто поехал сам вслед за Бельгардом, дабы по возможности исправить, что он напортит. Официальною целью переговоров был план будущей кампании, но Суворов был предупрежден на счет истинной цели поручения, Бельгард встретил у него вежливый, но холодный прием; на все его убеждения о необходимости вывести русские войска из Австрии, Суворов отзывался невозможностью этого исполнить без особого повеления Императора Павла; на все подходы к плану кампании говорил, что представит прежде свои мнения на усмотрение

Государя. Бельгард возвышал голос, Суворов оставался при высказанном; Бельгард переходил в дерзкий тон, говоря, что у Австрии довольно своих войск, что она в Русских не нуждается, и требовал, чтобы Суворов немедленно ушел из австрийских земель вперед или назад; Суворов невозмутимо выслушивал все выходки и повторял прежние ответы. Бельгард, выходивший из себя от бесстрастности Суворова, дошел до крика и угроз, но и это не помогло ни на волос. Суворов, недавно узнавший, что многие его винят в разрыве, запасся двойным терпением, "дабы не было поклепа, что я великого монарха в неудовольствие привел на Венский двор". Бельгард уехал, ничего от него не добившись, но все-таки выслушал от Суворова несколько горьких истин. Ему было при удобном случае сказано, что затруднения в продовольствии войск есть только предлог, чтобы сжить русские войска; да еще во время святочных игр привелось ему выслушать от Суворова фразу: "играли Неаполем, мстили Пьемонту, а теперь хотят играть Россией". Кроме того Суворов открыто отзывался о присланных с Бельгардом военных предположениях, что эти планы кампании красноречивы, но искусственны; прекрасны, но не хороши; блистательны, но не основательны [7].

Вообще же ни разные мелкие неприятности, ни постоянный гнет неотвязной мысли о дурном исходе последней кампании, не имели влияния на образ жизни Суворова во время обратного похода в Россию. Этого было слишком мало, чтобы его, веселого, живого и подвижного по природе, превратить в мизантропа. Не будучи охотником до больших и шумных обществ, он в настоящем случае отступил от своего обычая, ездил в гости довольно часто и принимал у себя, особенно в святки. Он всегда дорожил святками, справлял их непременно каждый год по укоренившемуся русскому обычаю и не отступил от этого и в Праге. Здесь устраивались у него святочные игры, - фанты, жмурки, жгуты, гаданья; все принимали в них участие, в угоду знаменитому хозяину: и лорд Минто, и Бельгард и знатные дамы, и путешественники, отовсюду наехавшие. Шли оживленные танцы, пелись хором песни, одна забава сменялась другою, причем происходила невообразимая путаница, так как для большинства все это представлялось новинкой. Суворов принимал в забавах самое живое участие, танцевал, пел, исполнял со строгою точностью, что требовалось вынутым фантом; нарочно спутывал игры и потом от души хохотал. В этом препровождении времени трудно было принять его за человека, вознесенного судьбою на недосягаемую для других вышину, за 70-летнего старика, дни которого были уже сочтены [2].

Бывали у него и утренние приемы, и обеды; присутствовали

гости и на богослужении в его домовой церкви. За стол садились обыкновенно между 8 и 9 часами утра; стряпня была такая же, как в Италии, т.е. выносимая для одних привычных; обед продолжался часа полтора или два, Выйдя к гостям, Суворов обыкновенно целовался со всеми и благословлял каждого; за столом ел и пил больше всех, ведя оживленный разговор, причем сам говорил тоже больше всех. Темы для разговора были самые разнообразные, например об Илиаде, о песнях Оссиана, о сочинениях Руссо, Вольтера, Монтескье; но беседа часто сворачивала на военные заслуги хозяина, Суворов был очень не прочь затрагивать этот предмет и не отличался скромностью в суждениях о своих боевых делах, извиняя себя примером древних Римлян, которые прибегали к самовосхвалению для того, чтобы возбуждать соревнование в слушателях. При этом случае Суворов развивал свои военные принципы; говорил, что мелочей не любит, а видит вещи en grand, как и учитель его Юлий Цезарь, и т.п. По окончании обеда Суворов вставал, давал всем свое благословение и отправлялся на несколько часов спать. В церкви он бывал часто, выстаивал непременно всю службу, молился очень усердно, поминутно крестясь и делая земные поклоны, пел на клиросе, дирижируя певчими. Вообще в церкви ли, дома ли, в частных ли собраниях, или в публичных местах, он держал себя одинаково непринужденно, согласно своему взгляду или усвоенным привычкам. А как взгляды его и привычки во многом расходились с общепринятыми и кроме того беспрестанно проскакивали совсем уже необычные причуды и выходки, то знаменитость Суворова, как эксцентрика, шла совершенно в параллель с его военной славой и даже брала над нею верх [8].

Создались различные мнения о причине странностей и причуд Суворова, сделавших из него совершенно особого человека, несмотря на то, что он жил в эпоху и в обществе, где редкое выдающееся лицо не заявляло претензий на оригинальность, на несходство свое с другими. Наиболее распространенный взгляд на Суворова-чудака состоит в том, будто императрица Екатерина высказала однажды мысль, что все великие люди непременно отличались какими-нибудь странностями и причудами, которые и клали на каждого из них свою особую печать. Говорят, что слова Государыни запали Суворову в душу и были исходною точкой всех его странностей. С таким объяснением трудно согласиться. Во-первых, Суворов настолько знал историю, что Екатерина не могла сообщить ему ничего нового о великих людях. Во-вторых, чудачества Суворова не появились внезапно, в какую-нибудь определенную пору, которая бы таким образом служила гранью между Суворовым -

обыкновенным и Суворовым - чудаком. В первой главе мы видели, что в возрасте 10-12 лет Суворов уже отличался от других детей и получил поэтому какую-то кличку. Затем, находясь в полку, он тоже был не таким, как другие. После того, во время Семилетней войны, когда Екатерина не находилась еще на престоле, а Суворов был безвестным штаб-офицером, его уже знали, как эксцентрика и, по случаю приезда его на побывку к отцу, приходили на него смотреть, как "на сущего чудака" [9].

Говорят еще, что задавшись мыслью выделиться из ряда внешнею оригинальностью, Суворов составил себе таким образом систему, которой и держался сначала по расчету, а потом по усвоенной привычке. т.е. привычка стала второю натурой, и оригинал искусственный обратился в чудака натурального. Объясняют, что маску на себя надел он для того, чтобы в век карьер, основанных не на личном достоинстве; обратить на себя внимание, представляясь не опасным ни для кого соперником, и пробираться вперед, никого не затрагивая. Существует еще и такой взгляд, что гениальный Суворов, чувствуя свое фальшивое положение в тогдашней обстановке, поневоле прибегнул к причудливой личине. Все эти объяснения тоже едва ли справедливы. Одаренный большим умом, Суворов не мог придавать такого чрезмерного значения наружной оболочке, каково бы ни было тогдашнее время; он конечно понимал, что если величие может вести к странностям, то странности никак не ведут к величию. Сверх того, привить к себе привычку шутить и ломаться до степени обращения этой привычки в натуру, невозможно ни для кого, если только в натуре нет предрасполагающих эксцентрических зачатков. Если же они у Суворова были, то систематическое его чудачество перестает быть напускным и делается естественным, прирожденным.

В этом смысле понимают Суворова некоторые, весьма немногие, и взгляд их вернее прочих. Натура Суворова отличалась самостоятельностью, непосредственностью; подражание, заимствование диаметрально противоположны её основным свойствам, а принуждение, насилование себя - тем паче. Он с ранних лет был предоставлен самому себе, проводил большую часть времени в одиночестве, беседуя не с людьми, а с книгами, чуждался больших собраний, избегал даже игр, - вот когда под эксцентрические особенности его натуры был подведен житейский фундамент. Поступив потом в полк, он предался физически и морально своей всепоглощающей страсти к военному делу, не имел досугов, не бывал в обществе и продолжал держаться прежнего пути, полный мечтами о будущем. При природной закваске и таких условиях, в нем

неизбежно должны были развиться особенности, не подходящие к общепринятым формам жизни; веселый, подвижный, юркий характер придал странностям направление шутливое, потешное, а долговременная солдатская служба, не номинальная, а заправская, без отгуливаний и уступок, наложила на шутки и потешные выходки Суворова грубоватый характер, пахнувший лагерем, солдатской палаткой. Когда же при расширившейся служебной сфере и оказанных заслугах, он натыкался на неприятности, на несправедливости и получал чувствительные уколы своему самолюбию, в нем, соответственно свойствам его ума, стал развиваться сарказм, и шутки делались все более едкими и злыми. Таким образом сформировался Суворов - чудак, портрет которого в главных чертах известен каждому.

Сформировался он не сразу; было бы большою ошибкой предполагать, что Суворов -чудак проявлялся одинаково во всю свою жизнь. Например, мы находим в 80-х годах в его деревенском доме стенные зеркала, а в 90-х годах он уже их не переносил; в начале службы он держал своих верховых лошадей, а в конце уже нет и ездил на казачьих. Если разница существовала в мелочах, то тем скорее она должна была высказаться в важном, потому что человек маленький и человек большой - сами собой уже составляли разницу. Внутренний человек оставался один и тот же, но человек практической жизни изменялся: сначала сдерживался больше, потом меньше, а под конец и вовсе не сдерживался. Не все его поступки и не всегда укладываются под это объяснение; зачастую он дозволяет себе, по отношению например к Потемкину, многое такое, что совсем не ладится с его обычным поведением относительно всесильного временщика. Но эта неровность, эти порывы лучше всего и доказывают, что Суворов сдерживал себя, но что ему не всегда удавалось сладить со своей натурой. В отношениях его к Зубову таких неровностей уже почти не замечается: следить за собою можно было меньше.

Таким образом, Суворов явился в Европу с полным проявлением своей эксцентрической натуры и представил своею особой обширное поле для наблюдений иностранцев, не привычных к подобного рода развитию личности. Победная итальянская кампания и эпический швейцарский поход, усилившие его военную славу, увеличили внимание и к его странностям. Ничто не осталось незамеченным в образе его жизни, занятий, в обращении с людьми, в одежде, не говоря уже про те выходки, которые выделялись своею экстраординарностью в его ординарном для привычного глаза чудачестве. А таких выходок было не мало. В Праге ему представлялся австрийский

генерал, большого роста, которым он почему-то имел причину быть недовольным (может быть Бельгард). Суворов поспешно вышел в приемную, схватил стул, встал на него, поцеловал генерала и, обратившись к присутствующим, сказал: "это великий человек, он вот меня там-то не послушал", а потом повторил свои слова по-немецки. Генерал побледнел, а Суворов перестал обращать на него внимание. В Праге же один из местных вельмож давал бал; была приготовлена пышная встреча генералиссимусу, вся лестница уставлена сверху до низу растениями и от верху же до низу протягивались по ней две шпалеры нарядных дам. Выйдя из кареты и подойдя к лестнице, Суворов сделал "такую непристойность, которая заставила дам отвернуться" (вероятно высморкался по- солдатски), а Прошка подал ему сейчас полотенце обтереть руки. Суворов пошел по лестнице, раскланиваясь на обе стороны; на верху его встретили музыкой, и одна из дам (беременная) запела: "славься сим Екатерина". Суворов слушал с видимым удовольствием, потом подошел к певице, перекрестил ей будущего ребенка и поцеловал ее в лоб, отчего она вся вспыхнула. Начались танцы; Суворов ходил и смотрел на танцующих; когда же заиграли вальс, и пары понеслись одна за другой, он подхватил своего адъютанта и пошел с ним вальсировать не в такт, в противоположную сторону, беспрестанно сталкиваясь с танцующими. Обходя затем разные комнаты, наполненные гостями, он заметил прозрачную картину, изображавшую знаменитое отступление Моро (в 1796 году). Суворов посмотрел на нее и обратился к хозяину с вопросом, не желает ли он видеть на самом деле, как Моро ретировался; хозяин хотя и не понял вопроса, однако отвечал из вежливости утвердительно. "Вот как", сказал Суворов, побежал по комнатам, спустился с лестницы, сел в карету и уехал домой. Говорили потом, что вся эта неприличная сцена была разыграна Суворовым потому, что хозяйка дома была дочь Тугута [10].

Заметили, что он щеголял показной религиозностью. Что касается до пения на клиросе во время православного богослужения, чтения псалтыря, многих земных поклонов и проч., то в этом не было ни какой утрировки, а выражалось как и всегда обычное благочестие Суворова и ревностное исполнение церковных обрядов. Но затем, встречаясь с иноверческими прелатами и простыми священниками, он слезал с лошади и подходил под благословение, иногда даже бросался перед ними на колени. Таким образом он поступил в Альторфе, встретив одного местного священника, но потом, получив на него весьма серьезную жалобу, приказал ему дать 50 палок. Это конечно объясняется тем, что воюя "с атеистами, убившими своего

короля", Суворов желал высказывать наибольшее уважение к христианской религии и к служителям алтарей, а в альторфском священнике наказывал простого преступника. Однако его способы совсем не ладились с установившимися воззрениями, понятиями и обычаями, а потому цели не достигали и принимались за капризные выходки варвара-чудака. Под эту категорию подводилось без разбора почти все, что действительно было чудачеством и что только таким казалось. Надевал ли он на себя среди обеда шляпу одного из гостей, или ел за десертом солдатскую кашу, или выходил к обеду в сапоге на одной ноге, а в туфле на другой, страдавшей от давней раны, - все это одинаково шло за аффектацию, за утрировку эксцентрика, не отполированного цивилизацией [11].

Разнузданность чудака должна была отразиться и на других проявлениях натуры Суворова в том же направлении. В Линдау, за обедом, разговор коснулся между прочим Руссо, которого Суворов считал одною из причин излишеств и ужасов французской революции. Один генерал заметил, что между творениями Руссо есть прекрасные. Суворова это взорвало, и он с резкостью приказал спорщику убираться из-за стола. Озадаченный и сконфуженный генерал заметил, что он разумел не Жан Жака, а Жан Батиста Руссо. "Это другое дело", сказал Суворов и пригласил его остаться. Несколько раньше, по выходе из швейцарских гор, Суворов, по свидетельству очевидца, сильно набросился на одного в чем-то провинившегося генерала, долго его журил, а потом приказал надеть солдатскую шляпу или каску и амуницию, взять ружье и стать на часы у его, Суворова, дверей, на два часа [10].

Во время серьезной работы, с кем-нибудь глаз-на-глаз, или вообще у себя дома, без посторонних, а также в беседах с иностранцами, особенно высоко стоящими или пользующимися его исключительным уважением, он забывал свою "блажь" (по выражению современников) и делался неизменно серьезен, увлекательно красноречив, обнаруживал обширный, многосторонне-образованный ум и замечательную меткость суждений. Так отзывалась о нем покойная императрица Екатерина, и справедливость её слов несколько раз подтверждалась во время заграничного похода Суворова. В Аугсбург приехал князь Эстергази с орденами Марии Терезии, пожалованными Францем II великому князю Константину Павловичу и Суворову, и с поручением - склонить великого князя на посредничество в происшедших между двумя императорами недоразумениях. Ордена были приняты, но от улаживания недоразумений Константин Павлович отказался, под предлогом,

что состоит при армии Суворова волонтером. Посоветовали Эстергази обратиться к Суворову; он заметил, что не стоит обращаться к человеку, от которого нельзя добиться ничего, кроме разных выходок; ему возразили, что наедине Суворов совсем не таков. Эстергази решился сделать попытку, с большим трудом добился аудиенции и хотя не достиг в своих переговорах никакого успеха, но сознался, что был обворожен обширным и просвещенным умом Суворова, вполне соответствующим его великому военному таланту [13].

Такие случаи впрочем не составляли общего правила, гарантировавшего при всяких условиях от Суворовских странностей. Бывало большею частью так, но случалось и иначе. Сама Екатерина, говоря, что Суворов перестает быть с нею наедине чудаком, прибавляла: "когда захочет", а одно из близких к нему лиц замечает, что серьезное, деловое его настроение быстро сменялось выходками и причудами, как только собеседник делал какую-нибудь незначительную бестактность или неловкость. Эта легкость - быть чудаком и трудность - не быть им, тоже доказывают, что Суворов был чудаком не напускным, а натуральным. Некоторые иностранцы, видевшие его в последние годы, свидетельствуют, что он производил на них впечатление человека полупомешанного, или даже просто помешанного, с чем соглашались и его приближенные, говоря, что действительно он бывает иногда чересчур странен. Разве может человек, напустив на себя что-либо, не находящее себе почвы в самой натуре, довести эту искусственную прибавку до изменения своего образа? [14].

В Суворове конечно не было и тени помешательства, а было безграничное чудачество, удивлявшее всех своими размерами, а иностранцев кроме того и характером. Один из самых авторитетных военных писателей [15] прямо говорит, что странности Суворова "понизили его военную славу в глазах иностранцев". Оно и понятно, если нечто подобное происходило и в России. Екатерина II и говорила, и поступками своими доказывала, что странностями своими Суворов прямо себе вредит, а Павел I просто их не терпел и с трудом выносил. Чудачества победоносного полководца бросали сомнение на прочность его победной основы, тем более, что они как будто вторгались в военную область, ибо Суворов побеждал не так, как другие, подготовлял войска к победе иначе, чем все. Его военному дарованию доверяли как-то опасливо, остерегаясь или "своенравия", или "увлечения воображением", и все это благодаря тому, что он был чудак. Обыкновенно ищут в человеке, чтобы он был не только годен на дело, но и удобен для употребления в

дело, сплошь да рядом отказываясь от удовлетворяющего первому условию, если он кажется не имеющим второго. Исключения очень редки; исключением служит например Петр Великий, у которого ни один годный не был неудобным. Суворов был неудобен вследствие резкой своей оригинальности, и если он все-таки совершил свое славное поприще, то единственно потому, что обладал слишком крупным военным дарованием, которое несмотря на все сомнения, все больше и больше бросалось в глаза. А что Суворов - чудак тормозил карьеру Суворову - полководцу и повредил его военной славе, это понятно не только теперь, но видно было и тогда. У государственных людей того времени такое мнение сделалось общим местом в их суждениях о Суворове. Невозможно предположить, чтобы Суворов один оставался слепым; убеждающие факты были слишком многочисленны. Если же он не сдерживался, то значит не мог сдерживаться: натура брала свое.

Полагают, что эксцентричность Суворова была одною из главнейших причин его популярности между солдатами и нравственного ими обладания. Выходки Суворова несомненно нравились солдату, потешали его и служили источником веселых разговоров в лагере и на квартире; но давать им значение могучей нравственной силы невозможно. Властелином солдатских душ делали Суворова не причуды, а его победные свойства, цельность его военного типа. Отнимите от Суворова дарование и оставьте его при одних странностях, - результат конечно был бы другой, и солдат увидел бы в своем вожде только шута. Странности Суворова имели лишь аксессуарное значение при главной его силе, которую составляли, кроме военного дарования, благочестие, патриотизм, духовное родство с солдатом и любовь к нему, простота жизни и т. под. Юродству нет места между такими крупными данными. Не соглашаться с этим, значит иметь о русском солдате слишком низкое понятие, которое неверно уже по одному тому, что в победном поприще Суворова простой солдат занимает одну из первенствующих ролей.

Кроме чудачества, Суворову приписывают не мало других недостатков, а так как они имеют корень в той же натуре, благодаря которой из Суворова образовался крайний чудак, и некоторые из них прямо отзываются странностями и причудами, то надлежит и на них несколько остановиться.

Обвиняют его в том, что он прибегал к возбуждению в войсках фанатизма, действуя на людское невежество, что он был скуп, не стоек в однажды данном слове и имел порок пьянства.

Обвинение Суворова в скупости не безосновательно, но этот

его недостаток не совсем подходит под общепринятое понятие о скупости. Скряга отличается постоянством и выдержкою, у Суворова ни того, ни другого не было; скряга доверяет только себе, Суворов верил чуть не каждому, оттого был всегда обманываем и утешался тем, что он "от этого не сделается мал": скареду такое утешение не придет в голову. Примеры щедрости Суворова были приводимы неоднократно; так настоящий скупец не поступает. Скупость Суворова имела гораздо меньше корней в жадности, чем в ограниченности потребностей. Она, сама себя беспрестанно опровергающая, есть аномалия, непоследовательность, каких много в его натуре, и находится в прямом родстве с его эксцентричностью.

Почти к этой же категории принадлежит и недержание данного слова, в чем Суворов действительно погрешал, хотя не так часто и крупно, как утверждают его хулители. Будучи очень жив, подвижен и впечатлителен, он иногда давал обещания в первом порыве, а потом просто о них забывал, или же отдав соответственное приказание, считал его исполненным, тогда как оно и не переходило в дело. Главными виновниками были исполнители, люди, пользовавшиеся его доверием; они делали из Суворова что хотели и перерешали его решения без дальних опасений. Примеров тому было приведено много. Гнева его не боялись потому, что всегда могли привести в свое извинение причины, соответствующие настроению Суворова в данную минуту. До какой степени его иногда дурачили, можно видеть из разных частностей дела Вронского. Например, однажды на смотру в Варшаве, обиженный подрядчик подал Суворову письменную жалобу, которую тот принял, обещал рассмотреть и положил себе в задний карман; но адъютант, заинтересованный в деле, осторожно вытащил бумагу из кармана и спрятал, в надежде, что Суворов про нее забудет. Это показание Вронского не подтвердилось ни следствием, ни судом, но довольно того, что оно было заявлено, т.е. что подобный случай вовсе не представлялся нелепым [16].

Что касается до страсти Суворова к крепким напиткам, то верность этого обвинения больше чем сомнительна. Молва приписывала ему этот недостаток и держалась много лет упорно при его жизни и по смерти, но многочисленные и весьма солидные свидетельства современников, относящиеся к разным порам его жизни, опровергают её совершенно. Один из таких свидетелей, иностранец, объясняет причину ложной молвы тем, что Суворов, будучи веселого нрава, любил смеяться, шутить и видеть около себя веселые лица, а это могло дать повод к предположению, что веселость его искусственная. Можно

прибавить, что шутки Суворова бывали такого свойства и так прихотливы, что поневоле наводили на подозрение ненормального состояния шутника. Говорили вестовщики, будто он сильно пристрастился к рюмке во время своей опалы и тоскливого житья в с. Кончанском, но Николев, доносивший о разных мелочах его поведения и жизни, ни разу не упоминает о его пристрастии к крепким напиткам. Следующие месяцы были, правда, еще тяжеле для Суворова, и Николев при нем уже не состоял, но из собственного письма Суворова к Хвостову мы видим, что он употреблял вино не каждый день, да и то не иначе, как с водой.

Впрочем есть указания, что во время войны 1799 года, Суворов часто бывал неумерен за столом, ел и пил больше чем нужно и под конец обеда иногда дремал. Кроме того, в феврале 1800 года адъютант его пишет к одному из князей Горчаковых, что Суворов в Кракове захворал и что "это происходит от известной вам его *привычки*, которую он теперь по болезни оставил". Какая это привычка? Может быть неумеренное наружное употребление холодной воды, по нескольку раз в день, несмотря ни на погоду, ни на состояние здоровья; может быть излишество в еде и питье. Если принять последнее, то все-таки неумеренность Суворова не будет тем, что обозначается словом "пьянство". Вернее всего, что в этом отношении, как и в других, все сводилось к капризам его натуры; один из видевших его в конце Швейцарской кампании, говорит: "он ежедневно окачивался холодною водой, одну неделю пил воду, другую крепкие напитки". Может быть тут нет буквальной правды, но надо думать, что характер факта верен" [17].

Под приписываемым Суворову фанатизмом вероятно подразумевалась или религиозная нетерпимость, или национальная исключительность, или и то и другое вместе. Мнение это во всяком случае ошибочно. Как человек верующий и в вере своей убежденный, он с ужасом отворачивался от атеизма, немногим лучше считал бесформенный деизм и признавал заблуждениями всякие вероучения не христианские. Далее этого он не шел. Из всех войн, в которых он участвовал, только одну последнюю ставил он в связь с религией, потому что в революционной Франции атеизм имел государственное значение. Турок он называл "нехристями, басурманами, варварами", но войне с ними не придавал смысла религиозного, а войне с Поляками тем менее. Известно, что высшее напряжение нравственной силы войск было одним из главных его путей к победе, которая тем скорее и вернее давалась в руки, чем "отчаяннее" дрались войска. Самый легкий к тому способ,

который и до Суворова и после него употреблялся без особенной разборчивости, заключался в связывании войны с религиозным элементом; но он к этому средству не прибегал. "Слава, слава, слава", - вот чем завершалось его знаменитое поучение войскам и чем он возбуждал их воинственный дух. Затем, будучи строгим исполнителем церковных уставов и держась неотступно церковного обряда, он однако не олицетворял в них смысла религии и дух её понимал широко. Понимание это обозначалось словом "христианство". Он не был причастен старому русскому воззрению на иноверцев, как на "поганых недоверков"; прося благословения у католических прелатов и священников, прикладываясь к подаваемому ими кресту, служа на С.-Готаре молебен в католической церкви, он делал это не для виду только, а по благочестию. Для вида, для внушения публике, назначались приемы, которых он не употреблял и в России по отношению к православному духовенству, в роде коленопреклонений на улице. На русских раскольников он смотрел как на неразумных и непослушных детей, что представляется совершенно понятным при тогдашней разработке вопроса о расколе. Наконец не мешает припомнить, как дорога была Суворову его единственная дочь и до какой степени он её любил, а между тем жених, которого он считал для нее самым лучшим, был протестант. Для православной родни это обстоятельство казалось большим препятствием к браку, и Суворову понадобилось давать своим советникам уроки терпимости, внушая племяннице: "Груша, не дури: он христианин". Таким образом можно кажется без большого риска придти к выводу, что приписываемый Суворову религиозный фанатизм в действительности не существовал.

В такой же мере не состоятельно мнение о его национальной исключительности. Патриотизм его был горячий, живой, но вместе и сознательный. Любя Россию, русский народ, русскую жизнь с их национальными особенностями, он однако понимал, что национальные физиогномии не могут быть одинаковы. Несмотря на саркастическое свойство своего ума, он не издевался над чем бы то ни было только ради того, что оно не русское; не считал все свое хорошим, все чужое дурным. При самом тщательном изучении Суворова, нельзя найти основы для иного на него взгляда, для приписывания ему чего-нибудь похожего на веру в исключительное призвание России, и т. под. Да и был он не мыслитель, а практический деятель. Он гордился именем русского не потому, чтобы признавал немца или француза низшими людьми, не удостоенными избрания, идущими по особой стезе, а потому, что был родным сыном России, сердце его билось русскою кровью и в полном соответствии с сердцем

действовал разум. Он видел, что Европа ушла дальше России и особенно прельщался картиной современной Англии, но не сделавшись от этого англоманом, он в ту же силу не был и французофобом, и патриотизм не побуждал его "травить" немца или поляка. Перейдя от общего к частностям, увидим то же самое. Изучив в молодости несколько языков и продолжая изучать другие почти до своей кончины, он довольно часто и употреблял их, устно и письменно, не считая это грехом антипатриотическим. Ту же мерку прилагал он и к другим, не терпя в них только слепой подражательности иноземному и обезьянства. Говоря про одного русского сановника, который не умел по-русски писать, Суворов заметил, что это стыдно, но простить все-таки можно, лишь бы он думал по-русски [18].

Суворов между прочим потому еще не может быть причастен узкой quasi- патриотической исключительности или фанатизму, что был представителем не старой, а новой России, вступившей при Петре I на путь общехристианской, европейской цивилизации. За идеалами он не обращался в московский государственный период; наружные признаки, в роде многих его странностей, внешнего благочестия, склада жизни, не имеют значения, опровергающего это утверждение. Во внешнем благочестии Суворова не было вовсе той мертвой обрядности, которую мы видим в до-Петровском периоде; не отступая от формы, Суворов однако не отождествлял эту форму с сущностью, не принимал ее за цель, не дорожил бородой больше, чем головой. А благочестие вообще, вера в догматы православия и исполнение церковных уставов - все это не есть принадлежность одного старого времени. Точно также нельзя приурочить Суворова к старому времени из-за его странностей; они были продуктом его натуры, проявлялись весьма различно, и если имели некоторый оттенок юродства, то это только обнаруживает в Суворове русского человека. Наконец и склад его жизни не исходил из дореформенного периода, потому что если не был похож на обычный современный, то не больше имел общего и с прежним, который по характеру своему был монастырский, Суворовский же - военный. Этот специальный оттенок, придававший жизни Суворова простоту и немногосложность, был, как уже объяснено, его особенностью, которая имела еще и Другую сторону: Суворов, как бы пренебрегавший материальными благами цивилизации, принадлежал ей за то в интеллектуальном отношении.

Лучшим доказательством, что он был человек настоящего (Петровского), а не прошедшего русской истории, служит его взгляд на Петра Великого. Он благоговейно чтил его память,

называл Прометеем, творцом и благодетелем своего народа, государем, вмещающим в себе многих наилучших государей; говорил, что один Петр "обладал тайной выбора людей"; удивлялся его гению "и на ладожском канале, и на полтавском поле"; советовал иностранцам "учиться по-русски для того, чтобы познакомиться с этим великим человеком". В добавок к такому взгляду Суворова на преобразователя, а следовательно и на преобразование, надлежит еще иметь в виду, что Суворов, преданный военному призванию всецело и безраздельно, не мог быть приверженцем дореформенного периода уже из-за одного жалкого состояния в ту эпоху русской военной силы и военного искусства [19].

Как бы впрочем ни были велики вышеприведенные и разные другие недостатки Суворова, от каких бы причин ни происходили и в каких бы формах ни проявлялись, они не умаляли в описываемое время всеобщего восторга и уважения к его особе и внимания к его войскам. Конечно, не все поступали таким образом единственно по внутреннему влечению, многими руководила задняя мысль - закупить союзника в пользу Австрии на будущую кампанию, успокоив его раздражительное настроение. Дамы всех слоев общества, особенно высшего, действовали во главе; не щадя усилий, удваивая свою любезность, они как бы оцепляли Суворова своим очаровательным кругом, снисходительно вынося все его причуды. Между этими дамами выделялась вдова покойного герцога Курляндского со своими красивыми дочерьми; Суворов обратил на них внимание и задумал - устроить с одною из этих девиц брак своего сына. Выбор пал на старшую, согласие последовало. Перед выездом из Праги, Суворов написал об этом Императору, испрашивая разрешения, и просил предстательства у Ростопчина, Согласился и Государь [20].

Аркадию Суворову в то время было всего 15 лет; женитьбой его можно было бы и не торопиться. Трудно сказать положительно, какими побуждениями руководился его отец, устраивая этот брак. Сильной привязанности со стороны невесты не было, что ясно видно из её писем к генералиссимусу и Аркадию в апреле 1800 года. В письме к отцу она говорит, что питает к нему большую привязанность и что, благодаря этому чувству, пожелала с ним породниться. В письме к Аркадию она, не обинуясь, сознается, что подвиги и слава его отца сделали для нее сносной мысль - вступить с ним, Аркадием, в брак и расстаться со своим семейством; называет его холодно "mon bon ami"; упоминает про неприятности, которые на нее отовсюду обрушились вследствие её согласия на это замужество;

прибавляет, что коронованные лица рекомендуют ей разные блестящие партии и т. п. Впрочем, из письма её все-таки видно, что предпочитая брак этот иному, из желания сделаться дочерью знаменитого генералиссимуса, она озабочена долгим молчанием их обоих и неполучением от них проекта брачного контракта. Следовательно, со стороны невесты предположенный союз был ничего больше, как партиею приличия. Таким же он был и со стороны жениха, потому что страстных чувств в Аркадии не замечается, и все дело зародилось по почину его отца. За генералиссимусом очень ухаживали; особа, на которой выбор его остановился, имела громкий титул герцогини Саганской, большое состояние, оценяемое в 3 миллиона, молодость, красоту. Государю Суворов писал: "сходство лет, нрава и душевных свойств обещает сыну моему благополучный брак"; Ростопчину сообщал: "Аркадий хотя и в молодых летах, но я весьма желаю еще при жизни моей иметь ту отраду, чтобы пристроить судьбу его"; в особой записке, вероятно по тому же адресу, говорил: "я ветшаю ежечасно, и сей год дожить не уповаю". Этим и ограничиваются все данные, объясняющие задуманный Суворовым брачный союз его единственного сына [21]. Может быть руководился он еще другими соображениями, но приискивать их и разбирать значило бы вращаться в круге простых догадок. Менее других гадательными представляются два: тщеславие и опасение за будущность сына вследствие некоторых его склонностей. Первое трудно допустить потому, что Суворов приобрел такое знаменитое имя и высокое положение, что женитьба сына на герцогине Саганской едва ли могла очень много щекотать его любочестие. Второе вероятнее.

Князь Аркадий Суворов жил недолго. Находясь на военной службе в чине генерал-лейтенанта и начальствуя дивизией, он 26 лет от роду утонул в Рымнике в 1811 году. Это был высокого роста, стройный, белокурый красавец, обладавший приятным голосом и замечательной физической силой. В глазах его светился природный ясный ум, искрились благородство, честность и прямодушие, на языке всегда было острое, меткое слово. Душа его не знала страха ни в каких случаях и обстоятельствах; смелость и беззаветная храбрость его изумляли и приводили в восторг самых отчаянных смельчаков. Эти душевные качества и вся его природа производили чарующее действие; его невозможно было не уважать и в особенности не любить. Если прибавить сюда обаяние великого имени, то можно принять на веру свидетельство современников, что Аркадий Суворов был идолом офицеров и солдат, и что его преждевременная кончина сопровождалась искренним

сожалением армии и всего русского общества. Но при всех своих огромных и симпатичных достоинствах, он имел и темные стороны. Воспитанием его управляли или неумелые, или чужие люди; учился он кое-чему и кое-как и мало чему выучился; 14-ти лет находился уже при дворе, а потом делал с отцом Итальянскую и Швейцарскую кампании; не лишен был охоты к чтению, но не имея руководящей мысли, мало что от этого приобретал. Господствующею страстью в нем была карточная игра, а за нею охота; вел он жизнь самую беспорядочную; шумные беседы, кутежи, сумасбродные проказы тянулись, чередуясь, непрерывною нитью, и довели его до несправедливой репутации развратника. Никому не делал он заведомого зла, но за то много терпел от других; пользуясь его бесконечной добротой и благородством мыслей, люди темной нравственности, даже просто мошенники, обманывали и обирали его самым наглым образом, так что из всего доставшегося от отца состояния, ко времени кончины Аркадия едва уцелело 1500 душ [22].

Весьма вероятно, что Суворов, имея при себе сына несколько месяцев подряд, заметил в нем беспорядочные склонности, если не знал о них раньше, и задумал прибегнуть к женитьбе, как к радикальному средству. Молодость лет в таком случае не только не могла служить препятствием, но напротив оправдывала спешность меры. Было у Суворова это соображение или нет, во всяком случае ему не удалось исполнить своего намерения. В Праге дело было решено на словах, не оформлено и не закреплено документально; траур в семействе невесты отсрочивал совершение брака на 4 месяца; для составления брачного акта требовалось многое разъяснить и приготовить, например нужно было получить от Государя будущей княгине Суворовой право выезда из России за границу в свои владения [23]. А между тем Суворов-отец вскоре, захворал и к тому времени, когда кончался траур герцогини Саганской, умер; следовательно бракосочетание опять отсрочивалось. Но так как с кончиной генералиссимуса, исчезла главная движущая сила во всем этом деле, то оно и расстроилось.

Суворов ни разу не был вместе с сыном столько времени, как в эту войну. Полюбил ли он его сильнее прежнего, или мог уделять ему больше внимания, но только в переписке по домашним делам с Хвостовым из-за границы, интересы Аркадия занимают видное место, и Суворов как бы объясняет это, говоря, что хочет устроить будущность своего сына, оставив ему все в порядке. А между тем это было трудно, потому что напоминая своему неизменному поверенному о заканчивании или ускорении хода старых дел, он вместе с тем возбуждал и новые. Старые дела

состояли в исках (вероятно Ворцеля, Выгановского и кобринских офицеров), в уплате кое-каких долгов; новые - в покупке новых имений, в обмене старых. Суворову пришла мысль - обменять кобринские деревни на какие-нибудь другие, в коренных русских губерниях, ибо - "русский князь, русские и деревни надобны". Затем указано Хвостову прикупить к кончанскому имению небольшое соседнее, да еще другое, большое; впрочем "предавалось это мудрости" племянника, так как он, Хвостов, может выдумать и что-нибудь получше. Народилось и еще одно новое дело. Когда задумана была сложная операция по обмену деревень, по покупке новых и проч., и внимание Суворова сосредоточилось на интересах сына, то во избежание недоразумений и тяжб между ним и сестрой, потребовалось отменить прежнее завещание и заменить его новым. Впрочем, по обыкновению, один из племянников, князей Горчаковых, сообщая Хвостову о этой новой "идее" Суворова, писал в заключение: "рассмотрите сие и наставьте, как сделать".

С дочерью Суворов переписывался редко, короткими записочками, в роде: "любезная Наташа, за письмо твое тебя целую, здравствуй с детьми, благословение Божие с вами", а иногда и еще короче. Да и вся его корреспонденция с родными и но хозяйственным делам в 1799 году очень не велика объемом и скудна содержанием [24]. Не то чтобы нельзя было улучить время: его требовалось немного, и за ним дело не стало бы; но не доставало охоты, расположения; была физическая возможность, а не было внутренней. Слишком много пришлось перенести Суворову в этот год душевных ощущений самого тяжелого свойства; он утомился до последней степени, так что можно было ожидать острого кризиса, Кризис действительно наступил и, по обыкновению, как раз в то время, когда кипучая деятельность сменилась полным покоем.

Глава XXXVII. Болезнь Суворова, вторичная его опала и кончина; 1800.

Слабость здоровья Суворова в последнее время; появление серьезных болезненных симптомов по выезде Суворова из Праги; остановка его в Кракове и Кобрине. — Развитие болезни; отсутствие медицинской помощи; прибытие врачей; высылка лейб-медика. — Продолжающаяся благосклонность Государя к Суворову; петербургские приготовления к торжественному его приему; мечты Суворова о будущем. — Образ его жизни в Кобрине; домашние и другие дела. — Выезд из Кобрина; внезапная немилость Государя; ухудшение состояния больного; приезд в Петербург. — Существующие мнения о причинах опалы; исследование всех данных; вывод. — Суворов в Петербурге; ухудшение его состояния; кончина; торжественное погребение. — Народное представление о Суворове в форме картинок, преданий и песен; отрывки из песен; одна из легенд.

В последнее время, начиная с невольного пребывания в селе Кончанском, Суворов часто недомогал; явившись на службу, он как будто поправился, но к концу Итальянской кампании снова стал хиреть. Перед Швейцарской кампанией слабость его была так велика, что он едва ходил; стали чаще прежнего побаливать глаза; давали знать о себе старые раны, особенно на ноге, так что не всегда можно было надеть сапог. Швейцарская кампания еще усилила болезненное его состояние; он начал жаловаться на холод, чего прежде не случалось; не оставлял его и кашель,

привязавшийся несколько месяцев назад, и особенно сделался чувствительным ветер. Однажды, в Праге, Суворов ночью озяб, потому что откуда-то дуло; он выскочил из спальни и стал бегать по приемной, ловя вместе с Прохором ветер, - до того он ему прискучил. Не может быть однако сомнения, что главною виною болезненного состояния Суворова были причины нравственные; одни не давали ему душевного покоя в селе Кончанском, другие неотвязно преследовали и мучили за границей. Не поддаваясь во всю свою жизнь никакой крупной страсти, кроме славолюбия, Суворов не мог вынести постоянных ударов судьбы с этой стороны. Непреклонность его характера только усиливала болезненное ощущение, и неотвязные мечты о возобновлении военных действий растравляли душевные раны. Он чувствовал, что слабеет и, по получении звания генералиссимуса, сказал: "велик чин, он меня придавит, недолго мне жить". Это впрочем ни мало не заставляло его принимать какие-нибудь меры предосторожности, в роде например изменения рода жизни, а напротив побуждало бороться с болезнью, настаивая на прежнем режиме. После швейцарского похода, при самом выходе из гор, его видели в самом легком костюме, да и после того он постоянно бравировал опасностью; на одном из смотров, в холодное время, при резком ветре, он был мало того что легко одет, но и мундир, и даже рубашка были у него расстегнуты [1].

Суворов почувствовал себя серьезно нездоровым тотчас по выезде из Праги, а по приезде в Краков должен был остановиться и приняться за лечение. Особенно мучил его кашель, совершенно разбивавший грудь при малейшем ветре. Однако Суворов не поддавался болезни, пробыл в Кракове недолго и пустился в дальнейший путь, соблюдая строгую диету. Борьба была неравная, и 70 лет взяли свое: с трудом дотащился он до Кобрина и здесь слег. Хотя он и написал в Петербург, что остановился только на 4 дня, но такое решение не основывалось ни на чем, кроме надежды, и остановка потребовалась в 10 раз длиннее. Здесь болезнь его развилась и выразилась в новых, небывалых еще симптомах. В половине февраля он пишет одному из своих племянников, что у него "огневица", что 11 дней он ровно ничего не ел, что малейшая крупинка хлеба противнее ему ревеня; "все тело мое в гноище, всякий час слабею, и ежели дня через два тоже будет, я ожидать буду посещения парков". Сыпь и вереда или пузыри, показавшиеся сначала на верхней части тела, стали множиться и распространяться книзу, бросились на ноги, преимущественно в сгибы; ноги стали пухнуть. Больной, отличавшийся всегда особенною чистоплотностью, говорит в письмах своих с отвращением о состоянии, в котором находится,

и с грустью сознает свой близкий конец. "Мне к вам не писать", читаем мы в его письме к Ростопчину: "разве только - простите на веки..." [2].

Действительно болезнь, которую Суворов называл *фликтеною*, развивалась с каждым днем. Врачей первое время не было, и больной лечился, как надо думать, одною диетой; медицинская помощь явилась лишь в Кобрине и то по прошествии некоторого времени. По всей вероятности, в этом виноват был сам Суворов, который вообще не любил лечиться "латинскою кухней"; когда же домашние средства и диета оказались недостаточными, он вспомнил про подаренную ему Императрицей Екатериной "аптечку" и написал Хвостову, чтобы ее непременно разыскали и прислали. Впрочем, надежда на лечение даже с помощью "аптечки" была не велика; Суворов тут же говорит, что желает иметь при себе подарок покойной Императрицы только "для памяти". Как бы то ни было, по совету ли близких, или по собственному решению, Суворов пригласил к себе местных врачей; один приехал из Бреста, другой из Тересполя, третий оказался в числе ближайших помещиков; потом прибыло еще два военных врача. Суворов держался больше одного, Кернисона, местного землевладельца, который находился при нем безотлучно, днем и ночью, окружая его всевозможными попечениями и самым тщательным уходом. "Дружба его меня радикально избавила от смерти", писал он Ростопчину и просил ходатайства о награждении Кернисона чином титулярного советника. Хотя Кернисон на службе не состоял и никакого чина не имел, но Государь немедленно исполнил просьбу Суворова [3].

В бытность свою в Праге и вскоре по выезде оттуда, Суворов расстался почти со всеми своими родными и приближенными, которые разъехались в разные стороны, преимущественно в Петербург, по требованиям службы, так что при нем остались всего двое или трое, в том числе Багратион. Когда болезнь усилилась, Багратион поехал с донесением об этом к Государю, и в Кобрин прискакали посланные Государем сын Суворова и лейб-медик Вейкарт. Новый врач принялся за лечение, но больной его не слушался, спорил с ним и советовался с фельдшером Наумом. "Мне надобна деревенская изба, молитва (был пост), баня, кашица да квас", говорил Суворов врачу в ответ на упреки его за непослушание: "ведь я солдат". Вейкарт на это возражал, что он, Суворов, не солдат, а генералиссимус. "Правда", отвечал Суворов: "но солдат с меня пример берет". Однако, было ли то естественным фазисом болезни, или Вейкарту удалось в некоторой степени переубедить больного, только состояние Суворова стало несколько улучшаться. Князь Аркадий сначала

доносил Государю о своем отце в выражениях неопределенных, говоря между прочим, что Вейкарт рассчитывает скорее на улучшение, чем на ухудшение; но потом стал писать, что болезнь проходит, велика только слабость, которая однако не мешает вскоре (после 15 марта) тронуться в дальнейший путь [4].

Если Вейкартово лечение несколько и пособило, то еще больше пособили приятные вести, приходившие из столицы. Милостивое расположение к Суворову Государя продолжалось неизменно и выказывалось при всяком случае. Император был очень огорчен вестью о его болезни; посылая к нему своего доктора, рекомендовал "воздержность и терпение" и советовал уповать на Бога, Ростопчин писал, что все с нетерпением его ждут "с остальными героями, от злодеев, холода, голода, трудов и Тугута"; что он, Ростопчин, жаждет момента -поцеловать его руку. Писали в Кобрин, что генералиссимусу готовится торжественный прием, вернее сказать триумф; для его особы отведены комнаты в Зимнем дворце; в Гатчине должен его встретить флигель-адъютант с письмом от Государя; придворные кареты приказано выслать до самой Нарвы. Войска предполагалось выстроить шпалерами по обеим сторонам улиц Петербурга и далеко за заставу; они должны были встречать генералиссимуса барабанным боем и криками ура, при пушечной пальбе и колокольном звоне, а вечером приказано зажечь во всей столице иллюминацию. Не мудрено, что подобные вести действовали на Суворова возбудительным образом, крепили его дух и задерживали течение болезни. Очень требовательный и тяжелый в тесном кружке домашних и близких людей, он сделался было от болезни совершенно невыносимым для них и для Вейкарта своею нетерпеливостью, взыскательностью и капризами; но добрые вести из Петербурга подействовали успокоительно. Он повеселел, заводил беспрестанно разговор о милостях Государя, о готовившемся в Петербурге торжестве и пояснял, что все это вылечит его успешнее, чем Вейкарт. В переписке с Хвостовым он вошел в мельчайшие подробности своего въезда в Петербург и последующей жизни и службы. Между прочим он писал, что остановится на последней станции для ночлега; что там его должен встретить сын или племянник с запискою о всем ходе торжества; излагал свои предположения на счет отъезда в деревню и приездов оттуда в Петербург на торжественные дни; разбирал эти дни - когда следует и когда нет, когда пристойно, а когда неприлично; заглядывал в своих расчетах и предположениях даже на год вперед; объяснял свое желание и возможность жить в деревне тем, что и сам "монарх склонен к уединенной жизни", и на все спрашивал совета Хвостова [5].

О житье в деревне Суворов мечтал постоянно, как обыкновенно тяжелобольной человек мечтает о каком-нибудь хорошем последствии выздоровления. В нем была жива наклонность к природе, к безыскусственному; кроме того, несмотря на безграничную благосклонность Государя, он не мог не понимать, что совершенно не годен для военной службы мирного времени, при известных на нее взглядах Императора. Два года перед кампанией 1799 года служили убедительным тому доказательством, которое новыми заслугами Суворова конечно ни в чем не изменялось. Поэтому Суворов предположил жить в деревне, но не в кобринском имении, которое задумал променять, а в Кончанске или по соседству. Он рассчитывал задать там праздник, построить каменный дом с церковью, вместо существовавших деревянных, и обзавестись летним купаньем, купив для последней цели у адмиральши Елмановой, на берегу реки Мсты, небольшую деревню. По обыкновению, задумав что-либо, он сейчас же перешёл к исполнению, и потому требовал, чтобы деревня была куплена немедленно, во что бы то ни стало. Тщетно ему представляли, что хотя местоположение там хорошее и красивое, но купанья нет, потому что в реке все ямы и водовороты; что дом маленький, ветхий, и лесу вокруг никакого; что вся цена деревни 10,000 рублей, а Елманова узнав, что торгует имение генералиссимус, спрашивает 40,000. Суворов стоял на своем и указывал еще на большое и устроенное имение Ровное, Жеребцовых, которое желал бы купить с рассрочкой платы.

Не забывал он и других дел, затеянных в разное время и порученных Хвостову, которому и напоминал о них беспрестанно, упрекая его во "влажности", в летании "за облаками", в "сонливости" и проч. Бедный Хвостов служил ему всегда souffre-douleur'ом (козлом отпущения - фр.), но теперь требования сделались настойчивее, нетерпение увеличилось и не принимались во внимание ни длинная канцелярская процедура, ни обычная судебная волокита. Во всем оказывалась виною медлительность Хвостова; рекомендовалось другим племянникам подгонять его и пособлять ему. Желание устроить как можно скорее земные дела, тоже не давало Суворову покоя. "Хотя бы я и ожился, но много ли мне надобно", пишет он Хвостову: "мне хочется Аркадию все чисто оставить". Озабочивала его и предположенная женитьба сына, так как дело затянулось и встречались разные мелкие недоразумения; просит он о награждении разных лиц за минувшую кампанию; наводит справку - будет ли получать пенсию за орден Марии Терезии; напоминает, что не награжден неаполитанским орденом св.

Января по недоразумению и просит это исправить; пишет, что желал бы иногда показываться в публике в австрийском фельдмаршальском мундире, ибо "великому императору это слава"; признает необходимым иметь при себе постоянно лекаря, его помощника, фельдшера и аптеку; намекает Хвостову: "мне подло, совестно, грех что ни есть испрашивать у щедрого монарха; 900 душ казенных около Кончанска весьма были бы кстати"; вспоминает про три пушки, пожалованные ему Екатериной за последнюю Польскую войну, но доныне не полученные, и проч. и проч. [6].

По временам, когда болезнь ослабевала и являлась некоторая надежда на выздоровление, Суворов возвращался к своим любимым мечтам о кампании будущего года, о средствах к успокоению Европы, говорил и диктовал заметки о последней кампании. Но больше всего он посвящал свое время и свои последние силы Богу, так как был великий пост, который он привык проводить со всею строгостью, предписываемою церковными уставами. Вейкарту это очень не нравилось, особенно употребление пациентом постной пищи; но протестовал он без всякого успеха. Суворов ревностно посещал божественную службу, пел на клиросе, читал апостол, бил бесчисленные земные поклоны и самого Вейкарта заставлял бывать на молитве. Возможность скорой смерти усиливала обычное благочестие Суворова, и он не только во время богослужения, но и в остальные часы дня обращался к Богу, размышляя о предметах религиозных. Одним из образчиков такого настроения может служить его записка с толкованием заповедей. "Первая и вторая заповеди - почтение Бога, Богоматери и святых; оно состоит в избежании от греха; источник его - ложь; сей товарищи - лесть, обман. 3) Изрекать имя Божие со страхом. 4) Молитва. 5) Почтение вышних. 6) Убийство не одним телом, но словом, мыслью и злонамерением. 7) Кража не из одного кармана, но особливо в картах, шашках и обменах. 8) Разуметь в чистоте жизни, юношам отнюдь и звания не выговаривать, не только что спрашивать.... коль паче греческих грехов, упоминаемых в молитвах к причащению, отнюдь не касаться, как у нас их нет и что только служит к беззаконному направлению. 9) Идет к первой и второй, хотя значит только к свидетельству. 10) Кто знатнее, идет к интригам, а вообще.... не желать и не искать ничего. Будь христианин; Бог сам даст и знает что когда дать" [7].

Сохранился также коротенький набросок сцены или разговора между Хароном, Фликтеною и Меркурием, из которого между прочим видно, что мысли и желания больного Суворова, когда согревала его надежда на выздоровление, устремлялись

прежде всего к Петербургу и Государю. Между тем осуществление этой мечты все как будто не приближалось, и в кобринском доме Суворова царили уныние, тоска, скука. Не было и в помине веселых обедов, как за границей; приезжали разные лица по разным надобностям и приглашались к столу, но Суворов не показывался, или появлялся на несколько мгновений, чтобы приветствовать гостей и затем удалиться. Один из приближенных к Суворову, Фукс, даже просил генерал-прокурора вызвать его "из здешнего печального места". С большой натяжкой Вейкарт наконец разрешил тронуться в дальнейший путь, да и то на разных условиях, между прочим чтобы ехать как можно тише. В Петербурге очень обрадовались полученному об этом известию, приняв его за доказательство выздоровления Суворова, но жестоко ошибались. Отправился в столицу не Суворов, а скорее его призрак или тень: ехал он в дормезе, лежал на перине, заблаговременно сообщив по пути вперед, чтобы не было никаких торжественных встреч и проводов [8].

Хотя нет подробных медицинских данных о болезни Суворова, её начале, ходе и развитии, но по всем дошедшим сведениям можно кажется безошибочно заключить, что выздоровление его было больше, чем сомнительно. Так было до выезда из Кобрина, а во время пути в Петербург постиг его новый, тяжкий удар, которого он уже не мог вынести: внезапная немилость Государя. Марта 20, при пароле, отдано было в Петербурге высочайшее повеление: "вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус князь Суворов имел при корпусе своем, по старому обычаю, непременного дежурного генерала, что и дается на замечание всей армии". В тот же день последовал Суворову высочайший рескрипт. "Господин генералиссимус, князь Италийский, граф Суворов Рымникский. Дошло до сведения моего, что во время командования вами войсками моими за границею, имели вы при себе генерала, коего называли дежурным, вопреки всех моих установлений и высочайшего устава; то и удивляясь оному, повелеваю вам уведомить меня, что вас понудило сие сделать". Неизвестно, последовал ли от Суворова ответ на этот грозный рескрипт и если да, то в чем состоял. Не знаем также, когда именно получил Суворов это высочайшее повеление и каково было первое, произведенное им впечатление; известно только, что немилость Государя объявили больному не сразу, и что он продолжал путь под тяжелым нравственным гнетом мало понятной опалы.

Первые дни он хотя с трудом, но выносил дорогу; потом это сделалось ему не по силам, и он принужден был остановиться в деревне, не вдалеке от Вильны. Лежа на лавке, в крестьянской

избе, он стонал в голос, перемежая стоны молитвами и жалея, что не умер в Италии. Однако припадки болезни мало-помалу стихли, больного опять положили в карету и повезли дальше. При каждой остановке народ толпился у кареты, всякому хотелось во что бы то ни стало взглянуть на знаменитого героя. В Риге, где ему еще больше полегчало, он решился остановиться на отдых, тем паче, что наступал праздник св. Пасхи, который он привык особенно чтить. Здесь Суворов надел на себя через силу мундир, был в церкви и разгавливался у генерал-губернатора; но такое насилие над собой не прошло ему даром: дальнейший путь он должен был продолжать еще медленнее прежнего, и на переезд до Петербурга потребовались целые две недели. В Стрельне встретили его многие из Петербурга, окружили дормез, подносили ему фрукты и цветы, дамы поднимали детей под его благословение; тронутый Суворов благодарил дам, благословлял детей. Следовало однако торопиться, чтобы прибыть в Петербург в тот же день, и Суворов поехал дальше. Все приготовления к торжественной встрече были отменены; он въехал в столицу 20 апреля в 10 часов вечера как бы тайком, медленно проехал по улицам до пустынной Коломны, остановился в доме Хвостова, на Крюковом канале, между Екатерининским каналом и Фонтанной, и тотчас же слег в постель. Явился от Государя генерал, но не будучи до Суворова допущен, оставил записку, в которой было сказано, что генералиссимусу не приказано являться Государю [9].

Поворот в отношениях Государя к Суворову был до того внезапен и крут, что породил множество толкований и догадок. Одни говорят, что разочаровавшись в тесном своем сближении с Австрией и Англией, Павел I невзлюбил и тех, кто был участником этого сближения. Ростопчин в мае 1800 года говорит, что за разрушение союза с Венским двором обозначены четыре жертвы - Суворов, С. Воронцов, Англия и он, Ростопчин; что первые три уже принесены, а последний ожидает своего жребия (впал в немилость чрез 9 месяцев, за две недели до кончины Государя). Другие утверждают, что Павел I, обманутый союзниками, особенно Австрией, обрушился со своим гневом на Суворова за то, что тот не открыл ему своевременно австрийских замыслов и козней. Третьи говорят, что Суворов своим неуступчивым образом действий с Венским кабинетом был главною причиною разрыва коалиции, что он настроил своего Государя во враждебном смысле к союзнику и что именно поэтому разразилась над ним несколько позже гроза. Один из историков свидетельствует, будто некоторые офицеры Суворовского штаба предвидели с самого начала Итальянской кампании возможность опалы их начальника и собрали

многочисленные документы в его защиту, но в чем состояли эти оправдательные статьи, не говорит. Некоторые приписывают внезапную немилость Государя к победоносному полководцу, между прочим, несправедливости Суворова в назначении наград и явному пристрастию его к родственникам и приближенным. Есть такие, которые главную причину опалы находят в самих указаниях Государя, т.е. в отступлениях Суворова от устава и правил. Существует также догадка, будто немилостью Государя Суворов обязан великому князю Константину Павловичу, который невзлюбил генералиссимуса со времени дела при Басиньяне. Наконец, очень многие указывают на интриги завистников и недоброжелателей Суворова, как на главную, если не единственную причину разразившейся внезапной опалы, причем допускается предположение, что к этой категории лиц принадлежал и близкий к генералиссимусу Фукс. Все это дело остается поныне не разъясненным, и один из историков Суворова высказывает мысль, что оно, по всей вероятности, и не будет разъяснено. Таким образом последняя опала Суворова представляется фактом, который заслуживает внимательного рассмотрения.

Император Павел был сам руководителем иностранной политики России, особенно при составлении коалиции против Франции. Это видно между прочим из принципа, которого держались: преследовалась идея, соответствующая рыцарскому, благородному характеру Государя и его безусловным монархическим воззрениям, а насущные интересы, реальная почва пренебрегались. Если и были тут чьи либо советы или влияние, то во всяком случае они Павлом I не признавались. Не даром же, после смерти Безбородки, Государь, видя общую скорбь, сказал с досадой: "у меня все - Безбородки", а в феврале 1800 года отдал повеление: "сказать графу Панину (вице-канцлеру), чтобы меньше говорил с министрами и что он ни что иное, как инструмент" [10]. При таком отрицании всякого другого значения в политике, кроме своего личного, Император Павел мог винить лишь себя в последствиях. Неудовольствие непроизвольное, нервическое конечно могло быть, но тогда, при известной скорости Государя на всякого рода решения, должны были бы пострадать разом все участники дела; между тем самый главный из них, Ростопчин, долгое еще время оставался в милости и у дел.

Трудно поверить также и тому, чтобы в опале Суворова. играло видную роль неудовольствие на него Государя за позднее раскрытие своекорыстных замыслов Венского двора; Суворов сообщил в Петербург о характере венской политики в Италии

тотчас, как только виды этой политики ясно обнаружились. Да и мог ли Государь требовать от своего полководца, находившегося во главе армии, того, что лежало на прямой обязанности русской дипломатической миссии в Вене? В такой же мере, если еще не больше, неверно предположение и о неудовольствии Государя на Суворова, как на главного виновника разрушения коалиции. Из хода недоразумений и неудовольствий между Суворовым и Венским двором можно было кажется убедиться, что не самолюбие, не чрезмерная требовательность или неуживчивость Суворова произвели разрыв, а совершенное различие в основных целях союзников, как только оно выяснилось. Припомним также, что раньше первых жалоб Суворова на Венский двор и на гофкригсрат, император Павел уже предвидел возможность своекорыстного направления венской политики, что и выразил в данном Ростопчину в половине мая повелении.

Минуя бездоказательное свидетельство, будто штаб Суворова ожидал заранее немилости Государя к главнокомандующему и собирал оправдательные документы, нельзя не остановиться на обвинении Суворова в несправедливостях и пристрастии к родственникам и приближенным. Но для того, чтобы оценить, в какой мере основательно это обвинение, нужно прежде знать, кем он был окружен в последнюю войну.

В должности состоявших при его особе, также адъютантов, волонтеров и проч., находилось при Суворове много лиц, которые то прибывали, то убывали. Все время или большую его часть находим при Суворове генерал-майора князя Андрея Горчакова, полковника Лаврова, майоров Румянцева и барона Розена, Фукса (под конец действ. статский советник), штабс-капитана Ставракова; потом видим полковника Кушникова, поручика Кригера и некоторых других. Из всех этих лиц, родственником Суворову приходился только князь Горчаков; Розен был сын его приятеля; Румянцев - деревенский сосед из мелкопоместных; Ставраков - один из офицеров, поселившихся в кобринском имении, который добровольно отступился от своего надела, когда увидел, что мысли Суворова на этот счет обстоятельствами изменились. В этом тесном кружке приближенных Суворова не было ни одного крупного, выдающегося в каком-нибудь отношении лица, но он был вообще порядочнее и приличнее, чем штабы Суворова в прежние войны. Общим уважением пользовался Кушников; правитель канцелярии Лавров был хороший делец; Ставракова, Румянцева, Кригера не видать ни в чем; о Фуксе будет сказано ниже [11].

Что некоторые из приближенных злоупотребляли доверием Суворова, в этом нет сомнения. В письме его племянника к

Хвостову значится: "скажите Тизенгаузену, что его сын рекомендован, хотя ничего почти не делал; также и гр. Шувалов;.. скажите гр. П. Уварову, что я его брата хотел втереть в осаду Серавалле, чтобы доставить рекомендацию, да он на ту пору занемог немного". По поводу одной подобной же просьбы говорится: "ежели можно, не упущу обоброчить, но Римский император сам скупится да и не хочет допустить воспользоваться нам Сардинским королем; король отложил свой приезд, а тут бы кожуринку можно было содрать". Эти немногие примеры достаточны для убеждения, что в штабе главнокомандующего наградные дела велись не совсем чисто и что тут действовали пружины, Суворову не заметные.

Кроме того и он сам грешил иногда против справедливости; но факты подобного рода существовали всюду и были явлением общим: при Суворове делалось тоже самое, что и при других. Было бы ошибкой давать им именно при Суворове широкие размеры и специальное значение. Предметом ходатайств Суворова бывали постоянно лица, служившие в войсках; про штабных и близких он конечно не забывал, но они не занимали весь первый план, не оттирали остальных. Пристрастие его было заметно преимущественно в назначении иностранных орденов; но Государь, как видно, считал это естественным или уважительным, ибо утверждал представления без всяких перемен; он не затруднился бы поступать иначе, если бы находил тут несправедливость или злоупотребление. Кроме того, не все случаи несправедливостей могут быть отнесены именно к Суворову. Например говорят, что он назначил орден Марии Терезии старшему своему племяннику, князю Алексею Горчакову, хотя тот в итальянской армии совсем не служил, а находился в войсках Римского-Корсакова. Орден действительно был назначен старшему Горчакову, который нашел неудобным принять эту награду и от нее отказался, так как она давалась за Итальянскую кампанию. Но орден назначил сам император Франц, вероятно желая показать свое внимание Суворову и, несмотря на отказ Горчакова, настоял на своем пожаловании, что видно из его рескрипта от 2 января (22 декабря). До получения этого рескрипта, Суворов возложил было орден на другого, но император Павел не соизволил и тоже повелел дать эту награду никому другому, как князю Алексею Горчакову [12]. Изъявляя свое благоволение Суворову прямо и косвенно, Павел I собственной инициативой жаловал его родных и близких, не скрывая, что это делается ради заслуг генералиссимуса. Так, того же Алексея Горчакова (генерала, действительно достойного), он наградил орденом св. Александра Невского, "уважая службу и особу дяди".

Вообще тщательное изучение этого предмета приводит к заключению, что раздача отличий и наград не могла быть причиною неудовольствия Государя на Суворова ни коим образом. Злоупотребления же близких к генералиссимусу лиц, в виде поползновения "обоброчить" кого-либо, или "содрать кожуринку", или "втереть" в число отличившихся лицо, не сделавшее ровно ничего, - остались скрытыми и никому не известными, по крайней мере не проскакивает нигде ни малейшего намека в противоположном смысле [13].

Тоже самое можно сказать и о хозяйственных злоупотреблениях, ежели они существовали. Хотя вся провиантская часть ведалась Австрийцами, все-таки возможность хищений и воровства не была совершенно закрыта, однако ничего подобного злоупотреблениям в последнюю Польскую войну теперь не обнаружилось, так что с этой стороны Суворов в глазах Государя был совсем чист.

Нельзя того же сказать относительно исполнения Суворовым устава и правил, касающихся механизма службы вообще и порядка управления армией в частности. Мы знаем, что Государь напутствовал Суворова в Италию словами: "веди войну по своему, как умеешь", но это неопределенное выражение могло быть толкуемо и понимаемо на разные лады. До нас дошли разноречивые свидетельства о характере и размере отступлений, допущенных Суворовым в русских войсках за границей. Одни говорят, будто он не сохранил "ни одного из введенных императором Павлом регламентов", но в этом известии есть очевидное преувеличение, опровергаемое фактами. По словам других, совершенно не употреблялись штиблеты, унтер-офицерские 4-аршинные алебарды изрублены на дрова в Альпах и отчасти в Италии, офицерские эспонтоны брошены, применялся временами рассыпной строй. Великий князь Константин впоследствии докладывал Государю дважды, что обмундирование и снаряжение войск оказались в походе неудобными; Государь как будто подался на доводы и приказал сыну представить образцы более удобной экипировки; но когда увидел, что предлагаемое великим князем напоминает несколько Потемкинское снаряжение, то страшно рассердился. Таким образом легко быть может, что Императору Павлу не нравились допущенные Суворовым отступления от уставов; но так как они вызывались необходимостью и касались только практического применения, в виде временной меры, не посягая на букву самого регламента, то в виду данного Суворову полномочия, Павел I едва ли мог считать но этому поводу генералиссимуса ослушником и быть им недовольным за самовольство [14].

За то Суворов провинился несомненно в организации высшего управления армией, восстановив уничтоженную Государем должность дежурного генерала. Это сделано было не почему иному, как по старой, издавна усвоенной привычке; к новым порядкам привыкнуть еще не успели и исполнением их затруднялись. Должность дежурного генерала исправляли при Суворове разные лица; сначала Ферстер, в продолжение приблизительно 3 месяцев, а может быть и больше; потом не видно кто именно, может статься никто; затем, на возвратном пути в Россию, старший из Горчаковых, а после него Милорадович. Узнал об этом Государь не по доносу, а случайно, прочитав в рапорте генерал-лейтенанта Баура о получении какого-то приказания от Суворова чрез дежурного генерала Милорадовича, и с этого момента прежнее свое благоволение к генералиссимусу сменил полною к нему немилостию.

Многие впрочем не считают этого случая причиною немилости и ищут ее в интригах завистников и недоброжелателей Суворова. У него всегда бывали враги, не было недостатка в них и теперь, когда он так высоко поднялся; они только притихли. Весьма возможное дело, что зависть и недоброжелательство, улучив время, пустились в происки; только эта подземная работа оставила по себе очень немногие признаки. Одно из близких к Суворову лиц рассказывает, что к числу самых отъявленных врагов или завистников генералиссимуса принадлежал граф Пален (в 1800 году петербургский генерал-губернатор), который зная близко характер Императора и пользуясь его доверием, неоднократно пытался косвенными внушениями поколебать его благосклонность к Суворову. Когда милость Государя к генералиссимусу дошла до апогея, и в Петербурге готовилась торжественная встреча победоносному вождю с оказанием ему царских военных почестей, Пален спросил у Императора, не прикажет ли он также, чтобы при встрече с Суворовым на улицах, все выходили из экипажей для его приветствования, как это делается для особы Императора. "Как же, сударь", отвечал Государь: "я сам, как встречу князя, выйду из кареты". На этот раз маневр, рассчитанный на возбуждение в Государе ревнивой подозрительности, не удался, но дальнейшие попытки не прекратились. Внушалось мимоходом, к слову, стороною и другими подобными путями, что Суворов не питает к Государю должной преданности, а потому не хочет ехать в Петербург; говорилось, что с тех пор, как он попал в члены королевской фамилии, у него зародились честолюбивые замыслы, подданному не подобающие; что признаком такого настроения служит затеянный им брачный союз сына с принцессой

Саганской, а также самовольное учреждение должности дежурного генерала, полагаемой по закону только при Государе. Такой способ действий всегда и всюду практикуется, потому что, несмотря на свою избитость и легковесность, он при известных условиях часто удается, также например как и грубая лесть. Другое дело - точно ли эти и подобные внушения могут быть в настоящем случае приняты за исходную точку совершившегося в судьбе Суворова переворота? К этому предмету мы возвратимся вскоре [15].

В число недоброжелателей Суворова некоторые включают великого князя Константина Павловича [16], другие Фукса. Что касается первого, то никаких фактов для подобного заключения не существует, а есть только догадка, основанная на неприятностях, полученных Константином Павловичем от Суворова за дело при Басиньяне. Этого слишком недостаточно. Начать с того, что неприятность великому князю была, так сказать келейная, домашняя, и он конечно понимал, что доведи Суворов о случившемся происшествии до сведения Государя, то результат был бы для него, великого князя, гораздо хуже. Затем, последующая жизнь Константина Павловича вовсе не обнаруживает в нем подобной непримиримой злопамятности. Наконец, довольно многочисленные современные мемуары, достойные внимания, в том числе принадлежащие лицу, приближенному к великому князю и делавшему с ним кампанию 1799 года, не дают данных в пользу высказанного выше предположения. Есть напротив гораздо больше поводов для заключения, что великий князь если и не был горячим поклонником Суворова, то все-таки благоволил к нему.

Вопрос о Фуксе разрешается таким же образом. Первоначально для заграничной войны предназначался один корпус Розенберга. Генерал Линденер сделал донос, что в рядах этого корпуса завелись вольнодумцы, и что Французы предполагают увеличить их число, распространяя в полках брошюры революционного содержания. Розенбергу приказано было обратить на этот предмет особенное внимание, и для производства такого рода дел командирован к нему состоявший на службе в коллегии иностранных дел статский советник Фукс. Посылая Фукса, генерал-прокурор писал Розенбергу: "а как он имеет и другие препоручения, то в нужных обстоятельствах, по требованиям его, делайте ему пособие, и донесения его доставляйте ко мне". Эти "другие препоручения" заключались собственно в том же самом, что предписывалось Розенбергу, т.е. в тайном надзоре за всеми и за всем, и не только в смысле политической благонадежности, но вообще, чем конечно

обусловливалась и необходимость прямых донесений Фукса генерал-прокурору. Не Розенбергу, а Фуксу сообщен донос Линденера на предосудительный образ мыслей некоторых офицеров Розенбергова корпуса, особенно Ломоносова и Буланина; ему же приказано следить, чтобы книга "Les droits de l'homme" не проскользнула в ряды войск; велено разузнавать о книгопродавце Дюране, пробирающемся в Россию; о трех французских эмиссарах, посланных в русский корпус для пропаганды революционных идей, и т.п. Позже, когда отправка русских войск за границу не ограничилась одним корпусом Розенберга, и Суворов был назначен главнокомандующим, Фуксу дано было приказание - находиться по-прежнему безотлучно при корпусе Розенберга, но иметь наблюдение и за прочими войсками, донося о всем замеченном генерал-прокурору [17].

Познакомившись с Фуксом, Суворов взял его в апреле месяце к себе и, как доносил Фукс, стал употреблять его "по всем военным письменным делам". В Петербурге ничего против этого не имели; даже когда Фукс донес несколько позже, не без оттенка гордости, что Суворов поручил ему ведение "иностранной переписки, военных и дипломатических дел, а также журнала военных действий", - ровно ничего не возражали и иногда торопили Фукса составлением запаздывавших донесений и сведений. Разумеется, первоначальная миссия Фукса оставалась во всей своей силе: он продолжал сохранять свое независимое положение и посылал донесения по прежнему прямо генерал-прокурору.

В донесениях своих Фукс постоянно пишет, что все обстоит благополучно, что признаков революционной пропаганды в войсках не замечается ни малейших, не исключая Ломоносова и Буланина; что надзор высшего начальства строгий и бдительный. Не довольствуясь этою стороною предмета, он касается и всего прочего, хвалит дисциплину, превозносит русские войска, "благодаря преобразованиям Государя, доведшего военное искусство до высшей степени совершенства": доносит о разных политических слухах, пишет о ходе военных действий, представляет даже планы некоторых сражений и проч. Дурных отзывов Фукс не дает ни о ком из Русских, кроме посла Разумовского, за его надменность с соотечественниками, и генерала Львова, за дурное обращение с жителями; Австрийцев же выставляет с невыгодной стороны. О Суворове, в смысле его характеристики или аттестации, он не пишет ничего, но изредка представляет копии с некоторых важнейших бумаг, впрочем без всякой видимой причины или руководящей мысли. Так он представил копию с рескрипта Франца II к Суворову, где успехи

последнего приписывались главным образом счастью; Павел I был очень доволен, получив этот любопытный документ, и поручил Фуксу достать и прислать копию с ответа Суворова; но этого Фуксу сделать не удалось. Отношения между Фуксом и Суворовым постоянно сохранялись хорошие; никаких неудовольствий ни с которой стороны не замечается; по-видимому доволен своим агентом и генерал-прокурор, так что Фукс то по своему, то по военному начальству получает награды или прибавки содержания. Вообще в донесениях Фукса, посылавшихся помимо главнокомандующего, нет решительно ничего такого, что представляло бы Суворова со сколько-нибудь невыгодной стороны, или что могло бы дать повод к неудовольствию Государя на какие-нибудь беспорядки или неустройства в войсках [18].

Не противоречит этому выводу и то обстоятельство, которое указывается одним из историков, допускающим предположение, что Фукс не был чужд происков завистников против генералиссимуса. Князь Андрей Горчаков в ноябре 1799 года просит Хвостова употребить свое влияние, чтобы Фукс был из армии отозван, потому что он "вдруг теперь зачал себе задавать тоны, теряя уважение к фельдмаршалу и к его приказаниям, выискивает разные привязки и таковые, что Государь наш всемилостивейший, получа от него какие-нибудь ложные клеветы, может придти в гнев, не полагая, чтобы кто-нибудь дерзнул Государю ложно донести.... Фельдмаршал полагал г. Фукса яко помощника себе и для того поручал ему исправление многих текущих дел, но ныне он объявил, что он не зависит от фельдмаршала, а имеет секретные поручения, и фельдмаршал не может его иначе ни во что употреблять, как когда сам г. Фукс захочет" [19]. Вся эта тирада может быть принята на веру только условно и с большою осторожностью. Мы видели, что в донесениях Фукса не было ровно ничего, сколько-нибудь неблагоприятного Суворову; знаем также, что Фукс действительно имел при армии самостоятельное положение. Легко быть может, что у него произошли какие-нибудь мимолетные столкновения с Суворовым (скорее - с его приближенными), но они никакого следа по себе не оставили. По крайней мере по всем данным, последующие отношения между Суворовым и Фуксом были так же хороши, как и прежде, и в переписке самого Суворова нет и тени неудовольствия на Фукса. Вернее всего, что в тесном кружке близких к генералиссимусу лиц произошли какие-нибудь дрязги, столкновения самолюбий, мелких личных интересов и тому подобное, что этому кружку было вполне свойственно.

Таким образом заподозривание Фукса в интриге против Суворова или в недоброжелательстве к нему должно быть, по бездоказательности, отвергнуто.

Не отыскиваются причины к неудовольствию Государя на генералиссимуса и в официальной переписке. Тут мы встречаем только простые замечания, то есть указания Государя на разные мелочи, которые не исполняются, а должны быть исполняемы. Приехало в Петербург одно частное лицо с паспортом от Розенберга, - впредь выдавать паспорты только за подписью Суворова; начальники отрядов иногда не обозначаются поименно, - впредь обозначать; офицерские вакансии немедленно замещать, представляя Государю к производству унтер-офицеров даже из других полков; арестован майор шефом полка без объяснения в донесении вины, - донести немедленно и на будущее время обозначать. Несколько крупнее других представляется один случай: в гусарском полку огромный недостаток строевых лошадей; - велено полкового командира отставить от службы и приказать ему явиться в генерал-аудиториат на следствие. Лишь единожды просвечивает в словах Государева рескрипта легкое неудовольствие, именно по поводу проектированного Суворовым плана будущей кампании, где предполагается составлять армии из русских и австрийских войск на том основании, что некоторые отрасли у Австрийцев лучше, чем в русской армии. По этому поводу Государь, отвечая Суворову, пишет с иронией: "признанные вами недостатки в войсках наших по частям артиллерийской, квартирмейстерской и провиантской и большая превосходность Австрийцев во всех оных частях противу нас, заставляют меня более держаться намерения возвратить свои войска домой и оставить Австрийцев одних пользоваться преимуществами, которые им дает совершенность их в военном искусстве". Однако никаких дальнейших последствий это неудовольствие не имело, и до парольного повеления 20 марта, т. е. целые 2 1/2 месяца, Государь продолжал оказывать Суворову неизменную благосклонность [20].

Это подробное рассмотрение всех обстоятельств, из которых могла возникнуть немилость Павла I к Суворову, остается дополнить разве еще одним мелочным указанием. Мы видели раньше, что при взрыве Государева негодования на Венский двор за его эгоистическую политику, Ростопчин написал между прочим Суворову, что Государю желательно, чтобы он, Суворов, отказался от звания австрийского фельдмаршала, в виду неблагодарности к нему союзного двора. Так как это не было приказанием, да и высказано было мимоходом, то Суворов не обратил особенного внимания на слова письма и еще писал Хвостову, что считает

приличным показываться иногда в публику в австрийском мундире. Вот все, что только можно собрать для объяснения постигшей его затем немилости. Самовольное учреждение им должности дежурного генерала и инсинуации завистников составляют единственное объяснение немилости, но очевидно мотивы эти слишком мелки. Заслуги Суворова были так велики и благосклонность к нему Государя так беспримерна и необычайна, что "дежурный генерал" слишком ничтожен для их противовеса, да и происки завистников тоже, ибо Император Павел не любил посторонних внушений и очень ревниво блюл свою личную самостоятельность. Все это могло служит разве последней каплей в переполненном сосуде, или поводом к обнаружению уже назревшей немилости, но не самою *причиною* немилости. Причину следует искать не тут; она заключается не в поступках Суворова, а в духовной натуре Императора Павла.

Царствование Павла Петровича было непродолжительно, но и в этот короткий срок характерные особенности Государя успели развиться до проявлений истинно-болезненных. Не сдерживаемая никакой внутренней силой прихоть, или увлечение минуты, или упрямство, или все это в совокупности, заступало в Павле I место серьезного убеждения, а непомерная экзальтация раздувала всякую идею, им овладевавшую, до изумительного увеличения. Впечатлительность, восприимчивость Павла I дошли до такого развития, что настроение его духа почти никогда не было спокойным, и Государь постоянно вращался в крайностях, доходя то до безграничного великодушия, то до неудержимой страсти, то наконец (особенно в последнее время жизни) до какой-то слепой ярости. Перемены в нем были беспрестанные, неожиданные и чрезвычайно резкие; чем сильнее было возбуждение, тем круче наступала реакция. Изменчивость эта была тем бедственнее, что каждое движение больной души Павла Петровича тотчас же переходило в дело, и решение приводилось в исполнение с такою бурною стремительностью, как будто отсутствие подобного спеха способно было нанести прямой ущерб авторитету верховной власти.

В это царствование завтра не было логическим последствием настоящего дня; беду нельзя было предвидеть, и она налетала внезапно, без предваряющих симптомов. Никто не был уверен в своем завтрашнем дне; очень многие государственные люди, не исключая пользовавшихся долгою благосклонностью Государя, держали постоянно наготове экипаж, чтобы отправиться с курьером по первому приказанию. Подозрительность или недоверчивость Павла I была так велика, что ее не мог избежать решительно никто, без исключения. В октябре 1798 года повелено

- всех курьеров, приезжающих из за границы, направлять прямо во дворец, не рассылая никому привезенных ими писем. В ноябре приказано несколько почт вскрывать письма к князю Безбородко; тоже самое делалось около того же времени с перепискою князя Репнина и фрейлины Нелидовой; в 1800 году снова приказано наблюдать за письмами Репнина в чужие края. По временам производилась перлюстрация писем и других лиц, даже великих княгинь Анны Павловны и Елизаветы Алексеевны; распоряжение это касалось одно время и корреспонденции между Императрицей и фрейлиной Нелидовой. Раздражительность Государя тоже высказывалась так неожиданно и вследствие таких поводов, которые по-видимому ничего не значили. Однажды происходил развод на сильном морозе, с резким ветром; проходя мимо князя Репнина, Государь у него спросил: "каково, князь Николай Васильевич?" - Холодно, Ваше Величество, - отвечал Репнин. Когда после развода поехали во дворец, и Репнин хотел, по обыкновению, пройти в кабинет Государя, то камердинер остановил его, сказав: "не велено пускать тех, кому холодно" [21].

Вообще раздражительность, нетерпимость, недоверчивость, подозрительность Павла Петровича так развились, что не могли быть парализуемы или хоть ослабляемы ничем. Легко понять, как мало обеспечена была судьба тех, кто держал себя в это нервозное царствование как в обыкновенное, нормальное время. Благосклонность Государя, признание им заслуг, самые выдающиеся заявления монаршей благодарности, - все это не только не спасало от опасности, но напротив увеличивало ее. Чем больше Павел I отличал и возвышал своего верного, усердного и способного слугу, чем осязательнее выражалось его благоволение, тем ближе была вероятность реакции и немилости. Вознестись высоко, значило и упасть глубоко. Почти никто из лиц, пользовавшихся особенным доверием Павла Петровича, не избег этой участи; немногие, отличавшиеся благоразумием и практическим взглядом на жизнь, вовремя выходили в отставку и только потому не подошли под общее правило. Суворов подвергся только общей участи, попав внезапно под опалу, и если опала его была явлением особенно заметным, то единственно потому, что он сам был человек особенно заметный, и имя его гремело во всей Европе. Чему подвергся Суворов, почти тоже самое случилось несколько раньше и с князем Репниным. В 1798 году он был послан в Берлин и в Вену с поручением - отвлечь Пруссию от дружеских сношений с Францией и договориться с Австрией о совместном действии против республики. Посольство его не имело успеха, и Репнин впал в немилость. В Берлине он получал от Государя весьма благосклонные письма, в Вене два

собственноручных и того милостивее, в Люблине тоже собственноручное с приглашением ехать прямо в Петербург: "дать себя обнять". В Бресте его застал именной указ - в Петербург не ездить; указ этот отправлен на другой день после письма в Люблин, а чрез несколько часов после указа послано Репнину повеление - остаться в Вильне. Несколько погодя, Репнин подал прошение об отставке, уволен, уехал в Москву, находился в отставке до самой кончины Павла I и по временам подвергался полицейскому надзору в виде распечатывания писем [22].

Сходство в опале Репнина и Суворова конечно не полное, но действующая сила и её побуждения в сущности одни и те же; кроме того следует принять в расчет, что к Репнину Государь чувствовал гораздо больше расположения, чем к Суворову. К последнему он питал некоторое недоверие; Суворов в нем возбуждал какое-то смутное опасение; в отношениях Государя к знаменитому полководцу просвечивал недостаток полной искренности. Все это, как мы видели в своем месте, существовало перед Французской войной; подвиги Суворова в эту войну не вполне очистили атмосферу: Государь все как будто держался на стороже и не хотел вполне отдаться чувству признательности, которое в нем сильно говорило. Причина тому, между прочим, должна заключаться в первой опале Суворова и обстоятельствах, ее породивших, а высказывалась эта опасливость в разных мелких непоследовательностях, преимущественно же в отказе Суворову титула *светлости*.

В короткое царствование Павла I создано немало светлейших князей, и раньше, и позже Суворова, Безбородко был пожалован в князья с титулом "светлости"; Лопухин, пожалованный в князья же, получил этот титул три месяца спустя по особому указу. В указе о пожаловании Суворова в князья (8 августа 1799 года) было сказано, что жалуется ему княжеское достоинство с титулом Италийского; про "светлость" или "сиятельство" не упоминалось, а на вопрос генерал-прокурора (как потом стало известно) при самом пожаловании, Государь отвечал, что новому князю присваивается титул "сиятельства". Затем грамоты на княжеское достоинство не было выдано ни в это, ни в следующее царствование; сделано это лишь полстолетия спустя. Неупоминание в указе про титул породило недоразумение; разные места и лица стали титуловать Суворова не одинаково, одни "светлостью", другие "сиятельством". Так, состоявший при Государе в роде дежурного генерала граф (впоследствии князь) Ливен титуловал Суворова "светлостью", посол Разумовский тоже; Колычев употреблял то тот, то другой титул; Ростопчин писал постоянно "сиятельство"; Хвостов тоже; Государь называл

Суворова в своих рескриптах "вы, князь, фельдмаршал, генералиссимус", не титулуя иначе; исключением служат лишь один рескрипт и одна записка, где употреблено "сиятельство", а не "светлость". Суворов, к удивлению, относился к этой разноголосице довольно безучастно и не разъяснял недоразумения; но военная коллегия, изготовив полный титул генералиссимуса, приняла в руководство пример князя Меншикова и назвав Суворова "светлостью", в таком виде поднесла документ на высочайшее утверждение. Государь конфирмовал все, кроме "светлости", в ошибке этой упрекнул президента военной коллегии и тогда же, 22 ноября, приказал объявить всем присутственным местам, чтобы генералиссимусу князю Суворову "не утвержденного указом титула светлости впредь не давать". После этого все, называвшие Суворова "светлостью", стали титуловать его "сиятельством", в том числе и граф Ливен [23].

Это высочайшее повеление последовало в то время, когда благосклонность Государя к Суворову дошла почти до своего апогея, и по светлому фону признательности монаршей не пробегало ни одно облачко. После того милость Павла I продолжала расти, заявления благоволения отличались необыкновенною благосклонностью, писалось: "не мне тебя, герой, награждать, ты выше мер моих, но мне это чувствовать". В Петербурге готовилась Суворову триумфальная встреча с царскими почестями, с колокольным звоном и пушечными выстрелами. А титул "светлости" ему все-таки не присваивался. Это противоречие сбивало с толка; все ожидали, что вот не сегодня, так завтра обремененный милостями Государя победоносный полководец, cousin Сардинского короля, генералиссимус русских войск, altesse serenissime (как ему писали иностранцы), получит то, что другим давалось даже не за заслуги, а по одному благоволению; но ожидали напрасно. До какой степени это не ладилось с положением Суворова и с общим тоном милостивых к нему отношений Павла I, подтверждается следующим. Когда спустя полстолетие, было представлено Императору Николаю о присвоении князьям Суворовым титула "светлости" и испрашивалось на это высочайшее соизволение, Государь сказал: "само собою разумеется; в России покуда был еще один Суворов, и тому, которому в церкви, на молебствии за победы, велено было возглашать *российской армии победоносцу*, иного титула и быть не могло" [24].

Таким образом постигла Суворова вторая опала. Она не походила на первую ни существом, ни формою, имела за собою гораздо менее осязательных оснований и обрушилась совершенно

неожиданно. Правда, она не представляла собою ничего исключительного и гармонировала с общим тоном царствования Павла Петровича, но Суворову такое соображение не могло служить утешением, и он сильно страдал душою, не зная за собою никакой действительной вины. Телесная его болезнь шла своим чередом, то усиливаясь, то временно ослабевая. Спустя некоторое время по приезде в Петербург, он стал как будто несколько поправляться, по крайней мере его подымали с постели, сажали в большие кресла на колесах и возили по комнате; но спал он уже не на сене, и обеденное его время назначено было не утром, а во втором часу дня. Когда он чувствовал себя пободрее, то, по примеру последних лет, продолжал заниматься турецким языком и разговаривал с окружающими о делах государственных и военных, причем никто не слышал от него ни упреков, ни жалоб по поводу немилости Государя. Память однако изменяла ему; хорошо помня и верно передавая давнее прошлое, он сбивался в изложении Итальянской и Швейцарской кампании и с трудом припоминал имена побежденных им генералов. Император Павел, приславший к нему в самом начале Долгорукого с отказом в приеме, узнав об отчаянном его положении, послал Багратиона с изъявлением своего участия. Багратион нашел его чуть не в агонии; Суворов был очень слаб, часто терял сознание и приходил в себя только при помощи спирта, которым терли ему виски и давали нюхать. Вглядываясь потухшими глазами в своего любимца, больной с трудом его узнал, оживился, проговорил несколько благодарных слов для передачи Государю, но застонал от боли и впал в бред. Наступившее затем улучшение было непродолжительно; первоначальное, безнадежное состояние скоро возвратилось, и болезнь приняла несомненный ход к худшему.

Кратковременные эпизоды сравнительной бодрости, когда к Суворову возвращалась природная его живость и острота ума, вводили в заблуждение не только его друзей, поселяя в них несбыточные надежды, но также и врачей. Они то назначали ему чрез несколько часов кончину, то изменяли свое мнение в противоположном смысле, обманываемые энергией больного. Один из врачей старался убедить товарищей в тщете их надежд, говоря, что дошедшее до последней степени расслабление больного не обещает ничего хорошего, и что жив Суворов одною крепостью своего духа. "Дайте мне полчаса времени", пояснял доктор: "и я с ним выиграю сражение". О характере его болезни толковали на разные лады и лишь по смерти стали говорить, что у него был marasmus senilis. Первая знаменитость того времени, доктор Гриф, приезжал дважды в день, объявляя всякий раз, что

прислан Императором; это больному доставляло видимое удовольствие. Посещали Суворова и другие лица из родных и знакомых, это не было запрещено; был и Ростопчин с орденами, пожалованными Суворову Французским королем - претендентом. Больной обрадовался Ростопчину, но сделал вид, что недоумевает - откуда могли явиться ордена. "Из Митавы", объяснил ему Ростопчин; Суворов на это заметил, что Французскому королю место в Париже, а не в Митаве.

Жизнь медленно потухала; с каждым днем слабела память и учащался бред; на давних, затянувшихся ранах открылись язвы и стали переходить в гангрену. Невозможно уже было обманываться на счет исхода. Стали говорить умирающему об исповеди и св. причастии, но он не соглашался: ему не хотелось верить, что жизнь его кончалась. Зная его благочестие, близкие люди настаивали и наконец убедили; Суворов исполнил последний долг христианина и простился со всеми. При этом случае, или несколько раньше, он, обратившись всеми мыслями к Богу, сказал; "долго гонялся я за славой, - все мечта: покой души у престола Всемогущего". Однако то, чем он жил на земле, не могло оставить его сразу и при переходе в вечность. Наступила агония, больной впал в беспамятство. Невнятные звуки вырывались у него из груди в продолжение всей тревожной предсмертной ночи, но и между ними внимательное ухо могло уловить обрывки мыслей, которыми жил он на гордость и славу отечеству. То были военные грезы, боевой бред; Суворов бредил войной, планами новых кампаний и чаще всего поминал Геную. Стих мало-помалу и бред; жизненная сила могучего человека сосредоточилась в одном прерывистом, хриплом дыхании, и 6 мая, во втором часу дня, он испустил дух [25].

Тело набальзамировали и положили в гроб, обтянули комнату трауром, вокруг гроба расставили табуреты с многочисленными знаками отличий. Суворов лежал со спокойным лицом, точно спал, только белая борода отросла на полдюйма. Скорбь была всеобщая, глубокая; не выражалась она только в официальных сферах. "Петербургские Ведомости" не обмолвились ни единым словом; в них не было даже простого извещения о кончине генералиссимуса, ни о его похоронах. Несмотря на это, печальная весть разнеслась быстро, и громадные, сплошные толпы народа, вместе с сотнями экипажей, запрудили окрестные улицы. Не было ни проезда, ни прохода; всякий хотел проститься с покойником, но далеко не всякому удалось даже добраться до дома Хвостова. Похороны назначены были на 11 мая, но Государь приказал перенести их на 12 число, военные почести отдать покойному по чину фельдмаршала, а

тело предать земле в Александро-Невской лавре. Главным распорядителем был Хвостов; погребальная церемония была богатая и обошлась наследникам Суворова больше 20,000 рублей. Войска в погребальную церемонию были назначены (кроме одного конного полка) не гвардейские; говорили, будто потому, что гвардия устала после недавнего парада.

В 10 часов утра 12 мая начался вынос с большою торжественностью. Духовенства была целая масса, в том числе придворные священники; певчих два больших хора, в том числе придворный, присланный по приказанию Государя. Ловкие и осторожные люди остереглись участвовать в процессии и хотя таких было много, но от этого не поредела громадная толпа, валившая за гробом. Еще большее скопление народа было на пути процессии, по всему протяжению Большой Садовой улицы и от Садовой по Невскому проспекту до Лавры. Тут собралось почти все население Петербурга, от мала до велика; балконы, крыши были полны народом. По свидетельству иностранцев-очевидцев, печаль и уныние выражались на всех лицах. В числе поджидавших печальную процессию находился и Государь с небольшой свитой, на углу Невского и Садовой. По приближении гроба, Павел I снял шляпу; в это время за спиной его раздалось громкое рыдание, он оглянулся и увидел, что генерал-майор Зайцев, бывший в Итальянскую войну бригад-майором, плачет навзрыд, не в состоянии будучи удержаться. Гроза могла грянуть, но все обошлось благополучно: Государь не смог пересилить самого себя, и у него из глаз капали слезы. Он похвалил Зайцева за искренность чувства; пропустив процессию, тихо возвратился во дворец, весь день был невесел, всю ночь не спал и беспрестанно повторял слово "жаль".

Процессия вошла в ограду Лавры, гроб внесли в верхнюю монастырскую церковь, началась божественная служба, Надгробного слова сказано не было, "но лучше всякого панегирика", говорит очевидец: "придворные певчие пропели 90 псалом, концерт Бортнянского". Они пели: "Живый в помощи Вышнего, в крове Бога небесного водворится. Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него. Яко той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна. Плещма своима осенит тя и под криле его надеешися.... Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе; к тебе же не приближится.... Яко аггелом своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия. Яко на мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и

прославлю его: долготою дней исполню его. и явлю ему спасение мое". - Присутствовавшие не в силах были удерживать слезы; все плакали, "и только что не смели рыдать", говорит тот же очевидец. Отпевание кончилось, приступили к последнему целованию и понесли гроб к могиле. Залпы артиллерии и ружейный огонь раздались при опускании гроба в землю, и прах великого воина скрылся от глаз живущих на веки.

Суворов похоронен в нижней Благовещенской церкви, возле левого клироса. На могильной плите его до 50-х годов была надпись: "Генералиссимус князь Италийский граф Александр Васильевич Суворов Рымникский. Родился 1729 года ноября 13 дня. Скончался 1880 года мая 6. Тезоименитство ноября 23". Потом эта надпись заменена другою, более лаконическою, на которую Суворов указывал при своей жизни: "Здесь лежит Суворов" [26].

В русской истории есть события и имена, которые неизгладимо запечатлелись в народной памяти. Такие живые страницы заключают в себе только то, что сам народ пережил, перечувствовал или выстрадал и только тех, которые во всем этом принимали участие. Суворов к числу таких лиц не принадлежит, также как и другие полководцы, за весьма редкими исключениями. Это потому, что политические события и войны в таком только случае воспринимаются народным сознанием и глубоко в него врезываются, когда они затрагивают народные интересы и жизнь; тогда вместе с ними остаются в народной памяти и имена деятелей. Суворовские войны не имели такого значения, как и сам Суворов, а например о князе Скопине-Шуйском песни поются во множестве.

При всем том Суворов не был совершенно изъят из числа лиц, удостоившихся народного внимания. И при его жизни, и первое время по смерти, песни и предания о нем были довольно многочисленны; в том числе немалая доля носила на себе баснословный характер. Передавалось, будто до рождения его были видны на небе хвосты, ибо, по словам одного юродивого, "рождался человек знаменитый и нехристям страшный"; говорилось, что никогда и никому не будет известно место его рождения (действительно, с достоверностью неизвестно); объяснялось, что новорожденному было дано счастье святым перехожим или ангелом, которого приютили его родители. Существование таких преданий в народе тем понятнее, что легендарные о Суворове рассказы нашли себе место даже в высшем русском обществе и ходили не в одной России, а также в Турции, Польше, Швейцарии. Из числа генералов нового времени,

кроме Суворова, один только Кутузов остался в преданиях русского народа; но о нем упоминается несравненно реже и меньше, хотя 1812 год был для народа гораздо важнее и ближе всех войн, веденных Суворовым. Причиною такого внимания народа к Суворову была необыкновенная цельность и оригинальность его личности, громадное дарование, выражавшееся в фактах поразительных, и внутренняя связь его с солдатом, а следовательно и с народом, из которого солдат вышел.

Не следует однако же заблуждаться, допуская непосредственное влияние личности Суворова на народное воображение в значительных размерах. Самая большая доля песен и легенд о нем пущены в народ солдатами, и ими же поддерживались и распространялись. Солдатский оттенок виден в большинстве их сразу, особенно в песнях; в легендах больше народной поэзии может быть потому, что они по самой форме своей легче изменяются и переделываются. Период времени, в продолжение которого предания и песни о Суворове обращались в народе в заметном количестве, был очень невелик, и затем запас их стал быстро скудеть. К последним годам нашей эпохи их, по замечаниям изыскателей, оставалось очень немного; по всей вероятности недалека и та пора, когда исчезнут последние их следы. Будущее однако не отнимает значения от прошедшего и потому, для полноты представления о Суворове, несколько слов о народных о нем понятиях не могут быть лишними.

К этой категории, кроме песен и преданий, должны быть отнесены также народные (лубочные) картинки. В них Суворов встречается еще реже, чем под другими видами народного творчества, однако все-таки встречается, а в его время попадался наверное часто. В народных картинках мы находим между прочим портрет Суворова; есть также изображение его и Багратиона, обоих на конях, лицом друг к другу. Картинка содержанием своим доказывает, что привязанность Суворова к Багратиону была народу известна, также как и причина этой привязанности, заключавшаяся в свойствах военного дарования Багратиона, Суворовского ученика. Под картинкой написано:

Еще при мне бросать ты громы научился
И лавры смело пожинал,
Ко славе ревностно стремился
И я наперсником тебя избрал.

Затем в кантате Багратиону говорится, что в боях летал над ним дух Суворова, и он, Багратион, приглашается быть новым

Суворовым [27].

Песни, в которых упоминается Суворов, относятся к Семилетней войне, к обеим Турецким, к штурму Измаила и Праги, отчасти к Итальянской кампании. Исторических фактов в них искать нельзя; тут все перепутано, перемешано и очень многое просто выдумано. Однако анахронизмы, извращения и вымыслы имеют одно общее свойство: характеристика Суворова в них выдержана с замечательным единством. Тут он является любимым, избранным героем; к нему не относят ни одного темного дела или сомнительного поступка; он чист ото всего дурного; он один ничего не боится и ни перед чем не робеет. Песня подметила и особенность Суворовского военного искусства - предпочтение холодного оружия огнестрельному, что и высказывается при разных случаях. В одном месте он отдает приказание:

"Ступай наши на штыках".

Вера в Суворова так велика, что бороться с ним представляется делом, больше чем рискованным. Поляки говорят:

"Лучше скрозь земли пройтить,
От Суворова уйтить".

К Туркам делается такое обращение:

"Ты, Гассан,
Попадай нам в руки сам
И не делай тамо споров,
Где Рымникский граф Суворов".

Суворов выхваляется за правдивость, за честную службу, за любовь к солдату:

"Здравствуй, здравствуй граф Суворов,
Что ты правдою живешь,
Справедливо нас солдат ведешь.
Ты военностей не тужишь,
Рад хочь в воду и огонь,
Ты царице верно служишь".

Как бы впоследствие всех таких добрых качеств, являются в одной песне стихи:

"С предводителем таким
Воевать всегда хотим".

Приведенные отрывки взяты из песен несомненно солдатского происхождения; они если и вращались в народе, то не могли пустить в нем корня. Другие имеют меньше солдатского и больше народного оттенка.

Екатерина II испугалась угроз внезапно поднявшегося на нее Шведского короля:

Закричала Государыня громким голосом своим:
"Ох вы гой еси, мои слуги, слуги верные мои!
Вы подите, приведите Суворова-графа ко мне".
Вот приходит граф Суворов к Государыне самой:
"Уж ты гой еси, Государыня, не страшися ничего;
У нас есть чем принять, есть чем подчивать его".

Песня эта впрочем носит на себе печать искусственности, деланности; менее искусственна следующая, замечательная еще проводимою в ней параллелью между тремя полководцами Екатерининского времени:

Князь Румянцев-генерал
Много силы потерял.
Вор Потемкин-генерал
В своем полку не бывал,
Всеё силу растерял:
Кое пропил, промотал,
Кое в карты проиграл.
А Суворов-генерал
Свою силу утверждал,
Мелки пушки заряжал,
Короля во полон брал.

Народный оттенок также осязателен в следующем отрывке. Ворон говорит:

Я летал, летал, полетывал,
По белу-свету погуливал
Вслед за армией православною.
Я клевал, клевал, поклевывал
Тело вражье, басурманское.

Я видел диво, диво-дивное,
Диво-дивное, чудо-чудное:
Как наш батюшка Суворов-князь
С малой силой соколов своих
Разбивал полки тму-численны
Полонил пашей и визирей,
Брал Измаил, крепость сильную,
Крепость сильную, заветную.

Еще виднее он в следующих немногих строках:

Как у нас было за городом, за Бендерой,
Не две тученьки, не две грозные они выкатались:
Выкаталася сила-армия во чисто поле,
Во чистом поле в широкое раздолье.
Выходил тут сам-от батюшка граф Суворов,
Камышевой своей тросточкой он комендрует:
"Становитесь вы, солдатушки, по правому флангу,
Вы берите, ребята, и не робейте,
Своих белых рук не жалейте".

Тоже самое можно сказать и об обломке народной песни, в котором поется:

Что не сизый орел на лебедушек
Напускается из за синих туч:
Напускается орлом батюшка,
На поганых, на Турков-нехристей,
Сам Суворов-свет батюшка.

Вместе с песнями о Суворове, вымирают или вымерли и легенды. Предания о нем были наиболее сосредоточены в новгородской губернии, преимущественно в боровицком уезде, где лежит село Кончанское, но и тут остаются от них уже немногие следы. Приведем в заключение одну из таких полународных легенд.

В дремучем лесу, среди болот, лежит огромная каменная глыба, с пещерою внутри; ход в нее из-под болота. Дурная слава про это место: там блуждают синие огоньки, носятся бледные тени, слышатся тоскливые, жалобные стоны. Филин не пролетает над седым мшистым камнем, волк на нем не воет; крестьянин, невзначай сюда попавший, обходит дикое место, кладя на себя

крестное знамение. Всегда здесь тихо и мертво; только ворон каркает по временам над каменною глыбой, да вьется хищный орел, успокаивая клекотом своим старца, почивающего в пещере, внутри камня, неземным сном. Чрез малое отверстие брезжит оттуда тусклый, слабый свет неугасимой лампады, да доносится глухое замогильное поминовение князю, рабу Божию Александру. В глубине скалы спит, как говорят люди, сам дедушка, склонив седую голову на уступ камня; давно он спит и долго спать будет. Только тогда, когда покроется Русская земля кровью боевому коню по щиколотку, проснется великий русский воин, выйдет из своей усыпальницы и избавит отечество от лютой невзгоды [28].

notes

Примечания

1

ИСТОЧНИКИ.

Довольно многочисленные ссылки на источники, которые сделаны в главах, указывают на пользу ознакомления читателя с этими источниками, по крайней мере на столько, чтобы иметь некоторое о них понятие. Источники могут быть подведены под две главные рубрики: мало кому из публики доступные или же и вовсе недоступные, т. е. документы рукописные; затем те, кои служат, или по крайней мере могут считаться, общим достоянием, т. е. произведения печати. Сообразно с этим делением, ниже излагается краткий обзор источников по отношению к задачам настоящего труда, а потом приводятся некоторые сведения, служащие косвенно той же цели обзора.

А. Рукописные материалы.

Сборник князя А.А. Суворова.

Сборник состоит из 15 переплетенных томов рукописей и одной папки; документы эти собраны большею частью бывшим обер-прокурором св. синода графом Д.И. Хвостовым, который был женат на племяннице генералиссимуса, княжне А.И. Горчаковой. По смерти Хвостова, Суворовский сборник перешел к А.И. Хвостовой, а по кончине ее, в начале 40-х годов, стараниями барона А.Я. Бюлера, поступил во владение князя Александра Аркадиевича Суворова. А.А. справедливо ценя это сокровище, приумножил его бумагами и документами, касающимися деда, которые по разным случаям ему достались или были им приобретены. Сравнительно с 15 переплетенными томами, таких бумаг не много; все они, а также листы, выпавшие из переплетенных томов, собраны в одно место автором настоящей книги, распределены по содержанию и сгруппированы в одну категорию, которая обозначена словом папка. Нумерация томов сохранена существовавшая, а где метки стерлись, сделана произвольная.

Суворовский сборник есть самое богатое собрание документов, относящихся ко всем сторонам жизни и деятельности Суворова - и служебной, и домашней, и внутренней; уже одни эти бумаги дают столько материала, что можно по нем составить довольно правильное понятие о Суворове. В Суворовский сборник входят документы самые разнообразные; в особенности ценны собственноручные и за подписью Суворова письма, записки,

заметки, отметки на чужих письмах и проч. Все это относится преимущественно к последним 10 годам его жизни, но есть и более ранние, писанные даже в его молодости. Попадаются в томах сборника и незначащие бумаги, выписки из печатных сочинений, копии с общеизвестных документов, но это не отнимает от него первостепенного значения для истории Суворова, в ряду других рукописных материалов. Тут видны самые затаенные движения души Суворова; раскрываются побуждения, объясняющие действия; казового конца нет, или он сам себя выдает; отовсюду выступает неумытая истина. В глухие периоды жизни Суворова, Суворовский сборник представляется подчас единственной темой и материалом для его истории, служа также цементом для связывания фактов и явлений, стоящих в одиночестве, без взаимной связи. Он дает хоть что-нибудь почти для каждой главы; без него правдивое жизнеописание Суворова было бы невозможно.

Последний из рода князей Суворовых, князь Аркадий Александрович, принес в нынешнем году этот сборник в дар Императорской публичной библиотеке в Петербурге, основанием которой послужила библиотека Залуского, взятая по праву войны в Варшаве, завоеванной в 1794 году генералиссимусом.

Кончанский Сборник.

Это название автор книги дал 24 тетрадям бумаг, хранившихся в селе Кончанском, разобранных и сгруппированных г. Рыбкиным, автором книги "Генералиссимус Суворов", о которой упоминается в рубрике печатных источников. Так как г. Рыбкину была нужна собственно-хозяйственная деятельность Суворова, а автору настоящей книги вся вообще, то он счел полезным ознакомиться с самими рукописями, о чем и не сожалел. В этих бумагах действительно заключаются по преимуществу хозяйственные распоряжения по имениям Суворова, дающие хотя не систематически полный, но все таки достаточный материал о генералиссимусе, как помещике; кроме того здесь почерпнуто несколько неизвестных читающему миру сведений о семейных делах Суворова и наконец немало мелких, отрывочных, неизвестно как попавших сюда данных самого разнообразного значения. Хотя не все, в Кончанском сборнике отысканное, нашло себе место в книге; но зато оно способствовало освещению Суворова с разных сторон и очень помогло установить правильную на него точку зрения. Иногда незначительное по-видимому письмо, коротенькая записка, пометка на бумаге числа и месяца, служили к разъяснению недоразумений или к опровержению какого-нибудь ходячего ошибочного сведения. Во

всяком случае время, потраченное автором на рассмотрение бумаг Кончанского сборника, оказалось употребленным с пользой, а по отношению к хозяйственной деятельности Суворова и отчасти к семенным его делам, найденный здесь материал можно назвать драгоценным.

Вотчинный архив кн. Суворовых.

Такое название дано автором собранию бумаг и документов, занимавших в вотчинной конторе села Кончанского особый шкаф. Должно быть из числа этих бумаг были выделены те, которые названы выше Кончанским сборником. Документы этого собрания не относятся исключительно ко времени владения Кончанска Суворовыми; есть более ранние, даже конца XVII столетия. При пересмотре всей этой массы бумаг, автор книги выделил из нее лишь весьма незначительное количество для подробного рассмотрения, именно 15 тетрадей; все остальное было или казалось не подходящим. По своему внутреннему составу эта часть Вотчинного архива есть почти тоже, что Кончанский сборник, т. е. заключает в себе хозяйственные дела по разным имениям; в этом смысле Вотчинный архив даже более специален, чем Кончанский сборник. Зато тут, как и там, между разными отчетами и распоряжениями конторы и помещика, встречаются сведения, касающиеся других предметов, совершенно случайные и доселе неизвестные; между ними есть и очень характерные. Их правда немного, гораздо меньше, чем в Кончанском сборнике; но это не отнимает от Вотчинного архива его полезности для истории Суворова.

Переписка князя Алекс. Арк. Суворова.

С разрешения покойного князя Александра Аркадиевича, автор получил на просмотр несколько тетрадей переписки князя по служебным и фамильным делам. Найдено тут мало касающегося А.В. Суворова и его времени, но знакомство с этим найденным было не лишнее, а два-три указания разъяснили соответствующие предметы в виде прямого опровержения общеусвоенных неверных сведений.

Военно-ученый архив, в Петербурге.

Это есть богатое собрание документов, представляющих собою материал для изучения различных отраслей военного дела, преимущественно военной истории России прошлого и нынешнего столетий. Документы, касающиеся эпохи, в которую жил Суворов, оказались значительною долею уже разработанными гр. Милютиным, гг. Саковичем, Петровым и др.

При всем том тут найдено много для второй Турецкой и особенно для Польской войны 1794 года, которая, как известно, вовсе еще не разработана; нашлось немало данных и для некоторых других периодов Суворовской жизни и деятельности, в том числе и для первой Турецкой войны, но большею частью уже не новых. Полных серий документов, для систематического описания какой либо войны (по отношению к ней Суворова), здесь впрочем не нашлось; остались большие пробелы, потребовались дополнительные по другим архивам и источникам изыскания, даже для третьей Польской войны; но и то, что найдено, можно назвать ценным приобретением при бедности литературы этой войны. Сверх подобных военных сведений, собрано также несколько таких, которые касаются не службы Суворова, а его домашней жизни и семейных дел. В итоге из Военно-ученого архива главного штаба получено многое.

Московский архив главного штаба.

Это очень большое, богатое хранилище рукописных военно-исторических документов, в том числе свыше 10,000 дел, касающихся деятельности Суворова. К сожалению, не было возможности все это тщательно пересмотреть, на что потребовались бы годы, а потому выбирались дела только наиболее нужные, в расчете пополнять пробелы. Документальные данные о Суворове нашлись лишь с 1769 года, т. е. за первую Польскую войну, и их удалось собрать столько, что преимущественно по ним участие Суворова в этой войне написано. Кроме того добыты документы, относящиеся к 90-м годам и в том числе к войне 1794 года; эти последние во многом дополнили материал, найденный в Военно-ученом архиве. Получены также разные сведения, относящиеся к другим годам, особенно за время пребывания Суворова в Херсоне; они большею частию отрывочны, случайны, почти ничего систематического не дали, но многие из них существенно полезны и даже важны. Точно также сослужили службу и те документы этого архива, неудовлетворительные копии с которых были найдены раньше в других местах; таких бумаг оказалось немало. Вообще Московский архив главного штаба заслуживает особенного внимания; было бы очень полезно дать ему надлежащее устройство и разобрать. Уже на многих тетрадях появилась с краев ржавчина; если не остановить её распространение, масса документов, быть может драгоценных, пропадет безвозвратно.

Московский главный архив министерства иностранных дел.

В этом громадном и по благоустройству своему образцовом хранилище, автору было предъявлено 11 картонов, как заключающие в себе документы, имеющие прямое соотношение к истории Суворова. В 9 из них находились бумаги, касающиеся войны 1799 года; в двух остальных относящиеся до Польской войны 1794 года, также за время пребывания Суворова на юге России до и после этой войны. Сведения о войне 1799 года богаты, но для автора они не представлялись существенно нужными, потому что 30 лет назад были разобраны гр. Милютиным и послужили материалом для его книги "История войны 1799 года". Тем не менее некоторые из дел, которыми пользовался гр. Милютин, были тщательно прочитаны, причем оказалось, что гр. Милютин воспользовался всем, что имеет какую либо важность, и что идти по его следам в Главном московском архиве, значит терять время понапрасну. Таким образом автор удовольствовался лишь беглым знакомством с этими документами и извлек из них очень немногое. Он был счастливее при разборе двух других картонов, но и тут найден материал большею частию второстепенного значения: крупных данных собрано мало. Сведения, отсюда добытые, послужили дополнительным материалом для некоторых из 90-х годов, в том числе и последней Польской войны; отчасти нашли они себе место и в других главах. По всей вероятности московский Главный архив мог бы дать гораздо больше сведений о Суворове, при рассмотрении дел Потемкинских, Румянцовских и иных, но это потребовало бы очень много времени.

Государственный архив министерства иностранных дел, в Петербурге.

Этот огромный и хорошо устроенный архив конечно только малою своею долею мог быть полезен для исторического исследования о Суворове. По просмотре очень объемистого алфавита, было намечено для прочтения до 200 дел, и хотя большая их часть оказалась не подходящими к теме сочинения, но зато остальные вознаградили потерянное время. К Государственному архиву автор прибегнул как к последней надежде, после долгих и неудачных поисков в других местах материала для пополнения некоторых пробелов, преимущественно опалы и ссылки Суворова. Надежда эта не обманула. Правда, дела тайной экспедиции этого архива не освещают предмет во всей его последовательности и подробностях, однако они все таки дали возможность подвести под него историческую основу. Затем тут же оказались драгоценные документы для истории Польской революции и

войны 1794 года; ничего подобного никакой другой архив не давал. Наконец, здесь же найдено много разнообразных, крупных и мелких данных, часто очень характерных, так что почти в каждой главе настоящего сочинения есть сведения, основанные на документах Государственного архива. Их нашлось бы еще больше, если бы рамки труда были шире; однако многие подобные данные не остались мертвыми и теперь, потому что вошли если не в описание, то в освещение описываемого. Вообще архивные изыскания, требующие иногда большой траты времени как кажется по пустому, представляют ту выгоду, что вырабатывают взгляд. Документы петербургского Государственного архива обладают этим свойством по преимуществу, потому что отличаясь разнообразием, бросают на деятелей, на события и вообще на характер эпохи много света с разных сторон.

Сенатский архив, в Петербурге.

Сюда понадобилось обратиться с исключительною целью отыскивания в генерал-прокурорских делах сведений по опале и ссылке Суворова, но ничего не найдено, ибо данные эти, как оказалось потом, находились в делах тайной экспедиции, т.е. в Государственном архиве. Взамен того Сенатский архив дал несколько случайных, отрывочных сведений по разным другим предметам, - запас, небогатый ни качеством, ни количеством.

Синодский архив, в Петербурге.

Отсюда понадобилось только бракоразводное дело, затеянное Суворовым, но ничем не кончившееся; оно пролило много света на взаимные отношения Суворова и его жены.

Рукописное отделение Императорской публичной библиотеки, в Петербурге.

Тут было указано автору на Карабановский сборник и на Memoires de Loevenstern. Первый составлен из рукописей, принадлежавших известному их собирателю, именем которого и называется. Почти все содержание этого сборника было уже раньше исчерпано гр. Милютиным и некоторыми другими, так что пришлось попользоваться немногим. Мемуары Левенштерна состоят из двух тетрадей; одна из них имеет предметом настоящее столетие, другая дала несколько характерных указаний на конец прошлого, преимущественно на время Императора Павла. Отсюда извлечено, между прочим, несколько анекдотов о Суворове, но вообще получено очень немногое; Левенштерн удерживается от своих собственных суждений на счет

генералиссимуса.

Сборник Императорского одесского общества истории и древностей.

Благодаря любезности покойного вице-президента Общества г. Мурзакевича, автор книги, в бытность свою в Одессе, получил на рассмотрение часть рукописного архива Общества, имеющую соотношение к Суворову. Бумаг было немного, немногим пришлось из них и воспользоваться, больше всего перепискою Суворова с Потемкиным из Крыма и Прикубанского края; встречались, но редко, бумаги и другого содержания и за другое время.

Сборник барона Бюлера.

Автору книги была любезно предложена бароном Ф.А. Бюлером на рассмотрение часть фамильного архива, подходящая к предмету предпринятого труда. Тут оказалось весьма мало такого, что было бы неизвестно из других источников, и в книгу вошло из этого собрания документов всего два-три сведения.

Материалы графа Д.А. Милютина.

Узнав в начале 1881 года от автора настоящей книги о предпринятом им труде, граф Д.А. Милютин с обязательным вниманием предложил ему большую картонку рукописей, сохранившихся от времени составления книги "История войны 1799 года". Картонка заключала в себе копии с документов, выписки из разных источников, заметки и проч. Большие достоинства сочинения графа Милютина, и в числе их полнота, не обещали большой жатвы в этих материалах, что и оправдалось на деле; но разница целей военно-исторических за один год от биографических за 70 лет, сделала знакомство с материалами графа Милютина производительным. Они во-первых дали один очень важный документ, дотоле тщетно разыскиванный, и затем доставили порядочное количество сведений, относящихся к двум последним годам жизни Суворова, которые хотя не внесли существенно нового в исследование, но служили дополнением и разъяснением разных частностей.

Материалы г. Дубровина.

Наш известный военно-исторический писатель, Н.Ф. Дубровин, любезно предложил автору настоящего труда кое-что из рукописных своих материалов. По отношению к Суворову оказалось не много такого, что было бы неизвестно из других источников, но в этом немногом, кроме мелочных сведений,

нашлись отчасти и указания по некоторым не вполне ясным или спорным вопросам.

Знакомством с перечисленными выше архивами и собраниями документов не ограничились поиски автора за рукописными, неопубликованными источниками; но в результате получалась одна обманутая надежда, так как лица, у которых предполагалось найти сборники подходящих документов, вовсе их не имели, или имели кое-что слишком незначительное, или же по разным причинам их утратили. Для характеристики подобных неудачных поисков можно привести примеры.

По удостоверению редактора-издателя исторического сборника "Русский архив", П.И. Бартенева, существовала записка А.С. Пушкина, написанная им по поручению покойного великого князя Михаила Павловича и излагавшая факт личного оскорбления Суворова генералом Нащокиным. Записка эта была составлена нашим великим поэтом со слов его друга, Нащокина - сына, и должна была находиться в бумагах великого князя. Были приняты две различные дороги к отысканию записки, но обе они привели к полной неудаче: записка, если существовала, то пропала.

В 60-х годах вышла во Франции книга барона Амбера "Gens de guerre", в которой нашел место и Суворов. По поводу разразившейся над ним в 1800 году немилости Императора Павла, в книге говорится, будто у автора, барона Амбера, хранятся документы, заранее собранные приближенными к Суворову лицами для оправдания генералиссимуса. Хотя предвидеть немилость Государя было решительно нельзя, и приведенное Амбером сведение представлялось очень сомнительным, однако не следовало упускать случая - ознакомиться с новыми документами. Было сделано, чрез посредство третьего лица, сношение с русским военным агентом в Париже, бароном Фредериксом, который взялся за дело горячо, разыскал местопребывание Амбера в одном из департаментов Франции и обратился к нему с письмом. Генерал Амбер отвечал, что документы о Суворове, о которых упоминается в его книге, находились первоначально у маршала Мармона, перешли к его адъютанту (впоследствии генералу) Деларю, а от последнего достались отцу его, Амбера, следовательно действительно существовали; но в 1871 году разграблены в Париже коммунарами вместе со всем другим его, Амбера, имуществом и таким образом утрачены безвозвратно.

Для исследования и систематического изложения Суворовского метода воспитания и обучения войск, очень важно было познакомиться с первыми шагами Суворова на этом пути, во

время командования Суздальским полком. Не подлежало сомнению, что существовал свод составленных им тогда правил, который он сам называл в 70-х годах "Суздальским учреждением": но несмотря на все старания ретивого и знающего архивариуса, его не удалось отыскать в делах Московского архива главного штаба, где он скорее чем где либо должен был находиться. Разысканы были лишь отрывки "Суздальского учреждения", в виде нескольких отдельных афоризмов, правил и указаний на прошлое, и хотя это прошлое было тогда очень не далеко (всего год или два), но между ним и тогдашним настоящим уже легла грань. Однако разыскание "Суздальского учреждения" было так важно, что сделана еще попытка: спрошен Суздальский полк, - куда сдали его архив за давнее время. В ответе не получено ничего утешительного. Вопрос повторен чрез начальство, ответ последовал тот же: архив был сдан в два места: в одном он сгорел, в другом "за давностью уничтожен".

Б. Печатные книги и статьи.

История войны 1799 года, Д. Милютина, изд. второе, 1857 года, Спб., три тома.

Первое издание, 1852 года, принадлежало отчасти перу г. Михайловского- Данилевского, второе же исключительно гр. Милютину, который притом воспользовался добавочными материалами, а потому оно, по этим двум причинам, значительно лучше. Этот замечательный военно-исторический труд не утратил до сих пор ни одного из своих многочисленных достоинств, а по отношению собственно к Суворову, т.е. как систематическое сочинение за известный период его деятельности, книга гр. Милютина есть лучшее из всех произведений русской и иностранных литератур. Гр. Милютин пользовался богатыми источниками, и метод его исследования отличается замечательною основательностью, добросовестностью и критическим талантом; если к этому прибавить прекрасное изложение, то не будет преувеличенным утверждение, что книга его нисколько не устарела в 30 лет. Есть конечно в ней и слабые стороны, к числу которых принадлежит отчасти односторонняя оценка русской политики, недостаток категоричности в некоторых выводах о Суворове, не совсем удовлетворительная полнота его военной характеристики. Впрочем книга писалась больше 30 лет назад, а 30 лет из 85, прошедших со времени смерти исторического лица, значат много; да и причины, вызвавшие сочинение гр. Милютина на свет, также могли наложить на него особенную сдержанность тона. Можно указать

еще на главу, содержащую в себе небольшой очерк жизни и деятельности Суворова до 1799 года; в этом очерке особенно видно уменье сказать многое в немногих словах, но вместе с тем тут попадаются и фактические погрешности, и не совсем верные выводы. Во всяком случае частные недостатки прекрасного труда графа Милютина видны только вооруженному глазу и совершенно заслоняются огромными его достоинствами.

Книга гр. Милютина избавила автора настоящего сочинения от лишних 2-3 лет архивной работы, послужив ему главным источником для описания последней войны Суворова. Хотя приходилось обращаться к некоторым из первоначальных источников, которыми пользовался и гр. Милютин, но это требовалось только временами, для разъяснения недоразумений и проверки критического метода. Конечно не все, заключающееся в соответствующих главах настоящего сочинения сходится с книгою гр. Милютина; но это объясняется и невозможностью полного сходства двух взглядов, и некоторыми добавочными источниками, гр. Милютину неизвестными, и неполною тождественностью двух сочинений по их целям. Самая возможность не соглашаться в чем либо с гр. Милютиным служит косвенным доказательством больших достоинств его труда, так как во-первых, невольно обязывает на объяснение причин, а во вторых потому, что масса приложений и оправдательных документов, составляющая третий том его книги, указывает дальнейший путь исследованию и облегчает работу критики.

Суворов и падение Польши. Соч. Ф. фон-Смитта. Пер. с немецкого кн. Голицына, Спб., 1866.

Книга эта пользуется общею известностью не только по её достоинствам, но и по малому числу серьезных сочинений того же рода. К сожалению, она оканчивается 1792 годом, так что между сочинениями Смитта и гр. Милютина остается пробел в 7 лет времени, не заполненный ничьим другим равносильным трудом. Из этого впрочем не следует выводить заключение, чтобы книга г. Смитта могла стоять по своим достоинствам на ряду с книгой гр. Милютина; она выше других, но уступает последней во многих отношениях.

Г. Смитт, пользовавшийся обильными источниками и между ними Суворовским сборником, представляет Суворова не с одной официальной, внешней стороны, а касается его внутренней жизни; поэтому книга г. Смитта выделяется своею полнотою из ряда других, не страдает официальною сухостью и читается довольно легко. В ней есть жизнь и движение; попадаются места драматичные, даже увлекательные, как напр. измаильский штурм;

г. Смитт очевидно много изучал предмет и питает симпатию к своему герою. Но наряду с этими крупными достоинствами, книга имеет и довольно значительные недостатки. Внутренняя жизнь Суворова только затронута, но не развита; легендарная, идеализованная его оболочка заменена историческою далеко не вполне; в книге нет единства, а какая-то двойственность, соответствующая двойной цели, видной из заглавия. Критика военно-историческая довольно слаба, между прочим вследствие недостаточности официальных данных; биографическая еще слабее, так что попадаются часто промахи, фактические ошибки, слишком рискованные заключения; изложение разжижено совершенно лишними рассуждениями и разглагольствованиями. Говоря вообще, книга Смитта имеет большие, неоспоримые достоинства и стоит гораздо выше уровня нашей заурядной литературы о Суворове, но все-таки совсем не так высоко, как поставила ее слишком снисходительная критика.

Les campagnes du feldmarechal comte Souvorov Rymnikski, par Anthing, trad. d'allemand par Serionne, Gotha, 1796, 3 vol.

Антинг - немец, познакомившийся с Суворовым в начале 90-х годов и пленившийся его личностью, как был раньше пленен его делами. Принятый затем в русскую службу, он однако никакого официального положения при Суворове не имел. Написанная и изданная им книга кончается Польской войной 1794 года; первую её часть читал сам Суворов, вторую одно из доверенных его лиц. По желанию Суворова, Антинг избегал говорить в своем сочинении о его личности, а излагал только военные дела; он часто переписывался по этому предмету с племянником Суворова Хвостовым и получал от Суворова денежные пособия. В книге Антинга мало критики, сочинение его впадает в панегирик, в цифрах частые преувеличения, встречаются натяжки; вообще видно, что автор писал при жизни своего героя. Кроме того Антинг знал плохо русский язык, а между тем писал со слов русских людей и по русским документам. Но при всех своих дурных сторонах, сочинение Антинга есть один из самых лучших источников для изучения военной жизни Суворова. Следует только смотреть на него не как на историю, а как на летопись, или на скелет исторического произведения. Антинг воспроизводит фактическую сторону в подробности и согласно с официальными данными; не раз случалось автору настоящего сочинения находить во вновь открываемых архивных документах такие сведения, которые имеются только у Антинга, а у других отсутствуют или искалечены. Встречаются у него и ошибки, притом довольно часто, но большею частью в мелочах; ошибки

эти, при малейшем критическом приеме, сами себя выдают. Говорят еще, что у Антинга выставлена одна лицевая сторона предмета, но разве это не есть общий недостаток? К Антингу все относятся свысока, особенно позднейшие историки, и совершенно напрасно, потому что в тоже время сами немилосердно у него черпают, а если не делают этого, то плодят погрешности и ошибки. Вообще книга Антинга послужила основой, для многих сочинений на русском и иностранных языках, и если они почти все плохи, то не Антинг в этом виноват.

Histoire des campagnes du marechal de Souworov, Paris. 1802, 3 vol. (par Alphonse de Beauchamp).

Первые два тома есть перевод с Антинга, третий посвящен кампании 1799 года. Последний том есть произведение очень поверхностное, основанное на газетных известиях, которые приняты на веру, почти без разбора; везде просвечивают слабое знакомство с военным делом и тенденция - написать Суворову панегирик. Ошибок много и некоторые весьма грубы, так что иногда смысл события извращен совершенно. При всем том нельзя браковать книгу безусловно: при знакомстве с предметом и внимательности, из нее можно заимствовать сведения, которых у других нет и которые отзываются правдой.

Победы князя Италийского, графа А.В. Суворова-Рымникского, Москва, 1815, второе издание, 7 частей.

Крупный представитель множества компилятивных произведений о Суворове. Большею частию это вольный перевод с Антинга и Бошана с добавлениями из разных других печатных источников, без разбора, без критики. Неизвестный автор этой книги, или лучше сказать компилятор, пытается поправлять Антинга, то сокращая его, то расширяя новыми сведениями, но большею частью очень неудачно.

История Суворова, Н. Полевого, Петербург, 1858, издание второе.

Книга написана талантливо, но по источникам немногочисленным и не первоначальным, а печатным, т. е. по сочинениям и компиляциям значительною долею сомнительного достоинства. Г. Полевому был простор для развития своего повествовательного дарования, но не для исторического исследования, и книга его, хотя названная историей, совсем не дает того, что обещает заглавие. Ошибок и сплошных неверных сведений в ней очень много, может быть больше, чем в компиляциях второго разряда, потому что Полевой задался

гораздо обширнейшей сравнительно с ними задачей и, обладая для её решения достаточными личными средствами, не мог однако употребить их производительно по крайней бедности материала и неблагоприятным цензурным условиям времени.

Histoire du feldmarechal Souvorof liec a celle de son temps, par L. M. P. de Laverne, Paris, 1809.

Это громкое заглавие придано одному тому в 500 страниц довольно крупной печати. Указывая на Антинга и Бошана, как на панегиристов, а не историков, Лаверн говорит, что оба они страдают многословием, тенденциозностью, близорукостью, расплываются в подробностях и упускают общее. Все это он, Лаверн, решился исправить своей книгой, запасшись будто бы громадным материалом и массою сведений, которые собрал во время своего пребывания в Германии и России, особенно о последних десяти годах жизни Суворова. Между тем он сам впадает в ошибки именно такого рода, в которых упрекает других: характерных подробностей дает мало, временами вдается в панегирик, расплывается в фельетонных мыслях, отвлеченных умствованиях и таких рассуждениях о военном деле, которые обнаруживают недостаточное его знакомство с предметом. Но книга его имеет и достоинства; он старается быть беспристрастным, в чем местами и успевает; критика у него сильнее, чем у других; выводы его, особенно в сфере политики, значительною долею верны; Суворов представляется более живым человеком, чем под пером большинства. В общем результате книга Лаверна, не будучи глубоким историческим трудом, все-таки заслуживает внимания и в особенности должна была иметь значение в эпоху своего появления. В ней нет педантской сухости, читается она легко и в литературе о Суворове занимает довольно видное место.

Precis historique sur le celebre feldmarechal comte Souworow Rymnikski, prince Italikski, par Guillauman-ches-Duboscage, Hambourg, 1808.

Книга составлена из нескольких отделов, трактующих о разных предметах по отношению к России; но все это не заслуживает внимания, кроме глав, посвященных Суворову.

Гильоманш-Дюбокаж, французский эмигрант, поступил в русскую службу подполковником и находился при Суворове 1 1/2 или 2 года (с ноября 1794). В это время было тихо, но Суворов готовился к походу против Французов и с рвением занимался подготовлением войск к предстоявшей войне. Дюбокаж описывает его, как лицо близко знакомое, но не давая систематического,

полного его жизнеописания, ограничивается сообщением разных заметок, наблюдений, анекдотов, где Суворов находится постоянно на первом плане. Много тут встречается ошибок и ложных суждений, так как о минувшем времени Дюбокаж пишет с чужих слов, не усвоив еще ни русского языка, ни знакомства с русскою жизнью. Он беспрестанно впадает в панегирик, под влиянием безграничного энтузиазма и удивления, которые Суворов успел ему к себе внушить. При всем том книга Дюбокажа богата материалом для характеристики Суворова и в особенности дорога многочисленными обстоятельными сведениями о Суворовском методе воспитания и обучения войск. Дюбокаж трактует об этом предмете как опытный, понимающий дело офицер и как очевидец, имевший возможность, охоту и уменье - вникнуть в то, что наблюдал. В этом отношении Дюбокаж не имеет соперников; никто другой из современников Суворова не остановился с таким вниманием на характерной черте генералиссимуса; никто другой не уразумел так правильно и не сумел передать так толково существенные черты Суворовской военной теории.

Собрание писем и анекдотов, относящихся до жизни князя Италийского графа А.В. Суворова Рымникского; изд. 3, Москва, 1814. (Левшина).

Напечатанные в этой небольшой книжке документы и сведения большею частью заслуживают доверия, хотя автор и не указывает источника, откуда они взяты. Между ними есть много очень характерного, но попадаются и ошибки.

Жизнь Суворова, им самим описанная, или собрание писем и сочинений его, изданных с примечаниями С. Глинкою, 2 части, Москва, 1812.

Заглавие слишком громкое для двух небольших книжек, в которых значительную часть занимает собственное повествование автора, а меньшую письма Суворова, отчасти напечатанные раньше у Левшина. Однако книжка Глинки (как и Левшина) имеет значение для историографа, даже если он знаком с Суворовским сборником, т. е. с самым богатым собранием бумаг Суворова. Между письмами, помещенными у Глинки, есть несколько наименее по-видимому заметных, которые существенно важны для некоторых мало разъясненных моментов жизни Суворова. Встречаются впрочем и ошибки; одна из них ввела Смитта в заблуждение и была причиною помещения в его книгу крупной небывальщины.

Рассказы старого воина о Суворове, Москва, 1847 года, 3 части. (Старкова).

Это не есть выдержанное, построенное на строгом плане историческое сочинение, а просто воспоминания. В книге можно встретить все - описание походов, битв, анекдоты, даже сцены, написанные в драматической форме, есть и выписки из статей других авторов. Первые две части относятся к войнам 1794 и 1799 годов; третья составлена из разных разностей.

Было бы напрасно искать в книге критического взгляда, оценки; здесь место одним личным впечатлениям очевидца, служившего в нижних чинах. Из бесхитростного повествования Суворовского служаки можно наглядно удостовериться в неотразимом обаянии Суворова на подчиненных и в боевом энтузиазме, который внушал он войскам. Из книги можно убедиться, что на войне не все действующие силы можно измерить, взвесить или исчислить и что этим неосязаемым боевым элементом Суворов и был особенно богат. Энтузиазм автора доходит чуть не до обожания Суворова: этою стороною книга и дорога. Затем она дорога воспроизведением мелочей внутренней и бытовой стороны военной жизни того времени, т. е. тем, чего не находим в реляциях и официальных документах и что обыкновенно не попадает в заурядные военно-исторические сочинения. Критиковать подобные мемуары нельзя; они вне обычной критики и ей не поддаются; тут беспрестанно натыкаешься на крупную наивность, на доказательство, выражающееся только подчеркиванием слов и тому подобное. Но по этому самому черпать из книги г. Старкова можно только после основательного изучения предмета, или употреблять ее не иначе, как с документальными данными. Г. Старков многое совсем забыл, другое сильно перепутал; анахронизмов у него не перечесть; выставляются действующие лица, которые находились совсем в другом месте; приводятся цифры, совершенно неверные. Это обстоятельство требует осмотрительности и осторожности, но отнюдь не бракует самый материал, и книга остается характерным и обильным источником для истории Суворова.

Gens de guerre, portraits; par general baron Ambert, Paris, 1863.

В книжке нашли место несколько типических военных лиц, в числе их и Суворов. Амбер берет материал о нем из других авторов, пытаясь быть в своих взглядах самостоятельным, что однако удается ему лишь изредка. Он находится под давлением общеусвоенного, шаблонного взгляда большинства иностранных критиков и потому бракует Суворова со стороны стратегической и

тактической, не сочувствует его системе воспитания и обучения войск и вообще доходит в своей военно-цеховой рутинности до третирования Суворова как бы свысока, ссылаясь на авторитет Тьера. Это последнее обстоятельство достаточно свидетельствует о легковесности суждений и приговоров Амбера, и действительно у него встречаются критические приемы совершенно-ребяческие, в роде того, что Суворовское обучение войск не помешало Русским быть разбитыми под Альмой (в 1854 году). Нечего и говорить, что фактических ошибок в книге не оберешься. Но истина и военное чутье проскакивают в Амбере наружу против его воли, и он любуется Суворовым, как типом военного человека; теплая симпатия к русскому полководцу сквозит у него явственно и высказывается в признании, что Русские оценили Суворова недостаточно и что Французы на их месте поступили бы иначе. Из крайности безусловного осуждения Амбер то и дело переходит в другую, - идеализирует, поэтизирует Суворова, впадает в исторически неверный панегирик. Вообще книга его не стоит, чтобы на ней долго останавливаться; сделано же это здесь потому, что в иностранных литературах она есть позднейшее произведение о Суворове, появившееся после длинного периода молчания. В этом отношении она заслуживает внимания, и в настоящем сочинении делаются неоднократные на нее ссылки, иногда в утвердительном, а чаще в отрицательном смысле.

Генералиссимус Суворов. Жизнь его в своих вотчинах. Изд. Н. Рыбкин, Москва, 1874.

Небольшая книга эта составлена по документам Кончанского сборника, до той поры остававшимся неизвестными, и потому есть ценное приобретение для литературы, не имевшей ни одного сочинения о Суворове - помещике и хозяине. К сожалению г. Рыбкин не удовольствовался своей задачей и взял шире, примешав разные не идущие к теме сведения; таким образом он испортил план своего сочинения и понизил его достоинства. Глава первая совсем не нужна, в последней многое не идет к делу, приложения и того больше, а между тем все эти добавки изложены поверхностно и с погрешностями, так что даже факсимиле Суворова вовсе не напоминает его руку. Нельзя безусловно согласиться и с многими выводами г. Рыбкина о хозяйственной деятельности Суворова; он смотрит на своего героя скорее в качестве энтузиаста, чем историка, а потому приходит иногда к заключениям слишком поспешным. При всем том книга г. Рыбкина имеет немалое значение, заключая в себе много ценного материала, которого нигде, кроме ее, не найти.

Биография Суворова, им самим писанная. Москва, 1848.

Книжка эта есть ничто иное, как поданное Суворовым прошение о внесении его в родословную книгу дворян московской губернии, с несколькими дополнительными документами последующих лет. Все это было напечатано в двух журналах, а потом уже издано особо, с заглавием автобиографии. Здесь Суворов излагает свою службу и пересыпает изложение характерными военными и военно-педагогическими заметками и наставлениями. Не во всем можно слепо положиться на повествование Суворова о самом себе, так как он любил представлять себя в выгодном свете, да и многое из давних лет успел забыть. Но это замечание относится только до подробностей и цифр, а собственно канве прошения нет причины быть неверной. К числу ошибочных сведений относится также изложенное Суворовым происхождение его фамилии, о чем сказано в своем месте. Вообще же автобиография Суворова есть небольшое, но ценное пособие в смысле дополнительного к другим; она разрешает многие недоразумения, особенно хронологические.

Наука побеждать, Суворова, изд. Антоновского, Петербург, 1809.

Это свод Суворовских правил по обучению войск, в разбор которого здесь можно не входить, так как документ помещен целиком в приложении VII и вошел в содержание главы XXII.

Действия Суворова в Турции в 1773 году, Саковича, Спб., 1853.

Небольшую эту книжку составляют перепечатанные из Военного журнала 1853 года две статьи того же автора, составленные по архивным документам, до того времени неизвестным. Метод исследования довольно строгий, сказано много нового, но кое-что из документальных данных пропущено, вероятно вследствие цензурных условий. Книжка написана зрело, с критическим талантом, читается легко; Суворов понят довольно верно и представляется живым. К сожалению, брошюра эта не обнимает в одинаковой мере исследования всю кампанию, а касается преимущественно Туртукая; о прочем говорится вскользь, упоминается и о Козлуджи (1774 год), так что сочинение не совсем отвечает своему заглавию. Попадаются в нем и кое-какие фактические погрешности, указывающие на некоторую торопливость исследователя. Но в общем книжка положительно хорошая и принадлежит к числу лучших сочинений о Суворове, несмотря на свой незначительный объем.

Исторический обзор деятельности Румянцева, Прозоровского, Суворова и Бринка в 1775 - 1780 гг., Саковича, Москва, 1858.

Книга эта тоже составлена по архивным документам и есть самостоятельное исследование. Она посвящена периоду не видному, мало разработанному, в котором почти нет крупных событий, все довольно мелко и незначительно в военном отношении. Это не остановило г. Саковича, и он разработал предмет очень обстоятельно. Труд его, может быть не очень занимательный в чтении, вследствие самых свойств описываемого времени, тем не менее достоин полного внимания, служит обильным материалом не для одной военной истории и должен быть отнесен к числу источников, самых капитальных по своей достоверности.

Война России с Турцией и Польскими конфедератами 1769-1774. А. Петрова, 1866-1874 год. Спб., 5 томов.

Книга составлена преимущественно по архивным документам, а также и по некоторым таким, которыми другие писатели мало пользовались или не пользовались вовсе. Труд почтенный и добросовестный, исследование подробное и тщательное; но как военно- историческое сочинение оставляет многого желать. Книга эта есть скорее богатый материал, собранный и сведенный в одно целое, чем обработанное и законченное сочинение. Встречаются тут небрежности и погрешности, но они не важны; важнее то, что книга дает представление лишь об абрисе или чертеже, а не о картине войны, о скелете, а не о теле. Не достает освещения, глаз не поражается контрастом света и тени, все одинаково серо и бесцветно. Характеров тут нет, а одни события; сам Суворов не привлекает к себе внимания. Не только изложение, но и план могли бы быть лучше в смысле удобочитаемости; недостатки того и другого производят сухость и отрывочность. Причина сухости заключается между прочим и в том, что г. Петров имеет слишком большое пристрастие к источникам официальным и недостаточно пользуется неофициальными. При всем том книга его есть бесспорное приобретение для русской военно-исторической литературы, по обилию и качеству собранного в ней материала.

Вторая Турецкая война 1787-1791. А, Петрова, 1880 г., Спб., 2 тома.

Характер этой книги, её достоинства и недостатки те же, как и предыдущей; это есть тоже исследование, дающее много нового,

доселе мало известного или неизвестного. Хотя попадаются тут и ошибки, даже чаще, чем в истории первой Турецкой войны, но некоторыми своими частями вторая Турецкая война выходит под пером г. Петрова живее первой, напр. кампания 1789 года, а еще больше Екатерина II и Потемкин. Однако на характерные черты автор все-таки скуп; о Суворове он не говорит почти ничего нового, и хотя, в сущности, на Суворове сосредоточивается весь интерес и все движение до 1791 года, но это важное обстоятельство мало его оживляет. Даже измаильский штурм сух и безжизнен. Но все-таки, в общем результате, книга эта, обладая однородными с первой достоинствами, более её сглажена относительно недостатков, читается легче и, в смысле военно-исторического сочинения, стоит несколько выше.

История Российско-Австрийской кампании 1799 года, Е. Фукса, Спб., 1825 г., 3 части.

Это сочинение, не удовлетворяющее самым снисходительным требованиям критики, пользовалось большою, хотя, так сказать, невольною известностью, до выхода в свет сочинения графа Милютина. После того произведение г. Фукса утратило всякое значение, но тем не менее должно быть помещено в настоящий обзор. Первая часть может быть обойдена, заключая в себе собственно "историю" кампании; она не имеет никаких даже относительных достоинств, по отсутствию критики, громадному количеству ошибок, неверностей и даже нелепостей. Но две последние состоят исключительно из документов, которыми хотя и пользовался гр. Милютин из первых источников, однако далеко не все эти документы приведены в его книге, так что автору настоящего сочинения представлялась иногда надобность делать справки и проверки по Фуксу. Правда, документы напечатаны у Фукса нередко с произвольными исправлениями, сокращениями и вообще изменениями, но при пользовании ими (довольно впрочем редком) параллельно с книгой гр. Милютина, опасность ошибочных выводов устранялась сама собой. Отыскивать же нужные документы, для случайной надобности, по архивам, было бы трудом непроизводительным по большой трате времени.

История генералиссимуса князя Италийского графа Суворова Рымникского, соч. Е. Фукса, Москва, 1811 г., 2 части.

Истории тут вовсе нет, а есть ряд статей, литературно-исторический винегрет, с длинным и беспорядочным введением в послужной список Суворова, который однако тоже не выдержан, потому что одно в нем изложено слишком коротко, другое

слишком пространно. Книгу нельзя даже назвать сборником статей о Суворове, потому что в ней попадается много такого, что к жизнеописанию Суворова не относится. Читатель беспрестанно натыкается на разъяснения, уподобления, сравнения; поминутно обязан делать с автором отчаянные прыжки то далеко вперед, то далеко назад. Это сочинение есть в сущности хаотическое вступление в кампанию 1799 года, о которой сказано перед сим; напыщенный язык, высокопарные разглагольствования, пустота содержания и странность плана - соперничают между собою чуть не на каждой странице. Отсутствие малейшего признака дарования и поразительное бессилие Фукса справиться со своей задачей, венчаются разными более чем странными заимствованиями у других; так например, Фукс взял рассуждение Фонтана о Вашингтоне и применил это к Суворову. Не меньше замечательно невежество Фукса в военном деле; "фузилер" он переводит "оружейный мастер"; укрепление "кавальер" у него обращается в "конного ратника", так что одна из колонн, штурмующих Прагу, должна взять двух кавалеристов.

Анекдоты князя Италийского графа Суворова Рымникского, изд. Е. Фуксом, Спб., 1827.

Набор анекдотических подробностей о Суворове, без всякой системы и порядка, притом часто и не новых, а взятых из прежних изданий самого Фукса и из других авторов. В форме анекдотов пущены в ход небывальщины; случается и так, что слова Суворова передаются в превратном смысле, прямо противоположном истине. Эта истина беспрестанно отходит у Фукса на последний план, а вперед выдвигается эффект, желание щегольнуть острым словцом, неожиданным оборотом, риторикой.

Собрание разных сочинений Е. Фукса, Спб., 1827.

Несколько статеек, из которых к Суворову относятся немногие; в них есть довольно любопытные о нем сведения.

Несмотря на низкий исторический уровень всех четырех сочинений Фукса, они дают много разностороннего материала о Суворове. Было бы совершенно несправедливо отвергать сплошь все, написанное о Суворове Фуксом; надо только осмотрительно пользоваться его сведениями, а осторожность эту можно приобрести единственным путем, - близким знакомством с Суворовым по другим, более достоверным источникам. Тогда в нагроможденной Фуксом массе данных найдется многое такое, что разовьет правильное представление о Суворове, разъяснит недоразумения, пополнит недосказанное, рассеет сомнения. В таком смысле автор настоящего сочинения и старался

пользоваться Фуксом.

Histoire critique et militaire des guerres de la revolution, par Jomini, 14 vol, Paris, 1824.

Книга эта пользуется всеобщею заслуженною известностью; два её тома, 11 и 12, посвященные войне 1799 года, можно признать лучшим описанием этой войны в иностранных литературах, особенно потому, что оно отличается по отношению к Суворову беспристрастием в такой мере, которая до сей поры оказывается для иностранных писателей недостижимою. Книга была бы еще лучше, если бы в нее вошло побольше сведений из русских источников; этот недостаток делает сочинение Жомини несколько односторонним, а относительно лично Суворова и не совсем удовлетворительным, хотя историк и имел в своих руках мемуары маркиза Шателера, состоявшего генерал-квартирмейстером при Суворове в Италии. Сочинением Жомини пользовался и гр. Милютин, тем не менее источник этот так важен, что автор настоящей книги, руководясь преимущественно книгою Милютина при изложении войны 1799 года, обращался нередко и к сочинению Жомини.

Histoire de la revolution francaise, par Thiers, Paris, 1823-1827, 10 vol.

Сочинение это пользуется огромною известностью и выдержало очень много изданий. Минуя общую его характеристику, скажем только, что в изложении военных событий Тьер почти постоянно грешит против правды, давая читателю взамен её блестящее изложение, которое мастерски маскирует недостаток здоровой основы содержания. В описании войны 1799 года (том 10) Тьер обнаруживает большое, плохо скрываемое нерасположение к Русским, а по отношению собственно к Суворову обращается в совершенного памфлетиста. Сочинение его попало при настоящем случае в число источников только потому, что, отличаясь самою причудливою критикой всех действий Суворова, дает много отрицательного материала, т, е. неиссякаемую тему для объяснений и опровержений.

Краткий обзор этого небольшого числа сочинений кажется достаточен для качественной оценки литературы нашего предмета. Затем остается еще много книг, которыми тоже приходилось пользоваться, но они или дали мало, или служили только для освещения предмета, да и вообще разбор их ничего к сказанному не прибавил бы, так что можно ограничиться перечислением их заглавий. К числу таких источников относятся:

Precis des evenements militaires, ou essais historiques sur les campagnes de 1799-1814, par M. Dumas, Paris, 1816-1826, 20 vol.

Precis des derniers guerres des Russes contre les Turcs. Trad. de l'allemand par La Coste, Paris, 1828.

Remarques sur le militaire des Turcs et des Russes, 1771, par Warnery, Breslau.

Precis historique de la guerre 1769 -1774, par Causin de Perceval, Paris, 1822.

Des changements survenus dans l'art de la guerre 1700- 1815, par Chambray, Paris, 1830.

Observations sur l'armee francaise en 1792-1808, St. Petersbourg, 1808.

Expose des principales circonstances, qui ont occasionne les desastres des armees autrichiennes. Tr. de l'anglais, Londres, 1801.

Memoires sur 1a Pologne et les Polonais, 1783-1815, par Oginski, 4 vol., Paris, 1826.

Memoires de Segur, 3 vol., Paris, 1827.

Перечень из журнала 1787-1790, Раана, Спб., 1792.

Анекдоты князя Италийского, Зейдель, Спб., 1865.

Описание лагеря в Красном Селе, Спб., 1765.

Записки Энгельгардта, Москва, 1867.

Памятные записки Храповицкого, Москва, 1862.

Записки Державина, с примечаниями Бартенева, Москва, 1860.

Записки Грибовского, издание второе, Москва, 1864.

Воспоминания Лубяновского 1774-1834, Москва, 1872.

Записки А.Т. Болотова, 4 тома, Спб., 1871-1873.

Мои безделицы, И. Вернета, Москва, 1840.

Биографии русских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов, Бантыш- Каменского, 4 тома, 1841, Спб.

Словарь достопамятных людей Русской земли, Бантыш-Каменского, 8 томов, Москва и Петербург, 1836-47 г.

Военная история новых времен, кн. Н. Голицына, Спб., 1878.

Устав пехотной строевой, 1764, Спб.

Воинский устав о полевой пехотной службе, 1797, Спб.

Инструкция полковничья пехотного полку, 1764, Спб.

Инструкция конного полку полковнику, 1766, Спб.

Памятники новой русской истории, 1871, Спб.

Крестьяне в царствование Екатерины II, В. Семевского, Спб. 1881.

Цесаревич Павел Петрович, Д. Кобеко, 1883, Спб.

Военная библиотека, 16 томов, Спб., 1871-1874.

Военный сборник, 1858-1883, Спб.

Военный энциклопедический лексикон, 14 томов, Спб.,

1852-1858.

Сочинения Д. Давыдова, Спб., 1848. (Встреча с великим Суворовым).

Восемнадцатый век в русских исторических песнях, Бессонова, вып. 9, Москва, 1872.

Затем было перелистовано несколько десятков книг и брошюр, имеющих своим предметом преимущественно Суворова. Большую их часть составляют так называемые популярные сочинения и хотя попадаются между ними книги содержания не общедоступного, но все они не имеют никакого значения для сколько-нибудь серьезного читателя, а потому не стоят перечисления. Совсем иное следует сказать о так называемых исторических сборниках, которые зародились в русской литературе довольно давно, но размножились лишь в последнее время. К этому разряду относятся следующие издания.

Чтения в Императорском обществе истории и древностей при московском университете, 1846-1882 г., Москва.

Русский архив, 1863-1882 г., Москва.

Русская старина, 1870-1882 г., Спб.

Сборник русского исторического общества, Спб., с 1867 г., 38 томов.

Исторический вестник, 1880-1882 г., Спб.

Русская историческая библиотека, 1872 - 1880, семь томов, Спб.

Архив князя Воронцова, Москва, с 1870 г., 29 томов.

Древняя и новая Россия, Петербург, 1875-1879 г.

Записки одесского общества истории и древностей, Одесса, с 1844 г., 11 томов.

Библиографические записки, 1858, 1859 и 1861 годов.

Осмнадцатый век, изд. Бартенева, 4 книги, Москва, 1868-69.

Существование этих изданий составляет факт очень отрадный; они и теперь уже приносят несомненную пользу исторической науке, а впереди обещают несравненно большую. В особенности дорог в них сырой материал, при условии, что он добыт из надежного источника. Этому условию удовлетворяют, правда, не все сведения, идущие за исторические; встречается иногда просто путаница, неизвестно каким путем народившаяся; но это отсутствие критики в выборе материала еще не так важно, как в статьях обработанных, имеющих вид исследования. Случается также натыкаться на дурно прочитанные документы, чем затемняется и даже извращается смысл приводимых сведений; встречается немало и балласта, т. е. данных, давно известных, но идущих снова за новинку; наконец, в некоторых из

этих изданий слишком много анекдотов и мелких сведений, годных разве только для развлечения читателей. Но все это не бракует изданий для употребления с научной целью. Материала в них так много, и между ним попадается такой серьезный, что он с лихвою выкупает время, потраченное на разборку балласта, да и самые мелочи кидают иногда луч света в тьму и указывают путь исследования.

Из упомянутых изданий были особенно полезны для истории Суворова: Сборник русского исторического общества, Архив князя Воронцова, Русский архив и Русская старина. Несмотря на то, что автор настоящего сочинения пользовался довольно обильным архивным материалом, не попадавшим еще в печать, эти сборники дали ему массу ценных сведений; много сомнений и недоумений было ими разъяснено, многое условно - верное сделалось благодаря им или несомненным, или ложным. Они сильно упростили и дополнили архивную работу; самое разноречие помещаемого в них материала давало возможность прибегать к сопоставлениям и облегчало задачу критики.

В заключение обзора источников остается упомянуть про статьи русских газет и журналов, не одних исторических, но вообще всех. При посредстве третьего лица, автор книги обращался в 1880 году за указаниями по этому предмету к известному нашему библиографу г. Межову и, благодаря его любезности и доброхотству, получил возможность познакомиться со всем или почти со всем, что в русской периодической литературе нынешнего столетия было напечатано о Суворове. Из статей, на которые сделаны были г. Межовым указания (около 250), конечно большая часть оказалась такими, которые и искать не стоило, но в остальных найден материал, заслуживающий внимания, а некоторые дали сведения мелкие, но существенного значения.

Все эти статьи, а также и другие, напечатанные в исторических сборниках, в военных периодических изданиях и в форме отдельных брошюр, заключают в себе обыкновенно разные случаи или эпизоды из жизни Суворова, анекдоты, какую-нибудь частную его характеристику и т. под.; но между ними почти нет таких, которые бы были посвящены разъяснению и определению его военного значения. Исключения редки и качеством не высоки; они касаются каких-нибудь мелочей военного дела, или пускаясь в обобщения, не выходят из сферы общих мест и почти не разъясняют особенностей Суворовской военной теории. Лучшим из таких небольших военно-биографических трактатов о Суворове следует признать две или три публичные лекции г. Басова,

напечатанные в Военном Сборнике 1874 года под заглавием "Суворов и его образ действий". В общих чертах Суворов здесь изображен довольно верно; в разъяснении его военной характеристики сделано несколько шагов за черту, которую другие обыкновенно не переступают: восхваления не вращаются в круге риторических фигур, возгласов и восклицаний. При всем том г. Басов далеко не совладал со своей задачей, не очертил Суворова резкими штрихами, не провел грани между собственно Суворовским и общим, безличным. Представление получается неполное, и военный образ Суворова остается недорисованным. В виду такой бедности нашей периодической литературы по отношению к военной характеристике самого выдающегося лица русской военной истории, следует отметить крупное исключение, а именно статьи г. Драгомирова, напечатанные в 60-х и 70-х годах, преимущественно в военных журналах, и изданные в 1881 году под заглавием: Сборник статей М. Драгомирова, 1856 -1881 гг., Спб., 1881, два тома.

Не следует искать в этой объемистой книге чего-нибудь похожего на трактат, посвященный военной характеристике Суворова. Г. Драгомиров не есть его военный историк, а только комментатор: тема его - не Суворов, а воспитание и обучение войск. Суворов служит тут не целью, а средством для проведения тех или других принципов, - авторитетом, на которого г. Драгомиров указывает для подкрепления своих суждений и выводов. Комментарии г. Драгомирова мастерские; они отличаются безыскусственностью и здравым смыслом; аргументацию его трудно опровергать без натяжек, изворотов и иных полемических фортелей. Мало того, кому привелось изучать Суворова по многочисленным данным, в продолжение многих лет, вникая в важное и второстепенное, тот может засвидетельствовать, что комментарии г. Драгомирова имеют за собою самое важное достоинство - верность. Из ссылок г. Драгомирова видно, что кроме "Науки побеждать" Суворова и приказов Австрийцам в 1799 году, комментарии основывались исключительно на книге Дюбокажа. Если это так, то взгляд г. Драгомирова на Суворова, как на военного педагога, свидетельствует в нем большую точность мышления и ясное понимание Суворовской военной теории. Действительно, г. Драгомиров подметил в Суворове то, чего другие в нем не усматривали. Чем больше набиралось у автора настоящего сочинения данных для военной и особенно военно-педагогической характеристики Суворова, тем больше он убеждался в меткости и верности комментарий г. Драгомирова.

Г. Драгомиров есть основатель и глава известной военной

школы; таким признают его и некоторые иностранные писатели, следящие за русской военной литературой. Если направление этого учения с достаточною определительностью видно из "Сборника статей", то с большею систематичностью оно проведено в другой книге г. Драгомирова, "Учебник тактики". В ряду других учений, оно по всей справедливости заслуживает названия "школы Суворовской", представляя собою наглядное доказательство, что Суворовские военные идеи у нас еще не пропали бесследно.

Перечисленные здесь источники постоянно цитируются в тексте книги, ибо автор считал долгом - указывать, откуда именно те или другие фактические данные им извлечены. Если это не нужно для большинства читателей, то может очень пригодиться будущим исследователям, в особенности указания на рукописные материалы. Цитаты сгруппированы в конце каждого тома, в особом отделе; сделанные в наименованиях источников сокращения будут понятны всякому без особого объяснения.

После "Ссылок и Пояснений" помещены в каждом же томе "Приложения"; сюда вошли под 12 номерами по одному и по несколько документов, наиболее существенных для характеристики Суворова. Автор ограничился помещением в книге этого небольшого числа приложений потому, что выписывание целиком и печатание документов, которыми он пользовался, потребовало бы много лишнего времени и увеличило бы нынешний объем книги вдвое, а может быть и больше.

К книге приложено два портрета Суворова. Снимок, находящийся в первом томе, сделан с гравюры Валькера, оригиналом для которой служил портрет, писанный с Суворова Аткинсоном в Петербурге, в начале 1796 года. Ко второму тому приложен снимок с портрета. Суворова, писанного Шмидтом в Праге (Богемия) в конце 1799 года и гравированного Уткиным. Обе гравюры любезно предложены автору книги Д.А. Ровинским. В третьем томе помещен снимок с маски, сделанной с мертвого лица Суворова, оригинал которой (бронзовый) принадлежит князю А.А. Суворову. Маска эта до сих пор оставалась никому неизвестной и воспроизводится в первый раз.

Снимков с автографов Суворова приложено к первому тому 3 и ко второму 1; все они соответствуют тому периоду времени, который каждый из этих томов обнимает. Два факсимиле на русском языке и по одному на французском и немецком.

Автограф Суворова, относящийся к 1759 году, составляет редкость; в Суворовском сборнике есть только одно его собственноручное письмо 1764 года, остальные все принадлежат позднейшему времени; в правительственных архивах автору книги не удавалось видеть Суворовских автографов раньше 1769 года. Признано излишним прикладывать еще факсимиле за последние годы жизни Суворова, потому что почерк его остался тот же. Сделанные под портретами его подписи взяты тоже с автографов.

Издание снабжено 4 небольшими картами военных действий Суворова в Турции, Польше, Италии и Швейцарии. Карты эти приложены к тем томам, к которым относятся, но одна из них (Польши), помещенная во втором томе для войны 1794 года, идет также и к первому, для первой Польской войны.

В заключение автор считает своею обязанностью - упомянуть о лицах, оказавших ему наибольшее содействие в труде, ныне появляющемся в свет. Покойный князь Александр Аркадиевич Суворов не только согласился поделиться с автором сокровищами своего фамильного архива, но даже все документы, хранившиеся у него в Петербурге и селе Кончанском, доверил автору без всяких стеснительных условий и формальностей, на неопределенное время. - Граф Д.А. Милютин, к которому автор обратился за ходатайством о допущении его в Государственный архив, с правом знакомиться со всеми без исключения документами, касающимися Суворова, - с полным доброхотством взял на себя по этому делу предстательство, результатом которого было высочайшее разрешение в Бозе почивающего Императора Александра II. Не ограничиваясь этим, граф Милютин предложил автору свои материалы, оставшиеся после всем известного его сочинения о войне 1799 года. - Таким же образом получены материалы от барона Ф.А. Бюлера и Н.Ф. Дубровина; не последовало отказа и от вице-президента Императорского одесского общества истории и древностей, покойного Н.Н. Мурзакевича, на просьбу ознакомиться с рукописными документами Общества. - Затем, как было сказано, В.И. Межов оказал автору большую услугу своими указаниями на статьи о Суворове в повременных русских изданиях с самого начала нынешнего столетия. - Равным образом. известный своими изданиями Д.А. Ровинский познакомил автора с коллекциею портретов Суворова и постоянно помогал ему советами, указаниями и содействием по выбору портретов разъяснению разных сомнений, по избранию способа воспроизведения

портретов и т. под. - Немало приходилось автору пользоваться советами по этому предмету и другого знатока, любителя и собирателя, П.Я. Дашкова. - Сверх того автор очень много обязан В.В. Стасову, который несколько лет подряд, с не ослабевавшим интересом и доброжелательством к медленно двигавшемуся труду, никогда не отказывал в своем содействии при разыскивании некоторых источников, в качестве библиотекаря Императорской публичной библиотеки снабжал беспрепятственно целою массою книг на дом и, таким образом постоянно облегчая работу, на много сократил время её исполнения. - Наконец, нельзя не помянуть добрым, признательным словом покойного Г.Н. Александрова, начальника московского архива главного штаба. Дряхлый и больной старец, с трудом передвигавший ноги, он употреблял все свое свободное время и скудный остаток сил на разыскивание документов, сверял переписанное, наводил справки, разъяснял недоразумения и только спрашивал - не может ли быть еще в чем полезен. И все это делалось для лица, ему, г. Александрову, не известного, без всякой задней мысли, из одного сочувствия к предпринятому труду, из доброжелательства к трудящемуся человеку и из уважения к науке.

2

Ссылки и пояснения к 1 тому

Краткое понятие о материалах, на которые здесь сделаны ссылки, дано в отделе третьего тома, озаглавленном "Источники". Наименования источников будут понятны, если предварительно ознакомиться с этим отделом.

К главе I.

1. Суворовский сборник, папка.

В автобиографии Суворова (прошение его в московское дворянское депутатское собрание), происхождение рода Суворовых рассказано иначе, и выход из Швеции их родоначальников, Наума и Сувора, отнесен к 1622 году. Это известие сомнительно. Из справки архива вотчинного департамента видно, что при Петре Великом, Суворовых, владевших землей, было очень много; в какие-нибудь 70-80 лет род их не мог достигнуть таких размеров. За год до подания А. В. Суворовым прошения о внесении его в дворянскую родословную книгу московской губернии, подал подобное же прошение в тверскую дворянскую опеку его двоюродный брат, бригадир Федор Александрович Суворов, ссылаясь на родословную, имеющуюся в московском разрядном архиве, поданную от Наумовых раньше 1701 года. Эта родословная в настоящем случае и предпочтена, тем более, что в ней поименно обозначено много лиц, Суворовых, в восходящем порядке.

2. Суворовский сборник, папка. — Кончанский сборник, тетради 3 и 23.

3. Московский архив главного штаба, опись 10, связка 566.

4. Кончанский сборник, тетрадь 23. — Государственный архив, V, 1710 и VII, 549. — Русская старина 1873 года.

5. Суворовский сборник, том 4 и папка. — Московский архив главного штаба, опись 10, связка 566. — Биография Суворова, им самим писанная.

6. Вотчинный архив, тетрадь 17. — Кончанский сборник, 23. — Московский архив главного штаба, опись 10, связка 566.

7. Воронцовский архив, книга 17.

8. Суворовский сборник, папка.

9. Записки Энгельгардта 1876 г.

10. Жизнь Суворова, им самим описанная, Глинки. 1812 г., и некоторые другие.

11. Воронцовский архив, книга 17. — Час досуга 1860 года, № 6.

12. История войны 1799 года, гр. Милютина.

13. Анекдоты князя Италийского, изд. Фуксом, 1827 года.

14. Час досуга 1860 года, Ж 6.

15. Суворовский сборник, том 4.

16. Русский Инвалид 1856 года, Ж 275. — Журнал министерства народного просвещения, литературные прибавления, 1843 года.

Подписанные под статьями Суворова буквы С. и А. С, были приняты Новиковым за «Сумароков» и «Александр Сумароков», а потому эти две статьи и помещены в собрание сочинений Сумарокова.

Кроме указанных источников, материалом для этой главы служили книги — Суворов и падение Польши, Смитта, и отчасти История Суворова, Полевого.

К главе II.

1. Жизнь Суворова, Глинки.

2. Русский архив 1877 года.

3. Русский архив 1866 года.

4. Записки А. Т. Болотова, Спб., 1871-73 г.

5. Суворовский сборник, папка.

6. Сын отечества 1822 года, часть 75.

7. Биография Суворова, им самим писанная, Москва, 1848 года.

8. Воронцовский архив, книга 4.

9. Материалы г. Дубровина.

Главным материалом служили книги: Суворов и падение Польши, Смитта; Les campagnes du feldmarechal Souworov, par Anthung; Военный сборник 1865 года, №5.

К главе III.

1. Материалы г. Дубровина.

2. Суворовский сборник, папка.

3. Русский архив 1869 года. — Сборник русского исторического общества, том I.

4. Сборник русского исторического общества, том И.

5. Описание лагеря в Красном Селе, Спб., 1765 года.

6. Инструкция полковничья пехотному полку, 1764 года. Анекдоты князя Италийского, Фукса, 1827. — Суворов и падение Польши, Смитта, 1866 г.

7. Анекдоты, Фукса. — Биографии генералиссимусов и фельдмаршалов, Бантыш-Каменского, 1841 г.

8. Московский архив главного штаба, опись 205, книги 40 и 89.

9. То же, опись 196, связка 42.

10. То же, опись 205, книга 89.

11. Московский архив главного штаба, опись 196, связка 42; опись 205, книга 43.

12. Московский архив главного штаба, опись 205, книги 43 и 89; опись 196, связка 42.

13. Remarques sur le militaire des Turcs et des Russes, par Warnery. — Русская старина 1873 г. — Инструкция полковничья, 1764 г. — Московский архив главного штаба, опись 205, книги 89 и 43; опись 196, связка 42.

14. Московский архив главного штаба, опись 205, книги 43 и 89.

15. Военно-ученый архив, М 507. — Московский архив главного штаба, опись 196, связка 42; опись 205, книга 89.

16. Русский архив 1869 г. — Московский архив главного штаба, опись 205, книги 89 и 43; опись 196, связка 42.

17. Военно-ученый архив, М 507. — Московский архив главного штаба, опись 205, книга 89.

18. Воронцовский архив, книга 17.-Анекдоты, Фукса. — Московский архив главного штаба, опись 196, связка 42.

К главе IV.

1. Суворовский сборник, А. — Вотчинный архив князей Суворовых, тетрадь 17. — Московский архив главного штаба, опись 205, книга 41. — Сборник русского исторического общества, том 1.

2. Московский архив главного штаба, опись 205, связка 2.

3. Биография Суворова, им самим писанная.

4. Московский архив главного штаба, опись 205, связка 19.

5. То же, опись 205, книга 63.

Выбор Люблина и распределение сил но постам люблинского района, сделаны были не Суворовым, а Веймарном.

6. Тоже, опись 205, книга 40.

7. Тоже, опись 205, книга 43.

8. Московский архив главного штаба, опись 205, книги 65 и 132.

Происшествие это ошибочно отнесено Антингом к 1771 году.

9. То же. опись 205, книга 63.-Русский архив 1867 года,

10. Государственный архив, ТИ, 549.-Запискн Энгельгардта

1876 года.

11. Московский архив главного штаба, опись 205, книга 48.

12. То же, опись 205, книга 120.

13. То же, опись 205, книга 46.

14. То же, опись 196, книга 42; опись 205, книги 11 и 40.

15. То же, опись 205, книга 88.

16. То же, опись 205, книга 89.

В большей части сочинений об этой войне, дела под Ланцкороною, Раховым и Красником показаны происходившими позже; приведенные здесь числа основаны на донесениях Суворова.

17. То же, опись 205, книга 90.

18. То же, опись 205, книги 89 и 120.

19. То же, опись 205, книга 91.

Материалом для этой главы служили кроме того книги: Суворов и падение Польши, Смитта; Les campagnes de Souworov, Антинга; война 1769-1774 г., Петрова; отчасти Histoire du feldmarechal Souworov, Лаверна, и Жизнь Суворова, Глинки.

К главе V.

1. Московский архив главного штаба, опись 205, книги 101 и 120.

2. То же, опись 205, книга 115.

3. Так по крайней мере представляется дело по имеющимся документам, пока не открыты другие, способные осветить предмет иначе.

4. То же, опись 205, книга 95.

5. То же, опись 205, связки 131.

6. То же, опись 205, книга 108.

7. Анекдоты князя Италийского, Фукса.

8. Моск. архив главного штаба, опись 205, кн. 108. Останавливаемся на неважных по-видимому числовых подробностях потому, что у некоторых авторов цифры сильно преувеличены.

9. Тоже, опись 205, связки 131 и 132.

10. У весьма многих авторов.

11. Моск. архив главного штаба, опись 205, книга 142.

12. Реляция о сталовичской победе представлена Суворовым 25 сентября из Бялы (см. московский архив главного штаба, опись 205, книга 108), т.е. на походе, значит скоро; в ней изложено все, о чем в оправдание свое говорит Суворов. Журнал военных действий не найден между архивными документами.

13. Смитт утверждает, будто Суворов был временно удален из

Польши, до решения его судьбы, и приводит в доказательство письмо его к Бибикову из Крейцбурга, в октябре 1771 года. Из дел московского архива главного штаба видно, что Суворов продолжал оставаться на своем посту и нести прежнюю службу в октябре, ноябре и дальше. Смитт был введен в заблуждение ошибкою или опечаткою, вкравшеюся в книгу Глинки "Жизнь Суворова"; письмо из Крейцбурга написано в октябре не 1771, а 1772 года, во время следования Суворова в корпусе Эльмпта из Литвы в Финляндию.

14. Московский архив главного штаба, опись 205, книги 93 и 94.

15. То же, опись 196, связки 4 и 42; опись 205, книги 46 и 89.

16. То же, опись 205, книги 89, 92 и 93.

17. То же, опись 205, книга 101.

18. Некоторые историографы Суворова говорят противное, но ничем своих слов не доказывают. Недоразумения между Бибиковым и Суворовым могли быть, но отношения их оставались хорошими, что подтверждается последующими письмами Суворова.

19. Московский архив главного штаба, опись 205, книга 142.

20. То же, опись 205, книга 89.

21. То же, опись 196, связка 45.

22. То же, опись 94, связка 124 и указы военной коллегии за 1773 год.

23. Это известие нельзя признать безусловно верным, оно идет из французского источника и, по статье о врачебной помощи, противоречит книге Антинга, том 1, который был прочитан в рукописи самим Суворовым.

24. Московский архив главного штаба, опись205, приказы.

25. То же. опись 205, книга 88.

26. Сборник русского исторического общества, том 23.

27. Государственный архив, XII, 232.

28. Московский архив главного штаба, опись 201, книга 74. Кроме того, материал для этой главы дали те же книги, которые обозначены выше, в конце ссылок на главу IV.

К главе VI.

1. Московский архив главного штаба, опись 205, связка 131; опись 47, книга 178/180.

2. Журнал военно-учебных заведений 1856 года.

3. Военно-ученый архив, М 507.

4. Отечественные записки 1841 года,

5. Воронцовский архив, книга 24.

6. Московский главный архив министерства иностранных дел, 1799, campagnes, связка 2.

7. Московский архив главного штаба, опись 194, книга 19.

8. Под "официальным изложением" разумеем изложение сражения при Козлуджи в книге г. Петрова "война 1769-1774 годов", составленное по официальным архивным документам.

9. Анекдоты князя Италийского, Фукса.

Сын Каменского, приехав в 1799 году к Суворову в армию, сомневался в хорошем приеме, вследствие неудовлетворительных отношений между его отцом и Суворовым, но скоро разубедился в основательности своих опасений.

10. Военно-ученый архив, Ж 371.

11. Записки одесского общества истории, том 8. — Воронцовский архив, книга 24.

12. Постановление это взято из книги г. Петрова — «Война 1769 — 1774 годов», составленной по подлинным документам весьма добросовестно; отыскивание его в подлиннике, как требовавшее много времени, признано поэтому излишним.

Главным материалом для главы служили книги: Война 1769-1774 годов, г. Петрова; действия Суворова в Турции в 1773 году, г. Саковича; отчасти книги Смитта и Антинга и Автобиография Суворова.

К главе VII.

1. Сборник русского исторического общества, том 6.

2. То же, том 13.

3. Автобиография Суворова.

4. Воронцовский архив, книга 24.

Здесь письмо о кончине Суворова — отца помечено 1774 годом, август, Симбирск; тогда как В.И. Суворов умер в 1775 году. В 1774 году А. В. Суворов находился в августе на пути к Панину, а потом в дороге к Саратову, как это видно из настоящей главы. Есть и в других местах подобные ошибки.

5. Чтения в московском обществе истории 1875 года.

6. Русский архив 1866 года. — Памятники новой русской истории.

Упоминается также в двух или трех других изданиях.

7. Сведение это попало в литературу по-видимому от Нащокина-сына, который принадлежал к числу друзей А.С. Пушкина.

8. Чтения в московском обществе истории 1876 года. — Жизнь Суворова, Глинки.

9. Чтения в московском обществе 1876 года.

10. Русская старина 1874 года.

11. Военно-ученый архив, М 154.

12. Отечественные записки 1824 года, часть 20.

13. Русская старина 1873 года.

Письмо это и некоторые другие, ошибочно показаны адресованными графу П. И. Панину, что видно даже из самого их изложения.

14. Москвитянин 1856 года, том 4.

15. Жизнь Суворова. Глинки.

Наиболее обильным материалом для настоящей главы служила книга г. Саковича: Исторический обзор деятельности Румянцева, Прозоровского, Суворова и Бринка в 775-1780 гг.; также приходилось пользоваться статьею г. Анучина в Русском Вестнике 1808 г. №11 и книгою Антинга.

К главе VIII.

1. Воронцовский архив, книга 24.

2. Суворовский сборник, папка.

3. Русская старина 1873 года.

4. Воронцовский архив, книга 24. — Суворовский сборник, папка.

5. Сборник одесского общества.

6. Сборник русского исторического общества, т. 27.

7. Донские войсковые ведомости 1858 года, «N» 4.

8. То же, 1856 года, М 30, 33 и 46.

9. Сборник одесского общества. — Сборник русского исторического общества, том 27.

Материалом для главы служили кроме того книги Антинга и Смитта; отчасти Лаверна и Сегюра.

К главе IX.

1. Московский архив главного штаба, опись 10, связки 78 и 566. — Сенатский архив 2 департамента, №632. — Государственный архив, V, 93. — Русский архив 1873 г.

2. Московский архив главного штаба, опись 10, связка 566; опись 65, связка 198. — Вотчинный архив князей Суворовых, тетрадь 7.

3. Сенатский архив 2 департамента, 632. — Кончанский сборник, тетрадь 23.-Вотчинный архив, тетради 12 и 17. — Автобиография Суворова.

4. Кончанский сборник, 21.

5. Кончанский сборник, 14 и 21.-Вотчинный архив, 7.

6. Суворовский сборник, папка.

7. Суворовский сборник, 2 и папка. — Кончанский сборник, 22.

8. Суворовский сборник, папка. — Кончанский сборник, 21.

9. Суворовский сборник, папка. — Кончанский сборник, 18.

10. Суворовский сборник, V и папка. — Кончанский сборник, 21.

11. Суворовский сборник, папка. — Кончанский сборник, 14 и 24.

12. Суворовский сборник, 1.-Кончанский сборник, 21.

13. Кончанский сборник, 23.-Вотчипный архив, 7.

14. Суворовский сборник, У и папка. — Кончанский сборник. 17.

15. Кончанский сборник, 13.

16. То же, 18. — Суворовский сборник, папка.

17. Суворовский сборник, Д.

18. Кончанский сборник, 1, 4 и 8.

19. То же, 6 и 13.-Суворовский сборник, папка.

20. Суворовский сборник, V и папка, — Кончанский сборник, 18.

21. Кончанский сборник, 21 и 24.

22. То же, 16 и 18.

23. То же. — Суворовский сборник, папка.

24. Кончанский сборник, 1. 4, 8, 16 и 24.

25. Суворовский сборник, Д и папка. — Вотчинный архив, 9.

26. Кончанский сборник. 18 и 23.

27. То же, 6 и 16.

28. То же, 6, 9, 17 и 24. — Суворовский сборник, папка.

29. Суворовский сборник, папка. — Вотчинный архив, 8.

30. Суворовский сборник, папка. — Кончанский сборник, 1 и 12. — Вотчинный архив, 7 и 17.

31. Государственный архив, XVIII, 176. — Кончанский сборник, 21. — Вотчинный архив, 7 и 17.

32. Московский архив главного штаба, опись 205, связка 93.

33. Синодский архив, 459-349. — Военно-ученый архив, № 99.-Русская старина 1871 и 1876 годов.

Останавливаемся на этих подробностях потому, что время женитьбы Суворова доселе или вовсе не обозначалось, или показывалось ошибочно.

34. Синодский архив, 459-349.

35. Русский архив 1873 года.

Случай этот отнесен в источнике ко времени, когда Суворов не был в Астрахани. Говорится также, будто при Суворове находился тогда протоиерей, член синода, нарочно присланный

из Петербурга, и что с донесением о примирении Суворова с женой отправлен к Императрице курьер. Все это сильно требует документального подтверждения.

36. Суворовский сборник, Д. — Кончанский сборник, 21. — Вотчинный архив, 7.

37. Кончанский сборник, 11, 14, 21 и 24. — Воронцовский архив. книга 24.-Записки одесского общества, том 8.

38. Кончанский сборник, 21 и 24.-Русский архив 1865 г.

39. Русский архив 1866 г. — Раут 1854 г.

40. Переписка князя Александра Аркадьевича Суворова. Время рождения Аркадия Суворова обыкновенно показывается всюду неверно, на год и на два раньше действительности.

41. Синодский архив, 459-349. — Кончанский сборник, 24. — Русский архив 1866 г. — Русская старина 1871 г. — Записки одесского общества, том 8.

Сверх того материалом для главы служили книги — генералиссимус князь Суворов, г. Рыбкина, и Крестьяне в царствование Екатерины II, В. Семевского.

К главе X.

1. Суворовский сборник, С

2. Переписка князя Александра Аркадьевича Суворова.

Многие говорят, будто паша предупредил и о предстоящем нападении турецкого флота, но это документами не подтверждается.

3. Военно-ученый архив, № 891. — Суворовский сборник, А.

4. Сборник русского исторического общества, том 27.

5. Государственный архив, XI, 267.

6. Суворовский сборник, À и папка. — Русская старина 1876 г.

7. Суворовский сборник, А и папка.

8. Военно-ученый архив, Л° 891. — Записки одесского общества, том 4.

9. Военно-ученый архив, Ж 891. — Суворовский сборник, А и папка.

10. Суворовский сборник, С— Русская вивлиофика 1834 г.

11. Суворовский сборник, С— Русская старина 1876 г.

12. То же.— Сборник русского истор. общества, том 27.

13. Государственный архив, V, 116.-Маяк 1840 года, часть 6.

14. Суворовский Сборник, С— Воронцовский архив, книга 24

15. Русская старина 1876 года.

16. Записки одесского общества истории, том 11

17. Сборник одесского общества истории.

18. Мемуары Сегюра.

19. Суворовский сборник, папка. — Записки Энгельгардта. — Журнал министерства народного просвещения, литературные прибавления, 1843 г.

20. Воронцовский архив, книга 24.

21. Записки Храповицкого.

22. Записки Энгельгардта. — Рассказы старого воина.

23. Военно-ученый архив, № 893.

24. Суворовский сборник, 1.

Кроме того материалом для главы служили книги Смитта, Антинга и Петрова.

К главе XI.

1. Суворовский сборник, А. — Записки Энгельгардта и многие другие.

2. Записки Энгельгардта.

3. Государственный архив, V, 116.

4. История Суворова, Лаверна.

5. История кампании 1799 года, Фукса.

6. Арнаутами назывались Молдаване, Валахи, а отчасти люди и других племен Балканского полуострова, добровольно вступавшие в русскую службу со своим конем и вооружением, за что получали по червонцу в месяц, провиант и фураж. Они были очень худые солдаты и отчаянные грабители, ни мало не щадившие своих соотчичей. (Раан, Энгельгардт и др).

7. Военно-ученый архив, М 893.

8. Суворовский сборник, А.

9. Жизнь Суворова, Глинки.

10. Записки одесского общества, томы 7 и 8. — Записки Энгельгардта.

11. Суворовский сборник, А. — Русская старина 1876 г.

12. Перечень из журнала 1787-1790 г., Раана.

13. Военно-ученый архив,'№ 893. — Русская старина 1875 и 1876 гг.

14. Precis historique sur le comte Souworov, pas Guullaumanche-Duboscage.

15. Северный архив 1822 года, часть 2.

16. Суворовский сборник, А и Д. — Русская старина 1876 г.

17. Сборник одесского общества, — Сын отечества 1839 г., часть 9. — Записки Храповицкого. — Русская старина 1876 г. — Воронцовский архив, книга 13. — Собрание писем и анекдотов, Левшина.

18. Суворовский сборник, À. — Русская вивлиофика 1834 г. —

Русская старина 1875 и 1876 гг.

19. Записки одесского общества, том 8.

20. Отечественные записки 1828 г., часть 35. — Русская старина 1876.

21. Отечественные записки 1822 года, часть 9.

Кроме того материал для главы дали книги Смитта, Антинга и Петрова.

К главе XII.

1. Военно-ученый архив, № 893.

2. Записки Энгельгардта,

3. Мои безделицы, Вернета. — Анекдоты, Фукса.

4. Материалы гр. Милютина, Письмо это имеет ошибочную пометку 1790 года.

5. Военно-ученый архив, 893. — Северный архив 1822 г., ч. 2. — Воронцовский архив, книга 24.

6. Сборник барона Бюлера. — Записки Энгельгардта. — Анекдоты Фукса.

7. Воронцовский архив, книга 24.

8. Суворовский сборник. Г.

9. Русский архив 1871 года.

10. Суворовский сборник, Г. — Русский архив 1876 г. — Русская старина 1875 г.

11. Суворовский сборник, Г. — Русский архив 1871 года.

12. Военно-ученый архив, 893. — Отечественные записки 1822 г., ч. 2.

13. Суворовский сборник, Vи Г. — Рассказы старого воина. — Книга Дюбокажа.

14. Военно-ученый архив, 891 и 893. — Русский архив 1871 года.

15. Московский архив главн. штаба, опись 94, связка 191.

16. Военно-ученый архив, 891 и 893.- Отечественные записки 1822 г., ч. 9.

17. Жизнь Суворова, Глинки.

18. Распространен анекдот, будто Суворов назначил Кутузова комендантом Измаила и послал ему это сказать в самый критический момент, когда заметил в 6 колонне колебание. Это более чем сомнительно, потому что тогда стояла полная ночь, и Суворов не мог видеть того, что происходило у Кутузова, тем паче, что находился от 6 колонны далеко; Кутузов же к нему за подмогой не посылал и обошелся собственными средствами.

19. Анекдоты князя Италийского, Зейделя.

20. По всей вероятности это письмо Австрийского императора

дало повод некоторым писателям утверждать, что перед началом дела, курьер привез предписание Потемкина, отменяющее штурм, но Суворов, будто бы догадываясь о содержании бумаги, не велел допускать до себя посланного раньше взятия крепости.

21. Военно-ученый архив, 893.- Суворовский сборник, 1 и папка. — Записки одесского общества, т.9. — Русский архив 1874 года.

22. Воронцовский архив, 24. — Отечественные записки 1822 г., ч. 9.

23. Сын отечества 1849 года.

24. Русская старина 1876 года.

Источниками для составления главы служили кроме того книги гг. Петрова, Антинга и Смитта.

К главе XIII.

1. Московский главный архив министерства иностранных дел, сношения с Польшей, связка 11. — Записки Державина.

2. Воронцовский архив, книга 24. Первая записка неудовлетворительно прочитана и воспроизведена.

3. Суворовский сборник, А. — Государственный архив, XX, 325.-Жизнь Суворова, Глинки.

4. Суворовский сборник, А. — Русский архив 1874 года.

5. Суворовский сборник, У.

6. Военно-ученый архив, 893.— Русская старина 1876 г.

7. Суворовский сборник, I, А, К и папка. — Государственный архив, XX, 324. — Анекдоты Зейделя.

8. Суворовский сборник, I. — Государственный архив, XX, 324 и 325. — Жизнь Суворова, Глинки.

9. Суворовский сборник, А. — Государственный архив, XX, 324. — Собрание разных сочинений Фукса.

10. Суворовский сборник, I и V. — Государственный архив, XX, 324 и 325.

11. Государственный архив, XX, 324 и 325.

12. Суворовский сборник, I. — Чтения в московском обществе 1864 года. — Книга Варнери.

13. Суворовск. сборн., V.- Государственный архив XX, 323.

14. Государств. архив, XX, 323.- Славянин 1828 г., №1.

15. Государственный архив, XX, 323. — Глинка.

16. Государственный архив, XX, 329. — Глинка.

17. Суворовский сборник, I и V.- Глинка. — Собрание писем и анекдотов, Левшина.

18. Государственный архив, XX, 325.

19. Воронцовский архив, книга 13. — Записки Энгельгардта.

20. Русский архив 1876 г— Воронцовский архив; книга 13.

21. Суворовский сборник, I и V.

22. Русская старина 1875 года.

23. Суворовский сборник, I, V и папка.

24. Государственный архив, XX, 324. — Суворовский сборник, V. — Записки Храповицкого. — Собрание писем и анекдотов, Левшина.

25. Суворовский сборник, I.

26. Суворовский сборник, I и V.-Анекдоты Зейделя.

27. Суворовский сборник, I. — Глинка. Повествуя об этом времени, один из писателей, Смитт, рассказывает про благодеяния Суворова, про его пенсии родным сестрам и проч. Тут много преувеличения или же анахронизмов; Смитт был введен в заблуждение сходством имен, принял обязательные уплаты за благодеяния и т. п. Не лишнее заметить, что панегиристы Суворова слишком раздули в нем черту благодетельной щедрости.

28. Суворовск. сборн., В. — Государствен. архив, XX, 323.

Сверх перечисленных источников, материалом для главы служила книга Смитта.

Приложения к 1 тому
Приложение I.
к главе VII.

ПРИКАЗ генерал-поручика Суворова по войскам Крымского и Кубанского корпусов, 16 мая 1778 года.

(Из статьи г. Саковича в Москвитянине 1856 года, том 4, составленной по архивным документам).

1) В принадлежащем до дежурств, исполнять на основании пунктов главы восьмой, прибавления к строевому уставу.

2) Полковым, батальонным и их команд лекарям и подлекарям иметь ежевременное попечение о соблюдении паче здоровья здоровых, всегдашними обзорами в касающемся до них содержании каждого вообще, до их пищи и питья. Последнему принадлежит, где не лучшая вода, таковая отварная и отстоянная; слабым сухарная или с уксусом; к пище-ж -выпеченный хлеб, исправные сухари, теплое варево и крепко-полуженные котлы.

Застоянную, олуделую отнюдь не употреблять; но надлежаще варить, а по употреблении вымывать и вытирать котлы сухо. Обуви и мундирам быть не весьма тесным, дабы в обуви постилка употребляться могла. Наблюдать весьма чистоту в белье, неленостным вымыванием оного. Строго остерегаться вредного изнурения; но тем паче к трудолюбию приучать, убегая крайне праздности; в противном случае, г. лекарь или подлекарь представляет тотчас г. эскадронному или ротному командиру. В случае неудовлетворения от сего, доносить о том полковому, батальонному или того отделения начальнику; далее-ж относиться уведомлением о том, хотя письменно, г. командующему тою частью, а потом и тою-ж бригадою. В крайности-ж имеет право о сем непорядке немедленно сообщать старшему при корпусе г. лекарю, для донесения корпусному генералу; но таковые приключения никогда не ожидаемы.

Случайно больных и слабых в лазаретах при войсках, строгим наблюдением обыкновенных порядков в лечении и содержании, неутомленно приводить в прежнее состояние их здоровья. В каком, и малом, в предвидимом умножении оных, г. бригадный командир имеет долг, при самоличном в том месте обозрении, исследовавши причину зла, неослабно взыскать на начальнике, ибо иначе ответствует он одною своею особою начальнику корпуса.

До войны, надзиратели в лазаретах, при слабых и больных, должны быть люди честные, попечительные, трудолюбивые и бескорыстные. Лекарем или подлекарем, не таковой усмотренный, переменяется с доклада ближнего начальника на месте.

Ротным фельдшерам быть в их должностях исправнейшими и строго к оным от лекарей и подлекарей приобученными.

Благоучреждение исправных артелей в капральствах, под разумными и попечительными артельными старостами, наистрожайше соблюдать с примечательным о том надсмотрением высших начальников над нижними, как то следует, до взыскания от корпусного командира.

3) Военное обучение должно служить упражнением высшим начальникам над их низшими. Надлежит сие правило строго соблюдать исправлением не достигшего тонкости оного, холодным духом. Производить его всякое способное время, но силе описания воинского строя 1763 года. Кавалеристов начинать экзерцировать конному пешком: в заезжании, в вздвоивании, формировании на маршах, потом и на конях большой атаке в полный карьер на саблях, с прочими для движения маневрами; а драгун, над тем, твердо и пехотному обучать.

Нужно наблюдение в эскадронах интервалов, для врубки сквозь оные второй кавалерийской линии; а между тем первая, при сильном опровержении противника, вмиг строится по аппелю. Казаков обучать сильному употреблению дротика по донскому его размеру, в атаке, сшибе и погоне. И пехоту разным маршам, быстрым движениям разностройно, обращением вперед и эволюциям, употреблению штыка и ружья, скорому заряжанию, жестокой атаке, а особливо полковыми и батальонными кареями. Густейшие каре в движениях тяжки. Кареям размер крестных огней твердо соблюдать, с присутствием духа, в разной пальбе, не забывая весьма и приемов. Большим маневрам и эволюциям, твердо обучать целыми частями войск по способностям. Во всякое время корпусный командир имеет право, без возвещения в экзерцировании, всюду посещать. На примерной пальбе разбивать доски пулями, в мишенные меты по порядку; а по степному в них недостатку, стрелять в земляной вал. Господа начальники, по хозяйству их, употребят на то излишнейший свинец, а положенный с порохом и прежде сроков доставлять себе могут. Паче ротные стрелки, в сем цельном огненном бою надлежат быть обучены наитвердо; нужен тут приклад взором по стволу, комель крепко в сгиб плеча. Мишенной стрельбе обучать в начале: одиночкою, шестками в шеренге, капральною ротною шеренгою, рядами, капральствами, ротами, батальонами. Конных посему,

для твердости в управлении лошадью и искусства редкого шармюцирования, одиночкою в полном карьере.

4} В каждом пехотном капральстве ротных четыре стрелка; сии бьют в их ранжире, но и могут быть отряжены по рассмотрению военно-начальников. Сколько же сие служит для соблюдения огня, известно тонкой практике военной. Для вернейшего застреливания противных, а особливо старших и наездников, сии имеют волю стрелять когда хотят, без приказу. Таковых стрелков имеют конные в капральствах шесть, и для различия они, конные егеря, и формируются в легкий эскадрон по рассмотрению начальников; прочие рубят вперед. Отличность от драгун есть сих, что те должны по обстоятельствам быть на основании пехотных. Бьют они все противящееся вперед, быстро, по благоразумному его начальника предусмотрению.

Сии стрелки для отличности имеют за шляпами и киверами зелень, а в недостатке оной, солому или сено всегда.

Казаки - таковых в десятке два; это маяки; неприлично казаку стрелять, он бьет пикою, особливо в крестец.

5) Отряженным в укреплениях пехотным рядовым иметь патронов сто: то не для частой стрельбы, ибо для того назначены стрелки, но для выдержания каких осадностей. Сие в свое время; но нечаянностию никакой военно-начальник, даже до капрала, по преподанным каждому от высшего его правилам, не должен быть удивлен. Сильные укрепления выдержат долговременную осаду, но как поспеть могут всюду резервы в первых сутках или днях, то бьют они противных в тыл; те, между двух огней стесненные, бегут стремглав, и конница их дорубает и колет живо, так как на Дунае. С пленными поступать человеколюбиво и стыдиться варварства.

В укреплениях артиллерия бьет картечами; оные по дирекции начальника её на месте.

6) Полевым укреплениям иметь отверстую дирекцию на окружности, по приличеству местоположения оных; рвам быть в ширину и глубину в один с половиною сажень, а по изволению инженера с начальником на месте, и превосходнее, поелику то грунт земли дозволит. Толстота вала с обыкновенным банкетом, амбразурами. турами с песком или землею, тесно с промежутками для ружейной стрельбы; мешки тож. Ворота укреплены траверзами, рогатками заграждены, рвы перед ними прорыты, на них подъемный или подвижной мост, внутри их перпендикулярный палисад, поелику дозволят материалы; пред ними шаг - три ряда волчьих ям, в глубину и ширину диаметром один с половиною аршин; между ими пядень, в средине каждой острый небольшой кол, выходящий из земли пол-аршина. По

слабости ж грунта, или каменистой жесткости оного, легкие рогатки в один и два ряда, на эспланаде пред рвом и валом, как и между ними от одной до одной с половиною сажени. За эспланадой в поле может быть другой ров, маловажнее первого. По достатку леса, может быть эспланада с рогатками между рва и волчьих ям; волчьи ямы прорыты в отрез, и чрез них сдвижной мост. Вместо рогаток употребляются: герзы, опрокинутые деревья, короткие или долгие с остро-отрубленными сучьями; а терновник потому не надежен, что по засохлости от жаров, может быть зажжен.

Сверх того, поланки в поле каждого коменданта суть: рвы с малым валом для помещения обозов и скарба, подобно легким турецким ретраншаментам. При обыкновенном российском мужестве, мудрый комендант низвергнет важностью его укрепления, противные предприятия регулярнейших войск, коль паче варварские рассевные набеги. Погоня не нужна, не похвальна, как и вылазки, разве резервом; но и то для обряда.

7) Комуникационные зажигательные маяки в рассмотрении господ бригадных командиров и частных, особливо на обзорных постах. По надбережностям лучше их не имел, нежели ими войска беспокоить. Было бы то вовсе оплошность, впредь по данным правилам подчиненным начальниками, частнаго командира, и неприлежность в соблюдении предвидений начальствующего бригадою.

8) Но от обзорных постов и казачьих пикетов с связными караулами хотя нечаянности нет, дается знать чрез смычки их кордонов, от места до места, наипоспешнейше в приключениях беспокойственных, во всякое время о случающемся и о сближении противных, в три стороны к начальникам: частному, бригадному и корпусному, три раза. Чего ради на важно-примечательных постах иметь казаков по десяти: первое - примерно извещать, противные в каком числе, куда их обращение и тверды или робки; второе - что за ними примерно следует, и какое в том их есть намерение, как и прилепление к какому фельдшанцу.

9) Казакам непременно быть на всегда дротиком вооруженным, яко наисильнейшим их оружием для поражения всякого противника; но и во всех случаях огнестрельное его оружие есть только для сигнала. Донским господам полковникам, их особами помещаться и быть помещенным там, где более в начальнике казачьего войска нужда, как и их старшинам, по распределению оных, коль паче на часах. Обыкновенно в средине его передовых страж. а не всегда там, где временная застава кажется сильнее быть; но не постоянно, ибо обстоятельства счисление людей переменяют в непокойствиях сих. Заставам

состоять больше в западнях. Страшнее противнику вылазка тогда, для его побоища и схватки, паче кажущееся, вяще численным её умножениям. Для притяжения противника, ежели он паче чаяния иногда множествам, на крепости и резервы постовым казакам заманивать его в полном шармицеле, сколько можно длиннее, забавляя его тут иногда и стрельбою, как и дротичным наездом с криком одинаково безопасно; а когда он будет гораздо по времени к укреплениям наперт, или разными войсками на месте сломлен. то уже тогда поражать его сильно пикою в крестец и живым хватать.

10) Корпусному командиру и между собою господам бригадным и прочим начальникам, при сообщении известий, осведомлений, описывать в них возможное предвидение. и по последствиям настоящего, в будущем приличную прозрачность с военными и политическими краткими рассуждениями для предпобеждения оных, как способнейшим к тому местным пребыванием, нежели тем, кому сообщают по обстоянию. Иначе от того рождаются замешательства лишними предосторожностями и беспокойства, иногда напрасным подвижением, хотя и немногим войскам. Лучше для того объяснять всякое известие, вообразительно его назнача - справедливым, сумнительным или ложным, не взирая на то, что дальнейшим проницанием кажущееся ложным превратится в истинное, а справедливое - в ложное и сумнительное. Чего ради каждому, всего лучше начальствующему, преподавать свои мысли с разсуждениями смело, означая но случаю примерное число противников и их вооружение. Получающий их, берет с того свои исправные меры.

В политических делах, секретная при корпусе экспедиция имеет её обыкновенное течение.

11) По неспокойным обстоятельствам в движениях, на месте бдит четвертая часть войска; в сомнительных обстоятельствах половина; в сумнительнейших отдыхает только четвертая доля по очереди.

Как бы малолюден отряд когда аи был, но всегда в нем двум начальникам, старшему и младшему, быть надлежит.

12) Порядки сражений в благоучреждении военно-начальников. Против регулярных войск -линейные, как в прошлой прусской войне; против иррегулярных, как в прошлой турецкой. Густые кареи были обременительны, гибче всех полковое каре; но батальонные способнее для крестных огней, бьют противника во все стороны насквозь, вперед мужественно, жестоко и быстро; не помещенная тяжелая артиллерия идет своею дорогою батарейно, с её закрытием; конница рубит и колет разбитых и рассеянных в

тыл, или для лучшего поражения стесняет на кареи. Внедрившиеся внутри их, окапываются там резервами, кои обыкновенно из восьмой, шестой, а иногда и четвертой доли, по обстоятельствам. Кареям между собою интервалы для крестных огней наивозможнейше соблюдать; по соблюдают и их огонь, как артиллерийский, так и мушкетный. На мушкет 100 патронов. По мушкетному (огню) большая должность есть ротных стрелков. Пехотные огни открывают победу, штык окапывает буйно пролезших в каре, сабля и дротик победу и погоню до конца довершают.

Каре в непрестанном движении, доколе конница противных на бегу из виду их прогонит; но и тогда высший по случаю (начальник) уделяет карейной пехоте нечто вперед, резервами для конницы.

Обозы остаются под укреплениями вагенбургом при надлежащих закрытиях; легкие по удобности отправляются в сторону или назад; но противу само-легко-противных, иногда идут они просто среди карейных линий, ими закрытые; те их отстреливают.

Ордер сражений: батальон его кареем в первой линии, два батальона их кареями во второй; или такоже два батальона в первой, один батальон как резерв во второй: или два каре в первой, два во второй; или с прибавлением за второю линиею резервных каре, один против двух; или сии резервные каре в средине обеих линий по-шахматному. Где гренадерские батальоны, места их каре на крыльях ордера, или в средине, по усмотрению. Каре батальонной ли или полковой, а не выше. Такие около Дуная, в прошлой войне, многолюдных стамбульцев жестоко били. Ни лес, ни вода, ни горы, ни буераки - стремление их когда удерживать могли?

Эскадроны, доколе в действие не вступят, обыкновенно внутри карейных линий, не закрывая отнюдь их интервалов для крестных огней. Казаки тож и частями в рассевку.

Походный порядок против порядка боевого, дабы тотчас на походе драться, и ежели противники близки, то и кареями; впрочем повзводно и по рядам с соблюдением интервалов. Обыкновенно кавалерия внутри линий, нехота в голове и хвосте, казаки но их частям, пушки и легкие обозы сколько возможно с крыльев: но взводы и ряды пехоты могли бы тотчас загнуться в каре. Авангарду и ариергарду нет, а токмо нечто обзорных подъездных казаков, с головы и хвоста бьет твердо, надежно вперед, уведомляя о противниках возможно точными познаниями: ибо обыкновенно, сближаясь к ним поспешными маршами, разъездами или чем иным еще предопаснейшим, то чинить для

предприятия колебленно, поздно и предосудительно.

Сей ордер марша в близости варваров; но впрочем с авангардом и ариергардом.

Бить стремительно вперед, маршируя без ночлегов. Ночное поражение противников доказывает искусство вождя пользоваться победою не для блистания, но постоянства. Плодовитостию реляций можно упражняться после.

Для сорвания варварских окопов, само собою сгущается каре. По их овладении, разгибается легко с огнем на походе вперед. Шести-шереножной колонны, формированной направо, ряды вздвой, в середину сомкнись, или просто взводы смыкай в колонну. Хотя она тогда была и гуще, по-прежнему строй фронт. Сия шести-шереножная колонна, ежели одарена твердостью и мужеством, паче начальствующие её частями, кругом фронт, опусти штык по-офицерски, - непроницаема никакою кавалериею. Нет лошади, чтоб два раза три шеренги, в середине спина со спиной, прорвать могла еще при непрестанной стрельбе от стрелков. более в лошадиную грудь. Но вредны ей картечи в размер. Колонна та гибче всех построений, быстра в её движении; ежели без остановки, то все пробивает. Пушек не ожидает никогда. Их дирекция по другим местам.

В стояниях и на походах, мародеров не терпеть и наказывать оных жестоко, тотчас на месте. Домов, заборов и огородов отнюдь не ломать; везде есть разноименные дрова. Где случается фуражировать, чинить то при войсках, правилом, с крайним порядком. Есть ли тут благоразумие, где лишать себя самого впредь текущих последствий, довольной субсистенции и кровли? Наблюдать то и в неприязненной земле. Делать и в оной жалобе всякого обывателя тотчас должное удовольствие. Не меныпе оружия поражать противника человеколюбием.

Порядок кампаментов - против боевого порядка. Но буде варвары в отдалении, то взирать и на выгоды войск, яко то: кавалерии становиться больше в лощинах, на луговых местах. Вообще войскам тогда занимать обширнее место. Впрочем, всегда фланги расположения лагерного укреплять пехотою для закрытия кавалерии; но как в быстрых движениях, походы денно и ночно, и отдыхи по часам, то сим в излишественном утруждении войск от множайших предосторожностей, свободиться возможно.

Известные качества начальствующего украшаются его благовременною диспозициею, преподанием нужных кратких и ясных правил войск, на толикое пространство времени, поелику он до рубежа своего предвидения разно-личных обстоятельств и перемен, достигнуть возможет ежевременно. Доколе сию важнейшую свою должность не совершит, спокойствия ему нет. А

потом благонадежен он на войско, так как оное благодежно на него. Уже тогда ни малою нечаянностью не может он быть обременен.

Приложения к 1 тому
Приложение II.
к главе XIII

ЗАМЕЧАНИЯ генерал-аншефа графа Суворова Рымникского об оборонительной и наступательной войне в Финляндии; 1792 года.

(С документа государ. архива, XX, 323).

Незнатные набеги презирать; ежели вредны земле, на то репресалии. Самим таковых иррупциев не чинить, они опасны. Лучше усыплять, нежели тревожить - и делать большой удар. Малая война обоюдно ровна и не полезна, изнуряет войско. Заставы в проходах не трогать, ибо сбитые будут назад. При обыкновенных своих легких разъездах, схвачивание противных форпостов не столько полезно для известиев, как приятели в чужой земле деньгами, и генерал должен предвидеть будущее по течению обстоятельств. Атака винтер-квартир неприятельских если потребна, то они всюду открыты или с чела, или с тылу; наши все за крепостями. Внедрился бы где неприятель в нашу землю, - это ложный стыд: он отдаляет свою субсистенцию и сам пришел к побиению соединением на него корпусов. Сим быть навсегда нераздробленным, как здесь в обыкновенных партизанах нужды нет.

Таков есть пункт Сердобольский. Иммальский отряд наступающих отрезывает, или бьет в спину, или топит в Ладоге, сам казнен, окружен острыми горами, не защитен, под протекциею Шлиссельбурга озером в полном отвесе.

Страна за Олонцем была в благоразумной обороне: то основание и впредь. Туда неприятельский набег чрез мшистую Лапландию, без хлеба, или через Тюрию, фланкируя Рускиела (где разве разорим завод, а камней не унесем) и Сердоболь; его бьет Иммальский отряд.

Нейшлот окружен не замерзаемым волнующимся глубоким озером; плоты с лестницами к его высоким стенам безпечно пристать не могут; сии никаких выстрелов не боятся, и от бомбардирования люди в казематах с двухгодовым провиантом, как водяным каналом за горизонтальною нижнею обороной; во все то время добрый комендант не требует сикурса. Для поднятия ж осады, операция от Керны на Кристину и С. Михель, бить Саволакский корпус с осаждателями, коли не уйдут, или прямо

на сию крепость чрез настоящие каналы со способом Саимской флотилии, которой для действиев центральная позиция под новым каналом Купоссары. Отважатся противники идти между Нейшлота и Кексгольма на Вокшу, - быстрая сия река весьма обороняема при С Андре и иных местах весьма малыми батареями, и Вильманстрандский корпус, один или с соединением, их бьет. Вильманстранд горным будущим укреплением безопасен.

Давидов депотный пост, в (случае) потребности, как и Вильманстранд, - центральный пункт операциев, но особливо предмет на офенсивную, как только одну, за Кюмень; тогда пограничные крепости, ныне в полном оборонительном состоянии, - в плацдармы.

Кюмень-город прилежит Роченсальму; сия гавань ничем не командуема и едва победима, берет в тыл, купно с Ревелем, противные флоты, коих десант, никогда не знатный, всюду бьют и топят сухопутные войска.

Наступательная война - потребно для нее прибавить против оборонительной, временно: пехоты к 28 батальонам 3 или 4 полка; к 6 эскадронам драгун и гусар до 10, или всего 15 эскадронов; казаков теж 4 полка. Первое: операция на Свеаборг (оставя Швартгольм в покое) флотами и десантом, купно с сухопутными войсками на Гельсингфорс. Второе: сухопутная операция прямо на Тавастгус к Або; примечать влево и с тылу Гельсингфорс особым отрядом. Третье: общая (операция) сухопутных войск с морским вооружением, которое с ним соединится под Або, обходя Свеаборг, или запереть оттуда выход в море частью судов. К сему обсервационный корпус внутри границ, из общего числа войск 3 или 4 полка, от 3 до 5 эскадронов, казачий полк; позиция его при Саватайполе и внимание на Саволакс, с содействием Саимской флотилии. Легкие его отряды: правый для закрытия Вокши против Иммалы, левый при Утти, поелику неприятель может умножать его силы в Саволакской области, для диверсиев, и тем его главные войска ослаблять, толико подкреплять сей корпус.

5

Ссылки и пояснения ко 2 тому

Краткое понятие о материалах, на которые здесь сделаны ссылки, дано в отделе третьего тома, озаглавленном "Источники". Наименования источников будут понятны, если предварительно ознакомиться с этим отделом.

К главе XIV

1. Суворовский сборник, Н и В.
2. Сувор. сборник, В. - Сборник одесского общества. - Записки Храповицкого. - Записки одесск. общества, т. 8. - Рус. архив 1878 г.
3. Сувор. сборник, В. - Журнал минист. народн. просвещения 1856 г. (Данилевский).
4. Сувор. сборник, II и В. - Государств. архив, ХИХ, 418 и ХХ, 339.
5. Сувор. сборник, II и V.
6. Сувор. сборник, II и К. - Госуд. архив, ХХ, 339.
7. Сувор. сборник, В. - Сакович, 1775-1780.
8. Моск. главный архив, сношения с Польшей, св. 7. - Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 2. - Военно-учен. архив, 1220.
9. Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 2. - Моск. главный архив, сношен. с Польшей, св. 7 и 11. - Государств. архив, ХХ, 339. - Суворовск. сборн., В. - Рус. архив 1878 г.
10. Русский архив 1878 года.
11. Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 2 и 4. - Сувор. сборник, В.
12. Сувор. сборник, папка. - Материалы гр. Милютина.
13. Сувор. сборник, папка.
14. Госуд. архив, XV, 475.
15. Рассказы старого воина,
16. Моск. арх. гл. штаба, оп. 196, св. 2 и 42.
17. То же. - Рус. архив 1878 г.
18. Сувор. сборн., В. - Госуд. архив, ХХ, 339.
19. Сувор. сборник, II и Т. - Государств. архив, ХХ, 339. - Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 42. - Сборник рус. истор. общества, т. I.
20. Сувор. сборн., II. - Госуд. архив, ХХ, 339. - Моск. главный архив, сношения с Польшей, св. 7. - Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 42.

21. Сувор. сборник, П. - Моск. главный архив, сношн. с Польшей, св. 7.

22. То же. - Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 42.

23. Государств. архив, XX, 339.

24. Сувор. сборник, II. - Записки одесск. общества, т. 8.

25. Сувор. сборн., II и V. - Рус. архив 1866 г.

26. Сувор. сборн., тоже. - Военно-ученый архив, 204. - Записки одесск. общества, т. 8.

27. Сувор. сборник, тоже. - Моск. главный архив, сношн. с Польшей, св. 7.

28. Сувор. сборник, II, В и Е.

29. Рассказы ст. воина. - Маяк 1842 г., т. I.

30. Сувор. сборн., II. - Анекдоты Фукса.

31. Сувор. сборник, II.

32. Сувор. сборник, V. - Моск. главный арх., УП, 37, картон С; сношения с Польшей, св. 11.

33. Сувор. сборник, II и V. - Рус. архив 1877 г. - Рус. старина 1875 и 1876 гг.

34. Сувор. сборн., II.-Моск. главный архив, УП, 37, карт. С

35. Сувор. сборник, П, V и В. - Записки одесск. общ., т. 8.

36. Сувор. сборник, Г. - Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 2.

37. Сувор. сборник, Г, В и К. - Моск. главный архив, сношн. с Польшей, св. 7 и 11.

38. Военно-ученый архив, 1220. - Антинг. - Лаверн.

39. Воен.-учен. архив, 1212. - Рус. архив 1866 г. - Антинг.

40. Сувор. сборник, II и V. - Рус.архивы 1866 г. - Антинг.

41. Материалы г. Дубровина. - Рус. архив 1866 г.

42. Суворов и падение Польши, Смитта. - Воронц. архив, кн. 17.-Сборник рус. истор. общества, т. 23.

43. Екатерина пишет про Суворова Гримму: "il a des singularites sans fin; il y en a meme qui lui nuisent".

44. Воен.-учен. архив, 1219.-Материалы г. Дубровина. - Воронц. архив, книга 17.

К главе XV

1. Госуд. архив, ХП, 168.-Сборник рус. истор. общества, т. 2И).

2. Oginski, Memoires etc.

3. Военно-ученый архив, 1219 и 1220.

4. Рассказы старого воина.

5. Воен.-учен. архив, 1220. -Моск. архив гл. штаба, опись 196, связка 4. - Антинг. - Лаверн.

6. Воен.-учен. архив, 1219. - Моск. архив п. штаба, оп. 196, св. 9.

7. Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 9.

8. Это предположение тем вероятнее, что Суворов находился в сношениях с Репниным, который конечно сообщил ему со своей стороны повеление Екатерины, да и сохранилась приведенная записка при бумагах именно Репнина. (Госуд. архив, ХП, 232).

9. Моск. арх. гл. штаба, оп. 196, св. 9. - Воен.-учен. арх., 1220.

10. Рассказы старого воина. - Антинг.

11. Воен.-учен. архив, 1219 и 1220. - Антинг.

12. Воен.-ученый архив, 1220. - Антинг. - Лаверн. - рассказы ст. воина.

О потере в 700 человек говорит писатель, цифры которого вообще крайне сомнительны, а фактическая сторона дела очень перепутана, так как он излагает давние свои воспоминания. (Расск. ст. воина).

13. Воен.-учен. архив, 1220. - Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 9. - Антинг.

14. Моск. архив гл. штаба, тоже, - Рассказы ст. воина, - Антинг.

15. Государств. архив, VI, 549. - Воен.-учен. архив, 1219 и 1220. - Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 9. - Campagnes des Austro-Russes, 1800. - Огинский. - Лаверн. - Антинг.

16. Воен.-учен. архив, 1219 и 1220. - Моск. арх. гл. штаба, оп. 196, св. 9. - Рассказы ст. воина. - Лаверн. - Антинг.

У Лаверна говорится про надпись, на польских знаменах - равенство (вместо единство у Антинга); но это противоречит самому смыслу польской революции и опровергается сохранившимися знаменами.

17. Госуд. архив, VI, 549. - Воен.-учен. архив, 1220. - Рус. архив 1871 г. - Огинский.

18. Сувор. Сборник, В. - Воен.-учен. арх., 1219. - Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 16. - Рус, архив 1876 г. - Северн. архив 1822 г.,№20.

К главе XVI

1. Мемуары Огинского.

2. Моск. архив гл. штаба, опись 196, связка 9, - Военно-ученый архив, 1219. - Сборник рус. истор. общества, т. 2 9. - Огинский. - Лаверн.

3. Моск. архив гл. штаба, тоже. - Военно-ученый архив, 1220. - Рус. архив 1876 г. - Огинский.

4. Воен.-учен. архив, тоже. - Моск. архив гл. штаба, тоже. - Сувор. сборник, папка.

5. Лаверн. - Огинский.

6. Воен.-учен. архив, 1219 и 1220. - Моск. арх. гл. штаба, оп. 196, св. 8 и 9. - Сборник рус. истор. общества, т. 29. - Записки Энгельгардта.

7. Восемнадцатый век, Бартенева, кн. 4.

8. Воен.-учен. архив, 1219и1220. - Сборник рус.истор. общества, т. 29.

9. Воен.-учен. архив, 1220.-Лаверн.

10. Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 9. - рассказы ст. воина. - Лаверн.

11. Рассказы старого воина.

12. Военно-ученый архив, 1220.

13. То же. - Государств. архив, VI, 549. - Лаверн.

14. Воен.-учен. архив, тоже. - Огинский. - Лаверн. - Антинг.

15. Воен.-учен. архив, тоже. - Антинг.

16. Антинг. - Гильоманш-Дюбокаж.

17. Та же книга Дюбокажа. - Gens de guerre, par general baron Ambert.

К главе XVII

1. Воен.-уч. арх., 1220 и 1221. - Лаверн. - Дюбокаж.

Письмо Суворова к Зайончеку не приведено целиком потому, что копии с него в документах не сохранилось, а напечатано оно в разных изданиях в неодинаковой редакции.

2. Военно-ученый архив, 1219, 1220, 1221.

3. Госуд. архив VII, 549. - Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 9. - Воен.-уч. архив, 1220. - Огинский.

4. Госуд. архив, VII, 549.

5. Рассказы ст. воина, - Сын отечества 1831 года, часть 140. - Военный сборник 1868 г.

Приказ этот в архивных документах не от искан; приведенный здесь вкратце записан участником дела по воспоминаниям.

6. Материалы г. Дубровина. - Сын отеч., 1831 г., ч. 140.

7. Государств. архив, VII, 549. - Воен.-ученый архив, 1220. - Сын отечества 1831 г., ч. 140.

8. Госуд. и Воен.-ученый архивы, тоже. - Лаверн, Дюбокаж и нек. другие.

9. Госуд. архив, тоже. - Воен.-учен. архив, 1221. - Сын отечества 1831 г., ч. 140. - рассказы ст. воина.

О выстрелах из домов и бросании оттуда в Русских каменьями и разными тяжестями упоминается только в одном источнике, последнем. Автор этих воспоминаний хотя и часто перепутывает факты, заслуживает однако в настоящем случае

веры, ибо был участником дела, и память едва ли могла ему изменить в такого рода обстоятельстве.

10. Государств. архив, VI, 549.-Дюбокаж.-Сын отеч. 1831 г., ч. 140.

11. Госуд. архив, тоже - Сын отеч., тоже. - Воен.-учен. архив, 1221.

12. Госуд. архив и Сын отеч., тоже. - Рус. старина 1874 и 1878 годов.

13. Воен.-учен. архив, 1220. - Сын отеч., тоже. - Лаверн. - Дюбокаж. - Рус. архив 1866 г. - Анекдоты Фукса.

14. Сын отечества, тоже.

15. Воен.-учен. архив, 1220 и 1221. - Сын отеч., тоже. - Разсказы ст. воина. - Лаверн. - Огинский. - Дюбокаж.

16. Госуд. архив, XII, 168. - Воен.-учен. архив, тоже. - Сын отеч., тоже.

17. Воен.-учен. архив, тоже. - Огинский.

Кроме перечисленных источников, для составления главы служила книга Антинга.

К главе XVIII

1. Госуд. архив, VI, 549. - Расск. ст. воина. - Огинский.

Итог увезенных Колонтаем денег и драгоценностей определяется различно, от 40.000 до 150.000 червонцев.

2. Госуд. архив, тоже. - Военно-ученый архив, 1220. - Сувор. сборник, Н. - Рассказы стар. воина.

3. Государств. архив, тоже.

4. Воен.-учен. архив, 1220. - Огинский.

5. Воен.-учен. архив, тоже. - Госуд. архив, VII, 549. - рассказы ст. воина. - Огинский. - Лаверн.

6. То же, без рассказов ст. воина,

7. Воен.-уч. архив, 1220. - Сувор. Сборник, Н. - Дюбокаж.

8. Рассказы ст. воина. - Рус. старина 1878 г.

9. Военно-ученый архив, 1220.

10. То же, - Госуд. архив, УИ, 549. - Материалы г. Дубровина. - Отечеств. записки 1822 г., ч. 10. - Глинка.

11. Государств. архив, тоже. - Воен.-ученый архив, 1220.

В разных печатных источниках и в донесениях Суворова читаем, будто первоначальное намерение Поляков состояло во вторжении в австрийские пределы, но потом, вследствие настойчивого преследования Денисова и Ферзена, план этот был оставлен, и решено идти в Пруссию. Из показаний Ваврженцкого видно, что первого плана он никогда в голове не имел, а постоянно держался второго. Ваврженцкий иногда путает в своих

показаниях, потому что делая их, не имел под рукою документов и забыл подробности, но к настоящему случаю это не приложимо.

12. Госуд. архив, VII, 549. - Огинский.

13. Воен.-учен. архив, 1220. - Материалы г. Дубровина. - Отеч. записки 1822 г., ч. 10.

14. То же. - Государств. архив, VI, 549.

15. Госуд. архив, тоже. - Воен.-учен. архив, 1220.

16. То же. - Материалы г. Дубровина. - Сев. архив 1822 г., М 20. - Рус. архив 1866 г.

17. Госуд. архив, тоже, - Рус. архив, тоже. - Сувор, сборник, Н. - Левшин.

18. Сувор. сборник, Н. - Кончанск. сборник, 24.-Сегюр.

19. Воен.-ученый архив, 1220 и 1221. - Моск. главный архив, сношения с Польшей, связка 11. - Сувор. сборник, К и Н. - Сборник рус. историч. общества, т. 29. - Рус. архив 1866 и 1878 годов.

20. Воен. учен. архив, 217. - Сувор. сборник, II. - Материалы г. Дубровина. - Сборник рус. истор. общества, 19. - Рус. архив 1876 г. - Левшин.

21. Воен. ученый архив, 1220. - Дюбокаж.

22. Моск. главный архив, сношн. с Польшей, св. 11. - Госуд. архив, XI, 1272. - Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 5. - Сувор. сборник, II. - Военно-учен. архив, 1225.

23. Воронцовский архив, кн. 13. - Рус. архив 1866 и 1876 год. - Рассказы ст. воина. - Энгельгардт.

24. Рус. архив 1877 г. - Рассказы ст. воина.

Сверх того материалом для главы служила книга Антинга.

К главе XIX

1. Сборник рус. истор. общества, т. 29.

2. Военно-ученый архив, 1219.

3. Суворовский сборник, В.

4. Сборник рус. истор. общества, т. 29. - Воронцовский архив, кн. 12. - Воен.-учен. архив, 1219 и 1220.

5. Военно-ученый архив, 1220.

6. Сувор. сборник, II. - Моск. архив гл. штаба, оп. 197, связка 11. - Военно-ученый архив, 1225. - Сборник рус. истор. общества, 29.

7. Сборник рус. истор. общ., 29. - Воронц. архив, кн. 12.

8. Государств. архив, VI, 548 и 549; XI, 1272, - Сувор. сборник, II. - Моск. главный архив, сношения с Польшей, св. 7 и 11. - Моск. архив гл. штаба, оп. 197, св. 11.

9. Сувор. сборник, К. - Моск. гл. архив, сношн. с Польшей, св.

11. - Воен.-учен. архив, 217, 1220 и 1225. - Огинский.

10. Сувор. сборн., Е. - Моск. гл. архив, сношн. с Польшей, св. 7. - Сборник рус. истор. общества, 29.

11. Моск. гл. архив, тоже. - Воен.-учен. архив, 1220. - Сувор. сборн., II. - Сборник рус. истор. общ., 29. - Рус. архив 1866 г. - Энгельгардт.

12. Моск. гл. архив, сношн. с Польшей, св. 11. - Анекдоты Фукса.

13. Сувор. сборник, В. - Воен. учен. архив, 1225. - Сборник одесск. общества.

14. Сувор. сборник, II. - Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 5. - Рус. архив 1866 г. - рассказы ст. воина.

15. Моск, гл. архив, сношн. с Польшей, св. 11 - Антинг. - рассказы ст. воина.

16. Левенштерн. - Дюбокаж. - Рус. архив 1863 г. - Воронц. архив, кн. 12.

Анекдот на счет ветчины представляется маловероятным, но приведен потому, что по свидетельству источника, передавал его А П. Ермолов, как очевидец.

17. О госпиталях в военное время, Затлера.

18. Рус. старина 1878 г.

19. Записки Энгельгардта.

20. Моск. архив гл. штаба, оп. 99, св. 1, М 6.

21. То же. - Сувор. сборник, 3.

22. Моск. арх. гл. штаба, тоже. - Энгельгардт. - Рассказы ст. воина.

23. Моск. главн. архив, сношн. с Польшей, св. 11. Сувор. сборник, В. - Воронц. архив, кн. 12. - Сборник рус. истор. общества, 29.

24. Два последние, тоже. - Сувор. сборник II. - Рус. архив 1866 г. - Рассказы ст. воина.

25. Материалы гр. Милютина, - Сувор. сборник, II. - Сборник рус. истор. общества, 29.

26. Сувор. сборник, II.-Воен.-учен. архив, 1220. - Рус. архив 1866 г.

27. Государств. архив, VII, 548. - Сборник рус. истор. общества, 29.

28. Госуд. архив, VII, 548 и 549.

29. Сувор. сборник, В.

30. Сувор. сборник, Н. - Отеч. записки 1841 года. - Рус. старина 1878 г. - Дюбокаж. - Histoire de la revolution francaise, par Thiers.

К главе XX.

1. Сувор. сборник, II. - Журнал мин. нар. просв. 1856 г. (Данилевский). - Глинка.

2. Рус. архив 1866 г. - Глинка.

3. Рус. архив 1866 г. - Смитт. - Храповицкий.

4. Сувор. сборник, V. - Левшин. - Анекдоты Фукса.

5. Сувор. сборник, V. - Смитт.

6. Сувор. сборник, I и V.

7. Рус. архив 1866 г.

8. Сувор. сборник, I и V. - Глинка.

9. Сувор. сборник, II.

10. Сувор. сборник, А.

11. Государств. архив, XX, 324. - Моск. главн. архив, сношн. с Польшей, св. 11. - Сувор. сборник, I и II.

12. Моск. гл. архив, тоже. - Сувор. сборн., II.

13. Сувор. сборник, I и II.

14. Сувор. сборник, II. - Рус. архив 1876 г.

15. Сувор. сборник, II. - Журнал мин. нар. просв. 1856 г. (Данилевский).

16. Сувор. сборник, II. - Сборник рус. истор. общества, 23. - Рус. архив 1866 г.

17. Рус. архив 1863 г.

Одни неверно называют Золотухина Золотаревым; другие неверно говорят, что он убит под Измаилом.

18. Сувор. сборник, II. - Вотчинный архив, тетр. 7. - Рус. старина 1876 г.

К главе XXI.

1. Рассказы ст. воина. - Сборник рус. истор. общества, 16. - Отечеств. записки 1841 года.

2. То же самое. - Сувор. сборник, П. - Воронц. архив, кн. 16. - Лаверн.

3. Военно-ученый архив, 1220. - Рус. старина 1872 и 1876 год. - Анекдоты Фукса.

4. Сувор. сборник, В. - Сборник рус. истор. общества, 16 и 23. - Рус. архив 1876 г. - Отечеств. записки 1841 г. - рассказы ст. воина.

5. Сувор. сборник, 3 и В.

6. Моск. главный архив, Campagnes, св. 2 и 7; сношн. с Польшей, св. 11. - Сувор. сборник, 3. - Рус. архив 1866 и 1876 гг.

7. Моск. архив гл. штаба, опись 196, св. 19.

8. Моск. главный архив, Campagnes, св. 2; сношн. с Поль-шей, св. 11. - Сувор. сборник, 3. - Рус. старина 1876 г. - Рус. архив 1866

г. - Сборник рус. истор. общества, 16, 23 и 29.

9. Сувор. сборник, 3 и 4. - Моск. главн. архив, сношн. с Польшей, св. 11. - Рус. архив 1866 г.

10. Моск. главн. архив, Campagnes, св. 2. - Сувор. сборник, 3 и У. - Рассказы ст. воина.

11. Моск. гл. архив, тоже. - Сувор. сборник, 3. - Сборник рус. истор. общества, 23. - Рассказы ст. воина.

12. Сувор. сборник, 3 и 4. - Записки одесск. общества, т. 11. - Военный сборник 1874 г. (Дубровин). - Рус. старина 1876 г. - Рус. архив 1878 г. - Воронц. архив, кн. 14 и 18.

13. Сувор. сборник, 3, 4 и V.

14. Сборник рус. истор. общества, 29. - Рус. Старина 1875 и 1876 гг.

15. Моск. главный архив, сношн. с Польшей, св. 11. - Моск. архив гл. штаба, оп. 197, св. 11.

16. Сувор. сборник, 3 и Т. - Рус. архив 1866 и 1876 гг. - Рус. старина 1876 г. - Воронц. архив, кн. 15.

17. Сувор. сборник, 3. - Моск. главн. архив, сношн. с Польшей, св. 11. - Сборник рус. истор. общества, 23. - Рус. архив 1866 г.

18. Сувор. сборник, 3 и 4.

19. Сувор. сборник, 4. - Вотчинный архив, 9. - Рус. архив 1876 г.

К главе XXII.

1. Суворовский сборник, 3.

2. То же. - Моск.главн. архив, сношн. с Польшей, св. 11. - Рус. архив 1866 г.

3. "Наука побеждать" дошла до нас и в целом виде, и в отрывках, помещенных в разных сочинениях о Суворове, которые изданы в начале нынешнего столетия. Самое раннее из её изданий принадлежит г. Антоновскому, которое в настоящем сочинении и принято основным материалом, причем его брошюра сличена с разновидностями других сочинений. Разноречия впрочем невелики и несущественны. В целом виде, с очень хорошими толкованиями, "Наука побеждать" издана отдельной брошюрой военно-ученым комитетом главного штаба, имела несколько изданий и потом, с теми же комментариями, вошла в позднейший Сборник статей г. Драгомирова. У летописцев Суворова она имела разные заглавия, между прочим и "деятельного военного искусства".

4. Рассказы старого воина.

5. Сборник рус. истор. общества, 1.

6. Литературная летопись 1861 г., Ш 14.

7. Анекдоты Фукса.

8. Сувор. Сборник, С.

9. Госуд. архив, VI, 2898.

Главным материалом для главы, кроме "Науки побеждать", служила книга Гильоманш-Дюбокажа, и были автору полезны, в объяснительном смысле, некоторые статьи г. Драгомирова, из числа помещенных в его Сборнике статей.

К главе XXIII.

1. Цесаревич Павел Петрович, Кобеко.

2. То же. - Рус. архив 1869 г.

3. Memoires de Catherine II- Записки Энгельгардта. - Военный сборник 1864 г., X 1.

4. Государств. архив, X, 12. - Кобеко. - Рус. архив 1877 г.

5. Рус. архив 1869 и 1877 гг. - Сборник рус. истор. общества, 29.-Еобеко.

6. Левенштерн. - Рус. архив 1869 г. - Воронц. архнв, 18. - Воспоминания Лубяновского.

7. Воен. сборник 1864 г., № 1. - Сборник рус. истор. общ., 29.- Рус. старина 1877 г. - Лубяновский.

8. Чтения в моск. обществе 1866 г. - Рус. старина 1872 и 1876 гг. - Рус. архив 1876 г. - Сегюр.

9. Рус. старина 1875 г. - Чтения в москов. обществе 1859 и 1864 гг. - Воен. сборник 1864 и 1865 гг.

10. Сувор. сборник, папка. - Воен. сборник 1864 г. - Рус. арх. 1878 и 1879 гг. - Рус. старина 1872 г. - Чтения в моск. обществе 1864 г. - Инструкция конного полку полковнику.

11. Государств. архив, XX, 370.

12. Вотчин. архив, 1. - Чтения в моск. обществе 1866 года, - Воен. сборник 1864 года. - Воронц. архив, 13. - Рус. архив 1879 г. - Рус. старина 1875 г.

13. Чтения в моск. обществе 1858 и 1864 гг. - Воронц. архив, 14.-Воен. сборник 1864 г.-Сегюр.

14. Государств.архив, XX,216.-Воен.сборник 1864 г. - рассказы ст. воина. - Чтения в московск. общ. 1864 г. - Рус. архив 1878 и 1879 гг. - Воронц. архив, 13. - Воинский устав 1797 г.

15. Энгельгардт. - Варнери.

16. Государств. архив, VIII, 2089; XX, 232. - Варнери. - Сборник рус. истор общества, 27. - Рус. старина 1872, 1876 и 1877 гг.

17. Биографии Бантыш-Каменского. - Военный сборник 1864 г.

18. Энгельгардт. - Воен. сборник 1864 г. - Чтения в моск.

обществе 1858 г. - Рус. старина 1877 г. - Воин. устав 1797 г.

19. Энгельгардт. - Пубяновский. - Рус. старина 1877 г. - Воен. сборник 1864 г.

20. Моск.архив гл. штаба, оп. 196, св. 5. - Энгельгардт - Левенштерн. - Воин. устав 1797 г. - Рус. старина 1877 г. - Воен. сборник 1864 г.

21. Воен. сборник 1864 г. - Воин. устав 1797 г. - Чтения в моск. обществе 1859 г. - Лубяновский.

22. Государств. архив, VI, 548.

23. Левенштерн. - Рус. старнна 1877 года. - Рус. архив 1869 и 1876 гг. - Воен. сборник 1864 и 1865 гг. - рассказы ст. воина. - Воин. устав 1797 г.

24. Материалы гр. Милютина. - Лубяновский. - Рус. архив 1876 г. - Воин. устав 1797 г. - Рус. Беседа 1860 г., т. 1.

25. Рус. старина 1877 г. - Энгельгардт. - Кобеко.

К главе XXIV.

1. Рассказы старого воина.

2. Суворовский сборник, 3 и V.

3. Моск. архив гл. штаба, опись 99, связка 1, М 6.

3. Сувор. сборник, 3, В и Г.

5. Сувор. сборник, 3 и В. - Воен. сборник 1864 г., №1.

6. Сувор. сборник, 3, 4 и В.

7. Сувор. сборник, 3, V и В.

8. Воен. сборник 1864 г. - Рус. Архивы 1871 г. - Дюбокаж.

9. Сувор. сборник, 3 и В. - Моск. архив гл. штаба, оп. 196, св. 7. - Госуд. архив, XI, 1272.

10. Моск. архив гл. штаба, военно-походной канцелярии, 1797 г. - Вотчин. архив, 15. - Рассказы ст. воина.

11. Биографии Бантыш-Каменского. - Дюбокаж. - Рассказы ст. воина.

12. Воен. сборник 1864 г. - Рус. архив 1878 г. - Рассказы ст. воина.

13. Сувор. сборник, 3. - Вотч. архив, 15.-Рус. архив 1866 г.

14. Вотч. архив, 10. - Сувор. сборник, 4 и Д.

15. Вотч. архив, 10. - Журнал мин. нар. просв. 1856 г.

Все эти мелкие подробности понадобятся для ясности однородного предмета в следующей главе.

16. Моск. архив гл. штаба, оп. 99, св. 1, М 6. - Вотч. архив, 12. - Воен. сборник 1864 г.

17. Госуд. архив, VII, 3038. - Сувор. сборник, 3.

18. Вотчинный архив, 10.

19. Сувор. сборник, 3 и Д.

20. Воронц. архив, 15.
21. Сувор. сборник, 3.

К главе XXV.

1. Сувор. сборник, V. - Вотчинный архив, 8 и 15. - Государств. архив, VII, 3038.
2. Госуд. архив, тоже. - Моск. архив гл. штаба, воен.пох. канцел. 1797 и высоч. повеления 1796-1797 г.
3. Госуд. архив, тоже. - Кончан. сборник, 24. - Сувор. сборник, 3.
4. Государств. архив, VIIИ, 3038 и 3086.
5. Госуд. архив, УП, 3038. - Сувор. сборник, V. Инструкция Николеву и первое его донесение были напечатаны в Чтениях моск. общества за 1862 год, впрочем списаны не совсем исправно.
6. Госуд. архив, тоже.
7. Сувор. сборник, 4, V и Д. - Сенатский архив 1 отд. 5 департ. 1798 г., Л 34.
8. Сувор. сборник, 3. - Госуд. архив, VIIИ, 3038. Некоторые из этих писем помещены в печатн. сборниках.
9. Госуд. архив, тоже. - Вотчин. архив, 5, 10 и 15.
10. Сувор. сборник, 3. - Кончан. сборник, 24. - Вотчин. архив, 11.
11. Сувор. сборник, 3 и Д. - Государств. архив, VII, 3038.
12. Госуд. архив, тоже. - Сувор. сборник, С.
13. Государств. архив, VII, 3038, 3086, 3222, 3347 и 3498.
14. Материалы гр. Милютина.

К главе XXVI.

1. Материалы гр. Милютина. - Война 1799 г., его же. - Воен. сборник 1864 г... и нек. др.
2. Сувор. сборник, папка и Д. - Вотчин. архив, 11 и 15.
3. Сувор. сборнж, I и V.
4. Сувор. сборник, I и папка. - Вотч. архив, 11, 14 и 15.
5. Сувор. сборник, 3, 4 и Д. - Вотч. архив, 10.
6. Сувор. сборник, тоже. - Государств. архив, VII, 3038.
7. Сувор. сборник, 4, Т и Д.
8. Сувор. сборник, 4. - Моск, архив гл. штаба, оп. 54, св. 291, 2-й 45.
9. Моск. архив гл. штаба, оп. 99, св. 1, №6.
10. Сувор. сборник, 3, 4, В, Д и папка. - Вотч. архив, 15.
11. Сувор. сборник, Д. - Рус. архив 1871 г. - Рус. старина 1875 г. - Анекдоты Фукса. - Биографии Бантыш-Каменского. - Война

1799 г. гр. Милютина, - Глинка.

12. Государств. архив, VII, 3119. - Сувор. сборник, 4, V и Д. - Материалы гр. Милютина.

13. Сувор. сборник, 4 и V.

14. Сувор.сборник, 4. - Биографии Бантыш-Каменского. - Левшин.

15. Госуд. архив, X, 498. - Сувор. сборник, В. - Воронц. архив, 8.

Приложения ко 2 тому
Приложение III.
К главе XIV.

Plans de campagnes et d'opérations contre les Turcs, dictés à Kherson, le 10 novembre 1793, en langue française, par le comte Souworov-Rimniksky, et envoyés par ordre suprême au Souverain.

(Из материалов графа Милютина; доставлено князем М.С. Воронцовым генералу Михайловскому-Данилевскому).

Les Turcs se préparent à la guerre; les jacobins leur influent, que jadis ils étaient vainqueurs des chrétiens pour n'avoir reposé que dans des guerres, et que c'était à eux d'attaquer au dépourvu, ne suivant pas en celà l'usage des puissances européennes, en déclarant la rupture. Depuis l'arrivée de notre ambassadeur à Constantinople, les lettres de notre ministère m'ont manqué. Mais ils n'ont point raison de l'entreprendre avant d'avoir mis leurs forteresses en état respectable et, en attendant, ils pourraient donner une autre consistance à leur armée. Sur le pied adopté en Europe comme ils l'ont entrepris, et quoi qu'ils manqueront de Pierre le Grand, ils ne seront point totalement dépourvus d'officiers étrangers aventuriers. Ils peinent expliquer l'alcoran à leur convenance, - lisez le Petit Traité en français du vieux archevêque Eugène.

Leur armement naval n'est pas à mépriser, comme l'excellent vaisseau «Иоанн Предтеча», pris par eux le démontre; leurs matelots chrétiens sont très bons, et quoique plusieurs officiers ne sont pas conséquents, ils ont aussi des Seitali. Le défaut qu'ils placent sur les ponts des vaisseaux des canons de différents calibres, peut être facilement redressé. Il n'est pas vrai, qu'ils ont craint notre flotte dans son enfance; les dernières campagnes de la guerre passée ils ont démontré qu'ils ne sont plus les mêmes qu'à Tchesmé. C'est pourquoi il faut leur opposer de notre part une flotte à voiles, qui puisse se mesurer avec eux, et gagner par là la prépondérance pour protéger notre flotte à rames et assurer les bords de notre côte contre les descentes. Ceci appartient à messieurs les amiraux.

Notre flotte à rames agira, en cas de rupture, en combinaison avec les troupes de terre; or jetons un coup d'œil sur son état et ce qui n'en faudrait détacher, pour les moyens défensifs, que nous laisserons au dos. Cette flotte à rames, en cas de rupture, livrera au canal de Jenikalé les 6 doubles chaloupes qui serviront trois campagnes; et

lançons et kirlangitclis qui peuvent servir 4 campagnes, se trouvant à Taganrog, - en tout 17 bâtiments; on y ajoutera des 50 lotkas actuellement à Taman, - de 30 à 40, qui ne pourront pas servir à la guerre offensive, ayant servi pendant toute la dernière guerre. Pour la défense de l'entrée dans le liman du Dnieper, entre Kinbourn et Otchakoff, des bâtiments qui se trouvent à Nicolaeff, des 34 lançons - 15, qui ne sauront pas servir au delà de deux campagnes. De Kherson - 5 vielles chaloupes canonnières et 2 batteries que l'on armera; 1 trebocq et 1 fombas. Nombre total pour cette dernière défense - 24 bâtiments à rames, protégés par 2 frégates et soutenus par nos ouvrages de la pointe de la langue de terre de Kinbourn.

Par le résumé, il restera donc en tout, pour l'action offensive de la flotte, des bâtiments à rames: brigantins à Nicolaeff 1 bon et 9 pour 2 campagnes, à Kherson - 2 pour 4 campagnes et 3 bons, - en tout 15 bâtiments. Lançons de Nicolaeff, 3 bons et 19 pour 2 campagnes, à Kherson, 8 bons et 1 pour 4 campagnes, - en tout 31 lançons. Doubles chaloupes de Nicolaeff - 6, simple chaloupe - 1, 2 cutters pour 3 campagnes; le reste sont de mauvais bâtiments de transport, corsaires et autres. Le total de la flotte sera 55 bâtiments. Messieurs les amiraux sont mieux au fait de l'état de cette flotte et n'ignorent pas qu'on y doit une prompte et efficace réparation et une augmentation suffisante.

A Taganrog 58 lotkas du Don à l'usage des Tchernomorsky cosaques, dont 43 sont bonnes pour être armées en guerre; le reste sera réparé vers le mois d'avril. Comme ces cosaques Tchernomortzis sont indispensables pour la flotte à rames, on en équipera les lotkas qui peuvent monter de 60 à 65 bâtiments, y compté ce qui peut être mis en service offensif de Taman.

Des susdits cosaques, il doit se trouver sur cette flotte de 5 à 6000 hommes. Si l'on n'ajoute rien à ces bâtiments, il en restera peu pour les impulsions sur l'Anatolie, qui d'ailleurs, n'aboutiraient qu'à quelques dévastations, occasioneraient peu de diversions et pourraient être quelquefois dangereuses sans la protection de la flotte à voiles qui aura des objets plus solides à remplir. Ce plan pourrait être mieux rempli par des armateurs, comme le commerçant de Kherson Hakousi, qui propose déjà d'armer 6 bâtiments et promet de pouvoir les augmenter jusqu'à 15; il ne requiert à cette fin que les canons.

Les cosaques Tchernomortzis qui resteront en leurs habitations du Taman et à la forteresse de Phanagoria qu'on ne peut pas exposer à la merci du sort, sont plus aisément soutenus par le corps du Kouban que de la Tauride, d'au-delà du canal de Jenikalé. Ce corps était ordinairement composé de 4 régiments d'infanterie, de 20 escadrons de cavalerie, de 2 à 6 régiments de cosaques du Don selon les circonstances. Du fort Yaij jusqu'au Taman il avait quelques redoutes de communication, avec peu de monde et de canons; son capital était

à Copil comme point central, endroit malsain (on pourrait le changer pour un meilleur sans trop s'éloigner), et sur le Kouban dont l'eau en été est de mauvaise salubrité. Elle n'est bonne et potable que des puits.

Le corps de la Tauride sera fort de 6 a 7,000 hommes d'infanterie et de 1,000 hommes de cavalerie avec 3 régiments de cosaques, on y laissera de l'artillerie à proportion.

Pour Kinbourn et ses points détachés il faudra 2 régitneuts d'infanterie, 1 régiment de cavalerie et 1 régiment de cosaques.

Première campagne.

Supposant les Turcs dans la situation actuelle, les forteresses cédées par la paix ne pouvant soutenir un siège, et s'il paraîtra bon de vouloir bien les prévenir en commençant la campagne de bonne heure et avant qu'ils aient rassemblé leurs troupes et se fussent portés vers le Danube, ce qui n'arrive ordinairement que vers le mois de juin.

Le corps du Caucase doit tâcher d'être en bonne intelligence avec les races tcherkesses pour faciliter ses opérations. Laissant pour la garde de sa ligne autant de troupes qu'il faudra, avec le reste ou la plus grande partie, conjointement avec le corps du Kouban, il se portera sur Anapa, s'en emparera de vive force et la rasera tout aussitôt; ce qu'il exécutera de même avec Soudjouk-kalé et Ghélendjik. Ayant fini cette besogne, les deux corps retourneront sur leurs pas.

Opérations au delà du Dniéster.

Passant au cou de Bender, un corps détaché № 2, fort de 15,000 hommes, longera les bords de la Mer Noire, s'emparera d'Ackermann. Palanque, Kilia, Ismaïl et par le côté gauche de Sunnia, pour faciliter l'entrée à notre flotte à rames par cette embouchure dans le Danube, qui prendra possession de Toultcha et d'Jsaktcha avec ses troupes de débarquement qui doivent être suffisantes. Tous ces points doivent être bien rasés exepté Kilia, qui servira de point de protection en seconde ligne aux postes considérables à fortifier de l'embouchure du Danube et du cap Tchertal. Sunnia surtout sera bien fortifiée, comme le seul passage pour des bâtiments de quelque chartre et servira de défense pour ne pas laisser entrer par cette embouchure les escadres à rames turques qui pourraient survenir.

Un autre corps, № 1, fort d'au delà de 20,000 hommes, donnera droit sur la forteresse de Brahilov, sans s'amuser en sa marche ailleurs s'il n'y est pas obligé, en fera le siège en forme, et tâchera de l'emporter en 21 jours. La flotte à rames, ayant fini avec les autres places de sa tâche, se joindra au plutôt avec ce corps pour seconder le siège qui néanmoins ne l'attendra pas en poussant ses travaux.

De même le corps № 3, fort de 15,000 hommes passé, donnera en premier lieu sur Khotin pour l'emporter de vive force, en démolissant

ses ouvrages pour éviter de trop se partager en garnisons. Il se portera sur Giurgievo qu'il emportera d'emblée s'il le pourra ou autrement de siège, quoi-qu'en moins de jours qu'il est dit de Brahilov, comme celle-là étant plus faible; et tout de suite il s'emparera de Roustchouk qui n'a jamais été une forteresse. Ces deux places seront ruinées et rasées, évacuées des habitants, les notres n'ayant pas besoin de postes permanents. Il serait bon, si le temps est favorable de se défaire une fois de la même façon de Tourna et de Nicopolis.

Brahilov, capitale, reste bien fortifié avec une garnison suffisante selon les circonstances, quoique le général du corps № 3 doit y obvier à toute entreprise de l'ennemi en le battant en rase campagne. C'est pourquoi il faut qu'il ait de 36 à 40,000 hommes sans compter les Arnaouts qu'il pourrait lever. Si ce n'est pendant la première campagne, ce sera dans la suivante qu'avec la partie de ce corps il s'emparera sans perdre de temps de Silistrie, de Girsova, de Tourtoukay et du reste des nouveaux établissements des Turcs qui doivent être tout-à-fait rasés comme les autres, pour n'y jamais tenir des postes fixes et disperser les troupes. Après la prise de Giurgievo, il s'emparera facilement de la Valachie, mais comme il doit rester sur la défensive, il s'amusera peu avec Boukharest; son quartier général est plutôt aux environs de Fokschani et selon les circonstances. Il est de même de Jassy - il livrera garnison à Kilia, Sunnia, Kaptchadal et Braliilov et, outre les piquets et petites parties non superflues, il restera toujours ramassé avec les trois quarts de son corps, pour bien battre les infidèles en rase campagne qui, pour faire diversion aux corps agissants vers le Balkan ou le tourner, se hazarderaient à passer le Danube audessus de Brahilov ou par le Banat, puisqu'ils ne pourraient le faire au dessous - notre flotte a rames y dominant jusqu'à son embouchure.

Nous voilà 100 mille hommes, y comptées les troupes de débarquement sur la flotte à rames; même en entrant en opération avec 60 mille hommes, le reste doit suivre aussitôt; en cas d'obstacle on pourrait en rabattre très peu, le temps est le plus cher, - il faut savoir le ménager; souvent nos victoires précédentes étaient sans suites faute de monde. C'est un très faux principe de croire après une défaite de l'ennemi avoir tout fini, lorsqu'il reste à s'occuper de plus grands succès. Ainsi pourraient agir avec plus de solidité aussitôt après la prise de Brahilov les corps №№ 2 et 1 ; mais augmentés à 60 mille combattants, ils se combineront vis-à-vis de Toultcha, passeront le Danube, pénétreront jusqu'à Varna, l'emporteront d'emblée ou de vive force selon les circonstances. La flotte à rames qui agira avec 30 de ses plus gros bâtiments et 40 lotkas, laissant sur le point de Toultcha le reste, consistant en 25 bâtiments et 25 lotkas. Elle ne pourra entrer en rade à Varna jusqu'à ce que notre flotte à voiles n'y ait taillé en pièces,

battu ou chassé l'escadre turque. Notre flotte à rames doit être augmentée, mais toujours protégée par celle à voiles - dès ce temps les opérations resteront compliquées avec celles des troupes de terre.

Pour percer jusqu'à Varna les Turcs qui, vers ce temps, ne pourront manquer de rassembler leur armée sous Schoumla et viendront dans ce trajet à notre rencontre, on tâchera de les bien battre et poursuivre avec célérité jusqu'à Schoumla qu'il faut attaquer et raser; et comme de là à Varna il y a une marche de près de 13 jours, il faudra que les mouvements de notre flotte à rames soient bien mesurés et qu'elle y trouve déjà la rade libre par notre flotte à voiles.

Alors si Varna ne peut être emportée de vive force, elle le sera par un siège de quelques jours. Cette entreprise deviendra difficile, si une escadre turque reste postée en sa rade, ce qui endommagerait beaucoup nous et nos travaux; c'est pourquoi aucun des moyens combinés ne doit manquer pour la prompte réussite de l'entreprise. Il est évident que la flotte turque sera alors en mer, elle ira à la rencontre de la nôtre qui lui livrera combat, tâchera de la défaire au possible et lui donnera la chasse jusqu'au canal de Constantinople: alors il serait facile pour notre flotte de tourner voile sur Varna.

Pour se défaire d'une telle escadre ennemie, l'amiral Ouschakoff démontrera la possibilité après son dernier combat naval, si la paix survenue dans le même instant ne lui eut pas fait manquer l'objet.

S'étant rendu maître de Varna le corps entrera en quartier d'hiver dans la Bulgarie, proche des montagnes du Balkan. déployant l'aile droite vers Schoumla pour ouvrir le plus tôt possible la campagne suivante.

La mesure du temps est pour la guerre une règle générale: aussitôt qu'il manquerait pour le projet sur Varna, il faudra le remettre pour la suite.

Je répète ici que cette opération n'est fondée que sur l'ouverture de la campagne aux premiers jours des fourrages verts du printemps; que les forteresses, excepté Brahilov, sont hors d'état de soutenir un siège et que les Turcs, jusqu'à ce qu'elles ne soient envahies, n'y porteront aucun autre obstacle, comme aussi à notre flotte à rames dans le Danube. Il serait surtout essentiel que nous les puissions prévenir aux postes de Sunnia et de Kaptchadal, points des plus essentiels pour nos opérations de la flotte. Quand les Turcs auront le temps de s'y fortifier eux-mêmes selon leurs projets, nous y trouverons les mêmes inconvénients que nous leur préparerons.

Nos émissaires ayant été sur les différentes places viennent de retourner dans cet intervalle et livrent les informations ci-jointes.

Changement d'opération.

Ismaïl, nullement démantelé de notre part à la fin de la dernière

guerre, vient d'être rendu beaucoup plus formidable qu'il ne l'avait été, et quoique nos émissaires nous rapportent qu'il n'y a pas tant de canons, il n'est pas à douter qu'ils ne soient pas en grand nombre; y risquer un assaut, serait gigantesque. Palanque, Kilia, Bender, Ackermann et les embouchures du Danube étant en notre pouvoir, et la flotte à rames s'étant rendue maître de Toultcha et d'Isaktchâ, on en formera le siège qui pourra durer 31 jours. Et avant de l'avoir entrepris, un gros détachement des troupes, comme il est dit ci-dessus du corps № 3, qui sera le plus à portée, marchant chemin faisant au rendez-vous général, aura emporté Khotin de vive force. Il n'est pas à croire qu'on laisserait le temps aux Turcs de pousser leur armée jusqu'à Khotin, ni même que cela leur pourrait être utile, comme dans la guerre précédente. Dans l'état actuel des choses ils ont des points plus essentiels et mieux disposés pour ce besoin.

Autres 40 mille hommes entameront le siège de Brahilov. Mais arrivera-t-il qu'à l'ouverture de la campagne, on se trouve dans le cas de commencer les opérations avec beaucoup moins de 100 mille hommes, il sera impossible à se charger d'attaquer les deux forteresses, Braliilov et Ismaïl, ensemble. C'est pourquoi Khotin étant emporté comme il est dit, on se formera, si les circonstances le permettent, en un seul corps, dont le gros s'emparera aussitôt de Bender, Palanka, Ackermann, Kilia - et la flotte à rames ayant percé les embouchures du Danube, en même temps de Toultcha et d'Isaktcha, se fortifiera, comme on en a fait mention, à Kaptchadal et l'occupera en force avec ses troupes de débarquement, comme aussi les embouchures. Après cela ce corps, ayant laissé garnison à Kilia, tous les autres points rasés, se portera sur la forteresse de Brahilov, remettant l'entreprise d'Ismaïl pour la suite.

Comme Brahilov parait être un poste de plus grande conséquence qu'Ismaïl, par la raison qu'en étant une fois maître, on transporte un corps de 15 à 20 mille hommes à Matchin, où il se retranchera en cas de besoin. C'est un pas excellent par lequel on empêche toute communication du haut avec le bas du Danube et surtout avec Ismaïl, à raison des situations impraticables qui se trouvent le long des bords droits du fleuve, entre le canal de Grégoire et la Concefane, de pouvoir manoeuvrer ou passer avec des corps simplement de quelques mille hommes et, par conséquent, à plus forte raison, moins encore avec une armée qui, en tout cas doit toujours franchir le pas de Matchin.

En cette opération il faut bien tâcher de prévenir les Turcs qui, une fois après avoir franchi ce pas, ce n'est pas qu'ils marchent sur Ismaïl pour y passer la rivière, puisqu'ils trouveront le poste de Kaptchadal bien gardé par nos troupes de débarquement, fort de 4 à 6.000 hommes, et par le peu de place de la situation coupée de la

Schionta, inattaquable avec une force analogue, - mais ils pourront se porter sous Brahilov pour vouloir rendre le siège impraticable, ce que néanmoins ils ne peuvent qu'avec 25 mille hommes en tâchant de s'appuyer sur la forteresse; à l'égard du terrain étroit, qui en cas d'attaque ne saurait pas en entier être protégé qu'avec fort peu de canons de la forteresse dont la prise ne peut pas être trop différée. Après dépéchez vous de battre tout ce qui peut se trouver à Matchin, en passant le Danube sous Brahilov; durant le siège de cette forteresse, détachez un corps volant, de 15 mille hommes pour observer la forte garnison d'Ismaïl et le pas de Réni, comme aussi pour couvrir les convois en cas de besoin; sa position sera au delà du Zéret et il pourra passer le Pruth pour combattre des forces analogues à lui sans perdre de temps, et aussitôt revenir sur ses pas pour être à portée de rejoindre les assiégeants. Son commandant ne doit jamais se laisser tromper par certaines démonstrations, quoique presque inconnues aux Turcs, ignorant même l'effet des nôtres, ou en s'amusant, nous ne faisons que fatiguer les troupes en vain.

Mais venons au véritable objet des Turcs, pour faire lever le siège ou secourir Brahilov. Leur armée passera le Danube plutôt sous Silistrie qu'ailleurs; étant instruit de leurs mouvements à fond, on tirera le corps volant à soi et, laissant ce qu'il faudra pour continuer le siège, on ira à leur rencontre, on les chargera et, les ayant battus, on les poursuivra au possible, pour pouvoir retourner et tranquillement finir le siège. Et si leur armée entreprendrait la même chose aux environs de Réni, on suivra le même principe.

La même conduite doit être toujours observée par nos troupes et, autant qu'il se peut, elles doivent suivre la règle de battre l'ennemi en campagne avant d'entreprendre un siège.

Après la prise de Brahilov et l'exécution de quelques defaites qui ne pourront manquer, nos troupes se replieront sur Ismaïl pour en former le siège et l'emporter de la manière qu'il est dit ci-dessus. Du reste, on suivra tout ce qui a été remarqué dans les premières observations.

Les troupes, en se repliant sur Ismaïl au nombre susdit de 60.000 hommes, laisseront tout le surplus en Valachie, qui donnera une garnison suffisante à Brahilov; ce corps intérieur doit être aussitôt augmenté jusqu'à 10 mille hommes et, en attendant que le premier corps actif s'occupera au siège dlsmaïl, il doit en même temps agir sur Giurgievo et Roustchouk, comme il est ci-dessus mentionné, éclaireissant les deux bords du haut Danube, en comblant, démantelant et rasant tout ce qui se trouvera des fortifications turques, pour n'être pas obligé de tenir nulle part des garnisons ou postes fixes, et autant qu'il peut, si dès le commencement il ne serait pas pourvu de ce nombre. Après la prise d'Isrnaïl, il faudra prévoir au

juste par le calcul du temps, si l'arrière-saison le permettra, au corps actif de pousser jusqu'à Varna; si non, ces deux corps seront répartis en quartiers d'hiver dans les deux principautés et l'opération sur Varna sera remise au premier fourrage vert du printemps suivant.

Mais d'abord que le corps actif, passant le Danube, pénètre tant soit peu dans la Bulgarie, il faut absolument que le corps intérieur soit fort de 40 mille hommes pour dominer toute l'étendue, ne courir point de risques par sa faiblesse, comme aussi pour pouvoir soigner et couvrir le convoi; il tiendra garnison, comme il a été dit, à Brahilov et Kilia. Un fort détachement à Kaptchadal occupera suffisamment Sunnia (le guirlo de Kilia aussi nommé Volkova) et en cas de besoin l'issue du canal St. George. Aussi répétons nous que ce n'est pas une remise pour l'opération sur Varna: elle doit s'effectuer dès la première, si, comme il est dit dans des observations précédentes, elle commencera de fort bonne heure, mais retarderait-elle, ou serait-elle empêchée par de grands obstacles, on aura raison de la remettre au printemps qui suit, quoique malgrè soi; par ces délais des marches on perdra quelque chose au dessus d'un mois. Après la prise de Varna que Dieu prospère, mettez vous aussitôt en mouvement pour franchir le Balkan.

Seconde campagne.

La maison d'Autriche, si elle reste aussi embarassée avec le nouveau gouvernement français, comme elle l'est actuellement, ne voudra pas ou ne sera pas en état de rompre avec les Turcs, et on ne prévoit aucune éspérance sur les Vénitiens.

Si l'on jugerait bon, ou que les circonstances le permettent, que notre flotte de la Baltique passe à l'Archipel, nonobstant sa prépondérance qu'elle y acquerrait, elle ne pourra que profiter des Grecs insulaires pour le service des corsaires et armateurs, sans faire soulever ceux qui sont sur terre ferme, jusqu'à ce que nos troupes soient au-delà du Balkan. Alors ils seront bons pour les diversions, étant armés à leur manière.

On ne peut pas beaucoup compter sur les braves Montenégrins qui, faibles par leur nombre, défendent leurs foyers et ne feront que de faibles irruptions.

Mahmoud de Scutari, qui jusqu'à présent n'était jaloux que de son indépendance, pourrait être employé, si on le gagne par 1 ambition des conquêtes.

Ali-Pacha de l'Epire qui nourrit un germe de mécontentement contre la Porte, serait le meilleur pour être provoqué à la révolte. Il est réputé dans son pays et il a beaucoup d'adhérents.

Durant la guerre précédente le général Podgoretchani se proposa pour lever les Paulianis dans la Bulgarie au delà du Danube, - une

douzaine de régiments de cette nation; il n'en fut rien: on pourrait suivre ce principe en partie, mais il faut les armer, en quoi ils manquent d'eux-mêmes.

Au commencement de la dernière guerre, les Bulgares d'outre le Balkan et de la Roumélie envoyèrent des députés à S-t. Pétersbourg. Cet objet est éclairci par la note ci-jointe, lettre H. Ils sont nombreux. Le défaut est qu'ils ne sont pas comme les Grecs accoutumés à leurs propres armes; ils n'en ont pas. Il faudra donc les armer suivant la meilleure convenance: alors il serait mieux qu'ils agissent d'un autre côté et subsistent d'eux-mêmes pour faire aux Turcs des diversions conséquentes. S'il s'en trouvait un grand nombre dans nos troupes, ils seraient plutôt à charge et les absorberaient.

Tout ce dont on parle, doit être arrangé et prêt pas plutôt qu'aqrès le passage de nos troupes au-delà du Balkan.

De même alors, on prêtera les moyens de soulever autant de Grecs, que l'on pourra dans les différentes parties de leur pays qui ne manque ni d'ambitieux, ni de mécontents; - ils ont leurs propres armes.

Pour passer les monts Balkans il y a 3 routes. La première à la droite, seulement passable à cheval: de Schoumla à Dragoy-kioy 20 verstes, de là à Tchali-kavak 20 verstes, à Dobraly 20 verstes, à Karnabat 20 verstes, à Kalderossan 40 verstes, à Faky 40 verstes, à Kanara 25 verstes; en tout 185 verstes.

La seconde route, celle du milieu, que les courriers passent ordinairement, seulement passable à cheval. De Schoumla sur le chemin de Varna jusqu'à Pravody 60 verstes, à Aydos 30 verstes, à Karabounar 35 verstes, à Faky 25 verstes, en tout 150 verstes.

La troisième route à la gauche, la seule praticable pour les troupes et les embarras. C'est celle de Bazardjik à Varna; elle se partage encore en deux chemins également praticables, savoir: le premier de Kozlitza (60 verstes au-delà de Bazardjik et à 40 verstes, de Pravody) à Koutchouk Balkan 100 verstes, à Tchorban 40 verstes, à Kanara 25 verstes; en tout 165 verstes. Le second se tient vers la gauche sur Varna même: de Kozlitza à Varna 95 verstes, de Varna à Koutchouk Balkan 60 verstes, à Tchorban 40 verstes, à Kanara 25 verstes; en tout 220 verstes et de Varna 125 verstes.

La Bulgarie au-delà du Danube est un pays aboudant en grains et fourrages; lorsqu'on tiendra bonne discipline dans les troupes, ce pajs fertile pourra soulager leur subsistance en tout temps. Mais au-delà du Balkan, on ne trouvera pas du seigle. C'est pourquoi il sera essentiel, que l'on accoutume peu à peu le soldat au froment à plus grande portion.

Etant maître de Varna dans la première campagne, on a l'ouverture de la suivante; les troupes franchiront le Balkan, se mettant

au dessus de tous les obstacles et combattant tout ce qui se présentera. Il faut nécessairement que nos flottes aient en mer une prépondérance décidée sur celle de l'ennemi, agissant de concert avec nos troupes de'terre; sous la protection de la flotte à voiles, l'autre aura soin du transport des munitions et des vivres pour obvier aux difficultés des transports par terre.

Il faut un très grand magasin à Varna.

On érigera ensuite de même un magasin à Derkos, ou autre point de 20 à 25 verstes de l'embouchure du canal de Constantinoples. Dans le temps que les troupes s'ébranleront sur cette capitale, on doit se rendre maître de vive force de ce coiut par la flotte à rames.

Au-delà du Balkan, du point de Kanara, il y a deux chemins à Constantinople: à la droite par Adrianople faisant 50 verstes, à Araba-bourgos 50 v., à Karastipak 20 v., à Tchorlou 30 v., à Knikli 25 v., à Silivria 25 v., à Pivatay 15 v., à Boujouk-Tchekmédjé 20 v., à Koutchouk-Tchekmédjé 15 v., à Constantinople 15 v.; donc en tout du point de Kanara à Constantinople par la route d'Adrianople 265 v. Par l'autre chemin de la gauche, du point de Kanara à Kirkilessi 35 v., à Araba-bourgos 40 v., à Karas 20 v., à Tchorlou 30 v., à Knikli 25 v., à Silivria 35 v., à Pivatay 15 v., à Boujouk-Tchekmédjé 20 v., à Koutchouk-Tchekmédjé 15 v., â Constantinople 15 v.: en tout du point de Kanara le chemin à la gauche jusqu'à Constantinople 250 verstes.

Passé les montagnes, il est probable que nous rencontrerons une puissante armée de Turcs, c'est pourquoi toute la marche doit être bien mesurée, et en se hâtant lentement et avec circonspection, - que tout le corps débouche promptement vers le pied occidental du Balkan; aussitôt arrivé, on battra les infidèles au possible.

Si la saison le pourra permettre et que l'on surmonterait tous les obstacles, il faudra finir avec Constantinople même avec cette seconde campagne, en tâchant de ne rien remettre à la troisième. Le délai engendre des difficultés, mais obligés par les circonstances de remettre le grand coup à la troisième campagne, on prendra les quartiers d'hiver le long du pied occidental du Balkan, entre les bords de la Mer Noire et Adrianople, aussi serrés que possible; nos flottes se rendront maîtres de Bourgas et Sizebolis et y hiverneront.

Observez rigoureusement le principe à frapper de grands coups aux armées turques pour les affaiblir au possible, et ne jetez vous point sur la capitale avec le risque de Jules César à Alesia; les différents combats pourraient vous couter plus de temps, mais il ne sera pas perdu.

Expédition sur Constantinople.

Il est dit que nos flottes dès le commencement de la guerre, doivent se procurer la prépondérance sur la Mer Noire, en battant

celles des ennemis autant de fois qu'elles se présenteront; à force que les troupes de terre s'avancent vers la capitale, nos flottes éclaireront les côtes en prenant possession des places considérables qui se trouvent encore entre Varna et l'embouchure du canal de Constantinople; telles sont Messembrie, Bourgas, Sizebolis, et s'attacheront à un point convenable le plus près possible de l'embouchure du canal de Constantinople, pour la formation de nouveax magasins, du débarquement de nouvelles munitions de guerre, du supplément de l'artillerie de siège que la longueur et les difficultés des chemins n'auront pas permis de traîner en entier à la guerre, de nos troupes de terre, de même que des affûtages de remonte et des autres machines nécéssaires pour l'entreprise projetée. S'il n'y a pas de point plus proche de l'embouchure du canal, propre au besoin, on se tiendra à Derkos. Les bâtiments de transport suivront de près notre flotte à rames et fourniront ce dernier magasin du nécéssaire par de nouveaux vojages et une communication non interrompue avec les magasins de Varna, qui seront soutenus par nos établissements sur le Dniester et le Dnieper.

Il est en attendant plus que probable que les débris des armées défaites par nos troupes, chemin faissant se soient rassemblée et formés sous les murs de Constantinople, ou autre poste favorable dans ses environs (ceux qui connaissent le local parlent d'une position favorable entre la ville et la pointe de Domus-déré sur la Mer Noire pour soutenir et la capitale et les embouchures du canal sans se partager), et renforcés par de nouvelles troupes de l'Asie, d'où le chemin reste toujours ouvert. La première tâche de nos troupes sera d'exterminer au possible cette nouvelle Hydre. Avant l'entreprise de ce dernier coup, ce sera alors le temps d'attirer à soi les chrétiens soulevés en Grèce, en Bulgarie, en Roumélie et d'en choisir des corps d'élite en état d'agir de concert avec nos troupes de terre. Ce combat décisif déterminé, nos deux flottes approcheront le canal de Constantinople. Il paraît sûr qu'une grande partie de la marine turque se trouve postée dans l'embouchure du canal, entre les Dardanelles de Karaptché et de Porias, ouvrages qui présentent des points d'appui très essentiels à cette position. C'est pourquoi ces points doivent être emportés d'emblée en premier lieu, et surtout le château de Karaptché, comme le plus essentiel et dont la prise doit suivre immédiatement après la bataille ci-dessus mentionnée.

Du côté de l'Asie le château de Porias doit être emporté par nos troupes de descente de nos flottes, qui seront formées au moment qu'elles commencent à appareiller. Il s'entend que cela soit vers l'aube du jour: on doit pouvoir compter sur 10 à 11 mille hommes qui formeront cette descente, étant à peu près le nombre des troupes de débarquement qui doit être attaché à la flotte à rames, savoir 5 à

6.000 hommes de troupes régulières et environ 5.000 cosaques de la Mer Noire. Tandis que pendant la nuit, l'expédition sur les châteaux Karaptché et Porias se fera, les flottes tâcheront de faire jouer leurs brûlots contre la flotte ennemie: la théorie du courant fort en cette gorge nous promet quelques succès brillants. Ces objets remplis, nos flottes, secondées par les ouvrages ennemis en possession des nôtres, entameront celle des Turcs qui ne tarderont point de succomber par l'effet de ces combinaisons. L'embouchure du canal franchie, elles ne poursuivront leurs approches qu'à pas lents, pour ne pas tomber dans les pièges des autres batteries de terre dont les côtes de l'intérieur du canal sont garnies, avant que nos troupes de terre s'en soient rendues maîtres; ces points le long du bord qui peuvent faire le plus de mal, sont du côté de l'Europe: après le château de Karaptché les batteries de Karadenis et Roumélie-Hissar, Thérapia, Jenikeni: du côté de l'Asie: après Porias et la batterie à fleur d'Eau de Fôt, le château d'Anatolie-Hissar et les batteries de la Montagne des Géants. Ce sera tout en éclairant les bords du canal par nos troupes de terre et de descente qui se saisiront des dits différents points, nos flottes trouveront de la facilité de s'approcher à la ville jusqu'à la pointe d'Ortakeni pour éviter de s'exposer trop tôt aux batteries formidables à fleur d'Eau du Sérail et avant que les dernières dispositions soient arrangées pour porter le dernier et grand coup au monstre qui a tyrannisé depuis plus de 3 siècles l'Europe entière.

Si notre flotte de la Baltique pourrait être de l'opération elle tâchera de franchir le pas des Dardanelles du Bosphore de Thrace, en entrant dans la mer de Marmara; on pourrait commencer l'entreprise sur la ville même par un blocus pour tâcher de la réduire par famine.

Si alors on s'apercevrait que les habitants de la ville chercheraient à passer le Bosphore pour se retirer en Anatolie, ou leur bâtira un pont d'or.

S'ils s'acharnent à la défense, il faut dès ce moment frapper le grand coup et venir à l'escalade.

Cette circonstance peut devenir dangereuse pour nos troupes à l'égard de la peste qui est pour ainsi dire permanente pour quelques endroits de la ville, et le soldat furieux après l'assaut ne manquera pas d'aller au butin. C'est pourquoi, se voyant réduits à cet extrême, il faudra disposer à retenir le soldat sous les murailles prises et se retrancher, foudroyant les habitants avec nos canons et par ce moyen tâcher d'obliger les Turcs à la capitulation sous les articles favorables à ceux qui voudraient se retirer en Asie avec leurs biens-meubles, excepté les métaux qui cependant pourraient être rachetables par une forte contribution. Mais si les habitants continueront à se défendre par désespoir, on mettra la ville en cendres, ayant auparavant rasé les maisons les plus proches de la muraille et de nos postes. Cette scène,

si elle ne s'effectuera à la fois, se fera en partie, en s'avançant sur les décombres et en passant tout ce qui s'oppose au fil de l'épée jusqu'au Sérail et les Sept-Tours etc., que l'on assiégera ou finira par un assaut.

Le cas de brûler la ville auquel on pourrait être contraint, serait quant à l'appréhension de la peste, pourrait arriver de mieux; de cette façon les bâtiments empestés radicalement exterminés, on y bâtira une nouvelle ville plus régulière.

Mais un assaut général ne s'effectuera sur la ville qu'à la dernière extrémité.

Les habitants chrétiens de différents cultes qui durant ce temps rechercheront la protection seront reçus, ainsi que les juifs.

A Constantinople, outre la forte garnison qui pourrait s'y trouver, assemblée des débris des armées défaites et des nouveaux renforts qui peuvent arriver de l'Asie, on peut compter 500 mille âmes de mahométans, parmi lesquels 100 à 120 mille qui pourraient porter les armes. Chrétiens-Grecs, - 25 mille; habitants arméniens - 15 mille; francs - 6 mille. A cela il faut ajouter en aventuriers de toutes les nations comme Tartares, Géorgiens, Valaques, Serbes, Archipelagiens, Grecs-matelots - jusqu'à 120 mille en état de prendre les armes; ces chrétiens en plus grande partie seront pour nous, mais ils manquent d'armes, si quelques uns n'en ont point de cachées; dans un assaut général ils pourraient être de service. De juifs il y a 20 mille, qui ne sont bons que pour eux.

Quoiqu'on se fonde ici sur 2 ou 3 campagnes, il faudra toujours des préparatifs pour presque le double; la prévoyance exigera de nous à plus forte raison de suivre le principe que tous les conquérants depuis Alexandre jusqu'à Tamerlan ont suivi, que nous nous trouverons extrêmement éloignés des moyens. La justesse du calcul appartient à la Providence seule.

Приложение IV.

К главе XIV.

Приказ генерал-аншефа графа Суворова-Рымникского о сохранении здоровья, 31 марта 1794 года, в Крыму.

(Из книги Глинки «Жизнь Суворова», изд. 1819 года; сверено со случайно попавшеюся рукописью)

Здоровье. Драгоценность блюдения оного в естественных правилах. Питье - квас; для него двойная посуда; чтоб не было молодого и перекислого; коли-ж вода, то здоровая и несколько приправленная. Еда: котлы вылуженные, припасы здоровые, хлеб выпеченный, пища доварная, не переварная, не отстоянная, не подогретая, горячая; и для того, кто к каше не поспел, - лишен её, на тот раз воздух. В теплое время отдыхать под тенью, без обленения; ночью в палатках укрываться, в холодную же ночь отнюдь бы в них сквозной ветер не был. Чрез ротных фельдшеров довольный запас в артелях лекарственных трав. Сие подробнее и для лазаретов описано в примечаниях искусного штаб-лекаря Белопольского.

Работы. От инженеров уроки умеренные, утренний и вечерний; оба вместе соединять - каждому запретить, Наступление и исход жара в Крыму описаны в приложенной таблице помесячно. Наистрожайше воспрещается во время и малейшего жара отнюдь никого ни в какую работу не употреблять, под неупустительным взысканием, разве когда случится прохладный день; а для успеха, коли необходимо, лучше начинать работу прежде рассвета и вечерний урок кончить хотя к ночи; но не мешает прибавить хотя нечто ночи, особливо светлой, токмо то уже в большой нужде. Как скоро работа окончена, то на завтрак нужно тотчас к горячим кашам, как то и после развода. Лагерных мест иметь до трех в близости и понедельно их переменять, содержа чистоту внутри и около их. Впрочем нижним чинам соблюдать крайнюю чистоту и опрятность в белье, платье и обуви; мыть лицо, руки и рот, ходить в баню, а особливо купаться.

Приложение V.

К главе XIV.

Правила медицинским чинам, по приказанию генерал-аншефа графа Суворова-Рымникского разосланные по подведомственным ему войскам 8 августа 1793 года.

(По двум взаимно сверенным документам: а) московского архива главного штаба, опись 196, связка 42, и б) государственного архива, XX, 339).

1. Иметь всем непременно предписания его сиятельства г. генерал-аншефа и разных орденов кавалера графа А.В. Суворова Рымникского и по оным чинить точные выполнения, отделивши от здоровых - больных, слабых, хворых и льготных, всех особо.

2. Причины умножающихся болезней ведать непременно, а выискивать оные не в лазаретах между больными, но между здоровыми в полках, батальонах, ротах, корпоральствах и разных отдельных командах, исследовав их пищу, питье, строение казарм и землянок, время их построения, пространство и тесноту, чистоту, поварную посуду, все содержание, разные изнурения. О чем вам доносить полковому или другому командиру, а в другой раз уже в главное дежурство.

3. Стараться, чтобы домашними простыми лекарствами запасены были все артели, которые и описаны в предписаниях его сиятельства, да еще и сверх оных, где можно, иметь корку молодой ракиты на место хины, дрок-траву, цветы донничные, водоперечник татарский (hydropiper tartaricum), корень чистотела, омана (radix helenii), корень мыльной травы, шандру, дикую мяту, корень ирный и другие.

4. Приводимых с маловажными, ничего не значущими болезнями, как-то малыми вередами, малыми цинготными ранами и пятнами, дав им пластырь или другое лекарство, обратно отправлять в команды, не взирая ни на какие против сего роптания, ибо малая болезнь от обленения в лазарете превращается в ужасную, иногда самую смертоносную. Другим, по рассмотрению, назначать на два-три дня роздых, приказав им каждый день приходить в лаза-рет за лекарством. Ленивцев выписывать из числа больных насильно и доносить о их притворстве начальству. Лихорадки исследовать в пароксизмах; падучею болезнию одержимых изыскивать точность, не употребляя на сие давних мучительных способов, но только насыпать в нос немного вшивого порошка (semen sabadillae), или

невзначай облить холодною водой; то имеющий точно сию болезнь, от порошка чихать не станет, а от облития водою не вскочит; в противном же случае он чихает и вскакивает.

5. Днестровская вода хотя и не совершенной доброты, однако и не так худа, как с первого взгляда кажется; ибо она всегда быстрое течение имеет; весь же происходящий от оной вред состоит в мутности иловатой, которая садится на желудок тяжело и производит разные болезни. Почему и нужно отстаивать оную в чанах с чопом, на 7 вершков сделанным, по опыту г. полковника и кавалера Маркова. В сии чаны воду вливать в вечеру, которая через ночь совершенно отстаивается и по утру на варенье и питье годною становится. Но в питъе оную употреблять только в случае нужды и во время похода, размочив еще в ней хлеб или сухари; в другое же время нужен хороший квас во всех артелях и в лазарете.

6. Здоровым рыбу днестровскую употреблять в пищу без всякого сомнения, но только чтоб она была свежая, либо приколотая, присоленая и хорошо уваренная.

7. Цынготная болезнь в сей стране более всего опасною оказалась и берет на себя маски разных других болезней, которую лечить наиболее чистотою, соблюдаемою во всем, благовременным истреблением всех причин оную производящих, которые усилившись, делаются иногда наконец непреоборимыми; свежею кислою пищею и питьем, с движением; иногда переменою лагерного места и ежедневным купаньем в быстротекущей реке; пространным расположением всех здоровых, больных, слабых, хворых, льготных, - всех особо; потом кислою капустой, хреном, катраном, горчицею, водяным трилистником, дикою жерухою (erysimum), табаком, полынем, кровавиком, холодными ваннами, уксусом, которым смешавши с водою тереть и рот полоскать; дегтяным квасом с водою, водою напоенною постоянным воздухом (aqua aëris fixi) и лимонами по возможности; курить казармы смолою и стружками дегтяных бочек. Купанье в морской воде, где можно, исцеляет от цынги и чесотки; гуща квасная из муки в сих болезнях весьма полезна. Лихорадки лечить, кроме слабительных, рвотных, горьких, соленых, наконец крепительных лекарств, - наипаче воздержанием от пищи и питья и употреблением сначала распущенной в воде сибирской соли с сурмяным тартаром, положа оного на прием четверть доли грана, не для рвоты, но для разжижения густой желчноклейной лихорадочной материи. На другие болезни данные от меня формулы Полоцкого пехотного полку г. лекарю Таницкому, - всем списать и оные в пользу больных, по рассмотрению причин, времени, сложения, степеней болезней, лет больного, -

употреблять. Суклея, 7 июня 1793 года.

Подписал штаб-лекарь Ефим Белопольский.

Приложение VI.
К главе XIV.
Наставление генерал-аншефа графа Суворова-Рымникского крестнику Александру Карачаю, в 1793 году.

(Из книги Левшина «Собрание писем и анекдотов о Суворове», изд. 1814 года).

Mon cher fils Alexandre.

Comme homme militaire, étudiez bien un Vauban, un Coughorn, un Curas, un Hübner, un peu de théologie, de physique et de morale; lisez bien Eugène, Turenne, les commentaires de César, Frédéric II, les premiers tomes de Rollin avec suite et C. de Saxe; les langues sont pour la littérature; dansez, montez et tournez un peu des armes. Les vertus militaires sont: bravoure au soldat, courage à l'officier, valeur au général, mais guidées par les principes d'ordre et discipline, dominées par la vigilance et la prévoyance. Soyez franc avec vos amis, tempéré dans votre nécessaire et désintéressé dans votre conduite; portez un zèle ardent pour le service de votre Souverain, aimez la vraie gloire, distinguez l'ambition de la fierté et de l'orgueil, apprenez de bonne heure à pardonner les fautes d'autrui, et ne vous pardonnez jamais les vôtres; exercez bien vos soldats, et donnez leur exemple par vous même. L'étude permanente du coup d'oeil seul vous rendra grand général. Sachez profiter des situations locales; soyez patient dans les travaux militaires, ne vous laissez pas abattre par les revers; prévenez des objets vrais, doutes et faux; ne vous laissez pas surprendre par une fougue déplacée. Conservez dans votre mémoire les noms des grands hommes, et suivez les dans vos marches et vos opérations avec prudence: ne méprisez jamais votre ennemi quel qu'il soit, et connaissez bien ses armes, sa manière de s'en servir et de combattre; sachez ses forces et ses faiblesses. Habituez vous à une activité infatigable, gouvernez la fortune, c'est le moment qui donne la victoire; maîtrisez le par la célérité de César, qui savait si bien surprendre ses ennemis, même en plein jour, les tourner et les attaquer aux endroits où il voulait et à quel temps, sans y laisser obliger leur couper les vivres et les fourrages, et étudiez l’art de ne faire jamais manquer de subsistance à vos troupes. Que Dieu vous élève à l'héroïsme de célèbre Karatschay.

Приложение VII.
К главе XXII.
Наука Побеждать.
(деятельное военное искусство).
Генерал-фельдмаршала графа А.В. Суворова-Рымникского, в редакции 1796 года.
(Из книги В. Левшина 1811 года «Собрание писем и анекдотов» и из брошюры 1805 года «Наука побеждать», Антоновского).

1. Вахт-парад.

От оного главное влияние обучениев.

Исправься, бей сбор, ученье будет. Приемы и повороты по команде, по флигельману, по барабану.

Пальба будет, заряжай ружье. Плутонгами, полудивизьонами, дивизьонами. При заряжании, приклада на землю отнюдь не ставить: отскакивает шомпол, - пуля не крепко прибита. Наблюдать косой ряд; приклад крепко упереть в сгиб правого плеча, ствол бросить на левую ладонь, - пуля бьет в полчеловека. Примерно можно и с порохом.

Ружья чистить между часов; выстрелить от одного до двух патронов.

Наступными плутонгами, начинай! Отбоя нет, сигнал барабана - поход, выстрелить от одного до двух патронов.

Атакуй первую неприятельскую линию, в штыки, ура! Взводные командиры - коли, коли, рядовые – **ура** - громогласно. Краткий отбой.

Неприятельская кавалерия скачет на выручку к своей пехоте, атакуй, ура! Здесь держать штык в брюхо человеку, - случится, что попадет штык в морду, в шею, особливо в грудь лошади. Краткий отбой.

Атакуй вторую неприятельскую линию (или резервы), атакуй! Отбой; сим кончится.

Третья - сквозная атака. Линия равняется вмиг - вперед; никто не смеет пятиться назад ни четверти шага.

Ступай, по взводно, полудивизьонами или дивизьонами. На походе плутонги вздваивают в полудивизьоны, или сии ломаются на плутонги.

Солдатский шаг аршин, в захождении полтора шага. Начинает барабан, бьет свои три колена; его сменяет музыка,

играет полный поход; паки барабан, - и так сменяются между собою. Бить и играть скорее, от того скорее шаг.

Интервалы между взводов весьма соблюдать, дабы пришед на прежнее место, при команде стой, все взводы вдруг стояли и заходили в линию.

Вторая (или первая) половина линии по рядам на лево (или на право), ступай на атаку, ступай! У сего барабан фельдмарш. Заходит против части, на месте стоящей, из картечного выстрела вон.

Ступай! Поход во все барабаны. На 80 саженях от противничья фронта бежать вперед от 10 до 15 шагов чрез картечную черту полевой артиллерии, на 60 саженях тож чрез картечную черту полковой артиллерии, а на 60 шагах чрез верную черту пуль.

Ступай, ступай, в штыки, ура! Противная линия встречает пальбою на сей последней дистанции, а на 30 шагах ударит сама в штыки. С обеих сторон сквозная атака.

Равно сему другая линейная атака, - обе части на прежних местах. Тако ж отдельная часть заходит колонною, для деплояды фронта, ежели есть место; обе части делают колонны, по числу людей в разводе, одну или две.

Атака будет колоннами, ступай! Барабан бьет поход на 60 шагов одних от других.

Ступай, ступай, атакуй в штыки, ура! Мушкет в правой руке на перевесе; колонны между собой насквозь быстро (проходят и) примерно колят.

Колонны, строй каре. Здесь строят каре на месте.

Стрелки, стреляй в ранжире. Стрелки бьют наездников и набегающих неприятелей, а особливо чиновников.

Плутонгами начинай. Плутонги палят в их толпы; пальба должна быть краткая, ибо тут дело больше картечь.

Ступай, ступай, атакуй в штыки, ура! Бросаются колоть, что представляется сквозною карейною атакой.

Стрелки вперед, докалывай, достреливай, бери в полон. На оставших басурман между кареев.

Стрелки, в свои места. Барабан - краткий сбор.

Кареи, строй колонны. Исполнение тож, как выше о колоннах.

Колонны, строй кареи; ступай, ступай, атакуй в штыки, ура! Здесь без пальбы, атака же прежняя.

Кареи, строй линейный фронт. А заходящей части, по рассмотрении, вместо линии в колонну, или по четыре (ряда). Команда оной: по рядам (или по четыре) на право (или на лево).

Ступай на прежнее место; строй фронт. Барабан -

фельдмарш.

Примечание. Сии основательные маневры, марши и эволюции равны в батальонных, полковых и корпусных экзерциициях.

Начальник может требовать: батального огня. Исправный приклад правит пальбою; здесь он расстраивается по неминуемой торопливости, но во взводной пальбе он виден. Одиночка пальбы на баталии выйдет сама собою; для сбережения пули тут на каждом выстреле всякий своего противника должен целить, чтоб его убить.

Залпа. В разводе, коли с пальбою, для очищения ружей; в ином строю только для исправности приклада. Против неприятеля не годится; оный может сколоть и порубить, пока опять заряжают.

Наступных плутонгов. Оные только для движения, но против неприятеля сия ломаная линия не годится, ибо он ее, особливо кавалериею и малою, изрубить может.

Отступных плутонгов. Лучше об оных и не помышлять; влияние их солдату весьма опасно, а потому и не о каких ретирадах в пехоте и кавалерии не мыслить.

После сего ученья, штаб-офицер того полку, чей вахт-парад, командует под курок и начинает в присутствии всего генералитета, штаб и обер-офицеров говорить к солдатам наизусть следующее.

2. Словесное поучение солдатам.

Каблуки сомкнуты, подколенки стянуты; солдат стоит стрелкой: четвертого вижу, пятого не вижу.

Военный шаг аршин, в захождении полтора аршина; береги интервалы.

Солдат во фронте, на шагу, строится по локтю; шеренга от шеренги три шага, в марше два; барабаны не мешай.

Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию, когда негде взять. Стреляй редко да метко; штыком коли крепко; пуля обмишулится, штык не обмишулится; пуля дура, штык молодец.

Коли один раз, - бросай басурмана со штыка; мертв на штыке, царапает саблею шею. Сабля на шею, - отскокни шаг, ударь опять, коли другого, коли третьего; богатырь заколет полдюжины, а я видал и больше. Береги пулю в дуле; трое наскочат, - первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун.

В атаке не задерживай.

Для пальбы стреляй сильно в мишень; на человека пуль 20 свинцу, из экономии: не много стоит. Мы стреляем цельно, - у нас

пропадает тридцатая пуля, а в полевой и полковой артиллерии разве меньше десятого заряда.

Фитиль на картечь, - бросься на картечь: летит сверх головы; пушки твои, люди твои, - вали на месте, гони, коли, остальным давай пощаду; грех напрасно убивать, они такие ж люди.

Умирай за дом Богородицы, за Матушку, за пресветлейший дом: церковь (за тебя) Бога молит. Кто остался жив, тому честь и слава.

Обывателя не обижай: он нас поит и кормит. Солдат не разбойник. Святая добычь: возьми лагерь, - все ваше; возьми крепость, - все ваше. В Измаиле, кроме иного, делили золото и серебро пригоршнями; так и во многих местах. Без приказа отнюдь не ходи на добычь.

Баталия полевая - три атаки. В крыло, которое слабее. Крепкое крыло (если) закрыто лесом, - это не мудрено, солдат проберется; болотом тяжелее, реку без моста не перебежишь; шанцы (же) всякие перескочишь. Атака в средину не выгодна, разве конница хорошо рубить будет, инако сами сожмут. Атака в тыл очень хороша, только для небольшого корпуса, а армиею заходить тяжело.

Баталия в поле - линиею против регулярных, кареями против басурман. А может случиться и против Турков, что пятисотному карею надлежать будет прорвать пяти или семитысячную толпу с помощью фланговых кареев; на тот случай бросится он (каре) колонною, но в том до сего нужды не бывало. Есть безбожные, ветренные, сумасбродные Французишки; они воюют на Немцев и иных колоннами. Если бы нам случилось против них, то надобно нам их бить колоннами же.

Баталия на окопы - на основании полевой: ров не глубок, вал не высок, - бросся в ров, скачи через вал, удар в штыки, коли, гони, бери в полон. Помни отрезывать, (впрочем) тут подручнее коннице. В Праге отрезала пехота, да тут были тройные, большие окопы и целая крепость; для того атаковали колоннами.

Штурм. Ломи чрез засек, бросай плетни чрез волчьи ямы, быстро беги, прыгай чрез палисады, бросай фашины, спускайся в ров, ставь лестницы. Стрелки очищай колонны, стреляй по головам. Колонны лети чрез стены на вал, скалывай, на валу вытягивай линию, ставь караул к пороховым погребам, отворяй ворота коннице. Неприятель бежит в город, его пушки обороти по нем, стреляй сильно в улицы, бомбардируй живо: недосуг за ним ходить. При-каз - спускайся в город, режь неприятеля на улицах, конница руби; в домы не ходи, бей на площадях, штурмуй где неприятель засел, занимай площадь, ставь гауптвахт, расставляй вмиг пикеты к воротам, погребам, магазинам. Неприятель сдался

- пощада; стена занята - на добычь.

Три воинские искусства. Первое - глазомер: как в лагере стать, как идти, где атаковать, гнать и бить; (также) для занятия местоположения, примерного суждения о силах неприятельских, для узнания его предприятий.

Второе - быстрота. Поход: полевой артиллерии от полуверсты до версты впереди, чтоб спускам и подъемам не мешала; колонна близится, - оная опять выигрывает свое место; под гору сошед, на равнине на рысях. Поход по рядам или по четыре для тесной дороги, улицы, для узкого моста, для водяных и болотистых мест, по тропинкам, и только когда атаковать неприятеля, то взводами, чтоб хвост сократить. Не останавливайся, гуляй, играй, пой песни, бей в барабан, музыка греми. Десяток отломал, - первый взвод снимай ветры, ложись; за ним второй взвод, и так взвод за взводом; первые задних не жди. Линия в колонне на походе растянется: когда по четыре, то в полтора раза, а (когда) по рядам, (то) вдвое того как стояла; стояла на шагу, - идет на двух; стояла на одной версте, - растянется на две; стояла на двух, - растянется на четырех: то досталось бы первым взводам ждать последних полчаса по пустому. На первом десятке отдыху час. Первый взвод вспрыгнул, надел ветры, бежит вперед 10-15 шагов, а на походе, прошед узкое место, на гору или под гору, - от 15 и до 50 шагов. И так взвод за взводом, чтобы задние между тем отдыхали. Второй десяток - отбой: отдых час и больше; коли третий переход мал, то оба пополам, и тут отдых три четверти часа, или полчаса, или и четверть часа, чтобы ребятам поспеть скорее к кашам. Это для пехоты.

Конница своим походом вперед, с коней долой, отдыхает мало и переходит свыше десятка, чтоб дать коням в лагере выстояться.

Кашеварные повозки впереди с палаточными ящиками; братцы пришли, к каше поспели; артельный староста - к кашам! На завтраке отдых 4 часа, тож самое к ночлегу отдых 6 часов и до 8, какова дорога; а сближаясь к неприятелю, котлы с припасом сноровлены к палаточным ящикам, дрова запасены на оных.

По сей быстроте и люди не устали. Неприятель нас не чает, считает за 100 верст, а коли издалека, то за 200, 300 и больше, - вдруг мы на него как снег на голову: закружится у него голова. Атакуй с чем пришел, чем Бог послал; конница начинай, руби, коли, отрезывай, не упускай, ура! - Чудеса творят братцы.

Третье - натиск. Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет; в пальбе много людей гибнет; у неприятеля те же руки, да русского штыка не знает. Вытяни линию, - тотчас атакуй холодным ружьем; недосуг вытягивать линию, - подвиг из закрытого, из

тесного места. Коли пехота в штыки, конница тут и есть: ущелья на версту нет; картечь через голову, - пушки твои. Обыкновенно конница врубается прежде, пехота за ней бежит, - только везде строй. Конница должна действовать всюду как пехота, исключая зыби; там кони на поводах. Казаки везде пролезут. В окончательной победе конница гони, руби; конница займется, пехота не отстает. В двух шеренгах сила, в трех полторы силы: передняя рвет, вторая валит, третья довершает.

Бойся богадельни. Немецкие лекарствицы издалека тухлые, сплошь бессильны и вредны; русский солдат к ним не привык; у вас есть в артелях корешки, травушки, муравушки. Солдат дорог; береги здоровье, чисти желудок, коли засорился; голод - лучшее лекарство. Кто не бережет людей - офицеру арест, унтер-офицеру и ефрейтору палочки, да и самому палочки, кто себя не бережет. Жидок желудок, есть хочется, - по закате солнышка немного пустой каши с хлебцем; а крепкому желудку буквица в теплой воде или корень коневьего щавеля. Помните, господа, полевой лечебник штаб-лекаря Белопольского: в горячке ничего не ешь, хоть до 12 дней, а пей солдатский квас, то и лекарство; а в лихорадке не пей, не ешь, - штраф, за что себя не берег.

В богадельне первый день мягкая постель, второй день французская похлебка, третий день её братец, домовище, к себе и тащит. Один умирает, а десять товарищей хлебают его смертный дых. В лагере больные и слабые; хворые в шалашах, не в деревнях, - воздух чище. Хоть без лазарета, не надобно жалеть денег на лекарства, коли есть где купить; сверх того и прочие выгоды, без прихотей. Да все это не важно, мы умеем себя беречь: где умирает от 100 один человек, а у нас и от 500 в месяц меньше умрет. Здоровому питье - воздух, больному тож воздух и еда.

Богатыри, неприятель от вас дрожит, да есть неприятель больше и богадельни: проклятая немогузнайка, намека, загадка, лживка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка, бестолковка, кличка, что бестолково и выговорить: край, прикак, афок, вайрках и проч., стыдно сказать. От немогузнайки много, много беды. За немогузнайку офицеру арест, а штаб-офицеру от старшего штаб-офицера арест квартирный.

Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву. Молись Богу, - от него победа. Чудо-богатыри, Бог нас водит, Он нам генерал.

Ученье свет, неученье тьма; дело мастера боится, и крестьянин (если) не умеет сохою владеть, хлеб не родится. За ученого трех неученых дают; нам мало трех, давай нам шесть, давай нам десять на одного, - всех побьем, повалим, в полон возьмем. В последнюю кампанию неприятель потерял счетных

75,000, только что не 100; он искусно и отчаянно дрался, а мы и одной полной тысячи не потеряли. Вот, братцы, воинское обучение; господа офицеры, какой восторг.

По окончании сего командовалось: **к паролю, с обоих флангов часовые вперед ступай: на краул**. По отдаче пароля, лозунга и сигнала, следовала похвала или в чем-либо хула вахт-параду. Потом громогласно: «субординация, экзерциция, дисциплина, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, победа, слава, слава, слава!»

Приложение VIII.
К главе XXVI.
REMARQUES
dictées par le comte Souworov Rimniksky le 5 septembre 1798 au général Prévot.

(Из книги гр. Милютина «Война 1799 года»; сверено со списком, найденным в материалах графа Милютина).

Autrichiens doivent persévérer sans craindre pour une Raguse, pas même pour un Trieste, si même il irait pour une guerre de 30 ans. Les circonstances se changent, comme les armes sont journalières, - quoique point chez moi, qui va à l'arme blanche.

Les Anglais sont faibles sur terre, excepté dans la défense de leurs côtes; mais quelle prépondérance sur mer! Point de descente en France; ils ne doivent cesser d'envahir les colonies, ils partagent trop leurs forces dans le canal et la Méditerannée: c'est agir à la défensive et leur force n'ordonne que l'offensive. Ainsi, a marqué Nelson, il garde trop de points. Ils doivent persévérer.

La Saxe doit rester neutre, mais non la Bavière, comme tous les autres princes de l'Empire jusqu'à Hannovre.

Les Turcs, même en perdant la Grèce, seront par là plus obligés d'entrer en guerre sous des phantômes des promesses de ravoir la Crimée et le reste, qu'on ne visera que de rendre libre dans la suite.

La Russie sera un peu embarrassée, un peu aussi par la Perse, mais ce n'est que fragilité: on tâchera de soulever contre elle la Cabardane, les Circassiens et c'est de même. Contre la Suède elle doit avoir 24.000 hommes avec les réserves, bien bayonnettés et célères. Sur mer elle est beaucoup plus forte et ruinera la flotte suèdoise et livrera le surplus de ses bâtiments aux Anglais.

Le Danemark aura plus à gagner contre les Suèdois que de se hasarder ailleurs. Le mieux sera qu'il reste neutre, s'il n'agit pas pour les Anglais.

Il va de l'intérêt du cabinet de Prusse de pousser l'affaiblissement des Autrichiens et de terrasser l'hydre russe: le roi sera avec les Français. Ces deux puissances l'attaqueront lestement chacune par 60.000 hommes, s'il ne prend pas parti avec eux ou reste neutre.

Depuis la dernière guerre les Turcs manquent en hommes, exepté que la France ne les soutienne. Alors la Russie les combattra avec 60.000 hommes et 30.000 de réserve. La flotte a son asile à Sébastopol.

Autrichiens et Russes agiront contre la France, chacune avec

100.000 hommes, et principes:

1. Rien que l'offensive.

2. Célérité en marche; impulsion dans les attaques, armes blanches.

3. Point de méthodique, un bon coup d'oeil.

4. Plein pouvoir au commandant en chef.

5. Attaquer et battre l'ennemi en campagne.

6. Ne pas perdre le temps dans les sièges exepté quelque Mayence, comme point de dépôt... Quelquefois par un corps d'observation... un blocus... Prendre plutôt les forteresses par assaut ou d'emblée de vive force: on y perd moins.

7. Jamais partager les forces pour garder les différents points. Si l'ennemi les passe, tant mieux: il se rapproche pour être battu.

8. Ainsi il ne faut qu'un corps d'observation sur Strasbourg; encore (un corps) volant vers Luxembourg; on poussera sa pointe en combattant, sans s'arrêter, droitement à Paris, comme point capital, sans s'arrêter à Landau, si ce n'est (que) pour l'observer avec quelques troupes, afin d'avoir le derrière libre, non pour des retraites, - à quoi on ne doit jamais penser, - mais pour des transports, et jamais se surcharger avec des manoeuvres vaines, des contre-marches, ou des ainsi nommés ruses de guerre, qui ne sont bonnes que pour un académicien.

9. L'Italie, les Pays-Bas suivront facilement Paris, le roi de Sardaigne se déclarera... Il reste assez de têtes chaudes en Italie, et le reste pour le bien public.

Le roi de Naples renaîtra, les Anglais nettoyeront la Méditerannée... Point de délai, fausse prudence et jalousie, tête de Médée au cabinet et dans le ministère... Eugène, Marlboroug, comme ont été, - Souvorow et Cobourg.

12

Ссылки и пояснения к 3 тому

Краткое понятие о материалах, на которые здесь сделаны ссылки, дано в последнем отделе этого тома, озаглавленном "Источники". Сокращения в наименовании источников будут понятны, если предварительно ознакомиться с этим отделом.

К главе XXVII.

1. Война 1799 г., гр. Милютина.
2. Лаверн. - Воронц. архив, 24.
3. Книга гр. Милютина.- Левшин. - Анекдоты Фукса. - Воронц. архив, 9. - Рус. архив 1877 г.
4. Рассказы ст. воина. - Рус. старина 1872 г.
5. Сувор. сборник, В и Д. - Госуд. архив, X, 498. - Материалы гр. Милютина и его же книга.
6. Сувор. сборник, 4. - Книга гр. Милютина. - Рус. старина 1873 г.
7. Рус. архив 1877 г. - Рассказы ст. воина. - Анекдоты Фукса.
8. Сувор. сборник, 4. - Госуд. архив, VII, 2049. - Левенштерн.
9. Книга гр. Милютина. - Лаверн. - Рус. архив 1867 г.
10. Книга гр. Милютина.
11. Сувор. сборник, 4. - Анекдоты Фукса.
12. Книга гр. Милютина.
13. Карабановский сборник. - Книга гр. Милютина. - Глинка. - Жомини. - Воронц. архив, 24.
14. Сувор. сборник, 4. - Бошан. - Книга гр. Милютина.
15. Анекдоты Фукса.
16. Observations sur l'armee francaise. Перевод этой небольшой книжки помещен в Сборнике статей г. Драгомирова и в Рус. старине за 1875 год.
17. Глинка. - Дюбокаж.
18. Сувор. сборник, Г. - Рус. старина 1872 г. - Рус. архив 1871 г. - Дюбокаж.
19. Сувор. сборник, папка. - Дюбокаж. - Лаверн.
20. Observations, etc. - Воронц. архив, 17.

К главе XXVIII.

1. Рассказы ст. воина.
2. Бошан. - Лаверн. - Кампания 1799 г., Фукса.

3. Анекдоты Фукса.

4. Чтения в моск. общ., 1847 г. - Рус. старина 1877 г. - Бошан. - Тьер.

5. Документы помещены в Приложении IX. Туда вошли: а) приказы Суворова, взятые из книги гр. Милютина, а им отысканные в австрийском военном журнале 1818 г.; б) инструкция, взятая у того же автора, а им найденная в архиве бывшего инспекторского департамента военного министерства; в) записка, попавшаяся автору настоящего сочинения в моск. главном архиве (Campagnes, св. 3); г) приказ Суворова, имеющийся в нескольких источниках, но взятый из книги гр. Милютина. Первые два написаны по-немецки неправильным и местами невразумительным языком, а потому помещены в приложении в русском переводе гр. Милютина. Инструкция составлена не в Валеджио, а позже, но помещается в том же Приложении по однородности предмета, так же, как и приказ 4 июня.

6. История Суворова, Фукса.

7. Воронц. архив, 8. - Тьер. - Жомини.

8. Распоряжение насчет русских войск было не исполнимо, так как ночью с 15 на 16 число они находились по крайней мере в 30 верстах от назначенного им пункта переправы. Вероятно оно было сделано заблаговременно, днем 15 числа, а потом отменено.

9. Материалы гр. Милютина. - Бошан.

10. Материалы гр. Милютина.

11. Жомини.

12. Сувор. сборник, папка. - Воронц. архив, 17.

13. Бошан.

14. Сувор. сборник, папка. - Бошан. - Анекдоты Фукса.

15. Сувор. сборник, Н.

16. Сувор. сборник, папка. - Бошан. - Кампания 1799 г., Фукса.

17. Сувор. сборник, папка. - Воронц. архив, 17. - Тьер. - Жомини.

Главный материал для этой главы дала книга гр. Милютина "Война 1799 г."

К главе XXIX.

1. Бошан.

2. Лаверн.

3. Рус. архив 1867 г.

4. Тоже. - Рус. старина 1877 г.

5. Материалы гр. Милютина. - Рус. архив 1867 г.

6. Суворовский сборник, Е.
7. Рус. старина 1874 г.
8. Рассказы старого воина.
9. Сувор. сборник, папка.
10. Государств. архив X, 408. - Сувор. сборник, В.
11. Воронцовский архив, 8.
12. Военный журнал 1859 г.
13. Сувор. сборник, Н. - Госуд. архив, X, 408. - Левшин.

Книга гр. Милютина служила главным источником для этой главы.

К главе XXX.

1. Государств. архив, VП, 3378.
2. Материалы гр. Милютина.
3. Тоже. - Северная Пчела 1843 г., № 72.
4. Материалы гр. Милютина. - Сувор. сборник, В.
5. Жомини.
6. Рассказы старого воина.

Весь этот эпизод изложен в указанном источнике не совсем верно, не согласно с ходом сражения и довольно сбивчиво, что впрочем вообще характеризует "Рассказы старого воина", за малыми исключениями, хотя сущность передаваемых им фактов едва ли подлежит сомнению. В настоящем сочинении описываемый случай рассказан несколько иначе, по соображении с подробностями боя и не вполне сходно с книгою гр. Милютина.

7. Военный журнал 1859 года.
8. Собрание разных сочинений Фукса.
9. История Суворова, Фукса.
10. Воронц. архив, 24.
11. Госуд. архив, X, 498. - Сувор. сборник, В, Н и 4.
12. Сувор. сборник, Н.
13. Воен. журнал 1859 г. - Матье Дюма. - Тьер.
14. Кампания 1799 г., Фукса.
15. Бошан.

Главным источником для главы служила книга гр. Милютина.

К главе XXXI.

1. Лаверн.
2. Кампания 1799 г., Фукса.
3. Военный журнал 1859 года.
4. Рассказы старого воина.
5. Материалы гр. Милютина.

6. Сувор. сборник, Н. - Карабановский сборник. - Воронц. архив, 24.

7. Сувор. сборник, Н.

8. Сувор. сборник, Н и папка.

9. Государств. архив, VII, 3378.

10. Воронц. архив, 24.

11. Сувор. сборник, В. - Собрание разных сочинений Фукса.

12. Такого мнения по-видимому держится и гр. Милютин в своем превосходном исследовании сражения при Нови (Война 1799 года), составленном по многочисленным, но весьма разноречивым данным.

13. Жомини, Бошан и некот. другие.

14. Рассказы старого воина.

По другим источникам, Суворов сидел запершись в своей комнате. Здесь предпочтено то сведение, которое, по уверению "старого воина", идет от князя Багратиона.

15. Материалы гр. Милютина. - Рассказы ст. воина. - Рус. архив 1877 г. - Лаверн.

16. Дюбокаж. - Амбер.

17. У гр. Милютина сказано, на основании донесения Суворова, что Розенберг был передвинут из Витицоло к Ривальте, но Комаровский (Рус. архив 1867 г.) и Толль (Воен. журнал 1859 г.) про это перемещение не говорят. Последнее свидетельство особенно ценно, ибо Толль был офицером генерального штаба при Розенберге.

18. Дюбокаж.

19. Жомини.

20. Бошан.

21. Тьер.

22. Жомини, М. Дюма, Тьер, Амбер и некот. другие.

23. История Суворова, Фукса.

24. Воен. журнал 1859 г. - Рассказы ст. воина.

В этой последней книге много напутано; видимо, память изменила автору; оттого нельзя было принять изложение гр. Милютина.

Главным источником для главы служила книга гр. Милютина.

К главе XXXII.

1. Анекдоты Фукса.

2. Эти и другие карикатуры, касающиеся современных событий той эпохи, автор книги видел в богатой коллекции П.Я. Дашкова.

3. Воронцовский архив, 10.

4. Государств. архив, VII, 3320. - Воронц. архив, 14 и 26.- Кампания 1799 г., Фукса.

5. Моск. главный архив, 1799 г., Campagnes, св. 8. - Анекдоты Фукса.

6. Expose des principales circonstances, etc. - Фукса: кампания 1799 г. и собрание разных сочинений.

7. Рус. архив 1876 г.

8. Суворовский сборник, Н.

9. Воронц. архив, 24. - Рус. Вестн. 1842 г., т. 5.

10. Воронц. архив, 20.

11. Госуд. архив, X, 498.

12. Госуд. архив, тоже и VII, 3378.

13. Жомини.

14. Карабановский сборник.

15. Анекдоты Фукса. - Рассказы ст. воина. - Воен. журнал 1859 г.

16. Госуд. архив, VII, 3378.

17. Материалы гр. Милютина. - Воронц. архив, 24. - Воен. журнал 1859 г. - Чтения в моск. обществе 1847 г. - Левшин. - Expose etc.

18. Карабан. сборник. - Анекдоты Фукса. - Воронц. архив, 24. - Лаверн. - Левшин.

19. Моск. главный архив, 1799, Campagnes, св. 8. - Сувор. сборник, 4. - Кампания 1799 г., Фукса. - Рассказы ст. воина. - Левшин. - Воронц. архив, 24.

20. Воронц. архив, 20.

Главным источником для главы служила книга гр. Милютина.

К главе XXXIII.

1. Военный журнал 1859 года.

2. Лаверн.

3. Московск. ведомости 1805 г., № 48.

4. Левшин.

5. Тьер и другие.

6. Рассказы старого воина.

7. Собрание разн. сочин. Фукса и другие.

8. Переход Суворова чрез Чертов мост описан историками весьма равнообразно и с несогласимыми противоречиями. Трудно принять за безусловно верное и изложение гр. Милютина, даже об устройстве самого моста, если сопоставить его со свидетельством участника и очевидца, Толля, находившегося при передовом батальоне. Есть и у Толля очевидные погрешности и недомолвки; но он не мог ошибиться, так сказать, в тоне самого дела. Поэтому

описание атаки и обороны Чертова моста в настоящей главе не во всем сходно с книгою гр. Милютина, который, как надо полагать по его цитатам, не имел записок Толля в числе своих источников.

9. Государств. архив, XX, 381.

10. По этому поводу некоторыми приводится анекдот о неумелости или копотливости австрийских пионеров и о наряде на мостовую работу русских солдат-плотников. Откуда здесь взялись австрийские пионеры? Нигде не видать, чтобы они были приданы русским войскам для швейцарского похода, а напротив известно по документам, что при армии Суворова находилась русская пионерная рота Назимова с командою сапер и минер. Анекдот этот конечно порожден существовавшим тогда в Суворовских войсках горьким чувством к Австрийцам.

11. Материалы гр. Милютина. - Жомини. - Военный журнал 1859 г.

Главным источником для главы служила книга гр. Милютина.

К главе XXXIV.

1. Воен. журнал 1859 г. - Рассказы ст. воина.

2. Рассказы старого воина.

3. Жомини.

4. Expose des principales circonstances, etc.

5. Существуют свидетельства, что на военный совет были созваны все генералы и несколько штаб-офицеров. Здесь говорится только о десяти потому, что решение совета подписано десятью лицами. Ни Суворов, ни великий князь не подписались.

6. Рассказы ст. воина.

Речь Суворова и вообще ход всего совещания приводятся не дословно, а в общих чертах, потому что рассказчик (г. Старков), или и сам Багратион, все это ему передававший, могли удержать в памяти безошибочно только общий смысл и главные подробности происходившего, а не обороты фраз и слова.

7. Военный журнал 1859 г.

8. Москвитянин 1842 г., ч. 5. - Воен. журнал 1859 г.

9. Материалы гр. Милютина.

Слова Массены впрочем могли относиться и к переходу Суворова из Альторфа в Муттенталь.

10. Кампания 1799 г., Фукса.

11. Воен. журнал 1859 г. - Рассказы ст. воина. - Рус. старина 1875 г.

12. Госуд. архив, VII, 3378.- Материалы гр. Милютина. - Анекдоты Фукса.

13. Восемнадцатый век, Бартенева, кн. 3.

14. Фукс рассказывает, якобы солдаты ворчали в глаза Суворову, говоря, что он выжил из ума, заведя их Бог знает куда. При этом Суворов будто бы обращался к своей свите с довольным видом, уверяя, что его хвалят точно так, как хвалили в Турции и Польше. Этот анекдот однороден с другим, о рытье Суворову могилы, пущенным Фуксом же, и заслуживает такой же веры.

15. Дюбокаж.

16. Рус. архив 1876 г. - Рус. старина 1875 г.

17. Госуд. архив, X, 498. - Рус. архив 1876 г.

18. Госуд. архив, X, 498.

19. Памятник этот открыт в Петербурге Императором Александром I в мае 1801 года, при торжественной обстановке. Первоначально он стоял на Марсовом поле, а потом перенесен ближе к Неве, где и ныне находится.

20. Древняя и новая Россия 1879 г. (Елисеев).

Главный материал для главы дала книга гр. Милютина.

К главе XXXV.

1. Моск. главный архив, 1799, Campagnes, связка 2.

2. Expose des principales circonstances, etc.

3. Воронц. архив, 20.

4. Дюбокаж.

5. Кампания 1799 г., Фукса.

6. Амбер.

7. Древняя и новая Россия 1879 г. (Елисеев).

8. Анекдоты Фукса.

9. Амбер. - Анекдоты Фукса. - Дюбокаж. - Сев. Пчела 1843 г., № 163.

10. Сын отечества 1842 г., № 2, - Memoires de Gohier, 1824.

11. Материалы гр. Милютина. - Бошан. - Воронц. архив, 20 и 23. -Др. и нов. Россия 1879 г. (Елиееев).

12. Государств. архив, X, 498.

13. Рус. архив 1876.

14. По свидетельству гр. Милютина, предположения Суворова о будущей кампании изложены в нескольких записках и заметках, в числе которых есть совершенно непонятные по неправильности и темноте языка. В Приложение XII вошли три главные и по содержанию, и по объему; они взяты целиком из книги гр. Милютина, с исправлением лишь орфографии по нынешнему.

15. Моск. главный архив, 1799, Campagnes, св. 4.

Главным материалом для описания разрыва служила книга гр. Милютина.

К главе XXXVI.

1. Госуд. архив, XX, 381. - Мемуары Левенштерна. - Книга гр. Милютина. - Рассказы ст. воина. - Воен. журн. 1859 г.

2. Суворовск. сборн., Н. - Книга гр. Милютина.

3. Бюлеровский сборник, кн. гр. Милютина и мн. др.

Копия с этого портрета была сделана для барона Бюлера, дипломатического чиновника, состоявшего временно при Суворове, и перешла потом к сыну его, барону Ф.А. Бюлеру, у которого находится и ныне. Фукс перепутал фамилию живописца, назвав его Миллером вместо Шмидта, и прикрасил свой рассказ о портрете. Разные вариации на эту тему напечатаны в некоторых исторических сборниках.

4. Сувор. сборник, Н. - Книга гр. Милютина. - Кампания 1799 г., Фукса. - Воронц. архив, 27.

5. Сувор. сборник, папка.

6. Бошан. - Кампания 1799 г., Фукса и анекдоты его же.

7. Госуд. архив, XX, 381. -Книга гр. Милютина. - Кампания 1799 г., Фукса.

8. Бошан. - Рус. архив 1877 г. - Рус. старина 1876 г.

9. Записки А.Т. Болотова.

10. Русская беседа 1860 г., т. I.

11. Дюбокаж. - Лаверн. - Бошан. - Русская старина 1876 г. - Восемнадцатый век, Бартенева, кн. 3.

12. Восемнадцатый век, Бартенева, кн. 3. - Левшин. - Бошан.

13. Рус. архив 1867 и 1874 г. - Книга гр. Милютина. - Энгельгардт. - Дюбокаж.

14. Дюбокаж. - Рус. архив 1874 г. - Рус. старина 1878 г.

15. Жомини.

16. Моск. архив гл. штаба, оп. 99, св. 1.

17. Сувор. сборник, Д. - Рус. старина 1876 г. - Энгельгардт - Книга гр. Милютина. -Восемнадцатый век, Бартенева, кн. 3.

18. Левшин. - Анекдоты Фукса.

19. Рассказы ст. воина. - Анекдоты Фукса.

20. Сувор. сборник, С - Карабановский сборник. - Воен. журнал 1859 г.

21. Те же и Рус. архив 1876 г.

22. Рус. архив 1873 г. - Рус. старина 1876 г. - Воронц. архив, 23.

23. Карабановский сборник.

24. Сувор. сборник, 4 и С - Рус. архив 1866 г.

К главе XXXVII.

1. Рус. беседа 1860 г., т. I. - Лаверн. - Рассказы ст. воина, - Левшин. -Бошан. - Expose des principales circonstances, etc.

2. Госуд. архив, VII, 3378. - Сувор. сборник, С - Книга гр. Милютина.

3. Госуд. архив, XX, 381. - Сувор. сборник, С - Книга гр. Милютина.

4. Госуд. архив, то же. - Сувор. сборник, Н. - Вотчин. архив, 11. - Книга гр. Милютина. - Анекдоты Фукса.

5. Сувор. сборник, С и Н. - Карабан. сборник. - Книга гр. Милютина.

6. Госуд. архив, XX, 381. - Сувор. сборник, Д, Н и С - Книга гр. Милютина.

7. Карабан. сборник. - Книга гр. Милютина.

8. Государств. архив, VII, 3378. - Сувор. сборник, С. - Карабан. сборник. - Книга гр. Милютина. - Воен. журнал 1859 г.

9. Материалы гр. Милютина. - Рус. архив 1871 г.

10. Госуд. архив, X, 498.

11. Госуд. архив, XX, 370.

12. Моск. главный архив, 1799, Campagnes, св. 2. - Сувор. сборник, Г, С и 4. - Кампания 1799 г., Фукса.

13. Госуд. архив XX, 381. - Сувор. сборник, Е, Н и С. - Книга гр. Милютина. - Рус. архив 1867 г.

14. Материалы гр. Милютина. - Воронц. архив, 10. - Рус. архив 1867 г. - Рус. старина 1877 г.

15. Госуд. архив, XX, 381. - Моск, главный архив, 1799, Campagnes, св. 6. - Материалы гр. Милютина, - Воронц. архив, 10.

16. Expose des principales circonstances, etc.

В этой небольшой книжке, изданной современным швейцарцем, много вымышленного или помещенного по слухам, без всякой поверки.

17. Госуд. архив, VII, 3378. - Моск. гл. архив, 1799, Campagnes, св. 3. - Москвитянин 1843, № 4.

18. Госуд. архив, то же. - Сувор. Сборник, Г.

19. Книга гр. Милютина.

20. То же. - Сувор. сборник, В, Г и Е.

21. Госуд. архив, X, 498. - Воронц. архив, 18. - Лубяновский.

22. Лубяновский.

23. Сувор. сборник, Г, Е, Н, 4 и папка. - Сенатский архив, 1799, 254, мин. юстиции. 24. Сувор сборник, папка.

Представление Императору Николаю I было сделано не совсем верное. В нем говорилось, будто Суворову был пожалован титул "светлейшего", но потом отнят, и в доказательство приводилось то обстоятельство, что граф (впоследствии князь) Ливен, объявлявший высочайшие повеления, титуловал Суворова

до 20 ноября 1799 года "светлостью", а затем стал писать "сиятельство". Из изложения дела в главе XXXVII видно, что нельзя согласиться с такими объяснениями всеподданнейшего доклада, неправильность которых произошла от недостаточной разработки исторического материала.

25. Книга гр. Милютина. - Сев. архив 1822 г., ч. 2.- Глинка. - Рус. архив 1870 г.

26. Сувор. сборник, 2. - Вотчин. архив, 12. - Книга гр. Милютина. - Лаверн. - Сев. архив 1822 г., ч. 3. - Рус. архив 1870 и 1873 г.

27. Русские народные картинки, Д. Ровинского.

28. Древняя и новая Россия 1879 г. (Елисеев). - Восемнадцатый век, Бессонова, вып. 9. - Храповицкий. - Рыбкин. - Рус. старина 1873 года.

Приложения к 3 тому
Приложение IX.
К главе XXVIII.
А. ПРИКАЗЫ
генерал-фельдмаршала графа А.В. Суворова-Рымникского по обучению австрийской армии в 1799 году.
(Из книги графа Милютина: «Война 1799 года»).

1.

Обучаться пехоте на пехоту, кавалерии на кавалерию, кавалерии на пехоту, пехоте на кавалерию.

Пехота, стоя на месте, стреляет по наступающей пехоте с 60 шагов, а на 30 сама бросается в штыки. В атаке действовать холодным оружием. Употреблять всегда шаг военный - в аршин, в захождении в 1 ½ аршина. Сблизившись с неприятельскою пехотою на 80 сажен, пробежать вперед до 15 шагов, а кавалерия карьером на 30 сажен, через картечную черту полевой артиллерии, чтобы летела картечь сверх головы; тоже самое на 60 саженях против тяжелой артиллерии. Черта верного ружейного выстрела 60 шагов; расстояние это уже пробегут со штыками.

На том же основании действует и кавалерия.

2.

В строю становиться по локтю. Повороты и деплоирование в обыкновенных случаях делать скорым шагом.

Движение производить в колонне по взводно, справа или слева; шаг в аршин, при захождении полтора.

Фронт выстраивать захождением по взводно.

Готовься к атаке; тут пальба взводами не долго.

По команде готовься, люди задней шеренги отскакивают в сторону, вправо, и становятся в две шеренги, а потом вскакивают опять на прежние места. Всем этим заниматься не долго.

По сигналу - марш, вперед, линии двигаются полным шагом и живо. Ружье в правую руку, - штыки держать вкось без помощи ремня. Как дойдет до рукопашного, если на кавалерию, то колоть штыком и лошадь, и человека: если на пехоту, то штык держать ниже и ближе обеими руками. На 80 саженях картечный выстрел из больших орудий, - пехота пробежит вперед до 15 шагов; тоже самое на 60 саженях, когда картечь из малых пушек: неприятельская картечь летит поверх головы. Когда линия в 60 шагах от неприятеля, офицеры с флангов выбегают вперед: «виват

Франц», рядовые вперед и неприятеля колят... Тут уж только кровь.

3.

Штыком может один человек заколоть троих, где и четверых, а сотня пуль летит на воздух.

Казаки должны всегда держаться за кавалерией; их быстрота довершает победу, и как только неприятель сбит, то ни один человек не спасется.

Быстрота и натиск - душа настоящей войны; бегущего неприятеля истребляет одно преследование.

Победителю прилично великодушие; бегущий неприятель охотно принимает пардон. Смерть или плен, - все одно.

Пища поддерживает силы человека; в случаях особенных надобно довольствоваться малым. Кавалерия сама снабжает себя фуражом.

4.

Казаков надо ставить вслед за пехотой, полками или сотнями, чтобы немедленно преследовать неприятеля, лишь только начнет отступать.

В боевом порядке казаки должны строиться, смотря по местности, малыми или крупными частями, или позади линий, или по флангам. Как только неприятельская линия сбита, казаки по своей быстроте отлично преследуют и в особенности забирают пленных. Иногда должны они кричать неприятелю: пардон, пардон.

5.

Когда неприятель бежит, его провожают ружейным огнем. Он не стреляет, не прикладывается, не заряжает: много неудобств спасаться бегством. Когда же за ним штыки, то он еще реже стреляет, а потому не останавливаться, а ускорять его бегство штыками.

День готовиться к маневрам. С утра упражняться штыками и саблями. По временам производить натиск пехоте против пехоты, кавалерии против кавалерии, кавалерии против пехоты, пехоте против кавалерии: по одиночке, по взводно, ротами, эскадронами, батальонами, полками, - как признается удобнее. Особенно же следует беречь лошадей: человек лучше отдыхает.

6.

Бой между двумя армиями на штыках, белым оружием.

В каждой из двух линий, а частию и в резерве, должны быть

значительные интервалы. Конная артиллерия стреляет, смело наступая, совершенно независимо от направления линий; конная артиллерия скачет впереди, как сама хочет. Вместо рассыпанных застрельщиков, в каждом капральстве иметь по 4 хороших стрелка; они стреляют в ранжире (в своем ряду и в шеренге), а могут также несколько и выбегать вперед; только не терять напрасно пуль.

Когда обе противные армии находятся в расстоянии хорошего пушечного выстрела, то атакующие линии идут на противника. Подойдя на 80 сажен, т. е. к черте хорошего картечного выстрела (до того линии шли скорым шагом в аршин и даже в полтора), бегут вперед до 15 или 30 сажен от неприятельских пушек, чтобы картечь летела поверх головы; тоже самое начинать с 60 сажен или 180 шагов перед тяжелыми орудиями. Последние 60 шагов от неприятельского фронта, т. е. расстояние верного ружейного выстрела, пробегают со штыками, колят, кричат виват Франц, а обер и унтер-офицеры - коли, коли.

Армия, стоящая на месте, открывает действие пушками. Ружейный огонь плутонгами начинается с 60 или 80 шагов, а когда противник подойдет на 30 шагов, то стоящая армия сама двигается вперед и встречает атакующую армию штыками. Штыки держать плоско, правою рукой, а колоть с помощью левой; при случае не мешает и прикладом в грудь или по голове.

Вот в чем весь секрет: пехота проходит сквозь пехоту и кавалерию, кавалерия сквозь пехоту и кавалерию, а как только все прошли насквозь, строятся линии опять на прежнем расстоянии, где и командовать: стой. Задняя линия проходит сквозь переднюю и - на лево-кругом; кавалерия - по четыре на лево-кругом; тут уже станут на заднюю шеренгу.

Тот же самый маневр повторяется снова. Армия, которая прежде была атакующею, теперь уже стоит на месте, а стоявшая прежде, - теперь атакует и то же самое наблюдает. Vinci!

Не худо сказать солдатам какую-нибудь сильную речь, а затем - по домам.

7.

План операционный - в главную квартиру, в корпус, в колонну; ясное распределение полков; везде расчет времени.

В переписке между начальниками войск следует излагать настоящее дело ясно и кратко, в виде записок, без больших титулов; будущие же предприятия определять вперед на сутки или на двое.

Не довольно, чтобы одни главные начальники были извещены о плане действия; необходимо и младшим начальникам

постоянно иметь его в мыслях, чтобы вести войска согласно с сим. Мало того, даже батальонные, эскадронные, ротные командиры должны знать его по той же причине; даже унтер-офицеры и рядовые. Каждый воин должен понимать свой маневр. Тайна есть только предлог, больше вредный, чем полезный: болтун и без того будет наказан.

Вместе с планом должен быть приложен небольшой чертеж, на котором нет нужды назначать множество деревушек, а только главные и ближайшие места, в той мере, сколько может быть нужно для простого воина; притом нужно дать некоторое понятие о гористых местах.

Б. ИНСТРУКЦИЯ, данная генерал-фельдмаршалом графом А.В. Суворовым-Рымникским австрийским войскам в 1799 году.

(Из книги графа Милютина: «Война 1799 года»).

Итальянская армия обязана большею частью своих побед быстрому наступлению и сомкнутым атакам в штыки, а потому все господа генералы должны на каждой дневке упражнять вверенные им войска в действиях этого рода.

В отдалении от неприятеля, в походе идти рядами, потому что для нижних чинов это легче и удобнее. На каждую немецкую милю час отдыху. Если весь переход мили в 3 ½ и до 5, то подъем в 2 часа утра; вьючные лошади с котлами и мясом посылаются вперед, чтобы люди могли получить пищу, необходимую для поддержания их сил.

В расстоянии около часа от неприятеля выстраиваются взводы, а лишь только подойдут под пушечный выстрел, берут ружья под приклад и идут в ногу, потому что это единственное средство наступать скоро.

В 1000 шагах от неприятеля всегда строиться в две линии, а потом с музыкой обыкновенным шагом подойти на 300 шагов от противника. Артиллерия всегда становится так, чтобы не мешать движению других войск и деятельно производит пальбу.

В 300 шагах команда: стой, равняйсь; пальба взводами, заряжай, взвод готовсь, кладсь - пли.

Взводы заряжают раз 6 или 8; между тем артиллерия стреляет картечью. Затем бить отбой и когда люди совершенно приготовятся, то командовать: слушай, атака всем фронтом, ружья на перевес. Войска берут ружья на перевес и крепко держат их в правой руке. Марш. Войска трогаются несколько усиленным шагом, с музыкой, с распущенными знаменами и когда подойдут шагов на 200, то командовать: марш-марш. Войска удваивают

шаг; в расстоянии 100 шагов опять командовать: марш-марш. По этой команде люди хватают ружья левой рукой и бегом бросаются на неприятеля; в штыки, с криком виват. Неприятеля надобно колоть прямо в живот, а если который штыком не приколот, то прикладом его.

Во время ученья командовать стой и бить отбой на том самом месте, на котором предполагается неприятель и которое всегда должно быть обозначено забором или плетнем. Господа офицеры должны в этом случае особенно наблюдать, чтобы фронт быстро выровнялся. Быстрота выравнивания фронта есть душа армии на местности пересеченной; надобно упражнять в этом войска как можно чаще. Вторая линия подвигается вперед сомкнуто и держа ружья на плече, вслед за первою, на дистанции 200 шагов, имея между батальонами по 300 шагов интервала.

Кавалерия становится в третью линию или на флангах второй, смотря по обстоятельствам, но всегда по эскадронно или по дивизионно: во время самой атаки она кидается на неприятеля с фланга или с тыла. Казаки остаются в колонне за кавалерией, преследуют неприятеля и окончательно его истребляют.

Этот род атаки, который я в особенности рекомендую, должен быть сообщен фельдмаршал-лейтенантам, бригадным и полковым командирам, для того, чтобы они в точности следовали ему и упражняли в этом войска сколько лишь возможно, не утомляя людей.

В. КРАТКАЯ ЗАПИСКА
по тому же предмету.
(Из дел моск. главного архива, Campagnes, св. 3).

Батальон вперед, марш. Вторая половина идет в атаку и по первому колену похода берет ружье в правую руку. Командир оной части увидя, что он подходит под картечный выстрел, делает фрунту знак шпагой. По сему знаку люди бегут, чтобы пробежать скорее картечный выстрел; потом, пробежав несколько шагов, командир делает опять знак, по которому идут маршем.

Плутонгами, (командует) первой линии командир, увидев, что подходят на ружейный выстрел.

Марш-марш, в штыки, ура, (командует) наступающей линии командир, когда стоявшая на месте линия начала стрелять.

Марш-марш, в штыки, ура, (командует) стоящей части командир, не допуская до себя на 30 шагов наступающую линию.

Таким образом обе линии пробегают насквозь, солдаты примерно колят штыком, и как можно стараться, чтобы не разрывались и чтобы середина была впереди.

Командир обеих линий приметя, что первая линия пришла на место второй, а вторая на место первой, приказывает ударить отбой, по которому останавливаются. Исправься, - ружье берут на плечо. Обе линии на право кругом, - ворочаются по барабану.

Таким же образом первая линия атакует вторую, и сим кончится линейная атака.

Если командир захочет делать построения, как-то колонны или каре, то делать их по уставу; но на теперешний раз только требуется линейная атака.

Второй линии должно, по окончании, пристроиться к первой, маршируя скорым шагом по 4 ряда. Когда линия вытянулась, то может быть залп.

Г. ПРИКАЗ

генерал-фельдмаршала графа Суворова Рымникского 4 июня 1799 года о действии против Французов.

(Из книги графа Милютина: «Война 1799 года»).

1. Неприятеля поражать холодным ружьем - штыками, саблями и пиками. Артиллерия стреляет по неприятелю по своему рассмотрению, почему она и по линии не расписывается. Кавалерии и казакам стараться неприятелю во фланг ворваться.

2. В атаке не задерживать. Когда неприятель сколот, срублен, то тотчас его преследовать и не давать ему времени ни сбираться, ни строиться. Если неприятель будет сдаваться, то его щадить, только приказывать бросать оружие. При атаке кричать, чтобы неприятель сдавался, о чем и русские войска известить. Ничего не щадить, не взирать на труды, преследовать неприятеля денно и нощно до тех пор, пока истреблен не будет.

3. Котлы и прочие легкие обозы чтоб были не в дальнем расстоянии при сближении к неприятелю; по разбитии же его чтоб можно было каши варить, а впрочем победители должны быть довольны взятым в ранцах хлебом и в манерках водою. Кавалерия должна о фураже сама пещись.

Приложение X.
К главе XXVIII.
Vorlaeufiger Operations - Plan für die Italienischen, Tyroler, und Rhein-Armeen.

Mailand, den 1 May 1799.
(Из книги гр. Милютина; «Война 1799 г.»).

Die K. K. auch K. Russische Italienische Armee ist dermalen in zwey Armeen eingetheilt.

Die Belagerungs-Armee unter Commando des Herrn Generalen-Feldzeigmeister Baron von Kray belagert Pesciera, bloquirt Mantua, sorget für Sicherheit der Polesine und des untern Po bis zur Mündung des Oglio-Flusses, und bedrohet durch ihre Partheien das Ferareische und Modenaische mit Inbegriff der Garnisonen von Verona, Lenago, Brescia, die an selben angewiesen sind, macht beiläufig 25,000 Mann aus; in Venedig sind für sich unter Commando des Herrn F. M. Lieut. Monfrauld 3,600 Oesterreicher und 1,500 Dalmatier.

Die Haupt Operations-Armee unter Commando Seiner Excellenz des Herrn Feld-Marschalls Grafen Suvorow von Rimniksky bestehet in 18,000 Russen und 18,000 Oesterreicher, an dem Po zwischen Piazenza und Pavia und ist durch Besetzung dieser zwey Städte, und Brückenschlagung über dem Po und Ticino Meister diese zwey Flüsse zu passiren, und dem Feind welcher sich in Piemont zusammenziehet, oder jenem, welcher aus dem südliclien Italien heraufrücket entgegen zu gehen, und einzeln, vor seiner Vereinigung, mit Uebermacht angreifen zu können.

Zur Verbindung der Haupt und Belagerungs-Armee, und Vertheidigung des obern Po, stehet bei Creinona der Herr General-Major Graf Hohenzoller mit 2,500 Mann, und der Herr Obrist Graf Bussy hat längst diesen Strom und bei Cassal-Magior die sehr gut denkenden Landleute des Cremonesischen und Mantuanischen armirt und vertheidiget die Ufer des Stroms.

In Mailand sind unter dem Herrn Generalen Lattermann zur Erhaltung der Ordnung in dieser Hauptstadt und zur Einschliessung der dortigen Citadels, worin sich 1,200 Mann, theils Frauzosen, theils Cisalpiner geworfen haben, 4.500 Mann.

Vorwärts Mailands, hinter Bufalora, stehet der Herr General Vukassovich unweit des Ticino, um vereinigt mit der Garnison von Mailand, den Feind am Ticino aufzuhalten, bis ihm die Haupt-Armee von Pavia entgegen rückt.

An dem Lago di Lecco und Como operiren, und zwar gegen

Mittag von Lecco ans, der Obrist Prinz Victor Rohan mit 2,000 Mann, und gegen Norden auf Bergamo und Porgagna, Morbegno, gegeu Forte de Tuentes und Riva, der Herr General-Major Alcaini mit 5,000 Mann, die aus Tyrol durch die Vall Camonica debouchirt sind.

Ihre erste Operation ist, sich an der nördlichen Spitze des Lago di Como zu vereinigen, alsdann gegen Belinzona an der nördlichen Spitze des Lago-Maggiore vorzurücken und sich am Fuss des Monte St. Gottardo festzusetzen, und so weit es möglich ist, die Avenuen von der Schweiz von dem Canton Uri zu besetzen.

Es wird der Kriegs-Erfahrung des Herrn Generalen Alcaini und des Prinzen Rohan nicht entgehen, dass die Operation auf Belinzona dann erst vor sich gehen kann, wenn die Valtelin und Graubünden wieder erobert sind, zu dieser Eroberung haben sie auf das Beste mitzuwirken, und sowohl gegen Tirano auf Silva-Pianta, gegen den Engedin als über Chiavena gegen St. Bernardin eine combinirte Operation zu machen.

Jener Theil der Tyroler-Armee, welcher noch in dieser Oesterreichischen Provinz unter Commando des Herrn Feldmarschall-Lieutenants Bellegarde verblieben ist, stehet im Münsterthal gegen Valtelin, bei Nauters gegen Engedin, und bei Isgel, wo er zwar mit Mühe gegen das obere Rhein-Thal debouchiren kann, und ist beiläufig noch 16 bis 17,000 Mann.

Der Herr Feldmarschall-Lieutenant Hotze stehet bey Feldkirclien und besetzt den oberen Rhein von Lutziensteig bis am Bodensee mit 20,000 Mann.

Seiner Königlichen Hoheit der E. H. Carl stehet mit der Haupt-Armee hinter Schaffhausen, besetzt den Rhein von Ausgang des Bodensee gegen Basel an dem Ausgaug der Gebürge bis Heidelberg.

Ein Blick auf die Land-Karte zeigt, dass die Eroberung von Graubünden und der Valteline, die erste und unumgänglichste Operation sein muss, dadurch wird die Communication erhalten, Tyrol am vollkommensten gedeckt, und der erste Schritt zur Befreiung der Schweiz, dieses so wichtigen militäirisclien Schlüssels von Italien, Deutschland und Frankreich gemacht.

Diese Operation könnte nach dem, von dem Herrn Feldmarschall-Lieutenant Graf Bellegarde im Monat März 1799 festgesetzen Plan, wo Endesgefertigter in Botzen unter seiner Leitung mitzuarbeiten die Ehre hatte, mit einigen den jetzigen Fortschritten der Italienischen Armee anpassenden Veränderungen, ausgeführt werden.

Diese Veränderungen bestehen darin: dass das Corps des Herrn General M. Alcaini und jenes unter dem Herrn Obristen Prinzen Rohan gegen die Valteline und Chiavena aus, und das Rheinthal und Engedin, wie schon vorhergesagt, über Poschiavo und St. Bernardin im Rücken angreifen, wodurch die Operation zu der gänzlichen

Gefangennehmung des Feindes führen wird.

Seiner Königlichen Hoheit E. H. Carl werden gewiss nach Dero wohlbekannten hohen militäirischen Einsichten und ausnehmender Thätigkeit, den Rhein zwischen Constanz und Basel passiren - und durch den nördischen Theil in die Schweiz eindringen, um den Massena von allen Seiten in die Enge zu treiben.

Nach der Eroberung von der Valteline und Graubünden, vereiniget sich die Tyroler-Armee mit der Italienischen, und zwar meistens über die Valteline in der Gegend von Belinzona, wo alsdann über den St. Gottardo gegen den Thuner-See und in dem obern Valliser-Laude, an dem Ursprung des Rohns debouchirt wird; der rechte Flügel der Italienischen Armee dringt durch den Valle die Sessia, über Domo-d'Osolla und Simplon auf Hospetale ebenfalls in das Valliser-Land, um mit einer starken Colonne in der grössten Geschwindigkeit längst dem Rohn und über St. Morice, Aigle, Villeneuve, Vevay auf Lausanne zu marschiren, und dann den nemlichen Weg auf Freiburg und Bern einzuschlagen, welchen der Französische General Schaumbourg bei der Eroberung der Schweiz machte.

Es wird gleich bei dem südlichen Tlieil des Lago-Maggiore ein beträchtliches Magazin von Zwieback, Fleisch, und Reis angelegt, um die Verpflegung dieser Colonne so viel als möglich zu erleichtern.

Auch werden auf den obern Theil des Mailändischen, Bergamasischen und Brescianischen 500 Tragthiere in der Gegend von Como durch Requisition zusammengebracht, um die Zufuhr der Verpflegung in diesen unfruchtbaren Ländern zu erleichtern.

Die Italienische Armee nachdem sie die Französische, welche aus Neapel, Rom, Florenz, zum Secours anrücken kann, entgegen gegangen, und nun sie vor der Vereinigung mit jener die in Piemont steht, geschlagen hat, gehet schleunigst über den Po bei Pavia zurück, und marschirt dann längst dem linken Ufer des Po nach Turin. Die Belagerungs-Armee des Herrn General Kray, die einstweilen Pesciera und Mantua wird weggenommen haben, rücket über Cremona nach Piacenza, wo sie den Po passirt und dann Tortona investirt, und ein detaschirtes Corps des Herrn Generals Klenau marschirt auf Genua, um sich mit der Englischen Flotte zu vereinigen und sich der Stadt zu bemeistern.

Es wird alsogleich dem König von Neapel auf verschiedenen Wegen Couriers geschickt damit er mit den Englischen, Russischen uud Ottomanischen Truppen der Armee von Magdonald auf den Fuss nachgehet, um ihn ganz aus Italien zu vertilgen.

Приложение XI.
К главе XXXIII.
Правила
Для военных действий в горах.
Объявлены по войскам генерал-фельдмаршалом князем Италийским графом Суворовым-Рымникским в сентябре 1799 года.

(Из книги гр. Милютина: «Война 1799 года»).

По большей части дороги по горам столь узки, что едва и порожняя лошадь по оным оборотиться может, тем менее отягощенные вьюками мулы; отчего в марше произойти может великое затруднение, и для того колонны таким образом устроить должно, чтобы движениям оных ничто не могло препятствовать.

Хотя при голове колонны и нужно иметь несколько казаков, дабы помощию оных о положении мест, удобных проходах и даже о неприятельских движениях заблаговременно известиться можно, равно и патрулями их обеспечивать себя по боковым дорогам, но в горах по вышеизъясненным затруднениям оные пользы сей приносить не могут, и для того офицер, ведущий колонну, по собственному ли своему о местоположении знанию, или по сведениям, от достоверных проводников полученным, прежде вступления в затруднительную дорогу, командующего головою колонны генерала или штаб-офицера уведомить должен. Тогда вся кавалерия остается назади, а несколько вооруженных пионеров под прикрытием пехоты открывают путь для авангарда. Орудия с их принадлежностями не должны быть ни при голове, ни назади колонны, ибо будучи впереди, они мешать могут маршу, назади же, в случае востребования оных, не скоро пройти им удобно; а как все меры употребить должно к нанесению вреда неприятелю, то и стараться все то, что в оном препятствовать только может, отвратить.

Прежде нежели приступить к наставлению о действиях, долженствует распределить орудия по колоннам следующим порядком. (Далее следует расписание орудий, по одному на один или два батальона, всего на 24 батальона 17 орудий, по 2 запасных при трех дивизиях и 2 запасных на весь корпус).

Кроме вышеизъясненного числа орудий и к оным снарядов, получает еще всякая дивизия 10 мулов под ружейные запасные патроны.

Поелику один только казацкий полк при войсках следует, то и дается на каждую дивизию из оного по 50 человек, а остальные 300 человек остаются в резерве.

Каждая дивизия составляет особливую колонну; если же они все по одной дороге следовать будут, то из сих четырех колонн составится одна колонна.

Каждая дивизионная колонна формируется следующим образом. При голове колонны, если местоположение позволит, для авангарда 25 казаков, 20 пионер, 1 батальон пехоты - егерей или гренадер, 1 пушка со снарядами, 3 батальона, 1 пушка, 2 батальона, 1 пушка, 2 батальона, 1 пушка, 2 пушки запасные. Засим 10 мулов с ружейными патронами. И сим порядком все дивизии следуют, а в заключение всего мулы и казацкие лошади с провиантом; потом партикулярные вьюки, кои прикрываются одним батальоном пехоты и 100 казаками, распределенными впереди, в средине и сзади.

Когда проводник объявит, что войска должны вступить в тесную дорогу, то находящиеся казаки в голове колонны, замыкают оную.

Дивизионным колоннам сколько возможно быть сомкнутым и избегать растяжения. Между колоннами же надлежит иметь 200 шагов расстояния.

Для овладения горою, неприятелем занимаемою, должно соразмерно ширине оные, взводом ли, ротою или и более, рассыпясь, лезть на вершину; прочие же батальоны во 100 шагах следуют; а в кривизнах гор, где неприятельские выстрелы не вредны, можно отдохнуть, а потом снова идти вперед.

Единою только твердою и непоколебимою подпорою колонны можно придать мужества и храбрости порознь рассеянным стрелкам, которые ежели бы по сильному неприятельскому отпору и не в состоянии были далее идти, то должна колонна, не сделав ни одного выстрела, с великим стремлением достигнуть вершины горы и штыками на неприятеля ударить. Сей, приведенный в робость, не в состоянии будет выдержать столь мужественного наступления и конечно весьма слабую учинит оборону.

Одною стрельбою никаким возвышением овладеть не можно, ибо стоящий на оном неприятель весьма мало вредим. Выстрелы большею частью на вышину или не доходят или перелетают через; напротив же того с вершины вниз стрельба гораздо цельнее, и для того стараться как наискорее достигнуть вершины, дабы не находиться долго под выстрелами и тем бы менее быть вредиму.

Само собою разумеется, что не нужно на гору фронтом

всходить, когда боковыми сторонами оную обойти можно.

Если неприятель умедлит овладеть возвышениями гор, то должно на оные поспешно взлезать и на неприятеля сверху штыками и выстрелами действовать.

Приложение XII.

К главе XXXV.

Заметки генералиссимуса князя Италийского графа А.В. Суворова-Рымникского, писанные им в начале зимы 1799-1800 г., о будущей кампании против Французов.

(Из книги гр. Милютина: «Война 1799 г.»).

I.

Mon maître Jules César me dit que je n'ai rien fait si je n'ai tout fini. L'Italie est le prélude, aller aux colonnes d'Hercules, comme les Anglais viennent de finir Tipo-Saib, - et l'éternité appartient à Dieu seul.

Au désir il faut un projet, le projet vent un plan. Déjà de Turin je veux par Grenoble à Lyon, ainsi jusques Paris; mais ayant fini tout-à-fait avec l'Italie. Lorsque dans la force de mes opérations je suis empêché par le pédantisme de Vienne qui, par ignorance, ne visait que pour Mantoue, déjà faible objet pour moi avec la Polésiue illusoire, et pour tirer en long, pour parvenir à un autre affreux et lâche Campo-Formio, affaiblit totalement mon armée.

Ainsi sont les plans des cabinets. Il est sage qu'ils sachent, p. ex. celui de la Grande- Bretagne, quelles îles acquises lui doivent appartenir; mais l'art d'en conquérir d'autres n'appartient qu'au général au-dessus d'un quartier-maître, qui est au-dessus d'un scribe. On ne trome pas toujours des Pitt, des Kaunitz, des Panine; mais moins rares sont des Thugutt qui sacrifient des pajs héréditaires pour des envahissements étrangers d'autrui, illicites, sous titre d'arrondissements - mé-téores qui ne peuvent pas longtemps subsister, comme injustes.

Ainsi était-il du dernier plan de nid du chat-huant, qui meurt avant d'éclore. Il n'en arrive que perdre un puissant allié et presque d'écraser le général au milieu de son élan pour ne l'avoir pas auparavant consulté.

Il ne faut pas se tenir au beau; mais rien n'est plus beau que la générosité de la Grande-Bretagne; elle est le radical du soutien de la bonne cause et de la prospérité de l'Europe, jusqu'aux autres parties du globe.

Dans le rojaume de France on est fort pour deux opérations: 1) En rétablissant le dépôt à Turin, par le Dauphiné, Lyon, etc.; en érigeant une armée piémontaise; le roi à Turin (ne disons rien d'Alexandrie, Valence, Casai, Tortone, ancien Etat du Milanais), conservez-y les châteaux.... 2) Par la Franche Comté

Point de méthodique, intermédiaire, démonstration, jalousie, - qui ne sont que des jeux d'enfants. Point de descente si ce n'est vers la célèbre Vendée, lorsque telle ou autre armée est sur le chemin de Paris.

Voici le seul plan du général en gros; les détails dépendent des circonstances dont il doit être le maître. Les plans d'usage des Cabinets peuvent être pour la forme seule, puisqu'ils ne sont jamais accomplis, comme dernièrement la campagne devait finir sur l'Adda, et à son événement on était à Milan.

Ainsi Mars, guidé par son jugement et non par le cabinet enseveli dans son obscurité, répondra du général que dans son essor la Providence fera tout finir, même dans une seule campagne....

Commencer par la Suisse au premier chemin de neige, pour nous rendre aussitôt prêts, au printemps, à la grande opération;.... mais il ne faut que le général seul à la tête des armées combinées en cas qu'il ne marche pas sur la Vistule.... »

II.

Détails sur les opérations.

Côni doit être forcée au plus tôt et, par Nice, Gênes occupée. Froelich finit Aucune, se joint à Klenau et marche dessus, Gênes est peu de chose. Reste à nettoyer la rivière de Ponent. Après les dernières victoires de Mêlas, les ennemis n'y pouvaient avoir au-delà de 15.000 soldats, le reste est paysans; mais le sera vers le printemps.

De là une opération par le Dauphiné. Il faut établir notre dépôt à Turin; beaucoup d'armes à feu pour une contre-révolution; jadis les perches pointues suffirent contre les lances.

Franche-Comté…. Il faut commencer par délivrer la Suisse et au premier chemin de neige praticable. L'archiduc Charles y suffirait, vu qu'en dernier lieu à Zurich et ailleurs l'ennemi a perdu trois, quatre fois plus que les Autrichiens; même si on lui ajouterait et les Suisses. Mais si le général y serait destiné, il y agirait ensemble en chef.... On armera la Suisse pour sa propre défense et de sa milice on pourra tirer ce que l'on peut pour seconder la grande opération qui, après le repos dans les quartiers, aura lieu au printemps. Il serait bon de commencer par Mayence comme un poste de dépôt sûr. Au reste on y laissera un corps d'observation en proportion de la garnison, pour lui couper au moins les vivres, quoique sans cela ils y seraient abondants. Vers Kehl il y aura un corps volant.

Les habitants armés des Grisons, du Tirol, et je dirai même du Milanais, comme à dos, seront soutenus par quelques détachements encore, en tâchant de ne pas affaiblir les armées ainsi que la Romagne, la Toscane, etc. contre des descentes ennemies, qui sans cela seront toujours empêchées par nos flottes. Le Piémont sera toujours couvert

par ses propres milices et l'armée coalisée du roi pourra se combiner pour entrer en France.

Si le général sera destiné pour opérer en chef par ce côté, il faut qu'il s'y tourne à temps avec son armée; alors il n'est plus temps qu'il s'amuse pour la Suisse; d'ici il ne peut sortir que par un grand détour....

III.

S. A. R. l'archiduc Charles nettoiera la Suisse, y érigera les braves milices en suffisance pour sa propre défense; en attendant elles pourraient rester neutres: il suffit qu'elle livre les levées auxiliaires. Il couvrira à son dos les pays par des troupes pour leur tranquillité. Il fera rester derrière lui des corps volants où bon lui semblera et.... avec l'armée impériale, Bavarois, Suisses etc. il pénétrera dans le royaume de France par la Franche-Comté. Dans ce pays, rendu ami par ses sages manifestes, il trouvera des subsistances, excepté ceux de réserve; il aura derrière lui de gros magasins ambulants en munitions de guerre, beaucoup d'armes à feu et bajonettes pour les contre-révolutionner: ainsi il avancera vers Paris.

Sur le même pied les Austro-Russes, garnissant les forts et les forteresses de troupes, comme ainsi le pays pour leur tranquillité autant qu'il faudra, auront leur principal dépôt en vivres et surtout un gros magasin en munitions de guerre et en armes à feu, pour les contre-révolutionner; pénétreront de l'Italie en France par le Dauphiué; il serait beau d'y avoir aussi une armée médiocre Piémontaise.... ses milices à part. Avec l'aide de Dieu on ira à Paris. Les Eusses marcheront en Italie pour s'y combiner et y arriveront à temps.

On risque beaucoup pour les descentes; néanmoins les Anglo-Piusses, s'ils le jugent à propos, en feront une sur les côtes de Normandie, pour tirer vers la Vendée et ensemble vers Paris. Si alors On pourra répondre du succès...., ce sera vers le temps lorsque telle armée se trouvera à mi-chemin de Paris: il n'est pas à douter que là les circonstances obligeront les athés à replier de la Hollande dans la France.